ЭЛЕКТРОННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

по учебному предмету

«Русская литература»

10

Часть 3

Альбом акварелей к произведению

В хрестоматию включены иллюстрации из «**Альбома акварелей к роману графа Л.Н. Толстого “Война и мир”**», выпущенного редакцией журнала «Север» в **1893 году** как бесплатное приложение. Авторство картин принадлежит выдающимся художникам того времени — Илье Ефимовичу Репину, Николаю Николаевичу Каразину, Алексею Даниловичу Кившенко и Леониду Осиповичу Пастернаку.

Фрагменты текста, визуализированные в альбоме, выделены в хрестоматии серым цветом. Полноэкранные версии всех картин представлены в приложении в хрестоматии и в задании https://boxapps.adu.by/public/game/8000.

Список картин:

1. Титульный лист альбома «Война и мир» (Акварель Н.Н. Каразина)

2. «Батарея капитана Тушина при Шенграбене» (Акварель Н.Н. Каразина) (Том 1 Часть 2 Глава 10)

3. «Наполеон и император Александр I на свидании в Тильзите» (Акварель профессора А.Д. Кившенко) (Том 2 Часть 2 Глава 19)

4. «Наташа Ростова на первом балу» (Акварель Л.О. Пастернака) (Том 2 Часть 3 Глава 16)

5. «Ростовы на псовой охоте в "Отрадном"» (Акварель профессора А.Д. Кившенко) (Том 2 Часть 4 Глава 5)

6. «Поездка Ростовых на святках к Мелюковым» (Акварель Н.Н. Каразина) (Том 2 Часть 4 Глава 10)

7. «Наполеон и Лаврушка на переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу» (Акварель Л.О. Пастернака (Том 3 Часть 2 Глава 7)

8. «Кутузов на Поклонной горе перед военным советом в Филях» (Акварель профессора А.Д. Кившенко) (Том 3 Часть 3 Глава 3)

9. «Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин на дворе губернаторского дома в Москве» (Акварель профессора А.Д. Кившенко) (Том 3 Часть 3 Глава 25)

10. «Наташа Ростова и князь Андрей Болконский в Мытищах» (Акварель Л.О. Пастернака) (Том 3 Часть 3 Глава 32)

11. «Расстреливание французами поджигателей в Москве» (Акварель Л.О. Пастернака) (Том 4 Часть 1 Глава 11)

12. «Смерть Пети Ростова» (Акварель Н.Н. Каразина) (Том 4 Часть 3 Глава 11)

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

Роман «ВОЙНА И МИР»

ТОМ ПЕРВЫЙ

Часть первая

I

Eh bien, mon prince. Gênes et Lucques ne sont plus que des apanages, des поместья, de la famille Buonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'y crois) — je ne vous connais plus, vous n'êtes plus mon ami, vous n'êtes plus мой верный раб, comme vous dites[1]. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Je vois que je vous fais peur[2], садитесь и рассказывайте.

Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближенная императрицы Марии Феодоровны, встречая важного и чиновного князя Василия, первого приехавшего на ее вечер. Анна Павловна кашляла несколько дней, у нее был грипп, как она говорила (грипп был тогда новое слово, употреблявшееся только редкими). В записочках, разосланных утром с красным лакеем, было написано без различия во всех:

«Si vous n'avez rien de mieux à faire, Monsieur le comte (или mon prince), et si la perspective de passer la soirée chez une pauvre malade ne vous effraye pas trop, je serai charmée de vous voir chez moi entre 7 et 10 heures. Annette Scherer» [3].

— Dieu, quelle virulente sortie![4] — отвечал, нисколько не смутясь такою встречей, вошедший князь, в придворном, шитом мундире, в чулках, башмаках и звездах, с светлым выражением плоского лица.

Он говорил на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды, и с теми, тихими, покровительственными интонациями, которые свойственны состаревшемуся в свете и при дворе значительному человеку. Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку, подставив ей свою надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на диване.

— Avant tout dites-moi, comment vous allez, chère amie?[5] Успокойте меня, — сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка.

— Как можно быть здоровой... когда нравственно страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? — сказала Анна Павловна. — Вы весь вечер у меня, надеюсь?

— А праздник английского посланника? Нынче середа. Мне надо показаться там, — сказал князь. — Дочь заедет за мной и повезет меня.

---

[1] Ну, князь, Генуя и Лукка — поместья фамилии Бонапарте. Нет, я вам вперед говорю, если вы мне не скажете, что у нас война, если вы еще позволите себе защищать все гадости, все ужасы этого Антихриста (право, я верю, что он Антихрист), — я вас больше не знаю, вы уж не друг мой, вы уж не мой верный раб, как вы говорите (франц.)

(В дальнейшем переводы с французского не оговариваются. Здесь и далее все переводы, кроме специально оговоренных, принадлежат Л.Н. Толстому. — Ред.)

[2] Я вижу, что я вас пугаю

[3] Если у вас, граф (или князь), нет в виду ничего лучшего и если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает, то я буду очень рада видеть вас нынче у себя между семью и десятью часами. Анна Шерер

[4] Господи, какое горячее нападение!

[5] Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?

— Я думала, что нынешний праздник отменен, Je vous avoue que toutes ces fêtes et tous ces feux d'artifice commencent à devenir insipides[1].

— Ежели бы знали, что вы этого хотите, праздник бы отменили, — сказал князь по привычке, как заведенные часы, говоря вещи, которым он и не хотел, чтобы верили.

— Ne me tourmentez pas. Eh bien, qu'a-t-on décidé par rapport à la dépêche de Novosilzoff? Vous savez tout[2].

— Как вам сказать? — сказал князь холодным, скучающим тоном. — Qu'a-t-on décidé? On a décidé que Buonaparte a brûlé ses vaisseaux, et je crois que nous sommes en train de brûler les nôtres[3].

Князь Василий говорил всегда лениво, как актер говорит роль старой пиесы. Анна Павловна Шерер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была преисполнена оживления и порывов.

Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой. Сдержанная улыбка, игравшая постоянно на лице Анны Павловны, хотя и не шла к ее отжившим чертам, выражала, как у избалованных детей, постоянное сознание своего милого недостатка, от которого она не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

В середине разговора про политические действия Анна Павловна разгорячилась.

— Ах, не говорите мне про Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но Австрия никогда не хотела и не хочет войны. Она предает нас. Россия одна должна быть спасительницей Европы. Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет верен ему. Вот одно, во что я верю. Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея. Мы одни должны искупить кровь праведника. На кого нам надеяться, я вас спрашиваю?.. Англия с своим коммерческим духом не поймет и не может понять всю высоту души императора Александра. Она отказалась очистить Мальту. Она хочет видеть, ищет заднюю мысль наших действий. Что они сказали Новосильцеву? Ничего. Они не поняли, они не могли понять самоотвержения нашего императора, который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира. И что они обещали? Ничего. И что обещали, и того не будет! Пруссия уже объявила, что Бонапарте непобедим и что вся Европа ничего не может против него... И я не верю ни в одном слове ни Гарденбергу, ни Гаугвицу. Cette fameuse neutralité prussienne, ce n'est qu'un piège[4]. Я верю в одного Бога и в высокую судьбу нашего милого императора. Он спасет Европу!.. — Она вдруг остановилась с улыбкой насмешки над своею горячностью.

---

[1] Признаюсь, все эти праздники и фейерверки становятся несносны

[2] Не мучьте меня. Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцева? Вы все знаете

[3] Что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь наши

[4] Этот пресловутый нейтралитет Пруссии — только западня

— Я думаю, — сказал князь, улыбаясь, — что, ежели бы вас послали вместо нашего милого Винценгероде, вы бы взяли приступом согласие прусского короля. Вы так красноречивы. Вы дадите мне чаю?

— Сейчас. A propos, — прибавила она, опять успокоиваясь, — нынче у меня два очень интересные человека, le vicomte de Mortemart, il est allié aux Montmorency par les Rohans[1], одна из лучших фамилий Франции. Это один из хороших эмигрантов, из настоящих. И потом l'abbé Morio[2]; вы знаете этот глубокий ум? Он был принят государем. Вы знаете?

— А! Я очень рад буду, — сказал князь. — Скажите, — прибавил он, как будто только что вспомнив что-то и особенно-небрежно, тогда как то, о чем он спрашивал, было главной целью его посещения, — правда, что l'impératrice-mère[3] желает назначения барона Функе первым секретарем в Вену? C'est un pauvre sire, ce baron, à ce qu'il paraît[4]. — Князь Василий желал определить сына на это место, которое через императрицу Марию Феодоровну старались доставить барону.

Анна Павловна почти закрыла глаза в знак того, что ни она, ни кто другой не могут судить про то, что угодно или нравится императрице.

— Monsieur le baron de Funke a été recommandé à l'impératrice-mère par sa soeur[5], — только сказала она грустным, сухим тоном. В то время как Анна Павловна назвала императрицу, лицо ее вдруг представило глубокое и искреннее выражение преданности и уважения, соединенное с грустью, что с ней бывало каждый раз, когда она в разговоре упоминала о своей высокой покровительнице. Она сказала, что ее величество изволила оказать барону Функе beaucoup d'estime[6], и опять взгляд ее подернулся грустью.

Князь равнодушно замолк, Анна Павловна, с свойственною ей придворною и женскою ловкостью и быстротою такта, захотела и щелкануть князя за то, что он дерзнул так отозваться о лице, рекомендованном императрице, и в то же время утешить его.

— Mais à propos de votre famille, — сказала она, — знаете ли, что ваша дочь, с тех пор как выезжает, fait les délices de tout le monde. On la trouve belle comme le jour[7].

Князь наклонился в знак уважения и признательности.

— Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания, придвигаясь к князю и ласково улыбаясь ему, как будто выказывая этим, что политические и светские разговоры кончены и теперь начинается задушевный, — я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастие жизни. За что вам дала судьба таких двух славных детей (исключая Анатоля, вашего меньшого, я его не люблю, — вставила она безапелляционно, приподняв брови), — таких прелестных детей? А вы, право, менее всех цените их и потому их не сто́ите.

---

[1] Кстати, — виконт Мортемар, он в родстве с Монморанси чрез Роганов

[2] аббат Морио

[3] вдовствующая императрица

[4] Барон этот ничтожное существо, как кажется

[5] Барон Функе рекомендован императрице-матери ее сестрою

[6] много уважения

[7] Кстати, о вашем семействе... составляет наслаждение всего общества. Ее находят прекрасною, как день.

И она улыбнулась своею восторженной улыбкой.

— Que voulez-vous? Lafater aurait dit que je n'ai pas la bosse de la paternité[1], — сказал князь.

— Перестаньте шутить. Я хотела серьезно поговорить с вами. Знаете, я недовольна вашим меньшим сыном. Между нами будь сказано (лицо ее приняло грустное выражение), о нем говорили у ее величества и жалеют вас...

Князь не отвечал, но она молча, значительно глядя на него, ждала ответа. Князь Василий поморщился.

— Что ж мне делать? — сказал он наконец. — Вы знаете, я сделал для их воспитания все, что может отец, и оба вышли des imbéciles[2] Ипполит, по крайней мере, покойный дурак, а Анатоль — беспокойный. Вот одно различие, — сказал он, улыбаясь более неестественно и одушевленно, чем обыкновенно, и при этом особенно резко выказывая в сложившихся около его рта морщинах что-то неожиданно-грубое и неприятное.

— И зачем родятся дети у таких людей, как вы? Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чем не могла упрекнуть вас, — сказала Анна Павловна, задумчиво поднимая глаза.

— Je suis votre верный раб, et à vous seule je puis l'avouer. Мои дети — ce sont les entraves de mon existence[3]. Это мой крест. Я так себе объясняю. Que voulez-vous?..[4] — Он помолчал, выражая жестом свою покорность жестокой судьбе.

Анна Павловна задумалась.

— Вы никогда не думали о том, чтобы женить вашего блудного сына Анатоля. Говорят, — сказала она, — что старые девицы ont la manie des mariages[5]. Я еще не чувствую за собою этой слабости, но у меня есть одна petite personne, которая очень несчастлива с отцом, une parente à nous, une princesse[6] Болконская. — Князь Василий не отвечал, хотя с свойственной светским людям быстротой соображения и памятью движением головы показал, что он принял к соображению это сведенье.

— Нет, вы знаете ли, что этот Анатоль мне стоит сорок тысяч в год, — сказал он, видимо не в силах удерживать печальный ход своих мыслей. Он помолчал.

— Что будет через пять лет, ежели это пойдет так? Voilà l'avantage d'être père[7]. Она богата, ваша княжна?

— Отец очень богат и скуп. Он живет в деревне. Знаете, этот известный князь Болконский, отставленный еще при покойном императоре и прозванный прусским королем. Он очень умный человек, но со странностями и тяжелый. La pauvre petite est malheureuse comme les pierres[8]. У нее брат, вот что недавно женился на Lise Мейнен, адъютант Кутузова. Он будет нынче у меня.

---

[1] Что делать! Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви

[2] дурни

[3] Я вас... и вам одним могу признаться. Мои дети — обуза моего существования

[4] Что делать?..

[5] имеют манию женить

[6] девушка... наша родственница, княжна

[7] Вот выгода быть отцом

[8] Бедняжка несчастлива, как камни

— Ecoutez, chère Annette[1], — сказал князь, взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая ее почему-то книзу. — Arrangez-moi cette affaire et je suis votre вернейший раб à tout jamais (рап — comme mon староста m'écrit des[2] донесенья: покой-ер-п). Она хорошей фамилии и богата. Все, что мне нужно.

И он с теми свободными и фамильярными грациозными движениями, которые его отличали, взял за руку фрейлину, поцеловал ее и, поцеловав, помахал фрейлинскою рукой, развалившись на креслах и глядя в сторону.

— Attendez[3], — сказала Анна Павловна, соображая. — Я нынче же поговорю Lise (la femme du jeune Болконский)[4]. И, может быть, это уладится. Ce sera dans votre famille que je ferai mon apprentissage de vieille fille[5].

Бедняжка несчастлива, как камни.

II

Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться. Приехала высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили; приехала дочь князя Василия, красавица Элен, заехавшая за отцом, чтобы с ним вместе ехать на праздник посланника. Она была в шифре и бальном платье. Приехала и известная, как la femme la plus séduisante de Pétersbourg[6], молодая, маленькая княгиня Болконская, прошлую зиму вышедшая замуж и теперь не выезжавшая в большой свет по причине своей беременности, но ездившая еще на небольшие вечера. Приехал князь Ипполит, сын князя Василия, с Мортемаром, которого он представил; приехал и аббат Морио и многие другие.

— Вы не видали еще, — или: — вы не знакомы с ma tante?[7] — говорила Анна Павловна приезжавшим гостям и весьма серьезно подводила их к маленькой старушке в высоких бантах, выплывшей из другой комнаты, как скоро стали приезжать гости, называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на ma tante, и потом отходила.

Все гости совершали обряд приветствования никому не известной, никому не интересной и не нужной тетушки. Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями, молчаливо одобряя их. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу, лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтоб уж весь вечер ни разу не подойти к ней.

Молодая княгиня Болконская приехала с работой в шитом золотом бархатном мешке. Ее хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем милее она открывалась и тем еще милее вытягивалась иногда и

---

[1] Послушайте, милая Анет

[2] Устройте мне это дело, и я навсегда ваш... как мой староста мне пишет

[3] Постойте

[4] Лизе (жене Болконского)

[5] Я в вашем семействе начну обучаться ремеслу старой девицы

[6] самая обворожительная женщина в Петербурге

[7] Моей тетушкой?

опускалась на нижнюю. Как это бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее — короткость губы и полуоткрытый рот — казались ее особенною, собственно ее красотой. Всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение. Старикам и скучающим, мрачным молодым людям казалось, что они сами делаются похожи на нее, побыв и поговорив несколько времени с ней. Кто говорил с ней и видел при каждом слове ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы, которые виднелись беспрестанно, тот думал, что он особенно нынче любезен. И это думал каждый.

Маленькая княгиня, переваливаясь, маленькими быстрыми шажками обошла стол с рабочею сумочкой на руке и, весело оправляя платье, села на диван, около серебряного самовара, как будто все, что она ни делала, было partie de plaisir [1] для нее и для всех ее окружавших.

— J'ai apporté mon ouvrage[2], — сказала она, развертывая свой ридикюль и обращаясь ко всем вместе.

— Смотрите, Annette, ne me jouez pas un mauvais tour, — обратилась она к хозяйке. — Vous m'avez écrit que c'était une toute petite soirée; voyez comme je suis attifée[3].

И она развела руками, чтобы показать свое, в кружевах, серенькое изящное платье, немного ниже грудей опоясанное широкою лентой.

— Soyez tranquille, Lise, vous serez toujours la plus jolie[4], — отвечала Анна Павловна.

— Vous savez, mon mari m'abandonne, — продолжала она тем же тоном, обращаясь к генералу, — il va se faire tuer. Dites-moi, pourquoi cette vilaine guerre[5], — сказала она князю Василию и, не дожидаясь ответа, обратилась к дочери князя Василия, к красивой Элен.

— Quelle délicieuse personne, que cette petite princesse![6] — сказал князь Василий тихо Анне Павловне.

Вскоре после маленькой княгини вошел массивный, толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке. Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова, умиравшего теперь в Москве. Он нигде не служил еще, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе. Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне. Но, несмотря на это низшее по своему сорту приветствие, при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя

[1] Увеселение

[2] Я захватила работу

[3] не сыграйте со мной злой шутки; вы мне писали, что у вас совсем маленький вечер. Видите, как я укутана

[4] Будьте покойны, Лиза, вы все-таки будете лучше всех

[5] Вы знаете, мой муж покидает меня. Идет на смерть. Скажите, зачем эта гадкая война

[6] Что за милая особа, эта маленькая княгиня!

действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной.

— C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d'être venu voir une pauvre malade[1], — сказала ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его. Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленький княгине, как близкой знакомой, и подошел к тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила его словами:

— Вы не знаете аббата Морио? «Он очень интересный человек...» —сказала она.

— Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно...

— Вы думаете?.. — сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.

— Мы после поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь.

И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать помощь на тот пункт, где ослабевал разговор. Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход, — так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила равномерную, приличную разговорную машину. Но среди этих забот все виден был в ней особенный страх за Пьера. Она заботливо поглядывала на него в то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мортемара, и отошел к другому кружку, где говорил аббат. Для Пьера, воспитанного за границей, этот вечер Анны Павловны был первый, который он видел в России. Он знал, что тут собрана вся интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно умного. Наконец он подошел к Морио. Разговор показался ему интересен, и он остановился, ожидая случая высказать свои мысли, как это любят молодые люди.

[1] Очень мило с вашей стороны, мосье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную

III

Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме ma tante, около которой сидела только одна пожилая дама с исплаканным, худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат; в другом, молодом, — красавица княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Болконская. В третьем — Мортемар и Анна Павловна.

Виконт был миловидный, с мягкими чертами и приемами, молодой человек, очевидно, считавший себя знаменитостью, но, по благовоспитанности, скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился. Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей. Как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне, так в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно-утонченное. В кружке Мортемара заговорили тотчас об убиении герцога Энгиенского. Виконт сказал, что герцог Энгиенский погиб от своего великодушия и что были особенные причины озлобления Бонапарта.

— Ah! voyons. Contez-nous cela, vicomte, — сказала Анна Павловна, с радостью чувствуя, как чем-то à la Louis XV отзывалась эта фраза, — contez-nous cela, vicomte[1].

Виконт поклонился в знак покорности и учтиво улыбнулся. Анна Павловна сделала круг около виконта и пригласила всех слушать его рассказ.

— Le vicomte a été personnellement connu de monseigneur[2], — шепнула Анна Павловна одному. — Le vicomte est un parfait conteur[3], — проговорила она другому. — Comme on voit l'homme de la bonne compagnie[4], — сказала она третьему; и виконт был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, как ростбиф на горячем блюде, посыпанный зеленью.

Виконт хотел уже начать свой рассказ и тонко улыбнулся.

— Переходите сюда, chère Hélène[5], — сказала Анна Павловна красавице княжне, которая сидела поодаль, составляя центр другого кружка.

Княжна Элен улыбалась; она поднялась с той же неизменяющеюся улыбкой вполне красивой женщины, с которою она вошла в гостиную. Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною плющом и мохом, и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но всем улыбаясь и как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины, и как будто внося с собою блеск бала, подошла к Анне Павловне. Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени

---

[1] Ах, да! Расскажите нам это, виконт... напоминающим Людовика XV

[2] Виконт был лично знаком с герцогом

[3] Виконт удивительный мастер рассказывать

[4] Как сейчас виден человек хорошего общества

[5] милая Элен — Ред.

кокетства, но, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно и победительно действующую красоту. Она как будто желала и не могла умалить действие своей красоты.

— Quelle belle personne![1] — говорил каждый, кто ее видел. Как будто пораженный чем-то необычайным, виконт пожал плечами и опустил глаза в то время, как она усаживалась пред ним и освещала и его все тою же неизменною улыбкой.

— Madame, je crains pour mes moyens devant un pareil auditoire[2], — сказал он, наклоняя с улыбкой голову.

Княжна облокотила свою открытую полную руку на столик и не нашла нужным что-либо сказать. Она, улыбаясь, ждала. Во все время рассказа она сидела прямо, посматривая изредка то на свою полную красивую руку, легко лежавшую на столе, то на еще более красивую грудь, на которой она поправляла бриллиантовое ожерелье; поправляла несколько раз складки своего платья и, когда рассказ производил впечатление, оглядывалась на Анну Павловну и тотчас же принимала то самое выражение, которое было на лице фрейлины, и потом опять успокоивалась в сияющей улыбке. Вслед за Элен перешла и маленькая княгиня от чайного стола.

— Attendez-moi, je vais prendre mon ouvrage, — проговорила она. — Voyons, à quoi pensez-vous? — обратилась она к князю Ипполиту. — Apportez-moi mon ridicule[3].

Княгиня, улыбаясь и говоря со всеми, вдруг произвела перестановку и, усевшись, весело оправилась.

— Теперь мне хорошо, — приговаривала она и, попросив начинать, принялась за работу.

Князь Ипполит перенес ей ридикюль, перешел за нею и, близко придвинув к ней кресло, сел подле нее.

Le charmant Hippolyte[4] поражал своим необыкновенным сходством с сестрою-красавицею и еще более тем, что, несмотря на сходство, он был поразительно дурен собой. Черты его лица были те же, как и у сестры, но у той все освещалось жизнерадостной, самодовольной, молодой, неизменной улыбкой и необычайной, античной красотой тела; у брата, напротив, то же лицо было отуманено идиотизмом и неизменно выражало самоуверенную брезгливость, а тело было худощаво и слабо. Глаза, нос, рот — все сжималось как будто в одну неопределенную и скучную гримасу, а руки и ноги всегда принимали неестественное положение.

— Ce n'est pas une histoire de revenants?[5] — сказал он, усевшись подле княгини и торопливо пристроив к глазам свой лорнет, как будто без этого инструмента он не мог начать говорить.

— Mais non, mon cher[6], — пожимая плечами, сказал удивленный рассказчик.

---

[1] Что за красавица!

[2] Я, право, опасаюсь за свое уменье перед такой публикой

[3] Подождите, я возьму мою работу... Что ж вы? О чем вы думаете? Принесите мой ридикюль

[4] Милый Ипполит — Ред.

[5] Это не история о привидениях?

[6] Вовсе нет

— C'est que je déteste les histoires de revenants[1], — сказал князь Ипполит таким тоном, что видно было, — он сказал эти слова, а потом уже понял, что они значили.

Из-за самоуверенности, с которою он говорил, никто не мог понять, очень ли умно или очень глупо то, что он сказал. Он был в темно-зеленом фраке, в панталонах цвета cuisse de nymphe effrayée [2], как он сам говорил, в чулках и башмаках.

Vicomte рассказал очень мило о том ходившем тогда анекдоте, что герцог Энгиенский тайно ездил в Париж для свидания с m-lle George[3] и что там он встретился с Бонапарте, пользовавшимся тоже милостями знаменитой актрисы, и что там, встретившись с герцогом, Наполеон случайно упал в тот обморок, которому он был подвержен, и находился во власти герцога, которою герцог не воспользовался, но что Бонапарте впоследствии за это-то великодушие и отмстил смертью герцогу.

Рассказ был очень мил и интересен, особенно в том месте, где соперники вдруг узнают друг друга, и дамы, казалось, были в волнении.

— Charmant[4], — сказала Анна Павловна, оглядываясь вопросительно на маленькую княгиню.

— Charmant, — прошептала маленькая княгиня, втыкая иголку в работу, как будто в знак того, что интерес и прелесть рассказа мешают ей продолжать работу.

Виконт оценил эту молчаливую похвалу и, благодарно улыбнувшись, стал продолжать; но в это время Анна Павловна, все поглядывавшая на страшного для нее молодого человека, заметила, что он что-то слишком горячо и громко говорит с аббатом, и поспешила на помощь к опасному месту. Действительно, Пьеру удалось завязать с аббатом разговор о политическом равновесии и аббат, видимо, заинтересованный простодушной горячностью молодою человека, развивал перед ним свою любимую идею. Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили, и это-то не понравилось Анне Павловне.

— Средство — европейское равновесие и droit des gens[5] , — говорил аббат. — Стоит одному могущественному государству, как Россия, прославленному за варварство, стать бескорыстно во главе союза, имеющего целью равновесие Европы, — и оно спасет мир!

— Как же вы найдете такое равновесие? — начал было Пьер; но в это время подошла Анна Павловна и, строго взглянув на Пьера, спросила итальянца о том, как он переносит здешний климат. Лицо итальянца вдруг изменилось и приняло оскорбительно притворно-сладкое выражение, которое, видимо, было привычно ему в разговоре с женщинами.

— Я так очарован прелестями ума и образования общества, в особенности женского, в которое я имел счастье быть принят, что не успел еще подумать о климате, — сказал он.

Не выпуская уже аббата и Пьера, Анна Павловна для удобства наблюдения присоединила их к общему кружку.

---

[1] Дело в том, что я терпеть не могу историй о привидениях

[2] тела испуганной нимфы

[3] актрисой Жорж

[4] Прелестно

[5] народное право

В это время в гостиную вошло новое лицо. Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский, муж маленькой княгини. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою оживленною женой. Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему было очень скучно. Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество.

— Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince?[1] — сказала Анна Павловна.

— Le général Koutouzoff, — сказал Болконский, ударяя на последнем слоге zoff, как француз, — a bien voulu de moi pour aide-de-camp...[2]

— Et Lise, votre femme?[3]

— Она поедет в деревню.

— Как вам не грех лишать нас вашей прелестной жены?

— André, — сказала его жена, обращаясь к мужу тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним, — какую историю нам рассказал виконт о m-lle Жорж и Бонапарте!

Князь Андрей зажмурился и отвернулся. Пьер, со времени входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз, подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу, выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера, улыбнулся неожиданно-доброй и приятной улыбкой.

— Вот как!.. И ты в большом свете! — сказал он Пьеру.

— Я знал, что вы будете, — отвечал Пьер. — Я приеду к вам ужинать, — прибавил он тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. — Можно?

— Нет, нельзя, — сказал князь Андрей, смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого не нужно спрашивать. Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и мужчины встали, чтобы дать им дорогу.

— Вы меня извините, мой милый виконт, — сказал князь Василий французу, ласково притягивая его за рукав вниз к стулу, чтобы он не вставал. — Этот несчастный праздник у посланника лишает меня удовольствия и прерывает вас. Очень мне грустно покидать ваш восхитительный вечер, — сказал он Анне Павловне.

Дочь его, княжна Элен, слегка придержав складки платья, пошла между стульев, и улыбка сияла еще светлее на ее прекрасном лице. Пьер смотрел почти испуганными, восторженными глазами на эту красавицу, когда она проходила мимо его.

— Очень хороша, — сказал князь Андрей.

— Очень, — сказал Пьер.

---

[1] Вы собираетесь на войну, князь?

[2] Генералу Кутузову угодно меня к себе в адъютанты...

[3] А Лиза, ваша жена?

Проходя мимо, князь Василий схватил Пьера за руку и обратился к Анне Павловне.

— Образуйте мне этого медведя, — сказал он. — Вот он месяц живет у меня, и в первый раз я его вижу в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общество умных женщин.

IV

Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу князю Василью. Пожилая дама, сидевшая прежде с ma tante, торопливо встала и догнала князя Василья в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе, исплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх.

— Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передней. (Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на о). — Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привезти моему бедному мальчику?

Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, она ласково и трогательно улыбалась ему и, чтобы он не ушел, взяла его за руку.

— Что вам сто́ит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, — просила она.

— Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, — отвечал князь Василий, — но мне трудно просить государя; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было бы умнее.

Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне, только затем она слушала историю виконта. Она испугалась слов князя Василия; когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия.

— Послушайте, князь, — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам. Но теперь, я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, — торопливо прибавила она. — Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. «Soyez le bon enfant que vous avez été[1]», —говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы.

— Папа́, мы опоздаем, — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах, княжна Элен, ожидавшая у двери.

Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез. Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что ежели бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое

[1] Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде

влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду: первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готовы на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его.

— Chère Анна Михайловна, — сказал он с своею всегдашнею фамильярностью и скукой в голосе. — Для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите; но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное: сын ваш будет переведен в гвардию, вот вам моя рука. Довольны вы?

— Милый мой, вы благодетель! Я иного и не ждала от вас; я знала, как вы добры.

Он хотел уйти.

— Постойте, два слова. Une fois passé aux gardes...[1] — Она замялась. — Вы хороши с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...

Князь Василий улыбнулся.

— Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты.

— Нет, обещайте, я не пущу вас, милый благодетель мой.

— Папа, — опять тем же тоном повторила красавица, — мы опоздаем.

— Ну, au revoir[2], прощайте, видите...

— Так завтра вы доложите государю?

— Непременно, а Кутузову не обещаю.

— Нет, обещайте, обещайте, Basile, — сказала вслед ему Анна Михайловна, с улыбкой молодой кокетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу.

Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход, по привычке, все старинные женские средства. Но как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное, притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано.

— Но как вы находите всю эту последнюю комедию du sacre de Milan? [3] — сказала Анна Павловна. — Et la nouvelle comédie des peuples de Gênes et de Lucques qui viennent présenter leurs voeux à M. Buonaparte. M. Buonaparte assis sur un trône, et exauçant les voeux des nations! Adorable! Non, mais c'est a en devenir folle! On dirait que le monde entier a perdu la tête[4].

---

[1] Но когда его переведут в гвардию...

[2] до свиданья

[3] коронации в Милане?

[4] И новая комедия: народы Генуи и Лукки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарте сидит на троне и исполняет желания народов. О! это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову

Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны.

— «Dieu me la donne, gare à qui la touche», — сказал он (слова Бонапарте, сказанные при возложении короны). — On dit qu'il a été très beau en prononçant ces paroles[1], — прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски: «Dio mi la dona, guai a chi la tocca».

— J'espère enfin, — продолжала Анна Павловна, — que ça a été la goutte d'eau qui fera déborder le verre. Les souverains ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout[2].

— Les souverains? Je ne parle pas de la Russie, — сказал виконт учтиво и безнадежно. — Les souverains, madame? Qu'ont ils fait pour Louis XVI, pour la reine, pour madame Elisabeth? Rien, — продолжал он, одушевляясь. — Et croyez-moi, ils subissent la punition pour leur trahison de la cause des Bourbons. Les souverains? Ils envoient des ambassadeurs complimenter l'usurpateur[3].

И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб Конде. Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом.

— Bâton de gueules, engrêlé de gueules d'azur — maison Condé [4], — говорил он.

Княгиня, улыбаясь, слушала.

— Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции, — продолжал виконт начатый разговор, с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, — то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда...

Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то: разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила.

— Император Александр, — сказала она с грустью, сопутствующей всегда ее речам об императорской фамилии, — объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, — сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом.

— Это сомнительно, — сказал князь Андрей. — Monsieur le vicomte[5] совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому.

— Сколько я слышал, — краснея, опять вмешался в разговор Пьер, — почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.

---

[1] Бог мне дал корону. Горе тому, кто ее тронет». Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова.

[2] Надеюсь, что это была, наконец, та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему

[3] Государи! Я не говорю о России. Государи! Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего. И, поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу Бурбонов. Государи! Они шлют послов приветствовать похитителя престола

[4] Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями, — дом Конде

[5] Господин виконт

— Это говорят бонапартисты, — сказал виконт, не глядя на Пьера. — Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

— Bonaparte la dit[1], — сказал князь Андрей с усмешкой. (Видно было, что виконт ему не нравился и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои речи.)

— «Je leur ai montré le chemin de la gloire, — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона, — ils n'en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont précipités en foule...» Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire[2].

— Aucun[3], — возразил виконт. — После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça a été un héros pour certaines gens, — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, — depuis l'assassinat du duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre[4].

Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его.

— Казнь герцога Энгиенского, — сказал Пьер, — была государственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке.

— Dieu! mon Dieu![5] — страшным шепотом проговорила Анна Павловна.

— Comment, monsieur Pierre, vous trouvez que l'assassinat est grandeur d'âme?[6] — сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу.

— Ah! Oh! — сказали разные голоса.

— Capital[7] — по-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами.

Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.

— Я потому так говорю, — продолжал он с отчаянностью, — что Бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии; а один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека.

— Не хотите ли перейти к тому столу? — сказала Анна Павловна. Но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь.

— Нет, — говорил он, все более и более одушевляясь, — Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребления, удержав все хорошее — и равенство граждан, и свободу слова и печати, — и только потому приобрел власть.

— Да, ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, — сказал виконт, — тогда бы я назвал его великим человеком.

---

[1] Это говорил Бонапарт

[2] «Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой...» Не знаю, до какой степени имел он право так говорить

[3] Никакого

[4] Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле

[5] Бог мой!

[6] Как, мосье Пьер, вы видите в убийстве величие души?

[7] Превосходно!

— Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только затем, чтоб он избавил его от Бурбонов, и потому, что народ видел в нем великого человека. Революция была великое дело, — продолжал мсье Пьер, выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость и желание все поскорее высказать.

— Революция и цареубийство великое дело?.. После этого... да не хотите ли перейти к тому столу? — повторила Анна Павловна.

— Contrat social[1], — с кроткой улыбкой сказал виконт.

— Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи.

— Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства, — опять перебил иронический голос.

— Это были крайности, разумеется, но не в них все значение, а значение в правах человека, в эманципации от предрассудков, в равенстве граждан; и все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе.

— Свобода и равенство, — презрительно сказал виконт, как будто решившийся, наконец, серьезно доказать этому юноше всю глупость его речей, — всё громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенства? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив. Мы хотели свободы, а Бонапарте уничтожил ее.

Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету; но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером святотатственные речи, виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась с силами и, присоединившись к виконту, напала на оратора.

— Mais, mon cher monsieur Pierre[2], — сказала Анна Павловна, — как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец просто человека, без суда и без вины?

— Я бы спросил, — сказал виконт, — как monsieur объясняет восемнадцатое брюмера? Разве это не обман? C'est un escamotage, qui ne ressemble nullement à la manière d'agir d'un grand homme[3].

— А пленные в Африке, которых он убил? — сказала маленькая княгиня. — Это ужасно! — И она пожала плечами.

— C'est un roturier, vous aurez beau dire[4], — сказал князь Ипполит.

Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. Улыбка у него была не такая, как у других людей, сливающаяся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг, мгновенно исчезало серьезное и даже несколько

[1] «Общественный договор» Руссо
[2] Но, мой любезный мосье Пьер
[3] Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека
[4] Выскочка, что ни говорите

угрюмое лицо и являлось другое — детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощения.

Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали.

— Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг? — сказал князь Андрей. — Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется.

— Да, да, разумеется, — подхватил Пьер, обрадованный выступавшею ему подмогой.

— Нельзя не сознаться, — продолжал князь Андрей, — Наполеон как человек велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но... но есть другие поступки, которые трудно оправдать.

Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене.

Вдруг князь Ипполит поднялся и, знаками рук останавливая всех и прося присесть, заговорил:

— Ah! aujourd'hui on m'a raconté une anecdote moscovite, charmante: il faut que je vous en régale. Vous m'excusez, vicomte, il faut que je raconte en russe. Autrement on ne sentira pas le sel de l'histoire[1].

И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились: так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории.

— В Moscou есть одна бариня, une dame. И она очень скупо. Ей нужно было иметь два valets de pied [2] за карета. И очень большой ростом. Это было ее вкусу. И она имела une femme de chambre[3], еще большой росту. Она сказала...

Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая.

— Она сказала... да, она сказала: «Девушка (à la femme de chambre), надень livrée и поедем со мной, за карета, faire des visites[4]».

Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатление. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись.

— Она поехала. Незапно сделалась сильный ветер. Девушка потеряла шляпа, и длинны волоса расчесались...

Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил:

— И весь свет узнал...

Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и

---

[1] Ах, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот; надо вас им попотчевать. Извините, виконт, я буду рассказывать по-русски; иначе пропадет вся соль анекдота

[2] лакея

[3] девушка

[4] ливрею... делать визит

другие оценили светскую любезность князя Ипполита, так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие, незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.

V

Поблагодарив Анну Павловну за ее charmante soirée[1], гости стали расходиться.

Пьер был неуклюж. Толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками, он, как говорится, не умел войти в салон и еще менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян. Вставая, он вместо своей шляпы захватил треугольную шляпу с генеральским плюмажем и держал ее, дергая султан, до тех пор, пока генерал не попросил возвратить ее. Но вся его рассеянность и неуменье войти в салон и говорить в нем выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианскою кротостью выражая прощение за его выходку, кивнула ему и сказала:

— Надеюсь увидеть вас еще, но надеюсь тоже, что вы перемените свои мнения, мой милый мсье Пьер, — сказала она.

Когда она сказала ему это, он ничего не ответил, только наклонился и показал всем еще раз свою улыбку, которая ничего не говорила, разве только вот что: «Мнения мнениями, а вы видите, какой я добрый и славный малый». И все и Анна Павловна невольно почувствовали это.

Князь Андрей вышел в переднюю и, подставив плечи лакею, накидывавшему ему плащ, равнодушно прислушивался к болтовне своей жены с князем Ипполитом, вышедшим тоже в переднюю. Князь Ипполит стоял возле хорошенькой беременной княгини и упорно смотрел прямо на нее в лорнет.

— Идите, Annette, вы простудитесь, — говорила маленькая княгиня, прощаясь с Анной Павловной. — C'est arrêté [2], — прибавила она тихо.

Анна Павловна уже успела переговорить с Лизой о сватовстве, которое она затевала между Анатолем и золовкой маленькой княгини.

— Я надеюсь на вас, милый друг, — сказала Анна Павловна тоже тихо, — вы напишете к ней и скажете мне, comment le père envisagera la chose. Au revoir[3], — и она ушла из передней.

Князь Ипполит подошел к маленькой княгине и, близко наклоняя к ней свое лицо, стал полушепотом что-то говорить ей.

Два лакея, один княгинин, другой его, дожидаясь, когда они кончат говорить, стояли с шалью и редингтотом и слушали их, непонятный им, французский говор с такими лицами, как будто они понимали, что говорится, но не хотели показывать этого. Княгиня, как всегда, говорила улыбаясь и слушала смеясь.

— Я очень рад, что не поехал к посланнику, — говорил князь Ипполит, — скука... Прекрасный вечер. Не правда ли, прекрасный?

— Говорят, что бал будет очень хорош, — отвечала княгиня, вздергивая с усиками губку. — Все красивые женщины общества будут там.

— Не все, потому что вас там не будет; не все, — сказал князь Ипполит, радостно смеясь, и, схватив шаль у лакея, даже толкнул его и стал надевать ее на

[1] обворожительный вечер

[2] Так решено

[3] как отец посмотрит на дело. До свидания

княгиню. От неловкости или умышленно (никто бы не мог разобрать этого) он долго не отпускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину.

Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты: так он казался усталым и сонным.

— Вы готовы? — спросил он жену, обходя ее взглядом.

Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него, по-новому, был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету.

— Princesse, au revoir[1], — крикнул он, путаясь языком так же, как и ногами.

Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты; муж ее оправлял саблю; князь Ипполит, под предлогом прислуживания, мешал всем.

— Па-звольте, сударь, — сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти.

— Я тебя жду, Пьер, — ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея.

Форейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся отрывисто, стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довезти до дому.

— Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, très bien, — сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. — Mais très bien. — Он поцеловал кончики своих пальцев. — Et tout à fait française[2].

Ипполит, фыркнув, засмеялся.

— Et savez-vous que vous êtes terrible avec votre petit air innocent, — продолжал виконт. — Je plains le pauvre mari, ce petit officier qui se donne des airs de prince régnant[3].

Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил:

— Et vous disiez, que les dames russes ne valaient pas les dames françaises. Il faut savoir s'y prendre[4].

Пьер, приехав вперед, как домашний человек, прошел в кабинет князя Андрея и тотчас же, по привычке, лег на диван, взял первую попавшуюся с полки книгу (это были Записки Цезаря) и принялся облокотившись, читать ее из середины.

— Что ты сделал с mademoiselle Шерер? Она теперь совсем заболеет, — сказал, входя в кабинет, князь Андрей и потирая маленькие белые ручки.

Пьер поворотился всем телом, так что диван заскрипел, обернул оживленное лицо к князю Андрею, улыбнулся и махнул рукой.

— Нет, этот аббат очень интересен, но только не так понимает дело... По-моему, вечный мир возможен, но я не умею, как это сказать... Но только не политическим равновесием.

Князь Андрей не интересовался, видимо, этими отвлеченными разговорами.

---

[1] Княгиня, до свидания

[2] Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила. Очень мила. И совсем, совсем француженка.

[3] А знаете ли, вы ужасны с вашим невинным видом. Я жалею бедного мужа, этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу.

[4] А вы говорили, что русские дамы не стоят французских. Надо уметь взяться

— Нельзя, mon cher[5], везде все говорить, что только думаешь. Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? — спросил князь Андрей после минутного молчания.

Пьер сел на диван, поджав под себя ноги.

— Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится.

— Но ведь надо на что-нибудь решиться? Отец твой ждет.

Пьер с десятилетнего возраста был послан с гувернером-аббатом за границу, где он пробыл до двадцатилетнего возраста. Когда он вернулся в Москву, отец отпустил аббата и сказал молодому человеку: «Теперь ты поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Я на все согласен. Вот тебе письмо к князю Василью, и вот тебе деньги. Пиши обо всем, я тебе во всем помóга». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Пьер потер себе лоб.

— Но он масон должен быть, — сказал он, разумея аббата, которого он видел на вечере.

— Все это бредни, — остановил его опять князь Андрей, — поговорим лучше о деле. Был ты в конной гвардии?..

— Нет, не был, но вот что мне пришло в голову, и я хотел вам сказать. Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... это нехорошо.

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.

— Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, — сказал он.

— Это-то и было бы прекрасно, — сказал Пьер.

Князь Андрей усмехнулся.

— Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет...

— Ну, для чего вы идете на войну? — спросил Пьер.

— Для чего? Я не знаю. Так надо. Кроме того, я иду... — Он остановился. — Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!

VI

В соседней комнате зашумело женское платье. Как будто очнувшись, князь Андрей встряхнулся, и лицо его приняло то же выражение, какое оно имело в гостиной Анны Павловны. Пьер спустил ноги с дивана. Вошла княгиня. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Князь Андрей встал, учтиво подвигая ей кресло.

— Отчего, я часто думаю, — заговорила она, как всегда, по-французски, поспешно и хлопотливо усаживаясь в кресло, — отчего Анет не вышла замуж? Как вы

[5] мой милый

все глупы, messieurs, что на ней не женились. Вы меня извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Какой вы спорщик, мсье Пьер!

— Я и с мужем вашим все спорю; не понимаю, зачем он хочет идти на войну, — сказал Пьер, без всякого стеснения (столь обыкновенного в отношениях молодого мужчины к молодой женщине) обращаясь к княгине.

Княгиня встрепенулась. Видимо, слова Пьера затронули ее за живое.

— Ах, вот я то же говорю! — сказала она. — Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны? Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно? Ну, вот вы будьте судьей. Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение. Все его так знают, так ценят. На днях у Апраксиных я слышала, как одна дама спрашивает: «C'est ça le fameux prince André?» Ma parole d'honneur! [1] — Она засмеялась. — Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом. Вы знаете, государь очень милостиво говорил с ним. Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить. Как вы думаете?

Пьер посмотрел на князя Андрея и, заметив, что разговор этот не нравился его другу, ничего не отвечал.

— Когда вы едете? — спросил он.

— Ah! ne me parlez pas de ce départ, ne m'en parlez pas. Je ne veux pas en entendre parler[2], — заговорила княгиня таким капризно-игривым тоном, каким она говорила с Ипполитом в гостиной и который так, очевидно, не шел к семейному кружку, где Пьер был как бы членом. — Сегодня, когда я подумала, что надо прервать все эти дорогие отношения... И потом, ты знаешь, André? — Она значительно мигнула мужу. — J'ai peur, j'ai peur! [3] — прошептала она, содрогаясь спиною.

Муж посмотрел на нее с таким видом, как будто он был удивлен, заметив, что кто-то еще, кроме его и Пьера, находился в комнате; однако с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене:

— Чего ты боишься, Лиза? Я не могу понять, — сказал он.

— Вот как все мужчины эгоисты; все, все эгоисты! Сам из-за своих прихотей, Бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну.

— С отцом и сестрой, не забудь, — тихо сказал князь Андрей.

— Все равно одна, без моих друзей... И хочет, чтоб я не боялась.

Тон ее уже был ворчливый, губка поднялась, придавая лицу не радостное, а зверское, беличье выражение. Она замолчала, как будто находя неприличным говорить при Пьере про свою беременность, тогда как в этом и состояла сущность дела.

— Все-таки я не понял, de quoi vous avez peur[4], — медлительно проговорил князь Андрей, не спуская глаз с жены.

Княгиня покраснела и отчаянно взмахнула руками.

— Non, André, je dis que vous avez tellement, tellement changé...[5]

---

[1] «Это известный князь Андрей?» Честное слово!

[2] Ах, не говорите мне про этот отъезд, не говорите! Я не хочу про это слышать

[3] Мне страшно! страшно!

[4] чего ты боишься

[5] Нет, Андрей, ты так переменился, так переменился...

— Твой доктор велит тебе раньше ложиться, — сказал князь Андрей. — Ты бы шла спать.

Княгиня ничего не сказала, и вдруг короткая с усиками губка задрожала; князь Андрей, встав и пожав плечами, прошел по комнате.

Пьер удивленно и наивно смотрел через очки то на него, то на княгиню и зашевелился, как будто он тоже хотел встать, но опять раздумал.

— Что мне за дело, что тут мсье Пьер, — вдруг сказала маленькая княгиня, и хорошенькое лицо ее вдруг распустилось в слезливую гримасу. — Я тебе давно хотела сказать, André: за что ты ко мне так переменился? Что я тебе сделала? Ты едешь в армию, ты меня не жалеешь. За что?

— Lise! — только сказал князь Андрей; но в этом слове были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих словах; но она торопливо продолжала:

— Ты обращаешься со мной, как с больною или с ребенком. Я все вижу. Разве ты такой был полгода назад?

— Lise, я прошу вас перестать, — сказал князь Андрей еще выразительнее.

Пьер, все более и более приходивший в волнение во время этого разговора, встал и подошел к княгине. Он, казалось, не мог переносить вида слез и сам готов был заплакать.

— Успокойтесь, княгиня. Вам это так кажется, потому что, я вас уверяю, я сам испытал... отчего... потому что... Нет, извините, чужой тут лишний... Нет, успокойтесь... Прощайте...

Князь Андрей остановил его за руку.

— Нет, постой, Пьер. Княгиня так добра, что не захочет лишить меня удовольствия провести с тобою вечер.

— Нет, он только о себе думает, — проговорила княгиня, не удерживая сердитых слез.

— Lise, — сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту ступень, которая показывает, что терпение истощено.

Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.

— Mon Dieu, mon Dieu! [1]— проговорила княгиня и, подобрав одною рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.

— Bonsoir, Lise[2], — сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку.

Друзья молчали. Ни тот, ни другой не начинал говорить. Пьер поглядывал на князя Андрея, князь Андрей потирал себе лоб своею маленькою ручкой.

— Пойдем ужинать, — сказал он со вздохом, вставая и направляясь к двери.

---

[1] Боже мой, Боже мой!

[2] Прощай, Лиза

Они вошли в изящно, заново, богато отделанную столовую. Все, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов. В середине ужина князь Андрей облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь на сердце и вдруг решающийся высказаться, с выражением нервного раздражения, в каком Пьер никогда еще не видал своего приятеля, начал говорить:

— Никогда, никогда не женись, мой друг; вот тебе мой совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно, а то ты ошибешься жестоко и непоправимо. Женись стариком, никуда не годным... А то пропадет все, что в тебе есть хорошего и высокого. Все истратится по мелочам. Да, да, да! Не смотри на меня с таким удивлением. Ежели ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено, все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с придворным лакеем и идиотом... Да что!..

Он энергически махнул рукой.

Пьер снял очки, отчего лицо его изменилось, еще более выказывая доброту, и удивленно глядел на друга.

— Моя жена, — продолжал князь Андрей, — прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, Боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым! Это я тебе одному и первому говорю, потому что я люблю тебя.

Князь Андрей, говоря это, был еще менее похож, чем прежде, на того Болконского, который, развалившись, сидел в креслах Анны Павловны и сквозь зубы, щурясь, говорил французские фразы. Его сухое лицо все дрожало нервическим оживлением каждого мускула; глаза, в которых прежде казался потушенным огонь жизни, теперь блестели лучистым, ярким блеском. Видно было, что чем безжизненнее казался он в обыкновенное время, тем энергичнее был он в минуты раздражения.

— Ты не понимаешь, отчего я это говорю, — продолжал он. — Ведь это целая история жизни. Ты говоришь, Бонапарте и его карьера, — сказал он, хотя Пьер и не говорил про Бонапарте. — Ты говоришь, Бонапарте; но Бонапарте, когда он работал, шаг за шагом шел к своей цели, он был свободен, у него ничего не было, кроме его цели, — и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной — и, как скованный колодник, теряешь всякую свободу. И все, что есть в тебе надежд и сил, все только тяготит и раскаянием мучает тебя. Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество — вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь. Je suis très aimable et très caustique[1], — продолжал князь Андрей, — и у Анны Павловны меня слушают. И это глупое общество, без которого не может жить моя жена, и эти женщины... Ежели бы ты только мог знать, что это такое toutes les femmes distinguées[2] и вообще женщины! Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во

[1] Я хороший болтун

[2] эти порядочные женщины

всем — вот женщины, когда они показываются так, как они есть. Посмотришь на них в свете, кажется, что что-то есть, а ничего, ничего, ничего! Да, не женись, душа моя, не женись, — кончил князь Андрей.

— Мне смешно, — сказал Пьер, — что вы себя, себя считаете неспособным, свою жизнь — испорченною жизнью. У вас все, все впереди. И вы...

Он не сказал, что вы, но уже тон его показывал, как высоко ценит он друга и как много ждет от него в будущем.

«Как он может это говорить!» — думал Пьер. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием — силы воли. Пьер всегда удивлялся способности князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми, его необыкновенной памяти, начитанности (он все читал, все знал, обо всем имел понятие) и больше всего его способности работать и учиться. Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, а силу.

В самых лучших, дружеских и простых отношениях лесть или похвала необходимы, как подмазка необходима для колес, чтобы они ехали.

— Je suis un homme fini[1], — сказал князь Андрей. — Что обо мне говорить? Давай говорить о тебе, — сказал он, помолчав и улыбнувшись своим утешительным мыслям. Улыбка эта в то же мгновение отразилась на лице Пьера.

— А обо мне что говорить? — сказал Пьер, распуская свой рот в беззаботную, веселую улыбку. — Что я такое? Je suis un bâtard! [2] — И он вдруг багрово покраснел. Видно было, что он сделал большое усилие, чтобы сказать это. — Sans nom, sans fortune...[3] — И что ж, право... — Но он не сказал, что право. — Я свободен пока, и мне хорошо. Я только никак не знаю, что мне начать. Я хотел серьезно посоветоваться с вами.

Князь Андрей добрыми глазами смотрел на него. Но во взгляде его, дружеском, ласковом, все-таки выражалось сознание своего превосходства.

— Ты мне дорог, особенно потому, что ты один живой человек среди всего нашего света. Тебе хорошо. Выбери, что хочешь; это все равно. Ты везде будешь хорош, но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и все...

— Que voulez-vous, mon cher, — сказал Пьер, пожимая плечами, — les femmes, mon cher, les femmes! [4]

— Не понимаю, — отвечал Андрей. — Les femmes comme il faut, это другое дело; но les femmes Курагина, les femmes et le vin[5], не понимаю!

Пьер жил у князя Василия Курагина и участвовал в разгульной жизни его сына Анатоля, того самого, которого для исправления собирались женить на сестре князя Андрея.

---

[1] Я конченый человек

[2] Незаконный сын!

[3] Без имени, без состояния...

[4] Что делать, женщины, мой друг, женщины!

[5] Порядочные женщины... женщины Курагина, женщины и вино

— Знаете что! — сказал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль, — серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

— Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?

— Честное слово!

Уже был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская петербургская, бессумрачная ночь. Пьер сел в извозчичью коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более он чувствовал невозможность заснуть в эту ночь, походившую более на вечер или на утро. Далеко было видно по пустым улицам. Доро́гой Пьер вспомнил, что у Анатоля Курагина нынче вечером должно было собраться обычное игорное общество, после которого обыкновенно шла попойка, кончавшаяся одним из любимых увеселений Пьера.

«Хорошо бы было поехать к Курагину», — подумал он. Но тотчас же он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.

Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И тотчас же ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова — такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения, уничтожая все его решения и предположения, часто приходили Пьеру. Он поехал к Курагину.

Подъехав к крыльцу большого дома у конногвардейских казарм, в котором жил Анатоль, он поднялся на освещенное крыльцо, на лестницу, и вошел в отворенную дверь. В передней никого не было; валялись пустые бутылки, плащи, калоши; пахло вином, слышался дальний говор и крик.

Игра и ужин уже кончились, но гости еще не разъезжались. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату, где стояли остатки ужина и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал тайком недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышалась возня, хохот, крики знакомых голосов и рев медведя. Человек восемь молодых людей толпились озабоченно около открытого окна. Трое возились с молодым медведем, которого один таскал на цепи, пугая им другого.

— Держу за Стивенса сто! — кричал один.

— Смотри не поддерживать! — кричал другой.

— Я за Долохова! — кричал третий. — Разними, Курагин.

— Ну, бросьте Мишку, тут пари.

— Одним духом, иначе проиграно, — кричал четвертый.

— Яков! Давай бутылку, Яков! — кричал сам хозяин, высокий красавец, стоявший посреди толпы в одной тонкой рубашке, раскрытой на средине груди. — Стойте, господа. Вот он, Петруша, милый друг, — обратился он к Пьеру.

Другой голос невысокого человека, с ясными голубыми глазами, особенно поражавший среди этих всех пьяных голосов своим трезвым выражением, закричал от окна:

— Иди сюда — разойми пари! — Это был Долохов, семеновский офицер, известный игрок и бретёр, живший вместе с Анатолем. Пьер улыбался, весело глядя вокруг себя.

— Ничего не понимаю. В чем дело? — спросил он.

— Стойте, он не пьян. Дай бутылку, — сказал Анатоль и, взяв со стола стакан, подошел к Пьеру.

— Прежде всего пей.

Пьер стал пить стакан за стаканом, исподлобья оглядывая пьяных гостей, которые опять столпились у окна, и прислушиваясь к их говору. Анатоль наливал ему вино и рассказывал, что Долохов держит пари с англичанином Стивенсом, моряком, бывшим тут, в том, что он, Долохов, выпьет бутылку рома, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами.

— Ну, пей же всю, — сказал Анатоль, подавая последний стакан Пьеру, — а то не пущу!

— Нет, не хочу, — сказал Пьер, отталкивая Анатоля, и подошел к окну.

Долохов держал за руку англичанина и ясно, отчетливо выговаривал условия пари, обращаясь преимущественно к Анатолю и Пьеру.

Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами. Ему было лет двадцать пять. Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден. Линии этого рта были замечательно тонко изогнуты. В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок, по одной с каждой стороны; и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица. Долохов был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля. Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он никогда не терял ясности головы. И Курагин и Долохов в то время были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга.

Бутылка рома была принесена; раму, не пускавшую сесть на наружный откос окна, выламывали два лакея, видимо, торопившиеся и робевшие от советов и криков окружавших господ.

Анатоль с своим победительным видом подошел к окну. Ему хотелось сломать что-нибудь. Он оттолкнул лакеев и потянул раму, но рама не сдавалась. Он разбил стекло.

— Ну-ка ты, силач, — обратился он к Пьеру.

Пьер взялся за перекладины, потянул и с треском где сломал, где выворотил дубовую раму.

— Всю вон, а то подумают, что я держусь, — сказал Долохов.

— Англичанин хвастает... а?.. хорошо?.. — говорил Анатоль.

— Хорошо, — сказал Пьер, глядя на Долохова, который, взяв в руки бутылку рома, подходил к окну, из которого виднелся свет неба и сливавшихся на нем утренней и вечерней зари.

Долохов с бутылкой рома в руке вскочил на окно.

— Слушать! — крикнул он, стоя на подоконнике и обращаясь в комнату. Все замолчали.

— Я держу пари (он говорил по-французски, чтоб его понял англичанин, и говорил не слишком хорошо на этом языке). Держу пари на пятьдесят империалов, хотите на сто? — прибавил он, обращаясь к англичанину.

— Нет, пятьдесят, — сказал англичанин.

— Хорошо, на пятьдесят империалов, — что я выпью бутылку рома всю, не отнимая ото рта, выпью, сидя за окном, вот на этом месте (он нагнулся и показал покатый выступ стены за окном), и не держась ни за что... Так?..

— Очень хорошо, — сказал англичанин.

Анатоль повернулся к англичанину и, взяв его за пуговицу фрака и сверху глядя на него (англичанин был мал ростом), начал по-английски повторять ему условия пари.

— Постой, — закричал Долохов, стуча бутылкой по окну, чтоб обратить на себя внимание. — Постой, Курагин; слушайте. Если кто сделает то же, то я плачу сто империалов. Понимаете?

Англичанин кивнул головой, не давая никак разуметь, намерен ли он или нет принять это новое пари. Анатоль не отпускал англичанина, и, несмотря на то, что тот, кивая, давал знать, что он все понял, Анатоль переводил ему слова Долохова по-английски. Молодой худощавый мальчик, лейб-гусар, проигравшийся в этот вечер, взлез на окно, высунулся и посмотрел вниз.

— Ууу! — проговорил он, глядя за окно на камень тротуара.

— Смирно! — закричал Долохов и сдернул с окна офицера, который, запутавшись шпорами, неловко спрыгнул в комнату.

Поставив бутылку на подоконник, чтобы было удобно достать ее, Долохов осторожно и тихо полез в окно. Спустив ноги и распершись обеими руками в края окна, он примерился, уселся, отпустил руки, подвинулся направо, налево и достал бутылку. Анатоль принес две свечки и поставил их на подоконник, хотя было уже совсем светло. Спина Долохова в белой рубашке и курчавая голова его были освещены с обеих сторон. Все столпились у окна. Англичанин стоял впереди. Пьер улыбался и ничего не говорил. Один из присутствующих, постарше других, с испуганным и сердитым лицом, вдруг продвинулся вперед и хотел схватить Долохова за рубашку.

— Господа, это глупости; он убьется до смерти, — сказал этот более благоразумный человек.

Анатоль остановил его.

— Не трогай, ты его испугаешь, он убьется. А?.. Что тогда?.. А?..

Долохов обернулся, поправляясь и опять распершись руками.

— Ежели кто ко мне еще будет соваться, — сказал он, редко пропуская слова сквозь стиснутые и тонкие губы, — я того сейчас спущу вот сюда. Ну!..

Сказав «ну!», он повернулся опять, отпустил руки, взял бутылку и поднес ко рту, закинул назад голову и вскинул кверху свободную руку для перевеса. Один из лакеев, начавший подбирать стекла, остановился в согнутом положении, не спуская глаз с окна и спины Долохова. Анатоль стоял прямо, разинув глаза. Англичанин, выпятив вперед губы, смотрел сбоку. Тот, который останавливал, убежал в угол комнаты и лег на диван лицом к стене. Пьер закрыл лицо, и слабая улыбка, забывшись, осталась на его лице, хоть оно теперь выражало ужас и страх. Все молчали. Пьер отнял от глаз руки. Долохов сидел все в том же положении, только голова загнулась назад, так что курчавые волосы затылка прикасались к воротнику рубахи, и рука с бутылкой поднималась все выше и выше, содрогаясь и делая усилие. Бутылка видимо опорожнялась и с тем вместе поднималась, загибая голову. «Что же это так долго?» — подумал Пьер. Ему казалось, что прошло больше получаса. Вдруг Долохов сделал движение назад спиной, и рука его нервически задрожала; этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидевшее на покатом откосе. Он сдвинулся весь, и еще сильнее задрожали, делая усилие, рука и голова его. Одна рука поднялась, чтобы схватиться за подоконник, но опять опустилась. Пьер опять закрыл глаза и сказал себе, что никогда уж не откроет их. Вдруг он почувствовал, что все вокруг зашевелилось. Он взглянул: Долохов стоял на подоконнике, лицо его было бледно и весело.

— Пуста!

Он кинул бутылку англичанину, который ловко поймал ее. Долохов спрыгнул с окна. От него сильно пахло ромом.

— Отлично! Молодцом! Вот так пари! Черт вас возьми совсем! — кричали с разных сторон.

Англичанин, достав кошелек, отсчитывал деньги. Долохов хмурился и молчал. Пьер вскочил на окно.

— Господа! Кто хочет со мною пари? Я то же сделаю, — вдруг крикнул он. — И пари не нужно, вот что. Вели дать бутылку. Я сделаю... вели дать.

— Пускай, пускай! — сказал Долохов, улыбаясь.

— Что ты, с ума сошел? Кто тебя пустит? У тебя и на лестнице голова кружится, — заговорили с разных сторон.

— Я выпью, давай бутылку рома! — закричал Пьер, решительным и пьяным жестом ударяя по столу, и полез в окно.

Его схватили за руки; но он был так силен, что далеко оттолкнул того, кто приблизился к нему.

— Нет, его так не уломаешь ни за что, — говорил Анатоль, — постойте, я его обману. Послушай, я с тобой держу пари, но завтра, а теперь мы все едем к ***.

— Едем, — закричал Пьер, — едем!.. И Мишку с собой берем...

И он ухватил медведя и, обняв и подняв его, стал кружиться с ним по комнате.

VII

Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардии Семеновский полк прапорщиком. Но адъютантом или состоящим при Кутузове Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву, прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10-го августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивилов.

У Ростовых были именинницы Натальи — мать и меньшая дочь. С утра не переставая подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому, всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшею дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной.

Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет сорока пяти, видимо, изнуренная детьми, которых у ней было двенадцать человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду.

— Очень, очень вам благодарен, ma chère или mon cher[1] (ma chère или mon cher он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его стоявшим людям), за себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать. Вы меня обидите, mon cher. Душевно прошу вас от всего семейства, ma chère. — Эти слова с одинаким выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые были еще в гостиной; придвинув кресла и с видом человека, любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колена руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанности человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на восемьдесят кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, раздвигавших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил:

[1] милая или милый

— Ну, ну, Митенька, смотри, чтобы все было хорошо. Так, так, — говорил он, с удовольствием оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то... — И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.

— Марья Львовна Карагина с дочерью! — басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа.

— Замучили меня эти визиты, — сказала она. — Ну, уж ее последнюю приму. Чопорна очень. Проси, — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила: «Ну, уж добивайте».

Высокая, полная, с гордым видом дама с круглолицею улыбающеюся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную.

— Chère comtesse, il y a si longtemps... elle a été alitée, la pauvre enfant... au bal des Razoumovsky... et la comtesse Apraksine... j'ai été si heureuse...[1] — послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и придвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить: «Je suis bien charmée; la santé de maman... et la comtesse Apraksine»[2], — и опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени — о болезни известного богача и красавца екатерининского времени старого графа Безухова и о его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер.

— Я очень жалею бедного графа, — говорила гостья, — здоровье его и так было плохо, а теперь это огорченье от сына. Это его убьет!

— Что такое? — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз пятнадцать уже слышала причину огорчения графа Безухова.

— Вот нынешнее воспитание! Еще за границей, — продолжала гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе, и теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда.

— Скажите! — сказала графиня.

— Он дурно выбирал свои знакомства, — вмешалась княгиня Анна Михайловна. — Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, Бог знает что делали. И оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатоля Курагина — того отец как-то замял. Но выслали-таки из Петербурга.

— Да что бишь они сделали? — спросила графиня.

— Это совершенные разбойники, особенно Долохов, — говорила гостья. — Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить; они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь плавает, а квартальный на нем.

---

[1] Уж так давно... Графиня... Больна была бедняжка... на бале Разумовских... графиня Апраксина... я так была рада...

[2] Очень, очень рада... здоровье мама... графиня Апраксина

— Хороша, ma chère, фигура квартального, — закричал граф, помирая со смеху.

— Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?

Но дамы невольно смеялись и сами.

— Насилу спасли этого несчастного, — продолжала гостья. — И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется! — прибавила она. — А говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась: у меня дочери.

— Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат? — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают. — Ведь у него только незаконные дети. Кажется... и Пьер незаконный.

Гостья махнула рукой.

— У него их двадцать незаконных, я думаю. Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.

— Вот в чем дело, — сказала она значительно и тоже полушепотом. — Репутация графа Кирилла Владимировича известна... Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был.

— Как старик был хорош, — сказала графиня, — еще прошлого года! Красивее мужчины я не видывала.

— Теперь очень переменился, — сказала Анна Михайловна. — Так я хотела сказать, — продолжала она, — по жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... так что никто не знает, ежели он умрет (он так плох, что этого ждут каждую минуту, и Lorrain приехал из Петербурга), кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю, — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.

— Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили, — сказала гостья.

— Да, но entre nous[1], — сказала княгиня, — это предлог, он приехал, собственно, к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох.

— Однако, ma chère, это славная штука, — сказал граф и, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням: — Хороша фигура была у квартального, я воображаю.

И он, представив, как махал руками квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие. — Так, пожалуйста же, обедать к нам, — сказал он.

[1] между нами

VIII

Наступило молчание. Графиня глядела на гостью, приятно улыбаясь, впрочем, не скрывая того, что не огорчится теперь нисколько, если гостья поднимется и уедет. Дочь гостьи уже оправляла платье, вопросительно глядя на мать, как вдруг из соседней комнаты послышался бег к двери нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула, и в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко. В дверях в ту же минуту показались студент с малиновым воротником, гвардейский офицер, пятнадцатилетняя девочка и толстый румяный мальчик в детской курточке.

Граф вскочил и, раскачиваясь, широко расставил руки вокруг вбежавшей девочки.

— А, вот она! — смеясь, закричал он. — Именинница! Ma chère именинница!

— Ma chère, il y a un temps pour tout[1], — сказала графиня, притворяясь строгою. — Ты ее все балуешь, Elie, — прибавила она мужу.

— Bonjour, ma chère, je vous félicite, — сказала гостья. — Quelle délicieuse enfant! [2] — прибавила она, обращаясь к матери.

Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Вывернувшись от отца, она подбежала к матери и, не обращая никакого внимания на ее строгое замечание, спрятала свое раскрасневшееся лицо в кружевах материной мантильи и засмеялась. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки.

— Видите?.. Кукла... Мими... Видите.

И Наташа не могла больше говорить (ей все смешно казалось). Она упала на мать и расхохоталась так громко и звонко, что все, даже чопорная гостья, против воли засмеялись.

— Ну, поди, поди с своим уродом! — сказала мать, притворно сердито отталкивая дочь. — Это моя меньшая, — обратилась она к гостье.

Наташа, оторвав на минуту лицо от кружевной косынки матери, взглянула на нее снизу сквозь слезы смеха и опять спрятала лицо.

Гостья, принужденная любоваться семейною сценой, сочла нужным принять в ней какое-нибудь участие.

— Скажите, моя милая, — сказала она, обращаясь к Наташе, — как же вам приходится эта Мими? Дочь, верно?

Наташе не понравился тон снисхождения до детского разговора, с которым гостья обратилась к ней. Она ничего не ответила и серьезно посмотрела на гостью.

Между тем все это молодое поколение: Борис — офицер, сын княгини Анны Михайловны, Николай — студент, старший сын графа, Соня — пятнадцатилетняя племянница графа, и маленький Петруша — меньшой сын, — все разместились в

[1] Милая, на все есть время

[2] Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас... Какое прелестное дитя

гостиной и, видимо, старались удержать в границах приличия оживление и веселость, которыми еще дышала каждая их черта. Видно было, что там, в задних комнатах, откуда они все так стремительно прибежали, у них были разговоры веселее, чем здесь о городских сплетнях, погоде и comtesse Apraksine[1]. Изредка они взглядывали друг на друга и едва удерживались от смеха.

Два молодых человека, студент и офицер, друзья с детства, были одних лет и оба красивы, но не похожи друг на друга. Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица. Николай был невысокий курчавый молодой человек с открытым выражением лица. На верхней губе его уже показывались черные волосики, и во всем лице выражались стремительность и восторженность. Николай покраснел, как только вошел в гостиную. Видно было, что он искал и не находил, что сказать; Борис, напротив, тотчас же нашелся и рассказал спокойно, шутливо, как эту Мими, куклу, он знал еще молодою девицей с не испорченным еще носом, как она в пять лет на его памяти состаре́лась и как у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу. Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха, и, не в силах более удерживаться, прыгнула и побежала из комнаты так скоро, как только могли нести ее быстрые ножки. Борис не рассмеялся.

— Вы, кажется, тоже хотели ехать, maman? Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.

— Да, поди, поди, вели приготовить, — сказала она, улыбаясь.

Борис вышел тихо в двери и пошел за Наташей; толстый мальчик сердито побежал за ними, как будто досадуя на расстройство, происшедшее в его занятиях.

IX

Из молодежи, не считая старшей дочери графини (которая была четырьмя годами старше сестры и держала себя уже как большая) и гостьи-барышни, в гостиной остались Николай и Соня-племянница. Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка с мягким, отененным длинными ресницами взглядом, густою черною косою, два раза обвивавшею ее голову, и желтоватым оттенком кожи на лице и в особенности на обнаженных худощавых, но грациозных мускулистых руках и шее. Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой она напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой. Она, видимо, считала приличным выказывать улыбкой участие к общему разговору; но против воли ее глаза из-под длинных густых ресниц смотрели на уезжающего в армию cousin с таким девическим страстным обожанием, что улыбка ее не могла ни на мгновение обмануть никого, и видно было, что кошечка присела только для того, чтоб еще энергичнее прыгнуть и заиграть с своим cousin, как скоро только они так же, как Борис с Наташей, выберутся из этой гостиной.

[1] графине Апраксиной

— Да, ma chère, — сказал старый граф, обращаясь к гостье и указывая на своего Николая. — Вот его друг Борис произведен в офицеры, и он из дружбы не хочет отставать от него; бросает и университет, и меня, старика: идет в военную службу, ma chère. А уж ему место в архиве было готово, и все. Вот дружба-то? — сказал граф вопросительно.

— Да, ведь война, говорят, объявлена, — сказала гостья.

— Давно говорят, — сказал граф. — Опять поговорят, поговорят, да так и оставят. Ma chère, вот дружба-то! — повторил он. — Он идет в гусары.

Гостья, не зная, что сказать, покачала головой.

— Совсем не из дружбы, — отвечал Николай, вспыхнув и отговариваясь, как будто от постыдного на него наклепа. — Совсем не дружба, а просто чувствую призвание к военной службе.

Он оглянулся на кузину и на гостью-барышню: обе смотрели на него с улыбкой одобрения.

— Нынче обедает у нас Шуберт, полковник Павлоградского гусарского полка. Он был в отпуску здесь и берет его с собой. Что делать? — сказал граф, пожимая плечами и говоря шуточно о деле, которое, видимо, стоило ему много горя.

— Я уж вам говорил, папенька, — сказал сын, — что, ежели вам не хочется меня отпустить, я останусь. Но я знаю, что никуда не гожусь, кроме как в военную службу; я не дипломат, не чиновник, не умею скрывать того, что чувствую, — говорил он, все поглядывая с кокетством красивой молодости на Соню и гостью-барышню.

Кошечка, впиваясь в него глазами, казалась каждую секунду готовою заиграть и выказать всю свою кошечью натуру.

— Ну, ну, хорошо! — сказал старый граф. — Все горячится. Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры. Что ж, дай Бог, — прибавил он, не замечая насмешливой улыбки гостьи.

Большие заговорили о Бонапарте. Жюли, дочь Карагиной, обратилась к молодому Ростову:

— Как жаль, что вас не было в четверг у Архаровых. Мне скучно было без вас, — сказала она, нежно улыбаясь ему.

Польщенный молодой человек с кокетливой улыбкой молодости ближе пересел к ней и вступил с улыбающеюся Жюли в отдельный разговор, совсем не замечая того, что эта его невольная улыбка ножом ревности резала сердце красневшей и притворно улыбавшейся Сони. В середине разговора он оглянулся на нее. Соня страстно-озлобленно взглянула на него и, едва удерживая на глазах слезы, а на губах притворную улыбку, встала и вышла из комнаты. Все оживление Николая исчезло. Он выждал первый перерыв разговора и с расстроенным лицом вышел из комнаты отыскивать Соню.

— Как секреты-то этой всей молодежи шиты белыми нитками! — сказала Анна Михайловна, указывая на выходящего Николая. — Cousinage dangereux voisinage[1], — прибавила она.

[1] Беда — двоюродные братцы и сестрицы

— Да, — сказала графиня, после того как луч солнца, проникнувший в гостиную вместе с этим молодым поколением, исчез, и как будто отвечая на вопрос, которого никто ей не делал, но который постоянно занимал ее. — Сколько страданий, сколько беспокойств перенесено за то, чтобы теперь на них радоваться! А и теперь, право, больше страха, чем радости. Все боишься, все боишься! Именно тот возраст, в котором так много опасностей и для девочек, и для мальчиков.

— Все от воспитания зависит, — сказала гостья.

— Да, ваша правда, — продолжала графиня. — До сих пор я была, слава Богу, другом своих детей и пользуюсь полным их доверием, — говорила графиня, повторяя заблуждение многих родителей, полагающих, что у детей их нет тайн от них. — Я знаю, что я всегда буду первою confidente[1] моих дочерей и что Николенька, по своему пылкому характеру, ежели будет шалить (мальчику нельзя без этого), то все не так, как эти петербургские господа.

— Да, славные, славные ребята, — подтвердил граф, всегда разрешавший запутанные для него вопросы тем, что все находил славным. — Вот подите! Захотел в гусары! Да вот, что вы хотите, ma chère!

— Какое милое существо ваша меньшая! — сказала Гостья. — Порох!

— Да, порох, — сказал граф. — В меня пошла! И какой голос: хоть и моя дочь, а я правду скажу, певица будет, Саломони другая. Мы взяли итальянца ее учить.

— Не рано ли? Говорят, вредно для голоса учиться в эту пору.

— О нет, какой рано! — сказал граф. — Как же наши матери выходили в двенадцать-тринадцать лет замуж?

— Уж она и теперь влюблена в Бориса! Какова? — сказала графиня, тихо улыбаясь, глядя на мать Бориса и, видимо, отвечая на мысль, всегда ее занимавшую, продолжала: — Ну, вот видите, держи я ее строго, запрещай я ей... Бог знает, что бы они делали потихоньку (графиня разумела, они целовались бы), а теперь я знаю каждое ее слово. Она сама вечером прибежит и все мне расскажет. Может быть, я балую ее, но, право, это, кажется, лучше. Я старшую держала строго.

— Да, меня совсем иначе воспитывали, — сказала старшая, красивая графиня Вера, улыбаясь.

Но улыбка не украсила лица Веры, как это обыкновенно бывает; напротив, лицо ее стало неестественно и оттого неприятно. Старшая, Вера, была хороша, была неглупа, училась прекрасно, была хорошо воспитана, голос у нее был приятный, то, что она сказала, было справедливо и уместно; но, странное дело, все, и гостья и графиня, оглянулись на нее, как будто удивились, зачем она это сказала, и почувствовали неловкость.

— Всегда с старшими детьми мудрят, хотят сделать что-нибудь необыкновенное, — сказала гостья.

— Что греха таить: ma chère! Графинюшка мудрила с Верой, — сказал граф. — Ну, да что ж! Все-таки славная вышла, — прибавил он, одобрительно подмигивая Вере.

Гостьи встали и уехали, обещаясь приехать к обеду.

— Что за манера! Уж сидели, сидели! — сказала графиня, проводя гостей.

---

[1] советницей

X

Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, сбиралась было заплакать оттого, что он не сейчас шел, когда заслышались не тихие, не быстрые, приличные шаги молодого человека. Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась.

Борис остановился посреди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала.

— Пускай ищет, — сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что-то злобно шепчущая. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой-невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай.

— Соня! что с тобою? можно ли это? — сказал Николай, подбегая к ней.

— Ничего, ничего, оставьте меня! — Соня зарыдала.

— Нет, я знаю что.

— Ну знаете, и прекрасно, и подите к ней.

— Сооооня! одно слово! Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии? — говорил Николай, взяв ее за руку.

Соня не вырывала у него руки и перестала плакать.

Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими глазами смотрела из своей засады. «Что теперь будет?» — думала она.

— Соня! мне весь мир не нужен! Ты одна для меня все, — говорил Николай. — Я докажу тебе.

— Я не люблю, когда ты так говоришь.

— Ну, не буду, ну прости, Соня! — Он притянул ее к себе и поцеловал.

«Ах, как хорошо!» — подумала Наташа, и когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса.

— Борис, подите сюда, — сказала она с значительным и хитрым видом. — Мне нужно сказать вам одну вещь. Сюда, сюда, — сказала она и провела его в цветочную на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею.

— Какая же это одна вещь? — спросил он.

Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на кадке свою куклу, взяла ее в руки.

— Поцелуйте куклу, — сказала она.

Борис внимательным, ласковым взглядом смотрел в ее оживленное лицо и ничего не отвечал.

— Не хотите? Ну, так подите сюда, — сказала она и глубже ушла в цветы и бросила куклу. — Ближе, ближе! — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжественность и страх.

— А меня хотите поцеловать? — прошептала она чуть слышно, исподлобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волнения.

Борис покраснел.

— Какая вы смешная! — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснея, но ничего не предпринимая и выжидая.

Она вдруг вскочила на кадку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи, и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы.

Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась.

— Наташа, — сказал он, — вы знаете, что я люблю вас, но...

— Вы влюблены в меня? — перебила его Наташа.

— Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас... еще четыре года... Тогда я буду просить вашей руки.

Наташа подумала.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... — сказала она, считая по тоненьким пальчикам. — Хорошо! Так кончено?

И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.

— Кончено! — сказал Борис.

— Навсегда? — сказала девочка. — До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.

XI

Графиня так устала от визитов, что не велела принимать больше никого, и швейцару приказано было только звать непременно кушать всех, кто будет еще приезжать с поздравлениями. Графине хотелось с глазу на глаз поговорить с другом своего детства, княгиней Анной Михайловной, которую она не видала хорошенько с ее приезда из Петербурга. Анна Михайловна, с своим исплаканным и приятным лицом, подвинулась ближе к креслу графини.

— С тобой я буду совершенно откровенна, — сказала Анна Михайловна. — Уж мало нас осталось, старых друзей! От этого я так и дорожу твоею дружбой.

Анна Михайловна посмотрела на Веру и остановилась. Графиня пожала руку своему другу.

— Вера, — сказала графиня, обращаясь к старшей дочери, очевидно, нелюбимой. — Как у вас ни на что понятия нет? Разве ты не чувствуешь, что ты здесь лишняя? Поди к сестрам, или...

Красивая Вера презрительно улыбнулась, видимо, не чувствуя ни малейшего оскорбления.

— Ежели бы вы мне сказали давно, маменька, я бы тотчас ушла, — сказала она и пошла в свою комнату. Но, проходя мимо диванной, она заметила, что в ней у двух окошек симметрично сидели две пары. Она остановилась и презрительно улыбнулась. Соня сидела близко подле Николая, который переписывал ей стихи, в первый раз сочиненные им. Борис с Наташей сидели у другого окна и замолчали, когда вошла Вера. Соня и Наташа с виноватыми и счастливыми лицами взглянули на Веру.

Весело и трогательно было смотреть на этих влюбленных девочек, но вид их, очевидно, не возбуждал в Вере приятного чувства.

— Сколько раз я вас просила, — сказала она, — не брать моих вещей, у вас есть своя комната. — Она взяла от Николая чернильницу.

— Сейчас, сейчас, — сказал он, макая перо.

— Вы все умеете делать не вовремя, — сказала Вера. — То прибежали в гостиную, так что всем совестно сделалось за вас.

Несмотря на то, или именно потому, что сказанное ею было совершенно справедливо, никто ей не отвечал, и все четверо только переглядывались между собой. Она медлила в комнате с чернильницей в руке.

— И какие могут быть в ваши года секреты между Наташей и Борисом и между вами, — все одни глупости.

— Ну, что тебе за дело, Вера? — тихоньким голоском, заступнически проговорила Наташа.

Она, видимо, была ко всем еще более, чем всегда, в этот день добра и ласкова.

— Очень глупо, — сказала Вера, — мне совестно за вас. Что за секреты?..

— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем, — сказала Наташа, разгорячась.

— Я думаю, не трогаете, — сказала Вера, — потому что в моих поступках никогда ничего не может быть дурного. А вот я маменьке скажу, как ты с Борисом обходишься.

Наталья Ильинишна очень хорошо со мной обходится, — сказал Борис. — Я не могу жаловаться, — сказал он.

— Оставьте, Борис, вы такой дипломат (слово дипломат было в большом ходу у детей в том особом значении, какое они придавали этому слову); даже скучно, — сказала Наташа оскорбленным, дрожащим голосом. — За что она ко мне пристает?

— Ты этого никогда не поймешь, — сказала она, обращаясь к Вере, — потому что ты никогда никого не любила; у тебя сердца нет, ты только madame de Genlis (это прозвище, считавшееся очень обидным, было дано Вере Николаем), и твое первое удовольствие — делать неприятности другим. Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь, — проговорила она скоро.

— Да уж я, верно, не стану перед гостями бегать за молодым человеком...

— Ну, добилась своего, — вмешался Николай, — наговорила всем неприятностей, расстроила всех. Пойдемте в детскую.

Все четверо, как спугнутая стая птиц, поднялись и пошли из комнаты.

— Мне наговорили неприятностей, а я никому ничего, — сказала Вера.

— Madame de Genlis! Madame de Genlis! — проговорили смеющиеся голоса из-за двери.

Красивая Вера, производившая на всех такое раздражающее, неприятное действие, улыбнулась и, видимо, не затронутая тем, что ей было сказано, подошла к зеркалу и оправила шарф и прическу: глядя на свое красивое лицо, она стала, по-видимому, еще холоднее и спокойнее.

В гостиной продолжался разговор.

— Ah! chère, — говорила графиня, — и в моей жизни tout n'est pas rose. Разве я не вижу, что du train que nous allons[1] нашего состояния нам ненадолго. И все это клуб и его доброта. В деревне мы живем, разве мы отдыхаем? Театры, охоты и Бог знает что. Да что обо мне говорить! Ну, как же ты это все устроила? Я часто на тебя удивляюсь, Annette, как это ты, в твои годы, скачешь в повозке одна, в Москву, в Петербург, ко всем министрам, ко всей знати, со всеми умеешь обойтись, удивляюсь! Ну, как же это устроилось? Вот я ничего этого не умею.

— Ах, душа моя! — отвечала княгиня Анна Михайловна. — Не дай Бог тебе узнать, как тяжело остаться вдовой без подпоры и с сыном, которого любишь до обожания. Всему научишься, — продолжала она с некоторой гордостью. — Процесс мой меня научил. Ежели мне нужно видеть кого-нибудь из этих тузов, я пишу записку: «Princesse une telle[2] желает видеть такого-то» — и еду сама на извозчике, хоть два, хоть три раза, хоть четыре — до тех пор, пока не добьюсь того, что мне надо. Мне все равно, что бы обо мне ни думали.

— Ну, как же, кого ты просила о Бореньке? — спросила графиня. — Ведь вот твой уж офицер гвардии, а Николушка идет юнкером. Некому похлопотать. Ты кого просила?

— Князя Василия. Он был очень мил. Сейчас на все согласился, доложил государю, — говорила княгиня Анна Михайловна с восторгом, совершенно забыв все унижение, через которое она прошла для достижения своей цели.

— Что он, постарел, князь Василий? — спросила графиня. — Я его не видала с наших театров у Румянцевых. И думаю, забыл про меня. Il me faisait la cour[3], — вспомнила графиня с улыбкой.

— Все такой же, — отвечала Анна Михайловна, — любезен, рассыпается. Les grandeurs ne lui ont pas tourné la tête du tout[4]. «Я жалею, что слишком мало могу вам сделать, милая княгиня, — он мне говорит, — приказывайте». Нет, он славный человек и родной прекрасный. Но ты знаешь, Nathalie, мою любовь к сыну. Я не знаю, чего я не сделала бы для его счастия. А обстоятельства мои до того дурны, — продолжала Анна Михайловна с грустью и понижая голос, — до того дурны, что я теперь в самом ужасном положении. Мой несчастный процесс съедает все, что я имею, и не подвигается. У меня нет, можешь себе представить, à la lettre[5] нет гривенника денег, и я не знаю, на что обмундировать Бориса. — Она вынула платок и заплакала. — Мне нужно пятьсот рублей, а у меня одна двадцатипятирублевая

---

[1] не все розы... при нашем образе жизни

[2] Княгиня такая-то

[3] Он за мной волочился

[4] Почести не изменили его

[5] иногда

бумажка. Я в таком положении... Одна моя надежда теперь на графа Кирилла Владимировича Безухова. Ежели он не захочет поддержать своего крестника, — ведь он крестил Борю, — и назначить ему что-нибудь на содержание, то все мои хлопоты пропадут: мне не на что будет обмундировать его.

Графиня прослезилась и молча соображала что-то...

— Часто думаю, может, это и грех, — сказала княгиня, — а часто думаю: вот граф Кирилл Владимирович Безухов живет один... это огромное состояние... и для чего живет? Ему жизнь в тягость, а Боре только начинать жить.

— Он, верно, оставит что-нибудь Борису, — сказала графиня.

— Бог знает, chère amie! [1] Эти богачи и вельможи такие эгоисты. Но я все-таки поеду сейчас к нему с Борисом и прямо скажу, в чем дело. Пускай обо мне думают, что хотят, мне, право, все равно, когда судьба сына зависит от этого. — Княгиня поднялась. — Теперь два часа, а в четыре часа вы обедаете. Я успею съездить.

И с приемами петербургской деловой барыни, умеющей пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.

— Прощай, душа моя, — сказала она графине, которая провожала ее до двери, — пожелай мне успеха, — прибавила она шепотом от сына.

— Вы к графу Кириллу Владимировичу, та chère? — сказал граф из столовой, выходя тоже в переднюю. — Коли ему лучше, зовите Пьера ко мне обедать. Ведь он у меня бывал, с детьми танцевал. Зовите непременно, ma chère. Ну, посмотрим, как-то отличится нынче Тарас. Говорит, что у графа Орлова такого обеда не бывало, какой у нас будет.

XII

— Mon cher Boris[2], — сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухова. — Mon cher Boris, — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого салопа и робким и ласковым движением кладя ее на руку сына, — будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, mon cher[3], будь мил, как ты умеешь быть...

— Ежели бы я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения... — отвечал сын холодно. — Но я обещал вам и делаю это для вас.

Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном (которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между рядами статуй в нишах), значительно посмотрев на старенький салоп, спросил, кого им угодно, княжон или графа, и, узнав, что графа, сказал, что их сиятельству нынче хуже и их сиятельство никого не принимают.

— Мы можем уехать, — сказал сын по-французски.

— Mon ami! [4] — сказала мать умоляющим голосом, опять дотрагиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его.

Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать.

---

[1] мой друг!

[2] Боренька

[3] милый дружок

[4] Мой дружок!

— Голубчик, — нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, — я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен... я затем и приехала... я родственница... Я не буду беспокоить, голубчик... А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича: ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста.

Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся.

— Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу, — крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке.

Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене и бодро, в своих стоптанных башмаках, пошла вверх по ковру лестницы.

— Mon cher, vous m'avez promis[1], — обратилась она опять к сыну, прикосновением руки возбуждая его.

Сын, опустив глаза, спокойно шел за нею.

Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покои, отведенные князю Василью.

В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке, с одною звездой, по-домашнему, вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Lorrain.

— C'est donc positif? [2] — говорил князь.

— Mon prince, «errare humanum est», mais...[3] — отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором.

— C'est bien, c'est bien...[4]

Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери, и слегка улыбнулся.

— Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь... Ну, что наш дорогой больной? — сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда.

Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса, Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, которое означало самую плохую надежду для больного.

— Неужели? — воскликнула Анна Михайловна. — Ах, это ужасно! Страшно подумать... Это мой сын, — прибавила она, указывая на Бориса. — Он сам хотел благодарить вас.

Борис еще раз учтиво поклонился.

— Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

---

[1] Мой друг, ты мне обещал

[2] И это верно?

[3] Князь, «человеку свойственно ошибаться»...

[4] Хорошо, хорошо...

Я рад, что смог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, — сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, пред покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо бóльшую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.

— Старайтесь служить хорошо и быть достойным, — прибавил он, строго обращаясь к Борису. — Я рад... Вы здесь в отпуску? — продиктовал он своим бесстрастным тоном.

— Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, — отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.

— Вы живете с матушкой?

— Я живу у графини Ростовой, — сказал Борис, опять прибавив, — ваше сиятельство.

— Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, — сказала Анна Михайловна.

— Знаю, знаю, — сказал князь Василий своим монотонным голосом. — Je n'ai jamais pu concevoir comment Nathalie s'est décidée à épouser cet ours mal léché! Un personnage complètement stupide et ridicule. Et joueur à ce qu'on dit[1].

— Mais très brave homme, mon prince[2], — заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика.

— Что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.

— Мало надежды, — сказал князь.

— А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Боре. C'est son filleul[3], — прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухова. Она поспешила успокоить его.

— Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, — сказала она, с особенною уверенностию и небержностию выговаривая это слово, — я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем... Они еще молоды... — Она наклонила голову и прибавила шепотом: — Исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы, женщины, князь, — она нежно улыбнулась, — всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

---

[1] Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят

[2] Но добрый человек, князь

[3] Это его крестник

— Не было бы тяжело ему свидание, chère Анна Михайловна, — сказал он. — Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

— Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il y va du salut de son âme... Ah! c'est terrible, les devoirs d'un chrétien...[1]

Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон — племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.

— Ну, что он?

— Все то же. И как вы хотите, этот шум... — сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.

— Ah, chère, je ne vous reconnaissais pas[2], — с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. — Je viens d'arriver et je suis à vous pour vous aider à soigner mon oncle. J'imagine combien vous avez souffert[3], — прибавила она, с участием закатывая глаза.

Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя.

— Борис! — сказала она сыну и улыбнулась. — Я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покамест, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? — обратилась она к князю.

— Напротив, — сказал князь, видимо сделавшийся не в духе. — Je serais très content si vous me débarrassez de ce jeune homme...[4] Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.

XIII

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и действительно был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связыванье квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он все-таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжон, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень

[1] Подумайте, дело идет о спасении его души. Ах! Это ужасно, долг христианина...

[2] Ах, милая, я вас и не узнала

[3] Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались.

[4] Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека.

красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен, как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящей сценой, забавность которой она предвидела. Она протянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

— Bonjour, ma cousine, — сказал Пьер. — Vous ne me reconnaissez pas? [1]

— Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.

— Как здоровье графа? Могу я видеть его? — спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.

— Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

— Могу я видеть графа? — повторил Пьер.

— Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, — прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты, и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только его расстроиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

— Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.

Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.

На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

— Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme à Pétersbourg, vous finirez très mal; c'est tout ce que je vous dis [2]. Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

— L'Angleterre a vécu[3] , — проговорил он нахмуриваясь и указывая на кого-то пальцем. — Monsieur Pitt comme traître à la nation et au droit des gens est condamné à...[4] — Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па-де-Кале и завоевав Лондон, — как увидел входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним

[1] Здравствуйте, кузина. Вы меня не узнаете?

[2] Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; это верно

[3] Англии конец... Конец!

[4] Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к...

мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.

— Вы меня помните? — спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. — Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

— Да, кажется, нездоров. Его всё тревожат, — отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.

Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.

— Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, — сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.

— А! Граф Ростов! — радостно заговорил Пьер. — Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили с m-me Jacquot... давно.

— Вы ошибаетесь, — неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. — Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына — Николаем. И я m-me Jacquot никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.

— Ах, ну что это! я все спутал. В Москве столько родных! Вы Борис... да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о Булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!

Борис ничего не знал о Булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.

— Мы здесь, в Москве, больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, — сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. — Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, — продолжал он. — Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своею доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.

— Москве больше делать нечего, как сплетничать, — продолжал он. — Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю...

— Да, это все очень тяжело, — подхватил Пьер, — очень тяжело. — Пьер все боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

— А вам должно казаться, — говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, — вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.

«Так и есть», — подумал Пьер.

— А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибаетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады:

— Вот это странно! Я разве... да и кто ж мог думать... Я очень знаю...

Но Борис опять перебил его:

— Я рад, что высказал все. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, — сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, — но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить все прямо... Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

И Борис, видимо, свалив с себя тяжелую обязанность, сам выйдя из неловкого положения и поставив в него другого, сделался опять совершенно приятен.

— Нет, послушайте, — сказал Пьер, успокоиваясь. — Вы удивительный человек. То, что вы сейчас сказали, очень хорошо, очень хорошо. Разумеется, вы меня не знаете. Мы так давно не видались... детьми еще... Вы можете предполагать во мне... Я вас понимаю, очень понимаю. Я бы этого не сделал, у меня недостало бы духу, но это прекрасно. Я очень рад, что познакомился с вами. Странно, — прибавил он, помолчав и улыбаясь, — что вы во мне предполагали! — Он засмеялся. — Ну, да что ж? Мы познакомимся с вами лучше. Пожалуйста. — Он пожал руку Борису. — Вы знаете ли, я ни разу не был у графа. Он меня не звал... Мне его жалко, как человека... Но что же делать?

— И вы думаете, что Наполеон успеет переправить армию? — спросил Борис, улыбаясь.

Пьер понял, что Борис хотел переменить разговор, и соглашаясь с ним, начал излагать выгоды и невыгоды Булонского предприятия.

Лакей пришел вызвать Бориса к княгине. Княгиня уезжала. Пьер обещался приехать обедать затем, чтобы ближе сойтись с Борисом, крепко жал его руку, ласково глядя ему в глаза через очки... По уходе его Пьер долго еще ходил по комнате, уже не пронзая невидимого врага шпагой, а улыбаясь при воспоминании об этом милом, умном и твердом молодом человеке.

Как это бывает в первой молодости и особенно в одиноком положении, он почувствовал беспричинную нежность к этому молодому человеку и обещал себе непременно подружиться с ним.

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо ее было в слезах.

— Это ужасно! ужасно! — говорила она. — Но чего бы мне ни стоило, я исполню свой долг. Я приеду ночевать. Его нельзя так оставить. Каждая минута дорога. Я не понимаю, чего мешкают княжны. Может, Бог поможет мне найти средство его приготовить... Adieu, mon prince, que le bon Dieu vous soutienne...[1]

— Adieu, ma bonne[2], — отвечал князь Василий, повертываясь от нее.

— Ах, он в ужасном положении, — сказала мать сыну, когда они опять садились в карету. — Он почти никого не узнает.

— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? — спросил сын.

— Все скажет завещание, мой друг, от него и наша судьба зависит...

[1] Прощайте, князь, да поддержит вас Бог...

[2] Прощайте, моя любезная

— Но почему вы думаете, что он оставит что-нибудь нам?

— Ах, мой друг! Он так богат, а мы так бедны!

— Ну, это еще недостаточная причина, маменька.

— Ах, Боже мой! Боже мой! как он плох! — восклицала мать.

XIV

Когда Анна Михайловна уехала с сыном к графу Кириллу Владимировичу Безухову, графиня Ростова долго сидела одна, прикладывая платок к глазам. Наконец она позвонила.

— Что вы, милая, — сказала она сердито девушке, которая заставила себя ждать несколько минут. — Не хотите служить, что ли? Так я вам найду место.

Графиня была расстроена горем и унизительною бедностью своей подруги и поэтому была не в духе, что выражалось у нее всегда наименованием горничной «милая» и «вы».

— Виновата-с, — сказала горничная.

— Попросите ко мне графа.

Граф, переваливаясь, подошел к жене с несколько виноватым видом, как и всегда.

— Ну, графинюшка! какое sauté au madère[1] из рябчиков будет, ma chère! Я попробовал; недаром я за Тараску тысячу рублей дал. Стоит!

Он сел подле жены, облокотив молодецки руки на колена и взъерошивая седые волосы.

— Что прикажете, графинюшка?

— Вот что, мой друг, — что это у тебя запачкано здесь? — сказала она, указывая на жилет. — Это соте, верно, — прибавила она улыбаясь. — Вот что, граф: мне денег нужно.

Лицо ее стало печально.

— Ах, графинюшка!.. — И граф засуетился, доставая бумажник.

— Мне много надо, граф, мне пятьсот рублей надо. — И она, достав батистовый платок, терла им жилет мужа.

— Сейчас, сейчас. Эй, кто там? — крикнул он таким голосом, каким кричат только люди, уверенные, что те, кого они кличут, стремглав бросятся на их зов. — Послать ко мне Митеньку!

Митенька, тот дворянский сын, воспитанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими шагами вошел в комнату.

— Вот что, мой милый, — сказал граф вошедшему почтительному молодому человеку. — Принеси ты мне... — Он задумался. — Да, семьсот рублей, да. Да смотри, таких рваных и грязных, как тот раз, не приноси, а хороших, для графини.

— Да, Митенька, пожалуйста, чтобы чистенькие, — сказала графиня, грустно вздыхая.

— Ваше сиятельство, когда прикажете доставить? — сказал Митенька. — Извольте знать, что... Впрочем, не извольте беспокоиться, — прибавил он, заметив,

[1] соте с мадерой

как граф уже начал тяжело и часто дышать, что всегда было признаком начинавшегося гнева. — Я было и запамятовал... Сию минуту прикажете доставить?

— Да, да, то-то, принеси. Вот графине отдай.

— Экое золото у меня этот Митенька, — прибавил граф, улыбаясь, когда молодой человек вышел. — Нет того, чтобы нельзя. Я же этого терпеть не могу. Все можно.

— Ах, деньги, граф, деньги, сколько от них горя на свете! — сказала графиня. — А эти деньги мне очень нужны.

— Вы, графинюшка, мотовка известная, — проговорил граф и, поцеловав у жены руку, ушел опять в кабинет.

Когда Анна Михайловна вернулась опять от Безухова, у графини лежали уже деньги, всё новенькими бумажками, под платком на столике, и Анна Михайловна заметила, что графиня чем-то растревожена.

— Ну, что, мой друг? — спросила графиня.

— Ах, в каком он ужасном положении! Его узнать нельзя, он так плох, так плох: я минутку побыла и двух слов не сказала...

— Annette, ради Бога, не откажи мне, — сказала вдруг графиня, краснея, что так странно было при ее немолодом, худом и важном лице, доставая из-под платка деньги.

Анна Михайловна мгновенно поняла, в чем дело, и уж нагнулась, чтобы в должную минуту ловко обнять графиню.

— Вот Борису от меня, на шитье мундира...

Анна Михайловна уж обнимала ее и плакала. Графиня плакала тоже. Плакали они о том, что они дружны; и о том, что они добры; и о том, что они, подруги молодости, заняты таким низким предметом — деньгами; и о том, что молодость их прошла... Но слезы обеих были приятны.

XV

Графиня Ростова с дочерьми и уже с большим числом гостей сидела в гостиной. Граф провел гостей-мужчин в кабинет, предлагая им свою охотницкую коллекцию турецких трубок. Изредка он выходил и спрашивал: не приехала ли? Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le terrible dragon[1], даму знаменитую не богатством, не почестями, но прямотой ума и откровенною простотой обращения. Марью Дмитриевну знала царская фамилия, знала вся Москва и весь Петербург, и оба города, удивляясь ей, втихомолку посмеивались над ее грубостью, рассказывали про нее анекдоты; тем не менее все без исключения уважали и боялись ее.

В кабинете, полном дыма, шел разговор о войне, которая была объявлена манифестом, о наборе. Манифеста еще никто не читал, но все знали о его появлении. Граф сидел на оттоманке между двумя курившими и разговаривавшими соседями. Граф сам не курил и не говорил, а, наклоняя голову то на один бок, то на другой, с

[1] драгуном

видимым удовольствием смотрел на куривших и слушал разговор двух соседей своих, которых он стравил между собой.

Один из говоривших был штатский, с морщинистым, желчным и бритым худым лицом, человек, уже приближавшийся к старости, хотя и одетый, как самый модный молодой человек; он сидел с ногами на оттоманке с видом домашнего человека и, сбоку запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился. Это был старый холостяк Шиншин, двоюродный брат графини, злой язык, как про него говорили в московских гостиных. Он, казалось, снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый гвардейский офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского полка, с которым Борис ехал вместе в полк и которым Наташа дразнила Веру, старшую графиню, называя Берга ее женихом. Граф сидел между ними и внимательно слушал. Самое приятное для графа занятие, за исключением игры в бостон, которую он очень любил, было положение слушающего, особенно когда ему удавалось стравить двух говорливых собеседников.

— Ну, как же, батюшка, mon très honorable[1] Альфонс Карлыч, — говорил Шиншин, посмеиваясь и соединяя (в чем и состояла особенность его речи) самые простые народные русские выражения с изысканными французскими фразами. — Vous comptez vous faire des rentes sur l'état[2], с роты доходец получить хотите?

— Нет-с, Петр Николаевич, я только желаю доказать, что в кавалерии выгод гораздо меньше против пехоты. Вот теперь сообразите, Петр Николаевич, мое положение.

Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием.

— Сообразите мое положение, Петр Николаич: будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать, — говорил он с радостью, приятною улыбкой, оглядывая Шиншина и графа, как будто для него было очевидно, что его успех всегда будет составлять главную цель желаний всех остальных людей.

— Кроме того, Петр Николаич, перейдя в гвардию, я на виду, — продолжал Берг, — и вакансии в гвардейской пехоте гораздо чаще. Потом, сами сообразите, как я мог устроиться из двухсот тридцати рублей. А я откладываю и еще отцу посылаю, — продолжал он, пуская колечко.

— La balance y est...[3] Немец на обухе молотит хлебец, comme dit le proverbe[4], — перекладывая янтарь на другую сторону рта, сказал Шиншин и подмигнул графу.

---

[1] достоуважаемый

[2] С правительства доходец хотите получить

[3] Верно

[4] по пословице

Граф расхохотался. Другие гости, видя, что Шиншин ведет разговор, подошли послушать. Берг, не замечая ни насмешки, ни равнодушия, продолжал рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным, и как в полку все любят его, и как его папенька им доволен. Берг, видимо, наслаждался, рассказывая все это, и, казалось, не подозревал того, что у других людей могли быть тоже свои интересы. Но все, что он рассказывал, было так мило, степенно, наивность молодого эгоизма его была так очевидна, что он обезоруживал своих слушателей.

— Ну, батюшка, вы и в пехоте и в кавалерии, везде пойдете в ход; это я вам предрекаю, — сказал Шиншин, трепля его по плечу и спуская ноги с оттоманки.

Берг радостно улыбнулся. Граф, а за ним и гости вышли в гостиную.

Было то время перед званым обедом, когда собравшиеся гости не начинают длинного разговора в ожидании призыва к закуске, а вместе с тем считают необходимым шевелиться и не молчать, чтобы показать, что они нисколько не нетерпеливы сесть за стол. Хозяева поглядывают на дверь и изредка переглядываются между собой. Гости по этим взглядам стараются догадаться, кого или чего еще ждут: важного опоздавшего родственника или кушанья, которое еще не поспело.

Пьер приехал перед самым обедом и неловко сидел посредине гостиной на первом попавшемся кресле, загородив всем дорогу. Графиня хотела заставить его говорить, но он наивно смотрел в очки вокруг себя, как бы отыскивая кого-то, и односложно отвечал на все вопросы графини. Он был стеснителен и один не замечал этого. Большая часть гостей, знавшая его историю с медведем, любопытно смотрели на этого большого, толстого и смирного человека, недоумевая, как мог такой увалень и скромник сделать такую штуку с квартальным.

— Вы недавно приехали? — спрашивала у него графиня.

— Oui, madame[1], — отвечал он, оглядываясь.

— Вы не видали моего мужа?

— Non, madame[2], — Он улыбнулся совсем некстати.

— Вы, кажется, недавно были в Париже? Я думаю, очень интересно.

— Очень интересно.

Графиня переглянулась с Анной Михайловной. Анна Михайловна поняла, что ее просят занять этого молодого человека, и, подсев к нему, начала говорить об отце; но так же, как и графине, он отвечал ей только односложными словами. Гости были все заняты между собой.

— Les Razoumovsky... Ça a été charmant... Vous êtes bien bonne... La comtesse Apraksine...[3] — слышалось со всех сторон. Графиня встала и пошла в залу.

— Марья Дмитриевна? — послышался ее голос из залы.

— Она самая, — послышался в ответ грубый женский голос, и вслед за тем вошла в комнату Марья Дмитриевна.

---

[1] Да, да, да

[2] Нет еще, нет

[3] Разумовские... Это было очень мило... Графиня Апраксина...

Все барышни и даже дамы, исключая самых старых, встали. Марья Дмитриевна остановилась в дверях и, с высоты своего тучного тела, высоко держа свою с седыми буклями пятидесятилетнюю голову, оглядела гостей, и, как бы засучиваясь, оправила неторопливо широкие рукава своего платья. Марья Дмитриевна всегда говорила по-русски.

— Имениннице дорогой с детками, — сказала она своим громким, густым, подавляющим все другие звуки голосом. — Ты что, старый греховодник, — обратилась она к графу, целовавшему ее руку, — чай, скучаешь в Москве? собак гонять негде? Да что, батюшка делать, вот как эти пташки подрастут... — она указывала на девиц, — хочешь не хочешь, надо женихов искать.

— Ну, что, казак мой? (Марья Дмитриевна казаком называла Наташу), — говорила она, лаская рукой Наташу, подходившую к ее руке без страха и весело. — Знаю, что зелье девка, а люблю.

Она достала из огромного ридикюля яхонтовые сережки грушками и, отдав их именинно-сиявшей и разрумянившейся Наташе, тотчас же отвернулась от нее и обратилась к Пьеру.

— Э, э! любезный! поди-ка сюда, — сказала она притворно-тихим и тонким голосом. — Поди-ка, любезный...

И она грозно засучила рукава еще выше.

Пьер подошел, наивно глядя на нее через очки.

— Подойди, подойди, любезный! Я и отцу-то твоему правду одна говорила, когда он в случае был, а тебе-то и Бог велит.

Она помолчала. Все молчали, ожидая того, что будет, и чувствуя, что было только предисловие.

— Хорош, нечего сказать! хорош мальчик!.. Отец на одре лежит, а он забавляется, квартального на медведя верхом сажает. Стыдно, батюшка, стыдно! Лучше бы на войну шел.

Она отвернулась и подала руку графу, который едва удерживался от смеха.

— Ну, что ж, к столу, я чай, пора? — сказала Марья Дмитриевна.

Впереди пошел граф с Марьей Дмитриевной; потом графиня, которую повел гусарский полковник, нужный человек, с которым Николай должен был догонять полк. Анна Михайловна — с Шиншиным. Берг подал руку Вере. Улыбающаяся Жюли Карагина пошла с Николаем к столу. За ними шли еще другие пары, протянувшиеся по всей зале, и сзади всех поодиночке дети, гувернеры и гувернантки. Официанты зашевелились, стулья загремели, на хорах заиграла музыка, и гости разместились. Звуки домашней музыки графа заменились звуками ножей и вилок, говора гостей, тихих шагов официантов. На одном конце стола во главе сидела графиня. Справа Марья Дмитриевна, слева Анна Михайловна и другие гостьи. На другом конце сидел граф, слева гусарский полковник, справа Шиншин и другие гости мужского пола. С одной стороны длинного стола молодежь постарше: Вера рядом с Бергом, Пьер рядом с Борисом; с другой стороны — дети, гувернеры и гувернантки. Граф из-за хрусталя, бутылок и ваз с фруктами поглядывал на жену и ее высокий чепец с голубыми лентами и усердно подливал вина своим соседям, не забывая и себя. Графиня так же, из-за ананасов, не забывая обязанности хозяйки, кидала

значительные взгляды на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче отличались от седых волос. На дамском конце шло равномерное лепетанье; на мужском все громче и громче слышались голоса, особенно гусарского полковника, который так много ел и пил, все более и более краснея, что граф уже ставил его в пример другим гостям, Берг с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное. Борис называл новому своему приятелю Пьеру бывших за столом гостей и переглядывался с Наташей, сидевшей против него. Пьер мало говорил, оглядывал новые лица и много ел. Начиная от двух супов, из которых он выбрал à la tortue[1], и кулебяки и до рябчиков, он не пропускал ни одного блюда и ни одного вина, которое дворецкий в завернутой салфеткой бутылке таинственно высовывал из-за плеча соседа, приговаривая: или «дреймадера», или «венгерское», или «рейнвейн». Он подставлял первую попавшуюся из четырех хрустальных, с вензелем графа, рюмок, стоявших перед каждым прибором, и пил с удовольствием, все с более и более приятным видом поглядывая на гостей. Наташа, сидевшая против него, глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера, и ему под взглядом этой смешной, оживленной девочки хотелось смеяться самому, не зная чему.

Николай сидел далеко от Сони, подле Жюли Карагиной, и опять с той же невольной улыбкой что-то говорил с ней. Соня улыбалась парадно, но, видимо, мучилась ревностью: то бледнела, то краснела и всеми силами прислушивалась к тому, что говорили между собою Николай и Жюли. Гувернантка беспокойно оглядывалась, как бы приготавливаясь к отпору, ежели бы кто вздумал обидеть детей. Гувернер-немец старался запомнить все роды кушаний, десертов и вин, с тем чтобы описать все подробно в письмах к домашним в Германию, и весьма обижался тем, что дворецкий с завернутою в салфетку бутылкой обносил его. Немец хмурился, старался показать вид, что он и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтоб утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности.

XVI

На мужском конце стола разговор все более и более оживлялся. Полковник рассказал, что манифест об объявлении войны уже вышел в Петербурге и что экземпляр, который он сам видел, доставлен ныне курьером главнокомандующему.

— И зачем нас нелегкая несет воевать с Бонапартом? — сказал Шиншин. — Il a déjà rabattu le caquet à l'Autriche. Je crains que cette fois ce ne soit notre tour[2].

Полковник был плотный, высокий и сангвинический немец, очевидно служака и патриот. Он обиделся словами Шиншина.

— А затэм, мылостывый государ, — сказал он, выговаривая э вместо е и ъ вместо ь. — Затэм, что импэратор это знаэт. Он в манифэстэ сказал, что нэ можэт смотрэт равнодушно на опасности, угрожающие России, что бэзопасност импэрии,

[1] черепаший

[2] Он уже сбил спесь с Австрии. Боюсь, не пришел бы теперь наш черед

достоинство ее и святост союзов, — сказал он, почему-то особенно налегая на слово «союзов», как будто в этом была вся сущность дела.

И с свойственною ему непогрешимою, официальною памятью он повторил вступительное слово манифеста: «и желание, единственную и непременную цель государя составляющее: водворить в Европе на прочных основаниях мир — решили его двинуть ныне часть войска за границу и сделать к достижению намерения сего новые усилия».

— Вот зачэм, мылостывый государ, — заключил он назидательно, выпивая стакан вина и оглядываясь на графа за поощрением.

— Connaissez vous le proverbe[1]: «Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, точил бы свои веретёна», — сказал Шиншин, морщась и улыбаясь. — Cela nous convient à merveille[2] . Уж на что Суворова — и того расколотили à plate couture[3] , а где у нас Суворовы теперь? Je vous demande un peu[4], — беспрестанно перескакивая с русского на французский язык, говорил он.

— Мы должны драться до послэднэй капли кров, — сказал полковник, ударяя по столу, — и умэр-р-рэт за своэго импэратора, и тогда всэй будэт хорошо. А рассуждать как мо-о-ож-но (он особенно вытянул голос на слове «можно»), как мо-о-ожно менше, — докончил он, опять обращаясь к графу. — Так старые гусары судим, вот и все. А вы как судитэ, молодой человэк и молодой гусар? — прибавил он, обращаясь к Николаю, который, услыхав, что дело шло о войне, оставил свою собеседницу и во все глаза смотрел и всеми ушами слушал полковника.

— Совершенно с вами согласен, — отвечал Николай, весь вспыхнув, вертя тарелку и переставляя стаканы с таким решительным и отчаянным видом, как будто в настоящую минуту он подвергался великой опасности, — я убежден, что русские должны умирать или побеждать, — сказал он, сам чувствуя, так же как и другие, после того как слово уже было сказано, что оно было слишком восторженно и напыщенно для настоящего случая и потому неловко.

— C'est bien beau ce que vous venez de dire[5], — сказала сидевшая подле него Жюли, вздыхая. Соня задрожала вся и покраснела до ушей, за ушами и до шеи и плеч, в то время как Николай говорил. Пьер прислушался к речам полковника и одобрительно закивал головой.

— Вот это славно, — сказал он.

— Настоящэй гусар, молодой человэк, — крикнул полковник, ударив опять по столу.

— О чем вы там шумите? — вдруг послышался через стол басистый голос Марьи Дмитриевны. — Что ты по столу стучишь, — обратилась она к гусару, — на кого ты горячишься? верно, думаешь, что тут французы пред тобой?

— Я правду говору, — улыбаясь, сказал гусар.

— Всё о войне, — через стол прокричал граф. — Ведь у меня сын идет, Марья Дмитриевна, сын идет.

---

[1] Знаете пословицу

[2] Это к нам идет удивительно

[3] вдребезги

[4] Я вас спрашиваю

[5] Прекрасно! прекрасно то, что вы сказали

— А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На все воля Божья: и на печи лежа умрешь, и в сражении Бог помилует, — прозвучал без всякого усилия, с того конца стола, густой голос Марьи Дмитриевны.

— Это так.

И разговор опять сосредоточился — дамский на своем конце стола, мужской на своем.

— А вот не спросишь, — говорил маленький брат Наташе, — а вот не спросишь!

— Спрошу, — отвечала Наташа.

Лицо ее вдруг разгорелось, выражая отчаянную и веселую решимость. Она привстала, приглашая взглядом Пьера, сидевшего против нее, прислушаться, и обратилась к матери.

— Мама! — прозвучал по всему столу ее детски-грудной голос.

— Что тебе! — спросила графиня испуганно, но, по лицу дочери увидев, что это была шалость, строго замахала ей рукой, делая угрожающий и отрицательный жест головой.

Разговор притих.

— Мама! какое пирожное будет? — еще решительнее, не срываясь, прозвучал голосок Наташи.

Графиня хотела хмуриться, но не могла. Марья Дмитриевна погрозила толстым пальцем.

— Казак! — проговорила она с угрозой.

Большинство гостей смотрели на старших, не зная, как следует принять эту выходку.

— Вот я тебя! — сказала графиня.

— Мама! что пирожное будет? — закричала Наташа уже смело и капризно-весело, вперед уверенная, что выходка ее будет принята хорошо.

Соня и толстый Петя прятались от смеха.

— Вот и спросила, — прошептала Наташа маленькому брату и Пьеру, на которого она опять взглянула.

— Мороженое, только тебе не дадут, — сказала Марья Дмитриевна.

Наташа видела, что бояться нечего, и потому не побоялась и Марьи Дмитриевны.

— Марья Дмитриевна! какое мороженое? Я сливочное не люблю.

— Морковное.

— Нет, какое? Марья Дмитриевна, какое? — почти кричала она. — Я хочу знать!

Марья Дмитриевна и графиня засмеялись, и за ними все гости. Все смеялись не ответу Марьи Дмитриевны, по непостижимой смелости и ловкости этой девочки, умевшей и смевшей так обращаться с Марьей Дмитриевной.

Наташа отстала только тогда, когда ей сказали, что будет ананасное. Перед мороженым подали шампанское. Опять заиграла музыка, граф поцеловался с графинюшкою, и гости, вставая, поздравляли графиню, через стол чокались с графом, детьми и друг с другом. Опять забегали официанты, загремели стулья, и в том же порядке, но с более красными лицами, гости вернулись в гостиную и кабинет графа.

XVII

Раздвинули бостонные столы, составились партии, и гости графа разместились в двух гостиных, диванной и библиотеке.

Граф, распустив карты веером, с трудом удерживался от привычки послеобеденного сна и всему смеялся. Молодежь, подстрекаемая графиней, собралась около клавикорд и арфы. Жюли первая, по просьбе всех, сыграла на арфе пиеску с вариациями и вместе с другими девицами стала просить Наташу и Николая, известных своею музыкальностью, спеть что-нибудь. Наташа, к которой обратились, как в большой, была, видимо, этим очень горда, но вместе с тем и робела.

— Что будем петь? — спросила она.

— «Ключ», — отвечал Николай.

— Ну, давайте скорее. Борис, идите сюда, — сказала Наташа. — А где же Соня?

Она оглянулась и, увидав, что ее друга нет в комнате, побежала за ней.

Вбежав в Сонину комнату и не найдя там своей подруги, Наташа пробежала в детскую — и там не было Сони. Наташа поняла, что Соня была в коридоре на сундуке. Сундук в коридоре был место печалей женского молодого поколения дома Ростовых. Действительно, Соня в своем воздушном розовом платьице, приминая его, лежала ничком на грязной полосатой няниной перине, на сундуке и, закрыв лицо пальчиками, навзрыд плакала, подрагивая своими оголенными плечиками. Лицо Наташи, оживленное, целый день именинное, вдруг изменилось: глаза ее остановились, потом содрогнулась ее широкая шея, углы губ опустились.

— Соня! что ты?.. Что, что с тобой? У-у-у!..

И Наташа, распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала. Соня хотела поднять голову, хотела отвечать, но не могла и еще больше спряталась. Наташа плакала, присев на синей перине и обнимая друга. Собравшись с силами, Соня приподнялась, начала утирать слезы и рассказывать.

— Николенька едет через неделю, его... бумага... вышла... он сам мне сказал... Да я бы все не плакала (она показала бумажку, которую держала в руке: то были стихи, написанные Николаем)... я бы все не плакала, но ты не можешь... никто не может понять... какая у него душа.

И она опять принялась плакать о том, что душа его была так хороша.

— Тебе хорошо... я не завидую... я тебя люблю, и Бориса тоже, — говорила она, собравшись немного с силами, — он милый... для вас нет препятствий. А Николай мне cousin... надобно... сам митрополит... и то нельзя. И потом, ежели маменьке (Соня графиню и считала и называла матерью)... она скажет, что я порчу карьеру Николая, у меня нет сердца, что я неблагодарная, а право... вот ей-богу (она перекрестилась)... я так люблю и ее и всех вас, только Вера одна... За что? Что я ей сделала? Я так благодарна вам, что рада бы всем пожертвовать, да мне нечем...

Соня не могла больше говорить и опять спрятала голову в руках и перине. Наташа начинала успокоиваться, но по лицу ее видно было, что она понимала всю важность горя своего друга.

— Соня! — сказала она вдруг, как будто догадавшись о настоящей причине огорчения кузины. — Верно, Вера с тобой говорила после обеда? Да?

— Да, эти стихи сам Николай написал, а я списала еще другие; она и нашла их у меня на столе и сказала, что покажет их маменьке, и еще говорила, что я неблагодарная, что маменька никогда не позволит ему жениться на мне, а он женится на Жюли. Ты видишь, как он с ней целый день... Наташа! За что?..

И опять она заплакала горче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокоивать.

— Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной; помнишь, после ужина? Ведь мы все решили, как будет. Я уже не помню как, но помнишь, как было все хорошо и все можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему все сказала. А он такой умный и такой хороший, — говорила Наташа... — ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька, Соня. — И она целовала ее смеясь. — Вера злая, Бог с ней! А все будет хорошо, и маменьке она не скажет; Николенька сам скажет, и он и не думал об Жюли.

И она целовала ее в голову. Соня приподнялась, и котеночек оживился, глазки заблистали, и он готов был, казалось, вот-вот взмахнуть хвостом, вспрыгнуть на мягкие лапки и опять заиграть с клубком, как ему и было прилично.

— Ты думаешь? Право? Ей-богу? — сказала она, быстро оправляя платье и прическу.

— Право! ей-богу! — отвечала Наташа, оправляя своему другу под косой выбившуюся прядь жестких волос.

И они обе засмеялись.

— Ну, пойдем петь «Ключ».

— Пойдем.

— А знаешь, этот толстый Пьер, что против меня сидел, такой смешной! — сказала вдруг Наташа, останавливаясь. — Мне очень весело!

И Наташа побежала по коридору.

Соня, отряхнув пух и спрятав стихи за пазуху, к шейке с выступавшими костями груди, легкими, веселыми шагами, с раскрасневшимся лицом, побежала вслед за Наташей по коридору в диванную. По просьбе гостей молодые люди спели квартет «Ключ», который всем очень понравился; потом Николай спел вновь выученную им песню:

В приятну ночь, при лунном свете,
Представить счастливо себе,
Что некто есть еще на свете,
Кто думает и о тебе!

Что и она, рукой прекрасной
По арфе золотой бродя,
Своей гармониею страстной
Зовет к себе, зовет тебя!
Еще день, два, и рай настанет...
Но ах! твой друг не доживет!

И он не допел еще последних слов, когда в зале молодежь приготовилась к танцам, а на хорах застучали ногами и закашляли музыканты.

Пьер сидел в гостиной, где Шиншин, как с приезжим из-за границы, завел с ним скучный для Пьера политический разговор, к которому присоединились и другие. Когда заиграла музыка, Наташа вошла в гостиную и, подойдя прямо к Пьеру, смеясь глазами и краснея, сказала:

— Мама велела вас просить танцевать.

— Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер, — но ежели вы хотите быть моим учителем...

И он подал свою толстую руку, низко опуская ее, тоненькой девочке.

Пока расстанавливались пары и строили музыканты, Пьер сел с своей маленькой дамой. Наташа была совершенно счастлива: она танцевала с большим, с приехавшим из-за границы. Она сидела на виду у всех и разговаривала с ним, как большая. У нее в руке был веер, который ей дала подержать одна барышня. И, приняв самую светскую позу (Бог знает, где и когда она этому научилась), она, обмахиваясь веером и улыбаясь через веер, говорила с своим кавалером.

— Какова? какова? Смотрите, смотрите, — сказала старая графиня, проходя через залу и указывая на Наташу.

Наташа покраснела и засмеялась.

— Ну, что вы, мама? Ну, что вам за охота? Что ж тут удивительного?

В середине третьего экосеза зашевелились стулья в гостиной, где играли граф и Марья Дмитриевна, и бóльшая часть почетных гостей и старички, потягиваясь после долгого сидения и укладывая в карманы бумажники и кошельки, выходили в двери залы. Впереди шла Марья Дмитриевна с графом — оба с веселыми лицами. Граф с шутливою вежливостью, как-то по-балетному, подал округленную руку Марье Дмитриевне. Он выпрямился, и лицо его озарилось особенною молодецки-хитрою улыбкой, и как только дотанцевали последнюю фигуру экосеза, он ударил в ладоши музыкантам и закричал на хоры, обращаясь к первой скрипке:

— Семен! Данилу Купора знаешь?

Это был любимый танец графа, танцованный им еще в молодости. (Данило Купор была собственно одна фигура англеза).

— Смотрите на папá, — закричала на всю залу Наташа (совершенно забыв, что она танцует с большим), пригибая к коленам свою кудрявую головку и заливаясь своим звонким смехом по всей зале.

Действительно, всё, что только было в зале, с улыбкою радости смотрело на веселого старичка, который рядом с своею сановитою дамой, Марьей Дмитриевной, бывшей выше его ростом, округлял руки, в такт потряхивая ими, расправлял плечи, вывертывал ноги, слегка притопывая, и все более и более распускавшеюся улыбкой на своем круглом лице приготовлял зрителей к тому, что будет. Как только заслышались веселые, вызывающие звуки Данилы Купора, похожие на развеселого трепачка, все двери залы вдруг заставились с одной стороны мужскими, с другой — женскими улыбающимися лицами дворовых, вышедших посмотреть на веселящегося барина.

— Батюшка-то наш! Орел! — проговорила громко няня из одной двери.

Граф танцевал хорошо и знал это, но его дама вовсе не умела и не хотела хорошо танцевать. Ее огромное тело стояло прямо, с опущенными вниз мощными руками (она передала ридикюль графине); только одно строгое, но красивое лицо ее танцевало. Что выражалось во всей круглой фигуре графа, у Марьи Дмитриевны выражалось лишь в более и более улыбающемся лице и вздергивающемся носе. Но зато, ежели граф, все более и более расходясь, пленял зрителей неожиданностью ловких вывертов и легких прыжков своих мягких ног, Марья Дмитриевна малейшим усердием при движении плеч или округлении рук в поворотах и притоптываньях производила не меньшее впечатление по заслуге, которую ценил всякий при ее тучности и всегдашней суровости. Пляска оживлялась все более и более. Визави не могли ни на минуту обратить на себя внимание и даже не старались о том. Все было занято графом и Марьею Дмитриевной. Наташа дергала за рукава и платье всех присутствовавших, которые и без того не спускали глаз с танцующих, и требовала, чтобы смотрели на папеньку. Граф в промежутках танца тяжело переводил дух, махал и кричал музыкантам, чтоб они играли скорее. Скорее, скорее и скорее, лише, лише и лише развертывался граф, то на цыпочках, то на каблуках носясь вокруг Марьи Дмитриевны, и, наконец, повернув свою даму к ее месту, сделал последнее па, подняв сзади кверху свою мягкую ногу, склонив вспотевшую голову с улыбающимся лицом и округло размахнув правою рукою среди грохота рукоплесканий и хохота, особенно Наташи. Оба танцора остановились, тяжело переводя дыхание и утираясь батистовыми платками.

— Вот как в наше время танцевали, ma chère[1] — сказал граф.

— Ай да Данила Купор! — тяжело и продолжительно выпуская дух и засучивая рукава, сказала Марья Дмитриевна.

XVIII

В то время как у Ростовых танцевали в зале шестой англез под звуки от усталости фальшививших музыкантов и усталые официанты и повара готовили ужин, с графом Безуховым сделался шестой уже удар. Доктора объявили, что надежды к выздоровлению нет; больному дана была глухая исповедь и причастие; делали приготовления для соборования, и в доме была суетня и тревога ожидания, обыкновенные в такие минуты. Вне дома, за воротами, толпились, скрываясь от подъезжающих экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа. Главнокомандующий Москвы, который беспрестанно присылал адъютантов узнавать о положении графа, в этот вечер сам приезжал проститься с знаменитым екатерининским вельможей, графом Безуховым.

Великолепная приемная комната была полна. Все почтительно встали, когда главнокомандующий, пробыв около получаса наедине с больным, вышел оттуда, слегка отвечая на поклоны и стараясь как можно скорее пройти мимо устремленных на него взглядов докторов, духовных лиц и родственников. Князь Василий, похудевший и побледневший за эти дни, провожал главнокомандующего и что-то несколько раз тихо повторил ему.

[1] матушка

Проводив главнокомандующего, князь Василий сел в зале один на стул, закинув высоко ногу на ногу, на коленку упирая локоть и рукою закрыв глаза. Посидев так несколько времени, он встал и непривычно поспешными шагами, оглядываясь кругом испуганными глазами, пошел чрез длинный коридор на заднюю половину дома, к старшей княжне.

Находившиеся в слабо освещенной комнате неровным шепотом говорили между собой и каждый раз замолкали и полными вопроса и ожидания глазами оглядывались на дверь, которая вела в покои умирающего и издавала слабый звук, когда кто-нибудь выходил из нее или входил в нее.

— Предел человеческий, — говорил старичок, духовное лицо, даме, подсевшей к нему и наивно слушавшей его, — предел положен, его же не прейдеши.

— Я думаю, не поздно ли соборовать? — прибавляя духовный титул, спрашивала дама, как будто не имея на этот счет никакого своего мнения.

— Таинство, матушка, великое, — отвечало духовное лицо, проводя рукою по лысине, по которой пролегало несколько прядей зачесанных полуседых волос.

— Это кто же? сам главнокомандующий был? — спрашивали в другом конце комнаты. — Какой моложавый!..

— А седьмой десяток! Чтó, говорят, граф-то не узнает уж? Хотели соборовать?

— Я одного знал: семь раз соборовался.

Вторая княжна вышла из комнаты больного с заплаканными глазами и села подле доктора Лоррена, который в грациозной позе сидел под портретом Екатерины, облокотившись на стол.

— Très beau, — говорил доктор, отвечая на вопрос о погоде, — très beau, princesse, et puis, à Moscou on se croit à la campagne [1].

— N'est-ce pas? [2] — сказала княжна, вздыхая. — Так можно ему пить?

Лоррен задумался.

— Он принял лекарство?

— Да.

Доктор посмотрел на брегет.

— Возьмите стакан отварной воды и положите une pincée (он своими тонкими пальцами показал, что значит une pincée) de cremortartari...[3]

— Не пило слушай, — говорил немец-доктор адъютанту, — чтопи с третий удар шивь оставался.

— А какой свежий был мужчина! — говорил адъютант. — И кому пойдет это богатство? — прибавил он шепотом.

— Окотник найдутся, — улыбаясь, отвечал немец.

Все опять оглянулись на дверь: она скрипнула, и вторая княжна, сделав питье, показанное Лорреном, понесла его больному. Немец-доктор подошел к Лоррену.

— Еще, может, дотянется до завтрашнего утра? — спросил немец, дурно выговаривая по-французски.

Лоррен, поджав губы, строго и отрицательно помахал пальцем перед своим носом.

---

[1] Прекрасно — прекрасная погода, прекрасная княжна, и потом, Москва так похожа на деревню

[2] Не правда ли?

[3] щепотку кремортартара

— Сегодня ночью, не позже, — сказал он тихо, с приличною улыбкой самодовольства в том, что ясно умеет понимать и выражать положение больного, и отошел.

Между тем князь Василий отворил дверь в комнату княжны. В комнате было полутемно, только две лампадки горели перед образами, и хорошо пахло кореньем и цветами. Вся комната была уставлена мелкою мебелью шифоньерок, шкафчиков, столиков. Из-за ширм виднелись белые покрывала высокой пуховой кровати. Собачка залаяла.

— Ах, это вы, mon cousin?

Она встала и оправила волосы, которые у нее всегда, даже и теперь, были так необыкновенно гладки, как будто они были сделаны из одного куска с головой и покрыты лаком.

— Что, случилось что-нибудь? — спросила она. — Я уже так напугалась.

— Ничего, все то же; я только пришел поговорить с тобой, Катишь, о деле, — проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. — Как ты нагрела, однако, — сказал он, — ну, садись сюда, causons[1] .

— Я думала, не случилось ли что? — сказала княжна и с своим неизменным, каменно-строгим выражением лица села против князя, готовясь слушать.

— Хотела уснуть, mon cousin, и не могу.

— Ну, что, моя милая? — сказал князь Василий, взяв руку княжны и пригибая ее по своей привычке книзу.

Видно было, что это «ну, что» относилось ко многому такому, что, не называя, они понимали оба.

Княжна, с своею несообразно-длинною по ногам, сухою и прямою талией, прямо и бесстрастно смотрела на князя выпуклыми серыми глазами. Она покачала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот жест как выражение усталости.

— А мне-то, — сказал он, — ты думаешь, легче? Je suis éreinté comme un cheval de poste[2]; а все-таки мне надо с тобой поговорить, Катишь, и очень серьезно.

Князь Василий замолчал, и щеки его начали нервически подергиваться то на одну, то на другую сторону, придавая его лицу неприятное выражение, какое никогда не показывалось на лице князя Василия, когда он бывал в гостиных. Глаза его тоже были не такие, как всегда: то они смотрели нагло-шутливо, то испуганно оглядывались.

Княжна, своими сухими, худыми руками придерживая на коленях собачку, внимательно смотрела в глаза князю Василию; но видно было, что она не прервет молчания вопросом, хотя бы ей пришлось молчать до утра.

— Вот видите ли, моя милая княжна и кузина, Катерина Семеновна, — продолжал князь Василий, видимо, не без внутренней борьбы приступая к

[1] поговорим

[2] Я заморен, как почтовая лошадь.

продолжению своей речи, — в такие минуты, как теперь, обо всем надо подумать. Надо подумать о будущем, о вас... Я вас всех люблю, как своих детей, ты это знаешь...

Княжна так же тускло и неподвижно смотрела на него.

— Наконец надо подумать и о моем семействе, — сердито отталкивая от себя столик и не глядя на нее, продолжал князь Василий, — ты знаешь, Катишь, что вы, три сестры Мамонтовы, да еще моя жена, мы одни прямые наследники графа. Знаю, знаю, как тебе тяжело говорить и думать о таких вещах. И мне не легче; но, друг мой, мне шестой десяток, надо быть ко всему готовым. Ты знаешь ли, что я послал за Пьером и что граф, прямо указывая на его портрет, требовал его к себе?

Князь Василий вопросительно посмотрел на княжну, но не мог понять, соображала ли она то, что он ей сказал, или просто смотрела на него...

— Я об одном не перестаю молить Бога, mon cousin, — отвечала она, — чтоб он помиловал его и дал бы его прекрасной душе спокойно покинуть эту...

— Да, это так, — нетерпеливо продолжал князь Василий, потирая лысину и опять с злобой придвигая к себе отодвинутый столик, — но, наконец... наконец, дело в том, ты сама знаешь, что прошлою зимой граф написал завещание, по которому он все имение, помимо прямых наследников и нас, отдавал Пьеру.

— Мало ли он писал завещаний, — спокойно сказала княжна, — но Пьеру он не мог завещать! Пьер незаконный.

— Ma chère, — сказал вдруг князь Василий, прижав к себе столик, оживившись и начав говорить скорей, — но что, ежели письмо написано государю и граф просит усыновить Пьера? Понимаешь, по заслугам графа его просьба будет уважена...

Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают дело больше, чем те, с кем разговаривают.

— Я тебе скажу больше, — продолжал князь Василий, хватая ее за руку, — письмо было написано, хотя и не отослано, и государь знал о нем. Вопрос только в том, уничтожено ли оно, или нет. Ежели нет, то как скоро все кончится, — князь Василий вздохнул, давая этим понять, что́ он разумел под словами все кончится, — и вскроют бумаги графа, завещание с письмом будет передано государю, и просьба его, наверно, будет уважена. Пьер, как законный сын, получит все.

— А наша часть? — спросила княжна, иронически улыбаясь так, как будто все, но только не это, могло случиться.

— Mais, ma pauvre Catiche, c'est clair comme le jour[1] . Он один тогда законный наследник всего, а вы не получите ни вот этого. Ты должна знать, моя милая, были ли написаны завещание и письмо и уничтожены ли они. И ежели почему-нибудь они забыты, то ты должна знать, где они, и найти их, потому что...

— Этого только недоставало! — перебила его княжна, сардонически улыбаясь и не изменяя выражения глаз. — Я женщина; по-вашему, мы все глупы; но я настолько знаю, что незаконный сын не может наследовать... Un bâtard, — прибавила она, полагая этим переводом окончательно показать князю его неосновательность.

— Как ты не понимаешь, наконец, Катишь! Ты так умна, как ты не понимаешь: ежели граф написал письмо государю, в котором просит его признать сына законным,

[1] Но, милая Катишь, это ясно, как день

— стало быть, Пьер уж будет не Пьер, а граф Безухов, и тогда он по завещанию получит все. И ежели завещание с письмом не уничтожены, то тебе, кроме утешения, что ты была добродетельна et tout ce gui s'en suit[1], ничего не останется. Это верно.

— Я знаю, что завещание написано; но знаю тоже, что оно недействительно, и вы меня, кажется, считаете за совершенную дуру, mon cousin, — сказала княжна с тем выражением, с которым говорят женщины, полагающие, что они сказали нечто остроумное и оскорбительное.

— Милая ты моя княжна Катерина Семеновна! — нетерпеливо заговорил князь Василий. — Я пришел к тебе не затем, чтобы пикироваться с тобой, а затем, чтобы, как с родной, хорошею, доброю, истинною родной, поговорить о твоих же интересах. Я тебе говорю десятый раз, что ежели письмо к государю и завещание в пользу Пьера есть в бумагах графа, то ты, моя голубушка, и с сестрами, не наследница. Ежели ты мне не веришь, то поверь людям знающим: я сейчас говорил с Дмитрием Онуфриичем (это был адвокат дома), он то же сказал.

Видимо, что-то вдруг изменилось в мыслях княжны; тонкие губы побледнели (глаза остались те же), и голос, в то время как она заговорила, прорывался такими раскатами, каких она, видимо, сама не ожидала.

— Это было бы хорошо, — сказала она. — Я ничего не хотела и не хочу.

Она сбросила свою собачку с колен и оправила складки платья.

— Вот благодарность, вот признательность людям, которые всем пожертвовали для него, — сказала она. — Прекрасно! Очень хорошо! Мне ничего не нужно, князь.

— Да, но ты не одна, у тебя сестры, — ответил князь Василий.

Но княжна не слушала его.

— Да, я это давно знала, но забыла, что, кроме низости, обмана, зависти, интриг, кроме неблагодарности, самой черной неблагодарности, я ничего не могла ожидать в этом доме...

— Знаешь ли ты или не знаешь, где это завещание? — спрашивал князь Василий еще с большим, чем прежде, подергиванием щек.

— Да, я была глупа, я еще верила в людей и любила их и жертвовала собой. А успевают только те, которые подлы и гадки. Я знаю, чьи это интриги.

Княжна хотела встать, но князь удержал ее за руку. Княжна имела вид человека, вдруг разочаровавшегося во всем человеческом роде; она злобно смотрела на своего собеседника.

— Еще есть время, мой друг. Ты помни, Катишь, что все это сделалось нечаянно, в минуту гнева, болезни, и потом забыто. Наша обязанность, моя милая, исправить его ошибку, облегчить его последние минуты тем, чтобы не допустить его сделать этой несправедливости, не дать ему умереть в мыслях, что он сделал несчастными тех людей...

— Тех людей, которые всем пожертвовали для него, — подхватила княжна, порываясь опять встать, но князь не пустил ее, — чего он никогда не умел ценить. Нет, mon cousin, — прибавила она со вздохом, — я буду помнить, что на этом свете нельзя

[1] и всего, что отсюда вытекает

ждать награды, что на этом свете нет ни чести, ни справедливости. На этом свете надо быть хитрою и злою.

— Ну, voyons[1], успокойся; я знаю твое прекрасное сердце.

— Нет, у меня злое сердце.

— Я знаю твое сердце, — повторил князь, — ценю твою дружбу и желал бы, чтобы ты была обо мне того же мнения. Успокойся и parlons raison[2], пока есть время — может, сутки, может, час; расскажи мне все, что ты знаешь о завещании, и главное, где оно: ты должна знать. Мы теперь же возьмем его и покажем графу. Он, верно, забыл уже про него и захочет его уничтожить. Ты понимаешь, что мое одно желание — свято исполнить его волю; я затем только и приехал сюда. Я здесь только затем, чтобы помогать ему и вам.

— Теперь я все поняла. Я знаю, чьи это интриги. Я знаю, — говорила княжна.

— Не в том дело, моя душа.

— Это ваша protégée, ваша милая Анна Михайловна, которую я не желала бы иметь горничной, эту мерзкую, гадкую женщину.

— Ne perdons point de temps[3].

— Ах, не говорите! Прошлую зиму она втерлась сюда и такие гадости, такие скверности наговорила графу на всех нас, особенно на Sophie, — я повторить не могу, — что граф сделался болен и две недели не хотел нас видеть. В это время, я знаю, что он написал эту гадкую, мерзкую бумагу; но я думала, что эта бумага ничего не значит.

— Nous y voilà[4], отчего же ты прежде ничего не сказала мне?

— В мозаиковом портфеле, который он держит под подушкой. Теперь я знаю, — сказала княжна, не отвечая. — Да, ежели есть за мной грех, большой грех, то это ненависть к этой мерзавке, — почти прокричала княжна, совершенно изменившись. — И зачем она втирается сюда? Но я ей выскажу все, все. Придет время!

XIX

В то время как такие разговоры происходили в приемной и в княжниной комнатах, карета с Пьером (за которым было послано) и с Анной Михайловной (которая нашла нужным ехать с ним) въезжала во двор графа Безухова. Когда колеса кареты мягко зазвучали по соломе, настланной под окнами, Анна Михайловна, обратившись к своему спутнику с утешительными словами, убедилась в том, что он спит в углу кареты, и разбудила его. Очнувшись, Пьер за Анной Михайловной вышел из кареты и тут только подумал о том свидании с умирающим отцом, которое его ожидало. Он заметил, что они подъехали не к парадному, а к заднему подъезду. В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон еще несколько таких же людей. Но ни Анна Михайловна, ни лакей, ни кучер, которые не могли не видеть этих людей, не обратили на них внимания. Стало

[1] Ну, ну
[2] поговорим толком
[3] Не будем терять время
[4] В этом-то и дело

быть, это так нужно, решил сам с собой Пьер и прошел за Анною Михайловной. Анна Михайловна поспешными шагами шла вверх по слабо освещенной узкой каменной лестнице, подзывая отставшего за ней Пьера, который, хотя и не понимал, для чего ему надо было вообще идти к графу, и еще меньше, зачем ему надо было идти по задней лестнице, но, судя по уверенности и поспешности Анны Михайловны, решил про себя, что это было необходимо нужно. На половине лестницы чуть не сбили их с ног какие-то люди с ведрами, которые, стуча сапогами, сбегали им навстречу. Люди эти прижались к стене, чтобы пропустить Пьера с Анною Михайловной, и не показали ни малейшего удивления при виде их.

— Здесь на половину княжон? — спросила Анна Михайловна одного из них.

— Здесь, — отвечал лакей смелым, громким голосом, как будто теперь все уже было можно, — дверь налево, матушка.

— Может быть, граф не звал меня, — сказал Пьер в то время, как он вышел на площадку, — я пошел бы к себе.

Анна Михайловна остановилась, чтобы поравняться с Пьером.

— Ah, mon ami! — сказала она с тем же жестом, как утром с сыном, дотрогиваясь до его руки, — croyez gué je souffre autant que vous, mais soyez homme[1].

— Право, я пойду? — спросил Пьер, ласково чрез очки глядя на Анну Михайловну.

— Ah, mon ami, oubliez les torts qu'on a pu avoir envers vous, pensez que c'est votre père... peut-être à l'agonie. — Она вздохнула. — Je vous ai tout de suite aimé comme mon fils. Fiez-vous à moi, Pierre, Je n'oublierai pas vos intérêts[2].

Пьер ничего не понимал; опять ему еще сильнее показалось, что все это так должно быть, и он покорно последовал за Анною Михайловной, уже отворявшею дверь.

Дверь выходила в переднюю заднего хода. В углу сидел старик слуга княжон и вязал чулок. Пьер никогда не был на этой половине, даже не предполагал существования таких покоев. Анна Михайловна спросила у обгонявшей их, с графином на подносе, девушки (назвав ее милою и голубушкой) о здоровье княжон и повлекла Пьера дальше по каменному коридору. Из коридора первая дверь налево вела в жилые комнаты княжон. Горничная, с графином, второпях (как и все делалось второпях в эту минуту в этом доме) не затворила двери, и Пьер с Анною Михайловной, проходя мимо, невольно заглянули в ту комнату, где, разговаривая, сидели близко друг от друга старшая княжна с князем Васильем. Увидав проходящих, князь Василий сделал неторопливое движение и откинулся назад; княжна вскочила и отчаянным жестом изо всей силы хлопнула дверью, затворяя ее.

Жест этот был так не похож: на всегдашнее спокойствие княжны, страх, выразившийся на лице князя Василья, был так несвойствен его важности, что Пьер, остановившись, вопросительно, через очки, посмотрел на свою руководительницу. Анна Михайловна не выразила удивления, она только слегка улыбнулась и вздохнула, как будто показывая, что всего этого она ожидала.

---

[1] Ах, мой дружок, поверьте, я страдаю не меньше вас, но будьте мужчиной

[2] Забудьте, друг мой, в чем были против вас неправы, подумайте, что это ваш отец... может быть, при смерти. Я тотчас полюбила вас, как сына. Доверьтесь мне, Пьер. Я не забуду ваших интересов

— Soyez homme, mon ami, c'est moi qui veillerai à vos intérêts[1], — сказала она в ответ на его взгляд и еще скорее пошла по коридору.

Пьер не понимал, в чем дело, и еще меньше, что значило veiller à vos intérêts[2], но он понимал, что все это так должно быть. Коридором они вышли в полуосвещенную залу, примыкавшую к приемной графа. Это была одна из тех холодных и роскошных комнат, которые знал Пьер с парадного крыльца. Но и в этой комнате, посередине, стояла пустая ванна и была пролита вода по ковру. Навстречу им вышли на цыпочках, не обращая на них внимания, слуга и причетник с кадилом. Они вошли в знакомую Пьеру приемную с двумя итальянскими окнами, выходом в зимний сад, с большим бюстом и во весь рост портретом Екатерины. Все те же люди, почти в тех же положениях, сидели, перешептываясь, в приемной. Все, смолкнув, оглянулись на вошедшую Анну Михайловну, с ее исплаканным, бледным лицом, и на толстого, большого Пьера, который, опустив голову, покорно следовал за нею.

На лице Анны Михайловны выразилось сознание того, что решительная минута наступила; она, с приемами деловой петербургской дамы, вошла в комнату, не отпуская от себя Пьера, еще смелее, чем утром. Она чувствовала, что так как она ведет за собою того, кого желал видеть умирающий, то прием ее был обеспечен. Быстрым взглядом оглядев всех бывших в комнате и заметив графова духовника, она, не то что согнувшись, но сделавшись вдруг меньше ростом, мелкою иноходью подплыла к духовнику и почтительно приняла благословение одного, потом другого духовного лица.

— Слава Богу, что успели, — сказала она духовному лицу, — мы все, родные, так боялись. Вот этот молодой человек — сын графа, — прибавила она тише. — Ужасная минута!

Проговорив эти слова, она подошла к доктору.

— Cher docteur, — сказала она ему, — ce jeune homme est le fils du comte... y a-t-il de l'espoir? [3]

Доктор молча, быстрым движением возвел кверху глаза и плечи. Анна Михайловна точно таким же движением возвела плечи и глаза, почти закрыв их, вздохнула и отошла от доктора к Пьеру. Она особенно почтительно и нежно-грустно обратилась к Пьеру.

— Ayez confiance en Sa miséricorde! [4] — сказала она ему, и указав ему диванчик, чтобы сесть подождать ее, сама неслышно направилась к двери, на которую все смотрели, и вслед за чуть слышным звуком этой двери скрылась за нею.

Пьер, решившись во всем повиноваться своей руководительнице, направился к диванчику, который она ему указала. Как только Анна Михайловна скрылась, он заметил, что взгляды всех бывших в комнате больше чем с любопытством и с участием устремились на него. Он заметил, что все перешептывались, указывая на него глазами, как будто со страхом и даже с подобострастием. Ему оказывали уважение, какого прежде никогда не оказывали: неизвестная ему дама, которая

[1] Будьте мужчиною, друг мой, а я уж буду блюсти за вашими интересами

[2] блюсти его интересы

[3] Любезный доктор, этот молодой человек — сын графа... Есть ли надежда?

[4] Доверьтесь Его милосердию!

говорила с духовными лицами, встала со своего места и предложила ему сесть, адъютант поднял уроненную Пьером перчатку и подал ему; доктора почтительно замолкли, когда он проходил мимо их, и посторонились, чтобы дать ему место. Пьер хотел сначала сесть на другое место, чтобы не стеснять даму, хотел сам поднять перчатку и обойти докторов, которые вовсе и не стояли на дороге; но он вдруг почувствовал, что это было бы неприлично, он почувствовал, что он в нынешнюю ночь есть лицо, которое обязано совершить какой-то страшный и ожидаемый всеми обряд, и что поэтому он должен был принимать от всех услуги. Он принял молча перчатку от адъютанта, сел на место дамы, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, в наивной позе египетской статуи, и решил про себя, что все это так именно должно быть и что ему в нынешний вечер, для того чтобы не потеряться и не наделать глупостей, не следует действовать по своим соображениям, а надобно предоставить себя вполне на волю тех, которые руководили им.

Не прошло и двух минут, как князь Василий, в своем кафтане с тремя звездами, величественно, высоко неся голову, вошел в комнату. Он казался похудевшим с утра; глаза его были больше обыкновенного, когда он оглянул комнату и увидал Пьера. Он подошел к нему, взял руку (чего он прежде никогда не делал) и потянул ее книзу, как будто он хотел испытать, крепко ли она держится.

— Courage, courage, mon ami. Il a demandé à vous voir. C'est bien...[1] — И он хотел идти.

Но Пьер почел нужным спросить:

— Как здоровье... — Он замялся, не зная, прилично ли назвать умирающего графом; назвать же отцом ему было совестно.

— Il a eu encore un coup, il y a une demi-heure. Еще был удар. Courage, mon ami...[2]

Пьер был в таком состоянии неясности мысли, что при слове «удар» ему представился удар какого-нибудь тела. Он, недоумевая, посмотрел на князя Василия и уже потом сообразил, что ударом называется болезнь. Князь Василий на ходу сказал несколько слов Лоррену и прошел в дверь на цыпочках. Он не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом. Вслед за ним прошла старшая княжна, потом прошли духовные лица и причетники, люди (прислуга) тоже прошли в дверь. За этою дверью послышалось передвижение, и, наконец, все с тем же бледным, но твердым в исполнении долга лицом, выбежала Анна Михайловна и, дотронувшись до руки Пьера, сказала:

— La bonté divine est inépuisable. C'est la cérémonie de l'extrême onction qui va commencer. Venez[3].

Пьер прошел в дверь, ступая по мягкому ковру, и заметил, что и адъютант, и незнакомая дама, и еще кто-то из прислуги — все прошли за ним, как будто теперь уж не надо было спрашивать разрешения входить в эту комнату.

Любезный доктор, этот молодой человек — сын графа... Есть ли надежда?

---

[1] Не унывать, не унывать, мой друг. Он велел вас позвать. Это хорошо...

[2] Был еще удар полчаса назад... Не унывать, мой друг...

[3] Милосердие Божие неисчерпаемо. Соборование сейчас начнется. Пойдемте

XX

Пьер хорошо знал эту большую, разделенную колоннами и аркой комнату, всю обитую персидскими коврами. Часть комнаты за колоннами, где с одной стороны стояла высокая красного дерева кровать под шелковыми занавесами, а с другой — огромный киот с образами, была красно и ярко освещена, как бывают освещены церкви во время вечерней службы. Под освещенными ризами киота стояло длинное вольтеровское кресло, и на кресле, обложенном вверху снежно-белыми, не смятыми, видимо, только что перемененными подушками, укрытая до пояса ярко-зеленым одеялом, лежала знакомая Пьеру величественная фигура его отца, графа Безухова, с тою же седою гривой волос, напоминавших льва, над широким лбом и с теми же характерно-благородными крупными морщинами на красивом красно-желтом лице. Он лежал прямо под образами; обе толстые, большие руки его были выпростаны из-под одеяла и лежали на нем. В правую руку, лежавшую ладонью книзу, между большим и указательным пальцами вставлена была восковая свеча, которую, нагибаясь из-за кресла, придерживал в ней старый слуга. Над креслом стояли духовные лица в своих величественных блестящих одеждах, с выпростанными на них длинными волосами, с зажженными свечами в руках, и медленно-торжественно служили. Немного позади их стояли две младшие княжны, с платком в руках и у глаз, и впереди их старшая, Катишь, с злобным и решительным видом, ни на мгновение не спуская глаз с икон, как будто говорила всем, что не отвечает за себя, если оглянется. Анна Михайловна, с кроткою печалью и всепрощением на лице, и неизвестная дама стояли у двери. Князь Василий стоял с другой стороны двери, близко к креслу, за резным бархатным стулом, который он поворотил к себе спинкой, и, облокотив на нее левую руку со свечой, крестился правою, каждый раз поднимая глаза кверху, когда приставлял персты ко лбу. Лицо его выражало спокойную набожность и преданность воле Божией. «Ежели вы не понимаете этих чувств, то тем хуже для вас», — казалось, говорило его лицо.

Сзади его стоял адъютант, доктора и мужская прислуга; как бы в церкви, мужчины и женщины разделились. Все молчало, крестилось, только слышны были церковное чтение, сдержанное, густое басовое пение и в минуту молчания перестановка ног и вздохи. Анна Михайловна, с тем значительным видом, который показывал, что она знает, что делает, перешла через всю комнату к Пьеру и подала ему свечу. Он зажег ее и, развлеченный наблюдениями над окружающими, стал креститься тою же рукой, в которой была свеча.

Младшая, румяная и смешливая, княжна Софи, с родинкою, смотрела на него. Она улыбнулась, спрятала свое лицо в платок и долго не открывала его; но, посмотрев на Пьера, опять засмеялась. Она, видимо, чувствовала себя не в силах глядеть на него без смеха, но не могла удержаться, чтобы не смотреть на него, и во избежание искушений тихо перешла за колонну. В середине службы голоса духовенства вдруг замолкли; духовные лица шепотом сказали что-то друг другу; старый слуга, державший руку графа, поднялся и обратился к дамам. Анна Михайловна выступила вперед и, нагнувшись над больным, из-за спины пальцем поманила к себе Лоррена. Француз-доктор, — стоявший без зажженной свечи, прислонившись к колонне, в той почтительной позе иностранца, которая показывает, что, несмотря на различие веры, он понимает всю важность совершающегося обряда

и даже одобряет его, — неслышными шагами человека во всей силе возраста подошел к больному, взял своими белыми тонкими пальцами его свободную руку с зеленого одеяла и, отвернувшись, стал щупать пульс и задумался. Больному дали чего-то выпить, зашевелились около него, потом опять расступились по местам, и богослужение возобновилось. Во время этого перерыва Пьер заметил, что князь Василий вышел из-за своей спинки стула и с тем же видом, который показывал, что он знает, что делает, и что тем хуже для других, ежели они не понимают его, не подошел к больному, а, пройдя мимо его, присоединился к старшей княжне и с нею вместе направился в глубь спальни, к высокой кровати под шелковыми занавесами. От кровати и князь и княжна оба скрылись в заднюю дверь, но перед концом службы один за другим возвратились на свои места. Пьер обратил на это обстоятельство не более внимания, как и на все другие, раз навсегда решив в своем уме, что все, что совершалось перед ним нынешний вечер, было так необходимо нужно.

Звуки церковного пения прекратились, и послышался голос духовного лица, которое почтительно поздравляло больного с принятием таинства. Больной лежал все так же, безжизненно и неподвижно. Вокруг него все зашевелилось, послышались шаги и шепоты, из которых шепот Анны Михайловны выдавался резче всех.

Пьер слышал, как она сказала:

— Непременно надо перенести на кровать, здесь никак нельзя будет...

Больного так обступили доктора, княжны и слуги, что Пьер уже не видал той красно-желтой головы с седою гривой, которая, несмотря на то, что он видел и другие лица, ни на мгновение не выходила у него из вида во все время службы. Пьер догадался по осторожному движению людей, обступивших кресло, что умирающею поднимали и переносили.

— За мою руку держись, уронишь так, — послышался ему испуганный шепот одного из слуг, — снизу... еще один, — говорили голоса, и тяжелые дыхания и переступанья ногами людей стали торопливее, как будто тяжесть, которую они несли, была сверх сил их.

Несущие, в числе которых была и Анна Михайловна, поравнялись с молодым человеком, и ему на мгновение из-за спин и затылков людей показалась высокая, жирная, открытая грудь, тучные плечи больного, приподнятые кверху людьми, державшими его под мышки, и седая курчавая львиная голова. Голова эта, с необычайно широким лбом и скулами, красивым чувственным ртом и величественным холодным взглядом, была не обезображена близостью смерти. Она была такая же, какою знал ее Пьер назад тому три месяца, когда граф отпускал его в Петербург. Но голова эта беспомощно покачивалась от неровных шагов несущих, и холодный, безучастный взгляд не знал, на чем остановиться.

Прошло несколько минут суетни около высокой кровати; люди, несшие больного, разошлись. Анна Михайловна дотронулась до руки Пьера и сказала ему: «Venez»[1]. Пьер вместе с нею подошел к кровати, на которой, в праздничной позе, видимо, имевшей отношение к только что совершенному таинству, был положен больной. Он лежал, высоко опираясь головой на подушки. Руки его были симметрично выложены на зеленом шелковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер

[1] Пойдемте

подошел, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как только то, что, покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Пьер остановился, не зная, что ему делать, и вопросительно оглянулся на свою руководительницу Анну Михайловну. Анна Михайловна сделала ему торопливый жест глазами, указывая на руку больного и губами посылая ей воздушный поцелуй. Пьер, старательно вытягивая шею, чтобы не зацепить за одеяло, исполнил ее совет и приложился к ширококостной и мясистой руке. Ни рука, ни один мускул лица графа не дрогнули. Пьер опять вопросительно посмотрел на Анну Михайловну, спрашивая теперь, что ему делать. Анна Михайловна глазами указала ему на кресло, стоявшее подле кровати. Пьер покорно стал садиться на кресло, глазами продолжая спрашивать, то ли он сделал, что нужно. Анна Михайловна одобрительно кивнула головой. Пьер принял опять симметрично-наивное положение египетской статуи, видимо, соболезнуя о том, что неуклюжее и толстое тело его занимало такое большое пространство, и употребляя все душевные силы, чтобы казаться как можно меньше. Он смотрел на графа. Граф смотрел на то место, где находилось лицо Пьера, в то время как он стоял. Анна Михайловна являла в своем выражении сознание трогательной важности этой последней минуты свидания отца с сыном. Это продолжалось две минуты, которые показались Пьеру часом. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук. Анна Михайловна старательно смотрела в глаза больному и, стараясь угадать, чего было нужно ему, указывала то на Пьера, то на питье, то шепотом вопросительно называла князя Василия, то указывала на одеяло. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели.

— На другой бочок перевернуться хотят, — прошептал слуга и поднялся, чтобы переворотить лицом к стене тяжелое тело графа.

Пьер встал, чтобы помочь слуге.

В то время как графа переворачивали, одна рука его беспомощно завалилась назад, и он сделал напрасное усилие, чтобы перетащить ее. Заметил ли граф тот взгляд ужаса, с которым Пьер смотрел на эту безжизненную руку, или какая другая мысль промелькнула в его умирающей голове в эту минуту, но он посмотрел на непослушную руку, на выражение ужаса в лице Пьера, опять на руку, и на лице его явилась так не шедшая к его чертам слабая, страдальческая улыбка, выражавшая как бы насмешку над своим собственным бессилием. Неожиданно, при виде этой улыбки, Пьер почувствовал содрогание в груди, щипанье в носу, и слезы затуманили его зрение. Больного перевернули на бок к стене. Он вздохнул.

— Il est assoupi[1], — сказала Анна Михайловна, заметив приходившую на смену княжну. — Allons[2].

Пьер вышел.

---

[1] Он забылся

[2] Пойдем

XXI

В приемной никого уже не было, кроме князя Василия и старшей княжны, которые, сидя под портретом Екатерины, о чем-то оживленно говорили. Как только они увидали Пьера с его руководительницей, они замолчали. Княжна что-то спрятала, как показалось Пьеру, и прошептала:

— Не могу видеть эту женщину.

— Catiche a fait donner du thé dans le petit salon, — сказал князь Василий Анне Михайловне. — Allez, ma pauvre Анна Михайловна, prenez quelque chose, autrement vous ne suffirez pas[1].

Пьеру он ничего не сказал, только пожал с чувством его руку пониже плеча. Пьер с Анной Михайловной прошли в petit salon[2].

— Il n'y a rien qui restaure comme une tasse de cet excellent thé russe après une nuit blanche[3] , — говорил Лоррен с выражением сдержанной оживленности, отхлебывая из тонкой, без ручки, китайской чашки, стоя в маленькой круглой гостиной перед столом, на котором стоял чайный прибор и холодный ужин. Около стола собрались, чтобы подкрепить свои силы, все бывшие в эту ночь в доме графа Безухова. Пьер хорошо помнил эту маленькую круглую гостиную с зеркалами и маленькими столиками. Во время балов в доме графа Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз повторявшие их отражения. Теперь та же комната была едва освещена двумя свечами, и среди ночи на одном маленьком столике беспорядочно стояли чайный прибор и блюда, и разнообразные, непраздничные люди, шепотом переговариваясь, сидели в ней, каждым движением, каждым словом показывая, что никто не забывает того, что делается теперь и имеет еще совершиться в спальне. Пьер не стал есть, хотя ему и очень хотелось. Он оглянулся вопросительно на свою руководительницу и увидел, что она на цыпочках выходила опять в приемную, где остался князь Василий с старшею княжной. Пьер полагал, что и это было так нужно, и, помедлив немного, пошел за ней. Анна Михайловна стояла подле княжны, и обе они в одно время говорили взволнованным шепотом.

— Позвольте мне, княгиня, знать, что нужно и что не нужно, — говорила княжна, видимо, находясь в том же взволнованном состоянии, в каком она была в то время, как захлопывала дверь своей комнаты.

— Но, милая княжна, — кротко и убедительно говорила Анна Михайловна, заступая дорогу от спальни и не пуская княжну, — не будет ли это слишком тяжело для бедного дядюшки в такие минуты, когда ему нужен отдых? В такие минуты разговор о мирском, когда его душа уже приготовлена...

---

[1] Катишь велела подать чай в маленькую гостиную. Вы бы пошли, бедная Анна Михайловна, подкрепили себя, а то вас не хватит

[2] маленькую гостиную

[3] Ничто так не восстановляет после бессонной ночи, как чашка этого превосходного русского чаю

Князь Василий сидел на кресле, в своей фамильярной позе, высоко заложив ногу на ногу. Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще внизу; но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.

— Voyons, ma bonne Анна Михайловна, laissez faire Catiche[1]. Вы знаете, как граф ее любит.

— Я и не знаю, что в этой бумаге, — говорила княжна, обращаясь к князю Василию и указывая на мозаиковый портфель, который она держала в руках. — Я знаю только, что настоящее завещание у него в бюро, а это забытая бумага...

Она хотела обойти Анну Михайловну, но Анна Михайловна, подпрыгнув, опять загородила ей дорогу.

— Я знаю, милая, добрая княжна, — сказала Анна Михайловна, хватаясь рукой за портфель и так крепко, что видно было, она не скоро его пустит. — Милая княжна, я вас прошу, я вас умоляю, пожалейте его. Je vous en conjure...[2]

Княжна молчала. Слышны были только звуки усилий борьбы за портфель. Видно было, что ежели она заговорит, то заговорит не лестно для Анны Михайловны. Анна Михайловна держала крепко, но, несмотря на то, голос ее удерживал всю свою сладкую текучесть и мягкость.

— Пьер, подойдите сюда, мой друг. Я думаю, что он не лишний в родственном совете: не правда ли, князь?

— Что же вы молчите, mon cousin? — вдруг вскрикнула княжна так громко, что в гостиной услыхали и испугались ее голоса. — Что вы молчите, когда здесь Бог знает кто позволяет себе вмешиваться и делать сцены на пороге комнаты умирающего? Интриганка! — прошептала она злобно и дернула портфель изо всей силы, но Анна Михайловна сделала несколько шагов, чтобы не отстать от портфеля, и перехватила руку.

— Oh! — сказал князь Василий укоризненно и удивленно. Он встал. — C'est ridicule. Voyons[3], пустите. Я вам говорю.

Княжна пустила.

— И вы!

Анна Михайловна не послушалась его.

— Пустите, я вам говорю. Я беру все на себя. Я пойду и спрошу его. Я... довольно вам этого.

— Mais, mon prince[4], — говорила Анна Михайловна, — после такого великого таинства дайте ему минуту покоя. Вот, Пьер, скажите ваше мнение, — обратилась она к молодому человеку, который, вплоть подойдя к ним, удивленно смотрел на озлобленное, потерявшее все приличие лицо княжны и на перепрыгивающие щеки князя Василия.

— Помните, что вы будете отвечать за все последствия, — строго сказал князь Василий, — вы не знаете, что вы делаете.

---

[1] Да нет же, моя милая Анна Михайловна, оставьте Катишь делать, что она знает

[2] Я вас умоляю...

[3] Это смешно. Ну же

[4] Но, князь

— Мерзкая женщина! — вскрикнула княжна, неожиданно бросаясь на Анну Михайловну и вырывая портфель.

Князь Василий опустил голову и развел руками.

В эту минуту дверь, та страшная дверь, на которую так долго смотрел Пьер и которая так тихо отворялась, быстро с шумом откинулась, стукнув об стену, и средняя княжна выбежала оттуда и всплеснула руками.

— Что вы делаете! — отчаянно проговорила она. — Il s'en va et vous me laissez seule[1].

Старшая княжна выронила портфель. Анна Михайловна быстро нагнулась и, подхватив спорную вещь, побежала в спальню. Старшая княжна и князь Василий, опомнившись, пошли за ней. Через несколько минут первая вышла оттуда старшая княжна, с бледным и сухим лицом и прикушенною нижнею губой. При виде Пьера лицо ее выразило неудержимую злобу.

— Да, радуйтесь теперь, — сказала она, — вы этого ждали.

И, зарыдав, она закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

За княжной вышел князь Василий. Он, шатаясь, дошел до дивана, на котором сидел Пьер, и упал на него, закрыв глаза рукой. Пьер заметил, что он был бледен и что нижняя челюсть его прыгала и тряслась, как в лихорадочной дрожи.

— Ах, мой друг! — сказал он, взяв Пьера за локоть; и в голосе его была искренность и слабость, которых Пьер никогда прежде не замечал в нем. — Сколько мы грешим, сколько мы обманываем, и все для чего? Мне шестой десяток, мой друг... Ведь мне... Все кончится смертью, все. Смерть ужасна. — Он заплакал.

Анна Михайловна вышла последняя. Она подошла к Пьеру тихими, медленными шагами.

— Пьер!.. — сказала она.

Пьер вопросительно смотрел на нее. Она поцеловала в лоб молодого человека, увлажая его слезами. Она помолчала.

— Il n'est plus...[2]

Пьер смотрел на нее через очки.

— Allons, je vous reconduirai. Tâchez de pleurer. Rien ne soulage comme les larmes[3].

Она провела его в темную гостиную, и Пьер рад был, что никто там не видел его лица. Анна Михайловна ушла от него, и, когда она вернулась, он, подложив под голову руку, спал крепким сном.

На другое утро Анна Михайловна говорила Пьеру:

— Oui, mon cher, c'est une grande perte pour nous tous. Je ne parle pas de vous. Mais Dieu vous soutiendra, vous êtes jeune et vous voilà à la tête d'une immense fortune, je l'espère. Le testament n'a pas été encore ouvert. Je vous connais assez pour savoir que cela ne vous tournera pas la tête, mais cela vous impose des devoirs, et il faut être homme[4].

Пьер молчал.

---

[1] Он умирает, а вы меня оставляете одну

[2] Его нет более...

[3] Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать: ничто так не облегчает, как слезы

— Peut-être plus tard je vous dirai, mon cher, que si je n'avais pas été là, Dieu sait ce qui serait arrivé. Vous savez, mon oncle avant-hier encore me promettait de ne pas oublier Boris. Mais il n'a pas eu le temps. J'espère, mon cher ami, que vous remplirez le désir de votre père[1].

Пьер ничего не понимал и молча, застенчиво краснея, смотрел на княгиню Анну Михайловну. Переговорив с Пьером, Анна Михайловна уехала к Ростовым и легла спать. Проснувшись утром, она рассказывала Ростовым и всем знакомым подробности смерти графа Безухова. Она говорила, что граф умер так, как и она желала бы умереть, что конец его был не только трогателен, но и назидателен; последнее же свидание отца с сыном было до того трогательно, что она не могла вспомнить его без слез и что она не знает — кто лучше вел себя в эти страшные минуты: отец ли, который так все и всех вспомнил в последние минуты и такие трогательные слова сказал сыну, или Пьер, на которого жалко было смотреть, как он был убит и как, несмотря на это, старался скрыть свою печаль, чтобы не огорчить умирающего отца. «C'est pénible, mais cela fait du bien: ça élève l'âme de voir des hommes comme le vieux comte et son digne fils» [2], — говорила она. О поступках княжны и князя Василия она, не одобряя их, тоже рассказывала, но под большим секретом и шепотом.

XXII

В Лысых Горах, имении князя Николая Андреевича Болконского, ожидали с каждым днем приезда молодого князя Андрея с княгиней; но ожидание не нарушило стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич, по прозванию в обществе le roi de Prusse[3], — с того времени, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих Лысых Горах с дочерью, княжною Марьей, и при ней компаньонкой, m-lle Bourienne[4]. И в новое царствование, хотя ему и был разрешен въезд в столицы, он также продолжал безвыездно жить в деревне, говоря, что ежели кому его нужно, то тот и от Москвы полтораста верст доедет до Лысых Гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери и, чтобы развить в ней обе главные добродетели, давал ей уроки алгебры и геометрии и распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Сам он постоянно был занят то писанием своих мемуаров, то выкладками из высшей математики, то точением табакерок на станке, то работой в саду и наблюдением над постройками, которые не прекращались в его имении. Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до

---

[4] Да, мой друг, это великая потеря для всех нас, не говоря о вас. Но Бог вас поддержит, вы молоды, и вот вы теперь, надеюсь, обладатель огромного богатства. Завещание еще не вскрыто. Я довольно вас знаю и уверена, что это не вскружит вам голову; но это налагает на вас обязанности; и надо быть мужчиной

[1] После я, может быть, расскажу вам, что если б я не была там, то Бог знает, что бы случилось. Вы знаете, что дядюшка третьего дня обещал мне не забыть Бориса, но не успел. Надеюсь, мой друг, вы исполните желание отца

[2] Это тяжело, но это поучительно: душа возвышается, когда видишь таких людей, как старый граф и его достойный сын

[3] прусский король

[4] мамзель Бурьен

последней степени точности. Его выходы к столу совершались при одних и тех же неизменных условиях, и не только в один и тот же час, но и минуту. С людьми, окружавшими его, от дочери до слуг, князь был резок и неизменно требователен, и потому, не быв жестоким, он возбуждал к себе страх и почтительность, каких не легко мог бы добиться самый жестокий человек. Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя, считал своим долгом являться к нему и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика с маленькими сухими ручками и серыми висячими бровями, иногда, как он насупливался, застилавшими блеск умных и молодых блестящих глаз.

В день приезда молодых, утром, по обыкновению, княжна Марья в урочный час входила для утреннего приветствия в официантскую и со страхом крестилась и читала внутренно молитву. Каждый день она входила и каждый день молилась о том, чтоб это ежедневное свидание сошло благополучно.

Сидевший в официантской пудреный старик слуга тихим движением встал и шепотом доложил: «Пожалуйте».

Из-за двери слышались равномерные звуки станка. Княжна робко потянула за легко и плавно отворяющуюся дверь и остановилась у входа. Князь работал за станком и, оглянувшись, продолжал свое дело.

Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно употребляемыми. Большой стол, на котором лежали книги и планы, высокие стеклянные шкафы библиотеки с ключами в дверцах, высокий стол для писания в стоячем положении, на котором лежала открытая тетрадь, токарный станок, с разложенными инструментами и с рассыпанными кругом стружками, — все выказывало постоянную, разнообразную и порядочную деятельность. По движениям небольшой ноги, обутой в татарский, шитый серебром, сапожок, по твердому налеганию жилистой, сухощавой руки видна была в князе еще упорная и много выдерживающая сила свежей старости. Сделав несколько кругов, он снял ногу с педали станка, обтер стамеску, кинул ее в кожаный карман, приделанный к станку, и, подойдя к столу, подозвал дочь. Он никогда не благословлял своих детей и только, подставив ей щетинистую, еще не бритую нынче щеку, сказал, строго и вместе с тем внимательно-нежно оглядев ее:

— Здорова?.. ну, так садись!

Он взял тетрадь геометрии, писанную его рукой, и подвинул ногой свое кресло.

— На завтра! — сказал он, быстро отыскивая страницу и от параграфа до другого отмечая жестким ногтем.

Княжна пригнулась к столу над тетрадью.

— Постой, письмо тебе, — вдруг сказал старик, доставая из приделанного над столом кармана конверт, надписанный женскою рукой, и кидая его на стол.

Лицо княжны покрылось красными пятнами при виде письма. Она торопливо взяла его и пригнулась к нему.

— От Элоизы? — спросил князь, холодною улыбкой выказывая еще крепкие и желтоватые зубы.

— Да, от Жюли, — сказала княжна, робко взглядывая и робко улыбаясь.

— Еще два письма пропущу, а третье прочту, — строго сказал князь, — боюсь, много вздору пишете. Третье прочту.

— Прочтите хоть это, mon père[1], — отвечала княжна, краснея еще более и подавая ему письмо.

— Третье, я сказал, третье, — коротко крикнул князь, отталкивая письмо, и, облокотившись на стол, пододвинул тетрадь с чертежами геометрии.

— Ну, сударыня, — начал старик, пригнувшись близко к дочери над тетрадью и положив одну руку на спинку кресла, на котором сидела княжна, так что княжна чувствовала себя со всех сторон окруженною тем табачным и старчески-едким запахом отца, который она так давно знала. — Ну, сударыня, треугольники эти подобны; изволишь видеть, угол abc...

Княжна испуганно взглядывала на близко от нее блестящие глаза отца; красные пятна переливались по ее лицу, и видно было, что она ничего не понимает и так боится, что страх помешает ей понять все дальнейшие толкования отца, как бы ясны они ни были. Виноват ли был учитель, или виновата была ученица, но каждый день повторялось одно и то же: у княжны мутилось в глазах, она ничего не видела, не слышала, только чувствовала его дыхание и запах и только думала о том, как бы ей уйти поскорее из кабинета и у себя на просторе понять задачу. Старик выходил из себя: с грохотом отодвигал и придвигал кресло, на котором сам сидел, делал усилия над собой, чтобы не разгорячиться, и почти всякий раз горячился, бранился, а иногда швырял тетрадью.

Княжна ошиблась ответом.

— Ну, как же не дура! — крикнул князь, оттолкнув тетрадь и быстро отвернувшись, но тотчас же встал, прошелся, дотронулся руками до волос княжны и снова сел.

Он придвинулся и продолжал толкование.

— Нельзя, княжна, нельзя, — сказал он, когда княжна, взяв и закрыв тетрадь с заданными уроками, уже готовилась уходить, — математика великое дело, моя сударыня. А чтобы ты была похожа на наших глупых барынь, я не хочу. Стерпится — слюбится. — Он потрепал ее рукой по щеке. — Дурь из головы выскочит.

Она хотела выйти, он остановил ее жестом и достал с высокого стола новую, неразрезанную книгу.

— Вот еще какой-то Ключ таинства тебе твоя Элоиза посылает. Религиозная. А я ни в чью веру не вмешиваюсь... Просмотрел. Возьми. Ну, ступай, ступай!

Он потрепал ее по плечу и сам запер за нею дверь.

Княжна Марья возвратилась в свою комнату с грустным, испуганным выражением, которое редко покидало ее и делало ее некрасивое, болезненное лицо еще более некрасивым, села за свой письменный стол, уставленный миниатюрными портретами и заваленный тетрадями и книгами. Княжна была столь же беспорядочна, как отец ее порядочен. Она положила тетрадь геометрии и

[1] батюшка

нетерпеливо распечатала письмо. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны; друг этот был та самая Жюли Карагина, которая была на именинах у Ростовых.

Жюли писала:

«Chère et excellente amie, quelle chose terrible et effrayante que l'absence! J'ai beau me dire que la moitié de mon existence et de mon bonheur est en vous, que malgré la distance qui nous sépare, nos coeurs sont unis par des liens indissolubles; le mien se révolte contre la destinée, et je ne puis, malgré les plaisirs et les distractions qui m'entourent, vaincre une certaine tristesse cachée que je ressens au fond du cur depuis notre séparation. Pourquoi ne sommes-nous pas réunies, comme cet été dans votre grand cabinet sur le canapé bleu, le canapé à confidences? Pourquoi ne puis-je, comme il y a trois mois, puiser de nouvelles forces morales dans votre regard si doux, si calme et si pénétrant, regard que j'aimais tant et que je crois voir devant moi, quand je vous écris?»[1]

Прочтя до этого места, княжна Марья вздохнула и оглянулась в трюмо, которое стояло направо от нее. Зеркало отразило некрасивое, слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные, теперь особенно безнадежно смотрели на себя в зеркало. «Она мне льстит», — подумала княжна, отвернулась и продолжала читать. Жюли, однако, не льстила своему другу: действительно, глаза княжны, большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего лица, глаза эти делались привлекательнее красоты. Но княжна никогда не видела хорошего выражения своих глаз, того выражения, которое они принимали в те минуты, когда она не думала о себе. Как и у всех людей, лицо ее принимало натянуто-неестественное, дурное выражение, как скоро она смотрелась в зеркало. Она продолжала читать:

«Tout Moscou ne parle que guerre. L'un de mes deux frères est déjà à l'étranger, l'autre est avec la garde qui se met en marche vers la frontière. Notre cher empereur a quitté Pétersbourg et, à ce qu'on prétend, compte lui-même exposer sa précieuse existence aux chances de la guerre. Dieu veuille que le monstre corsicain, qui détruit le repos de l'Europe, soit terrassé par l'ange que le Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous a donné pour souverain. Sans parler de mes frères, cette guerre m'a privée d'une relation des plus chères à mon cur. Je pane du jeune Nicolas Rostoff qui avec son enthousiasme n'a pu supporter l'inaction et a quitté l'université pour aller s'enrôler dans l'armée. Eh bien, chère Marie, je vous avouerai, que, malgré son extrême jeunesse, son départ pour l'armée a été un grand chagrin pour moi. Le jeune homme, dont je vous parlais cet été, a tant de noblesse, de véritable jeunesse qu'on rencontre si rarement dans le siècle où nous vivons parmi nos vieillards de vingt ans. Il a surtout tant de franchise et de cur. Il est tellement pur et poétique, que mes relations avec lui, quelques passagères qu'elles fussent, ont été l'une des plus douces jouissances de mon pauvre cur, qui a déjà tant souffert. Je vous raconterai

[1] Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастия в вас, что, несмотря на расстояние, которое нас разлучает, сердца наши соединены неразрывными узами, мое сердце возмущается против судьбы, и, несмотря на удовольствия и рассеяния, которые меня окружают, я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в вашем большом кабинете, на голубом диване, на диване «признаний»? Отчего я не могу, как три месяца тому назад, почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, кротком, спокойном и проницательном, который я так любила и который я вижу пред собой в ту минуту, как пишу вам?

un jour nos adieux et tout ce qui s'est dit en partant. Tout cela est encore trop frais. Ah! chère amie, vous êtes heureuse de ne pas connaître ces jouissances et ces peines si poignantes. Vous êtes heureuse, puisque les dernières sont ordinairement les plus fortes! Je sais fort bien que le comte Nicolas est trop jeune pour pouvoir jamais devenir pour moi quelque chose de plus qu'un ami, mais cette douce amitié, ces relations si poétiques et si pures ont été un besoin pour mon cur. Mais n'en parlons plus. La grande nouvelle du jour qui occupe tout Moscou est la mort du vieux comte Безухов et son héritage. Figurez-vous que les trois princesses n'ont reçu que très peu de chose, le prince Basile rien, et que c'est M. Pierre qui a tout hérité, et qui par-dessus le marché a été reconnu pour fils légitime, par conséquent comte Безухов est possesseur de la plus belle fortune de la Russie. On prétend que le prince Basile a joué un très vilain rôle dans toute cette histoire et qu'il est reparti tout penaud pour Pétersbourg[1].

Je vous avoue que je comprends très peu toutes ces affaires de legs et de testament; ce que je sais, c'est que depuis que le jeune homme que nous connaissions tous sous le nom de M. Pierre tout court est devenu comte Безухов et possesseur de l'une des plus grandes fortunes de la Russie, je m'amuse fort à observer les changements de ton et des manières des mamans accablées de filles à marier et des demoiselles elles-mêmes à l'égard de cet individu qui, par parenthèse, m'a paru toujours être un pauvre sire. Comme on s'amuse depuis deux ans à me donner des promis que je ne connais pas le plus souvent, la chronique matrimoniale de Moscou me fait comtesse Безуховой. Mais vous sentez bien que je ne me soucie nullement de le devenir. A propos de mariage, savez-vous que tout dernièrement la tante en général Анна Михайловна m'a confié sous le sceau du plus grand secret un projet de mariage pour vous. Ce n'est ni plus ni moins que le fils du prince Basile, Anatole, qu'on voudrait ranger en le mariant à une personne riche et distinguée, et c'est sur vous qu'est tombé le choix des parents. Je ne sais comment vous envisagerez la chose, mais j'ai cru de mon devoir de vous en avertir. On le dit très beau et très mauvais sujet; c'est tout ce que j'ai pu savoir sur son compte.

Mais assez de bavardage comme cela. Je finis mon second feuillet, et maman me fait chercher pour aller dîner chez les Apraksines. Lisez le livre mystique que je vous envoie et

[1] Вся Москва только и говорит, что о войне. Один из моих двух братьев уже за границей, другой с гвардией, которая выступает в поход к границе. Наш милый государь оставляет Петербург и, как предполагают, намерен сам подвергнуть свое драгоценное существование случайностям войны. Дай Бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого Всемогущий в своей благости поставил над нами повелителем. Не говоря уже о моих братьях, эта война лишила меня одного из отношений, самых близких моему сердцу. Я говорю о молодом Николае Ростове, который, при своем энтузиазме, не мог переносить бездействия и оставил университет, чтобы поступить в армию. Признаюсь вам, милая Мари, что, несмотря на его чрезвычайную молодость, отъезд его в армию был для меня большим горем. В молодом человеке, о котором я говорила вам прошлым летом, столько благородства, истинной молодости, которую встречаешь так редко в наш век между нашими двадцатилетними стариками! У него особенно так много откровенности и сердца. Он так чист и полон поэзии, что мои отношения к нему, при всей мимолетности своей, были одною из самых сладостных отрад моего бедного сердца, которое уже так много страдало. Я вам расскажу когда-нибудь наше прощание и все, что говорилось при прощании. Все это еще слишком свежо... Ах! милый друг, вы счастливы, что не знаете этих жгучих наслаждений, этих жгучих горестей. Вы счастливы, потому что последние обыкновенно сильнее первых. Я очень хорошо знаю, что граф Николай слишком молод для того, чтобы сделаться для меня чем-нибудь, кроме как другом. Но эта сладкая дружба, эти столь поэтические и столь чистые отношения были потребностью моего сердца. Но довольно об этом. Главная новость, занимающая всю Москву, — смерть старого графа Безухова и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер — наследник всего и, сверх того, признан законным сыном и потому графом Безуховым и владельцем самого огромного состояния в России. Говорят, что князь Василий играл очень гадкую роль во всей этой истории и что он уехал в Петербург очень сконфуженный.

qui fait fureur chez nous. Quoiqu'il y ait des choses dans ce livre difficiles à atteindre avec la faible conception humaine, c'est un livre admirable dont la lecture calme et élève l'âme. Adieu. Mes respects à monsieur votre père et mes compliments à m-lle Bourienne. Je vous embrasse comme je vous aime.

Julie.

P.S. Donnez-moi des nouvelles de votre frère et de sa charmante petite femme»[1].

Княжна подумала, задумчиво улыбнулась (причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось) и, вдруг приподнявшись, тяжело ступая, перешла к столу. Она достала бумагу, и рука ее быстро начала ходить по ней. Так писала она в ответ:

«Chère et excellente amie. Votre lettre du 13 m'a causé une grande joie. Vous m'aimez donc toujours, ma poétique Julie. L'absence dont vous dites tant de mal, n'a donc pas eu son influence habituelle sur vous. Vous vous plaignez de l'absence — que devrai-je dire moi si j'osais me plaindre, privée de tous ceux qui me sont chers? Ah! si nous n'avions pas la religion pour nous consoler, la vie serait bien triste. Pourquoi me supposez-vous un regard sévère quand vous me partez de votre affection pour le jeune homme? Sous ce rapport je ne suis rigide que pour moi. Je comprends ces sentiments chez les autres et si je ne puis approuver ne les ayant jamais ressentis, je ne les condamne pas. Il me paraît seulement que l'amour chrétien, l'amour du prochain, l'amour pour ses ennemis est plus méritoire, plus doux et plus beau, que ne le sont les sentiments que peuvent inspirer les beaux yeux d'un jeune homme à une jeune fille poétique et aimante comme vous.

La nouvelle de la mort du comte Безухов nous est par-venue avant votre lettre, et mon père en a été très affecté. Il dit que c'était l'avant-dernier représentant du grand siècle, et qu'à présent c'est son tour; mais qu'il fera son possible pour que son tour vienne le plus tard possible. Que Dieu nous garde de ce terrible malheur! Je ne puis partager votre opinion sur Pierre que j'ai connu enfant. Il me paraissait toujours avoir un cur excellent, et c'est la qualité que j'estime le plus dans les gens. Quant à son héritage et au rôle qu'y a joué le prince Basile, c'est bien triste pour tous les deux. Ah! chère amie, la parole de Notre Divin Sauveur qu'il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est à

---

[1] Признаюсь вам, я очень плохо понимаю все эти дела по духовным завещаниям; знаю только, что с тех пор, как молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пьера, сделался графом Безуховым и владельцем одного из лучших состояний России, — я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменек, у которых есть дочери-невесты, и самих барышень в отношении к этому господину, который (в скобках будь сказано) всегда казался мне очень ничтожным. Так как уже два года все забавляются тем, чтобы приискать мне женихов, которых я большею частью не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графинею Безуховой. Но вы понимаете, что я нисколько этого не желаю. Кстати о браках. Знаете ли вы, что недавно всеобщая тетушка Анна Михайловна доверила мне, под величайшим секретом, замысел устроить ваше супружество. Это ни более, ни менее, как сын князя Василия, Анатоль, которого хотят пристроить, женив его на богатой и знатной девице, и на вас пал выбор родителей. Я не знаю, как вы посмотрите на это дело, но я сочла своим долгом предуведомить вас. Он, говорят, очень хорош и большой повеса. Вот все, что я могла узнать о нем.

Но будет болтать. Кончаю мой второй листок, а маменька прислала за мной, чтоб ехать обедать к Апраксиным. Прочитайте мистическую книгу, которую я вам посылаю; она имеет у нас огромный успех. Хотя в ней есть вещи, которые трудно понять слабому уму человеческому, но это превосходная книга; чтение ее успокоивает и возвышает душу. Прощайте. Мое почтение вашему батюшке и мои приветствия мамзель Бурьен. Обнимаю вас от всего сердца.

Жюли.

P. S. Известите меня о вашем брате и о его прелестной жене.

un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, cette parole est terriblement vraie; je plains le prince Basile et je regrette encore davantage Pierre. Si jeune et accablé de cette richesse, que de tentations n'aura-t-il pas à subir! Si on me demandait ce que je désirerais le plus au monde, ce serait d'être plus pauvre que le plus pauvre des mendiants. Mille grâces, chère amie, pour l'ouvrage que vous m'envoyez, et qui fait si grande fureur chez vous. Cependant, puisque vous me dites qu'au milieu de plusieurs bonnes choses il y en a d'autres que la faible conception humaine ne peut atteindre, il me paraît assez inutile de s'occuper d'une lecture inintelligible qui par là même ne pourrait être d'aucun fruit. Je n'ai jamais pu comprendre la passion qu'ont certaines personnes de s'embrouiller l'entendement en s'attachant à des livres mystiques, qui n'élèvent que des doutes dans leurs esprits, exaltent leur imagination et leur donnent un caractère d'exagération tout à fait contraire à la simplicité chrétienne. Lisons les apôtres et l'Evangile. Ne cherchons pas à pénétrer ce que ceux-là renferment de mystérieux, car comment oserions-nous, misérables pécheurs que nous sommes, prétendre à nous initier dans les secrets terribles et sacrés de la providence, tant que nous portons cette dépouille charnelle, qui élève entre nous et l'éternel un voile impénétrable? Bornons-nous donc à étudier les principes sublimes que Notre Divin Sauveur nous a laissé pour notre conduite ici-bas; cherchons à nous y conformer et à les suivre, persuadons-nous que moins nous donnons d'essor à notre faible esprit humain et plus il est agréable à Dieu, qui rejette toute science ne venant pas de lui; que moins nous cherchons à approfondir ce qu'il lui a plu de dérober à notre connaissance, et plutôt il nous en accordera la découverte par son divin esprit.

Mon père ne m'a pas parlé du prétendant, mais il m'a dit seulement qu'il a reçu une lettre et attendait une visite du prince Basile. Pour ce qui est du projet de mariage qui me regarde, je vous dirai, chère et excellente amie, que le mariage selon moi, est une institution divine à laquelle il faut se conformer. Quelque pénible que cela soit pour moi, si le Tout-Puissant m'impose jamais les devoirs d'épouse et de mère, je tâcherai de les remplir aussi fidèlement que je le pourrai, sans m'inquiéter de l'examen de mes sentiments à l'égard de celui qu'il me donnera pour époux.

J'ai reçu une lettre de mon frère qui m'annonce son arrivée à Лысые Горы avec sa femme. Ce sera une joie de courte durée, puisqu'il nous quitte pour prendre part à cette malheureuse guerre, à laquelle nous sommes entraînés Dieu sait comment et pourquoi. Non seulement chez vous, au centre des affaires et du monde, on ne parle que de guerre, mais ici, au milieu de ces travaux champêtres et de ce calme de la nature que les citadins se représentent ordinairement à la campagne, les bruits de la guerre se font entendre et sentir péniblement. Mon père ne parle que marche et contremarche, choses auxquelles je ne comprends rien; et avant-hier en faisant ma promenade habituelle dans la rue du village, je fus témoin d'une scène déchirante... C'était un convoi des recrues enrôlés chez nous et expédiés pour l'armée. Il fallait voir l'état dans lequel se trouvaient les mères, les femmes, les enfants des hommes qui partaient et entendre les sanglots des uns et des autres! On dirait que l'humanité à oublié les lois de Son Divin Sauveur qui prêchait l'amour et le pardon des offenses, et qu'elle fait consister son plus grand mérite dans l'art de s'entre-tuer.

Adieu, chère et bonne amie, que Notre Divin Sauveur et sa très Sainte Mère vous aient en leur sainte et puissante garde.

Marie»[1]

— Ah, vous expédiez le courrier, princesse, moi j'ai déjà expédié le mien. J'ai écris à ma pauvre mère[2], — заговорила быстро-приятным, сочным голоском улыбающаяся m-lle Bourienne, картавя на р и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марьи совсем другой, легкомысленно-веселый и самодовольный мир.

---

[1] Милый и бесценный друг. Ваше письмо от тринадцатого доставило мне большую радость. Вы все еще меня любите, моя поэтическая Жюли. Разлука, о которой вы говорите так много дурного, видно, не имела на вас своего обычного влияния. Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела, — я, лишенная всех тех, кто мне дорог? Ах, ежели бы не было у нас утешения религии, жизнь была бы очень печальна. Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе. Я понимаю эти чувства у других, и если не могу одобрять их, никогда не испытавши, то я не осуждаю их. Мне кажется только, что христианская любовь к ближнему, любовь к врагам достойнее, отраднее и лучше, чем те чувства, которые могут внушить прекрасные глаза молодого человека молодой девушке, поэтической и любящей, как вы.

Известие о смерти графа Безухова дошло до нас прежде вашего письма, и мой отец был очень тронут им. Он говорит, что это был предпоследний представитель великого века и что теперь черед за ним, но что он сделает все зависящее от него, чтобы черед этот пришел как можно позже. Избави нас Боже от этого несчастия!

Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что касается до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих. Ах, милый друг, слова нашего божественного Спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ухо, чем богатому войти в Царствие Божие, — эти слова страшно справедливы! Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Столь молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, — через сколько искушений надо будет пройти ему! Если б у меня спросили, чего я желаю более всего на свете, — я сказала бы: желаю быть беднее самого бедного из нищих. Благодарю вас тысячу раз, милый друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шуму у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое по этому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы: путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской. Будем читать лучше апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникать то, что в этих книгах есть таинственного, ибо как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны провидения до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и вечным непроницаемую завесу? Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле; будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем мы будем понятнее Богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от Него, и что чем меньше мы углубляемся в то, что Ему угодно было скрыть от нас, тем скорее даст Он нам это открытие Своим божественном разумом.

Отец мне ничего не говорил о женихе, но сказал только, что получил письмо и ждет посещения князя Василия; что касается до плана супружества относительно меня, я вам скажу, милый и бесценный друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы ни было тяжело для меня, но если Всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого Он мне даст в супруги.

Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысые Горы. Радость эта будет непродолжительна, так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты Бог знает как и зачем. Не только у вас, в центре дел и света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит, что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю, и третьего дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видела раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, слышать рыдания тех и других! Подумаешь, что человечество забыло законы своего божественного Спасителя, учившего нас любви и прощению обид, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга.

Прощайте, милый и добрый друг. Да сохранит вас наш божественный Спаситель и его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом.

Мари.

[2] А, вы отправляете письмо, я уж отправила свое. Я писала моей бедной матери

— Princesse, il faut que je vous prévienne, — прибавила она, понижая голос, — le prince a eu une altercation, — altercation, — сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя, — une altercation avec Michel Ivanoff. Il est de très mauvaise humeur, très morose. Soyez prévenue, vous savez...[1]

— Ah! chère amie, — отвечала княжна Марья, — je vous ai priée de ne jamais me prévenir de l'humeur dans laquelle se trouve mon père. Je ne me permets pas de le juger, et je ne voudrais pas que les autres le fassent[2].

Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже пять минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между двенадцатью и двумя часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.

XXIII

Седой камердинер сидел, дремля и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей слышались по двадцати раз повторяемые трудные пассажи Дюссековой сонаты.

В это время подъехала к крыльцу карета и бричка, и из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон, в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон; он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене.

— Через двадцать минут он встанет. Пройдем к княжне Марье, — сказал он.

Маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила.

— Mais c'est un palais, — сказала она мужу, оглядываясь кругом, с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала. — Allons, vite, vite!..[3] — Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их.

— C'est Marie qui s'exerce? Allons doucement, il faut la surprendre[4].

Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением.

— Ты постарел, Тихон, — сказал он, проходя, старику, целовавшему его руку.

Перед комнатою, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. M-lle Bourienne казалась обезумевшею от восторга.

— Ah! quel bonheur pour la princesse, — заговорила она. — Enfin! Il faut que je la prévienne[5].

---

[1] Княжна, я должна вас предуведомить — князь разбранил Михайла Иваныча. Он очень не в духе, такой угрюмый. Предупреждаю вас, знаете...

[2] Ах, милый друг мой! Я просила вас никогда не говорить мне о том, в каком расположении духа батюшка. Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтоб и другие это делали

[3] Да это дворец! — Ну, скорее, скорей!..

[4] Это Мари упражняется? Пойдем потихоньку, чтобы она не видала нас

[5] Ах, какая радость для княжны! Наконец-то! Надо ее предупредить

— Non, non, de grâce... Vous êtes mademoiselle Bourienne, je vous connais déjà par l'amitié que vous porte ma belle-soeur, — говорила княгиня, целуясь с нею. — Elle ne nous attend pas! [1]

Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного.

Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руки к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. M-lle Bourienne тоже заплакала. Князю Андрею было, очевидно, неловко; но для двух женщин казалось так естественно, что они плакали; казалось, они и не предполагали, чтобы могло иначе совершиться это свидание.

— Ah! chère!.. Ah Marie!.. — вдруг заговорили обе женщины и засмеялись. — J'ai rêvé cette nuit... — Vous ne nous attendiez donc pas?.. Ah! Marie, vous avez maigri... — Et vous avez repris...[2]

— J'ai tout de suite reconnu madame la princesse[3], — вставила m-lle Бурьен.

— Et moi qui ne me doutais pas!.. — восклицала княжна Марья. — Ah! André, je ne vous voyais pas[4].

Князь Андрей поцеловался с сестрою рука в руку и сказал ей, что она такая же pleurnicheuse[5], как всегда была. Княжна Марья повернулась к брату, и сквозь слезы любовный, теплый и кроткий взгляд ее прекрасных в ту минуту, больших лучистых глаз остановился на лице князя Андрея.

Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка. Княгиня рассказывала случай, который был с ними на Спасской горе, грозившей ей опасностью в ее положении, и сейчас же после этого сообщила, что она все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить Бог знает в чем, и что Андрей совсем переменился, и что Китти Одынцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи

---

[1] Нет, нет, пожалуйста... Вы мамзель Бурьен; я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя золовка. Она не ожидает нас!

[2] Ах, милая!.. Ах, Мари!.. — А я видела во сне. — Так вы нас не ожидали?.. Ах, Мари, вы так похудели. — А вы так пополнели...

[3] Я тотчас узнала княгиню

[4] А я и не подозревала!.. Ах, Андрей, я и не видела тебя

[5] плакса

pour tout de bon[1] , но что об этом поговорим после. Княжна Марья все еще молча смотрела на брата, и в прекрасных глазах ее были и любовь и грусть. Видно было, что в ней установился теперь свой ход мысли, не зависимый от речей невестки. Она в середине ее рассказа о последнем празднике в Петербурге обратилась к брату.

— И ты решительно едешь на войну, André? — сказала она, вздохнув.

Lise вздохнула тоже.

— Даже завтра, — отвечал брат.

— Il m'abandonne ici, et Dieu sait pourquoi, quand il aurait pu avoir de l'avancement...[2]

Княжна Марья не дослушала и, продолжая нить своих мыслей, обратилась к невестке, ласковыми глазами указывая на ее живот?

— Наверное? — сказала она.

Лицо княгини изменилось. Она вздохнула.

— Да, наверное, — сказала она. — Ах! Это очень страшно...

Губки Лизы опустились. Она приблизила свое лицо к лицу золовки и опять неожиданно заплакала.

— Ей надо отдохнуть, — сказал князь Андрей, морщась. — Не правда ли, Лиза? Сведи ее к себе, а я пойду к батюшке. Что он, все то же?

— То же, то же самое; не знаю, как на твои глаза, — отвечала радостно княжна.

— И те же часы и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

— Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии, — радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни.

Когда прошли те двадцать минут, которые нужны были для срока вставанья старого князя, Тихон пришел звать молодого князя к отцу. Старик сделал исключение в своем образе жизни в честь приезда сына: он велел впустить его в свою половину во время одеванья перед обедом. Князь ходил по-старинному, в кафтане и пудре. И в то время как князь Андрей (не с тем брюзгливым выражением лица и манерами, которые он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером) входил к отцу, старик сидел в уборной на широком, сафьяном обитом кресле, в пудроманте, предоставляя свою голову рукам Тихона.

— А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и тряхнул напудренною головой, сколько позволяла эта заплетаемая коса, находившаяся в руках Тихона. — Примись хотя ты за него хорошенько, а то он этак скоро и нас своими подданными запишет. Здоро́во! — И он выставил свою щеку.

Старик находился в хорошем расположении духа после дообеденного сна. (Он говорил, что после обеда серебряный сон, а до обеда золотой.) Он радостно из-под своих густых нависших бровей косился на сына. Князь Андрей подошел и поцеловал

[1] настоящий

[2] Он покидает меня здесь, и Бог знает зачем, тогда как он мог бы получить повышение...

отца в указанное им место. Он не отвечал на любимую тему разговора отца — подтруниванье над теперешними военными людьми, а особенно над Бонапартом.

— Да, приехал к вам, батюшка, и с беременною женой, — сказал князь Андрей, следя оживленными и почтительными глазами за движением каждой черты отцовского лица. — Как здоровье ваше?

— Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь: с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

— Слава Богу, — сказал сын, улыбаясь.

— Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай, — продолжал он, возвращаясь к своему любимому коньку, — как вас немцы с Бонапартом сражаться по вашей новой науке, стратегией называемой, научили.

Князь Андрей улыбнулся.

— Дайте опомниться, батюшка, — сказал он с улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и любить его. — Ведь я еще и не разместился.

— Врешь, врешь, — закричал старик, встряхивая косичкою, чтобы попробовать, крепко ли она была заплетена, и хватая сына за руку. — Дом для твоей жены готов. Княжна Марья сведет ее и покажет и с три короба наболтает. Это их бабье дело. Я ей рад. Сиди, рассказывай. Михельсона армию я понимаю, Толстого тоже... высадка единовременная... Южная армия что будет делать? Пруссия, нейтралитет... это я знаю. Австрия что? — говорил он, встав с кресла и ходя по комнате с бегавшим и подававшим части одежды Тихоном. — Швеция что? Как Померанию перейдут?

Князь Андрей, видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь и невольно посреди рассказа, по привычке, перейдя с русского на французский язык, начал излагать операционный план предполагаемой кампании. Он рассказал, как девяностотысячная армия должна была угрожать Пруссии, чтобы вывести ее из нейтралитета и втянуть в войну, как часть этих войск должна была в Штральзунде соединиться с шведскими войсками, как двести двадцать тысяч австрийцев, в соединении со ста тысячами русских, должны были действовать в Италии и на Рейне, и как пятьдесят тысяч русских и пятьдесят тысяч англичан высадятся в Неаполе, и как в итоге пятисоттысячная армия должна была с разных сторон сделать нападение на французов. Старый князь не выказал ни малейшего интереса при рассказе, как будто не слушал, и, продолжая на ходу одеваться, три раза неожиданно перервал его. Один раз он остановил его и закричал:

— Белый! белый!

Это значило, что Тихон подавал ему не тот жилет, который он хотел. Другой раз он остановился, спросил:

— И скоро она родит? — и, с упреком покачав головой, сказал: — Нехорошо! Продолжай, продолжай.

В третий раз, когда князь Андрей оканчивал описание, старик запел фальшивым и старческим голосом: «Malbrough s'en va-t-en guerre. Dieu sait quand reviendra»[1].

Сын только улыбнулся.

[1] «Мальбрук в поход поехал, Бог весть когда вернется»

— Я не говорю, чтоб это был план, который я одобряю, — сказал сын, — я вам только рассказал, что есть. Наполеон уже составил свой план не хуже этого.

— Ну, новенького ты мне ничего не сказал. — И старик задумчиво проговорил про себя скороговоркой: «Dieu sait quand reviendra». — Иди в столовую.

XXIV

В назначенный час, напудренный и выбритый, князь вышел в столовую, где ожидала его невестка, княжна Марья, m-lle Бурьен и архитектор князя, по странной прихоти его допускаемый к столу, хотя по своему положению незначительный человек этот никак не мог рассчитывать на такую честь. Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михаиле Ивановиче, сморкавшемся в углу в клетчатый платок, доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой. За столом князь чаще всего обращался к бессловесному Михайле Ивановичу.

В столовой, громадно-высокой, как и все комнаты в доме, ожидали выхода князя домашние и официанты, стоявшие за каждым стулом; дворецкий, с салфеткой на руке, оглядывал сервировку, мигая лакеям и постоянно перебегая беспокойным взглядом от стенных часов к двери, из которой должен был появиться князь. Князь Андрей глядел на огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских, висевшую напротив такой же громадной рамы с дурно сделанным (видимо, рукою домашнего живописца) изображением владетельного князя в короне, который должен был происходить от Рюрика и быть родоначальником рода Болконских. Князь Андрей смотрел на это генеалогическое дерево, покачивая головой, и посмеивался с тем видом, с каким смотрят на похожий до смешного портрет.

— Как я узнаю его всего тут! — сказал он княжне Марье, подошедшей к нему.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на брата. Она не понимала, чему он улыбался. Все, сделанное ее отцом, возбуждало в ней благоговение, которое не подлежало обсуждению.

— У каждого своя ахиллесова пятка, — продолжал князь Андрей. — С его огромным умом donner dans ce ridicule! [1]

Княжна Марья не могла понять смелости суждений своего брата и готовилась возражать ему, как послышались из кабинета ожидаемые шаги: князь входил быстро, весело, как он и всегда ходил, как будто умышленно своими торопливыми манерами представляя противоположность строгому порядку дома. В то же мгновение большие часы пробили два, и тонким голоском отозвались в гостиной другие. Князь остановился; из-под висячих густых бровей оживленные, блестящие, строгие глаза оглядели всех и остановились на молодой княгине. Молодая княгиня испытывала в то время то чувство, какое испытывают придворные на царском выходе, то чувство страха и почтения, которое возбуждал этот старик во всех приближенных. Он погладил княгиню по голове и потом неловким движением потрепал ее по затылку.

— Я рад, я рад, — проговорил он и, пристально еще взглянув ей в глаза, быстро отошел и сел на свое место. — Садитесь, садитесь! Михаил Иванович, садитесь.

[1] поддаваться этой мелочности!

Он указал невестке место подле себя. Официант отодвинул для нее стул.

— Го, го! — сказал старик, оглядывая ее округленную талию. — Поторопилась, нехорошо!

Он засмеялся сухо, холодно, неприятно, как он всегда смеялся — одним ртом, а не глазами.

— Ходить надо, ходить, как можно больше, как можно больше, — сказал он.

Маленькая княгиня не слыхала или не хотела слышать его слов. Она молчала и казалась смущенною. Князь спросил ее об отце, и княгиня заговорила и улыбнулась. Он спросил ее об общих знакомых: княгиня еще более оживилась и стала рассказывать, передавая князю поклоны и городские сплетни.

— La comtesse Apraksine, la pauvre, a perdu son mari, et elle a pleuré les larmes de ses yeux[1], — говорила она, все более и более оживляясь.

По мере того как она оживлялась, князь все строже и строже смотрел на нее и вдруг, как будто достаточно изучив ее и составив себе ясное о ней понятие, отвернулся от нее и обратился к Михаилу Ивановичу.

— Ну что, Михаила Иванович, Буонапарте-то нашему плохо приходится. Как мне князь Андрей (он всегда так называл сына в третьем лице) порассказал, какие на него силы собираются! А мы с вами все его пустым человеком считали.

Михаил Иванович, решительно не знавший, когда это мы с вами говорили такие слова о Бонапарте, но понимавший, что он был нужен для вступления в любимый разговор, удивленно взглянул на молодого князя, сам не зная, что из этого выйдет.

— Он у меня тактик великий! — сказал князь сыну, указывая на архитектора.

И разговор зашел опять о войне, о Бонапарте и нынешних генералах и государственных людях. Старый князь, казалось, был убежден не только в том, что все теперешние деятели были мальчишки, не смыслившие и азбуки военного и государственного дела, и что Бонапарте был ничтожный французишка, имевший успех только потому, что уже не было Потемкиных и Суворовых противопоставить ему; но он был убежден даже, что никаких политических затруднений не было в Европе, не было и войны, а была какая-то кукольная комедия, в которую играли нынешние люди, притворяясь, что делают дело. Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор и слушал его.

— Все кажется хорошим, что было прежде, — сказал он, — а разве тот же Суворов не попался в ловушку, которую ему поставил Моро, и не умел из нее выпутаться?

— Это кто тебе сказал? Кто сказал? — крикнул князь. — Суворов! — И он отбросил тарелку, которую живо подхватил Тихон. — Суворов!.. Подумавши, князь Андрей. Два: Фридрих и Суворов... Моро! Моро был бы в плену, коли бы у Суворова руки свободны были; а у него на руках сидели хофс-кригс-вурст-шнапс-рат. Ему черт не рад. Вот пойдете, эти хофс-кригс-вурстраты узнаете! Суворов с ними не сладил, так уж где ж Михаиле Кутузову сладить?! Нет, дружок, — продолжал он, — вам с своими генералами против Бонапарте не обойтись; надо французов взять, чтобы своя своих не познаша и своя своих побиваша. Немца Палена в Новый-Йорк, в Америку, за

[1] Бедная графиня Апраксина потеряла мужа. Глаза выплакала, бедняжка

французом Моро послали, — сказал он, намекая на приглашение, которое в этом году было сделано Моро вступить в русскую службу. — Чудеса!! Что, Потемкины, Суворовы, Орловы разве немцы были? Нет, брат, либо там вы все с ума сошли, либо я из ума выжил. Дай вам Бог, а мы посмотрим. Бонапарте у них стал полководец великий! Гм!..

— Я ничего не говорю, чтобы все распоряжения были хороши, — сказал князь Андрей, — только я не могу понять, как вы можете так судить о Бонапарте. Смейтесь, как хотите, а Бонапарте все-таки великий полководец!

— Михайла Иванович! — закричал старый князь архитектору, который, занявшись жарким, надеялся, что про него забыли. — Я вам говорил, что Бонапарте великий тактик? Вон и он говорит.

— Как же, ваше сиятельство, — отвечал архитектор.

Князь опять засмеялся своим холодным смехом.

— Бонапарте в рубашке родился. Солдаты у него прекрасные. Да и на первых он на немцев напал. А немцев только ленивый не бил. С тех пор как мир стоит, немцев все били. А они никого. Только друг друга. Он на них свою славу сделал.

И князь начал разбирать все ошибки, которые, по его понятиям, делал Бонапарте во всех своих войнах и даже в государственных делах. Сын не возражал, но видно было, что, какие бы доводы ему ни представляли, он так же мало способен был изменить свое мнение, как и старый князь. Князь Андрей слушал, удерживаясь от возражений и невольно удивляясь, как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов.

— Ты думаешь, я, старик, не понимаю настоящего положения дел? — заключил он. — А мне оно вот где! Я ночи не сплю. Ну, где же этот великий полководец твой-то, где он показал себя?

— Это длинно было бы, — отвечал сын.

— Ступай же ты к Буонапарте своему. M-lle Bourienne, voilà encore un admirateur de votre goujat d'empereur! [1] — закричал он отличным французским языком.

— Vous savez que je ne suis pas bonapartiste, mon prince[2].

— «Dieu sait quand reviendra...»[3] — пропел князь фальшиво, еще фальшивее засмеялся и вышел из-за стола.

Маленькая княгиня во все время спора и остального обеда молчала и испуганно поглядывала то на княжну Марью, то на свекра. Когда они вышли из-за стола, она взяла за руку золовку и отозвала ее в другую комнату.

— Comme c'est un homme d'esprit votre père, — сказала она, — c'est à cause de cela peut-être qu'il me fait peur[4].

— Ах, он так добр! — сказала княжна.

---

[1] Мамзель Бурьен, вот еще поклонник вашего холопского императора!

[2] Вы знаете, князь, что я не бонапартистка

[3] «Бог весть когда вернется...»

[4] Какой умный человек ваш батюшка. Может быть, от этого-то я и боюсь его

XXV

Князь Андрей уезжал на другой день вечером. Старый князь, не отступая от своего порядка, после обеда ушел к себе. Маленькая княгиня была у золовки. Князь Андрей, одевшись в дорожный сюртук без эполет, в отведенных ему покоях укладывался с своим камердинером. Сам осмотрев коляску и укладку чемоданов, он велел закладывать. В комнате оставались только те вещи, которые князь Андрей всегда брал с собой: шкатулка, большой серебряный погребец, два турецких пистолета и шашка — подарок отца, привезенный из-под Очакова. Все эти дорожные принадлежности были в большом порядке у князя Андрея: все было ново, чисто, в суконных чехлах, старательно завязано тесемочками.

В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находит серьезное настроение мыслей. В эти минуты обыкновенно поверяется прошедшее и делаются планы будущего. Лицо князя Андрея было очень задумчиво и нежно. Он, заложив руки назад, быстро ходил по комнате из угла в угол, глядя вперед себя, и задумчиво покачивал головой. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, — может быть, и то и другое, только, видимо, не желая, чтоб его видели в таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение. Это были тяжелые шаги княжны Марьи.

— Мне сказали, что ты велел закладывать, — сказала она, запыхавшись (она, видно, бежала), — а мне так хотелось еще поговорить с тобой наедине. Бог знает, на сколько времени опять расстаемся. Ты не сердишься, что я пришла? Ты очень переменился, Андрюша, — прибавила она как бы в объяснение такого вопроса.

Она улыбнулась, произнося слово «Андрюша». Видно, ей самой было странно подумать, что этот строгий, красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой, шаловливый мальчик, товарищ детства.

— А где Lise? — спросил он, только улыбкой отвечая на ее вопрос.

— Она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. — Ах, André! Quel trésor de femme vous avez[1], — сказала она, усаживаясь на диван против брата. — Она совершенный ребенок, такой милый, веселый ребенок. Я так ее полюбила.

Князь Андрей молчал, но княжна заметила ироническое и презрительное выражение, появившееся на его лице.

— Но надо быть снисходительным к маленьким слабостям; у кого их нет, André! Ты не забудь, что она воспитана и выросла в свете. И потом ее положение теперь не розовое. Надобно входить в положение каждого. Tout comprendre, c'est tout pardonner[2]. Ты подумай, каково ей, бедняжке, после жизни, к которой она привыкла, расстаться с мужем и остаться одной в деревне и в ее положении? Это очень тяжело.

Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы насквозь видим.

— Ты живешь в деревне и не находишь эту жизнь ужасною, — сказал он.

---

[1] Ах, Андрей! Какое сокровище твоя жена

[2] Кто все поймет, тот все и простит

— Я другое дело. Что обо мне говорить! Я не желаю другой жизни, да и не могу желать, потому что не знаю никакой другой жизни. А ты подумай, André, для молодой и светской женщины похорониться в лучшие годы жизни в деревне, одной, потому что папенька всегда занят, а я... ты меня знаешь... как я бедна en ressources[1], для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Mademoiselle Bourienne одна...

— Она мне очень не нравится, ваша Bourienne, — сказал князь Андрей.

— О нет! Она очень милая и добрая, а главное — жалкая девушка. У нее никого, никого нет. По правде сказать, мне она не только не нужна, но стеснительна. Я, ты знаешь, и всегда была дикарка, а теперь еще больше! Я люблю быть одна... Mon père[2] ее очень любит. Она и Михаил Иваныч — два лица, к которым он всегда ласков и добр, потому что они оба облагодетельствованы им; как говорит Стерн: «Мы не столько любим людей за то добро, которое они нам сделали, сколько за то добро, которое мы им сделали». Mon père взял ее сиротой sur le pavé[3], и она очень добрая. И mon père любит ее манеру чтения. Она по вечерам читает ему вслух. Она прекрасно читает.

— Ну, а по правде, Marie, тебе, я думаю, тяжело иногда бывает от характера отца? — вдруг спросил князь Андрей.

— Княжна Марья сначала удивилась, потом испугалась этого вопроса.

— Мне?.. Мне?! Мне тяжело?! — сказала она.

Он и всегда был крут, а теперь тяжел становится, я думаю, — сказал князь Андрей, видимо, нарочно, чтоб озадачить или испытать сестру, так легко отзываясь об отце.

— Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли, — сказала княжна, больше следуя за своим ходом мыслей, чем за ходом разговора, — и это большой грех. Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération[4], может возбудить такой человек, как mon père? И я так довольна и счастлива с ним! Я только желала бы, чтобы вы все были счастливы, как я.

Брат недоверчиво покачал головой.

— Одно, что тяжело для меня, — я тебе по правде скажу, André, — это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не может видеть того, что ясно, как день, и может так заблуждаться? Вот это составляет одно мое несчастие. Но и тут в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его насмешки не так язвительны, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним.

— Ну, мой друг, я боюсь, что вы с монахом даром растрачиваете свой порох, — насмешливо, но ласково сказал князь Андрей.

— Ah, mon ami[5]. Я только молюсь Богу и надеюсь, что он услышит меня. André, — сказала она робко после минуты молчания, — у меня к тебе есть большая просьба.

— Что, мой друг?

---

[1] не весела
[2] Батюшка
[3] на улице
[4] обожания
[5] Ах, мой друг

— Нет, обещай мне, что ты не откажешь. Это тебе не будет стоить никакого труда, и ничего недостойного тебе в этом не будет. Только ты меня утешишь. Обещай, Андрюша, — сказала она, сунув руку в ридикюль и в нем держа что-то, но еще не показывая, как будто то, что она держала, и составляло предмет просьбы и будто прежде получения обещания в исполнении просьбы она не могла вынуть из ридикюля это что-то.

Она робко, умоляющим взглядом смотрела на брата.

— Ежели бы это и стоило мне большого труда... — как будто догадываясь, в чем было дело, отвечал князь Андрей.

— Ты что хочешь думай! Я знаю, ты такой же, как и mon père. Что хочешь думай, но для меня это сделай. Сделай, пожалуйста! Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах... — Она все еще не доставала того, что держала, из ридикюля. — Так ты обещаешь мне?

— Конечно, в чем дело?

— André, я тебя благословлю образом, и ты обещай мне, что никогда его не будешь снимать... Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет... Чтобы тебе сделать удовольствие... — сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся. — Очень рад, право, очень рад, мой друг, — прибавил он.

— Против твоей воли Он спасет и помилует тебя и обратит тебя к Себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе, на серебряной цепочке мелкой работы.

Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею.

— Пожалуйста, André, для меня...

Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок. Лицо его в одно и то же время было нежно (он был тронут) и насмешливо.

— Merci, mon ami[1] .

Она поцеловала его в лоб и опять села на диван. Они молчали.

— Так я тебе говорила, André, будь добр и великодушен, каким ты всегда был. Не суди строго Lise, — начала она. — Она так мила, так добра, и положение ее очень тяжело теперь.

— Кажется, я ничего не говорил тебе, Маша, чтоб я упрекал в чем-нибудь свою жену или был недоволен ею. К чему ты все это говоришь мне?

Княжна Марья покраснела пятнами и замолчала, как будто она чувствовала себя виноватою.

— Я ничего не говорил тебе, а тебе уж говорили. И мне это грустно.

[1] Благодарю тебя, мой друг

Красные пятна еще сильнее выступили на лбу, шее и щеках княжны Марьи. Она хотела сказать что-то и не могла выговорить. Брат угадал: маленькая княгиня после обеда плакала, говорила, что предчувствует несчастные роды, боится их, и жаловалась на свою судьбу, на свекра и на мужа. После слез она заснула. Князю Андрею жалко стало сестру.

— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну мою жену, и сам ни в чем себя не могу упрекнуть в отношении к ней; и это всегда так будет, в каких бы я ни был обстоятельствах. Но ежели ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...

Говоря это, он встал, подошел к сестре и, нагнувшись, поцеловал ее в лоб. Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным блеском, но он смотрел не на сестру, а в темноту отворенной двери, через ее голову.

— Пойдем к ней, надо проститься! Или иди одна, разбуди ее, а я сейчас приду. Петрушка! — крикнул он камердинеру. — Поди сюда, убирай. Это в сиденье, это на правую сторону.

Княжна Марья встала и направилась к двери. Она остановилась:

— André, si vous avez la foi, vous vous seriez adressé à Dieu, pour qu'il vous donne l'amour que vous ne sentez pas, et votre prière aurait été exaucée[1] .

— Да — разве это! — сказал князь Андрей. — Иди, Маша, я сейчас приду.

По дороге к комнате сестры, в галерее, соединявшей один дом с другим, князь Андрей встретил мило улыбавшуюся m-lle Bourienne, уже в третий раз в этот день с восторженною и наивною улыбкой попадавшуюся ему в уединенных переходах.

— Ah! je vous croyais chez vous[2], — сказала она, почему-то краснея и опуская глаза.

Князь Андрей строго посмотрел на нее. На лице князя Андрея вдруг выразилось озлобление. Он ничего не сказал ей, но посмотрел на ее лоб и волосы, не глядя в глаза, так презрительно, что француженка покраснела и ушла, ничего не сказав. Когда он подошел к комнате сестры, княгиня уже проснулась, и ее веселый голосок, торопивший одно слово за другим, послышался из отворенной двери. Она говорила, как будто после долгого воздержания ей хотелось вознаградить потерянное время.

— Non, mais figurez-vous, la vieille comtesse Zouboff avec de fausses boucles et la bouche pleine de fausses dents, comme si elle voulait défier les années...[3] Ха, ха, ха, Marie!

Точно ту же фразу о графине Зубовой и тот же смех уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены. Он тихо вошел в комнату. Княгиня, толстенькая, румяная, с работой в руках, сидела на кресле и без умолку говорила, перебирая петербургские воспоминания и даже фразы. Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил, отдохнула ли она от дороги. Она ответила и продолжала тот же разговор.

---

[1] Андрей, если бы ты имел веру, то обратился бы к Богу с молитвою, чтоб он даровал тебе любовь, которую ты не чувствуешь, и молитва твоя была бы услышана

[2] Ах, я думала, вы у себя

[3] Нет, представьте себе, старая графиня Зубова, с фальшивыми локонами, с фальшивыми зубами, как будто издеваясь над годами...

Коляска шестериком стояла у подъезда. На дворе была темная осенняя ночь. Кучер не видел дышла коляски. На крыльце суетились люди с фонарями. Огромный дом горел огнями сквозь свои большие окна. В передней толпились дворовые, желавшие проститься с молодым князем; в зале стояли все домашние: Михаил Иванович, m-lle Bourienne, княжна Марья и княгиня. Князь Андрей был позван в кабинет к отцу, который с глазу на глаз хотел проститься с ним. Все ждали их выхода.

Когда князь Андрей вошел в кабинет, старый князь, в стариковских очках и в своем белом халате, в котором он никого не принимал, кроме сына, сидел за столом и писал. Он оглянулся.

— Едешь? — И он опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда, — он показал щеку, — спасибо, спасибо!

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, спасибо! — И он продолжал писать, так что брызги летели с трещавшего пера. — Ежели нужно сказать что, говори. Эти два дела могу делать вместе, — прибавил он.

— О жене... Мне и так совестно, что я вам ее на руки оставляю...

— Что врешь? Говори, что нужно.

— Когда жене будет время родить, пошлите в Москву за акушером... Чтоб он тут был.

Старый князь остановился и, как бы не понимая, уставился строгими глазами на сына.

— Я знаю, что никто помочь не может, коли натура не поможет, — говорил князь Андрей, видимо смущенный. — Я согласен, что из миллиона случаев один бывает несчастный, но это ее и моя фантазия. Ей наговорили, она во сне видела, и она боится.

— Гм... гм... — проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать. — Сделаю.

Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.

— Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю, — сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок, — сказал князь, — они все такие, не разженишься. Ты не бойся; никому не скажу; а ты сам знаешь.

Он схватил его за руку своею костлявою маленькою кистью, потряс ее, взглянул прямо в лицо сына своими быстрыми глазами, которые, как казалось, насквозь видели человека, и опять засмеялся своим холодным смехом.

Сын вздохнул, признаваясь этим вздохом в том, что отец понял его. Старик, продолжая складывать и печатать письма с своею привычною быстротой, схватывал и бросал сургуч, печать и бумагу.

— Что делать? Красива! Я все сделаю. Ты будь покоен, — говорил он отрывисто во время печатания.

Андрей молчал: ему и приятно и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.

— Слушай, — сказал он, — о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Илларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреевича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.

Он говорил такою скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.

— Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь вот ломбардный билет и письмо: это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.

Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно

— Все исполню, батюшка, — сказал он.

— Ну, теперь прощай! — Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. — Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... — Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: — А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно! — взвизгнул он.

— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, — улыбаясь, сказал сын.

Старик замолчал.

— Еще я хотел просить вас, — продолжал князь Андрей, — ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас... пожалуйста.

— Жене не отдавать? — сказал старик и засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простились... ступай! — вдруг сказал он. — Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.

— Что такое, что? — спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.

Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил.

— Ну, — сказал он, обратившись к жене, и это «ну» звучало холодною насмешкой, как будто он говорил: «Теперь проделывайте вы ваши штуки».

— André, déjà? [1] — сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя на мужа.

Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.

Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.

— Adieu, Marie[2], — сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.

---

[1] Андрей, что, уже?

[2] Прощай, Маша

Княгиня лежала в кресле, m-lle Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, все еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась, и выглянула строгая фигура старика в белом халате.

— Уехал? Ну и хорошо! — сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.

Часть вторая

I

В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России, и, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау. В Браунау была главная квартира главнокомандующего Кутузова.

11-го октября 1805 года один из только что пришедших к Браунау пехотных полков, ожидая смотра главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на нерусскую местность и обстановку: фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдали, — на нерусский народ, с любопытством смотревший на солдат, — полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где-нибудь в середине России.

С вечера, на последнем переходе, был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались неясны полковому командиру и возник вопрос, как разуметь слова приказа: в походной форме или нет? — в совете батальонных командиров было решено представить полк в парадной форме на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем недокланяться. И солдаты, после тридцативерстного перехода, не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились: адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли; и к утру полк, вместо растянутой беспорядочной толпы, какою он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу двух тысяч людей, из которых каждый знал свое место, свое дело, из которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистотой. Не только наружное было исправно, но ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидел бы одинаково чистую рубаху и в каждом ранце нашел бы узаконенное число вещей, «шильце и мыльце», как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел тысячу верст.

Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками, мундир и густые золотые эполеты, которые как будто не книзу, а кверху поднимали его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливо совершающего одно из самых торжественных дел жизни. Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиною. Видно было, что полковой командир любуется своим полком, счастлив им и что все его силы душевные заняты только полком; но несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что, кроме военных интересов, в душе его немалое место занимают и интересы общественного быта и женский пол.

— Ну, батюшка Михайло Митрич, — обратился он к одному батальонному командиру (батальонный командир, улыбаясь, подался вперед; видно было, что они

были счастливы), — досталось на орехи нынче ночью. Однако, кажется, ничего, полк не из дурных... А?

Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся.

— И на Царицыном Лугу с поля бы не прогнали.

— Что? — сказал командир.

В это время по дороге из города, по которой были расставлены махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавший сзади.

Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел — в шинелях, в чехлах и без всяких приготовлений.

К Кутузову накануне прибыл член гофкригсрата из Вены, с предложениями и требованиями идти как можно скорее на соединение с армией эрцгерцога Фердинанда и Мака, и Кутузов, не считавший выгодным это соединение, в числе прочих доказательств в пользу своего мнения намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России. С этой целью он и хотел выехать навстречу полку, так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременное требование главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, и что в противном случае главнокомандующий будет недоволен.

Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки.

— Наделали дела! — проговорил он. — Вот я вам говорил же, Михайло Митрич, что на походе, так в шинелях, — обратился он с упреком к батальонному командиру. — Ах, мой Бог! — прибавил он и решительно выступил вперед. — Господа ротные командиры! — крикнул он голосом, привычным к команде. — Фельдфебелей!.. Скоро ли пожалуют? — обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо, относившейся к лицу, про которое он говорил.

— Через час, я думаю.

— Успеем переодеть?

— Не знаю, генерал...

Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеванием опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились (шинели были не совсем исправны), и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные, молчаливые четвероугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, втягивали их в рукава.

Через полчаса все опять пришло в прежний порядок, только четвероугольники сделались серыми из черных. Полковой командир опять подрагивающей походкой вышел вперед полка и издалека оглядел его.

— Это что еще? это что? — прокричал он, останавливаясь. — Командира третьей роты!..

— Командир третьей роты к генералу! командира к генералу, третьей роты к командиру!.. — послышались голоса по рядам и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера.

Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже «генерала в третью роту», дошли по назначению, требуемый офицер показался из-за роты и, хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать не выученный им урок. На красном (очевидно, от невоздержания) лице выступали пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он, запыхавшись, подходил, по мере приближения сдерживая шаг.

— Вы скоро людей в сарафаны нарядите? Это что? — крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах 3-й роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. — Сами где находились? Ожидается главнокомандующий, а вы отходите от своего места? А?.. Я вас научу, как на смотр людей в казакины одевать!.. А?

Ротный командир, не спуская глаз с начальника, все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасение.

— Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в венгерца наряжен? — строго шутил полковой командир.

— Ваше превосходительство...

— Ну, что «ваше превосходительство?» Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! А что ваше превосходительство — никому не известно.

— Ваше превосходительство, это Долохов, разжалованный... — сказал тихо капитан.

— Что, он в фельдмаршалы разжалован, что ли, или в солдаты? А солдат, так должен быть одет, как все, по форме.

— Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом.

— Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, — сказал полковой командир, остывая несколько. — Разрешил? Вам что-нибудь скажешь, а вы и... — Полковой командир помолчал. — Вам что-нибудь скажешь, а вы и... Что? — сказал он, снова раздражаясь. — Извольте одеть людей прилично...

И полковой командир, оглянувшись на адъютанта, своею вздрагивающею походкой направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому не понравилось и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к 3-й роте.

— Ка-а-ак стоишь? Где нога? Нога где? — закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель.

Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо, своим светлым и наглым взглядом, посмотрел в лицо генерала.

— Зачем синяя шинель? Долой!.. Фельдфебель! Переодеть его... дря... — Он не успел договорить.

— Генерал, я обязан исполнить приказания, но не обязан переносить... — поспешно сказал Долохов.

— Во фронте не разговаривать!.. Не разговаривать, не разговаривать!..

— Не обязан переносить оскорбления, — громко, звучно договорил Долохов.

Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.

— Извольте переодеться, прошу вас, — сказал он, отходя.

II

— Едет! — закричал в это время махальный.

Полковой командир, покраснев, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым, решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.

— Смир-р-р-на! — закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.

По широкой, обсаженной деревьями, большой бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем-то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих двух тысяч людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира.

Раздался крик команды, опять полк звеня дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул: «Здравья желаем, ваше го-го-го-ство!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался; потом Кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам.

По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как, наклоненный вперед, ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, — видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк благодаря строгости и старательности полкового командира был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время к Браунау. Отсталых и больных было только двести семнадцать человек. И все было исправно, кроме обуви.

Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но

не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек двадцать свиты. Господа свиты разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб-офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, улыбающимся, красивым лицом и влажными глазами. Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь-в-точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на забавника.

Кутузов шел медленно и вяло мимо тысяч глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поравнявшись с 3-ю ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.

— А, Тимохин! — сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.

Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин в то время, как полковой командир делал ему замечание. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы; и потому Кутузов, видимо, поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

— Еще измаильский товарищ, — сказал он. — Храбрый офицер! Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:

— Очень доволен, ваше высокопревосходительство.

— Мы все не без слабостей, — сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. — У него была приверженность к Бахусу.

Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что Несвицкий не мог удержать смех. Кутузов обернулся. Видно было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел: в ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное почтительное и невинное выражение.

Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо, припоминая что-то. Князь Андрей выступил из свиты и по-французски тихо сказал:

— Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.

— Где тут Долохов? — спросил Кутузов.

Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтоб его вызвали. Стройная фигура белокурого с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.

— Претензия? — нахмурившись слегка, спросил Кутузов.

— Это Долохов, — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Кутузов. — Надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько. Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.

Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.

— Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, — сказал он своим звучным, твердым, неспешащим голосом. — Прошу дать мне случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и России.

Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что все это уже прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске.

Полк разобрался ротами и тронулся по назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, обшиться и отдохнуть после трудных переходов.

— Вы на меня не претендуйте, Прохор Игнатьич! — сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту 3-ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира после счастливо отбытого смотра выражало неудержимую радость. — Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... Сам извинюсь первый, вы меня знаете... Очень благодарил! — И он протянул руку ротному.

— Помилуйте, генерал, да смею ли я! — отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.

— Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я все хотел спросить, что́ он, как себя ведет? И все...

— По службе очень исправен, ваше превосходительство... но карахтер... — сказал Тимохин.

— А что, что характер? — спросил полковой командир.

— Находит, ваше превосходительство, днями, — говорил капитан, — то и умен, и учен, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать...

— Ну да, ну да, — сказал полковой командир, — все надо пожалеть молодого человека в несчастии. Ведь большие связи... Так вы того...

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.

— Ну да, ну да.

Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.

— До первого дела, — эполеты, — сказал он ему.

Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо улыбающегося рта.

— Ну, вот и хорошо, — продолжал полковой командир. — Людям по чарке водки от меня, — прибавил он громко, чтоб солдаты слышали. — Благодарю всех! Слава Богу! — И он, обогнав роту, подъехал к другой.

— Что ж, он, право, хороший человек, с ним служить можно, — сказал Тимохин субалтерн-офицеру, шедшему подле него.

— Одно слово, червонный!.. (полкового командира прозвали червонным королем), — смеясь, сказал субалтерн-офицер.

Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.

— Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?

— А то нет! Вовсе кривой.

— Не... брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки, все оглядел...

— Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне... ну! думаю...

— А другой-то, австрияк, с ним был, словно мелом вымазан. Как мука, белый! Я чай, как амуницию чистят!

— А что, Федешоу!.. сказывал он, что ли, когда сраженье начнется? ты ближе стоял? Говорили всё, в Брунове сам Бунапарт стоит.

— Бунапарт стоит! ишь врет, дура! Чего не знает! Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Бунапарт стоит! То-то и видно, что дурак, ты слушай больше.

— Вишь, черти квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.

— Дай сухарика-то, черт.

— А табаку-то вчера дал? То-то, брат. Ну, на, Бог с тобой.

— Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши.

— То-то любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай: важно!

— А здесь, братец, народ вовсе оголтелый пошел. Там всё как будто поляк был, всё русской короны; а нынче, брат, сплошной немец пошел.

— Песенники, вперед! — послышался крик капитана.

И перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик-запевало обернулся лицом к песенникам, и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: «Не заря ли, солнышко занималося...» и кончавшуюся словами «То-то, братцы, будет слава нам с Каменскиим-отцом...» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменскиим-отцом» вставляли слова: «Кутузовым-отцом».

Оторвав по-солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что-то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат-песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто бережно приподнял обеими руками какую-то невидимую драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:

Ах вы, сени мои, сени!

«*Сени новые мои...*», — подхватили двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резко выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому-то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей. Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали идти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат, Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в так песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову.

Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему.

— Друг сердечный, ты как? — сказал он при звуках песни, равняя шаг своей лошади с шагом роты.

— Я как? — отвечал холодно Долохов. — Как видишь.

Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которою говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.

— Ну, как ладишь с начальством? — спросил Жерков.

— Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?

— Прикомандирован, дежурю.

Они помолчали.

«Выпускала сокола́ да из правова рукава», — говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.

— Что, правда, австрийцев побили? — спросил Долохов.

— А черт их знает, говорят.

— Я рад, — отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.

— Что ж, приходи к нам когда вечерком, фараон заложишь, — сказал Жерков.

— Или у вас денег много завелось?

— Приходи.

— Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.

— Да что ж, до первого дела...

— Там видно будет.

Опять они помолчали.

— Ты заходи, коли что нужно, всё в штабе помогут... — сказал Жерков.

Долохов усмехнулся.

— Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму.

— Да что ж, я так...

— Ну, и я так.

— Прощай.

— Будь здоров...

...И высоко и далеко,
На родиму сторону...

Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.

III

Возвратившись со смотра, Кутузов, сопутствуемый австрийским генералом, прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния приходивших войск, и письма, полученные от эрцгерцога Фердинанда, начальствовавшего передовою армией. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкригсрата.

— А... — сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор.

— Я только говорю одно, генерал, — говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонации, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя. — Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества императора Франца давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армией более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность, для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал.

И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно все равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то все дело».

Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же тоне отвечать Кутузову.

— Напротив, — сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов, — напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством; но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привыкли пожинать в битвах, — закончил он, видимо, приготовленную фразу.

Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.

— А я так убежден и, основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска, под начальством столь искусного помощника, каков генерал Мак, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи, — сказал Кутузов.

Генерал нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи; и потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, все с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Мака, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.

— Дай-ка сюда это письмо, — сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею. — Вот изволите видеть, — и Кутузов, с насмешливою улыбкой на концах губ, прочел по-немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда: «Wir haben vollkommen zusammengehaltene Kräfte, nahe an 70 000 Mann, um den Feind, wenn er den Lech passierte, angreifen und schlagen zu können. Wir können, da wir Meister von Ulm sind, den Vorteil, auch von beiden Ufern der Donau Meister zu bleiben, nicht verlieren; mithin auch jeden Augenblick, wenn der Feind den Lech nicht passierte, die Donau übersetzen, uns auf seine Kommunikations-Linie werfen, die Donau unterhalb repassieren, um dem Feinde, wenn er sich gegen unsere treue Allierte mit ganzer Macht wenden wollte, seine Absicht, alsbald vereiteln. Wir werden auf solche Weise dem Zeitpunkt, wo die Kaiserlich-Russische Armee ausgerüstet sein wird mutig entgegenharren, und sodann leicht gemeinschaftlich die Möglichkeit finden, dem Feinde das Schicksal zuzubereiten, so er verdient»[1].

Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на члена гофкригсрата.

— Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее, — сказал австрийский генерал, видимо, желая покончить с шутками и приступить к делу.

Он недовольно оглянулся на адъютанта.

— Извините, генерал, — перебил его Кутузов и тоже поворотился к князю Андрею. — Вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще, — сказал он, подавая ему несколько бумаг. — И из всего этого чистенько, на французском языке, составь mémorandum[2], записочку, для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так-то, и представь его превосходительству.

Князь Андрей наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную.

---

[1] Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около семидесяти тысяч человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная, стало быть, ежеминутно, в случае если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти обратно Дунай и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом, мы будем бодро ожидать времени, когда императорская российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает (нем.)

[2] промеморийку

Несмотря на то, что еще не много времени прошло с тех пор, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени: он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производит на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее.

Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. Из Вены Кутузов писал своему старому товарищу, отцу князя Андрея.

«Ваш сын, — писал он, — надежду подает быть офицером, из ряду выходящим по своим знаниям, твердости и исполнительности. Я считаю себя счастливым, имея под рукой такого подчиненного».

В штабе Кутузова между товарищами-сослуживцами и вообще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации. Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем-то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему; и с этими людьми князь Андрей был прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись.

Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к товарищу, дежурному адъютанту Козловскому, который с книгой сидел у окна.

— Ну, что, князь? — спросил Козловский.

— Приказано составить записку, почему нейдем вперед.

— А почему?

Князь Андрей пожал плечами.

— Нет известия от Мака? — спросил Козловский.

— Нет.

— Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.

— Вероятно, — сказал князь Андрей и направился к выходной двери; но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно приезжий, австрийский генерал в сюртуке, с повязанною черным платком головою и с орденом Марии-Терезии на шее. Князь Андрей остановился.

— Генерал-аншеф Кутузов? — быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки проходя к двери кабинета.

— Генерал-аншеф занят, — сказал Козловский, торопливо подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери. — Как прикажете доложить?

Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.

— Генерал-аншеф занят, — спокойно повторил Козловский.

Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что-то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул бывших в комнате, как будто спрашивая зачем они на него смотрят? Потом генерал поднял голову, вытянул шею, как будто намереваясь что-то сказать, но тотчас же, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. Генерал с повязанною головой, как будто убегая от опасности, нагнувшись, большими, быстрыми шагами худых ног подошел к Кутузову.

— Vous voyez le malheureux Mack[1], — проговорил он сорвавшимся голосом.

Лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Мака и сам за собой затворил дверь.

Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом оказывался справедливым. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем.

Князь Андрей был один из тех редких офицеров в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела. Увидав Мака и услыхав подробности его погибели, он понял, что половина кампании проиграна, понял всю трудность положения русских войск и живо вообразил себе то, что ожидает армию, и ту роль, которую он должен будет играть в ней. Невольно он испытывал волнующее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова. Но он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя.

Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату, чтобы написать отцу, которому он писал каждый день. Он сошелся в коридоре с своим сожителем Несвицким и шутником Жерковым; они, как всегда, чему-то смеялись.

— Что ты так мрачен? — спросил Несвицкий, заметив бледное, с блестящими глазами лицо князя Андрея.

— Веселиться нечему, — отвечал Болконский.

В то время как князь Андрей сошелся с Несвицким и Жерковым, с другой стороны коридора навстречу им шли Штраух, австрийский генерал, состоявший при штабе Кутузова для наблюдения за продовольствием русской армии, и член гофкригсрата, приехавшие накануне. По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли свободно разойтись с тремя офицерами; но Жерков, отталкивая рукой Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:

[1] Вы видите несчастного Мака

— Идут!.. идут!.. посторонитесь, дорогу! пожалуйста, дорогу!

Генералы проходили с видом желания избавиться от утруждающих почестей. На лице шутника Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которой он как будто не мог удержать.

— Ваше превосходительство, — сказал он по-немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу. — Имею честь поздравить.

Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцевать, стал расшаркиваться то одной, то другой ногою.

Генерал, член гофкригсрата, строго оглянулся на него; но, заметив серьезность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.

— Имею честь поздравить, генерал Мак приехал, совсем здоров, только немного тут зашибся, — прибавил он, сияя улыбкой и указывая на свою голову.

Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.

— Gott, wie naiv! [1] — сказал он сердито, отойдя несколько шагов.

Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея, но Болконский, еще более побледнев, с злобным выражением в лице, оттолкнул его и обратился к Жеркову. То нервное раздражение, в которое его привели вид Мака, известие об его поражении и мысли о том, что ожидает русскую армию, нашли себе исход в озлоблении на неуместную шутку Жеркова.

— Если вы, милостивый государь, — заговорил он пронзительно, с легким дрожанием нижней челюсти, — хотите быть шутом, то я вам в этом не могу воспрепятствовать; но объявляю вам, что если вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя.

Несвицкий и Жерков так были удивлены этой выходкой, что молча, раскрыв глаза, смотрели на Болконского.

— Что ж, я поздравил только, — сказал Жерков.

— Я не шучу с вами, извольте молчать! — крикнул Болконский и, взяв за руку Несвицкого, пошел прочь от Жеркова, не нашедшегося, что ответить.

— Ну, что ты, братец, — успокоивая, сказал Несвицкий.

— Как что? — заговорил князь Андрей, останавливаясь от волнения. — Да ты пойми, что мы — или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела. Quarante milles hommes massacrés et l'armée de nos alliés détruite, et vous trouvez là le mot pour rire, — сказал он, как будто этою французскою фразой закрепляя свое мнение. — C'est bien pour un garçon de rien comme cet individu dont vous avez fait un ami, mais pas pour vous, pas pour vous[2]. Мальчишкам только можно так забавляться, — прибавил князь Андрей по-русски, выговаривая это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков мог еще слышать его.

Он подождал, не ответит ли что-нибудь корнет. Но корнет повернулся и вышел из коридора.

---

[1] Боже, как наивен! (нем)

[2] Сорок тысяч человек погибло, и союзная нам армия уничтожена, а вы можете при этом шутить. Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам

IV

Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру, ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов, с тех самых пор как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром.

8-го октября, в тот самый день, когда в главной квартире все было поднято на ноги известием о поражении Мака, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по-старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще не приходил домой, когда Ростов, рано утром, верхом, вернулся с фуражировки. Ростов в юнкерском мундире подъехал к крыльцу, толканув лошадь, гибким, молодым жестом скинул ногу, постоял на стремени, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец спрыгнул и крикнул вестового.

— А, Бондаренко, друг сердечный, — проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару. — Выводи, дружок, — сказал он с тою братскою веселою нежностью, с которою обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы.

— Слушаю, ваше сиятельство, — отвечал хохол, встряхивая весело головой.

— Смотри же, вы́води хорошенько!

Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце.

«Славно! Такая будет лошадь!» — сказал он сам себе и, улыбаясь и придерживая саблю, взбежал на крыльцо, погромыхивая шпорами. Хозяин-немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Schön, gut Morgen! Schön, gut Morgen!»[1] — повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека.

— Schon fleissig! [2] — сказал Ростов все с тою же радостною, братскою улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. — Hoch Oesterreicher! Hoch Russen! Kaiser Alexander hoch! [3] — обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем-хозяином.

Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал:

— Und die ganze Welt hoch! [4]

Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью

[1] Доброго утра, доброго утра! (нем.)
[2] Уж за работой! (нем.)
[3] Да здравствуют австрийцы! Да здравствуют русские! Ура император Александр! (нем.)
[4] И да здравствует весь свет! (нем.)

посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись — немец в коровник, а Ростов в избу, которую занимал с Денисовым.

— Что барин? — спросил он у Лаврушки, известного всему полку плута-лакея Денисова.

— С вечера не бывали. Верно, проигрались, — отвечал Лаврушка. — Уж я знаю, коли выиграют, рано придут хвастаться, а коли до утра нет, значит, продулись, — сердитые придут. Кофею прикажете?

— Давай, давай.

Через десять минут Лаврушка принес кофею.

— Идут! — сказал он. — Теперь беда.

Ростов заглянул в окно и увидал возвращающегося домой Денисова. Денисов был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные в складках широкие чикчиры и на затылке была надета смятая гусарская шапочка. Он мрачно, опустив голову, приближался к крыльцу.

— Лавг'ушка, — закричал он громко и сердито. — Ну, снимай, болван!

— Да я и так снимаю, — отвечал голос Лаврушки.

— А! ты уж встал, — сказал Денисов, входя в комнату.

— Давно, — сказал Ростов, — я уже за сеном сходил и фрейлейн Матильду видел.

— Вот как! А я пг'одулся бг'ат, вчег'а, как сукин сын! — закричал Денисов, не выговаривая р. — Такого несчастия! Такого несчастия!.. Как ты уехал, так и пошло. Эй, чаю!

Денисов, сморщившись, как бы улыбаясь и выказывая свои короткие крепкие зубы, начал обеими руками с короткими пальцами лохматить, как лес, взбитые черные густые волосы.

— Чег'т меня дег'нул пойти к этой кг'ысе (прозвище офицера), — растирая себе обеими руками лоб и лицо, говорил он. — Можешь себе пг'едставить, ни одной каг'ты, ни одной, ни одной каг'ты не дал.

Денисов взял подаваемую ему закуренную трубку, сжал в кулак и, рассыпая огонь, ударил ею по полу, продолжая кричать:

— Семпель даст, паг'оль бьет; семпель даст, паг'оль бьет.

Он рассыпал огонь, разбил трубку и бросил ее. Потом помолчал и вдруг своими блестящими черными глазами весело взглянул на Ростова.

— Хоть бы женщины были. А то тут, кг'оме как пить, делать нечего. Хоть бы дг'аться ског'ей...

— Эй, кто там? — обратился он к двери, заслышав остановившиеся шаги толстых сапог с бряцанием шпор и почтительное покашливание.

— Вахмистр! — сказал Лаврушка.

Денисов сморщился еще больше.

— Сквег'но, — проговорил он, бросая кошелек с несколькими золотыми. — Г'остов, сочти, голубчик, сколько там осталось, да сунь кошелек под подушку, — сказал он и вышел к вахмистру.

Ростов взял деньги и, машинально, откладывая и равняя кучками старые и новые золотые, стал считать их.

— А! Телянин! Здог'ово! Вздули меня вчег'а, — послышался голос Денисова из другой комнаты.

— У кого? У Быкова, у крысы?.. Я знал, — сказал другой, тоненький голос, и вслед за тем в комнату вошел поручик Телянин, маленький офицер того же эскадрона.

Ростов кинул под подушку кошелек и пожал протянутую ему маленькую влажную руку. Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Он держал себя очень хорошо в полку; но его не любили, и в особенности Ростов не мог ни преодолеть, ни скрывать своего беспричинного отвращения к этому офицеру.

— Ну, что, молодой кавалерист, как вам мой Грачик служит? — спросил он. (Грачик был верховая лошадь, подъездок, проданная Теляниным Ростову.)

Поручик никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил; глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой.

— Я видел, вы нынче проехали...

— Да ничего, конь добрый, — отвечал Ростов, несмотря на то, что лошадь эта, купленная им за семьсот рублей, не стоила и половины этой цены. — Припадать стала на левую переднюю... — прибавил он.

— Треснуло копыто! Это ничего. Я вас научу, покажу, заплепку какую положить.

— Да, покажите, пожалуйста, — сказал Ростов.

— Покажу, покажу, это не секрет. А за лошадь благодарить будете.

— Так я велю привести лошадь, — сказал Ростов, желая избавиться от Телянина, и вышел, чтобы велеть привести лошадь.

В сенях Денисов, с трубкой, скорчившись на пороге, сидел перед вахмистром, который что-то докладывал. Увидав Ростова, Денисов сморщился и, указывая через плечо большим пальцем в комнату, в которой сидел Телянин, поморщился и с отвращением тряхнулся.

— Ох, не люблю молодца, — сказал он, не стесняясь присутствием вахмистра.

Ростов пожал плечами, как будто говоря: «И я тоже, да что ж делать!», и, распорядившись, вернулся к Телянину.

Телянин сидел все в той же ленивой позе, в которой его оставил Ростов, потирая маленькие белые руки.

«Бывают же такие противные лица», — подумал Ростов, входя в комнату.

— Что же, велели привести лошадь? — сказал Телянин, вставая и небрежно оглядываясь.

— Велел.

— Да пойдемте сами. Я ведь зашел только спросить Денисова о вчерашнем приказе. Получили, Денисов?

— Нет еще. А вы куда?

— Вот хочу молодого человека научить, как ковать лошадь, — сказал Телянин.

Они вышли на крыльцо и в конюшню. Поручик показал, как делать заклепку, и ушел к себе.

Когда Ростов вернулся, на столе стояла бутылка с водкой и лежала колбаса. Денисов сидел перед столом и трещал пером по бумаге. Он мрачно посмотрел в лицо Ростову.

— Ей пишу, — сказал он.

Он облокотился на стол с пером в руке и, очевидно, обрадованный случаю быстрее сказать словом все, что он хотел написать, высказывал свое письмо Ростову.

— Ты видишь ли, дг'уг, — сказал он. — Мы спим, пока не любим. Мы дети пг'аха... а полюбил — и ты бог, ты чист, как в пег'вый день созданья... Это еще кто? Гони его к чег'ту. Некогда! — крикнул он на Лаврушку, который, нисколько не робея, подошел к нему.

— Да кому ж быть? Сами велели. Вахмистр за деньгами пришел.

Денисов сморщился, хотел что-то крикнуть и замолчал.

— Сквег'но дело, — проговорил он про себя. — Сколько там денег в кошельке осталось? — спросил он у Ростова.

— Семь новых и три старых.

— Ах, сквег'но! Ну, что стоишь, чучело, пошли вахмистг'а! — крикнул Денисов на Лаврушку.

— Пожалуйста, Денисов, возьми у меня денег, ведь у меня есть, — сказал Ростов, краснея.

— Не люблю у своих занимать, не люблю, — проворчал Денисов.

— А ежели ты у меня не возьмешь денег по-товарищески, ты меня обидишь. Право, у меня есть, — повторял Ростов.

— Да нет же.

И Денисов подошел к кровати, чтобы достать из-под подушки кошелек.

— Ты куда положил, Г'остов?

— Под нижнюю подушку.

— Да нету.

Денисов скинул обе подушки на пол. Кошелька не было.

— Вот чудо-то!

— Постой, ты не уронил ли? — сказал Ростов, по одной поднимая подушки и вытрясая их.

Он скинул и отряхнул одеяло. Кошелька не было.

— Уж не забыл ли я? Нет, я еще подумал, что ты точно клад под голову кладешь, — сказал Ростов. — Я тут положил кошелек. Где он? — обратился он к Лаврушке.

— Я не входил. Где положили, там и должен быть.

— Да нет.

— Вы всё так, бросите куда, да и забудете. В карманах-то посмотрите.

— Нет, коли бы я не подумал про клад, — сказал Ростов, — а то я помню, что положил.

Лаврушка перерыл всю постель, заглянул под нее, под стол, перерыл всю комнату и остановился посреди комнаты. Денисов молча следил за движениями Лаврушки, и, когда Лаврушка удивленно развел руками, говоря, что нигде нет, он оглянулся на Ростова.

— Г'остов, ты не школьнич...

Ростов, почувствовав на себе взгляд Денисова, поднял глаза и в то же мгновение опустил их. Вся кровь его, бывшая запертою где-то ниже горла, хлынула ему в лицо и глаза. Он не мог перевести дыхание.

— И в комнате-то никого не было, окромя поручика да вас самих. Тут где-нибудь, — сказал Лаврушка.

— Ну, ты, чег'това кукла, — повог'ачивайся, ищи, — вдруг закричал Денисов, побагровев и с угрожающим жестом бросаясь на лакея. — Чтоб был кошелек, а то запог'ю. Всех запог'ю!

Ростов, обходя взглядом Денисова, стал застегивать куртку, подстегнул саблю и надел фуражку.

— Я тебе говог'ю, чтоб был кошелек, — кричал Денисов, тряся за плечи денщика и толкая его об стену.

— Денисов, оставь его; я знаю, кто взял, — сказал Ростов, подходя к двери и не поднимая глаз.

Денисов остановился, подумал и, видимо, поняв то, на что намекал Ростов, схватил его за руку.

— Вздог! — закричал он так, что жилы, как веревки, надулись у него на шее и лбу. — Я тебе говог'ю, ты с ума сошел, я этого не позволю. Кошелек здесь; спущу шкуг'у с этого мег'завца, и будет здесь.

— Я знаю, кто взял, — повторил Ростов дрожащим голосом и пошел к двери.

— А я тебе говог'ю, не смей этого делать, — закричал Денисов, бросаясь к юнкеру, чтоб удержать его.

Но Ростов вырвал руку и с такою злобой, как будто Денисов был величайший враг его, прямо и твердо устремил на него глаза.

— Ты понимаешь ли, что говоришь? — сказал он дрожащим голосом. — Кроме меня, никого не было в комнате. Стало быть, ежели не то, так...

Он не мог договорить и выбежал из комнаты.

— Ах, чег't с тобою и со всеми, — были последние слова, которые слышал Ростов.

Ростов пришел на квартиру Телянина.

— Барина дома нет, в штаб уехали, — сказал ему денщик Телянина. — Или что случилось? — прибавил денщик, удивляясь на расстроенное лицо юнкера.

— Нет, ничего.

— Немного не застали, — сказал денщик.

Штаб находился в трех верстах от Зальценека. Ростов, не заходя домой, взял лошадь и поехал в штаб. В деревне, занимаемой штабом, был трактир, посещаемый офицерами. Ростов приехал в трактир; у крыльца он увидал лошадь Телянина.

Во второй комнате трактира сидел поручик за блюдом сосисок и бутылкою вина.

— А, и вы заехали, юноша, — сказал он, улыбаясь и высоко поднимая брови.

— Да, — сказал Ростов, как будто выговорить это слово стоило большого труда, и сел за соседний стол.

Оба молчали; в комнате сидели два немца и один русский офицер. Все молчали, и слышались звуки ножей о тарелки и чавканье поручика. Когда Телянин

кончил завтрак, он вынул из кармана двойной кошелек, изогнутыми кверху, маленькими белыми пальцами раздвинул кольца, достал золотой и, приподняв брови, отдал деньги слуге.

— Пожалуйста, поскорее, — сказал он.

Золотой был новый. Ростов встал и подошел к Телянину.

— Позвольте посмотреть мне кошелек, — сказал он тихим, чуть слышным голосом.

С бегающими глазами, но все поднятыми бровями Телянин подал кошелек.

— Да, хорошенький кошелек... Да... да... — сказал он и вдруг побледнел. — Посмотрите, юноша, — прибавил он.

Ростов взял в руки кошелек и посмотрел и на него, и на деньги, которые были в нем, и на Телянина. Поручик оглядывался кругом по своей привычке и, казалось, вдруг стал очень весел.

— Коли будем в Вене, все там оставлю, а теперь и девать некуда в этих дрянных городишках, — сказал он. — Ну, давайте, юноша, я пойду.

Ростов молчал.

— А вы что ж? тоже позавтракать? Порядочно кормят, — продолжал Телянин. — Давайте же.

Он протянул руку и взялся за кошелек. Ростов выпустил его. Телянин взял кошелек и стал опускать его в карман рейтуз, и брови его небрежно поднялись, а рот слегка раскрылся, как будто он говорил: «Да, да, кладу в карман свой кошелек, и это очень просто, и никому до этого дела нет».

— Ну, что, юноша? — сказал он, вздохнув и из-под приподнятых бровей взглянул в глаза Ростова. Какой-то свет глаз с быстротою электрической искры перебежал из глаз Телянина в глаза Ростова и обратно, обратно и обратно, всё в одно мгновение.

— Подите сюда, — проговорил Ростов, хватая Телянина за руку. Он почти притащил его к окну. — Это деньги Денисова, вы их взяли... — прошептал он ему над ухом.

— Что?.. Что?.. Как вы смеете? Что?.. — проговорил Телянин.

Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услыхал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало жалко несчастного, стоявшего перед ним человека; но надо было до конца довести начатое дело.

— Здесь люди Бог знает что могут подумать, — бормотал Телянин, схватывая фуражку и направляясь в небольшую пустую комнату, — надо объясниться...

— Я это знаю, и я это докажу, — сказал Ростов.

— Я...

Испуганное, бледное лицо Телянина начало дрожать всеми мускулами; глаза все так же бегали, но где-то внизу, не поднимаясь до лица Ростова, и послышались всхлипыванья.

— Граф!.. не губите... молодого человека... вот эти несчастные... деньги, возьмите их... — Он бросил их на стол. — У меня отец-старик, мать!..

Ростов взял деньги, избегая взгляда Телянина, и, не говоря ни слова, пошел из комнаты. Но у двери он остановился и вернулся назад.

— Боже мой, — сказал он со слезами на глазах, — как вы могли это сделать?

— Граф, — сказал Телянин, приближаясь к юнкеру.

— Не трогайте меня, — проговорил Ростов, отстраняясь. — Ежели вам нужда, возьмите эти деньги. — Он швырнул ему кошелек и выбежал из трактира.

V

Вечером того же дня на квартире Денисова шел оживленный разговор офицеров эскадрона.

— А я говорю вам, Ростов, что вам надо извиниться перед полковым командиром, — говорил, обращаясь к пунцово-красному, взволнованному Ростову, высокий штаб-ротмистр, с седеющими волосами, огромными усами и крупными чертами морщинистого лица.

Штаб-ротмистр Кирстен был два раза разжалован в солдаты за дела чести и два раза выслуживался.

— Я никому не позволю себе говорить, что я лгу! — вскрикнул Ростов. — Он сказал то, что я лгу, а я сказал ему, что он лжет. Так с тем и останется. На дежурство может меня назначать хоть каждый день и под арест сажать, а извиняться меня никто не заставит, потому что ежели он как полковой командир считает недостойным себя дать мне удовлетворение, так...

— Да вы постойте, батюшка; вы послушайте меня, — перебил штаб-ротмистр своим басистым голосом, спокойно разглаживая свои длинные усы. — Вы при других офицерах говорите полковому командиру, что офицер украл...

— Я не виноват, что разговор зашел при других офицерах. Может быть, не надо было говорить при них, да я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть даст мне удовлетворение...

— Это все хорошо, никто не думает, что вы трус, да не в том дело. Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?

Денисов, закусив ус, с мрачным видом слушал разговор, видимо, не желая вступать в него. На вопрос штаб-ротмистра он отрицательно покачал головой.

— Вы при офицерах говорите полковому командиру про эту пакость, — продолжал штаб-ротмистр. — Богданыч (Богданычем называли полкового командира) вас осадил.

— Не осадил, а сказал, что я неправду говорю.

— Ну да, и вы наговорили ему глупостей, и надо извиниться.

— Ни за что! — крикнул Ростов.

— Не думал я этого от вас, — серьезно и строго сказал штаб-ротмистр. — Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами, вы кругом виноваты. А вот как: кабы вы подумали да посоветовались, как обойтись с этим делом, а то вы прямо, да при офицерах, и бухнули. Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь полк?

Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-вашему? А по-нашему, не так. И Богданыч молодец, он вам сказал, что вы неправду говорите. Неприятно, да что делать, батюшка, сами наскочили. А теперь, как дело хотят замять, так вы из-за фанаберии какой-то не хотите извиниться, а хотите все рассказать. Вам обидно, что вы подежурите, да что вам извиниться перед старым и честным офицером! Какой бы там ни был Богданыч, а все честный и храбрый полковник, так вам обидно, а замарать полк вам ничего! — Голос штаб-ротмистра начинал дрожать. — Вы, батюшка, в полку без году неделя; нынче здесь, завтра перешли куда в адъютантики; вам наплевать, что говорить будут: «Между Павлоградскими офицерами воры!» А нам не все равно. Так, что ли, Денисов? Не все равно?

Денисов все молчал и не шевелился, изредка взглядывая своими блестящими черными глазами на Ростова.

— Вам своя фанаберия дорогá, извиниться не хочется, — продолжал штаб-ротмистр, — а нам, старикам, как мы выросли, да и умереть, Бог даст, приведется в полку, так нам честь полка дорога, и Богданыч это знает. Ох, как дорога, батюшка! А это нехорошо, нехорошо! Там обижайтесь или нет, а я всегда правду-матку скажу. Нехорошо!

И штаб-ротмистр встал и отвернулся от Ростова.

— Пг'авда, чег't возьми! — закричал, вскакивая, Денисов. — Ну, Г'остов, ну!

Ростов, краснея и бледнея, смотрел то на одного, то на другого офицера.

— Нет, господа, нет... вы не думайте... я очень понимаю, вы напрасно обо мне думаете так... я... для меня... я за честь полка... да что? это на деле я покажу, и для меня честь знамени... ну, все равно, правда, я виноват!.. — Слезы стояли у него в глазах. — Я виноват, кругом виноват!.. Ну, что вам еще?..

— Вот это так, граф! — поворачиваясь, крикнул штаб-ротмистр, ударяя его большою рукою по плечу.

— Я тебе говог'ю, — закричал Денисов, — он малый славный.

— Так-то лучше, граф, — повторил штаб-ротмистр, как будто за его признание начиная величать его титулом. — Подите и извинитесь, ваше сиятельство, да-с.

— Господа, все сделаю, никто от меня слова не услышит, — умоляющим голосом проговорил Ростов, — но извиниться не могу, ей-богу, не могу, как хотите! Как я буду извиняться, точно маленький, прощенья просить?

Денисов засмеялся.

— Вам же хуже. Богданыч злопамятен, поплатитесь за упрямство, — сказал Кирстен.

— Ей-богу, не упрямство! Я не могу вам описать, какое чувство, не могу...

— Ну, ваша воля, — сказал штаб-ротмистр. — Что же, мерзавец-то этот куда делся? — спросил он у Денисова.

— Сказался больным, завтг'а велено пг'иказом исключить, — проговорил Денисов.

— Это болезнь, иначе нельзя объяснить, — сказал штаб-ротмистр.

— Уж там болезнь не болезнь, а не попадайся он мне на глаза — убью! — кровожадно прокричал Денисов.

В комнату вошел Жерков.

— Ты как? — обратились вдруг офицеры к вошедшему.

— Поход, господа. Мак в плен сдался, и с армией, со всем.

— Врешь!

— Сам видел.

— Как? Мака живого видел? с руками, с ногами?

— Поход! Поход! Дать ему бутылку за такую новость. Ты как же сюда попал?

— Опять в полк выслали, за черта, за Мака. Австрийский генерал пожаловался. Я его поздравил с приездом Мака... Ты что, Ростов, точно из бани?

— Тут, брат, у нас такая каша второй день.

Вошел полковой адъютант и подтвердил известие, привезенное Жерковым. Назавтра велено было выступать.

— Поход, господа!

— Ну, и слава Богу, засиделись.

VI

Кутузов отступил к Вене, уничтожая за собой мосты на реках Инне (в Браунау) и Трауне (в Линце). 23-го октября русские войска переходили реку Энс. Русские обозы, артиллерия и колонны войск в середине дня тянулись через город Энс, по сю и по ту сторону моста.

День был теплый, осенний и дождливый. Пространная перспектива, раскрывавшаяся с возвышения, где стояли русские батареи, защищавшие мост, то вдруг затягивалась кисейным занавесом косого дождя, то вдруг расширялась, и при свете солнца далеко и ясно становились видны предметы, точно покрытые лаком. Виднелся городок под ногами с своими белыми домами и красными крышами, собором и мостом, по обеим сторонам которого, толпясь, лились массы русских войск. Виднелись на повороте Дуная суда, и остров, и замок с парком, окруженный водами впадения Энса в Дунай, виднелся левый скалистый и покрытый сосновым лесом берег Дуная с таинственною далью зеленых вершин и голубеющими ущельями. Виднелись башни монастыря, выдававшегося из-за соснового, казавшегося нетронутым, дикого леса, и далеко впереди на горе, по ту сторону Энса, виднелись разъезды неприятеля.

Между орудиями, на высоте, стояли впереди начальник ариергарда генерал с свитским офицером, рассматривая в трубу местность. Несколько позади сидел на хоботе орудия Несвицкий, посланный от главнокомандующего к ариергарду. Казак, сопутствовавший Несвицкому, подал сумочку и фляжку, и Несвицкий угощал офицеров пирожками и настоящим доппелькюмелем. Офицеры радостно окружали его, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве.

— Да, не дурак был этот австрийский князь, что тут замок выстроил. Славное место. Что же вы не едите, господа? — говорил Несвицкий.

— Покорно благодарю, князь, — отвечал один из офицеров, с удовольствием разговаривая с таким важным штабным чиновником. — Прекрасное место. Мы мимо самого парка проходили, двух оленей видели, и дом какой чудесный!

— Посмотрите, князь, — сказал другой, которому очень хотелось взять еще пирожок, но совестно было, и который поэтому притворялся, что он оглядывает

местность, — посмотрите-ка, уж забрались туда наши пехотные. Вон там, на лужку, за деревней, трое тащат что-то. Они проберут этот дворец, — сказал он с видимым одобрением.

— И то, и то, — сказал Несвицкий. — Нет, а чего бы я желал, — прибавил он, прожевывая пирожок в своем красивом влажном рте, — так это вон туда забраться.

Он указывал на монастырь с башнями, видневшийся на горе. Он улыбнулся, глаза его сузились и засветились.

— А ведь хорошо бы, господа!

Офицеры засмеялись.

— Хоть бы попугать этих монашенок. Итальянки, говорят, есть молоденькие. Право, пять лет жизни отдал бы!

— Им ведь и скучно, — смеясь, сказал офицер, который был посмелее.

Между тем свитский офицер, стоявший впереди, указывал что-то генералу; генерал смотрел в зрительную трубку.

— Ну, так и есть, так и есть, — сердито сказал генерал, опуская трубку от глаз и пожимая плечами, — так и есть, станут бить по переправе. И что они там мешкают?

На той стороне простым глазом виден был неприятель и его батарея, из которой показался молочно-белый дымок. Вслед за дымком раздался дальний выстрел, и видно было, как наши войска заспешили на переправе.

Несвицкий, отдуваясь, поднялся и, улыбаясь, подошел к генералу.

— Не угодно ли закусить вашему превосходительству? — сказал он.

— Нехорошо дело, — сказал генерал, не отвечая ему, — замешкались наши.

— Не съездить ли, ваше превосходительство? — сказал Несвицкий.

— Да, съездите, пожалуйста, — сказал генерал, повторяя то, что уже раз подробно было приказано, — и скажите гусарам, чтоб они последние перешли и зажгли мост, как я приказывал, да чтобы горючие материалы на мосту еще осмотреть.

— Очень хорошо, — отвечал Несвицкий.

Он кликнул казака с лошадью, велел убрать сумочку и фляжку и легко перекинул свое тяжелое тело на седло.

— Право, заеду к монашенкам, — сказал он офицерам, с улыбкою глядевшим на него, и поехал по вьющейся тропинке под гору.

— Ну-тка, куда донесет, капитан, хватите-ка! — сказал генерал, обращаясь к артиллеристу. — Позабавьтесь от скуки.

— Прислуга к орудиям! — скомандовал офицер, и через минуту весело выбежали от костров артиллеристы и зарядили.

— Первое! — послышалась команда.

Бойко отскочил 1-й нумер. Металлически, оглушая, зазвенело орудие, и через головы всех наших под горой, свистя, перелетела граната и, далеко не долетев до неприятеля, дымком показала место своего падения и лопнула.

Лица солдат и офицеров повеселели при этом звуке; все поднялись и занялись наблюдениями над видными, как на ладони, движениями внизу наших войск и впереди — движениями приближавшегося неприятеля. Солнце в ту же минуту совсем вышло из-за туч, и этот красивый звук одинокого выстрела и блеск яркого солнца слились в одно бодрое и веселое впечатление.

VII

Над мостом уже пролетели два неприятельские ядра, и на мосту была давка. В средине моста, слезши с лошади, прижатый своим толстым телом к перилам, стоял князь Несвицкий. Он, смеючись, оглядывался назад на своего казака, который с двумя лошадьми в поводу стоял несколько шагов позади его. Только что князь Несвицкий хотел двинуться вперед, как опять солдаты и повозки напирали на него и опять прижимали его к перилам, и ему ничего не оставалось, как улыбаться.

— Экой ты, братец мой! — говорил казак фурштатскому солдату с повозкой, напиравшему на толпившуюся у самых колес и лошадей пехоту, — экой ты! Нет, чтобы подождать: видишь, генералу проехать.

Но фурштат, не обращая внимания на наименование генерала, кричал на солдат, запружавших ему дорогу:

— Эй! землячки! держись влево, постой!

Но землячки, теснясь плечо с плечом, цепляясь штыками и не прерываясь, двигались по мосту одною сплошною массой. Поглядев за перила вниз, князь Несвицкий видел быстрые, шумные, невысокие волны Энса, которые, сливаясь, рябея и загибаясь около свай моста, перегоняли одна другую. Поглядев на мост, он видел столь же однообразные живые волны солдат, кутасы, кивера с чехлами, ранцы, штыки, длинные ружья и из-под киверов лица с широкими скулами, ввалившимися щеками и беззаботно-усталыми выражениями и движущиеся ноги по натасканной на доски моста липкой грязи. Иногда между однообразными волнами солдат, как взбрызг белой пены в волнах Энса, протискивался офицер в плаще, с своею отличною от солдат физиономией; иногда, как щепка, вьющаяся по реке, уносился по мосту волнами пехоты пеший гусар, денщик или житель; иногда, как бревно, плывущее по реке, окруженная со всех сторон, проплывала по мосту ротная или офицерская, наложенная доверху и прикрытая кожами, повозка.

— Вишь, их, как плотину, прорвало, — безнадежно останавливаясь, говорил казак. — Много ль вас еще там?

— Мельон без одного! — подмигивая, говорил близко проходивший в прорванной шинели веселый солдат и скрывался; за ним проходил другой, старый солдат.

— Как он (он — неприятель) таперича по мосту примется зажаривать, — говорил мрачно старый солдат, обращаясь к товарищу, — забудешь чесаться.

И солдат проходил. За ним другой солдат ехал на повозке.

— Куда, черт, подвертки запихал? — говорил денщик, бегом следуя за повозкой и шаря в задке.

И этот проходил с повозкой.

За этим шли веселые и, видимо, выпившие солдаты.

— Как он его, милый человек, полыхнет прикладом-то в самые зубы... — радостно говорил один солдат в высоко подоткнутой шинели, широко размахивая рукой.

— То-то оно, сладкая ветчина-то, — отвечал другой с хохотом.

И они прошли так, что Несвицкий не узнал, кого ударили в зубы и к чему относилась ветчина.

— Эк торопятся! Что он холодную пустил, так и думаешь, всех перебьют, — говорил унтер-офицер сердито и укоризненно.

— Как она пролетит мимо меня, дяденька, ядро-то, — говорил, едва удерживаясь от смеха, с огромным ртом молодой солдат, — я так и обмер. Право, ей-богу, так испужался, беда! — говорил этот солдат, как будто хвастаясь тем, что он испугался.

И этот проходил. За ним следовала повозка, непохожая на все проезжавшие до сих пор. Это был немецкий форшпан на паре, нагруженный, казалось, целым домом; за форшпаном, который вез немец, привязана была красивая, пестрая, с огромным вымем, корова. На перинах сидела женщина с грудным ребенком, старуха и молодая, багрово-румяная, здоровая девушка-немка. Видно, по особому разрешению были пропущены эти выселявшиеся жители. Глаза всех солдат обратились на женщин, и, пока проезжала повозка, двигаясь шаг за шагом, все замечания солдат относились только к двум женщинам.

На всех лицах была почти одна и та же улыбка непристойных мыслей об этой женщине.

— Ишь, колбаса-то, тоже убирается!

— Продай матушку, — ударяя на последнем слоге, говорил другой солдат, обращаясь к немцу, который, опустив глаза, сердито и испуганно шел широким шагом.

— Эк убралась как! То-то черти!

— Вот бы тебе к ним стоять, Федотов!

— Видали, брат!

— Куда вы? — спрашивал пехотный офицер, евший яблоко, тоже полуулыбаясь и глядя на красивую девушку.

Немец, закрыв глаза, показывал, что не понимает.

— Хочешь, возьми себе, — говорил офицер, подавая девушке яблоко.

Девушка улыбнулась и взяла. Несвицкий, как и все бывшие на мосту, не спускал глаз с женщин, пока они не проехали. Когда они проехали, опять шли такие же солдаты, с такими же разговорами, и, наконец, все остановились. Как это часто бывает, на выезде моста замялись лошади в ротной повозке и вся толпа должна была ждать.

— И что становятся? Порядку-то нет! — говорили солдаты. — Куда прешь? Черт! Нет того, чтобы подождать. Хуже того будет, как он мост подожжет. Вишь, и офицера-то приперли, — говорили с разных сторон остановившиеся толпы, оглядывая друг друга, и всё жались вперед к выходу.

Оглянувшись под мост на воды Энса, Несвицкий вдруг услышал еще новый для него звук, быстро приближающегося... чего-то большого и чего-то шлепнувшегося в воду.

— Ишь ты, куда фатает! — строго сказал близко стоявший солдат, оглядываясь на звук.

— Подбадривает, чтобы скорей проходили, — сказал другой неспокойно.

Толпа опять тронулась. Несвицкий понял, что это было ядро.

— Эй, казак, подавай лошадь! — сказал он. — Ну, вы! сторонись, посторонись! дорогу!

Он с большим усилием добрался до лошади. Не переставая кричать, он тронулся вперед. Солдаты пожались, чтобы дать ему дорогу, но снова опять нажали на него так, что отдавили ему ноги, и ближайшие не были виноваты, потому что их давили еще сильнее.

— Несвицкий! Несвицкий! Ты, г'ожа! — послышался в это время сзади хриплый голос.

Несвицкий оглянулся и увидал в пятнадцати шагах отделенного от него живою массой двигающейся пехоты красного, черного, лохматого, в фуражке на затылке и в молодецки накинутом на плече ментике Ваську Денисова.

— Вели ты им, чег'тям, дьяволам, дать дог'огу, — кричал Денисов, видимо, находясь в припадке горячности, блестя и поводя своими черными, как уголь, глазами в воспаленных белках и махая не вынутою из ножен саблей, которую он держал такой же красной, как и лицо, голой маленькой рукой.

— Э! Вася! — отвечал радостно Несвицкий. — Да ты что?

— Эскадг'ону пг'ойти нельзя, — кричал Васька Денисов, злобно открывая белые зубы, шпоря своего красивого вороного Бедуина, который, мигая ушами от штыков, на которые он натыкался, фыркая, брызгая вокруг себя пеной с мундштука, звеня, бил копытами по доскам моста и, казалось, готов был перепрыгнуть через перила моста, ежели бы ему позволил седок.

— Что это? как баг'аны! точь-в-точь баг'аны! Пг'очь... дай дог'огу!.. Стой там! ты, повозка, чег'т! Саблей изг'ублю! — кричал он, действительно вынимая наголо саблю и начиная махать ею.

Солдаты с испуганными лицами нажались друг на друга, и Денисов присоединился к Несвицкому.

— Что же ты не пьян нынче? — сказал Несвицкий Денисову, когда он подъехал к нему.

— И напиться-то вг'емени не дадут! — отвечал Васька Денисов. — Целый день то туда, то сюда таскают полк. Дг'аться — так дг'аться. А то чег'т знает что такое!

— Каким ты щеголем нынче! — оглядывая его новый ментик и вальтрап, сказал Несвицкий.

Денисов улыбнулся, достал из ташки платок, распространявший запах духов, и сунул в нос Несвицкому.

— Нельзя, в дело иду! выбг'ился, зубы вычистил и надушился.

Осанистая фигура Несвицкого, сопровождаемая казаком, и решительность Денисова, махавшего саблей и отчаянно кричавшего, подействовали так, что они протискались на ту сторону моста и остановили пехоту. Несвицкий нашел у выезда полковника, которому ему надо было передать приказание, и, исполнив свое поручение, поехал назад.

Расчистив дорогу, Денисов остановился у входа на мост. Небрежно сдерживая рвавшегося к своим и бившего ногой жеребца, он смотрел на двигавшийся ему

навстречу эскадрон. По доскам моста раздались прозрачные звуки копыт, как будто скакало несколько лошадей, и эскадрон, с офицерами впереди, по четыре человека в ряд, растянулся по мосту и стал выходить на ту сторону.

Остановленные пехотные солдаты, толпясь в растоптанной у моста грязи, с тем особенным недоброжелательным чувством отчужденности и насмешки, с каким встречаются обыкновенно различные роды войск, смотрели на чистых, щеголеватых гусар, стройно проходивших мимо них.

— Нарядные ребята! Только бы на Подновинское!

— Что от них проку! Только напоказ и водят! — говорил другой.

— Пехота, не пыли! — шутил гусар, под которым лошадь, заиграв, брызнула грязью пехотинца.

— Прогонял бы тебя с ранцем перехода два, шнурки-то бы повытерлись, — обтирая рукавом грязь с лица, говорил пехотинец, — а то не человек, а птица сидит!

— То-то бы тебя, Зикин, на коня посадить, ловок бы ты был, — шутил ефрейтор над худым, скрюченным от тяжести ранца солдатиком.

— Дубинку промеж ног возьми, вот тебе и конь буде, — отозвался гусар.

VIII

Остальная пехота поспешно проходила по мосту, спираясь воронкой у входа. Наконец повозки все прошли, давка стала меньше, и последний батальон вступил на мост. Одни гусары эскадрона Денисова оставались по ту сторону моста против неприятеля. Неприятель, вдалеке видный с противоположной горы, снизу, от моста, не был еще виден, так как из лощины, по которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением не дальше полуверсты. Впереди была пустыня, по которой кое-где шевелились кучки наших разъездных казаков. Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и артиллерия. Это были французы. Разъезд казаков рысью отошел под гору. Все офицеры и люди эскадрона Денисова, хотя и старались говорить о постороннем и смотреть по сторонам, не переставали думать только о том, что было там, на горе, и беспрестанно всё вглядывались в выходившие на горизонт пятна, которые они признавали за неприятельские войска. Погода после полудня опять прояснилась, солнце ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами. Было тихо, и с той горы изредка долетали звуки рожков и криков неприятеля. Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов. Пустое пространство, сажен в триста, отделяло их от него. Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельские войска.

«Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и — неизвестность, страдания и смерть. И что там? кто там? там, за этим полем, и деревом, и крышей, освещенной солнцем? Никто не знает, и хочется знать; и страшно перейти эту черту, и хочется перейти ее; и знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там, по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен и окружен такими здоровыми и раздраженно-оживленными людьми». Так ежели и не думает, то чувствует всякий человек, находящийся в виду неприятеля,

и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всему происходящему в эти минуты.

На бугре у неприятеля показался дымок выстрела, и ядро, свистя, пролетело над головами гусарского эскадрона. Офицеры, стоявшие вместе, разъехались по местам. Гусары старательно стали выравнивать лошадей. В эскадроне все замолкло. Все поглядывали вперед на неприятеля и на эскадронного командира, ожидая команды. Пролетело другое, третье ядро. Очевидно, что стреляли по гусарам; но ядро, равномерно-быстро свистя, пролетало над головами гусар и ударялось где-то сзади. Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде, весь эскадрон с своими однообразно-разнообразными лицами, сдерживая дыханье, пока летело ядро, приподнимался на стременах и снова опускался. Солдаты, не поворачивая головы, косились друг на друга, с любопытством высматривая впечатление товарища. На каждом лице, от Денисова до горниста, показалась около губ и подбородка одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Вахмистр хмурился, оглядывая солдат, как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом пролете ядра. Ростов, стоя на левом фланге, на своем тронутом ногами, но видном Грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большою публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. Но и в его лице та же черта чего-то нового и строгого, против его воли, показывалась около рта.

— Кто там кланяется? Юнке'г Миг'онов! Нехог'ошо, на меня смотг'ите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном.

Курносое и черноволосатое лицо Васьки Денисова и вся его маленькая сбитая фигурка с его жилистою (с короткими пальцами, покрытыми волосами) кистью руки, в которой он держал эфес вынутой наголо сабли, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру, после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они пьют, безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго Бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтобы осмотрели пистолеты. Он подъехал к Кирстену. Штаб-ротмистр на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистр, с своими длинными усами, был серьезен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного.

— Да что? — сказал он Денисову. — Не дойдет дело до драки. Вот увидишь, назад уйдем.

— Чег'т их знает, что делают! — проворчал Денисов. А! Постов! — крикнул он юнкеру, заметив его веселое лицо. — Ну, дождался.

И он улыбнулся одобрительно, видимо, радуясь на юнкера. Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему.

— Ваше пг'евосходительство! позвольте атаковать! я их опг'окину.

— Какие тут атаки, — сказал начальник скучливым голосом, морщась, как от докучливой мухи. — И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают. Ведите назад эскадрон.

Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону.

Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост, один за другим пошли назад на гору. Полковой командир Карл Богданович Шуберт подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова, не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения за Телянина они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокурого затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданыч только притворяется невнимательным и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера, и он выпрямлялся и весело оглядывался; то ему казалось, что Богданыч нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Ростова. То думалось, что после атаки он подойдет к нему и великодушно протянет ему, раненому, руку примирения.

Знакомая павлоградцам, с высоко поднятыми плечами, фигура Жеркова (он недавно выбыл из их полка) подъехала к полковому командиру. Жерков после своего изгнания из главного штаба не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте лямку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше, и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника ариергарда.

— Полковник, — сказал он с своею мрачною серьезностью, обращаясь ко врагу Ростова и оглядывая товарищей, — велено остановиться, мост зажечь.

— Кто велено? — угрюмо спросил полковник.

— Уж я и не знаю, полковник, кто велено, — серьезно отвечал корнет, — но только мне князь приказал: «Поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост».

Вслед за Жерковым к гусарскому полковнику подъехал свитский офицер с тем же приказанием. Вслед за свитским офицером на казачьей лошади, которая насилу несла его галопом, подъехал толстый Несвицкий.

— Как же, полковник, — кричал он еще на езде, — я вам говорил мост зажечь, а теперь кто-то переврал; там все с ума сходят, ничего не разберешь.

Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвицкому.

— Вы мне говорили про горючие вещества, — сказал он, — а про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили.

— Да как же, батюшка, — заговорил, остановившись, Несвицкий, снимая фуражку и расправляя пухлою рукой мокрые от пота волосы, — как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили?

— Я вам не «батюшка», господин штаб-офицер, а вы мне не говорили, чтоб мост зажигайт! Я служба знаю, и мне в привычка приказание строго исполняйт. Вы сказали, мост зажгут, а кто зажгут, я святым духом не могу знайт...

— Ну, вот всегда так, — махнув рукой, сказал Несвицкий. — Ты как здесь? — обратился он к Жеркову.

— Да за тем же. Однако ты отсырел, дай я тебя выжму.

— Вы сказали, господин штаб-офицер... — продолжал полковник обиженным тоном.

— Полковник, — перебил свитский офицер, — надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудия на картечный выстрел.

Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жеркова и нахмурился.

— Я буду мост зажигайт, — сказал он торжественным тоном, как будто бы выражал этим, что, несмотря на все делаемые ему неприятности, он все-таки сделает то, что должно.

Ударив своими длинными мускулистыми ногами лошадь, как будто она была во всем виновата, полковник выдвинулся вперед и 2-му эскадрону, тому самому, в котором служил Ростов под командою Денисова, скомандовал вернуться назад к мосту.

«Ну, так и есть, — подумал Ростов, — он хочет испытать меня!» Сердце его сжалось, и кровь бросилась к лицу. «Пускай посмотрит, трус ли я», — подумал он.

Опять на всех веселых лицах людей эскадрона появилась та серьезная черта, которая была на них в то время, как они стояли под ядрами. Ростов, не спуская глаз, смотрел на своего врага, полкового командира, желая найти на его лице подтверждение своих догадок; но полковник ни разу не взглянул на Ростова, а смотрел, как всегда во фронте, строго и торжественно. Послышалась команда.

— Живо! Живо! — проговорило около него несколько голосов.

Цепляясь саблями за поводья, гремя шпорами и торопясь, слезали гусары, сами не зная, что они будут делать. Гусары крестились. Ростов уже не смотрел на полкового командира, — ему некогда было. Он боялся, с замиранием сердца боялся, как бы ему не отстать от гусар. Рука его дрожала, когда он передавал лошадь коноводу, и он чувствовал, как со стуком приливает кровь к его сердцу. Денисов, заваливаясь назад и крича что-то, проехал мимо него. Ростов ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и бренчавших саблями.

— Носилки! — крикнул чей-то голос сзади.

Ростов не подумал о том, что значит требование носилок; он бежал, стараясь только быть впереди всех; но у самого моста он, не смотря под ноги, попал в вязкую, растоптанную грязь и, споткнувшись, упал на руки. Его обежали другие.

— По обоий сторона, ротмистр, — послышался ему голос полкового командира, который, заехав вперед, стал верхом недалеко от моста с торжествующим и веселым лицом.

Ростов, обтирая испачканные руки о рейтузы, оглянулся на своего врага и хотел бежать дальше, полагая, что чем он дальше уйдет вперед, тем будет лучше. Но Богданыч, хотя и не глядел и не узнал Ростова, крикнул на него.

— Кто посредине моста бежит? На права сторона! Юнкер, назад! — сердито закричал он и обратился к Денисову, который, щеголяя храбростью, въехал верхом на доски моста.

— Зачем рисковайт, ротмистр! Вы бы слезали, — сказал полковник.

— Э! виноватого найдет, — отвечал Васька Денисов, поворачиваясь на седле.

Между тем Несвицкий, Жерков и свитский офицер стояли вместе вне выстрелов и смотрели то на эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темно-зеленых куртках, расшитых снурками, и синих рейтузах, копошившихся у моста, то на ту сторону, на приближавшиеся вдалеке синие капоты и группы с лошадьми, которые легко можно было признать за орудия.

«Зажгут или не зажгут мост? Кто прежде? Они добегут и зажгут мост, или французы подъедут на картечный выстрел и перебьют их?» Эти вопросы с замиранием сердца невольно задавал себе каждый из того большого количества войск, которые стояли над мостом и при ярком вечернем свете смотрели на мост и гусаров и на ту сторону, на подвигавшиеся синие капоты со штыками и орудиями.

— Ох! достанется гусарам! — говорил Несвицкий. — Не дальше картечного выстрела теперь.

— Напрасно он так много людей повел, — сказал свитский офицер.

— И в самом деле, — сказал Несвицкий. — Тут бы двух молодцов послать, все равно бы.

— Ах, ваше сиятельство, — вмешался Жерков, не спуская глаз с гусар, но все с своею наивною манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли, что он говорит, или нет. — Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом даст? А так-то хоть и поколотят, да можно эскадрон представить и самому бантик получить. Наш Богданыч порядки знает.

— Ну, — сказал свитский офицер, — это картечь!

Он показал на французские орудия, которые снимались с передков и поспешно отъезжали.

На французской стороне, в тех группах, где были орудия, показался дымок, другой, третий, почти в одно время, и в ту минуту, как долетел звук первого выстрела, показался четвертый. Два звука один за другим, и третий.

— О, ох! — охнул Несвицкий, как будто от жгучей боли, хватая за руку свитского офицера. — Посмотрите, упал один, упал, упал!

— Два, кажется?

— Был бы я царь, никогда бы не воевал, — сказал Несвицкий, отворачиваясь.

Французские орудия опять поспешно заряжали. Пехота в синих капотах бегом двинулась к мосту. Опять, но в разных промежутках, показались дымки и защелкала и затрещала картечь по мосту. Но в этот раз Несвицкий не мог видеть того, что делалось на мосту. С моста поднялся густой дым. Гусары успели зажечь мост, и французские батареи стреляли по ним уже не для того, чтобы помешать, а для того, что орудия были неведены и было по ком стрелять.

Французы успели сделать три картечные выстрела, прежде чем гусары вернулись к коноводам. Два залпа были сделаны неверно, и картечь всю перенесло, но зато последний выстрел попал в середину кучки гусар и повалил троих.

Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить (как он всегда воображал себе сражение) было некого, помогать в зажжении моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты, жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту, будто рассыпанные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перилы. Ростов подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то: «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать.

— Оооо!.. Бросьте, ради Христа, — закричал раненый; но его все-таки подняли и положили.

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце! Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ярко и торжественно опускающееся солнце! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! И еще лучше были далекие, голубеющие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые до макуш туманом сосновые леса... там тихо, счастливо... «Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, — думал Ростов. — Во мне одном и в этом солнце так много счастия, а тут... стоны, страдания, страх и эта неясность, эта поспешность... Вот опять кричат что-то, и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она, смерть, надо мной, вокруг меня... Мгновенье — и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья...»

В эту минуту солнце стало скрываться за тучами; впереди Ростова показались другие носилки. И страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни — все слилось в одно болезненно-тревожное впечатление.

«Господи Боже! Тот, кто там, в этом небе, спаси, прости и защити меня!» — прошептал про себя Ростов.

Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз.

— Что, бг'ат, понюхал пог'оху?.. — прокричал ему над ухом голос Васьки Денисова.

«Все кончилось; но я трус, да, я трус», — подумал Ростов и, тяжело вздыхая, взял из рук коновода своего отставившего ногу Грачика и стал садиться.

— Что это было, картечь? — спросил он у Денисова.

— Да еще какая! — прокричал Денисов. — Молодцами г'аботали! А г'абота сквег'ная! Атака — любезное дело, г'убай в песи, а тут, чег't знает что, бьют как в мишень.

И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе: полкового командира, Несвицкого, Жеркова и свитского офицера.

«Однако, кажется, никто не заметил», — думал про себя Ростов. И действительно, никто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер.

— Вот вам реляция и будет, — сказал Жерков, — глядишь, и меня в подпоручики произведут.

— Доложите кнезу, что я мост зажигал, — сказал полковник торжественно и весело.

— А коли про потерю спросят?

— Пустячок! — пробасил полковник, — два гусара ранено, и один наповал, — сказал он с видимою радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово наповал.

IX

Преследуемая стотысячною французскою армией под начальством Бонапарта, встречаемая враждебно расположенными жителями, не доверяя более своим союзникам, испытывая недостаток продовольствия и принужденная действовать вне всех предвиденных условий войны, русская тридцатипятитысячная армия, под начальством Кутузова, поспешно отступала вниз по Дунаю, останавливаясь там, где она бывала настигнута неприятелем, и отбиваясь ариергардными делами, лишь насколько это было нужно для того, чтобы отступать, не теряя тяжестей. Были дела при Ламбахе, Амштетене и Мельке; но, несмотря на храбрость и стойкость, признаваемую самим неприятелем, с которою дрались русские, последствием этих дел было только еще быстрейшее отступление. Австрийские войска, избежавшие плена под Ульмом и присоединившиеся к Кутузову у Браунау, отделились теперь от русской армии, и Кутузов был предоставлен только своим слабым, истощенным силам. Защищать более Вену нельзя было и думать. Вместо наступательной, глубоко обдуманной, по законам новой науки — стратегии, войны, план которой был передан Кутузову в его бытность в Вене австрийским гофкригсратом, единственная, почти недостижимая цель, представлявшаяся теперь Кутузову, состояла в том, чтобы, не погубив армии, подобно Маку под Ульмом, соединиться с войсками, шедшими из России.

28-го октября Кутузов с армией перешел на левый берег Дуная и в первый раз остановился, положив Дунай между собой и главными силами французов. 30-го он атаковал находившуюся на левом берегу Дуная дивизию Мортье и разбил ее. В этом деле в первый раз взяты трофеи: знамя, орудия и два неприятельские генерала. В первый раз после двухнедельного отступления русские войска остановились и после борьбы не только удержали поле сражения, но прогнали французов. Несмотря на то, что войска были раздеты, изнурены, на одну треть ослаблены отсталыми, ранеными, убитыми и больными; несмотря на то, что на той стороне Дуная были оставлены больные и раненые с письмом Кутузова, поручавшим их человеколюбию неприятеля; несмотря на то, что большие госпитали и дома в Кремсе, обращенные в лазареты, не могли уже вмещать в себе всех больных и раненых, — несмотря на все это, остановка при Кремсе и победа над Мортье значительно подняли дух войска. Во всей армии и в главной квартире ходили самые радостные, хотя и несправедливые слухи о мнимом приближении колонн из России, о какой-то победе, одержанной австрийцами, и об отступлении испуганного Бонапарта.

Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмите. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей. В знак особой милости главнокомандующего он был послан с известием об этой победе к австрийскому двору, находившемуся уже не в Вене, которой угрожали французские войска, а в Брюнне. В ночь сражения, взволнованный, но не усталый (несмотря на свое несильное на вид сложение, князь Андрей мог переносить физическую усталость гораздо лучше самых сильных людей), верхом приехав с донесением от Дохтурова в Креме к Кутузову, князь Андрей был в ту же ночь отправлен курьером в Брюнн. Отправление курьером, кроме наград, означало важный шаг к повышению.

Ночь была темная, звездная; дорога чернелась между белевшим снегом, выпавшим накануне, в день сражения. То перебирая впечатления прошедшего сражения, то радостно воображая впечатление, которое он произведет известием о победе, вспоминая проводы главнокомандующего и товарищей, князь Андрей скакал в почтовой бричке, испытывая чувство человека, долго ждавшего, и, наконец, достигшего начала желаемого счастия. Как скоро он закрывал глаза, в ушах его раздавалась пальба ружей и орудий, которая сливалась со стуком колес и впечатлением победы. То ему начинало представляться, что русские бегут, что он сам убит; но он поспешно просыпался, со счастием как будто вновь узнавал, что ничего этого не было и что, напротив, французы бежали. Он снова вспоминал все подробности победы, свое спокойное мужество во время сражения и, успокоившись, задремывал... После темной звездной ночи наступило яркое, веселое утро. Снег таял на солнце, лошади быстро скакали, и безразлично вправе и влеве проходили новые разнообразные леса, поля, деревни.

На одной из станций он обогнал обоз русских раненых. Русский офицер, ведший транспорт, развалясь на передней телеге, что-то кричал, ругая грубыми словами солдата. В длинных немецких форшпанах тряслось по каменистой дороге по шести и более бледных, перевязанных и грязных раненых. Некоторые из них говорили (он слышал русский говор), другие ели хлеб, самые тяжелые, молча, с кротким и болезненным детским участием, смотрели на скачущего мимо их курьера.

Князь Андрей велел остановиться и спросил у солдата, в каком деле ранены.

— Позавчера на Дунаю, — отвечал солдат. Князь Андрей достал кошелек и дал солдату три золотых.

— На всех, — прибавил он, обращаясь к подошедшему офицеру. — Поправляйтесь, ребята, — обратился он к солдатам, — еще дела много.

— Что, господин адъютант, какие новости? — спросил офицер, видимо, желая разговориться.

— Хорошие! Вперед, — крикнул он ямщику и поскакал далее.

Уже было совсем темно, когда князь Андрей въехал в Брюнн и увидал себя окруженным высокими домами, огнями лавок, окон домов и фонарей, шумящими по мостовой красивыми экипажами и всею тою атмосферой большого оживленного города, которая всегда так привлекательна для военного человека после лагеря. Князь Андрей, несмотря на быструю езду и бессонную ночь, подъезжая ко дворцу,

чувствовал себя еще более оживленным, чем накануне. Только глаза блестели лихорадочным блеском и мысли сменялись с чрезвычайною быстротой и ясностью. Живо представились ему опять все подробности сражения уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении, которое он в воображении делал императору Францу. Живо представились ему случайные вопросы, которые могли быть ему сделаны, и те ответы, которые он сделает на них. Он полагал, что его сейчас же представят императору. Но у большого подъезда дворца к нему выбежал чиновник и, узнав в нем курьера, проводил его на другой подъезд.

— Из коридора направо; там, Euer Hochgeboren[1], найдете дежурного флигель-адъютанта, — сказал ему чиновник. — Он проводит к военному министру.

Дежурный флигель-адъютант, встретивший князя Андрея, попросил его подождать и пошел к военному министру. Через пять минут флигель-адъютант вернулся и, особенно учтиво наклонясь и пропуская князя Андрея вперед себя, провел его через коридор в кабинет, где занимался военный министр. Флигель-адъютант своею изысканной учтивостью, казалось, хотел оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он подходил к двери кабинета военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и чувство оскорбления перешло в то же мгновение незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновение подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта и военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха!» — подумал он. Глаза его презрительно прищурились; он особенно медленно вошел в кабинет военного министра. Чувство это еще более усилилось, когда он увидал военного министра, сидевшего над большим столом и в первые две минуты не обращавшего внимания на вошедшего. Военный министр опустил свою лысую, с седыми висками, голову между двух восковых свечей и читал, отмечая карандашом, бумаги. Он дочитывал, не поднимая головы, в то время как отворилась дверь и послышались шаги.

— Возьмите это и передайте, — сказал военный министр своему адъютанту, подавая бумаги и не обращая еще внимания на курьера.

Князь Андрей почувствовал, что либо из всех дел, занимавших военного министра, действия кутузовской армии менее всего могли его интересовать, либо нужно было это дать почувствовать русскому курьеру. «Но мне это совершенно все равно», — подумал он. Военный министр сдвинул остальные бумаги, сравнял их края с краями и поднял голову. У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось: на лице его остановилась глупая, притворная, не скрывающая своего притворства, улыбка человека, принимающего одного за другим много просителей.

— От генерал-фельдмаршала Кутузова? — спросил он. — Надеюсь, хорошие вести? Было столкновение с Мортье? Победа? Пора!

[1] ваше высокоблагородие (нем.)

Он взял депешу, которая была на его имя, и стал читать ее с грустным выражением.

— Ах, Боже мой! Боже мой! Шмит! — сказал он по-немецки. — Какое несчастие, какое несчастие!

Пробежав депешу, он положил ее на стол и взглянул на князя Андрея, видимо, что-то соображая.

— Ах, какое несчастие! Дело, вы говорите, решительное? Мортье не взят, однако. (Он подумал.) Очень рад, что вы привезли хорошие вести, хотя смерть Шмита есть дорогая плата за победу. Его величество, верно, пожелает вас видеть, но не нынче. Благодарю вас, отдохните. Завтра будьте на выходе после парада. Впрочем, я вам дам знать.

Исчезнувшая во время разговора глупая улыбка опять явилась на лице военного министра.

— До свиданья, очень благодарю вас. Государь император, вероятно, пожелает вас видеть, — повторил он и наклонил голову.

Когда князь Андрей вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес и счастие, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился: сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием.

X

Князь Андрей остановился в Брюнне у своего знакомого, русского дипломата Билибина.

— А, милый князь, нет приятнее гостя, — сказал Билибин, выходя навстречу князю Андрею. — Франц, в мою спальню вещи князя! — обратился он к слуге, провожавшему Болконского. — Что, вестником победы? Прекрасно. А я сижу больной, как видите.

Князь Андрей, умывшись и одевшись, вышел в роскошный кабинет дипломата и сел за приготовленный обед. Билибин покойно уселся у камина.

Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и изящности жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди тех роскошных условий жизни, к которым он привык с детства. Кроме того, ему было приятно после австрийского приема поговорить хоть не по-русски (они говорили по-французски), но с русским человеком, который, он предполагал, разделял общее русское отвращение (теперь особенно живо испытываемое) к австрийцам.

Билибин был человек лет тридцати пяти, холостой, одного общества с князем Андреем. Они были знакомы еще в Петербурге, но еще ближе познакомились в последний приезд князя Андрея в Вену вместе с Кутузовым. Как князь Андрей был молодой человек, обещающий пойти далеко на военном поприще, так, и еще более, обещал Билибин на дипломатическом. Он был еще молодой человек, но уже немолодой дипломат, так как он начал служить с шестнадцати лет, был в Париже, в

Копенгагене и теперь в Вене занимал довольно значительное место. И канцлер, и наш посланник в Вене знали его и дорожили им. Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски для того, чтобы быть очень хорошими дипломатами; он был один из тех дипломатов, которые любят и умеют работать, и, несмотря на свою лень, он иногда проводил ночи за письменным столом. Он работал одинаково хорошо, в чем бы ни состояла сущность работы. Его интересовал не вопрос «зачем?», а вопрос «как?». В чем состояло дипломатическое дело, ему было все равно; но составить искусно, метко и изящно циркуляр, меморандум или донесение — в этом он находил большое удовольствие. Заслуги Билибина ценились, кроме письменных работ, еще и по его искусству обращаться и говорить в высших сферах.

Билибин любил разговор так же, как он любил работу, только тогда, когда разговор мог быть изящно-остроумен. В обществе он постоянно выжидал случая сказать что-нибудь замечательное и вступал в разговор не иначе, как при этих условиях. Разговор Билибина постоянно пересыпался оригинально-остроумными, законченными фразами, имеющими общий интерес. Эти фразы изготовлялись во внутренней лаборатории Билибина, как будто нарочно портативного свойства, для того чтобы ничтожные светские люди удобно могли запоминать их и переносить из гостиных в гостиные. И действительно, les mots de Bilibine se colportaient dans les salons de Vienne [1], как говорили, и часто имели влияние на так называемые важные дела.

Худое, истощенное, желтоватое лицо его было все покрыто крупными морщинами, которые всегда казались так чистоплотно и старательно промыты, как кончики пальцев после бани. Движения этих морщин составляли главную игру его физиономии. То у него морщился лоб широкими складками, брови поднимались кверху, то брови спускались книзу, и у щек образовывались крупные морщины. Глубоко поставленные, небольшие глаза всегда смотрели прямо и весело.

— Ну, теперь расскажите нам ваши подвиги, — сказал он.

Болконский самым скромным образом, ни разу не упоминая о себе, рассказал дело и прием военного министра.

— Ils m'ont reçu avec ma nouvelle, comme un chien dans un jeu de quilles[2], — заключил он.

Билибин усмехнулся и распустил складки кожи.

— Cependant, mon cher, — сказал он, рассматривая издалека свой ноготь и подбирая кожу над левым глазом, — malgré la haute estime que je professe pour le «православное российское воинство», j'avoue que votre victoire n'est pas des plus victorieuses[3].

Он продолжал все так же на французском языке, произнося по-русски только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.

---

[1] отзывы Билибина расходились по венским гостиным

[2] Они приняли меня с этою вестью, как принимают собаку на кегельный кон

[3] Однако, мой милый, при всем моем уважении к «православному российскому воинству», я полагаю, что победа ваша не из самых блестящих

— Как же? Вы со всею массой своею обрушились на несчастного Мортье при одной дивизии, и этот Мортье уходит у вас между рук? Где же победа?

— Однако, серьезно говоря, — отвечал князь Андрей, — все-таки мы можем сказать без хвастовства, что это немного получше Ульма...

— Отчего вы не взяли нам одного, хоть одного маршала?

— Оттого, что не все делается, как предполагается, и не так регулярно, как на параде. Мы полагали, как я вам говорил, зайти в тыл к семи часам утра, а не пришли и к пяти вечера.

— Отчего же вы не пришли к семи часам утра? Вам надо было прийти в семь часов утра, — улыбаясь, сказал Билибин, — надо было прийти в семь часов утра.

— Отчего вы не внушили Бонапарту дипломатическим путем, что ему лучше оставить Геную? — тем же тоном сказал князь Андрей.

— Я знаю, — перебил Билибин, — вы думаете, что очень легко брать маршалов, сидя на диване перед камином. Это правда, а все-таки зачем вы его не взяли? И не удивляйтесь, что не только военный министр, но и августейший император и король Франц не будут очень осчастливлены вашею победой; да и я, несчастный секретарь русского посольства, не чувствую никакой особенной радости...

Он посмотрел прямо на князя Андрея и вдруг спустил собранную кожу со лба.

— Теперь мой черед спросить вас «отчего», мой милый? — сказал Болконский. — Я вам признаюсь, что не понимаю, может быть, тут есть дипломатические тонкости выше моего слабого ума, но я не понимаю: Мак теряет целую армию, эрцгерцог Фердинанд и эрцгерцог Карл не дают никаких признаков жизни и делают ошибки за ошибками, наконец один Кутузов одерживает действительную победу, уничтожает charme[1] французов, и военный министр не интересуется даже знать подробности!

— Именно от этого, мой милый! Voyez-vous, mon cher:[2] ура! за царя, за Русь, за веру! Tout ça est bel et bon[3], но что нам, я говорю — австрийскому двору, за дело до ваших побед? Привезите вы нам сюда хорошенькое известие о победе эрцгерцога Карла или Фердинанда — un archiduc vaut l'autre[4], как вам известно, — хоть над ротой пожарной команды Бонапарте, это другое дело, мы прогремим в пушки. А то это, как нарочно, может только дразнить нас. Эрцгерцог Карл ничего не делает, эрцгерцог Фердинанд покрывается позором. Вену вы бросаете, не защищаете больше, comme si vous nous disiez[5]: с нами Бог, а Бог с вами, с вашею столицей. Один генерал, которого мы все любили, Шмит: вы его подводите под пулю и поздравляете нас с победой!.. Согласитесь, что раздразнительнее того известия, которое вы привозите, нельзя придумать. C'est comme un fait exprès, comme un fait exprès[6]. Кроме того, ну, одержи вы точно блестящую победу, одержи победу даже эрцгерцог Карл, что ж бы это переменило в общем ходе дел? Теперь уж поздно, когда Вена занята французскими войсками.

— Как занята? Вена занята?

---

[1] зарок непобедимости

[2] Видите ли

[3] Все это прекрасно

[4] один эрцгерцог стоит другого

[5] как будто бы вы нам сказали

[6] Это как нарочно, как нарочно

— Не только занята, но Бонапарте в Шенбрунне, а граф, наш милый граф Врбна, отправляется к нему за приказаниями.

Болконский после усталости и впечатлений путешествия, приема и в особенности после обеда чувствовал, что он не понимает всего значения слов, которые он слышал.

— Нынче утром был здесь граф Лихтенфельс, — продолжал Билибин, — и показывал мне письмо, в котором подробно описан парад французов в Вене. Le prince Murât et tout le tremblement...[1] Вы видите, что ваша победа не очень-то радостна и что вы не можете быть приняты как спаситель...

— Право, для меня все равно, совершенно все равно! — сказал князь Андрей, начиная понимать, что известие его о сражении под Кремсом действительно имело мало важности в виду таких событий, как занятие столицы Австрии. — Как же Вена взята? А мост, и знаменитый tête de pont[2], и князь Ауэрсперг? У нас были слухи, что князь Ауэрсперг защищает Вену, — сказал он.

— Князь Ауэрсперг стоит на этой, на нашей, стороне и защищает нас; я думаю, очень плохо защищает, но все-таки защищает. А Вена на той стороне. Нет, мост еще не взят и, надеюсь, не будет взят, потому что он минирован и его велено взорвать. В противном случае мы были бы давно в горах Богемии и вы с вашею армией провели бы дурную четверть часа между двух огней.

— Но это все-таки не значит, чтобы кампания была кончена, — сказал князь Андрей.

— А я думаю, что кончена. И так думают большие колпаки здесь, но не смеют сказать этого. Будет то, что я говорил в начале кампании, что не ваша échauf-fourée de Dürenstein[3], вообще не порох решит дело, а те, кто его выдумали, — сказал Билибин, повторяя одно из своих mots[4], распуская кожу на лбу и приостанавливаясь. — Вопрос только в том, что скажет берлинское свидание императора Александра с прусским королем. Ежели Пруссия вступит в союз, on forcera la main à l'Autriche[5], и будет война. Ежели же нет, то дело только в том, чтоб условиться, где составлять первоначальные статьи нового Campo Formio.

— Но что за необычайная гениальность! — вдруг вскрикнул князь Андрей, сжимая свою маленькую руку и ударяя ею по столу. — И что за счастие этому человеку!

— Buonaparte? — вопросительно сказал Билибин, морща лоб и этим давая чувствовать, что сейчас будет un mot. — Buonaparte? — сказал он, ударяя особенно на u. — Я думаю, однако, что теперь, когда он предписывает законы Австрии из Шенбрунна, il faut lui faire grâce de l'u[6]. Я решительно делаю нововведение и называю его Bonaparte tout court[7].

---

[1] Принц Мюрат и все другое...
[2] укрепление
[3] перестрелка под Дюренштейном (франц. и нем.)
[4] словечек
[5] то Австрию принудят
[6] надо его избавить от u
[7] просто Бонапарт

— Нет, без шуток, — сказал князь Андрей, — неужели вы думаете, что кампания кончена?

— Я вот что думаю. Австрия осталась в дураках, а она к этому не привыкла. И она отплатит. А в дурах она осталась оттого, что, во-первых, провинции разорены (on dit, le православное est terrible pour le pillage), армия разбита, столица взята, и все это pour les beaux yeux du[3] сардинское величество. И потому — entre nous, mon cher[4], — я чутьем слышу, что нас обманывают, я чутьем слышу сношения с Францией и проекты мира, тайного мира, отдельно заключенного.

— Это не может быть! — сказал князь Андрей. — Это было бы слишком гадко.

— Qui vivra verra[5], — сказал Билибин, распуская опять кожу в знак окончания разговора.

Когда князь Андрей пришел в приготовленную для него комнату и в чистом белье лег на пуховики и душистые гретые подушки, — он почувствовал, что то сражение, о котором он привез известие, было далеко, далеко от него. Прусский союз, измена Австрии, новое торжество Бонапарта, выход, и парад, и прием императора Франца назавтра занимали его.

Он закрыл глаза, но в то же мгновение в ушах его затрещала канонада, пальба, стук колес экипажа, и вот опять спускаются с горы растянутые ниткой мушкетеры, и французы стреляют, и он чувствует, как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесятеренной радости жизни, какого он не испытывал с самого детства.

Он пробудился...

«Да, все это было!..» — сказал он, счастливо, детски улыбаясь сам себе, и заснул крепким, молодым сном.

XI

На другой день он проснулся поздно. Возобновляя впечатления прошедшего, он вспомнил прежде всего то, что нынче надо представляться императору Францу, вспомнил военного министра, учтивого австрийского флигель-адъютанта, Билибина и разговор вчерашнего вечера. Одевшись для поездки во дворец в полную парадную форму, которой он уже давно не надевал, он, свежий, оживленный и красивый, с подвязанною рукой, вошел в кабинет Билибина. В кабинете находились четыре господина дипломатического корпуса. С князем Ипполитом Курагиным, который был секретарем посольства, Болконский был знаком; с другими его познакомил Билибин.

Господа, бывавшие у Билибина, светские, молодые, богатые и веселые люди, составляли и в Вене и здесь отдельный кружок, который Билибин, бывший главой этого кружка, называл наши, les nôtres. В кружке этом, состоявшем почти исключительно из дипломатов, видимо, были свои, не имеющие ничего общего с войной и политикой, интересы высшего света, отношений к некоторым женщинам и канцелярской стороны службы. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего (честь,

[3] говорят, православное жестоко грабит... ради прекрасных глаз

[4] между нами, мой милый

[5] Поживем — увидим

которую они делали немногим), приняли в свой кружок князя Андрея. Из учтивости, и как предмет для вступления в разговор, ему сделали несколько вопросов об армии и сражении, и разговор опять рассыпался на непоследовательные веселые шутки и пересуды.

— Но особенно хорошо, — говорил один, рассказывая неудачу товарища-дипломата, — особенно хорошо то, что канцлер прямо сказал ему, что назначение его в Лондон есть повышение и чтоб он так и смотрел на это. Видите вы его фигуру при этом?..

— Но что всего хуже, господа, я вам выдаю Курагина: человек в несчастии, и этим-то пользуется этот донжуан, этот ужасный человек!

Князь Ипполит лежал в вольтеровском кресле, положив ноги через ручку. Он засмеялся.

— Parlez-moi de ça[1], — сказал он.

— О донжуан! О змея! — послышались голоса.

— Вы не знаете, Болконский, — обратился Билибин к князю Андрею, — что все ужасы французской армии (я чуть было не сказал — русской армии) — ничто в сравнении с тем, что наделал между женщинами этот человек.

— La femme est la compagne de l'homme[2], — произнес князь Ипполит и стал смотреть в лорнет на свои поднятые ноги.

Билибин и наши расхохотались, глядя в глаза Ипполиту. Князь Андрей видел, что этот Ипполит, которого он (должно было признаться) почти ревновал к своей жене, был шутом в этом обществе.

— Нет, я должен вас угостить Курагиным, — сказал Билибин тихо Болконскому. — Он прелестен, когда рассуждает о политике, надо видеть эту важность.

Он подсел к Ипполиту и, собрав на лбу свои складки, завел с ним разговор о политике. Князь Андрей и другие обступили обоих.

— Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentiment d'alliance, — начал Ипполит, значительно оглядывая всех, — sans exprimer... comme dans sa dernière note... vous comprenez... vous comprenez... et puis si sa Majesté l'Empereur ne déroge pas au principe de notre alliance...[3]

— Attendez, je n'ai pas fini... — сказал он князю Андрею, хватая его за руку. — Je suppose que l'intervention sera plus forte que la non-intervention. Et... — Он помолчал. — On ne pourra pas imputer à la fin de non-recevoir notre dépêche du 28 novembre. Voilà comment tout cela finira[4].

И он отпустил руку Болконского, показывая тем, что теперь он совсем кончил.

— Démosthène, je te reconnais au caillou que tu as caché dans ta bouche d'or! [5] — сказал Билибин, у которого шапка волос подвинулась на голове от удовольствия.

---

[1] Ну-ка, ну-ка

[2] Женщина — подруга мужчины

[3] Берлинский кабинет не может выразить свое мнение о союзе, не выражая... как в своей последней ноте... вы понимаете... вы понимаете... впрочем, если его величество император не изменит сущности нашего союза...

[4] Подождите, я не кончил... Я думаю, что вмешательство будет прочнее, чем невмешательство. И... Невозможно считать дело оконченным непринятием нашей депеши от 28 ноября. Вот чем все это кончится

[5] Демосфен, я узнаю тебя по камню, который ты скрываешь в своих золотых устах!

Все засмеялись. Ипполит смеялся громче всех. Он, видимо, страдал, задыхался, но не мог удержаться от дикого смеха, растягивающего его всегда неподвижное лицо.

— Ну, вот что, господа, — сказал Билибин. — Болконский мой гость в доме и здесь в Брюнне, и я хочу его угостить, сколько могу, всеми радостями здешней жизни. Ежели бы мы были в Вене, это было бы легко; но здесь, dans ce vilain trou morave[2], это труднее, и я прошу у всех вас помощи. Il faut lui faire les honneurs de Brunn[3]. Вы возьмите на себя театр, я — общество, вы, Ипполит, разумеется, — женщин.

— Надо ему показать Амели, прелесть! — сказал один из наших, целуя кончики пальцев.

— Вообще этого кровожадного солдата, — сказал Билибин, — надо обратить к более человеколюбивым взглядам.

— Едва ли я воспользуюсь вашим гостеприимством, господа, и теперь мне пора ехать, — взглядывая на часы, сказал Болконский.

— Куда?

— К императору.

— О, о! о!

— Ну, до свидания, Болконский! До свидания, князь, приезжайте же обедать раньше, — послышались голоса. — Мы беремся за вас.

— Старайтесь как можно более расхваливать порядок в доставлении провианта и маршрутов, когда будете говорить с императором, — сказал Билибин, провожая до передней Болконского.

— И желал бы хвалить, но не могу, сколько знаю, — улыбаясь, отвечал Болконский.

— Ну, вообще как можно больше говорите. Его страсть — аудиенции; а говорить сам он не любит и не умеет, как увидите.

XII

На выходе император Франц только пристально вгляделся в лицо князя Андрея, стоявшего в назначенном месте между австрийскими офицерами, и кивнул ему своей длинной головой. Но после выхода вчерашний флигель-адъютант с учтивостью передал Болконскому желание императора дать ему аудиенцию. Император Франц принял его, стоя посредине комнаты. Перед тем как начинать разговор, князя Андрея поразило то, что император как будто смешался, не зная, что сказать, и покраснел.

— Скажите, когда началось сражение? — спросил он поспешно.

Князь Андрей отвечал. После этого вопроса следовали другие, столь же простые вопросы: «Здоров ли Кутузов? как давно выехал он из Кремса?» и т. п. Император говорил с таким выражением, как будто вся цель его состояла только в том, чтобы сделать известное количество вопросов. Ответы же на эти вопросы, как было слишком очевидно, не могли интересовать его.

— В котором часу началось сражение? — спросил император.

— Не могу донести вашему величеству, в котором часу началось сражение с фронта, но в Дюренштейне, где я находился, войско начало атаку в шестом часу

[2] в этой гадкой моравской дыре

[3] Надо его попотчевать Брюнном

вечера, — сказал Болконский, оживляясь и при этом случае предполагая, что ему удастся представить уже готовое в его голове правдивое описание всего того, что он знал и видел.

Но император улыбнулся и перебил его:

— Сколько миль?

— Откуда и докуда, ваше величество?

— От Дюренштейна до Кремса.

— Три с половиною мили, ваше величество.

— Французы оставили левый берег?

— Как доносили лазутчики, в ночь на плотах переправились последние.

— Достаточно ли фуража в Кремсе?

— Фураж не был доставлен в том количестве...

Император перебил его:

— В котором часу убит генерал Шмит?

— В семь часов, кажется.

— В семь часов? Очень печально! Очень печально!

Император сказал, что он благодарит, и поклонился. Князь Андрей вышел и тотчас же со всех сторон был окружен придворными. Со всех сторон глядели на него ласковые глаза и слышались ласковые слова. Вчерашний флигель-адъютант делал ему упреки, зачем он не остановился во дворце, и предлагал ему свой дом. Военный министр подошел, поздравляя его с орденом Марии-Терезии 3-й степени, которым жаловал его император. Камергер императрицы приглашал его к ее величеству. Эрцгерцогиня тоже желала его видеть. Он не знал, кому отвечать, и несколько секунд собирался с мыслями. Русский посланник взял его за плечо, отвел к окну и стал говорить с ним.

Вопреки словам Билибина, известие, привезенное им, было принято радостно. Назначено было благодарственное молебствие. Кутузов был награжден Марией-Терезией большого креста, и вся армия получила награды. Болконский получал приглашения со всех сторон и все утро должен был делать визиты главным сановникам Австрии. Окончив свои визиты в пятом часу вечера, мысленно сочиняя письмо отцу о сражении и о своей поездке в Брюнн, князь Андрей возвращался домой к Билибину. Прежде чем ехать к Билибину, князь Андрей поехал в книжную лавку запастись на поход книгами и засиделся в лавке. У крыльца дома, занимаемого Билибиным, стояла до половины уложенная вещами бричка, и Франц, слуга Билибина, с трудом таща чемодан, вышел из двери.

— Что такое? — спросил Болконский.

— Ach, Erlaucht! — сказал Франц, с трудом взваливая чемодан в бричку. — Wir ziehen noch weiter. Der Bösewicht ist schon wieder hinter uns her! [1]

— Что такое? Что? — спрашивал князь Андрей.

Билибин вышел навстречу Болконскому. На всегда спокойном лице Билибина было волнение.

[1] Ах, ваше сиятельство! Мы отправляемся еще далее. Злодей уж опять за нами по пятам! (нем.)

— Non, non, avouez que c'est charmant, — говорил он, — cette histoire du pont de Thabor (мост в Вене). Ils l'ont passé sans coup férir[1].

Князь Андрей ничего не понимал.

— Да откуда же вы, что вы не знаете того, что уже знают все кучера в городе?

— Я от эрцгерцогини. Там я ничего не слыхал.

— И не видали, что везде укладываются?

— Не видал... Да в чем дело? — нетерпеливо спросил князь Андрей.

— В чем дело? Дело в том, что французы перешли мост, который защищает Ауэрсперг, и мост не взорвали, так что Мюрат бежит теперь по дороге к Брюнну, и нынче-завтра они будут здесь.

— Как здесь? Да как же не взорвали мост, когда он минирован?

— А это я у вас спрашиваю. Этого никто, и сам Бонапарте, не знает.

Болконский пожал плечами.

— Но ежели мост перейден, значит, и армия погибла: она будет отрезана, — сказал он.

— В этом-то и штука, — отвечал Билибин. — Слушайте. Вступают французы в Вену, как я вам говорил. Все очень хорошо. На другой день, то есть вчера, господа маршалы: Мюрат, Ланн и Бельяр, садятся верхом и отправляются на мост. (Заметьте, все трое гасконцы.) Господа, — говорит один, — вы знаете, что Таборский мост минирован и контраминирован и что перед ним грозный tête de pont[2] и пятнадцать тысяч войска, которому велено взорвать мост и нас не пускать. Но нашему государю императору Наполеону будет приятно, ежели мы возьмем этот мост. Поедемте втроем и возьмем этот мост. — Поедемте, говорят другие; и они отправляются и берут мост, переходят его и теперь со всею армией по сю сторону Дуная направляются на нас, на вас и на ваши сообщения.

— Полноте шутить, — грустно и серьезно сказал князь Андрей.

Известие это было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею. Как только он узнал, что русская армия находится в таком безнадежном положении, ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он, тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе! Слушая Билибина, он соображал уже, как, приехав к армии, он на военном совете подаст мнение, которое одно спасет армию, и как ему одному будет поручено исполнение этого плана.

— Полноте шутить, — сказал он.

— Не шучу, — продолжал Билибин, — ничего нет справедливее и печальнее. Господа эти приезжают на мост одни и поднимают белые платки; уверяют, что перемирие и что они, маршалы, едут для переговоров с князем Ауэрспергом. Дежурный офицер пускает их в tête de pont[1]. Они рассказывают ему тысячу гасконских глупостей: говорят, что война кончена, что император Франц назначил свидание Бонапарту, что они желают видеть князя Ауэрсперга и проч. Офицер

[1] Нет, нет, признайтесь, что это прелесть, эта история с Таборским мостом. Они перешли его без сопротивления

[2] мостовое укрепление

посылает за Ауэрспергом; господа эти обнимают офицеров, шутят, садятся на пушки, а между тем французский батальон незамеченный входит на мост, сбрасывает мешки с горючими веществами в воду и подходит к tête de pont[1]. Наконец является сам генерал-лейтенант, наш милый князь Ауэрсперг фон Маутерн. «Милый неприятель! Цвет австрийского воинства, герой турецких войн! Вражда кончена, мы можем подать друг другу руку... император Наполеон сгорает желанием узнать князя Ауэрсперга». Одним словом, эти господа, недаром гасконцы, так забрасывают Ауэрсперга прекрасными словами, он так прельщен своею столь быстро установившеюся интимностью с французскими маршалами, так ослеплен видом мантии и страусовых перьев Мюрата, qu'il n'y voit que du feu, et oublie celui qu'il devait faire, faire sur l'ennemi[1] . (Несмотря на живость своей речи, Билибин не забыл приостановиться после этого mot, чтобы дать время оценить его.) Французский батальон вбегает в tête de pont, заколачивают пушки, и мост взят. Нет, но что лучше всего, — продолжал он, успокоиваясь в своем волнении прелестью собственного рассказа, — это то, что сержант, приставленный к той пушке, по сигналу которой должно было зажигать мины и взрывать мост, сержант этот, увидав, что французские войска бегут на мост, хотел уже стрелять, но Ланн отвел его руку. Сержант, который, видно, был умнее своего генерала, подходит к Ауэрспергу и говорит: «Князь, вас обманывают, вот французы!» Мюрат видит, что дело проиграно, ежели дать говорить сержанту. Он с притворным удивлением (настоящий гасконец) обращается к Ауэрспергу: «Я не узнаю столь хваленую в мире австрийскую дисциплину, — говорит он, — и вы позволяете так говорить с вами низшему чину!» C'est génial. Le prince d'Auersperg se pique d'honneur et fait mettre le sergent aux arrêts. Non, mais avouez que c'est charmant toute cette histoire du pont de Thabor. Ce n'est ni bêtise, ni lâcheté...[2]

— C'est trahison peut-être[3], — сказал князь Андрей, живо воображая себе серые шинели, раны, пороховой дым, звуки пальбы и славу, которая ожидает его.

— Non plus. Cela met la cour dans de trop mauvais draps, — продолжал Билибин. — Ce n'est ni trahison, ni lâcheté, ni bêtise; c'est comme à Ulm... — Он как будто задумался, отыскивая выражение: — C'est... c'est du Mack. Nous sommes mackés[4], — заключил он, чувствуя, что он сказал un mot, и свежее mot, такое mot, которое будет повторяться.

Собранные до тех пор складки на лбу быстро распустились в знак удовольствия, и он, слегка улыбаясь, стал рассматривать свои ногти.

— Куда вы? — сказал он вдруг, обращаясь к князю Андрею, который встал и направился в свою комнату.

— Я еду.

— Куда?

— В армию.

— Да вы хотели остаться еще два дня?

---

[1] что он видит только их огонь и забывает о своем, о том, который обязан был открыть против неприятеля. Ред.

[2] Это гениально. Князь Ауэрсперг оскорбляется и приказывает арестовать сержанта. Нет, признайтесь, что это прелесть, вся эта история с мостом. Это не то что глупость — не то что подлость...

[3] Быть может, измена

[4] Также нет. Это ставит двор в слишком дурное положение. Это ни измена, ни подлость, ни глупость; это как при Ульме, это... это маковщина. Мы обмаковались

— А теперь я еду сейчас.

И князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.

— Знаете что, мой милый, — сказал Билибин, входя к нему в комнату. — Я подумал об вас. Зачем вы поедете?

И в доказательство неопровержимости этого довода складки все сбежали с лица.

Князь Андрей вопросительно посмотрел на своего собеседника и ничего не ответил.

— Зачем вы поедете? Я знаю, вы думаете, что ваш долг — скакать в армию теперь, когда армия в опасности. Я это понимаю, mon cher, c'est de l'héroïsme[1].

— Нисколько, — сказал князь Андрей.

— Но вы un philosophe[2], будьте же им вполне, посмотрите на вещи с другой стороны, и вы увидите, что ваш долг, напротив, беречь себя. Предоставьте это другим, которые ни на что более не годны... Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили; стало быть, вы можете остаться и ехать с нами, куда нас повлечет наша несчастная судьба. Говорят, едут в Ольмюц. А Ольмюц очень милый город. И мы с вами вместе спокойно поедем в моей коляске.

— Перестаньте шутить, Билибин, — сказал Болконский.

— Я говорю вам искренно и дружески. Рассудите. Куда и для чего вы поедете теперь, когда вы можете оставаться здесь? Вас ожидает одно из двух (он собрал кожу над левым виском): или не доедете до армии и мир будет заключен, или поражение и срам со всею кутузовскою армией.

И Билибин распустил кожу, чувствуя, что дилемма его неопровержима.

— Этого я не могу рассудить, — холодно сказал князь Андрей, а подумал: «Еду для того, чтобы спасти армию».

— Mon cher, vous êtes un héros[3] , — сказал Билибин.

XIII

В ту же ночь, откланявшись военному министру, Болконский ехал к армии, сам не зная, где он найдет ее, и опасаясь по дороге к Кремсу быть перехваченным французами.

В Брюнне все придворное население укладывалось, и уже отправлялись тяжести в Ольмюц. Около Эцельсдорфа князь Андрей выехал на дорогу, по которой с величайшею поспешностью и в величайшем беспорядке двигалась русская армия. Дорога была так запружена повозками, что невозможно было ехать в экипаже. Взяв у казачьего начальника лошадь и казака, князь Андрей, голодный и усталый, обгоняя обозы, ехал отыскивать главнокомандующего и свою повозку. Самые зловещие слухи о положении армии доходили до него дорогой, и вид беспорядочно бегущей армии подтверждал эти слухи.

«Cette armée russe que l'or de l'Angleterre a transportée des extrémités, de l'univers, nous allons lui faire éprouver le même sort (le sort de l'armée d'Ulm)»[4] — вспоминал он слова приказа Бонапарта своей армии перед началом кампании, и

[1] мой милый, это героизм

[2] философ

[3] Мой милый, вы — герой

слова эти одинаково возбуждали в нем удивление к гениальному герою, чувство оскорбленной гордости и надежду славы. «А ежели ничего не останется, кроме как умереть? — думал он. — Что же, коли нужно! Я сделаю это не хуже других».

Князь Андрей с презрением смотрел на эти бесконечные, мешавшиеся команды, повозки, парки, артиллерию и опять повозки, повозки и повозки всех возможных видов, обгонявшие одна другую и в три, в четыре ряда запружавшие грязную дорогу. Со всех сторон, назади и впереди, покуда хватал слух, слышались звуки колес, громыхание кузовов, телег и лафетов, лошадиный топот, удары кнутом, крики понуканий, ругательства солдат, денщиков и офицеров. По краям дороги видны были беспрестанно то павшие ободранные и неободранные лошади, то сломанные повозки, у которых, дожидаясь чего-то, сидели одинокие солдаты, то отделившиеся от команд солдаты, которые толпами направлялись в соседние деревни или тащили из деревень кур, баранов, сено или мешки, чем-то наполненные. На спусках и подъемах толпы делались гуще, и стоял непрерывный стон криков. Солдаты, утопая по колена в грязи, на руках подхватывали орудия и фуры; бились кнуты, скользили копыта, лопались постромки и надрывались криками груди. Офицеры, заведовавшие движением, то вперед, то назад проезжали между обозами. Голоса их были слабо слышны посреди общего гула, и по лицам их видно было, что они отчаивались в возможности остановить этот беспорядок.

«Voilà le cher[1] православное воинство», — подумал Болконский, вспоминая слова Билибина.

Желая спросить у кого-нибудь из этих людей, где главнокомандующий, он подъехал к обозу. Прямо против него ехал странный, в одну лошадь, экипаж, видимо, устроенный домашними солдатскими средствами, представлявший середину между телегой, кабриолетом и коляской. В экипаже правил солдат и сидела под кожаным верхом за фартуком женщина, вся обвязанная платками. Князь Андрей подъехал и уже обратился с вопросом к солдату, когда его внимание обратили отлаянные крики женщины, сидевшей в кибиточке. Офицер, заведовавший обозом, бил солдата, сидевшего кучером в этой колясочке, за то, что он хотел объехать других, и плеть попадала по фартуку экипажа. Женщина пронзительно кричала. Увидав князя Андрея, она высунулась из-под фартука, и, махая худыми руками, выскочившими из-под коврового платка, кричала:

— Адъютант! Господин адъютант!.. Ради Бога... защитите... Что ж это будет?.. Я лекарская жена седьмого егерского... не пускают; мы отстали, своих потеряли...

— В лепешку расшибу, заворачивай! — кричал озлобленный офицер на солдата. — Заворачивай назад со шлюхой своею!

— Господин адъютант, защитите. Что ж это? — кричала лекарша.

— Извольте пропустить эту повозку. Разве вы не видите, что это женщина? — сказал князь Андрей, подъезжая к офицеру.

Офицер взглянул на него и, не отвечая, поворотился опять к солдату:

— Я те объеду... Назад!

---

[4] «Эту русскую армию, которую английское золото перенесло сюда с конца света, мы заставим ее испытать ту же участь (участь ульмской армии)»

[1] Вот оно, милое

— Пропустите, я вам говорю, — опять повторил, поджимая губы, князь Андрей.

— А ты кто такой? — вдруг с пьяным бешенством обратился к нему офицер. — Ты кто такой? Ты (он особенно упирал на ты) начальник, что ль? Здесь я начальник, а не ты. Ты, назад, — повторил он, — в лепешку расшибу.

Это выражение, видимо, понравилось офицеру.

— Важно отбрил адъютантика, — послышался голос сзади.

Князь Андрей видел, что офицер находился в том пьяном припадке беспричинного бешенства, в котором люди не помнят, что говорят. Он видел, что его заступничество за лекарскую жену в кибиточке исполнено того, чего он боялся больше всего в мире, того, что называется ridicule[1], но инстинкт его говорил другое. Не успел офицер договорить последних слов, как князь Андрей с изуродованным от бешенства лицом подъехал к нему и поднял нагайку:

— Из-воль-те про-пус-тить!

Офицер махнул рукой и торопливо отъехал прочь.

— Всё от этих, от штабных, беспорядок весь, — проворчал он. — Делайте ж, как знаете.

Князь Андрей торопливо, не поднимая глаз, отъехал от лекарской жены, называвшей его спасителем, и, с отвращением вспоминая мельчайшие подробности этой унизительной сцены, поскакал дальше к той деревне, где, как ему сказали, находился главнокомандующий.

Въехав в деревню, он слез с лошади и пошел к первому дому с намерением отдохнуть хоть на минуту, съесть что-нибудь и привесть в ясность все эти оскорбительные, мучившие его мысли. «Это толпа мерзавцев, а не войско», — думал он, подходя к окну первого дома, когда знакомый ему голос назвал его по имени.

Он оглянулся. Из маленького окна высовывалось красивое лицо Несвицкого. Несвицкий, пережевывая что-то сочным ртом и махая руками, звал его к себе.

— Болконский, Болконский! Не слышишь, что ли? Иди скорее, — кричал он.

Войдя в дом, князь Андрей увидал Несвицкого и еще другого адъютанта, закусывавших что-то. Они поспешно обратились к Болконскому с вопросом, не знает ли он чего нового? На их столь знакомых ему лицах князь Андрей прочел выражение тревоги и беспокойства. Выражение это особенно заметно было на всегда смеющемся лице Несвицкого.

— Где главнокомандующий? — спросил Болконский.

— Здесь, в том доме, — отвечал адъютант.

— Ну, что ж, правда, что мир и капитуляция? — спрашивал Несвицкий.

— Я у вас спрашиваю. Я ничего не знаю, кроме того, что я насилу добрался до вас.

— А у нас, брат, что́! Ужас! Винюсь, брат, над Маком смеялись, а самим еще хуже приходится, — сказал Несвицкий. — Да садись же, поешь чего-нибудь.

— Теперь, князь, ни повозок, ничего не найдете, и ваш Петр Бог его знает где, — сказал другой адъютант.

— Где ж главная квартира?

— В Цнайме ночуем.

---

[1] смешным — Ред.

— А я так перевьючил себе все, что мне нужно, на двух лошадей, — сказал Несвицкий, — и вьюки отличные мне сделали. Хоть через Богемские горы удирать. Плохо, брат. Да что ты, верно, нездоров, что так вздрагиваешь? — спросил Несвицкий, заметив, как князя Андрея дернуло, будто от прикосновения к лейденской банке.

— Ничего, — отвечал князь Андрей.

Он вспомнил в эту минуту о недавнем столкновении с лекарскою женой и фурштатским офицером.

— Что главнокомандующий здесь делает? — спросил он.

— Ничего не понимаю, — сказал Несвицкий.

— Я одно понимаю, что все мерзко, мерзко и мерзко, — сказал князь Андрей и пошел в дом, где стоял главнокомандующий.

Пройдя мимо экипажа Кутузова, верховых замученных лошадей свиты и казаков, громко говоривших между собою, князь Андрей вошел в сени. Сам Кутузов, как сказали князю Андрею, находился в избе с князем Багратионом и Вейротером. Вейротер был австрийский генерал, заменивший убитого Шмита. В сенях маленький Козловский сидел на корточках перед писарем. Писарь на перевернутой кадушке, заворотив обшлага мундира, поспешно писал. Лицо Козловского было измученное — он, видно, тоже не спал ночь. Он взглянул на князя Андрея и даже не кивнул ему головой.

— Вторая линия... Написал? — продолжал он, диктуя писарю. — Киевский гренадерский, Подольский...

— Не поспеешь, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь непочтительно и сердито, оглядываясь на Козловского.

Из-за двери слышен был в это время оживленно-недовольный голос Кутузова, перебиваемый другим, незнакомым голосом. По звуку этих голосов, по невниманию, с которым взглянул на него Козловский, по непочтительности измученного писаря, по тому, что писарь и Козловский сидели так близко от главнокомандующего на полу около кадушки, и по тому, что казаки, державшие лошадей, смеялись громко под окном дома, — по всему этому князь Андрей чувствовал, что должно было случиться что-нибудь важное и несчастливое.

Князь Андрей настоятельно обратился к Козловскому с вопросами.

— Сейчас, князь, — сказал Козловский. — Диспозиция Багратиону.

— А капитуляция?

— Никакой нет; сделаны распоряжения к сражению.

Князь Андрей направился к двери, из-за которой слышны были голоса. Но в то время как он хотел отворить дверь, голоса в комнате замолкли, дверь сама отворилась, и Кутузов, с своим орлиным носом на пухлом лице, показался на пороге. Князь Андрей стоял прямо против Кутузова; но по выражению единственного зрячего глаза главнокомандующего видно было, что мысль и забота так сильно занимали его, что как будто застилали ему зрение. Он прямо смотрел на лицо своего адъютанта и не узнавал его.

— Ну, что, кончил? — обратился он к Козловскому.

— Сию секунду, ваше высокопревосходительство.

Багратион, невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек, вышел за главнокомандующим.

— Честь имею явиться, — повторил довольно громко князь Андрей, подавая конверт.

— А, из Вены? Хорошо. После, после!

Кутузов вышел с Багратионом на крыльцо.

— Ну, князь, прощай, — сказал он Багратиону. — Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг.

Лицо Кутузова неожиданно смягчилось, и слезы показались в его глазах. Он притянул к себе левою рукой Багратиона, а правою, на которой было кольцо, видимо, привычным жестом перекрестил его и подставил ему пухлую щеку, вместо которой Багратион поцеловал его в шею.

— Христос с тобой! — повторил Кутузов и подошел к коляске. — Садись со мной, — сказал он Болконскому.

— Ваше высокопревосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона.

— Садись, — сказал Кутузов, и, заметив, что Болконский медлит, — мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

— Еще впереди много, много всего будет, — сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв все, что делалось в душе Болконского. — Ежели из отряда его придет завтра одна десятая часть, я буду Бога благодарить, — прибавил Кутузов, как бы говоря сам с собой.

Князь Андрей взглянул на Кутузова, и ему невольно бросились в глаза, в полуаршине от него, чисто промытые сборки шрама на виске Кутузова, где измаильская пуля пронизала ему голову, и его вытекший глаз. «Да, он имеет право так спокойно говорить о погибели этих людей!» — подумал Болконский.

— От этого я и прошу отправить меня в этот отряд, — сказал он.

Кутузов не ответил. Он, казалось, уж забыл о том, что было сказано им, и сидел задумавшись. Через пять минут, плавно раскачиваясь на мягких рессорах коляски, Кутузов обратился к князю Андрею. На лице его не было и следа волнения. Он с тонкою насмешливостью расспрашивал князя Андрея о подробностях его свидания с императором, об отзывах, слышанных при дворе о кремском деле, и о некоторых общих знакомых женщинах.

XIV

Кутузов чрез своего лазутчика получил 1-го ноября известие, ставившее командуемую им армию почти в безвыходное положение. Лазутчик доносил, что французы в огромных силах, перейдя венский мост, направились на путь сообщения Кутузова с войсками, шедшими из России. Ежели бы Кутузов решился оставаться в Кремсе, то полуторастатысячная армия Наполеона отрезала бы его от всех сообщений, окружила бы его сорокатысячную изнуренную армию, и он находился бы

в положении Мака под Ульмом. Ежели бы Кутузов решился оставить дорогу, ведшую на сообщения с войсками из России, то он должен был ступить без дороги в неизвестные края Богемских гор, защищаясь от превосходного силами неприятеля, и оставить всякую надежду на сообщение с Буксгевденом. Ежели бы Кутузов решился отступать по дороге из Кремса в Ольмюц на соединение с войсками из России, то он рисковал быть предупрежденным на этой дороге французами, перешедшими мост в Вене, и таким образом быть принужденным принять сражение на походе, со всеми тяжестями и обозами, и имея дело с неприятелем, втрое превосходившим его и окружавшим его с двух сторон.

Кутузов избрал этот последний выход.

Французы, как доносил лазутчик, перейдя мост в Вене, усиленным маршем шли на Цнайм, лежавший по пути отступления Кутузова, впереди его более чем на сто верст. Достигнуть Цнайма прежде французов — значило получить большую надежду на спасение армии; дать французам предупредить себя в Цнайме — значило наверное подвергнуть всю армию позору, подобному ульмскому, или общей гибели. Но предупредить французов со всею армией было невозможно. Дорога французов от Вены до Цнайма была короче и лучше, чем дорога русских от Кремса до Цнайма.

В ночь получения известия Кутузов послал четырехтысячный авангард Багратиона направо горами с кремско-цнаймской дороги на венско-цнаймскую. Багратион должен был пройти без отдыха этот переход, остановиться лицом к Вене и задом к Цнайму, и ежели бы ему удалось предупредить французов, то он должен был задерживать их, сколько мог. Сам же Кутузов со всеми тяжестями тронулся к Цнайму.

Пройдя с голодными, разутыми солдатами, без дороги, по горам, в бурную ночь сорок пять верст, растеряв третью часть отсталыми, Багратион вышел в Голлабрун на венско-цнаймскую дорогу несколькими часами прежде французов, подходивших к Голлабруну из Вены. Кутузову надо было идти еще целые сутки с своими обозами, чтобы достигнуть Цнайма, и потому, чтобы спасти армию, Багратион должен был с четырьмя тысячами голодных, измученных солдат удерживать в продолжение суток всю неприятельскую армию, встретившуюся с ним в Голлабруне, что было, очевидно, невозможно. Но странная судьба сделала невозможное возможным. Успех того обмана, который без боя отдал венский мост в руки французов, побудил Мюрата попытаться обмануть так же и Кутузова. Мюрат, встретив слабый отряд Багратиона на цнаймской дороге, подумал, что это была вся армия Кутузова. Чтобы несомненно раздавить эту армию, он поджидал отставшие по дороге из Вены войска и с этой целью предложил перемирие на три дня, с условием, чтобы и те и другие войска не изменяли своих положений и не трогались с места. Мюрат уверял, что уже идут переговоры о мире и что потому, избегая бесполезного пролития крови, он предлагает перемирие. Австрийский генерал граф Ностиц, стоявший на аванпостах, поверил словам парламентера Мюрата и отступил, открыв отряд Багратиона. Другой парламентер поехал в русскую цепь объявить то же известие о мирных переговорах и предложить перемирие русским войскам на три дня. Багратион отвечал, что не может принимать или не принимать перемирия, и с донесением о сделанном ему предложении послал к Кутузову своего адъютанта.

Перемирие для Кутузова было единственным средством выиграть время, дать отдохнуть измученному отряду Багратиона и пропустить обозы и тяжести (движение которых было скрыто от французов) хотя один лишний переход до Цнайма. Предложение перемирия давало единственную и неожиданную возможность спасти армию. Получив это известие, Кутузов немедленно послал состоявшего при нем генерал-адъютанта Винценгероде в неприятельский лагерь. Винценгероде должен был не только принять перемирие, но и предложить условия капитуляции, а между тем Кутузов послал своих адъютантов назад торопить сколь возможно движение обозов всей армии по кремско-цнаймской дороге. Измученный, голодный отряд Багратиона один должен был, прикрывая собой это движение обозов и всей армии, неподвижно оставаться перед неприятелем, в восемь раз сильнейшим.

Ожидания Кутузова сбылись как относительно того, что предложения капитуляции, ни к чему не обязывающие, могли дать время пройти некоторой части обозов, так и относительно того, что ошибка Мюрата должна была открыться очень скоро. Как только Бонапарте, находившийся в Шенбрунне, в двадцати пяти верстах от Голлабруна, получил донесение Мюрата и проект перемирия и капитуляции, он увидел обман и написал следующее письмо к Мюрату.

«Au prince Murât. Schoenbrunn, 25 brumaire en 1805 à huit heures du matin.

Il m'est impossible de trouver des termes pour vous exprimer mon mécontentement. Vous ne commandez que mon avantgarde et vous n'avez pas le droit de faire d'armistice sans mon ordre. Vous me faites perdre le fruit d'une campagne. Rompez l'armistice sur-le-champ et marchez à l'ennemi. Vous lui ferez déclarer que le général qui a signé cette capitulation n'avait pas le droit de le faire, qu'il n'y a que l'Empereur de Russie qui ait ce droit.

Toutes les fois cependant que l'Empereur de Russie ratifierait ladite convention, je la ratifierai; mais ce n'est qu'une ruse. Marchez, détruisez l'armée russe... vous êtes en position de prendre son bagage et son artillerie.

L'aide-de-camp de l'Empereur de Russie est un... Les officiers ne sont rien quand ils n'ont pas de pouvoirs: celui-ci n'en avait point... Les Autrichiens se sont laissé jouer pour le passage du pont de Vienne, vous vous laissez jouer par un aide-de-camp de l'Empereur.

Napoléon»[1].

Адъютант Бонапарте во всю прыть лошади скакал с этим грозным письмом к Мюрату. Сам Бонапарте, не доверяя своим генералам, со всею гвардией двигался к

[1] Принцу Мюрату. Шенбрюнн, 25 брюмера 1805 г. 8 часов утра. Я не могу найти слов, чтобы выразить вам мое неудовольствие. Вы командуете только моим авангардом и не имеете права делать перемирие без моего приказания. Вы заставляете меня потерять плоды целой кампании. Немедленно разорвите перемирие и идите против неприятеля. Вы объявите ему, что генерал, подписавший эту капитуляцию, не имел на это права, и никто не имеет, исключая лишь российского императора.

Впрочем, если российский император согласится на упомянутое условие, я тоже соглашусь; но это не что иное, как хитрость. Идите, уничтожьте русскую армию... Вы можете взять ее обозы и ее артиллерию.

Генерал-адъютант российского императора обманщик... Офицеры ничего не значат, когда не имеют власти полномочия; он также не имеет его... Австрийцы дали себя обмануть при переходе венского моста, а вы даете себя обмануть адъютантам императора.

Наполеон.

полю сражения, боясь упустить готовую жертву, а четырехтысячный отряд Багратиона, весело раскладывая костры, сушился, обогревался, варил в первый раз после трех дней кашу, и никто из людей отряда не знал и не думал о том, что предстояло ему.

XV

В четвертому часу вечера князь Андрей, настояв на своей просьбе у Кутузова, приехал в Грунт и явился к Багратиону. Адъютант Бонапарте еще не приехал в отряд Мюрата, и сражение еще не начиналось. В отряде Багратиона ничего не знали об общем ходе дел, говорили о мире, но не верили в его возможность. Говорили о сражении и тоже не верили и в близость сражения.

Багратион, зная Болконского за любимого и доверенного адъютанта, принял его с особым начальническим отличием и снисхождением, объяснил ему, что, вероятно, нынче или завтра будет сражение, и предоставил ему полную свободу находиться при нем во время сражения или в ариергарде наблюдать за порядком отступления, «что тоже было очень важно».

— Впрочем, нынче, вероятно, дела не будет, — сказал Багратион, как бы успокоивая князя Андрея.

«Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в ариергарде получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай... пригодится, коли храбрый офицер», — подумал Багратион. Князь Андрей, ничего не ответив, попросил позволения объехать позицию и узнать расположение войск, с тем чтобы в случае поручения знать, куда ехать. Дежурный офицер отряда, мужчина красивый, щеголевато одетый и с алмазным перстнем на указательном пальце, дурно, но охотно говоривший по-французски, вызвался проводит князя Андрея.

Со всех сторон виднелись мокрые, с грустными лицами офицеры, чего-то как будто искавшие, и солдаты, тащившие из деревни двери, лавки и заборы.

— Вот не можем, князь, избавиться от этого народа, — сказал штаб-офицер, указывая на этих людей. — Распускают командиры. А вот здесь, — он указал на раскинутую палатку маркитанта, — собьются и сидят. Нынче утром всех выгнал: посмотрите, опять полна. Надо подъехать, князь, пугнуть их. Одна минута.

— Заедемте, и я возьму у него сыру и булку, — сказал князь Андрей, который не успел еще поесть.

— Что ж вы не сказали, князь? Я бы предложил своего хлеба-соли.

Они сошли с лошадей и вошли под палатку маркитанта. Несколько человек офицеров с раскрасневшимися и истомленными лицами сидели за столами, пили и ели.

— Ну, что ж это, господа! — сказал штаб-офицер тоном упрека, как человек, уже несколько раз повторявший одно и то же. — Ведь нельзя же отлучаться так. Князь приказал, чтобы никого не было. Ну, вот вы, господин штабс-капитан, — обратился он к маленькому, грязному, худому артиллерийскому офицеру, который без сапог (он

отдал их сушить маркитанту), в одним чулках, встал перед вошедшим, улыбаясь не совсем естественно.

— Ну, как вам, капитан Тушин, не стыдно? — продолжал штаб-офицер, — вам бы, кажется, как артиллеристу, надо пример показывать, а вы без сапог. Забьют тревогу, а вы без сапог очень хороши будете. (Штаб-офицер улыбнулся.) Извольте отправляться к своим местам, господа, все, все, — прибавил он начальнически.

Князь Андрей невольно улыбнулся, взглянув на штабс-капитана Тушина. Молча и улыбаясь, Тушин, переступая с босой ноги на ногу, вопросительно глядел большими, умными и добрыми глазами то на князя Андрея, то на штаб-офицера.

— Солдаты говорят: разумшись ловчее, — сказал капитан Тушин, улыбаясь и робея, видимо, желая из своего неловкого положения перейти в шутливый тон.

Но еще он не договорил, как почувствовал, что шутка его не принята и не вышла. Он смутился.

— Извольте отправляться, — сказал штаб-офицер, стараясь удержать серьезность.

Князь Андрей еще раз взглянул на фигурку артиллериста. В ней было что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное.

Штаб-офицер и князь Андрей сели на лошадей и поехали дальше.

Выехав за деревню, беспрестанно обгоняя и встречая идущих солдат, офицеров разных команд, они увидали налево краснеющие свежею, вновь вскопанною глиною строящиеся укрепления. Несколько батальонов солдат в одних рубахах, несмотря на холодный ветер, как белые муравьи, копошились на этих укреплениях; из-за вала невидимо кем беспрестанно выкидывались лопаты красной глины. Они подъехали к укреплению, осмотрели его и поехали дальше. За самым укреплением наткнулись они на несколько десятков солдат, беспрестанно переменяющихся, сбегающих с укрепления. Они должны были зажать нос и тронуть лошадей рысью, чтобы выехать из этой отравленной атмосферы.

— Voilà l'agrément des camps, monsieur le prince[1] , — сказал дежурный штаб-офицер.

Они выехали на противоположную гору. С этой горы уже видны были французы. Князь Андрей остановился и начал рассматривать.

— Вот тут наша батарея стоит, — сказал штаб-офицер, указывая на самый высокий пункт, — того самого чудака, что без сапог сидел; оттуда все видно: поедемте, князь.

— Покорно благодарю, я теперь один проеду, — сказал князь Андрей, желая избавиться от штаб-офицера, — не беспокойтесь, пожалуйста.

Штаб-офицер отстал, и князь Андрей поехал один.

Чем далее подвигался он вперед, ближе к неприятелю, тем порядочнее и веселее становился вид войск. Самый сильный беспорядок и уныние были в том обозе перед Цнаймом, который объезжал утром князь Андрей и который был в десяти верстах от французов. В Грунте тоже чувствовалась некоторая тревога и страх

[1] Вот приятность лагеря, князь.

чего-то. Но чем ближе подъезжал князь Андрей к цепи французов, тем самоуверенное становился вид наших войск. Выстроенные в ряд, стояли в шинелях солдаты, и фельдфебель и ротный рассчитывали людей, тыкая пальцем в грудь крайнему по отделению солдату и приказывая ему поднимать руку; рассыпанные по всему пространству солдаты тащили дрова и хворост и строили балаганчики, весело смеясь и переговариваясь; у костров сидели одетые и голые, суша рубахи, подвертки или починивая сапоги и шинели, толпились около котлов и кашеваров. В одной роте обед был готов, и солдаты с жадными лицами смотрели на дымившиеся котлы и ждали пробы, которую в деревянной чашке подносил каптенармус офицеру, сидевшему на бревне против своего балагана.

В другой, более счастливой роте, так как не у всех была водка, солдаты, толпясь, стояли около рябого широкоплечего фельдфебеля, который, нагибая бочонок, лил в подставляемые поочередно крышки манерок. Солдаты с набожными лицами подносили ко рту манерки, опрокидывали их и, полоща рот и утираясь рукавами шинелей, с повеселевшими лицами отходили от фельдфебеля. Все лица были такие спокойные, как будто все происходило не в виду неприятеля, перед делом, где должна была остаться на месте, по крайней мере, половина отряда, а как будто где-нибудь на родине в ожидании спокойной стоянки. Проехав егерский полк, в рядах киевских гренадеров, молодцеватых людей, занятых теми же мирными делами, князь Андрей недалеко от высокого, отличавшегося от других балагана полкового командира наехал на фронт взвода гренадер, перед которыми лежал обнаженный человек. Двое солдат держали его, а двое взмахивали гибкие прутья и мерно ударяли по обнаженной спине. Наказываемый неестественно кричал. Толстый майор ходил перед фронтом, и не переставая и не обращая внимания на крик, говорил:

— Солдату позорно красть, солдат должен быть честен, благороден и храбр; а коли у своего брата украл, так в нем чести нет; это мерзавец. Еще, еще!

И все слышались гибкие удары и отчаянный, но притворный крик.

— Еще, еще, — приговаривал майор.

Молодой офицер, с выражением недоумения и страдания в лице, отошел от наказываемого, оглядываясь вопросительно на проезжавшего адъютанта.

Князь Андрей, выехав в переднюю линию, поехал по фронту. Цепь наша и неприятельская стояли на левом и на правом фланге далеко друг от друга, но в средине, в том месте, где утром проезжали парламентеры, цепи сошлись так близко, что могли видеть лица друг друга и переговариваться между собою. Кроме солдат, занимавших цепь в этом месте, с той и с другой стороны стояло много любопытных, которые, посмеиваясь, разглядывали странных и чуждых для них неприятелей.

С раннего утра, несмотря на запрещение подходить к цепи, начальники не могли отбиться от любопытных. Солдаты, стоявшие в цепи, как люди, показывающие что-нибудь редкое, уж не смотрели на французов, а делали свои наблюдения над приходящими и, скучая, дожидались смены. Князь Андрей остановился рассматривать французов.

— Глянь-ка, глянь, — говорил один солдат товарищу, указывая на русского мушкетера-солдата, который с офицером подошел к цепи и что-то часто и горячо

говорил с французским гренадером. — Вишь, лопочет как ловко! Аж хранцуз-то за ним не поспевает. Ну-ка ты, Сидоров...

— Погоди, послухай. Ишь ловко! — отвечал Сидоров, считавшийся мастером говорить по-французски.

Солдат, на которого указывали смеявшиеся, был Долохов. Князь Андрей узнал его и прислушался к его разговору. Долохов вместе с своим ротным пришел в цепь с левого фланга, на котором стоял их полк.

— Ну, еще, еще! — подстрекал ротный командир, нагибаясь вперед и стараясь не проронить ни одного непонятного для него слова. — Пожалуйста, почаще. Что он?

Долохов не отвечал ротному; он был вовлечен в горячий спор с французским гренадером. Они говорили, как и должно было быть, о кампании. Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма; Долохов доказывал, что русские не сдавались, а били французов.

— Здесь велят прогнать вас, и прогоним, — говорил Долохов.

— Только старайтесь, чтобы вас не забрали со всеми вашими казаками, — сказал гренадер-француз.

Зрители и слушатели французы смеялись.

— Вас заставят плясать, как при Суворове вы плясали (on vous fera danser)[1] — сказал Долохов.

— Qu'est-ce qu'il chante? [2] — сказал один француз.

— De l'histoire ancienne, — сказал другой, догадавшись, что дело шло о прежних войнах. — L'Empereur va lui faire voir à votre Souvara, comme aux autres...[3]

— Бонапарте... — начал было Долохов, но француз перебил его.

— Нет Бонапарте. Есть император! Sacré nom...[4] — сердито крикнул он.

— Черт его дери, вашего императора!

И Долохов по-русски, грубо, по-солдатски обругался и, вскинув ружье, отошел прочь.

— Пойдемте, Иван Лукич, — сказал он ротному.

— Вот так по-хранцузски, — заговорили солдаты в цепи. — Ну-ка, ты, Сидоров!

Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лопотать непонятные слова.

— Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каска, — лопотал он, стараясь придать выразительные интонации своему говору.

— Го, го, го! Ха, ха, ха, ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого, казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряжены, бойницы в домах и укреплениях так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки.

---

[1] вас заставят плясать.

[2] Что он там поет?

[3] Древняя история. Император покажет вашему Сувара, как и другим...

[4] Черт возьми...

XVI

Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновязь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса.

Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шенграбен; левее и правее можно было различить в трех местах среди дыма их костров массы французских войск, которых, очевидно, бóльшая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей, рубившей дрова, пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и коннице. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратиону. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности: «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг, — говорил он сам себе, — Киевский гренадерский и Подольский егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их. В случае же атаки на центр мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до оврага эшелонами», — рассуждал он сам с собою...

Все время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане, но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться.

— Нет, голубчик, — говорил приятный и как будто знакомый князю Андрею голос, — я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик!

Другой, более молодой голос перебил его:

— Да бойся, не бойся, все равно — не минуешь.

— А все боишься! Эх вы, ученые люди, — сказал третий, мужественный голос, перебивая обоих. — То-то вы, артиллеристы, и учены очень оттого, что все с собой свезти можно, и водочки и закусочки.

И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся.

— А все боишься, — продолжал первый знакомый голос. — Боишься неизвестности, вот чего. Как там ни говори, что душа на небо пойдет... ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна.

Опять мужественный голос перебил артиллериста.

— Ну, угостите же травником-то вашим, Тушин, — сказал он.

«А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркитанта», — подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос.

— Травничку можно, — сказал Тушин, — а все-таки будущую жизнь постигнуть... — Он не договорил.

В это время в воздухе послышался свист; ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее, и ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческою силой взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара.

В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушенною набок трубочкой; доброе, умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, молодцеватый пехотный офицер, и побежал к своей роте, на бегу застегиваясь.

XVII

Князь Андрей верхом остановился на батарее, глядя на дым орудия, из которого вылетело ядро. Глаза его разбегались по обширному пространству. Он видел только, что прежде неподвижные массы французов заколыхались и что налево действительно была батарея. На ней еще не разошелся дымок. Французские два конные, вероятно адъютанты, проскакали по горе. Под гору, вероятно, для усиления цепи, двигалась явственно видневшаяся небольшая колонна неприятеля. Еще дым первого выстрела не рассеялся, как показался другой дымок и выстрел. Сраженье началось. Князь Андрей повернул лошадь и поскакал назад в Грунт отыскивать князя Багратиона. Сзади себя он слышал, как канонада становилась чаще и громче. Видно, наши начинали отвечать. Внизу, в том месте, где проезжали парламентеры, послышались ружейные выстрелы.

Лемарруа (Lemarrois) с грозным письмом Бонапарта только что прискакал к Мюрату, и пристыженный Мюрат, желая загладить свою ошибку, тотчас же двинул свои войска на центр и в обход обоих флангов, надеясь еще до вечера и до прибытия императора раздавить ничтожный, стоявший перед ним отряд.

«Началось! Вот оно!» — думал князь Андрей, чувствуя, как кровь чаще начинала приливать к его сердцу. «Но где же? Как же выразится мой Тулон?» — думал он.

Проезжая между тех же рот, которые ели кашу и пили водку четверть часа тому назад, он везде видел одни и те же быстрые движения строившихся и разбиравших ружья солдат, и на всех лицах узнавал он то чувство оживления, которое было в его сердце. «Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера.

Не доехав еще до строившегося укрепления, он увидел в вечернем свете пасмурного осеннего дня подвигавшихся ему навстречу верховых. Передовой, в бурке и картузе со смушками, ехал на белой лошади. Это был князь Багратион. Князь Андрей остановился, ожидая его. Князь Багратион приостановил свою лошадь и, узнав князя Андрея, кивнул ему головой. Он продолжал смотреть вперед в то время, как князь Андрей говорил ему то, что он видел.

Выражение «Началось! вот оно!» было даже и на крепком карем лице князя Багратиона с полузакрытыми, мутными, как будто невыспавшимися глазами. Князь Андрей с беспокойным любопытством вглядывался в это неподвижное лицо, и ему хотелось знать, думает ли и чувствует, и что думает, что чувствует этот человек в эту минуту? «Есть ли вообще что-нибудь там, за этим неподвижным лицом?» — спрашивал себя князь Андрей, глядя на него. Князь Багратион наклонил голову, в знак согласия на слова князя Андрея, и сказал «хорошо» с таким выражением, как будто все то, что происходило и что ему сообщали, было именно то, что он уже предвидел. Князь Андрей, запыхавшись от быстроты езды, говорил быстро. Князь Багратион произносил слова с своим восточным акцентом особенно медленно, как бы внушая, что торопиться некуда. Он тронул, однако, рысью свою лошадь по направлению к батарее Тушина. Князь Андрей вместе с свитой поехал за ним. За князем Багратионом ехали: свитский офицер, личный адъютант князя Жерков, ординарец, дежурный штаб-офицер на энглизированной красивой лошади и статский чиновник, аудитор, который из любопытства попросился ехать в сражение. Аудитор, полный мужчина с полным лицом, с наивною улыбкой радости оглядывался вокруг, трясясь на своей лошади, представляя странный вид в своей камлотовой шинели на фурштатском седле, среди гусар, казаков и адъютантов.

— Вот хочет сраженье посмотреть, — сказал Жерков Болконскому, указывая на аудитора, — да под ложечкой уж заболело.

— Ну, полно вам, — проговорил аудитор с сияющею, наивною и вместе хитрою улыбкой, как будто ему лестно было, что он составляет предмет шуток Жеркова, и как будто он нарочно старался казаться глупее, чем он был в самом деле.

— Très drôle, mon monsieur prince[1], — сказал дежурный штаб-офицер. (Он помнил, что по-французски как-то особенно говорится титул князь, и никак не мог наладить.)

В это время они все уже подъезжали к батарее Тушина, и впереди их ударилось ядро.

[1] Очень забавно, мой господин князь

— Что ж это упало? — наивно улыбаясь, спросил аудитор.

— Лепешки французские, — сказал Жерков.

— Этим-то бьют, значит? — спросил аудитор. — Страсть-то какая!

И он, казалось, распускался весь от удовольствия. Едва он договорил, как опять раздался неожиданно страшный свист, вдруг прекратившийся ударом во что-то жидкое, и ш-ш-ш-шлеп — казак, ехавший несколько правее и сзади аудитора, с лошадью рухнулся на землю. Жерков и дежурный штаб-офицер пригнулись к седлам и прочь поворотили лошадей. Аудитор остановился против казака, с внимательным любопытством рассматривая его. Казак был мертв, лошадь еще билась.

Князь Багратион, прищурившись, оглянулся и, увидав причину происшедшего замешательства, равнодушно отвернулся, как будто говоря: «Стоит ли глупостями заниматься!» Он остановил лошадь с приемом хорошего ездока, несколько перегнулся и выправил зацепившуюся за бурку шпагу. Шпага была старинная, не такая, какие носились теперь. Князь Андрей вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание. Они подъехали к той самой батарее, у которой стоял Болконский, когда рассматривал поле сражения.

— Чья рота? — спросил князь Багратион у фейерверкера, стоявшего у ящиков.

Он спрашивал: «Чья рота?», а в сущности он спрашивал: «Уж не робеете ли вы тут?» И фейерверкер понял это.

— Капитана Тушина, ваше превосходительство, — вытягиваясь, закричал веселым голосом рыжий, с покрытым веснушками лицом, фейерверкер.

— Так, так, — проговорил Багратион, что-то соображая, и мимо передков проехал к крайнему орудию.

В то время как он подъезжал, из орудия этого, оглушая его и свиту, зазвенел выстрел, и в дыму, вдруг окружившем орудие, видны были артиллеристы, подхватившие пушку и, торопливо напрягаясь, накатывавшие ее на прежнее место. Широкоплечий, огромный солдат первый нумер с банником, широко расставив ноги, отскочил к колесу. Второй нумер трясущейся рукой клал заряд в дуло. Небольшой сутуловатый человек, офицер Тушин, спотыкнувшись на хобот, выбежал вперед, не замечая генерала и выглядывая из-под маленькой ручки.

— Еще две линии прибавь, как раз так будет, — закричал он тоненьким голоском, которому он старался придать молодцеватость, не шедшую к его фигуре. — Второе, — пропищал он. — Круши, Медведев!

Багратион окликнул офицера, и Тушин, робким и неловким движением, совсем не так, как салютуют военные, а так, как благословляют священники, приложив три пальца к козырьку, подошел к генералу. Хотя орудия Тушина были назначены для того, чтоб обстреливать лощину, он стрелял брандскугелями по видневшейся впереди деревне Шенграбен, перед которой выдвигались большие массы французов.

Никто не приказывал Тушину, куда и чем стрелять, и он, посоветовавшись с своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было бы зажечь деревню. «Хорошо!» — сказал Багратион на доклад офицера и стал оглядывать все открывавшееся перед ним поле сражения, как бы что-то

соображая. С правой стороны ближе всего подошли французы. Пониже высоты, на которой стоял Киевский полк, в лощине речки слышалась хватающая за душу перекатная трескотня ружей, и гораздо правее, за драгунами, свитский офицер указывал князю на обходившую наш фланг колонну французов. Налево горизонт ограничивался близким лесом. Князь Багратион приказал двум батальонам из центра идти на подкрепление, направо. Свитский офицер осмелился заметить князю, что по уходе этих батальонов орудия останутся без прикрытия. Князь Багратион обернулся к свитскому офицеру и тусклыми глазами посмотрел на него молча. Князю Андрею казалось, что замечание свитского офицера было справедливо и что действительно сказать было нечего. Но в это время прискакал адъютант от полкового командира, бывшего в лощине, с известием, что огромные массы французов шли низом, что полк расстроен и отступает к киевским гренадерам. Князь Багратион наклонил голову в знак согласия и одобрения. Шагом поехал он направо и послал адъютанта к драгунам с приказанием атаковать французов. Но посланный туда адъютант приехал через полчаса с известием, что драгунский полковой командир уже отступил за овраг, ибо против него был направлен сильный огонь и он понапрасну терял людей и потому спе́шил стрелков в лес.

— Хорошо! — сказал Багратион.

В то время, как он отъезжал от батареи, налево тоже послышались выстрелы в лесу, и так как было слишком далеко от левого фланга, чтоб успеть самому приехать вовремя, князь Багратион послал туда Жеркова сказать старшему генералу, тому самому, который представлял полк Кутузова в Браунау, чтоб он отступал сколь можно поспешнее за овраг, потому что правый фланг, вероятно, не в силах будет долго удерживать неприятеля. Про Тушина же и батальон, прикрывавший его, было забыто. Князь Андрей тщательно прислушивался к разговорам князя Багратиона с начальниками и к отдаваемым им приказаниям и, к удивлению, замечал, что приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями. Благодаря такту, который выказывал князь Багратион, князь Андрей замечал, что, несмотря на эту случайность событий и независимость их от воли начальника, присутствие его сделало чрезвычайно много. Начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии и, видимо, щеголяли перед ним своею храбростию.

XVIII

Князь Багратион, выехав на самый высокий пункт нашего правого фланга, стал спускаться книзу, где слышалась перекатная стрельба и ничего не видно было от порохового дыма. Чем ближе они спускались к лощине, тем менее им становилось видно, но тем чувствительнее становилась близость самого настоящего поля сражения. Им стали встречаться раненые. Одного, с окровавленною головой, без шапки, тащили двое солдат под руки. Он хрипел и плевал. Пуля попала, видно, в рот или в горло. Другой, встретившийся им, бодро шел один, без ружья, громко охая и

махая от свежей боли рукою, из которой кровь лилась, как из склянки, на его шинель. Лицо его казалось больше испуганным, чем страдающим. Он минуту тому назад был ранен. Переехав дорогу, они стали круто спускаться и на спуске увидели несколько человек, которые лежали; им встретилась толпа солдат, в числе которых были и раненые. Солдаты шли в гору, тяжело дыша, и, несмотря на вид генерала, громко разговаривали и махали руками. Впереди, в дыму, уже были видны ряды серых шинелей, и офицер, увидав Багратиона, с криком побежал за солдатами, шедшими толпой, требуя, чтоб они воротились. Багратион подъехал к рядам, по которым то там, то здесь быстро щелкали выстрелы, заглушая говор и командные крики. Весь воздух пропитан был пороховым дымом. Лица солдат все были закопчены порохом и оживлены. Иные забивали шомполами, другие подсыпали на полки, доставали заряды из сумок, третьи стреляли. Но в кого они стреляли, этого не было видно от порохового дыма, не уносимого ветром. Довольно часто слышались приятные звуки жужжанья и свистения. «Что это такое? — думал князь Андрей, подъезжая к этой толпе солдат. — Это не может быть цепь, потому что они в куче! Не может быть атака, потому что они не двигаются; не может быть каре: они не так стоят».

Худощавый, слабый на вид старичок, полковой командир, с приятною улыбкой, с веками, которые больше чем наполовину закрывали его старческие глаза, придавая ему кроткий вид, подъехал к князю Багратиону и принял его, как хозяин дорогого гостя. Он доложил князю Багратиону, что против его полка была конная атака французов, но что, хотя атака эта отбита, полк потерял больше половины людей. Полковой командир сказал, что атака была отбита, придумав это военное название тому, что происходило в его полку; но он действительно сам не знал, что происходило в эти полчаса во вверенных ему войсках, и не мог с достоверностью сказать, была ли отбита атака, или полк его был разбит атакой. В начале действий он знал только то, что по всему его полку стали летать ядра и гранаты и бить людей, что потом кто-то закричал: «Конница», и наши стали стрелять. И стреляли до сих пор уже не в конницу, которая скрылась, а в пеших французов, которые показались в лощине и стреляли по нашим. Князь Багратион наклонил голову в знак того, что все это было совершенно так, как он желал и предполагал. Обратившись к адъютанту, он приказал ему привести с горы два батальона 6-го егерского, мимо которых они сейчас проехали. Князя Андрея поразила в эту минуту перемена, происшедшая в лице князя Багратиона. Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся, тусклых глаз, ни притворно глубокомысленного вида: круглые, твердые, ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели вперед, очевидно, ни на чем не останавливаясь, хотя в его движениях оставалась прежняя медленность и размеренность.

Полковой командир обратился к князю Багратиону, упрашивая его отъехать назад, так как здесь было слишком опасно. «Помилуйте, ваше сиятельство, ради Бога! — говорил он, за подтверждением взглядывая на свитского офицера, который отвертывался от него. — Вот, изволите видеть!» Он давал заметить пули, которые беспрестанно визжали, пели и свистели около них. Он говорил таким тоном просьбы

и упрека, с каким плотник говорит взявшемуся за топор барину: «Наше дело привычное, а вы ручки намозолите». Он говорил так, как будто его самого не могли убить эти пули, и его полузакрытые глаза придавали его словам еще более убедительное выражение. Штаб-офицер присоединился к увещаниям полкового командира; но князь Багратион не отвечал им и только приказал перестать стрелять и построиться так, чтобы дать место подходившим двум батальонам. В то время как он говорил, будто невидимою рукой потянулся справа налево, от поднявшегося ветра, полог дыма, скрывавший лощину, и противоположная гора с двигающимися по ней французами открылась перед ними. Все глаза были невольно устремлены на эту французскую колонну, подвигавшуюся к ним и извивавшуюся по уступам местности. Уже видны были мохнатые шапки солдат; уже можно было отличить офицеров от рядовых; видно было, как трепалось о древко их знамя.

— Славно идут, — сказал кто-то в свите Багратиона.

Голова колонны спустилась уже в лощину. Столкновение должно было произойти на этой стороне спуска...

Остатки нашего полка, бывшего в деле, поспешно строясь, отходили вправо; из-за них, разгоняя отставших, подходили стройно два батальона 6-го егерского. Они еще не поравнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу всею массой людей. С левого фланга шел ближе всех к Багратиону ротный командир, круглолицый, статный мужчина с глупым, счастливым выражением лица, тот самый, который выбежал из балагана. Он, видимо, ни о чем не думал в эту минуту, кроме того, что он молодцом пройдет мимо начальства.

С фруктовым самодовольством он шел легко на мускулистых ногах, точно он плыл, без малейшего усилия вытягиваясь и отличаясь этою легкостью от тяжелого шага солдат, шедших по его шагу. Он нес у ноги вынутую тоненькую, узенькую шпагу (гнутую шпажку, не похожую на оружие) и, оглядываясь то на начальство, то назад, не теряя шагу, гибко поворачивался всем своим сильным станом. Казалось, все силы души его были направлены на то, чтобы наилучшим образом пройти мимо начальства, и, чувствуя, что он исполняет это дело хорошо, он был счастлив. «Левой... левой... левой...» — казалось, внутренно приговаривал он через каждый шаг, и по этому такту с разнообразно строгими лицами двигалась стена солдатских фигур, отягченных ранцами и ружьями, как будто каждый из этих сотен солдат мысленно через шаг приговаривал: «Левой... левой... левой...» Толстый майор, пыхтя и разрознивая шаг, обходил куст по дороге; отставший солдат, запыхавшись, с испуганным лицом за свою неисправность, рысью догонял роту; ядро, нажимая воздух, пролетело над головой князя Багратиона и свиты и в такт: «Левой — левой!» — ударилось в колонну. «Сомкнись!» — послышался щеголяющий голос ротного командира. Солдаты дугой обходили что-то в том месте, куда упало ядро, и старый кавалер, фланговый унтер-офицер, отстав около убитых, догнал свой ряд, подпрыгнув, переменил ногу, попал в шаг и сердито оглянулся. «Левой... левой... левой...» — казалось, слышалось из-за угрожающего молчания и однообразного звука единовременно ударяющих о землю ног.

— Молодцами, ребята! — сказал князь Багратион.

«Ради... ого-го-го-го-го!..» — раздалось по рядам. Угрюмый солдат, шедший слева, крича, оглянулся глазами на Багратиона с таким выражением, как будто говорил: «Сами знаем»; другой, не оглядываясь и как будто боясь развлечься, разинув рот, кричал и проходил.

Велено было остановиться и снять ранцы.

Багратион объехал прошедшие мимо его ряды и слез с лошади. Он отдал казаку поводья, снял и отдал бурку, расправил ноги и поправил на голове картуз. Голова французской колонны, с офицерами впереди, показалась из-за горы.

— С Богом! — проговорил Багратион твердым, слышным голосом, на мгновение обернулся к фронту и, слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю. Князь Андрей чувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет его вперед, и испытывал большое счастие[1].

Уже близко становились французы; уже князь Андрей, шедший рядом с Багратионом, ясно различал перевязи, красные эполеты, даже лица французов. (Он ясно видел одного старого французского офицера, который вывернутыми ногами в штиблетах, придерживаясь за кусты, с трудом шел в гору.) Князь Багратион не давал нового приказания и все так же молча шел перед рядами. Вдруг между французами треснул один выстрел, другой, третий... и по всем расстроившимся неприятельским рядам разнесся дым и затрещала пальба. Несколько человек наших упало, в том числе и круглолицый офицер, шедший так весело и старательно. Но в то же мгновение, как раздался первый выстрел, Багратион оглянулся и закричал: «Ура!»

«Ура-а-а-а!» — протяжным криком разнеслось по нашей линии, и, обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройною, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами.

XIX

Атака 6-го егерского обеспечила отступление правого фланга. В центре действие забытой батареи Тушина, успевшего зажечь Шенграбен, останавливало движение французов. Французы тушили пожар, разносимый ветром, и давали время отступать. Отступление центра через овраг совершалось поспешно и шумно; однако войска, отступая, не путались командами. Но левый фланг, который единовременно был атакован и обходим превосходными силами французов под начальством Ланна и который состоял из Азовского и Подольского пехотных и Павлоградского гусарского полков, был расстроен. Багратион послал Жеркова к генералу левого фланга с приказанием немедленно отступать.

Жерков, бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили ему. На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно.

---

[1] Тут произошла та атака, про которую Тьер говорит: «Les russes se conduisirent vaillamment, et, chose rare a la guerre, on vit deux masses d'infanterie marcher résolument l'une contre l'autre sans qu'aucune des deux céda avant d'être abordée» (Русские вели себя доблестно, и — вещь редкая на войне, две массы пехоты шли решительно одна против другой, и ни одна из двух не уступила до самого столкновения), а Наполеон на острове св. Елены сказал: «Quelques bataillons russes montrèrent de l'intrépidité» ⟨Несколько русских батальонов проявили бесстрашие. — Ред.⟩.

Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не впереди, где была стрельба, а стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания.

Командование левым флангом принадлежало по старшинству полковому командиру того самого полка, который представлялся под Браунау Кутузову и в котором служил солдатом Долохов. Командование же крайнего левого фланга было предназначено командиру Павлоградского полка, где служил Ростов, вследствие чего произошло недоразумение. Оба начальника были сильно раздражены друг против друга, и в то самое время как на правом фланге давно уже шло дело и французы уже начали наступление, оба начальника были заняты переговорами, которые имели целью оскорбить друг друга. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу. Люди полков, от солдата до генерала, не ждали сражения и спокойно занимались мирными делами: кормлением лошадей — в коннице, собиранием дров — в пехоте.

— Есть он, однако, старше моего в чином, — говорил немец, гусарский полковник, краснея и обращаясь к подъехавшему адъютанту, — то оставляй его делать, как он хочет. Я своих гусар не могу жертвовать. Трубач! Играй отступление!

Но дело становилось к спеху. Канонада и стрельба, сливаясь, гремели справа и в центре, и французские капоты стрелков Ланна проходили уже плотину мельницы и выстраивались на этой стороне в двух ружейных выстрелах. Пехотный полковник вздрагивающею походкой подошел к лошади и, влезши на нее и сделавшись очень прямым и высоким, поехал к Павлоградскому командиру. Полковые командиры съехались с учтивыми поклонами и со скрываемою злобой в сердце.

— Опять-таки, полковник, — говорил генерал, — не могу я, однако, оставить половину людей в лесу. Я вас прошу, я вас прошу, — повторил он, — занять позицию и приготовиться к атаке.

— А вас прошу, не мешиваться не свое дело, — отвечал, горячась, полковник. — Коли бы вы был кавалерист...

— Я не кавалерист, полковник, но я русский генерал, и ежели вам это неизвестно...

— Очень известно, ваше превосходительство, — вдруг вскрикнул, трогая лошадь, полковник, и делаясь красно-багровым. — Не угодно ли пожаловать в цепи, и мы будете посмотрейть, что этот позиция никуда не годный. Я не хочу истребляйть своя полка для ваше удовольствий.

— Вы забываетесь, полковник. Я не удовольствие свое соблюдаю и говорить этого не позволю.

Генерал, принимая приглашение полковника на турнир храбрости, выпрямив грудь и нахмурившись, поехал с ним вместе по направлению к цепи, как будто все их разногласие должно было решиться там, в цепи, под пулями. Они приехали в цепь, несколько пуль пролетело над ними, и они молча остановились. Смотреть в цепи нечего было, так как и с того места, на котором они прежде стояли, ясно было, что по кустам и оврагам кавалерии действовать невозможно и что французы обходят левое крыло. Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха,

готовящиеся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первый выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость, ежели бы в это время в лесу, почти сзади их, не послышались трескотня ружей и глухой сливающийся крик. Французы напали на солдат, находившихся в лесу с дровами. Гусарам уже нельзя было отступать вместе с пехотой. Они были отрезаны от пути отступления налево французскою цепью. Теперь, как ни неудобна была местность, необходимо было атаковать, чтобы проложить себе дорогу.

Эскадрон, где служил Ростов, только что успевший сесть на лошадей, был остановлен лицом к неприятелю. Опять, как и на Энском мосту, между эскадроном и неприятелем никого не было, и между ними, разделяя их, лежала та же страшная черта неизвестности и страха, как бы черта, отделяющая живых от мертвых. Все люди чувствовали эту черту, и вопрос о том, перейдут ли, или нет и как перейдут они эту черту, волновал их.

Ко фронту подъехал полковник, сердито ответил что-то на вопросы офицеров и, как человек, отчаянно настаивающий на своем, отдал какое-то приказание. Никто ничего определенного не говорил, но по эскадрону пронеслась молва об атаке. Раздалась команда построения, потом визгнули сабли, вынутые из ножен. Но всё еще никто не двигался. Войска левого фланга, и пехота и гусары, чувствовали, что начальство само не знает, что делать, и нерешимость начальников сообщалась войскам.

«Поскорее, поскорее бы», — думал Ростов, чувствуя, что наконец-то наступило время изведать наслаждение атаки, про которое он так много слышал от товарищей-гусаров.

— С Богом, г'ебята, — прозвучал голос Денисова, — г'ысью, маг'ш!

В переднем ряду заколыхались крупы лошадей. Грачик потянул поводья и сам тронулся.

Справа Ростов видел первые ряды своих гусар, а еще дальше впереди виднелась ему темная полоса, которую он не мог рассмотреть, но считал неприятелем. Выстрелы были слышны, но в отдалении.

— Прибавь рыси! — послышалась команда, и Ростов чувствовал, как поддает задом, перебивая в галоп, его Грачик.

Он вперед угадывал его движения, и ему становилось все веселее и веселее. Он заметил одинокое дерево впереди. Это дерево сначала было впереди, на середине той черты, которая казалась столь страшною. А вот и перешли эту черту, и не только ничего страшного не было, но все веселее и оживленнее становилось. «Ох, как я рубану его», — думал Ростов, сжимая в руке эфес сабли.

— Ур-р-а-а-а!! — загудели голоса.

«Ну, попадись теперь кто бы ни был», — думал Ростов, вдавливая шпоры Грачику, и, перегоняя других, выпустил его во весь карьер. Впереди уже виден был неприятель. Вдруг, как широким веником, стегнуло что-то по эскадрону. Ростов поднял саблю, готовясь рубить, но в это время впереди скакавший солдат Никитенко отделился от него, и Ростов почувствовал, как во сне, что продолжает нестись с

неестественною быстротой вперед и вместе с тем остается на месте. Сзади знакомый гусар Бандарчук наскакал на него и сердито посмотрел. Лошадь Бандарчука шарахнулась, и он обскакал мимо.

«Что же это? я не подвигаюсь? — Я упал, я убит...» — в одно мгновение спросил и ответил Ростов. Он был уже один посреди поля. Вместо двигавшихся лошадей и гусарских спин он видел вокруг себя неподвижную землю и жнивье. Теплая кровь была под ним. «Нет, я ранен, и лошадь убита». Грачик поднялся было на передние ноги, но упал, придавив седоку ногу. Из головы лошади текла кровь. Лошадь билась и не могла встать. Ростов хотел подняться и упал тоже: ташка зацепилась за седло. Где были наши, где были французы — он не знал. Никого не было кругом.

Высвободив ногу, он поднялся. «Где, с какой стороны была теперь та черта, которая так резко отделяла два войска?» — спрашивал он себя и не мог ответить. «Уже не дурное ли что-нибудь случилось со мной? Бывают ли такие случаи, и что надо делать в таких случаях?» — спросил он сам себя, вставая; и в это время почувствовал, что что-то лишнее висит на его левой онемевшей руке. Кисть ее была как чужая. Он оглядывал руку, тщетно отыскивая на ней кровь. «Ну, вот и люди, — подумал он радостно, увидав несколько человек, бежавших к нему. — Они мне помогут!» Впереди этих людей бежал один в странном кивере и в синей шинели, черный, загорелый, с горбатым носом. Еще два и еще много бежало сзади. Один из них проговорил что-то странное, нерусское. Между задними такими же людьми, в таких же киверах, стоял один русский гусар. Его держали за руки; позади его держали его лошадь.

«Верно, наш пленный... Да. Неужели и меня возьмут? Что это за люди? — все думал Ростов, не веря своим глазам. — Неужели французы?» Он смотрел на приближавшихся французов, и, несмотря на то, что за секунду скакал только затем, чтобы настигнуть этих французов и изрубить их, близость их казалась ему теперь так ужасна, что он не верил своим глазам. «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? Меня, кого так любят все?» Ему вспомнилась любовь к нему его матери, семьи, друзей, и намерение неприятелей убить его показалось невозможно. «А может — и убить!» Он более десяти секунд стоял, не двигаясь с места и не понимая своего положения. Передний француз с горбатым носом подбежал так близко, что уже видно было выражение его лица. И разгоряченная, чуждая физиономия этого человека, который со штыком наперевес, сдерживая дыханье, легко подбегал к нему, испугала Ростова. Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом. Быстро перепрыгивая через межи, с тою стремительностью, с которою он бегал, играя в горелки, он летел по полю, изредка оборачивая свое бледное, доброе, молодое лицо, и холод ужаса пробегал по его спине. «Нет, лучше не смотреть», — подумал он, но, подбежав к кустам, оглянулся еще раз. Французы отстали, и даже в ту минуту, как он оглянулся, передний только что переменил рысь на шаг и, обернувшись, что-то сильно кричал заднему товарищу. Ростов остановился. «Что-нибудь не так, — подумал он, — не может быть, чтоб они хотели убить меня». А между тем левая рука

его была так тяжела, как будто двухпудовая гиря была привешена к ней. Он не мог бежать дальше. Француз остановился тоже и прицелился. Ростов зажмурился и нагнулся. Одна, другая пуля пролетели, жужжа, мимо него. Он собрал последние силы, взял левую руку в правую и побежал до кустов. В кустах были русские стрелки.

XX

Пехотные полки, застигнутые врасплох, в лесу, выбегали из леса, и роты, смешиваясь с другими ротами, уходили беспорядочными толпами. Один солдат в испуге проговорил страшное на войне и бессмысленное слово: «Отрезали!», и слово вместе с чувством страха сообщилось всей массе.

— Обошли! Отрезали! Пропали! — кричали голоса бегущих.

Полковой командир, в ту самую минуту, как он услыхал стрельбу и крик сзади, понял, что случилось что-нибудь ужасное с его полком, и мысль, что он, примерный, много лет служивший, ни в чем не виноватый офицер, мог быть виновен перед начальством в оплошности или нераспорядительности, так поразила его, что в ту же минуту, забыв и непокорного кавалериста-полковника, и свою генеральскую важность, а главное — совершенно забыв про опасность и чувство самосохранения, он, ухватившись за луку седла и шпоря лошадь, поскакал к полку под градом обсыпáвших, но счастливо миновавших его пуль. Он желал одного: узнать, в чем дело, и помочь и исправить во что бы то ни стало ошибку, ежели она была с его стороны, и не быть виновным ему, двадцать два года служившему, ни в чем не замеченному примерному офицеру.

Счастливо проскакав между французами, он подскакал к полю за лесом, чрез который бежали наши и, не слушаясь команды, спускались под гору. Наступила та минута нравственного колебания, которая решает участь сражений: послушают эти расстроенные толпы солдат голоса своего командира или, оглянувшись на него, побегут дальше. Несмотря на отчаянный крик прежде столь грозного для солдат голоса полкового командира, несмотря на разъяренное, багровое, на себя не похожее лицо полкового командира и маханье шпагой, солдаты все бежали, разговаривали, стреляли в воздух и не слушали команды. Нравственное колебание, решающее участь сражений, очевидно, разрешалось в пользу страха.

Генерал закашлялся от крика и порохового дыма и остановился в отчаянии. Все казалось потеряно, но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг, без видимой причины, побежали назад, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одною шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали. Долохов, бежавший рядом с Тимохиным, в упор убил одного француза и первый взял за воротник сдавшегося офицера. Бегущие возвратились, батальоны собрались, и французы, разделившие было на две части войска левого фланга, на мгновение были оттеснены. Резервные части успели соединиться, и беглецы остановились. Полковой командир стоял с майором Экономовым у моста, пропуская мимо себя отступающие роты, когда к нему подошел солдат, взял его за стремя и почти прислонился к нему. На солдате была

синеватая, фабричного сукна шинель, ранца и кивера не было, голова была повязана, и через плечо была надета французская зарядная сумка. Он в руках держал офицерскую шпагу. Солдат был бледен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а рот улыбался. Несмотря на то, что полковой командир был занят отданием приказания майору Экономову, он не мог не обратить внимания на этого солдата.

— Ваше превосходительство, вот два трофея, — сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку. — Мною взят в плен офицер. Я остановил роту. — Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками. — Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство!

— Хорошо, хорошо, — сказал полковой командир и обратился к майору Экономову.

Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его и показал запекшуюся в волосах кровь.

— Рана штыком, я остался во фронте. Попомните, ваше превосходительство.

Про батарею Тушина было забыто, и только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела; но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт, и оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек.

Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграбен.

— Вишь, засумятились! Горит! Вишь, дым-то! Ловко! Важно! Дым-то, дым-то! — заговорила прислуга, оживляясь.

Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу. «Ловко! Вот так-та́к! Ишь ты... Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но, как бы в наказание за эту неудачу, неприятель выставил правее деревни десять орудий и стал бить из них по Тушину.

Из-за детской радости, возбужденной пожаром, и азарта удачной стрельбы по французам наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще четыре ударили между орудиями и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не ослабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненые убраны, и четыре орудия повернуты против десятипушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжение часа из сорока человек прислуги выбыли семнадцать, но артиллеристы всё так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы, и тогда они били по ним картечью.

Маленький человек, с слабыми, неловкими движениями, требовал себе беспрестанно у денщика еще трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов.

— Круши, ребята! — приговаривал он и сам подхватывал орудия за колеса и вывинчивал винты.

В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших поднять раненого или тело. Солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его), все, как дети в затруднительном положении, смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах.

Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности, Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уже очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым, родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека.

Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятеля, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне (после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь), — из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик.

— Вишь, пыхнул огонь, — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром, — теперь мячик жди — отсылать назад.

— Что прикажете, ваше благородие? — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то.

— Ничего, гранату... — отвечал он.

«Ну-ка, наша Матвевна», — говорил он про себя. Матвевной представлялась в его воображении большая крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавец и пьяница первый нумер второго орудия в его мире был дядя; Тушин чаще других смотрел на него и

радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся ружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханью и разгоранью этих звуков.

«Ишь задышала опять, задышала», — говорил он про себя.

Сам он представлялся себе огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра.

— Ну, Матвевна, матушка, не выдавай! — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый, незнакомый голос:

— Капитан Тушин! Капитан!

Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из Грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему:

— Что вы, с ума сошли? Вам два раза приказано отступать, а вы...

«Ну, за что они меня?..» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я... ничего, — проговорил он, приставляя два пальца к козырьку. — Я...

Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь.

«Батарея капитана Тушина при Шенграбене» Акварель Н.Н. Каразина

— Отступать! Все отступать! — прокричал он издалека.

Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием. Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь, с перебитою ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых.

Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», — подумал он и

медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудия.

— А то приезжало сейчас начальство, так скорее дра́ло, — сказал фейерверкер князю Андрею, — не так, как ваше благородие.

Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору (одна разбитая пушка и единорог были оставлены), князь Андрей подъехал к Тушину.

— Ну, до свидания, — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.

— До свидания, голубчик, — сказал Тушин, — милая душа! прощайте, голубчик, — сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.

XXI

Ветер стих, черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескотня ружей сзади и справа слышалась еще чаще и ближе. Как только Тушин с своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился в овраг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер и Жерков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был, сам не зная отчего, заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудия. Тот самый молодцеватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, был, с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одною рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть.

— Капитан, ради Бога, я контужен в руку, — сказал он робко. — Ради Бога, я не могу идти. Ради Бога!

Видно было, что юнкер этот уже не раз просился где-нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом:

— Прикажите посадить, ради Бога.

— Посадите, посадите, — сказал Тушин. — Подложи шинель, ты, дядя, — обратился он к своему любимому солдату. — А где офицер раненый?

— Сложили, кончился, — ответил кто-то.

— Посадите. Садитесь, милый, садитесь. Подстели шинель, Антонов.

Юнкер был Ростов. Он держал одною рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое

орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова.

— Что вы, ранены, голубчик? — сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов.

— Нет, контужен.

— Отчего же кровь-то на станине? — спросил Тушин.

— Это офицер, ваше благородие, окровенил, — отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие.

Насилу с помощью пехоты вывезли орудия в гору и, достигши деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в домы деревни. Опять всё бросилось из деревни, но орудия Тушина не могли двинуться, и артиллеристы, Тушин и юнкер молча переглядывались, ожидая своей участи. Перестрелка стала стихать, и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты.

— Цел, Петров? — спрашивал один.

— Задали, брат, жару. Теперь не сунутся, — говорил другой.

— Ничего не видать. Как они в своих-то зажарили? Не видать, темь, братцы. Нет ли напиться?

Французы последний раз были отбиты. И опять, в совершенном мраке, орудия Тушина, как рамой окруженные гудевшею пехотой, двинулись куда-то вперед.

В темноте как будто текла невидимая мрачная река, все в одном направлении, гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. В общем гуле из-за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи — это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая.

— Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ль? Благодарил, что ли? — послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя (видно, передние остановились), и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли, на середине грязной дороги.

Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла все его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли в нывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо-красным, то на сутуловатую слабую фигурку Тушина, по-турецки сидевшего подле него. Большие добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него. Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему.

Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшейся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт, ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул.

Теперь уже не текла, как прежде, во мраке невидимая река, а будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо.

— Ничего, ваше благородие? — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваше благородие; сам не знаю, где. Беда!

Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанною щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провезти повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог.

— Как же, ты поднял! Ишь ловок! — кричал один хриплым голосом.

Потом подошел худой, бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленною подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов.

— Что ж, умирать, что ли, как собаке? — говорил он.

Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту.

— Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек, мы назад с процентой отдадим, — говорил он, унося куда-то в темноту краснеющуюся головешку.

За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся.

— Ишь черти, на дороге дрова положили, — проворчал он.

— Кончился, что ж его носить? — сказал один из них.

— Ну вас.

И они скрылись во мраке с своею ношей.

— Что? болит? — спросил Тушин шепотом у Ростова.

— Болит.

— Ваше благородие, к генералу. Здесь в избе стоят, — сказал фейерверкер, подходя к Тушину.

— Сейчас, голубчик.

Тушин встал и, застегивая шинель и оправляясь, отошел от костра...

Недалеко от костра артиллеристов, в приготовленной для него избе, сидел князь Багратион за обедом, разговаривая с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда, и штаб-офицер с именным перстнем, и Жерков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами.

В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть, оттого, что его и в самом деле интересовал вид знамени, а может быть, и оттого, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему недостало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его, наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что, как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя батальонами ударил в штыки и опрокинул французов.

— Как я увидал, ваше сиятельство, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и думаю: «Пропущу этих и встречу батальным огнем»; так и сделал.

Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что все это точно было. Да, может быть, и в самом деле было? Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было?

— Причем, должен заметить, ваше сиятельство, — продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, — что рядовой, разжалованный Долохов, на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился.

— Здесь-то я видел, ваше сиятельство, атаку павлоградцев, — беспокойно оглядываясь, вмешался Жерков, который вовсе не видал в этот день гусар, а только слышал о них от пехотного офицера. — Смяли два каре, ваше сиятельство.

На слова Жеркова некоторые улыбнулись, как и всегда ожидая от него шутки; но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жерков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку полковнику.

— Благодарю всех, господа, все части действовали геройски: пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия? — спросил он, ища кого-то глазами. (Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга; он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки.) — Я вас, кажется, просил, — обратился он к дежурному штаб-офицеру.

— Одно было подбито, — отвечал дежурный штаб-офицер, — а другое, я не могу понять; я сам там все время был и распоряжался и только что отъехал... Жарко было, правда, — прибавил он скромно.

Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь у самой деревни и что за ним уже послано.

— Да вот вы были, — сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею.

— Как же, мы вместе немного не съехались, — сказал дежурный штаф-офицер, приятно улыбаясь Болконскому.

— Я не имел удовольствия вас видеть, — холодно и отрывисто сказал князь Андрей.

Все помолчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и споткнулся на него. Несколько голосов засмеялись.

— Каким образом орудие оставлено? — спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех слышался голос Жеркова.

Тушину теперь только, при виде грозного начальства, во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащею нижнею челюстью и едва проговорил:

— Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство.

— Вы бы могли из прикрытия взять!

Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору.

Молчание было довольно продолжительно. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находился, что сказать; остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей исподлобья смотрел на Тушина, и пальцы его рук нервически двигались.

— Ваше сиятельство, — прервал князь Андрей молчание своим резким голосом, — вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными и прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанно и взволнованно говорившего Болконского.

— И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, — продолжал он, — то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, — сказал князь Андрей и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола.

Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо, не желая выказать недоверия к резкому суждению Болконского и вместе с тем чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову и сказал Тушину, что он может идти. Князь Андрей вышел за ним.

— Вот спасибо, выручил, голубчик, — сказал ему Тушин.

Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего не сказав, отошел от него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было так странно, так непохоже на то, чего он надеялся.

«Кто они? Зачем они? Что им нужно? И когда все это кончится?» — думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, и впечатление этих голосов и этих лиц и чувство одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, и раненые и нераненые, — это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, и жгли мясо в его разломанной руке и плече. Чтоб избавиться от них, он закрыл глаза.

Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения он видел во сне бесчисленное количество предметов: он видел свою мать и ее большую белую руку, видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи, и Денисова с его голосом и усами, и Телянина, и всю свою историю с Теляниным и Богданычем. Вся эта история была одно и то же, что этот солдат с резким голосом, и эта-то вся история и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его; но нельзя было избавиться от них.

Он открыл глаза и поглядел вверх. Черный полог ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой-то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое желтое тело.

«Никому не нужен я! — думал Ростов. — Некому ни помочь, ни пожалеть. А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый». Он вздохнул и со вздохом невольно застонал.

— Ай болит что? — спросил солдатик, встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крякнув, прибавил: — Мало ли за день народу попортили — страсть!

Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым, светлым домом, пушистою шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботою семьи. «И зачем я пошел сюда!» — думал он.

На другой день французы не возобновляли нападения, и остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова.

Часть третья

I

Князь Василий не обдумывал своих планов, он еще менее думал сделать людям зло для того, чтобы приобрести выгоду. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам, по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам не отдавал себе хорошенько отчета, но которые составляли весь интерес его жизни. Не одни и не два таких плана и соображения бывало у него в ходу, а десятки, из которых одни только начинали представляться ему, другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил себе, например: «Вот этот человек теперь в силе, я должен приобрести его доверие и дружбу и через него устроить себе выдачу единовременного пособия», или он не говорил себе: «Вот Пьер богат, я должен заманить его жениться на дочери и занять нужные мне сорок тысяч»; но человек в силе встречался ему, и в ту же минуту инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть полезен, и князь Василий сближался с ним и при первой возможности, без приготовления, по инстинкту, льстил, делался фамильярен, говорил о том, о чем нужно было.

Пьер был у него под рукою в Москве, и князь Василий устроил для него назначение в камер-юнкеры, что тогда равнялось чину статского советника, и настоял на том, чтобы молодой человек с ним вместе ехал в Петербург и остановился в его доме. Как будто рассеянно и вместе с тем с несомненною уверенностью, что так должно быть, князь Василий делал все, что было нужно для того, чтобы женить Пьера на своей дочери. Ежели бы князь Василий обдумывал вперед свои планы, он не мог бы иметь такой естественности в обращении и такой простоты и фамильярности в сношениях со всеми людьми, выше и ниже себя поставленными. Что-то влекло его постоянно к людям сильнее или богаче его, и он одарен был редким искусством ловить именно ту минуту, когда надо и можно было пользоваться людьми.

Пьер, сделавшись неожиданно богачом и графом Безуховым, после недавнего одиночества и беззаботности, почувствовал себя до такой степени окруженным, занятым, что ему только в постели удавалось остаться одному с самим собою. Ему нужно было подписывать бумаги, ведаться с присутственными местами, о значении которых он не имел ясного понятия, спрашивать о чем-то главного управляющего, ехать в подмосковное имение и принимать множество лиц, которые прежде не хотели и знать о его существовании, а теперь были бы обижены и огорчены, ежели бы он не захотел их видеть. Все эти разнообразные лица — деловые, родственники, знакомые — все были одинаково хорошо, ласково расположены к молодому наследнику; все они, очевидно и несомненно, были убеждены в высоких достоинствах Пьера. Беспрестанно он слышал слова: «С вашею необыкновенною добротой», или: «При вашем прекрасном сердце», или: «Вы сами так чисты, граф...», или: «Ежели бы он был так умен, как вы» и т. п., так что он искренно начинал верить своей необыкновенной доброте и своему необыкновенному уму, тем более что и всегда, в глубине души, ему казалось, что он действительно очень добр и очень умен. Даже люди, прежде бывшие злыми и очевидно враждебными, делались с ним

нежными и любящими. Столь сердитая старшая из княжон, с длинною талией, с приглаженными, как у куклы, волосами, после похорон пришла в комнату Пьера. Опуская глаза и беспрестанно вспыхивая, она сказала ему, что очень жалеет о бывших между ними недоразумениях и что теперь не чувствует себя вправе ничего просить, разве только Позволения, после постигшего ее удара, остаться на несколько недель в доме, который она так любила и где столько принесла жертв. Она не могла удержаться и заплакала при этих словах. Растроганный тем, что эта статуеобразная княжна могла так измениться, Пьер взял ее за руку и просил извинения, сам не зная за что. С этого дня княжна начала вязать полосатый шарф для Пьера и совершенно изменилась к нему.

— Сделай это для нее, mon cher; все-таки она много пострадала от покойника, — сказал ему князь Василий, давая подписать какую-то бумагу в пользу княжны.

Князь Василий решил, что эту кость, вексель в тридцать тысяч, надо было все-таки бросить бедной княжне, с тем чтобы ей не могло прийти в голову толковать об участии князя Василия в деле мозаикового портфеля. Пьер подписал вексель, и с тех пор княжна стала еще добрее. Младшие сестры стали также ласковы к нему, в особенности самая младшая, хорошенькая, с родинкой, часто смущала Пьера своими улыбками и смущением при виде его.

Пьеру так естественно казалось, что все его любят, так казалось бы неестественно, ежели бы кто-нибудь не полюбил его, что он не мог не верить в искренность людей, окружавших его. Притом ему не было времени спрашивать себя об искренности или неискренности этих людей. Ему постоянно было некогда, он постоянно чувствовал себя в состоянии кроткого и веселого опьянения. Он чувствовал себя центром какого-то важного общего движения; чувствовал, что от него что-то постоянно ожидается; что, не сделай он того-то, он огорчит многих и лишит их ожидаемого, а сделай то-то и то-то, все будет хорошо, — и он делал то, что требовали от него, но это что-то хорошее все оставалось впереди.

Более всех других в это первое время как делами Пьера, так и им самим овладел князь Василий. Со смерти графа Безухова он не выпускал из рук Пьера. Князь Василий имел вид человека, отягченного делами, усталого, измученного, но из сострадания не могущего, наконец, бросить на произвол судьбы и плутов этого беспомощного юношу, сына все-таки его друга, après tout[1], и с таким огромным состоянием. В те несколько дней, которые он пробыл в Москве после смерти графа Безухова, он призывал к себе Пьера или сам приходил к нему и предписывал ему то, что нужно было делать, таким тоном усталости и уверенности, как будто он всякий раз приговаривал:

— Vous savez que je suis accablé d'affaires et que ce n'est que par pure charité que je m'occupe de vous, et puis vous savez bien que ce que je vous propose est la seule chose faisable[2].

[1] в конце концов

[2] Ты знаешь, я завален делами; но было бы безжалостно покинуть тебя так; и ты знаешь, — то что я тебе говорю, есть единственно возможное

— Ну, мой друг, завтра мы едем наконец, — сказал он ему однажды, закрывая глаза, перебирая пальцами его локоть и таким тоном, как будто то, что он говорил, было давным-давно решено между ними и не могло быть решено иначе.

— Завтра мы едем, я тебе даю место в своей коляске. Я очень рад. Здесь у нас все важное покончено. А мне уж давно бы надо. Вот я получил от канцлера. Я его просил о тебе, и ты зачислен в дипломатический корпус и сделан камер-юнкером. Теперь дипломатическая дорога тебе открыта.

Несмотря на всю силу тона усталости и уверенности, с которой произнесены были эти слова, Пьер, так долго думавший о своей карьере, хотел было возражать. Но князь Василий перебил его тем воркующим, басистым тоном, который исключал возможность перебить его речь и который употреблялся им в случае необходимости крайнего убеждения.

— Mais, mon cher[1], я это сделал для себя, для своей совести, и меня благодарить нечего. Никогда никто не жаловался, что его слишком любили; а потом, ты свободен, хоть завтра брось. Вот ты все сам в Петербурге увидишь. И тебе давно пора удалиться от этих ужасных воспоминаний. — Князь Василий вздохнул. — Так-та́к, моя душа. А мой камердинер пускай в твоей коляске едет. Ах да, я было и забыл, — прибавил еще князь Василий, — ты знаешь, mon cher[2], у нас были счеты с покойным, так с рязанских я получил и оставлю: тебе не нужно. Мы с тобой сочтемся.

То, что князь Василий называл «с рязанских», было несколько тысяч оброка, которые князь Василий оставил у себя.

В Петербурге, так же как и в Москве, атмосфера нежных, любящих людей окружила Пьера. Он не мог отказаться от места или, скорее, звания (потому что он ничего не делал), которое доставил ему князь Василий, а знакомств, зовов и общественных занятий было столько, что Пьер еще больше, чем в Москве, испытывал чувство отуманенности, торопливости и все наступающего, но не совершающегося какого-то блага.

Из прежнего его холостого общества многих не было в Петербурге. Гвардия ушла в поход. Долохов был разжалован, Анатоль находился в армии, в провинции, князь Андрей был за границей, и потому Пьеру не удавалось ни проводить ночей, как он любил проводить их прежде, ни отводить изредка душу в дружеской беседе с старшим, уважаемым другом. Все время его проходило на обедах, балах и преимущественно у князя Василия — в обществе старой толстой княгини, его жены, и красавицы Элен.

Анна Павловна Шерер, так же как и другие, выказала Пьеру перемену, происшедшую в общественном взгляде на него.

Прежде Пьер в присутствии Анны Павловны постоянно чувствовал, что то, что он говорит, неприлично, бестактно, не то, что нужно; что речи его, кажущиеся ему умными, пока он готовит их в своем воображении, делаются глупыми, как скоро он их громко выговорит, и что, напротив, самые тупые речи Ипполита выходят умными и

[1] Но, милый мой

[2] дружок

милыми. Теперь все, что ни говорил он, все выходило charmant [1]. Ежели даже Анна Павловна не говорила этого, то он видел, что ей хотелось это сказать, и она только, в уважение его скромности, воздерживалась от этого.

В начале зимы с 1805 на 1806 год Пьер получил от Анны Павловны обычную розовую записку с приглашением, в котором было прибавлено: «Vous trouverez chez moi la belle Hélène qu'on ne se lasse jamais voir»[2].

Читая это место, Пьер в первый раз почувствовал, что между ним и Элен образовалась какая-то связь, признаваемая другими людьми, и эта мысль в одно и то же время и испугала его, как будто на него накладывалось обязательство, которое он не мог сдержать, и вместе понравилось ему, как забавное предположение.

Вечер Анны Павловны был такой же, как и первый, только новинкой, которою угащивала Анна Павловна своих гостей, был теперь не Мортемар, а дипломат, приехавший из Берлина и привезший самые свежие подробности о пребывании государя Александра в Потсдаме и о том, как два высочайшие друга поклялись там в неразрывном союзе отстаивать правое дело против врага человеческого рода. Пьер был принят Анной Павловной с оттенком грусти, относившейся, очевидно, к свежей потере, постигшей молодого человека, к смерти графа Безухова (все постоянно считали долгом уверять Пьера, что он очень огорчен кончиною отца, которого он почти не знал), — и грусти точно такой же, как и та высочайшая грусть, которая выражалась при упоминаниях об августейшей императрице Марии Феодоровне. Пьер почувствовал себя польщенным этим. Анна Павловна с своим обычным искусством устроила кружки своей гостиной. Большой кружок, где были князь Василий и генералы, пользовался дипломатом. Другой кружок был у чайного столика. Пьер хотел присоединиться к первому, но Анна Павловна, находившаяся в раздраженном состоянии полководца на поле битвы, когда приходят тысячи новых блестящих мыслей, которые едва успеваешь приводить в исполнение, Анна Павловна, увидев Пьера, тронула его пальцем за рукав:

— Attendez, j'ai des vues sur vous pour ce soir[3]. — Она взглянула на Элен и улыбнулась ей.

— Ma bonne Hélène, il faut que vous soyez charitable pour ma pauvre tante qui a une adoration pour vous. Allez lui tenir compagnie pour 10 minutes[4]. А чтоб вам не очень скучно было, вот вам милый граф, который не откажется за вами следовать.

Красавица направилась к тетушке, но Пьера Анна Павловна еще удержала подле себя, показывая вид, как будто ей надо сделать еще последнее необходимое распоряжение.

— Не правда ли, она восхитительна? — сказала она Пьеру, указывая на отплывающую величавую красавицу. — Et quelle tenue! [5] Для такой молодой девушки и такой такт, такое мастерское уменье держать себя! Это происходит от сердца!

---

[1] прелестно

[2] У меня будет прекрасная Элен, на которую никогда не устанешь любоваться

[3] Погодите, у меня есть на вас виды на этот вечер

[4] Моя милая Элен, надо, чтобы вы были добры к моей бедной тетке, которая питает к вам обожание. Побудьте с ней минут десять

[5] И как держит себя!

Счастлив будет тот, чьей она будет! С нею самый несветский муж будет невольно и без труда занимать блестящее место в свете! Не правда ли? Я только хотела знать ваше мнение. — И Анна Павловна отпустила Пьера.

Пьер с искренностью отвечал Анне Павловне утвердительно на вопрос ее об искусстве Элен держать себя. Ежели он когда-нибудь думал об Элен, то думал именно о ее красоте и о том необыкновенном ее спокойном уменье быть молчаливо-достойною в свете.

Тетушка приняла в свой уголок двух молодых людей, но, казалось, желала скрыть свое обожание к Элен и желала более выразить страх перед Анной Павловной. Она взглядывала на племянницу, как бы спрашивая, что ей делать с этими людьми. Отходя от них, Анна Павловна опять тронула пальчиком рукав Пьера и проговорила:

— J'espère que vous ne direz plus qu'on s'ennuie chez moi[1], — и взглянула на Элен.

Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и не быть восхищенным. Тетушка прокашлялась, проглотила слюни и по-французски сказала, что она очень рада видеть Элен; потом обратилась к Пьеру с тем же приветствием и с той же миной. В середине скучливого и спотыкающегося разговора Элен оглянулась на Пьера и улыбнулась ему той улыбкой, ясной, красивой, которой она улыбалась всем. Пьер так привык к этой улыбке, так мало она выражала для него, что он не обратил на нее никакого внимания. Тетушка говорила в это время о коллекции табакерок, которая была у покойного отца Пьера, графа Безухова, и показала свою табакерку. Княжна Элен попросила посмотреть портрет мужа тетушки, который был сделан на этой табакерке.

— Это, верно, делано Винесом, — сказал Пьер, называя известного миниатюриста, нагибаясь к столу, чтоб взять в руки табакерку, и прислушиваясь к разговору за другим столом.

Он привстал, желая обойти, но тетушка подала табакерку прямо через Элен, позади ее. Элен нагнулась вперед, чтобы дать место, и, улыбаясь, оглянулась. Она была, как и всегда на вечерах, в весьма открытом по тогдашней моде спереди и сзади платье. Ее бюст, казавшийся всегда мраморным Пьеру, находился в таком близком расстоянии от его глаз, что он своими близорукими глазами невольно различал живую прелесть ее плеч и шеи, и так близко от его губ, что ему стоило немного нагнуться, чтобы прикоснуться до нее. Он слышал тепло ее тела, запах духов и слышал скрип ее корсета при дыхании. Он видел не ее мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем, он видел и чувствовал всю прелесть ее тела, которое было закрыто только одеждой. И, раз увидав это, он не мог видеть иначе, как мы не можем возвратиться к раз объясненному обману.

Она оглянулась, взглянула прямо на него, блестя черными глазами, и улыбнулась.

«Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна? — как будто сказала Элен. — Вы не замечали, что я женщина? Да, я женщина, которая может принадлежать

[1] Надеюсь, вы не скажете другой раз, что у меня скучают.

всякому, и вам даже», — сказал ее взгляд. И в ту же минуту Пьер почувствовал, что Элен не только могла, но должна быть его женою, что это не может быть иначе.

Он знал это в эту минуту так же верно, как бы он знал это, стоя под венцом с нею. Как это будет и когда, он не знал; не знал даже, хорошо ли это будет (ему даже чувствовалось, что это нехорошо почему-то), но он знал, что это будет.

Пьер опустил глаза, опять поднял их и снова хотел увидеть ее такою дальнею, чужою для себя красавицею, какою он видал ее каждый день прежде; но он не мог уже этого сделать. Не мог, как не может человек, прежде смотревший в тумане на былинку бурьяна и видевший в ней дерево, увидав былинку, снова увидеть в ней дерево. Она была страшно близка ему. Она имела уже власть над ним. И между ним и ею не было уже никаких преград, кроме преград его собственной воли.

— Bon, je vous laisse dans votre petit coin. Je vois que vous y êtes très bien[1] , — сказал голос Анны Павловны.

И Пьер, со страхом вспоминая, не сделал ли он чего-нибудь предосудительного, краснея, оглянулся вокруг себя. Ему казалось, что все знают, так же как и он, про то, что с ним случилось.

Через несколько времени, когда он подошел к большому кружку, Анна Павловна сказала ему:

— On dit que vous embellissez votre maison de Pétersbourg[2].

(Это была правда: архитектор сказал, что это нужно ему, и Пьер, сам не зная зачем, отделывал свой огромный дом в Петербурге.)

— C'est bien, mais ne déménagez pas de chez le prince Basile. Il est bon d'avoir un ami comme le prince, — сказала она, улыбаясь князю Василию. — J'en sais quelque chose. N'est-ce pas? [3] А вы еще так молоды. Вам нужны советы. Вы не сердитесь на меня, что я пользуюсь правами старух. — Она помолчала, как молчат всегда женщины, чего-то ожидая после того, как скажут про свои года. — Ежели вы женитесь, то другое дело. — И она соединила их в один взгляд. Пьер не смотрел на Элен, и она на него. Но она была все так же страшно близка ему. Он промычал что-то и покраснел.

Вернувшись домой, Пьер долго не мог заснуть, думая о том, что с ним случилось. Что же случилось с ним? Ничего. Он только понял, что женщина, которую он знал ребенком, про которую он рассеянно говорил: «Да, хороша», когда ему говорили, что Элен красавица, он понял, что эта женщина может принадлежать ему.

«Но она глупа, я сам говорил, что она глупа, — думал он. — Ведь это не любовь. Напротив, что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное. Мне говорили, что ее брат Анатоль был влюблен в нее, и она влюблена в него, что была целая история и что от этого услали Анатоля. Брат ее — Ипполит. Отец ее — князь Василий. Это нехорошо», — думал он; и в то же время, как он рассуждал так (еще рассуждения эти оставались неоконченными), он заставал себя улыбающимся и сознавал, что другой ряд рассуждений всплывал из-за первых, что он

[1] Хорошо, я вас оставлю в вашем уголке. Я вижу, вам там хорошо

[2] Говорят, вы отделываете свой петербургский дом

[3] Это хорошо, но не переезжайте от князя Василия. Хорошо иметь такого друга. Я кое-что об этом знаю. Не правда ли?

в одно и то же время думал о ее ничтожестве и мечтал о том, как она будет его женой, как она может полюбить его, как она может быть совсем другою и как все то, что он об ней думал и слышал, может быть неправдою. И он опять видел ее не какою-то дочерью князя Василья, а видел все ее тело, только прикрытое серым платьем. «Но нет, отчего же прежде не приходила мне в голову эта мысль?» И опять он говорил себе, что это невозможно, что что-то гадкое, противуестественное, как ему казалось, нечестное было бы в этом браке. Он вспоминал ее прежние слова, взгляды и слова и взгляды тех, кто их видал вместе. Он вспомнил слова и взгляды Анны Павловны, когда она говорила ему о доме, вспомнил сотни таких же намеков со стороны князя Василья и других, и на него нашел ужас, не связал ли он себя уж чем-нибудь в исполнении такого деда, которое, очевидно, нехорошо и которое он не должен делать. Но в то время, как он сам себе выражал это решение, с другой стороны души всплывал ее образ со всею своей женственной красотою.

II

В ноябре месяце 1805 года князь Василий должен ехать на ревизию в четыре губернии. Он устроил для себя это назначение, с тем чтобы побывать заодно в своих расстроенных имениях и, захватив с собой (в месте расположения его полка) сына Анатоля, с ним вместе заехать к князю Николаю Андреевичу Болконскому, с тем чтобы женить сына на дочери этого богатого старика. Но прежде отъезда и этих новых дел, князю Василью нужно было решить дела с Пьером, который, правда, последнее время проводил целые дни дома, то есть у князя Василья, у которого он жил, и был смешон, взволнован и глуп (как должен быть влюбленный) в присутствии Элен, но все еще не делал предложения.

«Tout ça est bel et bon, mais il faut que ça finisse»[1], — сказал себе раз утром князь Василий со вздохом грусти, сознавая, что Пьер, стольким обязанный ему (ну, да Христос с ним!) не совсем хорошо поступает в этом деле. «Молодость... легкомыслие... ну, да Бог с ним, — подумал князь Василий, с удовольствием чувствуя свою доброту, — mais il faut que ça finisse[2]. Послезавтра Лелины именины, я позову кое-кого, и ежели он не поймет, что он должен сделать, то уже это будет мое дело. Да, мое дело. Я — отец!»

Пьер полтора месяца после вечера Анны Павловны и последовавшей за ним бессонной, взволнованной ночи, в которую он решил, что женитьба на Элен была бы несчастием и что ему нужно избегать ее и уехать, Пьер после этого решения не переезжал от князя Василья и с ужасом чувствовал, что каждый день он больше и больше в глазах людей связывается с нею, что он не может никак возвратиться к своему прежнему взгляду на нее, что он не может и оторваться от нее, что это будет ужасно, но что он должен будет связать с нею свою судьбу. Может быть, он и мог бы воздержаться, но не проходило дня, чтоб у князя Василья (у которого редко бывал прием) не было бы вечера, на котором должен был быть Пьер, ежели он не хотел расстроить общее удовольствие и обмануть ожидания всех. Князь Василий в те

[1] надо, надо положить конец

[2] Все это прекрасно, но всему должен быть конец.

редкие минуты, когда бывал дома, проходя мимо Пьера, дергал его за руку вниз, рассеянно подставлял ему для поцелуя выбритую морщинистую щеку и говорил или «до завтра», или «к обеду, а то я тебя не увижу», или «я для тебя остаюсь» и т. п. Но несмотря на то, что, когда князь Василий оставался для Пьера (как он это говорил), он не говорил с ним двух слов, Пьер не чувствовал себя в силах обмануть его ожидания. Он каждый день говорил себе все одно и одно: «Надо же, наконец, понять ее и дать себе отчет: кто она? Ошибался ли я прежде или теперь ошибаюсь? Нет, она не глупа; нет, она прекрасная девушка! — говорил он сам себе иногда. — Никогда ни в чем она не ошибается, никогда она ничего не сказала глупого. Она мало говорит, но то, что она скажет, всегда просто и ясно. Так она не глупа. Никогда она не смущалась и не смущается. Так она не дурная женщина!» Часто ему случалось с нею начинать рассуждать, думать вслух, и всякий раз она отвечала ему на это либо коротким, но кстати сказанным замечанием, показывавшим, что ее это не интересует, либо молчаливой улыбкой и взглядом, которые ощутительнее всего показывали Пьеру ее превосходство. Она была права, признавая все рассуждения вздором в сравнении с этой улыбкой.

Она обращалась к нему всегда с радостной, доверчивой, к нему одному относившейся улыбкой, в которой было что-то значительнее того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда ее лицо. Пьер знал, что все ждут только того, чтобы он, наконец, сказал одно слово, переступил через известную черту, и он знал, что он рано или поздно переступит через нее; но какой-то непонятный ужас охватывал его при одной мысли об этом страшном шаге. Тысячи раз в продолжение этого полутора месяца, во время которого он чувствовал себя все дальше и дальше втягиваемым в ту страшившую его пропасть, Пьер говорил себе: «Да что ж это? Нужна решимость! Разве нет у меня ее?»

Он хотел решиться, но с ужасом чувствовал, что не было у него в этом случае той решимости, которую он знал в себе и которая действительно была в нем. Пьер принадлежал к числу тех людей, которые сильны только тогда, когда они чувствуют себя вполне чистыми. А с того дня, как им овладело то чувство желания, которое он испытал над табакеркой у Анны Павловны, несознанное чувство виноватости этого стремления парализовало его решимость.

В день именин Элен у князя Василья ужинало маленькое общество людей самых близких, как говорила княгиня, — родные и друзья. Всем этим родным и друзьям дано было чувствовать, что в этот день должна решиться участь именинницы. Гости сидели за ужином. Княгиня Курагина, массивная, когда-то красивая, представительная женщина, сидела на хозяйском месте. По обеим сторонам ее сидели почетнейшие гости — старый генерал, его жена, Анна Павловна Шерер; в конце стола сидели менее пожилые и почетные гости, и там же сидели как домашние Пьер и Элен — рядом. Князь Василий не ужинал: он похаживал вокруг стола, в веселом расположении духа подсаживаясь то к тому, то к другому из гостей. Каждому он говорил небрежное и приятное слово, исключая Пьера и Элен, которых присутствия он не замечал, казалось. Князь Василий оживлял всех. Ярко горели восковые свечи, блестели серебро и хрусталь посуды, наряды дам и золото и серебро

эполет; вокруг стола сновали слуги в красных кафтанах; слышались звуки ножей, стаканов, тарелок и звуки оживленного говора нескольких разговоров вокруг этого стола. Слышно было, как старый камергер в одном конце уверял старушку баронессу в своей пламенной любви к ней, и ее смех; с другой — рассказ о неуспехе какой-то Марьи Викторовны. У середины стола князь Василий сосредоточил вокруг себя слушателей. Он рассказывал дамам с шутливой улыбкой на губах последнее — в середу — заседание государственного совета, на котором был получен и читался Сергеем Кузьмичом Вязмитиновым, новым петербургским военным генерал-губернатором, знаменитый тогда рескрипт государя Александра Павловича из армии, в котором государь, обращаясь к Сергею Кузьмичу, говорил, что со всех сторон получает он заявления о преданности народа и что заявление Петербурга особенно приятно ему, что он гордится честью быть главою такой нации и постарается быть ее достойным. Рескрипт этот начинался словами: Сергей Кузьмич! Со всех сторон доходят до меня слухи и т. д.

— Так-таки и не пошло дальше, чем «Сергей Кузьмич»? — спрашивала одна дама.

— Да, да, ни на волос, — отвечал, смеясь князь Василий. — «Сергей Кузьмич... со всех сторон... Со всех сторон, Сергей Кузьмич...» Бедный Вязмитинов никак не мог пойти далее. Несколько раз он принимался снова за письмо, но только что скажет Сергей... всхлипывания... Ку...зьми...ч — слезы... и со всех сторон заглушаются рыданиями, и дальше он не мог. И опять платок, и опять «Сергей Кузьмич, со всех сторон», и слезы... так что уже попросили прочесть другого.

— Кузьмич... со всех сторон... и слезы... — повторил кто-то смеясь.

— Не будьте злы, — погрозив пальцем, с другого конца стола проговорила Анна Павловна, — c'est un si brave et excellent homme, notre bon Viasmitmoff...[1]

Все очень смеялись. На верхнем, почетном конце стола все были, казалось, веселы и под влиянием самых различных оживленных настроений; только Пьер и Элен молча сидели рядом почти на нижнем конце стола; на лицах обоих сдерживалась сияющая улыбка, не зависящая от Сергея Кузьмича, — улыбка стыдливости перед своими чувствами. Что бы ни говорили и как бы ни смеялись и шутили другие, как бы аппетитно ни кушали и рейнвейн, и соте, и мороженое, как бы ни избегали взглядом эту чету, как бы ни казались равнодушны, невнимательны к ней, чувствовалось почему-то, по изредка бросаемым на них взглядам, что и анекдот о Сергее Кузьмиче, и смех, и кушанье — все было притворно, а все силы внимания всего этого общества были обращены только на эту пару — Пьера и Элен. Князь Василий представлял всхлипыванья Сергея Кузьмича и в это время обегал взглядом дочь; и в то время как он смеялся, выражение его лица говорило: «Так, так, все хорошо идет; нынче все решится». Анна Павловна грозила ему за notre bon Viasmitinoff, а в глазах ее, которые мельком блеснули в этот момент на Пьера, князь Василий читал поздравление с будущим зятем и счастием дочери. Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «Да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как

[1] он такой славный человек, наш добрый Вязмитинов...

пить сладкое вино, моя милая; теперь время этой молодежи быть так дерзко вызывающе-счастливой». «И что за глупость все то, что я рассказываю, как будто это меня интересует, — думал дипломат, взглядывая на счастливые лица любовников, — вот это счастие!»

Среди тех ничтожно мелких, искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это человеческое подавило все и парило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы, новости не интересны, оживление — очевидно поддельно. Не только они, но лакеи, служившие за столом, казалось, чувствовали то же и забывали порядок службы, заглядываясь на красавицу Элен с ее сияющим лицом и на это красное, толстое, счастливое и беспокойное лицо Пьера. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах.

Пьер чувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало и стесняло его. Он находился в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка, неожиданно, мелькали в его душе отрывочные мысли и впечатления из действительности.

«Так уж все кончено! — думал он. — И как это все сделалось? Так быстро! Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это должно неизбежно свершиться. Они все так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю; а будет, непременно будет!» — думал Пьер, взглядывая на эти плечи, блестевшие подле самых глаз его.

То вдруг ему становилось стыдно что-то. Ему неловко было, что он один занимает внимание всех, что он счастливец в глазах других, что он, с своим некрасивым лицом, какой-то Парис, обладающий Еленой. «Но, верно, это всегда так бывает и так надо, — утешал он себя. — И, впрочем, что же я сделал для этого? Когда это началось? Из Москвы я поехал вместе с князем Васильем. Тут еще ничего не было. Потом, отчего же мне было у него не остановиться? Потом я играл с ней в карты и поднял ее ридикюль, ездил с ней кататься. Когда же это началось, когда это все сделалось?» И вот он сидит подле нее женихом; слышит, видит, чувствует ее близость, ее дыхание, ее движения, ее красоту. То вдруг ему кажется, что это не она, а он сам так необыкновенно красив, что оттого-то и смотрят так на него, и он, счастливый общим удивлением, выпрямляет грудь, поднимает голову и радуется своему счастию. Вдруг какой-то голос, чей-то знакомый голос, слышится и говорит ему что-то другой раз. Но Пьер так занят, что не понимает того, что говорят ему.

— Я спрашиваю у тебя, когда ты получил письмо от Болконского, — повторяет третий раз князь Василий. — Как ты рассеян, мой милый.

Князь Василий улыбается, и Пьер видит, что все, все улыбаются на него и на Элен. «Ну, что ж, коли вы все знаете, — говорит сам себе Пьер. — Ну что ж? это правда», — и он сам улыбается своею кроткой, детской улыбкой, и Элен улыбается.

— Когда же ты получил? Из Ольмюца? — повторяет князь Василий, которому будто нужно это знать для решения спора.

«И можно ли говорить и думать о таких пустяках?» — думает Пьер.

— Да, из Ольмюца, — отвечает он со вздохом.

От ужина Пьер повел свою даму за другими в гостиную. Гости стали разъезжаться, и некоторые уезжали, не простившись с Элен. Как будто не желая отрывать ее от ее серьезного занятия, некоторые подходили на минуту и скорее отходили, запрещая ей провожать себя. Дипломат грустно молчал, выходя из гостиной. Ему представлялась вся тщета его дипломатической карьеры в сравнении с счастием Пьера. Старый генерал сердито проворчал на свою жену, когда она спросила его о состоянии его ноги. «Эка, старая дура, — подумал он. — Вот Елена Васильевна, так та и в пятьдесят лет красавица будет».

— Кажется, что я могу вас поздравить, — прошептала Анна Павловна княгине и крепко поцеловала ее. — Ежели бы не мигрень, я бы осталась.

Княгиня ничего не отвечала; ее мучала зависть к счастию своей дочери.

Пьер во время проводов гостей долго оставался один с Элен в маленькой гостиной, где они сидели. Он часто и прежде, в последние полтора месяца, оставался один с Элен, но никогда не говорил ей о любви. Теперь он чувствовал, что это было необходимо, но он никак не мог решиться на этот последний шаг. Ему было стыдно; ему казалось, что тут, подле Элен, он занимает чье-то чужое место. «Не для тебя это счастье, — говорил ему какой-то внутренний голос. — Это счастье для тех, у кого нет того, что есть у тебя». Но надо было сказать что-нибудь, и он заговорил. Он спросил у нее, довольна ли она нынешним вечером? Она, как и всегда, с простотой своей отвечала, что нынешние именины были для нее одними из самых приятных.

Кое-кто из ближайших родных еще оставались. Они сидели в большой гостиной. Князь Василий ленивыми шагами подошел к Пьеру. Пьер встал и сказал, что уже поздно. Князь Василий строго-вопросительно посмотрел на него, как будто то, что он сказал, было так странно, что нельзя было и расслышать. Но вслед за тем выражение строгости изменилось, и князь Василий дернул Пьера вниз за руку, посадил его и ласково улыбнулся.

— Ну, что, Леля? — обратился он тотчас же к дочери с тем небрежным тоном привычной нежности, который усвоивается родителями, с детства ласкающими своих детей, но который князем Васильем был только угадан посредством подражания другим родителям.

И опять обратился к Пьеру.

— Сергей Кузьмич, со всех сторон, — проговорил он, расстегивая верхнюю пуговицу жилета.

Пьер улыбнулся, но по его улыбке видно было, что он понимал, что не анекдот Сергея Кузьмича интересовал в это время князя Василья; и князь Василий понял, что Пьер понимал это. Князь Василий вдруг пробурлил что-то и вышел. Пьеру показалось, что даже князь Василий был смущен. Вид смущения этого старого светского человека тронул Пьера; он оглянулся на Элен — и она, казалось, была смущена и взглядом говорила: «Что ж, вы сами виноваты».

«Надо неизбежно перешагнуть, но не могу, я не могу», — думал Пьер и заговорил опять о постороннем, о Сергее Кузьмиче, спрашивая, в чем состоял этот анекдот, так как он его не расслышал. Элен с улыбкой отвечала, что она тоже не знает.

Когда князь Василий вошел в гостиную, княгиня тихо говорила с пожилой дамой о Пьере.

— Конечно, c'est un parti très brillant, mais le bonheur, ma chère...

— Les mariages se font dans les cieux[1], — отвечала пожилая дама.

Князь Василий, как бы не слушая дам, прошел в дальний угол и сел на диван. Он закрыл глаза и как будто дремал. Голова его было упала, и он очнулся.

— Aline, — сказал он жене, — allez voir ce qu'ils font[2].

Княгиня подошла к двери, прошлась мимо нее с значительным, равнодушным видом и заглянула в гостиную. Пьер и Элен так же сидели и разговаривали.

— Все то же, — отвечала она мужу.

Князь Василий нахмурился, сморщил рот на сторону, щеки его запрыгали с свойственным ему неприятным, грубым выражением; он, встряхнувшись, встал, закинул назад голову и решительными шагами, мимо дам, прошел в маленькую гостиную. Он скорыми шагами, радостно подошел к Пьеру. Лицо князя было так необыкновенно-торжественно, что Пьер испуганно встал, увидав его.

— Слава Богу! — сказал он. — Жена мне все сказала! — Он обнял одною рукой Пьера, другою — дочь. — Друг мой Леля! Я очень, очень рад. — Голос его задрожал. — Я любил твоего отца... и она будет тебе хорошая жена... Бог да благословит вас!..

Он обнял дочь, потом опять Пьера и поцеловал его своим старческим ртом. Слезы действительно омочили его щеки.

— Княгиня, иди же сюда, — прокричал он.

Княгиня вышла и заплакала тоже. Пожилая дама тоже утиралась платком. Пьера целовали, и он несколько раз целовал руку прекрасной Элен. Через несколько времени их опять оставили одних.

«Все это так должно было быть и не могло быть иначе, — думал Пьер, — поэтому нечего спрашивать, хорошо ли это или дурно? Хорошо, потому что определенно, и нет прежнего мучительного сомнения». Пьер молча держал руку своей невесты и смотрел на ее поднимающуюся и опускающуюся прекрасную грудь.

— Элен! — сказал он вслух и остановился.

«Что-то такое особенное говорят в этих случаях», — думал он, но никак не мог вспомнить, что такое именно говорят в этих случаях. Он взглянул в ее лицо. Она придвинулась к нему ближе. Лицо ее зарумянилось.

— Ах, снимите эти... как эти... — она указывала на очки.

Пьер снял очки, и глаза его сверх общей странности глаз людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над ее рукой и поцеловать ее; но она быстрым и грубым движением головы перехватила его губы и

[1] Конечно, это очень блестящая партия, но счастье, моя милая... — Браки совершаются на небесах

[2] Алина, посмотри, что они делают

свела их с своими. Лицо ее поразило Пьера своим изменившимся, неприятно-растерянным выражением.

«Теперь уже поздно, все кончено; да и я люблю ее», — подумал Пьер.

— Je vous aime! [1] — сказал он, вспомнив то, что нужно было говорить в этих случаях; но слова эти прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя.

Через полтора месяца он был обвенчан и поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы жены и миллионов в большом петербургском, заново отделанном доме графов Безуховых.

III

Старый князь Николай Андреич Болконский в декабре 1805 года получил письмо от князя Василья, извещавшего его о своем приезде вместе с сыном. («Я еду на ревизию, и, разумеется, мне сто верст не крюк, чтобы посетить вас, многоуважаемый благодетель, — писал он, — и Анатоль мой провожает меня и едет в армию; и я надеюсь, что вы позволите ему лично выразить вам то глубокое уважение, которое он, подражая отцу, питает к вам».)

— Вот Мари и вывозить не нужно: женихи сами к нам едут, — неосторожно сказала маленькая княгиня, услыхав про это.

Князь Николай Андреич поморщился и ничего не сказал.

Через две недели после получения письма, вечером, приехали вперед люди князя Василья, а на другой день приехал и он сам с сыном.

Старый Болконский всегда был невысокого мнения о характере князя Василья, и тем более в последнее время, когда князь Василий в новые царствования при Павле и Александре далеко пошел в чинах и почестях. Теперь же, по намекам письма и маленькой княгини, он понял, в чем дело, и невысокое мнение о князе Василье перешло в душе князя Николая Андреича в чувство недоброжелательного презрения. Он постоянно фыркал, говоря про него. В тот день, как приехать князю Василью, князь Николай Андреич был особенно недоволен и не в духе. Оттого ли он был не в духе, что приезжал князь Василий, или оттого он был особенно недоволен приездом князя Василья, что был не в духе, но он был не в духе, и Тихон еще утром отсоветовал архитектору входить с докладом к князю.

— Слышите, как изволят ходить, — сказал Тихон, обращая внимание архитектора на звуки шагов князя. — На всю пятку ступают — уж мы знаем...

Однако, как обыкновенно, в девятом часу князь вышел гулять в своей бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке. Накануне выпал снег. Дорожка, по которой хаживал князь Николай Андреич в оранжереи, была расчищена, следы метлы виднелись на разметанном снегу, и лопата была воткнута в рыхлую насыпь снега, шедшую с обеих сторон дорожки. Князь прошел по оранжереям, по дворне и постройкам, нахмуренный и молчаливый.

— А проехать в санях можно? — спросил он провожавшего его до дома почтенного, похожего лицом и манерами на хозяина, управляющего.

[1] Я вас люблю!

— Глубок снег, ваше сиятельство. Я уже по прешпекту разметать велел.

Князь наклонил голову и подошел к крыльцу. «Слава тебе, Господи, — подумал управляющий, — пронеслась туча!»

— Проехать трудно было, ваше сиятельство, — прибавил управляющий. — Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалуют к вашему сиятельству?

Князь повернулся к управляющему и нахмуренными глазами уставился на него.

— Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он своим пронзительно-жестким голосом. — Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!

— Ваше сиятельство, я полагал...

— Ты полагал! — закричал князь, все поспешнее и несвязнее выговаривая слова. — Ты полагал... Разбойники! прохвосты!.. Я тебя научу полагать. — И, подняв палку, он замахнулся ею на Алпатыча и ударил бы, ежели бы управляющий невольно не отклонился от удара. — Полагал!.. Прохвосты!.. — торопливо кричал он. Но, несмотря на то, что Алпатыч, сам испугавшийся своей дерзости — отклониться от удара, приблизился к князю, опустив перед ним покорно свою плешивую голову, или, может быть, именно от этого, князь, продолжая кричать: «Прохвосты!.. закидать дорогу!», не поднял другой раз палки и вбежал в комнаты.

Перед обедом княжна и m-lle Bourienne, знавшие, что князь не в духе, стояли, ожидая его: m-lle Bourienne с сияющим лицом, которое говорило: «Я ничего не знаю, я такая же, как всегда», и княжна Марья — бледная, испуганная, с опущенными глазами. Тяжелее всего для княжны Марьи было то, что она знала, что в этих случаях надо поступать, как m-lle Bourienne, но не могла этого сделать. Ей казалось: «Сделаю я так, как будто не замечаю, он подумает, что у меня нет к нему сочувствия; сделаю я так, что я сама скучна и не в духе, он скажет (как это и бывало), что я нос повесила», и т. п.

Князь взглянул на испуганное лицо дочери и фыркнул.

— Др... или дура!.. — проговорил он.

«И той нет! уж и ей насплетничали», — подумал он про маленькую княгиню, которой не было в столовой.

— А княгиня где? — спросил он. — Прячется?..

— Она не совсем здорова, — весело улыбаясь, отвечала m-lle Bourienne, — она не выйдет. Это так понятно в ее положении.

— Гм! гм! кх! кх! — проговорил князь и сел за стол.

Тарелка ему показалась не чиста; он указал на пятно и бросил ее. Тихон подхватил ее и передал буфетчику. Маленькая княгиня не была нездорова; но она до такой степени непреодолимо боялась князя, что, услыхав о том, как он не в духе, она решила не выходить.

— Я боюсь за ребенка, — говорила она m-lle Bourienne, — Бог знает, что может сделаться от испуга.

Вообще маленькая княгиня жила в Лысых Горах постоянно под чувством страха и антипатии к старому князю, который она не сознавала, потому что страх так преобладал, что она не могла ее чувствовать. Со стороны князя тоже была антипатия, но она заглушалась презрением. Княгиня, обжившись в Лысых Горах, полюбила

особенно rn-lle Bourienne, проводила с нею дни, просила ее ночевать с собой и с нею часто говорила о свекоре, судила его.

— Il nous arrive du monde, mon prince[1], — сказала m-lle Bourienne, своими розовенькими руками развертывая белую салфетку. — Son excellence le prince Kouraguine avec son fils, à ce que j'ai entendu dire? [2] — вопросительно сказала она.

— Гм! эта excellence — мальчишка... я его определил в коллегию, — оскорбленно сказал князь. — А сын зачем, не могу понять. Княгиня Лизавета Карловна и княжна Марья, может, знают; я не знаю, к чему он везет этого сына сюда. Мне не нужно. — И он посмотрел на покрасневшую дочь.

— Нездорова, что ли? От страха министра? как нынче этот болван Алпатыч сказал.

— Нет, mon père[3].

Как ни неудачно попала m-lle Bourienne на предмет разговора, она не остановилась и болтала об оранжереях, о красоте нового распустившегося цветка, и князь после супа смягчился.

После обеда он прошел к невестке. Маленькая княгиня сидела за маленьким столиком и болтала с Машей, горничной. Она побледнела, увидав свекора.

Маленькая княгиня очень переменилась. Она скорее была дурна, нежели хороша, теперь. Щеки опустились, губа поднялась кверху, глаза были обтянуты книзу.

— Да, тяжесть какая-то, — отвечала она на вопрос князя, что она чувствует.

— Не нужно ли чего?

— Нет, merci, mon père[4].

— Ну, хорошо, хорошо.

Он вышел и дошел до официантской. Алпатыч, нагнув голову, стоял в официантской.

— Закидана дорога?

— Закидана, ваше сиятельство; простите, ради Бога, по одной глупости.

Князь перебил его и засмеялся своим неестественным смехом.

— Ну, хорошо, хорошо.

Он протянул руку, которую поцеловал Алпатыч, и прошел в кабинет.

Вечером приехал князь Василий. Его встретили на прешпекте (так назывался проспект) кучера́ и официанты, с криком провезли его возки и сани к флигелю по нарочно засыпанной снегом дороге.

Князю Василью и Анатолю были отведены отдельные комнаты.

Анатоль сидел, сняв камзол и подпершись руками в бока, перед столом, на угол которого он, улыбаясь, пристально и рассеянно устремил свои прекрасные большие глаза. На всю жизнь свою он смотрел как на непрерывное увеселение, которое кто-то такой почему-то обязался устроить для него. Так же и теперь он смотрел на свою поездку к злому старику и к богатой уродливой наследнице. Все это могло выйти, по

[1] К нам едут гости, князь

[2] Его сиятельство князь Курагин с сыном, сколько я слышала?

[3] батюшка

[4] благодарю, батюшка

его предположению, очень хорошо и забавно. «А отчего же не жениться, коли она очень богата? Это никогда не мешает», — думал Анатоль.

Он выбрился, надушился с тщательностью и щегольством, сделавшимися его привычкою, и с прирожденным ему добродушно-победительным выражением, высоко неся красивую голову, вошел в комнату к отцу. Около князя Василья хлопотали его два камердинера, одевая его; он сам оживленно оглядывался вокруг Себя и весело кивнул входившему сыну, как будто он говорил: «Так, таким мне тебя и надо!»

— Нет, без шуток, батюшка, она очень уродлива? А? — по-французски спросил он, как бы продолжая разговор, не раз веденный во время путешествия.

— Полно, глупости! Главное дело — старайся быть почтителен и благоразумен с старым князем.

— Ежели он будет браниться, я уйду, — сказал Анатоль. — Я этих стариков терпеть не могу. А?

— Помни, что для тебя от этого зависит все.

В это время в девичьей не только был известен приезд министра с сыном, но внешний вид их обоих был уже подробно описан. Княжна Марья сидела одна в своей комнате и тщетно пыталась преодолеть свое внутреннее волнение.

«Зачем они писали, зачем Лиза говорила мне про это? Ведь этого не может быть! — говорила она себе, взглядывая в зеркало. — Как я выйду в гостиную? Ежели бы он даже мне понравился, я бы не могла быть теперь с ним сама собою». Одна мысль о взгляде ее отца приводила ее в ужас.

Маленькая княгиня и m-lle Bourienne получили уже все нужные сведения от горничной Маши о том, какой румяный, чернобровый красавец был министерский сын, и о том, как папенька их насилу ноги проволок на лестницу, а он, как орел, шагая по три ступеньки, пробежал за ним. Получив эти сведения, маленькая княгиня с m-lle Bourienne, еще из коридора слышные своими оживленно переговаривавшимися голосами, вошли в комнату княжны.

— Ils sont arrivés, Marie[1], вы знаете? — сказала маленькая княгиня, переваливаясь своим животом и тяжело опускаясь на кресло.

Она уже не была в той блузе, в которой сидела поутру, а на ней было одно из лучших ее платьев; голова ее была тщательно убрана, и на лице ее было оживление, не скрывавшее, однако, опустившихся и помертвевших очертаний лица. В том наряде, в котором она бывала обыкновенно в обществах в Петербурге, еще заметнее было, как много она подурнела. На m-lle Bourienne тоже появилось уже незаметно какое-то усовершенствование наряда, которое придавало ее хорошенькому, свеженькому лицу еще более привлекательности.

— Eh bien, et vous restez comme vous êtes, chère princesse? — заговорила она. — On va venir annoncer que ces messieurs sont au salon; il faudra descendre, et vous ne faites pas un petit brin de toilette! [2]

---

[1] Они приехали, Мари.

[2] Ну, а вы остаетесь, в чем были? Сейчас придут сказать, что они вышли. Надо будет идти вниз, а вы хоть бы чуть-чуть принарядились!

Маленькая княгиня поднялась с кресла, позвонила горничную и поспешно и весело принялась придумывать наряд для княжны Марьи и приводить его в исполнение. Княжна Марья чувствовала себя оскорбленной в чувстве собственного достоинства тем, что приезд обещанного ей жениха волновал ее, и еще более она была оскорблена тем, что обе ее подруги и не предполагали, чтобы это могло быть иначе. Сказать им, как ей совестно было за себя и за них, это значило выдать свое волнение; кроме того, отказаться от наряжания, которое предлагали ей, повело бы к продолжительным шуткам и настаиваниям. Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, лицо ее покрылось пятнами, и с тем некрасивым выражением жертвы, чаще всего останавливавшимся на ее лице, она отдалась во власть m-lle Bourienne и Лизы. Обе женщины заботились совершенно искренно о том, чтобы сделать ее красивою. Она была так дурна, что ни одной из них не могла прийти мысль о соперничестве с нею; поэтому они совершенно искренно, с тем наивным и твердым убеждением женщин, что наряд может сделать лицо красивым, принялись за ее одеванье.

— Нет, право, ma bonne amie[1], это платье нехорошо, — говорила Лиза, издалека боком взглядывая на княжну, — вели подать, у тебя там есть масака́! Право! Что ж, ведь это, может быть, судьба жизни решается. А это слишком светло, нехорошо, нет, нехорошо!

Нехорошо было не платье, но лицо и вся фигура княжны, но этого не чувствовали m-lle Bourienne и маленькая княгиня; им все казалось, что ежели приложить голубую ленту к волосам, зачесанным кверху, и спустить голубой шарф с коричневого платья и т. п., то все будет хорошо. Они забывали, что испуганное лицо и фигуру нельзя было изменить, и потому, как они ни видоизменяли раму и украшение этого лица, само лицо оставалось жалко и некрасиво. После двух или трех перемен, которым покорно подчинялась княжна Марья, в ту минуту, как она была зачесана кверху (прическа, совершенно изменявшая и портившая ее лицо), в голубом шарфе и масака́ нарядном платье, маленькая княгиня раза два обошла кругом нее, маленькой ручкой оправила тут складку платья, там подернула шарф и посмотрела, склонив голову, то с той, то с другой стороны.

— Нет, это нельзя, — сказала она решительно, всплеснув руками. — Non, Marie, décidément ça ne vous va pas. Je vous aime mieux dans votre petite robe grise de tous les jours. Non, de grâce, faites cela pour moi[2]. Катя, — сказала она горничной, — принеси княжне серенькое платье, и посмотрите, m-lle Bourienne, как я это устрою, — сказала она с улыбкой предвкушения артистической радости.

Но когда Катя принесла требуемое платье, княжна Марья неподвижно все сидела перед зеркалом, глядя на свое лицо, и в зеркале увидела, что в глазах ее стоят слезы и что рот ее дрожит, приготовляясь к рыданиям.

— Voyons, chère princesse, — сказала m-lle Bourienne, — encore un petit effort[3] .

Маленькая княгиня, взяв платье из рук горничной, подходила к княжне Марье.

---

[1] мой дружок

[2] Нет, Мари, решительно это не идет к вам. Я вас лучше люблю в вашем сереньком ежедневном платьице; пожалуйста, сделайте это для меня

[3] Ну, княжна, еще маленькое усилие

— Нет, теперь мы это сделаем просто, мило, — говорила она.

Голоса ее, m-lle Bourienne и Кати, которая о чем-то засмеялась, сливались в веселое лепетанье, похожее на пение птиц.

— Non, laissez-moi[1], — сказала княжна.

И голос ее звучал такой серьезностью и страданием, что лепетанье птиц тотчас же замолкло. Они посмотрели на большие, прекрасные глаза, полные слез и мысли, ясно и умоляюще смотревшие на них, и поняли, что настаивать бесполезно и даже жестоко.

— Au moins, changez de coiffure, — сказала маленькая княгиня. — Je vous disais, — с упреком сказала она, обращаясь к m-lle Bourienne, — Marie a une de ces figures auxquelles ce genre de coiffure ne va pas du tout. Mais du tout, du tout. Changez, de grâce[2].

— Laissez-moi, laissez-moi, tout ça m'est parfaitement égal[3], — отвечал голос, едва удерживающий слезы.

M-lle Bourienne и маленькая княгиня должны были признаться самим себе, что княжна Марья в этом виде была очень дурна, хуже, чем всегда; но было уже поздно. Она смотрела на них с тем выражением, которое они знали, выражением мысли и грусти. Выражение это не внушало им страха к княжне Марье. (Этого чувства она никому не внушала.) Но они знали, что когда на ее лице появлялось это выражение, она была молчалива и непоколебима в своих решениях.

— Vous changerez, n'est-ce pas? [4] — сказала Лиза, и когда княжна Марья ничего не ответила, Лиза вышла из комнаты.

Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. Ей представлялся муж, мужчина, сильное, преобладающее и непонятно-привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой, в совершенно другой, счастливый мир. Ребенок свой, такой, какого она видела вчера у дочери кормилицы, — представлялся ей у своей собственной груди. Муж стоит и нежно смотрит на нее и ребенка. «Но нет, это невозможно, я слишком дурна», — думала она.

— Пожалуйте к чаю. Князь сейчас выйдут, — сказал из-за двери голос горничной.

Она очнулась и ужаснулась тому, о чем она думала. И прежде чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив на освещенный лампадкой черный лик большого образа Спасителя, простояла перед ним несколько минут с сложенными руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомнение. Возможна ли для нее радость любви, земной любви к мужчине? В помышлениях о браке княжне Марье мечталось и семейное счастие, и дети, но главною, сильнейшею и затаенною ее мечтой была любовь земная. Чувство было тем сильнее, чем более она старалась

[1] Нет, оставьте меня

[2] По крайней мере, перемените прическу. Я вам говорила, что у Мари одно из тех лиц, которым этот род прически совсем нейдет. Перемените, пожалуйста

[3] Оставьте меня, мне все равно

[4] Вы перемените, не правда ли?

скрывать его от других и даже от самой себя. «Боже мой, — говорила она, — как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказаться так, навсегда, от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять твою волю?» И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце: «Не желай ничего для себя; не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должна быть неизвестна тебе; но живи так, чтобы быть готовой ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить его волю». С этой успокоительною мыслью (но все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты) княжна Марья, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, ни о прическе, ни о том, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить в сравнении с предопределением Бога, без воли которого не падет ни один волос с головы человеческой.

IV

Когда княжна Марья взошла в комнату, князь Василий с сыном уже были в гостиной, разговаривая с маленькой княгиней и m-lle Bourienne. Когда она вошла своей тяжелой походкой, ступая на пятки, мужчины и m-lle Bourienne приподнялись, и маленькая княжна, указывая на нее мужчинам, сказала: «Voilà Marie!» [1] Княжна Марья видела всех, и подробно видела. Она видела лицо князя Василья, на мгновенье серьезно остановившееся при виде княжны и тотчас же улыбнувшееся, и лицо маленькой княгини, читавшей с любопытством на лицах гостей впечатление, которое произведет на них Marie. Она видела и m-lle Bourienne с ее лентой и красивым лицом и оживленным, как никогда, взглядом, устремленным на него; но она не могла видеть его, она видела только что-то большое, яркое и прекрасное, подвинувшееся к ней, когда она вошла в комнату. Сначала к ней подошел князь Василий, и она поцеловала плешивую голову, наклонившуюся над ее рукой, и отвечала на его слова, что она, напротив, очень хорошо помнит его. Потом к ней подошел Анатоль. Она все еще не видала его. Она только почувствовала нежную руку, твердо взявшую ее руку, и чуть дотронулась до белого лба, над которым были припомажены прекрасные русые волосы. Когда она взглянула на него, красота его поразила ее. Анатоль, заложив большой палец правой руки за застегнутую пуговицу мундира, с выгнутой вперед грудью, а назад — спиною, покачивая одной отставленной ногой и слегка склонив голову, молча, весело глядел на княжну, видимо, совершенно о ней не думая. Анатоль был не находчив, не быстр и не красноречив в разговорах, но у него зато была драгоценная для света способность спокойствия и ничем не изменяемая уверенность. Замолчи при первом знакомстве несамоуверенный человек и выкажи сознание неприличности этого молчания и желание найти что-нибудь, и будет нехорошо; но Анатоль молчал, покачивал ногой, весело наблюдая прическу княжны. Видно было, что он так спокойно мог молчать очень долго. «Ежели кому неловко от молчания, так разговаривайте, а мне не хочется», как будто говорил его вид. Кроме того, в обращении с женщинами у Анатоля была та манера, которая более всего внушает в женщинах любопытство, страх и даже любовь, — манера презрительного сознания своего превосходства. Как будто он говорил им своим видом: «Знаю вас, знаю, да что с вами возиться? А уж вы

[1] Вот Мари!

бы рады!» Может быть, что он этого не думал, встречаясь с женщинами (и даже вероятно, что нет, потому что он вообще мало думал), но такой у него был вид и такая манера. Княжна почувствовала это и, как будто желая ему показать, что она и не смеет думать о том, чтобы занять его, обратилась к старому князю. Разговор шел общий и оживленный благодаря голоску и губке с усиками, поднимавшейся над белыми зубами маленькой княгини. Она встретила князя Василья с тем приемом шуточки, который часто употребляется болтливо-веселыми людьми и который состоит в том, что между человеком, с которым так обращаются, и собой предполагают какие-то давно установившиеся шуточки и веселые, отчасти не всем известные, забавные воспоминания, тогда как никаких таких воспоминаний нет, как их и не было между маленькой княгиней и князем Васильем. Князь Василий охотно поддался этому тону; маленькая княгиня вовлекла в это воспоминание никогда не бывших смешных происшествий и Анатоля, которого она почти не знала.

M-lle Bourienne тоже разделила эти общие воспоминания, и даже княжна Марья с удовольствием почувствовала и себя втянутою в это веселое воспоминание.

— Вот, по крайней мере, мы вами теперь вполне воспользуемся, милый князь, — говорила маленькая княгиня, разумеется, по-французски, князю Василью, — это не так, как на наших вечерах у Annette, где вы всегда убежите. Помните cette chère Annette! [1]

— А, да вы мне не подите говорить про политику, как Annette!

— А наш чайный столик?

— О да!

— Отчего вы никогда не бывали у Annette? — спросила маленькая княгиня у Анатоля. — А! я знаю, знаю, — сказала она, подмигнув, — ваш брат Ипполит мне рассказывал про ваши дела. О! — Она погрозила ему пальчиком. — Еще в Париже ваши проказы знаю!

— А он, Ипполит, тебе не говорил? — сказал князь Василий, обращаясь к сыну и хватая за руку княгиню, как будто она хотела убежать, а он едва успел удержать ее, — а он тебе не говорил, как он сам, Ипполит, иссыхал по милой княгине и как она le mettait à la porte? [2]

— Oh! C'est la perle de femmes, princesse! [3] — обратился он к княжне.

С своей стороны m-lle Bourienne не упустила случая при слове Париж вступить тоже в общий разговор воспоминаний.

Она позволила себе спросить, давно ли Анатоль оставил Париж и как понравился ему этот город. Анатоль весьма охотно отвечал француженке и, улыбаясь, глядя на нее, разговаривал с ней про ее отечество. Увидав хорошенькую Bourienne, Анатоль решил, что и здесь, в Лысых Горах, будет нескучно. «Очень недурна! — думал он, оглядывая ее. — Очень недурна эта demoiselle de compagnie[4]. Надеюсь, что она возьмет ее с собой, когда выйдет за меня, — подумал он, — la petite est gentille»[5].

---

[1] эта милая Аннет!

[2] выгоняла его из дома?

[3] Ах! это перл женщин, княжна!

[4] компаньонка

[5] очень, очень недурна

Старый князь неторопливо одевался в кабинете, хмурясь и обдумывая то, что ему делать. Приезд этих гостей сердил его. «Что мне князь Василий и его сынок? Князь Василий болтунишка, пустой, ну и сын хорош должен быть», — ворчал он про себя. Его сердило то, что приезд этих гостей поднимал в его душе нерешенный, постоянно заглушаемый вопрос, — вопрос, насчет которого старый князь всегда сам себя обманывал. Вопрос состоял в том, решится ли он когда-либо расстаться с княжной Марьей и отдать ее мужу. Князь никогда прямо не решался задавать себе этот вопрос, зная вперед, что он ответил бы по справедливости, а справедливость противоречила больше чем чувству, а всей возможности его жизни. Жизнь без княжны Марьи князю Николаю Андреевичу, несмотря на то, что он, казалось, мало дорожил ею, была немыслима. «И к чему ей выходить замуж? — думал он. — Наверно, быть несчастною. Вон Лиза за Андреем (лучше мужа теперь, кажется, трудно найти), а разве она довольна своей судьбой? И кто ее возьмет из любви? Дурна, неловка. Возьмут за связи, за богатство. И разве не живут в девках? Еще счастливее!» Так думал, одеваясь, князь Николай Андреевич, а вместе с тем все откладываемый вопрос требовал немедленного решения. Князь Василий привез своего сына, очевидно, с намерением сделать предложение и, вероятно, нынче или завтра потребует прямого ответа. Имя, положение в свете приличное. «Что ж, я не прочь, — говорил сам себе князь, — но пусть он будет стоить ее. Вот это-то мы и посмотрим».

— Это-то мы и посмотрим, — проговорил он вслух. — Это-то мы и посмотрим.

И он, как всегда, бодрыми шагами вошел в гостиную, быстро окинул глазами всех, заметил и перемену платья маленькой княгини, и ленточку Bourienne и уродливую прическу княжны Марьи, и улыбки Bourienne и Анатоля, и одиночество своей княжны в общем разговоре. «Убралась, как дура! — подумал он, злобно взглянув на дочь. — Стыда нет! А он ее и знать не хочет!»

Он подошел к князю Василью.

— Ну, здравствуй, здравствуй, рад видеть.

— Для мила дружка семь верст не околица, — заговорил князь Василий, как всегда, быстро, самоуверенно и фамильярно. — Вот мой второй, прошу любить и жаловать.

Князь Николай Андреевич оглядел Анатоля.

— Молодец, молодец! — сказал он. — Ну, поди поцелуй. — И он подставил ему щеку.

Анатоль поцеловал старика и любопытно и совершенно спокойно смотрел на него, ожидая, скоро ли произойдет от него обещанное отцом чудацкое.

Князь Николай Андреевич сел на свое обычное место, в угол дивана, подвинул к себе кресло для князя Василья, указал на него и стал расспрашивать о политических делах и новостях. Он слушал как будто со вниманием рассказ князя Василья, но беспрестанно взглядывал на княжну Марью.

— Так уж из Потсдама пишут? — повторил он последние слова князя Василья и вдруг, встав, подошел к дочери.

— Это ты для гостей так убралась, а? — сказал он. — Хороша, очень хороша. Ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса.

— Это я, mon père[1], виновата, — краснея, заступилась маленькая княгиня.

— Вам полная воля-с, — сказал князь Николай Андреевич, расшаркиваясь перед невесткой, — а ей уродовать себя нечего — и так дурна.

И он опять сел на место, не обращая более внимания на до слез доведенную дочь.

— Напротив, эта прическа очень идет княжне, — сказал князь Василий.

— Ну, батюшка, молодой князь, как его зовут? — сказал князь Николай Андреевич, обращаясь к Анатолю, — поди сюда, поговорим, познакомимся.

«Вот когда начинается потеха», — подумал Анатоль и с улыбкой подсел к старому князю.

— Ну, вот что: вы, мой милый, говорят, за границей воспитывались. Не так, как нас с твоим отцом дьячок грамоте учил. Скажите мне, мой милый, вы теперь служите в конной гвардии? — спросил старик, близко и пристально глядя на Анатоля.

— Нет, я перешел в армию, — отвечал Анатоль, едва удерживаясь от смеха.

— А! хорошее дело. Что ж, хотите, мой милый, послужить царю и отечеству? Время военное. Такому молодцу служить надо, служить надо. Что ж, во фронте?

— Нет, князь. Полк наш выступил. А я числюсь. При чем я числюсь, папа? — обратился Анатоль со смехом к отцу.

— Славно служит, славно. При чем я числюсь! Ха-ха-ха! — засмеялся князь Николай Андреевич.

И Анатоль засмеялся еще громче. Вдруг князь Николай Андреевич нахмурился.

— Ну, ступай, — сказал он Анатолю.

Анатоль с улыбкой подошел опять к дамам.

— Ведь ты их там за границей воспитывал, князь Василий? А? — обратился старый князь к князю Василью.

— Я делал, что мог; и я вам скажу, что тамошнее воспитание гораздо лучше нашего.

— Да, нынче все другое, все по-новому. Молодец малый! молодец! Ну, пойдем ко мне.

Он взял князя Василья под руку и повел в кабинет.

Князь Василий, оставшись один на один с князем, тотчас же объявил ему о своем желании и надеждах.

— Что ж ты думаешь, — сердито сказал старый князь, — что я ее держу, не могу расстаться? Вообразят себе! — проговорил он сердито. — Мне хоть завтра! Только скажу тебе, что я своего зятя знать хочу лучше. Ты знаешь мои правила: все открыто! Я завтра при тебе спрошу: хочет она, тогда пусть он поживет. Пускай поживет, я

[1] батюшка

посмотрю. — Князь фыркнул. — Пускай выходит, мне все равно, — закричал он тем пронзительным голосом, которым он кричал при прощанье с сыном.

— Я вам прямо скажу, — сказал князь Василий тоном хитрого человека, убедившегося в ненужности хитрить перед проницательностью собеседника. — Вы ведь насквозь людей видите. Анатоль не гений, но честный, добрый малый, прекрасный сын и родной.

— Ну, ну, хорошо, увидим.

Как это всегда бывает для одиноких женщин, долго проживших без мужского общества, при появлении Анатоля все три женщины в доме князя Николая Андреевича одинаково почувствовали, что жизнь их была не жизнью до этого времени. Сила мыслить, чувствовать, наблюдать мгновенно удесятерилась во всех их, и как будто их жизнь, до сих пор происходившая во мраке, вдруг осветилась новым, полным значения светом.

Княжна Марья вовсе не думала и не помнила о своем лице и прическе. Красивое, открытое лицо человека, который, может быть, будет ее мужем, поглощало все ее внимание. Он ей казался добр, храбр, решителен, мужествен и великодушен. Она была убеждена в этом. Тысячи мечтаний о будущей семейной жизни беспрестанно возникали в ее воображении. Она отгоняла и старалась скрыть их.

«Но не слишком ли я холодна с ним? — думала княжна Марья. — Я стараюсь сдерживать себя, потому что в глубине души чувствую себя к нему уже слишком близкою; но ведь он не знает всего того, что я о нем думаю, и может вообразить себе, что он мне неприятен».

И княжна Марья старалась и не умела быть любезной с новым гостем.

«La pauvre fille! Elle est diablement laide»[1], — думал про нее Анатоль.

M-lle Bourienne, взведенная тоже приездом Анатоля на высокую степень возбуждения, думала в другом роде. Конечно, красивая молодая девушка без определенного положения в свете, без родных и друзей и даже родины не думала посвятить свою жизнь услугам князю Николаю Андреевичу, чтению ему книг и дружбе к княжне Марье. M-lle Bourienne давно ждала того русского князя, который сразу сумеет оценить ее превосходство над русскими, дурными, дурно одетыми, неловкими княжнами, влюбится в нее и увезет ее; и вот этот русский князь, наконец, приехал. У m-lle Bourienne была история, слышанная ею от тетки, доконченная ею самою, которую она любила повторять в своем воображении. Это была история о том, как соблазненной девушке представлялась ее бедная мать, «sa pauvre mère», и упрекала ее за то, что она без брака отдалась мужчине. M-lle Bourienne часто трогалась до слез, в воображении своем рассказывая ему, соблазнителю, эту историю. Теперь этот он, настоящий русский князь, явился. Он увезет ее, потом явится та pauvre mère[2], и он женится на ней. Так складывалась в голове m-lle Bourienne вся ее будущая история в самое то время, как она разговаривала с ним о Париже. Не

[1] Бедняга! Чертовски дурна.

[2] моя бедная мать

расчеты руководили m-lle Bourienne (она даже ни минуты не обдумывала того, что ей делать), но все это уже давно было готово в ней и теперь только сгруппировалось около появившегося Анатоля, которому она желала и старалась как можно больше нравиться.

Маленькая княгиня, как старая полковая лошадь, услыхав звук трубы, бессознательно и забывая свое положение, готовилась к привычному галопу кокетства, без всякой задней мысли или борьбы, а с наивным, легкомысленным весельем.

Несмотря на то, что Анатоль в женском обществе ставил себя обыкновенно в положение человека, которому надоела беготня за ним женщин, он чувствовал тщеславное удовольствие, видя свое влияние на этих трех женщин. Кроме того, он начинал испытывать к хорошенькой и вызывающей Bourienne то страстное, зверское чувство, которое на него находило с чрезвычайною быстротой и побуждало его к самым грубым и смелым поступкам.

Общество после чая перешло в диванную, и княжну попросили поиграть на клавикордах. Анатоль облокотился перед ней подле m-lle Bourienne, и глаза его, смеясь и радуясь, смотрели на княжну Марью. Княжна Марья с мучительным и радостным волнением чувствовала на себе его взгляд. Любимая соната переносила ее в самый задушевно-поэтический мир, а чувствуемый на себе взгляд придавал этому миру еще большую поэтичность. Взгляд же Анатоля, хотя и был устремлен на нее, относился не к ней, а к движениям ножки m-lle Bourienne, которую он в это время трогал своею ногой под фортепиано. M-lle Bourienne смотрела тоже на княжну, и в ее прекрасных глазах было тоже новое для княжны Марьи выражение испуганной радости и надежды.

«Как она меня любит! — думала княжна Марья. — Как я счастлива теперь и как могу быть счастлива с таким другом и таким мужем! Неужели мужем?» — думала она, не смея взглянуть на его лицо, чувствуя все тот же взгляд, устремленный на себя.

Ввечеру, когда после ужина стали расходиться, Анатоль поцеловал руку княжны. Она сама не знала, как у ней достало смелости, но она прямо взглянула на приблизившееся к ее близоруким глазам прекрасное лицо. После княжны он подошел к руке m-lle Bourienne (это было неприлично, но он делал все так уверенно и просто), и m-lle Bourienne вспыхнула и взглянула испуганно на княжну.

«Quelle délicatesse[1], — подумала княжна. — Неужели Amélie (так звали m-lle Bourienne) думает, что я могу ревновать ее и не ценить ее чистую нежность и преданность ко мне»? Она подошла к m-lle Bourienne и крепко ее поцеловала. Анатоль подошел к руке маленькой княгини.

— Non, non, non! Quand votre père m'écrira que vous vous conduisez bien, je vous donnerai ma main à baiser. Pas avant[2].

И, подняв пальчик и улыбаясь, она вышла из комнаты.

---

[1] Какая деликатность

[2] Нет, нет, нет! Когда отец ваш напишет мне, что вы себя ведете хорошо, тогда я дам вам поцеловать руку. Не прежде

V

Все разошлись, и, кроме Анатоля, который заснул тотчас же, как лег на постель, никто долго не спал эту ночь.

«Неужели он мой муж, именно этот чужой, красивый, добрый мужчина; главное — добрый», — думала княжна Марья, и страх, который почти никогда не приходил к ней, нашел на нее. Она боялась оглянуться; ей чудилось, что кто-то стоит тут за ширмами, в темном углу. И этот кто-то был он — дьявол, он — этот мужчина с белым лбом, черными бровями и румяным ртом.

Она позвонила горничную и попросила ее лечь в ее комнате.

M-lle Bourienne в этот вечер долго ходила по зимнему саду, тщетно ожидая кого-то и то улыбаясь кому-то, то до слез трогаясь воображаемыми словами pauvre mère, упрекающей ее за ее падение.

Маленькая княгиня ворчала на горничную за то, что постель была нехороша. Нельзя было ей лечь ни на бок, ни на грудь. Все было тяжело и неловко. Живот ее мешал ей. Он мешал ей больше, чем когда-нибудь, именно нынче, потому что присутствие Анатоля перенесло ее живее в другое время, когда этого не было и ей было все легко и весело. Она сидела в кофточке и чепце на кресле. Катя, сонная и с спутанною косой, в третий раз перебивала и переворачивала тяжелую перину, что-то приговаривая.

— Я тебе говорила, что все буграми и ямами, — твердила маленькая княгиня, — я бы сама рада была заснуть; стало быть, я не виновата. — И голос ее задрожал, как у собирающегося плакать ребенка.

Старый князь тоже не спал. Тихон сквозь сон слышал, как он сердито шагал и фыркал носом. Старому князю казалось, что он был оскорблен за свою дочь. Оскорбление самое больное, потому что оно относилось не к нему, а к другому, к дочери, которую он любит больше себя. Он сказал себе, что он передумает все это дело и найдет то, что справедливо и должно сделать, но вместо того он только больше раздражал себя.

«Первый встречный показался — и отец и все забыто, и бежит, кверху чешется и хвостом винтит, и сама на себя не похожа! Рада бросить отца! И знала, что я замечу... Фр... фр... фр... И разве я не вижу, что этот дурень смотрит только на Бурьенку (надо ее прогнать)! И как гордости настолько нет, чтоб понять это! Хотя не для себя, коли нет гордости, так для меня, по крайней мере. Надо ей показать, что этот болван о ней и не думает, а только смотрит на Bourienne. Нет у ней гордости, но я покажу ей это...»

Сказав дочери, что она заблуждается, что Анатоль намерен ухаживать за Bourienne, старый князь знал, что он раздражит самолюбие княжны Марьи, и его дело (желание не разлучаться с дочерью) будет выиграно, и потому успокоился на этом. Он кликнул Тихона и стал раздеваться.

«И черт их принес! — думал он в то время, как Тихон накрывал ночной рубашкой его сухое, старческое тело, обросшее на груди седыми волосами. — Я их не звал. Приехали расстраивать мою жизнь. И немного ее осталось».

— К черту! — проговорил он в то время, как голова его еще была покрыта рубашкой.

Тихон знал привычку князя иногда вслух выражать свои мысли, а потому с неизменным лицом встретил вопросительно-сердитый взгляд лица, появившегося из-под рубашки.

— Легли? — спросил князь.

Тихон, как и все хорошие лакеи, знал чутьем направление мыслей барина. Он угадал, что спрашивали о князе Василье с сыном.

— Изволили лечь и огонь потушили, ваше сиятельство.

— Не за чем, не за чем... — быстро проговорил князь и, всунув ноги в туфли и руки в халат, пошел к дивану, на котором он спал.

Несмотря на то, что между Анатолем и m-lle Bourienne ничего не было сказано, они совершенно поняли друг друга в отношении первой части романа, до появления pauvre mère, поняли, что им нужно много сказать друг другу тайно, и потому с утра оба искали случая увидаться наедине. В то время как княжна прошла в обычный час к отцу, m-lle Bourienne сошлась с Анатолем в зимнем саду.

Княжна Марья подходила в тот день с особенным трепетом к двери кабинета. Ей казалось, что не только все знают, что нынче совершится решение ее судьбы, но что и знают то, что она об этом думает. Она читала это выражение и в лице Тихона, и в лице камердинера князя Василья, который с горячей водой встретился в коридоре и низко поклонился ей.

Старый князь в это утро был чрезвычайно ласков и старателен в своем обращении с дочерью. Это выражение старательности хорошо знала у отца княжна Марья. Это было то выражение, которое бывало на его лице в те минуты, когда сухие руки его сжимались в кулак от досады за то, что княжна Марья не понимала арифметической задачи, и он, вставая, отходил от нее и тихим голосом повторял несколько раз одни и те же слова.

Он тотчас же приступил к делу и начал разговор, говоря «вы».

— Мне сделали пропозицию насчет вас, — сказал он, неестественно улыбаясь. — Вы, я думаю, догадались, — продолжал он, — что князь Василий приехал сюда и привез с собой своего воспитанника (почему-то князь Николай Андреич называл Анатоля воспитанником) не для моих прекрасных глаз. Мне вчера сделали пропозицию насчет вас. А так как вы знаете мои правила, я отнесся к вам.

— Как мне вас понимать, mon père? — проговорила княжна, бледнея и краснея.

— Как понимать! — сердито крикнул отец. — Князь Василий находит тебя по своему вкусу для невестки и делает тебе пропозицию за своего воспитанника. Вот как понимать. Как понимать?! А я у тебя спрашиваю.

— Я не знаю, как вы, mon père, — шепотом проговорила княжна.

— Я? я? что́ ж я-то? меня-то оставьте в стороне. Не я пойду замуж. Что вы? вот это желательно знать.

Княжна видела, что отец недоброжелательно смотрел на это дело, но ей в ту же минуту пришла мысль, что теперь или никогда решится судьба ее жизни. Она опустила глаза, чтобы не видеть взгляда, под влиянием которого она чувствовала, что не могла думать, а могла по привычке только повиноваться, и сказала:

— Я желаю только одного — исполнить вашу волю, — сказала она, — но ежели бы мое желание нужно было выразить...

Она не успела договорить. Князь перебил ее.

— И прекрасно! — закричал он. — Он тебя возьмет с приданым да кстати захватит mademoiselle Bourienne. Та будет женой, а ты...

Князь остановился. Он заметил впечатление, произведенное этими словами на дочь. Она опустила голову и собиралась плакать.

— Ну, ну, шучу, шучу, — сказал он. — Помни одно, княжна: я держусь тех правил, что девица имеет полное право выбирать. И даю тебе свободу. Помни одно: от твоего решения зависит счастье жизни твоей. Обо мне нечего говорить.

— Да я не знаю... mon père.

— Нечего говорить! Ему велят, он не только на тебе, на ком хочешь женится; а ты свободна выбирать... Поди к себе, обдумай и через час приди ко мне и при нем скажи: да или нет. Я знаю, ты станешь молиться. Ну, пожалуй, молись. Только лучше подумай. Ступай.

— Да или нет, да или нет, да или нет! — кричал он еще в то время, как княжна, как в тумане, шатаясь, уже вышла из кабинета.

Судьба ее решилась, и решилась счастливо. Но что отец сказал о m-lle Bourienne, — этот намек был ужасен. Неправда, положим, но все-таки это было ужасно, она не могла не думать об этом. Она шла прямо перед собой через зимний сад, ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шепот m-lle Bourienne разбудил ее. Она подняла глаза и в двух шагах от себя увидала Анатоля, который обнимал француженку и что-то шептал ей. Анатоль с страшным выражением на красивом лице оглянулся на княжну Марью и не выпустил в первую секунду талии m-lle Bourienne, которая не видала ее.

«Кто тут? Зачем? Подождите!» — как будто говорило лицо Анатоля. Княжна Марья молча глядела на них. Она не могла понять этого. Наконец m-lle Bourienne вскрикнула и убежала. Анатоль с веселой улыбкой поклонился княжне Марье, как будто приглашая ее посмеяться над этим странным случаем, и, пожав плечами, прошел в дверь, ведшую на его половину.

Через час Тихон пришел звать княжну Марью. Он звал ее к князю и прибавил, что и князь Василий Сергеич там. Княжна, в то время как пришел Тихон, сидела на диване в своей комнате и держала в своих объятиях плачущую m-lle Bourienne. Княжна Марья тихо гладила ее по голове. Прекрасные глаза княжны, со всем своим прежним спокойствием и лучистостью, смотрели с нежной любовью и сожалением на хорошенькое личико m-lle Bourienne.

— Non, princesse, je suis perdue pour toujours dans votre cur[1], — говорила m-lle Bourienne.

— Pourquoi? Je vous aime plus que jamais, — говорила княжна Марья, — et je tâcherai de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour votre bonheur[2].

---

[1] Нет, княжна, я навсегда утратила ваше расположение

[2] Почему же? Я вас люблю больше, чем когда-либо, и постараюсь сделать для вашего счастья все, что в моей власти

— Mais vous me méprisez, vous si pure, vous ne comprendrez jamais cet égarement de la passion. Ah, ce n'est que ma pauvre mère... [3]

— Je comprends tout[2], — отвечала княжна Марья, грустно улыбаясь. — Успокойтесь, мой друг. Я пойду к отцу, — сказала она и вышла.

Князь Василий, загнув высоко ногу, с табакеркой в руках и как бы расчувствованный донельзя, как бы сам сожалея и смеясь над своею чувствительностью, сидел с улыбкой умиления на лице. Когда вошла княжна Марья, он поспешно поднес щепоть табаку к носу.

— Ah, ma bonne, ma bonne[3], — сказал он, встав и взяв ее за обе руки. Он вздохнул и прибавил: — Le sort de mon fils est en vos mains. Décidez, ma bonne, ma chère, ma douce Marie, que j'ai toujours aimée comme ma fille[4].

Он отошел. Действительная слеза показалась на его глазах.

— Фр... фр... — фыркал князь Николай Андреич.

— Князь от имени своего воспитанника... сына, тебе делает пропозицию. Хочешь ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина? Ты говори: да или нет! — закричал он, — а потом я удерживаю за собой право сказать и свое мнение. Да, мое мнение и только свое мнение, — прибавил князь Николай Андреич, обращаясь к князю Василью и отвечая на его умоляющее выражение. — Да или нет? Ну?

— Мое желание, mon père, никогда не покидать вас, никогда не разделять своей жизни с вашею. Я не хочу выходить замуж, — сказала она решительно, взглянув своими прекрасными глазами на князя Василья и на отца.

— Вздор, глупости! Вздор, вздор, вздор! — нахмурившись, закричал князь Николай Андреич, взял дочь за руку, пригнул к себе и не поцеловал, но только, пригнув свой лоб к ее лбу, дотронулся до нее и так сжал руку, которую он держал, что она поморщилась и вскрикнула.

Князь Василий встал.

— Ma chère, je vous dirai que c'est un moment que je n'oublierai jamais, jamais; mais, ma bonne, est-ce que vous ne nous donnerez pas un peu d'espérance de toucher ce cur si bon, si généreux. Dites que peut-être... L'avenir est si grand. Dites: peut-être[5].

— Князь, то, что я сказала, есть все, что есть в моем сердце. Я благодарю за честь, но никогда не буду женой вашего сына.

— Ну, и кончено, мой милый. Очень рад тебя видеть, очень рад тебя видеть. Поди к себе, княжна, поди, — говорил старый князь. — Очень, очень рад тебя видеть, — повторял он, обнимая князя Василья.

«Мое призвание другое, — думала про себя княжна Марья, — мое призвание — быть счастливой другим счастием, счастьем любви и самопожертвования. И чего

---

[3] Но вы презираете меня; вы, столь чистая, должны презирать меня, вы никогда не поймете этого увлечения страсти. Ах, моя бедная мать...

[2] Я все понимаю

[3] Ах, милая, милая

[4] Судьба моего сына в ваших руках. Решите, моя милая, моя дорогая, моя нежная Мари, которую я всегда любил, как дочь

[5] Моя милая, я вам скажу, что этой минуты я никогда не забуду, но, моя добрейшая, дайте нам хоть малую надежду тронуть это сердце, столь доброе и великодушное. Скажите: может быть... Будущее так велико. Скажите: может быть

бы мне это ни стоило, я сделаю счастие бедной Amélie. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтоб устроить ее брак с ним. Ежели он не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою. Она так несчастлива, чужая, одинокая, без помощи! И Боже мой, как страстно она его любит, ежели она так могла забыть себя. Может быть, и я сделала бы то же!..» — думала княжна Марья.

VI

Долго Ростовы не имели известий о Николушке; только в середине зимы графу было передано письмо, на адресе которого он узнал руку сына. Получив письмо, граф испуганно и поспешно, стараясь не быть замеченным, на цыпочках пробежал в свой кабинет, заперся и стал читать. Анна Михайловна, узнав (как она и все знала, что делалось в доме) о получении письма, тихими шагами вошла к графу и застала его с письмом в руках рыдающим и вместе смеющимся.

Анна Михайловна, несмотря на поправившиеся дела, продолжала жить у Ростовых.

— Mon bon ami?[1] — вопросительно-грустно и с готовность всякого участия произнесла Анна Михайловна.

Граф зарыдал еще больше.

— Николушка... письмо... ранен... бы... был... ma chère... ранен... голубчик мой... графинюшка... в офицеры произведен... слава Богу... Графинюшке как сказать?..

Анна Михайловна подсела к нему, отерла своим платком слезы с его глаз, с письма, закапанного ими, и свои слезы, прочла письмо, успокоила графа и решила, что за обедом и до чая она приготовит графиню, а после чаю объявит все, коли Бог ей поможет.

Все время обеда Анна Михайловна говорила о слухах войны, о Николушке; спросила два раза, когда получено было последнее письмо от него, хотя знала это и прежде, и заметила, что очень легко, может быть, и нынче получится письмо. Всякий раз, как при этих намеках графиня начинала беспокоиться и тревожно взглядывать то на графа, то на Анну Михайловну, Анна Михайловна самым незаметным образом сводила разговор на незначительные предметы. Наташа, из всего семейства более всех одаренная способностью чувствовать оттенки интонаций, взглядов и выражений лиц, с начала обеда насторожила уши и знала, что что-нибудь есть между ее отцом и Анной Михайловной и что-нибудь касающееся брата и что Анна Михайловна приготавливает. Несмотря на всю свою смелость (Наташа знала, как чувствительна была ее мать ко всему, что касалось известий о Николушке), она не решилась за обедом сделать вопрос и от беспокойства за обедом ничего не ела и вертелась на стуле, не слушая замечаний своей гувернантки. После обеда она стремглав бросилась догонять Анну Михайловну и в диванной с разбега бросилась ей на шею.

— Тетенька, голубушка, скажите, что такое?

— Ничего, мой друг.

— Нет, душенька, голубчик, милая, персик, я не отстану, я знаю, что вы знаете.

[1] Мой добрый друг?

Анна Михайловна покачала головой.

— Vous êtes une fine mouche, mon enfant[1], — сказала она.

— От Николеньки письмо? Наверно! — вскрикнула Наташа, прочтя утвердительный ответ в лице Анны Михайловны.

— Но ради Бога, будь осторожнее: ты знаешь, как это может поразить твою maman.

— Буду, буду, но расскажите. Не расскажете? Ну, так я сейчас пойду скажу.

Анна Михайловна в коротких словах рассказала Наташе содержание письма, с условием не говорить никому.

— Честное, благородное слово, — крестясь, говорила Наташа, — никому не скажу, — и тотчас же побежала к Соне.

— Николенька... ранен... письмо... — проговорила она торжественно и радостно.

— Nicolas! — только выговорила Соня, мгновенно бледнея.

Наташа, увидав впечатление, произведенное на Соню известием о ране брата, в первый раз почувствовала всю горестную сторону этого известия.

Она бросилась к Соне, обняла ее и заплакала.

— Немножко ранен, но произведен в офицеры; он теперь здоров, он сам пишет, — говорила она сквозь слезы.

— Вот видно, что все вы, женщины, — плаксы, — сказал Петя, решительными большими шагами прохаживаясь по комнате. — Я так очень рад и, право, очень рад, что брат так отличился. Все вы нюни! Ничего не понимаете.

Наташа улыбнулась сквозь слезы.

— Ты не читала письма? — спрашивала Соня.

— Не читала, но она сказала, что все прошло и что он уже офицер...

— Слава Богу, — сказала Соня, крестясь. — Но, может быть, она обманула тебя? Пойдем к maman.

Петя молча ходил по комнате.

— Кабы я был на месте Николушки, я бы еще больше этих французов убил, — сказал он, — такие они мерзкие! Я бы их побил столько, что кучу из них сделали бы, — продолжал Петя.

— Молчи, Петя, какой ты дурак!..

— Не я дурак, а дуры те, кто от пустяков плачут, — сказал Петя.

— Ты его помнишь? — после минутного молчания вдруг спросила Наташа. Соня улыбнулась.

— Помню ли Nicolas?

— Нет, Соня, ты помнишь ли его так, чтобы хорошо помнить, чтобы все помнить, — с старательным жестом сказала Наташа, видимо, желая придать своим словам самое серьезное значение. — И я помню Николеньку, я помню, — сказала она. — А Бориса не помню. Совсем не помню...

— Как? Не помнишь Бориса? — спросила Соня с удивлением.

---

[1] Ах, плутовка

— Не то что не помню, — я знаю, какой он, но не так помню, как Николеньку. Его, я закрою глаза и помню, а Бориса нет (она закрыла глаза), так, нет — ничего!

— Ах, Наташа! — сказала Соня восторженно и серьезно, не глядя на свою подругу, как будто она считала ее недостойною слышать то, что она намерена была сказать, и как будто она говорила это кому-то другому, с кем нельзя шутить. — Я полюбила раз твоего брата, и, что бы ни случилось с ним, со мной, я никогда не перестану любить его — во всю жизнь.

Наташа удивленно, любопытными глазами смотрела на Соню и молчала. Она чувствовала, что то, что говорила Соня, была правда, что была такая любовь, про которую говорила Соня; но Наташа ничего подобного еще не испытывала. Она верила, что это могло быть, но не понимала.

— Ты напишешь ему? — спросила она.

Соня задумалась. Вопрос о том, как писать к Nicolas и нужно ли писать, был вопрос, мучивший ее. Теперь, когда он был уже офицер и раненый герой, хорошо ли было с ее стороны напоминать ему о себе и как будто о том обязательстве, которое он взял на себя в отношении ее.

— Не знаю; я думаю, коли он пишет, — и я напишу, — краснея, сказала она.

— И тебе не стыдно будет писать ему?

Соня улыбнулась.

— Нет.

— А мне стыдно будет писать Борису, я не буду писать.

— Да отчего же стыдно?

— Да так, я не знаю. Неловко, стыдно.

— А я знаю, отчего ей стыдно будет, — сказал Петя, обиженный первым замечанием Наташи, — оттого, что она была влюблена в этого толстого с очками (так называл Петя своего тезку, нового графа Безухова); теперь влюблена в певца в этого (Петя говорил об итальянце, Наташином учителе пенья): вот ей и стыдно.

— Петя, ты глуп, — сказала Наташа.

— Не глупее тебя, матушка, — сказал девятилетний Петя, точно как будто он был старый бригадир.

Графиня была приготовлена намеками Анны Михайловны во время обеда. Уйдя к себе, она, сидя на кресле, не спускала глаз с миниатюрного портрета сына, вделанного в табакерке, и слезы навертывались ей на глаза. Анна Михайловна с письмом, на цыпочках, подошла к комнате графини и остановилась.

— Не входите, — сказала она старому графу, шедшему за ней, — после, — и затворила за собой дверь.

Граф приложил ухо к замку и стал слушать.

Сначала он слышал звуки равнодушных речей, потом один звук голоса Анны Михайловны, говорившей длинную речь, потом вскрик, потом молчание, потом опять оба голоса вместе говорили с радостными интонациями, и потом шаги, и Анна Михайловна отворила ему дверь. На лице Анны Михайловны было гордое выражение оператора, окончившего трудную ампутацию и вводящего публику для того, чтоб она могла оценить его искусство.

— C'est fait![1] — сказала она графу, торжественным жестом указывая на графиню, которая держала в одной руке табакерку с портретом, в другой — письмо и прижимала губы то к тому, то к другому.

Увидав графа, она протянула к нему руки, обняла его лысую голову и через лысую голову опять посмотрела на письмо и портрет и опять, для того чтобы прижать их к губам, слегка оттолкнула лысую голову. Вера, Наташа, Соня и Петя вошли в комнату, и началось чтение. В письме был кратко описан поход и два сражения, в которых участвовал Николушка, производство в офицеры и сказано, что он целует руки maman и papa, прося их благословения, и целует Веру, Наташу, Петю. Кроме того, он кланяется m-r Шелингу и m-me Шосс, и няне, и, кроме того, просит поцеловать дорогую Соню, которую он все так же любит и о которой все так же вспоминает. Услыхав это, Соня покраснела так, что слезы выступили ей на глаза. И, не в силах выдержать обратившиеся на нее взгляды, она побежала в залу, разбежалась, закружилась и, раздув баллоном платье, вся раскрасневшаяся и улыбающаяся, села на пол. Графиня плакала.

— О чем же вы плачете, maman? — сказала Вера. — По всему, что он пишет, надо радоваться, а не плакать.

Это было совершенно справедливо, но и граф, и графиня, и Наташа — все с упреком посмотрели на нее. «И в кого она такая вышла!» — подумала графиня.

Письмо Николушки было прочитано сотни раз, и те, которые считались достойными его слушать, должны были приходить к графине, которая не выпускала его из рук. Приходили гувернеры, няни, Митенька, некоторые знакомые, и графиня перечитывала письмо всякий раз с новым наслаждением и всякий раз открывала по этому письму новые добродетели в своем Николушке. Как странно, необычайно, радостно ей было, что сын ее — тот сын, который чуть заметно крошечными членами шевелился в ней самой двадцать лет тому назад, тот сын, за которого она ссорилась с баловником-графом, тот сын, который выучился говорить прежде: «груша», а потом «баба», что этот сын теперь там, в чужой земле, в чужой среде, мужественный воин, один, без помощи и руководства, делает там какое-то свое мужское дело. Весь всемирный вековой опыт, указывающий на то, что дети незаметным путем от колыбели делаются мужами, не существовал для графини. Возмужание ее сына в каждой поре возмужания было для нее так же необычайно, как бы и не было никогда миллионов-миллионов людей, точно так же возмужавших. Как не верилось двадцать лет тому назад, чтобы то маленькое существо, которое жило где-то там у ней под сердцем, закричало бы и стало сосать грудь и стало бы говорить, так и теперь не верилось ей, что это же существо могло быть тем сильным, храбрым мужчиной, образцом сыновей и людей, которым он был теперь, судя по этому письму.

— Что за штиль, как он описывает мило! — говорила она, читая описательную часть письма. — И что за душа! О себе ничего... ничего! О каком-то Денисове, а сам, верно, храбрее их всех. Ничего не пишет о своих страданиях. Что за сердце! Как я узнаю его! И как вспомнил всех! Никого не забыл. Я всегда, всегда говорила, еще когда он вот какой был, я всегда говорила...

[1] Готово!

Более недели готовились, писались брульоны и переписывались набело письма к Николушке от всего дома; под наблюдением графини и заботливостью графа собирались нужные вещицы и деньги для обмундирования и обзаведения вновь произведенного офицера. Анна Михайловна, практическая женщина, сумела устроить себе и своему сыну протекцию в армии даже и для переписки. Она имела случай посылать свои письма к великому князю Константину Павловичу, который командовал гвардией. Ростовы предполагали, что русская гвардия за границей — есть совершенно определительный адрес и что ежели письмо дойдет до великого князя, командовавшего гвардией, то нет причины, чтоб оно не дошло до Павлоградского полка, который должен быть там же поблизости; и потому решено было отослать письма и деньги через курьера великого князя к Борису, и Борис уже должен был доставить их к Николушке. Письма были от старого графа, от графини, от Пети, от Веры, от Наташи, от Сони, и, наконец, 6000 денег на обмундировку и различные вещи, которые граф посылал сыну.

VII

12-го ноября кутузовская боевая армия, стоявшая лагерем около Ольмюца, готовилась к следующему дню на смотр двух императоров — русского и австрийского. Гвардия, только что подошедшая из России, ночевала в пятнадцати верстах от Ольмюца и на другой день прямо на смотр, к десяти часам утра, вступила на ольмюцкое поле.

Николай Ростов в этот день получил от Бориса записку, извещавшую его, что Измайловский полк ночует в пятнадцати верстах не доходя Ольмюца и что Борис ждет его, чтобы передать письмо и деньги. Деньги были особенно нужны Ростову теперь, когда, вернувшись из похода, войска остановились под Ольмюцем и хорошо снабженные маркитанты и австрийские жиды, предлагая всякого рода соблазны, наполняли лагерь. У павлоградцев шли пиры за пирами, празднования полученных за поход наград и поездки в Ольмюц к вновь прибывшей туда Каролине Венгерке, открывшей там трактир с женской прислугой. Ростов недавно отпраздновал свое вышедшее производство в корнеты, купил Бедуина, лошадь Денисова, и был кругом должен товарищам и маркитантам. Получив записку Бориса, Ростов с товарищами поехал до Ольмюца, там пообедал, выпил бутылку вина и один поехал в гвардейский лагерь отыскать своего товарища детства. Ростов еще не успел обмундироваться. На нем была затасканная юнкерская куртка с солдатским крестом, такие же, подбитые затертой кожей, рейтузы и офицерская с темляком сабля; лошадь, на которой он ехал, была донская, купленная походом у казака; гусарская измятая шапочка была ухарски надета назад и набок. Подъезжая к лагерю Измайловского полка, он думал о том, как он поразит Бориса и всех его товарищей-гвардейцев своим обстрелянным боевым гусарским видом.

Гвардия весь поход прошла, как на гулянье, щеголяя своею чистотой и дисциплиной. Переходы были малые, ранцы везли на подводах, офицерам австрийское начальство готовило на всех переходах прекрасные обеды. Полки вступали и выступали из городов с музыкой, и весь поход (чем гордились гвардейцы),

по приказанию великого князя, люди шли в ногу, а офицеры пешком на своих местах. Борис все время похода шел и стоял с Бергом, теперь уже ротным командиром. Берг, во время похода получив роту, успел своей исполнительностью и аккуратностью заслужить доверие начальства и устроил весьма выгодно свои экономические дела; Борис во время похода сделал много знакомств с людьми, которые могли быть ему полезными, и через рекомендательное письмо, привезенное им от Пьера, познакомился с князем Андреем Болконским, через которого он надеялся получить место в штабе главнокомандующего. Берг и Борис, чисто и аккуратно одетые, отдохнув после последнего дневного перехода, сидели в чистой отведенной им квартире перед круглым столом и играли в шахматы. Берг держал между колен курящуюся трубочку. Борис с свойственной ему аккуратностью белыми тонкими руками пирамидкой уставлял шашки, ожидая хода Берга, и глядел на лицо своего партнера, видимо, думая об игре, как он и всегда думал только о том, чем он был занят.

— Ну-ка, как вы из этого выйдете? — сказал он.

— Будем стараться, — отвечал Берг, дотрогиваясь до пешки и опять опуская руку.

В это время дверь отворилась.

— Вот он наконец! — закричал Ростов. — И Берг тут! Ах ты, петизанфан, але куше дормир! [1] — закричал он, повторяя слова няньки, над которыми они смеивались когда-то вместе с Борисом.

— Батюшки! как ты переменился! — Борис встал навстречу Ростову, но, вставая, не забыл поддержать и поставить на место падавшие шахматы и хотел обнять своего друга, но Николай отстранился от него. С тем особенным чувством молодости, которая боится битых Хорог, хочет, не подражая другим, по-новому, по-своему выражать свои чувства, только бы не так, как выражают это, часто притворно, старшие, Николай хотел что-нибудь особенное сделать при свидании с другом: он хотел как-нибудь ущипнуть, толкнуть Бориса, но только никак не поцеловаться, как это делали все. Борис же, напротив, спокойно и дружелюбно обнял и три раза поцеловал Ростова.

Они полгода не видались почти; и в том возрасте, когда молодые люди делают первые шаги на пути жизни, оба нашли друг в друге огромные перемены, совершенно новые отражения тех обществ, в которых они сделали свои первые шаги жизни. Оба много переменились с своего последнего свидания, и оба хотели поскорее выказать друг другу происшедшие в них перемены.

— Ах вы, полотеры проклятые! Чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то, что мы грешные, армейщина, — говорил Ростов с новыми для Бориса баритонными звуками в голосе и армейскими ухватками, указывая на свои забрызганные грязью рейтузы.

Хозяйка-немка высунулась из двери на громкий голос Ростова.

— Что, хорошенькая? — сказал он, подмигнув.

[1] дети, идите ложиться спать! — Ред.

— Что ты так кричишь? Ты их напугаешь, — сказал Борис. — А я тебя не ждал нынче, — прибавил он. — Я вчера только отдал тебе записку через одного знакомого адъютанта кутузовского — Болконского. Я не думал, что он так скоро тебе доставит... Ну, что ты, как? Уже обстрелян? — спросил Борис.

Ростов, не отвечая, тряхнул по солдатскому Георгиевскому кресту, висевшему на снурках мундира и, указывая на свою подвязанную руку, улыбаясь, взглянул на Берга.

— Как видишь, — сказал он.

— Вот как, да, да! — улыбаясь, сказал Борис. — А мы тоже славный поход сделали. Ведь ты знаешь, цесаревич постоянно ехал при нашем полку, так что у нас были все удобства и все выгоды. В Польше что за приемы были, что за обеды, балы — я не могу тебе рассказать! И цесаревич очень милостив был ко всем нашим офицерам.

И оба приятеля рассказывали друг другу — один о своих гусарских кутежах и боевой жизни, другой о приятности и выгодах службы под командою высокопоставленных лиц и т. п.

— О гвардия! — сказал Ростов. — А вот что, пошли-ка за вином.

Борис поморщился.

— Ежели непременно хочешь, — сказал он.

И, подойдя к кровати, из-под чистых подушек достал кошелек и велел принести вина.

— Да, и тебе отдать твои деньги и письмо, — прибавил он.

Ростов взял письмо и, бросив на диван деньги, облокотился обеими руками на стол и стал читать. Он прочел несколько строк и злобно взглянул на Берга. Встретив его взгляд, Ростов закрыл лицо письмом.

— Однако денег вам порядочно прислали, — сказал Берг, глядя на тяжелый, вдавившийся в диван кошелек. — Вот мы так и жалованьем, граф, пробиваемся. Я вам скажу про себя...

— Вот что, Берг, милый мой, — сказал Ростов. — Когда вы получите из дома письмо и встретитесь с своим человеком, у которого вам захочется расспросить про все, и я буду тут, — я сейчас уйду, чтобы не мешать вам. Послушайте, уйдите, пожалуйста, куда-нибудь, куда-нибудь... к черту! — крикнул он и тотчас же, схватив его за плечо и ласково глядя в его лицо, видимо, стараясь смягчить грубость своих слов, прибавил: — Вы знаете, не сердитесь; милый, голубчик, я от души говорю, как нашему старому знакомому.

— Ах, помилуйте, граф, я очень понимаю, — сказал Берг, вставая и говоря в себя, горловым голосом.

— Вы к хозяевам пойдите: они вас звали, — прибавил Борис.

Берг надел чистейший, без пятнышка и соринки, сюртучок, взбил перед зеркалом височки кверху, как носил Александр Павлович, и, убедившись по взгляду Ростова, что его сюртучок был замечен, с приятной улыбкой вышел из комнаты.

— Ах, какая я скотина, однако! — проговорил Ростов, читая письмо.

— А что?

— Ах, какая я свинья, однако, что я ни разу не писал и так напугал их. Ах, какая я свинья! — повторил он, вдруг покраснев. — Что же, пошли за вином Гаврилу! Ну, ладно, хватим!.. — сказал он.

В письмах родных было вложено еще рекомендательное письмо к князю Багратиону, которое, по совету Анны Михайловны, через знакомых достала старая графиня и посылала сыну, прося его снести по назначению и им воспользоваться.

— Вот глупости! Очень мне нужно, — сказал Ростов, бросая письмо под стол.

— Зачем ты это бросил? — спросил Борис.

— Письмо какое-то рекомендательное, черта ли мне в письме!

— Как, черта ли в письме? — поднимая и читая надпись, сказал Борис. — Письмо это очень нужное для тебя.

— Мне ничего не нужно, и я в адъютанты ни к кому не пойду.

— Отчего же? — спросил Борис.

— Лакейская должность!

— Ты все такой же мечтатель, я вижу, — покачивая головою, сказал Борис.

— А ты все такой же дипломат. Ну, да не в том дело... Ну, ты что? — спросил Ростов.

— Да вот, как видишь. До сих пор все хорошо; но признаюсь, желал бы, и очень, попасть в адъютанты, а не оставаться во фронте.

— Зачем?

— Затем, что, уже раз пойдя по карьере военной службы, надо стараться сделать, коль возможно, блестящую карьеру.

— Да, вот как! — сказал Ростов, видимо, думая о другом.

Он пристально и вопросительно смотрел в глаза своему другу, видимо, тщетно отыскивая разрешения какого-то вопроса.

Старик Гаврило принес вино.

— Не послать ли теперь за Альфонс Карлычем? — сказал Борис. — Он выпьет с тобой, а я не могу.

— Пошли, пошли! Ну, что эта немчура? — сказал Ростов с презрительной улыбкой.

— Он очень, очень хороший, честный и приятный человек, — сказал Борис.

Ростов пристально еще раз посмотрел в глаза Борису и вздохнул. Берг вернулся, и за бутылкой вина разговор между тремя офицерами оживился. Гвардейцы рассказывали Ростову о своем походе, о том, как их чествовали в России, Польше и за границей. Рассказывали о словах и поступках их командира, великого князя, анекдоты о его доброте и вспыльчивости. Берг, как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его, но по случаю анекдотов о вспыльчивости великого князя с наслаждением рассказал, как в Галиции ему удалось говорить с великим князем, когда он объезжал полки и гневался за неправильность движения. С приятной улыбкой на лице он рассказал, как великий князь, очень разгневанный, подъехав к нему, закричал: «Арнауты!» (Арнауты — была любимая поговорка цесаревича, когда он был в гневе), и потребовал ротного командира.

— Поверите ли, граф, я ничего не испугался, потому что я знал, что я прав. Я, знаете, граф, не хвалясь, могу сказать, что я приказы по полку наизусть знаю и устав тоже знаю, как Отче наш на небесех. Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна. Я явился. (Берг привстал и представил в лицах, как он с рукой к козырьку явился. Действительно, трудно было изобразить в лице более почтительности и самодовольства.) Уж он меня пушил, как это говорится, пушил, пушил; пушил не на живот, а на смерть, как говорится: и «арнауты» и «черти», и «в Сибирь», — говорил Берг, проницательно улыбаясь. — Я знаю, что я прав, и потому молчу, не так ли, граф? «Что, ты немой, что ли?» — он закричал. Я все молчу. Что же вы думаете, граф? На другой день и в приказе не было; вот что значит не потеряться! Так-то, граф, — говорил Берг, закуривая трубку и пуская колечки.

— Да, это славно, — улыбаясь, сказал Ростов.

Но Борис, заметив, что Ростов сбирался посмеяться над Бергом, искусно отклонил разговор. Он попросил Ростова рассказать о том, как и где он получил рану. Ростову это было приятно, и он начал рассказывать, во время рассказа все более и более одушевляясь. Он рассказал им свое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про сражения участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слыхали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили себе определенное понятие о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа, — или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак. Не мог он им рассказать так просто, что поехали все рысью, он упал с лошади, свихнул руку и изо всех сил побежал в лес от француза. Кроме того, для того чтобы рассказать все, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказывать только то, что было. Рассказать правду очень трудно, и молодые люди редко на это способны. Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурею налетал на каре; как врубался в него, рубил направо и налево; как сабля отведала мяса и как он падал в изнеможении, и тому подобное. И он рассказал им все это.

В середине его рассказа, в то время как он говорил: «Ты не можешь представить, какое странное чувство бешенства испытываешь во время атаки», в комнату вошел князь Андрей Болконский, которого ждал Борис. Князь Андрей, любивший покровительственные отношения к молодым людям, польщенный тем, что к нему обращались за протекцией, и хорошо расположенный к Борису, который умел ему понравиться накануне, желал исполнить желание молодого человека. Присланный с бумагами от Кутузова к цесаревичу, он зашел к молодому человеку, надеясь застать его одного. Войдя в комнату и увидав рассказывающего военные похождения армейского гусара (сорт людей, которых терпеть не мог князь Андрей),

он ласково улыбнулся Борису, поморщился, прищурился на Ростова и, слегка поклонившись, устало и лениво сел на диван. Ему неприятно было, что он попал в дурное общество. Ростов вспыхнул, поняв это. Но это было ему все равно: это был чужой человек. Но, взглянув на Бориса, он увидал, что и ему как будто стыдно за армейского гусара. Несмотря на неприятный, насмешливый тон князя Андрея, несмотря на общее презрение, которое с своей армейской боевой точки зрения имел Ростов ко всем этим штабным адъютантикам, к которым, очевидно, причислялся и вошедший, Ростов почувствовал себя сконфуженным, покраснел и замолчал. Борис спросил, какие новости в штабе и что, без нескромности, слышно о наших предположениях?

— Вероятно, пойдут вперед, — видимо, не желая при посторонних говорить более, отвечал Болконский.

Берг воспользовался случаем спросить с особенною учтивостию, будут ли выдавать теперь, как слышно было, удвоенное фуражное армейским ротным командирам? На это князь Андрей с улыбкой отвечал, что он не может судить о столь важных государственных распоряжениях, и Берг радостно рассмеялся.

— О вашем деле, — обратился князь Андрей опять к Борису, — мы поговорим после, — и он оглянулся на Ростова. — Вы приходите ко мне после смотра, мы все сделаем, что можно будет.

И, оглянув комнату, он обратился к Ростову, которого положение детского непреодолимого конфуза, переходящего в озлобление, он и не удостоивал заметить, и сказал:

— Вы, кажется, про Шенграбенское дело рассказывали? Вы были там?

— Я был там, — с озлоблением сказал Ростов, как будто бы этим желая оскорбить адъютанта.

Болконский заметил состояние гусара, и оно ему показалось забавно. Он слегка презрительно улыбнулся.

— Да! много теперь рассказов про это дело.

— Да, рассказов!! — громко заговорил Ростов, вдруг сделавшимися бешеными глазами глядя то на Берга, то на Болконского. — Да, рассказов много, но наши рассказы — рассказы тех, которые были в самом огне неприятеля, наши рассказы имеют вес, а не рассказы тех штабных молодчиков, которые получают награды, ничего не делая.

— К которым, вы предполагаете, что я принадлежу? — спокойно и особенно приятно улыбаясь, проговорил князь Андрей.

Странное чувство озлобления и вместе с тем уважения к спокойствию этой фигуры соединилось в это время в душе Ростова.

— Я говорю не про вас, — сказал он, — я вас не знаю и, признаюсь, не желаю знать. Я говорю вообще про штабных.

— А я вам вот что скажу, — с спокойною властию в голосе перебил его князь Андрей. — Вы хотите оскорбить меня, и я готов согласиться с вами, что это очень легко сделать, ежели вы не будете иметь достаточного уважения к самому себе; но согласитесь, что и время и место весьма дурно для этого выбраны. На днях всем нам

придется быть на большой, более серьезной дуэли, а кроме того, Друбецкой, который говорит, что он ваш старый приятель, нисколько не виноват в том, что моя физиономия имела несчастие вам не понравиться. Впрочем, — сказал он, вставая, — вы знаете мою фамилию и знаете, где найти меня; но не забудьте, — прибавил он, — что я не считаю нисколько ни себя, ни вас оскорбленным, и мой совет, как человека старше вас, оставить это дело без последствий. Так в пятницу, после смотра, я жду вас, Друбецкой; до свидания, — заключил князь Андрей и вышел, поклонившись обоим.

Ростов вспомнил то, что ему надо было ответить, только тогда, когда он уже вышел. И еще более был он сердит за то, что забыл сказать это. Ростов сейчас же велел подать свою лошадь и, сухо простившись с Борисом, поехал к себе. Ехать ли ему завтра в главную квартиру и вызвать этого ломающегося адъютанта или в самом деле оставить это дело так? — был вопрос, который мучил его всю дорогу. То он с злобой думал о том, с каким бы удовольствием он увидал испуг этого маленького, слабого и гордого человечка под его пистолетом, то он с удивлением чувствовал, что из всех людей, которых он знал, никого бы он столько не желал иметь своим другом, как этого ненавидимого им адъютантика.

VIII

На другой день свидания Бориса с Ростовым был смотр австрийских и русских войск, как свежих, пришедших из России, так и тех, которые вернулись из похода с Кутузовым. Оба императора, русский с наследником цесаревичем и австрийский с эрцгерцогом, делали этот смотр союзной восьмидесятитысячной армии.

С раннего утра начали двигаться щегольски вычищенные и убранные войска, выстраиваясь на поле перед крепостью. То двигались тысячи ног и штыков с развевавшимися знаменами и по команде офицеров останавливались, заворачивались и строились в интервалах, обходя другие такие же массы пехоты в других мундирах; то мерным топотом и бряцанием звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых шитых мундирах с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых лошадях; то, растягиваясь с своим медным звуком подрагивающих на лафетах, вычищенных, блестящих пушек и с своим запахом пальников, ползла между пехотой и кавалерией артиллерия и расставлялась на назначенных местах. Не только генералы в полной парадной форме, с перетянутыми донельзя толстыми и тонкими талиями и красневшими, подпертыми воротниками, шеями, в шарфах и всех орденах; не только припомаженные, расфранченные офицеры, но каждый солдат — с свежевыбритым и вымытым лицом и до последней возможности блеска вычищенной амуницией, каждая лошадь, выхоленная так, что, как атлас, светилась на ней шерсть и волосок к волоску лежала примоченная гривка, — все чувствовали, что совершается что-то нешуточное, значительное и торжественное. Каждый генерал и солдат чувствовали свое ничтожество, сознавая себя песчинкой в этом море людей, и вместе чувствовали свое могущество, сознавая себя частью этого огромного целого.

С раннего утра начались напряженные хлопоты и усилия, и в десять часов все пришло в требуемый порядок. На огромном поле стали ряды. Армия вся была вытянула в три линии. Спереди кавалерия, сзади артиллерия, еще сзади пехота.

Между каждым родом войск была как бы улица. Резко отделялись одна от другой три части этой армии: боевая кутузовская (в которой на правом фланге в передней линии стояли павлоградцы), пришедшие из России армейские и гвардейские полки и австрийское войско. Но все стояли под одну линию, под одним начальством и в одинаковом порядке.

Как ветер по листьям, пронесся взволнованный шепот: «Едут! едут!» Послышались испуганные голоса, и по всем войскам пробежала волна суеты последних приготовлений.

Впереди от Ольмюца показалась подвигавшаяся группа. И в это же время, хотя день был безветренный, легкая струя ветра пробежала по армии и чуть заколебала флюгера пик и распущенные знамена, затрепавшиеся о свои древки. Казалось, сама армия этим легким движением выражала свою радость при приближении государей. Послышался один голос: «Смирно!» Потом, как петухи на заре, повторились голоса в разных концах. И все затихло.

В мертвой тишине слышался только топот лошадей. То была свита императоров. Государи подъехали к флангу, и раздались звуки трубачей первого кавалерийского полка, заигравшие генерал-марш. Казалось, не трубачи это играли, а сама армия, радуясь приближению государя, естественно издавала эти звуки. Из-за этих звуков отчетливо послышался один молодой, ласковый голос императора Александра. Он сказал приветствие, и первый полк гаркнул: «Урра!» — так оглушительно, продолжительно, радостно, что сами люди ужаснулись численности и силе той громады, которую они составляли.

Ростов, стоя в первых рядах кутузовской армии, к которой к первой подъехал государь, испытывал то же чувство, какое испытывал каждый человек этой армии, — чувство самозабвения, гордого сознания могущества и страстного влечения к тому, кто был причиной этого торжества.

Он чувствовал, что от одного слова этого человека зависело то, чтобы вся громада эта (и он, связанный с ней, — ничтожная песчинка) пошла бы в огонь и в воду, на преступление, на смерть или на величайшее геройство, и потому-то он не мог не трепетать и не замирать при виде этого приближающегося слова.

— Урра! Урра! Урра! — гремело со всех сторон, и один полк за другим принимал государя звуками генерал-марша; потом «урра!», генерал-марш и опять «урра!» и «урра!!», которые, все усиливаясь и прибывая, сливались в оглушительный гул.

Пока не подъезжал еще государь, каждый полк в своей безмолвности и неподвижности казался безжизненным телом; только сравнивался с ним государь, полк оживлялся и гремел, присоединяясь к реву всей той линии, которую уже проехал государь. При страшном, оглушительном звуке этих голосов, посреди масс войска, неподвижных, как бы окаменевших в своих четвероугольниках, небрежно, несимметрично и, главное, свободно двигались сотни всадников свиты и впереди их

два человека — императоры. На них-то безраздельно было сосредоточено сдержанно-страстное внимание всей этой массы людей.

Красивый, молодой император Александр, в конногвардейском мундире, в треугольной шляпе, надетой с поля, своим приятным лицом и звучным негромким голосом привлекал всю силу внимания.

Ростов стоял недалеко от трубачей и издалека своими зоркими глазами узнал государя и следил за его приближением. Когда государь приблизился на расстояние двадцати шагов и Николай ясно, до всех подробностей, рассмотрел прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, он испытал чувство нежности и восторга, подобного которому он еще не испытывал. Все — всякая черта, всякое движение — казалось ему прелестно в государе.

Остановившись против Павлоградского полка, государь сказал что-то по-французски австрийскому императору и улыбнулся.

Увидав эту улыбку, Ростов сам невольно начал улыбаться и почувствовал еще сильнейший прилив любви к своему государю. Ему хотелось выказать чем-нибудь свою любовь к государю. Он знал, что это невозможно, и ему хотелось плакать. Государь вызвал полкового командира и сказал ему несколько слов.

«Боже мой! что бы со мной было, ежели бы ко мне обратился государь! — думал Ростов. — Я бы умер от счастия».

Государь обратился и к офицерам:

— Всех, господа (каждое слово слышалось Ростову, как звук с неба), благодарю от всей души.

Как бы счастлив был Ростов, ежели бы мог теперь умереть за своего царя!

— Вы заслужили георгиевские знамена и будете их достойны.

«Только умереть, умереть за него!» — думал Ростов.

Государь еще сказал что-то, чего не расслышал Ростов, и солдаты, надсаживая свои груди, закричали «урра!».

Ростов закричал тоже, пригнувшись к седлу, что было его сил, желая повредить себе этим криком, только чтобы выразить вполне свой восторг к государю.

Государь постоял несколько секунд против гусар, как будто он был в нерешимости.

«Как мог быть в нерешимости государь?» — подумал Ростов, а потом даже и эта нерешимость показалась Ростову величественной и обворожительной, как и все, что делал государь.

Нерешительность государя продолжалась одно мгновение. Нога государя, с узким острым носком сапога, как носили в то время, дотронулась до паха энглизированной гнедой кобылы, на которой он ехал; рука государя в белой перчатке подобрала поводья, и он тронулся, сопутствуемый беспорядочно заколыхавшимся морем адъютантов. Дальше и дальше отъезжал он, останавливаясь у других полков, и, наконец, только белый плюмаж его виднелся Ростову из-за свиты, окружавшей императора.

В числе господ свиты Ростов заметил и Болконского, лениво и распущенно сидящего на лошади. Ростову вспомнилась его вчерашняя ссора с ним и представился вопрос, следует — или не следует вызывать его. «Разумеется, не следует, — подумал

теперь Ростов... — И стоит ли думать и говорить про это в такую минуту, как теперь? В минуту такого чувства любви, восторга и самоотвержения, что значат все наши ссоры и обиды?! Я всех люблю, всем прощаю теперь», — думал Ростов.

Когда государь объехал почти все полки, войска стали проходить мимо его церемониальным маршем, и Ростов на вновь купленном у Денисова Бедуине проехал в замкé своего эскадрона, то есть один и совершенно на виду перед государем.

Не доезжая государя, Ростов, отличный ездок, два раза всадил шпоры своему Бедуину и довел его счастливо до того бешеного аллюра рыси, которою хаживал разгоряченный Бедуин. Подогнув пенящуюся морду к груди, отделив хвост и как будто летя на воздухе и не касаясь до земли, грациозно и высоко вскидывая и переменяя ноги, Бедуин, тоже чувствовавший на себе взгляд государя, прошел превосходно.

Сам Ростов, завалив назад ноги и подобрав живот и чувствуя себя одним куском с лошадью, с нахмуренным, но блаженным лицом, чег'том, как говорил Денисов, проехал мимо государя.

— Молодцы павлоградцы! — проговорил государь.

«Боже мой! Как бы я счастлив был, если б он велел мне сейчас броситься в огонь», — подумал Ростов.

Когда смотр кончился, офицеры, вновь пришедшие и кутузовские, стали сходиться группами, и начались разговоры о наградах, об австрийцах и их мундирах, об их фронте, о Бонапарте и о том, как ему плохо придется теперь, особенно когда подойдет еще корпус Эссена и Пруссия примет нашу сторону.

Но более всего во всех кружках говорили о государе Александре, передавали каждое его слово, движение и восторгались им.

Все только одного желали: под предводительством государя скорее идти против неприятеля. Под командою самого государя нельзя было не победить кого бы то ни было, так думали после смотра Ростов и большинство офицеров.

Все после смотра были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений.

IX

На другой день после смотра Борис, одевшись в лучший мундир и напутствуемый пожеланиями успеха от своего товарища Берга, поехал в Ольмюц к Болконскому, желая воспользоваться его лаской и устроить себе наилучшее положение, в особенности положение адъютанта при важном лице, казавшееся ему особенно заманчивым в армии. «Хорошо Ростову, которому отец присылает по десяти тысяч, рассуждать о том, как он никому не хочет кланяться и ни к кому не пойдет в лакеи; но мне, ничего не имеющему, кроме своей головы, надо делать свою карьеру и не упускать случаев, а пользоваться ими».

В Ольмюце он не застал в этот день князя Андрея. Но вид Ольмюца, где стояла главная квартира, дипломатический корпус и жили оба императора с своими свитами — придворных, приближенных, только больше усилил его желание принадлежать к этому верховному миру.

Он никого не знал, и, несмотря на его щегольской гвардейский мундир, все эти высшие люди, сновавшие по улицам, в щегольских экипажах, плюмажах, лентах и орденах, придворные и военные, казалось, стояли так неизмеримо выше его, гвардейского офицерика, что не только не хотели, но и не могли признать его существование. В помещении главнокомандующего Кутузова, где он спросил Болконского, все эти адъютанты и даже денщики смотрели на него так, как будто желали внушить ему, что таких, как он, офицеров очень много сюда шляется и что они все уже очень надоели. Несмотря на это, или скорее вследствие этого, на другой день, пятнадцатого числа, он после обеда опять поехал в Ольмюц и, войдя в дом, занимаемый Кутузовым, спросил Болконского. Князь Андрей был дома, и Бориса провели в большую залу, в которой, вероятно, прежде танцевали, а теперь стояли пять кроватей, разнородная мебель: столы, стулья и клавикорды. Один адъютант, ближе к двери, в персидском халате, сидел за столом и писал. Другой, красный, толстый Несвицкий, лежал на постели, подложив руки под голову, и смеялся с присевшим к нему офицером. Третий играл на клавикордах венский вальс, четвертый лежал на этих клавикордах и подпевал ему. Болконского не было. Никто из этих господ, заметив Бориса, не изменил своего положения. Тот, который писал и к которому обратился Борис, досадливо обернулся и сказал ему, что Болконский дежурный и чтоб он шел налево в дверь, в приемную, коли ему нужно видеть его. Борис поблагодарил и пошел в приемную. В приемной было человек десять офицеров и генералов.

В то время как взошел Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуты с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навытяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что-то докладывал князю Андрею.

— Очень хорошо, извольте подождать, — сказал он генералу по-русски, тем французским выговором, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбою бегал за ним, прося еще что-то выслушать), князь Андрей с веселой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису.

Борис в эту минуту уже ясно понял то, что он предвидел прежде, именно то, что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе и которую знали в полку и он знал, была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой неписаной субординации. Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала, который в других случаях, во фронте, мог уничтожить его, гвардейского прапорщика. Князь Андрей подошел к нему и взял за руку.

— Очень жаль, что вчера вы не застали меня. Я целый день провозился с немцами. Ездили с Вейротером поверять диспозицию. Как немцы возьмутся за аккуратность — конца нет!

Борис улыбнулся, как будто он понимал то, о чем, как об общеизвестном, намекал князь Андрей. Но он в первый раз слышал и фамилию Вейротера, и даже слово диспозиция.

— Ну, что, мой милый, всё в адъютанты хотите? Я об вас подумал за это время.

— Да, я думал, — невольно отчего-то краснея, сказал Борис, — просить главнокомандующего; к нему было письмо обо мне от князя Курагина; я хотел просить только потому, — прибавил он, как бы извиняясь, — что, боюсь, гвардия не будет в деле.

— Хорошо! хорошо! мы обо всем переговорим, — сказал князь Андрей, — только дайте доложить про этого господина, и я принадлежу вам.

В то время как князь Андрей ходил докладывать про багрового генерала, генерал этот, видимо, не разделявший понятий Бориса о выгодах неписанной субординации, так уперся глазами в дерзкого прапорщика, помешавшего ему договорить с адъютантом, что Борису стало неловко. Он отвернулся и с нетерпением ожидал, когда возвратится князь Андрей из кабинета главнокомандующего.

— Вот что, мой милый, я думал о вас, — сказал князь Андрей, когда они прошли в большую залу с клавикордами. — К главнокомандующему вам ходить нечего, — говорил князь Андрей, — он наговорит вам кучу любезностей, скажет, чтобы приходили к нему обедать («это было бы еще не так плохо для службы по той субординации», — подумал Борис), но из этого дальше ничего не выйдет; нас, адъютантов и ординарцев, скоро будет батальон. Но вот что мы сделаем: у меня есть хороший приятель, генерал-адъютант и прекрасный человек, князь Долгоруков; и хотя вы этого можете не знать, но дело в том, что теперь Кутузов с его штабом и мы все ровно ничего не значим: все теперь сосредоточивается у государя; так вот мы пойдемте-ка к Долгорукову, мне и надо сходить к нему, я уж ему говорил про вас; так мы и посмотрим, не найдет ли он возможным пристроить вас при себе или где-нибудь там, поближе к солнцу.

Князь Андрей всегда особенно оживлялся, когда ему приходилось руководить молодого человека и помогать ему в светском успехе. Под предлогом этой помощи другому, которую он по гордости никогда бы не принял для себя, он находился вблизи той среды, которая давала успех и которая притягивала его к себе. Он весьма охотно взялся за Бориса и пошел с ним к князю Долгорукову.

Было уже поздно вечером, когда они взошли в Ольмюцкий дворец, занимаемый императорами и их приближенными.

В этот самый день был военный совет, на котором участвовали все члены гофкригсрата и оба императора. На совете, в противность мнению стариков — Кутузова и князя Шварценберга, было решено немедленно наступать и дать генеральное сражение Бонапарту. Военный совет только что кончился, когда князь Андрей, сопутствуемый Борисом, пришел во дворец отыскивать князя Долгорукова. Еще все лица главной квартиры находились под обаянием сегодняшнего,

победоносного для партии молодых, военного совета. Голоса медлителей, советовавших ожидать еще чего-то, не наступая, так единодушно были заглушены и доводы их опровергнуты несомненными доказательствами выгод наступления, что то, о чем толковалось в совете, будущее сражение и, без сомнения, победа казались уже не будущим, а прошедшим. Все выгоды были на нашей стороне. Огромные силы, без сомнения превосходившие силы Наполеона, были стянуты в одно место; войска были одушевлены присутствием императоров и рвались в дело; стратегический пункт, на котором приходилось действовать, был до малейших подробностей известен австрийскому генералу Вейротеру, руководившему войска (как бы счастливая случайность сделала то, что австрийские войска в прошлом году были на маневрах именно на тех полях, на которых теперь предстояло сразиться с французом); до малейших подробностей была известна и передана на картах предлежащая местность, и Бонапарте, видимо, ослабленный, ничего не предпринимал.

Долгоруков, один из самых горячих сторонников наступления, только что вернулся из совета, усталый, измученный, но оживленный и гордый одержанной победой. Князь Андрей представил покровительствуемого им офицера, но князь Долгоруков, учтиво и крепко пожав ему руку, ничего не сказал Борису и, очевидно, не в силах удержаться от высказывания тех мыслей, которые сильнее всего занимали его в эту минуту, по-французски обратился к князю Андрею.

— Ну, мой милый, какое мы выдержали сражение! Дай Бог только, чтобы то, которое будет следствием его, было бы столь же победоносно. Однако, мой милый, — говорил он отрывочно и оживленно, — я должен признать свою вину перед австрийцами и в особенности перед Вейротером. Что за точность, что за подробность, что за знание местности, что за предвидение всех возможностей, всех условий, всех малейших подробностей! Нет, мой милый, выгодней тех условий, в которых мы находимся, нельзя ничего нарочно выдумать. Соединение австрийской отчетливости с русской храбростию — чего ж вы хотите еще?

— Так наступление окончательно решено? — сказал Болконский.

— И знаете ли, мой милый, мне кажется, что решительно Буонапарте потерял свою латынь. Вы знаете, что нынче получено от него письмо к императору. — Долгоруков улыбнулся значительно.

— Вот как! Что ж он пишет? — спросил Болконский.

— Что он может писать? Традиридира и тому подобное, всё только с целью выиграть время. Я вам говорю, что он у нас в руках, это верно! Но что забавнее всего, — сказал он, вдруг добродушно засмеявшись, — это то, что никак не могли придумать, как ему адресовать ответ? Ежели не консулу, само собою разумеется, не императору, то генералу Буонапарту, как мне казалось.

— Но между тем, чтобы не признавать императором, и тем, чтобы называть генералом Буонапарте, есть разница, — сказал Болконский.

— В том-то и дело, — смеясь и перебивая, быстро говорил Долгоруков. — Вы знаете Билибина, он очень умный человек, он предлагал адресовать: «узурпатору и врагу человеческого рода».

Долгоруков весело захохотал.

— Не более того? — заметил Болконский.

— Но все-таки Билибин нашел серьезный титул адреса. И остроумный и умный человек...

— Как же?

— Главе французского правительства. Au chef du gouvernement français, — серьезно и с удовольствием сказал князь Долгоруков. — Не правда ли, что хорошо?

— Хорошо, но очень не понравится ему, — заметил Болконский.

— О, и очень! Мой брат знает его: он не раз обедал у него, у теперешнего императора, в Париже и говорил мне, что он не видал более утонченного и хитрого дипломата: знаете, соединение французской ловкости и итальянского актерства. Вы знаете его анекдоты с графом Марко́вым? Только один граф Марко́в умел с ним обращаться. Вы знаете историю платка? Это прелесть.

И словоохотливый Долгоруков, обращаясь то к Борису, то к князю Андрею, рассказал, как Бонапарт, желая испытать Марко́ва, нашего посланника, нарочно уронил перед ним платок и остановился, глядя на него, ожидая, вероятно, услуги от Марко́ва, и как Марко́в тотчас же уронил рядом свой платок и поднял свой, не поднимая платка Бонапарта.

— Charmant[1], — сказал Болконский. — Но вот что, князь, я пришел к вам просителем за этого молодого человека. Видите ли что...

Но князь Андрей не успел докончить, как в комнату вошел адъютант, который звал князя Долгорукова к императору.

— Ах, какая досада! — сказал Долгоруков, поспешно вставая и пожимая руки князя Андрея и Бориса. — Вы знаете, я очень рад сделать все, что от меня зависит, и для вас, и для этого милого молодого человека. — Он еще раз пожал руку Бориса с выражением добродушного, искреннего и оживленного легкомыслия. — Но вы видите... до другого раза!

Бориса волновала мысль о той близости к высшей власти, в которой он в эту минуту чувствовал себя. Он сознавал себя здесь в соприкосновении с теми пружинами, которые руководили всеми теми громадными движениями масс, которых он в своем полку чувствовал себя маленькою, покорною и ничтожною частью. Они вышли в коридор вслед за князем Долгоруковым и встретили выходившего (из той двери комнаты государя, в которую вошел Долгоруков) невысокого человека в штатском платье, с умным лицом и резкой чертой выставленной вперед челюсти, которая, не портя его, придавала ему особенную живость и изворотливость выражения. Этот невысокий человек кивнул, как своему, Долгорукову и пристально-холодным взглядом стал вглядываться в князя Андрея, идя прямо на него и, видимо, ожидая, чтобы князь Андрей поклонился ему или дал дорогу. Князь Андрей не сделал ни того, ни другого; в лице его выразилась злоба, и молодой человек, отвернувшись, прошел стороной коридора.

— Кто это? — спросил Борис.

[1] Прелестно

— Это один из самых замечательнейших, но неприятнейших мне людей. Это министр иностранных дел, князь Адам Чарторижский.

— Вот эти люди, — сказал Болконский со вздохом, который он не мог подавить, в то время как они выходили из дворца, — вот эти-то люди решают судьбы народов.

На другой день войска выступили в поход, и Борис не успел до самого Аустерлицкого сражения побывать ни у Болконского, ни у Долгорукова и остался еще на время в Измайловском полку.

X

На заре 16-го числа эскадрон Денисова, в котором служил Николай Ростов и который был в отряде князя Багратиона, двинулся с ночлега в дело, как говорили, и, пройдя около версты позади других колонн, был остановлен на большой дороге. Ростов видел, как мимо его прошли вперед казаки, 1-й и 2-й эскадрон гусар, пехотные батальоны с артиллерией и проехали генералы Багратион и Долгоруков с адъютантами. Весь страх, который он, как и прежде, испытывал перед делом, вся внутренняя борьба, посредством которой он преодолевал этот страх, все его мечтания о том, как он по-гусарски отличится в этом деле, — пропали даром. Эскадрон их был оставлен в резерве, и Николай Ростов скучно и тоскливо провел этот день. В девятом часу утра он услыхал пальбу впереди себя, крики «ура», видел привозимых назад раненых (их было немного) и, наконец, видел, как в середине сотни казаков провели целый отряд французских кавалеристов. Очевидно, дело было кончено, и дело было, очевидно, небольшое, но счастливое. Проходившие назад солдаты и офицеры рассказывали о блестящей победе, о занятии города Вишау и взятии в плен целого французского эскадрона. День был ясный, солнечный, после сильного ночного заморозка, и веселый блеск осеннего дня совпадал с известием о победе, которое передавали не только рассказы участвовавших в нем, но и радостное выражение лиц солдат, офицеров, генералов и адъютантов, ехавших туда и оттуда мимо Ростова. Тем больнее щемило сердце Николая, напрасно перестрадавшего весь страх, предшествующий сражению, и пробывшего этот веселый день в бездействии.

— Г'остов, иди сюда, выпьем с го'я! — крикнул Денисов, усевшись на краю дороги перед фляжкой и закуской.

Офицеры собрались кружком, закусывая и разговаривая, около погребца Денисова.

— Вот еще одного ведут! — сказал один из офицеров, указывая на французского пленного драгуна, которого вели пешком два казака.

Один из них вел в поводу взятую у пленного рослую и красивую французскую лошадь.

— Пг'одай лошадь! — крикнул Денисов казаку.

— Изволь, ваше благородие...

Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, альзасец, говоривший по-французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он

быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли; что он не виноват в том, что его взяли, а виноват le caporal, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял: mais qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval [1], и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собою свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш ариергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.

Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, теперь, получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее.

— Mais qu'on ne fasse pas de mal à mon petit cheval [1], — добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.

Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег.

— Алё, алё! — сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше.

— Государь! Государь! — вдруг послышалось между гусарами.

Все побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали.

Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе: он весь поглощен был чувством счастия, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что по мере приближения все светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос — этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос. Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя.

— Les huzards de Pavlograd? [2] — вопросительно сказал он.

— La réserve, sire! [3] — отвечал чей-то голос, столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал: «Les huzards de Pavlograd?»

Государь поравнялся с Ростовым и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую

[1] лошадку-то мою пожалейте
[1] А пожалейте лошадку
[2] Павлоградские гусары?
[3] Резерв, ваше величество!

четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было все-таки лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь все, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он все понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова. (Мягко и кротко лился из них свет.) Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом поехал вперед.

Услыхав пальбу в авангарде, молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в двенадцать часов, отделившись от третьей колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела.

Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно пока не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитою военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, энглизированной кобыле и, склонившись набок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутулые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади. Приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезшие с лошади адъютанты взяли под руки солдата и стали класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.

— Тише, тише, разве нельзя тише? — видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.

Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по-французски сказал Чарторижскому:

— Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! Quelle terrible chose que la guerre!

Войска авангарда расположились впереди Вишау, в виду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни. Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов, уже довольно выпивший, в конце пирушки предложил тост за здоровье государя, но «не государя императора, как говорят на официальных обедах, — сказал он, — а за здоровье государя, доброго,

обворожительного и великого человека; пьем за его здоровье и за верную победу над французами!»

— Коли мы прежде дрались, — сказал он, — и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же теперь будет, когда сам он впереди? Мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил; да я так чувствую, и вы тоже. За здоровье Александра Первого! Ура!

— Урра! — зазвучали воодушевленные голоса офицеров.

И старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов.

Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие и, в одной рубашке и рейтузах, с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе, взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами, белой грудью, видневшейся из-за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.

— Ребята, за здоровье государя императора, за победу над врагами, урра! — крикнул он своим молодецким, старогусарским баритоном.

Гусары столпились и дружно отвечали громким криком.

Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца'я влюбился, — сказал он.

— Денисов, ты этим не шути, — крикнул Ростов, — это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Ве'ю, ве'ю, дг'ужок, и г'азделяю и одоб'яю...

— Нет, не понимаешь!

И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.

XI

На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.

На заре 17-го числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии.

Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении мира и в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира.

Ввечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине.

18-го и 19-го ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19-го числа началось сильное хлопотливо-возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение.

До полудня 19-го числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров; после полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19-го на 20-е поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом восьмидесятитысячная масса союзного войска.

Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стре́лки, показывая результат движения.

Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, так же неудержимо до последнего результата раз данное движение, и так же безучастно неподвижны, за момент до передачи движения, части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент — зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему не понятны.

Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих ста шестидесяти тысяч русских и французов — всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей — был только проигрыш Аустелицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества.

Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем.

В шестом часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, зашел к обер-гофмаршалу графу Толстому.

Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем-то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что-то такое, чего другие не знают, и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым.

— Ну, здравствуйте, mon cher, — сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. — Праздник на завтра. Что ваш старик? не в духе?

— Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтоб его выслушали.

— Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело; но медлить и ждать чего-то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения — невозможно.

— Да, вы его видели? — сказал князь Андрей. — Ну, что Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас?

— Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, — повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. — Ежели бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне: он боится, боится генерального сражения, его час настал. Это я вам говорю.

— Но расскажите, как он, что? — еще спросил князь Андрей.

— Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтоб я ему говорил «ваше величество», но, к огорчению своему, не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек, и больше ничего, — отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина.

— Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, — продолжал он, — хороши мы были бы все, ожидая чего-то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов.

— Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, — сказал князь Андрей.

Ему хотелось высказать Долгорукову свой, составленный им, план атаки.

— Ах, это совершенно все равно, — быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. — Все случаи предвидены: ежели он стоит у Брюнна...

И князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера.

Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея.

— Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет: вы там можете все это высказать, — сказал Долгоруков.

— Я это и сделаю, — сказал князь Андрей, отходя от карты.

— И о чем вы заботитесь, господа? — сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. — Будет ли завтра победа или поражение, слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова, нет ни одного русского начальника колонн. Начальники: Herr general Wimpfen, le comte de Langeron, le prince de Lichtenstein, le prince de Hohenloe et enfin Prsch... prsch... et ainsi de suite, comme tous les noms polonais[1].

— Taisez-vous, mauvaise langue[2], — сказал Долгоруков. — Неправда, теперь уже два русских: Милорадович и Дохтуров, и был бы третий, граф Аракчеев, но у него нервы слабы.

— Однако Михаил Иларионович, я думаю, вышел, — сказал князь Андрей. — Желаю счастия и успеха, господа, — прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Билибину.

Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова о том, что он думает о завтрашнем сражении?

Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил:

— Я думаю, что сражение будет проиграно, и я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что же, ты думаешь, он мне ответил? Eh, mon cher général, je me mêle de riz et des côtelettes, mêlez-vous des affaires de la guerre [3] Да... Вот что мне отвечали!

XII

В десятом часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были потребованы к главнокомандующему, и, за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу.

Вейротер, бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своею оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Вейротер, очевидно, чувствовал себя во главе движения, которое стало уже неудержимо. Он был как запряженная лошадь,

[1] Господин генерал Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, князь Гогенлоэ и еще Прш... прш..., как все польские имена (нем. и франц.)

[2] Замолчите, злой язык

[3] И, любезный генерал! Я занят рисом и котлетами, а вы занимайтесь военными делами

разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез или его гнало, он не знал; но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение. Вейротер в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи неприятеля и два раза у государей, русского и австрийского, для доклада и объяснений, и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию. Он, измученный, приехал теперь к Кутузову.

Он, видимо, так был занят, что забывал даже быть почтительным с главнокомандующим: он перебивал его, говорил быстро, неясно, не глядя в лицо собеседника, не отвечая на делаемые ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и гордый.

Кутузов занимал небольшой дворянский за́мок около Остралиц. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались: сам Кутузов, Вейротер и члены военного совета. Они пили чай. Ожидали только князя Багратиона, чтобы приступить к военному совету. В восьмом часу приехал ординарец Багратиона с известием, что князь быть не может. Князь Андрей пришел доложить о том главнокомандующему и, пользуясь прежде данным ему Кутузовым позволением присутствовать при совете, остался в комнате.

— Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, — сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна.

Кутузов, в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники, и почти спал. На звук голоса Вейротера он с усилием открыл единственный глаз.

— Да, да, пожалуйста, а то поздно, — проговорил он и, кивнув головой, опустил ее и опять закрыл глаза.

Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности — сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, взглянул на Кутузова и, убедившись, что он спит, взял бумагу и громким однообразным тоном начал читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел:

«Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница, 20 ноября 1805 года».

Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной диспозиции значилось:

Da der Feind mit seinem linken Flügel an die mit Wald bedeckten Berge lehnt und sich mit seinem rechten Flügel längs Kobelnitz und Sokolnitz hinter die dort befindlichen

Teiche zieht, wir im Gegenteil mit unserem linken Flügel seinen rechten sehr debordieren, so ist es vorteilhaft letzteren Flügel des Feindes zu attackieren, besonders wenn wir die Dörfer Sokolnitz und Kobelnitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Fläche zwischen Schlapanitz und dem Thuerassa-Walde verfolgen können, indem wir dem Defileen von Schlapanitz und Bellowitz ausweichen, welche die feindliche Front decken. Zu diesem Endzwecke ist es nötig... Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... die dritte Kolonne marschiert...[1] и т. д., — читал Вейротер.

Генералы, казалось, неохотно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, остановив свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе, оперев руки с выгнутыми наружу локтями на колени, сидел румяный Милорадович, с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но по значению этого значительного взгляда нельзя было понять, был ли он согласен или не согласен, доволен или не доволен диспозицией. Ближе всех к Вейротеру сидел граф Ланжерон и с топкой улыбкой южного французского лица, не покидавшей его во все время чтения, глядел на свои тонкие пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательное движение табакерки, поднял голову и с неприятной учтивостью на самых концах тонких губ перебил Вейротера и хотел сказать что-то; но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито нахмурился и замахал локтями, как бы говоря: потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать. Ланжерон поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснения, но, встретив значительный, ничего не значащий взгляд Милорадовича, грустно опустил глаза и опять принялся вертеть табакерку.

— Une leçon de géographie[2], — проговорил он как бы про себя, но довольно громко, чтоб его слышали.

Пржебышевский с почтительной, но достойной учтивостью пригнул рукою ухо к Вейротеру, имея вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом Дохтуров сидел прямо против Вейротера с старательным и скромным видом и, нагнувшись над разложенною картой, добросовестно изучал диспозицию и неизвестную ему местность. Он несколько раз просил Вейротера повторять нехорошо

[1] Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница, позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо если мы займем деревни Сокольниц и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападать на фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и лесом Тюрасским и избегая дефилеи между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо... Первая колонна марширует... вторая колонна марширует... третья колонна марширует... (нем.)

[2] Урок из географии

расслышанные им слова и трудные наименования деревень. Вейротер исполнял его желание, и Дохтуров записывал.

Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Ланжерон, опять оставив табакерку и не глядя на Вейротера и ни на кого особенно, начал говорить о том, как трудно было исполнить такую диспозицию, где положение неприятеля предполагается известным, тогда как положение неприятеля предполагается известным, тогда как положение это может быть нам неизвестно, так как неприятель находится в движении. Возражения Ланжерона были основательны, но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру, столь самоуверенно, как школьникам-ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротера, Кутузов открыл глаза, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон, и, как будто говоря: «А вы всё еще про эти глупости!», поспешно закрыл глаза и еще ниже опустил голову.

Стараясь как можно язвительнее оскорбить Вейротера в его авторском военном самолюбии, Ланжерон доказывал, что Бонапарте легко может атаковать, вместо того чтобы быть атакованным, и вследствие того сделает всю эту диспозицию совершенно бесполезною. Вейротер на все возражения отвечал твердой презрительной улыбкой, очевидно, вперед приготовленною для всякого возражения, независимо от того, что бы ему ни говорили.

— Ежели бы он мог атаковать нас, то он нынче бы это сделал, — сказал он.

— Вы, стало быть, думаете, что он бессилен? — сказал Ланжерон.

— Много, если у него сорок тысяч войска, — отвечал Вейротер с улыбкой доктора, которому лекарка хочет указать средства лечения.

— В таком случае он идет на свою погибель, ожидая нашей атаки, — с тонкой иронической улыбкой сказал Ланжерон, за подтверждением оглядываясь опять на ближайшего Милорадовича.

Но Милорадович, очевидно, в эту минуту думал менее всего о том, о чем спорили генералы.

— Ma foi[1], — сказал он, — завтра всё увидим на поле сражения.

Вейротер усмехнулся опять тою улыбкой, которая говорила, что ему смешно и странно встречать возражения от русских генералов и доказывать то, в чем не только он сам слишком хорошо был уверен, но в чем уверены были им государи императоры.

— Неприятель потушил огни, и слышен непрерывный шум в его лагере, — сказал он. — Что это значит? Или он удаляется, чего одного мы должны бояться, или он переменяет позицию (он усмехнулся). Но даже ежели бы он и занял позицию в Тюрасе, он только избавляет нас от больших хлопот, и распоряжения все, до малейших подробностей, остаются те же.

[1] Ей-богу — Ред.

— Каким же образом?.. — сказал князь Андрей, уже давно выжидавший случая выразить свои сомнения.

Кутузов проснулся, тяжело откашлялся и оглянул генералов.

— Господа, диспозиция на завтра, даже на нынче (потому что уже первый час), не может быть изменена, — сказал он. — Вы ее слышали, и все мы исполним наш долг. А перед сражением нет ничего важнее... (он помолчал) как выспаться хорошенько.

Он сделал вид, что привстает. Генералы откланялись и удалились. Было уже за полночь. Князь Андрей вышел.

Военный совет, на котором князю Андрею не удалось высказать своего мнения, как он надеялся, оставил в нем неясное и тревожное впечатление. Кто был прав: Долгоруков с Вейротером или Кутузов с Ланжероном и другими, не одобрявшими план атаки, он не знал. «Но неужели нельзя было Кутузову прямо высказать государю свои мысли? Неужели это не может иначе делаться? Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, моей жизнью?» — думал он.

«Да, очень может быть, завтра убьют», — подумал он. И вдруг, при этой мысли о смерти, целый ряд воспоминаний, самых далеких и самых задушевных, восстал в его воображении; он вспоминал последнее прощание с отцом и женою; он вспомнил первые времена своей любви к ней; вспомнил о ее беременности, и ему стало жалко и ее и себя, и он в первично-размягченном и взволнованном состоянии вышел из избы, в которой он стоял с Несвицким, и стал ходить перед домом.

Ночь была туманная, и сквозь туман таинственно пробивался лунный свет. «Да, завтра, завтра! — думал он. — Завтра, может быть, все будет кончено для меня, всех этих воспоминаний не будет более, все эти воспоминания не будут иметь для меня более никакого смысла. Завтра же, может быть, — даже наверное завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать». И ему представилось сражение, потеря его, сосредоточение боя на одном пункте и замешательство всех начальствующих лиц. И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он, наконец представляется ему. Он твердо и ясно говорит свое мнение Кутузову, и Вейротеру, и императорам. Все поражены верностью его соображения, но никто не берется исполнить его, и вот он берет полк, дивизию, выговаривает условие, чтоб уже никто не вмешивался в его распоряжения, и ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. А смерть и страдания? — говорит другой голос. Но князь Андрей не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Он носит звание дежурного по армии при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он... Ну, а потом? — говорит опять другой голос, — а потом, ежели ты десять раз прежде этого не будешь ранен, убит или обманут; ну, а потом чтó ж? «Ну, а потом... — отвечает сам себе князь Андрей, — я не знаю, что будет потом, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то ведь я не виноват, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь

людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, — самые дорогие мне люди, — но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать, за любовь вот этих людей», — подумал он, прислушиваясь к говору на дворе Кутузова. На дворе Кутузова слышались голоса укладывавшихся денщиков; один голос, вероятно кучера, дразнившего старого кутузовского повара, которого знал князь Андрей и которого звали Титом, говорил: «Тит, а Тит?»

— Ну, — отвечал старик.

— Тит, ступай молотить, — говорил шутник.

— Тьфу, ну те к черту, — раздавался голос, покрываемый хохотом денщиков и слуг.

«И все-таки я люблю и дорожу только торжеством над всеми ими, дорожу этой таинственной силой и славой, которая вот тут надо мной носится в этом тумане!»

XIII

Ростов в эту ночь был со взводом во фланкёрской цепи, впереди отряда Багратиона. Гусары его попарно были рассыпаны в цепи; сам он ездил верхом по этой линии цепи, стараясь преодолеть сон, непреодолимо клонивший его. Позади его видно было огромное пространство неясно горевших в тумане костров нашей армии; впереди его была туманная темнота. Сколько ни вглядывался Ростов в эту туманную даль, он ничего не видел: то серелось, то как будто чернелось что-то; то мелькали как будто огоньки, там, где должен быть неприятель; то ему думалось, что это только в глазах блестит у него. Глаза его закрывались, и в воображении представлялся то государь, то Денисов, то московские воспоминания, и он опять поспешно открывал глаза, и близко перед собой он видел голову и уши лошади, на которой он сидел, иногда черные фигуры гусар, когда он в шести шагах наезжал на них, а вдали все ту же туманную темноту. «Отчего же? очень может быть, — думал Ростов, — что государь, встретив меня, даст поручение, как и всякому офицеру, скажет: „Поезжай, узнай, что там“. Много рассказывали же, как совершенно случайно он узнал так какого-то офицера и приблизил к себе. Что, ежели бы он приблизил меня к себе! О, как бы я охранял его, как бы я говорил ему всю правду, как бы я изобличал его обманщиков!» И Ростов, для того чтобы живо представить себе свою любовь и преданность государю, представлял себе врага или обманщика-немца, которого он с наслаждением не только убивал, но по щекам бил в глазах государя. Вдруг дальний крик разбудил Ростова. Он вздрогнул и открыл глаза.

«Где я? Да, в цепи; лозунг и пароль — дышло, Ольмюц. Экая досада, что завтра эскадрон наш будет в резервах... — подумал он. — Попрошусь в дело. Это, может быть, единственный случай увидать государя. Да, теперь недолго до смены. Объеду еще раз и, как вернусь, пойду к генералу и попрошу его». Он поправился на седле и тронул лошадь, чтобы еще раз объехать своих гусар. Ему показалось, что было светлей. В левой стороне виднелся пологий освещенный скат и противоположный черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно,

которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная месяцем, или оставшийся снег, или белые дома? Ему показалось даже, что по этому белому пятну зашевелилось что-то. «Должно быть, снег — это пятно; пятно — une tache, — думал Ростов. — Вот тебе и не таш...»

«Наташа, сестра, черные глаза. На...ташка... (Вот удивится, когда ей скажу, как я увидал государя!) Наташку... ташку возьми...» — «Поправей-то, ваше благородие, а то тут кусты», — сказал голос гусара, мимо которого, засыпая, проезжал Ростов. Ростов вдруг поднял голову, которая опустилась уже до гривы лошади, и остановился подле гусара. Молодой детский сон непреодолимо клонил его. «Да, бишь, что я думал? — не забыть. Как с государем говорить буду? Нет, не то — это завтра. Да, да! На ташку, наступить... тупить нас — кого? Гусаров. А гусары и усы... По Тверской ехал этот гусар с усами, еще я подумал о нем, против самого Гурьева дома... Старик Гурьев... Эх, славный малый Денисов! Да, все это пустяки. Главное теперь — государь тут. Как он на меня смотрел, и хотелось ему что-то сказать, да он не смел... Нет, это я не смел. Да это пустяки, а главное — не забывать, что я нужное-то думал, да. На — ташку, нас — тупить, да, да, да. Это хорошо». И он опять упал головой на шею лошади. Вдруг ему показалось, что в него стреляют. «Что? Что? Что!.. Руби! Что?..» — заговорил, очнувшись, Ростов. В то мгновение, как он открыл глаза, Ростов услыхал перед собой, там, где был неприятель, протяжные крики тысячи голосов. Лошади его и гусара, стоявшего подле него, насторожили уши на эти крики. На том месте, с которого слышались крики, зажегся и потух один огонек, потом другой, и по всей линии французских войск на горе зажглись огни, и крики все более и более усиливались. Ростов слышал звуки французских слов, но не мог их разобрать. Слишком много гудело голосов. Только и слышно было: аааа! и рррр!

— Что это? Ты как думаешь? — обратился Ростов к гусару, стоявшему подле него. — Ведь это у неприятеля?

Гусар ничего не ответил.

— Что ж, ты разве не слышишь? — довольно долго подождав ответа, опять спросил Ростов.

— А кто ё знает, ваше благородие, — неохотно отвечал гусар.

— По месту, должно быть, неприятель? — опять повторил Ростов.

— Може, он, а може, и так, — проговорил гусар, — дело ночное. Ну! шали! — крикнул он на свою лошадь, шевелившуюся под ним.

Лошадь Ростова тоже торопилась, била ногой по мерзлой земле, прислушиваясь к звукам и приглядываясь к огням. Крики голосов всё усиливались и усиливались и слились в общий гул, который могла произвести только несколькотысячная армия. Огни больше и больше распространялись, вероятно, по линии французского лагеря. Ростову уже не хотелось спать. Веселые, торжествующие крики в неприятельской армии возбудительно действовали на него. «Vive l'empereur, l'empereur!»[1] — уже ясно слышалось теперь Ростову.

— А недалеко, — должно быть, за ручьем, — сказал он стоявшему подле него гусару.

[1] Виват император, император!

Гусар только вздохнул, ничего не отвечая, и прокашлялся сердито. По линии гусар послышался топот ехавшего рысью конного, и из ночного тумана вдруг выросла, представляясь громадным слоном, фигура гусарского унтер-офицера.

— Ваше благородие, генералы! — сказал унтер-офицер, подъезжая к Ростову.

Ростов, продолжая оглядываться на огни и крики, поехал с унтер-офицером навстречу нескольким верховым, ехавшим по линии. Один был на белой лошади. Князь Багратион с князем Долгоруковым и адъютантами выехали посмотреть на странное явление огней и криков в неприятельской армии. Ростов, подъехав к Багратиону, рапортовал ему и присоединился к адъютантам, прислушиваясь к тому, что говорили генералы.

— Поверьте, — говорил князь Долгоруков, обращаясь к Багратиону, — что это больше ничего как хитрость: он отступил и в ариергарде велел зажечь огни и шуметь, чтоб обмануть нас.

— Едва ли, — сказал Багратион, — с вечера я их видел на том бугре; коли ушли, так и оттуда снялись. Господин офицер, — обратился князь Багратион к Ростову, — стоят там еще его фланкёры?

— С вечера стояли. А теперь не могу знать, ваше сиятельство. Прикажите, я съезжу с гусарами, — сказал Ростов.

Багратион остановился и, не отвечая, в тумане старался разглядеть лицо Ростова.

— А что ж, съездите, — сказал он, помолчав немного.

— Слушаю-с.

Ростов дал шпоры лошади, окликнул унтер-офицера Федченку и еще двух гусар, приказал им ехать за собою и рысью поехал под гору по направлению к все продолжавшимся крикам. Ростову и жутко и весело было ехать одному с тремя гусарами туда, в эту таинственную и опасную туманную даль, где никто не был прежде его. Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов, и, не останавливаясь, ехал дальше и дальше, беспрестанно обманываясь, принимая кусты за деревья и рытвины за людей и беспрестанно объясняя свои обманы. Спустившись рысью под гору, он уже не видал ни наших, ни неприятельских огней, но громче, яснее слышал крики французов. В лощине он увидал перед собой что-то вроде реки, но когда он доехал до нее, он узнал проезженную дорогу. Выехав на дорогу, он придержал лошадь в нерешительности: ехать по ней или пересечь ее и ехать по черному полю в гору. Ехать по светлевшей в тумане дороге было безопаснее, потому что скорее можно было рассмотреть людей. «Пошел за мной», — проговорил он, пересек дорогу и стал подниматься галопом на гору, к тому месту, где с вечера стояли французские пикеты.

— Ваше благородие, вот он! — проговорил сзади один из гусар.

И не успел еще Ростов разглядеть что-то, вдруг зачерневшееся в тумане, как блеснул огонек, щелкнул выстрел, и пуля, как будто жалуясь на что-то, зажужжала высоко в тумане и вылетела из слуха. Другое ружье не выстрелило, но блеснул огонек на полке. Ростов повернул лошадь и галопом поехал назад. Еще раздались в разных промежутках четыре выстрела, и на разные тоны запели пули где-то в тумане. Ростов

придержал лошадь, повеселевшую так же, как и он, от выстрелов, и поехал шагом. «Ну-ка еще, ну-ка еще!» — говорил в его душе какой-то веселый голос. Но выстрелов больше не было.

Только подъезжая к Багратиону, Ростов опять пустил свою лошадь в галоп и, держа руку у козырька, подъехал к нему.

Долгоруков все настаивал на своем мнении, что французы отступили и только для того, чтобы обмануть нас, разложили огни.

— Что же это доказывает? — говорил он в то время, как Ростов подъехал к ним. — Они могли отступить и оставить пикеты.

— Видно, еще не все ушли, князь, — сказал Багратион. — До завтрашнего утра, завтра всё узнаем.

— На горе пикет, ваше сиятельство, все там же, где был с вечера, — доложил Ростов, нагибаясь вперед, держа руку у козырька и не в силах удержать улыбку веселья, вызванного в нем его поездкой и, главное, звуками пуль.

— Хорошо, хорошо, — сказал Багратион, — благодарю вас, господин офицер.

— Ваше сиятельство, — сказал Ростов, — позвольте вас просить.

— Что такое?

— Завтра эскадрон наш назначен в резервы; позвольте вас просить прикомандировать меня к первому эскадрону.

— Как фамилия?

— Граф Ростов.

— А, хорошо. Оставайся при мне ординарцем.

— Ильи Андреича сын? — сказал Долгоруков.

Но Ростов не отвечал ему.

— Так я буду надеяться, ваше сиятельство.

— Я прикажу.

«Завтра, очень может быть, пошлют с каким-нибудь приказанием к государю, — подумал он. — Слава Богу!»

Крики и огни в неприятельской армии происходили оттого, что в то время, как по войскам читали приказ Наполеона, сам император верхом объезжал свои бивуаки. Солдаты, увидав императора, зажигали пуки соломы и с криками «vive l'empereur!» бежали за ним. Приказ Наполеона был следующий:

«Солдаты! Русская армия выходит против вас, чтобы отмстить за австрийскую, ульмскую армию. Это те же батальоны, которые вы разбили при Голлабрунне и которые вы с тех пор преследовали постоянно до этого места. Позиции, которые мы занимаем, — могущественны, и пока они будут идти, чтоб обойти меня справа, они выставят мне фланг! Солдаты! Я сам буду руководить вашими батальонами. Я буду держаться далеко от огня, если вы, с вашей обычной храбростью, внесете в ряды неприятельские беспорядок и смятение; но если победа будет хоть одну минуту сомнительна, вы увидите вашего императора, подвергающегося первым ударам неприятеля, потому что не может быть колебания в победе, особенно в тот день, в который идет речь о чести французской пехоты, которая так необходима для чести своей нации.

Под предлогом увода раненых не расстраивать ряда! Каждый да будет вполне проникнут мыслию, что надо победить этих наемников Англии, воодушевленных такою ненавистью против нашей нации. Эта победа окончит наш поход, и мы можем возвратиться на зимние квартиры, где застанут нас новые французские войска, которые формируются во Франции; и тогда мир, который я заключу, будет достоин моего народа, вас и меня.

Наполеон».

XIV

В пять часов утра еще было совсем темно. Войска центра, резервов и правый фланг Багратиона стояли еще неподвижно, но на левом фланге колонны пехоты, кавалерии и артиллерии, долженствовавшие первые спуститься с высот, для того чтобы атаковать французский правый фланг и отбросить его, по диспозиции, в Богемские горы, уже зашевелились и начали подниматься с своих ночлегов. Дым от костров, в которые бросали все лишнее, ел глаза. Было холодно и темно. Офицеры торопливо пили чай и завтракали, солдаты пережевывали сухари, отбивали ногами дробь, согреваясь, и стекались против огней, бросая в дрова остатки балаганов, стулья, столы, колеса, кадушки, все лишнее, что нельзя было увезти с собою. Австрийские колонновожатые сновали между русскими войсками и служили предвестниками выступления. Как только показывался австрийский офицер около стоянки полкового командира, полк начинал шевелиться: солдаты сбегались от костров, прятали в голенища трубочки, мешочки в повозки, разбирали ружья и строились. Офицеры застегивались, надевали шпаги и ранцы и, покрикивая, обходили ряды; обозные и денщики запрягали, укладывали и увязывали повозки. Адъютанты, батальонные и полковые командиры садились верхами, крестились, отдавали последние приказания, наставления и поручения остающимся обозным, и звучал однообразный топот тысячей ног. Колонны двигались, не зная куда и не видя от окружавших людей, от дыма и от усиливающегося тумана ни той местности, из которой они выходили, ни той, в которую они вступали.

Солдат в движении так же окружен, ограничен и влеком своим полком, как моряк кораблем, на котором он находится. Как бы далеко он ни прошел, в какие бы странные, неведомые и опасные широты ни вступил он, вокруг него — как для моряка всегда и везде те же палубы, мачты, канаты своего корабля — всегда и везде те же товарищи, те же ряды, тот же фельдфебель Иван Митрич, та же ротная собака Жучка, то же начальство. Солдат редко желает знать те широты, в которых находится весь корабль его; но в день сражения, Бог знает как и откуда, в нравственном мире войска слышится одна для всех строгая нота, которая звучит приближением чего-то решительного и торжественного и вызывает их на несвойственное им любопытство. Солдаты в дни сражений возбужденно стараются выйти из интересов своего полка, прислушиваются, приглядываются и жадно расспрашивают о том, что делается вокруг них.

Туман стал так силен, что, несмотря на то, что рассветало, не видно было в десяти шагах перед собою. Кусты казались громадными деревьями, ровные места — обрывами и скатами. Везде, со всех сторон, можно было столкнуться с невидимым в десяти шагах неприятелем. Но долго шли колонны всё в том же тумане, спускаясь и

поднимаясь на горы, минуя сады и ограды, по новой, непонятной местности, нигде не сталкиваясь с неприятелем. Напротив того, то впереди, то сзади, со всех сторон, солдаты узнавали, что идут по тому же направлению наши русские колонны. Каждому солдату приятно становилось на душе оттого, что он знал, что туда же, куда он идет, то есть неизвестно куда, идет еще много, много наших.

— Ишь ты, и курские прошли, — говорили в рядах.

— Страсть, братец ты мой, что войски нашей собралось! Вечор, посмотрел, как огни разложили, конца-краю не видать. Москва — одно слово!

Хотя никто из колонных начальников не подъезжал к рядам и не говорил с солдатами (колонные начальники, как мы видели на военном совете, были не в духе и недовольны предпринимаемым делом и потому только исполняли приказания и не заботились о том, чтобы повеселить солдат), несмотря на то, солдаты шли весело, как и всегда идя в дело, в особенности в наступательное. Но, пройдя около часу всё в густом тумане, большая часть войска должна была остановиться, и по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и бестолковщины. Каким образом передается это сознание, весьма трудно определить; но несомненно то, что оно передается необыкновенно верно и быстро разливается, незаметно и неудержимо, как вода по лощине. Ежели бы русское войско было одно, без союзников, то, может быть, еще прошло бы много времени, пока это сознание беспорядка сделалось бы общею уверенностью; но теперь, с особенным удовольствием и естественностью относя причину беспорядков к бестолковым немцам, все убедились в том, что происходит вредная путаница, которую наделали колбасники.

— Что стали-то? Аль загородили? Или уж на француза наткнулись?

— Нет, не слыхать. А то палить бы стал.

— То-то торопили выступать, а выступили — стали без толку посереди поля, — всё немцы проклятые путают. Эки черти бестолковые!

— То-то я бы их и пустил наперед. А то небось позади жмутся. Вот и стой теперь не емши.

— Да что, скоро ли там? Кавалерия, говорят, дорогу загородила, — говорил офицер.

— Эй, немцы проклятые, своей земли не знают! — говорил другой.

— Вы какой дивизии? — кричал, подъезжая, адъютант.

— Осьмнадцатой.

— Так зачем же вы здесь? вам давно бы впереди должно быть, теперь до вечера не пройдете. Вот распоряжения-то дурацкие; сами не знают, что делают, — говорил офицер и отъезжал.

Потом проезжал генерал и сердито не по-русски кричал что-то.

— Тафа-лафа, а что бормочет, ничего не разберешь, — говорил солдат, передразнивая отъехавшего генерала. — Расстрелял бы я их, подлецов!

— В девятом часу велено на месте быть, а мы и половины не прошли. Вот так распоряжения! — повторялось с разных сторон.

И чувство энергии, с которым выступали в дело войска, начало обращаться в досаду и в злобу на бестолковые распоряжения и на немцев.

Причина путаницы заключалась в том, что во время движения австрийской кавалерии, шедшей на левом фланге, высшее начальство нашло, что наш центр слишком отдален от правого фланга, и всей кавалерии велено было перейти на правую сторону. Несколько тысяч кавалерии продвигалось перед пехотой, и пехота должна была ждать.

Впереди произошло столкновение между австрийским колонновожатым и русским генералом. Русский генерал кричал, требуя, чтобы остановлена была конница; австриец доказывал, что виноват был не он, а высшее начальство. Войска между тем стояли, скучая и падая духом. После часовой задержки войска двинулись, наконец, дальше и стали спускаться под гору. Туман, расходившийся на горе, только гуще расстилался в низах, куда спустились войска. Впереди, в тумане, раздался один, другой выстрел, сначала нескладно, в разных промежутках: трат-та... тат, а потом все складнее и чаще, и завязалось дело над речкою Гольдбахом.

Не рассчитывая встретить внизу над речкою неприятеля и нечаянно в тумане наткнувшись на него, не слыша сло́ва одушевления от высших начальников, с распространившимся по войскам сознанием, что было опоздано, и, главное, в густом тумане не видя ничего впереди и кругом себя, русские лениво и медленно перестреливались с неприятелем, подвигались вперед и опять останавливались, не получая вовремя приказаний от начальников и адъютантов, которые блудили по туману в незнакомой местности, не находя своих частей войск. Так началось дело для первой, второй и третьей колонны, которые спустились вниз. Четвертая колонна, при которой находился сам Кутузов, стояла на Праценских высотах.

В низах, где началось дело, был все еще густой туман, наверху прояснело, но все не видно было ничего из того, что происходило впереди. Были ли все силы неприятеля, как мы предполагали, за десять верст от нас, или он был тут, в этой черте тумана, — никто не знал, до девятого часа.

Было девять часов утра. Туман сплошным морем расстилался понизу, но при деревне Шлапанице, на высоте, на которой стоял Наполеон, окруженный своими маршалами, было совершенно светло. Над ним было ясное голубое небо, и огромный шар солнца, как огромный пустотелый багровый поплавок, колыхался на поверхности молочного моря тумана. Не только все французские войска, но сам Наполеон со штабом находился не по ту сторону ручьев и низов деревень Сокольниц и Шлапаниц, за которыми мы намеревались занять позицию и начать дело, но по сю сторону, так близко от наших войск, что Наполеон простым глазом мог в нашем войске отличать конного от пешего. Наполеон стоял несколько впереди своих маршалов на маленькой серой арабской лошади, в синей шинели, в той самой, в которой он делал итальянскую кампанию. Он молча вглядывался в холмы, которые как бы выступали из моря тумана и по которым вдалеке двигались русские войска, и прислушивался к звукам стрельбы в лощине. В то время еще худое лицо его не шевелилось ни одним мускулом; блестящие глаза были неподвижно устремлены на

одно место. Его предположения оказались верными. Русские войска частью уже спустились в лощину к прудам и озерам, частью очищали те Праценские высоты, которые он намерен был атаковать и считал ключом позиции. Он видел среди тумана, как в углублении, составляемом двумя горами около деревни Прац, всё по одному направлению к лощинам двигались, блестя штыками, русские колонны и одна за другою скрывались в море тумана. По сведениям, полученным им с вечера, по звукам колес и шагов, слышанным ночью на аванпостах, по беспорядочности движения русских колонн, по всем предположениям он ясно видел, что союзники считали его далеко впереди себя, что колонны, двигавшиеся близ Працена, составляли центр русской армии и что центр уже достаточно ослаблен для того, чтобы успешно атаковать его. Но он все еще не начинал дела.

Нынче был для него торжественный день — годовщина его коронования. Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, веселый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором все кажется возможным и все удается, сел на лошадь и выехал в поле. Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. Он смотрел то на Праценские высоты, то на выплывавшее из тумана солнце.

Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим блеском брызнуло по полям и туману (как будто он только ждал этого для начала дела), он снял перчатку с красивой белой руки, сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопутствуемые адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут быстро двинулись главные силы французской армии к тем Праценским высотам, которые все более и более очищались русскими войсками, спускавшимися налево в лощину.

XV

В восемь часов Кутузов выехал верхом к Працу, впереди четвертой милорадовичевской колонны, той, которая должна была занять места колонн Пржебышевского и Ланжерона, спустившихся уже вниз. Он поздоровался с людьми переднего полка и отдал приказание к движению, показывая тем, что он сам намерен был вести эту колонну. Выехав к деревне Прац, он остановился. Князь Андрей, в числе огромного количества лиц, составлявших свиту главнокомандующего, стоял позади его. Князь Андрей чувствовал себя взволнованным, раздраженным и вместе с тем сдержанно спокойным, каким бывает человек при наступлении давно желанной минуты. Он твердо был уверен, что нынче был день его Тулона или его Аркольского моста. Как это случится, он не знал, но он твердо был уверен, что это будет. Местность и положение наших войск были ему известны, насколько они могли быть известны кому-нибудь из нашей армии. Его собственный стратегический план, который, очевидно, теперь и думать нечего было привести в исполнение, был им забыт. Теперь, уже входя в план Вейротера, князь Андрей обдумывал могущие произойти

случайности и делал новые соображения, такие, в которых могли бы потребоваться его быстрота соображения и решительность.

Налево внизу, в тумане, слышалась перестрелка между невидными войсками. Там, казалось князю Андрею, сосредоточится сражение, там встретится препятствие, и «туда-то я буду послан, — думал он, — с бригадой или дивизией, и там-то со знаменем в руке я пойду вперед и сломлю все, что будет предо мной».

Князь Андрей не мог равнодушно смотреть на знамена проходивших батальонов. Глядя на знамя, ему все думалось: может быть, это то самое знамя, с которым мне придется идти впереди войск.

Ночной туман к утру оставил на высотах только иней, переходивший в росу, в лощинах же туман расстилался еще молочно-белым морем. Ничего не было видно в той лощине налево, куда спустились наши войска и откуда долетали звуки стрельбы. Над высотами было темное ясное небо, и направо — огромный шар солнца. Впереди, далеко, на том берегу туманного моря виднелись выступающие лесистые холмы, на которых должна была быть неприятельская армия, и виднелось что-то. Вправо вступала в область тумана гвардия, звучавшая топотом и колесами и изредка блестевшая штыками; налево, за деревней, такие же массы кавалерии подходили и скрывались в море тумана. Спереди и сзади двигалась пехота. Главнокомандующий стоял на выезде деревни, пропуская мимо себя войска. Кутузов в это утро казался изнуренным и раздражительным. Шедшая мимо его пехота остановилась без приказания, очевидно потому, что впереди что-нибудь задержало ее.

— Да скажите же, наконец, чтобы строились в батальонные колонны и шли в обход деревни, — сердито сказал Кутузов подъехавшему генералу. — Как же вы не поймете, ваше превосходительство, милостивый государь, что растянуться по этому дефилею улицы деревни нельзя, когда мы идем против неприятеля.

— Я предполагал построиться за деревней, ваше высокопревосходительство, — отвечал генерал.

Кутузов желчно засмеялся.

— Хороши вы будете, развертывая фронт в виду неприятеля, очень хороши!

— Неприятель еще далеко, ваше высокопревосходительство. По диспозиции...

— Диспозиция, — желчно вскрикнул Кутузов, — а это вам кто сказал?.. Извольте делать, что вам приказывают.

— Слушаюсь-с!

— Mon cher, — сказал шепотом князю Андрею Несвицкий, — le vieux est d'une humeur de chien[1].

К Кутузову подскакал австрийский офицер с зеленым плюмажем на шляпе, в белом мундире и спросил от имени императора: выступила ли в дело четвертая колонна.

Кутузов, не отвечая ему, отвернулся, и взгляд его нечаянно попал на князя Андрея, стоявшего подле него. Увидав Болконского, Кутузов смягчил злое и едкое выражение взгляда, как бы сознавая, что его адъютант не был виноват в том, что делалось. И, не отвечая австрийскому адъютанту, он обратился к Болконскому:

[1] Ну, любезный, старик сильно не в духе

— Allez voir, mon cher, si la troisième division a dépassé le village. Dites-lui de s'arrêter et d'attendre mes ordres[1].

Только что князь Андрей отъехал, он остановил его.

— Et demandez-lui, si les tirailleurs sont postés, — прибавил он. — Ce qu'ils font, ce qu'ils font! [2] — проговорил он про себя, все не отвечая австрийцу.

Князь Андрей поскакал исполнять поручение.

Обогнав все шедшие впереди батальоны, он остановил третью дивизию и убедился, что действительно впереди наших колонн не было стрелковой цепи. Полковой командир бывшего впереди полка был очень удивлен переданным ему от главнокомандующего приказанием рассыпать стрелков. Полковой командир стоял тут в полной уверенности, что впереди его есть еще войска и что неприятель не может быть ближе десяти верст. Действительно, впереди ничего не было видно, кроме пустынной местности, склоняющейся вперед и застланной густым туманом. Приказав от имени главнокомандующего исполнить упущенное, князь Андрей поскакал назад. Кутузов стоял все на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза. Войска уже не двигались, а стояли ружья к ноге.

— Хорошо, хорошо, — сказал он князю Андрею и обратился к генералу, который с часами в руках говорил, что пора бы двигаться, так как все колонны с левого фланга уже спустились.

— Еще успеем, ваше превосходительство, — сквозь зевоту проговорил Кутузов. — Успеем! — повторил он.

В это время позади Кутузова послышались вдали звуки здоровающихся полков, и голоса эти стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровались, ехал скоро. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал несколько в сторону и, сморщившись, оглянулся. По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них крупным галопом скакали рядом впереди остальных. Один был в черном мундире с белым султаном, на рыжей англизированной лошади, другой в белом мундире, на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал «смирно» стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салютовал ему.

Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробежало по молодому и счастливому лицу императора и исчезло. Он был, после нездоровья, несколько худее в этот день, чем на Ольмюцком поле, где его в первый раз за границей видел Болконский; но то же обворожительное соединение величавости и кротости было в его прекрасных серых глазах, и на тонких губах та же возможность разнообразных выражений и преобладающее выражение благодушной, невинной молодости.

---

[1] Ступайте, мой милый, посмотрите, прошла ли третья дивизия через деревню. Велите ей остановиться и ждать моего приказания

[2] И спросите, поставлены ли застрельщики. Что делают, что делают!

На ольмюцком смотру он был величавее, здесь он был веселее и энергичнее. Он несколько разрумянился, прогалопировав эти три версты, и, остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные, как и его, лица своей свиты. Чарторижский и Новосильцев, и князь Волконский и Строганов, и другие, все богато одетые, веселые молодые люди, на прекрасных, выхоленных, свежих, только что слегка вспотевших лошадях, переговариваясь и улыбаясь, остановились позади государя. Император Франц, румяный длиннолицый молодой человек, чрезвычайно прямо сидел на красивом вороном жеребце и озабоченно и неторопливо оглядывался вокруг себя. Он подозвал одного из своих белых адъютантов и спросил что-то. «Верно, в котором часу они выехали», — подумал князь Андрей, наблюдая своего старого знакомого, с улыбкой, которой он не мог удержать, вспоминая свою аудиенцию. В свите императоров были отобранные молодцы-ординарцы, русские и австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейторами в расшитых попонах красивые запасные царские лошади.

Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи.

— Что же вы не начинаете, Михаил Ларионович? — поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.

— Я поджидаю, ваше величество, — отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.

Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал.

— Поджидаю, ваше величество, — повторил Кутузов (князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил это «поджидаю»). — Не все колонны еще собрались, ваше величество.

Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему; он пожал сутуловатыми плечами, взглянул на Новосильцева, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на Кутузова.

— Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки, — сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его если не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал.

— Потому и не начинаю, государь, — сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло. — Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном Лугу, — выговорил он ясно и отчетливо.

В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить этак», — выразили эти лица.

Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов с своей стороны, почтительно нагнув голову, тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты.

— Впрочем, если прикажете, ваше величество, — сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала.

Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению.

Войско опять зашевелилось, и два батальона Новгородского полка и батальон Апшеронского полка тронулись вперед мимо государя.

В то время как проходил этот Апшеронский батальон, румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах и со шляпой с огромным султаном, надетой набекрень и с поля, марш-марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем.

— С Богом, генерал, — сказал ему государь.

— Ma foi, sire, nous ferons ce qui sera dans notre possibilité, sire! [1] — отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором.

Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты.

— Ребята! — крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов-апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. — Ребята, вам не первую деревню брать! — крикнул он.

— Рады стараться! — прокричали солдаты.

Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов точно так же, как она делала это на Марсовом Поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот' день тот, кто ехал на ней.

Государь с улыбкой обратился к одному из своих приближенных, указывая на молодцов-апшеронцев, и что-то сказал ему.

XVI

Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами.

Проехав с полверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома (вероятно, бывшего трактира) подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска.

[1] Ваше величество, мы сделаем все, что будет возможно сделать, ваше величество!

Туман начинал расходиться, и неопределенно, верстах в двух расстояния, виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему.

— Посмотрите, посмотрите, — говорил этот адъютант, глядя не на дальние войска, а вниз по горе перед собой. — Это французы!

Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами.

— Это неприятель?.. Нет!.. Да, смотрите, он... наверное... Что ж это? — послышались голоса.

Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу апшеронцам густую колонну французов, не дальше пятисот шагов от того места, где стоял Кутузов.

«Вот она, наступила решительная минута! Дошло до меня дело», — подумал князь Андрей и, ударив лошадь, подъехал к Кутузову.

— Надо остановить апшеронцев, — закричал он, — ваше высокопревосходительство!

Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу все бросились бежать.

Смешанные, все увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой. Болконский только старался не отставать от Кутузова и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий, с озлобленным видом, красный и на себя не похожий, кричал Кутузову, что, ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него.

— Вы ранены? — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти.

— Рана не здесь, а вот где! — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих.

— Остановите же их! — крикнул он и в то же время, вероятно, убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо.

Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад.

Войска бежали такою густою толпою, что, раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел, что замешкался?» Кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух; кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы, в дыму, еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь

батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только четыре человека. Все были бледны и молча переглядывались.

— Остановите этих мерзавцев! — задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих; но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова.

Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук; знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат. Солдаты без команды стали стрелять.

— О-оох! — с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. — Болконский, — прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. — Болконский, — прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля, — что ж это?

Но прежде чем он договорил это слово, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

— Ребята, вперед! — крикнул он детски пронзительно.

«Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

И действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в двадцати шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его — на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым набок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.

«Что они делают? — думал князь Андрей, глядя на них. — Зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его».

Действительно, другой француз, с ружьем наперевес, подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, все еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не

видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.

«Что это? я падаю! у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, — подумал князь Андрей, — не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, — совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»

XVII

На правом фланге у Багратиона в девять часов дело еще не начиналось. Не желая согласиться на требование Долгорукова начинать дело и желая отклонить от себя ответственность, князь Багратион предложил Долгорукову послать спросить о том главнокомандующего. Багратион знал, что, по расстоянию почти десяти верст, отделявшему один фланг от другого, ежели не убьют того, кого пошлют (что было очень вероятно), и ежели он даже найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, посланный не успеет вернуться раньше вечера.

Багратион оглянул свою свиту своими большими, ничего не выражающими, невыспавшимися глазами, и невольно замиравшее от волнения и надежды детское лицо Ростова первое бросилось ему в глаза. Он послал его.

— А ежели я встречу его величество прежде, чем главнокомандующего, ваше сиятельство? — сказал Ростов, держа руку у козырька.

— Можете передать его величеству, — поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгоруков.

Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в свое счастие и в том расположении духа, в котором все кажется легко, весело и возможно.

Все желания его исполнялись в это утро: давалось генеральное сражение, он участвовал в нем; мало того, он был ординарцем при храбрейшем генерале; мало того, он ехал с поручением к Кутузову, а может быть, и к самому государю. Утро было ясное, лошадь под ним была добрая. На душе его было радостно и счастливо. Получив приказание, он пустил лошадь и поскакал вдоль по линии. Сначала он ехал по линии Багратионовых войск, еще не выступавших в дело и стоявших неподвижно; потом он въехал в пространство, занимаемое кавалерии Уварова, и здесь заметил

уже передвижения и признаки приготовлений к делу; проехав кавалерию Уварова, он уже ясно услыхал звуки пушечной и орудийной стрельбы впереди себя. Стрельба все усиливалась.

В свежем утреннем воздухе раздавались уже, не как прежде — в неравные промежутки, по два, по три выстрела и потом один или два орудийных выстрела, — а по скатам гор, впереди Працена, слышались перекаты ружейной пальбы, перебиваемой такими частыми выстрелами из орудий, что иногда несколько пушечных выстрелов уже не отделялись друг от друга, а сливались в один общий гул.

Видно было, как по скатам дымки ружей как будто бегали, догоняя друг друга, и как дымы орудий клубились, расплывались и сливались одни с другими. Видны были, по блеску штыков между дымом, двигавшиеся массы пехоты и узкие полосы артиллерии с зелеными ящиками.

Ростов на пригорке остановил на минуту лошадь, чтобы рассмотреть то, что делалось; но как он ни напрягал внимание, он ничего не мог ни понять, ни разобрать из того, что делалось: двигались там в дыму какие-то люди, двигались и спереди и сзади какие-то холсты войск; но зачем? кто? куда? — нельзя было понять. Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в нем какого-нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии и решительности.

«Ну, еще, еще наддай!» — обращался он мысленно к этим звукам и опять пустился скакать по линии, всё дальше и дальше проникая в область войск, уже вступивших в дело.

«Уж как это там будет, не знаю, а все будет хорошо!» — думал Ростов.

Проехав какие-то австрийские войска, Ростов заметил, что следующая за тем часть линии (это была гвардия) уже вступила в дело.

«Тем лучше! посмотрю вблизи», — подумал он.

Он ехал почти по передней линии. Несколько всадников скакали по направлению к нему. Это были наши лейб-уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки. Ростов миновал их, заметил невольно одного из них в крови и поскакал дальше.

«Мне до этого дела нет!» — подумал он. Не успел он проехать несколько сот шагов после этого, как влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на вороных лошадях, в белых блестящих мундирах, которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок, для того чтоб уехать с дороги от этих кавалеристов, и он бы уехал от них, ежели бы они шли все тем же аллюром, но они все прибавляли хода, так что некоторые лошади уже скакали. Ростову все слышнее и слышнее становился их топот и бряцание их оружия и виднее становились их лошади, фигуры и даже лица. Это были наши кавалергарды, шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу.

Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и услышал команду: «Марш, марш!», произнесенную офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал вдоль фронта, что было мочи у его лошади, и все-таки не успел миновать их.

Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовой лошади. Вороная тяжелая пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши; но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик: «Ура!» — и, оглянувшись, увидал, что передние ряды их смешивались с чужими, вероятно, французскими кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда-то стали стрелять пушки и все застлалось дымом.

В ту минуту как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей, юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осьмнадцать человек.

«Что мне завидовать, мое не уйдет, и я сейчас, может быть, увижу государя!» — подумал Ростов и поскакал дальше.

Поравнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что чрез нее и около нее летали ядры, не столько потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидал беспокойство и на лицах офицеров — неестественную воинственную торжественность.

Проезжая позади одной из линий пехотных гвардейских полков, он услыхал голос, называвший его по имени.

— Ростов!

— Что? — откликнулся он, не узнавая Бориса.

— Каково, в первую линию попали! Наш полк в атаку ходил! — сказал Борис, улыбаясь той счастливой улыбкой, которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших в огне.

Ростов остановился.

— Вот как! — сказал он. — Ну что?

— Отбили! — оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым. — Ты можешь себе представить?

И Борис стал рассказывать, каким образом гвардия, ставши на место и увидав перед собой войска, приняла их за австрийцев и вдруг по ядрам, пущенным из этих войск, узнала, что она в первой линии, и неожиданно должна была вступить в дело. Ростов, не дослушав Бориса, тронул свою лошадь.

— Ты куда? — спросил Борис.

— К его величеству с поручением.

— Вот он! — сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было «его высочество» вместо «его величества».

И он указал ему на великого князя, который в ста шагах от них, в каске и в кавалергардском колете, с своими поднятыми плечами и нахмуренными бровями, что-то кричал австрийскому белому и бледному офицеру.

— Да ведь это великий князь, а мне к главнокомандующему или к государю, — сказал Ростов и тронул было лошадь.

— Граф, граф! — кричал Берг, такой же оживленный, как и Борис, подбегая с другой стороны. — Граф, я в правую руку ранен (говорил он, показывая кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком) и остался во фронте. Граф, держу шпагу в левой руке: в нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари.

Берг еще что-то говорил, но Ростов, не дослушав его, уже поехал дальше.

Проехав гвардию и пустой промежуток, Ростов, для того чтобы не попасть опять в первую линию, как он попал под атаку кавалергардов, поехал по линии резервов, далеко объезжая то место, где слышалась самая жаркая стрельба и канонада. Вдруг впереди себя и позади наших войск, в таком месте, где он никак не мог предполагать неприятеля, он услыхал близкую ружейную стрельбу.

«Что это может быть? — подумал Ростов. — Неприятель в тылу наших войск? Не может быть, — подумал Ростов, и ужас страха за себя и за исход всего сражения вдруг нашел на него. — Что бы это ни было, однако, — подумал он, — теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и ежели все погибло, то и мое дело погибнуть со всеми вместе».

Дурное предчувствие, нашедшее вдруг на Ростова, подтверждалось все более и более, чем дальше он въезжал в занятое толпами разнородных войск пространство, находящееся за деревнею Працем.

— Что такое? Что такое? По ком стреляют? Кто стреляет? — спрашивал Ростов, равняясь с русскими и австрийскими солдатами, бежавшими перемешанными толпами наперерез его дороги.

— А черт их знает! Всех побил! Пропадай все! — отвечали ему по-русски, по-немецки и по-чешски толпы бегущих и не понимавших точно так же, как и он, того, что тут делалось.

— Бей немцев! — кричал один.

— А черт их дери! — изменников.

— Zum Henker diese Russen!..[1] — что-то ворчал немец.

Несколько раненых шли по дороге. Ругательства, крики, стоны сливались в один общий гул. Стрельба затихла, и, как потом узнал Ростов, стреляли друг в друга русские и австрийские солдаты.

«Боже мой! Что ж это такое? — думал Ростов. — И здесь, где всякую минуту государь может увидать их!.. Но нет, это, верно, только несколько мерзавцев. Это пройдет, это не то, это не может быть, — думал он. — Только поскорее, поскорее проехать их!»

Мысль о поражении и бегстве не могла прийти в голову Ростову. Хотя он и видел французские орудия и войска именно на Праценской горе, на той самой, где ему велено было отыскивать главнокомандующего, он не мог и не хотел верить этому.

[1] К черту этих русских!.. (нем.)

XVIII

Около деревни Праца Ростову велено было искать Кутузова и государя. Но здесь не только не было их, но не было ни одного начальника, а были разнородные толпы расстроенных войск. Он погонял уставшую уже лошадь, чтобы скорее проехать эти толпы, но чем дальше он подвигался, тем толпы становились расстроеннее. По большой дороге, на которую он выехал, толпились коляски, экипажи всех сортов, русские и австрийские солдаты всех родов войск, раненые и нераненые. Все это гудело и смешанно копошилось под мрачный звук летавших ядер с французских батарей, поставленных на Праценских высотах.

— Где государь? Где Кутузов? — спрашивал Ростов у всех, кого мог остановить, и ни от кого не мог получить ответа.

Наконец, ухватив за воротник солдата, он заставил его ответить себе.

— Э, брат! Уж давно все там, вперед удрали! — сказал Ростову солдат, смеясь чему-то и вырываясь.

Оставив этого солдата, который, очевидно, был пьян, Ростов остановил лошадь денщика или берейтора важного лица и стал расспрашивать его. Денщик объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой самой дороге и что государь опасно ранен.

— Не может быть, — сказал Ростов, — верно, другой кто.

— Сам я видел, — сказал денщик с самоуверенной усмешкой. — Уж мне-то пора знать государя: кажется, сколько раз в Петербурге вот так-то видал. Бледный-пребледный в карете сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел: пора, кажется, и царских лошадей, и Илью Ивановича знать; кажется, с другим, как с царем, Илья-кучер не ездит.

Ростов пустил его лошадь и хотел ехать дальше. Шедший мимо раненый офицер обратился к нему.

— Да вам кого нужно? — спросил офицер. — Главнокомандующего? Так убит ядром, в грудь убит при нашем полку.

— Не убит, ранен, — поправил другой офицер.

— Да кто? Кутузов? — спросил Ростов.

— Не Кутузов, а как бишь его, — ну, да все одно, живых не много осталось. Вон туда ступайте, вон к той деревне, там все начальство собралось, — сказал этот офицер, указывая на деревню Гостиерадек, и прошел мимо.

Ростов ехал шагом, не зная, зачем и к кому он теперь поедет. Государь ранен, сражение проиграно. Нельзя было не верить этому теперь. Ростов ехал по тому направлению, которое ему указали и по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что ему было теперь говорить государю или Кутузову, ежели бы даже они и были живы и не ранены?

— Этою дорогой, ваше благородие, поезжайте, а тут прямо убьют, — закричал ему солдат. — Тут убьют!

— О! что говоришь! — сказал другой. — Куда он поедет? Тут ближе.

Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют.

«Теперь все равно! Уж ежели государь ранен, неужели мне беречь себя?» — думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять — пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных.

Французы, переставшие стрелять по этому усеянному мертвыми и ранеными полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих, страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Что бы она почувствовала, — подумал он, — коль бы она видела меня теперь здесь, на этом поле, и с направленными на меня орудиями?»

В деревне Гостиерадеке были хотя и спутанные, но в большем порядке русские войска, шедшие прочь с поля сражения. Сюда уже не доставали французские ядра, и звуки стрельбы казались далекими. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. К кому ни обращался Ростов, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. Одни говорили, что слух о ране государя справедлив, другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем, что действительно в карете государя проскакал назад с поля сражения бледный и испуганный обер-гофмаршал граф Толстой, выехавший с другими в свите императора на поле сражения. Один офицер сказал Ростову, что за деревней налево он видел кого-то из высшего начальства, и Ростов поехал туда, уж не надеясь найти кого-нибудь, но для того только, чтобы перед самим собою очистить свою совесть. Проехав версты три и миновав последние русские войска, Ростов увидал около огорода, окопанного канавой, двух стоявших против канавы всадников. Один, с белым султаном на шляпе, показался почему-то знакомым Ростову; другой, незнакомый всадник, на прекрасной рыжей лошади (лошадь эта показалась знакомою Ростову), подъехал к канаве, толкнул лошадь шпорами и, выпустив поводья, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади. Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул канаву и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура, показавшись знакома Ростову, почему-то невольно приковал к себе его внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего оплакиваемого обожаемого государя.

«Но это не мог быть он, один посреди этого пустого поля», — подумал Ростов. В это время Александр повернул голову, и Ростов увидал так живо врезавшиеся в его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали и глаза ввалились; но

тем больше прелести, кротости было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ране государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его. Он знал, что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и передать то, что приказано было ему передать от Долгорукова.

Но как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута и он стоит наедине с ней, так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно.

«Как! Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело может показаться неизвестное лицо в эту минуту печали, и потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном взгляде на него у меня замирает сердце и пересыхает во рту?» Ни одна из тех бесчисленных речей, которые он, обращая к государю, слагал в своем воображении, не приходила ему теперь в голову. Те речи большею частию держались совсем при других условиях, те говорились большею частию в минуты побед и торжеств и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки и он, умирая, высказывал ему подтвержденную на деле любовь свою.

«Потом, что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, когда уже теперь четвертый час вечера и сражение проиграно? Нет, решительно я не должен подъезжать к нему, не должен нарушать его задумчивость. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение», — решил Ростов и с грустью и с отчаянием в сердце поехал прочь, беспрестанно оглядываясь на все еще стоявшего в том же положении нерешительности государя.

В то время как Ростов делал эти соображения и печально отъезжал от государя, капитан фон Толь случайно наехал на то же место и, увидав государя, прямо подъехал к нему, предложил ему свои услуги и помог перейти пешком через канаву. Государь, желая отдохнуть и чувствуя себя нездоровым, сел под яблочное дерево, и Толь остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как фон Толь что-то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукой и пожал руку Толю.

«И это я мог бы быть на его месте!» — подумал про себя Ростов и, едва удерживая слезы сожаления об участи государя, в совершенном отчаянии поехал дальше, не зная, куда и зачем он теперь едет.

Его отчаяние было тем сильнее, что он чувствовал, что его собственная слабость была причиной его горя.

Он мог бы... не только мог бы, но он должен был подъехать к государю. И это был единственный случай показать государю свою преданность. И он не воспользовался им... «Что я наделал?» — подумал он. И он повернул лошадь и поскакал назад к тому месту, где видел императора; но никого уже не было за

канавой. Только ехали повозки и экипажи. От одного фурмана Ростов узнал, что кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними.

Впереди его шел берейтор Кутузова, ведя лошадей в попонах. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик дворовый, в картузе, полушубке и с кривыми ногами.

— Тит, а Тит! — сказал берейтор.

— Чего? — рассеянно отвечал старик.

— Тит! Ступай молотить.

— Э, дурак, тьфу! — сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка.

В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Более ста орудий находилось уже во власти французов.

Пржебышевский с своим корпусом положил оружие. Другие колонны, растеряв около половины людей, отступали расстроенными, перемешанными толпами.

Остатки войск Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Аугеста.

В шестом часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канонада одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Проценских высот и бивших по нашим отступающим войскам.

В ариергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались от французской кавалерии, преследовавшей наших. Начинало смеркаться. На узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу; на этой плотине, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и уезжали по той же плотине запыленные мукой, с белыми возами, — на этой узкой плотине теперь между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько шагов, быть точно так же убитыми.

Каждые десять секунд, нагнетая воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в средине этой густой толпы, убивая и обрызгивая кровью тех, которые стояли близко. Долохов, раненный в руку, пешком, с десятком солдат своей роты (он был уже офицер), и его полковой командир, верхом, представляли из себя остатки всего полка. Влекомые толпой, они втеснились во вход к плотине и, сжатые со всех сторон, остановились, потому что впереди упала лошадь под пушкой и толпа вытаскивала ее. Одно ядро убило кого-то сзади их, другое ударилось впереди и забрызгало кровью Долохова. Толпа отчаянно надвинулась, сжалась, тронулась несколько шагов и опять остановилась.

«Пройти эти сто шагов, — и, наверное, спасен; простоять еще две минуты — и погиб, наверное», — думал каждый.

Долохов, стоявший в середине толпы, рванулся к краю плотины, сбив с ног двух солдат, и сбежал на склизкий лед, покрывший пруд.

— Сворачивай! — закричал он, подпрыгивая по льду, который трещал под ним, — сворачивай! — кричал он на орудие. — Держит!..

Лед держал его, но гнулся и трещал, и очевидно было, что не только под орудием или толпой народа, но под ним одним он сейчас рухнется. На него смотрели и жались к берегу, не решаясь еще ступить на лед. Командир полка, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, обращаясь к Долохову. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись. Что-то шлепнулось в мокрое, и генерал упал с лошадью в лужу крови. Никто не взглянул на генерала, не только не подумал поднять его.

— Пошел на лед! пошел по льду! Пошел! вороти! Аль не слышишь! Пошел! — вдруг после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, сами не зная, что и зачем кричавшие.

Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед. Толпы солдат с плотины стали сбегать на замерзший пруд. Под одним из передних солдат треснул лед, и одна нога ушла в воду; он хотел оправиться и провалился по пояс. Ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади все еще слышались крики: «Пошел на лед, что стал, пошел! пошел!» И крики ужаса послышались в толпе. Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтоб они сворачивали и подвигались. Лошади тронулись с берега. Лед, державший пеших, рухнулся огромным куском, и человек сорок, бывших на льду, бросились кто вперед, кто назад, потопляя один другого.

Ядра все так же равномерно свистели и шлепались на лед, в воду и чаще всего в толпу, покрывавшую плотину, пруды и берег.

XIX

На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.

К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.

«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче? — было первою его мыслью. — И страдания этого я не знал до сих пор. Но где я?»

Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять все то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.

Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении

батарей, стреляющих по плотине Аугеста, и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.

— De beaux hommes! [1] — сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку.

— Les munitions des pièces de position sont épuisées, sire! [2] — сказал в это время адъютант, приехавший с батарей, стрелявших по Аугесту.

— Faites avancer celles de la réserve[3], — сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).

— Voilà une belle mort[4], — сказал Наполеон, глядя на Болконского.

Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли sire[5] того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно все равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил о нем; он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой-нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон.

— А! он жив, — сказал Наполеон. — Поднять этого молодого человека, ce jeune homme, и снести на перевязочный пункт!

Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Ланну, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору.

Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сондирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить.

Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся, — были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:

— Надо здесь остановиться: император сейчас проедет; ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.

---

[1] Славный народ!

[2] Батарейных снарядов больше нет, ваше величество!

[3] Велите привезти из резервов

[4] Вот прекрасная смерть

[5] Ваше величество

— Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило, — сказал другой офицер.

— Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра, — сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире.

Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой, девятнадцатилетний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер.

Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь.

— Кто старший? — сказал он, увидав пленных.

Назвали полковника, князя Репнина.

— Вы командир кавалергардского полка императора Александра? — спросил Наполеон.

— Я командовал эскадроном, — отвечал Репнин.

— Ваш полк честно исполнил долг свой, — сказал Наполеон.

— Похвала великого полководца есть лучшая награда солдату, — сказал Репнин.

— С удовольствием отдаю ее вам, — сказал Наполеон. — Кто этот молодой человек подле вас?

Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.

Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:

— Il est venu bien jeune se frotter à nous[1].

— Молодость не мешает быть храбрым, — проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.

— Прекрасный ответ, — сказал Наполеон, — молодой человек, вы далеко пойдете!

Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле, и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека — jeune homme, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.

— Et vous, jeune homme? Ну, а вы, молодой человек? — обратился он к нему. — Как вы себя чувствуете, mon brave?

Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал... Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, — что он не мог отвечать ему.

Да и все казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону,

[1] Молод же он сунулся биться с нами

князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.

Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников:

— Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин. — И он, тронув лошадь, галопом поехал дальше.

На лице его было сиянье самодовольства и счастия.

Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешенный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили возвратить образок.

Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке.

«Хорошо бы это было, — подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, — хорошо бы это было, ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это? Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего, — говорил он сам себе, — или это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!»

Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние усиливалось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо — составляли главное основание его горячечных представлений.

Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастием, когда вдруг являлся маленький Наполеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастия других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, доктора Наполеонова, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.

— C'est un sujet nerveux et bilieux, — сказал Ларрей, — il n'en réchappera pas[1].

Князь Андрей, в числе других безнадежных раненых, был сдан на попечение жителей.

[1] Это субъект нервный и желчный, — он не выздоровеет

ТОМ ВТОРОЙ

Часть первая

I

В начале 1806-го года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и, подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней, подле Ростова, который по мере приближения к Москве приходил все более и более в нетерпение.

«Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!» — думал Ростов, когда уже они записали свои отпуски на заставе и въехали в Москву.

— Денисов, приехали! — спит, — говорил он, всем телом подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликался.

— Вот он угол-перекресток, где Захар-извозчик стоит; вот он и Захар, все та же лошадь! Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!

— К какому дому-то? — спросил ямщик.

— Да вон на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом, — говорил Ростов, — ведь это наш дом!

— Денисов! Денисов! Сейчас приедем.

Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил.

— Дмитрий, — обратился Ростов к лакею на облучке. — Ведь это у нас огонь?

— Так точно-с, и у папеньки в кабинете светится.

— Еще не ложились? А? как ты думаешь?

— Смотри же не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, — прибавил Ростов, ощупывая новые усы. — Ну же, пошел, — кричал он ямщику. — Да проснись же, Вася, — обращался он к Денисову, который опять опустил голову. — Да ну же, пошел, три целковых на водку, пошел! — закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к подъезду; над головой своей Ростов увидал знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом так же стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, так же слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча.

Старик Михайло спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покромок лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженно-испуганное.

— Батюшки-светы! Граф молодой! — вскрикнул он, узнав молодого барина. — Что ж это? Голубчик мой! — И Прокофий, трясясь от волненья, бросился к двери в гостиную, вероятно для того, чтобы объявить, но, видно, опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина.

— Здоровы? — спросил Ростов, выдергивая у него свою руку.

— Слава Богу! Все слава Богу! сейчас только покушали! Дай на себя посмотреть, ваше сиятельство!

— Все совсем благополучно?

— Слава Богу, слава Богу!

Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную большую залу. Все то же — те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто-то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что-то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их — это он помнил.

— А я-то, не знал... Николушка... друг мой, Коля!

— Вот он... наш-то... Переменился! Нет! Свечи! Чаю!

— Да меня-то поцелуй!

— Душенька... а меня-то.

Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф обнимали его; люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали.

Петя повис на его ногах.

— А меня-то! — кричал он.

Наташа, после того как она, пригнув его к себе, расцеловала все его лицо, отскочила от него и, держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала.

Со всех сторон были блестящие слезами радости любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя.

Соня, красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже шестнадцать лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее; но все еще ждал и искал кого-то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери.

Но это была она, в новом, незнакомом еще ему, сшитом, верно, без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь, рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза.

— Василий Денисов, дг'уг вашего сына, — сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него.

— Милости прошу. Знаю, знаю, — сказал граф, целуя и обнимая Денисова. — Николушка писал... Наташа, Вера, вот он, Денисов.

Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую черноусую фигурку Денисова и окружили его.

— Голубчик, Денисов! — взвизгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и, взяв руку Наташи, поцеловал ее.

Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки.

Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движенье, слово, взгляд и не спускали с него восторженно-влюбленных глаз. Брат и сестры спорили, и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку.

Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он все ждал чего-то еще, и еще, и еще.

На другое утро приезжие с дороги спали до десятого часа.

В предшествующей комнате валялись сабли, сумки, ташки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары со шпорами были только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду для бритья и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.

— Гей, Г'ишка, тг'убку! — крикнул хриплый голос Васьки Денисова. — Г'остов, вставай!

Ростов, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.

— А что, поздно?

— Поздно, десятый час, — отвечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршанье крахмаленных платьев, шепот и смех девичьих голосов, и в чуть растворенную дверь мелькнуло что-то голубое, ленты, черные волосы и веселые лица. Это были Наташа с Соней и Петей, которые пришли наведаться, не встал ли.

— Николенька, вставай! — опять послышался голос Наташи у двери.

— Сейчас!

В это время Петя в первой комнате, увидав и схватив сабли и испытывая тот восторг, который испытывают мальчики при виде воинственного старшего брата, забыв, что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь.

— Это твоя сабля? — закричал он. Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, оглядываясь за помощью на товарища. Дверь пропустила Петю и опять затворилась. За дверью послышался смех.

— Николенька, выходи в халате, — проговорил голос Наташи.

— Это твоя сабля? — спросил Петя. — Или это ваша? — с подобострастным уважением обратился он к усатому черному Денисову.

Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог со шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, когда он вышел. Обе были в одинаковых, новеньких, голубых платьях — свежие, румяные, веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, что было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело и она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом.

— Ах, как хорошо, отлично! — приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием этих жарких лучей любви Наташи, в первый раз через полтора года, на душе его и на лице распускалась та детская и чистая улыбка, которою он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома.

— Нет, послушай, — сказала она, — ты теперь совсем мужчина? Я ужасно рада, что ты мой брат. — Она тронула его усы. — Мне хочется знать, какие вы, мужчины? Такие ли, как мы?

— Нет. Отчего Соня убежала? — спрашивал Ростов.

— Да. Это еще целая история! Как ты будешь говорить с Соней — ты или вы?

— Как случится, — сказал Ростов.

— Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу.

— Да что же?

— Ну, я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг, такой друг, что я руку сожгу за нее. Вот посмотри. — Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями), красную метину.

— Это я сожгла, чтобы показать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала.

Сидя в своей прежней классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно-оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот своей семейный, детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений в жизни; и сожжение руки линейкой, для показания любви, показалось ему не бессмыслицей: он понимал и не удивлялся этому.

— Так что же? — только спросил он.

— Ну, так дружны, так дружны! Это что, глупости — линейкой; но мы навсегда друзья. Она кого любит, так навсегда. Я этого не понимаю. Я забуду сейчас.

— Ну так что же?

— Да, так она любит меня и тебя. — Наташа вдруг покраснела. — Ну, ты помнишь, перед отъездом... Так она говорит, что ты это все забудь... Она сказала: я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен. Ведь правда, что это отлично,

отлично и благородно! Да, да? очень благородно? да? — спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами. Ростов задумался.

— Я ни в чем не беру назад своего слова, — сказал он. — И потом, Соня такая прелесть, что какой же дурак станет отказываться от своего счастия?

— Нет, нет, — закричала Наташа. — Мы про это уже с нею говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты так говоришь — считаешь себя связанным словом, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.

Ростов видел, что все это было хорошо придумано ими. Соня и вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидав ее мельком, она ему показалась еще лучше. Она была прелестная шестнадцатилетняя девочка, очевидно, страстно его любящая (в этом он не сомневался ни на минуту). Отчего же ему было не любить ее и не жениться даже, думал Ростов, но не теперь. Теперь столько еще других радостей и занятий! «Да, они это прекрасно придумали, — подумал он, — надо оставаться свободным».

— Ну и прекрасно, — сказал он, — после поговорим. Ах, как я тебе рад! — прибавил он. — Ну, а что же ты, Борису не изменила? — спросил брат.

— Вот глупости! — смеясь, крикнула Наташа. — Ни о нем и ни о ком я не думаю и знать не хочу.

— Вот как! Так ты что же?

— Я? — переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. — Ты видел Duport'a?

— Нет.

— Знаменитого Дюпора, танцовщика, не видал? Ну так ты не поймешь. Я вот что такое. — Наташа взяла, округлив руки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов. — Ведь стою? ведь вот! — говорила она; но не удержалась на цыпочках. — Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори.

Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе. Нет, ведь хорошо? — все говорила она.

— Хорошо. За Бориса уже не хочешь выходить замуж?

Наташа вспыхнула.

— Я не хочу ни за кого замуж идти. Я ему то же самое скажу, когда увижу.

— Вот как! — сказал Ростов.

— Ну да, это все пустяки, — продолжала болтать Наташа. — А что, Денисов хороший? — спросила она.

— Хороший.

— Ну и прощай, одевайся. Он страшный, Денисов?

— Отчего страшный? — спросил Nicolas. — Нет, Васька славный.

— Ты его Васькой зовешь?.. Странно. А что, он очень хорош?

— Очень хорош.

— Ну, приходи поскорее чай пить. Все вместе.

И Наташа встала на цыпочках и прошлась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые пятнадцатилетние девочки. Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче он чувствовал, что нельзя было этого сделать; он чувствовал, что все, и мать и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее вы — Соня. Но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощенья за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании, и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что, так ли, иначе ли, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.

— Как, однако, странно, — сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, — что Соня с Николенькой теперь встретились на «вы» и как чужие. — Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но, как и от большей части ее замечаний, всем сделалось неловко, и не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его блестящей партии, тоже покраснела, как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженный и надушенный, явился в гостиную таким же щеголем, каким он бывал в сражениях, и таким любезным с дамами кавалером, каким Ростов никак не ожидал его видеть.

II

Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка; родными — как милый, приятный и почтительный молодой человек; знакомыми — как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы.

Знакомство у Ростовых была вся Москва; денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривая себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из Закона Божия экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней — он про все это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он — гусарский поручик в серебряном ментике, с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег, вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в Английском клубе и был на ты с одним сорокалетним полковником, с которым познакомил его Денисов.

Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его. Но он все-таки часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не все рассказывает, что что-то еще есть в его чувстве к государю, что не может быть всем понятно; и от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование «ангела во плоти».

В это короткое пребывание Ростова в Москве, до отъезда в армию, он не сблизился, а, напротив, разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила и, очевидно, страстно влюблена в него; но он был в той поре молодости, когда кажется так много дела, что некогда этим заниматься, и молодой человек боится связываться — дорожит своей свободой, которая ему нужна на многое другое. Когда он думал о Соне в это свое пребывание в Москве, он говорил себе: «Э! еще много, много таких будет и есть там, где-то, мне еще неизвестных. Еще успею, когда захочу, заняться и любовью, а теперь некогда». Кроме того, ему казалось что-то унизительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, Английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка туда — это было другое дело: это было прилично молодцу-гусару.

В начале марта старый граф Илья Андреевич Ростов был озабочен устройством обеда в Английском клубе для приема князя Багратиона.

Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому Феоктисту, старшему повару Английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, теленке и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф со дня основания клуба был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку, хлебосольно устроить пир, особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч.

— Так смотри же, гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь!

— Холодных, стало быть, три?.. — спрашивал повар.

Граф задумался.

— Нельзя меньше, три... майонез раз, — сказал он, загибая палец...

— Так прикажете стерлядей больших взять? — спросил эконом.

— Что ж делать, возьми, коли не уступают. Да, батюшка ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! — Он схватился за голову. — Да кто же мне цветы привезет? Митенька! А Митенька! Скачи ты, Митенька, в подмосковную, — обратился он к вошедшему на его зов управляющему, — скачи ты в подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке-садовнику. Скажи, чтобы все оранжерей сюда волóк, укутывал бы войлоками. Но чтобы мне двести горшков тут к пятнице были.

Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал

приказывать. В дверях послышалась легкая мужская походка, бряцанье шпор, и красивый, румяный с чернеющими усиками, видимо отдохнувший и выхолившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф.

— Ах, братец мой! Голова кругом идет, — сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. — Хоть вот ты бы помог! Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган, что ли, позвать? Ваша братия военные это любят.

— Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь, — сказал сын, улыбаясь.

Старый граф притворился рассерженным.

— Да, ты толкуй, ты попробуй!

И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына.

— Какова молодежь-то, а, Феоктист? — сказал он. — Смеются над нашим братом — стариками.

— Что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо, а как все собрать да сервировать, это не их дело.

— Так, так! — закричал граф и, весело схватив сына за обе руки, закричал: — Так вот же что, попался ты мне! Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих. Больше ни у кого не достанешь. Самого-то нет, так ты зайди княжнам скажи, а оттуда, вот что, поезжай ты на Разгуляй — Ипатка-кучер знает, — найди ты там Илюшку-цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине, и притащи ты его сюда, ко мне.

— И с цыганками его сюда привести? — спросил Николай смеясь.

— Ну, ну!..

В это время неслышными шагами, с деловым, озабоченным и вместе христиански-кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Несмотря на то, что каждый день Анна Михайловна заставала графа в халате, всякий раз он конфузился при ней и просил извинения за свой костюм. Так сделал он и теперь.

— Ничего, граф, голубчик, — сказала она, кротко закрывая глаза. — А к Безухову я съезжу, — сказала она. — Молодой Безухов приехал, и теперь мы все достанем, граф, из его оранжерей. Мне и нужно было видеть его. Он мне прислал письмо от Бориса. Слава Богу, Боря теперь при штабе.

Граф обрадовался, что Анна Михайловна брала одну часть его поручений, и велел ей заложить маленькую карету.

— Вы Безухову скажите, чтоб он приезжал. Я его запишу. Что́, он с женою? — спросил он.

Анна Михайловна завела глаза, и на лице ее выразилась глубокая скорбь...

— Ах, мой друг, он очень несчастлив, — сказала она. — Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастию! И такая

высокая, небесная душа, этот молодой Безухов! Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему утешение, которое от меня будет зависеть.

— Да что ж такое? — спросили оба Ростова, старший и младший.

Анна Михайловна глубоко вздохнула.

— Долохов, Марьи Ивановны сын, — сказала она таинственным шепотом, — говорят, совсем компрометировал ее. Он его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот... Она сюда приехала, и этот сорвиголова за ней, — сказала Анна Михайловна, желая выразить свое сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и полуулыбкою выказывая сочувствие сорвиголове, как она назвала Долохова. — Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем.

— Ну, все-таки скажите ему, чтоб он приезжал в клуб, — все рассеется. Пир горой будет.

На другой день, 3-го марта, во втором часу пополудни, двести пятьдесят человек членов Английского клуба и пятьдесят человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя австрийского похода, князя Багратиона. В первое время по получении известия об Аустерлицком сражении Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие искали объяснений такому странному событию в каких-нибудь необыкновенных причинах. В Английском клубе, где собиралось всё, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда стали приходить известия, ничего не говорили про войну и про последнее сражение, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как то: граф Растопчин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, граф Марков, князь Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов (к которым принадлежал и граф Илья Андреич Ростов), оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны и без руководителей. Москвичи чувствовали, что что-то нехорошо и что обсуждать эти дурные вести трудно, и потому лучше молчать. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились опять тузы, дававшие мнение в клубе, и всё заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти были: измена австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пржебышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова и (потихоньку говорили) молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры и генералы были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один провел свою колонну нерасстроенною и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля. Тому, что Багратион был выбран героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве и был чужой.

В лице его отдавалась честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суворова. Кроме того, в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузова.

— Ежели бы не было Багратиона, il faudrait l'inventer[1], — сказал шутник Шиншин, пародируя слова Вольтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шепотом бранили его, называя придворною вертушкой и старым сатиром.

По всей Москве повторялись слова князя Долгорукова: «лепя, лепя, и облепишься», утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и повторялись слова Растопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражению высокопарными фразами, что с немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем идти вперед; но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише! Со всех сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек. Говорили и про Берга, те, которые не знали его, что он, раненный в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену у чудака-отца.

III

3-го марта во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривавших голосов, и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились, в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах члены и гости клуба. Пудреные, в чулках и башмаках, ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей — преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое как будто говорит старому поколению: «Уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что все-таки за нами будущность».

Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, отпустивший по приказанию жены волоса, снявший очки, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними.

[1] надо бы выдумать его

По годам он бы должен был быть с молодыми, но по богатству и связям он был членом кружков старых, почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому. Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать известных людей. Бóльшие кружки составились около графа Растопчина, Валуева и Нарышкина. Растопчин рассказывал про то, как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыком прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.

Валуев конфиденциально рассказывал, что Уваров был прислан из Петербурга, для того чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице.

В третьем кружке Нарышкин говорил о заседании австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупость австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству — кричать по-петушиному — не мог выучиться у Суворова; но старички строго поглядели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь и в нынешний день так неприлично было говорить про Кутузова.

Граф Илья Андреич Ростов иноходью, озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и, изредка отыскивая глазами своего стройного молодца-сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову.

— Ко мне милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком... вместе там, вместе геройствовали... А! Василий Игнатьич... здорово, старый, — обратился он к проходившему старичку, но не успел еще договорить приветствия, как все зашевелилось, и прибежавший лакей, с испуганным лицом, доложил: «Пожаловали!»

Раздались звонки; старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной у дверей залы.

В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он, по клубному обычаю, оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе, с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне Аустерлицкого сражения, а в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он, видимо, сейчас, перед обедом, подстриг волосы и бакенбарды, чтó невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что-то наивно-праздничное, дававшее, в соединении с его твердыми, мужественными чертами, даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью; произошла остановка в дверях, и, наконец, Багратион все-таки прошел вперед. Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко, по паркету

приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене. Старшины встретили его у первой двери, сказав ему несколько слов о радости видеть столь дорогого гостя, и, не дождавшись его ответа, как бы завладев им, окружили его и повели в гостиную. В дверях гостиной не было возможности пройти от столпившихся членов и гостей, давивших друг друга и через плечи друг друга старавшихся, как редкого зверя, рассмотреть Багратиона. Граф Илья Андреич, энергичнее всех, смеясь и приговаривая: «Пусти, mon cher, пусти, пусти!», протолкал толпу, провел гостей в гостиную и посадил на средний диван. Тузы, почетнейшие члены клуба, обступили вновь прибывших. Граф Илья Андреич, проталкиваясь опять через толпу, вышел из гостиной и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно, обеими руками, взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», — как будто сказал Багратион и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал.

Славь тако Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве, а Цесарь в бранном поле.

Да сча́стливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле...

Но еще он не докончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой польский: «*Гром победы раздавайся, веселися, храбрый росс*», — и граф Илья Андреич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров — Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: триста человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее — поближе к чествуемому гостю: так же естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже.

Перед самым обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном.

Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Напротив них сел Пьер рядом с князем Несвицким. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя Багратиона, олицетворяя в себе московское радушие.

Труды его не пропали даром. Обеды, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он все-таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шепотом приказывал лакеям и не без волнения ожидал каждого знакомого ему блюда. Все было прекрасно. На втором блюде, вместе с исполинской стерлядью (увидав которую, Илья Андреич покраснел от радости и застенчивости), уже лакеи стали хлопать пробками и наливать шампанское. После рыбы, которая произвела некоторое впечатление, граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. «Много тостов будет, пора начинать!» — шепнул он и, взяв бокал в руки, встал. Все замолкли и ожидали, что он скажет.

— Здоровье государя императора! — крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажились слезами радости и восторга. В ту же минуту заиграли «Гром победы раздавайся». Все встали с своих мест и закричали ура! И Багратион закричал ура! тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из-за всех трехсот голосов. Он чуть не плакал.

— Здоровье государя императора, — кричал он, — ура! — Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться и, улыбаясь своему крику, переговариваться. Граф Илья Андреич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки, и провозгласил тост за здоровье нашего последней кампании героя князя Петра Ивановича Багратиона, и опять голубые глаза графа увлажились слезами. Ура! — опять закричали голоса трехсот гостей, и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова:

Тщетны россам все препоны,
Храбрость есть побед залог,
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног...
и т.д.

Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых все больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и, наконец, отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреевича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.

IV

Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая-то большая перемена. Он молчал все время обеда и, щурясь и морщась, глядел кругом себя или, остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего вокруг него, и думал о чем-то одном, тяжелом и неразрешенном.

Этот неразрешенный, мучивший его вопрос были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая все прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда, могло по крайней мере казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено все после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспоминал, как Элен, улыбаясь, выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними.

«Да, он очень красив, — думал Пьер, — я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтоб осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить». Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бретёр, — думал Пьер, — ему ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его», — думал Пьер, и опять при этих мыслях он чувствовал, как что-то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался с своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бретёр и повеса, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей

сосредоточенной, рассеянной, массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во-первых, потому, что Пьер, в его гусарских глазах, был штатский богач, муж красавицы, вообще баба; во-вторых, потому, что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер, задумавшись, не встал и не взял бокала.

— Что ж вы? — закричал ему Ростов, восторженно-озлобленными глазами глядя на него. — Разве вы не слышите: здоровье государя императора! — Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.

— А я вас и не узнал, — сказал он. Но Ростову было не до этого, он кричал: ура!

— Что же ты не возобновишь знакомства, — сказал Долохов Ростову.

— Бог с ним, дурак, — сказал Ростов.

— Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, — сказал Денисов.

Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.

— Ну, теперь за здоровье красивых женщин, — сказал Долохов и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру. — За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников, — сказал он.

Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что-то страшное и безобразное, мутившее его во все время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол.

— Не смейте брать! — крикнул он.

Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны испуганно и поспешно обратились к Безухову.

— Полноте, полноте, что вы? — шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А, вот это я люблю».

— Не дам, — проговорил он отчетливо.

Бледный, с трясущеюся губой, Пьер рванул лист.

— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю, — проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с

Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников.

— Так до завтра, в Сокольниках, — сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба.

— И ты спокоен? — спросил Ростов.

Долохов остановился.

— Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь завещания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты — дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда все исправно, как мне говаривал наш костромской медвежатник. Медведя-то, говорит, как не бояться? да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел! Ну, так-то и я. A demain, mon cher! [1]

На другой день, в восемь часов утра, Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими-то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он, видимо, не спал эту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, — думал Пьер. — Даже наверное я бы сделал то же самое. К чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда-нибудь», — приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли, он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли и готово ли?»

Когда все было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру.

— Я бы не исполнил своей обязанности, граф, — сказал он робким голосом, — и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную, очень важную минуту не сказал вам всей правды. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь... Вы были неправы, вы погорячились...

— Ах, да, ужасно глупо... — сказал Пьер.

— Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, — сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить...

[1] До завтра, милый!

— Нет, об чем же говорить! — сказал Пьер, — все равно... Так готово? — прибавил он. — Вы мне скажите только, как куда ходить и стрелять куда? — сказал он, неестественно кротко улыбаясь. Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаться. — Ах, да, вот как, я знаю, я забыл только, — говорил он.

— Никаких извинений, ничего решительно, — отвечал Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения и тоже подошел к назначенному месту.

Место для поединка было выбрано шагах в восьмидесяти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в сорока друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили отпечатавшиеся по мокрому глубокому снегу следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в десяти шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за сорок шагов неясно было видно друг друга. Минуты три все было уже готово, и все-таки медлили начинать. Все молчали.

V

— Ну, начинайте, — сказал Долохов.

— Что ж, — сказал Пьер, все так же улыбаясь. Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил:

— Так как пг'отивники отказались от пг'имиг'ения, то не угодно ли начинать: взять пистолеты и по слову тг'и начинать сходиться.

— Г...аз! Два! Т'ги!.. — сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам все ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как всегда, имел на себе подобие улыбки.

При слове три Пьер быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо, боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова и, потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из-за дыма показалась его фигура. Одною рукою он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что-то сказал ему.

— Не... нет, — проговорил сквозь зубы Долохов, — нет, не кончено, — и, сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмурено и дрожало.

— Пожалу... — начал Долохов, но не мог сразу выговорить... — пожалуйте, — договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдания, побежал к Долохову и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: — К барьеру! — И Пьер, поняв, в чем дело, остановился у своей сабли. Только десять шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его; губы его дрожали, но все улыбались; глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.

— Боком, закройтесь пистолетом, — проговорил Несвицкий.

— Закг'ойтесь! — не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику.

Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.

— Мимо! — крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова.

— Глупо... глупо! Смерть... ложь... — твердил он морщась. Несвицкий остановил его и повез домой.

Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.

Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно-нежное выражение лица Долохова.

— Ну, что? как ты чувствуешь себя? — спросил Ростов.

— Скверно! но не в том дело. Друг мой, — сказал Долохов прерывающимся голосом, — где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил... Она не перенесет этого. Она не перенесет...

— Кто? — спросил Ростов.

— Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать. — И Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее.

Ростов поехал вперед исполнять поручение и, к великому удивлению своему, узнал, что Долохов, этот буян, бретёр-Долохов, жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой и был самый нежный сын и брат.

VI

Пьер в последнее время редко виделся с женой с глазу на глаз. И в Петербурге и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, том самом, в котором умер старый граф Безухов. Как ни мучительна была вся внутренняя работа прошедшей бессонной ночи, теперь началась еще мучительнейшая.

Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть все, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо-насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.

«Что ж было? — спрашивал он сам себя. — Я убил любовника, да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? — Оттого, что ты женился на ней», — отвечал внутренний голос.

«Но в чем же я виноват? — спрашивал он. — В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, — и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти не выходившие из него слова: „Je vous aime“[1]. Всё от этого? Я и тогда чувствовал, — думал он, — я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в двенадцатом часу дня, в шелковом халате, пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.

«А сколько раз я гордился ею, думал он, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и все стало ясно!

Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность: она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть

[1] Я вас люблю

делает, что хочет, говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет».

Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура... поди сам попробуй... allez vous promener»[1], — говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. «Да я никогда не любил ее, — говорил себе Пьер. — Я знал, что она развратная женщина, — повторял он сам себе, — но не смел признаться в этом.

И теперь Долохов, — вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает, может быть, притворным каким-то молодечеством отвечая на мое раскаяние!»

Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе.

«Она во всем, во всем она одна виновата, — говорил он сам себе. — Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это: „Je vous aime“, которое было ложь, и еще хуже, чем ложь, — говорил он сам себе. — Я виноват и должен нести... Но что? Позор имени, несчастие жизни? Э, все вздор, — подумал он, — и позор имени и честь — все условно, все независимо от меня.

Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив — и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И сто́ит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей „Je vous aime“?» — все повторял он сам себе. И повторив десятый раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово mais que diable allait il faire dans cette galère? [2], и он засмеялся сам над собою.

Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею.

Утром, когда камердинер, внося кофей, вошел в кабинет, Пьер лежал на оттоманке и с раскрытой книгой в руке спал.

---

[1] убирайся

[2] и зачем черт дернул меня ввязаться в это дело?

Он очнулся и долго испуганно оглядывался, не в силах понять, где он находится.

— Графиня приказали спросить, дома ли ваше сиятельство, — спросил камердинер.

Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня, в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diadème[3] огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном, несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она с своим все выдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел. Пьер робко через очки посмотрел на нее, и как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать; но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно, и опять робко взглянул на нее. Она не села и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая, пока выйдет камердинер.

— Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? — сказала она строго.

— Я?.. что? я... — сказал Пьер.

— Вот храбрец отыскался. Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что? Я вас спрашиваю. — Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.

— Коли вы не отвечаете, то я вам скажу... — продолжала Элен. — Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали... — Элен засмеялась, — что Долохов мой любовник, — сказала она по-французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово, — и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью? То, что вы дурак, que vous êtes un sot; так это все знали. К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, — Элен все более и более возвышала голос и одушевлялась, — который лучше вас во всех отношениях...

— Гм... гм, — мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.

— И почему вы могли поверить, что он мой любовник?.. Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.

— Не говорите со мной... умоляю, — хрипло прошептал Пьер.

— Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовника (des amants), а я этого не сделала, — сказала она. Пьер хотел что-то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражение она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту

[3] диадемою

минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что-то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.

— Нам лучше расстаться, — проговорил он прерывисто.

— Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, — сказала Элен... — Расстаться, вот чем испугали!

Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней.

— Я тебя убью! — закричал он и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее.

Лицо Элен сделалось страшно; она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в ней. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!» — таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты.

Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло бóльшую половину его состояния, и один уехал в Петербург.

VII

Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея. И несмотря на все письма через посольство и несмотря на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась все-таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения и, может быть, лежал выздоравливающий или умирающий где-нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе нести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына.

«Ваш сын, в моих глазах, — писал Кутузов, — с знаменем в руках, впереди полка пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно — жив ли он или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был».

Получив это известие поздно вечером, когда он был один в своем кабинете, старый князь никому ничего не сказал. Как и обыкновенно, на другой день он пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал.

Когда в обычное время княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.

— А! Княжна Марья! — вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем, что последовало.)

Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что-то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь.

— Mon père, — André?[1] — сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда и, всхлипнув, отвернулся.

— Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, — крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком — убит!

Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось и что-то просияло в ее лучистых прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую жилистую шею.

— Mon père, — сказала она. — Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе.

— Мерзавцы! Подлецы! — закричал старик, отстраняя от нее лицо. — Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе.

Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом, она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства?» — думала она.

— Mon père, скажите мне, как это было? — спросила она сквозь слезы.

— Иди, иди; убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду.

Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо-спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжны Марьи, а смотрели вглубь, в себя — во что-то счастливое и таинственное, совершающееся в ней.

— Marie, — сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, — дай сюда твою руку. — Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот.

[1] Батюшка, — Андрей?

Глаза ее улыбались, ожидая, губка с усиками поднялась и детски счастливо осталась поднятой.

Княжна Марья стала на колени перед ней и спрятала лицо в складках платья невестки.

— Вот, вот — слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, — сказала Лиза, блестящими счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала.

— Что с тобой, Маша?

— Ничего... так мне грустно стало... грустно об Андрее, — сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз в продолжение утра княжна Марья начинала приготавливать невестку и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причины не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего-то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала.

— Получили от Андрея что-нибудь? — сказала она.

— Нет, ты знаешь, что еще не могло прийти известие, но mon père беспокоится, и мне страшно.

— Так ничего?

— Ничего, — сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по-своему, носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит, и, несмотря на то что он послал чиновника в Австрию разыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался, не изменяя, вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого, и каждую минуту ждала известия о его возвращении.

VIII

— Ma bonne amie[1], — сказала маленькая княгиня утром 19 марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке, но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини,

[1] Милый друг

поддавшейся общему настроению, — хотя и не знавшей его причины, — была такая, что она еще более напоминала об общей печали.

— Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока-повар) de ce matin ne m'aie pas fait du mal [2].

— А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, — испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми мягкими шагами подбегая к невестке.

— Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? — сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.)

— И в самом деле, — подхватила княжна Марья, — может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [3] — Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты.

— Ах, нет, нет! — и, кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.

— Non, c'est l'estomac... dites que s'est l'estomac, dites, Marie, dites...[4] — И княгиня заплакала, детски-страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной.

— Oh! Mon Dieu! Mon Dieu! [5] — слышала она сзади себя.

Потирая полные небольшие белые руки, ей навстречу, с значительно-спокойным лицом, уже шла акушерка.

— Марья Богдановна! Кажется, началось, — сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами глядя на бабушку.

— Ну, и слава Богу, княжна, — не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. — Вам, девицам, про это знать не следует.

— Но как же из Москвы доктор еще не приехал? — сказала княжна. (По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.)

— Ничего, княжна, не беспокойтесь, — сказала Марья Богдановна, — и без доктора все хорошо будет.

Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она высунулась — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое.

Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе, и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колена пред киотом. К несчастию и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Вдруг дверь ее

---

[2] Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне бы не было дурно

[3] Не бойся, мой ангел!

[4] Нет, это желудок... скажи, Маша, что желудок...

[5] Боже мой! Боже мой! Ах!

комнаты тихо отворилась, и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня Прасковья Савишна, почти никогда, вследствие запрещения князя, не входившая к ней в комнату.

— С тобой, Машенька, пришла посидеть, — сказала няня, — да вот княжовы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, — сказала она, вздохнув.

— Ах, как я рада, няня.

— Бог милостив, голубка. — Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и с чулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всем то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверию, что чем меньше людей знают о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притворяться незнающими; никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту.

В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали, наготове чего-то. На дворне жгли лучины и свечи и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне, спросить: что?

— Только скажи: князь приказал спросить: что? и приди скажи, что она скажет.

— Доложи князю, что роды начались, — сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного. Тихон пошел и доложил.

— Хорошо, — сказал князь, затворяя за собой дверь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете. Немного погодя Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидав, что князь лежит на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечи и не сказав, зачем он приходил. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал.

Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. Навстречу немца-доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту и за которым была выслана подстава на большую дорогу, к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам.

Княжна Марья уже давно оставила книгу: она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенное, до малейших подробностей знакомое, лицо няни: на прядку седых волос, выбившуюся из-под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком.

Няня Савишна, с чулком в руках, тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов, сотни раз рассказанное о том, как покойница княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью, с крестьянской бабой-молдаванкой вместо бабушки.

— Бог помилует, никакие дохтура не нужны, — говорила она. Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты (по воле князя всегда с жаворонками выставлялось по одной раме в каждой комнате) и, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гардиной и, пахнув холодом, снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула; няня, положив чулок, подошла к окну и, высунувшись, стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми, выбивавшимися прядями волос.

— Княжна, матушка, едут по прешпекту кто-то! — сказала она, держа раму и не затворяя ее. — С фонарями; должно, дохтур...

— Ах, Боже мой! Слава Богу! — сказала княжна Марья. — Надо пойти встретить его; он не знает по-русски.

Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой-то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп, с испуганным лицом и с другой свечой в руке, стоял ниже, на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом, по лестнице, слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой-то знакомый, как показалось княжне Марье, голос говорил что-то.

— Слава Богу! — сказал голос. — А батюшка?

— Почивать легли, — отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу.

Потом еще что-то сказал голос, что-то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстрее приближаться по невидному повороту лестницы. «Это Андрей! — подумала княжна Марья. — Нет, это не может быть, это было бы слишком необыкновенно», — подумала она, и в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица. Он вошел на лестницу и обнял сестру.

— Вы не получали моего письма? — спросил он, и, не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся и с акушером, который вошел вслед за ним (он съехался с ним на последней станции), быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру.

— Какая судьба! — проговорил он. — Маша, милая! — И, скинув шубу и сапоги, пошел на половину княгини.

IX

Маленькая княгиня лежала на подушках, в белом чепчике (страданье только что отпустило ее), черные волосы прядями вились у ее воспаленных, вспотевших щек; румяный, прелестный ротик, с губкой, покрытой черными волосиками, был раскрыт,

и она радостно улыбалась. Князь Андрей вошел в комнату и остановился перед ней, у изножья дивана, на котором она лежала. Блестящие глаза, смотревшие детски испуганно и взволнованно, остановились на нем, не изменяя выражения. «Я вас всех люблю, я никому зла не делала, за что я страдаю? Помогите мне», — говорило ее выражение. Она видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею. Князь Андрей обошел диван и в лоб поцеловал ее.

— Душенька моя! — сказал он слово, которое никогда не говорил ей. — Бог милостив... Она вопросительно, детски укоризненно посмотрела на него.

«Я от тебя ждала помощи, и ничего, ничего, и ты тоже!» — сказали ее глаза. Она не удивилась, что он приехал; она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Муки вновь начались, и Марья Богдановна посоветовала князю Андрею выйти из комнаты.

Акушер вошел в комнату. Князь Андрей вышел и, встретив княжну Марью, опять подошел к ней. Они шепотом заговорили, но всякую минуту разговор замолкал. Они ждали и прислушивались.

— Allez, mon ami[1], — сказала княжна Марья. Князь Андрей опять пошел к жене и в соседней комнате сел, дожидаясь. Какая-то женщина вышла из ее комнаты с испуганным лицом и смутилась, увидав князя Андрея. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Жалкие, беспомощно-животные стоны слышались из-за двери. Князь Андрей встал, подошел к двери и хотел отворить ее. Дверь держал кто-то.

— Нельзя, нельзя! — проговорил оттуда испуганный голос. Он стал ходить по комнате. Крики замолкли, еще прошло несколько секунд. Вдруг страшный крик — не ее крик — она не могла так кричать — раздался в соседней комнате. Князь Андрей подбежал к ее двери; крик замолк, но послышался другой крик, крик ребенка.

«Зачем принесли туда ребенка? — подумал в первую секунду князь Андрей. — Ребенок? Какой?.. Зачем там ребенок? Или это родился ребенок?»

Когда он вдруг понял все радостное значение этого крика, слезы задушили его, и он, облокотившись обеими руками на подоконник, всхлипывая, заплакал, как плачут дети. Дверь отворилась. Доктор, с засученными рукавами рубашки, без сюртука, бледный и с трясущейся челюстью, вышел из комнаты. Князь Андрей обратился к нему, но доктор растерянно взглянул на него и, ни слова не сказав, прошел мимо. Женщина выбежала и, увидав князя Андрея, замялась на пороге. Он вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском робком личике с губкой, покрытой черными волосиками.

«Я вас всех любила и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали? Ах, что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое мертвое лицо. В углу комнаты хрюкнуло и пискнуло что-то маленькое, красное в белых трясущихся руках Марьи Богдановны.

[1] Иди, мой друг — Ред.

Через два часа после этого князь Андрей тихими шагами вошел в кабинет к отцу. Старик все уже знал. Он стоял у самой двери, и, как только она отворилась, старик молча старческими, жесткими руками, как тисками, обхватил шею сына и зарыдал, как ребенок.

Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» — все говорило оно, и князь Андрей почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть. Он не мог плакать. Старик тоже вошел и поцеловал ее восковую ручку, спокойно и высоко лежавшую на другой, и ему ее лицо сказало: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» И старик сердито отвернулся, увидав это лицо.

Еще через пять дней крестили молодого князя Николая Андреича. Мамушка подбородком придерживала пеленки, в то время как гусиным перышком священник мазал сморщенные красные ладóнки и ступеньки мальчика.

Крестный отец — дед, боясь уронить, вздрагивая, носил младенца вокруг жестяной помятой купели и передавал его крестной матери, княжне Марье. Князь Андрей, замирая от страха, чтоб не утопили ребенка, сидел в другой комнате, ожидая окончания таинства. Он радостно взглянул на ребенка, когда ему вынесла его нянюшка, и одобрительно кивнул головой, когда нянюшка сообщила ему, что брошенный в купель вощечок с волосками не потонул, а поплыл по купели.

X

Участие Ростова в дуэли Долохова с Безуховым было замято стараниями старого графа, и Ростов, вместо того, чтобы быть разжалованным, как он ожидал, был определен адъютантом к московскому генерал-губернатору. Вследствие этого он не мог ехать в деревню со всем семейством, а оставался при своей новой должности все лето в Москве. Долохов выздоровел, и Ростов особенно сдружился с ним в это время его выздоровления. Долохов больной лежал у матери, страстно и нежно любившей его. Старушка Марья Ивановна, полюбившая Ростова за его дружбу к Феде, часто говорила ему про своего сына.

— Да, граф, он слишком благороден и чист душою, — говаривала она, — для нашего нынешнего, развращенного света. Добродетели никто не любит, она всем глаза колет. Ну, скажите, граф, справедливо это, честно это со стороны Безухова? А Федя по своему благородству любил его, и теперь никогда ничего дурного про него не говорит. В Петербурге эти шалости с квартальным, там что-то шутили, ведь они вместе делали? Что ж, Безухову ничего, а Федя все на своих плечах перенес! Ведь что он перенес! Положим, возвратили, да ведь как же и не возвратить? Я думаю, таких, как он, храбрецов и сынов отечества не много там было. Что ж, теперь — эта дуэль. Есть ли чувства, честь у этих людей! Зная, что он единственный сын, вызвать на дуэль и стрелять так прямо! Хорошо, что Бог помиловал нас. И за что же? Ну, кто же в наше время не имеет интриги? Что ж, коли он так ревнив, — я понимаю, — ведь он прежде мог дать почувствовать, а то ведь год продолжалось. И что же, вызвал на дуэль,

полагая, что Федя не будет драться, потому что он ему должен. Какая низость! Какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф, оттого-то я вас душой люблю, верьте мне. Его редкие понимают. Это такая высокая, небесная душа...

Сам Долохов часто во время своего выздоровления говорил Ростову такие слова, которых никак нельзя было ожидать от него.

— Меня считают злым человеком, я знаю, — говаривал он, — и пускай. Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю; но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге. У меня есть обожаемая, неоцененная мать, два-три друга, ты в том числе, а на остальных я обращаю внимание только настолько, насколько они полезны или вредны. И все почти вредны, в особенности женщины. Да, душа моя, — продолжал он, — мужчин я встречал любящих, благородных, возвышенных; но женщин, кроме продажных тварей — графинь или кухарок, все равно, — я не встречал еще. Я не встречал еще той небесной чистоты, преданности, которых я ищу в женщине. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее. А эти!.. — Он сделал презрительный жест. — И веришь ли мне, ежели я еще дорожу жизнью, то дорожу только потому, что надеюсь еще встретить такое небесное существо, которое бы возродило, очистило и возвысило меня. Но ты не понимаешь этого.

— Нет, я очень понимаю, — отвечал Ростов, находившийся под влиянием своего нового друга.

Осенью семейство Ростовых вернулось в Москву. В начале зимы вернулся и Денисов и остановился у Ростовых. Это первое время зимы 1806 года, проведенное Николаем Ростовым в Москве, было одно из самых счастливых и веселых для него и для всего его семейства. Николай привлек с собой в дом родителей много молодых людей. Вера была двадцатилетняя красивая девица; Соня шестнадцатилетняя девушка во всей прелести только распустившегося цветка; Наташа полубарышня, полудевочка, то детски смешная, то девически обворожительная.

В доме Ростовых завелась в это время какая-то особенная атмосфера любовности, как это бывает в доме, где очень милые и очень молодые девушки. Всякий молодой человек, приезжавший в дом Ростовых, глядя на эти молодые, восприимчивые, чему-то (вероятно, своему счастию) улыбающиеся девические лица, на эту оживленную беготню, слушая этот непоследовательный, но ласковый ко всем, на все готовый, исполненный надежды лепет женской молодежи, слушая эти непоследовательные звуки, то пенья, то музыки, испытывал одно и то же чувство готовности к любви и ожидания счастья, которое испытывала и сама молодежь дома Ростовых.

В числе молодых людей, введенных Ростовым, был одним из первых — Долохов, который понравился всем в доме, исключая Наташи. За Долохова она чуть не поссорилась с братом. Она настаивала на том, что он злой человек, что в дуэли с Безуховым Пьер был прав, а Долохов виноват, что он неприятен и неестествен.

— Нечего мне понимать! — с упорным своевольством кричала Наташа, — он злой и без чувств. Вот ведь я же люблю твоего Денисова, он кутила, и всё, а я все-таки его люблю, стало быть, я понимаю. Не умею, как тебе сказать; у него все назначено, а я этого не люблю. Денисова...

— Ну, Денисов другое дело, — отвечал Николай, давая чувствовать, что в сравнении с Долоховым даже и Денисов был ничто, — надо понимать, какая душа у этого Долохова, надо видеть его с матерью, это такое сердце!

— Уж этого я не знаю, но с ним мне неловко. И ты знаешь ли, что он влюбился в Соню?

— Какие глупости...

— Я уверена, вот увидишь.

Предсказание Наташи сбывалось. Долохов, не любивший дамского общества, стал часто бывать в доме, и вопрос о том, для кого он ездит, скоро (хотя никто и не говорил про это) был решен так, что он ездит для Сони. И Соня, хотя никогда не посмела бы сказать этого, знала это и всякий раз, как кумач, краснела при появлении Долохова.

Долохов часто обедал у Ростовых, никогда не пропускал спектакля, где они были, и бывал на балах adolescentes[1] у Иогеля, где всегда бывали Ростовы. Он оказывал преимущественное внимание Соне и смотрел на нее такими глазами, что не только она без краски не могла выдержать этого взгляда, но и старая графиня и Наташа краснели, заметив этот взгляд.

Видно было, что этот сильный, странный мужчина находился под неотразимым влиянием, производимым на него этой черненькой, грациозной, любящей другого девочкой.

Ростов замечал что-то новое между Долоховым и Соней; но он не определял себе, какие это были новые отношения. «Они там все влюблены в кого-то», — думал он про Соню и Наташу. Но ему было не так, как прежде, ловко с Соней и Долоховым, и он реже стал бывать дома.

С осени 1806 года опять все заговорили о войне с Наполеоном, еще с большим жаром, чем в прошлом году. Назначен был не только набор десяти рекрут, но и еще девяти ратников с тысячи. Повсюду проклинали анафемой Бонапартия, и в Москве только и толков было, что о предстоящей войне. Для семейства Ростовых весь интерес этих приготовлений к войне заключался только в том, что Николушка ни за что не соглашался оставаться в Москве и выжидал только конца отпуска Денисова, с тем чтобы с ним вместе ехать в полк после праздников. Предстоящий отъезд не только не мешал ему веселиться, но еще поощрял его к этому. Большую часть времени он проводил вне дома, на обедах, вечерах и балах.

XI

На третий день рождества Николай обедал дома, что в последнее время редко случалось с ним. Это был официально прощальный обед, так как он с Денисовым уезжал в полк после Крещенья. Обедало человек двадцать, в том числе Долохов и Денисов.

[1] «подрастающих»

Никогда в доме Ростовых любовный воздух, атмосфера влюбленности не давали себя чувствовать с такой силой, как в эти дни праздников. «Лови минуты счастия, заставляй себя любить, влюбляйся сам! Только это одно есть настоящее на свете — остальное все вздор. И этим одним мы здесь только и заняты», — говорила эта атмосфера.

Николай, как и всегда, замучив две пары лошадей и то не успев побывать во всех местах, где ему надо было быть и куда его звали, приехал домой перед самым обедом. Как только он вошел, он заметил и почувствовал напряженность любовной атмосферы в доме, но, кроме того, он заметил странное замешательство, царствующее между некоторыми из членов общества. Особенно взволнованы были Соня, Долохов, старая графиня и немного Наташа. Николай понял, что что-то должно было случиться до обеда между Соней и Долоховым, и, с свойственною ему чуткостью сердца, был очень нежен и осторожен во время обеда в обращении с ними обоими. В этот же вечер третьего дня праздников должен был быть один из тех балов у Иогеля (танцевального учителя), которые он давал по праздникам для всех своих учеников и учениц.

— Николенька, ты поедешь к Иогелю? Пожалуйста, поезжай, — сказала ему Наташа, — он тебя особенно просил, и Василий Дмитрич (это был Денисов) едет.

— Куда я не поеду по пг'иказанию г'афини! — сказал Денисов, шутливо поставивший себя в доме Ростовых на ногу рыцаря Наташи, — pas de châle[1] готов танцевать.

— Коли успею! Я обещал Архаровым, у них вечер, — сказал Николай.

— А ты?.. — обратился он к Долохову. И только что спросил это, заметил, что этого не надо было спрашивать.

— Да, может быть... — холодно и сердито отвечал Долохов, взглянув на Соню и нахмурившись, точно таким взглядом, каким он на клубном обеде смотрел на Пьера, опять взглянул на Николая.

«Что-нибудь есть», — подумал Николай, и, еще более утвердившись в этом предположении тем, что Долохов тотчас же после обеда уехал, он вызвал Наташу и спросил, что такое?

— А я тебя искала, — сказала Наташа, выбежав к нему. — Я говорила, ты все не хотел верить, — торжествующе сказала она, — он сделал предложение Соне.

Как ни мало занимался Николай Соней за это время, но что-то как бы оторвалось в нем, когда он услыхал это. Долохов был приличная и в некоторых отношениях блестящая партия для бесприданной сироты Сони. С точки зрения старой графини и света, нельзя было отказать ему. И потому первое чувство Николая, когда он услыхал это, было озлобление против Сони. Он приготавливался к тому, чтобы сказать: «И прекрасно, разумеется, надо забыть детские обещания и принять предложение»; но не успел он еще сказать этого...

— Можешь себе представить! она отказала, совсем отказала! — заговорила Наташа. — Она сказала, что любит другого, — прибавила она, помолчав немного.

«Да иначе и не могла поступить моя Соня!» — подумал Николай.

---

[1] танец с шалью

— Сколько ее ни просила мама, она отказала, и я знаю, она не переменит, если что сказала...

— А мама просила ее! — с упреком сказал Николай.

— Да, — сказала Наташа. — Знаешь, Николенька, не сердись: но я знаю, что ты на ней не женишься. Я знаю, Бог знает отчего, я знаю верно, ты не женишься.

— Ну, этого ты никак не знаешь, — сказал Николай, — но мне надо поговорить с ней. Что за прелесть эта Соня! — прибавил он улыбаясь.

— Это такая прелесть! Я тебе пришлю ее. — И Наташа, поцеловав брата, убежала.

Через минуту вошла Соня, испуганная, растерянная и виноватая. Николай подошел к ней и поцеловал ее руку. Это был первый раз, что они в этот приезд говорили с глазу на глаз и о своей любви.

— Sophie, — сказал он сначала робко и потом смелее и смелее, — ежели вы хотите отказаться не только от блестящей, от выгодной партии; но он прекрасный, благородный человек... он мой друг...

Соня перебила его.

— Я уж отказалась, — сказала она поспешно.

— Ежели вы отказываетесь для меня, то я боюсь, что на мне...

Соня опять перебила его. Она умоляющим, испуганным взглядом посмотрела на него.

— Nicolas, не говорите мне этого, — сказала она.

— Нет, я должен. Может быть, это suffisance[1] с моей стороны, но все лучше сказать. Ежели вы откажетесь для меня, то я должен вам сказать всю правду. Я вас люблю, я думаю, больше всех.

— Мне и довольно, — вспыхнув, сказала Соня.

— Нет, но я тысячу раз влюблялся и буду влюбляться, хотя такого чувства дружбы, доверия, любви я ни к кому не имею, как к вам. Потом, я молод. Maman не хочет этого. Ну, просто, я ничего не обещаю. И я прошу вас подумать о предложении Долохова, — сказал он, с трудом выговаривая фамилию своего друга.

— Не говорите мне этого. Я ничего не хочу. Я люблю вас как брата и всегда буду любить, и больше мне ничего не надо.

— Вы ангел, я вас не сто́ю, но я только боюсь обмануть вас. — Николай еще раз поцеловал ее руку.

XII

У Иогеля были самые веселые балы в Москве. Это говорили матушки, глядя на своих adolescentes[2] , выделывающих свои только что выученные па; это говорили и сами adolescentes и adolescents[3], танцевавшие до упаду; это говорили взрослые девицы и молодые люди, приезжавшие на эти балы с мыслию снизойти до них и находя в них самое лучшее веселье. В этот же год на этих балах сделалось два брака.

[1] самонадеянность

[2] подросточков

[3] подростки

Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж, и тем еще более пустили в славу эти балы. Особенного на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по правилам искусства расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за уроки от всех своих гостей; было то, что на эти балы еще езжали только те, кто хотел танцевать и веселиться, как хотят этого тринадцати- и четырнадцатилетние девочки, в первый раз надевающие длинные платья. Все, за редкими исключениями, были или казались хорошенькими: так восторженно они все улыбались и так разгорались их глазки. Иногда танцовывали даже pas de châle[1] лучшие ученицы, из которых лучшая была Наташа, отличавшаяся своею грациозностью; но на этом, последнем бале танцевали только экосезы, англезы и только что входящую в моду мазурку. Зала была взята Иогелем в доме Безухова, и бал очень удался, как говорили все. Много было хорошеньких девочек, Ростовы барышни были из лучших. Они обе были особенно счастливы и веселы в этот вечер. Соня, гордая предложением Долохова, своим отказом и объяснением с Николаем, кружилась еще дома, не давая девушке дочесать свои косы, и теперь насквозь светилась порывистой радостью.

Наташа, не менее гордая тем, что она в первый раз была в длинном платье, на настоящем бале, была еще счастливее. Они были в белых кисейных платьях с розовыми лентами.

Наташа сделалась влюблена с самой той минуты, как она вошла на бал. Она не был влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена.

— Ах, как хорошо! — все говорила она, подбегая к Соне.

Николай с Денисовым ходили по залам, ласково и покровительственно оглядывая танцующих.

— Как она мила, кг'асавица будет, — сказал Денисов.

— Кто?

— Г'афиня Наташа, — отвечал Денисов.

— И как она танцует, какая г'ация! — помолчав немного, опять сказал он.

— Да про кого ты говоришь?

— Пг'о сестг'у пг'о твою, — сердито крикнул Денисов.

Ростов усмехнулся.

— Mon cher comte; vous êtes l'un de mes meilleurs écoliers, il faut que vous dansiez, — сказал маленький Иогель, подходя к Николаю. — Voyez combien de jolies demoiselles[2]. — Он с тою же просьбой обратился и к Денисову, тоже своему бывшему ученику.

— Non, mon cher, je ferai tapisserie[3], — сказал Денисов. — Разве вы не помните, как дурно я пользовался вашими уроками?..

---

[1] танец с шалью

[2] Любезный граф, вы один из лучших моих учеников. Вы должны танцевать. Посмотрите, сколько хорошеньких девушек

[3] Нет, мой милый, я лучше посижу для вида

— О нет! — поспешно утешая его, сказал Иогель. — Вы только невнимательны были, а вы имели способности, да, вы имели способности.

Заиграли вновь вводившуюся мазурку. Николай не мог отказать Иогелю и пригласил Соню. Денисов подсел к старушкам и, облокотившись на саблю, притопывая такт, что-то весело рассказывал и смешил старых дам, поглядывая на танцующую молодежь. Иогель в первой паре танцевал с Наташей, своею гордостью и лучшей ученицей. Мягко, нежно перебирая своими ножками в башмачках, Иогель первым полетел по зале с робевшей, но старательно выделывающей па Наташей. Денисов не спускал с нее глаз и пристукивал саблей такт с таким видом, который ясно говорил, что он сам не танцует только оттого, что не хочет, а не оттого, что не может. В середине фигуры он подозвал к себе проходившего мимо Ростова.

— Это совсем не то, — сказал он. — Разве это польская мазуг'ка? А отлично танцует.

Зная, что Денисов и в Польше даже славился своим мастерством плясать польскую мазурку, Николай подбежал к Наташе.

— Поди выбери Денисова. Вот танцует! Чудо! — сказал он.

Когда пришел опять черед Наташи, она встала и быстро перебирая своими с бантиками башмачками, робея, одна пробежала через залу к углу, где сидел Денисов. Она видела, что все смотрят на нее и ждут. Николай видел, что Денисов и Наташа, улыбаясь, спорили и что Денисов отказывался, но радостно улыбался. Он подбежал.

— Пожалуйста, Василий Дмитрич, — говорила Наташа, — пойдемте, пожалуйста.

— Да что. Увольте, г'афиня, — говорил Денисов.

— Ну полно, Вася, — сказал Николай.

— Точно кота Ваську уговаг'ивает, — шутя сказал Денисов.

— Целый вечер вам буду петь, — сказала Наташа.

— Волшебница, все со мной сделает! — сказал Денисов и отстегнул саблю. Он вышел из-за стульев, крепко взял за руку свою даму, приподнял голову и отставил ногу, ожидая такта. Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем самым молодцом, каким он сам себя чувствовал. Выждав такт, он сбоку, победоносно и шутливо, взглянул на свою даму, неожиданно пристукнул одною ногой и, как мячик, упруго отскочил от пола и полетел вдоль по кругу, увлекая за собой свою даму. Он неслышно летел половину залы на одной ноге и, казалось, не видел стоявших перед ним стульев и прямо несся на них; но вдруг, прищелкнув шпорами и расставив ноги, останавливался на каблуках, стоял так секунду, с грохотом шпор стучал на одном месте ногами, быстро вертелся и, левою ногой подщелкивая правую, опять летел по кругу. Наташа чутьем угадывала то, что он намерен был сделать, и, сама не зная как, следила за ним — отдаваясь ему. То он кружил ее на правой, то на левой руке, то, падая на колена, обводил ее вокруг себя и опять вскакивал и пускался вперед с такой стремительностью, как будто он намерен был, не переводя духа, перебежать через все комнаты; то вдруг опять останавливался

и делал опять новое и неожиданное колено. Когда он, бойко закружив даму перед ее местом, щелкал шпорой, кланяясь перед ней, Наташа даже не присела ему. Она с недоумением уставила на него глаза, улыбаясь, как будто не узнавая его.

— Что ж это такое? — проговорила она.

Несмотря на то, что Иогель не признавал эту мазурку настоящей, все были восхищены мастерством Денисова, беспрестанно стали выбирать его, и старики, улыбаясь, стали разговаривать про Польшу и про доброе старое время. Денисов, раскрасневшись от мазурки и отираясь платком, подсел к Наташе и весь бал не отходил от нее.

XIII

Два дня после этого Ростов не видал Долохова у своих и не заставал его дома; на третий день он получил от него записку.

«Так как я в доме у вас бывать более не намерен по известным тебе причинам и еду в армию, то нынче вечером я даю моим приятелям прощальную пирушку — приезжай в Английскую гостиницу». Ростов в десятом часу, из театра, где он был вместе с своими и Денисовым, приехал в назначенный день в Английскую гостиницу. Его тотчас же провели в лучшее помещение гостиницы, занятое на эту ночь Долоховым.

Человек двадцать толпилось около стола, перед которым между двумя свечами сидел Долохов. На столе лежало золото и ассигнации, и Долохов метал банк. После предложения и отказа Сони Николай еще не видался с ним и испытывал замешательство при мысли о том, как они свидятся.

Светлый холодный взгляд Долохова встретил Ростова еще у двери, как будто он давно ждал его.

— Давно не видались, — сказал он, — спасибо, что приехал. Вот только домечу, и явится Илюшка с хором.

— Я к тебе заезжал, — сказал Ростов, краснея.

Долохов не отвечал ему.

— Можешь поставить, — сказал он.

Ростов вспомнил в эту минуту странный разговор, который он имел раз с Долоховым. «Играть на счастие могут только дураки», — сказал тогда Долохов.

— Или ты боишься со мной играть? — сказал теперь Долохов, как будто угадав мысль Ростова, и улыбнулся. Из-за улыбки его Ростов увидал в нем то настроение духа, которое было у него во время обеда в клубе и вообще в те времена, когда, как бы соскучившись ежедневною жизнью, Долохов чувствовал необходимость каким-нибудь странным, большею частью жестоким, поступком выходить из нее.

Ростову стало неловко; он искал и не находил в уме своем шутки, которая ответила бы на слова Долохова. Но, прежде чем он успел это сделать, Долохов, глядя прямо в лицо Ростову, медленно и с расстановкой, так, что все могли слышать, сказал ему:

— А помнишь, мы говорили с тобой про игру... дурак, кто на счастье хочет играть; играть надо наверное, а я хочу попробовать.

«Попробовать на счастье играть или наверное?» — подумал Ростов.

— Да и лучше не играй, — прибавил он и, треснув разорванной колодой, сказал: — Банк, господа!

Подвинув вперед деньги, Долохов приготовился метать. Ростов сел подле него и сначала не играл. Долохов взглядывал на него.

— Что ж не играешь? — сказал Долохов. И странно, Николай почувствовал необходимость взять карту, поставить на нее незначительный куш и начать игру.

— Со мною денег нет, — сказал Ростов.

— Поверю!

Ростов поставил пять рублей на карту и проиграл, поставил еще и опять проиграл. Долохов убил, то есть выиграл десять карт сряду у Ростова.

— Господа, — сказал он, прометав несколько времени, — прошу класть деньги на карты, а то я могу спутаться в счетах.

Один из игроков сказал, что, он надеется, ему можно поверить.

— Поверить можно, но боюсь спутаться; прощу класть деньги на карты, — отвечал Долохов. — Ты не стесняйся, мы с тобой сочтемся, — прибавил он Ростову.

Игра продолжалась; лакей не переставая разносил шампанское.

Все карты Ростова бились, и на него было написано до восьмисот рублей. Он надписал было над одной картой восемьсот рублей, но в то время, как ему подавали шампанское, он раздумал и написал опять обыкновенный куш, двадцать рублей.

— Оставь, — сказал Долохов, хотя он, казалось, и не смотрел на Ростова, — скорее отыграешься. Другим даю, а тебе бью. Иль ты меня боишься? — повторил он.

Ростов повиновался, оставил написанные восемьсот и поставил семерку червей с оторванным уголком, которую он поднял с земли. Он хорошо ее после помнил. Он поставил семерку червей, надписав над ней отломанным мелком восемьсот, круглыми, прямыми цифрами; выпил поданный стакан согревшегося шампанского, улыбнулся на слова Долохова и, с замиранием сердца ожидая семерки, стал смотреть на руки Долохова, державшие колоду. Выигрыш или проигрыш этой семерки червей означал многое для Ростова. В воскресенье на прошлой неделе граф Илья Андреич дал своему сыну две тысячи рублей, и он, никогда не любивший говорить о денежных затруднениях, сказал ему, что деньги эти были последние до мая и что потому он просил сына быть на этот раз поэкономнее. Николай сказал, что ему и это слишком много и что он дает честное слово не брать больше денег до весны. Теперь из этих денег оставалось тысяча двести рублей. Стало быть, семерка червей означала не только проигрыш тысячи шестисот рублей, но и необходимость изменения данному слову. Он с замиранием сердца смотрел на руки Долохова и думал: «Ну, скорей, дай мне эту карту, и я беру фуражку, уезжаю домой ужинать с Денисовым, Наташей и Соней, и уж верно никогда в руках моих не будет карты». В эту минуту домашняя жизнь его — шуточки с Петей, разговоры с Соней, дуэты с Наташей, пикет с отцом и даже спокойная постель в Поварском доме — с такой силою, ясностью и прелестью

представилась ему, как будто все это было давно прошедшее, потерянное и неоцененное счастье. Он не мог допустить, чтобы глупая случайность, заставив семерку лечь прежде направо, чем налево, могла бы лишить его всего этого вновь понятого, вновь освещенного счастья и повергнуть его в пучину еще не испытанного и неопределенного несчастия. Это не могло быть, но он все-таки ожидал с замиранием движения рук Долохова. Ширококостые, красноватые руки эти с волосами, видневшимися из-под рубашки, положили колоду карт и взялись за подаваемый стакан и трубку.

— Так ты не боишься со мной играть? — повторил Долохов, и, как будто для того, чтобы рассказать веселую историю, он положил карты, опрокинулся на спинку стула и медлительно с улыбкой стал рассказывать:

— Да, господа, мне говорили, что в Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мной осторожнее.

— Ну, мечи же! — сказал Ростов.

— Ох, московские тетушки! — сказал Долохов и с улыбкой взялся за карты.

— Ааах! — чуть не крикнул Ростов, поднимая обе руки к волосам. Семерка, которая была нужна ему, уже лежала вверху, первою картой в колоде. Он проиграл больше того, что мог заплатить.

— Однако ты не зарывайся, — сказал Долохов, мельком взглянув на Ростова и продолжая метать.

XIV

Через полтора часа времени большинство игроков уже шутя смотрели на свою собственную игру.

Вся игра сосредоточилась на одном Ростове. Вместо тысячи шестисот рублей за ним была записана длинная колонна цифр, которую он считал до десятой тысячи, но которая теперь, как он смутно предполагал, возвысилась уже до пятнадцати тысяч. В сущности, запись уже превышала двадцать тысяч рублей. Долохов уже не слушал и не рассказывал историй; он следил за каждым движением рук Ростова и бегло оглядывал изредка свою запись за ним. Он решил продолжать игру до тех пор, пока запись эта не возрастет до сорока трех тысяч. Число это было им выбрано потому, что сорок три составляло сумму сложенных его годов с годами Сони. Ростов, опершись головою на обе руки, сидел перед исписанным, залитым вином, заваленным картами столом. Одно мучительное впечатление не оставляло его: эти ширококостые, красноватые руки с волосами, видневшимися из-под рубашки, эти руки, которые он любил и ненавидел, держали его в своей власти.

«Шестьсот рублей, туз, угол, девятка... отыграться невозможно! И как бы весело было дома... Валет на пе... это не может быть!.. И зачем же это он делает со мной?..» — думал и вспоминал Ростов. Иногда он ставил большую карту; но Долохов отказывался бить ее и сам назначал куш. Николай покорялся ему, и то молился Богу, как он молился на поле сражения на Амштетенском мосту; то загадывал, что та карта, которая первая попадется ему в руку из кучи изогнутых карт под столом, та спасет его;

то рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке, и с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш; то за помощью оглядывался на других играющих; то вглядывался в холодное теперь лицо Долохова и старался проникнуть, что в нем делалось.

«Ведь он знает, — говорил он сам себе, — что значит для меня этот проигрыш. Не может же он желать моей погибели? Ведь он друг был мне. Ведь я его любил... Но и он не виноват; что ж ему делать, когда ему везет счастие? И я не виноват, — говорил он сам себе. — Я ничего не сделал дурного. Разве я убил кого-нибудь, оскорбил, пожелал зла? За что же такое ужасное несчастие? И когда оно началось? Еще так недавно, когда я подходил к этому столу с мыслью выиграть сто рублей, купить мама к именинам эту шкатулку и ехать домой, я так был счастлив, так свободен, весел! И я не понимал тогда, как я был счастлив! Когда же это кончилось и когда началось это новое, ужасное состояние? Чем ознаменовалась эта перемена? Я все так же сидел на этом месте, у этого стола, и так же выбирал и выдвигал карты и смотрел на эти ширококостые, ловкие руки. Когда же это совершилось и что такое совершилось? Я здоров, силен и все тот же, и все на том же месте. Нет, это не может быть! Верно, все это ничем не кончится».

Он был красен, весь в поту, несмотря на то, что в комнате не было жарко. И лицо его было страшно и жалко, особенно по бессильному желанию казаться спокойным.

Запись дошла до рокового числа сорока трех тысяч. Ростов приготовил карту, которая должна была идти углом от трех тысяч рублей, только что данных ему, когда Долохов стукнул колодой, отложил ее и, взяв мел, начал быстро своим четким, крепким почерком, ломая мелок, подводить итог записи Ростова.

— Ужинать, ужинать пора! Вон и цыгане! — Действительно, с своим цыганским акцентом уже входили с холода и говорили что-то какие-то черные мужчины и женщины. Николай понимал, что все было кончено; но он равнодушным голосом сказал:

— Что же, не будешь еще? А у меня славная карточка приготовлена. — Как будто более всего его интересовало веселье самой игры.

«Все кончено, я пропал! — думал он. — Теперь пуля в лоб — одно остается», — и вместе с тем он сказал веселым голосом:

— Ну, еще одну карточку.

— Хорошо, — отвечал Долохов, окончив итог, — хорошо! двадцать один рубль идет, — сказал он, указывая на цифру двадцать один, рознившую ровный счет сорока трех тысяч, и, взяв колоду, приготовился метать. Ростов покорно отогнул угол и вместо приготовленных шести тысяч старательно написал двадцать один.

— Это мне все равно, — сказал он, — мне только интересно знать, убьешь ты или дашь мне эту десятку.

Долохов серьезно стал метать. О, как ненавидел Ростов в эту минуту эти руки, красноватые, с короткими пальцами и с волосами, видневшимися из-под рубашки, имевшие его в своей власти... Десятка была дана.

— За вами сорок три тысячи, граф, — сказал Долохов и, потягиваясь, встал из-за стола. — А устаешь, однако, так долго сидеть, — сказал он.

— Да, и я тоже устал, — сказал Ростов.

Долохов, как будто напоминая ему, что ему неприлично было шутить, перебил его:

— Когда прикажете получить деньги, граф?

Ростов, вспыхнув, вызвал Долохова в другую комнату.

— Я не могу вдруг заплатить все, ты возьмешь вексель, — сказал он.

— Послушай, Ростов, — сказал Долохов, ясно улыбаясь и глядя в глаза Николаю, — ты знаешь поговорку. «Счастлив в любви, несчастлив в картах». Кузина твоя влюблена в тебя. Я знаю.

«О! это ужасно — чувствовать себя так во власти этого человека», — думал Ростов. Ростов понимал, какой удар он нанесет отцу, матери объявлением этого проигрыша; он понимал, какое бы было счастье избавиться от всего этого, и понимал, что Долохов знает, что может избавить его от этого стыда и горя, и теперь хочет еще играть с ним, как кошка с мышью.

— Твоя кузина... — хотел сказать Долохов; но Николай перебил его.

— Моя кузина тут ни при чем, и о ней говорить нечего! — крикнул он с бешенством.

— Так когда получить? — спросил Долохов.

— Завтра, — сказал Ростов и вышел из комнаты.

XV

Сказать «завтра» и выдержать тон приличия было нетрудно, но приехать одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно.

Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, поужинав, сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в залу, его охватила та любовная поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме и которая теперь, после предложения Долохова и бала Иогеля, казалось, еще более сгустилась, как воздух перед грозой, над Соней и Наташей. Соня и Наташа, в голубых платьях, в которых они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые, улыбаясь, стояли у клавикорд. Вера с Шиншиным играла в шахматы в гостиной. Старая графиня, ожидая сына и мужа, раскладывала пасьянс с старушкой дворянкой, жившей у них в доме. Денисов, с блестящими глазами и взъерошенными волосами, сидел, откинув ножку назад, у клавикорд и, хлопая по ним своими коротенькими пальчиками, брал аккорды и, закатывая глаза, своим маленьким, хриплым, но верным голосом пел сочиненное им стихотворение «Волшебница», к которому он пытался найти музыку.

Волшебница, скажи, какая сила
Влечет меня к покинутым струнам;
Какой огонь ты в сердце заронила,
Какой восторг разлился по перстам! —

пел он страстным голосом, блестя на испуганную и счастливую Наташу своими агатовыми черными глазами.

— Прекрасно! отлично! — кричала Наташа. — Еще другой куплет, — говорила она, не замечая Николая.

«У них все то же», — подумал Николай, заглядывая в гостиную, где он увидал Веру и мать со старушкой.

— А! вот и Николенька! — Наташа подбежала к нему.

— Папенька дома? — спросил он.

— Как я рада, что ты приехал! — не отвечая, сказала Наташа. — Нам так весело! Василий Дмитрич остался для меня еще день, ты знаешь?

— Нет, еще не приезжал папа, — сказала Соня.

— Коко, ты приехал, поди ко мне, дружок, — сказал голос графини из гостиной. Николай подошел к матери, поцеловал ее руку и, молча подсев к ее столу, стал смотреть на ее руки, раскладывавшие карты. Из залы все слышались смех и веселые голоса, уговаривавшие Наташу.

— Ну, хорошо, хорошо, — закричал Денисов, — теперь нечего отговариваться, за вами barcarolla[1], умоляю вас.

Графиня оглянулась на молчаливого сына.

— Что с тобой? — спросила мать у Николая.

— Ах, ничего, — сказал он, как будто ему уже надоел этот все один и тот же вопрос. — Папенька скоро приедет?

— Я думаю.

«У них все то же. Они ничего не знают! Куда мне деваться?» — подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды.

Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркароллы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее.

Николай стал ходить взад и вперед по комнате.

«И вот охота заставлять ее петь! Что она может петь? И ничего тут нет веселого», — думал Николай.

Соня взяла первый аккорд прелюдии.

«Боже мой, я бесчестный, я погибший человек. Пулю в лоб — одно, что остается, а не петь, — подумал он. — Уйти? но куда же? Все равно, пускай поют!»

Николай мрачно, продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов.

«Николенька, что с вами?» — спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что-нибудь случилось с ним.

Николай отвернулся от нее. Наташа с своею чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в ту минуту, так далека она была от горя, грусти, упреков, что она (как это часто бывает с молодыми людьми) нарочно обманула себя. «Нет, мне слишком весело теперь,

[1] Баркарола (итал. barcarola, от barca — лодка) – это музыкальное произведение, написанное в стиле песни венецианских гондольеров. Обычно оно имеет плавный, покачивающийся ритм, напоминающий движение лодки по воде.

чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю», — почувствовала она и сказала себе: «Нет, я, верно, ошибаюсь, он должен быть весел так же, как и я».

— Ну, Соня, — сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Приподняв голову, опустив безжизненно-повисшие руки, как это делают танцовщицы, Наташа, энергическим движением переступая с каблучка на цыпочку, прошлась посередине комнаты и остановилась.

«Вот она я!» — как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней.

«И чему она радуется! — подумал Николай, глядя на сестру. — И как ей не скучно и не совестно!» Наташа взяла первую ноту, горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту, и из в улыбку сложенного рта полились звуки, те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать.

Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь и в особенности оттого, что Денисов восторгался ее пением. Она пела теперь не по-детски, уж не было в ее пении этой комической, ребяческой старательности, которая была в ней прежде, но она пела еще не хорошо, как говорили все знатоки-судьи, которые ее слушали. «Не обработан, но прекрасный голос, надо обработать», — говорили все. Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переходов, даже знатоки-судьи ничего не говорили и только наслаждались этим необработанным голосом, и только желали еще раз услыхать его. В голосе ее была та девственность, нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его.

«Что ж это такое? — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза. — Что с ней сделалось? Как она поет нынче?» — подумал он. И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа: «Oh mio crudele affetto...[1]1 Раз, два, три... раз, два... три... раз... Oh mio crudele affetto... Раз, два три... раз. Эх, жизнь наша дурацкая! — думал Николай. — Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь, — все это вздор... а вот оно — настоящее... Ну, Наташа, ну, голубчик! ну, матушка!.. Как она этот si возьмет... Взяла? Слава Богу. — И он, сам не замечая того, что он поет, чтобы усилить этот si, взял втору в терцию высокой ноты. — Боже мой! как хорошо! Неужели это я взял? как счастливо!» — подумал он.

О, как задрожала эта терция и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, и Долоховы, и честное слово!.. Все вздор! Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым...

[1] О моя жестокая любовь... (итал.) — Ред.

XVI

Давно уже Ростов не испытывал такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но как только Наташа кончила свою баркароллу, действительность опять вспомнилась ему. Он, ничего не сказав, вышел и пошел вниз в свою комнату. Через четверть часа старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. Николай, услыхав его приезд, пошел к нему.

— Ну что, повеселился? — сказал Илья Андреич, радостно и гордо улыбаясь на своего сына. Николай хотел сказать, что «да», но не мог: он чуть было не зарыдал. Граф раскуривал трубку и не заметил состояния сына.

«Эх, неизбежно!» — подумал Николай в первый и последний раз. И вдруг самым небрежным тоном, таким, что он сам себе гадок казался, как будто он просил экипажа съездить в город, он сказал отцу:

— Папа, я к вам за делом пришел. Я было и забыл. Мне денег нужно.

— Вот как, — сказал отец, находившийся в особенно веселом духе. — Я тебе говорил, что недостанет. Много ли?

— Очень много, — краснея и с глупой, небрежной улыбкой, которую он долго потом не мог себе простить, сказал Николай. — Я немного проиграл, то есть много, даже очень много, сорок три тысячи.

— Что? Кому?.. Шутишь! — крикнул граф, вдруг апоплексически краснея шеей и затылком, как краснеют старые люди.

— Я обещал заплатить завтра, — сказал Николай.

— Ну!.. — сказал старый граф, разводя руками, и бессильно опустился на диван.

— Что же делать! С кем это не случалось, — сказал сын развязным, смелым тоном, тогда как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целою жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается.

Граф Илья Андреич опустил глаза, услыхав эти слова сына, и заторопился, отыскивая что-то.

— Да, да, — проговорил он, — трудно, я боюсь, трудно достать... с кем не бывало! да, с кем не бывало... — И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты... Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого.

— Папенька! па...пенька! — закричал он ему вслед, рыдая, — простите меня! — И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал.

В то время как отец объяснялся с сыном, у матери с дочерью происходило не менее важное объяснение. Наташа, взволнованная, прибежала к матери.

— Мама!.. Мама!.. он мне сделал...

— Что сделал?

— Сделал, сделал предложение. Мама! Мама! — кричала она.

Графиня не верила своим ушам. Денисов сделал предложение. Кому? Этой крошечной девочке Наташе, которая еще недавно играла в куклы и теперь еще брала уроки.

— Наташа, полно, глупости! — сказала она, еще надеясь, что это была шутка.

— Ну вот, глупости! Я вам дело говорю, — сердито сказала Наташа. — Я пришла спросить, что делать, а вы говорите: «глупости»...

Графиня пожала плечами.

— Ежели правда, что мосье Денисов сделал тебе предложение, хотя это смешно, то скажи ему, что он дурак, вот и все.

— Нет, он не дурак, — обиженно и серьезно сказала Наташа.

— Ну, так что ж ты хочешь? Вы нынче ведь все влюблены. Ну, влюблена, так выходи замуж, — сердито смеясь, проговорила графиня, — с Богом!

— Нет, мама, я не влюблена в него, должно быть, не влюблена в него.

— Ну так так и скажи ему.

— Мама, вы сердитесь? Вы не сердитесь, голубушка, ну в чем же я виновата?

— Нет, да что же, мой друг? Хочешь, я пойду скажу ему, — сказала графиня улыбаясь.

— Нет, я сама, только вы научите. Вам все легко, — прибавила она, отвечая на ее улыбку. — А коли бы вы видели, как он мне это сказал! Ведь я знаю, что он не хотел сказать, да уж нечаянно сказал.

— Ну, все-таки надо отказать.

— Нет, не надо. Мне так его жалко! Он такой милый.

— Ну, так прими предложение. И то, пора замуж идти, — сердито и насмешливо сказала мать.

— Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу.

— Да тебе и нечего говорить, я сама скажу, — сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на ее маленькую Наташу.

— Нет, ни за что, я сама, а вы идите слушайте у двери. — И Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле, у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов.

— Натали, — сказал он, быстрыми шагами подходя к ней, — решайте мою судьбу. Она в ваших руках!

— Василий Дмитрич, мне вас так жалко!.. Нет, но вы такой славный... но не надо... это... а так я вас всегда буду любить.

Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные, непонятные звуки. Она поцеловала его в черную спутанную курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним.

— Василий Дмитрич, я благодарю вас за честь, — сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову, — но моя дочь так молода, и я думала, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа.

— Г'афиня... — сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом, хотел сказать что-то еще и запнулся.

Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать.

— Г'афиня, я виноват пег'ед вами, — продолжал Денисов прерывающимся голосом, — но знайте, что я так боготвог'ю вашу дочь и все ваше семейство, что две жизни отдам... — Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо... — Ну, пг'ощайте, г'афиня, — сказал он, поцеловав ее руку, и, не взглянув на Наташу, быстрыми, решительными шагами вышел из комнаты.

На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции.

После отъезда Денисова Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дома, и преимущественно в комнате барышень.

Соня была к нему преданнее и нежнее, чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его; но Николай теперь считал себя недостойным ее.

Он исписал альбомы девочек стихами и нотами и, не простившись ни с кем из своих знакомых, отослав, наконец, все сорок три тысячи и получив расписку Долохова, уехал в конце ноября догонять полк, который уже был в Польше.

Часть вторая

I

После своего объяснения с женой Пьер поехал в Петербург. В Торжке на станции не было лошадей, или не хотел их дать смотритель. Пьер должен был ждать. Он, не раздеваясь, лег на кожаный диван перед круглым столом, положил на этот стол свои большие ноги в теплых сапогах и задумался.

— Прикажете чемоданы внести? Постель постелить, чаю прикажете? — спрашивал камердинер.

Пьер не отвечал, потому что ничего не слыхал и не видел. Он задумался еще на прошлой станции и все продолжал думать о том же — о столь важном, что он не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг него. Его не только не интересовало то, что он позже или раньше приедет в Петербург, или то, что будет или не будет ему места отдохнуть на этой станции, но ему все равно было в сравнении с теми мыслями, которые его занимали теперь, пробудет ли он несколько часов или всю жизнь на этой станции.

Смотритель, смотрительша, камердинер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая Свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его. А его занимали все одни и те же вопросы с самого того дня, как он после дуэли вернулся из Сокольников и провел первую мучительную бессонную ночь; только теперь, в уединении путешествия, они с особенною силой овладели им. О чем бы он ни начинал думать, он возвращался к одним и тем же вопросам, которых он не мог разрешить и не мог переставать задавать себе. Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его.

Вошел смотритель и униженно стал просить его сиятельство подождать только два часика, после которых он для его сиятельства (что будет, то будет) даст курьерских. Смотритель, очевидно, врал и хотел только получить с проезжего лишние деньги. «Дурно ли это было, или хорошо? — спрашивал себя Пьер. — Для меня хорошо, для другого проезжающего дурно, а для него самого неизбежно, потому что ему есть нечего: он говорил, что его прибил за это офицер. А офицер прибил за то, что ему ехать надо было скорее. А я стрелял в Долохова за то, что я счел себя оскорбленным. А Людовика XVI казнили за то, что его считали преступником, а через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, не логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «Умрешь — все кончится. Умрешь, и все узнаешь — или перестанешь спрашивать». Но и умереть было страшно.

Торжковская торговка визгливым голосом предлагала свой товар и в особенности козловые туфли. «У меня сотни рублей, которых мне некуда деть, а она в прорванной шубе стоит и робко смотрит на меня, — думал Пьер. — И зачем нужны ей эти деньги? Точно на один волос могут прибавить ей счастья, спокойствия души эти деньги? Разве может что-нибудь в мире сделать ее и меня менее подверженными злу и смерти? Смерть, которая все кончит и которая должна прийти нынче или завтра, — все равно через мгновение, в сравнении с вечностью». И он опять нажимал на ничего не захватывающий винт, и винт все так же вертелся на одном и том же месте.

Слуга его подал ему разрезанную до половины книгу романа в письмах M-me Suza[1]. Он стал читать о страданиях и добродетельной борьбе какой-то Amélie de Mansfeld[2]. «И зачем она боролась против своего соблазнителя, — думал он, — когда она любила его? Не мог Бог вложить в ее душу стремления, противного его воле. Моя бывшая жена не боролась, и, может быть, она была права. Ничего не найдено, — опять говорил себе Пьер, — ничего не придумано. Знать мы можем только то, что ничего не знаем. И это высшая степень человеческой премудрости».

Все в нем самом и вокруг него представлялось ему запутанным, бессмысленным и отвратительным. Но в этом самом отвращении ко всему окружающему Пьер находил своего рода раздражающее наслаждение.

— Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку, вот для них, — сказал смотритель, входя в комнату и вводя за собой другого, остановленного за недостатком лошадей проезжающего. Проезжающий был приземистый, ширококостый, желтый, морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета глазами.

Пьер снял ноги со стола, встал и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который с угрюмо-усталым видом, не глядя на Пьера, тяжело раздевался с помощью слуги. Оставшись в заношенном крытом нанкой тулупчике и в валяных сапогах на худых, костлявых ногах, проезжий сел на диван, прислонив к спинке свою очень большую и широкую в висках, коротко обстриженную голову, и взглянул на Безухова. Строгое, умное и проницательное выражение этого взгляда поразило Пьера. Ему захотелось заговорить с проезжающим, но, когда он собрался обратиться к нему с вопросом о дороге, проезжающий уже закрыл глаза и, сложив сморщенные старые руки, на пальце одной из которых был большой чугунный перстень с изображением адамовой головы, неподвижно сидел, или отдыхая, или о чем-то глубокомысленно и спокойно размышляя, как показалось Пьеру. Слуга проезжающего был весь покрытый морщинами, тоже желтый старичок, без усов и бороды, которые, видимо, не были сбриты, а никогда и не росли у него. Поворотливый старичок слуга разбирал погребец, приготавливал чайный стол и принес кипящий самовар. Когда все было готово, проезжающий открыл глаза, придвинулся к столу и, налив себе один стакан чаю, налил другой безбородому старичку и подал ему. Пьер начинал чувствовать

[1] мадам Сюза

[2] Амели де Мансфельд

беспокойство и необходимость, и даже неизбежность вступления в разговор с этим проезжающим.

Слуга принес назад свой пустой, перевернутый стакан с недокусанным кусочком сахара и спросил, не нужно ли чего.

— Ничего. Подай книгу, — сказал проезжающий. Слуга подал книгу, которая показалась Пьеру духовною, и проезжающий углубился в чтение. Пьер смотрел на него. Вдруг проезжающий отложил книгу, заложив, закрыл ее и, опять закрыв глаза и облокотившись на спинку, сел в свое прежнее положение. Пьер смотрел на него и не успел отвернуться, как старик открыл глаза и уставил свой твердый и строгий взгляд прямо в лицо Пьеру.

Пьер чувствовал себя смущенным и хотел отклониться от этого взгляда, но блестящие старческие глаза неотразимо притягивали его к себе.

II

— Имею удовольствие говорить с графом Безуховым, ежели я не ошибаюсь, — сказал проезжающий неторопливо и громко. Пьер молча, вопросительно смотрел через очки на своего собеседника.

— Я слышал про вас, — продолжал проезжающий, — и про постигшее вас, государь мой, несчастье. — Он как бы подчеркнул последнее слово, как будто он сказал: «Да, несчастье, как вы ни называйте, я знаю, что то, что случилось с вами в Москве, было несчастье». — Весьма сожалею о том, государь мой.

Пьер покраснел и, поспешно спустив ноги с постели, нагнулся к старику, неестественно и робко улыбаясь.

— Я не из любопытства упомянул вам об этом, государь мой, но по более важным причинам. — Он помолчал, не выпуская Пьера из своего взгляда, и подвинулся на диване, приглашая этим жестом Пьера сесть подле себя. Пьеру неприятно было вступать в разговор с этим стариком, но он, невольно покоряясь ему, подошел и сел подле него.

— Вы несчастливы, государь мой, — продолжал он. — Вы молоды, я стар. Я бы желал по мере моих сил помочь вам.

— Ах, да, — с неестественной улыбкой сказал Пьер. — Очень вам благодарен... Вы откуда изволите проезжать? — Лицо проезжающего было не ласково, даже холодно и строго, но, несмотря на то, и речь и лицо нового знакомца неотразимо привлекательно действовали на Пьера.

— Но если по каким-либо причинам вам неприятен разговор со мною, — сказал старик, — то вы так и скажи те, государь мой. — И он вдруг улыбнулся неожиданной отечески нежной улыбкой.

— Ах нет, совсем нет, напротив, я очень рад познакомиться с вами, — сказал Пьер и, взглянув еще раз на руки нового знакомца, ближе рассмотрел перстень. Он увидал на нем адамову голову, знак масонства.

— Позвольте мне спросить, — сказал он, — вы масон?

— Да, я принадлежу к братству свободных каменщиков, — сказал проезжий, все глубже и глубже вглядываясь в глаза Пьеру. — И от себя и от их имени протягиваю вам братскую руку.

— Я боюсь, — сказал Пьер, улыбаясь и колеблясь между доверием, внушаемым ему личностью масона, и привычкой насмешки над верованиями масонов, — я боюсь, что я очень далек от пониманья, как это сказать, я боюсь, что мой образ мыслей насчет всего мироздания так противоположен вашему, что мы не поймем друг друга.

— Мне известен ваш образ мыслей, — сказал масон, — и тот ваш образ мыслей, о котором вы говорите и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей, есть однообразный плод гордости, лени и невежества. Извините меня, государь мой, ежели бы я не знал его, я бы не заговорил с вами. Ваш образ мыслей есть печальное заблужденье.

— Точно так же, как я могу предполагать, что и вы находитесь в заблуждении, — сказал Пьер, слабо улыбаясь.

— Я никогда не посмею сказать, что я знаю истину, — сказал масон, все более и более поражая Пьера своею определенностью и твердостью речи. — Никто один не может достигнуть до истины; только камень за камнем, с участием всех, миллионами поколений, от праотца Адама и до нашего времени, воздвигается тот храм, который должен быть достойным жилищем великого Бога, — сказал масон и закрыл глаза.

— Я должен вам сказать, я не верю, не... верю в Бога, — с сожалением и усилием сказал Пьер, чувствуя необходимость высказать всю правду.

Масон внимательно посмотрел на Пьера и улыбнулся, как улыбнулся бы богач, державший в руках миллионы, бедняку, который бы сказал ему, что нет у него, у бедняка, пяти рублей, могущих сделать его счастие.

— Да вы не знаете его, государь мой, — сказал масон. — Вы не можете знать его. Вы не знаете его, оттого вы и несчастны.

— Да, да, я несчастен, — подтвердил Пьер, — но что ж мне делать?

— Вы не знаете его, государь мой, и оттого вы очень несчастны. Вы не знаете его, а он здесь, он во мне, он в моих словах, он в тебе и даже в тех кощунствующих речах, которые ты произнес сейчас, — строгим дрожащим голосом сказал масон.

Он помолчал и вздохнул, видимо, стараясь успокоиться.

— Ежели бы его не было, — сказал он тихо, — мы бы с вами не говорили о нем, государь мои. О чем, о ком мы говорили? Кого ты отрицал? — вдруг сказал он с восторженной строгостью и властью в голосе. — Кто его выдумал, ежели его нет? Почему явилось в тебе предположение, что есть такое непонятное существо? Почему ты и весь мир предположили существование такого непостижимого существа, существа всемогущего, вечного и бесконечного во всех своих свойствах?.. — Он остановился и долго молчал.

Пьер не мог и не хотел прерывать этого молчания.

— Он есть, но понять его трудно, — заговорил опять масон, глядя не на лицо Пьера, а перед собою, своими старческими руками, которые от внутреннего волнения не могли оставаться спокойными, перебирая листы книги. — Ежели бы это

был человек, в существовании которого ты бы сомневался, я бы привел к тебе этого человека, взял бы его за руку и показал тебе. Но как я, ничтожный смертный, покажу все всемогущество, всю вечность, всю благость его тому, кто слеп, или тому, кто закрывает глаза, чтобы не видать, не понимать его, и не увидать, и не понять всю свою мерзость и порочность? — Он помолчал. — Кто ты? Что ты? Ты мечтаешь о себе, что ты мудрец, потому что ты мог произнести эти кощунственные слова, — сказал он с мрачной и презрительной усмешкой, — а ты глупее и безумнее малого ребенка, который бы, играя частями искусно сделанных часов, осмелился бы говорить, что, потому что он не понимает назначения этих часов, он и не верит в мастера, который их сделал. Познать его трудно. Мы веками, от праотца Адама и до наших дней, работаем для этого познания и на бесконечность далеки от достижения нашей цели; но в непонимании его мы видим только нашу слабость и его величие...

Пьер с замиранием сердца, блестящими глазами Глядя в лицо масона, слушал его, не перебивал, не спрашивал его, а всей душой верил тому, что говорил ему этот чужой человек. Верил ли он тем разумным доводам, которые были в речи масона, или верил, как верят дети, интонациям, убежденности и сердечности, которые были в речи масона, дрожанию голоса, которое иногда почти прерывало масона, или этим блестящим старческим глазам, состарившимся на том же убеждении, или тому спокойствию, твердости и знанию своего назначения, которые светились из всего существа масона и которые особенно сильно поражали его в сравнении с своей опущенностью и безнадежностью, — но он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни.

— Он не постигается умом, а постигается жизнью, — сказал масон.

— Я не понимаю, — сказал Пьер, со страхом чувствуя поднимающееся в себе сомнение. Он боялся неясности и слабости доводов своего собеседника, он боялся не верить ему. — Я не понимаю, — сказал он, — каким образом ум человеческий не может постигнуть того знания, о котором вы говорите.

Масон улыбнулся своей кроткой отеческой улыбкой.

— Высшая мудрость и истина есть как бы чистейшая влага, которую мы хотим воспринять в себя, — сказал он. — Могу ли я в нечистый сосуд воспринять эту чистую влагу и судить о чистоте ее? Только внутренним очищением самого себя я могу до известной чистоты довести воспринимаемую влагу.

— Да, да, это так! — радостно сказал Пьер.

— Высшая мудрость основана не на одном разуме, не на тех светских науках физики, истории, химии и т. д., на которые распадается знание умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имеет одну науку — науку всего, науку, объясняющую все мироздание и занимаемое в нем место человека. Для того чтобы вместить в себя эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутреннего человека, и потому прежде, чем знать, нужно верить и совершенствоваться. И для достижения этих целей в душе нашей вложен свет Божий, называемый совестью.

— Да, да, — подтверждал Пьер.

— Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой. Чего ты достиг, руководясь одним умом? Что ты

такое? Вы молоды, вы богаты, вы умны, образованны, государь мой. Что вы сделали из всех этих благ, данных вам? Довольны ли вы собой и своей жизнью?

— Нет, я ненавижу свою жизнь, — сморщась, проговорил Пьер.

— Ты ненавидишь, так измени ее, очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость. Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Как вы проводили ее? В буйных оргиях и разврате, все получая от общества и ничего не отдавая ему. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего? Подумали ли вы о десятках тысяч ваших рабов, помогли ли вы им физически и нравственно? Нет. Вы пользовались их трудами, чтобы вести распутную жизнь. Вот что вы сделали. Избрали ли вы место служения, где бы вы приносили пользу своему ближнему? Нет. Вы в праздности проводили свою жизнь. Потом вы женились, государь мой, взяли на себя ответственность в руководстве молодой женщины, и что же вы сделали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее в пучину лжи и несчастья. Человек оскорбил вас, и вы убили его, и вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите Свою жизнь. Тут нет ничего мудреного, государь мой!

После этих слов масон, как бы устав от продолжительного разговора, опять облокотился на спинку дивана и закрыл глаза. Пьер смотрел на это строгое, неподвижное, старческое, почти мертвое лицо и беззвучно шевелил губами. Он хотел сказать: да, мерзкая, праздная, развратная жизнь, и не смел прерывать молчание.

Масон хрипло, старчески прокашлялся и крикнул слугу.

— Что лошади? — спросил он, не глядя на Пьера.

— Привели сдаточных, — отвечал слуга. — Отдыхать не будете?

— Нет, вели закладывать.

«Неужели же он уедет и оставит меня одного, не договорив всего и не обещав мне помощи? — думал Пьер, вставая и опустив голову, изредка взглядывая на масона и начиная ходить по комнате. — Да, я не думал этого, но я вел презренную, развратную жизнь, но я не любил ее и не хотел этого, — думал Пьер, — а этот человек знает истину, и ежели бы он захотел, он мог бы открыть мне ее». Пьер хотел и не смел сказать этого масону. Проезжающий, привычными старческими руками уложив свои вещи, застегивал свой тулупчик. Окончив эти дела, он обратился к Безухову и равнодушно, учтивым тоном, сказал ему:

— Вы куда теперь изволите ехать, государь мой?

— Я?.. Я в Петербург, — отвечал Пьер детским, нерешительным голосом. — Я благодарю вас. Я во всем согласен с вами. Но вы не думайте, чтоб я был так дурен. Я всей душой желал быть тем, чем вы хотели бы, чтоб я был; но я ни в ком никогда не находил помощи... Впрочем, я сам прежде всего виноват во всем. Помогите мне, научите меня, и, может быть, я буду... — Пьер не мог говорить дальше; он засопел носом и отвернулся.

Масон долго молчал, видимо, что-то обдумывая.

— Помощь дается токмо от Бога, — сказал он, — но ту меру помощи, которую во власти подать наш орден, он подаст вам, государь мой. Вы едете в Петербург, передайте это графу Вилларскому (он достал бумажник и на сложенном вчетверо

большом листе бумаги написал несколько слов). Один совет позвольте подать вам. Приехав в столицу, посвятите первое время уединению, обсуждению самого себя и не вступайте на прежние пути жизни. Затем желаю вам счастливого пути, государь мой, — сказал он, заметив, что слуга его вошел в комнату, — и успеха...

Проезжающий был Осип Алексеевич Баздеев, как узнал Пьер по книге смотрителя. Баздеев был одним из известнейших масонов и мартинистов еще новиковского времени. Долго после его отъезда Пьер, не ложась спать и не спрашивая лошадей, ходил по станционной комнате, обдумывая свое порочное прошедшее и с восторгом обновления представляя себе свое блаженное, безупречное и добродетельное будущее, которое казалось ему так легко. Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запамятовал, как хорошо быть добродетельным. В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели, и таким представлялось ему масонство.

III

Приехав в Петербург, Пьер никого не известил о своем приезде, никуда не выезжал и стал целые дни проводить за чтением Фомы Кемпийского, книги, которая неизвестно кем была доставлена ему. Одно и все одно понимал Пьер, читая эту книгу: он понимал неизведанное еще им наслаждение верить в возможность достижения совершенства и в возможность братской и деятельной любви между людьми, открытую ему Осипом Алексеевичем. Через неделю после его приезда молодой польский граф Вилларский, которого Пьер поверхностно знал по петербургскому свету, вошел вечером в его комнату с тем официальным и торжественным видом, с которым входил к нему секундант Долохова, и, затворив за собой дверь и убедившись, что в комнате никого, кроме Пьера, не было, обратился к нему.

— Я приехал к вам с предложением и поручением, граф, — сказал он ему, не садясь. — Особа, очень высоко поставленная в нашем братстве, ходатайствовала о том, чтобы вы были приняты в братство ранее срока, и предложила мне быть вашим поручителем. Я за священный долг почитаю исполнение воли этого лица. Желаете ли вы вступить за моим поручительством в братство свободных каменщиков?

Холодный и строгий тон человека, которого Пьер видел почти всегда на балах с любезной улыбкою, в обществе самых блестящих женщин, поразил Пьера.

— Да, я желаю, — сказал Пьер.

Вилларский наклонил голову.

— Еще один вопрос, граф, — сказал он, — на который я вас не как будущего масона, но как честного человека (galant homme[1]) прошу со всею искренностью отвечать мне: отреклись ли вы от своих прежних убеждений, верите ли вы в Бога?

Пьер задумался.

— Да... да, я верю в Бога, — сказал он.

[1] благородный господин

— В таком случае... — начал Вилларский, но Пьер перебил его.

— Да, я верю в Бога, — сказал он еще раз.

— В таком случае мы можем ехать, — сказал Вилларский. — Карета моя к вашим услугам.

Всю дорогу Вилларский молчал. На вопросы Пьера, что ему нужно делать и как отвечать, Вилларский сказал только, что братья, более его достойные, испытают его и что Пьеру больше ничего не нужно, как говорить правду.

Въехав в ворота большого дома, где было помещение ложи, и пройдя по темной лестнице, они вошли в освещенную небольшую прихожую, где без помощи прислуги сняли шубы. Из передней они прошли в другую комнату. Какой-то человек в странном одеянии показался у двери. Вилларский, выйдя к нему навстречу, что-то тихо сказал ему по-французски и подошел к небольшому шкафу, в котором Пьер заметил различные не виданные им одеяния. Взяв из шкафа платок, Вилларский наложил его на глаза Пьеру и завязал узлом сзади, больно захватив в узел его волоса. Потом он пригнул его к себе, поцеловал и, взяв за руку, повел куда-то. Пьеру было больно от притянутых узлом волос, он морщился от боли и улыбался от стыда чего-то. Огромная фигура его с опущенными руками, с сморщенной и улыбающейся физиономией неверными, робкими шагами подвигалась за Вилларским.

Проведя его шагов десять за руку, Вилларский остановился.

— Что бы ни случилось с вами, — сказал он, — вы должны с мужеством переносить все, ежели вы твердо решились вступить в наше братство. (Пьер утвердительно отвечал наклонением головы.) Когда вы услышите стук в двери, вы развяжете себе глаза, — прибавил Вилларский, — желаю вам мужества и успеха. — И, пожав руку Пьеру, Вилларский вышел.

Оставшись один, Пьер продолжал все так же улыбаться. Раза два он пожимал плечами, подносил руку к платку, как бы желая снять его, и опять опускал ее. Пять минут, которые он пробыл с завязанными глазами, показались ему часом. Руки его отекли, ноги подкашивались; ему казалось, что он устал. Он испытывал самые сложные и разнообразные чувства. Ему было и страшно того, что с ним случится, и еще более страшно того, как бы ему не выказать страха. Ему было любопытно узнать, что будет с ним, что откроется ему; но более всего ему было радостно, что наступила минута, когда он, наконец, вступит на тот путь обновления и деятельно-добродетельной жизни, о котором он мечтал со времени своей встречи с Осипом Алексеевичем. В дверь послышались сильные удары, Пьер снял повязку и оглянулся вокруг себя. В комнате было черно-темно: только в одном месте горела лампада в чем-то белом. Пьер подошел ближе и увидал, что лампада стояла на черном столе, на котором лежала одна раскрытая книга. Книга была Евангелие; то белое, в чем горела лампада, был человеческий череп с своими дырами и зубами. Прочтя первые слова Евангелия: «В начале бе слово и слово бе к Богу», Пьер обошел стол и увидал большой, наполненный чем-то и открытый ящик. Это был гроб с костями. Его нисколько не удивило то, что он увидал. Надеясь вступить в совершенно новую жизнь, совершенно отличную от прежней, он ожидал всего необыкновенного, еще более необыкновенного, чем то, что он видел. Череп, гроб, Евангелие — ему

казалось, что он ожидал всего этого, ожидал еще бóльшего. Стараясь вызвать в себе чувство умиленья, он смотрел вокруг себя. «Бог, смерть, любовь, братство людей», — говорил он себе, связывая с этими словами смутные, но радостные представления чего-то. Дверь отворилась, и кто-то вошел.

При слабом свете, к которому, однако, уже успел Пьер приглядеться, вошел невысокий человек. Видимо, с света войдя в темноту, человек этот остановился; потом осторожными шагами он подвинулся к столу и положил на него небольшие, закрытые кожаными перчатками руки.

Невысокий человек этот был одет в белый кожаный фартук, прикрывавший его грудь и часть ног, на шее было надето что-то вроде ожерелья, и из-за ожерелья выступал высокий белый жабо, окаймлявший его продолговатое лицо, освещенное снизу.

— Для чего вы пришли сюда? — спросил вошедший, по шороху, сделанному Пьером, обращаясь в его сторону. — Для чего вы, не верующий в истины света и не видящий света, для чего вы пришли сюда, чего хотите вы от нас? Премудрости, добродетели, просвещения?

В ту минуту, как дверь отворилась и вошел неизвестный человек, Пьер испытал чувство страха и благоговения, подобное тому, которое он в детстве испытывал на исповеди: он почувствовал себя с глазу на глаз с совершенно чужим по условиям жизни и с близким по братству людей человеком. Пьер с захватывающим дыханье биением сердца подвинулся к ритору (так назывался в масонстве брат, приготовляющий ищущего к вступлению в братство). Пьер, подойдя ближе, узнал в риторе знакомого человека, Смольянинова, но ему оскорбительно было думать, что вошедший был знакомый человек: вошедший был только брат и добродетельный наставник. Пьер долго не мог выговорить слова, так что ритор должен был повторить свой вопрос.

— Да, я... я... хочу обновления, — с трудом выговорил Пьер.

— Хорошо, — сказал Смольянинов и тотчас же продолжал: — Имеете ли вы понятие о средствах, которыми наш святой орден поможет вам в достижении вашей цели?.. — сказал ритор спокойно и быстро.

— Я... надеюсь... руководства... помощи... в обновлении, — сказал Пьер с дрожанием голоса и с затруднением в речи, происходящим и от волнения и от непривычки говорить по-русски об отвлеченных предметах.

— Какое понятие вы имеете о франкмасонстве?

— Я подразумеваю, что франкмасонство есть fraternité[1] и равенство людей с добродетельными целями, — сказал Пьер, стыдясь, по мере того как он говорил, несоответственности своих слов с торжественностью минуты. — Я подразумеваю...

— Хорошо, — сказал ритор поспешно, видимо, вполне удовлетворенный этим ответом. — Искали ли вы средств к достижению своей цели в религии?

— Нет, я считал ее несправедливою и не следовал ей, — сказал Пьер так тихо, что ритор не расслышал его и спросил, что он говорит. — Я был атеистом, — отвечал Пьер.

[1] братство — Ред.

— Вы ищете истины для того, чтобы следовать в жизни ее законам; следовательно, вы ищете премудрости и добродетели, не так ли? — сказал ритор после минутного молчания.

— Да, да, — подтвердил Пьер.

Ритор прокашлялся, сложил на груди руки в перчатках и начал говорить.

— Теперь я должен открыть вам главную цель нашего ордена, — сказал он, — и ежели цель эта совпадает с вашею, то вы с пользою вступите в наше братство. Первая главнейшая цель и купно основание нашего ордена, на котором он утвержден и которого никакая человеческая сила не может низвергнуть, есть сохранение и предание потомству некоего важного таинства... от самых древнейших веков и даже от первого человека, до нас дошедшего, от которого таинства, может быть, судьба человеческого рода зависит. Но как сие таинство такого свойства, что никто не может его знать и им пользоваться, если долговременным и прилежным очищением самого себя не приуготовлен, то не всяк может надеяться скоро обрести его. Поэтому мы имеем вторую цель, которая состоит в том, чтобы приуготовлять наших членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам преданием открыты от мужей, потрудившихся в искании сего таинства, и тем учинять их способными к восприятию оного.

Очищая и исправляя наших членов, мы стараемся, в-третьих, исправлять и весь человеческий род, предлагая ему в членах наших пример благочестия и добродетели, и тем стараемся всеми силами противоборствовать злу, царствующему в мире. Подумайте об этом, и я опять приду к вам, — сказал он и вышел из комнаты.

— Противоборствовать злу, царствующему в мире... — повторил Пьер, и ему представилась его будущая деятельность на этом поприще. Ему представлялись такие же люди, каким он был сам две недели тому назад, и он мысленно обращал к ним поучительно-наставническую речь. Он представлял себе порочных и несчастных людей, которым он помогал словом и делом; представлял себе угнетателей, от которых он спасал их жертвы. Из трех поименованных ритором целей эта последняя — исправление рода человеческого, особенно близка была Пьеру. Некое важное таинство, о котором упомянул ритор, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существенным; а вторая цель, очищение и исправление себя, мало занимала его, потому что он в эту минуту с наслаждением чувствовал себя уже вполне исправленным от прежних пороков и готовым только на одно доброе.

Через полчаса вернулся ритор передать ищущему те семь добродетелей, соответствующие семи ступеням храма Соломона, которые должен был воспитывать в себе каждый масон. Добродетели эти были: 1) скромность, соблюдение тайны ордена, 2) повиновение высшим чинам ордена, 3) добронравие, 4) любовь к человечеству, 5) мужество, 6) щедрость и 7) любовь к смерти.

— В-седьмых, старайтесь, — сказал ритор, — частым помышлением о смерти довести себя до того, чтобы она не казалась вам более страшным врагом, но другом... который освобождает от бедственной сей жизни в трудах добродетели томившуюся душу, для введения ее в место награды и успокоения.

«Да, это должно быть так, — думал Пьер, когда после этих слов ритор снова ушел от него, оставляя его уединенному размышлению. — Это должно быть так, но я еще так слаб, что люблю свою жизнь, которой смысл только теперь понемногу открывается мне». Но остальные пять добродетелей, которые, перебирая по пальцам, вспомнил Пьер, он чувствовал в душе своей: и мужество, и щедрость, и добронравие, и любовь к человечеству, и в особенности повиновение, которое даже не представлялось ему добродетелью, а счастьем. (Ему так радостно было теперь избавиться от своего произвола и подчинить свою волю тому и тем, которые знали несомненную истину). Седьмую добродетель Пьер забыл и никак не мог вспомнить ее.

В третий раз ритор вернулся скорее и спросил Пьера, все ли он тверд в своем намерении и решается ли подвергнуть себя всему, что от него потребуется.

— Я готов на все, — сказал Пьер.

— Еще должен вам сообщить, — сказал ритор, — что орден наш учение свое преподает не словами токмо, но иными средствами, которые на истинного искателя мудрости и добродетели действуют, может быть, сильнее, нежели словесные токмо объяснения. Сия храмина убранством своим, которое вы видите, уже должна была изъяснить вашему сердцу, ежели оно искренно, более, нежели слова; вы увидите, может быть, и при дальнейшем вашем принятии подобный образ изъяснения. Орден наш подражает древним обществам, которые открывали свое учение иероглифами. Иероглифы, — говорил ритор, — есть наименование какой-нибудь не подверженной чувствам вещи, которая содержит в себе качества, подобные изобразуемой.

Пьер знал очень хорошо, что такое иероглиф, но не смел говорить. Он молча слушал ритора, по всему чувствуя, что тотчас начнутся испытанья.

— Ежели вы тверды, то я должен приступить к введению вас, — сказал ритор, ближе подходя к Пьеру. — В знак щедрости прошу вас отдать мне все драгоценные вещи.

— Но я с собою ничего не имею, — сказал Пьер, полагавший, что от него требуют выдачи всего, что он имеет.

— То, что на вас есть: часы, деньги, кольца...

Пьер поспешно достал кошелек, часы и долго не мог снять с жирного пальца обручальное кольцо. Когда это было сделано, масон сказал:

— В знак повиновенья прошу вас раздеться. — Пьер снял фрак, жилет и левый сапог по указанию ритора. Масон открыл рубашку на его левой груди и, нагнувшись, поднял его штанину на левой ноге выше колена. Пьер поспешно хотел снять и правый сапог и засучить панталоны, чтоб избавить от этого труда незнакомого ему человека, но масон сказал ему, что этого не нужно, — и подал ему туфлю на левую ногу. С детской улыбкой стыдливости, сомнения и насмешки над самим собою, которая против его воли выступала на лицо, Пьер стоял, опустив руки и расставив ноги, перед братом-ритором, ожидая его новых приказаний.

— И наконец, в знак чистосердечия, я прошу вас открыть мне главное ваше пристрастие, — сказал он.

— Мое пристрастие! У меня их было так много, — сказал Пьер.

— То пристрастие, которое более всех других заставляло вас колебаться на пути добродетели, — сказал масон.

Пьер помолчал, отыскивая.

«Вино? Объедение? Праздность? Леность? Горячность? Злоба? Женщины?» — перебирал он свои пороки, мысленно взвешивая их и не зная, которому отдать преимущество.

— Женщины, — сказал тихим, чуть слышным голосом Пьер. Масон не шевелился и не говорил долго после этого ответа. Наконец он подвинулся к Пьеру, взял лежавший на столе платок и опять завязал ему глаза.

— Последний раз говорю вам: обратите все ваше внимание на самого себя, наложите цепи на свои чувства и ищите блаженства не в страстях, а в своем сердце... Источник блаженства не вне, а внутри нас...

Пьер уже чувствовал в себе этот освежающий источник блаженства, теперь радостию и умилением переполнявший его душу.

IV

Скоро после этого в темную храмину пришел за Пьером уже не прежний ритор, а поручитель Вилларский, которого он узнал по голосу. На новые вопросы о твердости его намерения Пьер отвечал:

— Да, да, согласен, — и с сияющей детской улыбкой, с открытой жирной грудью, неровно и робко шагая одной разутой и одной обутой ногой, пошел вперед с приставленной Вилларским к его обнаженной груди шпагой. Из комнаты его повели по коридорам, поворачивая взад и вперед, и, наконец, привели к дверям ложи. Вилларский кашлянул, ему ответили масонскими стуками молотков, дверь отворилась перед ними. Чей-то басистый голос (глаза Пьера все были завязаны) сделал ему вопросы о том, кто он, где, когда родился и т. п. Потом его опять повели куда-то, не развязывая ему глаз, и во время ходьбы его говорили ему аллегории о трудах его путешествия, о священной дружбе, о предвечном строителе мира, о мужестве, с которым он должен переносить труды и опасности. Во время этого путешествия Пьер заметил, что его называли то ищущим, то страждущим, то требующим и различно стучали при этом молотками и шпагами. В то время как его подводили к какому-то предмету, он заметил, что произошло замешательство и смятение между его руководителями. Он слышал, как шепотом заспорили между собой окружающие люди и как один настаивал на том, чтоб он был проведен по какому-то ковру. После этого взяли его правую руку, положили на что-то, а левою велели ему приставить циркуль к левой груди, и заставили его, повторяя слова, которые читал другой, прочесть клятву верности законам ордена. Потом потушили свечи, зажгли спирт, как это слышал по запаху Пьер, и сказали, что он увидит малый свет. С него сняли повязку, и Пьер, как во сне, увидал в слабом свете спиртового огня несколько людей, которые, в таких же фартуках, как и ритор, стояли против него и держали шпаги, направленные в его грудь. Между ними стоял человек в белой

окровавленной рубашке. Увидав это, Пьер грудью надвинулся вперед на шпаги, желая, чтобы они вонзились в него. Но шпаги отстранились от него, и ему тотчас же опять надели повязку.

— Теперь ты видел малый свет, — сказал ему чей-то голос. Потом опять зажгли свечи, сказали, что ему надо видеть полный свет, и опять сняли повязку, и более десяти голосов вдруг сказали: sic transit gloria mundi[1].

Пьер понемногу стал приходить в себя и оглядывать комнату, где он был, и находившихся в ней людей. Вокруг длинного стола, покрытого черным, сидело человек двенадцать, всё в тех же одеяниях, как и те, которых он прежде видел. Некоторых Пьер знал по петербургскому обществу. На председательском месте сидел незнакомый молодой человек, в особом кресте на шее. По правую руку сидел итальянец-аббат, которого Пьер видел два года тому назад у Анны Павловны. Еще был один весьма важный сановник и один швейцарец-гувернер, живший прежде у Курагиных. Все торжественно молчали, слушая слова председателя, державшего в руке молоток. В стене была вделана горящая звезда; с одной стороны стола был небольшой ковер с различными изображениями, с другой стороны было что-то вроде алтаря с Евангелием и черепом. Кругом стола было семь больших, вроде церковных, подсвечников. Двое из братьев подвели Пьера к алтарю, поставили ему ноги в прямоугольное положение и приказали ему лечь, говоря, что он повергается к вратам храма.

— Он прежде должен получить лопату, — сказал шепотом один из братьев.

— Ах! полноте, пожалуйста, — сказал другой.

Пьер растерянными близорукими глазами, не повинуясь, оглянулся вокруг себя, и вдруг на него нашло сомнение: «Где я? Что я делаю? Не смеются ли надо мной? Не будет ли мне стыдно вспоминать это?» Но сомнение это продолжалось только одно мгновение. Пьер оглянулся на серьезные лица окружавших его людей, вспомнил все, что он уже прошел, и понял, что нельзя остановиться на половине дороги. Он ужаснулся своему сомнению и, стараясь вызвать в себе прежнее чувство умиления, повергся к вратам храма. И действительно, чувство умиления, еще сильнейшего, чем прежде, нашло на него. Когда он пролежал несколько времени, ему велели встать и надели на него такой же белый кожаный фартук, какие были на других, дали ему в руки лопату и три пары перчаток, и тогда великий мастер обратился к нему. Он сказал ему, чтобы он старался ничем не запятнать белизну этого фартука, представляющего крепость и непорочность; потом о невыясненной лопате сказал, чтоб он трудился ею очищать свое сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего. Потом про первые перчатки мужские сказал, что значения их он не может знать, но должен хранить их, про другие перчатки мужские сказал, что он должен надевать их в собраниях, и, наконец про третьи, женские, перчатки сказал:

[1] так проходит слава мирская (лат.). — Ред

— Любезный брат, и сии женские перчатки вам определены суть. Отдайте их той женщине, которую вы будете почитать больше всех. Сим даром уверите в непорочности сердца вашего ту, которую изберете вы себе в достойную каменщицу. — Помолчав несколько времени, прибавил: — Но соблюди, любезный брат, да не украшают перчатки сии рук нечистых. — В то время как великий мастер произносил эти последние слова, Пьеру показалось, что председатель смутился. Пьер смутился еще больше, покраснел до слез, как краснеют дети, беспокойно стал оглядываться, и произошло неловкое молчание.

Молчание это было прервано одним из братьев, который, подведя Пьера к ковру, начал из тетради читать ему объяснение всех изображенных на нем фигур: солнца, луны, молотка, отвеса, лопаты, дикого и кубического камня, столба, трех окон и т. д. Потом Пьеру назначили его место, показали ему знаки ложи, сказали входное слово и, наконец, позволили сесть. Великий мастер начал читать устав. Устав был очень длинен, и Пьер от радости, волнения и стыда не был в состоянии понимать того, что читали. Он вслушался только в последние слова устава, которые запомнились ему.

— «В наших храмах мы не знаем других степеней, — читал великий мастер, — кроме тех, которые находятся между добродетелью и пороком. Берегись делать какое-нибудь различие, могущее нарушить равенство. Лети на помощь к брату, кто бы он ни был, настави заблуждающего, подними упадающего и не питай никогда злобы или вражды на брата. Будь ласков и приветлив. Возбуждай во всех сердцах огнь добродетели. Дели счастье с ближним твоим, и да не возмутит никогда зависть чистого сего наслаждения.

Прощай врагу твоему, не мсти ему, разве только деланием ему добра. Исполнив таким образом высший закон, ты обрящешь следы древнего, утраченного тобой величества», — кончил он и, привстав, обнял Пьера и поцеловал его.

Пьер со слезами радости на глазах смотрел вокруг себя, не зная, что отвечать на поздравления и возобновления знакомств, с которыми окружили его. Он не признавал никаких знакомств; во всех людях этих он видел только братьев, с которыми сгорал нетерпением приняться за дело.

Великий мастер стукнул молотком, все сели по местам, и один прочел поучение о необходимости смирения.

Великий мастер предложил исполнить последнюю обязанность, и важный сановник, который носил звание собирателя милостыни, стал обходить братьев. Пьеру хотелось записать в лист милостыни все деньги, которые у него были, но он боялся этим выказать гордость и записал столько же, сколько записывали другие.

Заседание было кончено, и по возвращении домой Пьеру казалось, что он приехал из какого-то дальнего путешествия, где он провел десятки лет, совершенно изменился и отстал от прежнего порядка и привычек жизни.

V

На другой день после приема в ложу Пьер сидел дома, читая книгу и стараясь вникнуть в значение квадрата, изображавшего одной своей стороною Бога, другою нравственное, третьею физическое и четвертою смешанное. Изредка он отрывался от книги и квадрата и в воображении своем составлял себе новый план жизни. Вчера в ложе ему сказали, что до сведения государя дошел слух о дуэли и что Пьеру благоразумнее было бы удалиться из Петербурга. Пьер предполагал ехать в свои южные имения и заняться там своими крестьянами. Он радостно обдумывал эту новую жизнь, когда неожиданно в комнату вошел князь Василий.

— Мой друг, что ты наделал в Москве? За что ты поссорился с Лелей, mon cher? [1] Ты в заблуждении, — сказал князь Василий, входя в комнату. — Я все узнал, я могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами.

Пьер хотел отвечать, но он перебил его:

— И зачем ты не обратился прямо и просто ко мне, как к другу? Я все знаю, я все понимаю, — сказал он, — ты вел себя, как прилично человеку, дорожащему своей честью; может быть, слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты пойми, в какое ты ставишь положение ее и меня в глазах всего общества и даже двора, — прибавил он, понизив голос. — Она живет в Москве, ты здесь. Полно, мой милый, — он потянул его вниз за руку, — здесь одно недоразуменье; ты сам, я думаю, чувствуешь. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, все объяснится, и все эти толки кончатся, а то, я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый.

Князь Василий внушительно взглянул на Пьера.

— Мне из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень милостива к Элен.

Несколько раз Пьер собирался говорить, но, с одной стороны, князь Василий не допускал его до этого, поспешно перебивая разговор, с другой стороны — сам Пьер боялся начать говорить не в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решился отвечать своему тестю. Кроме того, слова масонского устава: «буди ласков и приветлив» — вспоминались ему. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в самом трудном для него в жизни деле — сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, чего ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь он чувствовал, что не в силах будет противостоять ей; но он чувствовал, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его: пойдет ли он по старой, прежней дороге, или по той новой, которая так привлекательно была указана ему масонами и на которой он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни.

[1] мой милый?

— Ну, мой милый, — шутливо сказал князь Василий, — скажи же мне «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца. — Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил тихим шепотом:

— Князь, я вас не звал к себе, идите, пожалуйста, идите! — Он вскочил и отворил для него дверь. — Идите же, — повторил он, сам себе не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия.

— Что с тобой? Ты болен?

— Идите! — еще раз проговорил угрожающий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения.

Через неделю Пьер, простившись с новыми друзьями масонами и оставив им большие суммы на милостыни, уехал в свои имения. Его новые братья дали ему письма в Киев и Одессу, к тамошним масонам, и обещали писать ему и руководить его в его новой деятельности.

VI

Дело Пьера с Долоховым было замято, и несмотря на тогдашнюю строгость государя в отношении дуэлей, ни оба противника, ни их секунданты не пострадали. Но история дуэли, подтвержденная разрывом Пьера с своей женой, разгласилась в обществе. Пьер, на которого смотрели снисходительно, покровительственно, когда он был незаконным сыном, которого ласкали и прославляли, когда он был лучшим женихом Российской империи, после своей женитьбы, когда невестам и матерям нечего было ожидать от него, сильно потерял во мнении общества, тем более что он не умел и не желал заискивать общественного благоволения. Теперь его одного обвиняли в происшедшем, говорили, что он бестолковый ревнивец, подверженный таким же припадкам кровожадного бешенства, как и его отец. И когда после отъезда Пьера Элен вернулась в Петербург, она была не только радушно, но с оттенком почтительности, относившейся к ее несчастию, принята всеми своими знакомыми. Когда разговор заходил о ее муже, Элен принимала достойное выражение, которое она — хотя и не понимая его значения, — по свойственному ей такту, усвоила себе. Выражение это говорило, что она решилась, не жалуясь, переносить свое несчастие и что ее муж есть крест, посланный ей от Бога. Князь Василий откровеннее высказывал свое мнение. Он пожимал плечами, когда разговор заходил о Пьере, и, указывая на лоб, говорил:

— Un cerveau fêlé — je le disais toujours[1].

— Я вперед сказала, — говорила Анна Павловна о Пьере, — я тогда же сейчас сказала, и прежде всех (она настаивала на своем первенстве), что это безумный молодой человек, испорченный развратными идеями века. Я тогда еще сказала это, когда все восхищались им и он только приехал из-за границы и, помните, у меня как-то вечером представлял из себя какого-то Марата. Чем же кончилось? Я тогда еще не желала этой свадьбы и предсказала все, что случится.

[1] Полусумасшедший — я всегда это говорил

Анна Павловна по-прежнему давала у себя в свободные дни такие вечера, как и прежде, и такие, какие она одна имела дар устраивать, — вечера, на которых, во-первых, собиралась la crème de la véritable bonne société, la fine fleur de l'essence intellectuelle de la société de Pétersbourg[1], как говорила сама Анна Павловна. Кроме этого утонченного выбора общества, вечера Анны Павловны отличались еще тем, что всякий раз на своем вечере Анна Павловна подавала своему обществу какое-нибудь новое, интересное лицо и что нигде, как на этих вечерах, не высказывался так очевидно и твердо градус политического термометра, на котором стояло настроение придворного легитимистского петербургского общества.

В конце 1806 года, когда получены были уже все печальные подробности об уничтожении Наполеоном прусской армии под Иеной и Ауерштетом и о сдаче большей части прусских крепостей, когда войска наши уж вступили в Пруссию и началась наша вторая война с Наполеоном, Анна Павловна собрала у себя вечер. La crème de la véritable bonne société[2] состояла из обворожительной и несчастной, покинутой мужем Элен, из Mortemart'a, обворожительного князя Ипполита, только что приехавшего из Вены, двух дипломатов, тетушки, одного молодого человека, пользовавшегося в гостиной наименованием просто d'un homme de beaucoup de mérite[3], одной вновь пожалованной фрейлины с матерью и некоторых других менее заметных особ.

Лицо, которым, как новинкой, угащивала в этот вечер Анна Павловна своих гостей, был Борис Друбецкой, только что приехавший курьером из прусской армии и в прусской армии находившийся адъютантом у очень важного лица.

Градус политического термометра, указанный на этом вечере обществу, был следующий: сколько бы все европейские государи и полководцы ни старались потворствовать Бонапартию, для того чтобы сделать мне и вообще нам эти неприятности и огорчения, мнение наше насчет Бонапартия не может измениться. Мы не перестанем высказывать свой непритворный на этот счет образ мыслей и можем сказать только прусскому королю и другим: «Тем хуже для вас. Tu l'as voulu, George Dandin[4] , вот и все, что мы можем сказать». Вот что указывал политический термометр на вечере Анны Павловны. Когда Борис, который должен был быть поднесен гостям, вошел в гостиную, уже почти все общество было в сборе, и разговор, руководимый Анной Павловной, шел о наших дипломатических сношениях с Австрией и о надежде на союз с нею.

Борис в щегольском адъютантском мундире, возмужавший, свежий и румяный, свободно вошел в гостиную и был отведен, как следовало, для приветствия к тетушке и снова присоединен к общему кружку.

Анна Павловна дала поцеловать ему свою сухую руку, познакомила его с некоторыми незнакомыми ему лицами и каждого шепотом определила ему.

---

[1] сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества

[2] Сливки настоящего хорошего общества

[3] человека с большими достоинствами

[4] Ты этого хотел, Жорж Данден — Ред.

— Le prince Hyppolite Kouraguine — charmant jeune homme. M-r Kroug, chargé d'affaires de Kopenhague — un esprit profond, — и просто: M-r Shittoff, un homme de beaucoup de mérite[1], — про того, который носил это наименование.

Борис за это время своей службы благодаря заботам Анны Михайловны, собственным вкусам и свойствам своего сдержанного характера успел поставить себя в самое выгодное положение по службе. Он находился адъютантом при весьма важном лице, имел весьма важное поручение в Пруссию и только что возвратился оттуда курьером. Он вполне усвоил себе ту понравившуюся ему в Ольмюце неписаную субординацию, по которой прапорщик мог стоять без сравнения выше генерала и по которой для успеха на службе были нужны не усилия, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умение обращаться с теми, которые вознаграждают за службу, — и он часто удивлялся своим быстрым успехам и тому, как другие могли не понимать этого. Вследствие этого открытия его весь образ жизни его, все отношения с прежними знакомыми, все его планы на будущее совершенно изменились. Он был не богат, но последние свои деньги он употреблял на то, чтобы быть одетым лучше других; он скорее лишил бы себя многих удовольствий, чем позволил бы себе ехать в дурном экипаже или показаться в старом мундире на улицах Петербурга. Сближался он и искал знакомств только с людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны. Он любил Петербург и презирал Москву. Воспоминание о доме Ростовых и о его детской любви к Наташе было ему неприятно, и он с самого отъезда в армию ни разу не был у Ростовых. В гостиной Анны Павловны, в которой присутствовать он считал за важное повышение по службе, он теперь тотчас же понял свою роль и предоставил Анне Павловне воспользоваться тем интересом, который в нем заключался, внимательно наблюдая каждое лицо и оценивая выгоды и возможности сближения с каждым из них. Он сел на указанное ему место подле красивой Элен и вслушивался в общий разговор:

«Vienne trouve les bases du traité proposé tellement hors d'atteinte, qu'on ne saurait y parvenir même par une continuité de succès les plus brillants, et elle met en doute les moyens qui pourraient nous les procurer». C'est la phrase authentique du cabinet de Vienne, — говорил датский chargé d'affaires[2].

— C'est le doute qui est flatteur! — сказал с тонкой улыбкой l'homme à l'esprit profond[3].

— Il faut distinguer entre le cabinet de Vienne et l'Empereur d'Autriche, — сказал Mortemart. — L'Empereur d'Autriche n'a jamais pu penser à une chose pareille, ce, n'est que le cabinet qui le dit[4].

---

[1] Князь Ипполит Курагин — милый молодой человек. Господин Круг, копенгагенский поверенный в делах, глубокий ум и просто господин Шитов, человек с большими достоинствами

[2] «Вена находит основания предлагаемого договора до такой степени вне возможною, что достигнуть их можно только рядом самых блестящих успехов и она сомневается в средствах, которые могут их нам доставить». Это подлинная фраза венского кабинета, — говорил датский поверенный в делах

[3] Лестно сомнение! — сказал с тонкой улыбкой глубокий ум

[4] Необходимо различать венский кабинет и австрийского императора, — сказал Мортемар — Император австрийский никогда не мог этого думать, это говорит только кабинет

— Eh, mon cher vicomte, — вмешалась Анна Павловна, — l'Urope (она почему-то выговаривала l'Urope, как особенную тонкость французского языка, которую она могла себе позволить говоря с французом), l'Urope ne sera jamais notre alliée sincère[1].

Вслед за этим Анна Павловна навела разговор на мужество и твердость прусского короля, с тем чтобы ввести в дело Бориса.

Борис внимательно слушал того, кто говорил, ожидая своего череда, но вместе с тем успевал несколько раз оглядываться на свою соседку, красавицу Элен, которая с улыбкой несколько раз встретилась глазами с красивым молодым адъютантом.

Весьма естественно, говоря о положении Пруссии, Анна Павловна попросила Бориса рассказать свое путешествие в Глогау и положение, в котором он нашел прусское войско. Борис, не торопясь, чистым и правильным французским языком, рассказал весьма много интересных подробностей о войсках, о дворе, во все время своего рассказа старательно избегая заявления своего мнения насчет тех фактов, которые он передавал. На несколько времени Борис завладел общим вниманием, и Анна Павловна чувствовала, что ее угощенье новинкой было принято с удовольствием всеми гостями. Более всех внимания к рассказу Бориса выказала Элен. Она несколько раз спрашивала его о некоторых подробностях его поездки и, казалось, весьма была заинтересована положением прусской армии. Как только он кончил, она с своей обычной улыбкой обратилась к нему.

— Il faut absolument que vous veniez me voir[2], — сказала она ему таким тоном, как будто по некоторым соображениям, которые он не мог знать, это было совершенно необходимо. — Mardi entre les 8 et 9 heures. Vous me ferez grand plaisir[3].

Борис обещал исполнить ее желание и хотел вступить с ней в разговор, когда Анна Павловна отозвала его под предлогом тетушки, которая желала его слышать.

— Вы ведь знаете ее мужа? — сказала Анна Павловна, закрыв глаза и грустным жестом указывая на Элен. — Ах, это такая несчастная и прелестная женщина! Не говорите при ней о нем, пожалуйста, не говорите. Ей слишком тяжело!

VII

Когда Борис и Анна Павловна вернулись к общему кружку, разговором в нем завладел князь Ипполит. Он, выдвинувшись вперед на кресле, сказал:

— Le Roi de Prusse! [4] — и, сказав это, засмеялся. Все обратились к нему. — Le Roi de Prusse? — спросил Ипполит, опять засмеялся и опять спокойно и серьезно уселся в глубине своего кресла. Анна Павловна подождала его немного, но так как Ипполит решительно, казалось, не хотел больше говорить, она начала речь о том, как безбожный Бонапарт похитил в Потсдаме шпагу Великого Фридриха.

— C'est l'épée de Frédéric le Grand, que je…[5] — начала было она, но Ипполит перебил ее словами:

---

[1] Ах, мой милый виконт... Европа никогда не будет нашей искреннею союзницей

[2] Непременно нужно, чтобы вы приехали повидаться со мной

[3] Во вторник, между восемью и девятью часами. Вы мне сделаете большое удовольствие

[4] Прусский король!

[5] Эта шпага Великого Фридриха, которую я...

— Le Roi de Prusse... — и опять, как только к нему обратились, извинился и замолчал. Анна Павловна поморщилась. Mortemart[3], приятель Ипполита, решительно обратился к нему:

— Voyons à qui en avez vous avec votre Roi de Prusse? [4]

Ипполит засмеялся так, как будто ему стыдно было своего смеха.

— Non, ce n'est rien, je voulais dire seulement...[5] (Он намерен был повторить шутку, которую он слышал в Вене и которую он целый вечер собирался поместить.) Je voulais dire seulement, que nous avons tort de faire la guerre pour le Roi de Prusse[6].

Борис осторожно улыбнулся так, что его улыбка могла быть отнесена к насмешке или к одобрению шутки, смотря по тому, как будет принята она. Все засмеялись.

— Il est très mauvais, votre jeu de mot, très spirituel, mais injuste, — грозя сморщенным пальчиком, сказала Анна Павловна. — Nous ne faisons pas la guerre pour le Roi de Prusse, mais pour les bons principes. Ah, le méchant, ce prince Hyppolite! [7] — сказала она.

Разговор не утихал целый вечер, обращаясь преимущественно около политических новостей. В конце вечера он особенно оживился, когда дело зашло о наградах, пожалованных государем.

— Ведь получил же в прошлом году NN. табакерку с портретом, — говорил l'homme à l'esprit profond[8], — почему же SS. не может получить той же награды?

— Je vous demande pardon, une tabatière avec le portrait de l'Empereur est une récompense, mais point une distinction, — сказал дипломат, — un cadeau plutôt[9].

— Il y eu plutôt des antécédents, je vous citerai Schwarzenberg[10].

— C'est impossible[11], — возражал ему другой.

— Пари. Le grand cordon, c'est différent...[12]

Когда все поднялись, чтобы уезжать, Элен, очень мало говорившая весь вечер, опять обратилась к Борису с просьбой, ласковым, значительным приказанием, чтобы он был у нее во вторник.

— Мне это очень нужно, — сказала она с улыбкой, оглядываясь на Анну Павловну, и Анна Павловна той грустной улыбкой, которая сопровождала ее слова при речи о своей высокой покровительнице, подтвердила желание Элен. Казалось, что в этот вечер из каких-то слов, сказанных Борисом о прусском войске, Элен вдруг открыла необходимость видеть его. Она как будто обещала ему, что, когда он приедет во вторник, она объяснит ему эту необходимость.

---

[3] Мортемар

[4] Ну, что ж прусский король?

[5] Нет, ничего, я хотел только сказать...

[6] Я хотел только сказать, что мы напрасно воюем за прусского короля

[7] Ваша игра слов нехороша, очень остроумна, но несправедлива. Мы воюем за добрые начала, а не за прусского короля. О, какой злой этот князь Ипполит!

[8] человек глубокого ума

[9] Извините, табакерка с портретом императора есть награда, а не отличие; скорее подарок

[10] Были примеры — Шварценберг

[11] Это невозможно

[12] Лента — другое дело

Приехав во вторник вечером в великолепный салон Элен, Борис не получил ясного объяснения, для чего было ему необходимо приехать. Были другие гости, графиня мало говорила с ним, и только прощаясь, когда он целовал ее руку, она с странным отсутствием улыбки, неожиданно, шепотом, сказала ему:

— Venez demain dîner... le soir. Il faut que vous veniez... Venez[13].

В этот свой приезд в Петербург Борис сделался близким человеком в доме графини Безуховой.

VIII

Война разгоралась, и театр ее приближался к русским границам. Всюду слышались проклятия врагу рода человеческого Бонапартию; в деревнях собирались ратники и рекруты, и с театра войны приходили разноречивые известия, как всегда ложные и потому различно перетолковываемые.

Жизнь старого князя Болконского, князя Андрея и княжны Марьи во многом изменилась с 1805 года.

В 1806 году старый князь был определен одним из восьми главнокомандующих по ополчению. Назначенных тогда по всей России. Старый князь, несмотря на свою старческую слабость, особенно сделавшуюся заметной в тот период времени, когда он считал своего сына убитым, не счел себя вправе отказаться от должности, в которую был определен самим государем, и эта вновь открывшаяся ему деятельность возбудила и укрепила его. Он постоянно бывал в разъездах по трем вверенным ему губерниям; был до педантизма исполнителен в своих обязанностях, строг до жестокости с своими подчиненными и сам доходил до малейших подробностей дела. Княжна Марья перестала брать уже у отца свои математические уроки и только по утрам, сопутствуемая кормилицей, с маленьким князем Николаем (как его звал дед) входила в кабинет отца, когда он был дома. Грудной князь Николай жил с кормилицей и няней Савишной на половине покойной княгини, и княжна Марья большую часть дня проводила в детской, заменяя, как умела, мать маленькому племяннику. M-lle Bourienne[4], тоже, как казалось, страстно любила мальчика, и княжна Марья, часто лишая себя, уступала своей подруге наслаждение нянчить маленького ангела (как называла она племянника) и играть с ним.

У алтаря лысогорской церкви была часовня над могилой маленький княгини, и в часовне был поставлен привезенный из Италии мраморный памятник, изображавший ангела, расправившего крылья и готовящегося подняться на небо. У ангела была немного приподнята верхняя губа, как будто он собирался улыбнуться, и однажды князь Андрей и княжна Марья, выходя из часовни, признались друг другу, что, странно, лицо этого ангела напоминало им лицо покойницы. Но что было еще страннее и чего князь Андрей не сказал сестре было то, что в выражении, которое дал случайно художник лицу ангела, князь Андрей читал те же слова кроткой укоризны,

[13] Приезжайте завтра обедать... вечером. Надо, чтобы вы приехали... Приезжайте

[4] мадемуазель Бурьен

которые он прочел тогда на лице своей мертвой жены: «Ах, зачем вы это со мной сделали?..»

Вскоре после возвращения князя Андрея старый князь отделил сына и дал ему Богучарово, большое имение, находившееся в сорока верстах от Лысых Гор. Частью по причине тяжелых воспоминаний, связанных с Лысыми Горами, частью потому, что не всегда князь Андрей чувствовал себя в силах спокойно переносить характер отца, частью и потому, что ему нужно было уединение, князь Андрей воспользовался Богучаровым, строился там и проводил в нем бóльшую часть времени.

Князь Андрей после Аустерлицкой кампании твердо решил никогда не служить более в военной службе; и когда началась война и все должны были служить, он, чтобы отделаться от действительной службы, принял должность под начальством отца по сбору ополчения. Старый князь с сыном как бы переменились ролями после кампании 1805 года. Старый князь, возбужденный деятельностью, ожидал всего хорошего от настоящей кампании; князь Андрей, напротив, не участвуя в войне и в тайне души сожалея о том, видел одно дурное.

26-го февраля 1807 года старый князь уехал по округу. Князь Андрей, как и большей частью во время отлучек отца, оставался в Лысых Горах. Маленький Николушка был нездоров уже четвертый день. Кучера, возившие старого князя, вернулись из города и привезли бумаги и письма князю Андрею.

Камердинер с письмами, не застав молодого князя в его кабинете, прошел на половину княжны Марьи; но и там его не было. Камердинеру сказали, что князь пошел в детскую.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, Петруша с бумагами пришел, — сказала одна из девушек — помощниц няньки, обращаясь к князю Андрею, который сидел на маленьком детском стуле и дрожащими руками, хмурясь, ка́пал из склянки лекарство в рюмку, налитую до половины водой.

— Что такое? — сказал он сердито и, неосторожно дрогнув рукой, перелил из склянки в рюмку лишнее количество капель. Он выплеснул лекарство из рюмки на пол и опять спросил воды. Девушка подала ему.

В комнате стояла детская кроватка, два сундука, два кресла, стол и детские столик и стульчик, тот, на котором сидел князь Андрей. Окна были завешены, и на столе горела одна свеча, заставленная переплетенной нотной книгой, так, чтобы свет не падал на кроватку.

— Мой друг, — обращаясь к брату, сказала княжна Марья от кроватки, у которой она стояла, — лучше подождать... после...

— Ах, сделай милость, ты все говоришь глупости, ты и так все дожидалась, — вот и дождалась, — сказал князь Андрей озлобленным шепотом, видимо, с желанием уколоть сестру.

— Мой друг, право, лучше не будить, он заснул, — умоляющим голосом сказала княжна.

Князь Андрей встал и на цыпочках с рюмкой подошел к кроватке.

— Или точно, ты думаешь, не будить? — сказал он нерешительно.

— Как хочешь — право... я думаю... а как хочешь, — сказала княжна Марья, видимо робея и стыдясь того, что ее мнение восторжествовало. Она указала брату на девушку, шепотом вызывавшую его.

Была вторая ночь, что они оба не спали, ухаживая за горевшим в жару мальчиком. Все сутки эти, не доверяя своему домашнему доктору и ожидая того, за которым было послано в город, они предпринимали то то, то другое средство. Измученные бессонницей и встревоженные, они сваливали друг на друга свое горе, упрекали друг друга и ссорились.

— Петруша с бумагами от папеньки, — прошептала девушка. Князь Андрей вышел.

— Ну, что там! — проговорил он сердито и, выслушав словесные приказания от отца и взяв подаваемые конверты и письмо отца, вернулся в детскую.

— Ну что? — спросил князь Андрей.

— Все то же, подожди ради Бога. Карл Иваныч всегда говорит, что сон всего дороже, — прошептала со вздохом княжна Марья. Князь Андрей подошел к ребенку и пощупал. Он горел.

— Убирайтесь вы с вашим Карлом Иванычем! — Он взял рюмку с накапанными в нее каплями и опять подошел.

— André, не надо! — сказала княжна Марья.

Но он злобно и вместе страдальчески нахмурился на нее и с рюмкой нагнулся к ребенку.

— Но я хочу этого, — сказал он. — Ну, я прошу тебя, дай ему.

Княжна Марья пожала плечами, но покорно взяла рюмку и, подозвав няньку, стала давать лекарство. Ребенок закричал и захрипел. Князь Андрей, сморщившись, взял себя за голову, вышел из комнаты и сел в соседней на диване.

Письма всё были в его руке. Он машинально открыл их и стал читать. Старый князь, на синей бумаге, своим крупным, продолговатым почерком, употребляя кое-где титлы, писал следующее:

«Весьма радостное в сей момент известие получил через курьера. Если не вранье, Бенигсен под Прейсиш-Эйлау над Буонапартием якобы полную викторию одержал. В Петербурге всё ликует, и наград послано в армию несть конца. Хотя немец, — проздравляю. Корчевский начальник, некий Хандриков, не постигну, что делает: до сих пор не доставлены добавочные люди и провиант. Сейчас скачи туды и скажи, что я с него голову сниму, чтобы через неделю все было. О Прейсиш-Эйлауском сражении получил еще письмо от Петеньки, он участвовал, — всё правда. Когда не мешают, кому мешаться не следует, то и немец побил Буонапартия. Сказывают, бежит весьма расстроен. Смотри же немедля скачи в Корчеву и исполни!»

Князь Андрей вздохнул и распечатал другой конверт. Это было на двух листочках мелко исписанное письмо от Билибина. Он сложил его не читая и опять прочел письмо отца, кончавшееся словами: «скачи в Корчеву и исполни!»

«Нет, уж извините, теперь не поеду, пока ребенок не оправится», — подумал он и, подошедши к двери, заглянул в детскую. Княжна Марья все стояла у кровати и тихо качала ребенку.

«Да, что бишь еще неприятное он пишет? — вспоминал князь Андрей содержание отцовского письма. — Да. Победу одержали наши над Бонапартом именно тогда, когда я не служу. Да, да, все подшучивает надо мной... ну, да на здоровье...» — И он стал читать французское письмо Билибина. Он читал, не понимая половины, читал только для того, чтобы хоть на минуту перестать думать о том, о чем он слишком долго исключительно и мучительно думал.

IX

Билибин находился теперь в качестве дипломатического чиновника при главной квартире армии и хотя на французском языке, с французскими шуточками и оборотами речи, но с исключительно русским бесстрашием перед самоосуждением и самоосмеянием описывал всю кампанию. Билибин писал, что его дипломатическая discrétion[1] мучила его и что он был счастлив, имея в князе Андрее верного корреспондента, которому он мог изливать всю желчь, накопившуюся в нем при виде того, что творится в армии. Письмо это было старое, еще до Прейсиш-Эйлауского сражения.

«Depuis nos grands succès d'Austerlitz vous savez, mon cher Prince, — писал Билибин, — que je ne quitte plus les quartiers généraux. Décidément j'ai pris le goût de la guerre, et bien m'en a pris. Ce que j'ai vu ces trois mois, est incroyable.

Je commence ab ovo. L'ennemi du genre humain, comme vous savez, s'attaque aux Prussiens. Les Prussiens sont nos fidèles alliés, qui ne nous ont trompés que trois fois depuis trois ans. Nous prenons fait et cause pour eux. Mais il se trouve que l'ennemi du genre humain ne fait nulle attention à nos beaux discours, et avec sa manière impolie et sauvage se jette sur les Prussiens sans leur donner le temps de finir la parade commencée, en deux tours de main les rosse à plate couture et va s'installer au palais de Potsdam.

„J'ai le plus vif désir, — écrit le Roi de Prusse à Bonaparte, que V. M. soit accueillie et traitée dans mon palais d'une manière, qui lui soit agréable et c'est avec empressement, que j'ai pris à cet effet toutes les mesures que les circonstances me permettaient. Puisse-je avoir réussi!“ Les généraux Prussiens se piquent de politesse envers les Français et mettent bas les armes aux premières sommations.

Le chef de la garnison de Glogau avec dix mille hommes, demande au Roi de Prusse, ce qu'il doit faire s'il est sommé de se rendre?.. Tout cela est positif.

Bref, espérant en imposer seulement par notre attitude militaire, il se trouve que nous voilà en guerre pour tout de bon, et ce qui plus est, en guerre sur nos frontières avec et pour le Roi de Prusse. Tout est au grand complet, il ne nous manque qu'une petite chose, c'est le général en chef. Comme il s'est trouvé que les succès d'Austerlitz auraient pu être plus décisifs si le général en chef eut été moins jeune, on fait la revue des octogénaires et entre Prosorofsky et Kamensky, on donne la préférence au dernier. Le général nous arrive

[1] скромность.

en kibik à la manière Souvoroff, et est accueilli avec des acclamations de joie et de triomphe.

Le 4 arrive le premier courrier de Pétersbourg. On apporte les malles dans le cabinet du maréchal, qui aime à faire tout par lui-même. On m'appelle pour aider à faire le triage des lettres et prendre celles qui nous sont destinées. Le maréchal nous regarde faire et attend les paquets qui lui sont adressés. Nous cherchons — il n'y en a point. Le maréchal devient impatient, se met lui-même à la besogne et trouve des lettres de l'Empereur pour le comte T., pour le prince V. et autres. Alors le voilà qui se met dans une de ses colères bleues. Il jette feu et flamme contre tout le monde, s'empare des lettres, les décacheté et lit celles de l'Empereur adressées à d'autres. А, так со мною поступают. Мне доверия нет! А, за мной следить велено, хорошо же; подите вон! Et il écrit le fameux ordre du jour au général Benigsen[1].

„Я ранен, верхом, ездить не могу, следственно и командовать армией. Вы кор д'арме ваш привели разбитый в Пултуск: тут оно открыто, и без дров, и без фуража, потому пособить надо, и так как вчера сами отнеслись к графу Буксгевдену, думать должно о ретираде к нашей границе, что и выполнить сегодня“.

„От всех моих поездок, — écrit-il à l'Empereur[2], — получил ссадину от седла, которая сверх прежних перевязок моих совсем мне мешает ездить верхом и командовать такой обширной армией, а потому я командованье оной сложил на старшего по мне генерала, графа Буксгевдена, отослав к нему все дежурство и все принадлежащее к оному, советовав им, если хлеба не будет, ретироваться ближе во внутренность Пруссии, потому что оставалось хлеба только на один день, а у иных полков ничего, как о том дивизионные командиры Остерман и Седморецкий объявили, а у мужиков все съедено; я и сам, пока вылечусь, остаюсь в гошпитале в

---

[1] Со времени наших блестящих успехов в Аустерлице, вы знаете, мой милый князь, что я не покидаю более главных квартир. Решительно я вошел во вкус войны и тем очень доволен; то, что я видел в эти три месяца, — невероятно.

Я начинаю ab ovo. Враг рода человеческого, вам известный, атакует пруссаков. Пруссаки — наши верные союзники, которые нас обманули только три раза в три года. Мы заступаемся за них. Но, оказывается, что враг рода человеческого не обращает никакого внимания на наши прелестные речи и с своей неучтивой и дикой манерой бросается на пруссаков, не давая им времени кончить их начатый парад, вдребезги разбивает их и поселяется в Потсдамском дворце.

«Я очень желаю, — пишет прусский король Бонапарту, — чтобы ваше величество были приняты в моем дворце самым приятнейшим для вас образом, и я с особенной заботливостью сделал для того все распоряжения, какие мне позволили обстоятельства. О, если б я достиг цели!» Прусские генералы щеголяют учтивостью перед французами и сдаются по первому требованию. Начальник гарнизона Глогау, с десятью тысячами, спрашивает у прусского короля, что ему делать. Все это положительно достоверно. Словом, мы думали внушить им только страх нашей военной этитюдой, но кончается тем, что мы вовлечены в войну, на нашей же границе, и, главное, за прусского короля и заодно с ним. Всего у нас в избытке, недостает только маленькой штучки, а именно — главнокомандующего. Так как оказалось, что успехи Аустерлица могли бы быть решительнее, если бы главнокомандующий был бы не так молод, то делается обзор осьмидесятилетних генералов, и между Прозоровским и Каменским выбирают последнего. Генерал приезжает к нам в кибитке по-суворовски, и его принимают с радостными восклицаниями и большим торжеством.

4-го приезжает первый курьер из Петербурга. Приносят чемоданы в кабинет фельдмаршала, который любит все делать сам. Меня зовут, чтобы помочь разобрать письма и взять те, которые назначены нам. Фельдмаршал, предоставляя нам это занятие, смотрит на нас и ждет конвертов, адресованных ему. Мы ищем — но их не оказывается. Фельдмаршал начинает волноваться, сам принимается за работу и находит письма от государя к графу Т., князю В. и другим. Он приходит в сильнейший гнев, выходит из себя, берет письма, распечатывает их и читает те, которые адресованы другим... И пишет знаменитый приказ графу Бенигсену.

[2] пишет он императору

Остроленке. О числе которого ведомость всеподданнейше подношу, донося, что если армия простоит в нынешнем биваке еще пятнадцать дней, то весной ни одного здорового не останется.

Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран. Всемилостивейшего дозволения вашего о том ожидать буду здесь, при гошпитале, дабы не играть роль писарскую, а не командирскую при войске. Отлучение меня от армии ни малейшего разглашения не произведет, что ослепший отъехал от армии. Таковых, как я, — в России тысячи“.

Le maréchal se fâche contre l'Empereur et nous punit tous; n'est-ce pas que c'est logique!

Voilà le premier acte. Aux suivants l'intérêt et le ridicule montent comme de raison. Après le départ du maréchal il se trouve que nous sommes en vue de l'ennemi, et qu'il faut livrer bataille. Boukshevden est général en chef par droit d'ancienneté, mais le général Benigsen n'est pas de cet avis; d'autant plus qu'il est lui, avec son corps en vue de l'ennemi, et qu'il veut profiter de l'occasion d'une bataille „aus eigener Hand“ comme disent les Allemands. Il la donne. C'est la bataille de Poultousk qui est censée être une grande victoire, mais qui a mon avis ne l'est pas du tout. Nous autres pékins avons comme vous savez, une très vilaine habitude de décider du gain ou de la perte d'une bataille. Celui qui s'est retiré après la bataille, l'a perdu, voilà ce que nous disons, et à titre nous avons perdu la bataille de Poultousk. Bref, nous nous retirons après la bataille, mais nous envoyons un courrier à Pétersbourg, qui porte les nouvelles d'une victoire, et le général ne cède pas le commandement en chef à Boukshevden, espérant recevoir de Pétersbourg en reconnaissance de sa victoire le titre de général en chef. Pendant cet interrègne, nous commençons un plan de manuvres excessivement intéressant et original. Notre but ne consiste pas, comme il devrait l'être, à éviter ou à attaquer l'ennemi; mais uniquement à éviter le général Boukshevden, qui par droit d'ancienneté serait notre chef. Nous poursuivons ce but avec tant d'énergie, que même en passant une rivière qui n'est pas guéâble, nous brûlons les ponts pour nous séparer de notre ennemi, qui, pour le moment, n'est pas Bonaparte, mais Boukshevden. Le général Boukshevden a manqué d'être attaqué et pris par des forces ennemies supérieures à cause d'une de nos belles manuvres qui nous sauvait de lui. Boukshevden nous poursuit — nous filons. A peine passe-t-il de notre côte de la rivière, que nous repassons de l'autre, A la fin notre ennemi Boukshevden nous attrappe et s'attaque à nous. Les deux généraux se fâchent. Il y a même une provocation en duel de la part de Boukshevden et une attaque d'épilepsie de la part de Benigsen. Mais au moment critique le courrier, qui porte la nouvelle de notre victoire de Poultousk, nous apporte de Pétersbourg notre nomination de général en chef, et le premier ennemi Boukshevden est enfoncé: nous pouvons penser au second, à Bonaparte. Mais ne voilà-t-il pas qu'à ce moment se lève devant nous un troisième ennemi, c'est le православное qui demande à grands cris du pain, de la viande, des souchary, du foin, — que sais-je! Les magasins sont vides, les chemins impraticables. Le православное se met à la maraude, et

d'une manière dont la dernière campagne ne peut vous donner la moindre idée. La moitié des régiments forme des troupes libres, qui parcourent la contrée en mettant tout à feu et à sang. Les habitants sont ruinés de fond en comble, les hôpitaux regorgent de malades, et la disette est partout. Deux fois le quartier général a été attaqué par des troupes de maraudeurs et le général en chef a été obligé lui-même de demander un bataillon pour les chasser. Dans une de ces attaques on m'a emporté ma malle vide et ma robe de chambre. L'Empereur veut donner le droit à tous les chefs de divisions de fusiller les maraudeurs, mais je crains fort que cela n'oblige une moitié de l'armée de fusiller l'autre»[1].

Князь Андрей сначала читал одними глазами, но потом невольно то, что он читал (несмотря на то, что он знал, насколько должно было верить Билибину), больше и больше начинало занимать его. Дочитав до этого места, он смял письмо и бросил его. Не то, что он прочел в письме, сердило его, но его сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него, жизнь могла волновать его. Он закрыл глаза, потер себе лоб рукою, как будто изгоняя всякое участие к тому, что он читал, и прислушался к тому, что делалось в детской. Вдруг ему показался за дверью какой-то странный звук. На него нашел страх, он боялся, не случилось ли чего с ребенком в то время, как он читал письмо. Он на цыпочках подошел к двери детской и отворил ее.

В ту минуту, как он входил, он увидал, что нянька с испуганным видом спрятала что-то от него и что княжны Марьи уже не было у кроватки.

---

[1] Фельдмаршал сердится на государя и наказывает всех нас: это совершенно логично! Вот первое действие комедии. При следующих интерес и забавность возрастают, само собой разумеется. После отъезда фельдмаршала оказывается, что мы в виду неприятеля и необходимо дать сражение. Буксгевден — главнокомандующий по старшинству, но генерал Бенигсен совсем не того мнения, тем более что он с своим корпусом находится в виду неприятеля и хочет воспользоваться случаем к сражению. Он его и дает. Эта пултуская битва, которая считается великою победой, но которая совсем не такова, по моему мнению. Мы, штатские, имеем, как вы знаете, очень дурную привычку решать вопрос о выигрыше или проигрыше сражения. Тот, кто отступил после сражения, тот проиграл его, вот что мы говорим, и, судя по этому, мы проиграли пултуское сражение. Одним словом, мы отступаем после битвы, но посылаем курьера в Петербург с известием о победе, и генерал Бенигсен не уступает начальствования над армией генералу Буксгевдену, надеясь получить из Петербурга в благодарность за свою победу звание главнокомандующего. Во время этого междуцарствия мы начинаем очень оригинальный и интересный ряд маневров. План наш не состоит более, как бы он должен был состоять, в том, чтобы избегать или атаковать неприятеля, но только в том, чтобы избегать генерала Буксгевдена, который по праву старшинства должен бы быть нашим начальником. Мы преследуем эту цель с такой энергией, что даже переходя реку, на которой нет бродов, мы сжигаем мост, с целью отдалить от себя нашего врага, который в настоящее время не Бонапарт, но Буксгевден. Генерал Буксгевден чуть-чуть не был атакован и взят превосходными неприятельскими силами, вследствие одного из таких маневров, спасавших нас от него. Буксгевден нас преследует — мы бежим. Только что он перейдет на нашу сторону реки, мы переходим опять на другую. Наконец враг наш Буксгевден ловит нас и атакует. Происходит объяснение. Оба генерала сердятся, и дело доходит почти до дуэли между двумя главнокомандующими. Но, по счастью, в самую критическую минуту курьер, который возил в Петербург известие о пултуской победе, возвращается и привозит нам назначение главнокомандующего, и первый враг — Буксгевден — побежден. Мы теперь можем думать о втором враге — Бонапарте. Но оказывается, что в эту самую минуту возникает перед нами третий враг — православное, которое громкими возгласами требует хлеба, говядины, сухарей, сена, овса — и мало ли чего еще! Магазины пусты, дороги непроходимы. Православное начинает грабить, и грабеж доходит до такой степени, о которой последняя кампания не могла вам дать ни малейшего понятия. Половина полков образует вольные команды, которые обходят страну и все предают мечу и пламени. Жители разорены совершенно, больницы завалены больными, и везде голод. Два раза мародеры нападали даже на главную квартиру, и главнокомандующий принужден был взять батальон солдат, чтобы прогнать их. В одно из этих нападений у меня унесли мой пустой чемодан и халат. Государь хочет дать право всем начальникам дивизий расстреливать мародеров, но я очень боюсь, чтоб это не заставило одну половину войска расстреливать другую.

— Мой друг, — послышался ему сзади отчаянный, как ему показалось, шепот княжны Марьи. Как это часто бывает после долгой бессонницы и долгого волнения, на него нашел беспричинный страх: ему пришло в голову, что ребенок умер. Все, что он видел и слышал, показалось ему подтверждением его страха.

«Все кончено», — подумал он, и холодный пот выступил у него на лбу. Он растерянно подошел к кроватке, уверенный, что он найдет ее пустою, что нянька прятала мертвого ребенка. Он раскрыл занавески, и долго его испуганные, разбегавшиеся глаза не могли отыскать ребенка. Наконец он увидал его: румяный мальчик, раскидавшись, лежал поперек кроватки, опустив голову ниже подушки, и во сне чмокал, перебирая губками, и ровно дышал.

Князь Андрей обрадовался, увидав мальчика, так, как будто бы он уже потерял его. Он нагнулся и, как учила его сестра, губами попробовал, есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен, он дотронулся рукой до головы — даже волосы были мокры: так сильно вспотел ребенок. Не только он не умер, но теперь очевидно было, что кризис совершился и что он выздоровел. Князю Андрею хотелось схватить, смять, прижать к своей груди это маленькое, беспомощное существо; он не смел этого сделать. Он стоял над ним, оглядывая его голову, ручки, ножки, определявшиеся под одеялом. Шорох послышался подле него, и какая-то тень показалась ему под пологом кроватки. Он не оглядывался и, глядя в лицо ребенка, все слушал его ровное дыхание. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кроватке, подняла полог и опустила его за собою. Князь Андрей, не оглядываясь, узнал ее и протянул к ней руку. Она сжала его руку.

— Он вспотел, — сказал князь Андрей.

— Я шла к тебе, чтобы сказать это.

Ребенок во сне чуть пошевелился, улыбнулся и потерся лбом о подушку.

Князь Андрей посмотрел на сестру. Лучистые глаза княжны Марьи, в матовом полусвете полога, блестели больше обыкновенного от счастливых слез, которые стояли в них. Княжна Марья потянулась к брату и поцеловала его, слегка зацепив за полог кроватки. Они погрозили друг другу, еще постояли в матовом свете полога, как бы не желая расстаться с этим миром, в котором они втроем были отделены от всего света. Князь Андрей первый, путая волосы о кисею полога, отошел от кроватки. «Да, это одно, что осталось мне теперь», — сказал он со вздохом.

X

Вскоре после своего приема в братство масонов Пьер с полным написанным им для себя руководством о том, что он должен был делать в своих имениях, уехал в Киевскую губернию, где находилась большая часть его крестьян.

Приехав в Киев, Пьер вызвал в главную контору всех управляющих и объяснил им свои намерения и желания. Он сказал им, что немедленно будут приняты меры для совершенного освобождения крестьян от крепостной зависимости, что до тех пор крестьяне не должны быть отягчаемы работами, что женщины с детьми не должны посылаться на работы, что крестьянам должна быть оказываема помощь, что наказания должны быть употребляемы увещательные, а не телесные, что в каждом

имении должны быть учреждены больницы, приюты и школы. Некоторые управляющие (тут были и полуграмотные экономы) слушали испуганно, предполагая смысл речи в том, что молодой граф недоволен их управлением и утайкой денег; другие, после первого страха, находили забавным шепелявенье Пьера и новые, неслыханные ими слова; третьи находили просто удовольствие послушать, как говорит барин; четвертые, самые умные, в том числе и главноуправляющий, поняли из этой речи то, каким образом надо обходиться с барином для достижения своих целей.

Главноуправляющий выразил большое сочувствие намерениям Пьера; но заметил, что, кроме этих преобразований, необходимо было вообще заняться делами, которые были в дурном состоянии.

Несмотря на огромное богатство графа Безухова, с тех пор как Пьер получил его и получал, как говорили, пятьсот тысяч годового дохода, он чувствовал себя гораздо менее богатым, чем когда он получал свои десять тысяч от покойного графа. В общих чертах он смутно чувствовал следующий бюджет. В Совет платилось около восьмидесяти тысяч по всем имениям; около тридцати тысяч стоило содержание подмосковной, московского дома и княжон; около пятнадцати тысяч выходило на пенсии, столько же на богоугодные заведения; графине на прожитье посылалось сто пятьдесят тысяч; процентов платилось за долги около семидесяти тысяч; постройка начатой церкви стоила эти два года около десяти тысяч; остальное, около ста тысяч, расходилось — он сам не знал как, и почти каждый год он принужден был занимать. Кроме того, каждый год главноуправляющий писал то о пожарах, то о неурожаях, то о необходимости перестроек фабрик и заводов. Итак, первое дело, представившееся Пьеру, было то, к которому он менее всего имел способности и склонности, — занятие делами.

Пьер с главноуправляющим каждый день занимался. Но он чувствовал, что занятия его ни на шаг вперед не подвигают дела. Он чувствовал, что его занятия происходят независимо от дела, что они не цепляют за дело и не заставляют его двигаться. С одной стороны, главноуправляющий, выставляя дела в самом дурном свете, показывал Пьеру необходимость уплачивать долги и предпринимать новые работы силами крепостных мужиков, на что Пьер не соглашался; с другой стороны, Пьер требовал приступления к делу освобождения, на что управляющий выставлял необходимость прежде уплатить долг Опекунскому совету, и потому невозможность быстрого исполнения.

Управляющий не говорил, что это совершенно невозможно, он предлагал для достижения этой цели продажу лесов Костромской губернии, продажу земель низовых и крымского имения. Но все эти операции в речах управляющего связывались с такою сложностью процессов снятия запрещений, истребований разрешений и т. п., что Пьер терялся и только говорил ему: «Да, да, так и сделайте».

Пьер не имел той практической цепкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дело, и потому он не любил его и только старался притвориться перед управляющим, что он занят делом. Управляющий же старался притвориться перед графом, что он считает эти занятия весьма полезными для хозяина и для себя стеснительными.

В большом городе нашлись знакомые; незнакомые поспешили познакомиться и радушно приветствовали вновь приехавшего богача, самого большого владельца губернии. Искушения по отношению главной слабости Пьера, той, в которой он признался во время приема в ложу, тоже были так сильны, что Пьер не мог воздержаться от них. Опять целые дни, недели, месяцы жизни Пьера проходили так же озабоченно и занято между вечерами, обедами, завтраками, балами, не давая ему времени опомниться, как и в Петербурге. Вместо новой жизни, которую надеялся повести Пьер, он жил все той же прежней жизнью, только в другой обстановке.

Из тех назначений масонства Пьер сознавал, что он не исполнял того, которое предписывало каждому масону быть образцом нравственной жизни, и из семи добродетелей совершенно не имел в себе двух: добронравия и любви к смерти. Он утешал себя тем, что зато он исполнял другое назначение — исправления рода человеческого, и имел другие добродетели — любовь к ближнему и в особенности щедрость.

Весной 1807 года Пьер решился ехать назад в Петербург. По дороге назад он намеревался объехать все свои имения и лично удостовериться в том, что сделано из того, что им предписано, и в каком положении находится теперь тот народ, который вверен ему Богом и который он стремился облагодетельствовать.

Главноуправляющий, считавший все затеи молодого графа почти безумством, невыгодой для себя, для него, для крестьян, — сделал уступки. Продолжая дело освобождения представлять невозможным, он распорядился постройкой во всех имениях больших зданий школ, больниц и приютов; для приезда барина везде приготовил встречи, не пышно-торжественные, которые, он знал, не понравятся Пьеру, но именно такие религиозно-благодарственные, с образами и хлебом-солью, именно такие, которые, как он понимал барина, должны были подействовать на графа и обмануть его.

Южная весна, покойное, быстрое путешествие в венской коляске и уединение дороги радостно действовали на Пьера. Имения, в которых он не бывал еще, были одно живописнее другого; народ везде представлялся благоденствующим и трогательно-благодарным за сделанные ему благодеяния. Везде были встречи, которые хотя и приводили в смущение Пьера, но в глубине души его вызывали радостное чувство. В одном месте мужики подносили ему хлеб-соль и образ Петра и Павла и просили позволения в честь его ангела Петра и Павла, в знак любви и благодарности за сделанные им благодеяния воздвигнуть на свой свет новый придел в церкви. В другом месте его встретили женщины с грудными детьми, благодаря его за избавление от тяжелых работ. В третьем имении его встречал священник с крестом, окруженный детьми, которых он, по милостям графа, обучал грамоте и религии. Во всех именьях Пьер видел своими глазами по одному плану воздвигавшиеся и воздвигнутые уже каменные здания больниц, школ, богаделен, которые должны были быть в скором времени открыты. Везде Пьер видел отчеты управляющих о барщинских работах, уменьшенных против прежнего, и слышал за то трогательные благодарения депутаций крестьян в синих кафтанах.

Пьер не знал, что там, где ему подносили хлеб-соль и строили придел Петра и Павла, было торговое село и ярмарка в Петров день, что придел уже строился давно богачами-мужиками села, теми, которые явились к нему, а что девять десятых мужиков этого села были в величайшем разорении. Он не знал, что вследствие того, что перестали по его приказу посылать ребятниц-женщин с грудными детьми на барщину, эти самые ребятницы тем труднейшую работу несли на своей половине. Он не знал, что священник, встретивший его с крестом, отягощал мужиков своими поборами и что собранные к нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большие деньги, были откупаемы родителями. Он не знал, что каменные, по плану, здания воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьян, уменьшенную только на бумаге. Он не знал, что там, где управляющий указывал ему по книгам на уменьшение по его воле оброка на одну треть, была наполовину прибавлена барщинная повинность. И потому Пьер был восхищен своим путешествием по имениям и вполне возвратился к тому филантропическому настроению, в котором он выехал из Петербурга, и писал восторженные письма своему наставнику-брату, как он называл великого мастера.

«Как легко, как мало усилия нужно, чтобы сделать так много добра, — думал Пьер, — и как мало мы об этом заботимся!»

Он счастлив был выказываемой ему благодарностью, но стыдился, принимая ее. Эта благодарность напоминала ему, насколько еще больше он бы был в состоянии сделать для этих простых, добрых людей.

Главноуправляющий, весьма глупый и хитрый человек, совершенно понимая умного и наивного графа и играя им, как игрушкой, увидав действие, произведенное на Пьера приготовленными приемами, решительнее обратился к нему с доводами о невозможности и, главное, ненужности освобождения крестьян, которые и без того были совершенно счастливы.

Пьер в тайне своей души соглашался с управляющим в том, что трудно было представить себе людей более счастливых, и что Бог знает, что ожидало их на воле; но Пьер, хотя и неохотно, настаивал на том, что он считал справедливым. Управляющий обещал употребить все силы для исполнения воли графа, ясно понимая, что граф никогда не будет в состоянии поверить его не только в том, употреблены ли все меры для продажи лесов и имений, для выкупа из Совета, но и никогда, вероятно, не спросит и не узнает о том, как построенные здания стоят пустыми и крестьяне продолжают давать работой и деньгами все то, что они дают у других, то есть все, что они могут давать.

XI

В самом счастливом состоянии духа возвращаясь из своего южного путешествия, Пьер исполнил свое давнишнее намерение — заехать к своему другу Болконскому, которого он не видал два года.

На последней станции, узнав, что князь Андрей не в Лысых Горах, а в своем новом отделенном имении, Пьер поехал к нему.

Богучарово лежало в некрасивой, плоской местности, покрытой полями и срубленными и несрубленными еловыми с березой лесами. Барский двор находился на конце прямой, по большой дороге расположенной деревни, за вновь вырытым, полно налитым прудом, с не обросшими еще травой берегами, в середине молодого леса, между которым стояло несколько больших сосен.

Барский двор состоял из гумна, надворных построек, конюшен, бани, флигеля и большого каменного дома с полукруглым фронтоном, который еще строился. Вокруг дома был рассажен молодой сад. Ограды и ворота были прочные и новые; под навесом стояли две пожарные трубы и бочка, выкрашенная зеленою краской; дороги были прямые, мосты были крепкие, с перилами. На всем лежал отпечаток аккуратности и хозяйственности. Встретившиеся дворовые, на вопрос, где живет князь, указали на небольшой новый флигелек, стоящий у самого края пруда. Старый дядька князя Андрея, Антон, высадил Пьера из коляски, сказал, что князь дома, и проводил его в чистую маленькую прихожую.

Пьера поразила скромность маленького, хотя и чистенького домика после тех блестящих условий, в которых последний раз он видел своего друга в Петербурге. Он поспешно вошел в пахнущую еще сосной, неотштукатуренную маленькую залу и хотел идти дальше, но Антон на цыпочках пробежал вперед и постучался в дверь.

— Ну, что там? — послышался резкий, неприятный голос.

— Гость, — отвечал Антон.

— Проси подождать, — и послышался отодвинутый стул. Пьер быстрыми шагами подошел к двери и столкнулся лицом к лицу с выходившим к нему нахмуренным и постаревшим князем Андреем. Пьер обнял его и, подняв очки, целовал его в щеки и близко смотрел на него.

— Вот не ждал, очень рад, — сказал князь Андрей. Пьер ничего не говорил; он удивленно, не спуская глаз, смотрел на своего друга. Его поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но взгляд был потухший, мертвый, которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска. Не то что похудел, побледнел, возмужал его друг; но взгляд этот и морщинка на лбу, выражавшие долгое сосредоточение на чем-то одном, поражали и отчуждали Пьера, пока он не привык к ним.

При свидании после долгой разлуки, как это всегда бывает, разговор долго не мог установиться; они спрашивали и отвечали коротко о таких вещах, о которых они сами знали, что надо было говорить долго. Наконец разговор стал понемногу останавливаться на прежде отрывочно сказанном, на вопросах о прошедшей жизни, о планах на будущее, о путешествии Пьера, о его занятиях, о войне и т. д.

Та сосредоточенность и убитость, которую заметил Пьер во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще сильнее в улыбке, с которою он слушал Пьера, в особенности тогда, когда Пьер говорил с одушевлением радости о прошедшем или будущем. Как будто князь Андрей и желал бы, но не мог принимать участия в том, что он говорил. Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежны на счастие и на добро неприличны. Ему совестно было высказывать

все свои новые, масонские мысли, в особенности подновленные и возбужденные в нем его последним путешествием. Он сдерживал себя, боялся быть наивным; вместе с тем ему неудержимо хотелось поскорее показать своему другу, что он был теперь совсем другой, лучший Пьер, чем тот, который был в Петербурге.

— Я не могу вам сказать, как много я пережил за это время. Я сам бы не узнал себя.

— Да, много, много мы изменились с тех пор, — сказал князь Андрей.

— Ну, а вы? — спрашивал Пьер. — Какие ваши планы?

— Планы? — иронически повторил князь Андрей. — Мои планы? — повторил он, как бы удивляясь значению такого слова. — Да вот видишь, строюсь, хочу к будущему году переехать совсем...

Пьер молча, пристально вглядывался в состаревшееся лицо Андрея.

— Нет, я спрашиваю, — сказал Пьер, но князь Андрей перебил его:

— Да что про меня говорить... расскажи же, расскажи про свое путешествие, про все, что ты там наделал в своих именьях?

Пьер стал рассказывать о том, что он сделал в своих имениях, стараясь как можно более скрыть свое участие в улучшениях, сделанных им. Князь Андрей несколько раз подсказывал Пьеру вперед то, что он рассказывал, как будто все то, что сделал Пьер, была давно известная история, и слушал не только не с интересом, но даже как будто стыдясь за то, что рассказывал Пьер.

Пьеру стало неловко и даже тяжело в обществе своего друга. Он замолчал.

— Ну вот что, моя душа, — сказал князь Андрей, которому, очевидно, было тоже тяжело и стеснительно с гостем, — я здесь на биваках, я приехал только посмотреть. И нынче еду опять к сестре. Я тебя познакомлю с ними. Да ты, кажется, знаком, — сказал он, очевидно занимая гостя, с которым он не чувствовал теперь ничего общего. — Мы поедем после обеда. А теперь хочешь посмотреть мою усадьбу? — Они вышли и проходили до обеда, разговаривая о политических новостях и общих знакомых, как люди мало близкие друг к другу. С некоторым оживлением и интересом князь Андрей говорил только об устраиваемой им новой усадьбе и постройке, но и тут в середине разговора, на подмостках, когда князь Андрей описывал Пьеру будущее расположение дома, он вдруг остановился. — Впрочем, тут нет ничего интересного, пойдем обедать и поедем. — За обедом зашел разговор о женитьбе Пьера.

— Я очень удивился, когда услышал об этом, — сказал князь Андрей.

Пьер покраснел так же, как он краснел всегда при этом, и торопливо сказал:

— Я вам расскажу когда-нибудь, как это все случилось. Но вы знаете, что все это кончено, и навсегда.

— Навсегда? — сказал князь Андрей. — Навсегда ничего не бывает.

— Но вы знаете, как это все кончилось? Слышали про дуэль?

— Да, ты прошел и через это.

— Одно, за что я благодарю Бога, это за то, что я не убил этого человека, — сказал Пьер.

— Отчего же? — сказал князь Андрей. — Убить злую собаку даже очень хорошо.

— Нет, убить человека нехорошо, несправедливо...

— Отчего же несправедливо? — повторил князь Андрей. — То, что справедливо и несправедливо — не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.

— Несправедливо то, что есть зло для другого человека, — сказал Пьер, с удовольствием чувствуя, что в первый раз со времени его приезда князь Андрей оживлялся и начинал говорить и хотел высказать все то, что сделало его таким, каким он был теперь.

— А кто тебе сказал, что такое зло для другого человека? — спросил он.

— Зло? Зло? — сказал Пьер. — Мы все знаем, что такое зло для себя.

— Да, мы знаем, но то зло, которое я знаю для себя, я не могу сделать другому человеку, — все более и более оживляясь, говорил князь Андрей, видимо желая высказать Пьеру свой новый взгляд на вещи. Он говорил по-французски. — Je ne connais dans la vie que maux bien réels: c'est le remord et la maladie. Il n'est de bien que l'absence de ces maux[1]. Жить для себя, избегая только этих двух зол, вот вся моя мудрость теперь.

— А любовь к ближнему, а самопожертвование? — заговорил Пьер. — Нет, я с вами не могу согласиться! Жить только так, чтобы не делать зла, чтобы не раскаиваться, этого мало. Я жил так, я жил для себя и погубил свою жизнь. И только теперь, когда я живу, по крайней мере стараюсь (из скромности поправился Пьер) жить для других, только теперь я понял все счастие жизни. Нет, я не соглашусь с вами, да и вы не думаете того, что вы говорите. — Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался.

— Вот увидишь сестру, княжну Марью. С ней вы сойдетесь, — сказал он. — Может быть, ты прав для себя, — продолжал он, помолчав немного, — но каждый живет по-своему: ты жил для себя и говоришь, что этим чуть не погубил свою жизнь, а узнал счастие только, когда стал жить для других. А я испытал противуположное. Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы.) Так я жил для других и не почти, а совсем погубил свою жизнь. И с тех пор стал спокоен, как живу для одного себя.

— Да как же жить для одного себя? — разгорячаясь, спросил Пьер. — А сын, сестра, отец?

— Да это все тот же я, это не другие, — сказал князь Андрей, — а другие, ближние, le prochain[2], как вы с княжной Марьей называете, это главный источник заблуждения и зла. Le prochain — это те твои киевские мужики, которым ты хочешь делать добро.

И он посмотрел на Пьера насмешливо вызывающим взглядом. Он, видимо, вызывал Пьера.

---

[1] Я знаю в жизни только два настоящих несчастья: это угрызение совести и болезнь. И единственное благо есть отсутствие этих зол

[2] Ближний

— Вы шутите, — все более и более оживляясь говорил Пьер. — Какое же может быть заблуждение и зло в том, что я желал (очень мало и дурно исполнил), но желал сделать добро, да и сделал хотя кое-что? Какое же может быть зло, что несчастные люди, наши мужики, люди так же, как мы, вырастающие и умирающие без другого понятия о Боге и правде, как образ и бессмысленная молитва, будут поучаться в утешительных верованиях будущей жизни, возмездия, награды, утешения? Какое же зло и заблуждение в том, что люди умирают от болезни без помощи, когда так легко материально помочь им, и я им дам лекаря, и больницу, и приют старику? И разве не ощутительное, не несомненное благо то, что мужик, баба с ребенком не имеют дни и ночи покоя, а я дам им отдых и досуг?.. — говорил Пьер, торопясь и шепелявя. — И я это сделал, хоть плохо, хоть немного, но сделал кое-что для этого, и вы не только меня не разуверите в том, что то, что я сделал, хорошо, но и не разуверите, чтобы вы сами этого не думали. А главное, — продолжал Пьер, — я вот что знаю, и знаю верно, что наслаждение делать это добро есть единственное верное счастие жизни.

— Да, ежели так поставить вопрос, то это другое дело, — сказал князь Андрей. — Я строю дом, развожу сад, а ты больницы. И то и другое может служить препровождением времени. Но что справедливо, что добро — предоставь судить тому, кто все знает, а не нам. Ну, ты хочешь спорить, — прибавил он, — ну давай. — Они вышли из-за стола и сели на крыльцо, заменявшее балкон.

— Ну, давай спорить, — сказал князь Андрей. — Ты говоришь школа, — продолжал он, загибая палец, — поучения и так далее, то есть ты хочешь вывести его, — сказал он, указывая на мужика, снявшего шапку и проходившего мимо их, — из его животного состояния и дать ему нравственные потребности. А мне кажется, что единственно возможное счастье — есть счастье животное, а ты его-то хочешь лишить его. Я завидую ему, а ты хочешь его сделать мною, но не дав ему ни моего ума, ни моих чувств, ни моих средств. Другое — ты говоришь: облегчить его работу. А по-моему, труд физический для него есть такая же необходимость, такое же условие его существования, как для тебя и для меня труд умственный. Ты не можешь не думать. Я ложусь спать в третьем часу, мне приходят мысли, и я не могу заснуть, ворочаюсь, не сплю до утра оттого, что я думаю и не могу не думать, как он не может не пахать, не косить, иначе он пойдет в кабак или сделается болен. Как я не перенесу его страшного физического труда, а умру через неделю, так он не перенесет моей физической праздности, он растолстеет и умрет. Третье, — что бишь еще ты сказал?

Князь Андрей загнул третий палец.

— Ах, да. Больницы, лекарства. У него удар, он умирает, а ты пустишь ему кровь, вылечишь, он калекой будет ходить десять лет, всем в тягость. Гораздо покойнее и проще ему умереть. Другие родятся, и так их много. Ежели бы ты жалел, что у тебя лишний работник пропал, — как я смотрю на него, а то ты из любви к нему его хочешь лечить. А ему этого не нужно. Да и потом, что за воображенье, что медицина кого-нибудь вылечивала... Убивать! — так! — сказал он, злобно нахмурившись и отвернувшись от Пьера.

Князь Андрей высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что видно было, он не раз думал об этом, и он говорил охотно и быстро, как человек, долго не говоривший. Взгляд его оживлялся тем больше, чем безнадежнее были его суждения.

— Ах, это ужасно, ужасно! — сказал Пьер. — Я не понимаю только, как можно жить с такими мыслями. На меня находили такие же минуты, это недавно было, в Москве и дорогой, но тогда я опускаюсь до такой степени, что я не живу, все мне гадко, главное, я сам. Тогда я не ем, не умываюсь... ну, как же вы...

— Отчего же не умываться, это не чисто, — сказал князь Андрей. — Напротив, надо стараться сделать свою жизнь как можно более приятной. Я живу и в этом не виноват, стало быть, надо как-нибудь получше, никому не мешая, дожить до смерти.

— Но что же вас побуждает жить? С такими мыслями будешь сидеть не двигаясь, ничего не предпринимая.

— Жизнь и так не оставляет в покое. Я бы рад ничего не делать, а вот, с одной стороны, дворянство здешнее удостоило меня чести избрания в предводители; я насилу отделался. Они не могли понять, что во мне нет того, что нужно, нет этой известной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого. Потом вот этот дом, который надо было построить, чтобы иметь свой угол, где можно быть спокойным. Теперь ополченье.

— Отчего вы не служите в армии?

— После Аустерлица! — мрачно сказал князь Андрей. — Нет, покорно благодарю, я дал себе слово, что служить в действующей русской армии я не буду. И не буду. Ежели бы Бонапарте стоял тут, у Смоленска, угрожая Лысым Горам, и тогда бы я не стал служить в русской армии. Ну, так я тебе говорил, — успокоиваясь, продолжал князь Андрей, — теперь ополченье, отец главнокомандующим третьего округа, и единственное средство мне избавиться от службы — быть при нем.

— Стало быть, вы служите?

— Служу. — Он помолчал немного.

— Так зачем же вы служите?

— А вот зачем. Отец мой один из замечательнейших людей своего века. Но он становится стар, и он не то что жесток, но он слишком деятельного характера. Он страшен своею привычкой к неограниченной власти и теперь этой властью, данной государем главнокомандующим над ополчением. Ежели бы я два часа опоздал две недели тому назад, он был повесил протоколиста в Юхнове, — сказал князь Андрей с улыбкой. — Так я служу потому, что, кроме меня, никто не имеет влияния на отца и я кое-где спасу его от поступка, от которого бы он после мучился.

— А, ну так вот видите!

— Да, mais ce n'est pas comme vous l'entendez[1], — продолжал князь Андрей. — Я ни малейшего добра не желал и не желаю этому мерзавцу-протоколисту, который украл какие-то сапоги у ополченцев; я даже очень был бы доволен видеть его повешенным, но мне жалко отца, то есть опять себя же.

[1] но не так, как ты думаешь

Князь Андрей все более и более оживлялся. Глаза его лихорадочно блестели в то время, как он старался доказать Пьеру, что никогда в его поступке не было желания добра ближнему.

— Ну, вот ты хочешь освободить крестьян, — продолжал он. — Это очень хорошо; но не для тебя (ты, я думаю, никого не засекал и не посылал в Сибирь) и еще меньше для крестьян. Ежели их бьют, секут и посылают в Сибирь, то я думаю, что им от этого нисколько не хуже. В Сибири ведет он ту же свою скотскую жизнь, а рубцы на теле заживут, и он так же счастлив, как был прежде. А нужно это для тех людей, которые гибнут нравственно, наживают себе раскаяние, подавляют это раскаяние и грубеют оттого, что у них есть возможность казнить право и неправо. Вот кого мне жалко и для кого я бы желал освободить крестьян. Ты, может быть, не видал, а я видел, как хорошие люди, воспитанные в этих преданиях неограниченной власти, с годами, когда они делаются раздражительнее, делаются жестоки, грубы, знают это, не могут удержаться и все делаются несчастнее и несчастнее.

Князь Андрей говорил это с таким увлечением, что Пьер невольно подумал о том, что мысли эти наведены были Андрею его отцом. Он ничего не отвечал ему.

— Так вот кого и чего жалко — человеческого достоинства, спокойствия совести, чистоты, а не их спин и лбов, которые, сколько ни секи, сколько ни брей, все останутся такими же спинами и лбами.

— Нет, нет и тысячу раз нет! я никогда не соглашусь с вами, — сказал Пьер.

XII

Вечером князь Андрей и Пьер сели в коляску и поехали в Лысые Горы. Князь Андрей, поглядывая на Пьера, прерывал изредка молчание речами, доказывавшими, что он находился в хорошем расположении духа.

Он говорил ему, указывая на поля, о своих хозяйственных усовершенствованиях.

Пьер мрачно молчал, отвечая односложно, и казался погруженным в свои мысли.

Пьер думал о том, что князь Андрей несчастлив, что он заблуждался, что он не знает истинного света и что Пьер должен прийти на помощь ему, просветить и поднять его. Но как только Пьер придумывал, как и что он станет говорить, он предчувствовал, что князь Андрей одним словом, одним аргументом уронит все его ученье, и он боялся начать, боялся выставить на возможность осмеяния свою любимую святыню.

— Нет, отчего же вы думаете, — вдруг начал Пьер, опуская голову и принимая вид бодающегося быка, — отчего вы так думаете? Вы не должны так думать.

— Про что я думаю? — спросил князь Андрей с удивлением.

— Про жизнь, про назначение человека. Это не может быть. Я так же думал, и меня спасло, вы знаете что? масонство. Нет, вы не улыбайтесь. Масонство — это не религиозная, не обрядная секта, как и я думал, а масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества. — И он начал излагать князю Андрею масонство, как он понимал его.

Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившегося от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви.

— Только наше святое братство имеет действительный смысл в жизни; все остальное есть сон, — говорил Пьер. — Вы поймите, мой друг, что вне этого союза все исполнено лжи и неправды, и я согласен с вами, что умному и доброму человеку ничего не остается, как только, как вы, доживать свою жизнь, стараясь только не мешать другим. Но усвойте себе наши основные убеждения, вступите в наше братство, дайте нам себя, позвольте руководить собой, и вы сейчас почувствуете себя, как и я почувствовал, часть этой огромной, невидимой цепи, которой начало скрывается в небесах, — говорил Пьер.

Князь Андрей молча, глядя перед собой, слушал речь Пьера. Несколько раз он, не расслышав от шума коляски, переспрашивал у Пьера нерасслышанные слова. По особенному блеску, загоревшемуся в глазах князя Андрея, и по его молчанию Пьер видел, что слова его не напрасны, что князь Андрей не перебьет его и не будет смеяться над его словами.

Они подъехали к разлившейся реке, которую им надо было переезжать на пароме. Пока устанавливали коляску и лошадей, они пошли на паром.

Князь Андрей, облокотившись о перила, молча смотрел вдоль по блестящему от заходящего солнца разливу.

— Ну, что же вы думаете об этом? — спросил Пьер. — Что же вы молчите?

— Что я думаю? Я слушал тебя. Все это так, — сказал князь Андрей. — Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека и законы, управляющие миром. Да кто же мы? — люди. Отчего же вы все знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите? Вы видите на земле царство добра и правды, а я его не вижу.

Пьер перебил его.

— Верите вы в будущую жизнь? — спросил он.

— В будущую жизнь? — повторил князь Андрей, но Пьер не дал ему времени ответить и принял это повторение за отрицание, тем более что он знал прежние атеистические убеждения князя Андрея.

— Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его; и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды — все ложь и зло; но в мире, во всем мире есть царство правды и мы теперь дети земли, а вечно — дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого? Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется божество, — высшая сила, — как хотите, — что я составляю одно звено, одну ступень от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведет от растения к человеку, то отчего же я предположу, что эта лестница, которой я не вижу конца внизу, она теряется в растениях. Отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведет дальше и дальше до высших существ? Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает

в мире, но что я всегда буду и всегда был. Я чувствую, что, кроме меня, надо мной живут духи и что в этом мире есть правда.

— Да, это учение Гердера, — сказал князь Андрей, — но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся), и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть... Зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть... Вот что убеждает, вот что убедило меня, — сказал князь Андрей.

— Ну да, ну да, — говорил Пьер, — разве не то же самое и я говорю!

— Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезнет там в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И я заглянул...

— Ну, так что ж! Вы знаете, что есть там и что есть кто-то? Там есть — будущая жизнь. Кто-то есть — Бог.

Князь Андрей не отвечал. Коляска и лошади уже давно были выведены на другой берег и заложены и уж солнце скрылось до половины и вечерний мороз покрывал звездами лужи у перевоза, а Пьер и Андрей, к удивлению лакеев, кучеров и перевозчиков, еще стояли на пароме и говорили.

— Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить, — говорил Пьер, — что живем не нынче только на этом клочке земли, а жили и будем жить вечно там, во всем (он указал на небо). — Князь Андрей стоял, облокотившись на перила парома, и, слушая Пьера, не спуская глаз, смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу. Пьер замолк. Было совершенно тихо. Паром давно пристал, и только волны течения с слабым звуком ударялись о дно парома. Князю Андрею казалось, что это полосканье волн к словам Пьера приговаривало: «Правда, верь этому».

Князь Андрей вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся восторженное, но все робкое перед первенствующим другом, лицо Пьера.

— Да, коли бы это так было! — сказал он. — Однако пойдем садиться, — прибавил князь Андрей, и, выходя с парома, он поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз после Аустерлица он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел, лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем. Свидание с Пьером было для князя Андрея эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь.

XIII

Уже смерклось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду лысогорского дома. В то время как они подъезжали, князь Андрей с улыбкой обратил внимание Пьера на суматоху, происшедшую у заднего крыльца. Согнутая старушка с котомкой на спине и невысокий мужчина в черном одеянии и с длинными волосами, увидав въезжавшую коляску, бросились бежать назад в ворота. Две женщины выбежали за ними, и все четверо, оглядываясь на коляску, испуганно вбежали на заднее крыльцо.

— Это Ма́шины Божьи люди, — сказал князь Андрей. — Они приняли нас за отца. А это единственно, в чем она не повинуется ему: он велит гонять этих странников, а она принимает их.

— Да что такое Божьи люди? — спросил Пьер.

Князь Андрей не успел ответить ему. Слуги вышли навстречу, и он расспрашивал о том, где был старый князь и скоро ли ждут его.

Старый князь был еще в городе, и его ждали каждую минуту.

Князь Андрей провел Пьера на свою половину, всегда в полной исправности ожидавшую его в доме его отца, и сам пошел в детскую.

— Пойдем к сестре, — сказал князь Андрей, возвратившись к Пьеру, — я еще не видел ее, она теперь прячется и сидит с своими Божьими людьми. Поделом ей, она сконфузится, а ты увидишь Божьих людей. C'est curieux, ma parole[1].

— Qu'est-ce que c'est que[2] Божьи люди? — спросил Пьер.

— А вот увидишь.

Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадками перед киотами на диване, за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами в монашеской рясе.

На кресле, подле, сидела сморщенная, худая старушка с кротким выражением детского лица.

— André, pourquoi ne pas m'avoir prévenu? [3] — сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка перед цыплятами.

— Charmée de vous voir. Je suis très contente de vous voir[4] , — сказала она Пьеру, в то время как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастие с женою и, главное, его доброе, простое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными, лучистыми глазами и, казалось, говорила: «Я вас очень люблю, но, пожалуйста, не смейтесь над моими». Обменявшись первыми фразами приветствия, они сели.

— А, и Иванушка тут, — сказал князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника.

---

[1] Это интересно, право.

[2] Что такое

[3] Андрюша, зачем ты не предупредил меня?

[4] Очень рада вас видеть. Очень рада

— André! — умоляюще сказала княжна Марья.

— Il faut que vous sachiez que c'est une femme[3], — сказал Андрей Пьеру.

— André, au nom de Dieu! [4] — повторила княжна Марья.

Видно было, что насмешливое отношение князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны Марьи были привычные, установившиеся между ними отношения.

— Mais, ma bonne amie, — сказал князь Андрей, — vous devriez au contraire m'être reconnaissante de ce que j'explique à Pierre votre intimité avec ce jeune homme[5].

— Vraiment? [6] — сказал Пьер любопытно и серьезно (за что особенно благодарна ему была княжна Марья), вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех.

Княжна Марья совершенно напрасно смутилась за своих. Они нисколько не робели. Старушка, опустив глаза, но искоса поглядывая на вошедших, опрокинув чашку вверх дном на блюдечко и положив подле обкусанный кусочек сахара, спокойно и неподвижно сидела на своем кресле, ожидая, чтобы ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая из блюдечка, исподлобья лукавыми женскими глазами смотрел на молодых людей.

— Где, в Киеве была? — спросил старуху князь Андрей.

— Была, отец, — отвечала словоохотливо старуха, — на самое Рождество удостоилась у угодников сообщиться святых небесных тайн. А теперь из Колязина, отец, благодать великая открылась...

— Что ж, Иванушка с тобой?

— Я сам по себе иду, кормилец, — стараясь говорить басом, сказал Иванушка. — Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись.

Пелагеюшка перебила своего товарища; ей, видно, хотелось рассказать то, что она видела.

— В Колязине, отец, великая благодать открылась.

— Что ж, мощи новые? — спросил князь Андрей.

— Полно, Андрей, — сказала княжна Марья. — Не рассказывай, Пелагеюшка.

— И что ты, мать, отчего же не рассказывать? Я его люблю. Он добрый. Богом взысканный, он мне благодетель, десять рублей дал, я помню. Как была я в Киеве, и говорит мне Кирюша, юродивый — истинно Божий человек, зиму и лето босóй ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту, в Колязин иди, там икона чудотворная, матушка Пресвятая Богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла...

Все молчали, одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух.

— Пришла, отец мой, мне народ и говорит: благодать великая открылась, у матушки Пресвятой Богородицы миро из щечки каплет...

---

[3] Ты знаешь, это женщина

[4] Андрюша, ради Бога!

[5] Но, мой добрый друг, ты бы должна мне быть благодарна за то, что я объясняю Пьеру твою интимность с этим молодым человеком

[6] Право?

— Ну, хорошо, хорошо, после расскажешь, — краснея, сказала княжна Марья.

— Позвольте у нее спросить, — сказал Пьер. — Ты сама видела? — спросил он.

— Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике-то, как свет небесный, и из щечки у матушки так и каплет, так и каплет...

— Да ведь это обман, — наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу.

— Ах, отец, что́ говоришь! — с ужасом сказала Пелагеюшка, обращаясь за защитой к княжне Марье.

— Это обманывают народ, — повторил он.

— Господи Иисусе Христе, — крестясь, сказала странница. — Ох, не говори, отец. Так-то один анарал не верил, сказал: «Монахи обманывают». Да как сказал, так и ослеп. И приснилось ему, что приходит к нему матушка Печерская и говорит: «Уверуй мне, я тебя исцелю». Вот и стал проситься: повези да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его, слепого, прямо к ней; подошел, упал, говорит: «Исцели! отдам тебе, говорит, все, чем царь жаловал». Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. Что ж, прозрел! Грех говорить так. Бог накажет, — поучительно обратилась она к Пьеру.

— Как же звезда-то в образе очутилась? — спросил Пьер.

— В генералы и матушку произвели? — сказал князь Андрей улыбаясь.

Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками.

— Отец, отец, грех тебе, грех. У тебя сын! — заговорила она, из бледности вдруг переходя в яркую краску. — Отец, что ты сказал такое, Бог тебя прости. — Она перекрестилась. — Господи, прости его. Матушка, что ж это? — обратилась она к княжие Марье. Она встала и, чуть не плача, стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и жалко того, кто это сказал, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома.

— Ну что вам за охота? — сказала княжна Марья. — Зачем вы пришли ко мне?..

— Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, — сказал Пьер. — Princesse, ma parole, je n'ai pas voulu l'offenser[1], я так только. Ты не думай, я пошутил, — говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину.

Пелагеюшка остановилась недоверчиво, но в лице Пьера была такая искренность раскаяния и князь Андрей так кротко и серьезно смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.

XIV

Странница успокоилась и, наведенная опять на разговор, долго потом рассказывала про отца Амфилохия, который был такой святой жизни, что от ручки его ладаном пахло, и о том, как знакомые ей монахи в последнее ее странствие в Киев

[1] Княжна, я, право, не хотел ее обидеть

дали ей ключи от пещер и как она, взяв с собой сухарики, двое суток провела в пещерах с угодниками. «Помолюся одному, почитаю, пойду к другому. Сосну, опять пойду приложусь; и такая, матушка, тишина, благодать такая, что и на свет Божий выходить не хочется».

Пьер внимательно и серьезно слушал ее. Князь Андрей вышел из комнаты. И вслед за ним, оставив Божьих людей допивать чай, княжна Марья повела Пьера в гостиную.

— Вы очень добры, — сказала она ему.

— Ах, я, право, не думал оскорбить ее, я так понимаю и высоко ценю эти чувства.

Княжна Марья молча посмотрела на него и нежно улыбнулась.

— Ведь я вас давно знаю и люблю, как брата, — сказала она. — Как вы нашли Андрея? — спросила она поспешно, не давая ему времени сказать что-нибудь в ответ на ее ласковые слова. — Он очень беспокоит меня. Здоровье его зимой лучше, но прошлой весной рана открылась, и доктор сказал, что он должен ехать лечиться. И нравственно я очень боюсь за него. Он не такой характер, как мы, женщины, чтобы выстрадать и выплакать свое горе. Он внутри себя носит его. Нынче он весел и оживлен; но это ваш приезд так подействовал на него: он редко бывает таким. Ежели бы вы могли уговорить его поехать за границу! Ему нужна деятельность, а эта ровная, тихая жизнь губит его. Другие не замечают, но я вижу.

В десятом часу официанты бросились к крыльцу, заслышав бубенчики подъезжающего экипажа старого князя. Князь Андрей с Пьером тоже вышли на крыльцо.

— Это кто? — спросил старый князь, вылезая из кареты и увидав Пьера.

— А! очень рад! целуй, — сказал он, узнав, кто был незнакомый молодой человек.

Старый князь был в хорошем духе и обласкал Пьера.

Перед ужином князь Андрей, вернувшись назад в кабинет отца, застал старого князя в горячем споре с Пьером. Пьер доказывал, что придет время, когда не будет больше войны. Старый князь, подтрунивая, но не сердясь, оспаривал его.

— Кровь из жил выпусти, воды налей, тогда войны не будет. Бабьи бредни, бабьи бредни, — проговорил он, но все-таки ласково потрепал Пьера по плечу и подошел к столу, у которого князь Андрей, видимо не желая вступать в разговор, перебирал бумаги, привезенные князем из города. Старый князь подошел к нему и стал говорить о делах.

— Предводитель, Ростов граф, половины людей не доставил. Приехал в город, вздумал на обед звать, — я ему такой обед задал... А вот просмотри эту... Ну, брат, — обратился князь Николай Андреич к сыну, хлопая по плечу Пьера, — молодец твой приятель, я его полюбил! Разжигает меня. Другой и умные речи говорит, а слушать не хочется, а он и врет, да разжигает меня, старика. Ну, идите, идите, — сказал он, — может быть, приду, за ужином вашим посижу. Опять поспорю. Мою дуру, княжну Марью, полюби, — прокричал он Пьеру из двери.

Пьер теперь только, в свой приезд в Лысые Горы, оценил всю силу и прелесть своей дружбы с князем Андреем. Эта прелесть выразилась не столько в его отношениях с ним самим, сколько в отношениях со всеми родными и домашними. Пьер с старым, суровым князем и с кроткой и робкой княжной Марьей, несмотря на то, что он их почти не знал, чувствовал себя сразу старым другом. Они все уже любили его. Не только княжна Марья, подкупленная его кроткими отношениями к странницам, самым лучистым взглядом смотрела на него; но маленький, годовой князь Николай, как звал дед, улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки. Михаил Иваныч, m-lle Bourienne[1] с радостными улыбками смотрели на него, когда он разговаривал с старым князем.

Старый князь вышел ужинать; это было, очевидно, для Пьера. Он был с ним оба дня его пребывания в Лысых Горах чрезвычайно ласков и велел ему приезжать к себе.

Когда Пьер уехал и сошлись вместе все члены семьи, его стали судить, как это всегда бывает после отъезда нового человека, и, как это редко бывает, все говорили про него одно хорошее.

XV

Возвратившись в этот раз из отпуска, Ростов в первый раз почувствовал и узнал, до какой степени сильна была его связь с Денисовым и со всем полком.

Когда Ростов подъезжал к полку, он испытывал чувство, подобное тому, которое он испытывал, подъезжая к Поварскому дому. Когда он увидал первого гусара в расстегнутом мундире своего полка, когда он узнал рыжего Дементьева, увидал коновязи рыжих лошадей, когда Лаврушка радостно закричал своему барину: «Граф приехал!» — и лохматый Денисов, спавший на постели, выбежал из землянки, обнял его и офицеры сошлись к приезжему, — Ростов испытывал такое же чувство, как когда его обнимала мать, отец и сестры, и слезы радости, подступившие ему к горлу, помешали ему говорить. Полк был тоже дом, и дом неизменно милый и дорогой, как и дом родительский.

Явившись к полковому командиру, получив назначение в прежний эскадрон, сходивши на дежурство и на фуражировку, войдя во все маленькие интересы полка и почувствовав себя лишенным свободы и закованным в одну узкую неизменную рамку, Ростов испытал то же успокоение, ту же опору и то же сознание того, что он здесь дома, на своем месте, которые он чувствовал и под родительским кровом. Не было этой всей безурядицы вольного света, в котором он не находил себе места и ошибался в выборах; не было Сони, с которой надо было или не надо было объясняться. Не было возможности ехать туда или не ехать туда; не было этих двадцати четырех часов суток, которые столькими различными способами можно было употребить; не было этого бесчисленного множества людей, из которых никто не был ближе, никто не был дальше; не было этих неясных и неопределенных денежных отношений с отцом; не было напоминания об ужасном проигрыше

[1] мадемуазель Бурьен

Долохову! Тут, в полку, все было ясно и просто. Весь мир был разделен на два неровные отдела: один — наш Павлоградский полк, и другой — все остальное. И до этого остального не было никакого дела. В полку все было известно: кто был поручик, кто ротмистр, кто хороший, кто дурной человек, и главное — товарищ. Маркитант верит в долг, жалованье получается в треть; выдумывать и выбирать нечего, только не делай ничего такого, что считается дурным в Павлоградском полку; а пошлют, делай то, что ясно и отчетливо определено и приказано, — и все будет хорошо.

Вступив снова в эти определенные условия полковой жизни, Ростов испытал радость и успокоение подобные тем, которые чувствует усталый человек, ложась на отдых. Тем отраднее была в эту кампанию эта полковая жизнь Ростову, что он, после проигрыша Долохову (поступка, которого он, несмотря на все утешения родных, не мог простить себе), решился служить не как прежде, а чтобы загладить свою вину, служить хорошо и быть вполне отличным товарищем и офицером, то есть прекрасным человеком, что представлялось столь трудным в миру, а в полку столь возможным.

Ростов, со времени своего проигрыша, решил, что он в пять лет заплатит этот долг родителям. Ему посылалось по десяти тысяч в год, теперь же он решился брать только две, а остальные предоставлять родителям для уплаты долга.

Армия наша после неоднократных отступлений, наступлений и сражений при Пултуске, при Прейсиш-Эйлау сосредоточивалась около Бартенштейна. Ожидали приезда государя к армии и начала новой кампании.

Павлоградский полк, находившийся в той части армии, которая была в походе 1805 года, укомплектовываясь в России, опоздал к первым действиям кампании. Он не был ни под Пултуском, ни под Прейсиш-Эйлау и во второй половине кампании, присоединившись к действующей армии, был причислен к отряду Платова.

Отряд Платова действовал независимо от армии. Несколько раз павлоградцы были частями в перестрелках с неприятелем, захватывали пленных и однажды отбили даже экипажи маршала Удино. В апреле месяце павлоградцы несколько недель простояли около разоренной дотла немецкой пустой деревни, не трогаясь с места.

Была ростепель, грязь, холод, реки взломало, дороги сделались непроездны; по нескольку дней не выдавали ни лошадям, ни людям провианта. Так как подвоз сделался невозможен, то люди рассыпались по заброшенным пустынным деревням отыскивать картофель, но уже и того находили мало.

Все было съедено, и все жители разбежались; те, которые оставались, были хуже нищих, и отнимать у них уж было нечего, и даже маложалостливые солдаты часто, вместо того чтобы пользоваться от них, отдавали им свое последнее.

Павлоградский полк в делах потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей. В госпиталях умирали так верно, что солдаты, больные лихорадкой и опухолью, происходившими от дурной пищи, предпочитали нести службу, через силу волоча ноги во фронте, чем отправляться в больницы. С открытием весны солдаты стали находить показывавшееся из земли

растение, похожее на спаржу, которое они называли почему-то машкин сладкий корень, и рассыпались по лугам и полям, отыскивая этот машкин сладкий корень (который был очень горек), саблями выкапывали его и ели, несмотря на приказы не есть этого вредного растения. Весною между солдатами открылась новая болезнь — опухоль рук, ног и лица, причину которой медики полагали в употреблении этого корня. Но, несмотря на запрещение, павлоградские солдаты эскадрона Денисова ели преимущественно машкин сладкий корень, потому что уже вторую неделю растягивали последние сухари, выдавали только по полфунта на человека, а картофель в последнюю посылку привезли мерзлый и проросший.

Лошади питались тоже вторую неделю соломенными крышами с домов, были безобразно худы и покрыты еще зимнею, клоками сбившеюся шерстью.

Несмотря на такое бедствие, солдаты и офицеры жили точно так же, как и всегда; так же и теперь, хотя и с бледными и опухлыми лицами и в оборванных мундирах, гусары строились к расчетам, ходили на уборку, чистили лошадей, амуницию, таскали вместо корма солому с крыш и ходили обедать к котлам, от которых вставали голодные, подшучивая над своей гадкой пищей и своим голодом. Так же, как и всегда, в свободное от службы время солдаты жгли костры, парились голые у огней, курили, отбирали и пекли проросший прелый картофель и рассказывали и слушали рассказы или о потемкинских и суворовских походах, или сказки об Алеше-пройдохе и о поповом батраке Миколке.

Офицеры так же, как и обыкновенно, жили по двое, по трое в раскрытых полуразоренных домах. Старшие заботились о приобретении соломы и картофеля, вообще о средствах пропитания людей, младшие занимались, как всегда, кто картами (денег было много, хотя провианта не было), кто невинными играми — в свайку и городки. Об общем ходе дел говорили мало, частью оттого, что ничего положительного не знали, частью оттого, что смутно чувствовали, что общее дело войны шло плохо.

Ростов жил по-прежнему с Денисовым, и дружеская связь их со времени их отпуска стала еще теснее. Денисов никогда не говорил про домашних Ростова, но по нежной дружбе, которую командир оказывал своему офицеру, Ростов чувствовал, что несчастная любовь старого гусара к Наташе участвовала в этом усилении дружбы. Денисов, видимо, старался как можно реже подвергать Ростова опасностям, берег его и после дела особенно радостно встречал его целым и невредимым. На одной из своих командировок Ростов нашел в заброшенной, разоренной деревне, куда он приехал за провиантом, семейство старика поляка и его дочери с грудным ребенком. Они были раздеты, голодны, и не могли уйти, и не имели средств выехать. Ростов привез их в свою стоянку, поместил в своей квартире и несколько недель, пока старик оправлялся, содержал их. Товарищ Ростова, разговорившись о женщинах, стал смеяться Ростову, говоря, что он всех хитрее и что ему бы не грех познакомить товарищей с спасенной им хорошенькой полькой. Ростов принял шутку за оскорбление и, вспыхнув, наговорил офицеру таких неприятных вещей, что Денисов с

трудом мог удержать обоих от дуэли. Когда офицер ушел и Денисов, сам не знавший отношений Ростова к польке, стал упрекать его за вспыльчивость, Ростов сказал ему:

— Как же ты хочешь... Она мне как сестра, и я не могу тебе описать, как это обидно мне было... потому что... ну, оттого...

Денисов ударил его по плечу и быстро стал ходить по комнате, не глядя на Ростова, что он делывал в минуты душевного волнения.

— Экая дуг'ацкая ваша пог'ода Г'остовская, — проговорил он, и Ростов заметил слезы на глазах Денисова.

XVI

В апреле месяце войска оживились известием о приезде государя к армии. Ростову не удалось попасть на смотр, который делал государь в Бартенштейне: павлоградцы стояли на аванпостах, далеко впереди Бартенштейна.

Они стояли биваками. Денисов с Ростовым жили в вырытой для них солдатами землянке, покрытой сучьями и дерном. Землянка была устроена следующим, вошедшим тогда в моду, способом: прорывалась канава в полтора аршина ширины, два глубины и три с половиной длины. С одного конца канавы делались ступеньки, и это был сход, крыльцо; сама канава была комната, в которой у счастливых, как у эскадронного командира, в дальней, противоположной ступеням стороне лежала на 4 кольях доска — это был стол. С обеих сторон вдоль канавы была снята на аршин земля, и это были две кровати и диваны. Крыша устроивалась так, что в середине можно было стоять, а на кровати даже можно было сидеть, ежели подвинуться ближе к столу. У Денисова, жившего роскошно, потому что солдаты его эскадрона любили его, была еще доска в фронтоне крыши, и в доске этой было разбитое, но склеенное стекло. Когда было очень холодно, то к ступеням (в приемную, как называл Денисов эту часть балагана) приносили на железном загнутом листе жар из солдатских костров, и делалось так тепло, что офицеры, которых много всегда бывало у Денисова и Ростова, сидели в одних рубашках.

В апреле месяце Ростов был дежурным. В восьмом часу утра, вернувшись домой после бессонной ночи, он велел принесли жару, переменил измокшее от дождя белье, помолился Богу, напился чаю, согрелся, убрал в порядок вещи в своем уголке и на столе и, с обветрившимся, горевшим лицом, в одной рубашке, лег на спину, заложив руки под голову. Он приятно размышлял о том, что на днях должен выйти ему следующий чин за последнюю рекогносцировку, и ожидал куда-то вышедшего Денисова, Ростову хотелось поговорить с ним.

За шалашом послышался перекатывающийся крик Денисова, очевидно разгорячившегося. Ростов подвинулся к окну посмотреть, с кем он имел дело, и увидал вахмистра Топчеенку.

— Я тебе пг'иказывал не пускать их жг'ать этот ког'ень машкин какой-то! — кричал Денисов. — Ведь я сам видел, Лазаг'чук с поля тащил.

— Я приказывал, ваше высокоблагородие, не слушают, — отвечал вахмистр.

Ростов опять лег на свою кровать и с удовольствием подумал: «Пускай его теперь возится и хлопочет, я свое дело отделал и лежу — отлично!» Из-за стенки он слышал, что, кроме вахмистра, говорил еще Лаврушка, этот бойкий плутоватый лакей Денисова. Лаврушка что-то рассказывал о каких-то подводах, сухарях и быках, которых он видел, ездивши за провизией.

За балаганом послышался опять удаляющийся крик Денисова и слова: «Седлай... Втог'ой взвод!»

«Куда это собрались?» — подумал Ростов.

Через пять минут Денисов вошел в балаган, влез с грязными ногами на кровать, сердито выкурил трубку, раскидал все свои вещи, надел нагайку и саблю и стал выходить из землянки. На вопрос Ростова: куда? — он сердито и неопределенно отвечал, что есть дело.

— Суди меня там Бог и великий государь! — сказал Денисов, выходя; и Ростов услыхал, как за балаганом зашлепали по грязи ноги нескольких лошадей. Ростов не позаботился даже узнать, куда поехал Денисов. Угревшись в своем угле, он заснул и перед вечером только вышел из балагана. Денисов еще не возвращался. Вечер разгулялся; около соседней землянки два офицера с юнкером играли в свайку, со смехом засаживая редьки в рыхлую грязную землю. Ростов присоединился к ним. В середине игры офицеры увидали подъезжавшие к ним повозки: человек пятнадцать гусар на худых лошадях следовали за ними. Повозки, конвоируемые гусарами, подъехали к коновязям, и толпа гусар окружила их.

— Ну вот, Денисов все тужил, — сказал Ростов, — вот и провиант прибыл.

— И то! — сказали офицеры. — То-то радешеньки солдаты! — Немного позади гусар ехал Денисов, сопутствуемый двумя пехотными офицерами, с которыми он о чем-то разговаривал. Ростов пошел к нему навстречу.

— Я вас предупреждаю, ротмистр, — говорил один из офицеров, худой, маленький ростом и, видимо, озлобленный.

— Ведь сказал, что не отдам, — отвечал Денисов.

— Вы будете отвечать, ротмистр, это буйство — у своих транспорты отбивать! Наши люди два дня не ели.

— А мои две недели не ели, — отвечал Денисов.

— Это разбой, ответите, милостивый государь! — возвышая голос, повторил пехотный офицер.

— Да вы что ко мне пг'истали? А? — крикнул Денисов, вдруг разгорячась. — Отвечать буду я, а не вы, а вы тут не жужжите, пока целы. Маг'ш! — крикнул он на офицеров.

— Хорошо же! — не робея и не отъезжая, кричал маленький офицер. — Разбойничать, так я вам...

— К чег'ту маг'ш, ског'ым шагом, пока цел. — И Денисов повернул лошадь к офицеру.

— Хорошо, хорошо, — проговорил офицер с угрозой и, повернув лошадь, поехал прочь рысью, трясясь на седле.

— Собака на забог'е, живая собака на забог'е, — сказал Денисов ему вслед — высшую насмешку кавалериста над верховым пехотным, и, подъехав к Ростову, расхохотался.

— Отбил у пехоты, отбил силой тг'анспог'т! — сказал он. — Что ж, не с голоду же издыхать людям?

Повозки, которые подъехали к гусарам, были назначены в пехотный полк, но, известившись через Лаврушку, что этот транспорт идет один, Денисов с гусарами силой отбил его. Солдатам раздали сухарей вволю, поделились даже с другими эскадронами.

На другой день полковой командир позвал к себе Денисова и сказал ему, закрыв раскрытыми пальцами глаза: «Я на это смотрю вот так, я ничего не знаю, и дела не начну; но советую съездить в штаб и там, в провиантском ведомстве, уладить это дело и, если возможно, расписаться, что получили столько-то провианту; в противном случае — требование записано на пехотный полк — дело поднимется и может кончиться дурно».

Денисов прямо от полкового командира поехал в штаб, с искренним желанием исполнить его совет. Вечером он возвратился в свою землянку в таком положении, в котором Ростов еще никогда не видал своего друга. Денисов не мог говорить и задыхался. Когда Ростов спрашивал его, что с ним, он только хриплым и слабым голосом произносил непонятные ругательства и угрозы.

Испуганный положением Денисова, Ростов предлагал ему раздеться, выпить воды и послал за лекарем.

— Меня за г'азбой судить — ох! Дай еще воды — пускай судят, а буду, всегда буду подлецов бить, и госудаг'ю скажу. Льду дайте, — приговаривал он.

Пришедший полковой лекарь сказал, что необходимо пустить кровь. Глубокая тарелка черной крови вышла из мохнатой руки Денисова, и тогда только он был в состоянии рассказать все, что с ним было.

— Приезжаю, — рассказывал Денисов. — «Ну, где у вас тут начальник?» Показали. «Подождать не угодно ли». — «У меня служба, я за тридцать верст приехал, мне ждать некогда, доложи». Хорошо, выходит этот обер-вор: тоже вздумал учить меня. «Это разбой!» — «Разбой, говорю, не тот делает, кто берет провиант, чтобы кормить своих солдат, а тот, кто берет его, чтобы класть в карман!» Хорошо. «Распишитесь, говорит, у комиссионера, а дело ваше передастся по команде». Прихожу к комиссионеру. Вхожу — за столом... кто же?! Нет, ты подумай!.. Кто же нас голодом морит, — закричал Денисов, ударяя кулаком больной руки по столу так крепко, что стол чуть не упал и стаканы поскакали на нем. — Телянин!! «Так ты нас с голоду морить?!» Раз, раз по морде, ловко так получилось... «А!.. распротакой-сякой...» и начал катать! Зато натешился, могу сказать, — кричал Денисов, радостно и злобно из-под черных усов оскаливая свои белые зубы. — Я бы убил его, кабы не отняли.

— Да что ж ты кричишь, успокойся, — говорил Ростов. — Вот опять кровь пошла. Постой же, перебинтовать надо.

Денисова перебинтовали и уложили спать. На другой день он проснулся веселый и спокойный.

Но в полдень адъютант полка с серьезным и печальным лицом пришел в общую землянку Денисова и Ростова и с прискорбием показал форменную бумагу к майору Денисову от полкового командира, в которой делались запросы о вчерашнем происшествии. Адъютант сообщил, что дело должно принять весьма дурной оборот, что назначена военно-судная комиссия и что при настоящей строгости касательно мародерства и своевольства войск, в счастливом случае — дело может кончиться разжалованьем.

Дело представлялось со стороны обиженных в таком виде, что после отбития транспорта майор Денисов без всякого вызова, в пьяном виде, явился к обер-провиантмейстеру, назвал его вором, угрожал побоями, и когда был выведен вон, то бросился в канцелярию, избил двух чиновников и одному вывихнул руку.

Денисов на новые вопросы Ростова, смеясь, сказал, что, кажется, тут точно другой какой-то подвернулся, но что все это вздор, пустяки, что он и не думает бояться никаких судов и что ежели эти подлецы осмелятся задрать его, он им ответит так, что они будут помнить.

Денисов говорил пренебрежительно о всем этом деле; но Ростов знал его слишком хорошо, чтобы не заметить что он в душе (скрывая это от других) боялся суда и мучился этим делом, которое, очевидно, должно было иметь дурные последствия. Каждый день стали приходить бумаги-запросы, требования к суду, и первого мая предписано было Денисову сдать старшему по себе эскадрон и явиться в штаб дивизии для объяснений по делу о буйстве в провиантской комиссии. Накануне этого дня Платов делал рекогносцировку неприятеля с двумя казачьими полками и двумя эскадронами гусар. Денисов, как всегда, выехал вперед цепи, щеголяя своей храбростью. Одна из пуль, пущенных французскими стрелками, попала ему в мякоть верхней части ноги. Может быть, в другое время Денисов с такой легкой раной не уехал бы от полка, но теперь он воспользовался этим случаем, отказался от явки в дивизию и уехал в госпиталь.

XVII

В июне месяце произошло Фридландское сражение, в котором не участвовали павлоградцы, и вслед за ним объявлено было перемирие. Ростов, тяжело чувствовавший отсутствие своего друга, не имея со времени его отъезда никаких известий о нем и беспокоясь о ходе его дела и раны, воспользовался перемирием и отпросился в госпиталь проведать Денисова.

Госпиталь находился в маленьком прусском местечке, два раза разоренном русскими и французскими войсками. Именно потому, что это было летом, когда в поле было так хорошо, местечко это с своими разломанными крышами и заборами и своими загаженными улицами, оборванными жителями и пьяными или больными солдатами, бродившими по нем, представляло особенно мрачное зрелище.

В каменном доме, на дворе с остатками разобранного забора, выбитыми частью рамами и стеклами, помещался госпиталь. Несколько перевязанных, бледных и опухших солдат ходили и сидели на дворе на солнышке.

Как только Ростов вошел в двери дома, его обхватил запах гниющего тела и больницы. На лестнице он встретил военного русского доктора с сигарою во рту. За доктором шел русский фельдшер.

— Не могу же я разорваться, — говорил доктор, — приходи вечерком к Макару Алексеевичу, я там буду. — Фельдшер что-то еще спросил у него.

— Э! делай как знаешь! Разве не все равно? — Доктор увидал подымающегося на лестницу Ростова.

— Вы зачем, ваше благородие? — сказал доктор. — Вы зачем? Или пуля вас не брала, так вы тифу набраться хотите? Тут, батюшка, дом прокаженных.

— Отчего? — спросил Ростов.

— Тиф, батюшка. Кто ни взойдет — смерть. Только мы двое с Макеевым (он указал на фельдшера) еще тут треплемся. Тут уж нашего брата докторов человек пять перемерло. Как поступит новенький, через недельку готов, — с видимым удовольствием сказал доктор. — Прусских докторов вызывали, так не любят союзники-то наши.

Ростов объяснил ему, что он желал видеть здесь лежащего гусарского майора Денисова.

— Не знаю, не ведаю, батюшка. Ведь вы подумайте, у меня на одного три госпиталя, четыреста больных с лишком! Еще хорошо, прусские дамы-благодетельницы нам кофею и корпию присылают по два фунта в месяц, а то бы пропали. — Он засмеялся. — Четыреста, батюшка; а мне все новеньких присылают. Ведь четыреста есть? А? — обратился он к фельдшеру.

Фельдшер имел измученный вид. Он, видимо, с досадой дожидался, скоро ли уйдет заболтавшийся доктор.

— Майор Денисов, — повторил Ростов, — он под Молитеном ранен был.

— Кажется, умер. А, Макеев? — равнодушно спросил доктор у фельдшера.

Фельдшер, однако, не подтвердил слов доктора.

— Что, он такой длинный, рыжеватый? — спросил доктор.

Ростов описал наружность Денисова.

— Был, был такой, — как бы радостно проговорил доктор, — этот, должно быть, умер, а впрочем, я справлюсь, у меня списки были. Есть у тебя, Макеев?

— Списки у Макара Алексеича, — сказал фельдшер. — А пожалуйте в офицерские палаты, там сами увидите, — прибавил он, обращаясь к Ростову.

— Эх, лучше не ходить, батюшка, — сказал доктор, — а то как бы сами тут не остались! — Но Ростов откланялся доктору и попросил фельдшера проводить его.

— Не пенять же, чур, на меня, — прокричал доктор из-под лестницы.

Ростов с фельдшером вошли в коридор. Больничный запах был так силен в этом темном коридоре, что Ростов схватился за нос и должен был остановиться, чтобы

собраться с силами и идти дальше. Направо отворилась дверь, и оттуда высунулся на костылях худой, желтый человек, босой и в одном белье. Он, упершись о притолоку, блестящими, завистливыми глазами поглядел на проходящих. Заглянув в дверь, Ростов увидал, что больные и раненые лежали там на полу, на соломе и шинелях.

— Что же это? — спросил он.

— Это солдатские, — отвечал фельдшер. — Что же делать, — прибавил он, как будто извиняясь.

— А можно войти посмотреть? — спросил Ростов.

— Что же смотреть? — сказал фельдшер. Но именно потому, что фельдшер, очевидно, не желал впустить туда, Ростов вошел в солдатские палаты. Запах, к которому он уже умел придышаться в коридоре, здесь был еще сильнее. Запах этот здесь несколько изменился: он был резче, и чувствительно было, что отсюда-то именно он и происходил.

В длинной комнате, ярко освещенной солнцем в большие окна, в два ряда, головами к стенам и оставляя проход посередине, лежали больные и раненые. Большая часть из них были в забытьи и не обратили внимания на вошедших. Те, которые были в памяти, все приподнялись или подняли свои худые, желтые лица, и все с одним и тем же выражением надежды на помощь, упрека и зависти к чужому здоровью, не спуская глаз смотрели на Ростова. Ростов вышел на середину комнаты, заглянул в соседние две комнаты с растворенными дверями и с обеих сторон увидал то же самое. Он остановился, молча оглядываясь вокруг себя. Он никак не ожидал видеть это. Перед самым им лежал почти поперек среднего прохода, на голом полу, больной, вероятно казак, потому что волосы его были обстрижены в скобку. Казак этот лежал навзничь, раскинув огромные руки и ноги. Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно закачены, так что видны были одни белки, и на босых ногах его и на руках, еще красных, жилы напружились, как веревки. Он стукнулся затылком о пол и что-то хрипло проговорил и стал повторять это слово. Ростов прислушался к тому, что он говорил, и разобрал повторяемое им слово. Слово это было: испить — пить — испить! Ростов оглянулся, отыскивая того, кто бы мог уложить на место этого больного и дать ему воды.

— Кто ж тут ходит за больными? — спросил он фельдшера. В это время из соседней комнаты вышел фурштатский солдат, больничный служитель, и, отбивая шаг, вытянулся перед Ростовым.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие! — прокричал этот солдат, выкатывая глаза на Ростова и, очевидно, принимая его за больничное начальство.

— Убери же его, дай ему воды, — сказал Ростов, указывая на казака.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — с удовольствием проговорил солдат, еще старательнее выкатывая глаза и вытягиваясь, но не трогаясь с места.

«Нет, тут ничего не сделаешь», — подумал Ростов, опустив глаза, и хотел уже выходить, но с правой стороны он чувствовал устремленный на себя значительный взгляд и оглянулся на него. Почти в самом углу на шинели сидел с желтым, как скелет,

худым, строгим лицом и с небритой седой бородой старый солдат и упорно смотрел на Ростова. С одной стороны сосед старого солдата что-то шептал ему, указывая на Ростова. Ростов понял, что старик намерен о чем-то просить его. Он подошел ближе и увидал, что у старика была согнута только одна нога, а другой совсем не было выше колена. Другой сосед старика, неподвижно лежавший с закинутой головой, довольно далеко от него, был молодой солдат с восковой бледностью на курносом, покрытом еще веснушками, лице и с закаченными под веки глазами. Ростов поглядел на курносого солдата, и мороз пробежал по его спине.

— Да ведь этот, кажется... — обратился он к фельдшеру.

— Уж как просили, ваше благородие, — сказал старый солдат с дрожанием нижней челюсти. — Еще утром кончился. Ведь тоже люди, а не собаки...

— Сейчас пришлю, уберут, уберут, — поспешно сказал фельдшер. — Пожалуйте, ваше благородие.

— Пойдем, пойдем! — поспешно сказал Ростов и, опустив глаза и сжавшись, стараясь пройти незамеченным сквозь строй этих укоризненных и завистливых глаз, устремленных на него, он вышел из комнаты.

XVIII

Пройдя коридор, фельдшер ввел Ростова в офицерские палаты, состоявшие из трех, с растворенными дверями, комнат. В комнатах этих были кровати; раненые и больные офицеры сидели и лежали на них. Некоторые в больничных халатах ходили по комнатам. Первое лицо, встретившееся Ростову в офицерских палатах, был маленький, худой человек без руки, в колпаке и больничном халате, с закушенной трубочкой ходивший в первой комнате. Ростов, вглядываясь в него, старался вспомнить, где он его видел.

— Вот где Бог привел свидеться, — сказал маленький человек. — Тушин, Тушин — помните, довез вас под Шенграбеном? А мне кусочек отрезали, вот... — сказал он, улыбаясь и указывая на пустой рукав халата. — Василья Дмитрича Денисова ищете? Сожитель, — сказал он, узнав, кого нужно было Ростову. — Здесь, здесь. — И Тушин повел его в другую комнату, из которой слышался хохот нескольких голосов.

«И как они могут не только хохотать, но жить тут?» — думал Ростов, все слыша еще этот запах мертвого тела, которого он набрался в солдатском госпитале, и все еще видя вокруг себя эти завистливые взгляды, провожавшие его с обеих сторон, и лицо этого молодого солдата с закаченными глазами.

Денисов, закрывшись с головой одеялом, спал на постели, несмотря на то, что был двенадцатый час дня.

— А! Г'остов! Здог'ово, здог'ово! — закричал он все тем же голосом, как, бывало, и в полку; но Ростов с грустью заметил, как за этой привычной развязностью и оживленностью какое-то новое, дурное, затаенное чувство проглядывало в выражении лица, в интонациях и словах Денисова.

Рана его, несмотря на свою ничтожность, все еще не заживала, хотя уже прошло шесть недель, как он был ранен. В лице его была та же бледная опухлость, которая была на всех гошпитальных лицах. Но не это поразило Ростова: его поразило то, что Денисов как будто не рад был ему и неестественно ему улыбался. Денисов не расспрашивал ни про полк, ни про общий ход дела. Когда Ростов говорил про это, Денисов не слушал.

Ростов заметил даже, что Денисову неприятно было, когда ему напоминали о полке и вообще о той, другой, вольной жизни, которая шла вне госпиталя. Он, казалось, старался забыть ту прежнюю жизнь и интересовался только своим делом с провиантскими чиновниками. На вопрос Ростова, в каком положении было дело, он тотчас достал из-под подушки бумагу, полученную из комиссии, и свой черновой ответ на нее. Он оживился, начав читать свою бумагу, и особенно давал заметить Ростову колкости, которые он в этой бумаге говорил своим врагам. Госпитальные товарищи Денисова, окружившие было Ростова — вновь прибывшее из вольного света лицо, — стали понемногу расходиться, как только Денисов стал читать свою бумагу. По их лицам Ростов понял, что все эти господа уже не раз слышали всю эту успевшую им надоесть историю. Только сосед на кровати, толстый улан, сидел на своей койке, мрачно нахмурившись и куря трубку, и маленький Тушин без руки продолжал слушать, неодобрительно покачивая головой. В середине чтения улан перебил Денисова.

— А по мне, — сказал он, обращаясь к Ростову, — надо просто просить государя о помиловании. Теперь, говорят, награды будут большие, и, верно, простят...

— Мне просить государя! — сказал Денисов голосом, которому он хотел придать прежнюю энергию и горячность, но который звучал бесполезной раздражительностью. — О чем? Ежели бы я был разбойник, я бы просил милости, а то я сужусь за то, что вывожу на чистую воду разбойников. Пускай судят, я никого не боюсь; я честно служил царю и отечеству, и не крал! И меня разжаловать, и... Слушай, я так прямо и пишу им, вот я пишу: «ежели бы я был казнокрад...»

— Ловко написано, что и говорить, — сказал Тушин. — Да не в том дело, Василий Дмитрич, — он тоже обратился к Ростову, — покориться надо, а вот Василий Дмитрич не хочет. Ведь аудитор говорил вам, что дело ваше плохо.

— Ну, пускай будет плохо, — сказал Денисов.

— Вам написал аудитор просьбу, — продолжал Тушин, — и надо подписать, да вот с ними и отправить. У них, верно (он указал на Ростова), и рука в штабе есть. Уж лучше случая не найдете.

— Да ведь я сказал, что подличать не стану, — перебил Денисов и опять продолжал чтение своей бумаги.

Ростов не смел уговаривать Денисова, хотя он инстинктом чувствовал, что путь, предлагаемый Тушиным и другими офицерами, был самый верный, и хотя он считал

бы себя счастливым, ежели бы мог оказать помощь Денисову: он знал непреклонность воли Денисова и его правдивую горячность.

Когда кончилось чтение ядовитых бумаг Денисова, продолжавшееся более часа, Ростов ничего не сказал и, в самом грустном расположении духа, в обществе опять собравшихся около него госпитальных товарищей Денисова провел остальную часть дня, рассказывая про то, что он знал, и слушая рассказы других. Денисов мрачно молчал в продолжение всего вечера.

Поздно вечером Ростов собрался уезжать и спросил Денисова, не будет ли каких поручений.

— Да, постой, — сказал Денисов, оглянулся на офицеров и, достав из-под подушки свои бумаги, пошел к окну, на котором у него стояла чернильница, и сел писать.

— Видно, плетью обуха не пег'ешибешь, — сказал он, отходя от окна и подавая Ростову большой конверт. Это была просьба на имя государя, составленная аудитором, в которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, просил только о помиловании.

— Пег'едай, видно... — Он не договорил и улыбнулся болезненно-фальшивой улыбкой.

XIX

Вернувшись в полк и передав командиру, в каком положении находилось дело Денисова, Ростов с письмом к государю поехал в Тильзит.

13-го июня французский и русский императоры съехались в Тильзите. Борис Друбецкой просил важное лицо, при котором он состоял, о том, чтобы быть причислену к свите, назначенной состоять в Тильзите.

— Je voudrais voir le grand homme[1], — сказал он, говоря про Наполеона, которого он до сего времени всегда, как и все, называл Буонапарте.

— Vous parlez de Buonaparte? [2] — сказал ему, улыбаясь, его генерал.

Борис вопросительно посмотрел на своего генерала и тотчас же понял, что это было шуточное испытание.

— Mon prince, je parle de l'empereur Napoléon[3], — отвечал он. Генерал с улыбкой потрепал его по плечу.

— Ты далеко пойдешь, — сказал он ему и взял с собою.

---

[1] Я бы желал видеть великого человека.

[2] Вы говорите о Буонапарте?

[3] Князь, я говорю об императоре Наполеоне.

«Наполеон и император Александр I на свидании в Тильзите»
Акварель профессора А.Д. Кившенко

Борис в числе немногих был на Немане в день свидания императоров; он видел плоты с вензелями, проезд Наполеона по тому берегу мимо французской гвардии, видел задумчивое лицо императора Александра в то время, как он молча сидел в корчме на берегу Немана, ожидая прибытия Наполеона; видел, как оба императора сели в лодки и как Наполеон, приставши прежде к плоту, быстрыми шагами пошел вперед и, встречая Александра, подал ему руку, и как оба скрылись в павильоне.

Со времени своего вступления в высшие миры Борис сделал себе в привычку внимательно наблюдать то, что происходило вокруг него, и записывать. Во время свидания в Тильзите он расспрашивал об именах тех лиц, которые приехали с Наполеоном, о мундирах, которые были на них надеты, и внимательно прислушивался к словам, которые были сказаны важными лицами. В то самое время, как императоры вошли в павильон, он посмотрел на часы и не забыл посмотреть опять в то время, когда Александр вышел из павильона. Свидание продолжалось час и пятьдесят три минуты; он так и записал это в тот вечер в числе других фактов, которые, он полагал, имели историческое значение. Так как свита императора была очень небольшая, то для человека, дорожащего успехом по службе, находиться в Тильзите во время свидания императоров было делом очень важным, и Борис, попав в Тильзит, чувствовал, что с этого времени положение его совершенно утвердилось. Его не только знали, но к нему пригляделись и привыкли. Два раза он исполнял поручения к самому государю, так что государь знал его в лицо, и все приближенные уже не только не дичились его, как прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было.

Борис жил с другим адъютантом, польским графом Жилинским. Жилинский, воспитанный в Париже поляк, был богат, страстно любил французов, и почти каждый день во время пребывания в Тильзите к Жилинскому и Борису собирались на обеды и завтраки французские офицеры из гвардии и главного французского штаба.

24-го июня, вечером, граф Жилинский, сожитель Бориса, устроил для своих знакомых французов ужин. На ужине этом был почетный гость — один адъютант Наполеона, несколько офицеров французской гвардии и молодой мальчик старой аристократической французской фамилии, паж Наполеона. В этот самый день Ростов, пользуясь темнотой, чтобы не быть узнанным, в статском платье, приехал в Тильзит и вошел в квартиру Жилинского и Бориса.

В Ростове, так же как и во всей армии, из которой он приехал, еще далеко не совершился в отношении Наполеона и французов, из врагов сделавшихся друзьями, тот переворот, который произошел в главной квартире и в Борисе. Все еще продолжали в армии испытывать прежнее смешанное чувство злобы, презрения и страха к Бонапарте и французам. Еще недавно Ростов, разговаривая с платовским казачьим офицером, спорил о том, что ежели бы Наполеон был взят в плен, то с ним бы обратились не как с государем, а как с преступником. Еще недавно на дороге, встретившись с французским раненым полковником. Ростов разгорячился, доказывая ему, что не может быть мира между законным государем и преступником Бонапартом. Поэтому Ростова странно поразил в квартире Бориса вид французских офицеров в тех самых мундирах, на которые он привык совсем иначе смотреть из фланкерской цепи. Как только он увидал высунувшегося из двери французского офицера, это чувство войны, враждебности, которое он всегда испытывал при виде неприятеля, вдруг охватило его. Он остановился на пороге и по-русски спросил, тут ли живет Друбецкой. Борис, заслышав чужой голос в передней, вышел к нему навстречу. Лицо его в первую минуту, когда он узнал Ростова, выразило досаду.

— Ах, это ты, очень рад, очень рад тебя видеть, — сказал он однако, улыбаясь и подвигаясь к нему. Но Ростов заметил первое его движение.

— Я не вовремя, кажется, — сказал он, — я бы не приехал, но мне дело есть, — сказал он холодно...

— Нет, я только удивляюсь, как ты из полка приехал. Dans un moment je suis à vous[1], — обратился он на голос, звавший его.

— Я вижу, что я не вовремя, — повторил Ростов.

Выражение досады уже исчезло на лице Бориса; видимо, обдумав и решив, что ему делать, он с особенным спокойствием взял его за обе руки и повел в соседнюю комнату. Глаза Бориса, спокойно и твердо глядевшие на Ростова, были как будто застланы чем-то, как будто какая-то заслонка — синие очки общежития были надеты на них. Так казалось Ростову.

— Ах, полно, пожалуйста, можешь ли ты быть не вовремя, — сказал Борис. Борис ввел его в комнату, где был накрыт ужин, познакомил с гостями, назвав его и

[1] Сейчас я к вашим услугам.

объяснив, что он был не штатский, но гусарский офицер, его старый приятель. — Граф Жилинский, le comte N. N., le capitaine S. S.[1], — называл он гостей. Ростов нахмуренно глядел на французов, неохотно раскланивался и молчал.

Жилинский, видимо, не радостно принял это новое русское лицо в свой кружок и ничего не сказал Ростову. Борис, казалось, не замечал происшедшего стеснения от появления нового лица и с тем же приятным спокойствием и застланностью в глазах, с которыми он встретил Ростова, старался оживить разговор. Один из французов обратился с обыкновенной французской учтивостью к упорно молчавшему Ростову и сказал ему, что, вероятно, для того, чтобы увидать императора, он приехал в Тильзит.

— Нет, у меня есть дело, — коротко отвечал Ростов.

Ростов сделался не в духе тотчас же после того, как он заметил неудовольствие на лице Бориса, и, как это всегда бывает с людьми, которые не в духе, ему казалось, что все неприязненно смотрят на него и что всем он мешает. И действительно, он мешал всем и один оставался вне вновь завязавшегося общего разговора. «И зачем он сидит тут?» — говорили взгляды, которые бросали на него гости. Он встал и подошел к Борису.

— Однако я тебя стесняю, — сказал он ему тихо, — пойдем поговорим о деле, и я уйду.

— Да нет, нисколько, — сказал Борис. — А ежели ты устал, пойдем в мою комнату и ложись отдохни.

— И в самом деле...

Они вошли в маленькую комнатку, где спал Борис. Ростов, не садясь, тотчас же с раздражением — как будто Борис был в чем-нибудь виноват перед ним — начал ему рассказывать дело Денисова, спрашивая, хочет ли и может ли он просить о Денисове через своего генерала у государя и через него передать письмо. Когда они остались вдвоем, Ростов в первый раз убедился, что ему неловко было смотреть в глаза Борису. Борис, заложив ногу на ногу и поглаживая левой рукой тонкие пальцы правой руки, слушал Ростова, как слушает генерал доклад подчиненного, то глядя в сторону, то с тою же застланностию во взгляде, прямо глядя в глаза Ростову. Ростову всякий раз при этом становилось неловко, и он опускал глаза.

— Я слыхал про такого рода дела и знаю, что государь очень строг в этих случаях. Я думаю, надо бы не доводить до его величества. По-моему, лучше бы прямо просить корпусного командира... Но вообще я думаю...

— Так ты ничего не хочешь сделать, так и скажи! — закричал почти Ростов, не глядя в глаза Борису.

Борис улыбнулся.

— Напротив, я сделаю что могу, только я думал...

В это время в двери послышался голос Жилинского, звавший Бориса.

— Ну, иди, иди, — сказал Ростов, и, отказавшись от ужина и оставшись один в маленькой комнатке, он долго ходил в ней взад и вперед и слушал веселый французский говор из соседней комнаты.

[1] Граф Н. Н., капитан С. С.

XX

Ростов приехал в Тильзит в день, менее всего удобный для ходатайства за Денисова. Самому ему нельзя было идти к дежурному генералу, так как он был во фраке и без разрешения начальства приехал в Тильзит, а Борис, ежели бы даже и хотел, не мог сделать этого на другой день после приезда Ростова. В тот день, 27-го июня, были подписаны первые условия мира. Императоры поменялись орденами: Александр получил Почетного легиона, а Наполеон Андрея 1-й степени, и в этот день был назначен обед Преображенскому батальону, который давал ему батальон французской гвардии. Государи должны были присутствовать на этом банкете.

Ростову было так неловко и неприятно с Борисом, что, когда после ужина Борис заглянул к нему, он притворился спящим и на другой день рано утром, стараясь не видеть, ушел из дома. Во фраке и круглой шляпе Николай бродил по городу, разглядывая французов и их мундиры, разглядывая улицы и дома, где жили русский и французский императоры. На площади он видел расставляемые столы и приготовления к обеду, на улицах видел перекинутые драпировки с знаменами русских и французских цветов и огромные вензеля А. и N. В окнах домов были тоже знамена и вензеля.

«Борис не хочет помочь мне, да и я не хочу обращаться к нему. Это дело решенное, — думал Николай, — между нами все кончено, но я не уеду отсюда, не сделав все, что могу, для Денисова и, главное, не передав письма государю. Государю?! Он тут!» — думал Ростов, подходя невольно опять к дому, занимаемому Александром.

У дома этого стояли верховые лошади и съезжалась свита, видимо, приготовляясь к выезду государя.

«Всякую минуту я могу увидеть его, — думал Ростов. — Если бы только я мог прямо передать ему письмо и сказать все... неужели меня бы арестовали за фрак? Не может быть! Он бы понял, на чьей стороне справедливость. Он все понимает, все знает. Кто же может быть справедливее и великодушнее его? Ну, да ежели бы меня и арестовали бы за то, что я здесь, что ж за беда? — думал он, глядя на офицера, входившего в дом, занимаемый государем. — Ведь вот всходят же. Э! все вздор! Пойду и подам сам письмо государю: тем хуже будет для Друбецкого, который довел меня до этого». И вдруг с решительностью, которой он сам не ждал от себя, Ростов, ощупав письмо в кармане, пошел прямо к дому, занимаемому государем.

«Нет, теперь уже не упущу случая, как после Аустерлица, — думал он, ожидая всякую секунду встретить государя и чувствуя прилив крови к сердцу при этой мысли. — Упаду в ноги и буду просить его. Он поднимет, выслушает и еще поблагодарит меня». «Я счастлив, когда могу сделать добро, но исправить несправедливость есть величайшее счастье», — воображал Ростов слова, которые скажет ему государь. И он пошел мимо любопытно смотревших на него на крыльцо занимаемого государем дома.

С крыльца широкая лестница вела прямо наверх; направо видна была затворенная дверь. Внизу под лестницей была дверь в нижний этаж.

— Кого вам? — спросил кто-то.

— Подать письмо, просьбу его величеству, — сказал Николай с дрожанием голоса.

— Просьба — к дежурному, пожалуйте сюда (ему указали на дверь внизу). Только не примут.

Услыхав этот равнодушный голоса, Ростов испугался того, что он делал, мысль встретить всякую минуту государя так соблазнительна и оттого так страшна была для него, что он готов был бежать, но камер-фурьер, встретивший его, отворил ему дверь в дежурную, и Ростов вошел.

Невысокий полный человек, лет тридцати, в белых панталонах, ботфортах и в одной, видно, только что надетой, батистовой рубашке, стоял в этой комнате; камердинер застегивал ему сзади шитые шелком прекрасные новые помочи, которые почему-то заметил Ростов. Человек этот разговаривал с кем-то бывшим в другой комнате.

— Bien faite et la beauté du diable[1], — говорил этот человек и, увидав Ростова, перестал говорить и нахмурился.

— Что вам угодно? Просьба?..

— Qu'est ce que c'est? [2] — спросил кто-то из другой комнаты.

— Encore un pétitionnaire[3], — отвечал человек в помочах.

— Скажите ему, что после. Сейчас выйдет, надо ехать.

— После, после, завтра. Поздно...

Ростов повернулся и хотел выйти, но человек в помочах остановил его.

— От кого? Вы кто?

— От майора Денисова, — отвечал Ростов.

— Вы кто? офицер?

— Поручик, граф Ростов.

— Какая смелость! По команде подайте. А сами идите, идите... — И он стал надевать подаваемый камердинером мундир.

Ростов вышел опять в сени и заметил, что на крыльце стало уже много офицеров и генералов в полной парадной форме, мимо которых ему надо было пройти.

Проклиная свою смелость, замирая от мысли, что всякую минуту он может встретить государя и при нем быть осрамлен и выслан под арест, понимая вполне всю неприличность своего поступка и раскаиваясь в нем, Ростов, опустив глаза, пробирался вон из дома, окруженного толпой блестящей свиты, когда чей-то знакомый голос окликнул его и чья-то рука остановила его.

— Вы, батюшка, что тут делаете во фраке? — спросил его басистый голос.

Это был кавалерийский генерал, в эту кампанию заслуживший особую милость государя, бывший начальник дивизии, в которой служил Ростов.

---

[1] Хорошо сложена и свеженькая

[2] Что это?

[3] Еще проситель

Ростов испуганно начал оправдываться, но, увидав добродушно-шутливое лицо генерала, отойдя к стороне, взволнованным голосом передал ему все дело, прося заступить за известного генералу Денисова. Генерал, выслушав Ростова, серьезно покачал головой.

— Жалко, жалко молодца; давай письмо.

Едва Ростов успел передать письмо и рассказать все дело Денисова, как с лестницы застучали быстрые шаги со шпорами, и генерал, отойдя от него, подвинулся к крыльцу. Господа свиты государя сбежали с лестницы и пошли к лошадям. Берейтор Эне, тот самый, который был в Аустерлице, подвел лошадь государя, и на лестнице послышался легкий скрип шагов, который сейчас узнал Ростов. Забыв опасность быть узнанным, Ростов подвинулся с несколькими любопытными из жителей к самому крыльцу и опять, после двух лет, он увидел те же обожаемые им черты, то же лицо, тот же взгляд, ту же походку, то же соединение величия и кротости... И чувство восторга и любви к государю с прежнею силою воскресло в душе Ростова. Государь в Преображенском мундире, в белых лосинах и высоких ботфортах, со звездой, которую не знал Ростов (это была Légion d'Honneur[1]), вышел на крыльцо, держа шляпу под рукой и надевая перчатку. Он остановился, оглядываясь и все освещая вокруг себя своим взглядом. Кое-кому из генералов он сказал несколько слов. Он узнал тоже бывшего начальника дивизии Ростова, улыбнулся ему и подозвал его к себе.

Вся свита отступила, и Ростов видел, как генерал этот что-то довольно долго говорил государю.

Государь сказал ему несколько слов и сделал шаг, чтобы подойти к лошади. Опять толпа свиты и толпа улицы, в которой был Ростов, придвинулась к государю. Остановившись у лошади и взявшись рукою за седло, государь обратился к кавалерийскому генералу и сказал громко, очевидно, с желанием, чтобы все слышали его.

— Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня, — сказал государь и занес ногу в стремя. Генерал почтительно наклонил голову, государь сел и поехал галопом по улице. Ростов, не помня себя от восторга, с толпою побежал за ним.

XXI

На площади, куда поехал государь, стояли лицом к лицу справа батальон преображенцев, слева батальон французской гвардии в медвежьих шапках.

В то время как государь подъезжал к одному флангу батальонов, сделавших на караул, к противоположному флангу подскакивала другая толпа всадников, и впереди их Ростов узнал Наполеона. Это не мог быть никто другой. Он ехал галопом, в маленькой шляпе, с андреевской лентой через плечо, в раскрытом над белым камзолом синем мундире, на необыкновенно породистой арабской серой лошади, на малиновом, золотом шитом чепраке. Подъехав к Александру, он приподнял

[1] звезда Почетного легиона.

шляпу, и при этом движении кавалерийский глаз Ростова не мог не заметить, что Наполеон дурно и нетвердо сидел на лошади. Батальоны закричали: «Ура» и «Vive l'Empereur!»[1] Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки. На лице Наполеона была неприятно-притворная улыбка. Александр с ласковым выражением что-то говорил ему.

Ростов, не спуская глаз, несмотря на топтание лошадьми французских жандармов, осаживавших толпу, следил за каждым движением императора Александра и Бонапарте. Его, как неожиданность, поразило то, что Александр держал себя как равный с Бонапарте и что Бонапарте совершенно свободно, будто эта близость с государем естественна и привычна ему, как равный обращался с русским царем.

Александр и Наполеон с длинным хвостом свиты подошли к правому флангу Преображенского батальона, прямо на толпу, которая стояла тут. Толпа очутилась неожиданно так близко к императорам, что Ростову, стоявшему в передних рядах ее, стало страшно, как бы его не узнали.

— Sire, je vous demande la permission de donner la Légion d'Honneur au plus brave de vos soldats[2], — сказал резкий, точный голос, договаривающий каждую букву.

Это говорил малый ростом Бонапарте, снизу прямо глядя в глаза Александру. Александр внимательно слушал то, что ему говорили, и, наклонив голову, приятно улыбнулся.

— A celui qui s'est le plus vaillament conduit dans cette dernière guerre[3], — прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог, с возмутительным для Ростова спокойствием и уверенностью оглядывая ряды русских, вытянувшихся перед ним солдат, всё держащих на караул и неподвижно глядящих в лицо своего императора.

— Votre majesté me permettra-t-elle de demander l'avis du colonel[4], — сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю Козловскому, командиру батальона. Бонапарте между тем стал снимать перчатку с белой маленькой руки и, разорвав ее, бросил. Адъютант, сзади торопливо бросившись вперед, поднял ее.

— Кому дать? — не громко, по-русски спросил император Александр у Козловского.

— Кому прикажете, ваше величество.

Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал:

— Да ведь надобно же отвечать ему.

Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова.

«Уж не меня ли?» — подумал Ростов.

— Лазарев! — нахмурившись, прокомандовал полковник; и первый по ранжиру солдат, Лазарев, бойко вышел вперед.

---

[1] «Виват император!»

[2] Государь, я прошу вашего позволения дать орден Почетного легиона храбрейшему из ваших солдат

[3] Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну

[4] Позвольте мне, ваше величество, спросить мнение полковника

— Куда ж ты? Тут стой! — зашептали голоса на Лазарева, не знавшего куда ему идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронт.

Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая что-то один другому, и паж, тот самый, которого вчера видел Ростов у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой рукой и не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее орден на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутился между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя, и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал теперь, он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтоб его, Наполеонова, рука удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип, потому что и русские и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Лазарев мрачно взглянул на маленького человека с белыми руками, который что-то сделал над ним, и, продолжая неподвижно держать на караул, опять прямо стал глядеть в глаза Александру, как будто он спрашивал Александра: все ли еще стоять ему, или не прикажут ли ему пройтись теперь, или, может быть, еще что-нибудь сделать? Но ему ничего не приказывали, и он довольно долго оставался в этом неподвижном состоянии.

Государи сели верхами и уехали. Преображенцы, расстроивая ряды, перемешались с французскими гвардейцами и сели за столы, приготовленные для них.

Лазарев сидел на почетном месте; его обнимали, поздравляли и жали ему руки русские и французские офицеры. Толпы офицеров и народа подходили, чтобы только посмотреть на Лазарева. Гул говора русского, французского и хохота стоял на площади вокруг столов. Два офицера с раскрасневшимися лицами, веселые и счастливые, прошли мимо его.

— Каково, брат, угощенье, — все на серебре, — сказал один. — Лазарева видел?

— Видел.

— Завтра, говорят, преображенцы их угащивать будут.

— Нет, Лазареву-то какое счастье! тысячу двести франков пожизненного пенсиона.

— Вот так шапка, ребята! — кричал преображенец, надевая мохнатую шапку француза.

— Чудо как хорошо, прелесть!

— Ты слышал отзыв? — сказал гвардейский офицер другому. — Третьего дня было Napoléon, France, bravoure[1], вчера Alexandre, Russie, grandeur[2]; один день наш государь дает отзыв, а другой день Наполеон. Завтра государь пошлет Георгия самому храброму из французских гвардейцев. Нельзя же! Должен ответить тем же.

Борис с своим товарищем Жилинским тоже пришел посмотреть на банкет преображенцев. Возвращаясь назад, Борис заметил Ростова, который стоял у угла дома.

— Ростов! здравствуй; мы и не видались, — сказал он ему и не мог удержаться, чтобы не спросить у него, что с ним сделалось: так странно-мрачно и расстроенно было лицо Ростова.

— Ничего, ничего, — отвечал Ростов.

— Ты зайдешь?

— Да, зайду.

Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомненья. То ему вспоминался Денисов с своим изменившимся выражением, с своею покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их.

Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния; надо было поесть что-нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу и офицеров, так же, как и он, приехавших в штатских платьях, что он насилу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор, естественно, зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридланда. Говорили, что, еще бы подержаться, Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил один две бутылки вина. Внутренняя поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, все так же томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданною и потому очень удивившею офицеров.

— И как вы можете судить, что было бы лучше! — закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. — Как вы можете судить о поступках государя, какое мы имеем право рассуждать?! Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя!

[1] Наполеон, Франция, храбрость

[2] Александр, Россия, величие

— Да я ни слова не говорил о государе, — оправдывался офицер, не могший иначе, как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивость.

Но Ростов не слушал его.

— Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты, и больше ничего, — продолжал он. — Велят нам умирать — так умирать. А коли наказывают, так значит — виноват; не нам судить. Угодно государю императору признать Бонапарте императором и заключить с ним союз — значит так надо. А то коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет, — ударяя по столу, кричал Николай весьма некстати, по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей.

— Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все, — заключил он.

— И пить, — сказал один из офицеров, не желавший ссориться.

— Да, и пить, — подхватил Николай. — Эй ты! Еще бутылку! — крикнул он.

Часть третья

I

В 1808-м году император Александр ездил в Эрфурт для нового свидания с императором Наполеоном, и в высшем петербургском обществе много говорили о величии этого торжественного свидания.

В 1809-м году близость двух властелинов мира, как называли Наполеона и Александра, дошла до того, что, когда Наполеон объявил в этом году войну Австрии, то русский корпус выступил за границу для содействия своему прежнему врагу, Бонапарту, против прежнего союзника, австрийского императора, до того, что в высшем свете говорили о возможности брака между Наполеоном и одной из сестер императора Александра. Но, кроме внешних политических соображений, в это время внимание русского общества с особенной живостью обращено было на внутренние преобразования, которые были производимы в это время во всех частях государственного управления.

Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований.

Князь Андрей безвыездно прожил два года в деревне. Все те предприятия по именьям, которые затеял у себя Пьер и не довел ни до какого результата, беспрестанно переходя от одного дела к другому, все эти предприятия, без высказыванья их кому бы то ни было и без заметного труда, были исполнены князем Андреем.

Он имел в высшей степени ту недоставшую Пьеру практическую цепкость, которая без размахов и усилий с его стороны давала движение делу.

Одно именье его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте.

Одну половину своего времени князь Андрей проводил в Лысых Горах с отцом и сыном, который был еще у нянек; другую половину времени в богучаровской обители, как называл отец его деревню. Несмотря на выказанное им Пьеру равнодушие ко всем внешним событиям мира, он усердно следил за ними, получал много книг и, к удивлению своему, замечал, когда к нему или к отцу его приезжали люди свежие из Петербурга, из самого водоворота жизни, что эти люди в знании всего совершающегося во внешней и внутренней политике далеко отстали от него, сидящего безвыездно в деревне.

Кроме занятий по именьям, кроме общих занятий чтением самых разнообразных книг, князь Андрей занимался в это время критическим разбором наших двух последних несчастных кампаний и составлением проекта об изменении наших военных уставов и постановлений.

Весною 1809-го года князь Андрей поехал в рязанские именья своего сына, которого он был опекуном.

Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на первую траву, первые листья березы и первые клубы белых весенних облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. Он ни о чем не думал, а весело и бессмысленно смотрел по сторонам.

Проехали перевоз, на котором он год тому назад говорил с Пьером. Проехали грязную деревню, гумны, зеленя, спуск с оставшимся снегом у моста, подъем по размытой глине, полосы жнивья и зеленеющего кое-где кустарника и въехали в березовый лес по обеим сторонам дороги. В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала, зеленея, первая трава и лиловые цветы. Рассыпанные кое-где по березняку мелкие ели своей грубой вечной зеленью неприятно напоминали о зиме. Лошади зафыркали, въехав в лес, и виднее запотели.

Лакей Петр что-то сказал кучеру, кучер утвердительно ответил. Но, видно, Петру мало было сочувствия кучера: он повернулся на козлах к барину.

— Ваше сиятельство, лёгко как! — сказал он, почтительно улыбаясь.

— Что?

— Лёгко, ваше сиятельство.

«Что он говорит? — подумал князь Андрей. — Да, об весне верно, — подумал он, оглядываясь по сторонам. — И то, зелено все уже... как скоро! И береза, и черемуха, и ольха уж начинает... А дуб и незаметно. Да, вот он, дуб».

На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще, и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, заросшей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несимметрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастие! — как будто говорил этот дуб. — И как не надоест вам все один и тот же глупый бессмысленный обман! Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков. Как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди их.

«Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, — думал князь Андрей, — пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь, — наша жизнь кончена!» Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путешествия он как будто

вновь обдумал всю свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному, заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая.

II

По опекунским делам рязанского именья князю Андрею надо было видеться с уездным предводителем. Предводителем был граф Илья Андреевич Ростов, и князь Андрей в середине мая поехал к нему.

Был уже жаркий период весны. Лес уже весь оделся, была пыль и было так жарко, что, проезжая мимо воды, хотелось купаться.

Князь Андрей, невеселый и озабоченный соображениями о том, что и что ему нужно о делах спросить у предводителя, подъезжал по аллее сада к отрадненскому дому Ростовых. Вправо из-за деревьев он услыхал женский веселый крик и увидал бегущую наперерез его коляски толпу девушек. Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая девушка в желтом ситцевом платье, повязанная белым носовым платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос. Девушка что-то кричала, но, узнав чужого, не взглянув на него, со смехом побежала назад.

Князю Андрею вдруг стало отчего-то больно. День был так хорош, солнце так ярко, кругом все так весело; а эта тоненькая и хорошенькая девушка не знала и не хотела знать про его существование и была довольна и счастлива какой-то своей отдельной — верно, глупой, — но веселой и счастливой жизнью. «Чему она так рада? О чем она думает? Не об уставе военном, не об устройстве рязанских оброчных. О чем она думает? И чем она счастлива?» — невольно с любопытством спрашивал себя князь Андрей.

Граф Илья Андреич в 1809-м году жил в Отрадном все так же, как и прежде, то есть принимая почти всю губернию, с охотами, театрами, обедами и музыкантами. Он, как всякому новому гостю, был раз князю Андрею и почти насильно оставил его ночевать.

В продолжение скучного дня, во время которого князя Андрея занимали старшие хозяева и почетнейшие из гостей, которыми по случаю приближающихся именин был полон дом старого графа, Болконский, несколько раз взглядывая на Наташу, чему-то смеявшуюся, веселившуюся между другой, молодой половиной общества, все спрашивал себя: «О чем она думает? Чему она так рада?»

Вечером, оставшись один на новом месте, он долго не мог заснуть. Он читал, потом потушил свечу и опять зажег ее. В комнате с закрытыми изнутри ставнями было жарко. Он досадовал на этого глупого старика (так он называл Ростова), который задержал его, уверяя, что нужные бумаги в городе, не доставлены еще, досадовал на себя за то, что остался.

Князь Андрей встал и подошел к окну, чтобы отворить его. Как только он открыл ставни, лунный свет, как будто он настороже у окна давно ждал этого, ворвался в комнату. Он отворил окно. Ночь была свежая и неподвижно-светлая. Перед самым

окном был ряд подстриженных дерев, черных с одной и серебристо-освещенных с другой стороны. Под деревами была какая-то сочная, мокрая, кудрявая растительность с серебристыми кое-где листьями и стеблями. Далее за черными деревами была какая-то блестящая росой крыша, правее большое кудрявое дерево с ярко-белым стволом и сучьями, и выше его почти полная луна на светлом, почти беззвездном весеннем небе. Князь Андрей облокотился на окно, и глаза его остановились на этом небе.

Комната князя Андрея была в среднем этаже; в комнатах над ним тоже жили и не спали. Он услыхал сверху женский говор.

— Только еще один раз, — сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей.

— Да когда же ты спать будешь? — отвечал другой голос.

— Я не буду, я не могу спать, что ж мне делать! Ну, последний раз...

Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составлявшую конец чего-то.

— Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать, и конец.

— Ты спи, а я не могу, — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршанье ее платья и даже дыханье. Все затихло и окаменело, как и луна и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия.

— Соня! Соня! — послышался опять первый голос. — Ну, как можно спать! Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня, — сказала она почти со слезами в голосе. — Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало.

Соня неохотно что-то отвечала.

— Нет, ты посмотри, что за луна!.. Ах, какая прелесть! Ты поди сюда. Душенька, голубушка, поди сюда. Ну, видишь? Так бы вот села на корточки, вот так, подхватила бы себя под коленки — туже, как можно туже, натужиться надо, — и полетела бы. Вот так!

— Полно, ты упадешь.

Послышалась борьба и недовольный голос Сони:

— Ведь второй час.

— Ах, ты только все портишь мне. Ну, иди, иди.

Опять все замолкло, но князь Андрей знал, что она все еще сидит тут, он слышал иногда тихое шевеленье, иногда вздохи.

— Ах, Боже мой! Боже мой! что же это такое! — вдруг вскрикнула она. — Спать так спать! — и захлопнула окно.

«И дела нет до моего существования!» — подумал князь Андрей в то время, как он прислушивался к ее говору, почему-то ожидая и боясь, что она скажет что-нибудь про него. «И опять она! И как нарочно!» — думал он. В душе его вдруг поднялась такая неожиданная путаница молодых мыслей и надежд, противоречащих всей его жизни, что он, чувствуя себя не в силах уяснить себе свое состояние, тотчас же заснул.

III

На другой день, простившись только с одним графом, не дождавшись выхода дам, князь Андрей поехал домой.

Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Бубенчики еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад; все было полно, тенисто и густо; и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми молодыми побегами.

Целый день был жаркий, где-то собиралась гроза, но только небольшая тучка брызнула на пыль дороги и на сочные листья. Левая сторона леса была темна, в тени; правая, мокрая, глянцевитая, блестела на солнце, чуть колыхаясь от ветра. Все было в цвету; соловьи трещали и перекатывались то близко, то далеко.

«Да, здесь, в этом лесу, был этот дуб, с которым мы были согласны, — подумал князь Андрей. — Да где он? » — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия — ничего не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что это старик произвел их. «Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему.

«Нет, жизнь не кончена и тридцать один год, — вдруг окончательно бесповоротно решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, надо, чтоб и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улететь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобы не жили они так, как эта девочка, независимо от моей жизни, чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»

Возвратившись из этой поездки, князь Андрей решил осенью ехать в Петербург и придумал разные причины этого решения. Целый ряд разумных, логических доводов, почему ему необходимо ехать в Петербург и даже служить, ежеминутно был готов к его услугам. Он даже теперь не понимал, как мог он когда-нибудь сомневаться в необходимости принять деятельное участие в жизни, точно так же как месяц тому назад он не понимал, как могла бы ему прийти мысль уехать из деревни. Ему казалось ясно, что все его опыты жизни должны были пропасть даром и быть бессмыслицей, ежели бы он не приложил их к делу и не принял опять деятельного участия в жизни. Он даже не понимал того, как на основании таких же бедных разумных доводов прежде очевидно было, что он бы унизился, ежели бы теперь, после своих уроков жизни, опять бы поверил в возможность приносить пользу и в

возможность счастия и любви. Теперь разум подсказывал совсем другое. После этой поездки князь Андрей стал скучать в деревне, прежние занятия не интересовали его, и часто, сидя один в своем кабинете, он вставал, подходил к зеркалу и долго смотрел на свое лицо. Потом он отворачивался и смотрел на портрет покойницы Лизы, которая с взбитыми à la grecque[1] буклями нежно и весело смотрела на него из золотой рамки. Она уже не говорила мужу прежних страшных слов, она просто и весело с любопытством смотрела на него. И князь Андрей, заложив назад руки, долго ходил по комнате, то хмурясь, то улыбаясь, передумывая те неразумные, невыразимые словом, тайные, как преступление, мысли, связанные с Пьером, с славой, с девушкой на окне, с дубом, с женской красотой и любовью, которые изменили всю его жизнь. И в эти-то минуты, когда кто входил к нему, он бывал особенно сух, строг, решителен и в особенности неприятно логичен.

— Mon cher[2], — бывало, скажет, входя в такую минуту, княжна Марья. — Николушке нельзя нынче гулять: очень холодно.

— Ежели бы было тепло, — в такие минуты особенно сухо отвечал князь Андрей своей сестре, — то он бы пошел в одной рубашке, а так как холодно, надо надеть на него теплую одежду, которая для этого и выдумана, вот что следует из того, что холодно, а не то чтоб оставаться дома, когда ребенку нужен воздух, — говорил он с особенной логичностью, как бы наказывая кого-то за всю эту тайную, нелогичную, происходившую в нем внутреннюю работу. Княжна Марья думала в этих случаях о том, как сушит мужчин эта умственная работа.

IV

Князь Андрей приехал в Петербург в августе 1809 года. Это было время апогея славы молодого Сперанского и энергии совершаемых им переворотов. В этом самом августе государь, ехав в коляске, был вывален, повредил себе ногу и оставался в Петергофе три недели, видаясь ежедневно и исключительно со Сперанским. В это время готовились не только два столь знаменитые и встревожившие общество указа об уничтожении придворных чинов и об экзаменах на чины коллежских асессоров и статских советников, но и целая государственная конституция, долженствовавшая изменить существующий судебный, административный и финансовый порядок управления России от государственного совета до волостного правления. Теперь осуществлялись и воплощались те неясные, либеральные мечтания, с которыми вступил на престол император Александр и которые он стремился осуществить с помощью своих помощников: Чарторижского, Новосильцева, Кочубея и Строганова, которых он сам шутя называл comité du salut publique[3].

Теперь всех вместе заменил Сперанский по гражданской части и Аракчеев по военной. Князь Андрей вскоре после приезда своего, как камергер, явился ко двору и на выход. Государь два раза, встретив его, не удостоил его ни одним словом. Князю

[1] по-гречески

[2] Любезный друг

[3] комитетом общественного спасения

Андрею всегда еще прежде казалось, что он антипатичен государю, что государю неприятно его лицо и все существо его. В сухом, отдаляющем взгляде, которым посмотрел на него государь, князь Андрей еще более, чем прежде, нашел подтверждение этому предположению. Придворные объяснили князю Андрею невнимание к нему государя тем, что его величество был недоволен тем, что Болконский не служил с 1805 года.

«Я сам знаю, как мы не властны в своих симпатиях и антипатиях, — думал князь Андрей, — и потому нечего думать о том, чтобы представить лично мою записку о военном уставе государю, но дело будет говорить само за себя». Он передал о своей записке старому фельдмаршалу, другу отца. Фельдмаршал, назначив ему час, ласково принял его и обещался доложить государю. Через несколько дней князю Андрею было объявлено, что он имеет явиться к военному министру, графу Аракчееву.

В девять часов утра, в назначенный день, князь Андрей явился в приемную к графу Аракчееву.

Лично князь Андрей не знал Аракчеева и никогда не видал его, но все, что он знал о нем, мало внушало ему уважения к этому человеку.

«Он — военный министр, доверенное лицо государя императора; никому не должно быть дела до его личных свойств; ему поручено рассмотреть мою записку, — следовательно, он один и может дать ход ей», — думал князь Андрей, дожидаясь в числе многих важных и неважных лиц в приемной графа Аракчеева.

Князь Андрей во время своей, большей частью адъютантской, службы много видел приемных важных лиц, и различные характеры этих приемных были для него очень ясны. У графа Аракчеева был совершенно особенный характер приемной. На неважных лицах, ожидающих очереди аудиенции в приемной графа Аракчеева, написано было чувство пристыженности и покорности; на более чиновных лицах выражалось одно общее чувство неловкости, скрытое под личиной развязности и насмешки над собою, над своим положением и над ожидаемым лицом. Иные задумчиво ходили взад и вперед, иные, шепчась, смеялись, и князь Андрей слышал sobriquet[1] «Силы Андреича» и слова: «дядя задаст», относившиеся к графу Аракчееву. Один генерал (важное лицо), видимо оскорбленный тем, что должен был так долго ждать, сидел, перекладывая ноги и презрительно сам с собой улыбаясь.

Но как только растворялась дверь, на всех лицах выражалось мгновенно только одно — страх. Князь Андрей попросил дежурного другой раз доложить о себе, но на него посмотрели с насмешкой и сказали, что его черед придет в свое время. После нескольких лиц, введенных и выведенных адъютантом из кабинета министра, в страшную дверь был впущен офицер, поразивший князя Андрея своим униженным и испуганным видом. Аудиенция офицера продолжалась долго. Вдруг из-за двери послышались раскаты неприятного голоса, и бледный офицер, с трясущимися губами, вышел оттуда и, схватив себя за голову, прошел через приемную.

[1] прозвище

Вслед за тем князь Андрей был подведен к двери, и дежурный шепотом сказал: «Направо, к окну».

Князь Андрей вошел в небогатый опрятный кабинет и у стола увидал сорокалетнего человека с длинной талией, с длинной, коротко обстриженной головой и толстыми морщинами, с нахмуренными бровями над каре-зелеными тупыми глазами и висячим красным носом, Аракчеев поворотил к нему голову, не глядя на него.

— Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ничего не... прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей. Глаза Аракчеева обратились на него.

— Садитесь, — сказал Аракчеев, — князь Болконский.

— Я ничего не прошу, а государь император изволил переслать к вашему сиятельству поданную мною записку...

— Изволите видеть, мой любезнейший, записку я вашу читал, — перебил Аракчеев, только первые слова сказав ласково, опять не глядя ему в лицо и впадая все более и более в ворчливо-презрительный тон. — Новые законы военные предлагаете? Законов много, исполнять некому старых. Нынче все законы пишут, писать легче, чем делать.

— Я приехал по воле государя императора узнать у вашего сиятельства, какой ход вы полагаете дать поданной записке? — сказал учтиво князь Андрей.

— На записку вашу мной положена резолюция и переслана в комитет. Я не одобряю, — сказал Аракчеев, вставая и доставая с письменного стола бумагу. — Вот, — он подал князю Андрею.

На бумаге, поперек ее, карандашом, без заглавных букв, без орфографии, без знаков препинания, было написано: «неосновательно составлено понеже как подражание списано с французского военного устава и от воинского артикула без нужды отступающего».

— В какой же комитет передана записка? — спросил князь Андрей.

— В комитет о воинском уставе, и мною представлено о зачислении вашего благородия в члены. Только без жалованья.

Князь Андрей улыбнулся.

— Я и не желаю.

— Без жалованья, членом, — повторил Аракчеев. — Имею честь. Эй! зови! Кто еще? — крикнул он, кланяясь князю Андрею.

V

Ожидая уведомления о зачислении его в члены комитета, князь Андрей возобновил старые знакомства, особенно с теми лицами, которые, он знал, были в силе и могли быть нужны ему. Он испытывал теперь в Петербурге чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по

любопытству непосвященных, по сдержанности посвященных, по торопливости, озабоченности всех, по бесчисленному количеству комитетов, комиссий, о существовании которых он вновь узнавал каждый день, что теперь, в 1809-м году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным, лицо — Сперанский. И самое ему смутно известное дело преобразования и Сперанский — главный деятель, начинали так страстно интересовать его, что дело воинского устава очень скоро стало переходить в сознании его на второстепенное место.

Князь Андрей находился в одном из самых выгодных положений для того, чтобы быть хорошо принятым во все самые разнообразные и высшие круги тогдашнего петербургского общества. Партия преобразователей радушно принимала и заманивала его, во-первых, потому, что он имел репутацию ума и большой начитанности, во-вторых, потому, что он своим отпущением крестьян на волю сделал уже себе репутацию либерала. Партия стариков недовольных, прямо как к сыну своего отца, обращалась к нему за сочувствием, осуждая преобразования. Женское общество, свет радушно принимали его, потому что он был жених, богатый и знатный, и почти новое лицо с ореолом романтической истории о его мнимой смерти и трагической кончине жены. Кроме того, общий голос о нем всех, которые знали его прежде, был тот, что он много переменился к лучшему в эти пять лет, смягчился и возмужал, что не было в нем прежнего притворства, гордости и насмешливости и было то спокойствие, которое приобретается годами. О нем заговорили, им интересовались, и все желали его видеть.

На другой день после посещения графа Аракчеева князь Андрей был вечером у графа Кочубея. Он рассказал графу свое свидание с Силой Андреичем (Кочубей так называл Аракчеева с той же неопределенной над чем-то насмешкой, которую заметил князь Андрей в приемной военного министра).

— Mon cher[1], — сказал Кочубей, — даже и в этом деле вы не минуете Михаила Михайловича. C'est le grand faiseur[2]. Я скажу ему. Он обещался приехать вечером...

— Какое же дело Сперанскому до военных уставов? — спросил князь Андрей.

Кочубей, улыбнувшись, покачал головой, как бы удивляясь наивности Болконского.

— Мы с ним говорили про вас на днях, — продолжал Кочубей, — о ваших вольных хлебопашцах...

— Да, это вы, князь, отпустили своих мужиков? — сказал екатерининский старик, презрительно оглянувшись на Болконского.

— Маленькое именье ничего не приносило дохода, — отвечал Болконский, чтобы напрасно не раздражать старика, стараясь смягчить перед ним свой поступок.

— Vous craignez d'être en retard[3], — сказал старик, глядя на Кочубея.

---

[1] Мой милый

[2] Всё делается им

[3] Боитесь опоздать

— Я одного не понимаю, — продолжал старик, — кто будет землю пахать, коли им волю дать? Легко законы писать, а управлять трудно. Все равно как теперь, я вас спрашиваю, граф, кто будет начальником палат, когда всем экзамены держать?

— Те, кто выдержит экзамены, я думаю, — отвечал Кочубей, закидывая ногу на ногу и оглядываясь.

— Вот у меня служит Пряничников, славный человек, золото человек, а ему шестьдесят лет, разве он пойдет на экзамены?..

— Да, это затруднительно, понеже образование весьма мало распространено, но... — Граф Кочубей не договорил, он поднялся и, взяв за руку князя Андрея, пошел навстречу входящему высокому, лысому, белокурому человеку лет сорока, с большим открытым лбом и необычайной, странной белизной продолговатого лица. На вошедшем был синий фрак, крест на шее и звезда на левой стороне груди. Это был Сперанский. Князь Андрей тотчас узнал его, и в душе его что-то дрогнуло, как это бывает в важные минуты жизни. Было ли это уважение, зависть, ожидание — он не знал. Вся фигура Сперанского имела особенный тип, по которому сейчас можно было узнать его. Ни у кого из того общества, в котором жил князь Андрей, он не видал этого спокойствия и самоуверенности неловких и тупых движений, ни у кого он не видал такого твердого и вместе мягкого взгляда полузакрытых и несколько влажных глаз, не видал такой твердости ничего не значащей улыбки, такого тонкого, ровного, тихого голоса и, главное, такой нежной белизны лица и особенно рук, несколько широких, но необыкновенно пухлых, нежных и белых. Такую белизну и нежность лица князь Андрей видал только у солдат, долго пробывших в госпитале. Это был Сперанский, государственный секретарь, докладчик государя и спутник его в Эрфурте, где он не раз виделся и говорил с Наполеоном.

Сперанский не перебегал глазами с одного лица на другое, как это невольно делается при входе в большое общество, и не торопился говорить. Он говорил тихо, с уверенностью, что будут слушать его, и смотрел только на то лицо, с которым говорил.

Князь Андрей особенно внимательно следил за каждым словом и движением Сперанского. Как это бывает с людьми, особенно с теми, которые строго судят своих ближних, князь Андрей, встречаясь с новым лицом, особенно с таким, как Сперанский, которого знал по репутации, всегда ждал найти в нем полное совершенство человеческих достоинств.

Сперанский сказал Кочубею, что жалеет о том, что не мог приехать раньше, потому что его задержали во дворце. Он не сказал, что его задержал государь. И эту аффектацию скромности заметил князь Андрей. Когда Кочубей назвал ему князя Андрея, Сперанский Медленно перевел свои глаза на Болконского с той же улыбкой и молча стал смотреть на него.

— Я очень рад с вами познакомиться, я слышал о вас, как и все, — сказал он.

Кочубей сказал несколько слов о приеме, сделанном Болконскому Аракчеевым. Сперанский больше улыбнулся.

— Директором комиссии военных уставов мой хороший приятель — господин Магницкий, — сказал он, договаривая каждый слог и каждое слово, — и ежели вы того пожелаете, я могу свести вас с ним. (Он помолчал на точке.) Я надеюсь, что вы найдете в нем сочувствие и желание содействовать всему разумному.

Около Сперанского тотчас же составился кружок, и тот старик, который говорил о своем чиновнике, Пряничникове, тоже с вопросом обратился к Сперанскому.

Князь Андрей, не вступая в разговор, наблюдал все движения Сперанского, этого человека, недавно ничтожного семинариста и теперь в руках своих — этих белых, пухлых руках — имевшего судьбу России, как думал Болконский. Князя Андрея поразило необычайное, презрительное спокойствие, с которым Сперанский отвечал старику. Он, казалось, с неизмеримой высоты обращал к нему свое снисходительное слово. Когда старик стал говорить слишком громко, Сперанский улыбнулся и сказал, что он не может судить о выгоде или невыгоде того, что угодно было государю.

Поговорив несколько времени в общем кругу, Сперанский встал и, подойдя к князю Андрею, отозвал его с собой на другой конец комнаты. Видно было, что он считал нужным заняться Болконским.

— Я не успел поговорить с вами, князь, среди того одушевленного разговора, в который был вовлечен этим почтенным старцем, — сказал он, кротко-презрительно улыбаясь и этой улыбкой как бы признавая, что он вместе с князем Андреем понимает ничтожность тех людей, с которыми он только что говорил. Это обращение польстило князю Андрею. — Я вас знаю давно: во-первых, по делу вашему о ваших крестьянах, это наш первый пример, которому так желательно бы было больше последователей; а во-вторых, потому, что вы один из тех камергеров, которые не сочли себя обиженными новым указом о придворных чинах, вызывающих такие толки и пересуды.

— Да, — сказал князь Андрей, — отец не хотел, чтоб я пользовался этим правом; я начал службу с нижних чинов.

— Ваш батюшка, человек старого века, очевидно, стоит выше наших современников, которые так осуждают эту меру, восстанавливающую только естественную справедливость.

— Я думаю, однако, что есть основание и в этих осуждениях, — сказал князь Андрей, стараясь бороться с влиянием Сперанского, которое он начинал чувствовать. Ему неприятно было во всем соглашаться с ним: он хотел противоречить. Князь Андрей, обыкновенно говоривший легко и хорошо, чувствовал теперь затруднение выражаться, говоря с Сперанским. Его слишком занимали наблюдения над личностью знаменитого человека.

— Основание для личного честолюбия может быть, — тихо вставил свое слово Сперанский.

— Отчасти и для государства, — сказал князь Андрей.

— Как вы разумеете?.. — сказал Сперанский, тихо опустив глаза.

— Я почитатель Montesquieu[1], — сказал князь Андрей. — И его мысль о том, что le principe des monarchies est l'honneur, me paraît incontestable. Certains droits et privilèges de la noblesse me paraissent être des moyens de soutenir ce sentiment[2].

Улыбка исчезла на белом лице Сперанского, и физиономия его много выиграла от этого. Вероятно, мысль князя Андрея показалась ему занимательною.

— Si vous envisagez la question sous ce point de vue[3], — начал он, с очевидным затруднением выговаривая по-французски и говоря еще медленнее, чем по-русски, но совершенно спокойно. Он сказал, что честь, l'honneur, не может поддерживаться преимуществами, вредными для хода службы, что честь, l'honneur, есть или отрицательное понятие неделания предосудительных поступков, или известный источник соревнования для получения одобрения и наград, выражающих его.

Доводы его были сжаты, просты и ясны.

— Институт, поддерживающий эту честь, источник соревнования, есть институт, подобный Légion d'Honneur[4] великого императора Наполеона, не вредящий, а содействующий успеху службы, а не сословное или придворное преимущество.

— Я не спорю, но нельзя отрицать, что придворное преимущество достигло той же цели, — сказал князь Андрей, — всякий придворный считает себя обязанным достойно нести свое положение.

— Но вы им не хотели воспользоваться, князь, — сказал Сперанский, улыбкой показывая, что он неловкий для своего собеседника спор желает прекратить любезностью. — Ежели вы мне сделаете честь пожаловать ко мне в среду, — прибавил он, — то я, переговорив с Магницким, сообщу вам то, что может вас интересовать, и, кроме того, буду иметь удовольствие подробнее побеседовать с вами. — Он, закрыв глаза, поклонился, и à la française[5], не прощаясь, стараясь быть незамеченным, вышел из залы.

VI

Первое время своего пребывания в Петербурге князь Андрей почувствовал весь свой склад мыслей, выработавшийся в его уединенной жизни, совершенно затемненным теми мелкими заботами, которые охватили его в Петербурге.

С вечера, возвращаясь домой, он в памятной книжке записывал четыре или пять необходимых визитов или rendez-vous[6] в назначенные часы. Механизм жизни, распоряжение дня такое, чтобы везде поспеть вовремя, отнимали бóльшую долю самой энергии жизни. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать, а только говорил и с успехом говорил то, что он успел прежде обдумать в деревне.

---

[1] Монтескьё (французский философ XVIII века)

[2] основа монархий есть честь, мне кажется несомненной. Некоторые права и привилегии дворянства мне кажутся средствами для поддержания этого чувства

[3] Если вы так смотрите на предмет,

[4] Ордену почетного легиона

[5] на французский манер. — Ред.

[6] свиданий

Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день, в разных обществах, повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал.

Сперанский, как в первое свидание с ним у Кочубея, так и потом в середу дома, где Сперанский с глазу на глаз, приняв Болконского, долго и доверчиво говорил с ним, сделал сильное впечатление на князя Андрея.

Князь Андрей такое огромное количество людей считал презренными и ничтожными существами, так ему хотелось найти в другом живой идеал того совершенства, к которому он стремился, что он легко поверил, что в Сперанском он нашел этот идеал вполне разумного и добродетельного человека. Ежели бы Сперанский был из того же общества, из которого был князь Андрей, того же воспитания и нравственных привычек, то Болконский скоро бы нашел его слабые, человеческие, не геройские стороны, но теперь этот странный для него логический склад ума тем более внушал ему уважения, что он не вполне понимал его. Кроме того, Сперанский, потому ли, что он оценил способности князя Андрея, или потому, что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский кокетничал перед князем Андреем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая состоит в молчаливом признании своего собеседника с собою вместе единственным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных, разумность и глубину своих мыслей.

Во время длинного их разговора в середу вечером Сперанский не раз говорил: «У нас смотрят на все, что выходит из общего уровня закоренелой привычки...» — или с улыбкой: «Но мы хотим, чтоб и волки были сыты и овцы целы...» — или: «Они этого не могут понять...» — и все с таким выражением, которое говорило: «Мы, вы да я, мы понимаем, что они и кто мы».

Этот первый длинный разговор с Сперанским только усилил в князе Андрее то чувство, с которым он в первый раз увидал Сперанского. Он видел в нем разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России. Сперанский, в глазах князя Андрея, был именно тот человек, разумно объясняющий все явления жизни, признающий действительным только то, что разумно, и ко всему умеющий прилагать мерило разумности, которым он сам так хотел быть. Все представлялось так просто, ясно в изложении Сперанского, что князь Андрей невольно соглашался с ним во всем. Ежели он возражал и спорил, то только потому, что хотел нарочно быть самостоятельным и не совсем подчиняться мнениям Сперанского. Все было так, все было хорошо, но одно смущало князя Андрея: это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского, и его белая, нежная рука, на которую невольно смотрел князь Андрей, как смотрят обыкновенно на руки людей, имеющих власть. Зеркальный взгляд и нежная рука эта почему-то раздражали князя Андрея. Неприятно поражало князя Андрея еще слишком большое презрение к людям, которое он замечал в Сперанском, и разнообразность приемов в доказательствах, которые он приводил в подтверждение своего мнения. Он употреблял все возможные орудия мысли, исключая сравнения, и слишком смело,

как казалось князю Андрею, переходил от одного к другому. То он становился на почву практического деятеля и осуждал мечтателей, то на почву сатирика и иронически подсмеивался над противниками, то становился строго логичным, то вдруг поднимался в область метафизики. (Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял.) Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора.

Вообще главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю? И этот-то особенный склад ума Сперанского более всего привлекал к себе князя Андрея.

Первое время своего знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарте. То обстоятельство, что Сперанский был сын священника, которого можно было глупым людям, как это и делали многие, пóшло презирать в качестве кутейника и поповича, заставляло князя Андрея особенно бережно обходиться с своим чувством к Сперанскому и бессознательно усиливать его в самом себе.

В тот первый вечер, который Болконский провел у него, разговорившись о комиссии составления законов, Сперанский с иронией рассказал князю Андрею о том, что комиссия законов существует сто пятьдесят лет, стóит миллионы и ничего не сделала, что Розенкампф наклеил ярлычки на все статьи сравнительного законодательства.

— И вот и все, за что государство заплатило миллионы! — сказал он. — Мы хотим дать новую судебную власть сенату, а у нас нет законов. Поэтому-то таким людям, как вы, князь, грех не служить теперь.

Князь Андрей сказал, что для этого нужно юридическое образование, которого он не имеет.

— Да его никто не имеет, так что же вы хотите? Это circulus viciosus[1], из которого надо выйти усилием.

Через неделю князь Андрей был членом комиссии составления воинского устава и, чего он никак не ожидал, начальником отделения комиссии составления законов. По просьбе Сперанского он взял первую часть составляемого гражданского уложения и, с помощью Code Napoléon и Justiniani[2], работал над составлением отдела: Права лиц.

VII

Года два тому назад, в 1808 году, вернувшись в Петербург из своей поездки по имениям, Пьер невольно стал во главе петербургского масонства. Он устроивал

[1] заколдованный круг (лат.). — Ред.

[2] Гражданский кодекс Наполеона во Франции и из свода законов Юстиниана (древнеримское право)

столовые и надгробные ложи, вербовал новых членов, заботился о соединении различных лож и о приобретении подлинных актов. Он давал свои деньги на устройство храмин и пополнял, насколько мог, сборы милостыни, на которые большинство членов были скупы и неаккуратны. Он почти один на свои средства поддерживал дом бедных, устроенный орденом в Петербурге.

Жизнь его между тем шла по-прежнему, с теми же увлечениями и распущенностью. Он любил хорошо пообедать и выпить и, хотя и считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал.

В чаду своих занятий и увлечений Пьер, однако, по прошествии года начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под его ног, чем тверже он старался стать на ней. Вместе с тем он чувствовал, что чем глубже уходила под его ногами почва, на которой он стоял, тем невольнее он был связан с ней. Когда он приступал к масонству, он испытывал чувство человека, доверчиво становящего ногу на ровную поверхность болота. Поставив ногу, он провалился. Чтобы вполне увериться в твердости почвы, на которой он стоял, он поставил другую ногу и провалился еще больше, завяз и уже невольно ходил по колено в болоте.

Иосифа Алексеевича не было в Петербурге. (Он в последнее время отстранился от дел петербургских лож и безвыездно жил в Москве.) Все братья, члены лож были Пьеру знакомые в жизни люди, и ему трудно было видеть в них только братьев по каменщичеству, а не князя Б., не Ивана Васильевича Д., которых он знал в жизни большею частию как слабых и ничтожных людей. Из-под масонских фартуков и знаков он видел на них мундиры и кресты, которых они добивались в жизни. Часто, собирая милостыню и сочтя двадцать — тридцать рублей, записанных на приход и большею частью в долг, с десяти членов, из которых половина были так же богаты, как и он, Пьер вспоминал масонскую клятву о том, что каждый брат обещается отдать все свое имущество для ближнего, и в душе его поднимались сомнения, на которых он старался не останавливаться.

Всех братьев, которых он знал, он подразделял на четыре разряда. К первому разряду он причислял братьев, не принимающих деятельного участия ни в делах лож, ни в делах человеческих, но занятых исключительно таинствами науки ордена, занятых вопросами о тройственном наименовании Бога, или о трех началах вещей — сере, меркурии и соли, или о значении квадрата и всех фигур храма Соломона. Пьер уважал этот разряд братьев-масонов, к которому принадлежали преимущественно старые братья и сам Иосиф Алексеевич, по мнению Пьера, но не разделял их интересов. Сердце его не лежало к мистической стороне масонства.

Ко второму разряду Пьер причислял себя и себе подобных братьев, ищущих, колеблющихся, не нашедших еще в масонстве прямого и понятного пути, но надеющихся найти его.

К третьему разряду он причислял братьев (их было самое большое число), не видящих в масонстве ничего, кроме внешней формы и обрядности, и дорожащих

строгим исполнением этой внешней формы, не заботясь о ее содержании и значении. Таковы были Вилларский и даже великий мастер главной ложи.

К четвертому разряду, наконец, причислялось тоже большое количество братьев, в особенности в последнее время вступивших в братство. Это были люди, по наблюдению Пьера, ни во что не верующие, ничего не желающие и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми, богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе.

Пьер начинал чувствовать себя неудовлетворенным своей деятельностью. Масонство, по крайней мере то масонство, которое он знал здесь, казалось ему иногда, основано было на одной внешности. Он и не думал сомневаться в самом масонстве, но подозревал, что русское масонство пошло по ложному пути и отклонилось от своего источника. И потому в конце года Пьер поехал за границу для посвящения себя в высшие тайны ордена.

Летом еще в 1809 году Пьер вернулся в Петербург. По переписке наших масонов с заграничными было известно, что Безухов успел за границей получить доверие многих высокопоставленных лиц, проник многие тайны, был возведен в высшую степень и везет с собою многое для общего блага камеищицкого дела в России. Петербургские масоны все приехали к нему, заискивали в нем, и всем показалось, что он что-то скрывает и готовит.

Назначено было торжественное заседание ложи 2-го градуса, в которой Пьер обещал сообщить то, что он имеет передать петербургским братьям от высших руководителей ордена. Заседание было полно. После обыкновенных обрядов Пьер встал и начал свою речь.

— Любезные братья, — начал он, краснея и запинаясь и держа в руке написанную речь. — Недостаточно блюсти в тиши ложи наши таинства — нужно действовать... действовать. Мы находимся в усыплении, а нам нужно действовать. — Пьер взял свою тетрадь и начал читать. — «Для распространения чистой истины и доставления торжества добродетели, — читал он, — должны мы очистить людей от предрассудков, распространить правила, сообразные с духом времени, принять на себя воспитание юношества, соединиться неразрывными узами с умнейшими людьми, смело и вместе благоразумно преодолевать суеверие, неверие и глупость, образовать из преданных нам людей, связанных между собою единством цели и имеющих власть и силу.

Для достижения сей цели должно доставить добродетели перевес над пороком, должно стараться, чтобы честный человек обретал еще в сем мире вечную награду за свои добродетели. Но в сих великих намерениях препятствуют нам весьма много нынешние политические учреждения. Что же делать при таком положении вещей? Благоприятствовать ли революциям, все ниспровергнуть, изгнать силу силой?.. Нет, мы весьма далеки от того. Всякая насильственная реформа достойна порицания потому, что нимало не исправит зла, пока люди остаются таковы, каковы они есть, и потому, что мудрость не имеет нужды в насилии.

Весь план ордена должен быть основан на том, чтоб образовать людей твердых, добродетельных и связанных единством убеждения, убеждения, состоящего в том, чтобы везде и всеми силами преследовать порок и глупость и покровительствовать таланты и добродетель: извлекать из праха людей достойных, присоединяя их к нашему братству. Тогда только орден наш будет иметь власть — нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка и управлять ими так, чтоб они того не примечали. Одним словом, надобно учредить всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом, не разрушая гражданских уз, и при коем все прочие правления могли бы продолжаться обыкновенным своим порядком и делать все, кроме того только, что препятствует великой цели нашего ордена, то есть доставлению добродетели торжества над пороком. Сию цель предполагало само христианство. Оно учило людей быть мудрыми и добрыми и для собственной своей выгоды следовать примеру и наставлениям лучших и мудрейших человеков.

Тогда, когда все погружено было во мраке, достаточно было, конечно, одного проповедания: новость истины придавала ей особенную силу, но ныне потребны для нас гораздо сильнейшие средства. Теперь нужно, чтобы человек, управляемый своими чувствами, находил в добродетели чувственные прелести. Нельзя искоренить страстей; должно только стараться направить их к благородной цели, и потому надобно, чтобы каждый мог удовлетворить своим страстям в пределах добродетели и чтобы наш орден доставлял к тому средства.

Как скоро будет у нас некоторое число достойных людей в каждом государстве, каждый из них образует опять двух других, и все они тесно между собой соединятся, — тогда все будет возможно для ордена, который втайне успел уже сделать многое ко благу человечества».

Речь эта произвела не только сильное впечатление, но и волнение в ложе. Большинство же братьев, видевшее в этой речи опасные замыслы иллюминатства, с удивившею Пьера холодностью приняло его речь. Великий мастер стал возражать Пьеру. Пьер с большим и большим жаром стал развивать свои мысли. Давно не было столь бурного заседания. Составились партии: одни обвиняли Пьера, осуждая его в иллюминатстве; другие поддерживали его. Пьера в первый раз поразило на этом собрании то бесконечное разнообразие умов человеческих, которое делает то, что никакая истина одинаково не представляется двум людям. Даже те из членов, которые, казалось, были на его стороне, понимали его по-своему, с ограничениями, изменениями, на которые он не мог согласиться, так как главная потребность Пьера состояла именно в том, чтобы передать свою мысль другому точно так, как он сам понимал ее.

По окончании заседания великий мастер с недоброжелательством и иронией сделал Безухову замечание о его горячности и о том, что не одна любовь к добродетели, но и увлечение борьбы руководило им в споре, Пьер не отвечал ему и коротко спросил, будет ли принято его предложение. Ему сказали, что нет, и Пьер, не дожидаясь обычных формальностей, вышел из ложи и уехал домой.

VIII

На Пьера опять нашла та тоска, которой он так боялся. Он три дня после произнесения своей речи в ложе лежал дома на диване, никого не принимая и никуда не выезжая.

В это время он получил письмо от жены, которая умоляла его о свидании, писала о своей грусти по нем и о желании посвятить ему всю свою жизнь.

В конце письма она извещала его, что на днях приедет в Петербург из-за границы.

Вслед за письмом в уединение Пьера ворвался один из менее других уважаемых им братьев-масонов и, наведя разговор на супружеские отношения Пьера, в виде братского совета, высказал ему мысль о том, что строгость его к жене несправедлива и что Пьер отступает от первых правил масона, не прощая кающуюся.

В это же время теща его, жена князя Василья, присылала за ним, умоляя его хоть на несколько минут посетить ее для переговоров о весьма важном деле. Пьер видел, что был заговор против него, что его хотели соединить с женою, и это было даже не неприятно ему в том состоянии, в котором он находился. Ему было все равно: Пьер ничего в жизни не считал делом большой важности, и под влиянием тоски, которая теперь овладела им, он не дорожил ни своею свободою, ни своим упорством в наказании жены.

«Никто не прав, никто не виноват, стало быть, и она не виновата», — думал он. — Ежели Пьер не изъявил тотчас же согласия на соединение с женою, то только потому, что в состоянии тоски, в котором он находился, он не был в силах ничего предпринять. Ежели бы жена приехала к нему, он бы теперь не прогнал ее. Разве не все равно было в сравнении с тем, что занимало Пьера, жить или не жить с женою?

Не отвечая ничего ни жене, ни теще, Пьер раз поздним вечером собрался в дорогу и уехал в Москву, чтобы повидаться с Иосифом Алексеевичем. Вот что писал Пьер в дневнике своем.

«*Москва, 17-го ноября*.

Сейчас только приехал от благодетеля и спешу записать все, что я испытал при этом. Иосиф Алексеевич живет бедно и страдает третий год мучительною болезнью пузыря. Никто никогда не слыхал от него стона или слова ропота. С утра и до поздней ночи, за исключением часов, когда он кушает самую простую пищу, он работает над наукой. Он принял меня милостиво и посадил подле себя на кровати, на которой он лежал; я сделал ему знак рыцарей Востока и Иерусалима, он ответил мне тем же и с кроткой улыбкой спросил меня о том, что я узнал и приобрел в прусских и шотландских ложах. Я рассказал ему все, как умел, передал те основания, которые я предлагал в нашей Петербургской ложе, и сообщил о дурном приеме, сделанном мне, и о разрыве, происшедшем между мною и братьями. Иосиф Алексеевич, изрядно помолчав и подумав, на все это изложил мне свой взгляд, который мгновенно осветил мне все прошедшее и весь будущий путь, предлежащий мне. Он удивил меня, спросив о том, помню ли я, в чем состоит троякая цель ордена:

1) в хранении и познании таинства; 2) в очищении и исправлении себя для восприятия оного и 3) в исправлении рода человеческого чрез стремление к таковому очищению. Какая есть главнейшая и первая цель из этих трех? Конечно, собственное исправление и очищение. Только к этой цели мы можем всегда стремиться независимо от всех обстоятельств. Но вместе с тем эта-то цель и требует от нас наиболее трудов, и потому, заблуждаясь гордостью, мы, упуская эту цель, беремся либо за таинство, которое недостойны воспринять по нечистоте своей, либо беремся за исправление рода человеческого, когда сами из себя являем пример мерзости и разврата. Иллюминатство не есть чистое учение именно потому, что оно увлеклось общественной деятельностью и преисполнено гордости. На этом основании Иосиф Алексеевич осудил мою речь и всю мою деятельность. Я согласился с ним в глубине души своей. По случаю разговора нашего о моих семейных делах он сказал мне: „Главная обязанность истинного масона, как я сказал вам, состоит в совершенствовании самого себя. Но часто мы думаем, что, удалив от себя все трудности нашей жизни, мы скорее достигнем этой цели; напротив, государь мой, сказал он мне, только в среде светских волнений можем мы достигнуть трех главных целей: 1) самопознания, ибо человек может познавать себя только через сравнение, 2) совершенствования, только борьбой достигается оно, и 3) достигнуть главной добродетели — любви к смерти. Только превратности жизни могут показать нам тщету ее и могут содействовать нашей врожденной любви к смерти, или возрождению к новой жизни“. Слова эти тем более замечательны, что Иосиф Алексеевич, несмотря на свои тяжкие физические страдания, никогда не тяготится жизнию, а любит смерть, к которой он, несмотря на всю чистоту и высоту своего внутреннего человека, не чувствует себя еще достаточно готовым. Потом благодетель объяснил мне вполне значение великого квадрата мироздания и указал на то, что тройственное и седьмое число суть основание всего. Он советовал мне не отстраняться от общения с петербургскими братьями и, занимая в ложе только должности 2-го градуса, стараться, отвлекая братьев от увлечений гордости, обращать их на истинный путь самопознания и совершенствования. Кроме того, для себя лично советовал мне первее всего следить за самим собою, и с этою целью дал мне тетрадь, ту самую, в которой я пищу и буду вписывать впредь все свои поступки».

«*Петербург, 23-го ноября*.

Я опять живу с женою. Теща моя в слезах приехала ко мне и сказала, что Элен здесь и что она умоляет меня выслушать ее, что она невинна, что она несчастна моим оставлением и многое другое. Я знал, что ежели я только допущу себя увидать ее, то не в силах буду более отказать ей в ее желании. В сомнении своем я не знал, к чьей помощи и совету прибегнуть. Ежели бы благодетель был здесь, он бы сказал мне. Я удалился к себе, перечел письма Иосифа Алексеевича, вспомнил свои беседы с ним и из всего вывел то, что я не должен отказывать просящему и должен подать руку помощи всякому, тем более человеку, столь связанному со мною, и должен нести крест свой. Но ежели я для добродетели простил ее, то пускай и будет мое

соединение с нею иметь одну духовную цель. Так я решил и так написал Иосифу Алексеевичу. Я сказал жене, что прошу ее забыть все старое, прошу простить мне то, в чем я мог быть виноват перед нею, а что мне прощать ей нечего. Мне радостно было сказать ей это. Пусть она не знает, как тяжело мне было вновь увидать ее. Устроился в большом доме в верхних покоях и испытываю счастливое чувство обновления».

IX

Как и всегда, и тогда высшее общество, соединяясь вместе при дворе и на больших балах, подразделялось на несколько кружков, имеющих каждый свой оттенок. В числе их самый обширный был кружок французский, Наполеоновского союза — графа Румянцева и Caulaincourt'a[1]. В этом кружке одно из самых видных мест заняла Элен, как только она с мужем поселилась в Петербурге. У ней бывали господа французского посольства и большое количество людей, известных своим умом и любезностью, принадлежавших к этому направлению.

Элен была в Эрфурте во время знаменитого свидания императоров и оттуда привезла эти связи со всеми наполеоновскими достопримечательностями Европы. В Эрфурте она имела блестящий успех. Сам Наполеон, заметив ее в театре, спросил, кто она, и оценил ее красоту. Успех ее в качестве красивой и элегантной женщины не удивлял Пьера, потому что с годами она сделалась еще красивее, чем прежде. Но удивляло его то, что за эти два года жена его успела приобрести себе репутацию «d'une femme charmante aussi spirituelle, que belle»[2]. Известный prince de Ligne[3] писал ей письма на восьми страницах. Билибин приберегал свои mots[4], чтобы в первый раз сказать их при графине Безуховой. Быть принятым в салоне графини Безуховой считалось дипломом ума; молодые люди прочитывали книги перед вечером Элен, чтобы было о чем говорить в ее салоне, и секретари посольства, и даже посланники, поверяли ей дипломатические тайны, так что Элен была сила в некотором роде. Пьер, который знал, что она была очень глупа, с странным чувством недоуменья и страха иногда присутствовал на ее вечерах и обедах, где говорилось о политике, поэзии и философии. На этих вечерах он испытывал чувство, подобное тому, которое должен испытывать фокусник, ожидая всякий раз, что вот-вот обман его откроется. Но оттого ли, что для ведения такого салона именно нужна только глупость, или потому, что сами обманываемые находили удовольствие в самом обмане, обман не открывался, и репутация d'une femme charmante et spirituelle[5] так непоколебимо утвердилась за Еленой Васильевной Безуховой, что она могла говорить самые большие пошлости и глупости и все-таки все восхищались каждым ее словом и отыскивали в нем глубокий смысл, которого она сама и не подозревала.

---

[1] Речь идет о кружках, объединявших людей по политическим и культурным интересам. Самым крупным был французский кружок, связанный с Наполеоновским союзом, в который входили российский государственный деятель граф Румянцев и французский дипломат Колюкур, приближённый к Наполеону

[2] прелестной женщины, столь же умной, сколько и прекрасной

[3] князь де-Линь

[4] остроты — Ред.

[5] женщины прелестной и умной

Пьер был именно тем самым мужем, который нужен был для этой блестящей светской женщины. Он был тот рассеянный чудак, муж grand seigneur[1], никому не мешающий и не только не портящий общего впечатления высокого тона гостиной, но своей противоположностью изяществу и такту жены служащий выгодным для нее фоном.

Пьер за эти два года, вследствие своего постоянного сосредоточенного занятия невещественными интересами и искреннего презрения ко всему остальному, усвоил себе в не интересовавшем его обществе жены тот тон равнодушия, небрежности и благосклонности ко всем, который не приобретается искусственно и который потому-то и внушает невольное уважение. Он входил в гостиную своей жены, как в театр, со всеми был знаком, всем был одинаково рад и ко всем был одинаково равнодушен. Иногда он вступал в разговор, интересовавший его, и тогда, без соображений о том, были ли тут или нет les messieurs de l'ambassade[2] , шамкая говорил свои мнения, которые иногда были совершенно не в тоне настоящей минуты. Но мнение о чудаке муже de la femme la plus distinguée de Pétersbourg[3] уже так установилось, что никто не принимал au sérieux[4] его выходок.

В числе многих молодых людей, ежедневно бывавших в доме Элен, Борис Друбецкой, уже весьма успевший в службе, был, после возвращения Элен из Эрфурта, самым близким человеком в доме Безуховых. Элен называла его mon page[5] и обращалась с ним, как с ребенком. Улыбка ее в отношении его была та же, как и ко всем, но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку. Борис обращался с Пьером с особенной, достойной и грустной почтительностию. Этот оттенок почтительности тоже беспокоил Пьера. Пьер так больно страдал три года тому назад от оскорбления, нанесенного ему женой, что теперь он спасал себя от возможности подобного оскорбления, во-первых, тем, что он не был мужем своей жены, во-вторых, тем, что он не позволял себе подозревать.

«Нет, теперь, сделавшись bas bleu[6], она навсегда отказалась от прежних увлечений, — говорил он сам себе. — Не было примера, чтобы bas bleu имели сердечные увлечения», — повторял он сам себе неизвестно откуда извлеченное правило, которому несомненно верил. Но, странное дело, присутствие Бориса в гостиной жены (а он был почти постоянно) физически действовало на Пьера: оно связывало все его члены, уничтожало бессознательность и свободу его движений.

«Такая странная антипатия, — думал Пьер, — а прежде он мне даже очень нравился».

В глазах света Пьер был большой барин, несколько слепой и смешной муж знаменитой жены, умный чудак, ничего не делающий, но и никому не вредящий, славный и добрый малый. В душе же Пьера происходила за все это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое и приведшая его ко многим духовным сомнениям и радостям.

---

[1] большой барин
[2] служащие при посольстве
[3] самой замечательной женщины Петербурга
[4] всерьез
[5] мой паж
[6] синим чулком

X

Он продолжал свой дневник, и вот что он писал в нем за это время:

«*24-го ноября*.

Встал в восемь часов, читал св. Писание, потом пошел к должности (Пьер по совету благодетеля поступил на службу в один из комитетов), возвратился к обеду, обедал один (у графини много гостей, мне неприятных), ел и пил умеренно и после обеда списывал пиесы для братьев. Ввечеру сошел к графине и рассказал смешную историю о Б. и только тогда вспомнил, что этого не должно было делать, когда все уже громко смеялись.

Ложусь спать с счастливым и спокойным духом. Господи великий, помоги мне ходить по стезям твоим: 1) побеждать часть гневну — тихостью, медлением, 2) похоть — воздержанием и отвращением, 3) удаляться от суеты, но не отучать себя от: a) государственных дел службы, b) от забот семейных, c) от дружеских сношений и d) экономических занятий».

«*27-го ноября*.

Встал поздно и, проснувшись, долго лежал на постели, предаваясь лени. Боже мой, помоги мне и укрепи меня, дабы я мог ходить по путям твоим. Читал св. Писание, но без надлежащего чувства. Пришел брат Урусов, беседовали о суетах мира. Рассказывал о новых предначертаниях государя. Я начал было рассуждать, но вспомнил о своих правилах и слова благодетеля нашего о том, что истинный масон должен быть усердным деятелем в государстве, когда требуется его участие, и спокойным созерцателем того, к чему он не призван. Язык мой — враг мой. Посетили меня братья Г. В. и О., была приуготовительная беседа для принятия нового брата. Они возлагают на меня обязанность ритора. Чувствую себя слабым и недостойным. Потом зашла речь об объяснении семи столбов и ступеней храма: 7 наук, 7 добродетелей, 7 пороков, 7 даров Святого Духа. Брат О. был очень красноречив. Вечером совершилось принятие. Новое устройство помещения много содействовало великолепию зрелища. Принят был Борис Друбецкой. Я предлагал его, я и был ритором. Странное чувство волновало меня во все время моего пребывания с ним в темной храмине. Я застал в себе к нему чувство ненависти, которое я тщетно стремлюсь преодолеть. И потому-то я желал бы истинно спасти его от злого и ввести его на путь истины, но дурные мысли о нем не оставляли меня. Мне думалось, что его цель вступления в братство состояла только в желании сблизиться с людьми, быть в фаворе у находящихся в нашей ложе. Кроме тех оснований, что он несколько раз спрашивал, не находится ли в нашей ложе N. и S. (на что я не мог ему отвечать), кроме того, он, по моим наблюдениям, не способен чувствовать уважения к нашему святому ордену и слишком занят и доволен своим внешним человеком, чтобы желать улучшения духовного, я не имел оснований сомневаться в нем; но он мне казался неискренним, и все время, когда я стоял с ним с глазу на глаз в темной храмине, мне казалось, что он презрительно улыбается на мои слова, и хотелось действительно уколоть его обнаженную грудь шпагой, которую я держал приставленною к ней. Я не мог быть красноречив и не мог искренно сообщить своего сомнения братьям и

великому мастеру. Великий Архитектон природы, помоги мне находить истинные пути, выводящие из лабиринта лжи».

После этого в дневнике было пропущено три листа, и потом было написано следующее:

«Имел продолжительный поучительный разговор наедине с братом В., который советовал мне держаться брата А. Многое, хотя и недостойному, мне было открыто. Адонаи есть имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего всем. Третье имя, имя неизрекаемое, имеющее значение Всего. Беседы с братом В. подкрепляют, освежают и утверждают меня на пути добродетели. При нем нет места сомнению. Мне ясно различие бедного учения наук общественных с нашим святым, все обнимающим учением. Науки человеческие все подразделяют — чтобы понять, все убивают — чтобы рассмотреть. В святой науке ордена все едино, все познается в своей совокупности и жизни. Троица — три начала вещей — сера, меркурий и соль. Сера елейного и огненного свойства; она в соединении с солью огненностью своей возбуждает в ней алкание, посредством которого притягивает меркурий, схватывает его, удерживает и совокупно производит отдельные тела. Меркурий есть жидкая и летучая духовная сущность — Христос, Дух Святой, он».

«*3-го декабря*.

Проснулся поздно, читал св. Писание, но был бесчувствен. После вышел и ходил по зале. Хотел размышлять, но вместо того воображение представило одно происшествие, бывшее четыре года тому назад. Господин Долохов, после моей дуэли встретясь со мной в Москве, сказал мне, что он надеется, что я пользуюсь теперь полным душевным спокойствием, несмотря на отсутствие моей супруги. Я тогда ничего не отвечал. Теперь же я припоминал все подробности этого свидания и в душе своей говорил ему самые злобные слова и колкие ответы. Опомнился и бросил сию мысль только тогда, когда увидел себя в распалении гнева; но недостаточно раскаялся в этом. После пришел Борис Друбецкой и стал рассказывать разные приключения; я же с самого его прихода сделался недоволен его посещением и сказал ему что-то противное. Он возразил. Я вспыхнул и наговорил ему множество неприятного и даже грубого. Он замолчал, а я спохватился только тогда, когда было уже поздно. Боже мой, я совсем не умею с ним обходиться! Этому причиной мое самолюбие. Я ставлю себя выше его и потому делаюсь гораздо его хуже, ибо он снисходителен к моим грубостям, а я, напротив того, питаю к нему презрение. Боже мой, даруй мне в присутствии его видеть больше мою мерзость и поступать так, чтобы и ему это было полезно. После обеда заснул и, в то время как засыпал, услыхал явственно голос, сказавший мне в левое ухо: „Твой день“.

Я видел во сне, что иду я в темноте и вдруг окружен собаками, но иду без страха; вдруг одна небольшая схватила меня за левое стегно зубами и не выпускает. Я стал давить ее руками. И только что я оторвал ее, как другая, еще бóльшая, схватила меня за грудь. Я оторвал эту, но третья, еще бóльшая, стала грызть меня. Я стал поднимать ее, и чем больше поднимал, тем она становилась больше и тяжелее. И вдруг идет брат А. и, взяв меня под руку, повел с собою и привел к зданию, для входа

в которое надо было пройти по узкой доске. Я ступил на нее, и доска отогнулась и упала, и я стал лезть на забор, до которого едва достигал руками. После больших усилий я перетащил свое тело так, что ноги висели на одной, а туловище на другой стороне. Я оглянулся и увидал, что брат А. стоит на заборе и указывает мне на большую аллею и сад, и в саду большое и прекрасное здание. Я проснулся. Господи, Великий Архитектон природы! помоги мне оторвать от себя собак — страстей моих и последнюю из них совокупляющую в себе силы всех прежних, и помоги мне вступить в тот храм добродетели, коего лицезрения я во сне достигнул».

«*7-го декабря*.

Видел сон, будто Иосиф Алексеич в моем доме сидит, и я рад очень и желаю его угостить. Будто я с посторонними неумолчно болтаю и вдруг вспомнил, что это ему не может нравиться, и желаю к нему приблизиться и его обнять. Но только что приблизился, вижу, что лицо его преобразилось, стало молодое, и он мне тихо, тихо что-то говорит из ученья ордена, так тихо, что я не могу расслышать. Потом будто вышли мы все из комнаты, и что-то тут случилось мудреное. Мы сидели или лежали на полу. Он мне что-то говорил. А мне будто захотелось показать ему свою чувствительность, и я, не вслушиваясь в его речи, стал себе воображать состояние своего внутреннего человека и осенившую меня милость Божию. И появились у меня слезы на глазах, и я был доволен, что он это приметил. Но он взглянул на меня с досадой и вскочил, пресекши свой разговор. Я оробел и спросил, не ко мне ли сказанное относилось; но он ничего не отвечал, показал мне ласковый вид, и после вдруг очутились мы в спальне моей, где стоит двойная кровать. Он лег на нее на край, и я, будто пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут же. И он будто у меня спрашивает: „Скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Узнали ли вы его? Я думаю, что вы уже его узнали“. Я, смутившись сим вопросом, отвечал, что лень мое главное пристрастие. Он недоверчиво покачал головой. И я, еще более смутившись, отвечал, что я хотя и живу с женою, по его совету, но не как муж жены своей. На это он возразил, что не должно жену лишать своей ласки, дал чувствовать, что в этом была моя обязанность. Но я отвечал, что я стыжусь этого; и вдруг все сокрылось. И я проснулся и нашел в мыслях своих текст св. Писания: Живот бе свет человеком, а свет во тьме светит и тьма его не объят. Лицо у Иосифа Алексеевича было моложавое и светлое. В этот день получил письмо от благодетеля, в котором он пишет об обязанности супружества».

«*9-го декабря*.

Видел сон, от которого проснулся с трепещущим сердцем. Видел, будто я в Москве, в своем доме, в большой диванной, и из гостиной выходит Иосиф Алексеевич. Будто я тотчас узнал, что с ним уже совершился процесс возрождения, и бросился ему навстречу. Я будто его целую и руки его, а он говорит: „Приметил ли ты, что у меня теперь лицо другое?“ Я посмотрел на него, продолжая держать его в своих

объятиях, и будто вижу, что лицо его молодое, но волос на голове нет и черты совершенно другие. И будто я ему говорю: „Я бы вас узнал, ежели бы случайно с вами встретился“, — и думаю вместе с тем: „Правду ли я сказал?“ И вдруг вижу, что он лежит как труп мертвый; потом понемногу пришел в себя и вошел со мной в большой кабинет, держа большую книгу, писанную в александрийский лист. И будто я говорю: „Это я написал“. И он ответил мне наклонением головы. Я открыл книгу, и в книге этой на всех страницах прекрасно нарисовано. И я будто знаю, что эти картины представляют любовные похождения души с ее возлюбленным. И на страницах будто я вижу прекрасное изображение девицы в прозрачной одежде и с прозрачным телом, возлетающей к облакам. И будто я знаю, что эта девица есть не что иное, как изображение Песни Песней. И будто я, глядя на эти рисунки, чувствую, что я делаю дурно, и не могу оторваться от них. Господи, помоги мне! Боже мой, если это оставление меня тобою есть действие твое, то да будет воля твоя; но ежели же я сам причинил сие, то научи меня, что мне делать. Я погибну от своей развратности, буде ты меня вовсе оставишь».

XI

Денежные дела Ростовых не поправились в продолжение двух лет, которые они пробыли в деревне.

Несмотря на то, что Николай Ростов, твердо держась своего намерения, продолжал также служить в глухом полку, расходуя сравнительно мало денег, ход жизни в Отрадном был таков, и в особенности Митенька так вел дела, что долги неудержимо росли с каждым годом. Единственная помощь, которая, очевидно, представлялась старому графу, это была служба, и он приехал в Петербург искать места, искать места и вместе с тем, как он говорил, последний раз потешить девчат.

Вскоре после приезда Ростовых в Петербург Берг сделал предложение Вере, и предложение его было принято.

Несмотря на то, что в Москве Ростовы принадлежали к высшему обществу, сами того не зная и не думая о том, к какому они принадлежали обществу, в Петербурге общество их было смешанное и неопределенное. В Петербурге они были провинциалы, до которых не спускались те самые люди, которых, не спрашивая их, к какому они принадлежат обществу, в Москве кормили Ростовы.

Ростовы в Петербурге жили так же гостеприимно, как и в Москве, и на их ужинах сходились самые разнообразные лица: сосед по Отрадному, старый небогатый помещик с дочерьми и фрейлина Перонская, Пьер Безухов и сын уездного почтмейстера, служивший в Петербурге. Из мужчин домашними людьми в доме Ростовых в Петербурге очень скоро сделались Борис, Пьер, которого, встретив на улице, затащил к себе старый граф, и Берг, который целые дни проводил у Ростовых и оказывал старшей графине Вере такое внимание, которое может оказывать молодой человек, намеревающийся сделать предложение.

Берг недаром показывал всем свою раненую в Аустерлицком сражении руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такою

значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка, — и Берг получил за Аустерлиц две награды.

В Финляндской войне ему удалось также отличиться. Он поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок. Так же как и после Аустерлица, он так долго и упорно рассказывал всем про это событие, что все поверили тоже, что надо было это сделать, — и за Финляндскую войну Берг получил две награды. В 1809-м году он был капитаном гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места.

Хотя некоторые вольнодумцы и улыбались, когда им говорили про достоинства Берга, нельзя было не признать, что Берг был исправный, храбрый офицер, на отличном счету у начальства, и скромный нравственный молодой человек с блестящей карьерой впереди и даже прочным положением в обществе.

Четыре года тому назад, встретившись в партере московского театра с товарищем, немцем, Берг указал ему на Веру Ростову и по-немецки сказал «Das soll mein Weib werden»[1], — и с той минуты решил жениться на ней. Теперь, в Петербурге, сообразив положение Ростовых и свое, он решил, что пришло время, и сделал предложение.

Предложение Берга было принято сначала с нелестным для него недоумением. Сначала представилось странно, что сын темного лифляндского дворянина делает предложение графине Ростовой; но главное свойство характера Берга состояло в таком наивном и добродушном эгоизме, что невольно Ростовы подумали, что это будет хорошо, ежели он сам так твердо убежден, что это хорошо и даже очень хорошо. Притом же дела Ростовых были очень расстроены, чего не мог не знать жених, а главное, Вере было двадцать четыре года, она выезжала везде, и несмотря на то, что она несомненно была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложения. Согласие было дано.

— Вот видите ли, — говорил Берг своему товарищу, которого он называл другом только потому, что он знал, что у всех людей бывают друзья. — Вот видите ли, я все это сообразил, и я бы не женился, ежели бы не обдумал всего и это почему-нибудь было бы неудобно. А теперь напротив, папенька и маменька мои теперь обеспечены, я им устроил эту аренду в Остзейском крае, а мне прожить можно с женою в Петербурге при моем жалованье, при ее состоянии и при моей аккуратности. Прожить можно хорошо. Я не из-за денег женюсь, я считаю это не благородно, но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое. У меня служба — у ней связи и маленькие средства. Это в наше время что-нибудь такое значит, не так ли? А главное, она прекрасная, почтенная девушка и любит меня...

Берг покраснел и улыбнулся.

[1] Она должна быть моей женой

— И я люблю ее, потому что у нее характер рассудительный — очень хороший. Вот другая ее сестра — одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того, и эдакое, знаете?.. Неприятно... А моя невеста... Вот будете приходить к нам... — продолжал Берг, он хотел сказать — обедать, но раздумал и сказал: «чай пить», и, проткнув его быстро языком, выпустил круглое маленькое колечко табачного дыма, олицетворявшее вполне его мечты о счастии.

После первого чувства недоуменья, возбужденного в родителях предложением Берга, в семействе водворилась обычная в таких случаях праздничность и радость, но радость была не искренняя, а внешняя. В чувствах родных относительно этой свадьбы были заметны замешательство и стыдливость. Как будто им совестно было теперь за то, что они мало любили Веру и теперь так охотно сбывали ее с рук. Больше всех смущен был старый граф. Он, вероятно, не умел бы назвать того, что было причиной его смущения, а причина эта была его денежные дела. Он решительно не знал, что у него есть, сколько у него долгов и что он в состоянии будет дать в приданое Вере. Когда родились дочери, каждой было назначено по триста душ в приданое; но одна из этих деревень была уж продана, а другая заложена и так просрочена, что должна была продаваться, поэтому отдать имение было невозможно. Денег тоже не было.

Берг уже более месяца был женихом, и только неделя оставалась до свадьбы, а граф еще не решил с собой вопроса о приданом и не говорил об этом сам с женою. Граф то хотел отделить Вере рязанское имение, то хотел продать лес, то занять денег под вексель. За несколько дней до свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет к графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего тестя объявить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствованном вопросе, что сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову.

— Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен...

И он, похлопав Берга по плечу, встал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться.

— Потому что рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло...

Разговор кончился тем, что граф, желая быть великодушным и не подвергаться новым просьбам, сказал, что он выдает вексель в восемьдесят тысяч. Берг кротко улыбнулся, поцеловал графа в плечо и сказал, что он очень благодарен, но никак не может теперь устроиться в новой жизни, не получив чистыми деньгами тридцать тысяч.

— Хотя бы двадцать тысяч, граф, — прибавил он, — а вексель тогда только в шестьдесят тысяч.

— Да, да; хорошо, — скороговоркой заговорил граф, — только уж извини, дружок, двадцать тысяч я дам, а вексель, кроме того, дам на восемьдесят тысяч. Так-то, поцелуй меня.

XII

Наташе было шестнадцать лет, и был 1809 год, тот самый, до которого она четыре года тому назад по пальцам считала с Борисом, после того как она с ним поцеловалась. С тех пор она ни разу не видала Бориса. Перед Соней и с матерью, когда разговор заходил о Борисе, она совершенно свободно говорила, как о деле решенном, что все, что было прежде, — было ребячество, про которое не стоило и говорить и которое давно было забыто. Но в самой тайной глубине ее души вопрос о том, было ли обязательство к Борису шуткой или важным, связующим обещанием, мучил ее.

С самых тех пор как Борис, в 1805 году, из Москвы уехал в армию, он не видался с Ростовыми. Несколько раз он бывал в Москве, проезжал недалеко от Отрадного, но ни разу не был у Ростовых.

Наташе приходило иногда в голову, что он не хотел видеть ее, и эти догадки ее подтверждались тем грустным тоном, которым говорили о нем старшие.

— В нынешнем веке не помнят старых друзей, — говорила графиня вслед за упоминанием о Борисе.

Анна Михайловна, в последнее время реже бывавшая у Ростовых, тоже держала себя как-то особенно достойно и всякий раз восторженно и благодарно говорила о достоинствах своего сына и о блестящей карьере, на которой он находился. Когда Ростовы приехали в Петербург, Борис приехал к ним с визитом.

Он ехал к ним не без волнения. Воспоминание о Наташе было самым поэтическим воспоминанием Бориса. Но вместе с тем он ехал с твердым намерением ясно дать почувствовать и ей и родным ее, что детские отношения между ним и Наташей не могут быть обязательством ни для нее, ни для него. У него было блестящее положение в обществе, благодаря интимности с графиней Безуховой, блестящее положение на службе, благодаря покровительству важного лица, доверием которого он вполне пользовался, и у него были зарождающиеся планы женитьбы на одной из самых богатых невест Петербурга, которые очень легко могли осуществиться. Когда Борис вошел в гостиную Ростовых, Наташа была в своей комнате. Узнав о его приезде, она, раскрасневшись, почти вбежала в гостиную, сияя более чем ласковой улыбкой.

Борис помнил ту Наташу в коротеньком платье, с черными блестящими из-под локонов глазами и с отчаянным детским смехом, которую он знал четыре года тому назад, и потому, когда вошла совсем другая Наташа, он смутился и лицо его выразило восторженное удивление. Это выражение его лица обрадовало Наташу.

— Что, узнаешь свою старую приятельницу-шалунью? — сказала графиня, Борис поцеловал руку Наташи и сказал, что он удивлен происшедшей в ней переменой.

— Как вы похорошели!

«Еще бы!» — отвечали сияющие глаза Наташи.

— А папа постарел? — спросила она. Наташа села и, не вступая в разговор Бориса с графиней, молча рассматривала своего детского жениха до малейших подробностей. Он чувствовал на себе тяжесть этого упорного ласкового взгляда и изредка взглядывал на нее.

Мундир, шпоры, галстук, прическа Бориса — все это было самое модное и comme il faut[1]. Это сейчас заметила Наташа. Он сидел немножко боком на кресле подле графини, поправляя правой рукой чистейшую, облитую перчатку на левой руке, говорил с особенным, утонченным поджатием губ об увеселениях высшего петербургского света и с кроткой насмешливостью вспоминал о прежних московских временах и московских знакомых. Не нечаянно, как это чувствовала Наташа, он упомянул, называя высшую аристократию, о бале посланника, на котором он был, о приглашениях к NN и к SS.

Наташа сидела все время молча, исподлобья глядя на него. Взгляд этот все больше и больше беспокоил и смущал Бориса. Он чаще оглядывался на Наташу и прерывался в рассказах. Он просидел не больше десяти минут и встал, раскланиваясь. Все те же любопытные, вызывающие и несколько насмешливые глаза смотрели на него. После первого своего посещения Борис сказал себе, что Наташа для него точно так же привлекательна, как и прежде, но что он не должен отдаваться этому чувству, потому что женитьба на ней — девушке почти без состояния — была бы гибелью его карьеры, а возобновление прежних отношений без цели женитьбы было бы неблагородным поступком. Борис решил сам с собою избегать встреч с Наташей, но, несмотря на это решение, приехал через несколько дней и стал ездить часто и целые дни проводить у Ростовых. Ему представлялось, что ему необходимо было объясниться с Наташей, сказать ей, что все старое должно быть забыто, что, несмотря на все... она не может быть его женой, что у него нет состояния и ее никогда не отдадут за него. Но ему все не удавалось и неловко было приступить к этому объяснению. С каждым днем он более и более запутывался. Наташа, по замечанию матери и Сони, казалась по-старому влюбленной в Бориса. Она пела ему его любимые песни, показывала ему свой альбом, заставляла его писать в него, не позволяла поминать ему о старом, давая понимать, как прекрасно было новое; и каждый день он уезжал в тумане, не сказав того, что намерен был сказать, сам не зная, что он делал, и для чего он приезжал, и чем это кончится. Борис перестал бывать у Элен, ежедневно получал укоризненные записки от нее и все-таки целые дни проводил у Ростовых.

XIII

Однажды вечером, когда старая графиня, вздыхая и кряхтя, в ночном чепце и кофточке, без накладных буклей и с одним бедным пучком волос, выступавшим из-под белого коленкорового чепчика, клала на коврике земные поклоны вечерней молитвы, ее дверь скрипнула, и в туфлях на босу ногу, тоже в кофточке и в папильотках, вбежала Наташа. Графиня оглянулась и нахмурилась. Она дочитывала свою последнюю молитву: «Неужели мне одр сей гроб будет?» Молитвенное настроение ее было уничтожено. Наташа, красная, оживленная, увидав мать на молитве, вдруг остановилась на своем бегу, присела и невольно высунула язык,

[1] прилично, по правилам, как положено

грозясь самой себе. Заметив, что мать продолжала молитву, она на цыпочках подбежала к кровати, быстро скользнув одной маленькой ножкой о другую, скинула туфли и прыгнула на тот одр, за который графиня боялась, как бы он не был ее гробом. Одр этот был высокий, перинный, с пятью все уменьшающимися подушками. Наташа вскочила, утонула в перине, перевалилась к стенке и начала возиться под одеялом, укладываясь, подгибая коленки к подбородку, брыкая ногами и чуть слышно смеясь, то закрываясь с головой, то выглядывая на мать. Графиня кончила молитву и с строгим лицом подошла к постели; но, увидав, что Наташа закрыта с головой, улыбнулась своей доброй, слабой улыбкой.

— Ну, ну, ну, — сказала мать.

— Мама, можно поговорить, да? — сказала Наташа. — Ну, в душку один раз, ну еще и будет. — И она обхватила шею матери и поцеловала ее под подбородок. В обращении своем с матерью Наташа выказывала внешнюю грубость манеры, но так была чутка и ловка, что как бы она ни обхватила руками мать, она всегда умела это сделать так, чтобы матери не было ни больно, ни неприятно, ни неловко.

— Ну, о чем же нынче? — сказала мать, устроившись на подушках и подождав, пока Наташа, побрыкавши ногами и также перекатившись раза два через себя, не легла с ней рядом под одним одеялом, выпростав руки и приняв серьезное выражение.

Эти ночные посещения Наташи, совершавшиеся до возвращения графа из клуба, были одни из любимейших наслаждений матери и дочери.

— О чем же нынче? А мне нужно тебе сказать...

Наташа закрыла рукой рот матери.

— О Борисе... Я знаю, — сказала она серьезно, — я затем и пришла. Не говорите, я знаю. Нет, скажите! — Она отпустила руку. — Скажите, мама. Он мил?

— Наташа, тебе шестнадцать лет, в твои годы я была замужем. Ты говоришь, что Боря мил. Он очень мил, и я его люблю, как сына, но что же ты хочешь?.. Что ты думаешь? Ты ему совсем вскружила голову, я это вижу...

Говоря это, графиня оглянулась на дочь. Наташа лежала, прямо и неподвижно глядя вперед себя на одного из сфинксов красного дерева, вырезанных на углах кровати, так что графиня видела только в профиль лицо дочери. Лицо это поразило графиню своей особенностью серьезного и сосредоточенного выражения.

Наташа слушала и соображала.

— Ну, так что ж? — сказала она.

— Ты ему вскружила совсем голову, зачем? Что ты хочешь от него? Ты знаешь, что тебе нельзя выйти за него замуж.

— Отчего? — не переменяя положения, сказала Наташа.

— Оттого, что он молод, оттого, что он беден, оттого, что он родня... оттого, что ты и сама не любишь его.

— А почему вы знаете?

— Я знаю. Это нехорошо, мой дружок.

— А если я хочу... — сказала Наташа.

— Перестань говорить глупости, — сказала графиня.

— А если я хочу...

— Наташа, я серьезно...

Наташа не дала ей договорить, притянула к себе большую руку графини и поцеловала ее сверху, потом в ладонь, потом опять перевернула и стала целовать ее в косточку верхнего сустава пальца, потом в промежуток, потом опять в косточку, шепотом приговаривая: «Январь, февраль, март, апрель, май».

— Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите, — сказала она, оглядываясь на мать, которая нежным взглядом смотрела на дочь и из-за этого созерцания, казалось, забыла все, что она хотела сказать.

— Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь, а видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят, и, главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе, богатую; а теперь он с ума сходит.

— Сходит? — повторила Наташа.

— Я тебе про себя скажу. У меня был один cousin[1]...

— Знаю — Кирила Матвеич, да ведь он старик?

— Не всегда был старик. Но вот что, Наташа, я поговорю с Борей. Ему не надо так часто ездить...

— Отчего же не надо, коли ему хочется?

— Оттого, что я знаю, что это ничем не кончится.

— Почему вы знаете? Нет, мама, вы не говорите ему. Не смейте говорить ему. Что за глупости! — говорила Наташа тоном человека, у которого хотят отнять его собственность. — Ну, не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело. — Наташа, улыбаясь, глядела на мать.

— Не замуж, а так, — повторила она.

— Как же это, мой друг?

— Да так. Ну, очень нужно, что замуж не выйду, а... так.

— Так, так, — повторяла графиня и, трясясь всем телом, засмеялась добрым, неожиданным старушечьим смехом.

— Полноте смеяться, перестаньте, — закричала Наташа. — Всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья... Постойте... — Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца — июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. — Мама, а он очень влюблен? Как, на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе — он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый...

— Что ты врешь? — сказала графиня.

Наташа продолжала:

— Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухов — тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный.

---

[1] двоюродный брат

— Ты и с ним кокетничаешь, — смеясь, сказала графиня.

— Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно-синий с красным, как вам растолковать...

— Графинюшка, — послышался голос графа из-за двери. — Ты не спишь? — Наташа вскочила босиком, захватила в руки туфли и убежала в свою комнату.

Она долго не могла заснуть. Она все думала о том, что никто никак не может понять всего, что она понимает и что в ней есть.

«Соня? — подумала она, глядя на спящую свернувшуюся кошечку с ее огромной косой. — Нет, куда ей! Она добродетельная. Она влюбилась в Николеньку и больше ничего знать не хочет. Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... она мила», — продолжала она, говоря про себя в третьем лице и воображая, что это говорит про нее какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина... «Все, все в ней есть, — продолжал этот мужчина, — умна необыкновенно, мила и, потом, хороша, необыкновенно хороша, ловка — плавает, верхом ездит отлично, а голос! Можно сказать удивительный голос!» Она пропела свою любимую музыкальную фразу из херубиниевской оперы, бросилась на постель, засмеялась от радостной мысли, что она сейчас заснет, крикнула Дуняшу потушить свечку, и еще Дуняша не успела выйти из комнаты, как она уже перешла в другой, еще более счастливый мир сновидений, где все было так же легко и прекрасно, как и в действительности, но только было еще лучше, потому что было по-другому.

На другой день графиня, пригласив к себе Бориса, переговорила с ним, и с того дня он перестал бывать у Ростовых.

XIV

31-го декабря, накануне нового 1810 года, le réveillon[1], был бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь.

На Английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. У освещенного подъезда с красным сукном стояла полиция, и не одни жандармы, но и полицеймейстер на подъезде и десятки офицеров полиции. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили мужчины в мундирах, звездах и лентах; дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда.

Почти всякий раз, как подъезжал новый экипаж, в толпе пробегал шепот и снимались шапки.

— Государь?.. — Нет, министр... принц... посланник... Разве не видишь перья?.. — говорилось из толпы. Один из толпы, одетый лучше других, казалось, знал всех и называл по имени знатнейших вельмож того времени.

Уже одна треть гостей приехала на этот бал, а у Ростовых, долженствующих быть на этом бале, еще шли торопливые приготовления одеваний.

[1] «праздничный ужин» или «ночное застолье», обычно в канун Рождества или Нового года

Много было толков и приготовлений для этого бала в семействе Ростовых, много страхов, что приглашение не будет получено, платье не будет готово и не устроится все так, как было нужно.

Вместе с Ростовыми ехала на бал Марья Игнатьевна Перонская, приятельница и родственница графини, худая и желтая фрейлина старого двора, руководящая провинциальных Ростовых в высшем петербургском свете.

В десять часов вечера Ростовы должны были заехать за фрейлиной к Таврическому саду; а между тем было уже без пяти минут десять, а еще барышни не были одеты.

Наташа ехала на первый большой бал в своей жизни. Она в этот день встала в восемь часов утра и целый день находилась в лихорадочной тревоге и деятельности. Все силы ее с самого утра были устремлены на то, чтоб они все: она, мама, Соня — были одеты как нельзя лучше. Соня и графиня поручились вполне ей. На графине должно было быть масака бархатное платье, на них двух белые дымковые платья на розовых шелковых чехлах, с розанами в корсаже. Волоса должны были быть причесаны à la grecque[1].

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно старательно, по-бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; прически были почти окончены. Соня кончала одеваться, графиня тоже; но Наташа, хлопотавшая за всех, отстала. Она еще сидела перед зеркалом в накинутом на худенькие плечи пеньюаре. Соня, уже одетая, стояла посреди комнаты и, нажимая до боли маленьким пальцем, прикалывала последнюю визжавшую под булавкой ленту.

— Не так, не так, Соня! — сказала Наташа, поворачивая голову от прически и хватаясь руками за волоса, которые не поспела отпустить державшая их горничная. — Не так бант, поди сюда. — Соня присела. Наташа переколола ленту иначе.

— Позвольте, барышня, нельзя так, — говорила горничная, державшая волоса Наташи.

— Ах, Боже мой, ну после! Вот так, Соня.

— Скоро ли вы? — послышался голос графини. — Уж десять сейчас.

— Сейчас, сейчас. А вы готовы, мама?

— Только току приколоть.

— Не делайте без меня, — крикнула Наташа, — вы не сумеете!

— Да уж десять.

На бале решено было быть в половине одиннадцатого, а надо было еще Наташе одеться и заехать к Таврическому саду.

Окончив прическу, Наташа, в коротенькой юбке, из-под которой виднелись бальные башмачки, и в материной кофточке, подбежала к Соне, осмотрела ее и потом побежала к матери. Поворачивая ей голову, она приколола току и, едва успев поцеловать ее седые волосы, опять подбежала к девушкам, подшивавшим ее юбку.

[1] по-гречески

Дело стояло за Наташиной юбкой, которая была слишком длинна; ее подшивали две девушки, обкусывая торопливо нитки. Третья с булавками в губах и зубах бегала от графини к Соне; четвертая держала на высоко поднятой руке все дымковое платье.

— Мавруша, скорее, голубушка!

— Дайте наперсток оттуда, барышня.

— Скоро ли, наконец? — сказал граф, входя из-за двери. — Вот вам духи. Перонская уж заждалась.

— Готово, барышня, — говорила горничная, двумя пальцами поднимая подшитое дымковое платье и что-то обдувая и потряхивая, выказывая этим жестом сознание воздушности и чистоты того, что она держала.

Наташа стала надевать платье.

— Сейчас, сейчас, не ходи, папа! — крикнула она отцу, отворившему дверь, еще из-под дымки юбки, закрывавшей все ее лицо. Соня захлопнула дверь. Через минуту графа впустили. Он был в синем фраке, чулках и башмаках, надушенный и припомаженный.

— Папа, ты как хорош, прелесть! — сказала Наташа, стоя посреди комнаты и расправляя складки дымки.

— Позвольте, барышня, позвольте, — говорила девушка, стоя на коленях, обдергивая платье и с одной стороны рта на другую переворачивая языком булавки.

— Воля твоя, — с отчаянием в голосе вскрикнула Соня, оглядев платье Наташи, — воля твоя, опять длинно!

Наташа отошла подальше, чтоб осмотреться в трюмо. Платье было длинно.

— Ей-богу, сударыня, ничего не длинно, — сказала Мавруша, ползавшая по полу за барышней.

— Ну, длинно, так заметаем, в одну минуту заметаем, — сказала решительная Дуняша, из платочка на груди вынимая иголку и опять на полу принимаясь за работу.

В это время застенчиво, тихими шагами, вошла графиня в своей токе и бархатном платье.

— Уу! моя красавица! — закричал граф. — Лучше вас всех!.. — Он хотел обнять ее, но она, краснея, отстранилась, чтобы не измяться.

— Мама, больше набок току, — проговорила Наташа. — Я переколю, — и бросилась вперед, а девушки, подшивавшие, не успевшие за ней броситься, оторвали кусочек дымки.

— Боже мой! Что ж это такое? Я, ей-богу, не виновата...

— Ничего, заметаю, не видно будет, — говорила Дуняша.

— Красавица, краля-то моя! — сказала из-за двери вошедшая няня. — А Сонюшка-то, ну красавицы!..

В четверть одиннадцатого, наконец, сели в кареты и поехали. Но еще нужно было заехать к Таврическому саду.

Перонская была уже готова. Несмотря на ее старость и некрасивость, у нее происходило точно то же, что у Ростовых, хотя не с такой торопливостью (для нее это

было дело привычное), но так же было надушено, вымыто, напудрено старое, некрасивое тело, так же старательно промыто за ушами, и даже так же, как у Ростовых, старая горничная восторженно любовалась нарядом своей госпожи, когда она в желтом платье с шифром вышла в гостиную. Перонская похвалила туалеты Ростовых.

Ростовы похвалили ее вкус и туалет и, бережа прически и платья, в одиннадцать часов разместились по каретам и поехали.

XV

Наташа с утра этого дня не имела минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах, — музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет: так это было несообразно с впечатлением холода, тесноты и темноты кареты. Она поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному сукну подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла рядом с Соней впереди матери между цветами по освещенной лестнице. Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на бале, и постаралась принять ту величественную манеру, которую она считала необходимой для девушки на бале. Но, к счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Она не могла принять той манеры, которая бы сделала ее смешной, и шла, замирая от волнения и стараясь всеми силами только скрыть его. И это-то была та самая манера, которая более всего шла к ней. Впереди, сзади их, так же тихо переговариваясь и так же в бальных платьях, входили гости. Зеркала по лестнице отражали дам в белых, голубых, розовых платьях, с бриллиантами и жемчугами на открытых руках и шеях.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Все смешивалось в одну блестящую процессию. При входе в первую залу равномерный гул голосов, шагов, приветствий оглушил Наташу; свет и блеск еще более ослепил ее. Хозяин и хозяйка, уже полчаса стоявшие у входной двери и говорившие одни и те же слова входившим: «Charme de vous voir»[1], — так же встретили и Ростовых с Перонской.

Две девочки в белых платьях, с одинаковыми розами в черных волосах, одинаково присели, но невольно хозяйка остановила дольше свой взгляд на тоненькой Наташе. Она посмотрела на нее и ей одной особенно улыбнулась в придачу к своей хозяйской улыбке. Глядя на нее, хозяйка вспомнила, может быть, и свое золотое, невозвратное девичье время, и свой первый бал. Хозяин тоже проводил глазами Наташу и спросил у графа, которая его дочь?

[1] Очень, очень рады вас видеть

— Charmante! [1] — сказал он, поцеловав кончики своих пальцев.

В зале стояли гости, теснясь перед входной дверью, ожидая государя. Графиня поместилась в первых рядах этой толпы. Наташа слышала и чувствовала, что несколько голосов спросили про нее и смотрели на нее. Она поняла, что она понравилась тем, которые обратили на нее внимание, и это наблюдение несколько успокоило ее.

«Есть такие же, как и мы, есть и хуже нас», — подумала она.

Перонская называла графине самых значительных из лиц, бывших на бале.

— Вот это голландский посланник, видите, седой, — говорила Перонская, указывая на старичка с серебряной сединой курчавых обильных волос, окруженного дамами, которых он чему-то заставлял смеяться.

— А вот она, царица Петербурга, графиня Безухова, — говорила она, указывая на входившую Элен.

— Как хороша! Не уступит Марье Антоновне; смотрите, как за ней увиваются и старые и молодые. И хороша и умна. Говорят, принц... без ума от нее. А вот эти две хоть и не хороши, да еще больше окружены.

Она указала на проходивших через залу даму с очень некрасивой дочерью.

— Это миллионерка-невеста, — сказала Перонская. — А вот и женихи.

— Это брат Безуховой — Анатоль Курагин, — сказала она, указывая на красавца кавалергарда, который прошел мимо их, с высоты поднятой головы, через дам глядя куда-то. — Как хорош! не правда ли? Говорят, женят его на этой богатой. И ваш-то cousin, Друбецкой, тоже очень увивается. Говорят, миллионы. — Как же, это сам французский посланник, — отвечала она о Коленкуре на вопрос графини, кто это. — Посмотрите, как царь какой-нибудь. А все-таки милы, очень милы французы. Нет милей для общества. А вот и она! Нет, всё лучше всех наша Марья-то Антоновна! И как просто одета. Прелесть!

— А этот-то, толстый, в очках, фармазон всемирный, — сказала Перонская, указывая на Безухова. — С женою-то его рядом поставьте: то-то шут гороховый!

Пьер шел, переваливаясь своим толстым телом, раздвигая толпу, кивая направо и налево так же небрежно и добродушно, как бы он шел по толпе базара. Он продвигался через толпу, очевидно отыскивая кого-то.

Наташа с радостью смотрела на знакомое лицо Пьера, этого шута горохового, как называла его Перонская, и знала, что Пьер их, и в особенности ее, отыскивал в толпе. Пьер обещал ей быть на бале и представить ей кавалеров.

Но, не дойдя до них, Безухов остановился подле невысокого, очень красивого брюнета в белом мундире, который, стоя у окна, разговаривал с каким-то высоким мужчиной в звездах и ленте. Наташа тотчас же узнала невысокого молодого человека в белом мундире: это был Болконский, который показался ей очень помолодевшим, повеселевшим и похорошевшим.

[1] Очаровательна!

— Вот еще знакомый, Болконский, видите, мама? — сказала Наташа, указывая на князя Андрея. — Помните, он у нас ночевал в Отрадном.

— А, вы его знаете? — сказала Перонская. — Терпеть не могу. Il fait à présent la pluie et le beau temps[1]. И гордость такая, что границ нет! По папеньке пошел. И связался с Сперанским, какие-то проекты пишут. Смотрите, как с дамами обращается! Она с ним говорит, а он отвернулся, — сказала она, указывая на него. — Я бы его отделала, коли б он со мной так поступил, как с этими дамами.

XVI

Вдруг все зашевелилось, толпа заговорила, подвинулась, опять раздвинулась, и между двух расступившихся рядов, при звуках заигравшей музыки, вошел государь. За ним шли хозяин и хозяйка. Государь шел быстро, кланяясь направо и налево, как бы стараясь скорее избавиться от этой первой минуты встречи. Музыканты играли польский, известный тогда по словам, сочиненным на него. Слова эти начинались: «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Государь прошел в гостиную, толпа хлынула к дверям; несколько лиц с изменившимися выражениями поспешно прошли туда и назад. Толпа опять отхлынула от дверей гостиной, в которой показался государь, разговаривая с хозяйкой. Какой-то молодой человек с растерянным видом наступал на дам, прося их посторониться. Некоторые дамы с лицами, выражавшими совершенную забывчивость всех условий света, портя свои туалеты, теснились вперед. Мужчины стали подходить к дамам и строиться в пары польского.

Все расступились и государь, улыбаясь и не в такт ведя за руку хозяйку дома, вышел из дверей гостиной. За ним шли хозяин с М.А. Нарышкиной, потом посланники, министры, разные генералы, которых, не умолкая, называла Перонская. Больше половины дам имели кавалеров и шли или приготовлялись идти в польский. Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла опустив свои тоненькие руки, и с мерной поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица, на которых указывала Перонская, — у ней была одна мысль: «Неужели так никто не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины, которые теперь, кажется, и не видят меня, а ежели смотрят на меня, то смотрят с таким выражением, как будто говорят: «А! это не она, так и нечего смотреть!». «Нет, это не может быть! — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною».

Звуки польского, продолжавшегося довольно долго, уже начали звучать грустно — воспоминанием в ушах Наташи. Ей хотелось плакать. Перонская отошла от

[1] «От него теперь зависит дождливая или хорошая погода» (Франц. пословица, имеющая значение, что он имеет успех)

них. Граф был на другом конце залы, графиня, Соня и она стояли одни, как в лесу, в этой чуждой толпе, никому не интересные и не нужные. Князь Андрей прошел с какой-то дамой мимо них, очевидно их не узнавая. Красавец Анатоль, улыбаясь, что-то говорил даме, которую он вел, и взглянул на лицо Наташи тем взглядом, каким глядят на стены. Борис два раза прошел мимо них и всякий раз отворачивался. Берг с женою, не танцевавшие, подошли к ним.

Наташе показалось оскорбительным это семейное сближение здесь, на бале, как будто не было другого места для семейных разговоров, кроме как на бале. Она не слушала и не смотрела на Веру, что-то говорившую ей про свое зеленое платье.

Наконец государь остановился подле своей последней дамы (он танцевал с тремя), музыка замолкла; озабоченный адъютант набежал на Ростовых, прося их еще куда-то посторониться, хотя они стояли у стены, и с хор раздались отчетливые, осторожные и увлекательные мерные звуки вальса. Государь с улыбкой взглянул на залу. Прошла минута — никто еще не начинал.

Адъютант-распорядитель подошел к графине Безуховой и пригласил ее. Она, улыбаясь, подняла руку и положила ее, не глядя на него, на плечо адъютанта. Адъютант-распорядитель, мастер своего дела, уверенно, неторопливо и мерно, крепко обняв свою даму, пустился с ней сначала глиссадом, по краю круга, на углу залы подхватил ее левую руку, повернул ее, и из-за все убыстряющихся звуков музыки слышны были только мерные щелчки шпор быстрых и ловких ног адъютанта, и через каждые три такта на повороте как бы вспыхивало, развеваясь, бархатное платье его дамы. Наташа смотрела на них и готова была плакать, что это не она танцует этот первый тур вальса.

Князь Андрей в своем полковничьем белом мундире (по кавалерии), в чулках и башмаках, оживленный и веселый, стоял в первых рядах круга, недалеко от Ростовых. Барон Фиргоф говорил с ним о завтрашнем, предполагаемом первом заседании Государственного совета. Князь Андрей, как человек, близкий Сперанскому и участвующий в работах законодательной комиссии, мог дать верные сведения о заседании завтрашнего дня, о котором ходили различные толки. Но он не слушал того, что ему говорил Фиргоф, и глядел то на государя, то на сбиравшихся танцевать кавалеров, не решавшихся вступить в круг.

Князь Андрей наблюдал этих робевших при государе кавалеров и дам, замиравших от желания быть приглашенными.

Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.

– Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegee[1] , Ростова молодая, пригласите ее, – сказал он.

– Где? – спросил Болконский. – Виноват, – сказал он, обращаясь к барону, – этот разговор мы в другом месте доведем до конца, а на бале надо танцовать. – Он вышел вперед, по направлению, которое ему указывал Пьер.

[1] протеже, любимица

Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в глаза князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

– Позвольте вас познакомить с моей дочерью, – сказала графиня, краснея.

— Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня, — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости, подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой.

«Наташа Ростова на первом балу» (Акварель Л.О. Пастернака)

«Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея.

Они были вторая пара, вошедшая в круг. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени. Наташа танцевала превосходно. Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело, а лицо ее сияло восторгом счастия. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу, а Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.

Князь Андрей любил танцевать и, желая поскорее отделаться от политических и умных разговоров, с которыми все обращались к нему, и желая поскорее разорвать этот досадный ему круг смущения, образовавшегося от присутствия государя, пошел танцевать и выбрал Наташу, потому что на нее указал ему Пьер и потому, что она первая из хорошеньких женщин попала ему на глаза; но едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и она зашевелилась так близко от него и улыбнулась так близко от него, вино ее прелести ударило ему в голову: он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда, переводя дыханье и оставив ее, остановился и стал глядеть на танцующих.

XVII

После князя Андрея к Наташе подошел Борис, приглашая ее на танцы, подошел и тот танцор-адъютант, начавший бал, и еще молодые люди, и Наташа, передавая своих излишних кавалеров Соне, счастливая и раскрасневшаяся, не переставала танцевать целый вечер. Она ничего не заметила и не видала из того, что занимало всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил с

французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такой-то дамой, как принц такой-то и такой-то сделали и сказали то-то, как Элен имела большой успех и удостоилась особенного внимания такого-то; она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только потому, что после его отъезда бал более оживился. Один из веселых котильонов, перед ужином, князь Андрей опять танцевал с Наташей. Он напомнил ей о их первом свиданье в отрадненской аллее и о том, как она не могла заснуть в лунную ночь и как он невольно слышал ее. Наташа покраснела при этом напоминании и старалась оправдаться, как будто было что-то стыдное в том чувстве, в котором невольно подслушал ее князь Андрей.

Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке. Он особенно нежно и бережно обращался и говорил с нею. Сидя подле нее, разговаривая с нею о самых простых и ничтожных предметах, князь Андрей любовался на радостный блеск ее глаз и улыбки, относившейся не к говоренным речам, а к ее внутреннему счастию. В то время как Наташу выбирали и она с улыбкой вставала и танцевала по зале, князь Андрей любовался в особенности на ее робкую грацию. В середине котильона Наташа, окончив фигуру, еще тяжело дыша, подходила к своему месту. Новый кавалер опять пригласил ее. Она устала и запыхалась и, видимо, подумала отказаться, но тотчас опять весело подняла руку на плечо кавалера и улыбнулась князю Андрею.

«Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами, я устала; но вы видите, как меня выбирают, и я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами всё это понимаем», — и еще многое и многое сказала эта улыбка. Когда кавалер оставил ее, Наташа побежала через залу, чтобы взять двух дам для фигур.

«Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой», — сказал совершенно неожиданно сам себе князь Андрей, глядя на нее. Она подошла прежде к кузине.

«Какой вздор иногда приходит в голову! — подумал князь Андрей. — Но верно только то, что эта девушка так мила, так особенна, что она не протанцует здесь месяца и выйдет замуж... Это здесь редкость», — думал он, когда Наташа, поправляя откинувшуюся у корсажа розу, усаживалась подле него.

В конце котильона старый граф подошел в своем синем фраке к танцующим. Он пригласил к себе князя Андрея и спросил у дочери, весело ли ей? Наташа не ответила и только улыбнулась такой улыбкой, которая с упреком говорила: «Как можно было спрашивать об этом?»

— Так весело, как никогда в жизни! — сказала она, и князь Андрей заметил, как быстро поднялись было ее худые руки, чтоб обнять отца, и тотчас же опустились. Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была на той высшей ступени счастия, когда человек делается вполне добр и хорош и не верит в возможность зла, несчастия и горя.

Пьер на этом бале в первый раз почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его жена в высших сферах. Он был угрюм и рассеян. Поперек лба его была глубокая складка, и он, стоя у окна, смотрел через очки, никого не видя.

Наташа, направляясь к ужину, прошла мимо его.

Мрачное, несчастное лицо Пьера поразило ее. Она остановилась против него. Ей хотелось помочь ему, передать ему излишек своего счастия.

— Как весело, граф, — сказала она, — не правда ли?

Пьер рассеянно улыбнулся, очевидно не понимая того, что ему говорили.

— Да, я очень рад, — сказал он.

«Как могут они быть недовольны чем-то, — думала Наташа. — Особенно такой хороший, как этот Безухов?» На глаза Наташи, все бывшие на бале были одинаково добрые, милые, прекрасные люди, любящие друг друга: никто не мог обидеть друг друга, и потому все должны были быть счастливы.

XVIII

На другой день князь Андрей вспомнил вчерашний бал, но ненадолго остановился на нем мыслью: «Да, очень блестящий был бал. И еще... да, Ростова очень мила. Что-то в ней есть свежее, особенное, непетербургское, отличающее ее». Вот все, что он думал о вчерашнем бале, и, напившись чаю, сел за работу. Но от усталости или бессонницы день был нехороший для занятий, и князь Андрей ничего не мог делать, он все критиковал сам свою работу, как это часто с ним бывало, и рад был, когда услыхал, что кто-то приехал.

Приехавший был Бицкий, служивший в различных комиссиях, бывавший во всех обществах Петербурга, страстный поклонник новых идей и Сперанского и озабоченный вестовщик Петербурга, один из тех людей, которые выбирают направление, как платье, — по моде, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направлений. Он озабоченно, едва успев снять шляпу, вбежал к князю Андрею и тотчас же начал говорить. Он только что узнал подробности заседания Государственного совета нынешнего утра, открытого государем, и с восторгом рассказывал о том. Речь государя была необычайна. Это была одна из тех речей, которые произносятся только конституционными монархами. «Государь прямо сказал, что Совет и Сенат суть государственные сословия; он сказал, что правление должно иметь основанием не произвол, а твердые начала. Государь сказал, что финансы должны быть преобразованы и отчеты быть публичны», — рассказывал Бицкий, ударяя на известные слова и значительно раскрывая глаза.

— Да, нынешнее событие есть эра, величайшая эра в нашей истории, — заключил он.

Князь Андрей слушал рассказ об открытии Государственного совета, которого он ожидал с таким нетерпением и которому приписывал такую важность, и удивлялся, что событие это теперь, когда оно совершилось, не только не трогало его, но представлялось ему более чем ничтожным. Он с тихой насмешкой слушал восторженный рассказ Бицкого. Самая простая мысль приходила ему в голову:

«Какое дело мне и Бицкому, какое дело нам до того, что государю угодно было сказать в Сенате? Разве все это может сделать меня счастливее и лучше?»

И это простое рассуждение вдруг уничтожило для князя Андрея весь прежний интерес совершаемых преобразований. В этот же день князь Андрей должен был обедать у Сперанского «en petit comité»[1], как ему сказал хозяин, приглашая его. Обед этот в семейном и дружеском кругу человека, которым он так восхищался, прежде очень интересовал князя Андрея, тем более что до сих пор он не видал Сперанского в его домашнем быту; но теперь ему не хотелось ехать.

В назначенный час обеда, однако, князь Андрей уже входил в собственный небольшой дом Сперанского у Таврического сада. В паркетной столовой небольшого домика, отличавшегося необыкновенной чистотой (напоминающею монашескую чистоту), князь Андрей, несколько опоздавший, уже нашел в пять часов все собравшееся общество этого petit comité, интимных знакомых Сперанского. Дам не было никого, кроме маленькой дочери Сперанского (с длинным лицом, похожим на отца) и ее гувернантки. Гости были Жерве, Магницкий и Столыпин. Еще из передней князь Андрей услыхал громкие голоса и звонкий, отчетливый хохот — хохот, похожий на тот, каким смеются на сцене. Кто-то голосом, похожим на голос Сперанского, отчетливо отбивал: ха, ха, ха. Князь Андрей никогда не слыхал смеющегося Сперанского, и этот звонкий, тонкий смех государственного человека странно поразил его.

Князь Андрей вошел в столовую. Все общество стояло между двух окон, у небольшого стола с закуской. Сперанский, в сером фраке с звездой, очевидно, в том еще белом жилете и высоком белом галстуке, в которых он был в знаменитом заседании Государственного совета, с веселым лицом стоял у стола. Гости окружали его. Магницкий, обращаясь к Михаилу Михайловичу, рассказывал анекдот. Сперанский слушал, вперед смеясь тому, что скажет Магницкий. В то время как князь Андрей вошел в комнату, слова Магницкого опять заглушились смехом. Громко басил Столыпин, пережевывая кусок хлеба с сыром; тихим смехом шипел Жерве, и тонко, отчетливо смеялся Сперанский.

Сперанский, все еще смеясь, подал князю Андрею свою белую, нежную руку.

— Очень рад вас видеть, князь, — сказал он. — Минутку... — обратился он к Магницкому, прерывая его рассказ. — У нас нынче уговор: обед удовольствия и ни слова про дела. — И он опять обратился к рассказчику и опять засмеялся.

Князь Андрей с удивлением и грустью разочарования слушал его смех и смотрел на смеющегося Сперанского. Это был не Сперанский, а другой человек, казалось князю Андрею. Все, что прежде таинственно и привлекательно представлялось князю Андрею в Сперанском, вдруг стало ему ясно и непривлекательно.

За столом разговор ни на мгновение не умолкал и состоял как будто бы из собрания смешных анекдотов. Еще Магницкий не успел докончить своего рассказа, как уж кто-то другой заявил свою готовность рассказать что-то, что было еще

[1] в дружеском кружке

смешнее. Анекдоты большею частью касались ежели не самого служебного мира, то лиц служебных. Казалось, что в этом обществе так окончательно было решено ничтожество этих лиц, что единственное отношение к ним могло быть только добродушно-комическое. Сперанский рассказал, как на Совете сегодняшнего утра на вопрос у глухого сановника о его мнении сановник этот отвечал, что он того же мнения. Жерве рассказал целое дело ревизии, замечательное по бессмыслице всех действующих лиц. Столыпин, заикаясь, вмешался в разговор и с горячностью начал говорить о злоупотреблениях прежнего порядка вещей, угрожая придать разговору серьезный характер. Магницкий стал трунить над горячностью Столыпина. Жерве вставил шутку, и разговор принял опять прежнее веселое направление.

Очевидно, Сперанский после трудов любил отдохнуть и повеселиться в приятельском кружке, и все его гости, понимая его желание, старались веселить его и сами веселиться. Но веселье это казалось князю Андрею тяжелым и невеселым. Тонкий звук голоса Сперанского неприятно поражал его, и неумолкавший смех своею фальшивой нотой почему-то оскорблял чувство князя Андрея. Князь Андрей не смеялся и боялся, что он будет тяжел для этого общества. Но никто не замечал его несоответственности общему настроению. Всем было, казалось, очень весело.

Он несколько раз желал вступить в разговор, но всякий раз его слово выбрасывалось вон, как пробка из воды; и он не мог шутить с ними вместе.

Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, все было остроумно и могло бы быть смешно; но чего-то того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает.

После обеда дочь Сперанского с своей гувернанткой встали. Сперанский приласкал дочь своей белой рукой и поцеловал ее. И этот жест показался неестественным князю Андрею.

Мужчины, по-английски, остались за столом и за портвейном. В середине начавшегося разговора об испанских делах Наполеона, одобряя которые все были одного и того же мнения, князь Андрей стал противоречить им. Сперанский улыбнулся и, очевидно, желая отклонить разговор от принятого направления, рассказал анекдот, не имеющий отношения к разговору. На несколько мгновений все замолкли.

Посидев за столом, Сперанский закупорил бутылку с вином и, сказав: «Нынче хорошее винцо в сапожках ходит», отдал слуге и встал. Все встали и, так же шумно разговаривая, пошли в гостиную. Сперанскому подали два конверта, привезенные курьером. Он взял их и прошел в кабинет. Как только он вышел, общее веселье замолкло и гости рассудительно и тихо стали переговариваться друг с другом.

— Ну, теперь декламация! — сказал Сперанский, выходя из кабинета. — Удивительный талант! — обратился он к князю Андрею. Магницкий тотчас же стал в позу и начал говорить французские шутливые стихи, сочиненные им на некоторых известных лиц Петербурга, и несколько раз был прерываем аплодисментами. Князь Андрей по окончании стихов подошел к Сперанскому, прощаясь с ним.

— Куда вы так рано? — спросил Сперанский.

— Я обещал на вечер...

Они помолчали. Князь Андрей смотрел близко в эти зеркальные, не пропускающие к себе глаза, и ему стало смешно, как он мог ждать чего-нибудь от Сперанского и от всей своей деятельности, связанной с ним, и как мог он приписывать важность тому, что делал Сперанский. Этот аккуратный, невеселый смех долго не переставал звучать в ушах князя Андрея, после того как он уехал от Сперанского.

Вернувшись домой, князь Андрей стал вспоминать свою петербургскую жизнь за эти четыре месяца, как будто что-то новое. Он вспоминал свои хлопоты, искательства, историю своего проекта военного устава, который был принят к сведению и о котором старались умолчать единственно потому, что другая работа, очень дурная, была уже сделана и представлена государю; вспомнил о заседаниях комитета, членом которого был Берг; вспомнил, как в этих заседаниях старательно и продолжительно обсуживалось все касающееся формы и процесса заседания комитета, и как старательно и кратко обходилось все, что касалось сущности дела. Он вспомнил о своей законодательной работе, о том, как он озабоченно переводил на русский язык статьи римского и французского свода, и ему стало совестно за себя. Потом он живо представил себе Богучарово, свои занятия в деревне, свою поездку в Рязань, вспомнил мужиков, Дрона-старосту, и, приложив к ним права лиц, которые он распределял по параграфам, ему стало удивительно, как он мог так долго заниматься такой праздной работой.

XIX

На другой день князь Андрей поехал с визитами в некоторые дома, где он еще не был, и в том числе к Ростовым, с которыми он возобновил знакомство на последнем бале. Кроме законов учтивости, по которым ему нужно было быть у Ростовых, князю Андрею хотелось видеть дома эту особенную, оживленную девушку, которая оставила ему приятное воспоминание.

Наташа одна из первых встретила его. Она была в домашнем синем платье, в котором она показалась князю Андрею еще лучше, чем в бальном. Она и все семейство Ростовых приняли князя Андрея как старого друга, просто и радушно. Все семейство, которое строго судил прежде князь Андрей, теперь показалось ему составленным из прекрасных, простых и добрых людей. Гостеприимство и добродушие старого графа, особенно мило поразительное в Петербурге, было таково, что князь Андрей не мог отказаться от обеда. «Да, это добрые, славные люди, — думал Болконский, — разумеется, не понимающие ни на волос того сокровища, которое они имеют в Наташе; но добрые люди, которые составляют наилучший фон для того, чтобы на нем отделялась эта особенно поэтическая, переполненная жизни, прелестная девушка!»

Князь Андрей чувствовал в Наташе присутствие совершенно чуждого для него, особенного мира, преисполненного каких-то неизвестных ему радостей, того чуждого мира, который еще тогда, в отрадненской аллее и на окне в лунную ночь, так

дразнил его. Теперь этот мир уже более не дразнил его, не был чуждый мир; но он сам, вступив в него, находил в нем новое для себя наслаждение.

После обеда Наташа, по просьбе князя Андрея, пошла к клавикордам и стала петь. Князь Андрей стоял у окна, разговаривая с дамами, и слушал ее. В середине фразы князь Андрей замолчал и почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой. Он посмотрел на поющую Наташу, и в душе его произошло что-то новое и счастливое. Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно. Ему решительно не о чем было плакать, но он готов был плакать? О чем? О прежней любви? О маленькой княгине? О своих разочарованиях?.. О своих надеждах на будущее? Да и нет. Главное, о чем ему хотелось плакать, была вдруг живо сознанная им страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределимым, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она. Эта противоположность томила и радовала его во время ее пения.

Только что Наташа кончила петь, она подошла к нему и спросила его, как ему нравится ее голос? Она спросила это и смутилась уже после того, как она это сказала, поняв, что этого не надо было спрашивать. Он улыбнулся, глядя на нее, и сказал, что ему нравится ее пение так же, как и все, что она делает.

Князь Андрей поздно вечером уехал от Ростовых. Он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать. Он то, зажегши свечу, сидел в постели, то вставал, то опять ложился, нисколько не тяготясь бессонницей: так радостно и ново ему было на душе, как будто он из душной комнаты вышел на вольный свет Божий. Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете. «Из чего я бьюсь, из чего я хлопочу в этой узкой, замкнутой рамке, когда жизнь, вся жизнь со всеми ее радостями открыта мне?» — говорил он себе. И он в первый раз после долгого времени стал делать счастливые планы на будущее. Он решил сам собой, что ему надо заняться воспитанием своего сына, найдя ему воспитателя и поручив ему; потом надо выйти в отставку и ехать за границу, видеть Англию, Швейцарию, Италию. «Мне надо пользоваться своей свободой, пока так много в себе чувствую силы и молодости, — говорил он сам себе. — Пьер был прав, говоря, что надо верить в возможность счастия, чтобы быть счастливым, и я теперь верю в него. Оставим мертвым хоронить мертвых, а пока жив, надо жить и быть счастливым», — думал он.

XX

В одно утро полковник Адольф Берг, которого Пьер знал, как знал всех в Москве и Петербурге, в чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович, приехал к нему.

— Я сейчас был у графини, вашей супруги, и был так несчастлив, что моя просьба не могла быть исполнена; надеюсь, что у вас, граф, я буду счастливее, — сказал он, улыбаясь.

— Что вам угодно, полковник? Я к вашим услугам.

— Я теперь, граф, уже совершенно устроился на новой квартире, — сообщил Берг, очевидно зная, что это слышать не могло не быть приятно, — и потому желал сделать так, маленький вечерок для моих и моей супруги знакомых. (Он еще приятнее улыбнулся.) Я хотел просить графиню и вас сделать мне честь пожаловать к нам на чашку чая и... на ужин.

Только графиня Елена Васильевна, сочтя для себя унизительным общество каких-то Бергов, могла иметь жестокость отказаться от такого приглашения. Берг так ясно объяснил, почему он желает собрать у себя небольшое и хорошее общество, и почему это ему будет приятно, и почему он для карт и для чего-нибудь дурного жалеет деньги, но для хорошего общества готов и понести расходы, что Пьер не мог отказаться и обещался быть.

— Только не поздно, граф, ежели смею просить; так без десяти минут в восемь, смею просить. Партию составим, генерал наш будет. Он очень добр ко мне. Поужинаем, граф. Так сделайте одолжение.

Противно своей привычке опаздывать, Пьер в этот день, вместо восьми без десяти минут, приехал к Бергам в восемь часов без четверти.

Берги, припася, что нужно было для вечера, уже готовы были к приему гостей.

В новом, чистом, светлом, убранном бюстиками, и картинками, и новой мебелью кабинете сидел Берг с женою. Берг в новеньком застегнутом мундире сидел подле жены, объяснял ей, что всегда можно и должно иметь знакомства людей, которые выше себя, потому что тогда только есть приятность от знакомств.

— Переймешь что-нибудь, можешь попросить о чем-нибудь. Вот посмотри, как я жил с первых чинов (Берг жизнь свою считал не годами, а высочайшими наградами). Мои товарищи теперь еще ничто, а я на ваканции полкового командира, я имею счастье быть вашим мужем (он встал и поцеловал руку Веры, но по пути к ней отогнул угол заворотившегося ковра). И чем я приобрел все это? Главное уменьем выбирать свои знакомства. Само собой разумеется, надо быть добродетельным и аккуратным...

Берг улыбнулся с сознанием своего превосходства над слабой женщиной и замолчал, подумав, что все-таки эта милая жена его есть слабая женщина, которая не может постигнуть всего того, что составляет достоинство мужчины, — ein Mann zu sein[1]. Вера в то же время также улыбнулась с сознанием своего превосходства над добродетельным, хорошим мужем, но который все-таки ошибочно, как и все мужчины, по понятию Веры, понимал жизнь. Берг, судя по своей жене, считал всех женщин слабыми и глупыми. Вера, судя по одному своему мужу и распространяя это замечание на всех, полагала, что все мужчины приписывают только себе разум, а вместе с тем ничего не понимают, горды и эгоисты.

Берг встал и, обняв свою жену, осторожно, чтобы не измять кружевную пелерину, за которую он дорого заплатил, поцеловал ее в середину губ.

— Одно только, чтоб у нас не было так скоро детей, — сказал он по бессознательной для себя филиации идей.

[1] быть мужчиной (нем). — Ред.

— Да, — отвечала Вера, — я совсем этого не желаю. Надо жить для общества.

— Точно такая была на княгине Юсуповой, — сказал Берг с счастливой и доброй улыбкой, указывая на пелеринку.

В это время доложили о приезде графа Безухова. Оба супруга переглянулись самодовольной улыбкой, каждый себе приписывая честь этого посещения.

«Вот что значит уметь делать знакомства, — подумал Берг, — вот что значит умет держать себя!»

— Только, пожалуйста, когда я занимаю гостей, — сказала Вера, — ты не перебивай меня, потому что я знаю, чем занять каждого и в каком обществе что нужно говорить.

Берг тоже улыбнулся.

— Нельзя же: иногда с мужчинами мужской разговор должен быть, — сказал он.

Пьер был принят в новенькой гостиной, в которой нигде сесть нельзя было, не нарушив симметрии, чистоты и порядка, и потому весьма понятно было и не странно, что Берг великодушно предлагал разрушить симметрию кресла или дивана для дорогого гостя и, видимо, находясь сам в этом отношении в болезненной нерешительности, предложил решение этого вопроса выбору гостя. Пьер расстроил симметрию, подвинув себе стул, и тотчас же Берг и Вера начали вечер, перебивая один другого и занимая гостя.

Вера, решив в своем уме, что Пьера надо занимать разговором о французском посольстве, тотчас же начала этот разговор. Берг, решив, что надобен и мужской разговор, перебил речь жены, затрогивая вопрос о войне с Австриею, и невольно с общего разговора соскочил на личные соображения о тех предложениях, которые ему были деланы для участия в австрийском походе, и о тех причинах, почему он не принял их. Несмотря на то, что разговор был очень нескладный и что Вера сердилась за вмешательство мужского элемента, оба супруга с удовольствием чувствовали, что, несмотря на то, что был только один гость, вечер был начат очень хорошо и что вечер был как две капли воды похож на всякий другой вечер с разговорами, чаем и зажженными свечами.

Вскоре приехал Борис, старый товарищ Берга. Он с некоторым оттенком превосходства и покровительства обращался с Бергом и Верой. За Борисом приехала дама с полковником, потом сам генерал, потом Ростовы, и вечер уже совершенно несомненно стал похож на все вечера. Берг с Верой не могли удерживать радостной улыбки при виде этого движения по гостиной, при звуке этого бессвязного говора, шуршанья платьев и поклонов. Все было, как и у всех, особенно похож был генерал, похваливший квартирку, потрепавший по плечу Берга и с отеческим самоуправством распорядившийся постановкой бостонного стола. Генерал подсел к графу Илье Андреичу, как к самому знатному из гостей после себя. Старички со старичками, молодые с молодыми, хозяйка у чайного стола, на котором были точна такие же печенья в серебряной корзинке, какие были у Паниных на вечере, все было совершенно так же, как у других.

XXI

Пьер, как один из почетнейших гостей, должен был сесть в бостон с Ильей Андреичем, генералом и полковником. Пьеру за бостонным столом пришлось сидеть против Наташи, и странная перемена, происшедшая в ней со дня бала, поразила его. Наташа была молчалива и не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида.

«Что с ней?» — подумал Пьер, взглянув на нее. Она сидела подле сестры у чайного стола и неохотно, не глядя на него, отвечала что-то подсевшему к ней Борису. Отходив целую масть и забрав к удовольствию своего партнера пять взяток, Пьер, слышавший говор приветствий и звук чьих-то шагов, вошедших в комнату во время сбора взяток, опять взглянул на нее.

«Что с ней сделалось?» — еще удивленнее сказал он сам себе.

Князь Андрей с бережливо-нежным выражением стоял перед нею и говорил ей что-то. Она, подняв голову, разрумянившись и, видимо, стараясь удержать порывистое дыханье, смотрела на него. И яркий свет какого-то внутреннего, прежде потушенного огня опять горел в ней. Она вся преобразилась. Из дурной опять сделалась такою же, какою она была на бале.

Князь Андрей подошел к Пьеру, и Пьер заметил новое, молодое выражение и в лице своего друга.

Пьер несколько раз пересаживался во время игры, то спиной, то лицом к Наташе, и во все продолжение шести робберов делал наблюдения над ней и своим другом.

«Что-то очень важное происходит между ними», — думал Пьер, и радостное и вместе горькое чувство заставляло его волноваться и забывать об игре.

После шести робберов генерал встал, сказав, что эдак невозможно играть, и Пьер получил свободу. Наташа в одной стороне говорила с Соней и Борисом. Вера о чем-то с тонкой улыбкой говорила с князем Андреем. Пьер подошел к своему другу и, спросив, не тайна ли то, что говорится, сел подле них. Вера, заметив внимание князя Андрея к Наташе, нашла, что на вечере, на настоящем вечере, необходимо нужно, чтобы были тонкие намеки на чувства, и, улучив время, когда князь Андрей был один, начала с ним разговор о чувствах вообще и о своей сестре. Ей нужно было с таким умным (каким она считала князя Андрея) гостем приложить к делу свое дипломатическое искусство.

Когда Пьер подошел к ним, он заметил, что Вера находилась в самодовольном увлечении разговора, князь Андрей (что с ним редко бывало) казался смущен.

— Как вы полагаете? — с тонкой улыбкой говорила Вера. — Вы, князь, так проницательны и так понимаете сразу характеры людей. Что вы думаете о Натали, может ли она быть постоянна в своих привязанностях, может ли она так, как другие женщины (Вера разумела себя), один раз полюбить человека и навсегда остаться ему верною? Это я считаю настоящею любовью. Как вы думаете, князь?

— Я слишком мало знаю вашу сестру, — отвечал князь Андрей с насмешливой улыбкой, под которой он хотел скрыть свое смущение, — чтобы решить такой тонкий вопрос; и потом, я замечал, что чем менее нравится женщина, тем она бывает постояннее, — прибавил он и посмотрел на Пьера, подошедшего в это время к ним.
— Да, это правда, князь; в наше время, — продолжала Вера (упоминая о нашем времени, как вообще любят упоминать ограниченные люди, полагающие, что они нашли и оценили особенности нашего времени и что свойства людей изменяются со временем), — в наше время девушка имеет столько свободы, что le plaisir d'être courtisée[1] часто заглушает в ней истинное чувство. Et Nathalie, il faut l'avouer, y est très sensible[2]. — Возвращение к Натали опять заставило неприятно поморщиться князя Андрея; он хотел встать, но Вера продолжала с еще более утонченной улыбкой.

— Я думаю, никто так не был courtisée, как она, — говорила Вера, — но никогда, до самого последнего времени никто серьезно ей не нравился. Вот вы знаете, граф, — обратилась она к Пьеру, — даже наш милый cousin Борис, который был, entre nous, очень и очень dans le pays du tendre...[3] — говорила она, намекая на бывшую в ходу тогда карту любви.

Князь Андрей, нахмурившись, молчал.

— Вы ведь дружны с Борисом? — сказала ему Вера.

— Да, я его знаю...

— Он, верно, вам говорил про свою детскую любовь к Наташе?

— А была детская любовь? — вдруг неожиданно покраснев, спросил князь Андрей.

— Да. Vous savez entre cousin et cousine cette intimité mène quelquefois à l'amour: le cousinage est un dangereux voisinage. N'est ce pas? [4]

— О, без сомнения, — сказал князь Андрей, и вдруг, неестественно оживившись, он стал шутить с Пьером о том, как он должен быть осторожным в своем обращении с своими пятидесятилетними московскими кузинами, и в середине шутливого разговора встал и, взяв под руку Пьера, отвел его в сторону.

— Ну что? — сказал Пьер, с удивлением смотревший на странное оживление своего друга и заметивший взгляд, который он, вставая, бросил на Наташу.

— Мне надо, мне надо поговорить с тобой, — сказал князь Андрей. — Ты знаешь наши женские перчатки (он говорил о тех масонских перчатках, которые давались вновь избранному брату для вручения любимой женщине). Я... Но нет, я после поговорю с тобой... — И с странным блеском в глазах и беспокойством в движениях князь Андрей подошел к Наташе и сел подле нее. Пьер видел, как князь Андрей что-то спросил у нее, и она, вспыхнув, отвечала ему.

---

[1] удовольствие быть замеченною

[2] И Натали, надо признаться, к этому очень чувствительна

[3] между нами будь сказано... в стране нежного

[4] Вы знаете, между двоюродным братом и сестрой эта близость очень часто приводит к любви. Двоюродные — опасное дело. Не правда ли?

Но в это время Берг подошел к Пьеру, настоятельно упрашивая его принять участие в споре между генералом и полковником об испанских делах.

Берг был доволен и счастлив. Улыбка радости не сходила с его лица. Вечер был очень хорош и совершенно такой, как и другие вечера, которые он видел. Все было похоже. И дамские тонкие разговоры, и карты, и за картами генерал, возвышающий голос, и самовар, и печенье; но одного еще недоставало, того, что он всегда видел на вечерах, которым он желал подражать. Недоставало громкого разговора между мужчинами и спора о чем-нибудь важном и умном. Генерал начал этот разговор, и к нему-то Берг привлек Пьера.

XXII

На другой день князь Андрей поехал к Ростовым обедать, так как его звал граф Илья Андреич, и провел у них целый день.

Все в доме чувствовали, для кого ездил князь Андрей, и он, не скрывая, целый день старался быть с Наташей. Не только в душе Наташи, испуганной, но счастливой и восторженной, но во всем доме чувствовался страх перед чем-то важным, имеющим совершиться. Графиня печальными и серьезно-строгими глазами смотрела на князя Андрея, когда он говорил с Наташей, и робко и притворно начинала какой-нибудь ничтожный разговор, как скоро он оглядывался на нее. Соня боялась уйти от Наташи и боялась быть помехой, когда она была с ними. Наташа бледнела от страха ожидания, когда она на минуту оставалась с ним с глазу на глаз. Князь Андрей поражал ее своей робостью. Она чувствовала, что ему нужно было сказать ей что-то, но что он не мог на это решиться.

Когда вечером князь Андрей уехал, графиня подошла к Наташе и шепотом сказала:

— Ну что?

— Мама! ради Бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить, — сказала Наташа.

Но несмотря на то, в этот вечер Наташа, то взволнованная, то испуганная, с останавливающимися глазами лежала долго в постели матери. То она рассказывала ей, как он хвалил ее, то, как он говорил, что поедет за границу, то, что он спрашивал, где они будут жить это лето, то, как он спрашивал ее про Бориса.

— Но такого, такого... со мной никогда не бывало! — говорила она. — Только мне страшно при нем, мне всегда страшно при нем, что это значит? Значит, что это настоящее, да? Мама, вы спите?

— Нет, душа моя, мне самой страшно, — отвечала мать. — Иди.

— Все равно я не буду спать. Что за глупости спать! Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало! — говорила она с удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе. — И могли ли мы думать!..

Наташе казалось, что еще когда она в первый раз увидала князя Андрея в Отрадном, она влюбилась в него. Ее как будто пугало это странное, неожиданное счастье, что тот, кого она выбрала еще тогда (она твердо была уверена в этом), что тот

самый теперь опять встретился ей и, как кажется, неравнодушен к ней. «И надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург. И надо было нам встретиться на этом бале. Все это судьба. Ясно, что это судьба, что все это велось к этому. Еще тогда, как только я увидала его, я почувствовала что-то особенное».

— Что ж он тебе еще говорил? Какие стихи-то эти? Прочти... — задумчиво сказала мать, спрашивая про стихи, которые князь Андрей написал в альбом Наташе.

— Мама, это не стыдно, что он вдовец?

— Полно, Наташа. Молись Богу. Les mariages se font dans les cieux [1]1.

— Голубушка мамаша, как я вас люблю, как мне хорошо! — крикнула Наташа, плача слезами счастья и волнения и обнимая мать.

В это же самое время князь Андрей сидел у Пьера и говорил ему о своей любви к Наташе и твердо взятом намерении жениться на ней.

В этот день у графини Елены Васильевны был раут, был французский посланник, был принц, сделавшийся с недавнего времени частым посетителем дома графини, и много блестящих дам и мужчин. Пьер был внизу, прошелся по залам и поразил всех гостей своим сосредоточенно-рассеянным и мрачным видом.

Пьер со времени бала чувствовал в себе приближение припадков ипохондрии и с отчаянным усилием старался бороться против них. Со времени сближения принца с его женою Пьер неожиданно был пожалован в камергеры, и с этого времени он стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе, и чаще ему стали приходить прежние мрачные мысли о тщете всего человеческого. В это же время замеченное им чувство между покровительствуемой им Наташей и князем Андреем, своей противоположностью между его положением и положением его друга, еще усиливало это мрачное настроение. Он одинаково старался избегать мыслей о своей жене и о Наташе и князе Андрее. Опять все ему казалось ничтожно в сравнении с вечностью, опять представлялся вопрос: к чему? И он дни и ночи заставлял себя трудиться над масонскими работами, надеясь отогнать приближение злого духа. Пьер в двенадцатом часу, выйдя из покоев графини, сидел у себя наверху перед столом в накуренной низкой комнате, в затасканном халате и переписывал подлинные шотландские акты, когда кто-то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей.

— А, это вы, — сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом. — А я вот работаю, — сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу.

Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, не замечая его печального лица, с эгоизмом счастия улыбнулся ему.

— Ну, душа моя, — сказал он, — я вчера хотел сказать тебе и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг.

[1] Браки совершаются на небесах

Пьер вдруг тяжело вздохнул и повалился своим тяжелым телом на диван подле князя Андрея.

— В Наташу Ростову, да? — сказал он.

— Да, да, в кого же? Никогда не поверил бы, но это чувство сильнее меня. Вчера я мучился, страдал, но и мученья этого я не отдам ни за что в мире. Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня?.. Я стар для нее... Что ты не говоришь?..

— Я? Я? Что я говорил вам, — вдруг сказал Пьер, вставая и начиная ходить по комнате. — Я всегда это думал... Эта девушка такое сокровище, такое... Это редкая девушка... Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь, женитесь, женитесь и женитесь... И я уверен, что счастливее вас не будет человека.

— Но она?

— Она любит вас.

— Не говори вздору... — сказал князь Андрей, улыбаясь и глядя в глаза Пьеру.

— Любит, я знаю, — сердито закричал Пьер.

— Нет, слушай, — сказал князь Андрей, останавливая его за руку. — Ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому-нибудь.

— Ну, ну, говорите, я очень рад, — говорил Пьер, и действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась, и он радостно слушал князя Андрея. Князь Андрей казался и был совсем другим, новым человеком. Где была его тоска, его презрение к жизни, его разочарованность? Пьер был единственный человек, перед которым он решался высказаться; но за то ему он уже высказывал все, что у него было на душе. То он легко и смело делал планы на продолжительное будущее, говорил о том, как он не может пожертвовать своим счастьем для каприза своего отца, как он заставит отца согласиться на этот брак и полюбить ее или обойдется без его согласия, то он удивлялся, как на что-то странное, чуждое, от него не зависящее, на то чувство, которое владело им.

— Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить, — говорил князь Андрей. — Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она, и там все счастье, надежда, свет; другая половина — все, где ее нет, там все уныние и темнота...

— Темнота и мрак, — повторил Пьер, — да, да, я понимаю это.

— Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня? Я знаю, что ты рад за меня.

— Да, да, — подтверждал Пьер, умиленными и грустными глазами глядя на своего друга. Чем светлее представлялась ему судьба князя Андрея, тем мрачнее представлялась своя собственная.

XXIII

Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу.

Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто-нибудь хотел изменить жизнь, вносить в нее что-нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», — говорил себе старик. С сыном, однако, он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил все дело:

Во-первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во-вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В-третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В-четвертых, наконец, сказал отец, насмешливо глядя на сына, «я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца для князь Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись. И это последнее мое слово, знай, последнее...» — кончил князь таким тоном, которым показывал, что ничто не заставит его изменить свое решение.

Князь Андрей ясно видел, что старик надеялся, что чувство его или его будущей невесты не выдержит испытания года или что он сам, старый князь, умрет к этому времени, и решил исполнить волю отца: сделать предложение и отложить свадьбу на год.

Через три недели после своего последнего вечера у Ростовых князь Андрей вернулся в Петербург.

На другой день после своего объяснения с матерью Наташа ждала целый день Болконского, но он не приехал. На другой, на третий день было то же, Пьер также не приезжал, и Наташа, не зная того, что князь Андрей уехал к отцу, не могла объяснить его отсутствия.

Так прошли три недели. Наташа никуда не хотела выезжать, и, как тень, праздная и унылая, ходила по комнатам, вечером тайно от всех плакала и не являлась по вечерам к матери. Она беспрестанно краснела и раздражалась. Ей казалось, что все знают о ее разочаровании, смеются и жалеют о ней. При всей силе внутреннего горя, это тщеславное горе усиливало ее несчастие.

Однажды она пришла к графине, хотела что-то сказать ей и вдруг заплакала. Слезы ее были слезы обиженного ребенка, который сам не знает, за что он наказан. Графиня стала успокоивать Наташу. Наташа, вслушивавшаяся сначала в слова матери, вдруг прервала ее:

— Перестаньте, мама, я и не думаю и не хочу думать! Так, поездил, и перестал, и перестал...

Голос ее задрожал, она чуть не заплакала, но оправилась и спокойно продолжала:

— И совсем я не хочу выходить замуж. И я его боюсь; я теперь совсем, совсем успокоилась...

На другой день после этого разговора Наташа надела то старое платье, которое было ей особенно известно за доставляемую им по утрам веселость, и с утра начала тот свой прежний образ жизни, от которого она отстала после бала. Она, напившись

чаю, пошла в залу, которую она особенно любила за сильный резонанс, и начала петь свои солфеджи (упражнения пения). Окончив первый урок, она остановилась на середине залы и повторила одну музыкальную фразу, особенно понравившуюся ей. Она прислушалась радостно к той (как будто неожиданной для нее) прелести, с которою эти звуки, переливаясь, наполнили всю пустоту залы и медленно замерли, и ей вдруг стало весело. «Что об этом думать много, и так хорошо», — сказала она себе и стала взад и вперед ходить по зале, ступая не простыми шагами по звонкому паркету, но на всяком шагу переступая с каблучка (на ней были новые, любимые башмаки) на носок, и так же радостно, как и к звукам своего голоса, прислушиваясь к этому мерному топоту каблучка и поскрипыванию носка. Проходя мимо зеркала, она заглянула в него. «Вот она я! — как будто говорило выражение ее лица при виде себя. — Ну, и хорошо. И никого мне не нужно».

Лакей хотел войти, чтобы убрать что-то в зале, но она не пустила его, опять, затворив за ним дверь, продолжала свою прогулку. Она возвратилась в это утро опять к своему любимому состоянию любви к себе и восхищения перед собою. «Что за прелесть эта Наташа! — сказала она опять про себя словами какого-то третьего, собирательного мужского лица. — Хороша, голос, молода, и никому она не мешает, оставьте только ее в покое». Но сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна и тотчас же почувствовала это.

В передней отворилась дверь подъезда, кто-то спросил: дома ли? — и послышались чьи-то шаги. Наташа смотрелась в зеркало, но она не видала себя. Она слушала звуки в передней. Когда она увидала себя, лицо ее было бледно. Это был он. Она это верно знала, хотя чуть слышала звук его голоса из затворенных дверей.

Наташа, бледная и испуганная, вбежала в гостиную.

— Мама, Болконский приехал! — сказала она. — Мама, это ужасно, это несносно! Я не хочу... мучиться! Что же мне делать?..

Еще графиня не успела ответить ей, как князь Андрей с тревожным и серьезным лицом вошел в гостиную. Как только он увидал Наташу, лицо его просияло. Он поцеловал руку графини и Наташи и сел подле дивана...

— Давно уже мы не имели удовольствия... — начала было графиня, но князь Андрей перебил ее, отвечая на ее вопрос и, очевидно, торопясь сказать то, что ему было нужно.

— Я не был у вас все это время, потому что был у отца: мне нужно было переговорить с ним о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся, — сказал он, взглянув на Наташу. — Мне нужно переговорить с вами, графиня, — прибавил он после минутного молчания.

Графиня, тяжело вздохнув, опустила глаза.

— Я к вашим услугам, — проговорила она.

Наташа знала, что ей надо уйти, но она не могла этого сделать: что-то сжимало! ей горло, и она неучтиво, прямо, открытыми глазами смотрела на князя Андрея.

«Сейчас? Сию минуту!.. Нет, это не может быть!» — думала она.

Он опять взглянул на нее, и этот взгляд убедил ее в том, что она не ошиблась. Да, сейчас, сию минуту решалась ее судьба.

— Поди, Наташа, я позову тебя, — сказала графиня шепотом.

Наташа испуганными, умоляющими глазами взглянула на князя Андрея и на мать и вышла.

— Я приехал, графиня, просить руки вашей дочери, — сказал князь Андрей.

Лицо графини вспыхнуло, но она ничего не сказала.

— Ваше предложение... — степенно начала графиня. Он молчал, глядя ей в глаза. — Ваше предложение... (она сконфузилась) нам приятно, и... я принимаю ваше предложение, я рада. И муж мой... я надеюсь... но от нее самой будет зависеть...

— Я скажу ей тогда, когда буду иметь ваше согласие... даете ли вы мне его? — сказал князь Андрей.

— Да, — сказала графиня и протянула ему руку и с смешанным чувством отчужденности и нежности прижалась губами к его лбу, когда он наклонился над ее рукой. Она желала любить его, как сына; но чувствовала, что он был чужой и страшный для нее человек.

— Я уверена, что мой муж будет согласен, — сказала графиня, — но ваш батюшка...

— Мой отец, которому я сообщил свои планы, непременным условием согласия положил то, чтобы свадьба была не раньше года. И это-то я хотел сообщить вам, — сказал князь Андрей.

— Правда, что Наташа еще молода, но — так долго!

— Это не могло быть иначе, — со вздохом сказал князь Андрей.

— Я пошлю вам ее, — сказала графиня и вышла из комнаты.

— Господи, помилуй нас, — твердила она, отыскивая дочь. Соня сказала, что Наташа в спальне. Наташа сидела на своей кровати, бледная, с сухими глазами, смотрела на образ и, быстро крестясь, шептала что-то. Увидав мать, она вскочила и бросилась к ней.

— Что? мама?.. Что?

— Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, — сказала графиня холодно, как показалось Наташе... — Поди... поди, — проговорила мать с грустью и укоризной вслед убегавшей дочери и тяжело вздохнула.

Наташа не помнила, как она вошла в гостиную. Войдя в дверь и увидав его, она остановилась. «Неужели этот чужой человек сделался теперь все для меня?» — спросила она себя и мгновенно ответила: «Да, все: он один теперь дороже для меня всего на свете». Князь Андрей подошел к ней, опустив глаза.

— Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться?

Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь».

Она приблизилась к нему и остановилась. Он взял ее руку и поцеловал.

— Любите ли вы меня?

— Да, да, — как будто с досадой проговорила Наташа, громко вздохнула, другой раз, чаще и чаще, и зарыдала.

— О чем? Что с вами?

— Ах, я так счастлива, — отвечала она, улыбнулась сквозь слезы, нагнулась ближе к нему, подумала секунду, как будто спрашивая себя, можно ли это, и поцеловала его.

Князь Андрей держал ее руку, смотрел ей в глаза и не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернулось что-то: не было прежней поэтической и таинственной прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости, был страх перед ее преданностью и доверчивостью, тяжелое и вместе радостное сознание долга, навеки связавшего его с нею. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее.

— Сказала ли вам maman, что это не может быть раньше года? — сказал князь Андрей, продолжая глядеть в ее глаза.

«Неужели это я, та девочка-ребенок (все так говорили обо мне), — думала Наташа, — неужели я теперь с этой минуты жена, равная этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим? Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить жизнию, теперь уж я большая, теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово? Да, что он спросил у меня?»

— Нет, — отвечала она, но она не понимала того, что он спрашивал.

— Простите меня, — сказал князь Андрей, — но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас. Вы не знаете себя.

Наташа с сосредоточенным вниманием слушала, стараясь понять смысл его слов, и не понимала.

— Как ни тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастие, — продолжал князь Андрей, — в этот срок вы поверите себя. Я прошу вас через год сделать мое счастие; но вы свободны: помолвка наша останется тайной, и ежели вы убедились бы, что вы не любите меня, или полюбили бы... — сказал князь Андрей с неестественной улыбкой.

— Зачем вы это говорите? — перебила его Наташа. — Вы знаете, что с того самого дня, как вы в первый раз приехали в Отрадное, я полюбила вас, — сказала она, твердо уверенная, что она говорила правду.

— В год вы узнаете себя...

— Це-лый год! — вдруг сказала Наташа, теперь только поняв то, что свадьба отсрочена на год. — Да отчего ж год? Отчего ж год?.. — Князь Андрей стал ей объяснять причины этой отсрочки. Наташа не слушала его.

— И нельзя иначе? — спросила она. Князь Андрей ничего не ответил, но в лице выразил невозможность изменить это решение.

— Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно! — вдруг заговорила Наташа, и опять зарыдала. — Я умру, дожидаясь года: это нельзя, это ужасно. — Она взглянула в лицо своего жениха и увидала в нем выражение сострадания и недоумения.

— Нет, нет, я все сделаю, — сказала она, вдруг остановив слезы, — я так счастлива!

Отец и мать вошли в комнату и благословили жениха и невесту.

С этого дня князь Андрей женихом стал ездить к Ростовым.

XXIV

Обручения не было, и никому не было объявлено о помолвке Болконского с Наташей; на этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собою разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом; но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день у Ростовых, но не как жених обращался с Наташей: он говорил ей вы и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие, чем прежде, близкие, простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. И он и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще ничем; теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами: тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем; он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостию уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится, и что никто не должен бояться его. После нескольких дней в семействе к нему привыкли и, не стесняясь, вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом, и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрее удивлялись тому, как все это случилось и как очевидны были предзнаменования этого: и приезд князя Андрея в Отрадное, и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805-м году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними.

В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто, сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, все так же молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними.

— Отчего? — испуганно сказала Наташа...

— Я не могу отнять его у деда, и потом...

— Как бы я его любила! — сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль, — но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня.

Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя

на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя; «Что он ищет во мне? Чего-то он добивается своим взглядом? Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила в свойственное ей безумно-веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее.

Накануне своего отъезда из Петербурга князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним.

— Вы ведь давно знаете Безухова? — спросил он. — Вы любите его?

— Да, он славный, но смешной очень.

И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него.

— Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, — сказал князь Андрей. — Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали, — сказал он вдруг серьезно, — я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю... Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, — что бы ни случилось с вами, когда меня не будет...

— Что ж случится?..

— Какое бы горе ни было, — продолжал князь Андрей, — я вас прошу, mademoiselle Sophie, что бы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце.

Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставанье с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку.

— Не уезжайте! — только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала; но несколько дней она, не плача, сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: «Ах, зачем он уехал!»

Но через две недели после его отъезда она, так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, но только с измененной нравственной физиономией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.

XXV

Здоровье и характер князя Николая Андреевича Болконского в этот последний год после отъезда сына очень ослабели. Он сделался еще более раздражителен, чем прежде, и все вспышки его беспричинного гнева большей частью обрушивались на княжну Марью. Он как будто старательно изыскивал все самые больные места ее, чтобы как можно жесточе нравственно мучить ее. У княжны Марьи были две страсти и потому две радости: племянник Николушка и религия, и обе были любимыми темами нападений и насмешек князя. О чем бы ни говорили, он сводил разговор на суеверия старых девок или на баловство и порчу детей. «Тебе хочется его (Николушку) сделать такой же старой девкой, как сама; напрасно: князю Андрею нужно сына, а не девку», — говорил он. Или, обращаясь к mademoiselle Bourienne, он спрашивал ее при княжне Марье, как ей нравятся наши попы и образа, и шутил...

Он беспрестанно больно оскорблял княжну Марью, но дочь даже не делала усилий над собой, чтобы прощать его. Разве мог бы он быть виноват перед нею, и разве мог отец ее, который (она все-таки знала это) любил ее, быть с ней несправедливым? Да и что такое справедливость? Княжна никогда не думала об этом гордом слове: справедливость. Все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе — в законе любви и самоотвержения, преподанном нам тем, который с любовью страдал за человечество, когда сам он — Бог. Что ей было за дело до справедливости или несправедливости других людей? Ей надо было самой страдать и любить, и это она делала.

Зимою в Лысые Горы приезжал князь Андрей, был весел, кроток и нежен, каким его давно не видала княжна Марья. Она предчувствовала, что с ним случилось что-то, но он ничего не сказал княжне Марье о своей любви. Перед отъездом князь Андрей долго беседовал о чем-то с отцом, и княжна Марья заметила, что перед отъездом оба были недовольны друг другом.

Вскоре после отъезда князя Андрея княжна Марья писала из Лысых Гор в Петербург своему другу Жюли Карагиной, которую княжна Марья мечтала, как мечтают всегда девушки, выдать за своего брата и которая в это время была в трауре по случаю смерти своего брата, убитого в Турции.

«Горести, видно, общий удел наш, милый и нежный друг Julie.

Ваша потеря так ужасна, что я иначе не могу себе объяснить ее, как особенной милостью Бога, который хочет испытать — любя вас — вас и вашу превосходную мать. Ах, мой друг, религия, и только одна религия, может нас уже не говорю утешить, но избавить от отчаяния; одна религия может объяснить нам то, чего без ее помощи не может понять человек: для чего, зачем существа добрые, возвышенные, умеющие находить счастие в жизни, никому не только не вредящие, но необходимые для счастия других, — призываются к Богу, а остаются жить злые, бесполезные, вредные или такие, которые в тягость себе и другим. Первая смерть, которую я видела и которую никогда не забуду, — смерть моей милой невестки, произвела на меня такое

впечатление. Точно так же, как и вы спрашиваете судьбу, для чего было умирать вашему прекрасному брату, точно так же спрашивала я, для чего было умирать этому ангелу — Лизе, которая не только не сделала какого-нибудь зла человеку, но никогда, кроме добрых мыслей, не имела в своей душе. И что ж, мой друг? вот прошло с тех пор пять лет, и я, с своим ничтожным умом, уже начинаю ясно понимать, для чего ей нужно было умереть и каким образом эта смерть была только выражением бесконечной благости Творца, все действия которого, хотя мы их большею частью не понимаем, суть только проявления его бесконечной любви к своему творению. Может быть, я часто думаю, она была слишком ангельски невинна для того, чтоб иметь силу перенести все обязанности матери. Она была безупречна как молодая жена; может быть, она не могла бы быть такою матерью. Теперь, мало того, что она оставила нам, и в особенности князю Андрею, самое чистое сожаление и воспоминание, она там, вероятно, получит то место, которого я не смею надеяться для себя. Но, не говоря уже о ней одной, эта ранняя и страшная смерть имела самое благотворное влияние, несмотря на всю печаль, на меня и на брата. Тогда, в минуту потери, эти мысли не могли прийти мне; тогда я с ужасом отогнала бы их, но теперь это так ясно и несомненно. Пишу все это вам, мой друг, только для того, чтоб убедить вас в евангельской истине, сделавшейся для меня жизненным правилом: ни один волос с головы нашей не упадет без его воли. А воля его руководствуется только одною беспредельною любовью к нам, и потому все, что ни случается с нами, все для нашего блага. Вы спрашиваете, проведем ли мы следующую зиму в Москве? Несмотря на все желание вас видеть, не думаю и не желаю этого. И вы удивитесь, что причиною тому Буонапарте. И вот почему: здоровье отца моего заметно слабеет: он не может переносить противоречий и делается раздражителен. Раздражительность эта, как вы знаете, обращена преимущественно на политические дела. Он не может перенести мысли о том, что Буонапарте ведет дело как с равными со всеми государями Европы и в особенности с нашим, внуком великой Екатерины! Как вы знаете, я совершенно равнодушна к политическим делам, но из слов моего отца и разговоров его с Михаилом Ивановичем, я знаю все, что делается в мире, и в особенности все почести, воздаваемые Буонапарте, которого, как кажется, еще только в Лысых Горах на всем земном шаре не признают ни великим человеком, ни еще меньше французским императором. И мой отец не может переносить этого. Мне кажется, что мой отец, преимущественно вследствие своего взгляда на политические дела и предвидя столкновения, которые у него будут вследствие его манеры, не стесняясь ни с кем высказывать свои мнения, неохотно говорит о поездке в Москву. Все, что он выиграет от лечения, он потеряет вследствие споров о Буонапарте, которые неминуемы. Во всяком случае, это решится очень скоро. Семейная жизнь наша идет по-старому, за исключением присутствия брата Андрея. Он, как я уже писала вам, очень изменился последнее время. После его горя он теперь только, в нынешнем году, совершенно нравственно ожил. Он стал таким, каким я его знала ребенком: добрым, нежным, с тем золотым сердцем, которому я не знаю равного. Он понял, как мне кажется, что жизнь для него не кончена. Но вместе с этою

нравственной переменой он физически очень ослабел. Он стал худее, чем прежде, нервнее. Я боюсь за него и рада, что он предпринял эту поездку за границу, которую доктора уже давно предписывали ему. Я надеюсь, что это поправит его. Вы мне пишете, что в Петербурге о нем говорят как об одном из самых деятельных, образованных и умных молодых людей. Простите за самолюбие родства — я никогда в этом не сомневалась. Нельзя счесть добро, которое он здесь сделал всем, начиная от своих мужиков и до дворян. Приехав в Петербург, он взял только то, что ему следовало. Удивляюсь, каким образом вообще доходят слухи из Петербурга в Москву, и особенно такие неверные, как тот, о котором вы мне пишете, — слух о мнимой женитьбе брата на маленькой Ростовой. Я не думаю, чтоб Андрей когда-нибудь женился на ком бы то ни было и в особенности на ней. И вот почему: во-первых, я знаю, что хотя он и редко говорит о покойной жене, но печаль этой потери слишком глубоко вкоренилась в его сердце, чтобы когда-нибудь он решился дать ей преемницу и мачеху нашему маленькому ангелу. Во-вторых, потому, что, сколько я знаю, эта девушка совсем не из того разряда женщин, которые могут нравиться князю Андрею. Не думаю, чтобы князь Андрей выбрал ее своею женою, и откровенно скажу: я не желаю этого. Но я заболталась, кончаю свой второй листок. Прощайте, мой милый друг; да сохранит вас Бог под своим святым и могучим покровом. Моя милая подруга, mademoiselle Bourienne, целует вас.

Мари».

XXVI

В середине лета княжна Марья получила неожиданное письмо от князя Андрея из Швейцарии, в котором он сообщал ей странную и неожиданную новость. Князь Андрей объявлял о своей помолвке с Ростовой. Все письмо его дышало любовной восторженностью к своей невесте и нежной дружбой и доверием к сестре. Он писал, что никогда он не любил так, как любит теперь, и что теперь только понял и узнал жизнь. Он просил сестру простить его за то, что в свой приезд в Лысые Горы он ничего не сказал ей об этом решении, хотя и говорил об этом с отцом. Он не сказал ей этого потому, что княжна Марья стала бы просить отца дать свое согласие и, не достигнув бы цели, раздражила бы отца и на себе бы понесла всю тяжесть его неудовольствия. Впрочем, писал он, тогда еще дело было не так окончательно решено, как теперь.

«Тогда отец назначил мне срок год, и вот уже шесть месяцев, половина, прошло из назначенного срока, и я остаюсь более чем когда-нибудь тверд в своем решении. Ежели бы доктора не задерживали меня здесь на водах, я бы сам был в России, но теперь возвращение мое я должен отложить еще на три месяца. Ты знаешь меня и мои отношения с отцом. Мне ничего от него не нужно, я был и буду всегда независим, но сделать противное его воле, заслужить его гнев, когда, может быть, так недолго осталось ему быть с нами, разрушило бы наполовину мое счастие. Я пишу теперь ему письмо о том же и прошу тебя, выбрав добрую минуту, передать ему письмо и известить меня о том, как он смотрит на все это и есть ли надежда на то, чтоб он согласился сократить срок на три месяца».

После многих колебаний, сомнений и молитв княжна Марья передала письмо отцу. На другой день старый князь сказал ей спокойно:

— Напиши брату, чтобы подождал, пока умру... Не долго — скоро развяжу...

Княжна хотела возразить что-то, но отец не допустил ее и стал все более и более возвышать голос.

— Женись, женись, голубчик... Родство хорошее!.. Умные люди, а? Богатые, а? Да. Хороша у Николушки мачеха будет. Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра. Мачеха Николушки будет — она, а я на Бурьенке женюсь!.. Ха, ха, ха, и ему чтобы без мачехи не быть! Только одно, в моем доме больше баб не нужно; пускай женится, сам по себе живет. Может, и ты к нему переедешь? — обратился он к княжне Марье. — С Богом, по морозцу, по морозцу... по морозцу!..

После этой вспышки князь не говорил больше ни разу об этом деле. Но сдержанная досада за малодушие сына выразилась в отношениях отца с дочерью. К прежним предлогам насмешек прибавился еще новый — разговор о мачехе и любезности к m-lle Bourienne.

— Отчего же мне на ней не жениться? — говорил он дочери. — Славная княгиня будет! — И в последнее время, к недоуменью и удивленью своему, княжна Марья стала замечать, что отец ее действительно начинал больше и больше приближать к себе француженку. Княжна Марья написала князю Андрею о том, как отец принял его письмо; но утешала брата, подавая надежду примирить отца с этою мыслью.

Николушка и его воспитание, André и религия были утешениями и радостями княжны Марьи; но, кроме того, так как каждому человеку нужны свои личные надежды, у княжны Марьи была в самой глубокой тайне ее души скрытая мечта и надежда, доставлявшая ей главное утешение в ее жизни. Утешительную мечту и надежду эту дали ей Божьи люди — юродивые и странники, посещавшие ее тайно от князя. Чем больше жила княжна Марья, чем больше испытывала она жизнь и наблюдала ее, тем более удивляла ее близорукость людей, ищущих здесь, на земле, наслаждений и счастья; трудящихся, страдающих, борющихся и делающих зло друг другу для достижения этого невозможного, призрачного и порочного счастия. «Князь Андрей любил жену, она умерла, ему мало этого, он хочет связать свое счастие с другой женщиной. Отец не хочет этого, потому что желает для Андрея более знатного и богатого супружества. И все они борются, и страдают, и мучают, и портят свою душу, свою вечную душу, для достижения благ, которым срок есть мгновенье. Мало того, что мы сами знаем это, — Христос, сын Бога, сошел на землю и сказал нам, что эта жизнь есть мгновенная жизнь, испытание, а мы всё держимся за нее и думаем в ней найти счастье. Как никто не понял этого? — думала княжна Марья. — Никто, кроме этих презренных Божьих людей, которые с сумками за плечами приходят ко мне с заднего крыльца, боясь попасться на глаза князю, и не для того, чтобы не пострадать от него, а для того, чтобы его не ввести в грех. Оставить семью, родину, все заботы о мирских благах для того, чтобы, не прилепляясь ни к чему, ходить в посконном рубище, под чужим именем с места на место, не делая вреда людям и молясь за них, молясь и за тех, которые гонят, и за тех, которые покровительствуют: выше этой истины и жизни нет истины и жизни!»

Была одна странница, Федосьюшка, пятидесятилетняя маленькая, тихонькая, рябая женщина, ходившая уже более тридцати лет босиком и в веригах. Ее особенно любила княжна Марья. Однажды, когда в темной комнате, при свете одной лампадки, Федосьюшка рассказывала о своей жизни, княжне Марье вдруг с такой силой пришла мысль о том, что Федосьюшка одна нашла верный путь жизни, что она решилась сама пойти странствовать. Когда Федосьюшка ушла спать, княжна Марья долго думала над этим и, наконец, решила, что, как ни странно это было, ей надо было идти странствовать. Она поверила свое намерение только одному духовнику-монаху, отцу Акинфию, и духовник одобрил ее намерение. Под предлогом подарка странницам, княжна Марья припасла себе полное одеяние странницы: рубашку, лапти, кафтан и черный платок. Часто, подходя к заветному комоду, княжна Марья останавливалась в нерешительности о том, не наступило ли уже время для приведения в исполнение ее намерения.

Часто, слушая рассказы странниц, она возбуждалась их простыми, для них механическими, а для нее полными глубокого смысла речами, так что она была несколько раз готова бросить все и бежать из дому. В воображении своем она уже видела себя с Федосьюшкой в грубом рубище, шагающей с палочкой и котомочкой по пыльной дороге, направляя свое странствие без зависти, без любви человеческой, без желаний, от угодников к угодникам, и в конце концов туда, где нет ни печали, ни воздыхания, а вечная радость и блаженство.

«Приду к одному месту, помолюсь; не успею привыкнуть, полюбить — пойду дальше. И буду идти до тех пор, пока ноги подкосятся, и лягу и умру где-нибудь, и приду, наконец, в ту вечную, тихую пристань, где нет ни печали, ни воздыхания!..» — думала княжна Марья.

Но потом, увидав отца и особенно маленького Коко, она ослабевала в своем намерении, потихоньку плакала и чувствовала, что она грешница: любила отца и племянника больше, чем Бога.

Часть четвертая

I

Библейское предание говорит, что отсутствие труда — праздность — было условием блаженства первого человека до его падения. Любовь к праздности осталась та же и в падшем человеке, но проклятие все тяготеет над человеком, и не только потому, что мы в поте лица должны снискивать хлеб свой, но потому, что по нравственным свойствам своим мы не можем быть праздны и спокойны. Тайный голос говорит, что мы должны быть виновны за то, что праздны. Ежели бы мог человек найти состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой-то обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы.

Николай Ростов испытывал вполне это блаженство, после 1807 года продолжая служить в Павлоградском полку, в котором он уже командовал эскадроном, принятым от Денисова.

Ростов сделался загрубелым, добрым малым, которого московские знакомые нашли бы несколько mauvais genre[1], но который был любим и уважаем товарищами, подчиненными и начальством и который был доволен своею жизнью. В последнее время, т. е. в 1809 году, он чаще в письмах из дому находил сетования матери на то, что дела расстраиваются хуже и хуже и что пора бы ему приехать домой, обрадовать и успокоить стариков родителей.

Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести его из той среды, в которой он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в тот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с учетами управляющих, ссорами, интригами, с связями, с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Все это было страшно трудно, запутано, и он отвечал на письма матери холодными классическими письмами, начинавшимися: «Ma chère maman»[2] и кончавшимися: «votre obéissant fils»[3], умалчивая о том, когда он намерен приехать. В 1810 году он получил письма родных, в которых извещали его о помолвке Наташи с Болконским и о том, что свадьба будет через год, потому что старый князь не согласен. Это письмо огорчило, оскорбило Николая. Во-первых, ему жалко было потерять из дома Наташу, которую он любил больше всех из семьи; во-вторых, он с своей гусарской точки зрения жалел о том, что его не было при этом, потому что он бы показал этому Болконскому, что совсем не такая большая честь родство с ним и что ежели он любит Наташу, то может обойтись и без разрешения сумасбродного отца. Минуту он колебался, не попроситься ли в отпуск, чтоб увидеть Наташу невестой, но тут подошли маневры,

[1] дурного тона.
[2] Милая матушка.
[3] ваш послушный сын.

пришли соображения о Соне, о путанице, и Николай опять отложил. Но весной того же года он получил письмо матери, писавшей тайно от графа, и письмо это убедило его ехать. Она писала, что ежели Николай не приедет и не возьмется за дело, то все имение пойдет с молотка и все пойдут по миру. Граф так слаб, так вверился Митеньке, и так добр, и так все его обманывают, что все идет хуже и хуже. «Ради Бога, умоляю тебя, приезжай сейчас же, ежели ты не хочешь сделать меня и все твое семейство несчастными», — писала графиня.

Письмо это подействовало на Николая. У него был тот здравый смысл посредственности, который показывал ему, что было должно.

Теперь должно было ехать, если не в отставку, то в отпуск. Почему надо было ехать, он не знал; но, выспавшись после обеда, он велел оседлать серого Марса, давно не езженного и страшно злого жеребца, и, вернувшись на взмыленном жеребце домой, объявил Лаврушке (лакей Денисова остался у Ростова) и пришедшим вечером товарищам, что подает в отпуск и едет домой. Как ни трудно и странно было ему думать, что он уедет и не узнает из штаба того, что особенно интересно было ему, произведен ли он будет в ротмистры или получит Анну за последние маневры; как ни странно было думать, что он так и уедет, не продав графу Голуховскому тройку саврасых, которых польский граф торговал у него и которых Ростов на пари бил, что продаст за две тысячи; как ни непонятно казалось, что без него будет тот бал, который гусары должны были дать панне Пшаздецкой в пику уланам, дававшим бал своей панне Боржозовской, — он знал, что надо ехать из этого ясного, хорошего мира куда-то туда, где все было вздор и путаница. Через неделю вышел отпуск. Гусары, товарищи не только по полку, но и по бригаде, дали обед Ростову, стоивший с головы по пятнадцати рублей подписки, — играли две музыки, пели два хора песенников; Ростов плясал трепака с майором Басовым; пьяные офицеры качали, обнимали и уронили Ростова; солдаты третьего эскадрона еще раз качали его и кричали ура! Потом Ростова положили в сани и проводили до первой станции.

До половины дороги, как это всегда бывает, от Кременчуга до Киева, все мысли Ростова были еще назади — в эскадроне; но перевалившись за половину, уже он начал забывать тройку саврасых, своего вахмистра и панну Боржозовску и беспокойно начал спрашивать себя о том, что и как он найдет в Отрадном. Чем ближе он подъезжал, тем сильнее, гораздо сильнее (как будто нравственное чувство было подчинено тому же закону притяжения обратно квадратам расстояний), он думал о своем доме; на последней перед Отрадным станции дал ямщику три рубля на водку и, как мальчик, задыхаясь, вбежал на крыльцо дома.

После восторгов встречи и после того странного чувства неудовлетворения в сравнении с тем, чего ожидаешь (все то же, к чему же я так торопился!), Николай стал вживаться в свой старый мир дома. Отец и мать были те же, они только немного постарели. Новое в них было какое-то беспокойство и иногда несогласие, которого не бывало прежде и которое, как скоро узнал Николай, происходило от дурного положения дел, Соне был уже двадцатый год. Она уже остановилась хорошеть,

ничего не обещала больше того, что в ней было; но и этого было достаточно. Она вся дышала счастьем и любовью с тех пор, как приехал Николай, и верная, непоколебимая любовь этой девушки радостно действовала на него. Петя и Наташа больше всех удивили Николая. Петя был уже большой, тринадцатилетний, красивый, весело и умно-шаловливый мальчик, у которого уже ломался голос. На Наташу Николай долго удивлялся и смеялся, глядя на нее.

— Совсем не та, — говорил он.

— Что ж, подурнела?

— Напротив, но важность какая-то. Княгиня? — сказал он ей шепотом.

— Да, да, да, — радостно говорила Наташа.

Наташа рассказала ему свой роман с князем Андреем, его приезд в Отрадное и показала его последнее письмо.

— Что ж, ты рад? — спрашивала Наташа. — Я так теперь спокойна, счастлива.

— Очень рад, — отвечал Николай. — Он отличный человек. Что ж, ты очень влюблена?

— Как тебе сказать, — отвечала Наташа, — я была влюблена в Бориса, в учителя, в Денисова, но это совсем не то. Мне покойно, твердо. Я знаю, что лучше его не бывает людей, и так мне спокойно, хорошо теперь. Совсем не так, как прежде...

Николай выразил Наташе свое неудовольствие в том, что свадьба была отложена на год; но Наташа с ожесточением напустилась на брата, доказывая ему, что это не могло быть иначе, что дурно бы было вступить в семью против воли отца, что она сама этого хотела.

— Ты совсем, совсем не понимаешь, — говорила она. Николай замолчал и согласился с нею.

Брат часто удивлялся, глядя на нее. Совсем не было похоже, чтоб она была влюбленная невеста в разлуке с своим женихом. Она была ровна, спокойна, весела совершенно по-прежнему. Николая это удивляло и даже заставляло недоверчиво смотреть на сватовство Болконского. Он не верил в то, что ее судьба уже решена, тем более что он не видал с нею князя Андрея. Ему все казалось, что что-нибудь не то в этом предполагаемом браке.

«Зачем отсрочка? Зачем не обручились?» — думал он. Разговорившись раз с матерью о сестре, он, к удивлению своему и удовольствию отчасти, нашел, что мать точно так же в глубине души иногда недоверчиво смотрела на этот брак.

— Вот пишет, — говорила она, показывая сыну письмо князя Андрея с тем затаенным чувством недоброжелательства, которое всегда есть у матери против будущего супружеского счастия дочери, — пишет, что не приедет раньше декабря. Какое же это дело может задержать его? Верно, болезнь! Здоровье слабое очень. Ты не говори Наташе. Ты не смотри, что она весела: это уж последнее девичье время доживает, а я знаю, что с ней делается всякий раз, как письма его получает. А впрочем. Бог даст, все и хорошо будет, — заключала она всякий раз, — он отличный человек.

II

Первое время своего приезда Николай был серьезен и даже скучен. Его мучила предстоящая необходимость вмешаться в эти глупые дела хозяйства, для которых мать вызвала его. Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего приезда он сердито, не отвечая Наташе на вопрос, куда он идет, пошел с нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него счеты всего. Что такое были эти счеты всего, Николай знал еще менее, чем пришедший в страх и недоумение Митенька. Разговор и учет Митеньки продолжался недолго. Староста, выборный и земский, дожидавшиеся в передней флигеля, со страхом и удовольствием слышали сначала, как загудел и затрещал как будто все возвышавшийся и возвышавшийся голос молодого графа, слышали ругательные и страшные слова, сыпавшиеся одно за другим.

— Разбойник! Неблагодарная тварь!.. изрублю собаку... не с папенькой... обворовал... ракалья.

Потом эти люди с не меньшим удовольствием и страхом видели, как молодой граф, весь красный, с налитыми кровью глазами, за шиворот вытащил Митеньку, ногой и коленкой с большой ловкостью в удобное время между своих слов толкнул его под зад и закричал: «Вон! чтоб духу твоего, мерзавец, здесь не было!»

Митенька стремглав слетел с шести ступень и убежал в клумбу. (Клумба эта была известным местом спасения преступников в Отрадном. Сам Митенька, приезжая пьяный из города, прятался в эту клумбу, и многие жители Отрадного, прятавшиеся от Митеньки, знали спасительную силу этой клумбы.)

Жена Митеньки и свояченицы с испуганными лицами высунулись в сени из дверей комнаты, где кипел чистый самовар и воздымалась приказчицкая высокая постель под стеганым одеялом, сшитым из коротких кусочков.

Молодой граф, задыхаясь, не обращая на них внимания, решительным шагом прошел мимо их и пошел в дом.

Графиня, узнавшая тотчас же через девушек о том, что произошло во флигеле, с одной стороны, успокоилась в том отношении, что теперь состояние их должно поправиться, с другой стороны, она беспокоилась о том, как перенесет это ее сын. Она подходила несколько раз на цыпочках к его двери, слушая, как он курил трубку за трубкой.

На другой день старый граф отозвал в сторону сына и с робкой улыбкой сказал ему:

— А знаешь ли ты, моя душа, напрасно погорячился! Мне Митенька рассказал все.

«Я знал, — подумал Николай, — что никогда ничего не пойму здесь, в этом дурацком мире».

— Ты рассердился, что он не вписал эти семьсот рублей. Ведь они у него написаны транспортом, а другую страницу ты не посмотрел.

— Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему.

— Нет, моя душа. (Граф был смущен тоже. Он чувствовал, что он был дурным распорядителем имения своей жены и виноват был перед своими детьми, но не знал, как поправить это.) Нет, я прошу тебя заняться делами, я стар, я...

— Нет, папенька, вы простите меня, ежели я сделал вам неприятное; я меньше вашего умею.

«Черт с ними, с этими мужиками, и деньгами, и транспортами по странице, — думал он. — Еще от угла на шесть кушей я понимал когда-то, но по странице транспорт — ничего не понимаю», — сказал он сам себе и с тех пор более не вступался в дела. Только однажды графиня позвала к себе сына, сообщила ему о том, что у нее есть вексель Анны Михайловны на две тысячи, и спросила у Николая, как он думает поступить с ним.

— А вот как, — отвечал Николай. — Вы мне сказали, что это от меня зависит; я не люблю Анну Михайловну и не люблю Бориса, но они были дружны с нами и бедны. Так вот как! — и он разорвал вексель, и этим поступком слезами радости заставил рыдать старую графиню. После этого молодой Ростов, уже не вступаясь более ни в какие дела, с страстным увлечением занялся еще новыми для него делами псовой охоты, которая в больших размерах была заведена у старого графа.

III

Уже были зазимки, утренние морозы заковывали смоченную осенними дождями землю, уже зеленя уклочились и ярко-зелено отделялись от полос буреющего, выбитого скотом, озимого и светло-желтого ярового жнивья с красными полосами гречихи. Вершины и леса, в конце августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами, стали золотистыми и ярко-красными островками посреди ярко-зеленых озимей. Русак уже до половины затерся (перелинял), лисьи выводки начинали разбредаться, и молодые волки были больше собаки. Было лучшее охотничье время. Собаки горячего молодого охотника Ростова уже не только вошли в охотничье тело, но и подбились так, что в общем совете охотников решено было три дня дать отдохнуть собакам и 16 сентября идти в отъезд, начиная с Дубравы, где был нетронутый волчий выводок.

В таком положении были дела 14-го сентября.

Весь этот день охота была дома; было морозно и колко, но с вечера стало замолаживать и оттеплело. 15 сентября, когда молодой Ростов утром в халате выглянул в окно, он увидал такое утро, лучше которого ничего не могло быть для охоты: как будто небо таяло и без ветра спускалось на землю. Единственное движение, которое было в воздухе, было тихое движение сверху вниз спускающихся микроскопических капель мги или тумана. На оголившихся ветвях сада висели прозрачные капли и падали на только что свалившиеся листья. Земля на огороде, как мак, глянцевито-мокро чернела и в недалеком расстоянии сливалась с тусклым и влажным покровом тумана. Николай вышел на мокрое с натасканной грязью крыльцо; пахло вянущим листом и собаками. Черно-пегая широкозадая сука Милка с большими черными навыкате глазами, увидав хозяина, встала, потянулась назад и

легла по-русачьи, потом неожиданно вскочила и лизнула его прямо в нос и усы. Другая борзая собака, увидав хозяина с цветной дорожки, выгибая спину, стремительно бросилась к крыльцу и, подняв правѝло (хвост), стала тереться о ноги Николая.

— О гой! — послышался в это время тот неподражаемый охотничий подклик, который соединяет в себе и самый глубокий бас и самый тонкий тенор; и из-за угла вышел доезжачий и ловчий Данило, по-украински в скобку обстриженный, седой, морщинистый охотник, с гнутым арапником в руке и с тем выражением самостоятельности и презрения ко всему в мире, которое бывает только у охотников. Он снял свою черкесскую шапку перед барином и презрительно посмотрел на него. Презрение это не было оскорбительно для барина: Николай знал, что этот все презирающий и превыше всего стоящий Данило все-таки был его человек и охотник.

— Данила! — сказал Николай, робко чувствуя, что при виде этой охотничьей погоды, этих собак и охотника его уже обхватило то непреодолимое охотничье чувство, в котором человек забывает все прежние намерения, как человек влюбленный в присутствии своей любовницы.

— Что прикажете, ваше сиятельство? — спросил протодиаконский, охриплый от порсканья бас, и два черные блестящие глаза взглянули исподлобья на замолчавшего барина. «Что, или не выдержишь?» — как будто сказали эти два глаза.

— Хорош денек, а? И гоньба и скачка, а? — сказал Николай, чеша за ушами Милку.

Данило не отвечал и помигал глазами.

— Уварку посылал послушать на заре, — сказал его бас после минутного молчанья, — сказывал, в отрадненский заказ перевела, там выли. (Перевела значило то, что волчица, про которую они оба знали, перешла с детьми в отрадненский лес, который был за две версты от дома и который был небольшое отъемное место.)

— А ведь ехать надо? — сказал Николай. — Приди-ка ко мне с Уваркой.

— Как прикажете!

— Так погоди же кормить.

— Слушаю.

Через пять минут Данило с Уваркой стояли в большом кабинете Николая. Несмотря на то, что Данило был невелик ростом, видеть его в комнате производило впечатление, подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни, Данило сам это чувствовал и, как обыкновенно, стоял у самой двери, стараясь говорить тише, не двигаться, чтобы не поломать как-нибудь господских покоев, и стараясь поскорее все высказать и выйти на простор из-под потолка под небо.

Окончив расспросы и выпытав сознание Данилы, что собаки ничего (Даниле и самому хотелось ехать), Николай велел седлать. Но только что Данило хотел выйти, как в комнату вошла быстрыми шагами Наташа, еще не причесанная и не одетая, в большом нянином платке. Петя вбежал вместе с ней.

— Ты едешь? — сказала Наташа. — Я так и знала! Соня говорила, что не поедете. Я знала, что нынче такой день, что нельзя не ехать.

— Едем, — неохотно отвечал Николай, которому нынче, так как он намеревался предпринять серьезную охоту за волками, не хотелось брать Наташу и Петю. — Едем, да только за волками: тебе скучно будет.

— Ты знаешь, что это самое большое мое удовольствие, — сказала Наташа. — Это дурно — сам едет, велел седлать, а нам ничего не сказал.

— Тщетны россам все препоны, едем! — прокричал Петя.

— Да ведь тебе и нельзя: маменька сказала, что тебе нельзя, — сказал Николай, обращаясь к Наташе.

— Нет, я поеду, непременно поеду, — сказала решительно Наташа. — Данила, вели нам седлать, и Михайла чтобы выезжал с моей сворой, — обратилась она в ловчему.

И так-то быть в комнате Даниле казалось неприлично и тяжело, но иметь какое-нибудь дело с барышней — для него казалось невозможным. Он опустил глаза и поспешил выйти, как будто до него это не касалось, стараясь как-нибудь нечаянно не повредить барышню.

IV

Старый граф, всегда державший огромную охоту, теперь же передавший всю охоту в ведение сына, в этот день 15-го сентября, развеселившись, собрался сам тоже выехать.

Через час вся охота была у крыльца. Николай с строгим и серьезным видом, показывавшим, что некогда теперь заниматься пустяками, прошел мимо Наташи и Пети, которые что-то рассказывали ему. Он осмотрел все части охоты, послал вперед стаю и охотников в заезд, сел на своего рыжего донца и, подсвистывая собак своей своры, тронулся через гумно в поле, ведущее к отрадненскому заказу. Лошадь старого графа, игреневого меринка, называемого Вифлянкой, вел графский стремянный; сам же он должен был прямо на оставленный ему лаз выехать в дрожечках.

Всех гончих выведено было пятьдесят четыре собаки, под которыми доезжачими и выжлятниками выехало шесть человек. Борзятников, кроме господ, было восемь человек, за которыми рыскало более сорока борзых, так что с господскими сворами выехало в поле около ста тридцати собак и двадцати конных охотников.

Каждая собака знала хозяина и кличку. Каждый охотник знал свое дело, место и назначение. Как только вышли за ограду, все без шуму и разговоров, равномерно и спокойно растянулись по дороге и полю, ведшими к отрадненскому лесу.

Как по пушному ковру, шли по полю лошади, изредка шлепая по лужам, когда переходили через дороги. Туманное небо продолжало незаметно и равномерно спускаться на землю; в воздухе было тихо, тепло, беззвучно. Изредка слышались то подсвистывание охотника, то храп лошади, то удар арапником или взвизг собаки, не шедшей на своем месте.

Когда отъехали с версту, навстречу ростовской охоте из тумана показались еще пять всадников с собаками. Впереди ехал свежий, красивый старик с большими седыми усами.

— Здравствуйте, дядюшка! — сказал Николай, когда старик подъехал к нему.

— Чистое дело марш!.. Так и знал, — заговорил дядюшка (это был дальний родственник, небогатый сосед Ростовых), — так и знал, что не вытерпишь, и хорошо, что едешь. Чистое дело марш! (Это была любимая поговорка дядюшки.) Бери заказ сейчас, а то мой Гирчик донес, что Илагины с охотой в Корниках стоят; они у тебя — чистое дело марш! — под носом выводок возьмут.

— Туда и иду. Что же, свалить стаи? — спросил Николай. — Свалить...

Гончих соединили в одну стаю, и дядюшка с Николаем поехали рядом. Наташа, закутанная платками, из-под которых виднелось оживленное, с блестящими глазами лицо, подскакала к ним, сопутствуемая не отставшими от нее Петей и Михайлой-охотником и берейтором, который был приставлен нянькой при ней. Петя чему-то смеялся и бил и дергал свою лошадь. Наташа ловко и уверенно сидела на своем вороном Арабчике и верною рукой, без усилия, осадила его.

Дядюшка неодобрительно оглянулся на Петю и Наташу. Он не любил соединять баловство с серьезным делом охоты.

— Здравствуйте, дядюшка, и мы едем, — прокричал Петя.

— Здравствуйте-то здравствуйте, да собак не передавите, — строго сказал дядюшка.

Николенька, какая прелестная собака Трунила! он узнал меня, — сказала Наташа про свою любимую гончую собаку.

«Трунила, во-первых, не собака, а выжлец», — подумал Николай и строго взглянул на сестру, стараясь ей дать почувствовать то расстояние, которое их должно было разделять в эту минуту. Наташа поняла это.

— Вы, дядюшка, не думайте, чтобы мы помешали кому-нибудь, — сказала Наташа. — Мы станем на своем месте и не пошевелимся.

— И хорошее дело, графинечка, — сказал дядюшка. — Только с лошади-то не упадите, — прибавил он, — а то — чистое дело марш! — не на чем держаться-то.

Остров Отрадненского заказа виднелся саженях во ста, и доезжачие подходили к нему. Ростов, решив окончательно с дядюшкой, откуда бросать гончих, и указав Наташе место, где ей стоять и где никак ничего не могло побежать, направился в заезд над оврагом.

— Ну, племянничек, на матерого становишься, — сказал дядюшка, — чур, не гладить.

— Как придется, — отвечал Ростов. — Карай, фюит! — крикнул он, отвечая этим призывом на слова дядюшки. Карай был старый и уродливый бурдастый кобель, известный тем, что он в одиночку бирал матерого волка. Все стали по местам.

Старый граф, зная охотничью горячность сына, поторопился не опоздать, и еще не успели доезжачие подъехать к месту, как Илья Андреич, веселый, румяный, с трясущимися щеками, на своих вороненьких подкатил по зеленям к оставленному

ему лазу и, расправив шубку и надев охотничьи снаряды, влез на свою гладкую, сытую, смирную и добрую, поседевшую, как и он сам, Вифлянку. Лошадей с дрожками отослали. Граф Илья Андреич, хоть и не охотник по душе, но знавший твердо охотничьи законы, въехал в опушку кустов, от которых он стоял, разобрал поводья, оправился на седле и, чувствуя себя готовым, оглянулся, улыбаясь.

Подле него стоял его камердинер, старинный, но отяжелевший ездок, Семен Чекмарь. Чекмарь держал на своре трех лихих, но так же зажиревших, как хозяин и лошадь, волкодавов. Две собаки, умные, старые, улеглись без свор. Шагов на сто подальше в опушке стоял другой стремянный графа, Митька, отчаянный ездок и страстный охотник. Граф, по старинной привычке, выпил перед охотой серебряную чарку охотничьей запеканочки, закусил и запил полубутылкой своего любимого бордо.

Илья Андреич был немножко красен от вина и езды; глаза его, подернутые влагой, особенно блестели, и он, укутанный в шубку, сидя на седле, имел вид ребенка, которого собрали гулять.

Худой, со втянутыми щеками Чекмарь, устроившись с своими делами, поглядывал на барина, с которым он жил тридцать лет душа в душу, и, понимая его приятное расположение духа, ждал приятного разговора. Еще третье лицо подъехало осторожно (видно, уже оно было учено) из-за леса и остановилось позади графа. Лицо это был старик в седой бороде, в женском капоте и высоком колпаке. Это был шут Настасья Ивановна.

— Ну, Настасья Ивановна, — подмигивая ему, шепотом сказал граф, — ты только оттопай зверя, тебе Данило задаст.

— Я сам... с усам, — сказал Настасья Ивановна.

— Шшшш! — зашикал граф и обратился к Семену.

— Наталью Ильиничну видел? — спросил он у Семена. — Где она?

— Они с Петром Ильичом от Жаровых бурьянов стали, — отвечал Семен, улыбаясь. — Тоже дамы, а охоту большую имеют.

— А ты удивляешься, Семен, как она ездит... а? — сказал граф. — Хоть бы мужчине впору!

— Как не дивиться? Смело, ловко!

— А Николаша где? Над Лядовским верхом, что ли? — все шепотом спрашивал граф.

— Так точно-с. Уж они знают, где стать. Так тонко езду знают, что мы с Данилой другой раз диву даемся, — говорил Семен, зная, чем угодить барину.

— Хорошо ездит, а? А на коне-то каков, а?

— Картину писать! Как намеднись из Заварзинских бурьянов помкнули лису. Они перескакивать стали, от уймища, страсть — лошадь тысяча рублей, а седоку цены нет! Да, уж такого молодца поискать!

— Поискать... — повторил граф, видимо сожалея, что кончилась так скоро речь Семена. — Поискать, — сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку.

— Намедни как от обедни во всей регалии вышли, так Михаил-то Сидорыч... — Семен не договорил, услыхав ясно раздавшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. — На выводок натекли... — прошептал он, — прямо на Лядовской повели.

Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы; стая присоединилась к первым трем собакам, и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служит признаком гона по волку. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из-за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно-тонкий. Голос Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из-за леса и звучал далеко в поле.

Прислушавшись несколько секунд молча, граф и его стремянный убедились, что гончие разбились на две стаи: одна, большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться, другая часть стаи понеслась вдоль по лесу, мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель. Граф тоже вздохнул и, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть.

— Назад! — крикнул Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку. Настасья Ивановна слез и стал поднимать ее.

Граф и Семен смотрели на него. Вдруг, как это час-то бывает, звук гона мгновенно приблизился, как будто вот-вот перед ними самими были лающие рты собак и улюлюканье Данилы.

Граф оглянулся и направо увидал Митьку, который выкатывавшимися глазами смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ему вперед, на другую сторону.

— Береги! — закричал он таким голосом, что видно было, что это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. И поскакал, выпустив собак, по направлению к графу.

Граф и Семен выскакали из опушки и налево от себя увидали волка, который, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули и, сорвавшись со свор, понеслись к волку мимо ног лошадей.

Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам и, так же мягко переваливаясь, прыгнул раз, другой и, мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку. В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк. Вслед за гончими расступились кусты орешника и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком, валясь вперед, сидел Данило, без шапки, с седыми встрепанными волосами над красным, потным лицом.

— Улюлюлю, улюлю!.. — кричал он. Когда он увидал графа, в глазах его сверкнула молния.

— Ж...! — крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа.

— Про...ли волка-то!.. охотники! — И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял, оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. Но Семена уже не было: он, в объезд по кустам, заскакивал волка от засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами, и ни один охотник не перехватил.

V

Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих он чувствовал то, что́ совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где-нибудь травили и что что-нибудь случилось неблагополучное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить его. Надежда сменялась отчаянием. Несколько раз он обращался к Богу с мольбой о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что тебе стоит, — говорил он Богу, — сделать это для меня! Знаю, что ты велик и что грех тебя просить об этом; но, ради Бога, сделай, чтобы на меня вылез матерый и чтобы Карай, на глазах дядюшки, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из-за куста направо.

«Нет, не будет этого счастья, — думал Ростов, — а что бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» — думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидал, что по пустынному полю навстречу к нему бежало что-то. «Нет, это не может быть!» — подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье — и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам, и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седой спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал неторопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов, не дыша, оглянулся на собак.

Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках.

— Улюлюлю, — шепотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай дочесал свою ляжку и встал, насторожив уши, и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти.

«Пускать? не пускать?» — говорил сам себе Николай в то время, как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще, вероятно, никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и, слегка поворотив к охотнику голову, остановился — назад или вперед? «Э! все равно, вперед!..» — видно, как будто сказал он сам себе и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком.

— Улюлю!.. — не своим голосом закричал Николай, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины впоперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки. Николай не слыхал ни своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по лощине. Первая показалась вблизи зверя черно-пегая, широкозадая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе... вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и, вместо того чтобы наддать, как это она всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги.

— Улюлюлюлю! — кричал Николай.

Красный Любим выскочил из-за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту же секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему.

«Уйдет! Нет, это невозможно», — думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом.

— Карай! Улюлю!.. — кричал он, отыскивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду. Карай из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело скакал в сторону от зверя, наперерез ему. Но по быстроте скока волка и медленности скока собаки было видно, что расчет Карая был ошибочен. Николай уже не далеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волк уйдет наверное. Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти навстречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругий молодой длинный кобель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами — и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю.

— Караюшка! Отец!.. — плакал Николай...

Старый кобель, с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног, и наддал скоку. Но тут — Николай видел только, что что-то сделалось с Караем, — он мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ними.

Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из-под которых виднелась серая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держал его за горло), — минута, когда увидал это Николай, была счастливейшею минутою его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины. Волк ляскнул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай с ощетинившейся шерстью, вероятно, ушибленный или раненый, с трудом вылез из водомоины.

— Боже мой! За что?.. — с отчаянием закричал Николай.

Охотник дядюшки с другой стороны скакал наперерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили.

Николай, его стремянный, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюка́я, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился на зад, и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его.

Еще в начале этой травли Данило, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как Карай взял волка, и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и опять пошел наутек, Данило выпустил своего бурого не к волку, но прямой линией, к засеке, так же как Карай, — наперерез зверю. Благодаря этому направлению он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки.

Данило скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и, как цепом, молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого.

Николай не видал и не слыхал Данилы до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел, тяжело дыша, бурый, и он не услыхал звук паденья тела и не увидал, что Данило уже лежит в середине собак, на заду волка, стараясь поймать его за уши. Очевидно было и для охотников, и для собак, и для волка, что теперь все кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данило, привстав, сделал падающий шаг и всею тяжестью, как будто ложась отдыхать, повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данило прошептал: «Не надо, состуним», — и, переменив положение, наступил ногою на шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данило раза два с одного бока на другой перевалил волка.

С счастливыми, измученными лицами живого матерого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь и, сопутствуемые визжавшими на него собаками, повезли к тому месту, где должны были все собраться. Молодых двух взяли гончие и трех — борзые. Охотники съезжались с своими добычами и рассказами, и все подходили смотреть матерого волка, который, свесив лобастую голову с закушенной палкой во рту, большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех.

Граф Илья Андреич тоже подъехал и потрогал волка.

— О, материщий какой, — сказал он. — Матерый, а? — спросил он у Данилы, стоявшего подле него.

— Матерый, ваше сиятельство, — отвечал Данило, поспешно снимая шапку.

Граф вспомнил своего прозеванного волка и свое столкновение с Данилой.

— Однако, брат, ты сердит, — сказал граф. Данило ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски-кроткой и приятной улыбкой.

VI

Старый граф поехал домой. Наташа с Петей остались с охотой, обещаясь сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жнивье, видел всех своих охотников.

Насупротив от Николая были зеленя, и там стоял его охотник, один, в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих, Николай услыхал редкий гон известной ему собаки — Волторна; другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту из острова подали голос по лисе, и вся стая, свалившись, погнала по отвершку, по направлению к зеленям, прочь от Николая.

Он видел скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак и всякую секунду ждал того, что на той стороне, на зеленях, покажется лисица.

Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидал красную, низкую, странную лисицу, которая, распушив трубу, торопливо неслась по

зеленям. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизились, вот кругами стала она вилять между ними, все чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой (хвостом); и вот налетела чья-то белая собака, и вслед за ней черная, и все смешалось, и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки. К собакам подскакали два охотника: один в красной шапке, другой, чужой, в зеленом кафтане.

— «Что это такое? — подумал Николай. — Откуда взялся этот охотник! Это не дядюшкин».

Охотники отбили лисицу и долго, не тороча, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади с своими выступами седел и лежали собаки. Охотники махали руками и что-то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук рога — условленный сигнал драки.

— Это илагинский охотник что-то с нашим Иваном бунтует, — сказал стремянный Николая.

Николай послал стремянного подозвать к себе сестру и Петю и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки.

Николай, слезши с лошади, остановился подле гончих с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о том, чем кончится дело. Из-за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тороках и подъехал к молодому барину. Он издалека снял шапку и старался говорить почтительно; но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз у него был подбит, но он, вероятно, и не знал этого.

— Что у вас там было? — спросил Николай.

— Как же, из-под наших гончих он травить будет! Да и сука-то моя мышастая поймала. Поди, судись! За лисицу хватает! Я его лисицей ну катать. Отдай, в тороках. А этого хочешь? — говорил охотник, указывая на кинжал и, вероятно, воображая, что он все еще говорит с своим врагом.

Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная илагинская охота.

Охотник-победитель въехал в толпу охотников и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг.

Дело было в том, что Илагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах, по обычаю принадлежавших Ростовым, и теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из-под чужих гончих.

Николай никогда не видал Илагина, но, как и всегда в (своих суждениях и чувствах не зная середины, по слухам о буйстве и своевольстве этого помещика, всей душой ненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он озлобленно-взволнованный ехал теперь к нему, крепко сжимая арапник в руке, в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага.

Едва он выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе, на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя стремянными.

Вместо врага Николай нашел в Илагине представительного, учтивого барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Подъехав к Ростову, Илагин приподнял бобровый картуз и сказал, что очень жалеет о том, что случилось; что велит наказать охотника, позволившего себе травить из-под чужих собак, просил графа быть знакомым и предлагал ему свои места для охоты.

Наташа, боявшаяся, что брат ее наделает что-нибудь ужасное, в волнении ехала недалеко за ним. Увидав, что враги дружелюбно раскланиваются, она подъехала к ним. Илагин еще выше приподнял свой бобровый картуз перед Наташей и, приятно улыбнувшись, сказал, что графиня представляет Диану и по страсти к охоте и по красоте своей, про которую он много слышал.

Илагин, чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором было, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился, и охота, еще вдвое увеличившаяся, тронулась дальше.

Идти до илагинского угоря надо было полями. Охотники разровнялись. Господа ехали вместе. Дядюшка, Ростов, Илагин поглядывали тайком на чужих собак, стараясь, чтобы другие этого не заметили, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим собакам.

Ростова особенно поразила своею красотой небольшая чистопсовая, узенькая, но с стальными мышцами, тоненькая щипцом (мордой) и навыкате черными глазами, красно-пегая сучка в своре Илагина. Он слыхал про резвость илагинских собак и в этой красавице сучке видел соперницу своей Милке.

В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Илагин, Николай указал ему на его красно-пегую суку.

— Хороша у вас эта сучка! — сказал он небрежным тоном. — Резва?

— Эта? Да, это добрая собака, ловит, — равнодушным голосом сказал Илагин про свою красно-пегую Ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых. — Так и у вас, граф, умолотом не хвалятся? — продолжал он начатый разговор. И, считая учтивым отплатить тем же молодому графу, Илагин осмотрел его собак и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза своею шириной.

— Хороша у вас эта черно-пегая — ладна! — сказал он.

— Да, ничего, скачет, — отвечал Николай. «Вот только бы побежал в поле русак матерый, я бы тебе показал, какая это собака!» — подумал он. И, обернувшись к стремянному, сказал, что даст рубль тому из охотников, кто подóзрит, то есть найдет лежачего зайца.

— Я не понимаю, — продолжал Илагин, — как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться; вот съедешься с такой компанией... уже чего же лучше, (он снял опять свой бобровый картуз перед Наташей); а это чтобы шкуры считать, сколько привез, — мне все равно!

— Ну да.

— Или чтобы мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя, — мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф? Потом я сужу...

— Ату — его! — послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре жнивья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно: — А — ту — его! (Звук этот и поднятый арапник означали то, что он видит перед собой лежачего зайца.)

— А, подозрил, кажется, — сказал небрежно Илагин. — Что же, потравим, граф.

— Да, подъехать надо... да что ж, вместе? — отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в красного Ругая дядюшки, в двух своих соперников, с которыми еще ни разу ему не удалось поравнять своих собак. «Ну что как с ушей оборвут мою Милку!» — думал он, рядом с дядюшкой и Илагиным подвигаясь к зайцу.

— Матерый? — спрашивал Илагин, подвигаясь к подозрившему охотнику и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу...

— А вы, Михаил Никанорыч? — обратился он к дядюшке. Дядюшка ехал, насупившись.

— Что мне соваться! Ведь ваши — чистое дело марш! — по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померяйте своих, а я посмотрю!

— Ругай! На, на! — крикнул он. — Ругаюшка! — прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала скрываемое этими двумя стариками и ее братом волнение и сама волновалась.

Охотник на полугорке стоял с поднятым арапником, господа шагом подъезжали к нему: гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца; охотники, не господа, тоже отъезжали. Все двигалось медленно и степенно.

— Куда головой лежит? — спросил Николай, подъезжая шагов на сто к подозрившему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил. Стая гончих, на смычках, с ревом понеслась под гору за зайцем; со всех сторон борзые, не бывшие на сворах, бросились на гончих и к зайцу. Все эти медленно двигавшиеся охотники-выжлятники с криком: «стой», сбивая собак, борзятники с криком: «ату!», направляя собак, — поскакали по полю. Спокойный Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная, как и куда, видя только собак и зайца и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матерый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздавшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и, наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленя, по которым было топко. Две собаки подозрившего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем; но еще далеко не подвинулись к нему, как из-за них вылетела илагинская красно-пегая Ерза, приблизилась на собаку расстояния, с страшной быстротой наддала, нацелившись на хвост зайца, и, думая, что она схватила его, покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из-за Ерзы вынеслась широкозадая черно-пегая Милка и быстро стала спеть к зайцу.

— Милушка, матушка! — послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять насела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь, как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку.

— Ерзынька! сестрица! — послышался плачущий, не свой голос Илагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жнивьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу; на рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему.

— Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш! — закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из-за них, наддал со страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колена, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что. «Вот это дело марш... вот собак... вот вытянул всех, и тысячных и рублевых — чистое дело марш!» — говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого-то, как будто все были его враги, все его обижали и только теперь, наконец, ему удалось оправдаться. «Вот вам и тысячные — чистое дело марш!»

— Ругай, на́ пазанку! — говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей. — Заслужил, чистое дело марш!

— Она вымахалась, три угонки дала одна, — говорил Николай, тоже не слушая никого и не заботясь о том, слушают его или нет.

— Да это что же впоперечь! — говорил илагинский стремянный.

— Да как осеклась, так с угонки всякая дворняжка поймает, — говорил в то же время Илагин, красный, насилу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя дух, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала все то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время. Дядюшка сам второчил русака, ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего каурого и поехал прочь. Все, кроме его, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли прийти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще они поглядывали на красного Ругая, который с испачканной грязью горбатой спиной, побрякивая железкой, с спокойным видом победителя шел рысцой за ногами лошади дядюшки.

«Что ж, я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись!» — казалось Николаю, что говорил вид этой собаки.

Когда, долго после, дядюшка подъехал к Николаю и заговорил с ним, Николай был польщен тем, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.

VII

Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту, ночевать у него (у дядюшки) в его деревне Михайловке.

— И если бы заехали ко мне — чистое дело марш! — сказал дядюшка, — еще бы того лучше; видите, погода мокрая, — говорил дядюшка, — отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. — Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное; а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке.

Человек пять, больших и малых, дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъехавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни, верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов удивления, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек и не может слышать и понимать, что говорят о нем.

— Аринка, глянь-ка, на бочкю сидит! Сама сидит, а подол болтается... Вишь, и рожок!

— Батюшки-светы, ножик-то!..

— Вишь, татарка!

— Как же ты не перекувырнулась-то? — говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе.

Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного, заросшего садом домика, и, оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано все нужное для приема гостей и охоты.

Все разбежалось. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким дощатым ступеням крыльца. В доме, не оштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто, — не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности. В сенях пахло свежими яблоками и висели волчьи и лисьи шкуры.

Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак.

В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с

прорванными занавесками. Из-за ширм слышался женский смех и шепот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул; Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своей сестрой); Наташа подмигнула брату, и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха.

Немного погодя дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном, — был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка был тоже весел; он не только не обиделся смеху брата и сестры (ему в голову не могло прийти, чтобы могли смеяться над его жизнию), а сам присоединился к их беспричинному смеху.

— Вот так графиня молодая — чистое дело марш — другой такой не видывал! — сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий, обрезанный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев.

— День отъездила, хоть мужчине в пору, и как ни в чем не бывало!

Скоро после дядюшки отворила дверь — по звуку ног, очевидно, босая — девка, и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет сорока, с двойным подбородком и полными румяными губами. Она с гостеприимной представительностью и приветливостью в глазах и каждом движенье оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину больше чем обыкновенную, заставлявшую ее выставлять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) ступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми, пухлыми руками сняла и расставила по столу бутылки, закуски и угощенья. Окончив это, она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. «Вот она и я! Теперь понимаешь дядюшку?» — сказало Ростову ее появление. Как не понимать: не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей и счастливой самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисья Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная.

Все это было хозяйства, сбора и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой.

— Покушайте, барышня-графинюшка, — приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге, с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и илагинских

собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме своих знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей:

— Так-то вот и доживаю свой век... Умрешь — чистое дело марш! — ничего не останется. Что ж и грешить-то!

Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это. Ростов невольно вспомнил при этом все, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но от общественной службы он всегда упорно отказывался, осень и весну проводя в полях на своем кауром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду.

— Что же вы не служите, дядюшка?

— Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш, — я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, — это чистое дело марш! Отворите-ка дверь-то, — крикнул он. — Что ж затворили! — Дверь в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в холостую охотническую: так называлась людская для охотников. Босые ноги быстро зашлепали, и невидимая рука отворила дверь в охотническую. Из коридора ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл, очевидно, какой-нибудь мастер этого дела. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.

— Это у меня мой Митька-кучер... Я ему купил хорошую балалайку, люблю, — сказал дядюшка. У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостой охотнической Митька играл на балалайке. Дядюшка любил слушать эту музыку.

— Как хорошо! Право, отлично, — сказал Николай с некоторым невольным пренебрежением, как будто ему совестно было признаться в том, что ему очень были приятны эти звуки.

— Как отлично? — с упреком сказала Наташа, чувствуя тон, которым сказал это брат. — Не отлично, а это прелесть что такое! — Ей так же как грибки, мед и наливки дядюшки казались лучшими в мире, так и эта песня казалась ей в эту минуту верхом музыкальной прелести.

— Еще, пожалуйста, еще, — сказала Наташа в дверь, как только замолкла балалайка. Митька настроил и опять задребезжал Барыню с переборами и перехватами. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову набок с чуть заметной улыбкой. Мотив Барыни повторился раз сто. Несколько раз балалайку настраивали, и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту игру. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолоке.

— Изволите слушать, графинечка, — сказала она Наташе с улыбкой, чрезвычайно похожей на улыбку дядюшки. — Он у нас славно играет, — сказала она.

— Вот в этом колене не то делает, — вдруг с энергическим жестом сказал дядюшка. — Тут рассыпать надо — чистое дело марш — рассыпать.

— А вы разве умеете? — спросила Наташа. Дядюшка, не отвечая, улыбнулся.

— Посмотри-ка, Анисьюшка, что струны-то целы, что ль, на гитаре-то? Давно уж в руки не брал, чистое дело марш! забросил.

Анисья Федоровна охотно пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего господина и принесла гитару.

Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и, подмигнув Анисье Федоровне, начал не Барыню, а взял один звучный, чистый аккорд и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню «По у-ли-и-ице мостовой». Враз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало все существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически твердо отделывать песню, изменившимся вдохновенным взглядом глядя на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть-чуть что-то смеялось в его лице, с одной стороны под седым усом, особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, ускорялся темп и в местах переборов отрывалось что-то.

— Прелесть, прелесть, дядюшка! еще, еще! — закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. — Николенька, Николенька! — говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его: что же это такое?

Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях, и из-за ней еще другие лица.

За холодной ключевой,
Кричит, девица, постой! —

играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами.

— Ну, ну, голубчик, дядюшка, — таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал, и как будто в нем было два человека — один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской.

— Ну, племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle[1] давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.

— Ну, графинечка, чистое дело марш! — радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. — Ай да племянница! Вот только бы муженька тебе молодца выбрать, чистое дело марш!

— Уж выбран, — сказал, улыбаясь Николай.

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.

— Еще какой! — сказала она. Но как только она сказала это, другой, новый строй мыслей и чувств поднялся в ней. «Что́ значила улыбка Николая, когда он сказал: „уж выбран“? Рад он этому или не рад? Он как будто думает, что мой Болконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы все понял. Где он теперь?» — подумала Наташа, и лицо ее вдруг стало серьезно. Но это продолжалось только одну секунду. «Не думать, не сметь думать об этом», — сказала она себе и, улыбаясь, подсела опять к дядюшке, прося его сыграть еще что-нибудь.

Дядюшка сыграл еще песню и вальс; потом, помолчав, прокашлялся и запел свою любимую охотницкую песню:

Как со вечера пороша
Выпадала хороша...

Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев — так только, для складу. От этого-то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была в восторге от пения дядюшки. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а будет играть только на гитаре. Она попросила у дядюшки гитару и тотчас же подобрала аккорды к песне.

В десятом часу за Наташей и Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых, посланных отыскивать их. Граф и графиня не знали, где они, и очень беспокоились, как сказал посланный.

[1] без шали

Петю снесли и положили, как мертвое тело, в линейку; Наташа с Николаем сели в дрожки. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новой нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать вброд, и велел с фонарями ехать вперед охотникам.

— Прощай, племянница дорогая! — крикнул из темноты его голос, не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел: «Как со вечера пороша».

В деревне, которую проезжали, были красные огоньки и весело пахло дымом.

— Что за прелесть этот дядюшка! — сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу.

— Да, — сказал Николай. — Тебе не холодно?

— Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, — с недоумением даже сказала Наташа. Они долго молчали.

Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи.

Что делалось в этой детски восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это все укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни: «Как со вечера пороша», мотив, который она ловила всю дорогу и, наконец, поймала.

— Поймала? — сказал Николай.

— Ты о чем думал теперь, Николенька? — спросила Наташа. Они любили это спрашивать друг у друга.

— Я? — сказал Николай, вспоминая. — Вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку и что ежели бы он был человек, то он дядюшку все бы держал у себя, ежели не за скачку, так за лады, все бы держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли? Ну, а ты?

— Я? Постой, постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы Бог знает куда едем в этой темноте, и вдруг приедем и увидим, что мы не в Отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала... Нет, ничего больше.

— Знаю, верно, про него думала, — сказал Николай, улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса.

— Нет, — отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. — А еще я все повторяю, всю дорогу повторяю: как Анисьюшка хорошо выступала, хорошо... — сказала Наташа. И Николай услыхал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех.

— А знаешь, — вдруг сказала она, — я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.

— Вот вздор, глупости, вранье, — сказал Николай и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа! Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж? Всё бы с ней ездили!»

«Экая прелесть этот Николай!» — думала Наташа.

— А! еще огонь в гостиной, — сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой, бархатной темноте ночи.

VIII

Граф Илья Андреич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами. Но дела его все не поправлялись. Часто Наташа и Николай видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого родового ростовского дома и подмосковной. Без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и отрадненская жизнь велась тише, чем в прежние года; но огромный дом и флигель все-таки были полны народом, за стол все так же садилось больше двадцати человек. Всё это были свои, обжившиеся в доме люди, почти члены семейства, или такие, которые, казалось, необходимо должны были жить в доме графа. Такие были Диммлер-музыкант с женой, Иогель — танцевальный учитель с семейством, старушка барышня Белова, жившая в доме, и еще многие другие: учителя Пети, бывшая гувернантка барышень и просто люди, которым лучше или выгоднее было жить у графа, чем дома. Не было такого большого приезда, как прежде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Николаем, охота, те же пятьдесят лошадей и пятнадцать кучеров на конюшне; те же дорогие друг другу подарки в именины и торжественные, на весь уезд обеды; те же графские висты и бостоны, за которыми он, распуская веером всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреича, как на самую выгодную аренду.

Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался, и с каждым шагом все более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, опутавшие его, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать их. Графиня любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть не таким, какой он есть, что он сам страдает (хотя и скрывает это) от сознания своего и детского разорения, и искала средств помочь делу. С ее женской точки зрения представлялось только одно средство — женитьба Николая на богатой невесте. Она чувствовала, что это была последняя надежда и что если Николай откажется от партии, которую она нашла ему, надо будет навсегда проститься с возможностью поправить дела. Партия эта была Жюли Карагина, дочь прекрасных, добродетельных матери и отца, с детства известная Ростовым, и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев.

Графиня писала прямо к Карагиной в Москву, предлагая ей брак ее дочери с своим сыном, и получила от нее благоприятный ответ. Карагина отвечала, что она с своей стороны согласна, что все будет зависеть от склонности ее дочери. Карагина приглашала Николая приехать в Москву.

Несколько раз, со слезами на глазах, графиня говорила сыну, что теперь, когда обе дочери ее пристроены, — ее единственное желание состоит в том, чтобы видеть его женатым. Она говорила, что легла бы в гроб спокойно, ежели бы это было. Потом говорила, что у нее есть прекрасная девушка на примете, и выпытывала его мнение насчет женитьбы.

В других разговорах она хвалила Жюли и советовала Николаю съездить в Москву на праздники повеселиться. Николай догадывался, к чему клонились разговоры его матери, и в один из таких разговоров вызвал ее на полную откровенность. Она высказала ему, что вся надежда поправления дела основана теперь на его женитьбе на Карагиной.

— Что ж, ежели бы я любил девушку без состояния, неужели вы потребовали бы, maman, чтоб я пожертвовал чувством и честью для состояния? — спросил он у матери, не понимая жестокости своего вопроса и желая только выказать свое благородство.

— Нет, ты меня не понял, — сказала мать, не зная, как оправдаться. — Ты меня не понял, Николенька. Я желаю твоего счастья, — прибавила она и почувствовала, что она говорит неправду, что она запуталась. Она заплакала.

— Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, все отдам для того, чтобы вы были спокойны, — сказал Николай. — Я всем пожертвую для вас, даже своим чувством.

Но графиня не так хотела поставить вопрос: она не хотела жертвы от своего сына, она сама бы хотела жертвовать ему.

— Нет, ты меня не понял, не будем говорить, — сказала она, утирая слезы.

«Да, может быть, я и люблю бедную девушку, — говорил сам себе бедный Николай, — что ж, мне пожертвовать чувством и честью для состояния? Удивляюсь, как маменька могла сказать мне это. Оттого что Соня бедна, — думал он, — так я и не могу любить ее, не могу отвечать на ее верную, преданную любовь? А уж наверное я с нею буду счастливее, чем с какой-нибудь куклой Жюли. Я не могу приказывать своему чувству, — говорил он сам себе. — Ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня».

Николай не поехал в Москву, графиня не возобновляла с ним разговора о женитьбе и с грустью, а иногда и с озлоблением видела признаки все большего и большего сближения между своим сыном и бесприданной Соней. Она упрекала себя за то, что не могла не ворчать, не придираться к Соне, часто без причины останавливая ее, ворча на нее и называя ее «вы, моя милая». Более всего добрая графиня за то и сердилась на Соню, что эта бедная черноглазая племянница была так кротка, так добра, так преданно-благодарна своим благодетелям и так верно, неизменно, с самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя было ни в чем упрекнуть ее.

Николай доживал у родных свой срок отпуска. От жениха князя Андрея получено было четвертое письмо, из Рима, в котором он писал, что он уже давно бы был на пути в Россию, ежели бы неожиданно в теплом климате не открылась его рана, что заставляет его отложить свой отъезд до начала будущего года. Наташа была так же влюблена в своего жениха, так же успокоена этою любовью и так же восприимчива ко всем радостям жизни; но в конце четвертого месяца разлуки с ним на нее начали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала все это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой.

В доме Ростовых было невесело.

IX

Пришли святки, и, кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме надетых на всех новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки, а в безветренном двадцатиградусном морозе, в ярком, ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени.

На третий день праздника, после обеда, все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, ездивший утром к соседям, заснул в диванной. Старый граф отдыхал в своем кабинете. В гостиной за круглым столом сидела Соня, срисовывая узор. Графиня раскладывала карты. Настасья Ивановна, шут, с печальным лицом сидел у окна с двумя старушками. Наташа вошла в комнату, подошла к Соне, посмотрела, что она делает, потом подошла к матери и молча остановилась.

— Что ты ходишь, как бесприютная? — сказала ей мать. — Что тебе надо?

— Его мне надо... сейчас, сию минуту мне его надо, — сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. Графиня подняла голову и пристально посмотрела на дочь.

— Не смотрите на меня, мама, не смотрите, я сейчас заплачу.

— Садись, посиди со мной, — сказала графиня.

— Мама, мне его надо. За что я так пропадаю, мама?.. — Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни.

— Будет играть-то, — говорила старуха, — на все время есть.

— Пусти ее, Кондратьевна, — сказала Наташа. — Иди, Мавруша, иди.

И, отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» — подумала Наташа.

— Да, Никита, сходи, пожалуйста... — «куда бы мне его послать?» — Да, сходи на дворню и принеси, пожалуйста, петуха; да, а ты, Миша, принеси овса.

— Немного овса прикажете? — весело и охотно сказал Миша.

— Иди, иди скорее, — подтвердил старик.

— Федор, а ты мелу мне достань.

Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время.

Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли?

— Уж эта барышня! — сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу.

Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда-нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них, но

ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» — думала Наташа, медленно идя по коридору.

— Настасья Ивановна, что от меня родится? — спросила она шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей.

— От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, — отвечал шут.

«Боже мой, Боже мой, все одно и то же! Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?» И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Иогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Иогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным, задумчивым лицом и встала.

— Остров Мадагаскар, — проговорила она. — Ма-да-гас-кар, — повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты.

Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью.

— Петя! Петька! — закричала она ему. — Вези меня вниз. — Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. — Нет, не надо... остров Мадагаскар, — проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз.

Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что все-таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у нее на гитаре выходило что-то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из-за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания.

Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери, и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет и что Соня прошла с рюмкой. «Да и это было точь-в-точь так же», — подумала Наташа.

— Соня, что это? — крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне.

— Ах, ты тут! — вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. — Не знаю. Буря? — сказала она робко, боясь ошибиться.

«Ну, вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уж было, — подумала Наташа, — и точно так же... я подумала, что в ней чего-то недостает».

— Нет, это хор из «Водоноса», слышишь? — И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне.

— Ты куда ходила? — спросила Наташа.

— Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор.

— Ты всегда занята, а я вот не умею, — сказала Наташа. — А Николенька где?

— Спит, кажется.

— Соня, ты поди разбуди его, — сказала Наташа. — Скажи, что я его зову петь. — Она посидела, подумала о том, что это значит, что все это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе и он влюбленными глазами смотрел на нее.

«Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть, он приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уж за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, — а князя Андрея не было, и была все прежняя привычная жизнь.

— А, вот она, — сказал Илья Андреич, увидав вошедшую Наташу. — Ну, садись ко мне. — Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего-то.

— Мама! — проговорила она. — Дайте мне его, дайте, мама, скорее, скорее, — и опять она с трудом удержала рыдания.

Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, Боже мой, те же лица, те же разговоры, так же папа держит чашку и дует точно так же!» — подумала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были все те же.

После чаю Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.

X

— Бывает с тобой, — сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, — бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет — ничего; что все, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно?

— Еще как! — сказал он. — У меня бывало, что все хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что все это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка... и так мне вдруг скучно стало...

— Ах, я это знаю. Знаю, знаю, — подхватила Наташа. — Я еще маленькая была, так со мной это было. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала. Так рыдала, никогда не забуду. Мне и грустно было и жалко было всех, и себя, всех-всех жалко. И главное, я не виновата была, — сказала Наташа, — ты помнишь?

— Помню, — сказал Николай. — Я помню, что я к тебе пришел потом и мне хотелось тебя утешить, и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка-болванчик, и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?

— А помнишь ты, — сказала Наташа с задумчивой улыбкой, — как давно, давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, и темно было — мы пришли, и вдруг там стоит...

— Арап, — докончил Николай с радостной улыбкой, — как же не помнить. Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.

— Он серый был, помнишь, и белые зубы — стоит и смотрит на нас...

— Вы помните, Соня? — спросил Николай.

— Да, да, я тоже помню что-то, — робко отвечала Соня.

— Я ведь спрашивала про этого арапа у папá и у мамá, — сказала Наташа. — Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь!

— Как же, как теперь помню его зубы.

— Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.

— А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг — две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было или нет? Помнишь, как хорошо было...

— Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? — Они перебирали, улыбаясь, с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему-то.

Соня, как всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.

Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.

Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.

— А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, — сказала Наташа, — и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это неправда, и так мне неловко было.

Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной.

— Барышня, петуха принесли, — шепотом сказала девушка.

— Не надо, Поля, вели отнести, — сказала Наташа.

В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.

— Эдуард Карлыч, сыграйте, пожалуйста, мой любимый Nocturne мосье Фильда, — сказал голос старой графини из гостиной.

Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал:

— Молодежь как смирно сидит!

— Да мы философствуем, — сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.

Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.

— Знаешь, я думаю, — сказала Наташа шепотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и все сидел, слабо перебирая струны, видимо, в нерешительности оставить или начать что-нибудь новое, — что когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.

— Это метампсикоза, — сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. — Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.

— Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, — сказала Наташа тем же шепотом, хотя и музыка кончилась, — а я знаю наверное, что мы были ангелами там где-то и здесь были, и от этого всё помним...

— Можно мне присоединиться к вам? — сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.

— Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? — сказал Николай. — Нет, это не может быть!

— Не ниже, кто ж тебе сказал, что ниже?.. Почему я знаю, чем я была прежде, — с убеждением возразила Наташа. — Ведь душа бессмертна... стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила.

— Да, но трудно нам представить вечность, — сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.

— Отчего же трудно представить вечность? — сказала Наташа. — Нынче будет, завтра будет, всегда будет, и вчера было и третьего дня было.

— Наташа! теперь твой черед. Спой мне что-нибудь, — послышался голос графини. — Что вы уселись, точно заговорщики.

— Мама! мне так не хочется, — сказала Наташа, но вместе с тем встала.

Всем им, даже и немолодому Диммлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из диванной, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорд. Как всегда, став на середину зады и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери.

Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно и прежде и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митенькой, слышал ее пенье и, как ученик, торопящийся идти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему, и, наконец, замолчал, и Митенька, тоже слушая молча с улыбкой, стоял перед графом. Николай не спускал глаз с сестры и вместе с нею переводил дыхание. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом и как невозможно было ей хоть насколько-нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня

сидела с счастливо-грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала и о Наташе, и о своей молодости, и о том, как что-то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем.

Диммлер, подсев к графине и закрыв глаза, слушал.

— Нет, графиня, — сказал он наконец, — это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы...

— Ах! как я боюсь за нее, как я боюсь, — сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего-то слишком много в Наташе и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые.

Наташа вдруг остановилась.

— Дурак! — закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться. — Ничего, маменька, право, ничего, так: Петя испугал меня, — говорила она, стараясь улыбаться, но слезы все текли и всхлипывания сдавливали горло.

Наряженные дворовые: медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснились в залу; и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хороводы и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда-то.

Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах — это был Николай. Турчанка был Петя. Паяс — это был Диммлер, гусар — Наташа и черкес — Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями.

После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны ненаряженных молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому-нибудь.

Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек десять наряженных, ехать к дядюшке.

— Нет, ну что вы его, старика, расстроите! — сказала графиня. — Да и негде повернуться у него. Уж ехать, так к Мелюковым.

Мелюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в четырех верстах от Ростовых.

— Вот, ma chère, умно, — подхватил расшевелившийся старый граф — Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я Пашету расшевелю.

Но графиня не согласилась отпустить графа у него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, а что ежели Луиза Ивановна (m-me Schoss) поедет, то барышням можно ехать к Мелюковой. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им.

Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленно-энергическом настроении. Какой-то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса четыре тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу.

Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз и, переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.

Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа, с орловским рысаком в корню; четвертая — собственная Николая, с его низеньким вороным косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи.

Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда.

В сани Николая сели Наташа, Соня, m-me Schoss и две девушки. В сани старого графа сели Диммлер с женой и Петя; в остальные расселись наряженные дворовые.

— Пошел вперед, Захар! — крикнул Николай кучеру отца, чтоб иметь случай перегнать его на дороге.

Тройка старого графа, в которую сел Диммлер и другие ряженые, визжа полозьями, как будто примерзая к снегу, и побрякивая густым колокольцом, тронулась вперед. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.

Николай тронулся за первой тройкой; сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно-блестящая, с сизым отблеском снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз толкнул ухаб в передних санях; точно так же толкнуло следующие сани и следующие, и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.

— След заячий, много следов! — прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.

— Как видно, Nicolas! — сказал голос Сони. Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтобы ближе рассмотреть ее лицо. Какое-то совсем новое, милое лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете близко и далеко, выглядывало из соболей.

«Это прежде была Соня», — подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.

— Вы что, Nicolas?

— Ничего, — сказал он и повернулся опять к лошадям.

Выехав на торную большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая: «Начинать? Или рано еще?» Впереди, уже далеко отделившись и звеня удаляющимся густым колокольцом, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикиванье, и хохот, и голоса наряженных.

«Ростовы на псовой охоте в "Отрадном"» Акварель профессора А.Д. Кившенко

— Ну ли вы, разлюбезные! — крикнул Николай, с одной стороны поддергивая вожжу и отводя с кнутом руку. И только по усилившемуся как будто навстречу ветру и по подергиванью натягивающих и все прибавляющих скоку пристяжных заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад. С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится.

Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой-то горы, въехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки.

«Где это мы едем? — подумал Николай. — По Косому лугу, должно быть. Но нет, это что-то новое, чего я никогда не видал. Это не Косой луг и не Дёмкина гора, а это Бог знает что такое! Это что-то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» — И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.

Захар сдержал лошадей и обернул свое уже обындевевшее до бровей лицо. Николай пустил своих лошадей; Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.

— Ну, держись, барин, — проговорил он. Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.

— Врешь, барин, — прокричал он Николаю. Николай в скок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпáли мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.

Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами.

«Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? — думал Николай. — Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает чтó с нами делается — и очень странно и хорошо то, чтó с нами делается». — Он оглянулся в сани.

— Посмотри, у него и усы и ресницы — все белое, — сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.

«Этот, кажется, была Наташа, — подумал Николай, — а эта m-me Schoss; а может быть, и нет, а этот черкес с усами — не знаю кто, но я люблю ее».

— Не холодно ли вам? — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что-то кричал, вероятно смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.

— Да, да, — смеясь, отвечали голоса.

Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какие-то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали бог знает где и приехали в Мелюковку», — думал Николай.

Действительно, это была Мелюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами.

— Кто такой? — спрашивали с подъезда.

— Графские наряженные, по лошадям вижу, — отвечали голоса.

XI

Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих.

Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяс Диммлер с барыней Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лицо и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.

— Ах, узнать нельзя! А Наташа-то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого-то. Эдуард-то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой-то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто! Ну, утешили! Столы-то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели!

— Ха-ха-ха!.. Гусар-то, гусар-то! Точно мальчик, и ноги!.. Я видеть не могу... — слышались голоса.

Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.

Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.

— А это чья такая? — говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. — Кажется, из Ростовых кто-то. Ну, а вы, господин гусар, в каком полку служите? — спрашивала она Наташу. — Турке-то, турке пастилы подай, — говорила она обносившему буфетчику, — это их законом не запрещено.

Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает, и потому не конфузившиеся, — Пелагея Даниловна закрывалась платком, и все тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго старушечьего смеха.

— Сашинет-то моя, Сашинет-то! — говорила она.

После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры.

Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых.

— Нет, в бане гадать, вот это страшно! — говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых.

— Отчего же? — спросила старшая дочь Мелюковых.

— Да не пойдете, тут надо храбрость...

— Я пойду, — сказала Соня.

— Расскажите, как это было с барышней? — сказала вторая Мелюкова.

— Да вот так-то, пошла одна барышня, — сказала старая девушка, — взяла петуха, два прибора — как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет... с колокольцами, с бубенцами, подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.

— А! А!.. — закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.

— Да как же он, так и говорит?

— Да, как человек, все как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали...

— Ну, что пугать их! — сказала Пелагея Даниловна.

— Мамаша, ведь вы сами гадали... — сказала дочь.

— А как это в амбаре гадают? — спросила Соня.

— Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит — дурно, а пересыпает хлеб — это к добру; а то бывает...

— Мама, расскажите, что с вами было в амбаре?

Пелагея Даниловна улыбнулась.

— Да что, я уж забыла... — сказала она. — Ведь вы никто не пойдете?

— Нет, я пойду; Пелагея Даниловна, пустите меня, я пойду, — сказала Соня.

— Ну, что ж, коли не боишься.

— Луиза Ивановна, можно мне? — спросила Соня.

Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.

«Так вот она какая, а я-то дурак!» — думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из-под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видел прежде.

— Я ничего не боюсь, — сказала Соня. — Можно сейчас? — Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.

«Что за прелесть эта девочка! — подумал он. — И о чем я думал до сих пор!»

Соня вышла в коридор, чтоб идти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно, в доме было душно от столпившегося народа.

На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на него не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.

«Дурак я, дурак! Чего я ждал до сих пор?» — подумал Николай, и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажнями дрова, на них был снег, от них падала тень; через них и сбоку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленая стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченные из какого-то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять все совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой-то вечно молодой силой и радостью.

С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрипнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:

— Прямо, прямо вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться!

— Я не боюсь, — отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.

Соня шла, закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье, с спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.

«Совсем другая и все та же», — думал Николай, глядя на ее лицо, все освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.

— Соня!.. Nicolas!.. — только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.

XII

Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда все видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.

Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь и, все вглядываясь в этом странном лунном свете в Соню, отыскивал при этом все переменяющем свете из-под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и, когда узнавал все ту же и другую и вспоминал этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух, и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.

— Соня, тебе хорошо? — изредка спрашивал он.

— Да, — отвечала Соня. — А тебе?

На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.

— Наташа, — сказал он ей шепотом по-французски, — знаешь, я решился насчет Сони.

— Ты ей сказал? — спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.

— Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?

— Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas, как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно быть одной счастливой, без Сони, — продолжала Наташа. — Теперь я так рада, ну, беги к ней.

— Нет, постой, ах, какая ты смешная! — сказал Николай, все всматриваясь в нее и в сестре тоже находя что-то новое, необыкновенное и обворожительно-нежное, чего он прежде не видал в ней. — Наташа, что-то волшебное. А?

— Да, — отвечала она, — ты прекрасно сделал.

«Если бы я прежде видел ее такою, какою она теперь, — думал Николай, — я бы давно спросил, что сделать, и сделал бы все, что бы она ни велела, и все бы было хорошо».

— Так ты рада, и я хорошо сделал?

— Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить! Я с мамá чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.

— Так хорошо? — сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрипя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Все тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.

Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастье. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы. На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала.

— Только когда все это будет? Я боюсь, что никогда... Это было бы слишком хорошо! — сказала Наташа, вставая и подходя к зеркалам.

— Садись, Наташа, может быть, ты увидишь его, — сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села.

— Какого-то с усами вижу, — сказала Наташа, видевшая свое лицо.

— Не надо смеяться, барышня, — сказала Дуняша.

Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.

— Отчего другие видят, а я ничего не вижу? — сказала она. — Ну, садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, — сказала она. — Только за меня... Мне так страшно нынче!

Соня села за зеркало, устроила положение и стала смотреть.

— Вот Софья Александровна непременно увидят, — шепотом сказала Дуняша, — а вы все смеетесь.

Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шепотом сказала:

— И я знаю, что увидит; она и прошлого года видела.

Минуты три все молчали. «Непременно!» — прошептала Наташа и не докончила... Вдруг Соня отстранила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.

— Ах, Наташа! — сказала она.

— Видела? Видела? Что видела? — крикнула Наташа.

— Вот я говорила, — сказала Дуняша, поддерживая зеркало.

Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»... Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у ней вырвался крик, когда она закрыла глаза рукой.

— Его видела? — спросила Наташа, хватая ее за руку.

— Да. Постой... я... видела его, — невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его — Николая или его — Андрея.

«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» — мелькнуло в голове Сони.

— Да, я его видела, — сказала она.

— Как же? Как же? Стоит или лежит?

— Нет, я видела... То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.

— Андрей лежит? Он болен? — испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.

— Нет, напротив, напротив — веселое лицо, и он обернулся ко мне, — и в ту минуту, как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.

— Ну, а потом, Соня?

— Тут я не рассмотрела, что-то синее и красное...

— Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой! как я боюсь за него и за себя, и за все мне страшно... — заговорила Наташа и, не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушила свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный лунный свет сквозь замерзшие окна.

XIII

Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что, несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему, в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и, очевидно, смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на

богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, — он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.

Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманиванье сына и в неблагодарности, Соня молча, с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо пожертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.

Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интриганку своей дочерью.

Взорванный словом интриганка, Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтоб она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит... Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое, может быть, навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.

— Николенька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. — почти кричала она, чтобы заглушить его голос.

— Мама, голубчик, это совсем не оттого... душечка моя, бедная, — обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.

— Николенька, я тебе растолкую, ты уйди... Вы послушайте, мама-голубушка, — говорила она матери.

Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.

Графиня, тяжело захлипав, спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.

Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.

С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но, как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.

После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее, чем когда-нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.

Соня была печальна и от разлуки с Николаем, и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда-нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких-нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.

Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда, как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически-однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.

Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.

Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.

Часть пятая

I

Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно было ему то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, — после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женою, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер, почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.

В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал — проехал по городу — эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, увидал эту площадь Кремлевскую с незаезженным снегом, этих извозчиков, эти лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и московский Английский клуб, — он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.

Московское общество, все, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, приняло Пьера. Для московского света Пьер был самым милым, добрым, умным, веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.

Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги — никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы все роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились он — одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой — мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.

Когда после холостого ужина он с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцевал, если

недоставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de sexe»[1], — говорили про него.

Пьер был тем отставным, добродушно доживающим своей век в Москве камергером, каких были сотни.

Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из-за границы, кто-нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита и определена предвечно и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому. Разве не он всей душой желал то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал школы, больницы и отпускал крестьян на волю?

А вместо всего этого — вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство, член московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.

Иногда он утешал себя мыслью, что это только так, покамест он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили из нее без одного зуба и волоса.

В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь все не доволен, все мне хочется сделать что-то для человечества, — говорил он себе в минуты гордости. — А может быть, и все те мои товарищи, точно так же как и я, бились, искали какой-то новой, своей дороги в жизни и, так же как и я, силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», — говорил он себе в минуты скромности, и, поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.

На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» — спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.

[1] Он прелестен, он не имеет пола

«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая, кроме своего тела, и одна из самых глупых женщин в мире, — думал Пьер, — представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом — император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14-го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14-го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы для бедных и интригуют Астрея против Ищущих Манны и хлопочут о настоящем шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему — закон, вследствие которого мы воздвигали в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что-то новое, всякий раз изумляла его. «Я понимаю эту ложь и путаницу, — думал он, — но как мне рассказать им все, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только видеть ее. Стало быть, так надо! Но мне-то, мне куда деваться?» — думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, — способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда, в глазах его, соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался — зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное, читал.

Он читал и читал все, что попадалось под руку, и читал так, что, приехав домой, когда лакеи еще раздевали его, он, уже взяв книгу, читал — и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось все больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая,

слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой-нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю — вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, — я после обдумаю все это!» Но это после никогда не приходило.

Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходил к нему.

Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, все равно; только бы спастись от нее, как умею! — думал Пьер. — Только бы не видеть ее, эту страшную ее».

II

В начале зимы князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра I и по тому антифранцузскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству.

Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудреном парике и начинал, затронутый кем-нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял величественно-приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что, кроме этих двух-трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще двадцать два часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.

В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей — бесед с Божьими людьми и уединения, которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали

на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях: m-lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна, и она, по некоторым причинам, стала отдаляться от нее; Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чуждой ей, когда книжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев, сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжня Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, потому что он, женившись не знал бы, где проводить свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело, напротив, казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться, уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот-вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за ручку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своею злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду — ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, — самый жестокий оттого, что он любил и за то мучил себя и ее, — умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью, — это было его

большое сближение с m-lle Bourienne[1]. Пришедшая ему в первую минуту по получении известия о намерении своего сына мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, видимо, понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье), только для того, чтоб ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m-lle Bourienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.

Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), старый князь поцеловал у m-lle Bourienne руку и, притянув ее к себе, обнял, лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m-lle Bourienne вошла к княжне Марье, улыбаясь и что-то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Bourienne и, видимо сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса начала кричать на француженку:

— Это гадко, низко, бесчеловечно — пользоваться слабостью... — Она не договорила. — Уйдите вон из моей комнаты, — прокричала она и зарыдала.

На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с m-lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты.

— Не слышат... два раза сказал!.. не слышат! Она — первый человек в этом доме; она — мой лучший друг, — кричал князь. — И ежели ты позволишь себе, — закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, — еще раз, как вчера ты осмелилась... забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! чтоб я не видал тебя; проси у нее прощенья!

Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгениевны и у отца за себя и за Филиппа-буфетчика, который просил заступы.

В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие-то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» — думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.

III

В 1811-м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз, и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства — Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный.

[1] мадемуазель Бурьен

Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m-lle Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя.

В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.

Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора нашел приличным de forcer la consigne[1], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих дурных расположений духа. Он целое утро устало ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья слишком твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенным курком ружьем ходила все это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать все то, что происходило в кабинете.

Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца; потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась, и на пороге показалась испуганная красивая фигура Метивье с его черным хохлом и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.

— Не понимаешь? — кричал князь. — А я понимаю! Французский шпион! Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома — вон, я говорю! — И он захлопнул дверь.

Метивье, пожимая плечами, подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.

— Князь не совсем здоров, — la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez-vous, je repasserai demain[2], — сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.

За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»

После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь, и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. «С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно», — говорил он.

— Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, — сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтоб она не сумела как-нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: — Не думайте; чтоб я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет, — разойтись, поищите себе места!.. — Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо, сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:

---

[1] силою нарушить приказ

[2] желчь и прилив к голове. Не беспокойтесь, я заеду завтра

— И хоть бы какой-нибудь дурак взял ее замуж! — Он хлопнул дверью, позвал к себе m-lle Bourienne и затих в кабинете.

В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости — известный граф Растопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой — ждали его в гостиной.

На днях приехавший в Москву в отпуск, Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.

Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Растопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:

— В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.

— Ах, да, да, — отвечал главнокомандующий. — Что он?..

Небольшое общество, собравшееся в старомодной высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся торжественный совет судилища. Все молчали, и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Растопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.

Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка мычанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что все шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где осуждение могло относиться к лицу государя императора.

За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.

— Бонапарт поступает с Европой, как пират на завоеванном корабле, — сказал граф Растопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. — Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт, уже не стесняясь, хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат. Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то... — Граф Растопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.

— Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, — сказал князь Николай Андреич. — Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские, так и он герцогов.

— Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractère et une résignation admirable[1] , — сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое-что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.

— Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, — сказал граф Растопчин небрежным тоном человека, судящего о деле, ему хорошо знакомом.

Пьер с наивным удивлением посмотрел на Растопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.

— Разве не все равно, как написана нота, граф? — сказал он, — ежели содержание ее сильно.

— Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style[2], — сказал граф Растопчин. Пьер понял, почему графа Растопчина беспокоила редакция ноты.

— Кажется, писак довольно развелось, — сказал старый князь, — там в Петербурге все пишут, не только ноты — новые законы все пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Ныне все пишут! — И он неестественно засмеялся.

Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя внимание.

— Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? Как себя новый французский посланник показал!

— Что? Да, я слышал что-то; он что-то неловко сказал при его величестве.

— Его величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш, — продолжал генерал, — и будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.

Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.

— Дерзки! — сказал князь. — Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, — сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не возражал.

---

[1] Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с удивительною силой характера и спокойствием

[2] Мой милый, с 500 тысячами войска было бы легко иметь хороший слог

За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему.

Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную, выбритую щеку. Все выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решенье его осталось в прежней силе и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь.

Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе.

Князь Николай Андреич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны.

Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать. Наша политика вся на Востоке, а в отношении Бонапарта одно — вооружение на границе и твердость в политике, и никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в седьмом году.

— И где нам, князь, воевать с французами! — сказал граф Растопчин. — Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барышень. Наши боги — французы, наше царство небесное — Париж.

Он стал говорить громче, очевидно, для того, чтоб его слышали все.

— Костюмы французские, мысли французские, чувства французские! Вы вот Метивье взашей выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из пяти барынь три католички и, по разрешению папы, в воскресенье по канве шьют. А сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволенья сказать. Эх, поглядишь на нашу молодежь, князь, взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры да по-русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила!

Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Растопчина и одобрительно покачивал головой.

— Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, — сказал Растопчин, с свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю.

— Прощай, голубчик, — гусли, всегда заслушаюсь его! — сказал старый князь, удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку. С Растопчиным поднялись и другие.

IV

Княжна Марья, сидя в гостиной и слушая эти толки и пересуды стариков, ничего не понимала из того, что она слышала; она думала только о том, не замечают ли все гости враждебных отношений ее отца к ней. Она даже не заметила особенного внимания и любезностей, которые ей во все время этого обеда оказывал Друбецкой, уже третий раз бывший в их доме.

Княжна Марья с рассеянным, вопросительным взглядом обратилась к Пьеру, который, последний из гостей, с шляпой в руке и с улыбкой на лице, подошел к ней после того, как князь вышел, и они одни оставались в гостиной.

— Можно еще посидеть? — сказал он, своим толстым телом валясь в кресло подле княжны Марьи.

— Ах да, — сказала она. «Вы ничего не заметили?» — сказал ее взгляд.

Пьер находился в приятном послеобеденном состоянии духа. Он глядел перед собою и тихо улыбался.

— Давно вы знаете этого молодого человека, княжна? — сказал он.

— Какого?

— Друбецкого.

— Нет, недавно.

— Что, он вам нравится?

— Да, он приятный молодой человек... Отчего вы у меня это спрашиваете? — сказала княжна Марья, продолжая думать о своем утреннем разговоре с отцом.

— Оттого, что я сделал наблюдение: молодой человек обыкновенно из Петербурга приезжает в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой невесте.

— Вы сделали это наблюдение? — сказала княжна Марья.

— Да, — продолжал Пьер с улыбкой, — и этот молодой человек теперь себя так держит, что, где есть богатые невесты, — там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин. Il est très assidu auprès d'elle[1].

— Он ездит к ним?

— Да, очень часто. И знаете вы новую манеру ухаживать? — с веселой улыбкой сказал Пьер, видимо находясь в том веселом духе добродушной насмешки, за который он так часто в дневнике упрекал себя.

— Нет, — сказала княжна Марья.

— Теперь чтобы понравиться московским девицам, il faut être mélancolique. Et il est très mélancolique auprès de m-lle Карагин[2], — сказал Пьер.

— Vraiment? [3] — сказала княжна Марья, глядя в доброе лицо Пьера и не переставая думать о своем горе. «Мне бы легче было, — думала она, — ежели бы я решилась поверить кому-нибудь все, что я чувствую. И я бы желала именно Пьеру сказать все. Он так добр и благороден. Мне бы легче стало. Он мне подал бы совет!»

— Пошли бы вы за него замуж? — спросил Пьер.

— Ах, Боже мой, граф! есть такие минуты, что я пошла бы за всякого, — вдруг неожиданно для самой себя, со слезами в голосе, сказала княжна Марья. — Ах, как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что... ничего (продолжала она дрожащим голосом) не можешь для него сделать, кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно — уйти, а куда мне уйти?

— Что вы, что с вами, княжна?

---

[1] Он к ней очень внимателен

[2] надо быть меланхоличным Он очень меланхоличен при ней

[3] Правда?

Но княжна, не договорив, заплакала.

— Я не знаю, что со мной нынче. Не слушайте меня, забудьте, что я вам сказала.

Вся веселость Пьера исчезла. Он озабоченно расспрашивал княжну, просил ее высказать все, поверить ему свое горе; но она только повторяла, что просит его забыть то, что она сказала, что она не помнит, что она сказала, и что у нее нет горя, кроме того, которое он знает, — горя о том, что женитьба князя Андрея угрожает поссорить отца с сыном.

— Слышали ли вы про Ростовых? — спросила она, чтобы переменить разговор. — Мне говорили, что они скоро будут. André я тоже жду каждый день. Я бы желала, чтоб они увиделись здесь.

— А как он смотрит теперь на это дело? — спросил Пьер, под он разумея старого князя. Княжна Марья покачала головой.

— Но что же делать? До года остается только несколько месяцев. И это не может не быть. Я бы только желала избавить брата от первых минут. Я желала бы, чтоб они скорее приехали. Я надеюсь сойтись с нею... Вы их давно знаете, — сказала княжна Марья, — скажите мне, положа руку на сердце, всю истинную правду, что это за девушка и как вы находите ее? Но всю правду; потому что, вы понимаете, Андрей так много рискует, делая это против воли отца, что я бы желала знать...

Неясный инстинкт сказал Пьеру, что в этих оговорках и повторяемых просьбах сказать всю правду выражалось недоброжелательностью княжны Марьи к своей будущей невестке, что ей хотелось, чтобы Пьер не одобрил выбора князя Андрея; но Пьер сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал.

— Я не знаю, как отвечать на ваш вопрос, — сказал он, покраснев, сам не зная отчего. — Я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот все, что можно про нее сказать. — Княжна Марья вздохнула, и выражение ее лица сказало: «Да, я этого ожидала и боялась».

— Умна она? — спросила княжна Марья. Пьер задумался.

— Я думаю, нет, — сказал он, — а впрочем — да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего. — Княжна Марья опять неодобрительно покачала головой...

— Ах, я так желаю любить ее! Вы ей это скажите, если увидите ее прежде меня.

— Я слышал, что они на днях будут, — сказал Пьер.

Княжна Марья сообщила Пьеру свой план о том, как она, только что приедут Ростовы, сблизится с будущей невесткой и постарается приучить к ней старого князя.

V

Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису, и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами — Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость, и казалась ему привлекательнее Жюли, ему почему-то неловко было ухаживать за Болконской. В последнее свое свидание с ней, в именины старого князя, на все попытки заговорить с ней о чувствах она отвечала ему невпопад и, очевидно, не слушала его.

Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживанье.

Жюли было двадцать семь лет. После смерти своих братьев она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна теперь, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что, во-первых, она стала очень богатой невестой, а во-вторых, то, что чем старее она становилась, чем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который десять лет тому назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была семнадцатилетняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней-невестой, а как с знакомой, не имеющей пола.

Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званых вечером и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в двенадцатом часу ночи и засиживавшихся до третьего часа. Не было бала, театра, гулянья, который бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные. Но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем, говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни и ожидает успокоения только там. Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарование, девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случалось, на нее смотрели, как на таковую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешала бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского и им открывала свои альбомы, исполненные грустных изображений, изречений и стихов.

Жюли была особенно ласкова к Борису: жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбоме два дерева и написал: «Arbres rustiques, vos sombres rameaux secouent sur moi les ténèbres et la mélancolie»[1].

В другом месте он нарисовал гробницу и написал:

La mort est secourable et la mort est tranquille
Ah! contre les douleurs il n'y a pas d'autre asile [2]

[1] «Сельские деревья, ваши темные сучья стряхивают на меня мрак и меланхолию»

[2] Смерть спасительна, и смерть спокойна
О! против страданий нет другого убежища

Жюли сказала, что это прелестно.

— Il y a quelque chose de si ravissant dans le sourire de la mélancolie! [1] — сказала она Борису слово в слово выписанное ею место из книги.

— C'est un rayon de lumière dans l'ombre, une nuance entre la douleur et la désespoir, qui montre la consolation possible[2].

На это Борис написал ей стихи:

Aliment de poison d'une âme trop sensible,
Toi, sans qui le bonheur me serait impossible,
Tendre mélancolie, ah! viens me consoler,
Viens calmer les tourments de ma sombre retraite
Et mêle une douceur secrète
A ces pleurs, que je sens couler[3].

Жюли играла Борису на арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух «Бедную Лизу» и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыханье. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга как на единственных людей в море равнодушных, понимавших один другого.

Анна Михайловна, часто ездившая к Карагиным, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли (отдавались оба пензенские имения и нижегородские леса). Анна Михайловна с преданностью воле провидения и умилением смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли.

— Toujours charmante et mélancolique, cette chère Julie[4], — говорила она дочери. — Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. Он так много понес разочарований и так чувствителен, — говорила она матери.

— Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время, — говорила она сыну, — не могу тебе описать! Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо! Ах, Борис, Борис! — Она замолкала на минуту. — И как мне жалко ее maman, — продолжала она, — нынче она показывала мне отчеты и письма из пензы (у них огромное имение), и она, бедная, все сама, одна: ее так обманывают!

Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях.

Жюли уже давно ожидала предложенья от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед

---

[1] Есть что-то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии!

[2] Это луч света в тени, оттенок между печалью и отчаянием, который указывает на возможность утешения

[3] Ядовитая пища слишком чувствительной души,
Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно,
Нежная меланхолия, о, приди меня утешить,
Приди, утиши муки моего мрачного уединения
И присоедини тайную сладость
К этим слезам, которых я чувствую течение.

[4] Все так же прелестна и меланхолична, наша милая Жюли

отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже кончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагиных, и каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастия, Борис не мог произнести решительного слова; несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса, и иногда ей приходила мысль, что она противна ему; но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее, однако, начинала переходить в раздражительность, и незадолго перед отъездом Бориса она предприняла решительный план. В то самое время, как кончался срок отпуска Бориса, в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагиных появился Анатоль Курагин, и Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна к Курагину.

— Mon cher, — сказала Анна Михайловна сыну, — je sais de bonne source que le prince Basile envoie son fils à Moscou pour lui faire épouser Julie[1]. Я так люблю Жюли, что мне жалко бы было ее. Как ты думаешь, мой друг? — сказала Анна Михайловна.

Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого — в особенности в руках глупого Анатоля — оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его с веселым и беззаботным видом, небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве: о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что все одно и то же надоест каждому.

— Для этого я бы советовал вам... — начал было Борис, желая сказать ей колкость; но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды (чего с ним никогда ни в чем не бывало). Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтобы не видать ее неприятно-раздраженного и нерешительного лица, и сказал: — Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами, приехал сюда. Напротив... — Он взглянул на нее, чтоб увериться, можно ли продолжать. Все раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные,

[1] Мой милый, я знаю из верных источников, что князь Василий присылает сына затем, чтобы женить его на Жюли

просящие глаза были с жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее, — подумал Борис. — А дело начато и должно быть сделано!» Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: — Вы знаете мои чувства к вам! — Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством, но она заставила Бориса сказать ей все, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого, и она получила то, что требовала.

Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали все для блестящей свадьбы.

VI

Граф Илья Андреич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня все была нездорова и не могла ехать, — а нельзя было ждать ее выздоровления: князя Андрея ждали в Москве каждый день; кроме того, нужно было закупать приданое, нужно было продавать подмосковную и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был нетоплен; кроме того, они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреич решился остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно предлагавшей графу свое гостеприимство.

Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в Старой Конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе.

Она держалась все так же прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем свое мнение и всем своим существом как будто упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала. С раннего утра — в куцавейке, она занималась домашним хозяйством, потом ездила по праздникам к обедне и от обедни в остроги и тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила, а по будням, одевшись, дома принимала просителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней, и потом обедала; за обедом, сытным и вкусным, всегда бывало человека три-четыре гостей; после обеда делала партию в бостон; на ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов, и ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе.

Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы и в передней завизжала дверь на блоке, пропуская входивших с холода Ростовых и их прислугу. Марья Дмитриевна, с очками, спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях залы и с строгим, сердитым видом смотрела на входящих. Можно бы было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливых приказаний людям о том, как разместить гостей и их вещи.

— Графские? Сюда неси, — говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. — Барышни, сюда, налево. Ну, вы что лебезите! — крикнула она на девок. — Самовар чтобы согреть! Пополнела, похорошела, — проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. — Фу, холодная! Да раздевайся же скорее, — крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. — Замерз небось. Рому к чаю подать! Сонюшка, bonjour[1], — сказала она Соне, этим французским приветствием оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне.

Когда все, раздевшись и оправившись с дороги, пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех.

— Душой рада, что приехали и что у меня остановились, — говорила она. — Давно пора, — сказала она, значительно взглянув на Наташу... — Старик здесь, и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. Ну, да об этом после поговорим, — прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывавшим, что она при ней не желает говорить об этом. — Теперь слушай, — обратилась она к графу, — завтра что же тебе надо? За кем пошлешь? Шиншина? — она загнула один палец, — плаксу Анну Михайловну — два. Она здесь с сыном. Женится сын-то! Потом Безухова, что ль? И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. Он обедал у меня в середу. Ну, а их, — она указала на барышень, — завтра свожу к Иверской, а потом и к Обер-Шельме заедем. Ведь небось все новое делать будете? С меня не берите, нынче рукава — вот что! Намедни княжна Ирина Васильевна молодая ко мне приехала: страх глядеть, точно два бочонка на руки надела. Ведь нынче что день — новая мода. Да у тебя-то у самого какие дела? — обратилась она строго к графу.

— Все вдруг подошло, — отвечал граф. — Тряпки покупать, а тут еще покупатель на подмосковную и на дом. Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Марьинское на денек, вам девчат моих прикину.

— Хорошо, хорошо, у меня целы будут. У меня как в Опекунском совете. Я их и вывезу куда надо, и побраню, и поласкаю, — сказала Марья Дмитриевна, дотрогиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи.

На другой день утром Марья Дмитриевна свозила барышень к Иверской и m-me Обер-Шальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти все приданое. Вернувшись, она выгнала всех, кроме Наташи, из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу.

— Ну, теперь поговорим. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца! Я рада за тебя; и его с таких лет знаю (она указала на аршин от земли). — Наташа радостно краснела. — Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик князь Николай очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик! Оно, разумеется, князь Андрей не дитя и без него обойдется, да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись, как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет.

[1] Добрый день

Наташа молчала, как думала Марья Дмитриевна, от застенчивости, но, в сущности, Наташе было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по ее понятиям, не мог понимать его. Она любила и знала одного князя Андрея, он любил ее и должен был приехать на днях и взять ее. Больше ей ничего не нужно было.

— Ты видишь ли, я его давно знаю, и Машеньку, твою золовку, люблю. Золовки — колотовки, ну а уж эта мухи не обидит. Она меня просила ее с тобой свести. Ты завтра с отцом к ней поедешь, да приласкайся хорошенько: ты моложе ее. Как твой-то приедет, а уж ты и с сестрой и с отцом знакома и тебя полюбили. Так или нет? Ведь лучше будет?

— Лучше, — неохотно отвечала Наташа.

VII

На другой день, по совету Марьи Дмитриевны, граф Илья Андреич поехал с Наташей к князю Николаю Андреичу. Граф с невеселым духом собирался на этот визит: в душе ему было страшно. Последнее свидание во время ополчения, когда граф в ответ на свое приглашение к обеду выслушал горячий выговор за недоставление людей, было памятно графу Илье Андреичу. Наташа, одевшись в свое лучшее платье, была, напротив, в самом веселом расположении духа. «Не может быть, чтоб они не полюбили меня, — думала она, — меня все всегда любили. И я так готова сделать для них все, что они пожелают, так готова полюбить его — за то, что он отец, а ее за то, что она сестра, что не за что им не полюбить меня!»

Они подъехали к старому, мрачному дому на Вздвиженке и вошли в сени.

— Ну, Господи благослови! — проговорил граф полушутя, полусерьезно; но Наташа заметила, что отец ее заторопился, входя в переднюю и робко, тихо спросил, дома ли князь и княжна. После доклада о их приезде между прислугой князя произошло смятение. Лакей, побежавший докладывать о них, был остановлен другим лакеем в зале, и они шептали о чем-то. В залу выбежала горничная девушка и торопливо тоже говорила что-то, упоминая о княжне. Наконец один старый, с сердитым видом лакей вышел и доложил Ростовым, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу гостям вышла m-lle Bourienne. Она особенно учтиво встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым красными пятнами лицом выбежала, тяжело ступая, навстречу к гостям, и тщетно пыталась казаться свободной и радушной. Наташа с первого взгляда не понравилась княжне Марье. Она ей показалась слишком нарядной, легкомысленно-веселой и тщеславной. Княжна Марья не знала, что прежде чем она увидала свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастию и по ревности к любви своего брата. Кроме этого непреодолимого чувства антипатии к ней, княжна Марья в эту минуту была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтобы к нему их не пускали. Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую-нибудь выходку, так как он казался очень взволнованным приездом Ростовых.

— Ну вот, я вам, княжна милая, привез мою певунью, — сказал граф, расшаркиваясь и беспокойно оглядываясь, как будто он боялся, не взойдет ли старый князь. — Уж как я рад, что вы познакомитесь. Жаль, жаль, что князь все нездоров, — и, сказав еще несколько общих фраз, он встал. — Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил, тут два шага, на Собачью Площадку, к Анне Семеновне, и заеду за ней.

Илья Андреич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой (как он сказал это после дочери), и еще для того, чтоб избежать возможности встречи с князем, которого он боялся. Он не сказал этого дочери, но Наташа поняла этот страх и беспокойство своего отца и почувствовала себя оскорбленною. Она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что покраснела, и смелым, вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну. Княжна сказала графу, что очень рада и просит его только пробыть подольше у Анны Семеновны, и Илья Андреич уехал.

M-lle Bourienne, несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, желавшей с глазу на глаз поговорить с Наташей, не выходила из комнаты и держала твердо разговор о московских удовольствиях и театрах. Наташа была оскорблена замешательством, происшедшим в передней, беспокойством своего отца и неестественным тоном княжны, которая — ей казалось — делала милость, принимая ее. И потому все ей было неприятно. Княжна Марья ей не нравилась. Она казалась ей очень дурной собой, притворной и сухою. Наташа вдруг нравственно съежилась и приняла невольно такой небрежный тон, который еще более отталкивал от нее княжну Марью. После пяти минут тяжелого, притворного разговора послышались приближающиеся быстрые шаги в туфлях. Лицо княжны Марьи выразило испуг, дверь комнаты отворилась, и вошел князь в белом колпаке и халате.

— Ах, сударыня, — заговорил он, — сударыня, графиня... графиня Ростова, коли не ошибаюсь... прошу извинить, извинить... не знал, сударыня. Видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением, к дочери зашел в таком костюме. Извинить прошу... видит Бог, не знал, — повторил он так ненатурально, ударяя на слово Бог, и так неприятно, что княжна Марья стояла, опустив глаза, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу. Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна m-lle Bourienne приятно улыбалась.

— Прошу извинить! прошу извинить! Видит Бог, не знал, — пробурчал старик и, осмотрев с головы до ног Наташу, вышел. M-lle Bourienne первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя. Наташа и княжна Марья молча смотрели друг на друга, и чем дольше они молча смотрели друг на друга, не высказывая того, что им нужно было высказать, тем недоброжелательнее они думали друг о друге.

Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать: она почти ненавидела в эту минуту эту старую сухую княжну, которая могла поставить ее в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав

о князе Андрее. «Ведь я не могла же начать первая говорить о нем при этой француженке», — думала Наташа. Княжна Марья между тем мучилась тем же самым. Она знала, что ей надо было сказать Наташе, но она не могла этого сделать и потому, что m-lle Bourienne мешала ей, и потому, что она сама не знала, отчего ей так тяжело было начать говорить об этом браке. Когда уже граф выходил из комнаты, княжна Марья быстрыми шагами подошла к Наташе, взяла ее за руки и, тяжело вздохнув, сказала: «Постойте, мне надо...» Наташа насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну Марью.

— Милая Натали, — сказала княжна Марья, — знайте, что я рада тому, что брат мой нашел счастье... — Она остановилась, чувствуя, что она говорит неправду. Наташа заметила эту остановку и угадала причину ее.

— Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом, — сказала Наташа с внешним достоинством и холодностью и с слезами, которые она чувствовала в горле.

«Что я сказала, что я сделала!» — подумала она, как только вышла из комнаты.

Долго ждали в этот день Наташу к обеду. Она сидела в своей комнате и рыдала, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. Соня стояла над ней и целовала ее в волоса.

— Наташа, о чем ты? — говорила она. — Что тебе за дело до них? Все пройдет, Наташа.

— Нет, ежели бы ты знала, как это обидно... точно я...

— Не говори, Наташа, ведь ты не виновата, так что тебе за дело? Поцелуй меня, — сказала Соня.

Наташа подняла голову и, в губы поцеловав свою подругу, прижала к ней свое мокрое лицо.

— Я не могу сказать, я не знаю. Никто не виноват, — говорила Наташа, — я виновата. Но все это больно ужасно. Ах, что он не едет!..

Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи, и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями.

VIII

В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет.

Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца, и, поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно.

«Боже мой! ежели бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня, и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его — как я вижу эти глаза! — думала Наташа. — И что

мне за дело до его отца и сестры: я люблю его одного, его, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской... Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю, — и она отошла от зеркала, делая над собой усилия, чтобы не заплакать. — И как может Соня так ровно, спокойно любить Николеньку и ждать так долго и терпеливо! — подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню. — Нет, она совсем другая. Я не могу!»

Наташа чувствовала себя в эту минуту такою размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее и забыла, с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу, карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья; вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши все трое пошли в коридор бенуара. Из-за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.

— Nathalie, vos cheveux[1], — прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно боком проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна, в дверь блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам, и шумящий и блестящий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась, и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противуположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений.

Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того, все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России.

Наташа похорошела в деревне, как все ей говорили, а в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно, бессознательно, в такт увертюры, сжималась и разжималась, комкая афишу.

— Посмотри, вот Аленина, — говорила Соня, — с матерью, кажется.

— Батюшки! Михаил Кирилыч-то еще потолстел! — говорил старый граф.

— Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой!

[1] Наташа, твои волосы

— Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой.

— Друбецкой сделал предложение! Как же, нынче узнал, — сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых.

Наташа посмотрела по тому направлению, по которому смотрел отец, и увидала Жюли, которая с жемчугами на толстой красной шее (Наташа знала, обсыпанной пудрой) сидела с счастливым видом рядом с матерью. Позади их, с улыбкой, наклоненная ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причесанная, красивая голова Бориса. Он исподлобья смотрел на Ростовых и, улыбаясь, говорил что-то своей невесте.

«Они говорят про нас, про меня с ним! — подумала Наташа. — И он, верно, успокоивает ревность ко мне своей невесты. Напрасно беспокоятся! Ежели бы они знали, как мне ни до кого из них нет дела».

Сзади сидела в зеленой токе, с преданным воле Божией и счастливым, праздничным лицом, Анна Михайловна. В ложе их стояла та атмосфера — жениха с невестой, которую так знала и любила Наташа. Она отвернулась, и вдруг все, что было унизительно в ее утреннем посещении, вспомнилось ей.

«Какое право он имеет не хотеть принять меня в свое родство? Ах, лучше не думать об этом, не думать до его приезда!» — сказала она себе и стала оглядывать знакомые и незнакомые лица в партере. Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной, кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая московская молодежь, и он, видимо, первенствовал между ними.

Граф Илья Андреич, смеясь, подтолкнул краснеющую Соню, указывая ей на прежнего обожателя.

— Узнала? — спросил он. — И откуда он взялся, — обратился граф к Шиншину, — ведь он пропадал куда-то?

— Пропадал, — отвечал Шиншин. — На Кавказе был, а там бежал и, говорят, у какого-то владетельного князя был министром в Персии, убил там брата шахова; ну, с ума все и сходят московские барыни! Dolochoff le Persan[1], да и кончено. У нас теперь нет слова без Долохова; им клянутся, на него зовут, как на стерлядь, — говорил Шиншин. — Долохов да Курагин Анатоль — всех у нас барынь с ума свели.

В соседний бенуар вошла высокая красивая дама, с огромной косой и очень оголенными белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем.

Наташа невольно вглядывалась в эту шею, плечи, жемчуги, прическу и любовалась красотой плеч и жемчугов. В то время как Наташа второй раз вглядывалась в нее, дама оглянулась и, встретившись глазами с графом Ильей Андреичем, кивнула ему головой и улыбнулась. Это была графиня Безухова, жена Пьера. Илья Андреич, знавший всех на свете, перегнувшись к ней, заговорил.

[1] Долохов по прозвищу Перс

— Давно пожаловали, графиня? — заговорил он. — Приду, приду, ручку поцелую. А я вот приехал по делам, да вот и девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет, — говорил Илья Андреич. — Граф Петр Кириллович нас никогда не забывал. Он здесь?

— Да, он хотел зайти, — сказала Элен и внимательно посмотрела на Наташу.

— Граф Илья Андреич опять сел на свое место.

— Ведь хороша? — шепотом сказал он Наташе.

— Чудо! — сказала Наташа. — Вот влюбиться можно! — В это время зазвучали последние аккорды увертюры и застучала палочка капельмейстера. В партер прошли на места запоздавшие мужчины, и поднялась занавесь.

Как только поднялась занавесь, в ложах и партере все замолкло, и все мужчины, старые и молодые, в мундирах и фраках, все женщины, в драгоценных каменьях на голом теле, с жадным любопытством устремили все внимание на сцену. Наташа тоже стала смотреть.

IX

На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками.

Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять такта, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться.

После деревни и в том серьезном настроении, в котором находилась Наташа, все это было дико и удивительно ей. Она не могла следить за ходом оперы, не могла даже слышать музыку: она видела только крашеные картоны и странно наряженных мужчин и женщин, при ярком свете странно двигавшихся, говоривших и певших; она знала, что все это должно было представлять, но все это было так вычурно-фальшиво и ненатурально, что ей становилось то совестно за актеров, то смешно на них. Она оглядывалась вокруг себя, на лица зрителей, отыскивая в них то же чувство насмешки и недоумения, которое было в ней; но все лица были внимательны к тому, что происходило на сцене, и выражали притворное, как казалось Наташе, восхищение. «Должно быть, это так надобно!» — думала Наташа. Она попеременно оглядывалась то на эти ряды припомаженных голов в партере, то на оголенных женщин в ложах, в особенности на свою соседку Элен, которая, совершенно раздетая, с тихой и

спокойной улыбкой, не спуская глаз, смотрела на сцену, ощущая яркий свет, разлитый по всей зале, и теплый, толпою согретый воздух. Наташа мало-помалу начинала приходить в давно не испытанное ею состояние опьянения. Она не помнила, что она и где она и что перед ней делается. Она смотрела и думала, и самые странные мысли неожиданно, без связи, мелькали в ее голове. То ей приходила мысль вскочить на рампу и пропеть ту арию, которую пела актриса, то ей хотелось зацепить веером недалеко от нее сидевшего старичка, то перегнуться к Элен и защекотать ее.

В одну из минут, когда на сцене все затихло, ожидая начала арии, скрипнула входная дверь, и по ковру партера на той стороне, на которой была ложа Ростовых, зазвучали шаги запоздавшего мужчины. «Вот он, Курагин!» — прошептал Шиншин. Графиня Безухова обернулась, улыбаясь, к входящему. Наташа посмотрела по направлению глаз графини Безуховой и увидала необыкновенно красивого адъютанта, с самоуверенным и вместе учтивым видом подходящего к их ложе. Это был Анатоль Курагин, которого она давно видела и заметила на петербургском бале. Он был теперь в адъютантском мундире с одной эполетой и аксельбантом. Он шел сдержанной, молодецкой походкой, которая была бы смешна, ежели бы он не был так хорош собой и ежели бы на его прекрасном лице не было бы такого выражения добродушного довольства и веселья. Несмотря на то, что действие шло, он, не торопясь, слегка побрякивая шпорами и саблей, плавно и высоко неся свою надушенную красивую голову, шел по наклонному ковру коридора. Взглянув на Наташу, он подошел к сестре, положил руку в облитой перчатке на край ее ложи, тряхнул ей головой и, наклонясь, спросил что-то, указывая на Наташу.

— Mais charmante! [1] — сказал он, очевидно про Наташу, как не столько слышала она, сколько поняла по движению его губ. Потом он прошел в первый ряд и сел подле Долохова, дружески и небрежно толкнув локтем того Долохова, с которым так заискивающе обращались другие. Он, весело подмигнув, улыбнулся ему и уперся ногой в рампу.

— Как похожи брат с сестрой! — сказал граф. — И как хороши оба.

Шиншин вполголоса начал рассказывать графу какую-то историю интриги Курагина в Москве, к которой Наташа прислушалась именно потому, что он сказал про нее charmante[2].

Первый акт кончился, в партере все встали, перепутались и стали ходить и выходить.

Борис пришел в ложу Ростовых, очень просто принял поздравления и, приподняв брови, с рассеянной улыбкой, передал Наташе и Соне просьбу его невесты, чтобы они были на ее свадьбе, и вышел. Наташа с веселой и кокетливой улыбкой разговаривала с ним и поздравляла с женитьбой того самого Бориса, в которого она была влюблена прежде. В том состоянии опьянения, в котором она находилась, все казалось просто и естественно.

[1] Однако очаровательна!

[2] очаровательна

Голая Элен сидела подле нее и одинаково всем улыбалась; и точно так же улыбнулась Наташа Борису.

Ложа Элен наполнилась и окружилась со стороны партера самыми знатными и умными мужчинами, которые, казалось, наперерыв желали показать всем, что они знакомы с ней.

Курагин весь этот антракт стоял с Долоховым впереди у рампы, глядя на ложу Ростовых. Наташа знала, что он говорил про нее, и это доставляло ей удовольствие. Она даже повернулась так, чтоб ему виден был ее профиль, по ее понятиям, в самом выгодном положении. Перед началом второго акта в партере показалась фигура Пьера, которого еще с приезда не видали Ростовы. Лицо его было грустно, и он еще потолстел, с тех пор как его последний раз видела Наташа. Он, никого не замечая, прошел в первые ряды. Анатоль подошел к нему и стал что-то говорить ему, глядя и указывая на ложу Ростовых. Пьер, увидав Наташу, оживился и поспешно, по рядам, пошел к их ложе. Подойдя к ним, он облокотился и, улыбаясь, долго говорил с Наташей. Во время своего разговора с Пьером Наташа услыхала в ложе графини Безуховой мужской голос и почему-то узнала, что это был Курагин. Она оглянулась и встретилась с ним глазами. Он, почти улыбаясь, смотрел ей прямо в глаза таким восхищенным, ласковым взглядом, что казалось, странно быть от него так близко, так смотреть на него, быть так уверенной, что нравишься ему, и не быть с ним знакомой.

Во втором акте были картоны, изображающие монументы, и была дыра в полотне, изображающая луну, и абажуры на рампе подняли, и стали играть в басу трубы и контрабасы, и справа и слева вышло много людей в черных мантиях. Люди стали махать руками, а в руках у них было что-то вроде кинжалов; потом прибежали еще какие-то люди и стали тащить прочь ту девицу, которая была прежде в белом, а теперь в голубом платье. Они не утащили ее сразу, а долго с ней пели, а потом уже ее утащили, и за кулисами ударили три раза во что-то железное, и все стали на колена и запели молитву. Несколько раз все эти действия прерывались восторженными криками зрителей.

Во время этого акта Наташа всякий раз, как взглядывала в партер, видела Анатоля Курагина, перекинувшего руку через спинку кресла и смотревшего на нее. Ей приятно было видеть, что он так пленен ею, и не приходило в голову, чтобы в этом было что-нибудь дурное.

Когда второй акт кончился, графиня Безухова встала, повернулась к ложе Ростовых (грудь ее совершенно была обнажена), пальчиком в перчатке поманила к себе старого графа и, не обращая внимания на вошедших к ней в ложу, начала, любезно улыбаясь, говорить с ним.

— Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми, — сказала она. — Весь город про них кричит, а я их не знаю.

Наташа встала и присела великолепной графине. Наташе так приятна была похвала этой блестящей красавицы, что она покраснела от удовольствия.

— Я теперь тоже хочу сделаться москвичкой, — говорила Элен. — И как вам не совестно зарыть такие перлы в деревне!

Графиня Безухова по справедливости имела репутацию обворожительной женщины. Она могла говорить то, чего не думала, и в особенности льстить, совершенно просто и натурально.

— Нет, милый граф, вы мне позвольте заняться вашими дочерьми. Я хоть теперь здесь ненадолго. И вы тоже. Я постараюсь повеселить ваших. Я еще в Петербурге много слышала о вас и хотела вас узнать, — сказала она Наташе с своей однообразно красивой улыбкой. — Я слышала о вас и от моего пажа — Друбецкого, — вы слышали, он женится, — и от друга моего мужа — Болконского, князя Андрея Болконского, — сказала она с особенным ударением, намекая этим на то, что она знала отношения его к Наташе. Она попросила, чтобы ей лучше познакомиться, позволить одной из барышень посидеть остальную часть спектакля в ее ложе, и Наташа перешла к ней.

В третьем акте был на сцене представлен дворец, в котором горело много свечей и повешены были картины, изображавшие рыцарей с бородками. Впереди стояли, вероятно, царь и царица. Царь замахал правою рукой и, видимо робея, дурно пропел что-то и сел на малиновый трон. Девица, бывшая сначала в белом, потом в голубом, теперь была одета в одной рубашке, с распущенными волосами, и стояла около трона. Она о чем-то горестно пела, обращаясь к царице; но царь строго махнул рукой, и с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе. Потом скрипки заиграли очень тонко и весело. Одна из девиц, с голыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за кулисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. Все в партере захлопали руками и закричали браво. Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. (Это был Дюпорт, за своё искусство он получал шестьдесят тысяч рублей серебром.) Все в партере, в ложах и райке стали хлопать и кричать из всех сил, и мужчина остановился и стал улыбаться и кланяться на все стороны. Потом танцевали еще другие, с голыми ногами, мужчины и женщины, потом опять один из царей закричал что-то под музыку, и все стали петь. Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы, и все побежали и потащили опять одного из присутствующих за кулисы, и занавесь опустилась. Опять между зрителями поднялся страшный шум и треск, и все с восторженными лицами стали кричать:

— Дюпора! Дюпора! Дюпора!

Наташа уже не находила этого странным. Она с удовольствием, радостно улыбаясь, смотрела вокруг себя.

— N'est ce pas qu'il est admirable — Duport? [1] — сказала Элен, обращаясь к ней.

— Oh, oui[2], — отвечала Наташа.

[1] Не правда ли, что Дюпор восхитителен?

[2] О, да

X

В антракте в ложе Элен пахнуло холодом, отворилась дверь, и, нагибаясь и стараясь не зацепить кого-нибудь, вошел Анатоль.

— Позвольте мне вам представить брата, — беспокойно перебегая глазами с Наташи на Анатоля, сказала Элен. Наташа через голое плечо оборотила к красавцу свою хорошенькую головку и улыбнулась. Анатоль, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие, еще с нарышкинского бала, на котором имел удовольствие, которое он не забыл, видеть ее. Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто, и Наташу странно и приятно поразило то, что не только ничего не было такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивно-веселая и добродушная улыбка.

Анатоль Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова, играя, упала.

— А знаете, графиня, — сказал он, вдруг обращаясь к ней, как к старой, давнишней знакомой, — у нас устраивается карусель в костюмах; вам бы надо участвовать в нем: будет очень весело. Все собираются у Архаровых. Пожалуйста, приезжайте, право, а? — проговорил он.

Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Наташа несомненно знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно, жарко и тяжело становилось от его присутствия. Когда она смотрела на него, она чувствовала, что он смотрел на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтоб он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. Наташа оглядывалась на Элен и на отца, как будто спрашивая их, что такое это значило; но Элен была занята разговором с каким-то генералом и не ответила на ее взгляд, а взгляд отца ничего не сказал ей, как только то, что он всегда говорил: «Весело, ну я и рад».

В одну из минут неловкого молчания, во время которых Анатоль своими выпуклыми глазами спокойно и упорно смотрел на нее, Наташа, чтобы прервать это молчание, спросила его, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатоль улыбнулся, как бы ободряя ее.

— Сначала мне мало нравилась, потому что что делает город приятным? Ce sont les jolies femmes[1], не правда ли? Ну, а теперь очень нравится, — сказал он, значительно глядя на нее. — Поедете на карусель, графиня? Пожалуйста, поезжайте, — сказал он и, протянув руку к ее букету и понижая голос, сказал: — Vous serez la plus jolie. Venez, chère comtesse, et comme gage donnez moi cette fleur[2].

Наташа не поняла того, что он сказал, так же как он сам, но она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел. Она не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слыхала того, что он сказал. Но только что она отвернулась, она подумала, что он тут сзади, так близко от нее.

«Что он теперь? Он сконфужен? Рассержен? Надо поправить это?» — спрашивала она сама себя. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Она прямо в глаза взглянула ему, и его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась тоже, так же как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды.

Опять поднялась занавесь. Анатоль вышел из ложи, спокойный и веселый. Наташа вернулась к отцу в ложу, совершенно уже подчиненная тому миру, в котором она находилась. Все, что происходило перед нею, уже казалось ей вполне естественным; но зато все прежние мысли ее о женихе, о княжне Марье, о деревенской жизни ни разу не пришли ей в голову, как будто все то было давно, давно прошедшее.

В четвертом акте был какой-то черт, который пел, махая рукою до тех пор, пока не выдвинули под ним доски и он не опустился туда. Наташа только это и видела из четвертого акта: что-то волновало и мучило ее, и причиной этого волнения был Курагин, за которым она невольно следила глазами. Когда они выходили из театра, Анатоль подошел к ним, вызвал их карету и подсаживал их. Подсаживая Наташу, он пожал ей руку выше кисти. Наташа, взволнованная, красная и счастливая, оглянулась на него. Он, блестя своими глазами и нежно улыбаясь, смотрел на нее.

Только приехав домой, Наташа могла ясно обдумать все то, что с ней было, и, вдруг вспомнив о князе Андрее, она ужаснулась и при всех, за чаем, за который все сели после театра, громко ахнула и, раскрасневшись, выбежала из комнаты. «Боже мой! Я погибла! — сказала она себе. — Как я могла допустить до этого?» — думала она. Долго она сидела, закрыв раскрасневшееся лицо руками, стараясь дать себе ясный отчет в том, что было с нею, и не могла ни понять того, что с ней было, ни того, что она чувствовала. Все казалось ей темно, неясно и страшно. Там, в этой огромной освещенной зале, где по мокрым доскам прыгал под музыку с голыми ногами Duport в курточке с блестками, и девицы, и старики, и голая, с спокойной и гордой улыбкой Элен в восторге кричали браво, — там, под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто; но теперь одной, самой с собой, это было непонятно. «Что это такое? Что

[1] Это хорошенькие женщины

[2] Вы будете самая хорошенькая. Поезжайте, милая графиня, и в залог дайте мне этот цветок

такое этот страх, который я испытывала к нему? Что такое эти угрызения совести, которые я испытываю теперь?» — думала она.

Одной старой графине Наташа в состоянии была бы ночью в постели рассказать все, что она думала. Соня, она знала, с своим строгим и цельным взглядом, или ничего бы не поняла, или ужаснулась бы ее признанию. Наташа одна сама с собой старалась разрешить то, что ее мучило.

«Погибла ли я для любви князя Андрея, или нет?» — спрашивала она себя и с успокоительной усмешкой отвечала себе: «Что я за дура, что я спрашиваю это? Что ж со мной было? Ничего. Я ничего не сделала, ничем не вызвала этого. Никто не узнает, и я его больше не увижу никогда, — говорила она себе. — Стало быть, ясно, что ничего не случилось, что не в чем раскаиваться, что князь Андрей может любить меня и такою. Но какою такою? Ах Боже, Боже мой! Зачем его нет тут!» Наташа успокоивалась на мгновенье, но потом опять какой-то инстинкт говорил ей, что хотя все это и правда и хотя ничего не было, — инстинкт говорил ей, что вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла. И она опять в своем воображении повторяла весь свой разговор с Курагиным и представляла себе лицо, жест и нежную улыбку этого красивого и смелого человека, в то время как он пожал ее руку.

XI

Анатоль Курагин жил в Москве, потому что отец отослал его из Петербурга, где он проживал более двадцати тысяч в год деньгами и столько же долгами, которых кредиторы требовали у отца.

Отец объявил сыну, что он в последний раз платит половину его долгов; но только с тем, чтоб он ехал в Москву в должность адъютанта главнокомандующего, которую он ему выхлопотал, и постарался бы там наконец сделать хорошую партию. Он указал ему на княжну Марью и Жюли Карагину.

Анатоль согласился и поехал в Москву, где остановился у Пьера. Пьер принял Анатоля сначала неохотно, но потом привык к нему, иногда ездил с ним на его кутежи и, под предлогом займа, давал ему деньги.

Анатоль, как справедливо говорил про него Шиншин, с тех пор как приехал в Москву, сводил с ума всех московских барынь в особенности тем, что он пренебрегал ими и, очевидно, предпочитал им цыганок и французских актрис, с главою которых с mademoiselle Georges, как говорили, он был в близких сношениях. Он не пропускал ни одного кутежа у Долохова и других весельчаков Москвы, напролет пил целые ночи, перепивая всех, и бывал на всех вечерах и балах высшего света. Рассказывали про несколько интриг его с московскими дамами, и на балах он ухаживал за некоторыми. Но с девицами, в особенности с богатыми невестами, которые были большей частью дурны, он не сближался, тем более что Анатоль, чего никто не знал, кроме самых близких друзей его, был два года тому назад женат. Два года тому назад, во время стоянки его полка в Польше, один польский небогатый помещик заставил Анатоля жениться на своей дочери.

Анатоль весьма скоро бросил свою жену и за деньги, которые он условился высылать тестю, выговорил себе право слыть за холостого человека.

Анатоль был всегда доволен своим положением, собою и другими. Он был инстинктивно, всем существом своим убежден в том, что ему нельзя было жить иначе, чем так, как он жил, и что он никогда в жизни не сделал ничего дурного. Он не был в состоянии обдумать ни того, как его поступки могут отзываться на других, ни того, что может выйти из такого или такого его поступка. Он был убежден, что как утка сотворена так, что она всегда должна жить в воде, так и он сотворен Богом так, что должен жить в тридцать тысяч дохода и занимать всегда высшее положение в обществе. Он так твердо верил в это, что, глядя на него, и другие были убеждены в этом и не отказывали ему ни в высшем положении в свете, ни в деньгах, которые он, очевидно без отдачи, занимал у встречного и поперечного.

Он не был игрок, по крайней мере никогда не желал выигрыша, даже не жалел проигрыша. Он не был тщеславен. Ему было совершенно все равно, что бы о нем ни думали. Еще менее он мог быть повинен в честолюбии. Он несколько раз дразнил отца, портя свою карьеру, и смеялся над всеми почестями. Он был не скуп и не отказывал никому, кто просил у него. Одно, что он любил, — это было веселье и женщины; и так как, по его понятиям, в этих вкусах не было ничего неблагородного, а обдумать то, что выходило для других людей из удовлетворения его вкусов, он не мог, то в душе своей он считал себя безукоризненным человеком, искренно презирал подлецов и дурных людей и с спокойной совестью высоко носил голову.

У кутил, у этих мужских магдалин, есть тайное чувство сознания невинности, такое же, как и у магдалин-женщин, основанное на той же надежде прощения. «Ей все простится, потому что она много любила; и ему все простится, потому что он много веселился».

Долохов, в этом году появившийся опять в Москве после своего изгнания и персидских похождений и ведший роскошную игорную и кутежную жизнь, сблизился с старым петербургским товарищем Курагиным и пользовался им для своих целей.

Анатоль искренно любил Долохова за его ум и удальство; Долохов, которому были нужны имя, знатность, связи Анатоля Курагина для приманки в свое игорное общество богатых молодых людей, не давая ему этого чувствовать, пользовался и забавлялся Курагиным. Кроме расчета, по которому ему был нужен Анатоль, самый процесс управления чужою волей был наслаждением, привычкой и потребностью для Долохова.

Наташа произвела сильное впечатление на Курагина. Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Долоховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживания — Анатоль не мог обдумать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого его поступка.

— Хороша, брат, да не про нас, — сказал ему Долохов.

— Я скажу сестре, чтоб она позвала ее обедать, — сказал Анатоль. — А?

— Ты подожди лучше, как замуж выйдет...

— Ты знаешь, — сказал Анатоль, — j'adore les petites filles[1]: сейчас потеряется.

— Ты уж попался раз на petite fille[2], — сказал Долохов, знавший про женитьбу Анатоля. — Смотри.

— Ну, уж два раза нельзя! А? — сказал Анатоль, добродушно смеясь.

XII

Следующий после театра день Ростовы никуда не ездили, и никто не приезжал к ним. Марья Дмитриевна о чем-то скрывая от Наташи, переговаривалась с ее отцом. Наташа догадывалась, что они говорили о старом князе и что-то придумывали, и ее беспокоило и оскорбляло это. Она всякую минуту ждала князя Андрея и два раза в этот день посылала дворника на Вздвиженку узнавать, не приехал ли он. Он не приезжал. Ей было теперь тяжелее, чем первые дни своего приезда. К нетерпению и грусти ее о нем присоединились неприятное воспоминание о свидании с княжной Марьей и с старым князем и страх и беспокойство, которым она не знала причины. Ей все казалось, что или он никогда не приедет, или что, прежде чем он приедет, с ней случится что-нибудь. Она не могла, как прежде, спокойно и продолжительно, одна сама с собой, думать о нем. Как только она начинала думать о нем, к воспоминанию о нем присоединялось воспоминание о старом князе, о княжне Марье, и о последнем спектакле, и о Курагине. Ей опять представлялся вопрос, не виновата ли она, не нарушена ли уже ее верность князю Андрею, и опять она заставала себя до малейших подробностей воспоминающею каждое слово, каждый жест, каждый оттенок игры выражения на лице этого человека, умевшего возбудить в ней непонятное для нее и страшное чувство. На взгляд домашних, Наташа казалась оживленнее обыкновенного, но она далеко была не так спокойна и счастлива, как была прежде.

В воскресенье утром Марья Дмитриевна пригласила своих гостей к обедне в свой приход Успения на Могильцах.

— Я этих модных церквей не люблю, — говорила она, видимо гордясь своим свободомыслием. — Везде Бог один. Поп у нас прекрасный, служит прилично, так это благородно, и дьякон тоже. Разве от этого святость какая, что концерты на клиросе поют? Не люблю, одно баловство!

Марья Дмитриевна любила воскресные дни и умела праздновать их. Дом ее бывал весь вымыт и вычищен в субботу; люди и она не работали, все были празднично разряжены, и все бывали у обедни. К господскому обеду прибавлялись кушанья, и людям давалась водка и жареный гусь или поросенок. Но ни на чем во всем доме так не бывал заметен праздник, как на широком, строгом лице Марьи Дмитриевны, в этот день принимавшем неизменяемое выражение торжественности.

Когда напились кофе после обедни, в гостиной с снятыми чехлами, Марье Дмитриевне доложили, что карета готова, и она с строгим видом, одетая в парадную шаль, в которой она делала визиты, поднялась и объявила, что едет к князю Николаю Андреевичу Болконскому, чтоб объясниться с ним насчет Наташи.

---

[1] я обожаю юных девушек

[2] юная девушка

После отъезда Марьи Дмитриевны к Ростовым приехала модистка от мадам Шальме, и Наташа, затворив дверь в соседней с гостиной комнате, очень довольная развлечением, занялась примериваньем новых платьев. В то время как она, надев сметанный на живую нитку еще без рукавов лиф и загибая голову, гляделась в зеркало, как сидит спинка, она услыхала в гостиной оживленные звуки голоса отца и другого, женского голоса, который заставил ее покраснеть. Это был голос Элен. Не успела Наташа снять примериваемый лиф, как дверь отворилась и в комнату вошла графиня Безухова, сияющая добродушной и ласковой улыбкой, в темно-лиловом, с высоким воротом, бархатном платье.

— Ah, ma délicieuse! [1] — сказала она красневшей Наташе. — Charmante! [2] Нет, это ни на что не похоже, мой милый граф, — сказала она вошедшему за ней Илье Андреичу. — Как жить в Москве и никуда не ездить! Нет, я от вас не отстану! Нынче вечером у меня m-lle Georges[3] декламирует и соберутся кое-кто; и ежели вы не привезете своих красавиц, которые лучше m-lle Georges, то я вас знать не хочу. Мужа нет, он уехал в Тверь, а то бы я его за вами прислала. Непременно приезжайте, непременно, в девятом часу. — Она кивнула головой знакомой модистке, почтительно присевшей ей, и села на кресло подле зеркала, живописно раскинув складки своего бархатного платья. Она не переставала добродушно и весело болтать, беспрестанно восхищаясь красотой Наташи. Она рассмотрела ее платья и похвалила их, похвалилась и своим новым платьем en gaz métallique[4], которое она получила из Парижа, и советовала Наташе сделать такое же.

— Впрочем, вам все идет, моя прелестная, — говорила она.

С лица Наташи не сходила улыбка удовольствия. Она чувствовала себя счастливой и расцветающей под похвалами этой милой графини Безуховой, казавшейся ей прежде такой неприступной и важной дамой и бывшей теперь такою доброй с ней. Наташе стало весело, и она чувствовала себя почти влюбленной в эту такую красивую и такую добродушную женщину. Элен с своей стороны искренно восхищалась Наташей и желала повеселить ее. Анатоль просил ее свести его с Наташей, и для этого она приехала к Ростовым. Мысль свести брата с Наташей забавляла ее.

Несмотря на то, что прежде у нее была досада на Наташу за то, что она в Петербурге отбила у нее Бориса, она теперь и не думала об этом и всей душой, по-своему, желала добра Наташе. Уезжая от Ростовых, она отозвала в сторону свою protégée[5].

— Вчера брат обедал у меня — мы помирали со смеха — ничего не ест и вздыхает по вас, моя прелесть. Il est fou, mais fou amoureux de vous, ma chère[6].

Наташа багрово покраснела, услыхав эти слова.

---

[1] О, моя восхитительная!
[2] Прелесть!
[3] мадемуазель Жорж
[4] из металлического газа
[5] Протеже (подопечную)
[6] Он сошёл с ума, но безумно влюблён в вас, дорогая

— Как краснеет, как краснеет, ma délicieuse! [2] — проговорила Элен. — Непременно приезжайте. Si vous aimez quelqu'un, ma délicieuse, ce n'est pas une raison pour se cloîtrer. Si même vous êtes promise, je suis sûre que votre promis aurait désiré que vous alliez dans le monde en son absence plutôt que de dépérir d'ennui [3].

«Стало быть, она знает, что я невеста, стало быть, и они с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером, — думала Наташа, — говорили и смеялись про это. Стало быть, это ничего». И опять, под влиянием Элен, то, что прежде представлялось страшным, показалось простым и естественным. «И она такая grande dame[4], такая милая и так, видно, всей душой любит меня, — думала Наташа. — И отчего не веселиться?» — думала Наташа, удивленными, широко раскрытыми глазами глядя на Элен.

К обеду вернулась Марья Дмитриевна, молчаливая, серьезная, очевидно, понесшая поражение у старого князя. Она была еще слишком взволнована от происшедшего столкновения, чтобы быть в силах спокойно рассказать дело. На вопрос графа она отвечала, что все хорошо и что она завтра расскажет. Узнав о посещении графини Безуховой и приглашении на вечер, Марья Дмитриевна сказала:

— С Безуховой водиться я не люблю и не посоветую; ну, да уж если обещала, поезжай, рассеешься, — прибавила она, обращаясь к Наташе.

XIII

Граф Илья Андреич повез своих девиц к графине Безуховой. На вечере было довольно много народу. Но все общество было почти незнакомо Наташе. Граф Илья Андреич с неудовольствием заметил, что все это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения. M-lle Georges, окруженная молодежью, стояла в углу гостиной. Было несколько французов и между ними Метивье, бывший, со времени приезда Элен, домашним человеком у нее. Граф Илья Андреич решился не садиться за карты, не отходить от дочерей и уехать, как только кончится представление Georges.

Анатоль, очевидно, у двери ожидал входа Ростовых. Он тотчас же, поздоровавшись с графом, подошел к Наташе и пошел за ней. Как только Наташа его увидала, то же, как и в театре, чувство тщеславного удовольствия, что она нравится ему, и страха от отсутствия нравственных преград между ею и им охватило ее.

Элен радостно приняла Наташу и громко восхищалась ее красотой и туалетом. Вскоре после их приезда m-lle Georges вышла из комнаты, чтобы одеться. В гостиной стали расстанавливать стулья и усаживаться. Анатоль подвинул Наташе стул и хотел сесть подле, но граф, не спускавший глаз с Наташи, сел подле нее. Анатоль сел сзади.

M-lle Georges, с оголенными, с ямочками, толстыми руками, в красной шали, надетой на одно плечо, вышла в оставленное для нее пустое пространство между кресел и остановилась в ненатуральной позе. Послышался восторженный шепот.

---

[2] моя прелесть!

[3] Если вы кого-нибудь любите, моя прелестная, это еще не причина, чтобы запереть себя. Даже если вы невеста, я уверена, что ваш жених желал бы скорее, чтобы вы ездили в свет, чем пропадали со скуки

[4] важная особа

M-lle Georges строго и мрачно оглядела публику и начала говорить по-французски какие-то стихи, где речь шла о ее преступной любви к своему сыну. Она местами возвышала голос, местами шептала, торжественно поднимая голову, местами останавливалась и хрипела, выкатывая глаза:

— Adorable, divin, délicieux! [1] — слышалось со всех сторон. Наташа смотрела на толстую Georges, но ничего не слышала, не видела и не понимала ничего из того, что делалось перед ней; она только чувствовала себя опять вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно. Позади ее сидел Анатоль, и она, чувствуя его близость, испуганно ждала чего-то.

После первого монолога все общество встало и окружило m-lle Georges, выражая ей свой восторг.

— Как она хороша! — сказала Наташа отцу, который вместе с другими встал и сквозь толпу подвигался к актрисе.

— Я не нахожу, глядя на вас, — сказал Анатоль, следуя за Наташей. Он сказал это в такое время, когда она одна могла его слышать. — Вы прелестны... с той минуты, как я увидал вас, я не переставал...

— Пойдем, пойдем, Наташа, — сказал граф, возвращаясь за дочерью. — Как хороша!

Наташа, ничего не говоря, подошла к отцу и вопросительно-удивленными глазами смотрела на него.

После нескольких приемов декламации m-lle Georges уехала, и графиня Безухова попросила общество в залу.

Граф хотел уехать, но Элен умоляла не испортить ее импровизированного бала. Ростовы остались. Анатоль пригласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая ее стан и руку, сказал ей, что она ravissante[2] и что он любит ее. Во время экосеза, который она опять танцевала с Курагиным, когда они остались одни, Анатоль ничего не говорил ей и только смотрел на нее. Наташа была в сомнении, не во сне ли она видела то, что он сказал ей во время вальса. В конце первой фигуры он опять пожал ей руку. Наташа подняла на него испуганные глаза, но такое самоуверенно-нежное выражение было в его ласковом взгляде и улыбке, что она не могла, глядя на него, сказать того, что она имела сказать ему. Она опустила глаза.

— Не говорите мне таких вещей, я обручена и люблю другого, — проговорила она быстро... Она взглянула на него. Анатоль не смутился и не огорчился тем, что она сказала.

— Не говорите мне про это. Что мне за дело? — сказал он. — Я говорю, что безумно, безумно влюблен в вас. Разве я виноват, что вы восхитительны?.. Нам начинать.

---

[1] Восхитительно, божественно, чудесно!

[2] обворожительна

Наташа, оживленная и тревожная, широко раскрытыми, испуганными глазами смотрела вокруг себя и казалась веселее, чем обыкновенно. Она почти ничего не помнила из того, что было в этот вечер. Танцевала экосез и гросфатер, отец приглашал ее уехать, она просила остаться. Где бы она ни была, с кем бы ни говорила, она чувствовала на себе его взгляд. Потом она помнила, что попросила у отца позволения выйти в уборную оправить платье, что Элен вышла за ней, говорила ей, смеясь, о любви ее брата и что в маленькой диванной ей опять встретился Анатоль, что Элен куда-то исчезла, они остались вдвоем, и Анатоль, взяв ее за руку, нежным голосом сказал:

— Я не могу к вам ездить, но неужели я никогда не увижу вас? Я безумно люблю вас. Неужели никогда?.. — И он, заслоняя ей дорогу, приближал свое лицо к ее лицу.

Блестящие большие мужские глаза его так близки были от ее глаз, что она не видела ничего, кроме этих глаз.

— Натали?! — прошептал вопросительно его голос, и кто-то больно сжимал ее руки. — Натали?!

«Я ничего не понимаю, мне нечего говорить», — сказал ее взгляд.

Горячие губы прижались к ее губам, и в ту же минуту она почувствовала себя опять свободною, и в комнате послышался шум шагов и платья Элен. Наташа оглянулась на Элен, потом, красная и дрожащая, взглянула на него испуганно-вопросительно и пошла к двери.

— Un mot, un seul, au nom de Dieu[1], — говорил Анатоль.

Она остановилась. Ей так нужно было, чтобы он сказал это слово, которое бы объяснило ей то, что случилось, и на которое она бы ему ответила.

— Nathalie, un mot, un seul[2], — все повторял он, видимо не зная, что сказать, и повторял его до тех пор, пока к ним подошла Элен.

Элен вместе с Наташей опять вышла в гостиную. Не оставшись ужинать, Ростовы уехали.

Вернувшись домой, Наташа не спала всю ночь; ее мучил неразрешимый вопрос, кого она любила: Анатоля или князя Андрея? Князя Андрея она любила — она помнила ясно, как сильно она любила его. Но Анатоля она любила тоже, это было несомненно. «Иначе разве все это могло бы быть? — думала она. — Ежели я могла после этого, прощаясь с ним, могла улыбкой ответить на его улыбку, ежели я могла допустить до этого, то значит, что я с первой минуты полюбила его. Значит, он добр, благороден и прекрасен, и нельзя было не полюбить его. Что же мне делать, когда я люблю его и люблю другого?» — говорила она себе, не находя ответов на эти страшные вопросы.

XIV

Пришло утро с его заботами и суетой. Все встали, задвигались, заговорили, опять пришли модистки, опять вышла Марья Дмитриевна и позвали к чаю. Наташа широко раскрытыми глазами, как будто она хотела перехватить всякий

[1] Одно слово, только одно, ради Бога

[2] Натали, одно слово, одно

устремленный на нее взгляд, беспокойно оглядывалась на всех и старалась казаться такою же, какою она была всегда.

После завтрака Марья Дмитриевна (это было лучшее время ее), сев на свое кресло, подозвала к себе Наташу и старого графа.

— Ну-с, друзья мои, теперь я все дело обдумала, и вот вам мой совет, — начала она. — Вчера, как вы знаете, была я у князя Николая; ну-с и поговорила с ним... Он кричать вздумал. Да меня не перекричишь! Я все ему выпела!

— Да что же он? — спросил граф.

— Он-то что? сумасброд... слышать не хочет; ну, да что говорить, и так мы бедную девочку измучили, — сказала Марья Дмитриевна. — А совет мой вам, чтобы дела покончить и ехать домой, в Отрадное... и там ждать...

— Ах, нет! — вскрикнула Наташа.

— Нет, ехать, — сказала Марья Дмитриевна. — И там ждать. Если жених теперь сюда приедет — без ссоры не обойдется, а он тут один на один с стариком все переговорит и потом к вам приедет.

Илья Андреич одобрил это предложение, тотчас поняв всю разумность его. Ежели старик смягчится, то тем лучше будет приехать к нему в Москву или Лысые Горы уже после; если нет, то венчаться против его воли можно будет только в Отрадном.

— И истинная правда, — сказал он. — Я и жалею, что к нему ездил и ее возил, — сказал старый граф.

— Нет, чего ж жалеть? Бывши здесь, нельзя было не сделать почтения. Ну, а не хочет, его дело, — сказала Марья Дмитриевна, что-то отыскивая в ридикюле. — Да и приданое готово, чего вам еще ждать, а что не готово, я вам перешлю. Хоть и жалко мне вас, а лучше с Богом поезжайте. — Найдя в ридикюле то, что она искала, она передала Наташе. Это было письмо от княжны Марьи. — Тебе пишет. Как мучается, бедняжка! Она боится, чтоб ты не подумала, что она тебя не любит.

— Да она и не любит меня, — сказала Наташа.

— Вздор не говори, — крикнула Марья Дмитриевна.

— Никому не поверю: я знаю, что не любит, — смело сказала Наташа, взяв письмо, и в лице ее выразилась сухая и злобная решительность, заставившая Марью Дмитриевну пристальнее посмотреть на нее и нахмуриться.

— Ты, матушка, так не отвечай, — сказала она. — Что я говорю, то правда. Напиши ответ.

Наташа не отвечала и пошла в свою комнату читать письмо княжны Марьи.

Княжна Марья писала, что она была в отчаянии от происшедшего между ними недоразумения. Какие бы ни были чувства отца, писала княжна Марья, она просила Наташу верить, что она не могла не любить ее как ту, которую выбрал ее брат, для счастия которого она всем готова была пожертвовать.

«Впрочем, — писала она, — не думайте, чтобы отец мой был дурно расположен к вам. Он больной и старый человек, которого надо извинять; но он добр, великодушен и будет любить ту, которая сделает счастье его сына». Княжна Марья просила далее, чтобы Наташа назначила время, когда она может опять увидаться с ней.

Прочтя письмо, Наташа села к письменному столу, чтобы написать ответ: «Chère princesse!»[1] — быстро механически написала она и остановилась. Что ж дальше могла написать она после всего того, что было вчера? «Да, да, все это было, и теперь уже все другое, — думала она, сидя над начатым письмом. — Надо отказать ему? Неужели надо? Это ужасно!..» И, чтобы не думать этих страшных мыслей, она пошла к Соне и с ней вместе стала разбирать узоры.

После обеда Наташа ушла в свою комнату и опять взяла письмо княжны Марьи. «Неужели все уже кончено? — думала она. — Неужели так скоро все это случилось и уничтожило все прежнее?» Она во всей прежней силе вспоминала свою любовь к князю Андрею и вместе с тем чувствовала, что любила Курагина. Она живо представляла себя женою князя Андрея, представляла себе столько раз повторенную ее воображением картину счастия с ним и вместе с тем, разгораясь от волнения, представляла себе все подробности своего вчерашнего свидания с Анатолем.

«Отчего же бы это не могло быть вместе? — иногда, в совершенном затмении, думала она. — Тогда только я бы была совсем счастлива, а теперь я должна выбрать, и ни без одного из обоих я не могу быть счастлива. Одно, — думала она, — сказать то, что было, князю Андрею или скрыть — одинаково невозможно. А с этим ничего не испорчено. Но неужели расстаться навсегда с этим счастием любви к князю Андрею, которым я жила так долго?»

— Барышня, — шепотом, с таинственным видом сказала девушка, входя в комнату. — Мне один человек велел передать. — Девушка подала письмо. — Только ради Христа, барышня... — говорила еще девушка, когда Наташа, не думая, механическим движением сломала печать и читала любовное письмо Анатоля, из которого она, не понимая ни слова, понимала только одно, что это письмо было от него, от того человека, которого она любит. «Да, она любит, иначе разве могло бы случиться то, что случилось? Разве могло бы быть в ее руке любовное письмо от него?»

Трясущимися руками Наташа держала это страстное, любовное письмо, сочиненное для Анатоля Долоховым, и, читая его, находила в нем отголоски всего того, что, ей казалось, она сама чувствовала.

«Со вчерашнего вечера участь моя решена: быть любимым вами или умереть. Мне нет другого выхода», — начиналось письмо. Потом он писал, что знает про то, что родные ее не отдадут ему, что на это есть тайные причины, которые он ей одной может открыть, но что ежели она его любит, то ей стоит сказать это слово да, и никакие силы людские не помешают их блаженству. Любовь победит все. Он похитит и увезет ее на край света.

«Да, да, я люблю его!» — думала Наташа, перечитывая двадцатый раз письмо и отыскивая какой-то особенный глубокий смысл в каждом его слове.

В этот вечер Марья Дмитриевна ехала к Архаровым и предложила барышням ехать с нею. Наташа под предлогом головной боли осталась дома.

[1] Милая княжна!

XV

Вернувшись поздно вечером, Соня вошла в комнату Наташи и, к удивлению своему, нашла ее не раздетою, спящею на диване. На столе подле нее лежало открытое письмо Анатоля. Соня взяла письмо и стала читать его.

Она читала и взглядывала на спящую Наташу, на лице ее отыскивая объяснения того, что она читала, и не находила его. Лицо было тихое, кроткое и счастливое. Схватившись за грудь, чтобы не задохнуться. Соня, бледная и дрожащая от страха и волнения, села на кресло и залилась слезами.

«Как я не видала ничего? Как могло это зайти так далеко? Неужели она разлюбила князя Андрея? И как могла она допустить до этого Курагина? Он обманщик и злодей, это ясно. Что будет с Nicolas, с милым, благородным Nicolas, когда он узнает про это? Так вот что значило ее взволнованное, решительное и неестественное лицо третьего дня, и вчера, и нынче, — думала Соня. — Но не может быть, чтоб она любила его! Вероятно, не зная от кого, она распечатала это письмо. Вероятно, она оскорблена. Она не может этого сделать!»

Соня утерла слезы и подошла к Наташе, опять вглядываясь в ее лицо.

— Наташа! — сказала она чуть слышно.

Наташа проснулась и увидала Соню.

— А, вернулась?

И с решительностью и нежностью, которая бывает в минуты пробуждения, она обняла подругу. Но, заметив смущение на лице Сони, лицо Наташи выразило смущение и подозрительность.

— Соня, ты прочла письмо? — сказала она.

— Да, — тихо сказала Соня.

Наташа восторженно улыбнулась.

— Нет, Соня, я не могу больше! — сказала Наташа. — Я не могу скрывать больше от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга!.. Соня, голубушка, он пишет... Соня...

Соня, как бы не веря своим ушам, смотрела во все глаза на Наташу.

— А Болконский? — сказала она.

— Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива! — сказала Наташа. — Ты не знаешь, что такое любовь...

— Но, Наташа, неужели то все кончено?

Наташа большими, открытыми глазами смотрела на Соню, как будто не понимая ее вопроса.

— Что ж, ты отказываешь князю Андрею? — сказала Соня.

— Ах, ты ничего не понимаешь, ты не говори глупости, ты слушай, — с мгновенной досадой сказала Наташа.

— Нет, я не могу этому верить, — повторила Соня. — Я не понимаю. Как же ты год целый любила одного человека и вдруг... Ведь ты только три раза видела его. Наташа, я тебе не верю, ты шутишь. В три дня забыть все и так...

— Три дня, — сказала Наташа. — Мне, кажется, я сто лет люблю его. Мне кажется, что я никого никогда не любила прежде его. Да и не любила никого так, как

его. Ты этого не можешь понять, Соня, постой, садись тут. — Наташа обняла и поцеловала ее. — Мне говорили, что это бывает, и ты, верно, слышала, но я теперь только испытала эту любовь. Это не то, что прежде. Как только я увидала его, я почувствовала, что он мой властелин, а я раба его и что я не могу не любить его. Да, раба! Что он мне велит, то я и сделаю. Ты не понимаешь этого. Что ж мне делать? Что ж мне делать, Соня? — говорила Наташа с счастливым и испуганным лицом.

— Но ты подумай, что ты делаешь, — говорила Соня, — я не могу этого так оставить. Эти тайные письма... Как ты могла его допустить до этого? — говорила она с ужасом и с отвращением, которое она с трудом скрывала.

— Я тебе говорила, — отвечала Наташа, — что у меня нет воли, как ты не понимаешь этого: я его люблю!

— Так я не допущу до этого, я расскажу, — с прорвавшимися слезами вскрикнула Соня.

— Что ты, ради Бога... Ежели ты расскажешь, ты мой враг, — заговорила Наташа. — Ты хочешь моего несчастия, ты хочешь, чтобы нас разлучили...

Увидав этот страх Наташи, Соня заплакала слезами стыда и жалости за свою подругу.

— Но что было между вами? — спросила она. — Что он говорил тебе? Зачем он не ездит в дом?

Наташа не отвечала на ее вопрос.

— Ради Бога, Соня, никому не говори, не мучай меня, — упрашивала Наташа. — Ты помни, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла...

— Но зачем эти тайны? Отчего же он не ездит в дом? — спрашивала Соня. — Отчего он прямо не ищет твоей руки? Ведь князь Андрей дал тебе полную свободу, ежели уж так; но я не верю этому. Наташа, ты подумала, какие могут быть тайные причины?

Наташа удивленными глазами смотрела на Соню. Видно, ей самой в первый раз представлялся этот вопрос, и она не знала, что отвечать на него.

— Какие причины, не знаю. Но, стало быть, есть причины!

Соня вздохнула и недоверчиво покачала головой.

— Ежели бы были причины... — начала она. Но Наташа, угадывая ее сомнения, испуганно перебила ее.

— Соня, нельзя сомневаться в нем, нельзя, нельзя, ты понимаешь ли? — прокричала она.

— Любит ли он тебя?

— Любит ли? — повторила Наташа с улыбкой сожаления о непонятливости своей подруги. — Ведь ты прочла письмо, ты видела его?

— Но если он неблагородный человек?

— Он — неблагородный человек? Коли бы ты знала! — говорила Наташа.

— Если он благородный человек, то он или должен объявить свое намерение, или перестать видеться с тобой; и ежели ты не хочешь этого сделать, то я сделаю это; я напишу ему и скажу папá, — решительно сказала Соня.

— Да я жить не могу без него! — закричала Наташа.

— Наташа, я не понимаю тебя. И что ты говоришь! Вспомни об отце, о Nicolas.

— Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. Как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Ты разве не знаешь, что я его люблю? — кричала Наташа. — Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться, уйди, ради Бога, уйди: ты видишь, как я мучаюсь, — злобно кричала Наташа сдержанно-раздраженным и отчаянным голосом.

Соня разрыдалась и выбежала из комнаты.

Наташа подошла к столу и, не думав ни минуты, написала тот ответ княжне Марье, который она не могла написать целое утро. В письме этом она коротко писала княжне Марье, что все недоразумения их кончены, что, пользуясь великодушием князя Андрея, который, уезжая, дал ей свободу, она просит ее забыть все и простить ее, ежели она перед нею виновата, но что она не может быть его женой. Все это ей казалось так легко, просто и ясно в эту минуту.

В пятницу Ростовы должны были ехать в деревню, а граф в среду поехал с покупщиком в свою подмосковную.

В день отъезда графа Соня с Наташей были званы на большой обед к Курагиным, и Марья Дмитриевна повезла их. На обеде этом Наташа опять встретилась с Анатолем, и Соня заметила, что Наташа говорила с ним что-то, желая не быть услышанной, и все время обеда была еще более взволнована, чем прежде. Когда они вернулись домой, Наташа начала первая с Соней то объяснение, которого ждала ее подруга.

— Вот ты, Соня, говорила разные глупости про него, — начала Наташа кротким голосом, тем голосом, которым говорят дети, когда хотят, чтоб их похвалили. — Мы объяснились с ним нынче.

— Ну, что же, что? Ну что ж он сказал? Наташа, как я рада, что ты не сердишься на меня. Говори мне все, всю правду. Что же он сказал?

Наташа задумалась.

— Ах, Соня, если бы ты знала его так, как я! Он сказал... Он спрашивал меня о том, как я обещала Болконскому. Он обрадовался, что от меня зависит отказать ему.

Соня грустно вздохнула.

— Но ведь ты не отказала Болконскому? — сказала она.

— А может быть, я и отказала! Может быть, с Болконским все кончено. Почему ты думаешь про меня так дурно?

— Я ничего не думаю, я только не понимаю этого...

— Подожди, Соня, ты все поймешь. Увидишь, какой он человек. Ты не думай дурное ни про меня, ни про него.

— Я ни про кого не думаю дурное: я всех люблю и всех жалею. Но что ж мне делать?

Соня не сдавалась на нежный тон, с которым к ней обращалась Наташа. Чем размягченнее и искательнее было выражение лица Наташи, тем серьезнее и строже было лицо Сони.

— Наташа, — сказала она, — ты просила меня не говорить с тобой, я и не говорила, теперь ты сама начала. Наташа, я не верю ему. Зачем эта тайна?

— Опять, опять! — перебила Наташа.

— Наташа, я боюсь за тебя.

— Чего бояться?

— Я боюсь, что ты погубишь себя, — решительно сказала Соня, сама испугавшись того, что она сказала.

Лицо Наташи опять выразило злобу.

— И погублю, погублю, как можно скорее погублю себя. Не ваше дело. Не вам, а мне дурно будет. Оставь, оставь меня. Я ненавижу тебя.

— Наташа! — испуганно взывала Соня.

— Ненавижу, ненавижу! И ты мой враг навсегда!

Наташа выбежала из комнаты.

Наташа не говорила больше с Соней и избегала ее. С тем же выражением взволнованного удивления и преступности она ходила по комнатам, принимаясь то за то, то за другое занятие и тотчас же бросая их.

Как это ни тяжело было для Сони, но она, не спуская глаз, следила за своей подругой.

Накануне того дня, в который должен был вернуться граф, Соня заметила, что Наташа сидела все утро у окна гостиной, как будто ожидая чего-то, и что она сделала какой-то знак проехавшему военному, которого Соня приняла за Анатоля.

Соня стала еще внимательнее наблюдать свою подругу и заметила, что Наташа была все время обеда и вечера в странном и неестественном состоянии (отвечала невпопад на делаемые ей вопросы, начинала и не доканчивала фразы, всему смеялась).

После чая Соня увидала робеющую горничную девушку, выжидавшую ее у двери Наташи. Она пропустила ее и, подслушав у двери, узнала, что опять было передано письмо.

И вдруг Соне стало ясно, что у Наташи был какой-нибудь страшный план на нынешний вечер. Соня постучалась к ней. Наташа не пустила ее.

«Она убежит с ним! — думала Соня. — Она на все способна. Нынче в лице ее было что-то особенно жалкое и решительное. Она заплакала, прощаясь с дяденькой, — вспоминала Соня. — Да, это верно, она бежит с ним, — но что мне делать? — думала Соня, припоминая теперь те признаки, которые ясно доказывали ей, что у Наташи было какое-то страшное намерение. — Графа нет. Что мне делать? Написать к Курагину, требуя от него объяснения? Но кто велит ему ответить мне? Писать Пьеру, как просил князь Андрей в случае несчастия?.. Но, может быть, в самом деле она уже отказала Болконскому (она вчера отослала письмо княжне Марье). Дяденьки нет!»

Сказать Марье Дмитриевне, которая так верила в Наташу, Соне казалось ужасно.

«Но так или иначе, — думала Соня, стоя в темном коридоре, — теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства и люблю Nicolas. Нет, я хоть три ночи не буду спать, а не выйду из этого коридора, и силой не пущу ее, и не дам позору обрушиться на их семейство», — думала она.

XVI

Анатоль последнее время переселился к Долохову. План похищения Ростовой уже несколько дней был обдуман и приготовлен Долоховым, и в тот день, когда Соня, подслушав у двери Наташи, решилась оберегать ее, план этот должен был быть приведен в исполнение. Наташа в десять часов вечера обещала выйти к Курагину на заднее крыльцо. Курагин должен был посадить ее в приготовленную тройку и везти за шестьдесят верст от Москвы, в село Каменку, где был приготовлен расстриженный поп, который должен был обвенчать их. В Каменке была готова подстава, которая должна была вывезти их на Варшавскую дорогу, и там на почтовых они должны были скакать за границу.

У Анатоля были и паспорт, и подорожная, и десять тысяч денег, взятых у сестры, и десять тысяч, занятых через посредство Долохова.

Два свидетеля — Хвостиков, бывший приказный, которого употреблял для игры Долохов, и Макарин, отставной гусар, добродушный и слабый человек, питавший беспредельную любовь к Курагину, — сидели в первой комнате за чаем.

В большом кабинете Долохова, убранном от стен до потолка персидскими коврами, медвежьими шкурами и оружием, сидел Долохов, в дорожном бешмете и сапогах, перед раскрытым бюро, на котором лежали счеты и пачки денег. Анатоль в расстегнутом мундире ходил из той комнаты, где сидели свидетели, через кабинет в заднюю комнату, где его лакей-француз с другими укладывал последние вещи. Долохов считал деньги и записывал.

— Ну, — сказал он, — Хвостикову надо дать две тысячи.

— Ну и дай, — сказал Анатоль.

— Макарка (они так звали Макарина), этот бескорыстно за тебя в огонь и в воду. Ну вот, и кончены счеты, — сказал Долохов, показывая ему записку. — Так?

— Да, разумеется, так, — сказал Анатоль, видимо не слушавший Долохова и с улыбкой, не сходившей у него с лица, смотревший вперед себя.

Долохов захлопнул бюро и обратился к Анатолю с насмешливой улыбкой.

— А знаешь что — брось все это: еще время есть! — сказал он.

— Дурак! — сказал Анатоль. — Перестань говорить глупости. Ежели бы ты знал... Это черт знает что такое!

— Право, брось, — сказал Долохов. — Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял?

— Ну, опять, опять дразнить? Пошел к черту! А?.. — сморщившись, сказал Анатоль. — Право, не до твоих дурацких шуток. — И он ушел из комнаты.

Долохов презрительно и снисходительно улыбался, когда Анатоль вышел.

— Ты постой, — сказал он вслед Анатолю, — я не шучу, а дело говорю, поди, поди сюда.

Анатоль опять вошел в комнату и, стараясь сосредоточить внимание, смотрел на Долохова, очевидно невольно покоряясь ему.

— Ты меня слушай, я тебе последний раз говорю. Что мне с тобой шутить? Разве я тебе перечил? Кто тебе все устроил, кто попа нашел, кто паспорт взял, кто денег достал? Все я.

— Ну и спасибо тебе. Ты думаешь, я тебе не благодарен? — Анатоль вздохнул и обнял Долохова.

— Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать: дело опасное и, если разобрать, глупое. Ну, ты ее увезешь, хорошо. Ведь разве это так оставят? Узнается дело, что ты женат. Ведь тебя под уголовный суд подведут...

— Ах! глупости, глупости! — опять сморщившись, заговорил Анатоль. — Ведь я тебе толковал. А? — И Анатоль с тем особенным пристрастием, которое бывает у людей тупых к умозаключению, до которого они дойдут своим умом, повторил то рассуждение, которое он раз сто повторял Долохову. — Ведь я тебе толковал, я решил: ежели этот брак будет недействителен, — сказал он, загибая палец, — значит, я не отвечаю; ну, а ежели действителен, все равно: за границей никто этого не будет знать, ну, ведь так? И не говори, не говори, не говори!

— Право, брось! Ты только себя свяжешь...

— Убирайся к черту, — сказал Анатоль и, взявшись за волосы, вышел в другую комнату и тотчас же вернулся и с ногами сел на кресло близко перед Долоховым. — Это черт знает что такое! А? Ты посмотри, как бьется! — Он взял руку Долохова и приложил к своему сердцу. — Ah! quel pied, mon cher, quel regard! Une déesse!! [1] А?

Долохов, холодно улыбаясь и блестя своими красивыми, наглыми глазами, смотрел на него, видимо желая еще повеселиться над ним.

— Ну, деньги выйдут, тогда что?

— Тогда что? А? — повторил Анатоль с искренним недоуменьем перед мыслью о будущем. — Тогда что? Там я не знаю что... Ну что глупости говорить! — Он посмотрел на часы. — Пора!

Анатоль пошел в заднюю комнату.

— Ну, скоро ли вы? Копаетесь тут! — крикнул он на слуг.

Долохов убрал деньги и, крикнув человека, чтобы велеть подать поесть и выпить на дорогу, вышел в ту комнату, где сидели Макарин и Хвостиков.

Анатоль в кабинете лежал, облокотившись на руку, на диване, задумчиво улыбался и что-то нежно про себя шептал.

— Иди съешь что-нибудь. Ну выпей! — кричал ему из другой комнаты Долохов.

— Не хочу! — ответил Анатоль, все продолжая улыбаться.

— Иди, Балага приехал.

Анатоль встал и вышел в столовую. Балага был известный троечный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля и служивший им своими тройками. Не раз он, когда полк Анатоля стоял в Твери, с вечера увозил его из Твери, к рассвету доставлял в Москву и увозил на другой день ночью. Не раз он увозил Долохова от погони, не раз он по городу катал их с цыганами и дамочками, как называл Балага. Не раз он с их работой давил по Москве народ и извозчиков, и всегда его выручали его господа, как он называл их. Не одну лошадь он загнал под ними. Не раз был бит ими, не раз напаиван ими шампанским и мадерой, которую он любил, и не одну шутку он знал за

[1] Какая ножка, любезный друг, какой взгляд! Богиня!!

каждым из них, которая обыкновенному человеку давно бы заслужила Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью, и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду, по восемнадцать верст в час, любил перекувырнуть извозчика, и раздавить пешехода по Москве, и во весь скок пролететь по московским улицам. Он любил слышать за собой этот дикий крик пьяных голосов: «Пошел! пошел!», тогда как уж и так нельзя было ехать шибче; любил вытянуть больно по шее мужика, который и так, ни жив ни мертв, сторонился от него. «Настоящие господа!» — думал он.

Анатоль и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они. С другими Балага рядился, брал по двадцати пяти рублей за двухчасовое катанье, и с другими только изредка ездил сам, а больше посылал своих молодцов. Но с своими господами, как он называл их, он всегда ехал сам и никогда ничего не требовал за свою работу. Только узнав через камердинеров время, когда были деньги, он раз в несколько месяцев приходил поутру, трезвый, и, низко кланяясь, просил выручить его. Его всегда сажали господа.

— Уж вы меня вызвольте, батюшка Федор Иваныч, или ваше сиятельство, — говорил он. — Обезлошадничал вовсе, на ярманку ехать, уж ссудите, что можете.

И Анатоль и Долохов, когда бывали в деньгах, давали ему по тысяче и по две рублей.

Балага был русый, с красным лицом и в особенности красной толстой шеей, приземистый курносый мужик, лет двадцати семи, с блестящими маленькими глазами и маленькой бородкой. Он был одет в тонком синем кафтане на шелковой подкладке, надетом на полушубке.

Он перекрестился на передний угол и подошел к Долохову, протягивая черную небольшую руку.

— Федору Ивановичу! — сказал он, кланяясь.

— Здорово, брат. Ну вот и он.

— Здравствуй, ваше сиятельство, — сказал он входившему Анатолю и тоже протянул руку.

— Я тебе говорю, Балага, — сказал Анатоль, кладя ему руки на плечи, — любишь ты меня или нет? А? Теперь службу сослужи... На каких приехал? А?

— Как посол приказал, на ваших на зверьях, — сказал Балага.

— Ну, слышишь, Балага! Зарежь всю тройку, а чтобы в три часа приехать. А?

— Как зарежешь, на чем поедем? — сказал Балага, подмигивая.

— Ну, я тебе морду разобью, ты не шути! — вдруг, выкатив глаза, крикнул Анатоль.

— Что ж шутить, — посмеиваясь, сказал ямщик. — Разве я для своих господ пожалею? Что мочи скакать будет лошадям, то и ехать будем.

— А! — сказал Анатоль. — Ну садись.

— Что ж, садись! — сказал Долохов.

— Постою, Федор Иванович.

— Садись, врешь, пей, — сказал Анатоль и налил ему большой стакан мадеры. Глаза ямщика засветились на вино. Отказываясь для приличия, он выпил и отерся шелковым красным платком, который лежал у него в шапке.

— Что ж, когда ехать-то, ваше сиятельство?

— Да вот... (Анатоль посмотрел на часы) сейчас и ехать. Смотри же, Балага. А? Поспеешь?

— Да как выезд — счастлив ли будет, а то отчего же не поспеть? — сказал Балага. — Доставляли же в Тверь, в семь часов поспевали. Помнишь небось, ваше сиятельство.

— Ты знаешь ли, на Рождество из Твери я раз ехал, — сказал Анатоль с улыбкой воспоминания, обращаясь к Макарину, который во все глаза умиленно смотрел на Курагина. — Ты веришь ли, Макарка, что дух захватывало, как мы летели. Въехали в обоз, через два воза перескочили. А?

— Уж лошади ж были! — продолжал рассказ Балага. — Я тогда молодых пристяжных к каурому запрег, — обратился он к Долохову, — так веришь ли, Федор Иваныч, шестьдесят верст звери летели; держать нельзя, руки закоченели, мороз был. Бросил вожжи — держи, мол, ваше сиятельство, сам, так в сани и повалился. Так ведь не то что погонять, до места держать нельзя. В три часа донесли черти. Издохла левая только.

XVII

Анатоль вышел из комнаты и через несколько минут вернулся в подпоясанной серебряным ремнем шубке и собольей шапке, молодцевато надетой набекрень и очень шедшей к его красивому лицу. Поглядевшись в зеркало и в той самой позе, которую он взял перед зеркалом, став перед Долоховым, он взял стакан вина.

— Ну, Федя, прощай, спасибо за все, прощай, — сказал Анатоль. — Ну, товарищи, друзья... — Он задумался... — молодости... моей, прощайте, — обратился он к Макарину и другим.

Несмотря на то, что все они ехали с ним, Анатоль, видимо, хотел сделать что-то трогательное и торжественное из этого обращения к товарищам. Он говорил медленным, громким голосом и, выставив грудь, покачивал одной ногой.

— Все возьмите стаканы; и ты, Балага. Ну, товарищи, друзья молодости моей, покутили мы, пожили, покутили. А? Теперь, когда свидимся? за границу уеду. Пожили, прощай, ребята. За здоровье! Ура!.. — сказал он, выпил свой стакан и хлопнул его об землю.

— Будь здоров, — сказал Балага, тоже выпив свой стакан и обтираясь платком. Макарин со слезами на глазах обнимал Анатоля.

— Эх, князь, уж как грустно мне с тобой расстаться, — проговорил он.

— Ехать, ехать! — закричал Анатоль.

Балага было пошел из комнаты.

— Нет, стой, — сказал Анатоль. — Затвори двери, сесть надо. Вот так. — Затворили двери, и все сели.

— Ну, теперь марш, ребята! — сказал Анатоль, вставая.

Лакей Joseph подал Анатолю сумку и саблю, и все вышли в переднюю.

— А шуба где? — сказал Долохов. — Эй, Игнашка! Поди к Матрене Матвеевне, спроси шубу, салоп соболий. Я слыхал, как увозят, — сказал Долохов, подмигнув. — Ведь она выскочит ни жива ни мертва, в чем дома сидела; чуть замешкался — тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад, — а ты в шубу принимай сразу и неси в сани.

Лакей принес женский лисий салоп.

— Дурак, я тебе сказал соболий. Эй, Матрешка, соболий! — крикнул он так, что далеко по комнатам раздался его голос.

Красивая, худая и бледная цыганка, с блестящими, черными глазами и с черными курчавыми, сизого отлива, волосами, в красной шали, выбежала с собольим салопом на руке.

— Что ж, мне не жаль, ты возьми, — сказала она, видимо робея перед своим господином и жалея салопа.

Долохов, не отвечая ей, взял шубу, накинул ее на Матрешу и закутал ее.

— Вот так, — сказал Долохов. — И потом вот так, — сказал он и поднял ей около головы воротник, оставляя его только перед лицом немного открытым. — Потом вот так, видишь? — и он придвинул голову Анатоля к отверстию, оставленному воротником, из которого виднелась блестящая улыбка Матреши.

— Ну, прощай, Матреша, — сказал Анатоль, целуя ее. — Эх, кончена моя гульба здесь! Стешке кланяйся. Ну, прощай! Прощай, Матреша; ты мне пожелай счастья.

— Ну, дай-то вам Бог, князь, счастья большого, — сказала Матреша Анатолю с своим цыганским акцентом.

У крыльца стояли две тройки, двое молодцов-ямщиков держали их. Балага сел на переднюю тройку и, высоко поднимая локти, неторопливо разобрал вожжи. Анатоль и Долохов сели к нему. Макарин, Хвостиков и лакей сели в другую тройку.

— Готовы, что ль? — спросил Балага.

— Пущай! — крикнул он, заматывая вокруг рук вожжи, и тройка понесла бить вниз по Никитскому бульвару.

— Тпрру! Поди, эй!.. Тпрру! — только слышался крик Балаги и молодца, сидевшего на козлах. На Арбатской площади тройка зацепила карету, что-то затрещало, послышался крик, и тройка полетела по Арбату.

Дав два конца по Подновинскому, Балага стал сдерживать и, вернувшись назад, остановил лошадей у перекрестка Старой Конюшенной.

Молодец соскочил держать под уздцы лошадей, Анатоль с Долоховым пошли по тротуару. Подходя к воротам, Долохов свистнул. Свисток отозвался ему, и вслед за тем выбежала горничная.

— На двор войдите, а то видно, сейчас выйдет, — сказала она.

Долохов остался у ворот. Анатоль вошел за горничной на двор, поворотил за угол и вбежал на крыльцо.

Гаврило, огромный выездной лакей Марьи Дмитриевны, встретил Анатоля.

— К барыне пожалуйте, — басом сказал лакей, загораживая дорогу от двери.

— К какой барыне? Да ты кто? — запыхавшимся шепотом спрашивал Анатоль.

— Пожалуйте, приказано привесть.

— Курагин! назад! — кричал Долохов. — Измена! Назад!

Долохов у калитки, у которой он остановился, боролся с дворником, пытавшимся запереть за вошедшим Анатолем калитку. Долохов последним усилием оттолкнул дворника и, схватив за руку выбежавшего Анатоля, выдернул его за калитку и побежал с ним назад к тройке.

XVIII

Марья Дмитриевна, застав заплаканную Соню в коридоре, заставила ее во всем признаться. Перехватив записку Наташи и прочтя ее, Марья Дмитриевна с запиской в руке вошла к Наташе.

— Мерзавка, бесстыдница, — сказала она ей. — Слышать ничего не хочу! — Оттолкнув удивленными, но сухими глазами глядящую на нее Наташу, она заперла ее на ключ и, приказав дворнику пропустить в ворота тех людей, которые придут нынче вечером, но не выпускать их, а лакею приказав привести этих людей к себе, села в гостиной, ожидая похитителей.

Когда Гаврило пришел доложить Марье Дмитриевне, что приходившие люди убежали, она, нахмурившись, встала и, заложив назад руки, долго ходила по комнатам, обдумывая то, что ей делать. В двенадцатом часу ночи она, ощупав ключ в кармане, пошла к комнате Наташи. Соня, рыдая, сидела в коридоре.

— Марья Дмитриевна, пустите меня к ней, ради Бога! — сказала она. Марья Дмитриевна, не отвечая ей, отперла дверь и вошла. «Гадко, скверно... в моем доме, мерзавка, девчонка... только отца жалко! — думала Марья Дмитриевна, стараясь утолить свой гнев. — Как ни трудно, уж велю всем молчать и скрою от графа». Марья Дмитриевна решительными шагами вошла в комнату. Наташа лежала на диване, закрыв голову руками, и не шевелилась. Она лежала в том самом положении, в котором оставила ее Марья Дмитриевна.

— Хороша, очень хороша! — сказала Марья Дмитриевна. — В моем доме любовникам свиданья назначать! Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. — Марья Дмитриевна тронула ее за руку. — Ты слушай, когда я говорю. Ты себя осрамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то́ сделала, да мне твоего отца жалко. Я скрою. — Наташа не переменила положения, но только все тело ее стало вскидываться от беззвучных, судорожных рыданий, которые душили ее. Марья Дмитриевна оглянулась на Соню и присела на диване подле Наташи.

— Счастье его, что он от меня ушел; да я найду его, — сказала она своим грубым голосом. — Слышишь ты, что ли, что я говорю? — Она поддела своею большой рукой под лицо Наташи и повернула ее к себе. И Марья Дмитриевна и Соня удивились, увидав лицо Наташи. Глаза ее были блестящие и сухие, губы поджаты, щеки опустились.

— Оставь...те что мне... я... умру... — проговорила она, злым усилием вырвалась от Марьи Дмитриевны и легла в свое прежнее положение.

— Наталья!.. — сказала Марья Дмитриевна. — Я тебе добра желаю. Ты лежи, ну лежи так, я тебя не трону, и слушай... Уж я не стану говорить, как ты виновата. Ты сама знаешь. Ну да теперь отец твой завтра приедет, что я скажу ему? А?

Опять тело Наташи заколебалось от рыданий.

— Ну, узнает он, ну брат твой, жених!

— У меня нет жениха, я отказала, — прокричала Наташа.

— Все равно, — продолжала Марья Дмитриевна. — Ну, они узнают, что ж, они так оставят? Ведь он, отец твой, я его знаю, ведь он его на дуэль вызовет, хорошо это будет? А?

— Ах, оставьте меня, зачем вы всему помешали! Зачем? зачем? кто вас просил? — кричала Наташа, приподнявшись на диване и злобно глядя на Марью Дмитриевну.

— Да чего ж ты хотела? — вскрикнула, опять горячась, Марья Дмитриевна. — Что ж, тебя запирали, что ль? Ну кто ж ему мешал в дом ездить? Зачем же тебя, как цыганку какую, увозить?.. Ну, увез бы он тебя, что ж ты думаешь, его бы не нашли? Твой отец, или брат, или жених? А он мерзавец, негодяй, вот что!

— Он лучше всех вас, — вскрикнула Наташа, приподнимаясь. — Если бы вы не мешали... Ах, Боже мой, что это, что это! Соня, за что? Уйдите!.. — И она зарыдала с таким отчаянием, с каким оплакивают люди только такое горе, которого они чувствуют сами себя причиной. Марья Дмитриевна начала было опять говорить; но Наташа закричала: «Уйдите, уйдите, вы все меня ненавидите, презираете!» — И опять бросилась на диван.

Марья Дмитриевна продолжала еще несколько времени усовещивать Наташу и внушать ей, что все это надо скрыть от графа, что никто не узнает ничего, ежели только Наташа возьмет на себя все забыть и не показывать ни перед кем вида, что что-нибудь случилось. Наташа не отвечала. Она и не рыдала больше, но с ней сделались озноб и дрожь. Марья Дмитриевна подложила ей подушку, накрыла ее двумя одеялами и сама принесла ей липового цвета, но Наташа не откликнулась ей.

— Ну, пускай спит, — сказала Марья Дмитриевна, уходя из комнаты, думая, что она спит. Но Наташа не спала и остановившимися раскрытыми глазами из бледного лица прямо смотрела перед собою. Всю эту ночь Наташа не спала, и не плакала, и не говорила с Соней, несколько раз вставшей и подходившей к ней.

На другой день к завтраку, как и обещал граф Илья Андреич, он приехал из подмосковной. Он был очень весел: дело с покупщиком ладилось и ничто уже не задерживало его теперь в Москве и в разлуке с графиней, по которой он соскучился. Марья Дмитриевна встретила его и объявила ему, что Наташа сделалась очень нездорова вчера, что посылали за доктором, но что теперь ей лучше. Наташа в это утро не выходила из своей комнаты. С поджатыми растрескавшимися губами, сухими остановившимися глазами, она сидела у окна и беспокойно вглядывалась в проезжающих по улице и торопливо оглядывалась на входивших в комнату. Она, очевидно, ждала известий о нем, ждала, что он сам приедет или напишет ей.

Когда граф взошел к ней, она беспокойно оборотилась на звук его мужских шагов, и лицо ее приняло прежнее холодное и даже злое выражение. Она даже не поднялась навстречу ему.

— Что с тобой, мой ангел, больна? — спросил граф. Наташа помолчала.

— Да, больна, — отвечала она.

На беспокойные расспросы графа о том, почему она такая убитая и не случилось ли чего-нибудь с женихом, она уверяла его, что ничего, и просила его не беспокоиться. Марья Дмитриевна подтвердила графу уверения Наташи, что ничего не случилось. Граф, судя по мнимой болезни, по расстройству дочери, по сконфуженным лицам Сони и Марьи Дмитриевны, ясно видел, что в его отсутствие должно было что-нибудь случиться; но ему так страшно было думать, что что-нибудь постыдное случилось с его любимой дочерью, он так любил свое веселое спокойствие, что он избегал расспросов и все старался уверить себя, что ничего особенного не было, и только тужил о том, что по случаю ее нездоровья откладывался их отъезд в деревню.

XIX

Со дня приезда своей жены в Москву, Пьер сбирался уехать куда-нибудь, только чтобы не быть с ней. Вскоре после приезда Ростовых в Москву впечатление, которое производила на него Наташа, заставило его поторопиться исполнить свое намерение. Он поехал в Тверь ко вдове Иосифа Алексеевича, которая обещала давно передать ему бумаги покойного.

Когда Пьер вернулся в Москву, ему подали письмо от Марьи Дмитриевны, которая звала его к себе по весьма важному делу, касающемуся Андрея Болконского и его невесты. Пьер избегал Наташи. Ему казалось, что он имел к ней чувство более сильное, чем то, которое должен был иметь женатый человек к невесте своего друга. И какая-то судьба постоянно сводила его с нею.

«Что такое случилось? И какое им до меня дело? — думал он, одеваясь, чтобы ехать к Марье Дмитриевне. — Поскорее бы приехал князь Андрей и женился бы на ней!» — думал Пьер дорогой к Ахросимовой.

На Тверском бульваре кто-то окликнул его.

— Пьер! Давно приехал? — прокричал ему знакомый голос. Пьер поднял голову. В парных санях, на двух серых рысаках, закидывающих снегом головашки саней, промелькнул Анатоль с своим всегдашним товарищем Макариным. Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову. Лицо его было румяно и свежо, шляпа с белым плюмажем была надета набок, открывая завитые, напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы.

«И право, вот настоящий мудрец! — подумал Пьер, — ничего не видит дальше настоящей минуты удовольствия, ничего не тревожит его, — и оттого всегда весел, доволен и спокоен. Что бы я дал, чтобы быть таким, как он!» — с завистью подумал Пьер.

В передней Ахросимовой лакей, снимая с Пьера его шубу, сказал, что Марья Дмитриевна просят к себе в спальню.

Отворив дверь в залу, Пьер увидал Наташу, сидевшую у окна, с худым, бледным и злым лицом. Она оглянулась на него, нахмурилась и с выражением холодного достоинства вышла из комнаты.

— Что случилось? — спросил Пьер, входя к Марье Дмитриевне.

— Хорошие дела, — отвечала Марья Дмитриевна. — Пятьдесят восемь лет прожила на свете, такого сраму не видала. — И, взяв с Пьера честное слово молчать обо всем, что он узнает, Марья Дмитриевна сообщила ему, что Наташа отказала своему жениху без ведома родителей, что причиной этого отказа был Анатоль Курагин, с которым сводила ее жена Пьера и с которым Наташа хотела бежать в отсутствие своего отца, с тем чтобы тайно обвенчаться.

Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам. Невесте князя Андрея, так сильно любимой, этой прежде милой Наташе Ростовой, променять Болконского на дурака Анатоля, уже женатого (Пьер знал тайну его женитьбы), и так влюбиться в него, чтобы согласиться бежать с ним! — этого Пьер не мог понять и не мог себе представить.

Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым представлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же», — сказал он сам себе, думая, что не ему одному достался печальный удел быть связанным с гадкой женщиной. Но ему все-таки до слез жалко было князя Андрея, жалко было его гордости. И чем больше он жалел своего друга, тем с большим презрением и даже отвращением думал об этой Наташе, с таким выражением холодного достоинства сейчас прошедшей мимо него по зале. Он не знал, что душа Наташи была преисполнена отчаяния, стыда, унижения и что она не виновата была в том, что лицо ее нечаянно выражало спокойное достоинство и строгость.

— Да как обвенчаться! — проговорил Пьер на слова Марьи Дмитриевны. — Он не мог обвенчаться: он женат.

— Час от часу не легче, — проговорила Марья Дмитриевна. — Хорош мальчик! То-то мерзавец! А она ждет, второй день ждет. По крайней мере ждать перестанет, надо сказать ей.

Узнав от Пьера подробности женитьбы Анатоля, излив свой гнев на него ругательными словами, Марья Дмитриевна сообщила ему то, для чего она вызвала его. Марья Дмитриевна боялась, чтобы граф или Болконский, который мог всякую минуту приехать, узнав дело, которое она намерена была скрыть от них, не вызвали на дуэль Курагина, и потому просила его приказать от ее имени его шурину уехать из Москвы и не сметь показываться ей на глаза. Пьер обещал ей исполнить ее желание, только теперь поняв опасность, которая угрожала и старому графу, и Николаю, и князю Андрею. Кратко и точно изложив ему свои требования, она выпустила его в гостиную.

— Смотри же, граф ничего не знает. Ты делай, как будто ничего не знаешь, — сказала она ему. — А я пойду сказать ей, что ждать нечего! Да оставайся обедать, коли хочешь, — крикнула Марья Дмитриевна Пьеру.

Пьер встретил старого графа. Он был смущен и расстроен. В это утро Наташа сказала ему, что она отказала Болконскому.

— Беда, беда, mon cher[1], — говорил он Пьеру, — беда с этими девками без матери; уж я так тужу, что приехал. Я с вами откровенен буду. Слышали, отказала жениху, ни у кого не спросивши ничего. Оно, положим, я никогда этому браку очень не радовался. Положим, он хороший человек, но что ж, против воли отца счастья бы не было, и Наташа без женихов не останется. Да все-таки долго уже так продолжалось, да и как же это без отца, без матери, такой шаг! А теперь больна и Бог знает что! Плохо, граф, плохо с дочерьми без матери... — Пьер видел, что граф был очень расстроен, старался перевести разговор на другой предмет, но граф опять возвращался к своему горю.

Соня с встревоженным лицом вошла в гостиную.

— Наташа не совсем здорова; она в своей комнате и желала бы вас видеть. Марья Дмитриевна у нее и просит вас тоже.

— Да, ведь вы очень дружны с Болконским, верно что-нибудь передать хочет, — сказал граф. — Ах, Боже мой, Боже мой! Как все хорошо было! — И, взявшись за редкие виски седых волос, граф вышел из комнаты.

Марья Дмитриевна объявила Наташе о том, что Анатоль был женат. Наташа не хотела верить ей и требовала подтверждения этого от самого Пьера. Соня сообщила это Пьеру в то время, как она через коридор провожала его в комнату Наташи.

Наташа, бледная, строгая, сидела подле Марьи Дмитриевны и от самой двери встретила Пьера лихорадочно-блестящим, вопросительным взглядом. Она не улыбнулась, не кивнула ему головой, она только упорно смотрела на него, и взгляд ее спрашивал его только про то: друг ли он или такой же враг, как и все другие, по отношению к Анатолю? Сам по себе Пьер, очевидно, не существовал для нее.

— Он все знает, — сказала Марья Дмитриевна, указывая на Пьера и обращаясь к Наташе. — Он пускай тебе скажет, правду ли я говорила.

Наташа, как подстреленный, загнанный зверь смотрит на приближающихся собак и охотников, смотрела то на ту, то на другую.

— Наталья Ильинична, — начал Пьер, опустив глаза и испытывая чувство жалости к ней и отвращения к той операции, которую он должен был делать, — правда это или не правда, это для вас должно быть все равно, потому что...

— Так это не правда, что он женат?

— Нет, это правда.

— Он женат был, и давно? — спросила она. — Честное слово?

Пьер дал ей честное слово.

— Он здесь еще? — спросила она быстро.

— Да, я его сейчас видел.

Она, очевидно, была не в силах говорить и делала руками знаки, чтоб оставили ее.

[1] мой друг

XX

Пьер не остался обедать, а тотчас же вышел из комнаты и уехал. Он поехал отыскивать по городу Анатоля Курагина, при мысли о котором теперь вся кровь у него приливала к сердцу и он испытывал затруднение переводить дыхание. На горах, у цыган, у Comoneno — его не было. Пьер поехал в клуб. В клубе все шло своим обыкновенным порядком; гости, съехавшиеся обедать, сидели группами и здоровались с Пьером и говорили о городских новостях. Лакей, поздоровавшись с ним, доложил ему, зная его знакомство и привычки, что место ему оставлено в маленькой столовой, что князь Михаил Захарыч в библиотеке, а Павел Тимофеич не приезжали еще. Один из знакомых Пьера между разговором о погоде спросил у него, слышал ли он о похищении Курагиным Ростовой, про которое говорят в городе, правда ли это? Пьер, засмеявшись, сказал, что это вздор, потому что он сейчас только от Ростовых. Он спрашивал у всех про Анатоля; ему сказал один, что не приезжал еще, другой — что он будет обедать нынче. Пьеру странно было смотреть на эту спокойную, равнодушную толпу людей, не знавшую того, что делалось у него в душе. Он прошелся по залам, дождался, пока все съехались, и, не дождавшись Анатоля, не стал обедать и поехал домой.

Анатоль, которого он искал, в этот день обедал у Долохова и совещался с ним о том, как поправить испорченное дело. Ему казалось необходимо увидаться с Ростовой. Вечером он поехал к сестре, чтобы переговорить с ней о средствах устроить это свидание. Когда Пьер, тщетно объездив всю Москву, вернулся домой, камердинер доложил ему, что князь Анатоль Васильевич у графини. Гостиная графини была полна гостей.

Пьер, не здороваясь к женою, которой он не видал после приезда (она больше чем когда-нибудь ненавистна была ему в эту минуту), вошел в гостиную и, увидав Анатоля, подошел к нему.

— Ah, Pierre[1], — сказала графиня, подходя к мужу. — Ты не знаешь, в каком положении наш Анатоль... — Она остановилась, увидав в опущенной голове, в лице мужа, в его блестящих глазах, в его решительной походке то страшное выражение бешенства и силы, которое она знала и испытала на себе после дуэли с Долоховым.

— Где вы — там разврат, зло, — сказал Пьер жене. — Анатоль, пойдемте, мне надо поговорить с вами, — сказал он по-французски.

Анатоль оглянулся на сестру и покорно встал, готовый следовать за Пьером.

Пьер, взяв его за руку, дернул к себе и пошел из комнаты.

— Si vous vous permettez dans mon salon...[2] — шепотом проговорила Элен; но Пьер, не отвечая ей, вышел из комнаты.

Анатоль шел за ним обычной, молодцеватой походкой. Но на лице его было заметно беспокойство.

---

[1] Пьер

[2] Ежели вы позволите себе в моей гостиной...

Войдя в свой кабинет, Пьер затворил дверь и обратился к Анатолю, не глядя на него.

— Вы обещали графине Ростовой жениться на ней? Хотели увезти ее?

— Мой милый, — отвечал Анатоль по-французски (как и шел весь разговор), — я не считаю себя обязанным отвечать на допросы, делаемые в таком тоне.

Лицо Пьера, и прежде бледное, исказилось бешенством. Он схватил своей большой рукой Анатоля за воротник мундира и стал трясти из стороны в сторону до тех пор, пока лицо Анатоля не приняло достаточное выражение испуга.

— Когда я говорю, что мне надо говорить с вами... — повторял Пьер.

— Ну что, это глупо. А? — сказал Анатоль, ощупывая оторванную с сукном пуговицу воротника.

— Вы негодяй и мерзавец, и не знаю, что меня воздерживает от удовольствия размозжить вам голову вот этим, — говорил Пьер, выражаясь так искусственно потому, что он говорил по-французски. Он взял в руку тяжелое пресс-папье и угрожающе поднял и тотчас же торопливо положил его на место.

— Обещали вы ей жениться?

— Я, я, я не думал; впрочем, я никогда не обещался, потому что...

Пьер перебил его.

— Есть у вас письма ее? Есть у вас письма? — повторил Пьер, подвигаясь к Анатолю.

Анатоль взглянул на него и тотчас же, засунув руку в карман, достал бумажник.

Пьер взял подаваемое ему письмо и, оттолкнув стоявший на дороге стол, повалился на диван.

— Je ne serai pas violent, ne craignez rien[1], — сказал Пьер, отвечая на испуганный жест Анатоля. — Письма — раз, — сказал Пьер, как будто повторяя урок для самого себя. — Второе, — после минутного молчания продолжал он, опять вставая и начиная ходить, — вы завтра должны уехать из Москвы.

— Но как же я могу...

— Третье, — не слушая его, продолжал Пьер, — вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого, я знаю, я не могу запретить вам, но ежели в вас есть искра совести... — Пьер несколько раз молча прошел по комнате. Анатоль сидел у стола и, нахмурившись, кусал себе губы.

— Вы не можете не понять наконец, что, кроме вашего удовольствия, есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться. Забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге, — с этими вы в своем праве, они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата; но обещать девушке жениться на ней... обмануть, украсть... Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка!..

Пьер замолчал и взглянул на Анатоля уже не гневным, но вопросительным взглядом.

[1] Я ничего не сделаю, не бойтесь

— Этого я не знаю. А? — сказал Анатоль, ободряясь по мере того, как Пьер преодолевал свой гнев. — Этого я не знаю и знать не хочу, — сказал он, не глядя на Пьера и с легким дрожанием нижней челюсти, — но вы сказали мне такие слова: подло и тому подобное, которые я, comme un homme d'honneur[1], никому не позволю.

Пьер с удивлением посмотрел на него, не в силах понять, чего ему было нужно.

— Хотя это и было с глазу на глаз, — продолжал Анатоль, — но я не могу...

— Что ж, вам нужно удовлетворение? — насмешливо сказал Пьер.

— По крайней мере, вы можете взять назад свои слова. А? Ежели вы хотите, чтоб я исполнил ваши желанья. А?

— Беру, беру назад, — проговорил Пьер, — и прошу вас извинить меня. — Пьер взглянул невольно на оторванную пуговицу. — И денег, ежели вам нужно на дорогу. — Анатоль улыбнулся.

Это выражение робкой и подлой улыбки, знакомой ему по жене, взорвало Пьера.

— О, подлая, бессердечная порода! — проговорил он и вышел из комнаты.

На другой день Анатоль уехал в Петербург.

XXI

Пьер поехал к Марье Дмитриевне, чтобы сообщить об исполнении ее желанья — об изгнании Курагина из Москвы. Весь дом был в страхе и волнении. Наташа была очень больна, и, как Марья Дмитриевна под секретом сказала ему, она в ту же ночь, как ей было объявлено, что Анатоль женат, отравилась мышьяком, который она тихонько достала. Проглотив его немного, она так испугалась, что разбудила Соню и объявила ей то, что она сделала. Вовремя были приняты нужные меры против яда, и теперь она была вне опасности; но все-таки слаба так, что нельзя было думать везти ее в деревню, и послано было за графиней. Пьер видел растерянного графа и заплаканную Соню, но не мог видеть Наташи.

Пьер в этот день обедал в клубе и со всех сторон слышал разговоры о попытке похищения Ростовой и с упорством опровергал эти разговоры, уверяя всех, что больше ничего не было, как только то, что его шурин сделал предложение Ростовой и получил отказ. Пьеру казалось, что на его обязанности лежит скрыть все дело и восстановить репутацию Ростовой.

Он со страхом ожидал возвращения князя Андрея и каждый день заезжал наведываться о нем к старому князю.

Князь Николай Андреич знал через m-lle Bourienne все слухи, ходившие по городу, и прочел ту записку к княжне Марье, в которой Наташа отказывала своему жениху. Он казался веселее обыкновенного и с большим нетерпением ожидал сына.

Чрез несколько дней после отъезда Анатоля Пьер получил записку от князя Андрея, извещавшего его о своем приезде и просившего Пьера заехать к нему.

Князь Андрей, приехав в Москву, в первую же минуту своего приезда получил от отца записку Наташи к княжне Марье, в которой она отказывала жениху (записку эту похитила у княжны Марьи и передала князю m-lle Bourienne), и услышал от отца с прибавлениями рассказы о похищении Наташи.

[1] как честный человек

Князь Андрей приехал вечером накануне. Пьер приехал к нему на другое утро. Пьер ожидал найти князя Андрея почти в том же положении, в котором была и Наташа, и потому он был удивлен, когда, войдя в гостиную, услыхал из кабинета громкий голос князя Андрея, оживленно говорившего что-то о какой-то петербургской интриге. Старый князь и другой чей-то голос изредка перебивали его. Княжна Марья вышла навстречу к Пьеру. Она вздохнула, указывая глазами на дверь, где был князь Андрей, видимо желая выразить свое сочувствие к его горю; но Пьер видел по лицу княжны Марьи, что она была рада и тому, что случилось, и тому, как ее брат принял известие об измене невесты.

— Он сказал, что ожидал этого, — сказала она, — я знаю, что гордость его не позволит ему выразить своего чувства, но все-таки лучше, гораздо лучше он перенес это, чем я ожидала. Видно, так должно было быть...

— Но неужели совершенно все кончено? — сказал Пьер.

Княжна Марья с удивлением посмотрела на него. Она не понимала даже, как можно было об этом спрашивать. Пьер вошел в кабинет. Князь Андрей, весьма изменившийся, очевидно поздоровевший, но с новой, поперечной морщиной между бровей, в штатском платье, стоял против отца и князя Мещерского и горячо спорил, делая энергические жесты.

Речь шла о Сперанском, известие о внезапной ссылке и мнимой измене которого только что дошло до Москвы.

— Теперь судят и обвиняют его (Сперанского) все те, которые месяц тому назад восхищались им, — говорил князь Андрей, — и те, которые не в состоянии были понимать его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им — им одним... — Он остановился, увидав Пьера. Лицо его дрогнуло и тотчас же приняло злое выражение. — И потомство отдаст ему справедливость, — договорил он и тотчас же обратился к Пьеру.

— Ну, ты как? Все толстеешь, — говорил он оживленно, но вновь появившаяся морщина еще глубже вырезалась на его лбу. — Да, я здоров, — отвечал он на вопрос Пьера и усмехнулся. Пьеру ясно было, что усмешка его говорила: «Здоров, но здоровье мое никому не нужно». Сказав несколько слов с Пьером об ужасной дороге от границ Польши, о том, как он встретил в Швейцарии людей, знавших Пьера, и о господине Десале, которого он воспитателем для сына привез из-за границы, князь Андрей опять с горячностью вмешался в разговор о Сперанском, продолжавшийся между двумя стариками.

— Ежели бы была измена и были бы доказательства его тайных сношений с Наполеоном, то их всенародно объявили бы, — с горячностью и поспешностью говорил он. — Я лично не люблю и не любил Сперанского, но я люблю справедливость. — Пьер узнавал теперь в своем друге слишком знакомую ему потребность волноваться и спорить о деле для себя чуждом только для того, чтобы заглушить слишком тяжелые задушевные мысли.

Когда князь Мещерский уехал, князь Андрей взял под руку Пьера и пригласил его в комнату, которая была отведена для него. В комнате видна была разбитая кровать и раскрытые чемоданы и сундуки. Князь Андрей подошел к одному из них и достал шкатулку. Из шкатулки он достал связку в бумаге. Он все делал молча и очень быстро. Он приподнялся и прокашлялся. Лицо его было нахмурено и губы поджаты.

— Прости меня, ежели я тебя утруждаю... — Пьер понял, что князь Андрей хотел говорить о Наташе, и широкое лицо его выразило сожаление и сочувствие. Это выражение лица Пьера рассердило князя Андрея; он решительно, звонко и неприятно продолжал: — Я получил отказ от графини Ростовой, и до меня дошли слухи об искании ее руки твоим шурином или тому подобное. Правда ли это?

— И правда и неправда, — начал Пьер; но князь Андрей перебил его.

— Вот ее письма, — сказал он, — и портрет. — Он взял связку со стола и передал Пьеру.

— Отдай графине... ежели ты увидишь ее.

— Она очень больна, — сказал Пьер.

— Так она здесь еще? — сказал князь Андрей. — А князь Курагин? — спросил он быстро.

— Он давно уехал. Она была при смерти...

— Очень сожалею об ее болезни, — сказал князь Андрей. Он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся.

— Но господин Курагин, стало быть, не удостоил своей руки графиню Ростову? — сказал Андрей. — Он фыркнул носом несколько раз.

— Он не мог жениться, потому что он был женат, — сказал Пьер.

Князь Андрей неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца.

— А где же он теперь находится, ваш шурин, могу ли я узнать? — сказал он.

— Он уехал в Петер... впрочем, я не знаю, — сказал Пьер.

— Ну, да это все равно, — сказал князь Андрей. — Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна и что я желаю ей всего лучшего.

Пьер взял в руки связку бумаг. Князь Андрей, как будто вспоминая, не нужно ли ему сказать еще что-нибудь, или ожидая, не скажет ли чего-нибудь Пьер, остановившимся взглядом смотрел на него.

— Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге, — сказал Пьер, — помните о...

— Помню, — поспешно отвечал князь Андрей, — я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу.

— Разве можно это сравнивать?.. — сказал Пьер. Князь Андрей перебил его. Он резко закричал:

— Да, опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное?.. Да, это очень благородно, но я не способен идти sur les brisées de monsieur[1]. Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай. Так ты передашь?..

[1] по следам этого господина

Пьер вышел и пошел к старому князю и княжне Марье.

Старик казался оживленнее обыкновенного. Княжна Марья была такая же, как и всегда, но из-за сочувствия к брату Пьер видел в ней радость к тому, что свадьба ее брата расстроилась. Глядя на них, Пьер понял, какое презрение и злобу они имели все против Ростовых, и понял, что нельзя было при них даже и упоминать имя той, которая могла на кого бы то ни было променять князя Андрея.

За обедом речь зашла о войне, приближение которой уже становилось очевидно. Князь Андрей не умолкая говорил и спорил то с отцом, то с Десалем, швейцарцем-воспитателем, и казался оживленнее обыкновенного — тем оживлением, которого нравственную причину так хорошо знал Пьер.

XXII

В этот вечер Пьер поехал к Ростовым, чтобы исполнить свое поручение. Наташа была в постели, граф был в клубе, и Пьер, передав письма Соне, пошел к Марье Дмитриевна, интересовавшейся узнать о том, как князь Андрей принял известие. Через десять минут Соня вошла к Марье Дмитриевне.

— Наташа непременно хочет видеть графа Петра Кирилловича, — сказала она.

— Да как же, к ней, что ли, его свести? Там у вас не прибрано, — сказала Марья Дмитриевна.

— Нет, она оделась и вышла в гостиную, — сказала Соня.

Марья Дмитриевна только пожала плечами.

— Когда это графиня приедет, измучила меня совсем. Ты, смотри ж, не говори ей всего, — обратилась она к Пьеру. — И бранить-то ее духу не хватает, так жалка, так жалка!

Наташа, исхудавшая, с бледным и строгим лицом (совсем не пристыженная, какою ее ожидал Пьер), стояла посередине гостиной. Когда Пьер показался в двери, она заторопилась, очевидно в нерешительности, подойти ли к нему, или подождать его.

Пьер поспешно подошел к ней. Он думал, что она ему, как всегда, подаст руку; но она, близко подойдя к нему, остановилась, тяжело дыша и безжизненно опустив руки, совершенно в той же позе, в которой она выходила на середину залы, чтобы петь, но совсем с другим выражением.

— Петр Кирилыч, — начала она быстро говорить, — князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг, — поправилась она (ей казалось, что все только было и что теперь все другое). — Он говорил мне тогда, чтоб обратиться к вам...

Пьер молча сопел носом, глядя на нее. Он до сих пор в душе своей упрекал и старался презирать ее; но теперь ему сделалось так жалко ее, что в душе его не было места упреку.

— Он теперь здесь, скажите ему... чтоб он прост... простил меня. — Она остановилась и еще чаще стала дышать, но не плакала.

— Да... я скажу ему, — говорил Пьер, — но... — Он не знал, что сказать.

Наташа, видимо, испугалась той мысли, которая могла прийти Пьеру.

— Нет, я знаю, что все кончено, — сказала она поспешно. — Нет, это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все... — Она затряслась всем телом и села на стул.

Еще никогда не испытанное чувство жалости переполнило душу Пьера.

— Я скажу ему, я все еще раз скажу ему, — сказал Пьер, — но... я бы желал знать одно...

«Что знать?» — спросил взгляд Наташи.

— Я бы желал знать, любили ли вы... — Пьер не знал, как назвать Анатоля, и покраснел при мысли о нем, — любили ли вы этого дурного человека?

— Не называйте его дурным, — сказала Наташа. — Но я ничего, ничего не знаю... — Она опять заплакала.

И еще больше чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера. Он слышал, как под очками его текли слезы, и надеялся, что их не заметят.

— Не будем больше говорить, мой друг, — сказал Пьер.

Так странно вдруг для Наташи показался этот его кроткий, нежный, задушевный голос.

— Не будем говорить, мой друг, я все скажу ему; но об одном прошу вас — считайте меня своим другом, и ежели вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь — не теперь, а когда у вас ясно будет в душе, — вспомните обо мне. — Он взял и поцеловал ее руку. — Я счастлив буду, ежели в состоянии буду... — Пьер смутился.

— Не говорите со мной так: я не стою этого! — вскрикнула Наташа и хотела уйти из комнаты, но Пьер удержал ее за руку. Он знал, что ему нужно что-то еще сказать ей. Но когда он сказал это, он удивился сам своим словам.

— Перестаньте, перестаньте, вся жизнь впереди для вас, — сказал он ей.

— Для меня? Нет! Для меня все пропало, — сказала она со стыдом и самоунижением.

— Все пропало? — повторил он. — Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.

Наташа в первый раз после многих дней заплакала слезами благодарности и умиления и, взглянув на Пьера, вышла из комнаты.

Пьер тоже вслед за нею почти выбежал в переднюю, удерживая слезы умиления и счастья, давившие его горло, не попадая в рукава, надел шубу и сел в сани.

— Теперь куда прикажете? — спросил кучер.

«Куда? — спросил себя Пьер. — Куда же можно ехать теперь? Неужели в клуб или в гости?» Все люди казались так жалки, так бедны в сравнении с тем чувством умиления и любви, которое он испытывал; в сравнении с тем размягченным, благодарным взглядом, которым она последний раз из-за слез взглянула на него.

— Домой, — сказал Пьер, несмотря на десять градусов мороза распахивая медвежью шубу на своей широкой, радостно дышавшей груди.

Было морозно и ясно. Над грязными, полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба над Пречистенским бульваром, окруженная, обсыпанная со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным, поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812-го года, та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Но в Пьере светлая звезда эта с длинным лучистым хвостом не возбуждала никакого страшного чувства. Напротив, Пьер радостно, мокрыми от слез глазами смотрел на эту светлую звезду, которая как будто, с невыразимой быстротой пролетев неизмеримые пространства по параболической линии, вдруг, как вонзившаяся стрела в землю, влепилась тут в одно избранное ею место на черном небе и остановилась, энергично подняв кверху хвост, светясь и играя своим белым светом между бесчисленными другими мерцающими звездами. Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе.

ТОМ ТРЕТИЙ

Часть первая

I

С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти — миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го года стягивались силы России. 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Миллионы людей совершали друг против друга такое бесчисленное количество злодеяний, обманов, измен, воровства, подделок и выпуска фальшивых ассигнаций, грабежей, поджогов и убийств которого в целые века не соберет летопись всех судов мира и на которые, в этот период времени, люди, совершавшие их, не смотрели как на преступления.

Что произвело это необычайное событие? Какие были причины его? Историки с наивной уверенностью говорят, что причинами этого события были обида, нанесенная герцогу Ольденбургскому, несоблюдение континентальной системы, властолюбие Наполеона, твердость Александра, ошибки дипломатов и т. п.

Следовательно, стоило только Меттерниху, Румянцеву или Талейрану, между выходом и раутом, хорошенько постараться и написать поискуснее бумажку или Наполеону написать к Александру: Monsieur, mon frère, je consens à rendre le duché au duc d'Oldenbourg[1], — и войны бы не было.

Понятно, что таким представлялось дело современникам. Понятно, что Наполеону казалось, что причиной войны были интриги Англии (как он и говорил это на острове св. Елены); понятно, что членам английской палаты казалось, что причиной войны было властолюбие Наполеона; что принцу Ольденбургскому казалось, что причиной войны было совершенное против него насилие; что купцам казалось, что причиной войны была континентальная система, разорявшая Европу, что старым солдатам и генералам казалось, что главной причиной была необходимость употребить их в дело; легитимистам того времени то, что необходимо было восстановить les bons principes[2], а дипломатам того времени то, что все произошло оттого, что союз России с Австрией в 1809 году не был достаточно искусно скрыт от Наполеона и что неловко был написан mémorandum за № 178. Понятно, что эти и еще бесчисленное, бесконечное количество причин, количество которых зависит от бесчисленного различия точек зрения, представлялось современникам; но для нас — потомков, созерцающих во всем его объеме громадность совершившегося события и вникающих в его простой и страшный смысл, причины эти представляются недостаточными. Для нас непонятно, чтобы миллионы людей-христиан убивали и

[1] Государь, брат мой, я соглашаюсь возвратить герцогство Ольденбургскому герцогу

[2] хорошие принципы

мучили друг друга, потому что Наполеон был властолюбив, Александр тверд, политика Англии хитра и герцог Ольденбургский обижен. Нельзя понять, какую связь имеют эти обстоятельства с самым фактом убийства и насилия; почему вследствие того, что герцог обижен, тысячи людей с другого края Европы убивали и разоряли людей Смоленской и Московской губерний и были убиваемы ими.

Для нас, потомков, — не историков, не увлеченных процессом изыскания и потому с незатемненным здравым смыслом созерцающих событие, причины его представляются в неисчислимом количестве. Чем больше мы углубляемся в изыскание Причин, тем больше нам их открывается, и всякая отдельно взятая причина или Целый ряд причин представляются нам одинаково справедливыми сами по себе, и одинаково ложными по своей ничтожности в сравнении с громадностью события, и одинаково ложными по недействительности своей (без участия всех других совпавших причин) произвести совершившееся событие. Такой же причиной, как отказ Наполеона отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское, представляется нам и желание или нежелание первого французского капрала поступить на вторичную службу: ибо, ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой, третий, и тысячный капрал и солдат, настолько менее людей было бы в войске Наполеона, и войны не могло бы быть.

Ежели бы Наполеон не оскорбился требованием отступить за Вислу и не велел наступать войскам, не было бы войны; но ежели бы все сержанты не пожелали поступить на вторичную службу, тоже войны не могло бы быть. Тоже не могло бы быть войны, ежели бы не было интриг Англии и не было бы принца Ольденбургского и чувства оскорбления в Александре, и не было бы самодержавной власти в России, и не было бы французской революции и последовавших диктаторства и империи, и всего того, что произвело французскую революцию, и так далее. Без одной из этих причин ничего не могло бы быть. Стало быть, причины эти все — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Должны были миллионы людей, отрекшись от своих человеческих чувств и своего разума, идти на Восток с Запада и убивать себе подобных, точно так же, как несколько веков тому назад с Востока на Запад шли толпы людей, убивая себе подобных.

Действия Наполеона и Александра, от слова которых зависело, казалось, чтобы событие совершилось или не совершилось, — были так же мало произвольны, как и действие каждого солдата, шедшего в поход по жребию или по набору. Это не могло быть иначе потому, что для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, надо было, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей и были приведены к этому бесчисленным количеством сложных, разнообразных причин.

Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем). Чем более мы стараемся разумно объяснить эти явления в истории, тем они становятся для нас неразумнее и непонятнее.

Каждый человек живет для себя, пользуется свободой для достижения своих личных целей и чувствует всем существом своим, что он может сейчас сделать или не сделать такое-то действие; но как скоро он сделает его, так действие это, совершенное в известный момент времени, становится невозвратимым и делается достоянием истории, в которой оно имеет не свободное, а предопределенное значение.

Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы.

Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических, общечеловеческих целей. Совершенный поступок невозвратим, и действие его, совпадая во времени с миллионами действий других людей, получает историческое значение. Чем выше стоит человек на общественной лестнице, чем с бóльшими людьми он связан, тем больше власти он имеет на других людей, тем очевиднее предопределенность и неизбежность каждого его поступка.

«Сердце царево в руце Божьей».
Царь — есть раб истории.

История, то есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества, всякой минутой жизни царей пользуется для себя как орудием для своих целей.

Наполеон, несмотря на то, что ему более чем когда-нибудь, теперь, в 1812 году, казалось, что от него зависело verser или не verser le sang de ses peuples[1] (как в последнем письме писал ему Александр), никогда более как теперь не подлежал тем неизбежным законам, которые заставляли его (действуя в отношении себя, как ему казалось, по своему произволу) делать для общего дела, для истории то, что должно было совершиться.

Люди Запада двигались на Восток для того, чтобы убивать друг друга. И по закону совпадения причин подделались сами собою и совпали с этим событием тысячи мелких причин для этого движения и для войны: укоры за несоблюдение континентальной системы, и герцог Ольденбургский, и движение войск в Пруссию, предпринятое (как казалось Наполеону) для того только, чтобы достигнуть вооруженного мира, и любовь и привычка французского императора к войне, совпавшая с расположением его народа, увлечение грандиозностью приготовлений, и расходы по приготовлению, и потребность приобретения таких выгод, которые бы окупили эти расходы, и одурманившие почести в Дрездене, и дипломатические переговоры, которые, по взгляду современников, были ведены с искренним

[1] проливать или не проливать кровь своих народов

желанием достижения мира и которые только уязвляли самолюбие той и другой стороны, и миллионы миллионов других причин, подделавшихся под имеющее совершиться событие, совпавших с ним.

Когда созрело яблоко и падает, — отчего оно падает? Оттого ли, что тяготеет к земле, оттого ли, что засыхает стержень, оттого ли, что сушится солнцем, что тяжелеет, что ветер трясет его, оттого ли, что стоящему внизу мальчику хочется съесть его?

Ничто не причина. Все это только совпадение тех условий, при которых совершается всякое жизненное, органическое, стихийное событие. И тот ботаник, который найдет, что яблоко падает оттого, что клетчатка разлагается и тому подобное, будет так же прав и так же не прав, как и тот ребенок, стоящий внизу, который скажет, что яблоко упало оттого, что ему хотелось съесть его и что он молился об этом. Так же прав и не прав будет тот, кто скажет, что Наполеон пошел в Москву потому, что он захотел этого, и оттого погиб, что Александр захотел его погибели: как прав и не прав будет тот, кто скажет, что завалившаяся в миллион пудов подкопанная гора упала оттого, что последний работник ударил под нее последний раз киркою. В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же как ярлыки, менее всего имеют связи с самым событием.

Каждое действие их, кажущееся им произвольным для самих себя, в историческом смысле непроизвольно, а находится в связи со всем ходом истории и определено предвечно.

II

29-го мая Наполеон выехал из Дрездена, где он пробыл три недели, окруженный двором, составленным из принцев, герцогов, королей и даже одного императора. Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был не вполне доволен, одарил своими собственными, то есть взятыми у других королей, жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую и, нежно обняв императрицу Марию-Луизу, как говорит его историк, оставил ее огорченною разлукой, которую она — эта Мария-Луиза, считавшаяся его супругой, несмотря на то, что в Париже оставалась другая супруга, — казалось, не в силах была перенести. Несмотря на то, что дипломаты еще твердо верили в возможность мира и усердно работали с этой целью, несмотря на то, что император Наполеон сам писал письмо императору Александру, называя его Monsieur, mon frère[1] и искренно уверяя, что он не желает войны и что всегда будет любить и уважать его, — он ехал к армии и отдавал на каждой станции новые приказания, имевшие целью торопить движение армии от запада к востоку. Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженный пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данциг и Кенигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его.

[1] Государь, брат мой

Армия подвигалась с запада на восток, и переменные шестерни несли его туда же. 10-го июня он догнал армию и ночевал в Вильковисском лесу, в приготовленной для него квартире, в имении польского графа.

На другой день Наполеон, обогнав армию, в коляске подъехал к Неману и, с тем чтобы осмотреть местность переправы, переоделся в польский мундир и выехал на берег.

Увидав на той стороне казаков (les cosaques[1]) и расстилавшиеся степи (les steppes[2]), в середине которых была Moscou la ville sainte[3], столица того, подобного Скифскому, государства, куда ходил Александр Македонский, — Наполеон, неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал наступление, и на другой день войска его стали переходить Неман.

12-го числа рано утром он вышел из палатки, раскинутой в этот день на крутом левом берегу Немана, и смотрел в зрительную трубу на выплывающие из Вильковисского леса потоки своих войск, разливающихся по трем мостам, наведенным на Немане. Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и, когда находили на горе перед палаткой отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе, они кидали вверх шапки, кричали: «Vive l'Empereur!»[4] — и одни за другими, не истощаясь, вытекали, всё вытекали из огромного, скрывавшего их доселе леса и, растроякь, по трем мостам переходили на ту сторону.

— On fera du chemin cette fois-ci. Oh! quand il s'en mêle lui-même ça chauffe... Nom de Dieu... Le voilà!.. Vive l'Empereur! Les voilà donc les Steppes de l'Asie! Vilain pays tout de même. Au revoir, Beauché; je te réserve le plus beau palais de Moscou. Au revoir! Bonne chance... L'as tu vu, l'Empereur? Vive l'Empereur!.. preur! Si on me fait gouverneur aux Indes, Gérard, je te fais ministre du Cachemire, c'est arrêté. Vive l'Empereur! Vive! vive! vive! Les gredins de Cosaques, comme ils filent. Vive l'Empereur! Le voilà! Le vois tu? Je l'ai vu deux fois comme je te vois. Le petit caporal... Je l'ai vu donner la croix à l'un des vieux... Vive l'Empereur!..[5] — говорили голоса старых и молодых людей, самых разнообразных характеров и положений в обществе. На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости о начале давно ожидаемого похода и восторга и преданности к человеку в сером сюртуке, стоявшему на горе.

---

[1] Казаки (во французской литературе XIX века это слово часто ассоциировалось с воинственностью, свободой и экзотикой русской окраины)

[2] Степи (то есть бескрайние равнины Восточной Европы и Азии, символ простора и дикости природы)

[3] Москва, священный город

[4] «Да здравствует император!»

[5] Ну, теперь мы точно пройдём дорогу! Ох, когда он сам берётся — жарко становится… Чёрт возьми… Вот он! Да здравствует Император! Вот они — степи Азии! Эх, страна-то всё равно паршивая. Прощай, Боше, я тебе обещаю самый красивый дворец в Москве. Прощай! Удачи… Ты видел Императора? Да здравствует Император!.. Если меня сделают губернатором в Индии, Жерар, то я тебя назначу министром Кашмира — решено! Да здравствует Император! Да здравствует! Да здравствует! Да здравствует! Ах эти проклятые казаки, как они удирают! Да здравствует Император! Вот он! Видишь его? Я видел его дважды, как тебя вижу. Маленький капрал… Я видел, как он вручал крест одному из стариков… Да здравствует Император!»

13-го июня Наполеону подали небольшую чистокровную арабскую лошадь, и он сел и поехал галопом к одному из мостов через Неман, непрестанно оглушаемый восторженными криками, которые он, очевидно, переносил только потому, что нельзя было запретить им криками этими выражать свою любовь к нему; но крики эти, сопутствующие ему везде, тяготили его и отвлекали его от военной заботы, охватившей его с того времени, как он присоединился к войску. Он проехал по одному из качавшихся на лодках мостов на ту сторону, круто повернул влево и галопом поехал по направлению к Ковно, предшествуемый замиравшими от счастия, восторженными гвардейскими конными егерями, расчищая дорогу по войскам, скакавшим впереди его. Подъехав к широкой реке Вилии, он остановился подле польского уланского полка, стоявшего на берегу.

— Виват! — также восторженно кричали поляки, расстроивая фронт и давя друг друга, для того чтобы увидеть его. Наполеон осмотрел реку, слез с лошади и сел на бревно, лежавшее на берегу. По бессловесному знаку ему подали трубу, он положил ее на спину подбежавшего счастливого пажа и стал смотреть на ту сторону. Потом он углубился в рассматриванье листа карты, разложенного между бревнами. Не поднимая головы, он сказал что-то, и двое его адъютантов поскакали к польским уланам.

— Что? Что он сказал? — слышалось в рядах польских улан, когда один адъютант подскакал к ним.

Было приказано, отыскав брод, перейти на ту сторону. Польский уланский полковник, красивый старый человек, раскрасневшись и путаясь в словах от волнения, спросил у адъютанта, позволено ли ему будет переплыть с своими уланами реку, не отыскивая брода. Он с очевидным страхом за отказ, как мальчик, который просит позволения сесть на лошадь, просил, чтобы ему позволили переплыть реку в глазах императора. Адъютант сказал, что, вероятно, император не будет недоволен этим излишним усердием.

Как только адъютант сказал это, старый усатый офицер с счастливым лицом и блестящими глазами, подняв кверху саблю, прокричал: «Виват!» — и, скомандовав уланам следовать за собой, дал шпоры лошади и подскакал к реке. Он злобно толкнул замявшуюся под собой лошадь и бухнулся в воду, направляясь в глубь к быстрине течения. Сотни уланов поскакали за ним. Было холодно и жутко на середине и на быстрине течения. Уланы цеплялись друг за друга, сваливались с лошадей, лошади некоторые тонули, тонули и люди, остальные старались плыть кто на седле, кто держась за гриву. Они старались плыть вперед на ту сторону и, несмотря на то, что за полверсты была переправа, гордились тем, что они плывут и тонут в этой реке под взглядами человека, сидевшего на бревне и даже не смотревшего на то, что они делали. Когда вернувшийся адъютант, выбрав удобную минуту, позволил себе обратить внимание императора на преданность поляков к его особе, маленький человек в сером сюртуке встал и, подозвав к себе Бертье, стал ходить с ним взад и вперед по берегу, отдавая ему приказания и изредка недовольно взглядывая на тонувших улан, развлекавших его внимание.

Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения. Он велел подать себе лошадь и поехал в свою стоянку.

Человек сорок улан потонуло в реке, несмотря на высланные на помощь лодки. Большинство прибилось назад к этому берегу. Полковник и несколько человек переплыли реку и с трудом вылезли на тот берег. Но как только они вылезли в обшлепнувшемся на них, стекающем ручьями мокром платье, они закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми.

Ввечеру Наполеон между двумя распоряжениями — одно о том, чтобы как можно скорее доставить заготовленные фальшивые русские ассигнации для ввоза в Россию, и другое о том, чтобы расстрелять саксонца, в перехваченном письме которого найдены сведения о распоряжениях по французской армии, — сделал третье распоряжение — о причислении бросившегося без нужды в реку польского полковника к когорте чести (Legion d'honneur[1]), которой Наполеон был главою.

Quos vult perdere — dementat[2].

III

Русский император между тем более месяца уж жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят, только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания.

Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставши ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне.

После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя, в июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенигсен, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня был назначен обед, бал, катанье на лодках и фейерверк в Закрете, загородном доме графа Бенигсена.

В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу, Александр проводил вечер на даче Бенигсена — на бале, даваемом генерал-адъютантами.

---

[1] Орден Почётного легиона Франции

[2] Кого судьба хочет сгубить — того сначала делает безумным (лат.).

Был веселый, блестящий праздник; знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну, была на этом бале, затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца.

Борис Друбецкой, en garçon (холостяк), как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале и, хотя не генерал-адъютант, был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников.

В двенадцать часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис, хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи Элен, выступавшие из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал; он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить.

При начале мазурки Борис видел, что генерал-адъютант Балашев, одно из ближайших лиц к государю, подошел к нему и непридворно остановился близко от государя, говорившего с польской дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно поняв, что Балашев поступил так только потому, что на то были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашеву. Только что Балашев начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашева и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сажени на три широкую дорогу сторонившихся перед ним. Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошел с Балашевым. Аракчеев, исподлобья глядя на государя и посапывая красным носом, выдвинулся из толпы, как бы ожидая, что государь обратится к нему. (Борис понял, что Аракчеев завидует Балашеву и недоволен тем, что какая-то, очевидно важная, новость не через него передана государю.)

Но государь с Балашевым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь в освещенный сад. Аракчеев, придерживая шпагу и злобно оглядываясь вокруг себя, прошел шагах в двадцати за ними.

Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Балашев и каким бы образом узнать ее прежде других.

В фигуре, где ему надо было выбирать дам, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он, скользя ногами по паркету, выбежал в выходную дверь в сад и, заметив входящего с Балашевым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашевым направлялись к двери. Борис, заторопившись, как будто не успев отодвинуться, почтительно прижался к притолоке и нагнул голову.

Государь с волнением лично оскорбленного человека договаривал следующие слова:

— Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле, — сказал он. Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова: он был доволен формой выражения своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услыхал их.

— Чтоб никто ничего не знал! — прибавил государь, нахмурившись. Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале.

Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана и благодаря этому имел случай показать некоторым важным лицам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно, и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ.

Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывшегося ожидания, и на бале! Государь, в первую минуту получения известия, под влиянием возмущения и оскорбления, нашел то, сделавшееся потом знаменитым, изречение, которое самому понравилось ему и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи Послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он не помирится до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.

На другой день было написано следующее письмо к Наполеону.

«Monsieur mon frère. J'ai appris hier que malgré la loyauté avec laquelle j'ai maintenu mes engagements envers Votre Majesté, ses troupes ont franchis les frontières de la Russie, et je reçois à l'instant de Pétersbourg une note par laquelle le comte Lauriston, pour cause de cette agression, annonce que Votre Majesté s'est considérée comme en état de guerre avec moi dès le moment où le prince Kourakine a fait la demande de ses passeports. Les motifs sur lesquels le duc de Bassano fondait son refus de les délivrer, n'auraient jamais pu me faire supposer que cette démarche servirait jamais de prétexte à l'agression, En effet cet ambassadeur n'y a jamais été autorisé comme il l'a déclaré lui-même, et aussitôt que j'en fus informé je lui ai fait connaître combien je le désapprouvais en lui donnant l'ordre de rester à son poste. Si Votre Majesté n'est pas intentionnée de verser le sang de nos peuples pour un malentendu de ce genre et qu'elle consente à retirer ses troupes du territoire russe, je regarderai ce qui s'est passé comme non avenu, et un accommodement entre nous sera possible. Dans le cas contraire, Votre Majesté, je me verrai forcé de repousser une attaque que rien n'a provoquée de ma part. Il dépend encore de Votre Majesté d'éviter à l'humanité les calamités d'une nouvelle guerre.

Je suis, etc.

(signé) Alexandre» [1].

IV

13-го июня, в два часа ночи, государь, призвав к себе Балашева и прочтя ему свое письмо к Наполеону, приказал ему отвезти это письмо и лично передать французскому императору. Отправляя Балашева, государь вновь повторил ему слова о том, что он не помирится до тех пор, пока останется хотя один вооруженный неприятель на русской земле, и приказал непременно передать эти слова Наполеону. Государь не написал этих слов в письме, потому что он чувствовал с своим тактом, что слова эти неудобны для передачи в ту минуту, когда делается последняя попытка примирения; но он непременно приказал Балашеву передать их лично Наполеону.

Выехав в ночь с 13-го на 14-е июня, Балашев, сопутствуемый трубачом и двумя казаками, к рассвету приехал в деревню Рыконты, на французские аванпосты по сю сторону Немана. Он был остановлен французскими кавалерийскими часовыми.

Французский гусарский унтер-офицер, в малиновом мундире и мохнатой шапке, крикнул на подъезжавшего Балашева, приказывая ему остановиться. Балашев не тотчас остановился, а продолжал шагом подвигаться по дороге.

Унтер-офицер, нахмурившись и проворчав какое-то ругательство, надвинулся грудью лошади на Балашева, взялся за саблю и грубо крикнул на русского генерала, спрашивая его: глух ли он, что не слышит того, что ему говорят. Балашев назвал себя. Унтер-офицер послал солдата к офицеру.

Не обращая на Балашева внимания, унтер-офицер стал говорить с товарищами о своем полковом деле и не глядел на русского генерала.

Необычайно странно было Балашеву, после близости к высшей власти и могуществу, после разговора три часа тому назад с государем и вообще привыкшему По своей службе к почестям, видеть тут, на русской земле, это враждебное и главное — непочтительное отношение к себе грубой силы.

Солнце только начинало подниматься из-за туч; в воздухе было свежо и росисто. По дороге из деревни выгоняли стадо. В полях один за одним, как пузырьки в воде, вспырскивали с чувыканьем жаворонки.

Балашев оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни. Русские казаки, и трубач, и французские гусары молча изредка глядели друг на друга.

---

[1] «Государь брат мой! Вчера дошло до меня, что, несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства в отношении к Вашему Императорскому Величеству, войска Ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня, по поводу сего вторжения, что Ваше Величество считаете себя в неприязненных отношениях со мною, с того времени как князь Куракин потребовал свои паспорты. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорты, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели Ваше Величество не расположены проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения и ежели Вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше Величество еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны.

(подписал) Александр».

Французский гусарский полковник, видимо, только что с постели, выехал из деревни на красивой сытой серой лошади, сопутствуемый двумя гусарами. На офицере, на солдатах и на их лошадях был вид довольства и щегольства.

Это было то первое время кампании, когда войска еще находились в исправности, почти равной смотровой, мирной деятельности, только с оттенком нарядной воинственности в одежде и с нравственным оттенком того веселья и предприимчивости, которые всегда сопутствуют началам кампаний.

Французский полковник с трудом удерживал зевоту, но был учтив и, видимо, понимал все значение Балашева. Он провел его мимо своих солдат за цепь и сообщил, что желание его быть представленну императору будет, вероятно, тотчас же исполнено, так как императорская квартира, сколько он знает, находится недалеко.

Они проехали деревню Рыконты, мимо французских гусарских коновязей, часовых и солдат, отдававших честь своему полковнику и с любопытством осматривавших русский мундир, и выехали на другую сторону села. По словам полковника, в двух километрах был начальник дивизии, который примет Балашева и проводит его по назначению.

Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени.

Только что они выехали за корчму на гору, как навстречу им из-под горы показалась кучка всадников, впереди которой на вороной лошади с блестящею на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и черными, завитыми по плечи волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и золотыми галунами.

Балашев уже был на расстоянии двух лошадей от скачущего ему навстречу с торжественно-театральным лицом всадника в браслетах, перьях, ожерельях и золоте, когда Юльнер, французский полковник, почтительно прошептал: «Le roi de Naples»[1]. Действительно, это был Мюрат, называемый теперь неаполитанским королем. Хотя и было совершенно непонятно, почему он был неаполитанский король, но его называли так, и он сам был убежден в этом и потому имел более торжественный и важный вид, чем прежде. Он так был уверен в том, что он действительно неаполитанский король, что когда накануне отъезда из Неаполя, во время его прогулки с женою по улицам Неаполя, несколько итальянцев прокричали ему: «Viva il re!»[2], он с грустной улыбкой повернулся к супруге и сказал: «Les malheureux, ils ne savent pas que je les quitte demain!»[3]

Но несмотря на то, что он твердо верил в то, что он был неаполитанский король, и что он сожалел о горести своих покидаемых им подданных, в последнее время, после того как ему велено было опять поступить на службу, и особенно после

[1] Король Неаполитанский

[2] «Да здравствует король!» (итал.).

[3] «Несчастные, они не знают, что я их завтра покидаю!»

свидания с Наполеоном в Данциге, когда августейший шурин сказал ему: «Je vous ai fait Roi pour régner à ma manière, mais pas à la vôtre»[1], — он весело принялся за знакомое ему дело и, как разъевшийся, но не зажиревший, годный на службу конь, почуяв себя в упряжке, заиграл в оглоблях и, разрядившись как можно пестрее и дороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши.

Увидав русского генерала, он по-королевски, торжественно, откинул назад голову с завитыми по плечи волосами и вопросительно поглядел на французского полковника. Полковник почтительно передал его величеству значение Балашева, фамилию которого он не мог выговорить:

— De Bal-macheve! — сказал король (своей решительностью превозмогая трудность, представлявшуюся полковнику), — charmé de faire votre connaissance, général[2], — прибавил он с королевски-милостивым жестом. Как только король начал говорить громко и быстро, все королевское достоинство мгновенно оставило его, и он, сам не замечая, перешел в свойственный ему тон добродушной фамильярности. Он положил свою руку на холку лошади Балашева.

— Eh bien, général, tout est à la guerre, à ce qu'il parait[3] , — сказал он, как будто сожалея об обстоятельстве, о котором он не мог судить.

— Sire, — отвечал Балашев, — l'Empereur mon maître ne désire point la guerre, et comme Votre Majesté le voit, — говорил Балашев, во всех падежах употребляя Votre Majesté[4], с неизбежной аффектацией учащения титула, обращаясь к лицу, для которого титул этот еще новость.

Лицо Мюрата сияло глупым довольством в то время, как он слушал monsieur de Balachoff[5]. Но royauté oblige[6]: он чувствовал необходимость переговорить с посланником Александра о государственных делах, как король и союзник. Он слез с лошади и, взяв под руку Балашева и отойдя на несколько шагов от почтительно дожидавшейся свиты, стал ходить с ним взад и вперед, стараясь говорить значительно. Он упомянул о том, что император Наполеон оскорблен требованиями вывода войск из Пруссии, в особенности теперь, когда это требование сделалось всем известно и когда этим оскорблено достоинство Франции. Балашев сказал, что в требовании этом нет ничего оскорбительного, потому что... Мюрат перебил его:

— Так вы считаете зачинщиком не императора Александра? — сказал он неожиданно с добродушно-глупой улыбкой.

Балашев сказал, почему он действительно полагал, что начинателем войны был Наполеон.

— Eh, mon cher général! — опять перебил его Мюрат, — je désire de tout mon cur que les Empereurs s'arrangent entre eux, et que la guerre commencée malgré moi se

---

[1] Я возвёл вас на трон, чтобы вы царствовали так, как я велю, а не по собственной воле

[2] Де Баль-мачев! — сказал король, …, — рад познакомиться с вами, генерал.

[3] Ну что ж, генерал, дело, кажется, идет к войне.

[4] Государь, — отвечал Балашёв, — мой повелитель Император вовсе не желает войны, и, как видит Ваше Величество, — продолжал Балашёв, во всех падежах неизменно употребляя обращение Ваше Величество...

[5] его сиятельство господин де Балашёв

[6] Но царское звание обязывает к поступкам, достойным короля

termine le plutôt possible[1], — сказал он тоном разговора слуг, которые желают остаться добрыми приятелями, несмотря на ссору между господами. И он перешел к расспросам о великом князе, о его здоровье и о воспоминаниях весело и забавно проведенного с ним времени в Неаполе. Потом, как будто вдруг вспомнив о своем королевском достоинстве, Мюрат торжественно выпрямился, стал в ту же позу, в которой он стоял на коронации и, помахивая правой рукой, сказал: — Je ne vous retiens plus, général; je souhaite le succès de votre mission[2], — и, развеваясь красной шитой мантией и перьями и блестя драгоценностями, он пошел к свите, почтительно ожидавшей его.

Балашев поехал дальше, по словам Мюрата предполагая весьма скоро быть представленным самому Наполеону. Но вместо скорой встречи с Наполеоном, часовые пехотного корпуса Даву опять так же задержали его у следующего селения, как и в передовой цепи, и вызванный адъютант командира корпуса проводил его в деревню к маршалу Даву.

V

Даву был Аракчеев императора Наполеона — Аракчеев не трус, но столь же исправный, жестокий и не умеющий выражать свою преданность иначе как жестокостью.

В механизме государственною организма нужны эти люди, как нужны волки в организме природы, и они всегда есть, всегда являются и держатся, как ни несообразно кажется их присутствие и близость к главе правительства. Только этой необходимостью можно объяснить то, как мог жестокий, лично выдиравший усы гренадерам и не могший по слабости нерв переносить опасность, необразованный, непридворный Аракчеев держаться в такой силе при рыцарски-благородном и нежном характере Александра.

Балашев застал маршала Даву в сарае крестьянской избы, сидящего на бочонке и занятого письменными работами (он поверял счеты). Адъютант стоял подле него. Возможно было найти лучшее помещение, но маршал Даву был один из тех людей, которые нарочно ставят себя в самые мрачные условия жизни, для того чтобы иметь право быть мрачными. Они для того же всегда поспешно и упорно заняты. «Где тут думать о счастливой стороне человеческой жизни, когда, вы видите, я на бочке сижу в грязном сарае и работаю», — говорило выражение его лица. Главное удовольствие и потребность этих людей состоит в том, чтобы, встретив оживление жизни, бросить этому оживлению в глаза свою мрачную, упорную деятельность. Это удовольствие доставил себе Даву, когда к нему ввели Балашева. Он еще более углубился в свою работу, когда вошел русский генерал, и, взглянув через очки на оживленное, под впечатлением прекрасного утра и беседы с Мюратом, лицо Балашева, не встал, и не пошевелился даже, а еще больше нахмурился и злобно усмехнулся.

---

[1] Ах, любезный генерал, я желаю от всей души, чтобы императоры покончили дело между собою и чтобы война, начатая против моей воли, окончилась как можно скорее

[2] Я вас не задерживаю более, генерал, желаю успеха вашему посольству

Заметив на лице Балашева произведенное этим приемом неприятное впечатление, Даву поднял голову и холодно спросил, что ему нужно.

Предполагая, что такой прием мог быть сделан ему только потому, что Даву не знает, что он генерал-адъютант императора Александра и даже представитель его перед Наполеоном, Балашев поспешил сообщить свое звание и назначение. В противность ожидания его, Даву, выслушав Балашева, стал еще суровее и грубее.

— Где же ваш пакет? — сказал он. — Отдайте это мне, я передам Императору[1].

Балашев сказал, что он имеет приказание лично передать пакет самому императору.

— Приказания вашего императора исполняются в вашей армии, а здесь, — сказал Даву, — вы должны делать то, что вам говорят.

И как будто для того, чтобы еще больше дать почувствовать русскому генералу его зависимость от грубой силы, Даву послал адъютанта за дежурным.

Балашев вынул пакет, заключавший письмо государя, и положил его на стол (стол, состоявший из двери, на которой торчали оторванные петли, положенной на два бочонка). Даву взял конверт и прочел надпись.

— Вы совершенно вправе оказывать или не оказывать мне уважение, — сказал Балашев. — Но позвольте вам заметить, что я имею честь носить звание генерал-адъютанта его величества...

Даву взглянул на него молча, и некоторое волнение и смущение, выразившиеся на лице Балашева, видимо, доставили ему удовольствие.

— Вам будет оказано должное, — сказал он и, положив конверт в карман, вышел из сарая.

Через минуту вошел адъютант маршала господин де Кастре и провел Балашева в приготовленное для него помещение.

Балашев обедал в этот день с маршалом в том же сарае, на той же доске на бочках.

На другой день Даву выехал рано утром и, пригласив к себе Балашева, внушительно сказал ему, что он просит его оставаться здесь, подвигаться вместе с багажами, ежели они будут иметь на то приказания, и не разговаривать ни с кем, кроме как с господином де Кастре.

После четырехдневного уединения, скуки, сознания подвластности и ничтожества, особенно ощутительного после той среды могущества, в которой он так недавно находился, после нескольких переходов вместе с багажами маршала, с французскими войсками, занимавшими всю местность, Балашев привезен был в Вильну, занятую теперь французами, в ту же заставу, из которой он выехал четыре дня тому назад.

На другой день императорский камергер, monsieur de Turenne[2], приехал к Балашеву и передал ему желание императора Наполеона удостоить его аудиенции.

---

[1] Дайте мне его, я пошлю императору

[2] господин де Тюренн (Анри де Тюренн, знаменитый французский полководц XVII века, маршал Франции)

Четыре дня тому назад у того дома, к которому подвезли Балашева, стояли Преображенского полка часовые, теперь же стояли два французских гренадера в раскрытых на груди синих мундирах и в мохнатых шапках, конвой гусаров и улан и блестящая свита адъютантов, пажей и генералов, ожидавших выхода Наполеона вокруг стоявшей у крыльца верховой лошади и его мамелюка Рустана. Наполеон принимал Балашева в том самом доме в Вильне, из которого отправлял его Александр.

VI

Несмотря на привычку Балашева к придворной торжественности, роскошь и пышность двора императора Наполеона поразили его.

Граф Тюрен ввел его в большую приемную, где дожидалось много генералов, камергеров и польских магнатов, из которых многих Балашев видал при дворе русского императора. Дюрок сказал, что император Наполеон примет русского генерала перед своей прогулкой.

После нескольких минут ожидания дежурный камергер вышел в большую приемную и, учтиво поклонившись Балашеву, пригласил его идти за собой.

Балашев вошел в маленькую приемную, из которой была одна дверь в кабинет, в тот самый кабинет, из которого отправлял его русский император. Балашев простоял один минуты две, ожидая. За дверью послышались поспешные шаги. Быстро отворились обе половинки двери, камергер, отворивший, почтительно остановился, ожидая; все затихло, и из кабинета зазвучали другие, твердые, решительные шаги: это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волоса его, очевидно, только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая пухлая шея его резко выступала из-за черного воротника мундира; от него пахло одеколоном. На моложавом полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия.

Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди. Кроме того, видно было, что он в этот день находился в самом хорошем расположении духа.

Он кивнул головою, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева, и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить, как человек, дорожащий всякой минутой своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что́ нужно сказать.

— Здравствуйте, генерал! — сказал он. — Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. — Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть вперед мимо него.

Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.

— Я не желаю и не желал войны, — сказал он, — но меня вынудили к ней. Я и теперь (он сказал это слово с ударением) готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне. — И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства.

Судя по умеренно-спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашев был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры.

— Sire! L'Empereur, mon maître[1], — начал Балашев давно приготовленную речь, когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла; но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены — оправьтесь», — как будто сказал Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундир и шпагу Балашева. Балашев оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требование паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государя, что император Александр не желает войны и что с Англией нет никаких сношений.

— Еще нет, — вставил Наполеон и, как будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашеву, что он может продолжать.

Высказав все, что ему было приказано, Балашев сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам иначе, как с тем условием, чтобы... Тут Балашев замялся: он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письме, но которые непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и которые приказал Балашеву передать Наполеону. Балашев помнил про эти слова: «пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской», но какое-то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал: с условием, чтобы французские войска отступили за Неман.

Наполеон заметил смущение Балашева при высказывании последних слов; лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Не сходя с места, он голосом, более высоким и поспешным, чем прежде, начал говорить. Во время доследующей речи Балашев, не раз опуская глаза, невольно наблюдал дрожание икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос.

— Я желаю мира не менее императора Александра, — начал он. — Не я ли осьмнадцать месяцев делаю все, чтобы получить его? Я осьмнадцать месяцев жду объяснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня? — сказал он, нахмурившись и делая энергически вопросительный жест своей маленькой белой и пухлой рукой.

---

[1] Ваше величество! Император, государь мой!

— Отступления войск за Неман, государь, — сказал Балашев.

— За Неман? — повторил Наполеон. — Так теперь вы хотите, чтобы отступили за Неман — только за Неман? — повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашева.

Балашев почтительно наклонил голову.

Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали отступить только за Неман. Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате.

— Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров; но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры.

Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашева. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении, и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожанье левой икры Наполеон знал за собой. La vibration de mon mollet gauche est un grand signe chez moi[1], — говорил он впоследствии.

— Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне, — совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. — Ежели бы вы мне дали Петербург и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал войну? А кто прежде приехал к армии? — император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией и когда ваше положение дурно — вы предлагаете мне переговоры! А какая цель вашего союза с Англией? Что она дала вам? — говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать и свою правоту, и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра.

Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своей речью.

Вся цель его речи теперь уже, очевидно, была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания.

— Говорят, вы заключили мир с турками?

Балашев утвердительно наклонил голову.

— Мир заключен... — начал он. Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить самому, одному, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди.

— Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да, —

[1] Дрожание моей левой икры есть великий признак

продолжал он, — я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию, а теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до устьев Дуная. Катерина Великая не могла бы сделать более, — говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашеву почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тильзите. — Tout cela il l'aurait dû à mon amitié... Ah! quel beau règne, quel beau règne![1] — повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом.

— Quel beau règne aurait pu être celui de l'Empereur Alexandre! [2]

Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его.

— Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. — сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. — Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? — продолжал он. — Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов. Штейн — прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд — развратник и интриган, Винцингероде — беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания... Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, — продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), — но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион — военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность... И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit être à l'armée que quand il est général[3], — сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.

— Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет...

— Напротив, ваше величество, — сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, — войска горят желанием...

---

[1] Всем этим он обязан был бы моей дружбе… Ах, какое прекрасное царствование, какое прекрасное царствование!

[2] О, какое прекрасное царствование могло бы быть царствование императора Александра!

[3] Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец

— Я все знаю, — перебил его Наполеон, — я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, — сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, — даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce côté de la Vistule[1]. Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы — их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого — Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. — Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.

На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что-то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.

— Да что мне эти ваши союзники? — говорил Наполеон. — У меня союзники — это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.

И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:

— Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, — сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. — Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, — сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом:
— Et cependant quel beau règne aurait pu avoir votre maître! [2]

[1] Честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы

[2] А между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!

Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».

В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовой платок. Наполеон, не глядя на них, обратился к Балашеву.

— Уверьте от моего имени императора Александра — сказал он, взяв шляпу, — что я ему предан по-прежнему: я знаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre à l'Empereur[2]. — И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной всё бросилось вперед и вниз по лестнице.

VII

После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов: «Je ne vous retiens plus, général, vous recevrez ma lettre»[3], Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его — оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.

На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье.

Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.

Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.

За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.

---

[2] Я больше не задерживаю вас, генерал, вы получите моё письмо к государю

[3] Я больше не задерживаю вас, генерал, вы получите моё письмо

— Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [1] Сколько церквей в Moscou? — спрашивал он.

И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:

— К чему такая бездна церквей?

— Русские очень набожны, — отвечал Балашев.

— Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, — сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.

Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.

— У каждой страны свои нравы, — сказал он.

— Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, — сказал Наполеон.

— Прошу извинения у вашего величества, — сказал Балашев, — кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.

Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.

По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», — говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à Moscou[2], что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.

После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подле себя Балашеву.

Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.

— Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? — сказал он, очевидно не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.

---

[1] Москва святая?

[2] как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву

Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.

— Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, — с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. — Чего я не могу понять, — сказал он, — это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не... понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? — с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.

— И пусть он знает, что я это сделаю, — сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. — Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских... да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!

Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.

— И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?

Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое-нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.

Avoir l'oreille tirée par l'Empereur[1] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.

— Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [2] — сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь courtisan и admirateur[3], кроме его, Наполеона.

— Готовы ли лошади для генерала? — прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.

— Дайте ему моих, ему далеко ехать...

Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.

---

[1] Быть выдранным за ухо императором

[2] Ну-с, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?

[3] придворным и обожателем

VIII

После своего свидания в Москве с Пьером князь Андрей уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.

Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытее были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.

Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно-хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.

В 12-м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.

Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года в жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, — точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший за́мок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющая девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по-русски со слугами, но был все тот же ограниченно-умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще бо́льшим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем за́мке. Но хотя по внешности все оставалось по-старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, — для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m-lle Bourienne и архитектор, к другому — княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.

Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m-lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.

Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру? — думал старый князь. — Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он выслушал», — думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.

— Ежели вы спрашиваете меня, — сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), — я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее — я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели вы спрашиваете меня, — продолжал князь раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, — то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.

Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.

— Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?

— Батюшка, я не хотел быть судьей, — сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, — но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья не виновата, а виноваты... виновата эта француженка...

— А, присудил!.. присудил! — сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: — Вон, вон! Чтобы духу твоего тут не было!..

Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m-lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день перед отъездом князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике-сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.

— Ну, рассказывай же, — говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колен и пошел из комнаты.

Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое-нибудь дело.

— Ты решительно едешь, André? — сказала ему сестра.

— Слава Богу, что могу ехать, — сказал князь Андрей, — очень жалею, что ты не можешь.

— Зачем ты это говоришь! — сказала княжна Марья. — Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну и он так стар! M-lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя... — Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.

— Ах, Боже мой! Боже мой! — сказал он. — И как подумаешь, что и кто — какое ничтожество может быть причиной несчастья людей! — сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.

Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m-lle Bourienne, делавшую его несчастие, но и того человека, который погубил его счастие.

— André, об одном я прошу, я умоляю тебя, — сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. — Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди — орудие его. — Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. — Горе послано им, а не людьми. Люди — его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто-нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.

— Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, — сказал он, и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то значит, давно мне надо было наказать», — подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.

Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь, чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.

— Adieu, André! Rappelez-vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables[1] , — были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.

«Так это должно быть! — думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. — Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? — сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!» И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.

IX

Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первой армией, от которой — как говорили — они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.

Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощью своих знаний и разговоров с сведущими людьми старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно обдуманные планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что все зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия

[1] Прощай, Андрей! Помни, что несчастия происходят от Бога и что люди никогда не бывают виноваты

неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном, и вывел для себя следующее понятие о положении дел.

Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена натрое: 1-я армия находилась под начальством Барклая де Толли, 2-я под начальством Багратиона, 3-я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армий. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал-квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель-адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев — бывший военный министр, граф Бенигсен — по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев — канцлер. Штейн — бывший прусский министр, Армфельд — шведский генерал, Пфуль — главный составитель плана кампании, генерал-адъютант Паулучи — сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое-то приказание в форме совета и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц, с придворной точки (а в присутствии государя все делаются придворными), всем был ясен. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель-блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал les honneurs[1] края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтобы иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что это было ему угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах. Генерал-адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, — главное — Пфуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик.

[1] был занят делом приема гостей (показывал достопримечательности, представлял край)

Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.

В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие, подразделения направлений и партий.

Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.

Вторая партия была противуположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости — производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.

К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и изо всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.

Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардиею в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую

линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»

Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.

Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то все погибнет, потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», — говорили люди этой партии.

Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив, что все-таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все-таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, — говорили они, — тем лучше: по крайней мере скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой-нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя в 1807-м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, — и таковой есть только один Бенигсен».

Седьмые — были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, — лица генералов и флигель-адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805-м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества человеческие. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб-квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.

Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1-му, состояла из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя выгод и

удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе, между двух советов и в отсутствие врагов, единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой. Пятый, для того чтобы достигнуть давно желанной цели — обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства.

Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений, различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая, самая большая партия людей, занятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса.

Из всех этих партий, в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, девятая партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно-опытных и умевших, не разделяя ни одного из противоречащих мнений, отвлеченно посмотреть на все, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства к выходу из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости.

Люди этой партии говорили и думали, что все дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенная, условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует пятьдесят тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности; что самый плохой, но независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, но связанного присутствием и властью государя.

В то самое время как князь Андрей жил без дела при Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашев и Аракчеев. В письме этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуждать об общем ходе дел, он почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагал государю оставить войско.

Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты отечества — то самое (насколько оно произведено было личным присутствием государя в Москве) одушевление народа, которое было главной причиной торжества России, было представлено государю и принято им как предлог для оставления армии.

X

Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея, для того чтобы расспросить его о Турции, и что князь Андрей имеет явиться в квартиру Бенигсена в шесть часов вечера.

В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии, — известие, впоследствии оказавшееся несправедливым. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем дрисские укрепления, доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор chef-d'uvr'ом[1] тактики, долженствующим погубить Наполеона, — что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.

Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там; но Чернышев, флигель-адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.

Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой; в ней еще стоял орган, на который навалены были какие-то ковры, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по-немецки и изредка по-французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя, не военный совет (государь любил неопределенность), но некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были

[1] шедевром

приглашены: шведский генерал Армфельд, генерал-адъютант Вольцоген, Винцингероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек — граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvrière[1] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.

Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков-генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805-м году; но он был типичнее всех их. Такого немца-теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей.

Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по-немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что-то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf... или zu Grunde die ganze Geschichte... или s'wird was gescheites d'raus werden...[2] Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него и проговорил смеясь: «Da muss ein schöner taktischer Krieg gewesen sein»[3]. — И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.

Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя

[1] основою

[2] Глупец… или вся история погибнет… или выйдет из этого что-нибудь толковое… (нем.)

[3] «Должна была быть красивая тактическая война» (нем.).

лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука — теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.

В 1806-м году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи, и он с свойственной ему радостной иронией говорил: «Ich sagte ja, daß die ganze Geschichte zum Teufel gehen wird»[1]. Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике; он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.

Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно и что даже недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это.

Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.

XI

Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенигсен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие-то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое-что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что-то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:

[1] «Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту» (нем.).

— Quant à celui qui a conseillé ce camp, le camp de Drissa[1] , — говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо.

— Quant à celui, Sire, — продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, — qui a conseillé le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet[2]. — Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему:

— Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. — Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.

Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным) о движении французов в обход Дрисского лагеря.

Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно, во избежание представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем (кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение) не объяснимую позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой — совершенно противный и плану Армфельда и плану Пфуля — план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в которой мы находились. Пфуль во время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:

---

[1] Что касается того, кто советовал этот лагерь, лагерь под Дриссой…

[2] Что же касается того, Сир, — продолжал Паулуччи с отчаянием, словно не в силах удержаться, — кто советовал лагерь под Дриссой, то я не вижу для него иной участи, кроме жёлтого дома (психиатрическая лечебница) или виселицы

— Что же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schön! [1] Или отступление. Auch gut[2] . Что ж меня спрашивать? — сказал он. — Ведь вы сами знаете все лучше меня. — Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:

— Все испортили, все спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне: как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною, — говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. — В чем затруднение? Вздор, Kinderspiel[3]. — Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что все предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен.

Паулучи, не знавший по-немецки, стал спрашивать его по-французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по-французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено в его плане, и что ежели теперь были затруднения, то вся вина была только в том, что не в точности все исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросает математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по-французски его мысли и изредка говоря Пфулю: «Nicht wahr, Exellenz?»[4] Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал на Вольцогена:

— Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden?[5]

Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по-французски. Армфельд по-немецки обращался к Пфулю. Толь по-русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.

Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково-самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного — приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идее. Кроме того, во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805-м

[1] атаку этого итальянского господина — очень красиво! (нем.)
[2] Тоже хорошо (нем.)
[3] детская игра (нем.)
[4] «Не правда ли, ваше превосходительство?» (нем.)
[5] Ну да, что еще тут толковать? (нем.)

году, — это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон, и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но, кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное по некоторой отчаянности выражений самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, он был в отчаянии оттого, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него.

Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое-нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения и крики, только удивляясь тому, чтó они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны, и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: „Мы отрезаны!“ — и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет: „Ура!“ — отряд в пять тысяч стóит тридцати тысяч, как под Шенграбеном, а иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Армфельд предлагает другой; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения, их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, —

глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, — сам Наполеон признал это. А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких-нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших, высших, человеческих качеств — любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что́ он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец. Избави Бог, коли он человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они — власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит: пропали, или закричит: ура! И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!»

Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвал его и все уже расходились.

На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.

XII

Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем (разрыв этот объясняли ему отказом Наташи), они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно.

«Обожаемый друг души моей, — писал он. — Ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастие своему долгу и любви к отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди».

Действительно, только открытие кампании задержало Ростова и помешало ему приехать — как он обещал — и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. «Славная жена, дети, добрая стая гончих, соседи, служба по выборам!» — думал он. Но теперь была кампания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов, по своему характеру, был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятною.

Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был посылан за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон.

Началась кампания, полк был двинут в Польщу, выдавалось двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади; и, главное, распространилось то возбужденно-веселое настроение, которое сопутствует началу войны; и Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть.

Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусар же Павлоградского полка весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому-нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к Свенцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свенцяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у Свенцян, и потому, что в Свенцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил Свенцяны потому, что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли пять бочек старого пива. От Свенцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам.

13-го июля павлоградцам в первый раз пришлось быть в серьезном деле.

12-го июля в ночь, накануне дела, была сильная буря с дождем и грозой. Лето 1812 года вообще было замечательно бурями.

Павлоградские два эскадрона стояли биваками, среди Выбитого дотла скотом и лошадьми, уже выколосившегося ржаного поля. Дождь лил ливмя, и Ростов с покровительствуемым им молодым офицером Ильиным сидел под сгороженным на скорую руку шалашиком. Офицер их полка, с длинными усами, продолжавшимися от щек, ездивший в штаб и застигнутый дождем, зашел к Ростову.

— Я, граф, из штаба. Слышали подвиг Раевского? — И офицер рассказал подробности Салтановского сражения, слышанные им в штабе.

Ростов, пожимаясь шеей, за которую затекала вода, курил трубку и слушал невнимательно, изредка поглядывая на молодого офицера Ильина, который жался около него. Офицер этот, шестнадцатилетний мальчик, недавно поступивший в полк, был теперь в отношении к Николаю тем, чем был Николай в отношении к Денисову семь лет тому назад. Ильин старался во всем подражать Ростову и, как женщина, был влюблен в него.

Офицер с двойными усами, Здржинский, рассказывал напыщенно о том, как Салтановская плотина была Фермопилами русских, как на этой плотине был совершен генералом Раевским поступок, достойный древности. Здржинский рассказывал поступок Раевского, который вывел на плотину своих двух сыновей под страшный огонь и с ними рядом пошел в атаку. Ростов слушал рассказ и не только ничего не говорил в подтверждение восторга Здржинского, но, напротив, имел вид человека, который стыдится того, что ему рассказывают, хотя и не намерен возражать. Ростов после Аустерлицкой и 1807 года кампаний знал по своему собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая; во-вторых, он имел настолько опытности, что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать. И потому ему не нравился рассказ Здржинского, не нравился и сам Здржинский, который, с своими усами от щек, по своей привычке низко нагибался над лицом того, кому он рассказывал, и теснил его в тесном шалаше. Ростов молча смотрел на него. «Во-первых, на плотине, которую атаковали, должна была быть, верно, такая путаница и теснота, что ежели Раевский и вывел своих сыновей, то это ни на кого не могло подействовать, кроме как человек на десять, которые были около самого его, — думал Ростов, — остальные и не могли видеть, как и с кем шел Раевский по плотине. Но и те, которые видели это, не могли очень воодушевиться, потому что что́ им было за дело до нежных родительских чувств Раевского, когда тут дело шло о собственной шкуре? Потом оттого, что возьмут или не возьмут Салтановскую плотину, не зависела судьба отечества, как нам описывают это про Фермопилы. И стало быть, зачем же было приносить такую жертву? И потом, зачем тут, на войне, мешать своих детей? Я бы не только Петю-брата не повел бы, даже и Ильина, даже этого чужого мне, но доброго мальчика, постарался бы поставить куда-нибудь под защиту», — продолжал думать Ростов, слушая Здржинского. Но он не сказал своих мыслей: он и на это уже имел опыт. Он знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нем. Так он и делал.

— Однако мо́чи нет, — сказал Ильин, замечавший, что Ростову не нравится разговор Здржинского. — И чулки, и рубашка, и под меня подтекло. Пойду искать приюта. Кажется, дождик полегче. — Ильин вышел, и Здржинский уехал.

Через пять минут Ильин, шлепая по грязи, прибежал к шалашу.

— Ура! Ростов, идем скорее. Нашел! Вот тут шагов двести корчма, уж туда забрались наши. Хоть посушимся, и Марья Генриховна там.

Марья Генриховна была жена полкового доктора, молодая, хорошенькая немка, на которой доктор женился в Польше. Доктор, или оттого, что не имел средств, или оттого, что не хотел первое время женитьбы разлучаться с молодой женой, возил ее везде за собой при гусарском полку, и ревность доктора сделалась обычным предметом шуток между гусарскими офицерами.

Ростов накинул плащ, кликнул за собой Лаврушку с вещами и пошел с Ильиным, где раскатываясь по грязи, где прямо шлепая под утихавшим дождем, в темноте вечера, изредка нарушаемой далекими молниями.

— Ростов, ты где?

— Здесь. Какова молния! — переговаривались они.

XIII

В покинутой корчме, перед которою стояла кибиточка доктора, уже было человек пять офицеров. Марья Генриховна, полная белокурая немочка в кофточке и ночном чепчике, сидела в переднем углу на широкой лавке. Муж ее, доктор, спал позади ее. Ростов с Ильиным, встреченные веселыми восклицаниями и хохотом, вошли в комнату.

— И! да у вас какое веселье, — смеясь, сказал Ростов.

— А вы что зеваете?

— Хороши! Так и течет с них! Гостиную нашу не замочите.

— Марьи Генриховны платье не запачкать, — отвечали голоса.

Ростов с Ильиным поспешили найти уголок, где бы они, не нарушая скромности Марьи Генриховны, могли бы переменить мокрое платье. Они пошли было за перегородку, чтобы переодеться; но в маленьком чуланчике, наполняя его весь, с одной свечкой на пустом ящике, сидели три офицера, играя в карты, и ни за что не хотели уступить свое место. Марья Генриховна уступила на время свою юбку, чтобы употребить ее вместо занавески, и за этой занавеской Ростов и Ильин с помощью Лаврушки, принесшего вьюки, сняли мокрое и надели сухое платье.

В разломанной печке разложили огонь. Достали доску и, утвердив ее на двух седлах, покрыли попоной, достали самоварчик, погребец и полбутылки рому, и попросив Марью Генриховну быть хозяйкой, все столпились около нее. Кто предлагал ей чистый носовой платок, чтобы обтирать прелестные ручки, кто под ножки подкладывал ей венгерку, чтобы не было сыро, кто плащом занавешивал окно, чтобы не дуло, кто обмахивал мух с лица ее мужа, чтобы он не проснулся.

— Оставьте его, — говорила Марья Генриховна, робко и счастливо улыбаясь, — он и так спит хорошо после бессонной ночи.

— Нельзя, Марья Генриховна, — отвечал офицер, — надо доктору прислужиться. Все, может быть, и он меня пожалеет, когда ногу или руку резать станет.

Стаканов было только три; вода была такая грязная, что нельзя было решить, когда крепок или некрепок чай, и в самоваре воды было только на шесть стаканов, но тем приятнее было по очереди и старшинству получить свой стакан из пухлых с короткими, не совсем чистыми ногтями ручек Марьи Генриховны. Все офицеры, казалось, действительно были в этот вечер влюблены в Марью Генриховну. Даже те офицеры, которые играли за перегородкой в карты, скоро бросили игру и перешли к самовару, подчиняясь общему настроению ухаживанья за Марьей Генриховной. Марья Генриховна, видя себя окруженной такой блестящей и учтивой молодежью, сияла счастьем, как ни старалась она скрывать этого и как ни очевидно робела при каждом сонном движении спавшего за ней мужа.

Ложка была только одна, сахару было больше всего, но размешивать его не успевали, и потому было решено, что она будет поочередно мешать сахар каждому. Ростов, получив свой стакан и подлив в него рому, попросил Марью Генриховну размешать.

— Да ведь вы без сахара? — сказала она, все улыбаясь, как будто все, что ни говорила она, и все, что ни говорили другие, было очень смешно и имело еще другое значение.

— Да мне не сахар, мне только, чтоб вы помешали своей ручкой.

Марья Генриховна согласилась и стала искать ложку, которую уже захватил кто-то.

— Вы пальчиком, Марья Генриховна, — сказал Ростов, — еще приятнее будет.

— Горячо! — сказала Марья Генриховна, краснея от удовольствия.

Ильин взял ведро с водой и, капнув туда рому, пришел к Марье Генриховне, прося помешать пальчиком.

— Это моя чашка, — говорил он. — Только вложите пальчик, все выпью.

Когда самовар весь выпили, Ростов взял Карты и предложил играть в короли с Марьей Генриховной. Кинули жребий, кому составлять партию Марьи Генриховны. Правилами игры, по предложению Ростова, было то, чтобы тот, кто будет королем, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется прохвостом, шел бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснется.

— Ну, а ежели Марья Генриховна будет королем? — спросил Ильин.

— Она и так королева! И приказания ее — закон.

Только что началась игра, как из-за Марьи Генриховны вдруг поднялась вспутанная голова доктора. Он давно уже не спал и прислушивался к тому, что говорилось, и, видимо, не находил ничего веселого, смешного или забавного во всем, что говорилось и делалось. Лицо его было грустно и уныло. Он не поздоровался с офицерами, почесался и попросил позволения выйти, так как ему загораживали дорогу. Как только он вышел, все офицеры разразились громким хохотом, а Марья Генриховна до слез покраснела и тем сделалась еще привлекательнее на глаза всех офицеров. Вернувшись со двора, доктор сказал жене (которая перестала уже так счастливо улыбаться и, испуганно ожидая приговора, смотрела на него), что дождь прошел и что надо идти ночевать в кибитку, а то все растащат.

— Да я вестового пошлю... двух! — сказал Ростов. — Полноте, доктор.

— Я сам стану на часы! — сказал Ильин.

— Нет, господа, вы выспались, а я две ночи не спал, — сказал доктор и мрачно сел подле жены, ожидая окончания игры.

Глядя на мрачное лицо доктора, косившегося на свою жену, офицерам стало еще веселей, и многие не могли удерживаться от смеха, которому они поспешно старались приискивать благовидные предлоги. Когда доктор ушел, уведя свою жену, и поместился с нею в кибиточку, офицеры улеглись в корчме, укрывшись мокрыми шинелями; но долго не спали, то переговариваясь, вспоминая испуг доктора и веселье докторши, то выбегая на крыльцо и сообщая о том, что делалось в кибиточке. Несколько раз Ростов, завертываясь с головой, хотел заснуть; но опять чье-нибудь замечание развлекало его, опять начинался разговор, и опять раздавался беспричинный, веселый, детский хохот.

XIV

В третьем часу еще никто не заснул, как явился вахмистр с приказом выступать к местечку Островне.

Все с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало; дождик перестал, тучи расходились. Было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы. Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глянцевитую от дождя кожаную докторскую кибиточку, из-под фартука которой торчали ноги доктора и в середине которой виднелся на подушке чепчик докторши и слышалось сонное дыхание.

— Право, она очень мила! — сказал Ростов Ильину, выходившему с ним.

— Прелесть какая женщина! — с шестнадцатилетней серьезностью отвечал Ильин.

Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге. Послышалась команда: «Садись!» — солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, скомандовал: «Марш!» — и, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепаньем копыт по мокрой дороге, бренчаньем сабель и тихим говором, тронулись по большой, обсаженной березами дороге, вслед за шедшей впереди пехотой и батареей.

Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром. Становилось все светлее и светлее. Ясно виднелась та курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя; висячие ветви берез, тоже мокрые, качались от ветра и роняли вбок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильиным, не отставшим от него, стороной дороги, между двойным рядом берез.

Ростов в кампании позволял себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток и охотник, он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую игреневую лошадь, на которой никто не обскакивал его. Ехать на этой

лошади было для Ростова наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и ни разу не подумал о предстоящей опасности.

Прежде Ростов, идя в дело, боялся; теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не оттого он не боялся, что он привык к огню (к опасности нельзя привыкнуть), но оттого, что он выучился управлять своей душой перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая того, что, казалось, было бы интереснее всего другого, — о предстоящей опасности. Сколько он ни старался, ни упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть; но с годами теперь это сделалось само собою. Он ехал теперь рядом с Ильиным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые попадались под руку, иногда дотрогиваясь ногой до паха лошади, иногда отдавая, не поворачиваясь, докуренную трубку ехавшему сзади гусару, с таким спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Ему жалко было смотреть на взволнованное лицо Ильина, много и беспокойно говорившего; он по опыту знал то мучительное состояние ожидания страха и смерти, в котором находился корнет, и знал, что ничто, кроме времени, не поможет ему.

Только что солнце показалось на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра; капли еще падали, но уже отвесно, — и все затихло. Солнце вышло совсем, показалось на горизонте и исчезло в узкой и длинной туче, стоявшей над ним. Через несколько минут солнце еще светлее показалось на верхнем крае тучи, разрешая ее края. Все засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий.

Не успел еще Ростов обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана-Толстого с приказанием идти на рысях по дороге.

Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору и, пройдя через какую-то пустую, без жителей, деревню, опять поднялся на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись.

— Стой, равняйся! — послышалась впереди команда дивизионера.

— Левое плечо вперед, шагом марш! — скомандовали впереди.

И гусары по линии войск прошли на левый фланг позиции и стали позади наших улан, стоявших в первой линии. Справа стояла наша пехота густой колонной — это были резервы; повыше ее на горе видны были на чистом-чистом воздухе, в утреннем, косом и ярком, освещении, на самом горизонте, наши пушки. Впереди за лощиной видны были неприятельские колонны и пушки. В лощине слышна была наша цепь, уже вступившая в дело и весело перещелкивающаяся с неприятелем.

Ростову, как от звуков самой веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже не слышанных. Трап-та-та-тап! — хлопали то вдруг, то быстро один за другим несколько выстрелов. Опять замолкло все, и опять как будто трескались хлопушки, по которым ходил кто-то.

Гусары простояли около часу на одном месте. Началась и канонада. Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору.

Вслед за отъездом Остермана у улан послышалась команда:

— В колонну, к атаке стройся! — Пехота впереди их взводила взводы, чтобы пропустить кавалерию. Уланы тронулись, колеблясь флюгерами пик, и на рысях пошли под гору на французскую кавалерию, показавшуюся под горой влево.

Как только уланы сошли под гору, гусарам велено было подвинуться в гору, в прикрытие к батарее. В то время как гусары становились на место улан, из цепи пролетели, визжа и свистя, далекие, непопадавшие пули.

Давно не слышанный этот звук еще радостнее и возбудительнее подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывавшееся с горы, и всей душой участвовал в движении улан. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму, и через пять минут уланы понеслись назад не к тому месту, где они стояли, но левее. Между оранжевыми уланами на рыжих лошадях и позади их, большой кучей, видны были синие французские драгуны на серых лошадях.

XV

Ростов своим зорким охотничьим глазом один из первых увидал этих синих французских драгун, преследующих наших улан. Ближе, ближе подвигались расстроенными толпами уланы и французские драгуны, преследующие их. Уже можно было видеть, как эти, казавшиеся под горой маленькими, люди сталкивались, нагоняли друг друга и махали руками или саблями.

Ростов, как на травлю, смотрел на то, что делалось перед ним. Он чутьем чувствовал, что, ежели ударить теперь с гусарами на французских драгун, они не устоят; но ежели ударить, то надо было сейчас, сию минуту, иначе будет уже поздно. Он оглянулся вокруг себя. Ротмистр, стоя подле него, точно так же не спускал глаз с кавалерии внизу.

— Андрей Севастьяныч, — сказал Ростов, — ведь мы их сомнем...

— Лихая бы штука, — сказал ротмистр, — а в самом деле...

Ростов, не дослушав его, толкнул лошадь, выскакал вперед эскадрона, и не успел он еще скомандовать движение, как весь эскадрон, испытывавший то же, что и он, тронулся за ним. Ростов сам не знал, как и почему он это сделал. Все это он сделал, как он делал на охоте, не думая, не соображая. Он видел, что драгуны близко, что они скачут, расстроены; он знал, что они не выдержат, он знал, что была только одна минута, которая не воротится, ежели он упустит ее. Пули так возбудительно визжали и свистели вокруг него, лошадь так горячо просилась вперед, что он не мог выдержать. Он тронул лошадь, скомандовал и в то же мгновение, услыхав за собой звук топота своего развернутого эскадрона, на полных рысях, стал спускаться к драгунам под гору. Едва они сошли под гору, как невольно их аллюр рыси перешел в галоп, становившийся все быстрее и быстрее по мере того, как они приближались к своим уланам и скакавшим за ними французскими драгунами. Драгуны были близко. Передние, увидав гусар, стали поворачивать назад, задние приостанавливаться. С чувством, с которым он несся наперерез волку, Ростов, выпустив во весь мах своего

донца, скакал наперерез расстроенным рядам французских драгун. Один улан остановился, один пеший припал к земле, чтобы его не раздавили, одна лошадь без седока замешалась с гусарами. Почти все французские драгуны скакали назад. Ростов, выбрав себе одного из них на серой лошади, пустился за ним. По дороге он налетел на куст; добрая лошадь перенесла его через него, и, едва справясь на седле, Николай увидал, что он через несколько мгновений догонит того неприятеля, которого он выбрал своей целью. Француз этот, вероятно, офицер — по его мундиру, согнувшись, скакал на своей серой лошади, саблей подгоняя ее. Через мгновенье лошадь Ростова ударила грудью в зад лошади офицера, чуть не сбила ее с ног, и в то же мгновенье Ростов, сам не зная зачем, поднял саблю и ударил ею по французу.

В то же мгновение, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло. Офицер упал не столько от удара саблей, который только слегка разрезал ему руку выше локтя, сколько от толчка лошади и от страха. Ростов, сдержав лошадь, отыскивал глазами своего врага, чтобы увидать, кого он победил. Драгунский французский офицер одной ногой прыгал на земле, другой зацепился в стремени. Он, испуганно щурясь, как будто ожидая всякую секунду нового удара, сморщившись, с выражением ужаса взглянул снизу вверх на Ростова. Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое не для поля сражения, не вражеское лицо, а самое простое комнатное лицо. Еще прежде, чем Ростов решил, что он с ним будет делать, офицер закричал: «Je me rends!» [1] Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу и, не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова. Подскочившие гусары выпростали ему ногу и посадили его на седло. Гусары с разных сторон возились с драгунами: один был ранен, но, с лицом в крови, не давал своей лошади; другой, обняв гусара, сидел на крупе его лошади; третий взлезал, поддерживаемый гусаром, на его лошадь. Впереди бежала, стреляя, французская пехота. Гусары торопливо поскакали назад с своими пленными. Ростов скакал назад с другими, испытывая какое-то неприятное чувство, сжимавшее ему сердце. Что-то неясное, запутанное, чего он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему.

Граф Остерман-Толстой встретил возвращавшихся гусар, подозвал Ростова, благодарил его и сказал, что он представит государю о его молодецком поступке и будет просить для него Георгиевский крест. Когда Ростова потребовали к графу Остерману, он, вспомнив о том, что атака его была начата без приказанья, был вполне убежден, что начальник требует его для того, чтобы наказать его за самовольный поступок. Поэтому лестные слова Остермана и обещание награды должны бы были тем радостнее поразить Ростова; но все то же неприятное, неясное чувство нравственно тошнило ему. «Да что бишь меня мучает? — спросил он себя, отъезжая от генерала. — Ильин? Нет, он цел. Осрамился я чем-нибудь? Нет. Все не то! — Что-то

[1] Сдаюсь!

другое мучило его, как раскаяние. — Да, да, этот французский офицер с дырочкой. И я хорошо помню, как рука моя остановилась, когда я поднял ее».

Ростов увидал отвозимых пленных и поскакал за ними, чтобы посмотреть своего француза с дырочкой на подбородке. Он в своем странном мундире сидел на заводной гусарской лошади и беспокойно оглядывался вокруг себя. Рана его на руке была почти не рана. Он притворно улыбнулся Ростову и помахал ему рукой, в виде приветствия. Ростову все так же было неловко и чего-то совестно.

Весь этот и следующий день друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то все думал.

Ростов все думал об этом своем блестящем подвиге, который, к удивлению его, приобрел ему Георгиевский крест и даже сделал ему репутацию храбреца, — и никак не мог понять чего-то. «Так и они еще больше нашего боятся! — думал он. — Так только-то и есть всего то, что называется геройством? И разве я это делал для отечества? И в чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами? А как он испугался! Он думал, что я убью его. За что ж мне убивать его? У меня рука дрогнула. А мне дали Георгиевский крест. Ничего, ничего не понимаю!»

Но пока Николай перерабатывал в себе эти вопросы и все-таки не дал себе ясного отчета в том, что так смутило его, колесо счастья по службе, как это часто бывает, повернулось в его пользу. Его выдвинули вперед после Островненского дела, дали ему батальон гусаров и, когда нужно было употребить храброго офицера, давали ему поручения.

XVI

Получив известие о болезни Наташи, графиня, еще не совсем здоровая и слабая, с Петей и со всем домом приехала в Москву, и все семейство Ростовых перебралось от Марьи Дмитриевны в свой дом и совсем поселилось в Москве.

Болезнь Наташи была так серьезна, что, к счастию ее и к счастию родных, мысль о всем том, что было причиной ее болезни, ее поступок и разрыв с женихом перешли на второй план. Она была так больна, что нельзя было думать о том, насколько она была виновата во всем случившемся, тогда как она не ела, не спала, заметно худела, кашляла и была, как давали чувствовать доктора, в опасности. Надо было думать только о том, чтобы помочь ей. Доктора ездили к Наташе и отдельно и консилиумами, говорили много по-французски, по-немецки и по-латыни, осуждали один другого, прописывали самые разнообразные лекарства от всех им известных болезней; но ни одному из них не приходила в голову та простая мысль, что им не может быть известна та болезнь, которой страдала Наташа, как не может быть известна ни одна болезнь, которой одержим живой человек: ибо каждый живой человек имеет свои особенности и всегда имеет особенную и свою новую сложную, неизвестную медицине болезнь, не болезнь легких, печени, кожи, сердца, нервов и т. д., записанных в медицине, но болезнь, состоящую из одного из бесчисленных соединений в страданиях этих органов. Эта простая мысль не могла приходить

докторам (так же, как не может прийти колдуну мысль, что он не может колдовать) потому, что их дело жизни состояло в том, чтобы лечить, потому, что за то они получали деньги, и потому, что на это дело они потратили лучшие годы своей жизни. Но главное — мысль эта не могла прийти докторам потому, что они видели, что они несомненно полезны, и были действительно полезны для всех домашних Ростовых. Они были полезны не потому, что заставляли проглатывать больную большей частью вредные вещества (вред этот был мало чувствителен, потому что вредные вещества давались в малом количестве), но они полезны, необходимы, неизбежны были (причина — почему всегда есть и будут мнимые излечители, ворожеи, гомеопаты и аллопаты) потому, что они удовлетворяли нравственной потребности больной и людей, любящих больную. Они удовлетворяли той вечной человеческой потребности надежды на облегчение, потребности сочувствия и деятельности, которые испытывает человек во время страдания. Они удовлетворяли той вечной, человеческой — заметной в ребенке в самой первобытной форме — потребности потереть то место, которое ушиблено. Ребенок убьется и тотчас же бежит в руки матери, няньки для того, чтобы ему поцеловали и потерли больное место, и ему делается легче, когда больное место потрут или поцелуют. Ребенок не верит, чтобы у сильнейших и мудрейших его не было средств помочь его боли. И надежда на облегчение и выражение сочувствия в то время, как мать трет его шишку, утешают его. Доктора для Натащи были полезны тем, что они целовали и терли бобо, уверяя, что сейчас пройдет, ежели кучер съездит в арбатскую аптеку и возьмет на рубль семь гривен порошков и пилюль в хорошенькой коробочке и ежели порошки эти непременно через два часа, никак не больше и не меньше, будет в отварной воде принимать больная.

Что же бы делали Соня, граф и графиня, как бы они смотрели на слабую, тающую Наташу, ничего не предпринимая, ежели бы не было этих пилюль по часам, питья тепленького, куриной котлетки и всех подробностей жизни, предписанных доктором, соблюдать которые составляло занятие и утешение для окружающих? Чем строже и сложнее были эти правила, тем утешительнее было для окружающих дело. Как бы переносил граф болезнь своей любимой дочери, ежели бы он не знал, что ему стоила тысячи рублей болезнь Наташи и что он не пожалеет еще тысяч, чтобы сделать ей пользу; ежели бы он не знал, что, ежели она не поправится, он не пожалеет еще тысяч и повезет ее за границу и там сделает консилиумы; ежели бы он не имел возможности рассказывать подробности о том, как Метивье и Феллер не поняли, а Фриз понял, и Мудров еще лучше определил болезнь? Что бы делала графиня, ежели бы она не могла иногда ссориться с больной Наташей за то, что она не вполне соблюдает предписаний доктора?

— Эдак никогда не выздоровеешь, — говорила она, за досадой забывая свое горе, — ежели ты не будешь слушаться доктора и не вовремя принимать лекарство! Ведь нельзя шутить этим, когда у тебя может сделаться пневмония, — говорила графиня и, в произношении этого непонятного не для нее одной слова, она уже находила большое утешение. Что бы делала Соня, ежели бы у ней не было

радостного сознания того, что она не раздевалась три ночи первое время для того, чтобы быть наготове исполнять в точности все предписания доктора, и что она теперь не спит ночи, для того чтобы не пропустить часы, в которые надо давать маловредные пилюли из золотой коробочки? Даже самой Наташе, которая хотя и говорила, что никакие лекарства не вылечат ее и что все это глупости, — и ей было радостно видеть, что для нее делали так много пожертвований, что ей надо было в известные часы принимать лекарства, и даже ей радостно было то, что она, пренебрегая исполнением предписанного, могла показывать, что она не верит в лечение и не дорожит своей жизнью.

Доктор ездил каждый день, щупал пульс, смотрел язык и, не обращая внимания на ее убитое лицо, шутил с ней. Но зато, когда он выходил в другую комнату, графиня поспешно выходила за ним, и он, принимая серьезный вид и покачивая задумчиво головой, говорил, что, хотя и есть опасность, он надеется на действие этого последнего лекарства, и что надо ждать и посмотреть; что болезнь больше нравственная, но...

Графиня, стараясь скрыть этот поступок от себя и от доктора, всовывала ему в руку золотой и всякий раз с успокоенным сердцем возвращалась к больной.

Признаки болезни Наташи состояли в том, что она мало ела, мало спала, кашляла и никогда не оживлялась. Доктора говорили, что больную нельзя оставлять без медицинской помощи, и поэтому в душном воздухе держали ее в городе. И лето 1812 года Ростовы не уезжали в деревню.

Несмотря на большое количество проглоченных пилюль, капель и порошков из баночек и коробочек, из которых madame Schoss, охотница до этих вещиц, собрала большую коллекцию, несмотря на отсутствие привычной деревенской жизни, молодость брала свое: горе Наташи начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим, и Наташа стала физически оправляться.

XVII

Наташа была спокойнее, но не веселее. Она не только избегала всех внешних условий радости: балов, катанья, концертов, театра; но она ни разу не смеялась так, чтобы из-за смеха ее не слышны были слезы. Она не могла петь. Как только начинала она смеяться или пробовала одна сама с собой петь, слезы душили ее: слезы раскаяния, слезы воспоминаний о том, невозвратном, чистом времени; слезы досады, что так, задаром, погубила она свою молодую жизнь, которая могла бы быть так счастлива. Смех и пение особенно казались ей кощунством над ее горем. О кокетстве она и не думала ни раза; ей не приходилось даже воздерживаться. Она говорила и чувствовала, что в это время все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна. Внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость. Да и не было в ней всех прежних интересов жизни из того девичьего, беззаботного, полного надежд склада жизни. Чаще и болезненнее всего вспоминала она осенние месяцы, охоту, дядюшку и святки, проведенные с Nicolas в Отрадном.

Что бы она дала, чтобы возвратить хоть один день из того времени! Но уж это навсегда было кончено. Предчувствие не обманывало ее тогда, что то состояние свободы и открытости для всех радостей никогда уже не возвратится больше. Но жить надо было.

Ей отрадно было думать, что она не лучше, как она прежде думала, а хуже, и гораздо хуже всех, всех, кто только есть на свете. Но этого мало было. Она знала это и спрашивала себя: «Что ж дальше?» А дальше ничего не было. Не было никакой радости в жизни, а жизнь проходила. Наташа, видимо, старалась только никому не быть в тягость и никому не мешать, но для себя ей ничего не нужно было. Она удалялась от всех домашних, и только с братом Петей ей было легко. С ним она любила бывать больше, чем с другими; и иногда, когда была с ним с глазу на глаз, смеялась. Она почти не выезжала из дому и из приезжавших к ним рада была только одному Пьеру. Нельзя было нежнее, осторожнее и вместе с тем серьезнее обращаться, чем обращался с нею граф Безухов. Наташа бессознательно чувствовала эту нежность обращения и потому находила большое удовольствие в его обществе. Но она даже не была благодарна ему за его нежность: ничто хорошее со стороны Пьера не казалось ей усилием. Пьеру, казалось, так естественно быть добрым со всеми, что не было никакой заслуги в его доброте. Иногда Наташа замечала смущение и неловкость Пьера в ее присутствии, в особенности, когда он хотел сделать для нее что-нибудь приятное или когда он боялся, чтобы что-нибудь в разговоре не навело Наташу на тяжелые воспоминания. Она замечала это и приписывала это его общей доброте и застенчивости, которая, по ее понятиям, таковая же, как с нею, должна была быть и со всеми. После тех нечаянных слов о том, что, ежели бы он был свободен, он на коленях бы просил ее руки и любви, сказанных в минуту такого сильного волнения для нее, Пьер никогда не говорил ничего о своих чувствах к Наташе; и для нее было очевидно, что те слова, тогда так утешившие ее, были сказаны, как говорятся всякие бессмысленные слова для утешения плачущего ребенка. Не оттого, что Пьер был женатый человек, но оттого, что Наташа чувствовала между собою и им в высшей степени ту силу нравственных преград — отсутствие которой она чувствовала с Курагиным, — ей никогда в голову не приходило, чтобы из ее отношений с Пьером могла выйти не только любовь с ее или, еще менее, с его стороны, но даже и тот род нежной, признающей себя, поэтической дружбы между мужчиной и женщиной, которой она знала несколько примеров.

В конце Петровского поста Аграфена Ивановна Белова, отрадненская соседка Ростовых, приехала в Москву поклониться московским угодникам. Она предложила Наташе говеть, и Наташа с радостью ухватилась за эту мысль. Несмотря на запрещение доктора выходить рано утром, Наташа настояла на том, чтобы говеть, и говеть не так, как говели обыкновенно в доме Ростовых, то есть отслушать на дому три службы, а чтобы говеть так, как говела Аграфена Ивановна, то есть всю неделю, не пропуская ни одной вечерни, обедни или заутрени.

Графине понравилось это усердие Наташи; она в душе своей, после безуспешного медицинского лечения, надеялась, что молитва поможет ей больше лекарств, и хотя со страхом и скрывая от доктора, но согласилась на желание Наташи и поручила ее Беловой. Аграфена Ивановна в три часа ночи приходила будить Наташу и большей частью находила ее уже не спящею. Наташа боялась проспать время заутрени. Поспешно умываясь и с смирением одеваясь в самое дурное свое платье и старенькую мантилью, содрогаясь от свежести, Наташа выходила на пустынные улицы, прозрачно освещенные утренней зарей. По совету Аграфены Ивановны, Наташа говела не в своем приходе, а в церкви, в которой, по словам набожной Беловой, был священник весьма строгий и высокой жизни. В церкви всегда было мало народа; Наташа с Беловой становились на привычное место перед иконой Божией Матери, вделанной в зад левого клироса, и новое для Наташи чувство смирения перед великим, непостижимым, охватывало ее, когда она в этот непривычный час утра, глядя на черный лик Божией Матери, освещенный и свечами, горевшими перед ним, и светом утра, падавшим из окна, слушала звуки службы, за которыми она старалась следить, понимая их. Когда она понимала их, ее личное чувство с своими оттенками присоединялось к ее молитве; когда она не понимала, ей еще сладостнее было думать, что желание понимать все есть гордость, что понимать всего нельзя, что надо только верить и отдаваться Богу, который в эти минуты — она чувствовала — управлял ее душою. Она крестилась, кланялась и, когда не понимала, то только, ужасаясь перед своею мерзостью, просила Бога простить ее за все, за все, и помиловать. Молитвы, которым она больше всего отдавалась, были молитвы раскаяния. Возвращаясь домой в ранний час утра, когда встречались только каменщики, шедшие на работу, дворники, выметавшие улицу, и в домах еще все спали, Наташа испытывала новое для нее чувство возможности исправления себя от своих пороков и возможности новой, чистой жизни и счастия.

В продолжение всей недели, в которую она вела эту жизнь, чувство это росло с каждым днем. И счастье приобщиться или сообщиться, как, радостно играя этим словом, говорила ей Аграфена Ивановна, представлялось ей столь великим, что ей казалось, что она не доживет до этого блаженного воскресенья.

Но счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для нее воскресенье, в белом кисейном платье, вернулась от причастия, она в первый раз после многих месяцев почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей.

Приезжавший в этот день доктор осмотрел Наташу и велел продолжать те последние порошки, которые он прописал две недели тому назад.

— Непременно продолжать — утром и вечером, — сказал он, видимо, сам добросовестно довольный своим успехом. — Только, пожалуйста, аккуратнее. Будьте покойны, графиня, — сказал шутливо доктор, в мякоть руки ловко подхватывая золотой, — скоро опять запоет и зарезвится. Очень, очень ей в пользу последнее лекарство. Она очень посвежела.

Графиня посмотрела на ногти и поплевала, с веселым лицом возвращаясь в гостиную.

XVIII

В начале июля в Москве распространялись все более и более тревожные слухи о ходе войны: говорили о воззвании государя к народу, о приезде самого государя из армии в Москву. И так как до 11-го июля манифест и воззвание не были получены, то о них и о положении России ходили преувеличенные слухи. Говорили, что государь уезжает потому, что армия в опасности, говорили, что Смоленск сдан, что у Наполеона миллион войска и что только чудо может спасти Россию.

11-го июля, в субботу, был получен манифест, но еще не напечатан; и Пьер, бывший у Ростовых, обещал на другой день, в воскресенье, приехать обедать и привезти манифест и воззвание, которые он достанет у графа Растопчина.

В это воскресенье Ростовы, по обыкновению, поехали к обедне в домовую церковь Разумовских. Был жаркий июльский день. Уже в десять часов, когда Ростовы выходили из кареты перед церковью, в жарком воздухе, в криках разносчиков, в ярких и светлых летних платьях толпы, и запыленных листьях дерев бульвара, в звуках музыки и белых панталонах прошедшего на развод батальона, в громе мостовой и ярком блеске жаркого солнца было то летнее томление, довольство и недовольство настоящим, которое особенно резко чувствуется в ясный жаркий день в городе. В церкви Разумовских была вся знать московская, все знакомые Ростовых (в этот год, как бы ожидая чего-то, очень много богатых семей, обыкновенно разъезжающихся по деревням, остались в городе). Проходя позади ливрейного лакея, раздвигавшего толпу подле матери, Наташа услыхала голос молодого человека, слишком громким шепотом говорившего о ней:

— Это Ростова, та самая...

— Как похудела, а все-таки хороша!

Она слышала, или ей показалось, что были упомянуты имена Курагина и Болконского. Впрочем, ей всегда это казалось. Ей всегда казалось, что все, глядя на нее, только и думают о том, что с ней случилось. Страдая и замирая в душе, как всегда в толпе, Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины, — тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у ней было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, но это теперь не радовало ее, как прежде. Напротив, это мучило ее больше всего в последнее время и в особенности в этот яркий, жаркий летний день в городе. «Еще воскресенье, еще неделя, — говорила она себе, вспоминая, как она была тут в то воскресенье, — и все та же жизнь без жизни, и все те же условия, в которых так легко бывало жить прежде. Хороша, молода, и я знаю, что теперь добра, прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю, — думала она, — а так даром, ни для кого, проходят лучшие годы». Она стала подле матери и перекинулась с близко стоявшими знакомыми. Наташа по привычке рассмотрела туалеты дам, осудила tenue[1] и неприличный способ креститься рукой на малом пространстве одной близко стоявшей дамы, опять с досадой подумала о том, что про нее судят, что и она судит, и вдруг, услыхав звуки службы, ужаснулась своей мерзости, ужаснулась тому, что прежняя чистота опять потеряна ею.

[1] манеру держаться

Благообразный тихий старичок служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся. Царские двери затворились, медленно задернулась завеса; таинственный тихий голос произнес что-то оттуда. Непонятные для нее самой слезы стояли в груди Наташи, и радостное томительное чувство волновало ее.

«Научи меня, что мне делать, как мне исправиться навсегда, навсегда, как мне быть с моей жизнью...» — думала она.

Дьякон вышел на амвон, выправил, широко отставив большой палец, длинные волосы из-под стихаря и, положив на груди крест, громко и торжественно стал читать слова молитвы:

— «Миром Господу помолимся».

«Миром, — все вместе, без различия сословий, без вражды, а соединенные братской любовью — будем молиться», — думала Наташа.

«О свышнем мире и о спасении душ наших!»

«О мире ангелов и душ всех бестелесных существ, которые живут над нами», — молилась Наташа.

Когда молились за воинство, она вспомнила брата и Денисова. Когда молились за плавающих и путешествующих, она вспомнила князя Андрея и молилась за него, и молилась за то, чтобы Бог простил ей то зло, которое она ему сделала. Когда молились за любящих нас, она молилась о своих домашних, об отце, матери, Соне, в первый раз теперь понимая всю свою вину перед ними и чувствуя всю силу своей любви к ним. Когда молились о ненавидящих нас, она придумала себе врагов и ненавидящих для того, чтобы молиться за них. Она причисляла к врагам кредиторов и всех тех, которые имели дело с ее отцом, и всякий раз, при мысли о врагах и ненавидящих, она вспоминала Анатоля, сделавшего ей столько зла, и хотя он не был ненавидящий, она радостно молились за него как за врага. Только на молитве она чувствовала себя в силах ясно и спокойно вспоминать и о князе Андрее и об Анатоле, как об людях, к которым чувства ее уничтожались в сравнении с ее чувством страха и благоговения к Богу. Когда молились за царскую фамилию и за синод, она особенно низко кланялась и крестилась, говоря себе, что, ежели она не понимает, она не может сомневаться и все-таки любит Правительствующий синод и молится за него.

Окончив ектенью, дьякон перекрестил вокруг груди орарь и произнес:

— «Сами себя и живот наш Христу Богу предадим».

«Сами себя Богу предадим, — повторила в своей душе Наташа. — Боже мой, предаю себя твоей воле, — думала она. — Ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю! Да возьми же меня, возьми меня!» — с умиленным нетерпением в душе говорила Наташа, не крестясь, опустив свои тонкие руки и как будто ожидая, что вот-вот невидимая сила возьмет ее и избавит от себя, от своих сожалений, желаний, укоров, надежд и пороков.

Графиня несколько раз во время службы оглядывалась на умиленное, с блестящими глазами, лицо своей дочери и молилась Богу о том, чтобы он помог ей.

Неожиданно, в середине и не в порядке службы, который Наташа хорошо знала, дьячок вынес скамеечку, ту самую, на которой читались коленопреклоненные молитвы в Троицын день, и поставил ее перед царскими дверьми. Священник вышел в своей лиловой бархатной скуфье, оправил волосы и с усилием стал на колена. Все сделали то же и с недоумением смотрели друг на друга. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России от вражеского нашествия.

— «Господи Боже сил, Боже спасения нашего, — начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. — Господи Боже сил, Боже спасения нашего! Призри ныне в милости и щедротах на смиренные люди твоя, и человеколюбно услыши, и пощади, и помилуй нас. Се враг смущаяй землю твою и хотяй положити вселенную всю пусту, восста на ны; се людие беззакonии собрашася, еже погубити достояние твое, разорити честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию: осквернити храмы твои, раскопати алтари и поругатися святыне нашей. Доколе, Господи, доколе грешницы, восхвалятся? Доколе употребляти имать законопреступный власть?

Владыко Господи! Услыши нас, молящихся тебе: укрепи силою твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего императора Александра Павловича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны, твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела; утверди всемогущною твоею десницею царство его и подаждь ему победу на врага, яко же Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама и Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его: положи лук медян мышцам, во имя твое ополчившихся, и препояши их силою на брань. Приими оружие и щит, и восстани в помощь нашу, да постыдятся и посрамятся мыслящий нам злая, да будут пред лицем верного ти воинства, яко прах пред лицем ветра, и ангел твой сильный да будет оскорбляяй и погоняяй их; да приидет им сеть, юже не сведают, и их ловитва, юже сокрыша, да обымет их; да падут под ногами рабов твоих и в попрание воем нашим да будут. Господи! не изнеможет у тебе спасати во многих и в малых; ты еси Бог, да не превозможет противу тебе человек.

Боже отец наших! Помяни щедроты твоя и милости яже от века суть: не отвержи нас от лица твоего, ниже возгнушайся недостоинством нашим, но помилуй нас по велицей милости твоей и по множеству щедрот твоих презри баззакония и грехи наша. Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе нашей; всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинною друг ко другу любовию, вооружи единодушием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых на жребий освященных.

Господи Боже наш, в него же веруем и на него же уповаем, не посрами нас от чаяния милости твоея и сотвори знамение во благо, яко да видят ненавидящий нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да уведят все страны, яко имя тебе Господь, и мы людие твои. Яви нам, Господи, ныне милость твою и спасение твое даждь нам; возвесели сердце рабов твоих о милости твоей; порази враги наши, и

сокруши их под ноги верных твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающим на тя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

В том состоянии раскрытости душевной, в котором находилась Наташа, эта молитва сильно подействовала на нее. Она слушала каждое слово о победе Моисея на Амалика, и Гедеона на Мадиама, и Давида на Голиафа, и о разорении Иерусалима твоего и просила Бога с той нежностью и размягченностью, которою было переполнено ее сердце; но не понимала хорошенько, о чем она просила Бога в этой молитве. Она всей душой участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Но она не могла молиться о попрании под ноги врагов своих, когда она за несколько Минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них. Но она тоже не могла сомневаться в правоте читаемой коленопреклоненной молитвы. Она ощущала в душе своей благоговейный и трепетный ужас перед наказанием, постигшим людей за их грехи, и в особенности за свои грехи, и просила Бога о том, чтобы он простил их всех и ее и дал бы им всем и ей спокойствия и счастия в жизни. И ей казалось, что Бог слышит ее молитву.

XIX

С того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую в небе, и почувствовал, что для него открылось что-то новое, — вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему. Этот страшный вопрос: зачем? к чему? — который прежде представлялся ему в середине всякого занятия, теперь заменился для него не другим вопросом и не ответом на прежний вопрос, а представлением ее. Слышал ли он, и сам ли вел ничтожные разговоры, читал ли он, или узнавал про подлость и бессмысленность людскую, он не ужасался, как прежде; не спрашивал себя, из чего хлопочут люди, когда все так кратко и неизвестно, но вспоминал ее в том виде, в котором он видел ее в последний раз, и все сомнения его исчезали, не потому, что она отвечала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно в другую, светлую область душевной деятельности, в которой не могло быть правого или виноватого, в область красоты и любви, для которой стоило жить. Какая бы мерзость житейская ни представлялась ему, он говорил себе:

«— Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее, и никто никогда не узнает этого», — думал он.

Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем

прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы, Пьеру было открыто одним из братьев-масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.

В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть, и число его шестьсот шестьдесят шесть».

И той же главы в стихе пятом: «И даны быша ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре — десять два».

Французские буквы, подобно еврейскому число-изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoléon[1], выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux[2], то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666-ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812-м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответ на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe?[3] Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666-ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя — Comte Pierre Besouhoff[4]; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le[5] и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhof[6] и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом L'empereur (Император). Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый ответ: l'Russe Besuhof, равное 666-ти. Открытие это

[1] император Наполеон

[2] сорок два

[3] Император Александр? Русский народ? — Ред.

[4] Граф Пьер Безухов

[5] Артикль le (указание на конкретный предмет или лицо)

[6] Русский Безухов

взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l'Russe Besuhof — все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастию.

Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти им от графа Растопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Растопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии.

Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров.

— Ради Бога, не можете ли вы меня облегчить? — сказал курьер, — у меня полна сумка писем к родителям.

В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Растопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4-й степени за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем чтобы самому привезти их к обеду, послал печатный приказ и письмо к Ростовым.

Разговор с графом Растопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом назавтра приезде государя — все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны. Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему, во-первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой и которое проповедовало вечный мир и уничтожение войны, и, во-вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедовающих патриотизм, было почему-то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он l'Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти зверю, глаголящему велика и хульна, определено предвечно и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно совершиться.

XX

У Ростовых, как и всегда по воскресеньям, обедал кое-кто из близких знакомых.

Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.

Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину.

Он, пыхтя и что-то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до двенадцатого часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней.

Первое лицо, которое он увидал у Ростовых, была Наташа. Еще прежде, чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услыхал ее. Она пела солфеджи в зале. Он знал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидала его толстое, удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему.

— Я хочу попробовать опять петь, — сказала она. — Все-таки это занятие, — прибавила она, как будто извиняясь.

— И прекрасно.

— Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива! — сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. — Вы знаете, Nicolas получил Георгиевский крест. Я так горда за него.

— Как же, я прислал приказ. Ну, я вам не хочу мешать, — прибавил он и хотел пройти в гостиную.

Наташа остановила его.

— Граф, что это, дурно, что я пою? — сказала она, покраснев, но, не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера.

— Нет... Отчего же? Напротив... Но отчего вы меня спрашиваете?

— Я сама не знаю, — быстро отвечала Наташа, — но я ничего бы не хотела сделать, что бы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меня важны и как вы много для меня сделали!.. — Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. — Я видела в том же приказе он, Болконский (быстро, шепотом проговорила она это слово), он в России и опять служит. Как вы думаете, — сказала она быстро, видимо, торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы, — простит он меня когда-нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?

— Я думаю... — сказал Пьер. — Ему нечего прощать... Ежели бы я был на его месте... — По связи воспоминаний, Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их.

— Да вы — вы, — сказала она, с восторгом произнося это слово вы, — другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что... — Слезы вдруг полились ей в глаза; она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале.

В это же время из гостиной выбежал Петя.

Петя был теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары.

Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.

Он просил его узнать, примут ли его в гусары.

Пьер шел по гостиной, не слушая Петю.

Петя дернул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.

— Ну что мое дело, Петр Кирилыч. Ради Бога! Одна надежда на вас, — говорил Петя.

— Ах да, твое дело. В гусары-то? Скажу, скажу. Нынче скажу все.

— Ну что, mon cher[1], ну что, достали манифест? — спросил старый граф. — А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала. Очень хорошая, говорит.

— Достал, — отвечал Пьер. — Завтра государь будет... Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас.

— Да, да, слава Богу. Ну, а из армии что?

— Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, — отвечал Пьер.

— Боже мой. Боже мой! — сказал граф — Где же манифест?

— Воззвание! Ах, да! — Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно, ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.

— Ей-богу, не знаю, куда я его дел, — сказал он.

— Ну уж, вечно растеряет все, — сказала графиня.

Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.

— Ей-богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно...

— Ну, к обеду опоздаете.

— Ах, и кучер уехал.

Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.

— Нет, после обеда, — сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие.

---

[1] мой друг

За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового Георгиевского кавалера, Шиншин рассказал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого-то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.

— Хватают, хватают, — сказал граф, — я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по-французски. Теперь не время.

— А слышали? — сказал Шиншин. — Князь Голицын русского учителя взял, по-русски учится — il commence à devenir dangereux de parler français dans les rues[1].

— Ну что ж, граф Петр Кирилыч, как ополченье-то собирать будут, и вам придется на коня? — сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.

Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.

— Да, да, на войну, — сказал он, — нет! Какой я воин! А впрочем, все так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.

После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.

— «Первопрестольной столице нашей Москве.

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», — старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.

Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.

Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно, приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.

Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня, с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»

[1] становится опасным говорить по-французски на улицах

— Вот это так! — вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. — Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.

Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.

— Что за прелесть, этот папа! — проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.

— Вот так патриотка! — сказал Шиншин.

— Совсем не патриотка, а просто... — обиженно отвечала Наташа. — Вам все смешно, а это совсем не шутка...

— Какие шутки! — повторил граф. — Только скажи он слово, мы все пойдем... Мы не немцы какие-нибудь...

— А заметили вы, — сказал Пьер, — что сказано: «для совещания».

— Ну уж там для чего бы ни было...

В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:

— Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите, — я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...

Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу.

— Вот и договорился! — сказала она.

Но граф в ту же минуту оправился от волнения.

— Ну, ну, — сказал он. — Вот воин еще! Глупости-то оставь, учиться надо.

— Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда... — Петя остановился, покраснел до поту и проговорил-таки: — когда отечество в опасности.

— Полно, полно, глупости...

— Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.

— Петя, я тебе говорю, замолчи, — крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.

— А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет...

— Я тебе говорю — вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, — и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.

— Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить...

Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно-блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.

— Нет, я, кажется, домой поеду...

— Как домой, да вы вечер у нас хотели... И то редко стали бывать. А эта моя... — сказал добродушно граф, указывая на Наташу, — только при вас и весела...

— Да, я забыл... Мне непременно надо домой... Дела... — поспешно сказал Пьер.

— Ну так до свидания, — сказал граф, совсем уходя из комнаты.

— Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. — спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза.

«Оттого, что я тебя люблю!» — хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.

— Оттого, что мне лучше реже бывать у вас... Оттого... нет, просто у меня дела...

— Отчего? нет, скажите, — решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.

Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.

XXI

Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами.

На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому-нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов... Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.

Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около Пети стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи

проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:

— Что, барчук, толкаешься, видишь — все стоят. Что ж лезть-то!

— Так и все полезут, — сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.

Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.

Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора.

Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда-то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало: «Ура! урра! ура!» Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя.

На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.

— Отец, ангел, батюшка! — приговаривала она, отирая пальцем слезы.

— Ура! — кричали со всех сторон.

С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.

Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура!».

«Так вот что такое государь! — думал Петя. — Нет, нельзя мне самому подать ему прошение, это слишком смело!» Несмотря на то, он все так же отчаянно пробивался вперед, и из-за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устланным красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его все помутилось и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое-то духовное лицо с пучком седевших волос назади, в потертой синей рясе, вероятно, дьячок, одной рукой держал его под мышку, другой охранял от напиравшей толпы.

— Барчонка задавили! — говорил дьячок. — Что ж так!.. легче... задавили, задавили!

Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и недышащего, к царь-пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстегивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого-то, — тех, кто раздавил его.

— Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, — говорили голоса.

Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидать долженствующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидать его — и то он бы считал себя счастливым.

Во время службы в Успенском соборе — соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственной молитвы за заключение мира с турками — толпа пораспространилась; появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщила, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово соборне, которого не понимал Петя. Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; он сидел на своем возвышении пушки, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усилило в нем сознание важности этой минуты.

Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы (это стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной — смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство барчонка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры, потом уже не так поспешно вышли еще другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! ура!» — опять закричала толпа.

— Который? Который? — плачущим голосом спрашивал вокруг себя Петя, но никто не отвечал ему; все были слишком увлечены, и Петя, выбрав одного из этих четырех лиц, которого он из-за слез, выступивших ему от радости на глаза, не мог ясно разглядеть, сосредоточил на него весь свой восторг, хотя это был не государь, закричал «ура!» неистовым голосом и решил, что завтра же, чего бы это ему ни стоило, он будет военным.

Толпа побежала за государем, проводила его до дворца и стала расходиться. Было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом; но он не уходил домой и вместе с уменьшившейся, но еще довольно большой толпой стоял перед дворцом во время обеда государя, глядя в окна дворца, ожидая еще чего-то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу — к обеду государя, и камер-лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах.

За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:

— Народ все еще надеется увидать ваше величество.

Обед уже кончился, государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.

— Ангел, отец! Ура, батюшка!.. — кричали народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастия. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура!», уже охриплым голосом.

Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.

— Вот я говорил, что еще подождать — так и вышло, — с разных сторон радостно говорили в народе.

Как ни счастлив был Петя, но ему все-таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было пятнадцать лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда-нибудь побезопаснее.

XXII

15-го числа утром, на третий день после этого, у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.

Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. По зале Дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола, под портретом государя, сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи; но большинство дворян ходило по зале.

Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, — все были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых

александровских, кто в общем дворянском, и этот общий характер мундира придавал что-то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые. Они большей частью сидели на местах и молчали, и ежели ходили и говорили, то пристроивались к кому-нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы, которую на площади видел Петя, на всех этих лицах была поразительна черта противоположности: общего ожидания чего-то торжественного и обыкновенного, вчерашнего — бостонной партии, Петрушки-повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и т. п.

Пьер, с раннего утра стянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества — сословий, états généraux[1] — вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о Contrat social[2] и французской революции. Замеченные им в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания с своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что-то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его.

Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая. Кроме обычных интересов, Пьер слышал толки о том, где стоять предводителям в то время, как войдет государь, когда дать бал государю, разделиться ли по уездам или всей губернией... и т. д.; но как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить.

Один мужчина средних лет, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в одной из зал, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. Граф Илья Андреич в своем екатерининском, воеводском кафтане, ходивший с приятной улыбкой между толпой, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своей доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело; это видно было по выражению лиц, его слушавших, и по тому, что известные Пьеру за самых покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противоречили. Пьер протолкался в середину кружка, прислушался и убедился, что говоривший действительно был либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Моряк говорил тем особенно звучным, певучим, дворянским баритоном, с приятным грассированием и сокращением согласных, тем голосом, которым покрикивают: «Чеаек, трубку!» и тому подобное. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.

---

[1] генеральные штаты (сословное собрание, учреждённое в 1302 году королём Филиппом IV Красивым. Оно включало представителей трёх сословий: духовенства, дворянства и третьего сословия (горожан)).

[2] Общественный договор — Ред.

— Что ж, что смоляне предложили ополченцев госуаю. Разве нам смоляне указ? Ежели буародное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю императору другими средствами. Разве мы забыли ополченье в седьмом году! Только что нажились кутейники да воры-грабители...

Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.

— И что же, разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой! только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор... а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, и только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так выговаривал государь), мы все умрем за него, — прибавил оратор, одушевляясь.

Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера, но Пьеру захотелось также говорить. Он выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще, что он скажет. Он только что открыл рот, чтобы говорить, как один сенатор, совершенно без зубов, с умным и сердитым лицом, стоявший близко от оратора, перебил Пьера. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он заговорил тихо, но слышно:

— Я полагаю, милостивый государь, — шамкая беззубым ртом, сказал сенатор, — что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту — набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь император. А судить о том, что удобнее — набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти...

Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по-русски.

— Извините меня, ваше превосходительство, — начал он (Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально), — хотя я не согласен с господином... (Пьер запнулся. Ему хотелось сказать mon très honorable préopinant[1]), — с господином... que je n'ai pas l'honneur de connaître[2]; но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, — говорил он, воодушевляясь, — что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и... chair à canon[3], которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со... со... совета.

Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит вольно; только Илья Андреич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тою речью, которую он последнею слышал.

---

[1] мой многоуважаемый оппонент — Ред.

[2] которого я не имею чести знать

[3] мясо для пушек

— Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, — продолжал Пьер, — мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда...

Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на Пьера:

— Во-первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во-вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля — войска убывают и прибывают...

Другой голос человека, среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже измененный в мундире, придвинулся к Пьеру, перебил Апраксина.

— Да и не время рассуждать, — говорил голос этого дворянина, — а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтоб погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтобы увезти жен, детей. — Дворянин ударил себя в грудь. — Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя-батюшку! — кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышалось из толпы. — Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию, — кричал дворянин.

Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина.

Илья Андреич одобривал сзади кружка; некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:

— Вот так, так! Это так!

Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу, к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи, — ее и забыли после большого количества речей, последовавших за ней, — но для одушевления толпы нужно было иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Пьер сделался этим последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально.

Издатель Русского вестника Глинка, которого узнали («писатель, писатель!» — послышалось в толпе), сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.

— Да, да, при раскатах грома! — повторяли одобрительно в задних рядах.

Толпа подошла к большому столу, у которого, в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи-старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающею толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этой жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички вельможи сидели и оглядывались то на того, что на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем-то виноватым и желал оправдаться.

— Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда, — стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.

Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола.

— Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! — кричал один.

— Он враг человечества! — кричал другой. — Позвольте мне говорить... Господа, вы меня давите...

XXIII

В это время быстрыми шагами перед расступившейся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Растопчин.

— Государь император сейчас будет, — сказал Растопчин, — я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, — сказал граф Растопчин. — Оттуда польются миллионы (он указал на залу купцов), а наше дело выставить ополчение и не щадить себя... Это меньшее, что мы можем сделать!

Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Все совещание прошло больше чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, поодиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.

Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по десять человек с тысячи и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое-кого под руку и разговаривая.

— Государь! Государь! — вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.

По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выражалось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только, по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.

— Господа! — сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестела и опять затихла, и Пьер ясно услыхал столь приятно-человеческий и тронутый голос государя, который говорил: — Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать — время всего дороже...

Государь замолчал, толпа стала тесниться вокруг него, и со всех сторон слышались восторженные восклицания.

— Да, всего дороже... царское слово, — рыдая, говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но все понимающего по-своему.

Из залы дворянства государь прошел в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он выходил, сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой — голова, с худым, узкобородым, желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил:

— И жизнь и имущество возьми, ваше величество!

Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Растопчину, что он отдает тысячу человек и их содержание.

Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам поехал записывать его.

На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим об ополчении, и удивлялись тому, что они наделали.

Часть вторая

I

Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.

Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай де Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю. И так точно, вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей, действовали все те неперечислимые лица, участники этой войны. Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают, и что делают для себя, а все были непроизвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии.

Теперь деятели 1812-го года давно сошли с своих мест, их личные интересы исчезли бесследно, и одни исторические результаты того времени перед нами.

Но допустим, что должны были люди Европы, под предводительством Наполеона, зайти в глубь России и там погибнуть, и вся противуречащая сама себе, бессмысленная, жестокая деятельность людей — участников этой войны, становится для нас понятною.

Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто-либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния.

Теперь нам ясно, что было в 1812-м году причиной погибели французской армии. Никто не станет спорить, что причиной погибели французских войск Наполеона было, с одной стороны, вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу в глубь России, а с другой стороны, характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе. Но тогда не только никто не предвидел того (что теперь кажется очевидным), что только этим путем могла погибнуть восьмисоттысячная, лучшая в мире и предводимая лучшим полководцем армия в столкновении с вдвое слабейшей, неопытной и предводимой неопытными полководцами — русской армией; не только никто не предвидел этого, но все усилия со стороны русских были постоянно устремлены на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию, и со стороны французов, несмотря на опытность и так называемый военный гений Наполеона, были устремлены все усилия к тому, чтобы растянуться в конце лета до Москвы, то есть сделать то самое, что должно было погубить их.

В исторических сочинениях о 1812-м годе авторы французы очень любят говорить о том, как Наполеон чувствовал опасность растяжения своей линии, как он искал сражения, как маршалы его советовали ему остановиться в Смоленске, и приводить другие подобные доводы, доказывающие, что тогда уже будто понята была опасность кампании; а авторы русские еще более любят говорить о том, как с начала кампании существовал план скифской войны заманивания Наполеона в глубь России, и приписывают этот план кто Пфулю, кто какому-то французу, кто Толю, кто самому императору Александру, указывая на записки, проекты и письма, в которых действительно находятся намеки на этот образ действий. Но все эти намеки на предвидение того, что случилось, как со стороны французов, так и со стороны русских, выставляются теперь только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были бы забыты, как забыты теперь тысячи и миллионы противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых. Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает так много предположений, что, чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут: «Я тогда еще сказал, что это так будет», забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные.

Предположения о сознании Наполеоном опасности растяжения линии и со стороны русских — о завлечении неприятеля в глубь России — принадлежат, очевидно, к этому разряду, и историки только с большой натяжкой могут приписывать такие соображения Наполеону и его маршалам и такие планы русским военачальникам. Все факты совершенно противоречат таким предположениям. Не только во все время войны со стороны русских не было желания заманить французов в глубь России, но все было делаемо для того, чтобы остановить их с первого вступления их в Россию, и не только Наполеон не боялся растяжения своей линии, но он радовался, как торжеству, каждому своему шагу вперед и очень лениво, не так, как в прежние свои кампании, искал сражения.

При самом начале кампании армии наши разрезаны, и единственная цель, к которой мы стремимся, состоит в том, чтобы соединить их, хотя для того, чтобы отступать и завлекать неприятеля в глубь страны, в соединении армии не представляется выгод. Император находится при армии для воодушевления ее в отстаивании каждого шага русской земли, а не для отступления. Устроивается громадный Дрисский лагерь по плану Пфуля и не предполагается отступать далее. Государь делает упреки главнокомандующим за каждый шаг отступления. Не только сожжение Москвы, но допущение неприятеля до Смоленска не может даже представиться воображению императора, и когда армии соединяются, то государь негодует за то, что Смоленск взят и сожжен и не дано пред стенами его генерального сражения.

Так думает государь, но русские военачальники и все русские люди еще более негодуют при мысли о том, что наши отступают в глубь страны.

Наполеон, разрезав армии, движется в глубь страны и упускает несколько случаев сражения. В августе месяце он в Смоленске и думает только о том, как бы ему идти дальше, хотя, как мы теперь видим, это движение вперед для него очевидно пагубно.

Факты говорят очевидно, что ни Наполеон не предвидел опасности в движении на Москву, ни Александр и русские военачальники не думали только о заманивании Наполеона, а думали о противном. Завлечение Наполеона в глубь страны произошло не по чьему-нибудь плану (никто и не верил в возможность этого), а произошло от сложнейшей игры интриг, целей, желаний людей — участников войны, не угадывавших того, что должно быть, и того, что было единственным спасением России. Все происходит нечаянно. Армии разрезаны при начале кампании. Мы стараемся соединить их с очевидной целью дать сражение и удержать наступление неприятеля, но в этом стремлении к соединению, избегая сражений с сильнейшим неприятелем и невольно отходя под острым углом, мы заводим французов до Смоленска. Но мало того сказать, что мы отходим под острым углом потому, что французы двигаются между обеими армиями, — угол этот делается еще острее, и мы еще дальше уходим потому, что Барклай де Толли, непопулярный немец, ненавистен Багратиону (имеющему стать под его начальство), и Багратион, командуя 2-й армией, старается как можно дольше не присоединяться к Барклаю, чтобы не стать под его команду. Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине. А кажется и придумано это им потому, что ему не хочется подчиняться ненавистному и младшему чином немцу Барклаю.

Император находится при армии, чтобы воодушевлять ее, а присутствие его и незнание на что решиться, и огромное количество советников и планов уничтожают энергию действий 1-ой армии, и армия отступает.

В Дрисском лагере предположено остановиться; но неожиданно Паулучи, метящий в главнокомандующие, своей энергией действует на Александра, и весь план Пфуля бросается, и все дело поручается Барклаю. Но так как Барклай не внушает доверия, власть его ограничивают.

Армии раздроблены, нет единства начальства, Барклай не популярен; но из этой путаницы, раздробления и непопулярности немца-главнокомандующего, с одной стороны, вытекает нерешительность и избежание сражения (от которого нельзя бы было удержаться, ежели бы армии были вместе и не Барклай был бы начальником), с другой стороны, — все большее и большее негодование против немцев и возбуждение патриотического духа.

Наконец государь уезжает из армии, и как единственный и удобнейший предлог для его отъезда избирается мысль, что ему надо воодушевить народ в столицах для возбуждения народной войны. И эта поездка государя в Москву утроит силы русского войска.

Государь отъезжает из армии для того, чтобы не стеснять единство власти главнокомандующего, и надеется, что будут приняты более решительные меры; но положение начальства армий еще более путается и ослабевает. Бенигсен, великий князь и рой генерал-адъютантов остаются при армии, с тем чтобы следить за действиями главнокомандующего и возбуждать его к энергии, и Барклай, еще менее чувствуя себя свободным под глазами всех этих глаз государевых, делается еще осторожнее для решительных действий и избегает сражений.

Барклай стоит за осторожность. Цесаревич намекает на измену и требует генерального сражения. Любомирский, Браницкий, Влоцкий и тому подобные так раздувают весь этот шум, что Барклай, под предлогом доставления бумаг государю, отсылает поляков генерал-адъютантов в Петербург и входит в открытую борьбу с Бенигсеном и великим князем.

В Смоленске, наконец, как ни желал того Багратион, соединяются армии.

Багратион в карете подъезжает к дому, занимаемому Барклаем. Барклай надевает шарф, выходит навстречу и рапортует старшему чином Багратиону. Багратион, в борьбе великодушия, несмотря на старшинство чина, подчиняется Барклаю; но, подчинившись, еще меньше соглашается с ним. Багратион лично, по приказанию государя, доносит ему. Он пишет Аракчееву: «Воля государя моего, я никак вместе с министром (Барклаем) не могу. Ради Бога, пошлите меня куда-нибудь хотя полком командовать, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу». Рой Браницких, Винцингероде и тому подобных еще больше отравляет сношения главнокомандующих, и выходит еще меньше единства. Сбираются атаковать французов перед Смоленском. Посылается генерал для осмотра позиции. Генерал этот, ненавидя Барклая, едет к приятелю, корпусному командиру, и, просидев у него день, возвращается к Барклаю и осуждает по всем пунктам будущее поле сражения, которого он не видал.

Пока происходят споры и интриги о будущем поле сражения, пока мы отыскиваем французов, ошибившись в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска.

Надо принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Сражение дается. Убиваются тысячи с той и с другой стороны.

Смоленск оставляется вопреки воле государя и всего народа. Но Смоленск сожжен самими жителями, обманутыми своим губернатором, и разоренные жители, показывая пример другим русским, едут в Москву, думая только о своих потерях и разжигая ненависть к врагу. Наполеон идет дальше, мы отступаем, и достигается то самое, что должно было победить Наполеона.

II

На другой день после отъезда сына князь Николай Андреич позвал к себе княжну Марью.

— Ну что, довольна теперь? — сказал он ей, — поссорила с сыном! Довольна? Тебе только и нужно было! Довольна?.. Мне это больно, больно. Я стар и слаб, и тебе этого хотелось. Ну радуйся, радуйся... — И после этого княжна Марья в продолжение недели не видала своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета.

К удивлению своему, княжна Марья заметила, что за это время болезни старый князь так же не допускал к себе и m-lle Bourienne. Один Тихон ходил за ним.

Через неделю князь вышел и начал опять прежнюю жизнь, с особенной деятельностью занимаясь постройками и садами и прекратив все прежние отношения с m-lle Bourienne. Вид его и холодный тон с княжной Марьей как будто говорил ей: «Вот видишь, ты выдумала на меня, налгала князю Андрею про отношения мои с этой француженкой и поссорила меня с ним; а ты видишь, что мне не нужны ни ты, ни француженка».

Одну половину дня княжна Марья проводила у Николушки, следя за его уроками, сама давала ему уроки русского языка и музыки, и разговаривая с Десалем; другую часть дня она проводила в своей половине с книгами, старухой няней и с Божьими людьми, которые иногда с заднего крыльца приходили к ней.

О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что Десаль, ее постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения, и несмотря на то, что приходившие к ней Божьи люди все по-своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма.

«Я вам пишу по-русски, мой добрый друг, — писала Жюли, — потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить... Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору.

Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах; но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня.

Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: „Погибну с ними, но не поколеблемся!“ И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводим время, как можем; но на войне, как на войне. Княжна Алина и Sophie сидят со мною целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры; только вас, мой друг недостает...» и т. д.

Преимущественно не понимала княжна Марья всего значения этой войны потому, что старый князь никогда не говорил про нее, не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне. Тон князя был так спокоен и уверен, что княжна Марья, не рассуждая, верила ему.

Весь июль месяц старый князь был чрезвычайно деятелен и даже оживлен. Он заложил еще новый сад и новый корпус, строение для дворовых Одно, что беспокоило княжну Марью, было то, что он мало спал и, изменив свою привычку спать в кабинете, каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее, то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремал не раздеваясь, между тем как не m-lle Bourienne, а мальчик Петруша читал ему; то он ночевал в столовой.

Первого августа было получено второе письмо от князя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностью прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ласковым письмом и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из-под Витебска, после того как французы заняли его, состояло из краткого описания всей кампаний с планом, нарисованным в письме, и из соображений о дальнейшем ходе кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобства его положения вблизи от театра войны, на самой линии движения войск, и советовал ехать в Москву.

За обедом в этот день на слова Десаля, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, старый князь вспомнил о письме князя Андрея.

— Получил от князя Андрея нынче, — сказал он княжне Марье, — не читала?

— Нет, mon père[1], — испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже и не слышала.

— Он пишет про войну про эту, — сказал князь с той сделавшейся ему привычной, презрительной улыбкой, с которой он говорил всегда про настоящую войну.

— Должно быть, очень интересно, — сказал Десаль. — Князь в состоянии знать...

— Ах, очень интересно! — сказала m-lle Bourienne.

— Подите принесите мне, — обратился старый князь к m-lle Bourienne. — Вы знаете, на маленьком столе под пресс-папье.

M-lle Bourienne радостно вскочила.

— Ах нет, — нахмурившись, крикнул он. — Поди ты, Михаил Иваныч.

Михаил Иваныч встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядывавшийся, бросил салфетку и пошел сам.

— Ничего-то не умеют, все перепутают.

Пока он ходил, княжна Марья, Десаль, m-lle Bourienne и даже Николушка молча переглядывались. Старый князь вернулся поспешным шагом, сопутствуемый Михаилом Иванычем, с письмом и планом, которые он, не давая никому читать во время обеда, положил подле себя.

[1] батюшка

Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марье и, разложив пред собой план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Марья вопросительно взглянула на отца. Он смотрел на план, очевидно, погруженный в свои мысли.

— Что вы об этом думаете, князь? — позволил себе Десаль обратиться с вопросом.

— Я! я!.. — как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки.

— Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам...

— Ха-ха-ха! Театр войны! — сказал князь. — Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель.

Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра; но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда.

— При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, — проговорил князь, видимо, думая о кампании 1807-го года, бывшей, как ему казалось, так недавно. — Бенигсен должен был раньше вступить в Пруссию, дело приняло бы другой оборот...

— Но, князь, — робко сказал Десаль, — в письме говорится о Витебске...

— А, в письме, да... — недовольно проговорил князь, — да... да... — Лицо его приняло вдруг мрачное выражение. Он помолчал. — Да, он пишет, французы разбиты, при какой это реке?

Десаль опустил глаза.

— Князь ничего про это не пишет, — тихо сказал он.

— А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же. — Все долго молчали.

— Да... да... Ну, Михайла Иваныч, — вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, — расскажи, как ты это хочешь переделать...

Михаил Иваныч подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десаля, ушел к себе.

Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десаля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что отец забыл письмо сына на столе в гостиной; но она боялась не только говорить и расспрашивать Десаля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом.

Ввечеру Михаил Иванович, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо. Хотя ей это и неприятно было, она позволила себе спросить у Михаила Иваныча, что делает ее отец.

— Всё хлопочут, — с почтительно-насмешливой улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч. — Очень беспокоятся насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь, — понизив голос, сказал Михаил Иваныч, — у бюра, должно, завещанием занялись. (В последнее время одно из

любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти и которые он называл завещанием.)

— А Алпатыча посылают в Смоленск? — спросила княжна Марья.

— Как же-с, уж он давно ждет.

III

Когда Михаил Иваныч вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги (ремарки, как он называл), которые должны были быть доставлены государю после его смерти.

Когда Михаил Иваныч вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминания о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Иваныча письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча.

На листочке бумаги у него было записано, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания.

— Первое, бумаги почтовой, слышишь, восемь дестей вот по образцу; золотообрезной... образчик, чтобы непременно по нем была; лаку, сургучу — по записке Михаила Иваныча.

Он походил по комнате и заглянул в памятную записку.

— Потом губернатору лично письмо отдать о записи.

Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, которые выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания.

Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.

— Ну, ступай, ступай; ежели что нужно, я пришлю.

Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянул в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору.

Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок.

Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все-таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано: он никогда еще не спал тут.

Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.

— Не так, не так! — закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла, и потом опять поближе.

«Ну, наконец все переделал, теперь отдохну», — подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.

Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, как бы поскорее, поскорее кончились эти труды и вы бы отпустили меня!» — думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцатый раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.

— Нет спокоя, проклятые! — проворчал он с гневом на кого-то. «Да, да, еще что-то важное было, очень что-то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что-то такое, что-то в гостиной было. Княжна Марья что-то врала. Десаль что-то — дурак этот — говорил. В кармане что-то — не вспомню».

— Тишка! Об чем за обедом говорили?

— Об князе, Михайле...

— Молчи, молчи. — Князь захлопал рукой по столу. — Да! Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что-то про Витебск говорил. Теперь прочту.

Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой — восковой свечкой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из-под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.

«Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там».

— Тишка! — Тихон вскочил. — Нет, не надо, не надо! — прокричал он.

Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина — матушка-императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.

«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»

IV

Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находились в шестидесяти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Московской дороги.

В тот же вечер, как князь отдавал приказания Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марьи свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых Горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы. Десаль написал для княжны Марьи письмо к губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и, в случае опасности, возвратиться как можно скорее.

Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых.

Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча, земский, конторщик, кухарка — черная, белая, две старухи, мальчик-казачок, кучера и разные дворовые провожали его.

Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.

— Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! — пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.

— Вы, ежели что... вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, — прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.

— Бабы, бабы, бабьи сборы, — проговорил Алпатыч про себя и поехал, оглядывая вокруг себя поля, где с пожелтевшей рожью, где с густым, еще зеленым овсом, где еще черные, которые только начинали двоить. Алпатыч ехал, любуясь на редкостный урожай ярового в нынешнем году, приглядываясь к полоскам ржаных полей, на которых кое-где начинали зажинать, и делал свои хозяйственные соображения о посеве и уборке и о том, не забыто ли какое княжеское приказание.

Два раза покормив дорогой, к вечеру 4-го августа Алпатыч приехал в город.

По дороге Алпатыч встречал и обгонял обозы и войска. Подъезжая к Смоленску, он слышал дальние выстрелы, но звуки эти не поразили его. Сильнее всего поразило его то, что, приближаясь к Смоленску, он видел прекрасное поле овса, которое какие-то солдаты косили, очевидно, на корм и по которому стояли лагерем; это обстоятельство поразило Алпатыча, он он скоро забыл его, думая о своем деле.

Все интересы жизни Алпатыча уже более тридцати лет были ограничены одной волей князя, и он никогда не выходил из этого круга. Все, что не касалось до исполнения приказаний князя, не только не интересовало его, но не существовало для Алпатыча.

Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром, в Гаченском предместье, на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов двенадцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный сорокалетний мужик, с толстыми губами, с толстой шишкой-носом, такими же шишками над черными, нахмуренными бровями и толстым брюхом.

Ферапонтов, в жилете, в ситцевой рубахе, стоял у лавки, выходившей на улицу. Увидав Алпатыча, он подошел к нему.

— Добро пожаловать, Яков Алпатыч. Народ из города, а ты в город, — сказал хозяин.

— Что ж так, из города? — сказал Алпатыч.

— И я говорю, — народ глуп. Всё французу боятся.

— Бабьи толки, бабьи толки! — проговорил Алпатыч.

— Так-то и я сужу, Яков Алпатыч. Я говорю, приказ есть, что не пустят его, — значит, верно. Да и мужики по три рубля с подводы просят — креста на них нет!

Яков Алпатыч невнимательно слушал. Он потребовал самовар и сена лошадям и, напившись чаю, лег спать.

Всю ночь мимо постоялого двора двигались на улице войска. На другой день Алпатыч надел камзол, который он надевал только в городе, и пошел по делам. Утро было солнечное, и с восьми часов было уже жарко. Дорогой день для уборки хлеба, как думал Алпатыч. За городом с раннего утра слышались выстрелы.

С восьми часов к ружейным выстрелам присоединилась пушечная пальба. На улицах было много народу, куда-то спешащего, много солдат, но так же, как и всегда, ездили извозчики, купцы стояли у лавок и в церквах шла служба. Алпатыч прошел в лавки, в присутственные места, на почту и к губернатору. В присутственных местах, в лавках, на почте все говорили о войске, о неприятеле, который уже напал на город; все спрашивали друг друга, что делать, и все старались успокоивать друг друга.

У дома губернатора Алпатыч нашел большое количество народа, казаков и дорожный экипаж, принадлежавший губернатору. На крыльце Яков Алпатыч встретил двух господ дворян, из которых одного он знал. Знакомый ему дворянин, бывший исправник, говорил с жаром.

— Ведь это не шутки шутить, — говорил он. — Хорошо, кто один. Одна голова и бедна — так одна, а то ведь тринадцать человек семьи, да все имущество... Довели, что пропадать всем, что ж это за начальство после этого? Эх, перевешал бы разбойников.

— Да ну, будет, — говорил другой.

— А мне что за дело, пускай слышит! Что ж, мы не собаки, — сказал бывший исправник и, оглянувшись, увидал Алпатыча.

— А, Яков Алпатыч, ты зачем?

— По приказанию его сиятельства, к господину губернатору, — отвечал Алпатыч, гордо поднимая голову и закладывая руку за пазуху, что он делал всегда, когда упоминал о князе... — Изволили приказать осведомиться о положении дел, — сказал он.

— Да вот и узнавай, — прокричал помещик, — довели, что ни подвод, ничего!.. Вот она, слышишь? — сказал он, указывая на ту сторону, откуда слышались выстрелы.

— Довели, что погибать всем... разбойники! — опять проговорил он и сошел с крыльца.

Алпатыч покачал головой и пошел на лестницу. В приемной были купцы, женщины, чиновники, молча переглядывавшиеся между собой. Дверь кабинета отворилась, все встали с мест и подвинулись вперед. Из двери выбежал чиновник, поговорил что-то с купцом, кликнул за собой толстого чиновника с крестом на шее и скрылся опять в дверь, видимо, избегая всех обращенных к нему взглядов и вопросов. Алпатыч продвинулся вперед и при следующем выходе чиновника, заложив руку за застегнутый сюртук, обратился к чиновнику, подавая ему два письма.

— Господину барону Ашу от генерала аншефа князя Болконского, — провозгласил он так торжественно и значительно, что чиновник обратился к нему и взял его письмо. Через несколько минут губернатор принял Алпатыча и поспешно сказал ему:

— Доложи князю и княжне, что мне ничего не известно было: я поступал по высшим приказаниям — вот...

Он дал бумагу Алпатычу.

— А впрочем, так как князь нездоров, мой совет им ехать в Москву. Я сам сейчас еду. Доложи... — Но губернатор не договорил: в дверь вбежал запыленный и запотелый офицер и начал что-то говорить по-французски. На лице губернатора изобразился ужас.

— Иди, — сказал он, кивнув головой Алпатычу, и стал что-то спрашивать у офицера. Жадные, испуганные, беспомощные взгляды обратились на Алпатыча, когда он вышел из кабинета губернатора. Невольно прислушиваясь теперь к близким и все усиливавшимся выстрелам, Алпатыч поспешил на постоялый двор. Бумага, которую дал губернатор Алпатычу, была следующая:

«Уверяю вас, что городу Смоленску не предстоит еще ни малейшей опасности, и невероятно, чтобы оный ею угрожаем был. Я с одной, а князь Багратион с другой стороны идем на соединение перед Смоленском, которое совершится 22-го числа, и обе армии совокупными силами станут оборонять соотечественников своих вверенной вам губернии, пока усилия их удалят от них врагов отечества или пока не истребится в храбрых их рядах до последнего воина. Вы видите из сего, что вы имеете совершенное право успокоить жителей Смоленска, ибо кто защищаем двумя столь храбрыми войсками, тот может быть уверен в победе их». (Предписание Барклая де Толли смоленскому гражданскому губернатору, барону Ашу, 1812 года.)

Народ беспокойно сновал по улицам.

Наложенные верхом возы с домашней посудой, стульями, шкафчиками то и дело выезжали из ворот домов и ехали по улицам. В соседнем доме Ферапонтова стояли повозки и, прощаясь, выли и приговаривали бабы. Дворняжка собака, лая, вертелась перед заложенными лошадьми.

Алпатыч более поспешным шагом, чем он ходил обыкновенно, вошел во двор и прямо пошел под сарай к своим лошадям и повозке. Кучер спал; он разбудил его, велел закладывать и вошел в сени. В хозяйской горнице слышался детский плач, надрывающиеся рыдания женщины и гневный, хриплый крик Ферапонтова. Кухарка, как испуганная курица, встрепыхалась в сенях, как только вошел Алпатыч.

— До смерти убил — хозяйку бил!.. Так бил, так волочил!..

— За что? — спросил Алпатыч.

— Ехать просилась. Дело женское! Увези ты, говорит, меня, не погуби ты меня с малыми детьми; народ, говорит, весь уехал, что, говорит, мы-то? Как зачал бить. Так бил, так волочил!

Алпатыч как бы одобрительно кивнул головой на эти слова и, не желая более ничего знать, подошел к противоположной — хозяйской двери горницы, в которой оставались его покупки.

— Злодей ты, губитель, — прокричала в это время худая, бледная женщина с ребенком на руках и с сорванным с головы платком, вырываясь из дверей и сбегая по лестнице на двор. Ферапонтов вышел за ней и, увидав Алпатыча, оправил жилет, волосы, зевнул и вошел в горницу за Алпатычем.

— Аль уж ехать хочешь? — спросил он.

Не отвечая на вопрос и не оглядываясь на хозяина, перебирая свои покупки, Алпатыч спросил, сколько за постой следовало хозяину.

— Сочтем! Что ж, у губернатора был? — спросил Ферапонтов. — Какое решение вышло?

Алпатыч отвечал, что губернатор ничего решительно не сказал ему.

— По нашему делу разве увеземся? — сказал Ферапонтов. — Дай до Дорогобужа по семи рублей за подводу. И я говорю: креста на них нет! — сказал он.

— Селиванов, тот угодил в четверг, продал муку в армию по девяти рублей за куль. Что же, чай пить будете? — прибавил он. Пока закладывали лошадей, Алпатыч с Ферапонтовым напились чаю и разговорились о цене хлебов, об урожае и благоприятной погоде для уборки.

— Однако затихать стала, — сказал Ферапонтов, выпив три чашки чая и поднимаясь, — должно, наша взяла. Сказано, не пустят. Значит, сила... А намесь, сказывали, Матвей Иваныч Платов их в реку Марину загнал, тысяч осьмнадцать, что ли, в один день потопил.

Алпатыч собрал свои покупки, передал их вошедшему кучеру, расчелся с хозяином. В воротах прозвучал звук колес, копыт и бубенчиков выезжавшей кибиточки.

Было уже далеко за полдень; половина улицы была в тени, другая была ярко освещена солнцем. Алпатыч взглянул в окно и пошел к двери. Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед за тем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла.

Алпатыч вышел на улицу; по улице пробежали два человека к мосту. С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе. Но звуки эти почти не слышны были и не обращали внимания жителей в сравнении с звуками пальбы, слышными за городом. Это было бомбардирование, которое в пятом часу приказал открыть Наполеон по городу, из ста тридцати орудий. Народ первое время не понимал значения этого бомбардирования.

Звуки падавших гранат и ядер возбуждали сначала только любопытство. Жена Ферапонтова, не переставшая до этого выть под сараем, умолкла и с ребенком на руках вышла к воротам, молча приглядываясь к народу и прислушиваясь к звукам.

К воротам вышли кухарка и лавочник. Все с веселым любопытством старались увидать проносившиеся над их головами снаряды. Из-за угла вышло несколько человек людей, оживленно разговаривая.

— То-то сила! — говорил один. — И крышку и потолок так в щепки и разбило.

— Как свинья и землю-то взрыло, — сказал другой. — Вот так важно, вот так подбодрил! — смеясь, сказал он. — Спасибо, отскочил, а то бы она тебя смазала.

Народ обратился к этим людям. Они приостановились и рассказывали, как подле самих их ядра попали в дом. Между тем другие снаряды, то с быстрым, мрачным свистом — ядра, то с приятным посвистыванием — гранаты, не переставали перелетать через головы народа; но ни один снаряд не падал близко, все переносило. Алпатыч садился в кибиточку. Хозяин стоял в воротах.

— Чего не видала! — крикнул он на кухарку, которая, с засученными рукавами, в красной юбке, раскачиваясь голыми локтями, подошла к углу послушать то, что рассказывали.

— Вот чуда-то, — приговаривала она, но, услыхав голос хозяина, она вернулась, обдергивая подоткнутую юбку.

Опять, но очень близко этот раз, засвистело что-то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что-то и застлало дымом улицу.

— Злодей, что ж ты это делаешь? — прокричал хозяин, подбегая к кухарке.

В то же мгновение с разных сторон жалобно завыли женщины, испуганно заплакал ребенок и молча столпился народ с бледными лицами около кухарки. Из этой толпы слышнее всех слышались стопы и приговоры кухарки.

— Ой-о-ох, голубчики мои! Голубчики мои белые! Не дайте умереть! Голубчики мои белые!..

Через пять минут никого не оставалось на улице. Кухарку с бедром, разбитым гранатным осколком, снесли в кухню. Алпатыч, его кучер, Ферапонтова жена с детьми, дворник сидели в подвале, прислушиваясь. Гул оружий, свист снарядов и жалостный стон кухарки, преобладавший над всеми звуками, не умолкали ни на

мгновение. Хозяйка то укачивала и уговаривала ребенка, то жалостным шепотом спрашивала у всех входивших в подвал, где был ее хозяин, оставшийся на улице. Вошедший в подвал лавочник сказал ей, что хозяин пошел с народом в собор, где поднимали смоленскую чудотворную икону.

К сумеркам канонада стала стихать. Алпатыч вышел из подвала и остановился в дверях. Прежде ясное вечернее небо все было застлано дымом. И сквозь этот дым странно светил молодой, высоко стоящий серп месяца. После замолкшего прежнего страшного гула орудий над городом казалась тишина, прерываемая только как бы распространенным по всему городу шелестом шагов, стонов, дальних криков и треска пожаров. Стоны кухарки теперь затихли. С двух сторон поднимались и расходились черные клубы дыма от пожаров. На улице не рядами, а как муравьи из разоренной кочки, в разных мундирах и в разных направлениях проходили и пробегали солдаты. В глазах Алпатыча несколько из них забежали на двор Ферапонтова. Алпатыч вышел к воротам. Какой-то полк, теснясь и спеша, запрудил улицу, идя назад.

— Сдают город, уезжайте, уезжайте, — сказал ему заметивший его фигуру офицер и тут же обратился с криком к солдатам:

— Я вам дам по дворам бегать! — крикнул он.

Алпатыч вернулся в избу и, кликнув кучера, велел ему выезжать. Вслед за Алпатычем и за кучером вышли и все домочадцы Ферапонтова. Увидав дым и даже огни пожаров, видневшиеся теперь в начинавшихся сумерках, бабы, до тех пор молчавшие, вдруг заголосили, глядя на пожары. Как бы вторя им, послышались такие же плачи на других концах улицы. Алпатыч с кучером трясущимися руками расправлял запутавшиеся вожжи и постромки лошадей под навесом.

Когда Алпатыч выезжал из ворот, он увидал, как в отпертой лавке Ферапонтова человек десять солдат с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время, возвращаясь с улицы в лавку, вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волоса, захохотал рыдающим хохотом.

— Тащи всё, ребята! Не доставайся дьяволам! — закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу. Некоторые солдаты, испугавшись, выбежали, некоторые продолжали насыпать. Увидав Алпатыча, Ферапонтов обратился к нему.

— Решилась! Расея! — крикнул он. — Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась... — Ферапонтов побежал на двор.

По улице, запружая ее всю, непрерывно шли солдаты, так что Алпатыч не мог проехать и должен был дожидаться. Хозяйка Ферапонтова с детьми сидела так же на телеге, ожидая того, чтобы можно было выехать.

Была уже совсем ночь. На небе были звезды и светился изредка застилаемый дымом молодой месяц. На спуске к Днепру повозки Алпатыча и хозяйки, медленно двигавшиеся в рядах солдат и других экипажей, должны были остановиться. Недалеко от перекрестка, у которого остановились повозки, в переулке, горели дом и лавки. Пожар уже догорал. Пламя то замирало и терялось в черном дыме, то вдруг

вспыхивало ярко, до странности отчетливо освещая лица столпившихся людей, стоявших на перекрестке. Перед пожаром мелькали черные фигуры людей, и из-за неумолкаемого треска огня слышались говор и крики. Алпатыч, слезший с повозки, видя, что повозку его еще не скоро пропустят, повернулся в переулок посмотреть пожар. Солдаты шныряли беспрестанно взад и вперед мимо пожара, и Алпатыч видел, как два солдата и с ними какой-то человек во фризовой шинели тащили из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна; другие несли охапки сена.

Алпатыч подошел к большой толпе людей, стоявших против горевшего полным огнем высокого амбара. Стены были все в огне, задняя завалилась, крыша тесовая обрушилась, балки пылали. Очевидно, толпа ожидала той минуты, когда завалится крыша. Этого же ожидал Алпатыч.

— Алпатыч! — вдруг окликнул старика чей-то знакомый голос.

— Батюшка, ваше сиятельство, — отвечал Алпатыч, мгновенно узнав голос своего молодого князя.

Князь Андрей, в плаще, верхом на вороной лошади, стоял за толпой и смотрел на Алпатыча.

— Ты как здесь? — спросил он.

— Ваше... ваше сиятельство, — проговорил Алпатыч и зарыдал... — Ваше, ваше... или уж пропали мы? Отец...

— Как ты здесь? — повторил князь Андрей.

Пламя ярко вспыхнуло в эту минуту и осветило Алпатычу бледное и изнуренное лицо его молодого барина. Алпатыч рассказал, как он был послан и как насилу мог уехать.

— Что же, ваше сиятельство, или мы пропали? — спросил он опять.

Князь Андрей, не отвечая, достал записную книжку и, приподняв колено, стал писать карандашом на вырванном листе. Он писал сестре:

«Смоленск сдают, — писал он. — Лысые Горы будут заняты неприятелем через неделю. Уезжайте сейчас в Москву. Отвечай мне тотчас, когда вы выедете, прислав нарочного в Усвяж».

Написав и передав листок Алпатычу, он на словах передал ему, как распорядиться отъездом князя, княжны и сына с учителем и как и куда ответить ему тотчас же. Еще не успел он окончить эти приказания, как верховой штабной начальник, сопутствуемый свитой, подскакал к нему.

— Вы полковник? — кричал штабной начальник, с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом. — В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите, — кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии, — место весьма приятное и на виду, как говорил Берг.

Князь Андрей посмотрел на него, и, не отвечая, продолжал, обращаясь к Алпатычу:

— Так скажи, что до десятого числа жду ответа, а ежели десятого не получу известия, что все уехали, я сам должен буду все бросить и ехать в Лысые Горы.

— Я, князь, только потому говорю, — сказал Берг, узнав князя Андрея, — что я должен исполнять приказания, потому что я всегда точно исполняю... Вы меня, пожалуйста, извините, — в чем-то оправдывался Берг.

Что-то затрещало в огне. Огонь притих на мгновенье; черные клубы дыма повалили из-под крыши. Еще страшно затрещало что-то в огне, и завалилось что-то огромное.

— Уррруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара.

Человек во фризовой шинели, подняв кверху руку, кричал:

— Важно! пошла драть! Ребята, важно!..

— Это сам хозяин, — послышались голоса.

— Так, так, — сказал князь Андрей, обращаясь к Алпатычу, — все передай, как я тебе говорил. — И, ни слова не отвечая Бергу, замолкшему подле него, тронул лошадь и поехал в переулок.

V

От Смоленска войска продолжали отступать. Неприятель шел вслед за ними. 10-го августа полк, которым командовал князь Андрей, проходил по большой дороге, мимо проспекта, ведущего в Лысые Горы. Жара и засуха стояли более трех недель. Каждый день по небу ходили курчавые облака, изредка заслоняя солнце; но к вечеру опять расчищало, и солнце садилось в буровато-красную мглу. Только сильная роса ночью освежала землю. Остававшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам. Только по ночам и в лесах, пока еще держалась роса, была прохлада. Но по дороге, по большой дороге, по которой шли войска, даже и ночью, даже и по лесам, не было этой прохлады. Роса не заметна была на песочной пыли дороги, встолченной больше чем на четверть аршина. Как только рассветало, начиналось движение. Обозы, артиллерия беззвучно шли по ступицу, а пехота по щиколку в мягкой, душной, не остывшей за ночь, жаркой пыли. Одна часть этой песочной пыли месилась ногами и колесами, другая поднималась и стояла облаком над войском, влипая в глаза, в волоса, в уши, в ноздри и, главное, в легкие людям и животным, двигавшимся по этой дороге. Чем выше поднималось солнце, тем выше поднималось облако пыли, и сквозь эту тонкую, жаркую пыль на солнце, не закрытое облаками, можно было смотреть простым глазом. Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались в этой неподвижной атмосфере. Люди шли, обвязавши носы и рты платками. Приходя к деревне, все бросалось к колодцам. Дрались за воду и выпивали ее до грязи.

Князь Андрей командовал полком, и устройство полка, благосостояние его людей, необходимость получения и отдачу приказаний занимали его. Пожар Смоленска и оставление его были эпохой для князя Андрея. Новое чувство озлобления против врага заставляло его забывать свое горе. Он весь был предан

делам своего полка, он был заботлив о своих людях и офицерах и ласков с ними. В полку его называли наш князь, им гордились и его любили. Но добр и кроток он был только с своими полковыми, с Тимохиным и т. п., с людьми совершенно новыми и в чужой среде, с людьми, которые не могли знать и понимать его прошедшего; но как только он сталкивался с кем-нибудь из своих прежних, из штабных, он тотчас опять ощетинивался; делался злобен, насмешлив и презрителен. Все, что связывало его воспоминание с прошедшим, отталкивало его, и потому он старался в отношениях этого прежнего мира только не быть несправедливым и исполнять свой долг.

Правда, все в темном, мрачном свете представлялось князю Андрею — особенно после того, как оставили Смоленск (который, по его понятиям, можно и должно было защищать) 6-го августа, и после того, как отец, больной, должен был бежать в Москву и бросить на расхищение столь любимые, обстроенные и им населенные Лысые Горы; но, несмотря на то, благодаря полку князь Андрей мог думать о другом, совершенно независимом от общих вопросов предмете — о своем полку. 10-го августа колонна, в которой был его полк, поравнялась с Лысыми Горами. Князь Андрей два дня тому назад получил известие, что его отец, сын и сестра уехали в Москву. Хотя князю Андрею и нечего было делать в Лысых Горах, он, с свойственным ему желанием растравить свое горе, решил, что он должен заехать в Лысые Горы.

Он велел оседлать себе лошадь и с перехода поехал верхом в отцовскую деревню, в которой он родился и провел свое детство. Проезжая мимо пруда, на котором всегда десятки баб, переговариваясь, били вальками и полоскали свое белье, князь Андрей заметил, что на пруду никого не было, и оторванный плотик, до половины залитый водой, боком плавал посредине пруда. Князь Андрей подъехал к сторожке. У каменных ворот въезда никого не было, и дверь была отперта. Дорожки сада уже заросли, и телята и лошади ходили по английскому парку. Князь Андрей подъехал к оранжерее: стекла были разбиты, и деревья в кадках некоторые повалены, некоторые засохли. Он окликнул Тараса-садовника. Никто не откликнулся. Обогнув оранжерею на выставку, он увидал, что тесовый резной забор весь изломан и фрукты сливы обдерганы с ветками. Старый мужик (князь Андрей видал его у ворот в детстве) сидел и плел лапоть на зеленой скамеечке.

Он был глух и не слыхал подъезда князя Андрея. Он, сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии.

Князь Андрей подъехал к дому. Несколько лип в старом саду были срублены, одна пегая с жеребенком лошадь ходила перед самым домом между розанами. Дом был заколочен ставнями. Одно окно внизу было открыто. Дворовый мальчик, увидав князя Андрея, вбежал в дом.

Алпатыч, услав семью, один оставался в Лысых Горах; он сидел дома и читал Жития. Узнав о приезде князя Андрея, он, с очками на носу, застегиваясь, вышел из дома, поспешно подошел к князю и, ничего не говоря, заплакал, целуя князя Андрея в коленку.

Потом он отвернулся с сердцем на свою слабость и стал докладывать ему о положении дел. Все ценное и дорогое было отвезено в Богучарово. Хлеб, до ста четвертей, тоже был вывезен; сено и яровой, необыкновенный, как говорил Алпатыч, урожай нынешнего года зеленым взят и скошен — войсками. Мужики разорены, некоторые ушли тоже в Богучарово, малая часть остается.

Князь Андрей, не дослушав его, спросил, когда уехали отец и сестра, разумея, когда уехали в Москву. Алпатыч отвечал, полагая, что спрашивают об отъезде в Богучарово, что уехали седьмого, и опять распространился о делах хозяйства, спрашивая распоряжений.

— Прикажете ли отпускать под расписку командам овес? У нас еще шестьсот четвертей осталось, — спрашивал Алпатыч.

«Что отвечать ему?» — думал князь Андрей, глядя на лоснеющуюся на солнце плешивую голову старика и в выражении лица его читая сознание того, что он сам понимает несвоевременность этих вопросов, но спрашивает только так, чтобы заглушить и свое горе.

— Да, отпускай, — сказал он.

— Ежели изволили заметить беспорядки в саду, — говорил Алпатыч, — то невозможно было предотвратить: три полка проходили и ночевали, в особенности драгуны. Я выписал чин и звание командира для подачи прошения.

— Ну, что ж ты будешь делать? Останешься, ежели неприятель займет? — спросил его князь Андрей.

Алпатыч, повернув свое лицо к князю Андрею, посмотрел на него; и вдруг торжественным жестом поднял руку кверху.

— Он мой покровитель, да будет воля Его! — проговорил он.

Толпа мужиков и дворовых шла по лугу, с открытыми головами, приближаясь к князю Андрею.

— Ну прощай! — сказал князь Андрей, нагибаясь к Алпатычу. — Уезжай сам, увози, что можешь, и народу вели уходить в Рязанскую или в Подмосковную. — Алпатыч прижался к его ноге и зарыдал. Князь Андрей осторожно отодвинул его и, тронув лошадь, галопом поехал вниз по аллее.

На выставке все так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя, и две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда и наткнулись на князя Андрея. Увидав молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы.

Князь Андрей испуганно-поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел. Ему жалко стало эту хорошенькую испуганную девочку. Он боялся взглянуть на нее, но вместе с тем ему этого непреодолимо хотелось. Новое, отрадное и успокоительное чувство охватило его, когда он, глядя на этих девочек, понял существование других, совершенно чуждых ему и столь же законных человеческих

интересов, как и те, которые занимали его. Эти девочки, очевидно, страстно желали одного — унести и доесть эти зеленые сливы и не быть пойманными, и князь Андрей желал с ними вместе успеха их предприятию. Он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на них еще раз. Полагая себя уже в безопасности, они выскочили из засады и, что-то пища тоненькими голосками, придерживая подолы, весело и быстро бежали по траве луга своими загорелыми босыми ножонками.

Князь Андрей освежился немного, выехав из района пыли большой дороги, по которой двигались войска. Но недалеко за Лысыми Горами он въехал опять на дорогу и догнал свой полк на привале, у плотины небольшого пруда. Был второй час после полдня. Солнце, красный шар в пыли, невыносимо пекло и жгло спину сквозь черный сюртук. Пыль, все такая же, неподвижно стояла над говором гудевшими, остановившимися войсками. Ветру не было. В проезд по плотине на князя Андрея пахнуло тиной и свежестью пруда. Ему захотелось в воду — какая бы грязная она ни была. Он оглянулся на пруд, с которого неслись крики и хохот. Небольшой мутный с зеленью пруд, видимо, поднялся четверти на две, заливая плотину, потому что он был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями. Все это голое, белое человеческое мясо с хохотом и гиком барахталось в этой грязной луже, как караси, набитые в лейку. Весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно.

Один молодой белокурый солдат — еще князь Андрей знал его — третьей роты, с ремешком под икрой, крестясь, отступал назад, чтобы хорошенько разбежаться и бултыхнуться в воду; другой, черный, всегда лохматый унтер-офицер, по пояс в воде, подергивая Мускулистым станом, радостно фыркал, поливая себе голову черными по кисти руками. Слышалось шлепанье друг по другу, и визг, и уханье.

На берегах, на плотине, в пруде, везде было белое, здоровое, мускулистое мясо. Офицер Тимохин, с красным носиком, обтирался на плотине и застыдился, увидав князя, однако решился обратиться к нему:

— То-то хорошо, ваше сиятельство, вы бы изволили! — сказал он.

— Грязно, — сказал князь Андрей, поморщившись.

— Мы сейчас очистим вам. — И Тимохин, еще не одетый, побежал очищать.

— Князь хочет.

— Какой? Наш князь? — заговорили голоса, и все заторопились так, что насилу князь Андрей успел их успокоить. Он придумал лучше облиться в сарае.

«Мясо, тело, chair à canon!»[1] — думал он, глядя и на свое голое тело, и вздрагивая не столько от холода, сколько от самому ему непонятного отвращения и ужаса при виде этого огромного количества тел, полоскавшихся в грязном пруде.

7-го августа князь Багратион в своей стоянке Михайловке на Смоленской дороге писал следующее:

[1] пушечное мясо. — Ред.

«Милостивый государь граф Алексей Андреевич.

(Он писал Аракчееву, но знал, что письмо его будет прочтено государем, и потому, насколько он был к тому способен, обдумывал каждое свое слово.)

Я думаю, что министр уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили. Я, с моей стороны, просил лично его убедительнейшим образом, наконец и писал; но ничто его не согласило. Я клянусь вам моею честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда, и он бы мог потерять половину армии, но не взять Смоленска. Войска наши так дрались и так дерутся, как никогда. Я удержал с 15 тысячами более 35-ти часов и бил их; но он не хотел остаться и 14-ти часов. Это стыдно, и пятно армии нашей; а ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Ежели он доносит, что потеря велика, — неправда; может быть, около 4 тысяч, не более, но и того нет. Хотя бы и десять, как быть, война! Но зато неприятель потерял бездну...

Что стоило еще оставаться два дни? По крайней мере они бы сами ушли; ибо не имели воды напоить людей и лошадей. Он дал слово мне, что не отступит, но вдруг прислал диспозицию, что он в ночь уходит. Таким образом воевать не можно, и мы можем неприятеля скоро привести в Москву...

Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться. Боже сохрани! После всех пожертвований и после таких сумасбродных отступлений — мириться: вы поставите всю Россию против себя, и всякий из нас за стыд поставит носить мундир. Ежели уже так пошло — надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах...

Надо командовать одному, а не двум. Ваш министр, может, хороший, по министерству; но генерал, не то что плохой, он дрянной, и ему отдали судьбу всего нашего Отечества... Я, право, с ума схожу от досады: простите мне, что дерзко пишу. Видно, тот не любит государя и желает гибели нам всем, кто советует заключить мир и командовать армиею министру. Итак, я пишу вам правду: готовьте ополчение. Ибо министр самым мастерским образом ведет в столицу за собою гостя. Большое подозрение подает всей армии господин флигель-адъютант Вольцоген. Он, говорят, более Наполеона, нежели наш, и он советует все министру. Я не токмо учтив против него, но повинуюсь, как капрал, хотя и старее его. Это больно; но, любя моего благодетеля и государя — повинуюсь. Только жаль государя, что вверяет таким славную армию. Вообразите, что нашею ретирадою мы потеряли людей от усталости и в госпиталях более 15 тысяч; а ежели бы наступали, того бы не было. Скажите ради Бога, что наша Россия — мать наша — скажет, что так страшимся и за то что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление. Чего трусить и кого бояться? Я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и все имеет худые качества. Вся армия плачет совершенно и ругают его насмерть...»

VI

В числе бесчисленных подразделений, которые можно сделать в явлениях жизни, можно подразделить их все на такие, в которых преобладает содержание, другие — в которых преобладает форма. К числу таковых, в противоположность деревенской, земской, губернской, даже московской жизни, можно отнести жизнь петербургскую, в особенности салонную. Эта жизнь неизменна.

С 1805 года мы мирились и ссорились с Бонапартом, мы делали конституции и разделывали их, а салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад. Точно так же у Анны Павловны говорили с недоумением об успехах Бонапарта и видели, как в его успехах, так и в потакании ему европейских государей, злостный заговор, имеющий единственной целью неприятность и беспокойство того придворного кружка, которого представительницей была Анна Павловна. Точно так же у Элен, которую сам Румянцев удостоивал, своим посещением и считал замечательно умной женщиной, точно так же как в 1808, так и в 1812 году с восторгом говорили о великой нации и великом человеке и с сожалением смотрели на разрыв с Францией, который, по мнению людей, собиравшихся в салоне Элен, должен был кончиться миром.

В последнее время, после приезда государя из армии, произошло некоторое волнение в этих противоположных кружках-салонах и произведены были некоторые демонстрации друг против друга, но направление кружков осталось то же. В кружок Анны Павловны принимались из французов только закоренелые легитимисты, и здесь выражалась патриотическая мысль о том, что не надо ездить во французский театр и что содержание труппы стоит столько же, сколько содержание целого корпуса. За военными событиями следилось жадно, и распускались самые выгодные для нашей армии слухи. В кружке Элен, румянцевском, французском, опровергались слухи о жестокости врага и войны и обсуживались все попытки Наполеона к примирению. В этом кружке упрекали тех, кто присоветывал слишком поспешные распоряжения о том, чтобы приготавливаться к отъезду в Казань придворным и женским учебным заведениям, находящимся под покровительством императрицы-матери. Вообще все дело войны представлялось в салоне Элен пустыми демонстрациями, которые весьма скоро кончатся миром, и царствовало мнение Билибина, бывшего теперь в Петербурге и домашним у Элен (всякий умный человек должен был быть у нее), что не порох, а те, кто его выдумали, решат дело. В этом кружке иронически и весьма умно, хотя весьма осторожно, осмеивали московский восторг, известие о котором прибыло вместе с государем в Петербург.

В кружке Анны Павловны, напротив, восхищались этими восторгами и говорили о них, как говорит Плутарх о древних. Князь Василий, занимавший все те же важные должности, составлял звено соединения между двумя кружками. Он ездил к ma bonne amie[1] Анне Павловне и ездил dans le salon diplomatique de ma fille[2] и часто, при беспрестанных переездах из одного лагеря в другой, путался и говорил у Анны Павловны то, что надо было говорить у Элен, и наоборот.

[1] моя хорошая подруга

[2] в дипломатический салон своей дочери

Вскоре после приезда государя князь Василий разговорился у Анны Павловны о делах войны, жестоко осуждая Барклая де Толли и находясь в нерешительности, кого бы назначить главнокомандующим. Один из гостей, известный под именем un homme de beaucoup de mérite[1], рассказав о том, что он видел нынче выбранного начальником петербургского ополчения Кутузова, заседающего в казенной палате для приема ратников, позволил себе осторожно выразить предположение о том, что Кутузов был бы тот человек, который удовлетворил бы всем требованиям.

Анна Павловна грустно улыбнулась и заметила, что Кутузов, кроме неприятностей, ничего не делал государю.

— Я говорил и говорил в Дворянском собрании, — перебил князь Василий, — но меня не послушали. Я говорил, что избрание его в начальники ополчения не понравится государю. Они меня не послушали.

— Все какая-то мания фрондировать, — продолжал он. — И пред кем? И все оттого, что мы хотим обезьянничать глупым московским восторгам, — сказал князь Василий, спутавшись на минуту и забыв то, что у Элен надо было подсмеиваться над московскими восторгами, а у Анны Павловны восхищаться ими. Но он тотчас же поправился. — Ну прилично ли графу Кутузову, самому старому генералу в России, заседать в палате, et il en restera pour sa peine![2] Разве возможно назначить главнокомандующим человека, который не может верхом сесть, засыпает на совете, человека самых дурных нравов! Хорошо он себя зарекомендовал в Букареште! Я уже не говорю о его качествах как генерала, но разве можно в такую минуту назначать человека дряхлого и слепого, просто слепого? Хорош будет генерал слепой! Он ничего не видит. В жмурки играть... ровно ничего не видит!

Никто не возражал на это.

24-го июля это было совершенно справедливо. Но 29-го июля Кутузову пожаловано княжеское достоинство. Княжеское достоинство могло означать и то, что от него хотели отделаться, — и потому суждение князя Василья продолжало быть справедливо, хотя он и не торопился его высказывать теперь. Но 8 августа был собран комитет из генерал-фельдмаршала Салтыкова, Аракчеева, Вязьмитинова, Лопухина и Кочубея для обсуждения дел войны. Комитет решил, что неудачи происходили от разноначалий и, несмотря на то, что лица, составлявшие комитет, знали нерасположение государя к Кутузову, комитет, после короткого совещания, предложил назначить Кутузова главнокомандующим. И в тот же день Кутузов был назначен полномочным главнокомандующим армий и всего края, занимаемого войсками.

9-го августа князь Василий встретился опять у Анны Павловны с l'homme de beaucoup de mérite[3]. L'homme de beaucoup de mérite ухаживал за Анной Павловной по случаю желания назначения попечителем женского учебного заведения

[1] человек больших достоинств

[2] хлопоты его пропадут даром!

[3] человеком больших достоинств

императрицы Марии Федоровны. Князь Василий вошел в комнату с видом счастливого победителя, человека, достигшего цели своих желаний.

— Eh bien, vous savez la grande nouvelle? Le prince Koutouzoff est maréchal[1]. Все разногласия кончены. Я так счастлив, так рад! — говорил князь Василий. — Enfin voilà un homme[2], — проговорил он, значительно и строго оглядывая всех находившихся в гостиной. L'homme de beaucoup de mérite, несмотря на свое желание получить место, не мог удержаться, чтобы не напомнить князю Василью его прежнее суждение. (Это было неучтиво и перед князем Василием в гостиной Анны Павловны и перед Анной Павловной, которая так же радостно приняла эту весть; но он не мог удержаться.)

— Mais on dit qu'il est aveugle, mon prince? [3] — сказал он, напоминая князю Василью его же слова.

— Allez donc, il y voit assez[4], — сказал князь Василий своим басистым, быстрым голосом, с покашливанием, тем голосом и с покашливанием, которым он разрешал все трудности. — Allez, il y voit assez[5], — повторил он. — И чему я рад, — продолжал он, — это то, что государь дал ему полную власть над всеми армиями, над всем краем, — власть, которой никогда не было ни у какого главнокомандующего. Это другой самодержец, — заключил он с победоносной улыбкой.

— Дай Бог, дай Бог, — сказала Анна Павловна. L'homme de beaucoup de mérite, еще новичок в придворном обществе, желая польстить Анне Павловне, выгораживая ее прежнее мнение из этого суждения, сказал:

— Говорят, что государь неохотно передал эту власть Кутузову. On dit qu'il rougit comme une demoiselle à laquelle on lirait Joconde, en lui disant: «Le souverain et la patrie vous décernent cet honneur»[6].

— Peut-être que le cur n'était pas de la partie[7] , — сказала Анна Павловна.

— О нет, нет, — горячо заступился князь Василий. Теперь уже он не мог никому уступить Кутузова. По мнению князя Василья, не только Кутузов был сам хорош, но и все обожали его. — Нет, это не может быть, потому что государь так умел прежде ценить его, — сказал он.

— Дай Бог только, чтобы князь Кутузов, — сказала Анна Павловна, — взял действительную власть и не позволял бы никому вставлять себе палки в колеса — des bâtons dans les roues.

Князь Василий тотчас понял, кто был этот никому. Он шепотом сказал:

— Я верно знаю, что Кутузов, как непременное условие, выговорил, чтобы наследник-цесаревич не был при армии: Vous savez ce qu'il a dit à l'Empereur? [8] — И

---

[1] Ну-с, вы знаете великую новость? Кутузов — фельдмаршал

[2] Вот, наконец, настоящий человек!

[3] Но говорят, что он слеп, мой князь?

[4] Да ну, он видит достаточно хорошо

[5] Он видит нормально

[6] Говорят, что он покраснел, как барышня, которой бы прочли Жоконду, в то время как говорил ему: «Государь и отечество награждают вас этой честью».

[7] Может быть, сердце не вполне участвовало

[8] Вы знаете, что он сказал государю?

князь Василий повторил слова, будто бы сказанные Кутузовым государю: «Я не могу наказать его, ежели он сделает дурно, и наградить, ежели он сделает хорошо». О! это умнейший человек, князь Кутузов, et quel caractère. Oh, je le connais de longue date[1].

— Говорят даже, — сказал l'homme de beaucoup de mérite, не имевший еще придворного такта, — что светлейший непременным условием поставил, чтобы сам государь не приезжал к армии.

Как только он сказал это, в одно мгновение князь Василий и Анна Павловна отвернулись от него и грустно, со вздохом о его наивности, посмотрели друг на друга.

VII

В то время как это происходило в Петербурге, французы уже прошли Смоленск и все ближе и ближе подвигались к Москве. Историк Наполеона Тьер так же, как и другие историки Наполеона, говорит, стараясь оправдать своего героя, что Наполеон был привлечен к стенам Москвы невольно. Он прав, как и правы все историки, ищущие объяснения событий исторических в воле одного человека; он прав так же, как и русские историки, утверждающие, что Наполеон был привлечен к Москве искусством русских полководцев. Здесь, кроме закона ретроспективности (возвратности), представляющего все прошедшее приготовлением к совершившемуся факту, есть еще взаимность, путающая все дело. Хороший игрок, проигравший в шахматы, искренно убежден, что его проигрыш произошел от его ошибки, и он отыскивает эту ошибку в начале своей игры, но забывает, что в каждом его шаге в продолжение всей игры были такие же ошибки, что ни один его ход не был совершенен. Ошибка, на которую он обращает внимание, заметна ему только потому, что противник воспользовался ею. Насколько же сложнее этого игра войны, происходящая в известных условиях времени, и где не одна воля руководит безжизненными машинами, а где все вытекает из бесчисленного столкновения различных произволов?

После Смоленска Наполеон искал сражения за Дорогобужем у Вязьмы, потом у Царева-Займища; но выходило, что по бесчисленному столкновению обстоятельств до Бородина, в ста двенадцати верстах от Москвы, русские не могли принять сражения. От Вязьмы было сделано распоряжение Наполеоном для движения прямо на Москву.

Moscou, la capitale asiatique de ce grand empire, la ville sacrée des peuples d'Alexandre, Moscou avec ses innombrables églises en forme de pagodes chinoises! [2] Эта Moscou не давала покоя воображению Наполеона. На переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый гвардией, караулом, пажами и адъютантами. Начальник штаба Бертье отстал для того, чтобы допросить взятого кавалерией русского пленного. Он галопом, сопутствуемый переводчиком Lelorgne d'Ideville[3], догнал Наполеона и с веселым лицом остановил лошадь.

---

[1] и какой характер. О, я его давно знаю

[2] Москва, азиатская столица этой великой империи, священный город народов Александра. Москва с своими бесчисленными церквами, в форме китайских пагод!

[3] Лелорнь д'Идевиль

— Eh bien? — сказал Наполеон.

— Un cosaque de Platow[1] говорит, что корпус Платова соединяется с большой армией, что Кутузов назначен главнокомандующим. Très intelligent et bavard![2]

«Наполеон и Лаврушка на переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу» (Акварель Л.О. Пастернака)

Наполеон улыбнулся, велел дать этому казаку лошадь и привести его к себе. Он сам желал поговорить с ним. Несколько адъютантов поскакало, и через час крепостной человек Денисова, уступленный им Ростову, Лаврушка, в денщицкой куртке на французском кавалерийском седле, с плутовским и пьяным, веселым лицом, подъехал к Наполеону. Наполеон велел ему ехать рядом с собой и начал спрашивать:

— Вы казак?

— Казак-с, ваше благородие.

«Le cosaque ignorant la compagnie dans laquelle il se trouvait, car la simplicité de Napoléon n'avait rien qui pût révéler à une imagination orientale la présence d'un souverain, s'entretint avec la plus extrême familiarité des affaires de la guerre actuelle»[3], — говорит Тьер, рассказывая этот эпизод.

Действительно, Лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность.

Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам.

---

[1] — Ну?

— Платовский казак.

[2] Очень умный и болтун!

[3] «Казак, не зная того общества, в котором он находился, потому что простота Наполеона не имела ничего такого, что бы могло открыть для восточного воображения присутствие государя, разговаривал с чрезвычайной фамильярностью об обстоятельствах настоящей войны».

Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что не было ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон.

Он врал все, что толковалось между денщиками. Многое из этого была правда. Но когда Наполеон спросил его, как же думают русские, победят они Бонапарта или нет, Лаврушка прищурился и задумался.

Он увидал тут тонкую хитрость, как всегда во всем видят хитрость люди, подобные Лаврушке, насупился и помолчал.

— Оно значит: коли быть сражению, — сказал он задумчиво, — и в скорости, так это так точно. Ну, а коли пройдет три дня апосля того самого числа, тогда значит это самое сражение в оттяжку пойдет.

Наполеону перевели это так: «Si la bataille est donnée avant trois jours, les Français la gagneraient, mais que si elle serait donnée plus tard, Dieu seul sait ce qui en arrivrait»[1], — улыбаясь, передал Lelorgne d'Ideville. Наполеон не улыбнулся, хотя он, видимо, был в самом веселом расположении духа, и велел повторить себе эти слова.

Лаврушка заметил это и, чтобы развеселить его, сказал, притворяясь, что не знает, кто он.

— Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья... — сказал он, сам не зная, как и отчего под конец проскочил в его словах хвастливый патриотизм. Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся. «Le jeune Cosaque fit sourire son puissant interlocuteur»[2], — говорит Тьер. Проехав несколько шагов молча, Наполеон обратился к Бертье и сказал, что он хочет испытать действие, которое произведет sur cet enfant du Don[3] известие о том, что тот человек, с которым говорит этот enfant du Don, есть сам император, тот самый император, который написал на пирамидах бессмертно-победоносное имя.

Известие было передано.

Лаврушка (поняв, что это делалось, чтоб озадачить его, и что Наполеон думает, что он испугается), чтобы угодить новым господам, тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь. «A peine l'interprète de Napoléon, — говорит Тьер, — avait-il parlé, que le Cosaque, saisi d'une sorte d'ébahissement, ne proféra plus une parole et marcha les yeux constamment attachés sur ce conquérant, dont le nom avait pénétré jusqu'à lui, à travers les steppes de l'Orient. Toute sa loquacité s'était subitement arrêtée, pour faire place à un sentiment d'admiration naive et silencieuse. Napoléon, après l'avoir récompensé, lui fit donner la liberté, comme à un oiseau qu'on rend aux champs qui l'ont vu naître»[4].

---

[1] «Ежели сражение произойдет прежде трех дней, то французы выиграют его, но ежели после трех дней, то Бог знает что случится»

[2] «Молодой казак заставил улыбнуться своего могущественного собеседника»

[3] на это дитя Дона

[4] «Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям».

Наполеон поехал дальше, мечтая о той Moscou, которая так занимала его воображение, à l'oiseau qu'on rendit aux champs qui l'on vu naître[1] поскакал на аванпосты, придумывая вперед все то, чего не было и что он будет рассказывать у своих. Того же, что действительно с ним было, он не хотел рассказывать именно потому, что это казалось ему недостойным рассказа. Он выехал к казакам, расспросил, где был полк, состоявший в отряде Платова, и к вечеру же нашел своего барина Николая Ростова, стоявшего в Янкове и только что севшего верхом, чтобы с Ильиным сделать прогулку по окрестным деревням. Он дал другую лошадь Лаврушке и взял его с собой.

«Едва переводчик Наполеона сказал это казаку, как казак, охваченный каким-то остолбенением, не произнес более ни одного слова и продолжал ехать, не спуская глаз с завоевателя, имя которого достигло до него через восточные степи. Вся его разговорчивость вдруг прекратилась и заменилась наивным и молчаливым чувством восторга. Наполеон, наградив казака, приказал дать ему свободу, как птице, которую возвращают ее родным полям».

VIII

Княжна Марья не была в Москве и вне опасности, как думал князь Андрей.

После возвращения Алпатыча из Смоленска старый князь как бы вдруг опомнился от сна. Он велел собрать из деревень ополченцев, вооружить их и написал главнокомандующему письмо, в котором извещал его о принятом им намерении оставаться в Лысых Горах до последней крайности и защищаться, предоставляя на его усмотрение принять или не принять меры для защиты Лысых Гор, в которых будет взят в плен или убит один из старейших русских генералов, и объявил домашним, что он остается в Лысых Горах.

Но, оставаясь сам в Лысых Горах, князь распорядился об отправке княжны и Десаля с маленьким князем в Богучарово и оттуда в Москву. Княжна Марья, испуганная лихорадочной, бессонной деятельностью отца, заменившей его прежнюю опущенность, не могла решиться оставить его одного и в первый раз в жизни позволила себе не повиноваться ему. Она отказалась ехать, и на нее обрушилась страшная гроза гнева князя. Он напомнил ей все, в чем он был несправедлив против нее. Стараясь обвинить ее, он сказал ей, что она измучила его, что она поссорила его с сыном, имела против него гадкие подозрения, что она задачей своей жизни поставила отравлять его жизнь, и выгнал ее из своего кабинета, сказав ей, что, ежели она не уедет, ему все равно. Он сказал, что знать не хочет о ее существовании, но вперед предупреждает ее, чтобы она не смела попадаться ему на глаза. То, что он, вопреки опасений княжны Марьи, не велел насильно увезти ее, а только не приказал ей показываться на глаза, обрадовало княжну Марью. Она знала, что это доказывало то, что в самой тайне души своей он был рад, что она оставалась дома и не уехала.

[1] Птица, возвращенная родным полям

На другой день после отъезда Николушки старый князь утром оделся в полный мундир и собрался ехать к главнокомандующему. Коляска уже была подана. Княжна Марья видела, как он, в мундире и всех орденах, вышел из дома и пошел в сад сделать смотр вооруженным мужикам и дворовым. Княжна Марья сидела у окна, прислушиваясь к его голосу, раздававшемуся из сада. Вдруг из аллеи выбежало несколько людей с испуганными лицами.

Княжна Марья выбежала на крыльцо, на цветочную дорожку и в аллею. Навстречу ей подвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, и в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Княжна Марья подбежала к нему и, в игре мелкими кругами падавшего света сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчета в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидала, было то, что прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся последнее время.

Привезенный доктор в ту же ночь пустил кровь и объявил, что у князя удар правой стороны.

В Лысых Горах оставаться становилось более и более опасным, и на другой день после удара князя повезли в Богучарово. Доктор поехал с ними.

Когда они приехали в Богучарово, Десаль с маленьким князем уже уехали в Москву.

Все в том же положении, не хуже и не лучше, разбитый параличом, старый князь три недели лежал в Богучарове в новом, построенном князем Андреем, доме. Старый князь был в беспамятстве; он лежал, как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что-то, дергаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное — это то, что он страдал и чувствовал потребность еще выразить что-то. Но что это было, никто не мог понять; был ли это какой-нибудь каприз больного и полусумасшедшего, относилось ли это до общего хода дел, или относилось это до семейных обстоятельств?

Доктор говорил, что выражаемое им беспокойство ничего не значило, что оно имело физические причины; по княжна Марья думала (и то, что ее присутствие всегда усиливало его беспокойство, подтверждало ее предположение), думала, что он что-то хотел сказать ей. Он, очевидно, страдал и физически и нравственно.

Надежды на исцеление не было. Везти его было нельзя. И что бы было, ежели бы он умер дорогой? «Не лучше ли бы было конец, совсем конец!» — иногда думала княжна Марья. Она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и, страшно сказать, она часто следила за ним не с надеждой найти признаки облегчения, но следила, часто желая найти признаки приближения к концу.

Как ни странно было княжне сознавать в себе это чувство, но оно было в ней. И что было еще ужаснее для княжны Марьи, это было то, что со времени болезни ее отца (даже едва ли не раньше, не тогда ли уж, когда она, ожидая чего-то, осталась с ним) в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые личные желания и надежды. То, что годами не приходило ей в голову — мысли о свободной жизни без вечного страха отца, даже мысли о возможности любви и семейного счастия, как искушения дьявола, беспрестанно носились в ее воображении. Как ни отстраняла она от себя, беспрестанно ей приходили в голову вопросы о том, как она теперь, после того, устроит свою жизнь. Это были искушения дьявола, и княжна Марья знала это. Она знала, что единственное орудие против него была молитва, и она пыталась молиться. Она становилась в положение молитвы, смотрела на образа, читала слова молитвы, но не могла молиться. Она чувствовала, что теперь ее охватил другой мир — житейской, трудной и свободной деятельности, совершенно противоположный тому нравственному миру, в который она была заключена прежде и в котором лучшее утешение была молитва. Она не могла молиться и не могла плакать, и житейская забота охватила ее.

Оставаться в Богучарове становилось опасным. Со всех сторон слышно было о приближающихся французах, и в одной деревне, в пятнадцати верстах от Богучарова, была разграблена усадьба французскими мародерами.

Доктор настаивал на том, что надо везти князя дальше; предводитель прислал чиновника к княжне Марье, уговаривая ее уезжать как можно скорее. Исправник, приехав в Богучарово, настаивал на том же, говоря, что в сорока верстах французы, что по деревням ходят французские прокламации и что ежели княжна не уедет с отцом до пятнадцатого, то он ни за что не отвечает.

Княжна пятнадцатого решилась ехать. Заботы приготовлений, отдача приказаний, за которыми все обращались к ней, целый день занимали ее. Ночь с четырнадцатого на пятнадцатое она провела, как обыкновенно, не раздеваясь, в соседней от той комнаты, в которой лежал князь. Несколько раз, просыпаясь, она слышала его кряхтенье, бормотанье, скрип кровати и шаги Тихона и доктора, ворочавших его. Несколько она прислушивалась у двери, и ей казалось, что он нынче бормотал громче обыкновенного и чаще ворочался. Она не могла спать и несколько раз подходила к двери, прислушиваясь, желая войти и не решаясь этого сделать. Хотя он и не говорил, но княжна Марья видела, знала, как неприятно было ему всякое выражение страха за него. Она замечала, как недовольно он отвертывался от ее взгляда, иногда невольно и упорно на него устремленного. Она знала, что ее приход ночью, в необычное время, раздражит его.

Но никогда ей так жалко не было, так страшно не было потерять его. Она вспоминала всю свою жизнь с ним, и в каждом слове, поступке его она находила выражение его любви к ней. Изредка между этими воспоминаниями врывались в ее воображение искушения дьявола, мысли о том, что будет после его смерти и как устроится ее новая, свободная жизнь. Но с отвращением отгоняла она эти мысли. К утру он затих, и она заснула.

Она проснулась поздно. Та искренность, которая бывает при пробуждении, показала ей ясно то, что более всего в болезни отца занимало ее. Она проснулась, прислушалась к тому, что было за дверью, и, услыхав его кряхтенье, со вздохом сказала себе, что было все то же.

— Да чему же быть? Чего же я хотела? Я хочу его смерти! — вскрикнула она с отвращением к себе самой.

Она оделась, умылась, прочла молитвы и вышла на крыльцо. К крыльцу поданы были без лошадей экипажи, в которые укладывали вещи.

Утро было теплое и серое. Княжна Марья остановилась на крыльце, не переставая ужасаться перед своей душевной мерзостью и стараясь привести в порядок свои мысли, прежде чем войти к нему.

Доктор сошел с лестницы и подошел к ней.

— Ему получше нынче, — сказал доктор. — Я вас искал. Можно кое-что понять из того, что он говорит, голова посвежее. Пойдемте. Он зовет вас...

Сердце княжны Марьи так сильно забилось при этом известии, что она, побледнев, прислонилась к двери, чтобы не упасть. Увидать его, говорить с ним, подпасть под его взгляд теперь, когда вся душа княжны Марьи была переполнена этих страшных преступных искушений, — было мучительно-радостно и ужасно.

— Пойдемте, — сказал доктор.

Княжна Марья вошла к отцу и подошла к кровати. Он лежал высоко на спине, с своими маленькими, костлявыми, покрытыми лиловыми узловатыми жилками ручками на одеяле, с уставленным прямо левым глазом и с скосившимся правым глазом, с неподвижными бровями и губами. Он весь был такой худенький, маленький и жалкий. Лицо его, казалось, ссохлось или растаяло, измельчало чертами. Княжна Марья подошла и поцеловала его руку. Левая рука сжала ее руку так, что видно было, что он уже давно ждал ее. Он задергал ее руку, и брови и губы его сердито зашевелились.

Она испуганно глядела на него, стараясь угадать, чего он хотел от нее. Когда она, переменя положение, подвинулась так, что левый глаз видел ее лицо, он успокоился, на несколько секунд не спуская с нее глаза. Потом губы и язык его зашевелились, послышались звуки, и он стал говорить, робко и умоляюще глядя на нее, видимо, боясь, что она не поймет его.

Княжна Марья, напрягая все силы внимания, смотрела на него. Комический труд, с которым он ворочал языком, заставлял княжну Марью опускать глаза и с трудом подавлять поднимавшиеся в ее горле рыдания. Он сказал что-то, по нескольку раз повторяя свои слова. Княжна Марья не могла понять их; но она старалась угадать то, что он говорил, и повторяла вопросительно сказанные им слова.

— Гага — бои... бои... — повторил он несколько раз...

Никак нельзя было понять этих слов. Доктор думал, что он угадал, и, повторяя его слова, спросил: княжна боится? Он отрицательно покачал головой и опять повторил то же...

— Душа, душа болит, — разгадала и сказала княжна Марья. Он утвердительно замычал, взял ее руку и стал прижимать ее к различным местам своей груди, как будто отыскивая настоящее для нее место.

— Все мысли! об тебе... мысли, — потом выговорил он гораздо лучше и понятнее, чем прежде, теперь, когда он был уверен, что его понимают. Княжна Марья прижалась головой к его руке, стараясь скрыть свои рыдания и слезы.

Он рукой двигал по ее волосам.

— Я тебя звал всю ночь... — выговорил он.

— Ежели бы я знала... — сквозь слезы сказала она. — Я боялась войти.

Он пожал ее руку.

— Не спала ты?

— Нет, я не спала, — сказала княжна Марья, отрицательно покачав головой. Невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он говорил, старалась говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.

— Душенька... — или — дружок... — Княжна Марья не могла разобрать; но, наверное, по выражению его взгляда, сказано было нежное, ласкающее слово, которого он никогда не говорил. — Зачем не пришла?

«А я желала, желала его смерти!» — думала княжна Марья. Он помолчал.

— Спасибо тебе... дочь, дружок... за все, за все... прости... спасибо... прости... спасибо!.. — И слезы текли из его глаз. — Позовите Андрюшу, — вдруг сказал он, и что-то детски-робкое и недоверчивое выразилось в его лице при этом спросе. Он как будто сам знал, что спрос его не имеет смысла. Так, по крайней мере, показалось княжне Марье.

— Я от него получила письмо, — отвечала княжна Марья.

Он с удивлением и робостью смотрел на нее.

— Где же он?

— Он в армии, mon père[1], в Смоленске.

Он долго молчал, закрыв глаза; потом утвердительно, как бы в ответ на свои сомнения и в подтверждение того, что он теперь все понял и вспомнил, кивнул головой и открыл глаза.

— Да, — сказал он явственно и тихо. — Погибла Россия! Погубили! — И он опять зарыдал, и слезы потекли у него из глаз. Княжна Марья не могла более удерживаться и плакала тоже, глядя на его лицо.

Он опять закрыл глаза. Рыдания его прекратились. Он сделал знак рукой к глазам; и Тихон, поняв его, отер ему слезы.

Потом он открыл глаза и сказал что-то, чего долго никто не мог понять и, наконец, понял и передал один Тихон. Княжна Марья отыскивала смысл его слов в том настроении, в котором он говорил за минуту перед этим. То она думала, что он говорит о России, то о князе Андрее, то о ней, о внуке, то о своей смерти. И от этого она не могла угадать его слов.

[1] мой отец

— Надень твое белое платье, я люблю его, — говорил он.

Поняв эти слова, княжна Марья зарыдала еще громче, и доктор, взяв ее под руку, вывел ее из комнаты на террасу, уговаривая ее успокоиться и заняться приготовлениями к отъезду. После того как княжна Марья вышла от князя, он опять заговорил о сыне, о войне, о государе, задергал сердито бровями, стал возвышать хриплый голос, и с ним сделался второй и последний удар.

Княжна Марья остановилась на террасе. День разгулялся, было солнечно и жарко. Она не могла ничего понимать, ни о чем думать и ничего чувствовать, кроме своей страстной любви к отцу, любви, которой, ей казалось, она не знала до этой минуты. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.

— Да... я... я... я. Я желала его смерти. Да, я желала, чтобы скорее кончилось... Я хотела успокоиться... А что ж будет со мной? На что мне спокойствие, когда его не будет, — бормотала вслух княжна Марья, быстрыми шагами ходя по саду и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Обойдя по саду круг, который привел ее опять к дому, она увидала идущих к ней навстречу m-lle Bourienne (которая оставалась в Богучарове и не хотела оттуда уехать) и незнакомого мужчину. Это был предводитель уезда, сам приехавший к княжне с тем, чтобы представить ей всю необходимость скорого отъезда. Княжна Марья слушала и не понимала его; она ввела его в дом, предложила ему завтракать и села с ним. Потом, извинившись перед предводителем, она подошла к двери старого князя. Доктор с встревоженным лицом вышел к ней и сказал, что нельзя.

— Идите, княжна, идите, идите!

Княжна Марья пошла опять в сад и под горой у пруда, в том месте, где никто не мог видеть, села на траву. Она не знала, как долго она пробыла там. Чьи-то бегущие женские шаги по дорожке заставили ее очнуться. Она поднялась и увидала, что Дуняша, ее горничная, очевидно, бежавшая за нею, вдруг, как бы испугавшись вида своей барышни, остановилась.

— Пожалуйте, княжна... князь... — сказала Дуняша сорвавшимся голосом.

— Сейчас, иду, иду, — поспешно заговорила княжна, не давая времени Дуняше договорить ей то, что она имела сказать, и, стараясь не видеть Дуняши, побежала к дому.

— Княжна, воля Божья совершается, вы должны быть на все готовы, — сказал предводитель, встречая ее у входной двери.

— Оставьте меня. Это неправда! — злобно крикнула она на него. Доктор хотел остановить ее. Она оттолкнула его и подбежала к двери. «И к чему эти люди с испуганными лицами останавливают меня? Мне никого не нужно! И что они тут делают?» — Она отворила дверь, и яркий дневной свет в этой прежде полутемной комнате ужаснул ее. В комнате были женщины и няня. Они все отстранились от кровати, давая ей дорогу. Он лежал все так же на кровати; но строгий вид его спокойного лица остановил княжну Марью на пороге комнаты.

«Нет, он не умер, это не может быть!» — сказала себе княжна Марья, подошла к нему и, преодолевая ужас, охвативший ее, прижала к щеке его свои губы. Но она тотчас же отстранилась от него. Мгновенно вся сила нежности к нему, которую она чувствовала в себе, исчезла и заменилась чувством ужаса к тому, что было перед нею. «Нет, нет его больше! Его нет, а есть тут же, на том же месте, где был он, что-то чуждое и враждебное, какая-то страшная, ужасающая и отталкивающая тайна...» — И, закрыв лицо руками, княжна Марья упала на руки доктора, поддержавшего ее.

В присутствии Тихона и доктора женщины обмыли то, что был он, повязали платком голову, чтобы не закостенел открытый рот, и связали другим платком расходившиеся ноги. Потом они одели в мундир с орденами и положили на стол маленькое ссохшееся тело. Бог знает, кто и когда позаботился об этом, но все сделалось как бы само собой. К ночи кругом гроба горели свечи, на гробу был покров, на полу был посыпан можжевельник, под мертвую ссохшуюся голову была положена печатная молитва, а в углу сидел дьячок, читая псалтырь.

Как лошади шарахаются, толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной вокруг гроба толпился народ чужой и свой — предводитель, и староста, и бабы, и все с остановившимися испуганными глазами, крестились и кланялись, и целовали холодную и закоченевшую руку старого князя.

IX

Богучарово было всегда, до поселения в нем князя Андрея, заглазное именье, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, и нравами. Они назывались степными. Старый князь хвалил их за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их дикость.

Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея, с его нововведениями — больницами, школами и облегчением оброка, — не смягчило их нравов, а, напротив, усилило в них те черты характера, которые старый князь называл дикостью. Между ними всегда ходили какие-нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких-то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году (про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господа отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Федоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи о войне и Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле.

В окрестности Богучарова были всё большие села, казенные и оброчные помещичьи. Живущих в этой местности помещиков было очень мало; очень мало было также дворовых и грамотных, и в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие-то теплые реки. Сотни крестьян, в том числе и

богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семействами куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупáлись, бежали, и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли на дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой-то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. Теперь, в 1812-м году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению.

Алпатыч, приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение и что, противно тому, что происходило в полосе Лысых Гор на шестидесятиверстном радиусе, где все крестьяне уходили (предоставляя казакам разорять свои деревни), в полосе степной, в богучаровской, крестьяне, как слышно было, имели сношения с французами, получали какие-то бумаги, ходившие между ними, и оставались на местах. Он знал через преданных ему дворовых людей, что ездивший на днях с казенной подводой мужик Карп, имевший большое влияние на мир, возвратился с известием, что казаки разоряют деревни, из которых выходят жители, но что французы их не трогают. Он знал, что другой мужик вчера привез даже из села Вислоухова — где стояли французы — бумагу от генерала французского, в которой жителям объявлялось, что им не будет сделано никакого вреда и за все, что у них возьмут, заплатят, если они останутся. В доказательство того мужик привез из Вислоухова сто рублей ассигнациями (он не знал, что они были фальшивые), выданные ему вперед за сено.

Наконец, важнее всего, Алпатыч знал, что в тот самый день, как он приказал старосте собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозить и ждать. А между тем время не терпело. Предводитель, в день смерти князя, 15-го августа, настаивал у княжны Марьи на том, чтобы она уехала в тот же день, так как становилось опасно. Он говорил, что после 16-го он не отвечает ни за что. В день же смерти князя он уехал вечером, но обещал приехать на похороны на другой день. Но на другой день он не мог приехать, так как, по полученным им самим известиям, французы неожиданно подвинулись, и он только успел увезти из своего имения свое семейство и все ценное.

Лет тридцать Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой.

Дрон был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в годá, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти — семидесяти лет, без единого седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в шестьдесят лет, как и в тридцать.

Дрон, вскоре после переселения на теплые реки, в котором он участвовал, как и другие, был сделан старостой-бурмистром в Богучарове и с тех пор двадцать три года безупречно пробыл в этой должности. Мужики боялись его больше, чем барина. Господа, и старый князь, и молодой, и управляющий, уважали его и в шутку называли министром. Во все время своей службы Дрон ни разу не был ни пьян, ни болен; никогда, ни после бессонных ночей, ни после каких бы то ни было трудов, не выказывал ни малейшей усталости и, не зная грамоте, никогда не забывал ни одного счета денег и пудов муки по огромным обозам, которые он продавал, и ни одной копны ужи́на хлеба на каждой десятине богучаровских полей.

Этого-то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных Лысых Гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить двенадцать лошадей под экипажи княжны и восемнадцать подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Хотя мужики и были оброчные, исполнение приказания этого не могло встретить затруднения, по мнению Алпатыча, так как в Богучарове было двести тридцать тягол и мужики были зажиточные. Но староста Дрон, выслушав приказание, молча опустил глаза. Алпатыч назвал ему мужиков, которых он знал и с которых он приказывал взять подводы.

Дрон отвечал, что лошади у этих мужиков в извозе. Алпатыч назвал других мужиков, и у тех лошадей не было, по словам Дрона, одни были под казенными подводами, другие бессильны, у третьих подохли лошади от бескормицы. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.

Алпатыч внимательно посмотрел на Дрона и нахмурился. Как Дрон был образцовым старостой-мужиком, так и Алпатыч недаром управлял двадцать лет имениями князя и был образцовым управляющим. Он в высшей степени способен был понимать чутьем потребности и инстинкты народа, с которым имел дело, и потому он был превосходным управляющим. Взглянув на Дрона, он тотчас понял, что ответы Дрона не были выражением мысли Дрона, но выражением того общего настроения богучаровского мира, которым староста уже был захвачен. Но вместе с тем он знал, что нажившийся и ненавидимый миром Дрон должен был колебаться между двумя лагерями — господским и крестьянским. Это колебание он заметил в его взгляде, и потому Алпатыч, нахмурившись, придвинулся к Дрону.

— Ты, Дронушка, слушай! — сказал он. — Ты мне пустого не говори. Его сиятельство князь Андрей Николаич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться, и царский на то приказ есть. А кто останется, тот царю изменник. Слышишь?

— Слушаю, — отвечал Дрон, не поднимая глаз.

Алпатыч не удовлетворился этим ответом.

— Эй, Дрон, худо будет! — сказал Алпатыч, покачав головой.

— Власть ваша! — сказал Дрон печально.

— Эй, Дрон, оставь! — повторил Алпатыч, вынимая руку из-за пазухи и торжественным жестом указывая ею на пол под ноги Дрона. — Я не то, что тебя насквозь, я под тобой на три аршина все насквозь вижу, — сказал он, вглядываясь в пол под ноги Дрона.

Дрон смутился, бегло взглянул на Алпатыча и опять опустил глаза.

— Ты вздор-то оставь и народу скажи, чтобы собирались из домов идти в Москву и готовили подводы. Завтра к утру под княжнин обоз, да сам на сходку не ходи. Слышишь?

Дрон вдруг упал в ноги.

— Яков Алпатыч, уволь! Возьми от меня ключи, уволь ради Христа.

— Оставь! — сказал Алпатыч строго. — Под тобой насквозь на три аршина вижу, — повторил он, зная, что его мастерство ходить за пчелами, знание того, когда сеять овес, и то, что он двадцать лет умел угодить старому князю, давно приобрели ему славу колдуна и что способность видеть на три аршина под человеком приписывается колдунам.

Дрон встал и хотел что-то сказать, но Алпатыч перебил его:

— Что вы это вздумали? А?.. Что ж вы думаете? А?

— Что мне с народом делать? — сказал Дрон. — Взбуровило совсем. Я и то им говорю...

— То-то говорю, — сказал Алпатыч. — Пьют? — коротко спросил он.

— Весь взбуровился, Яков Алпатыч: другую бочку привезли.

— Так ты слушай. Я к исправнику поеду, а ты народу повести, и чтоб они это бросили, и чтоб подводы были.

— Слушаю, — отвечал Дрон.

Больше Яков Алпатыч не настаивал. Он долго управлял народом и знал, что главное средство для того, чтобы люди повиновались, состоит в том, чтобы не показывать им сомнения в том, что они могут не повиноваться. Добившись от Дрона покорного «слушаю-с», Яков Алпатыч удовлетворился этим, хотя он не только сомневался, но почти был уверен в том, что подводы без помощи воинской команды не будут доставлены.

И действительно, к вечеру подводы не были собраны. На деревне у кабака была опять сходка, и на сходке положено было угнать лошадей в лес и не выдавать подвод. Ничего не говоря об этом княжне, Алпатыч велел сложить с пришедших из Лысых Гор свою собственную кладь и приготовить этих лошадей под кареты княжны, а сам поехал к начальству.

X

После похорон отца княжна Марья заперлась в своей комнате и никого не впускала к себе. К двери подошла девушка сказать, что Алпатыч пришел спросить приказания об отъезде. (Это было еще до разговора Алпатыча с Дроном.) Княжна Марья приподнялась с дивана, на котором она лежала, и сквозь затворенную дверь проговорила, что она никуда и никогда не поедет и просит, чтобы ее оставили в покое.

Окна комнаты, в которой лежала княжна Марья, были на запад. Она лежала на диване лицом к стене и, перебирая пальцами пуговицы на кожаной подушке, видела только эту подушку, и неясные мысли ее были сосредоточены на одном: она думала

о невозвратимости смерти и о той своей душевной мерзости, которой она не знала до сих пор и которая выказалась во время болезни ее отца. Она хотела, но не смела молиться, не смела в том душевном состоянии, в котором она находилась, обращаться к Богу. Она долго лежала в этом положении.

Солнце зашло на другую сторону дома и косыми вечерними лучами в открытые окна осветило комнату и часть сафьянной подушки, на которую смотрела княжна Марья. Ход мыслей ее вдруг приостановился. Она бессознательно приподнялась, оправила волосы, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветреного вечера.

«Да, теперь тебе удобно любоваться вечером! Его уже нет, и никто тебе не помешает», — сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник.

Кто-то нежным и тихим голосом назвал ее со стороны сада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была m-lle Bourienne, в черном платье и плерезах. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и тотчас же заплакала. Княжна Марья оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею, ревность к ней, вспомнились княжне Марье; вспомнилось и то, как он последнее время изменился к m-lle Bourienne, не мог ее видеть, и, стало быть, как несправедливы были те упреки, которые княжна Марья в душе своей делала ей. «Да и мне ли, мне ли, желавшей его смерти, осуждать кого-нибудь!» — подумала она.

Княжне Марье живо представилось положение m-lle Bourienne, в последнее время отдаленной от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме. И ей стало жалко ее. Она кротко-вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. M-lle Bourienne тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя. Она говорила о том, что единственное утешение в ее горе есть то, что княжна позволила ей разделить его с нею. Она говорила, что все бывшие недоразумения должны уничтожиться перед великим горем, что она чувствует себя чистой перед всеми и что он оттуда видит ее любовь и благодарность. Княжна слушала ее, не понимая ее слов, но изредка взглядывая на нее и вслушиваясь в звуки ее голоса.

— Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна, — помолчав немного, сказала m-lle Bourienne. — Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе; но я моей любовью к вам обязана это сделать... Алпатыч был у вас? Говорил он с вами об отъезде? — спросила она.

Княжна Марья не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. «Разве можно было что-нибудь предпринимать теперь, думать о чем-нибудь? Разве не все равно?» Она не отвечала.

— Вы знаете ли, chère Marie, — сказала m-lle Bourienne, — знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами; ехать теперь опасно. Ежели мы поедем, мы почти наверное попадем в плен, и Бог знает...

Княжна Марья смотрела на свою подругу, не понимая того, что она говорила.

— Ах, ежели бы кто-нибудь знал, как мне все все равно теперь, — сказала она. — Разумеется, я ни за что не желала бы уехать от него... Алпатыч мне говорил что-то об отъезде... Поговорите с ним, я ничего, ничего не могу и не хочу...

— Я говорила с ним. Он надеется, что мы успеем уехать завтра; но я думаю, что теперь лучше бы было остаться здесь, — сказала m-lle Bourienne. — Потому что, согласитесь, chère Marie, попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге — было бы ужасно. — M-lle Bourienne достала из ридикюля объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французскими властями, и подала ее княжне.

— Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, — сказала m-lle Bourienne, — и я уверена, что вам будет оказано должное уважение.

Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.

— Через кого вы получили это? — сказала она.

— Вероятно, узнали, что я француженка по имени, — краснея, сказала m-lle Bourienne.

Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.

— Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого-нибудь, — сказала княжна Марья, — и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, — прибавила она, услыхав голос m-lle Bourienne. — Поскорее ехать! Ехать скорее! — говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.

«Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями!» — Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что́ только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M-lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово[1]. Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю...» — думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.

[1] Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове

Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее.

Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m-lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю-с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.

Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки.

Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него.

— Дронушка, — сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. — Дронушка, теперь, после нашего несчастия, — начала она и замолчала, не в силах говорить дальше.

— Все под Богом ходим, — со вздохом сказал он. Они помолчали.

— Дронушка, Алпатыч куда-то уехал, мне не к кому обратиться. Правду ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?

— Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, — сказал Дрон.

— Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. — Дрон молчал. Он исподлобья взглянул на княжну Марью.

— Лошадей нет, — сказал он, — я и Яков Алпатычу говорил.

— Отчего же нет? — сказала княжна.

— Все от Божьего наказания, — сказал Дрон. — Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.

Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.

— Мужики разорены? У них хлеба нет? — спросила она.

— Голодной смертью помирают, — сказал Дрон, — не то что подводы...

— Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу... — Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб

и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как-нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.

— Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? — спросила она.

— Господский хлеб весь цел, — с гордостью сказал Дрон, — наш князь не приказывал продавать.

— Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, — сказала княжна Марья.

Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.

— Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.

Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.

— Уволь ты меня, матушка, ради Бога, вели от меня ключи принять, — сказал он. — Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради Бога.

Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и отчего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.

XI

Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.

— Да я никогда не звала их, — сказала княжна Марья, — я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.

— Только ради Бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, — говорила Дуняша, — а Яков Алпатыч приедут и поедем... и вы не извольте...

— Какой же обман? — удивленно спросила княжна.

— Да уж я знаю, только послушайте меня, ради Бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.

— Ты что-нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать... — сказала княжна Марья. — Позови Дронушку.

Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.

— Да я никогда не звала их, — сказала княжна. — Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.

Дрон, не отвечая, вздохнул.

— Если прикажете, они уйдут, — сказал он.

— Нет, нет, я пойду к ним, — сказала княжна Марья.

Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею.

«Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, — думала княжна Марья. — Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что André еще больше бы сделал на моем месте», — думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.

Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она — представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.

— Я очень рада, что вы пришли, — начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. — Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко... потому что... Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. — Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.

— Я не от себя делаю это, — продолжала княжна, — я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.

Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.

— Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, — сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.

Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.

— Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, — сказал голос сзади.

— Да отчего же? — сказала княжна.

Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.

— Отчего же вы не хотите? — спросила она опять. Никто не отвечал.

Княжие Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей-нибудь взгляд.

— Отчего вы не говорите? — обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. — Скажи, ежели ты думаешь, что еще что-нибудь нужно. Я все сделаю, — сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:

— Чего соглашаться-то, не нужно нам хлеба.

— Что ж, нам все бросить-то? Не согласны. Не согласны... Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна... — раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.

— Да вы не поняли, верно, — с грустной улыбкой сказала княжна Марья. — Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас...

Но голос ее заглушали голоса толпы.

— Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!

Княжна Марья старалась уловить опять чей-нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.

— Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Домá разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! — слышались голоса в толпе.

Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.

XII

Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном — о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из-за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман-роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.

Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего — болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое — она чувствовала — она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.

То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что-то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.

«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, — думала она. — Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что-то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? — думала тогда и теперь княжна Марья. — Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? — думала она. — Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, — он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из-за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!“ Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово». И княжна Марья вслух произнесла то ласкательное слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду-ше-нь-ка!» — повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо — робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.

«Душенька», — повторила она.

«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь?» — вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что-то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.

— Дуняша! — прошептала она. — Дуняша! — вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.

XIII

17-го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами — попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.

Богучарово находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове.

Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина.

Ростов и не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был Женихом его сестры.

Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.

— Ты вперед взял, — говорил раскрасневшийся Ильин.

— Да, все вперед, и на лугу вперед, и тут, — отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.

— А я на французской, ваше сиятельство, — сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, — перегнал бы, да только срамить не хотел.

Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков.

Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую-то нескладную песню, подошли к офицерам.

— Молодцы! — сказал, смеясь, Ростов. — Что, сено есть?

— И одинакие какие... — сказал Ильин.

— Развесе...оо...ооо...лая бесе...бесе... — распевали мужики с счастливыми улыбками.

Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.

— Вы из каких будете? — спросил он.

— Французы, — отвечал, смеючись, Ильин. — Вот и Наполеон сам, — сказал он, указывая на Лаврушку.

— Стало быть, русские будете? — переспросил мужик.

— А много вашей силы тут? — спросил другой небольшой мужик, подходя к ним.

— Много, много, — отвечал Ростов. — Да вы что ж собрались тут? — прибавил он. — Праздник, что ль?

— Старички собрались, по мирскому делу, — отвечал мужик, отходя от него.

В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам.

— В розовом моя, чур не отбивать! — сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.

— Наша будет! — подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.

— Что, моя красавица, нужно? — сказал Ильин, улыбаясь.

— Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии?

— Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.

— Бе... се... е... ду...шка! — распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.

— Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, — сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руки за пазуху. — Моя госпожа, дочь скончавшегося сего пятнадцатого числа генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, — он указал на мужиков, — просит вас пожаловать... не угодно ли будет, — с грустной улыбкой сказал Алпатыч, — отъехать несколько, а то не так удобно при... — Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.

— А!.. Алпатыч... А? Яков Алпатыч!.. Важно! прости ради Христа. Важно! А?.. — говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.

— Или, может, это утешает ваше сиятельство? — сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенной за пазуху рукой указывая на стариков.

— Нет, тут утешенья мало, — сказал Ростов и отъехал. — В чем дело? — спросил он.

— Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено и ее сиятельство не могут выехать.

— Не может быть! — вскрикнул Ростов.

— Имею честь докладывать вам сущую правду, — повторил Алпатыч.

Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и с сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали (больше всех говорил Карп; Дрон не показывался из толпы), что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть; а что пускай княжна остается, и они по-старому будут служить ей и во всем повиноваться.

В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговариванье Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать; но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.

— Батюшка! отец родной! Бог тебя послал, — говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю.

Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он, и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что-то романическое в этой встрече. «Беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков! И какая-то странная судьба натолкнула меня сюда! — думал Ростов, слушая ее и глядя на нее. — И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении!» — думал он, слушая ее робкий рассказ.

Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно-испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица.

— Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность, — сказал Ростов, вставая. — Извольте ехать, и я отвечаю вам своею честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас, — и, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери.

Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастия для сближения с нею.

Княжна Марья поняла и оценила этот тон.

— Я очень, очень благодарна вам, — сказала ему княжна по-французски, — но надеюсь, что все это было только недоразуменье и что никто не виноват в том. — Княжна вдруг заплакала. — Извините меня, — сказала она.

Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.

XIV

— Ну что, мила́? Нет, брат, розовая моя прелесть, и Дуняшей зовут... — Но, взглянув на лицо Ростова, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.

Ростов злобно оглянулся на Ильина и, не отвечая ему, быстрыми шагами направился к деревне.

— Я им покажу, я им задам, разбойникам! — говорил он про себя.

Алпатыч плывущим шагом, чтобы только не бежать, рысью едва догнал Ростова.

— Какое решение изволили принять? — сказал он, догнав его.

Ростов остановился и, сжав кулаки, вдруг грозно подвинулся на Алпатыча.

— Решенье? Какое решенье? Старый хрыч! — крикнул он на него. — Ты чего смотрел? А? Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас, шкуру спущу со всех... — И, как будто боясь растратить понапрасну запас своей горячности, он оставил Алпатыча и быстро пошел вперед. Алпатыч, подавив чувство оскорбления, плывущим шагом поспевал за Ростовым и продолжал сообщать ему свои соображения. Он говорил, что мужики находились в закоснелости, что в настоящую минуту было неблагоразумно противуборствовать им, не имея военной команды, что не лучше ли бы было послать прежде за командой.

— Я им дам воинскую команду... Я их попротивоборствую, — бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от неразумной животной злобы и потребности излить эту злобу. Не соображая того, что будет делать, бессознательно, быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что неблагоразумный поступок его может произвести хорошие результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное, нахмуренное лицо.

После того как гусары въехали в деревню и Ростов прошел к княжне, в толпе произошло замешательство и раздор. Некоторые мужики стали говорить, что эти приехавшие были русские и как бы они не обиделись тем, что не выпускают барышню. Дрон был того же мнения; но как только он выразил его, так Карп и другие мужики напали на бывшего старосту.

— Ты мир-то поедом ел сколько годов? — кричал на него Карп. — Тебе все одно! Ты кубышку выроешь, увезешь, тебе что, разори наши дома́ али нет?

— Сказано, порядок чтоб был, не езди никто из домов, чтобы ни синь пороха не вывозить, — вот она и вся! — кричал другой.

— Очередь на твоего сына была, а ты небось гладуха своего пожалел, — вдруг быстро заговорил маленький старичок, нападая на Дрона, — а моего Ваньку забрил. Эх, умирать будем!

— То-то умирать будем!

— Я от миру не отказчик, — говорил Дрон.

— То-то не отказчик, брюхо отрастил!..

Два длинные мужика говорили свое. Как только Ростов, сопутствуемый Ильиным, Лаврушкой и Алпатычем, подошел к толпе, Карп, заложив пальцы за кушак, слегка улыбаясь, вышел вперед. Дрон, напротив, зашел в задние ряды, и толпа сдвинулась плотнее.

— Эй! кто у вас староста тут? — крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к толпе.

— Староста-то? На что вам?.. — спросил Карп.

Но не успел он договорить, как шапка слетела с него и голова мотнулась набок от сильного удара.

— Шапки долой, изменники! — крикнул полнокровный голос Ростова. — Где староста? — неистовым голосом кричал он.

— Старосту, старосту кличет... Дрон Захарыч, вас, — послышались кое-где торопливо-покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов.

— Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем, — проговорил Карп, и несколько голосов сзади в то же мгновенье заговорили вдруг:

— Как старички порешили, много вас начальства...

— Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! — бессмысленно, не своим голосом завопил Ростов, хватая за ворот Карпа. — Вяжи его, вяжи! — кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.

Лаврушка, однако, подбежал к Карпу и схватил его сзади за руки.

— Прикажете наших из-под горы кликнуть? — крикнул он.

Алпатыч обратился к мужикам, вызывая двоих по именам, чтобы вязать Карпа. Мужики покорно вышли из толпы и стали распоясываться.

— Староста где? — кричал Ростов.

Дрон, с нахмуренным и бледным лицом, вышел из толпы.

— Ты староста? Вязать, Лаврушка! — кричал Ростов, как будто и это приказание не могло встретить препятствий. И действительно, еще два мужика стали вязать Дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушак и подал им.

— А вы все слушайте меня. — Ростов обратился к мужикам: — Сейчас марш по домам, и чтобы голоса вашего я не слыхал.

— Что ж, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости. Только вздор наделали. Я же сказывал, что непорядки, — послышались голоса, упрекавшие друг друга.

— Вот я же вам говорил, — сказал Алпатыч, вступая в свои права. — Нехорошо, ребята!

— Глупость наша, Яков Алпатыч, — отвечали голоса, и толпа тотчас же стала расходиться и рассыпаться по деревне.

Связанных мужиков повели на барский двор. Два пьяные мужика шли за ними.

— Эх, посмотрю я на тебя! — говорил один из них, обращаясь к Карпу.

— Разве можно так с господами говорить? Ты думал что?

— Дурак, — подтверждал другой, — право, дурак!

Через два часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики оживленно выносили и укладывали на подводы господские вещи, и Дрон, по желанию княжны Марьи выпущенный из рундука, куда его заперли, стоя на дворе, распоряжался мужиками.

— Ты ее так дурно не клади, — говорил один из мужиков, высокий человек с круглым улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. — Она ведь тоже денег стоит. Что же ты ее так-то вот бросишь или под веревку — а она потрется. Я так не люблю. А чтоб все честно, по закону было. Вот так-то под рогожку, да сенцом прикрой, вот и важно. Любо!

— Ишь книг-то, книг, — сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкафы князя Андрея. — Ты не цепляй! А грузно, ребята, книги здоровые!

— Да, писали, не гуляли! — значительно подмигнув, сказал высокий круглолицый мужик, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху.

Ростов, не желая навязывать свое знакомство княжне, не пошел к ней, а остался в деревне, ожидая ее выезда. Дождавшись выезда экипажей княжны Марьи из дома, Ростов сел верхом и до пути, занятого нашими войсками, в двенадцати верстах от Богучарова, верхом провожал ее. В Янкове, на постоялом дворе, он простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку.

— Как вам не совестно, — краснея, отвечал он княжне Марье на выражение благодарности за ее спасенье (как она называла его поступок), — каждый становой сделал бы то же. Если бы нам только приходилось воевать с мужиками, мы бы не допустили так далеко неприятеля, — говорил он, стыдясь чего-то и стараясь переменить разговор. — Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна, желаю вам счастия и утешения и желаю встретиться с вами при более счастливых условиях. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.

Но княжна, если не благодарила более словами, благодарила его всем выражением своего сиявшего благодарностью и нежностью лица. Она не могла верить ему, что ей не за что благодарить его. Напротив, для нее несомненно было то, что ежели бы его не было, то она, наверное, должна была бы погибнуть и от бунтовщиков и от французов; что он, для того чтобы спасти ее, подвергал себя самым очевидным и страшным опасностям; и еще несомненнее было то, что он был человек с высокой и благородной душой, который умел понять ее положение и горе. Его добрые и честные глаза с выступившими на них слезами, в то время как она сама, заплакав, говорила с ним о своей потере, не выходили из ее воображения.

Когда она простилась с ним и осталась одна, княжна Марья вдруг почувствовала в глазах слезы, и тут уж не в первый раз ей представился странный вопрос, любит ли она его?

По дороге дальше к Москве, несмотря на то, что положение княжны было не радостно, Дуняша, ехавшая с ней в карете, не раз замечала, что княжна, высунувшись в окно кареты, чему-то радостно и грустно улыбалась.

«Ну что же, ежели бы я и полюбила его?» — думала княжна Марья.

Как ни стыдно ей было признаться себе, что она первая полюбила человека, который, может быть, никогда не полюбит ее, она утешала себя мыслью, что никто никогда не узнает этого и что она не будет виновата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том, любить того, которого она любила в первый и в последний раз.

Иногда она вспоминала его взгляды, его участие, его слова, и ей казалось счастье не невозможным. И тогда-то Дуняша замечала, что она улыбаясь глядела в окно кареты.

«И надо было ему приехать в Богучарово, и в эту самую минуту! — думала княжна Марья. — И надо было его сестре отказать князю Андрею!» — И во всем этом княжна Марья видела волю провиденья.

Впечатление, произведенное на Ростова княжной Марьей, было очень приятное. Когда он вспоминал про нее, ему становилось весело, и когда товарищи, узнав о бывшем с ним приключении в Богучарове, шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился. Он сердился именно потому, что мысль о женитьбе на приятной для него, кроткой княжне Марье с огромным состоянием не раз против его воли приходила ему в голову. Для себя лично Николай не мог желать жены лучше княжны Марьи: женитьба на ней сделала бы счастье графини — его матери, и поправила бы дела его отца; и даже — Николай чувствовал это — сделала бы счастье княжны Марьи.

Но Соня? И данное слово? И от этого-то Ростов сердился, когда ему шутили о княжне Болконской.

XV

Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру.

Князь Андрей приехал в Царево-Займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов, кричавших «ура!» новому главнокомандующему. Тут же у ворот, шагах в десяти от князя Андрея, пользуясь отсутствием князя и прекрасной погодой, стояли два денщика, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и, взглянув на князя Андрея, спросил: здесь ли стоит светлейший и скоро ли он будет?

Князь Андрей сказал, что он не принадлежит к штабу светлейшего и тоже приезжий. Гусарский подполковник обратился к нарядному денщику, и денщик главнокомандующего сказал ему с той особенной презрительностью, с которой говорят денщики главнокомандующих с офицерами:

— Что светлейший? Должно быть, сейчас будет. Вам что?

Гусарский подполковник усмехнулся в усы на тон денщика, слез с лошади, отдал ее вестовому и подошел к Болконскому, слегка поклонившись ему. Болконский посторонился на лавке. Гусарский подполковник сел подле него.

— Тоже дожидаетесь главнокомандующего? — заговорил гусарский подполковник. — Говог'ят, всем доступен, слава Богу. А то с колбасниками беда! Недаг'ом Ег'молов в немцы пг'осился. Тепег'ь авось и г'усским говог'ить можно будет. А то чег't знает что делали. Все отступали, все отступали. Вы делали поход? — спросил он.

— Имел удовольствие, — отвечал князь Андрей, — не только участвовать в отступлении, но и потерять в этом отступлении все, что имел дорогого, не говоря об именьях и родном доме... отца, который умер с горя. Я смоленский.

— А?.. Вы князь Болконский? Очень г'ад познакомиться: подполковник Денисов, более известный под именем Васьки, — сказал Денисов, пожимая руку князя Андрея и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского. — Да, я слышал, — сказал он с сочувствием и, помолчав немного, продолжал: — Вот и скифская война. Это все хог'ошо, только не для тех, кто своими боками отдувается. А вы — князь Андг'ей Болконский? — Он покачал головой. — Очень г'ад, князь, очень г'ад познакомиться, — прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку.

Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе. Это воспоминанье и сладко и больно перенесло его теперь к тем болезненным ощущениям, о которых он последнее время давно уже не думал, но которые все-таки были в его душе. В последнее время столько других и таких серьезных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые Горы, недавнее известие о смерти отца, — столько ощущений было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой. И для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, поэтическое прошедшее, когда он, после ужина и пения Наташи, сам не зная как, сделал предложение пятнадцатилетней девочке. Он улыбнулся воспоминаниям того времени и своей любви к Наташе и тотчас же перешел к тому, что страстно и исключительно теперь занимало его. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах. Он представлял этот план Барклаю де Толли и теперь намерен был представить его Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения. Он начал разъяснять свой план князю Андрею.

— Они не могут удег'жать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что пг'ог'ву их; дайте мне пятьсот человек, я г'азог'ву их, это вег'но! Одна система — паг'тизанская.

Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план Болконскому. В средине его изложения крики армии, более нескладные, более распространенные и сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра. На деревне послышался топот и крики.

— Сам едет, — крикнул казак, стоявший у ворот, — едет!

Болконский и Денисов подвинулись к воротам, у которых стояла кучка солдат (почетный караул), и увидали подвигавшегося по улице Кутузова, верхом на невысокой гнедой лошадке. Огромная свита генералов ехала за ним. Барклай ехал почти рядом; толпа офицеров бежала за ними и вокруг них и кричала «ура!». Вперед его во двор проскакали адъютанты. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывшую иноходью под его тяжестью, и беспрестанно кивая головой, прикладывал руку к белой кавалергардской (с красным околышем и без козырька) фуражке,

которая была на нем. Подъехав к почетному караулу молодцов гренадеров, большей частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча, внимательно посмотрел на них начальническим упорным взглядом и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение; он вздернул плечами с жестом недоумения.

— И с такими молодцами всё отступать и отступать! — сказал он. — Ну, до свиданья, генерал, — прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея и Денисова.

— Ура! ура! ура! — кричали сзади его.

С тех пор как не видал его князь Андрей, Кутузов еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз, и рана, и выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в мундирный сюртук (плеть на тонком ремне висела через плечо) и в белой кавалергардской фуражке. Он, тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке.

— Фю... фю... фю... — засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой, крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживавшим его.

Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо, не узнав его, зашагал своей ныряющей походкой к крыльцу.

— Фю... фю... фю, — просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея только после нескольких секунд (как это часто бывает у стариков) связалось с воспоминанием о его личности.

— А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем... — устало проговорил он, оглядываясь, и тяжело вошел на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце.

— Ну, что отец?

— Вчера получил известие о его кончине, — коротко сказал князь Андрей.

Кутузов испуганно-открытыми глазами посмотрел на князя Андрея, потом снял фуражку и перекрестился: «Царство ему небесное! Да будет воля Божия над всеми нами!» Он тяжело, всей грудью, вздохнул и помолчал. «Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой». Он обнял князя Андрея, прижал его к своей жирной груди и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидал, что расплывшиеся губы Кутузова дрожали и на глазах были слезы. Он вздохнул и взялся обеими руками за лавку, чтобы встать.

— Пойдем, пойдем ко мне, поговорим, — сказал он; но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что адъютанты у крыльца сердитым шепотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам, вошел на крыльцо. Кутузов, оставив руки упертыми на лавку, недовольно смотрел на Денисова. Денисов, назвав себя, объявил, что имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов

усталым взглядом стал смотреть на Денисова и, досадливым жестом, приняв руки и сложив их на животе, повторил: «Для блага отечества? Ну что такое? Говори». Денисов покраснел, как девушка (так странно было видеть краску на этом усатом, старом и пьяном лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов жил в этих краях и знал хорошо местность. План его казался несомненно хорошим, в особенности по той силе убеждения, которая была в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор соседней избы, как будто он ждал чего-то неприятного оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно во время речи Денисова показался генерал с портфелем под мышкой.

— Что? — в середине изложения Денисова проговорил Кутузов. — Уже готовы?

— Готов, ваша светлость, — сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.

— Даю честное благог'одное слово г'усского офицег'а, — говорил Денисов, — что я г'азог'ву сообщения Наполеона.

— Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер-интендант, как приходится? — перебил его Кутузов.

— Дядя г'одной, ваша светлость.

— О! приятели были, — весело сказал Кутузов. — Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. — Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему Коновницын.

— Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, — недовольным голосом сказал дежурный генерал, — необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. — Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился...

— Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, — сказал он. — Ты не уходи, — прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.

Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью, в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове, полную, румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа главнокомандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб-соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, а она дома... «Очень хорошенькая», — прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Цареве-Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или

заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что-то другое, что должно было решить дело, — что-то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем-то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, относилось до мародерства русских войск. Дежурный генерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взыскании с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес.

Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.

— В печку... в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, — сказал он, — все эти дела в огонь. Пускай косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят — щепки летят. — Он взглянул еще раз на бумагу. — О, аккуратность немецкая! — проговорил он, качая головой.

XVI

— Ну, теперь все, — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все-таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.

Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:

— И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.

— Ну что, как живешь? — сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это были «Les chevaliers du Cygne», сочинение madam de Genlis[1], как увидал князь Андрей по обертке.

[1] «Рыцари Лебедя»... мадам де Жанлис

— Ну садись, садись тут, поговорим, — сказал Кутузов. — Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец... — Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.

— До чего... до чего довели! — проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. — Дай срок, дай срок, — прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого взволновавшего его разговора, сказал: — Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.

— Благодарю вашу светлость, — отвечал князь Андрей, — но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, — сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. — А главное, — прибавил князь Андрей, — я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте...

Умное, доброе и вместе с тем тонко-насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:

— Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню, с знаменем помню, — сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желания высказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.

— Иди с Богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога — это дорога чести. — Он помолчал. — Я жалел о тебе в Букареште: мне послать надо было. — И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. — Да, немало упрекали меня, — сказал Кутузов, — и за войну и за мир... а все пришло вовремя. Tout vient à point à celui qui sait attendre[1]. А и там советчиков не меньше было, чем здесь... — продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. — Ох, советчики, советчики! — сказал он. — Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции, и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. — Он покачал головой. — И французы тоже будут! Верь моему слову, — воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, — будут у меня лошадиное мясо есть! — И опять глаза его залоснились слезами.

[1] Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать

— Однако должно же будет принять сражение? — сказал князь Андрей.

— Должно будет, если все этого захотят, нечего делать... А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voilà le mal[1]. Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? — спросил он, видимо ожидая ответа. — Да, что ты велишь делать? — повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. — Я тебе скажу, что делать, — проговорил он, так как князь Андрей все-таки не отвечал. — Я тебе скажу, что делать и что я делаю. Dans le doute, mon cher, — он помолчал, — abstiens toi[2], — выговорил он с расстановкой.

— Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. — Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неоконченный роман мадам Жанлис «Les chevaliers du Cygne».

Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, — думал князь Андрей, — но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что-то сильнее и значительнее его воли, — это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной воли, направленной на другое. А главное, — думал князь Андрей, — почему веришь ему, — это то, что он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки; это то, что голос его задрожал, когда он сказал: „До чего довели!“, и что он захлипал, говоря о том, что он „заставит их есть лошадиное мясо“». На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.

XVII

После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Английского клуба суть

[1] этим ухом не слышат, — вот что плохо

[2] В сомнении, мой милый, воздерживайся

вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно-патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму и казались неизбежны.

С приближением неприятеля к Москве взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся большую опасность. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого, до тех пор пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большею частью отдается первому голосу, в обществе, напротив, — второму. Так было и теперь с жителями Москвы. Давно так не веселились в Москве, как этот год.

Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, который, быв в ратниках и выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу, читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина.

В клубе, в угловой комнате, собирались читать эти афиши, и некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет. Некоторые не одобряли этого тона и говорили, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; но рассказывали это преимущественно для того, чтобы при этом случае передать остроумные слова, сказанные Растопчиным при их отправлении. Иностранцев отправляли на барке в Нижний, и Растопчин сказал им: «Rentrez en vous-même, entrez dans la barque et n'en faites pas une barque de Charon»[1]. Рассказывали, что уже выслали из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч, что Безухов еще больше затратил на своих ратников, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед полком и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.

— Вы никому не делаете милости, — сказала Жюли Друбецкая, собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.

[1] «Войдите сами в себя и в эту лодку и постарайтесь, чтоб эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона»

Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала прощальный вечер.

— Безухов est ridicule[1], но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique? [2]

— Штраф! — сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли называла «mon chevalier»[3] и который с нею вместе ехал в Нижний.

В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по-русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований.

— Другой штраф за галлицизм, — сказал русский писатель, бывший в гостиной. — «Удовольствие быть» — не по-русски.

— Вы никому не делаете милости, — продолжала Жюли к ополченцу, не обращая внимания на замечание сочинителя. — За caustique[4] виновата, — сказала она, — и плачу, но за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить: за галлицизмы не отвечаю, — обратилась она к сочинителю: — у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по-русски. А, вот и он, — сказала Жюли. — Quand on...[5] Нет, нет, — обратилась она к ополченцу, — не поймаете. Когда говорят про солнце — видят его лучи, — сказала хозяйка, любезно улыбаясь Пьеру. — Мы только говорили о вас, — с свойственной светским женщинам свободой лжи сказала Жюли. — Мы говорили, что ваш полк, верно, будет лучше мамоновского.

— Ах, не говорите мне про мой полк, — отвечал Пьер, целуя руку хозяйки и садясь подле нее. — Он мне так надоел!

— Вы ведь, верно, сами будете командовать им? — сказала Жюли, хитро и насмешливо переглянувшись с ополченцем.

Ополченец в присутствии Пьера был уже не так caustique, и в лице ею выразилось недоуменье к тому, что означала улыбка Жюли. Несмотря на свою рассеянность и добродушие, личность Пьера прекращала тотчас же всякие попытки на насмешку в его присутствии.

— Нет, — смеясь, отвечал Пьер, оглядывая свое большое, толстое тело. — В меня слишком легко попасть французам, да и я боюсь, что не влезу на лошадь...

В числе перебираемых лиц для предмета разговора общество Жюли попало на Ростовых.

— Очень, говорят, плохи дела их, — сказала Жюли. — И он так бестолков — сам граф. Разумовские хотели купить его дом и подмосковную, и все это тянется. Он дорожится.

— Нет, кажется, на днях состоится продажа, — сказал кто-то. — Хотя теперь и безумно покупать что-нибудь в Москве.

---

[1] смешон

[2] злоязычным?

[3] «мой рыцарь»

[4] язвительность

[5] Когда... — Ред.

— Отчего? — сказала Жюли. — Неужели вы думаете, что есть опасность для Москвы?

— Отчего же вы едете?

— Я? вот странно. Я еду, потому... ну потому, что все едут, и потом, я не Иоанна д'Арк и не амазонка.

— Ну, да, да, дайте мне еще тряпочек.

— Ежели он сумеет повести дела, он может заплатить все долги, — продолжал ополченец про Ростова.

— Добрый старик, но очень pauvre sire[1]. И зачем они живут так долго? Они давно хотели ехать в деревню. Натали, кажется, здорова теперь? — хитро улыбаясь, спросила Жюли у Пьера.

— Они ждут меньшого сына, — сказал Пьер. — Он поступил в казаки Оболенского и поехал в Белую Церковь. Там формируется полк. А теперь они перевели его в мой полк и ждут каждый день. Граф давно хотел ехать, но графиня ни за что не согласна выехать из Москвы, пока не приедет сын.

— Я их третьего дня видела у Архаровых. Натали опять похорошела и повеселела. Она пела один романс. Как все легко проходит у некоторых людей!

— Что проходит? — недовольно спросил Пьер. Жюли улыбнулась.

— Вы знаете, граф, что такие рыцари, как вы, бывают только в романах madame Suza[2].

— Какой рыцарь? Отчего? — краснея, спросил Пьер.

— Ну, полноте, милый граф, c'est la fable de tout Moscou. Je vous admire, ma parole d'honneur[3].

— Штраф! Штраф! — сказал ополченец.

— Ну, хорошо! Нельзя говорить, как скучно!

— Qu'est ce qui est la fable de tout Moscou? [4] — вставая, сказал сердито Пьер.

— Полноте, граф. Вы знаете!

— Ничего не знаю, — сказал Пьер.

— Я знаю, что вы дружны были с Натали, и потому... Нет, я всегда дружнее с Верой. Cette chère Véra! [5]

— Non, madame[6] , — продолжал Пьер недовольным тоном. — Я вовсе не взял на себя роль рыцаря Ростовой, и я уже почти месяц не был у них. Но я не понимаю жестокость...

— Qui s'excuse — s'accuse[7], — улыбаясь и махая корпией, говорила Жюли и, чтобы за ней осталось последнее слово, сейчас же переменила разговор. — Каково, я нынче узнала: бедная Мари Болконская приехала вчера в Москву. Вы слышали, она потеряла отца?

---

[1] плох

[2] госпожа Сюза

[3] это вся Москва знает. Право, я вам удивляюсь

[4] Что знает вся Москва?

[5] Эта милая Вера!

[6] Нет, сударыня

[7] Кто извиняется, тот обвиняет себя

— Неужели! Где она? Я бы очень желал увидать ее, — сказал Пьер.

— Я вчера провела с ней вечер. Она нынче или завтра утром уедет в подмосковную с племянником.

— Ну что она, как? — сказал Пьер.

— Ничего, грустна. Но знаете, кто ее спас? Это целый роман. Nicolas Ростов. Ее окружили, хотели убить, ранили ее людей. Он бросился и спас ее.

— Еще роман, — сказал ополченец. — Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж. Catiche — одна, княжна Болконская — другая.

— Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она un petit peu amoureuse du jeune homme[5].

— Штраф! Штраф! Штраф!

— Но как же это по-русски сказать?..

XVIII

Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Растопчина.

В первой говорилось о том, что слух, будто графом Растопчиным запрещен выезд из Москвы, — несправедлив и что, напротив, граф Растопчин рад, что из Москвы уезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей, — говорилось в афише, — но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Эти слова в первый раз ясно показали Пьеру, что французы будут в Москве. Во второй афише говорилось, что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгенштейн победил французов, но что так как многие жители желают вооружиться, то для них есть приготовленное в арсенале оружие: сабли, пистолеты, ружья, которые жители могут получать по дешевой цене. Тон афиш был уже не такой шутливый, как в прежних Чигиринских разговорах. Пьер задумался над этими афишами. Очевидно, та страшная грозовая туча, которую он призывал всеми силами своей души и которая вместе с тем возбуждала в нем невольный ужас, — очевидно, туча эта приближалась.

«Поступить в военную службу и ехать в армию или дожидаться?» — в сотый раз задавал себе Пьер этот вопрос. Он взял колоду карт, лежавших у него на столе, и стал делать пасьянс.

— Ежели выйдет этот пасьянс, — говорил он сам себе, смешав колоду, держа ее в руке и глядя вверх, — ежели выйдет, то значит... что значит? — Он не успел решить, что значит, как за дверью кабинета послышался голос старшей княжны, спрашивающей, можно ли войти.

— Тогда будет значить, что я должен ехать в армию, — договорил себе Пьер. — Войдите, войдите, — прибавил он, обращаясь к княжне.

(Одна старшая княжна, с длинной талией и окаменелым лицом, продолжала жить в доме Пьера; две меньшие вышли замуж.)

[5] немножечко влюблена в молодого человека

— Простите, mon cousin[1], что я пришла к вам, — сказала она укоризненно-взволнованным голосом. — Ведь надо наконец на что-нибудь решиться! Что ж это будет такое? Все выехали из Москвы, и народ бунтует. Что ж мы остаемся?

— Напротив, все, кажется, благополучно, ma cousine[2], — сказал Пьер с тою привычкой шутливости, которую Пьер, всегда конфузно переносивший свою роль благодетеля перед княжною, усвоил себе в отношении к ней.

— Да, это благополучно... хорошо благополучие! Мне нынче Варвара Ивановна порассказала, как войска наши отличаются. Уж точно можно чести приписать. Да и народ совсем взбунтовался, слушать перестают; девка моя, и та грубить стала. Этак скоро и нас бить станут. По улицам ходить нельзя. А главное, нынче-завтра французы будут, что ж нам ждать! Я об одном прошу, mon cousin, — сказала княжна, — прикажите свезти меня в Петербург: какая я ни есть, а я под бонапартовской властью жить не могу.

— Да полноте, ma cousine, откуда вы почерпаете ваши сведения? Напротив...

— Я вашему Наполеону не покорюсь. Другие как хотят... Ежели вы не хотите этого сделать...

— Да я сделаю, я сейчас прикажу.

Княжне, видимо, досадно было, что не на кого было Сердиться. Она, что-то шепча, присела на стул.

— Но вам это неправильно доносят, — сказал Пьер. — В городе все тихо, и опасности никакой нет. Вот я сейчас читал... — Пьер показал княжне афишки. — Граф пишет, что он жизнью отвечает, что неприятель не будет в Москве.

— Ах, этот ваш граф, — с злобой заговорила княжна, — это лицемер, злодей, который сам настроил народ бунтовать. Разве не он писал в этих дурацких афишах, что какой бы там ни был, тащи его за хохол и на съезжую (и как глупо)! Кто возьмет, говорит, тому и честь и слава. Вот и долюбезничался. Варвара Ивановна говорила, что чуть не убил народ ее за то, что она по-французски заговорила...

— Да ведь это так... Вы всё к сердцу очень принимаете, — сказал Пьер и стал раскладывать пасьянс.

Несмотря на то, что пасьянс сошелся, Пьер не поехал в армию, а остался в опустевшей Москве, все в той же тревоге, нерешимости, в страхе и вместе в радости ожидая чего-то ужасного.

На другой день княжна к вечеру уехала, и к Пьеру приехал его главноуправляющий с известием, что требуемых им денег для обмундирования полка нельзя достать, ежели не продать одно имение. Главноуправляющий вообще представлял Пьеру, что все эти затеи полка должны были разорить его. Пьер с трудом скрывал улыбку, слушая слова управляющего.

— Ну, продайте, — говорил он. — Что ж делать, я не могу отказаться теперь!

Чем хуже было положение всяких дел, и в особенности его дел, тем Пьеру было приятнее, тем очевиднее было, что катастрофа, которой он ждал, приближается. Уже никого почти из знакомых Пьера не было в городе. Жюли уехала, княжна Марья уехала. Из близких знакомых одни Ростовы оставались; но к ним Пьер не ездил.

---

[1] мой кузен

[2] моя кузина

В этот день Пьер, для того чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть большой воздушный шар, который строился Леппихом для погибели врага, и пробный шар, который должен был быть пущен завтра. Шар этот был еще не готов; но, как узнал Пьер, он строился по желанию государя. Государь писал графу Растопчину об этом шаре следующее:

«Aussitôt que Leppich sera prêt, composez lui un équipage pour sa nacelle d'hommes sûrs et intelligents et dépêchez un courrier au général Koutousoff pour l'en prévenir. Je l'ai instruit de la chose.

Recommandez, je vous prie, à Leppich d'être bien attentif sur l'endroit où il descendra la première fois, pour ne pas se tromper et ne pas tomber dans les mains de l'ennemi. Il est indispensable qu'il combine ses mouvements avec le général-en-chef»[1].

Возвращаясь домой из Воронцова и проезжая по Болотной площади, Пьер увидал толпу у Лобного места, остановился и слез с дрожек. Это была экзекуция французского повара, обвиненного в шпионстве. Экзекуция только что кончилась, и палач отвязывал от кобылы жалостно стонавшего толстого человека с рыжими бакенбардами, в синих чулках и зеленом камзоле. Другой преступник, худенький и бледный, стоял тут же. Оба, судя по лицам, были французы. С испуганно-болезненным видом, подобным тому, который имел худой француз, Пьер протолкался сквозь толпу.

— Что это? Кто? За что? — спрашивал он. Но вниманье толпы — чиновников, мещан, купцов, мужиков, женщин в салопах и шубках — так было жадно сосредоточено на то, что происходило на Лобном месте, что никто не отвечал ему. Толстый человек поднялся, нахмурившись, пожал плечами и, очевидно, желая выразить твердость, стал, не глядя вокруг себя, надевать камзол; но вдруг губы его задрожали, и он заплакал, сам сердясь на себя, как плачут взрослые сангвинические люди. Толпа громко заговорила, как показалось Пьеру, — для того, чтобы заглушить в самой себе чувство жалости.

— Повар чей-то княжеский...

— Что, мусью, видно, русский соус кисел французу пришелся... оскомину набил, — сказал сморщенный приказный, стоявший подле Пьера, в то время как француз заплакал. Приказный оглянулся вокруг себя, видимо, ожидая оценки своей шутки. Некоторые засмеялись, некоторые испуганно продолжали смотреть на палача, который раздевал другого.

Пьер засопел носом, сморщился и, быстро повернувшись, пошел назад к дрожкам, не переставая что-то бормотать про себя в то время, как он шел и садился. В продолжение дороги он несколько раз вздрагивал и вскрикивал так громко, что кучер спрашивал его:

— Что прикажете?

— Куда ж ты едешь? — крикнул Пьер на кучера, выезжавшего на Лубянку.

— К главнокомандующему приказали, — отвечал кучер.

---

[1] «Только что Леппих будет готов, составьте экипаж для его лодки из верных и умных людей и пошлите курьера к генералу Кутузову, чтобы предупредить его. Я сообщил ему об этом.

Внушите, пожалуйста, Леппиху, чтобы он обратил хорошенько внимание на то место, где он спустится в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть в руки врага. Необходимо, чтоб он соображал свои движения с движениями главнокомандующего».

— Дурак! скотина! — закричал Пьер, что редко с ним случалось, ругая своего кучера. — Домой я велел; и скорее ступай, болван. Еще нынче надо выехать, — про себя проговорил Пьер.

Пьер при виде наказанного французa и толпы, окружавшей Лобное место, так окончательно решил, что не может долее оставаться в Москве и едет нынче же в армию, что ему казалось, что он или сказал об этом кучеру, или что кучер сам должен был знать это.

Приехав домой, Пьер отдал приказание своему все знающему, все умеющему, известному всей Москве кучеру Евстафьевичу о том, что он в ночь едет в Можайск к войску и чтобы туда были высланы его верховые лошади. Все это не могло быть сделано в тот же день, и потому, по представлению Евстафьевича, Пьер должен был отложить свой отъезд до другого дня, с тем чтобы дать время подставам выехать на дорогу.

24-го числа прояснело после дурной погоды, и в этот день после обеда Пьер выехал из Москвы. Ночью, переменяя лошадей в Перхушкове, Пьер узнал, что в этот вечер было большое сражение. Рассказывали, что здесь, в Перхушкове, земля дрожала от выстрелов. На вопросы Пьера о том, кто победил, никто не мог дать ему ответа. (Это было сражение 24-го числа при Шевардине.) На рассвете Пьер подъезжал к Можайску.

Все дома Можайска были заняты постоем войск, и на постоялом дворе, на котором Пьера встретили его берейтор и кучер, в горницах не было места: все было полно офицерами.

В Можайске и за Можайском везде стояли и шли войска. Казаки, пешие, конные солдаты, фуры, ящики, пушки виднелись со всех сторон. Пьер торопился скорее ехать вперед, и чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевала тревога беспокойства и не испытанное еще им новое радостное чувство. Это было чувство, подобное тому, которое он испытывал и в Слободском дворце во время приезда государя, — чувство необходимости предпринять что-то и пожертвовать чем-то. Он испытывал теперь приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то... С чем, Пьер не мог себе дать отчета, да и не старался уяснить себе, для кого и для чего он находит особенную прелесть пожертвовать всем. Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство.

XIX

24-го было сражение при Шевардинском редуте, 25-го не было пущено ни одного выстрела ни с той, ни с другой стороны, 26-го произошло Бородинское сражение.

Для чего и как были даны и приняты сражения при Шевардине и при Бородине? Для чего было дано Бородинское сражение? Ни для французов, ни для русских оно не имело ни малейшего смысла. Результатом ближайшим было и должно было быть —

для русских то, что мы приблизились к погибели Москвы (чего мы боялись больше всего в мире), а для французов то, что они приблизились к погибели всей армии (чего они тоже боялись больше всего в мире). Результат этот был тогда же совершенно очевиден, а между тем Наполеон дал, а Кутузов принял это сражение.

Ежели бы полководцы руководились разумными причинами, казалось, как ясно должно было быть для Наполеона, что, зайдя за две тысячи верст и принимая сражение с вероятной случайностью потери четверти армии, он шел на верную погибель; и столь же ясно бы должно было казаться Кутузову, что, принимая сражение и тоже рискуя потерять четверть армии, он наверное теряет Москву. Для Кутузова это было математически ясно, как ясно то, что ежели в шашках у меня меньше одной шашкой и я буду меняться, я наверное проиграю и потому не должен меняться.

Когда у противника шестнадцать шашек, а у меня четырнадцать, то я только на одну восьмую слабее его; а когда я поменяюсь тринадцатью шашками, то он будет втрое сильнее меня.

До Бородинского сражения наши силы приблизительно относились к французским как пять к шести, а после сражения как один к двум, то есть до сражения сто тысяч к ста двадцати, а после сражения пятьдесят к ста. А вместе с тем умный и опытный Кутузов принял сражение. Наполеон же, гениальный полководец, как его называют, дал сражение, теряя четверть армии и еще более растягивая свою линию. Ежели скажут, что, заняв Москву, он думал, как занятием Вены, кончить кампанию, то против этого есть много доказательств. Сами историки Наполеона рассказывают, что еще от Смоленска он хотел остановиться, знал опасность своего растянутого положения и знал, что занятие Москвы не будет концом кампании, потому что от Смоленска он видел, в каком положении оставлялись ему русские города, и не получал ни одного ответа на свои неоднократные заявления о желании вести переговоры.

Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов и Наполеон поступили непроизвольно и бессмысленно. А историки под совершившиеся факты уже потом подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех непроизвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и непроизвольными деятелями.

Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, и мы всё еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла.

На другой вопрос: как даны были Бородинское и предшествующее ему Шевардинское сражение — существует точно так же весьма определенное и всем известное, совершенно ложное представление. Все историки описывают дело следующим образом:

Русская армия будто бы в отступлении своем от Смоленска отыскивала себе наилучшую позицию для генерального сражения, и таковая позиция была найдена будто бы у Бородина.

Русские будто бы укрепили вперед эту позицию, влево от дороги (из Москвы в Смоленск), под прямым почти углом к ней, от Бородина к Утице, на том самом месте, где произошло сражение.

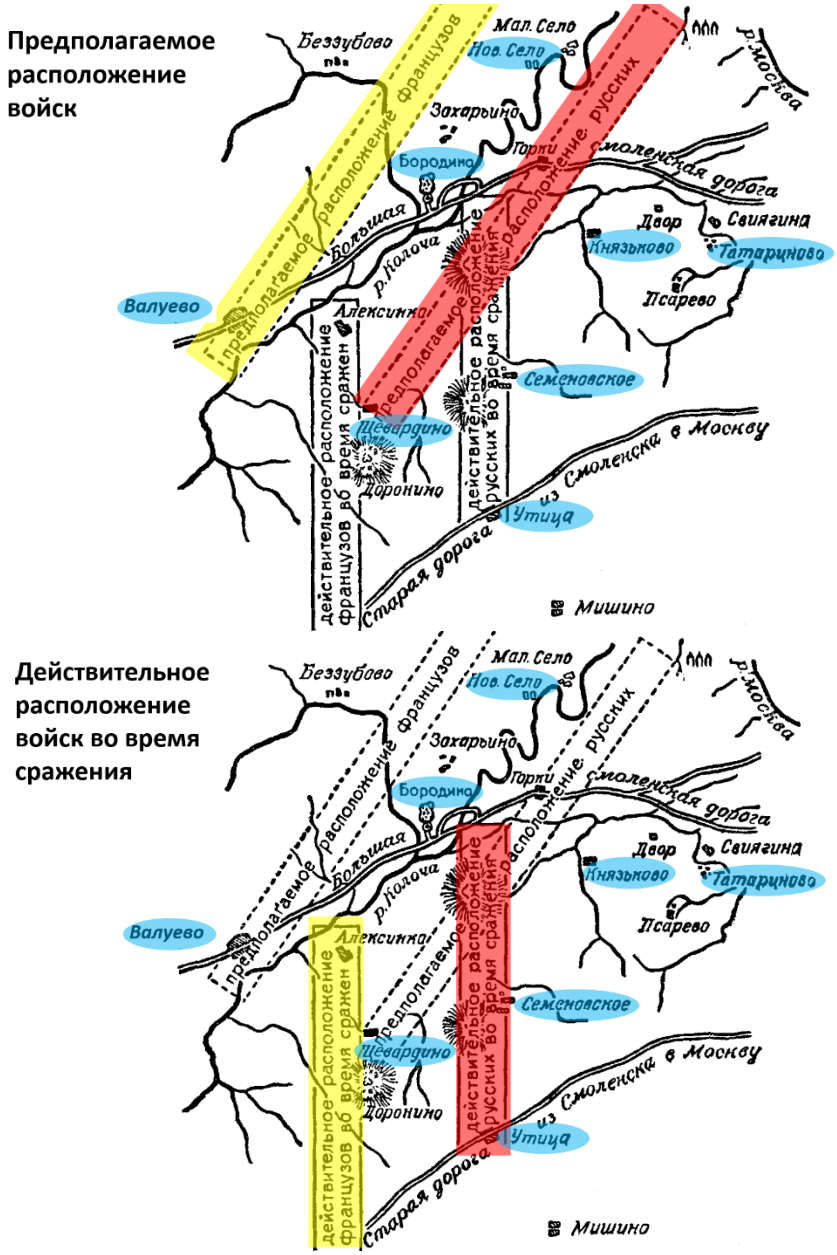
Впереди этой позиции будто бы был выставлен для наблюдения за неприятелем укрепленный передовой пост на Шевардинском кургане. 24-го будто бы Наполеон атаковал передовой пост и взял его. 26-го же атаковал всю русскую армию, стоявшую на позиции на Бородинском поле.

Так говорится в историях, и все это совершенно несправедливо, в чем легко убедится всякий, кто захочет вникнуть в сущность дела.

Русские не отыскивали лучшей позиции; а, напротив, в отступлении своем прошли много позиций, которые были лучше Бородинской. Они не остановились ни на одной из этих позиций: и потому, что Кутузов не хотел принять позицию, избранную не им, и потому, что требованье народного сражения еще недостаточно сильно высказалось, и потому, что не подошел еще Милорадович с ополчением, и еще по другим причинам, которые неисчислимы. Факт тот — что прежние позиции были сильнее и что Бородинская позиция (та, на которой дано сражение) не только не сильна, но вовсе не есть почему-нибудь позиция более, чем всякое другое место в Российской империи, на которое, гадая, указать бы булавкой на карте.

Русские не только не укрепляли позицию Бородинского поля влево под прямым углом от дороги (то есть места, на котором произошло сражение), но и никогда до 25-го августа 1812 года не думали о том, чтобы сражение могло произойти на этом месте. Этому служит доказательством, во-первых, то, что не только 25-го не было на этом месте укреплений, но что, начатые 25-го числа, они не были кончены и 26-го; во-вторых, доказательством служит положение Шевардинского редута: Шевардинский редут, впереди той позиции, на которой принято сражение, не имеет никакого смысла. Для чего был сильнее всех других пунктов укреплен этот редут? И для чего, защищая его 24-го числа до поздней ночи, были истощены все усилия и потеряно шесть тысяч человек? Для наблюдения за неприятелем достаточно было казачьего разъезда. В-третьих, доказательством того, что позиция, на которой произошло сражение, не была предвидена и что Шевардинский редут не был передовым пунктом этой позиции, служит то, что Барклай де Толли и Багратион до 25-го числа находились в убеждении, что Шевардинский редут есть левый фланг позиции и что сам Кутузов в донесении своем, писанном сгоряча после сражения, называет Шевардинский редут левым флангом позиции. Уже гораздо после, когда писались на просторе донесения о Бородинском сражении, было (вероятно, для оправдания ошибок главнокомандующего, имеющего быть непогрешимым) выдумано то несправедливое и странное показание, будто Шевардинский редут служил передовым постом (тогда как это был только укрепленный пункт левого фланга) и будто Бородинское сражение было принято нами на укрепленной и наперед избранной позиции, тогда как оно произошло на совершенно неожиданном и почти не укрепленном месте.

Дело же, очевидно, было так: позиция была избрана по реке Колоче, пересекающей большую дорогу не под прямым, а под острым углом, так что левый фланг был в Шевардине, правый около селения Нового и центр в Бородине, при слиянии рек Колочи и Войны. Позиция эта, под прикрытием реки Колочи, для армии, имеющей целью остановить неприятеля, движущегося по Смоленской дороге к Москве, очевидна для всякого, кто посмотрит на Бородинское поле, забыв о том, как произошло сражение.



Наполеон, выехав 24-го к Валуеву, не увидал (как говорится в историях) позицию русских от Утицы к Бородину (он не мог увидать эту позицию, потому что ее не было) и не увидал передового поста русской армии, а наткнулся в преследовании русского арьергарда на левый фланг позиции русских, на Шевардинский редут, и неожиданно для русских перевел войска через Колочу. И русские, не успев вступить в генеральное сражение, отступили своим левым крылом из позиции, которую они намеревались занять, и заняли новую позицию, которая была не предвидена и не укреплена. Перейдя на левую сторону Колочи, влево от дороги, Наполеон

передвинул все будущее сражение справа налево (со стороны русских) и перенес его в поле между Утицей, Семеновским и Бородиным (в это поле, не имеющее в себе ничего более выгодного для позиции, чем всякое другое поле в России), и на этом поле произошло все сражение 26-го числа. В грубой форме план предполагаемого сражения и происшедшего сражения будет следующий.

Ежели бы Наполеон не выехал вечером 24-го числа на Колочу и не велел бы тотчас же вечером атаковать редут, а начал бы атаку на другой день утром, то никто бы не усомнился в том, что Шевардинский редут был левый фланг нашей позиции; и сражение произошло бы так, как мы его ожидали. В таком случае мы, вероятно, еще упорнее бы защищали Шевардинский редут, наш левый фланг; атаковали бы Наполеона в центре или справа, и 24-го произошло бы генеральное сражение на той позиции, которая была укреплена и предвидена. Но так как атака на наш левый фланг произошла вечером, вслед за отступлением нашего арьергарда, то есть непосредственно после сражения при Гридневой, и так как русские военачальники не хотели или не успели начать тогда же 24-го вечером генерального сражения, то первое и главное действие Бородинского сражения было проиграно еще 24-го числа и, очевидно, вело к проигрышу и того, которое было дано 26-го числа.

После потери Шевардинского редута к утру 25-го числа мы оказались без позиции на левом фланге и были поставлены в необходимость отогнуть наше левое крыло и поспешно укреплять его где ни попало. Но мало того, что 26-го августа русские войска стояли только под защитой слабых, неоконченных укреплений, — невыгода этого положения увеличилась еще тем, что русские военачальники, не признав вполне совершившегося факта (потери позиции на левом фланге и перенесения всего будущего поля сражения справа налево), оставались в своей растянутой позиции от села Нового до Утицы и вследствие того должны были передвигать свои войска во время сражения справа налево. Таким образом, во все время сражения русские имели против всей французской армии, направленной на наше левое крыло, вдвое слабейшие силы. (Действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия.)

Итак, Бородинское сражение произошло совсем не так, как (стараясь скрыть ошибки наших военачальников и вследствие того умаляя славу русского войска и народа) описывают его. Бородинское сражение не произошло на избранной и укрепленной позиции с несколько только слабейшими со стороны русских силами, а Бородинское сражение, вследствие потери Шевардинского редута, принято было русскими на открытой, почти не укрепленной местности с вдвое слабейшими силами против французов, то есть в таких условиях, в которых не только немыслимо было драться десять часов и сделать сражение нерешительным, но немыслимо было удержать в продолжение трех часов армию от совершенного разгрома и бегства.

XX

25-го утром Пьер выезжал из Можайска. На спуске с огромной крутой и кривой горы, ведущей из города, мимо стоящего на горе направо собора, в котором шла служба и благовестили, Пьер вылез из экипажа и пошел пешком. За ним спускался на горе какой-то конный полк с песельниками впереди. Навстречу ему поднимался поезд телег с ранеными во вчерашнем деле. Возчики-мужики, крича на лошадей и хлеща их кнутами, перебегали с одной стороны на другую. Телеги, на которых лежали и сидели по три и по четыре солдата раненых, прыгали по набросанным в виде мостовой камням на крутом подъеме. Раненые, обвязанные тряпками, бледные, с поджатыми губами и нахмуренными бровями, держась за грядки, прыгали и толкались в телегах. Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.

Кучер Пьера сердито кричал на обоз раненых, чтобы они держали к одной. Кавалерийский полк с песнями, спускаясь с горы, надвинулся на дрожки Пьера и стеснил дорогу. Пьер остановился, прижавшись к краю скопанной в горе дороги. Из-за откоса горы солнце не доставало в углубление дороги, тут было холодно, сыро; над головой Пьера было яркое августовское утро, и весело разносился трезвон. Одна подвода с ранеными остановилась у края дороги подле самого Пьера. Возчик в лаптях, запыхавшись, подбежал к своей телеге, подсунул камень под задние нешиненные колеса и стал оправлять шлею на своей ставшей лошаденке.

Один раненый старый солдат с подвязанной рукой, шедший за телегой, взялся за нее здоровой рукой и оглянулся на Пьера.

— Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы? — сказал он.

Пьер так задумался, что не расслышал вопроса. Он смотрел то на кавалерийский, повстречавшийся теперь с поездом раненых полк, то на ту телегу, у которой он стоял и на которой сидели двое раненых и лежал один, и ему казалось, что тут, в них, заключается разрешение занимавшего его вопроса. Один из сидевших на телеге солдат был, вероятно, ранен в щеку. Вся голова его была обвязана тряпками, и одна щека раздулась с детскую голову. Рот и нос у него были на сторону. Этот солдат глядел на собор и крестился. Другой, молодой мальчик, рекрут, белокурый и белый, как бы совершенно без крови в тонком лице, с остановившейся доброй улыбкой смотрел на Пьера; третий лежал ничком, и лица его не было видно. Кавалеристы-песельники проходили над самой телегой.

— Ах запропала... да ежова голова...

— Да на чужой стороне живучи... — выделывали они плясовую солдатскую песню. Как бы вторя им, но в другом роде веселья перебивались в вышине металлические звуки трезвона. И, еще в другом роде веселья, обливали вершину противоположного откоса жаркие лучи солнца. Но под откосом, у телеги с ранеными, подле запыхавшейся лошаденки, у которой стоял Пьер, было сыро, пасмурно и грустно.

Солдат с распухшей щекой сердито глядел на песельников-кавалеристов.

— Ох, щегольки! — проговорил он укоризненно.

— Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят, — сказал с грустной улыбкой солдат, стоявший за телегой и обращаясь к Пьеру. — Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят. — Несмотря на неясность слов солдата, Пьер понял все то, что он хотел сказать, и одобрительно кивнул головой.

Дорога расчистилась, и Пьер сошел под гору и поехал дальше.

Пьер ехал, оглядываясь по обе стороны дороги, отыскивая знакомые лица и везде встречая только незнакомые военные лица разных родов войск, одинаково с удивлением смотревшие на его белую шляпу и зеленый фрак.

Проехав версты четыре, он встретил первого знакомого и радостно обратился к нему. Знакомый этот был один из начальствующих докторов в армии. Он в бричке ехал навстречу Пьеру, сидя рядом с молодым доктором, и, узнав Пьера, остановил своего казака, сидевшего на козлах вместо кучера.

— Граф? Ваше сиятельство, вы как тут? — спросил доктор.

— Да вот хотелось посмотреть...

— Да, да, будет что посмотреть...

Пьер слез и, остановившись, разговорился с доктором, объясняя ему свое намерение участвовать в сражении.

Доктор посоветовал Безухову прямо обратиться к светлейшему.

— Что же вам Бог знает где находиться во время сражения, в безызвестности, — сказал он, переглянувшись с своим молодым товарищем, — а светлейший все-таки знает вас и примет милостиво. Так, батюшка, и сделайте, — сказал доктор.

Доктор казался усталым и спешащим.

— Так вы думаете... А я еще хотел спросить вас, где же самая позиция? — сказал Пьер.

— Позиция? — сказал доктор. — Уж это не по моей части. Проедете Татаринову, там что-то много копают. Там на курган войдете: оттуда видно, — сказал доктор.

— И видно оттуда?.. Ежели бы вы...

Но доктор перебил его и подвинулся к бричке.

— Я бы вас проводил, да, ей-богу, — вот (доктор показал на горло) скачу к корпусному командиру. Ведь у нас как?.. Вы знаете, граф, завтра сражение: на сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо; а у нас ни носилок, ни коек, ни фельдшеров, ни лекарей на шесть тысяч нет. Десять тысяч телег есть, да ведь нужно и другое; как хочешь, так и делай.

Та странная мысль, что из числа тех тысяч людей живых, здоровых, молодых и старых, которые с веселым удивлением смотрели на его шляпу, было, наверное, двадцать тысяч обреченных на раны и смерть (может быть, те самые, которых он видел), — поразила Пьера.

«Они, может быть, умрут завтра, зачем они думают о чем-нибудь другом, кроме смерти?» И ему вдруг по какой-то тайной связи мыслей живо представился спуск с Можайской горы, телеги с ранеными, трезвон, косые лучи солнца и песни кавалеристов.

«Кавалеристы идут на сраженье, и встречают раненых, и ни на минуту не задумываются над тем, что их ждет, а идут мимо и подмигивают раненым. А из этих всех двадцать тысяч обречены на смерть, а они удивляются на мою шляпу! Странно!» — думал Пьер, направляясь дальше к Татариновой.

У помещичьего дома, на левой стороне дороги, стояли экипажи, фургоны, толпы денщиков и часовые. Тут стоял светлейший. Но в то время, как приехал Пьер, его не было, и почти никою не было из штабных. Все были на молебствии. Пьер поехал вперед к Горкам.

Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травою.

Одни из них копали лопатами гору, другие возили по доскам землю в тачках, третьи стояли, ничего не делая.

Два офицера стояли на кургане, распоряжаясь ими. Увидав этих мужиков, очевидно забавляющихся еще своим новым, военным положением, Пьер опять вспомнил раненых солдат в Можайске, и ему понятно стало то, что хотел выразить солдат, говоривший о том, что всем народом навалиться хотят. Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков с их странными неуклюжими сапогами, с их потными шеями и кое у кого расстегнутыми косыми воротами рубах, из-под которых виднелись загорелые кости ключиц, подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты.

XXI

Пьер вышел из экипажа и мимо работающих ополченцев взошел на тот курган, с которого, как сказал ему доктор, было видно поле сражения.

Было часов одиннадцать утра. Солнце стояло несколько влево и сзади Пьера и ярко освещало сквозь чистый, редкий воздух огромную, амфитеатром по поднимающейся местности открывшуюся перед ним панораму.

Вверх и влево по этому амфитеатру, разрезывая его, вилась большая Смоленская дорога, шедшая через село с белой церковью, лежавшее в пятистах шагах впереди кургана и ниже его (это было Бородино). Дорога переходила под деревней через мост и через спуски и подъемы вилась все выше и выше к видневшемуся верст за шесть селению Валуеву (в нем стоял теперь Наполеон). За Валуевым дорога скрывалась в желтевшем лесу на горизонте. В лесу этом, березовом и еловом, вправо от направления дороги, блестел на солнце дальний крест и колокольня Колоцкого монастыря. По всей этой синей дали, вправо и влево от леса и дороги, в разных местах виднелись дымящиеся костры и неопределенные массы войск наших и неприятельских. Направо, по течению рек Колочи и Москвы, местность была ущелиста и гориста. Между ущельями их вдали виднелись деревни Беззубово,

Захарьино. Налево местность была ровнее, были поля с хлебом, и виднелась одна дымящаяся, сожженная деревня — Семеновская.

Все, что видел Пьер направо и налево, было так неопределенно, что ни левая, ни правая сторона поля не удовлетворяла вполне его представлению. Везде было не поле сражения, которое он ожидал видеть, а поля, поляны, войска, леса, дымы костров, деревни, курганы, ручьи; и сколько ни разбирал Пьер, он в этой живой местности не мог найти позиции и не мог даже отличить наших войск от неприятельских.

«Надо спросить у знающего», — подумал он и обратился к офицеру, с любопытством смотревшему на его невоенную огромную фигуру.

— Позвольте спросить, — обратился Пьер к офицеру, — это какая деревня впереди?

— Бурдино или как? — сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу.

— Бородино, — поправляя, отвечал другой.

Офицер, видимо, довольный случаем поговорить, подвинулся к Пьеру.

— Там наши? — спросил Пьер.

— Да, а вон подальше и французы, — сказал офицер. — Вон они, вон видны.

— Где? где? — спросил Пьер.

— Простым глазом видно. Да вот, вот! — Офицер показал рукой на дымы, видневшиеся влево за рекой, и на лице его показалось то строгое и серьезное выражение, которое Пьер видел на многих лицах, встречавшихся ему.

— Ах, это французы? А там?.. — Пьер показал влево на курган, около которого виднелись войска.

— Это наши.

— Ах, наши! А там?.. — Пьер показал на другой далекий курган с большим деревом, подле деревни, видневшейся в ущелье, у которой тоже дымились костры и чернелось что-то.

— Это опять он, — сказал офицер. (Это был Шевардинский редут.) — Вчера было наше, а теперь его.

— Так как же наша позиция?

— Позиция? — сказал офицер с улыбкой удовольствия. — Я это могу рассказать вам ясно, потому что я почти все укрепления наши строил. Вот видите ли, центр наш в Бородине, вот тут. — Он указал на деревню с белой церковью, бывшей впереди. — Тут переправа через Колочу. Вот тут, видите, где еще в низочке ряды скошенного сена лежат, вот тут и мост. Это наш центр. Правый фланг наш вот где (он указал круто направо, далеко в ущелье), там Москва-река, и там мы три редута построили очень сильные. Левый фланг... — и тут офицер остановился. — Видите ли, это трудно вам объяснить... Вчера левый фланг наш был вот там, в Щевардине, вон, видите, где дуб; а теперь мы отнесли назад левое крыло, теперь вон, вон — видите деревню и дым? — это Семеновское, да вот здесь, — он указал на курган Раевского. — Только вряд ли будет тут сраженье. Что он перевел сюда войска, это обман; он, верно, обойдет

справа от Москвы. Ну, да где бы ни было, многих завтра недосчитаемся! — сказал офицер.

Старый унтер-офицер, подошедший к офицеру во время его рассказа, молча ожидал конца речи своего начальника; но в этом месте он, очевидно, недовольный словами офицера, перебил его.

— За турами ехать надо, — сказал он строго.

Офицер как будто смутился, как будто он понял, что можно думать о том, сколь многих недосчитаются завтра, но не следует говорить об этом.

— Ну да, посылай третью роту опять, — поспешно сказал офицер.

— А вы кто же, не из докторов?

— Нет, я так, — отвечал Пьер. И Пьер пошел под гору опять мимо ополченцев.

— Ах, проклятые! — проговорил следовавший за ним офицер, зажимая нос и пробегая мимо работающих.

— Вон они!.. Несут, идут... Вон они... сейчас войдут... — послышались вдруг голоса, и офицеры, солдаты и ополченцы побежали вперед по дороге.

Из-под горы от Бородина поднималось церковное шествие. Впереди всех по пыльной дороге стройно шла пехота с снятыми киверами и ружьями, опущенными книзу. Позади пехоты слышалось церковное пение.

Обгоняя Пьера, без шапок бежали навстречу идущим солдаты и ополченцы.

— Матушку несут! Заступницу!.. Иверскую!!.

— Смоленскую Матушку, — поправил другой.

Ополченцы — и те, которые были в деревне, и те, которые работали на батарее, — побросав лопаты, побежали навстречу церковному шествию. За батальоном, шедшим по пыльной дороге, шли в ризах священники, один старичок в клобуке с причтом и певчими. За ними солдаты и офицеры несли большую, с черным ликом в окладе, икону. Это была икона, вывезенная из Смоленска и с того времени возимая за армией. За иконой, кругом ее, впереди ее, со всех сторон шли, бежали и кланялись в землю с обнаженными головами толпы военных.

Взойдя на гору, икона остановилась; державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Жаркие лучи солнца били отвесно сверху; слабый, свежий ветерок играл волосами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона; пение негромко раздавалось под открытым небом. Огромная толпа с открытыми головами офицеров, солдат, ополченцев окружала икону. Позади священника и дьячка, на очищенном месте, стояли чиновные люди. Один плешивый генерал с Георгием на шее стоял прямо за спиной священника и, не крестясь (очевидно, немец), терпеливо дожидался конца молебна, который он считал нужным выслушать, вероятно, для возбуждения патриотизма русского народа. Другой генерал стоял в воинственной позе и потряхивал рукой перед грудью, оглядываясь вокруг себя. Между этим чиновным кружком Пьер, стоявший в толпе мужиков, узнал некоторых знакомых; но он не смотрел на них: все внимание его было поглощено серьезным выражением лиц в этой толпе солдат и ополченцев, однообразно жадно смотревших на икону. Как только уставшие дьячки

(певшие двадцатый молебен) начинали лениво и привычно петь: «Спаси от бед рабы твоя, Богородице», и священник и дьякон подхватывали: «Яко вси по Бозе к тебе прибегаем, яко нерушимой стене и предстатедьству», — на всех лицах вспыхивало опять то же выражение сознания торжественности наступающей минуты, которое он видел под горой в Можайске и урывками на многих и многих лицах, встреченных им в это утро; и чаще опускались головы, встряхивались волоса и слышались вздохи и удары крестов по грудям.

Толпа, окружавшая икону, вдруг раскрылась и надавила Пьера. Кто-то, вероятно, очень важное лицо, судя по поспешности, с которой перед ним сторонились, подходил к иконе.

Это был Кутузов, объезжавший позицию. Он, возвращаясь к Татариновой, подошел к молебну. Пьер тотчас же узнал Кутузова по его особенной, отличавшейся от всех фигуре.

В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице, Кутузов вошел своей ныряющей, раскачивающейся походкой в круг и остановился позади священника. Он перекрестился привычным жестом, достал рукой до земли и, тяжело вздохнув, опустил свою седую голову. За Кутузовым был Бенигсен и свита. Несмотря на присутствие главнокомандующего, обратившего на себя внимание всех высших чинов, ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться.

Когда кончился молебен, Кутузов подошел к иконе, тяжело опустился на колена, кланяясь в землю, и долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости. Седая голова его подергивалась от усилий. Наконец он встал и с детски-наивным вытягиванием губ приложился к иконе и опять поклонился, дотронувшись рукой до земли. Генералитет последовал его примеру; потом офицеры, и за ними, давя друг друга, топчась, пыхтя и толкаясь, с взволнованными лицами, полезли солдаты и ополченцы.

XXII

Покачиваясь от давки, охватившей его, Пьер оглядывался вокруг себя.

— Граф, Петр Кирилыч! Вы как здесь? — сказал чей-то голос. Пьер оглянулся.

Борис Друбецкой, обчищая рукой коленки, которые он запачкал (вероятно, тоже прикладываясь к иконе), улыбаясь подходил к Пьеру. Борис был одет элегантно, с оттенком походной воинственности. На нем был длинный сюртук и плеть через плечо, так же, как у Кутузова.

Кутузов между тем подошел к деревне и сел в тени ближайшего дома на лавку, которую бегом принес один казак, а другой поспешно покрыл ковриком. Огромная блестящая свита окружила главнокомандующего.

Икона тронулась дальше, сопутствуемая толпой. Пьер шагах в тридцати от Кутузова остановился, разговаривая с Борисом.

Пьер объяснил свое намерение участвовать в сражении и осмотреть позицию.

— Вот как сделайте, — сказал Борис. — Je vous ferai les honneurs du camp[1]. Лучше всего вы увидите все оттуда, где будет граф Бенигсен. Я ведь при нем состою. Я ему доложу. А если хотите объехать позицию, то поедемте с нами: мы сейчас едем на левый фланг. А потом вернемся, и милости прошу у меня ночевать, и партию составим. Вы ведь знакомы с Дмитрием Сергеичем? Он вот тут стоит, — он указал третий дом в Горках.

— Но мне бы хотелось видеть правый фланг: говорят, он очень силен, — сказал Пьер. — Я бы хотел проехать от Москвы-реки и всю позицию.

— Ну, это после можете, а главный — левый фланг...

— Да, да. А где полк князя Болконского, не можете вы указать мне? — спросил Пьер.

— Андрея Николаевича? мы мимо проедем, я вас проведу к нему.

— Что ж левый фланг? — спросил Пьер.

— По правде вам сказать, entre nous[2], левый фланг наш Бог знает в каком положении, — сказал Борис, доверчиво понижая голос, — граф Бенигсен совсем не то предполагал. Он предполагал укрепить вон тот курган, совсем не так... но, — Борис пожал плечами. — Светлейший не захотел, или ему наговорили. Ведь... — И Борис не договорил, потому что в это время к Пьеру подошел Кайсаров, адъютант Кутузова. — А! Паисий Сергеич, — сказал Борис, с свободной улыбкой обращаясь к Кайсарову. — А я вот стараюсь объяснить графу позицию. Удивительно, как мог светлейший так верно угадать замыслы французов!

— Вы про левый фланг? — сказал Кайсаров.

— Да, да, именно. Левый фланг наш теперь очень, очень силен.

Несмотря на то, что Кутузов выгонял всех лишних из штаба, Борис после перемен, произведенных Кутузовым, сумел удержаться при главной квартире. Борис пристроился к графу Бенигсену. Граф Бенигсен, как и все люди, при которых находился Борис, считал молодого князя Друбецкого неоцененным человеком.

В начальствовании армией были две резкие, определенные партии: партия Кутузова и партия Бенигсена, начальника штаба. Борис находился при этой последней партии, и никто так, как он, не умел, воздавая раболепное уважение Кутузову, давать чувствовать, что старик плох и что все дело ведется Бенигсеном. Теперь наступила решительная минута сражения, которая должна была или уничтожить Кутузова и передать власть Бенигсену, или, ежели бы даже Кутузов выиграл сражение, дать почувствовать, что все сделано Бенигсеном. Во всяком случае, за завтрашний день должны были быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди. И вследствие этого Борис находился в раздраженном оживлении весь этот день.

За Кайсаровым к Пьеру еще подошли другие из его знакомых, и он не успевал отвечать на расспросы о Москве, которыми они засыпали его, и не успевал

[1] Я приму вас в лагере с подобающими почестями

[2] между нами

выслушивать рассказов, которые ему делали. На всех лицах выражались оживление и тревога. Но Пьеру казалось, что причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти. Кутузов заметил фигуру Пьера и группу, собравшуюся около него.

— Позовите его ко мне, — сказал Кутузов. Адъютант передал желание светлейшего, и Пьер направился к скамейке. Но еще прежде него к Кутузову подошел рядовой ополченец. Это был Долохов.

— Этот как тут? — спросил Пьер.

— Это такая бестия, везде пролезет! — отвечали Пьеру. — Ведь он разжалован. Теперь ему выскочить надо. Какие-то проекты подавал, и в цепь неприятельскую ночью лазил... но молодец!..

Пьер, сняв шляпу, почтительно наклонился перед Кутузовым.

— Я решил, что, ежели я доложу вашей светлости, вы можете прогнать меня или сказать, что вам известно то, что я докладываю, и тогда меня не убудет... — говорил Долохов.

— Так, так.

— А ежели я прав, то я принесу пользу отечеству, для которого я готов умереть.

— Так... так...

— И ежели вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне... Может быть, я пригожусь вашей светлости.

— Так... так... — повторил Кутузов, смеющимся, суживающимся глазом глядя на Пьера.

В это время Борис, с своей придворной ловкостью, выдвинулся рядом с Пьером в близость начальства и с самым естественным видом и не громко, как бы продолжая начатый разговор, сказал Пьеру:

— Ополченцы — те прямо надели чистые белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!

Борис сказал это Пьеру, очевидно, для того, чтобы быть услышанным светлейшим. Он знал, что Кутузов обратит внимание на эти слова, и действительно светлейший обратился к нему.

— Ты что говоришь про ополченье? — сказал он Борису.

— Они, ваша светлость, готовясь к завтрашнему дню, к смерти, надели белые рубахи.

— А!.. Чудесный, бесподобный народ! — сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой. — Бесподобный народ! — повторил он со вздохом.

— Хотите пороху понюхать? — сказал он Пьеру. — Да, приятный запах. Имею честь быть обожателем супруги вашей, здорова она? Мой привал к вашим услугам. — И, как это часто бывает с старыми людьми, Кутузов стал рассеянно оглядываться, как будто забыв все, что ему нужно было сказать или сделать.

Очевидно, вспомнив то, что он искал, он подманил к себе Андрея Сергеича Кайсарова, брата своего адъютанта.

— Как, как, как стихи-то Марина, как стихи, как? Что на Геракова написал: «Будешь в корпусе учитель...» Скажи, скажи, — заговорил Кутузов, очевидно, собираясь посмеяться. Кайсаров прочел... Кутузов, улыбаясь, кивал головой в такт стихов.

Когда Пьер отошел от Кутузова, Долохов, подвинувшись к нему, взял его за руку.

— Очень рад встретить вас здесь, граф, — сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних, с особенной решительностью и торжественностью. — Накануне дня, в который Бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня.

Пьер, улыбаясь, глядел на Долохова, не зная, что сказать ему. Долохов со слезами, выступившими ему на глаза, обнял и поцеловал Пьера.

Борис что-то сказал своему генералу, и граф Бенигсен обратился к Пьеру и предложил ехать с собою вместе по линии.

— Вам это будет интересно, — сказал он.

— Да, очень интересно, — сказал Пьер.

Через полчаса Кутузов уехал в Татаринову, и Бенигсен со свитой, в числе которой был и Пьер, поехал по линии.

XXIII

Бенигсен от Горок спустился по большой дороге к мосту, на который Пьеру указывал офицер с кургана как на центр позиции и у которого на берегу лежали ряды скошенной, пахнувшей сеном травы. Через мост они проехали в село Бородино, оттуда повернули влево и мимо огромного количества войск и пушек выехали к высокому кургану, на котором копали землю ополченцы. Это был редут, еще не имевший названия, потом получивший название редута Раевского, или курганной батареи.

Пьер не обратил особенного внимания на этот редут. Он не знал, что это место будет для него памятнее всех мест Бородинского поля. Потом они поехали через овраг к Семеновскому, в котором солдаты растаскивали последние бревна изб и овинов. Потом под гору и на гору они проехали вперед через поломанную, выбитую, как градом, рожь, по вновь проложенной артиллерией по колчам пашни дороге на флеши[1], тоже тогда еще копаемые.

Бенигсен остановился на флешах и стал смотреть вперед на (бывший еще вчера нашим) Шевардинский редут, на котором виднелось несколько всадников. Офицеры говорили, что там был Наполеон или Мюрат. И все жадно смотрели на эту кучку всадников. Пьер тоже смотрел туда, стараясь угадать, который из этих чуть видневшихся людей был Наполеон. Наконец всадники съехали с кургана и скрылись.

[1] род укрепления (Примеч. Л. Н. Толстого.)

Бенигсен обратился к подошедшему к нему генералу и стал пояснять все положение наших войск. Пьер слушал слова Бенигсена, напрягая все свои умственные силы к тому, чтобы понять сущность предстоящего сражения, но с огорчением чувствовал, что умственные способности его для этого были недостаточны. Он ничего не понимал. Бенигсен перестал говорить и, заметив фигуру прислушивавшегося Пьера, сказал вдруг, обращаясь к нему:

— Вам, я думаю, неинтересно?

— Ах, напротив, очень интересно, — повторил Пьер не совсем правдиво.

С флеш они поехали еще левее дорогою, вьющеюся по частому, невысокому березовому лесу. В середине этого леса выскочил перед ними на дорогу коричневый с белыми ногами заяц и, испуганный топотом большого количества лошадей, так растерялся, что долго прыгал по дороге впереди их, возбуждая общее внимание и смех, и, только когда в несколько голосов крикнули на него, бросился в сторону и скрылся в чаще. Проехав версты две по лесу, они выехали на поляну, на которой стояли войска корпуса Тучкова, долженствовавшего защищать левый фланг.

Здесь, на крайнем левом фланге, Бенигсен много и горячо говорил и сделал, как казалось Пьеру, важное в военном отношении распоряжение. Впереди расположения войск Тучкова находилось возвышение. Это возвышение не было занято войсками. Бенигсен громко критиковал эту ошибку, говоря, что было безумно оставить незанятою командующую местностью высоту и поставить войска под нею. Некоторые генералы выражали то же мнение. Один в особенности с воинской горячностью говорил о том, что их поставили тут на убой. Бенигсен приказал своим именем передвинуть войска на высоту.

Распоряжение это на левом фланге еще более заставило Пьера усумниться в его способности понять военное дело. Слушая Бенигсена и генералов, осуждавших положение войск под горою, Пьер вполне понимал их и разделял их мнение; но именно вследствие этого он не мог понять, каким образом мог тот, кто поставил их тут под горою, сделать такую очевидную и грубую ошибку.

Пьер не знал того, что войска эти были поставлены не для защиты позиции, как думал Бенигсен, а были поставлены в скрытое место для засады, то есть для того, чтобы быть незамеченными и вдруг ударить на подвигавшегося неприятеля. Бенигсен не знал этого и передвинул войска вперед по особенным соображениям, не сказав об этом главнокомандующему.

XXIV

Князь Андрей в этот ясный августовский вечер 25-го числа лежал, облокотившись на руку, в разломанном сарае деревни Князькова, на краю расположения своего полка. В отверстие сломанной стены он смотрел на шедшую вдоль по забору полосу тридцатилетних берез с обрубленными нижними сучьями, на пашню с разбитыми на ней копнами овса и на кустарник, по которому виднелись дымы костров — солдатских кухонь.

Как ни тесна и никому не нужна и не тяжка теперь казалась князю Андрею его жизнь, он так же, как и семь лет тому назад в Аустерлице накануне сражения, чувствовал себя взволнованным и раздраженным.

Приказания на завтрашнее сражение были отданы и получены им. Делать ему было больше нечего. Но мысли самые простые, ясные и потому страшные мысли не оставляли его в покое. Он знал, что завтрашнее сражение должно было быть самое страшное изо всех тех, в которых он участвовал, и возможность смерти в первый раз в его жизни, без всякого отношения к житейскому, без соображений о том, как она подействует на других, а только по отношению к нему самому, к его душе, с живостью, почти с достоверностью, просто и ужасно, представилась ему. И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различия очертаний. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы, — говорил он себе, перебирая в своем воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня — ясной мысли о смерти. — Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». Три главные горя его жизни в особенности останавливали его внимание. Его любовь к женщине, смерть его отца и французское нашествие, захватившее половину России. «Любовь!.. Эта девочка, мне казавшаяся преисполненною таинственных сил. Как же я любил ее! я делал поэтические планы о любви, о счастии с нею. О милый мальчик! — с злостью вслух проговорил он. — Как же! я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия! Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной. А все это гораздо проще... Все это ужасно просто, гадко!

Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это его место, его земля, его воздух, его мужики; а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, столкнул его, и развалились его Лысые Горы и вся его жизнь. А княжна Марья говорит, что это испытание, посланное свыше. Для чего же испытание, когда его уже нет и не будет? никогда больше не будет! Его нет! Так кому же это испытание? Отечество, погибель Москвы! А завтра меня убьет — и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, и сложатся новые условия жизни, которые будут также привычны для других, и я не буду знать про них, и меня не будет».

Он поглядел на полосу берез с их неподвижной желтизной, зеленью и белой корой, блестящих на солнце. «Умереть, чтобы меня убили завтра, чтобы меня не было... чтобы все это было, а меня бы не было». Он живо представил себе отсутствие себя в этой жизни. И эти березы с их светом и тенью, и эти курчавые облака, и этот дым костров — все вокруг преобразилось для него и показалось чем-то страшным и угрожающим. Мороз пробежал по его спине. Быстро встав, он вышел из сарая и стал ходить.

За сараем послышались голоса.

— Кто там? — окликнул князь Андрей.

Красноносый капитан Тимохин, бывший ротный командир Долохова, теперь, за убылью офицеров, батальонный командир, робко вошел в сарай. За ним вошли адъютант и казначей полка.

Князь Андрей поспешно встал, выслушал то, что по службе имели передать ему офицеры, передал им еще некоторые приказания и сбирался отпустить их, когда из-за сарая послышался знакомый, пришепетывающий голос.

— Que diable! [1] — сказал голос человека, стукнувшегося обо что-то.

Князь Андрей, выглянув из сарая, увидал подходящего к нему Пьера, который споткнулся на лежавшую жердь и чуть не упал. Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей из своего мира, в особенности же Пьера, который напоминал ему все те тяжелые минуты, которые он пережил в последний приезд в Москву.

— А, вот как! — сказал он. — Какими судьбами? Вот не ждал.

В то время как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица было больше чем сухость — была враждебность, которую тотчас же заметил Пьер. Он подходил к сараю в самом оживленном состоянии духа, но, увидав выражение лица князя Андрея, он почувствовал себя стесненным и неловким.

— Я приехал... так... знаете... приехал... мне интересно, — сказал Пьер, уже столько раз в этот день бессмысленно повторявший это слово «интересно». — Я хотел видеть сражение.

— Да, да, а братья-масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал князь Андрей насмешливо. — Ну что Москва? Что мои? Приехали ли наконец в Москву? — спросил он серьезно.

— Приехали. Жюли Друбецкая говорила мне. Я поехал к ним и не застал. Они уехали в подмосковную.

XXV

Офицеры хотели откланяться, но князь Андрей, как будто не желая оставаться с глазу на глаз с своим другом, предложил им посидеть и напиться чаю. Подали скамейки и чай. Офицеры не без удивления смотрели на толстую, громадную фигуру Пьера и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину, чем к Болконскому.

— Так ты понял все расположение войск? — перебил его князь Андрей.

— Да, то есть как? — сказал Пьер. — Как невоенный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.

— Eh bien, vous êtes plus avancé que qui cela soit[2], — сказал князь Андрей.

— А! — сказал Пьер с недоуменьем, через очки глядя на князя Андрея. — Ну, как вы скажете насчет назначения Кутузова? — сказал он.

---

[1] Черт возьми!

[2] Ну, так ты больше знаешь, чем кто бы то ни было

— Я очень рад был этому назначению, вот все, что я знаю, — сказал князь Андрей.

— Ну, а скажите, какое ваше мнение насчет Барклая де Толли? В Москве Бог знает что говорили про него. Как вы судите о нем?

— Спроси вот у них, — сказал князь Андрей, указывая на офицеров.

Пьер с снисходительно вопросительной улыбкой, с которой невольно все обращались к Тимохину, посмотрел на него.

— Свет увидали, ваше сиятельство, как светлейшей поступил, — робко и беспрестанно оглядываясь на своего полкового командира, сказал Тимохин.

— Отчего же так? — спросил Пьер.

— Да вот хоть бы насчет дров или кормов, доложу вам. Ведь мы от Свенцян отступали, не смей хворостины тронуть, или сенца там, или что. Ведь мы уходим, ему достается, не так ли, ваше сиятельство? — обратился он к своему князю, — а ты не смей. В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали...

— Так отчего же он запрещал?

Тимохин сконфуженно оглядывался, не понимая, как и что отвечать на такой вопрос. Пьер с тем же вопросом обратился к князю Андрею.

— А чтобы не разорять край, который мы оставляли неприятелю, — злобно-насмешливо сказал князь Андрей. — Это очень основательно: нельзя позволять грабить край и приучаться войскам к мародерству. Ну и в Смоленске он тоже правильно рассудил, что французы могут обойти нас и что у них больше сил. Но он не мог понять того, — вдруг как бы вырвавшимся тонким голосом закричал князь Андрей, — но он не мог понять, что мы в первый раз дрались там за русскую землю, что в войсках был такой дух, какого никогда я не видал, что мы два дня сряду отбивали французов и что этот успех удесятерял наши силы. Он велел отступать, и все усилия и потери пропали даром. Он не думал об измене, он старался все сделать как можно лучше, он все обдумал; но от этого-то он и не годится. Он не годится теперь именно потому, что он все обдумывает очень основательно и аккуратно, как и следует всякому немцу. Как бы тебе сказать. Ну, у отца твоего немец-лакей, и он прекрасный лакей и удовлетворит всем его нуждам лучше тебя, и пускай он служит; но ежели отец при смерти болен, ты прогонишь лакея и своими непривычными, неловкими руками станешь ходить за отцом и лучше успокоишь его, чем искусный, но чужой человек. Так и сделали с Барклаем. Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек. А у вас в клубе выдумали, что он изменник! Тем, что его оклеветали изменником, сделают только то, что потом, устыдившись своего ложного нарекания, из изменников сделают вдруг героем или гением, что еще будет несправедливее. Он честный и очень аккуратный немец...

— Однако, говорят, он искусный полководец, — сказал Пьер.

— Я не понимаю, что такое значит искусный полководец, — с насмешкой сказал князь Андрей.

— Искусный полководец, — сказал Пьер, — ну, тот, который предвидел все случайности... ну, угадал мысли противника.

— Да это невозможно, — сказал князь Андрей как будто про давно решенное дело.

Пьер с удивлением посмотрел на него.

— Однако, — сказал он, — ведь говорят же, что война подобна шахматной игре.

— Да, — сказал князь Андрей, — только с тою маленькою разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с той разницей, что конь всегда сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты. Относительная сила войск никому не может быть известна. Поверь мне, — сказал он, — что ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них... Успех никогда не зависел и не будет зависеть ни от позиции, ни от вооружения, ни даже от числа; а уж меньше всего от позиции.

— А от чего же?

— От того чувства, которое есть во мне, в нем, — он указал на Тимохина, — в каждом солдате.

Князь Андрей взглянул на Тимохина, который испуганно и недоумевая смотрел на своего командира. В противность своей прежней сдержанной молчаливости князь Андрей казался теперь взволнованным. Он, видимо, не мог удержаться от высказывания тех мыслей, которые неожиданно приходили ему.

— Сражение выиграет тот, кто твердо решил его выиграть. Отчего мы под Аустерлицем проиграли сражение? У нас потеря была почти равная с французами, но мы сказали себе очень рано, что мы проиграли сражение, — и проиграли. А сказали мы это потому, что нам там незачем было драться: поскорее хотелось уйти с поля сражения. «Проиграли — ну так бежать!» — мы и побежали. Ежели бы до вечера мы не говорили этого, Бог знает что бы было. А завтра мы этого не скажем. Ты говоришь: наша позиция, левый фланг слаб, правый фланг растянут, — продолжал он, — все это вздор, ничего этого нет. А что нам предстоит завтра? Сто миллионов самых разнообразных случайностей, которые будут решаться мгновенно тем, что побежали или побегут они или наши, что убьют того, убьют другого; а то, что делается теперь, — все это забава. Дело в том, что те, с кем ты ездил по позиции, не только не содействуют общему ходу дел, но мешают ему. Они заняты только своими маленькими интересами.

— В такую минуту? — укоризненно сказал Пьер.

— В такую минуту, — повторил князь Андрей, — для них это только такая минута, в которую можно подкопаться под врага и получить лишний крестик или ленточку. Для меня на завтра вот что: стотысячное русское и стотысячное французское войска сошлись драться, и факт в том, что эти двести тысяч дерутся, и кто будет злей драться и себя меньше жалеть, тот победит. И хочешь, я тебе скажу, что,

что бы там ни было, что бы ни путали там вверху, мы выиграем сражение завтра. Завтра, что бы там ни было, мы выиграем сражение!

— Вот, ваше сиятельство, правда, правда истинная, — проговорил Тимохин. — Что себя жалеть теперь! Солдаты в моем батальоне, поверите ли, не стали водку пить: не такой день, говорят. — Все помолчали.

Офицеры поднялись. Князь Андрей вышел с ними за сарай, отдавая последние приказания адъютанту. Когда офицеры ушли, Пьер подошел к князю Андрею и только что хотел начать разговор, как по дороге недалеко от сарая застучали копыта трех лошадей, и, взглянув по этому направлению, князь Андрей узнал Вольцогена с Клаузевицем, сопутствуемых казаком. Они близко проехали, продолжая разговаривать, и Пьер с Андреем невольно услыхали следующие фразы:

— Der Krieg muß im Raum verlegt werden. Der Ansicht kann ich nicht genug Preis geben[1], — говорил один.

— O, ja, — сказал другой голос, — da der Zweck ist nur den Feind zu schwächen, so kann man gewiß nicht den Verlust der Privatpersonen in Achtung nehmen[2]. — O ja, — подтвердил первый голос.

— Да, im Raum verlegen[3], — повторил, злобно фыркая носом, князь Андрей, когда они проехали. — Im Raum [4]-то у меня остался отец, и сын, и сестра в Лысых Горах. Ему это все равно. Вот оно то, что я тебе говорил, — эти господа немцы завтра не выиграют сражение, а только нагадят, сколько их сил будет, потому что в его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца, а в сердце нет того, что одно только и нужно на завтра, — то, что есть в Тимохине. Они всю Европу отдали ему и приехали нас учить — славные учители! — опять взвизгнул его голос.

— Так вы думаете, что завтрашнее сражение будет выиграно? — сказал Пьер.

— Да, да, — рассеянно сказал князь Андрей. — Одно, что бы я сделал, ежели бы имел власть, — начал он опять, — я не брал бы пленных. Что такое пленные? Это рыцарство. Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я совершенно, совершенно согласен с вами!

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и все значение этой войны и предстоящего сражения. Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (latente), как

---

[1] Войну надлежит перенести в пространство. Этой мысли я не могу воздать должного (нем.).

[2] — О да, — сказал другой голос, — ведь цель лишь ослабить врага, и потому нельзя принимать во внимание потери частных лиц. – О да… (нем.).

[3] Да, перенести в пространство (нем.).

[4] в пространстве (нем.).

говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти.

— Не брать пленных, — продолжал князь Андрей. — Это одно изменило бы всю войну и сделало бы ее менее жестокой. А то мы играли в войну — вот что скверно, мы великодушничаем и тому подобное. Это великодушничанье и чувствительность — вроде великодушия и чувствительности барыни, с которой делается дурнота, когда она видит убиваемого теленка; она так добра, что не может видеть кровь, но она с аппетитом кушает этого теленка под соусом. Нам толкуют о правах войны, о рыцарстве, о парламентерстве, щадить несчастных и так далее. Все вздор. Я видел в 1805 году рыцарство, парламентерство: нас надули, мы надули. Грабят чужие дома, пускают фальшивые ассигнации, да хуже всего — убивают моих детей, моего отца и говорят о правилах войны и великодушии к врагам. Не брать пленных, а убивать и идти на смерть! Кто дошел до этого так, как я, теми же страданиями...

Князь Андрей, думавший, что ему было все равно, возьмут ли или не возьмут Москву так, как взяли Смоленск, внезапно остановился в своей речи от неожиданной судороги, схватившей его за горло. Он прошелся несколько раз молча, но глаза его лихорадочно блестели, и губа дрожала, когда он опять стал говорить:

— Ежели бы не было великодушничанья на войне, то мы шли бы только тогда, когда сто́ит того идти на верную смерть, как теперь. Тогда не было бы войны за то, что Павел Иваныч обидел Михаила Иваныча. А ежели война как теперь, так война. И тогда интенсивность войск была бы не та, как теперь. Тогда бы все эти вестфальцы и гессенцы, которых ведет Наполеон, не пошли бы за ним в Россию, и мы бы не ходили драться в Австрию и в Пруссию, сами не зная зачем. Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну. Надо принимать строго и серьезно эту страшную необходимость. Всё в этом: откинуть ложь, и война так война, а не игрушка. А то война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей... Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия — отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то — это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду... Сойдутся, как завтра, на убийство друг друга, перебьют, перекалечат десятки тысяч людей, а потом будут служить благодарственные молебны за то, что побили много людей (которых число еще прибавляют), и провозглашают победу, полагая, что чем больше побито людей, тем больше заслуга. Как Бог оттуда смотрит и слушает их! — тонким, пискливым голосом прокричал князь Андрей. — Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да не надолго! — прибавил он. — Однако ты спишь, да и мне пора, поезжай в Горки, — вдруг сказал князь Андрей.

— О нет! — отвечал Пьер, испуганно-соболезнующими глазами глядя на князя Андрея.

— Поезжай, поезжай: перед сраженьем нужно выспаться, — повторил князь Андрей. Он быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал. — Прощай, ступай, — прокричал он. — Увидимся ли, нет... — И он, поспешно повернувшись, ушел в сарай.

Было уже темно, и Пьер не мог разобрать того выражения, которое было на лице князя Андрея, было ли оно злобно или нежно.

Пьер постоял несколько времени молча, раздумывая, пойти ли за ним или ехать домой. «Нет, ему не нужно! — решил сам собой Пьер, — и я знаю, что это наше последнее свидание». Он тяжело вздохнул и поехал назад в Горки.

Князь Андрей, вернувшись в сарай, лег на ковер, но не мог спать.

Он закрыл глаза. Одни образы сменялись другими. На одном он долго, радостно остановился. Он живо вспомнил один вечер в Петербурге. Наташа с оживленным, взволнованным лицом рассказывала ему, как она в прошлое лето, ходя за грибами, заблудилась в большом лесу. Она несвязно описывала ему и глушь леса, и свои чувства, и разговоры с пчельником, которого она встретила, и, всякую минуту прерываясь в своем рассказе, говорила: «Нет, не могу, я не так рассказываю; нет, вы не понимаете», — несмотря на то, что князь Андрей успокоивал ее, говоря, что он понимает, и действительно понимал все, что она хотела сказать. Наташа была недовольна своими словами, — она чувствовала, что не выходило то страстно-поэтическое ощущение, которое она испытала в этот день и которое она хотела выворотить наружу. «Это такая прелесть был этот старик, и темно так в лесу... и такие добрые у него... нет, я не умею рассказать», — говорила она, краснея и волнуясь. Князь Андрей улыбнулся теперь той же радостной улыбкой, которой он улыбался тогда, глядя ей в глаза. «Я понимал ее, — думал князь Андрей. — Не только понимал, но эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то душу ее, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в ней... так сильно, так счастливо любил...» И вдруг он вспомнил о том, чем кончилась его любовь. «Ему ничего этого не нужно было. Он ничего этого не видел и не понимал. Он видел в ней хорошенькую и свеженькую девочку, с которою он не удостоил связать свою судьбу. А я? И до сих пор он жив и весел».

Князь Андрей, как будто кто-нибудь обжег его, вскочил и стал опять ходить перед сараем.

XXVI

25-го августа, накануне Бородинского сражения, префект дворца императора французов m-r de Beausset и полковник Fabvier приехали, первый из Парижа, второй из Мадрида, к императору Наполеону в его ставку у Валуева.

Переодевшись в придворный мундир, m-r de Beausset приказал нести впереди себя привезенную им императору посылку и вошел в первое отделение палатки Наполеона, где, переговариваясь с окружившими его адъютантами Наполеона, занялся раскупориванием ящика.

Fabvier, не входя в палатку, остановился, разговорясь с знакомыми генералами, у входа в нее.

Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хоть опухшее и желтое, выражало физическое удовольствие. «Allez ferme, allez toujours...»[1] — приговаривал он, пожимаясь и покряхтывая, растиравшему камердинеру. Адъютант, вошедший в спальню с тем, чтобы доложить императору о том, сколько было во вчерашнем деле взято пленных, передав то, что нужно было, стоял у двери, ожидая позволения уйти. Наполеон, сморщась, взглянул исподлобья на адъютанта.

— Point de prisonniers, — повторил он слова адъютанта. — Ils se font démolir. Tant pis pour l'armée russe, — сказал он. — Allez toujours, allez ferme[2], — проговорил он, горбатясь и подставляя свои жирные плечи.

— C'est bien! Faites entrer monsieur de Beausset, ainsi que Fabvier[3], — сказал он адъютанту, кивнув головой.

— Oui, sire[4], — и адъютант исчез в дверь палатки.

Два камердинера быстро одели его величество, и он, в гвардейском синем мундире, твердыми, быстрыми шагами вышел в приемную.

Боссе в это время торопился руками, устанавливая привезенный им подарок от императрицы на двух стульях, прямо перед входом императора. Но император так неожиданно скоро оделся и вышел, что он не успел вполне приготовить сюрприза.

Наполеон тотчас заметил то, что они делали, и догадался, что они были еще не готовы. Он не захотел лишить их удовольствия сделать ему сюрприз. Он притворился, что не видит господина Боссе, и подозвал к себе Фабвье, Наполеон слушал, строго нахмурившись и молча, то, что говорил Фабвье ему о храбрости и преданности его войск, дравшихся при Саламанке на другом конце Европы и имевших только одну мысль — быть достойными своего императора, и один страх — не угодить ему. Результат сражения был печальный. Наполеон делал иронические замечания во время рассказа Fabvier, как будто он не предполагал, чтобы дело могло идти иначе в его отсутствие.

— Я должен поправить это в Москве, — сказал Наполеон. — A tantôt[5], — прибавил он и подозвал де Боссе, который в это время уже успел приготовить сюрприз, уставив что-то на стульях, и накрыл что-то покрывалом.

---

[1] «Ну еще, крепче...»

[2] — Никаких пленных, — повторил он слова адъютанта. — Их уничтожают. Тем хуже для русской армии, — сказал он. — Продолжайте, наступайте твёрдо...

[3] Хорошо! Пускай войдет де Боссе, и Фабвье тоже

[4] Слушаю, сир

[5] До свиданья

Де Боссе низко поклонился тем придворным французским поклоном, которым умели кланяться только старые слуги Бурбонов, и подошел, подавая конверт.

Наполеон весело обратился к нему и подрал его за ухо.

— Вы поспешили, очень рад. Ну, что говорит Париж? — сказал он, вдруг изменяя свое прежде строгое выражение на самое ласковое.

— Sire, tout Paris regrette votre absence[1], — как и должно, ответил де Боссе. Но хотя Наполеон знал, что Боссе должен сказать это или тому подобное, хотя он в свои ясные минуты знал, что это было неправда, ему приятно было это слышать от де Боссе. Он опять удостоил его прикосновения за ухо.

— Je suis fâché de vous avoir fait faire tant de chemin[2] , — сказал он.

— Sire! Je ne m'attendais pas à moins qu'à vous trouver aux portes de Moscou[3], — сказал Боссе.

Наполеон улыбнулся и, рассеянно подняв голову, оглянулся направо. Адъютант плывущим шагом подошел с золотой табакеркой и подставил ее. Наполеон взял ее.

— Да, хорошо случилось для вас, — сказал он, приставляя раскрытую табакерку к носу, — вы любите путешествовать, через три дня вы увидите Москву. Вы, верно, не ждали увидать азиатскую столицу. Вы сделаете приятное путешествие.

Боссе поклонился с благодарностью за эту внимательность к его (неизвестной ему до сей поры) склонности путешествовать.

— А! это что? — сказал Наполеон, заметив, что все придворные смотрели на что-то, покрытое покрывалом. Боссе с придворной ловкостью, не показывая спины, сделал вполуоборот два шага назад и в одно и то же время сдернул покрывало и проговорил:

— Подарок вашему величеству от императрицы.

Это был яркими красками написанный Жераром портрет мальчика, рожденного от Наполеона и дочери австрийского императора, которого почему-то все называли королем Рима.

Весьма красивый курчавый мальчик, со взглядом, похожим на взгляд Христа в Сикстинской мадонне, изображен был играющим в бильбоке. Шар представлял земной шар, а палочка в другой руке изображала скипетр.

Хотя не совсем ясно было, что именно хотел выразить живописец, представив так называемого короля Рима протыкающим земной шар палочкой, но аллегория эта, так же как и всем видевшим картину в Париже, так и Наполеону, очевидно, показалась ясною и весьма понравилась.

— Roi de Rome[4], — сказал он, грациозным жестом руки указывая на портрет. — Admirable![5] — С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось,

---

[1] Государь, весь Париж сожалеет о вашем отсутствии

[2] Очень сожалею, что заставил вас проехаться так далеко

[3] Государь! Я не ожидал ничего другого, как найти вас у ворот Москвы

[4] Римский король

[5] Чудесно!

что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием, вследствие которого сын его в бильбоке играл земным шаром, чтобы он выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его — и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека.

Посидев несколько времени и дотронувшись, сам не зная для чего, рукой до шероховатости блика портрета, он встал и опять позвал Боссе и дежурного. Он приказал вынести портрет перед палатку, с тем чтобы не лишить старую гвардию, стоявшую около его палатки, счастья видеть римского короля, сына и наследника их обожаемого государя.

Как он и ожидал, в то время как он завтракал с господином Боссе, удостоившимся этой чести, перед палаткой слышались восторженные крики сбежавшихся к портрету офицеров и солдат старой гвардии.

— Vive l'Empereur! Vive le Roi de Rome! Vive l'Empereur![3] — слышались восторженные голоса.

После завтрака Наполеон, в присутствии Боссе, продиктовал свой приказ по армии.

— Courte et énergique![4] — проговорил Наполеон, когда он прочел сам сразу без поправок написанную прокламацию. В приказе было:

«Воины! Вот сражение, которого вы столько желали. Победа зависит от вас. Она необходима для нас; она доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью вспомнит о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвою!»

— De la Moskowa![5] — повторил Наполеон и, пригласив к своей прогулке господина Боссе, любившего путешествовать, он вышел из палатки к оседланным лошадям.

— Votre Majesté a trop de bonté[6], — сказал Боссе на приглашение сопутствовать императору: ему хотелось спать, и он не умел и боялся ездить верхом.

Но Наполеон кивнул головой путешественнику, и Боссе должен был ехать. Когда Наполеон вышел из палатки, крики гвардейцев пред портретом его сына еще более усилились. Наполеон нахмурился.

— Снимите его, — сказал он, грациозно-величественным жестом указывая на портрет. — Ему еще рано видеть поле сражения.

Боссе, закрыв глаза и склонив голову, глубоко вздохнул, этим жестом показывая, как он умел ценить и понимать слова императора.

---

[3] Да здравствует Император! Да здравствует Король Римский! Да здравствует Император!

[4] Коротко и энергично!

[5] Под Москвою!

[6] Ваше Величество слишком добры

XXVII

Весь этот день 25 августа, как говорят его историки, Наполеон провел на коне, осматривая местность, обсуживая планы, представляемые ему его маршалами, и отдавая лично приказания своим генералам.

Первоначальная линия расположения русских войск по Колоче была переломлена, и часть этой линии, именно левый фланг русских, вследствие взятия Шевардинского редута 24-го числа, была отнесена назад. Эта часть линии была не укреплена, не защищена более рекою, и перед нею одною было более открытое и ровное место. Очевидно было для всякого военного и невоенного, что эту часть линии и должно было атаковать французам. Казалось, что для этого не нужно было много соображений, не нужно было такой заботливости и хлопотливости императора и его маршалов и вовсе не нужно той особенной высшей способности, называемой гениальностью, которую так любят приписывать Наполеону; но историки, впоследствии описывавшие это событие, и люди, тогда окружавшие Наполеона, и он сам думали иначе.

Наполеон ездил по полю, глубокомысленно вглядывался в местность, сам с собою одобрительно или недоверчиво качал головой и, не сообщая окружавшим его генералам того глубокомысленного хода, который руководил его решениями, передавал им только окончательные выводы в форме приказаний. Выслушав предложения Даву, называемого герцогом Экмюльским, о том, чтобы обойти левый фланг русских, Наполеон сказал, что этого не нужно делать, не объясняя, почему это было не нужно. На предложение же генерала Компана (который должен был атаковать флеши), провести свою дивизию лесом, Наполеон изъявил свое согласие, несмотря на то, что так называемый герцог Эльхингенский, то есть Ней, позволил себе заметить, что движение по лесу опасно и может расстроить дивизию.

Осмотрев местность против Шевардинского редута, Наполеон подумал несколько времени молча и указал на места, на которых должны были быть устроены к завтрему две батареи для действия против русских укреплений, и места, где рядом с ними должна была выстроиться полевая артиллерия.

Отдав эти и другие приказания, он вернулся в свою ставку, и под его диктовку была написана диспозиция сражения.

Диспозиция эта, про которую с восторгом говорят французские историки и с глубоким уважением другие историки, была следующая:

«С рассветом две новые батареи, устроенные в ночи, на равнине, занимаемой принцем Экмюльским, откроют огонь по двум противостоящим батареям неприятельским.

В это же время начальник артиллерии 1-го корпуса, генерал Пернетти, с 30-ю орудиями дивизии Компана и всеми гаубицами дивизии Дессе и Фриана, двинется вперед, откроет огонь и засыплет гранатами неприятельскую батарею, против которой будут действовать:

24 орудия гвардейской артиллерии,
30 орудий дивизии Компана
и 8 орудий дивизии Фриана и Дессе.
Всего — 62 орудия.

Начальник артиллерии 3-го корпуса, генерал Фуше, поставит все гаубицы 3-го и 8-го корпусов, всего 16, по флангам батареи, которая назначена обстреливать левое укрепление, что составит против него вообще 40 орудий.

Генерал Сорбье должен быть готов по первому приказанию вынестись со всеми гаубицами гвардейской артиллерии против одного либо другого укрепления.

В продолжение канонады князь Понятовский направится на деревню, в лес и обойдет неприятельскую позицию.

Генерал Компан двинется чрез лес, чтобы овладеть первым укреплением.

По вступлении таким образом в бой будут даны приказания соответственно действиям неприятеля.

Канонада на левом фланге начнется, как только будет услышана канонада правого крыла. Стрелки дивизии Морана и дивизии вице-короля откроют сильный огонь, увидя начало атаки правого крыла.

Вице-король овладеет деревней[1] и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Жерара, которые, под его предводительством, направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками армии.

Все это должно быть исполнено в порядке (le tout se fera avec ordre et méthode), сохраняя по возможности войска в резерве.

В императорском лагере, близ Можайска, 6-го сентября, 1812 года».

Диспозиция эта, весьма неясно и спутанно написанная, — ежели позволить себе без религиозного ужаса к гениальности Наполеона относиться к распоряжениям его, — заключала в себе четыре пункта — четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено.

В диспозиции сказано, первое: чтобы устроенные на выбранном Наполеоном месте батареи с имеющими выровняться с ними орудиями Пернетти и Фуше, всего сто два орудия, открыли огонь и засыпали русские флеши и редут снарядами. Это не могло быть сделано, так как с назначенных Наполеоном мест снаряды не долетали до русских работ, и эти сто два орудия стреляли по-пустому до тех пор, пока ближайший начальник, противно приказанию Наполеона, не выдвинул их вперед.

Второе распоряжение состояло в том, чтобы Понятовский, направясь на деревню в лес, обошел левое крыло русских. Это не могло быть и не было сделано потому, что Понятовский, направясь на деревню в лес, встретил там загораживающего ему дорогу Тучкова и не мог обойти и не обошел русской позиции.

Третье распоряжение: Генерал Компан двинется в лес, чтоб овладеть первым укреплением. Дивизия Компана не овладела первым укреплением, а была отбита, потому что, выходя из леса, она должна была строиться под картечным огнем, чего не знал Наполеон.

Четвертое: Вице-король овладеет деревнею (Бородиным) и перейдет по своим трем мостам, следуя на одной высоте с дивизиями Морана и Фриана (о которых не сказано: куда и когда они будут двигаться), которые под его предводительством направятся к редуту и войдут в линию с прочими войсками.

[1] Бородиным

Сколько можно понять — если не из бестолкового периода этого, то из тех попыток, которые деланы были вице-королем исполнить данные ему приказания, — он должен был двинуться через Бородино слева на редут, дивизии же Морана и Фриана должны были двинуться одновременно с фронта.

Все это, так же как и другие пункты диспозиции, не было и не могло быть исполнено. Пройдя Бородино, вице-король был отбит на Колоче и не мог пройти дальше; дивизии же Морана и Фриана не взяли редута, а были отбиты, и редут уже в конце сражения был захвачен кавалерией (вероятно, непредвиденное дело для Наполеона и неслыханное). Итак, ни одно из распоряжений диспозиции не было и не могло быть исполнено. Но в диспозиции сказано, что по вступлении таким образом в бой будут даны приказания, соответственные действиям неприятеля, и потому могло бы казаться, что во время сражения будут сделаны Наполеоном все нужные распоряжения; но этого не было и не могло быть потому, что во все время сражения Наполеон находился так далеко от него, что (как это и оказалось впоследствии) ход сражения ему не мог быть известен и ни одно распоряжение его во время сражения не могло быть исполнено.

XXVIII

Многие историки говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениальнее, и Россия бы погибла, et la face du monde eut été changée[1]. Для историков, признающих то, что Россия образовалась по воле одного человека — Петра Великого, и Франция из республики сложилась в империю, и французские войска пошли в Россию по воле одного человека — Наполеона, такое рассуждение, что Россия осталась могущественна потому, что у Наполеона был большой насморк 26-го числа, такое рассуждение для таких историков неизбежно последовательно.

Ежели от воли Наполеона зависело дать или не дать Бородинское сражение и от его воли зависело сделать такое или другое распоряжение, то очевидно, что насморк, имевший влияние на проявление его воли, мог быть причиной спасения России и что поэтому тот камердинер, который забыл подать Наполеону 24-го числа непромокаемые сапоги, был спасителем России. На этом пути мысли вывод этот несомненен, — так же несомненен, как тот вывод, который, шутя (сам не зная над чем), делал Вольтер, говоря, что Варфоломеевская ночь произошла от расстройства желудка Карла IX. Но для людей, не допускающих того, чтобы Россия образовалась по воле одного человека — Петра I, и чтобы Французская империя сложилась и война с Россией началась по воле одного человека — Наполеона, рассуждение это не только представляется неверным, неразумным, но и противным всему существу человеческому. На вопрос о том, что составляет причину исторических событий, представляется другой ответ, заключающийся в том, что ход мировых событий предопределен свыше, зависит от совпадения всех произволов людей, участвующих в этих событиях, и что влияние Наполеонов на ход этих событий есть только внешнее и фиктивное.

[1] и облик мира изменился бы — Ред.

Как ни странно кажется с первого взгляда предположение, что Варфоломеевская ночь, приказанье на которую отдано Карлом IX, произошла не по его воле, а что ему только казалось, что он велел это сделать, и что Бородинское побоище восьмидесяти тысяч человек произошло не по воле Наполеона (несмотря на то, что он отдавал приказания о начале и ходе сражения), а что ему казалось только, что он это велел, — как ни странно кажется это предположение, но человеческое достоинство, говорящее мне, что всякий из нас ежели не больше, то никак не меньше человек, чем великий Наполеон, велит допустить это решение вопроса, и исторические исследования обильно подтверждают это предположение.

В Бородинском сражении Наполеон ни в кого не стрелял и никого не убил. Все это делали солдаты. Стало быть, не он убивал людей.

Солдаты французской армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении не вследствие приказания Наполеона, но по собственному желанию. Вся армия: французы, итальянцы, немцы, поляки — голодные, оборванные и измученные походом, — в виду армии, загораживавшей от них Москву, чувствовали, что le vin est tiré et qu'il faut le boire[1]. Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо.

Когда они слушали приказ Наполеона, представлявшего им за их увечья и смерть в утешение слова потомства о том, что и они были в битве под Москвою, они кричали «Vive l'Empereur!» точно так же, как они кричали «Vive l'Empereur!» при виде изображения мальчика, протыкающего земной шар палочкой от бильбоке; точно так же, как бы они кричали «Vive l'Empereur!» при всякой бессмыслице, которую бы им сказали. Им ничего больше не оставалось делать, как кричать «Vive l'Empereur!» и идти драться, чтобы найти пищу и отдых победителей в Москве. Стало быть, не вследствие приказания Наполеона они убивали себе подобных.

И не Наполеон распоряжался ходом сраженья, потому что из диспозиции его ничего не было исполнено и во время сражения он не знал про то, что происходило впереди его. Стало быть, и то, каким образом эти люди убивали друг друга, происходило не по воле Наполеона, а шло независимо от него, по воле сотен тысяч людей, участвовавших в общем деле. Наполеону казалось только, что все дело происходило по воле его. И потому вопрос о том, был ли, или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фурштатского солдата.

Тем более 26-го августа насморк Наполеона не имел значения, что показания писателей о том, будто вследствие насморка Наполеона его диспозиция и распоряжения во время сражения были не так хороши, как прежние, — совершенно несправедливы.

Выписанная здесь диспозиция нисколько не была хуже, а даже лучше всех прежних диспозиций, по которым выигрывались сражения. Мнимые распоряжения во время сражения были тоже не хуже прежних, а точно такие же, как и всегда. Но

[1] вино откупорено, и надо выпить его

диспозиция и распоряжения эти кажутся только хуже прежних потому, что Бородинское сражение было первое, которого не выиграл Наполеон. Все самые прекрасные и глубокомысленные диспозиции и распоряжения кажутся очень дурными, и каждый ученый-военный с значительным видом критикует их, когда сражение по ним не выиграно, и самые плохие диспозиции и распоряжения кажутся очень хорошими, и серьезные люди в целых томах доказывают достоинства плохих распоряжений, когда по ним выиграно сражение.

Диспозиция, составленная Вейротером в Аустерлицком сражении, была образец совершенства в сочинениях этого рода, но ее все-таки осудили, осудили за ее совершенство, за слишком большую подробность.

Наполеон в Бородинском сражении исполнял свое дело представителя власти так же хорошо, и еще лучше, чем в других сражениях. Он не сделал ничего вредного для хода сражения; он склонялся на мнения более благоразумные; он не путал, не противоречил сам себе, не испугался и не убежал с поля сражения, а с своим большим тактом и опытом войны спокойно и достойно исполнял свою роль кажущегося начальствованья.

XXIX

Вернувшись после второй озабоченной поездки по линии, Наполеон сказал:

— Шахматы поставлены, игра начнется завтра.

Велев подать себе пуншу и призвав Боссе, он начал с ним разговор о Париже, о некоторых изменениях, которые он намерен был сделать в maison de l'impératrice[1], удивляя префекта своею памятливостью ко всем мелким подробностям придворных отношений.

Он интересовался пустяками, шутил о любви к путешествиям Боссе и небрежно болтал так, как это делает знаменитый, уверенный и знающий свое дело оператор, в то время как он засучивает рукава и надевает фартук, а больного привязывают к койке: «Дело все в моих руках и в голове, ясно и определенно. Когда надо будет приступить к делу, я сделаю его, как никто другой, а теперь могу шутить, и чем больше я шучу и спокоен, тем больше вы должны быть уверены, спокойны и удивлены моему гению».

Окончив свой второй стакан пунша, Наполеон пошел отдохнуть перед серьезным делом, которое, как ему казалось, предстояло ему назавтра.

Он так интересовался этим предстоящим ему делом, что не мог спать и, несмотря на усилившийся от вечерней сырости насморк, в три часа ночи, громко сморкаясь, вышел в большое отделение палатки. Он спросил о том, не ушли ли русские? Ему отвечали, что неприятельские огни все на тех же местах. Он одобрительно кивнул головой.

Дежурный адъютант вошел в палатку.

— Eh bien, Rapp, croyez-vous que nous ferons de bonnes affaires aujourd'hui?[2] — обратился он к нему.

---

[1] придворном штате императрицы

[2] Ну, Рапп, как вы думаете: хороши ли будут нынче наши дела?

— Sans aucun doute, sire[2], — отвечал Рапп.

Наполеон посмотрел на него.

— Vous rappelez-vous. Sire, ce que vous m'avez fait l'honneur de dire à Smolensk, — сказал Рапп, — le vin est tiré, il faut le boire[3].

Наполеон нахмурился и долго молча сидел, опустив голову на руку.

— Cette pauvre armée, — сказал он вдруг, — elle a bien diminué depuis Smolensk. La fortune est une franche courtisane, Rapp; je le disais toujours, et je commence à l'éprouver. Mais la garde, Rapp, la garde est intacte? — вопросительно сказал он.

— Oui, sire[4] , — отвечал Рапп.

Наполеон взял пастильку, положил ее в рот и посмотрел на часы. Спать ему не хотелось, до утра было еще далеко; а чтобы убить время, распоряжений никаких нельзя уже было делать, потому что все были сделаны и приводились теперь в исполнение.

— A-t-on distribué les biscuits et le riz aux régiments le la garde? — строго спросил Наполеон.

— Oui, sire.

— Mais le riz?[5]

Рапп отвечал, что он передал приказанья государя о рисе, но Наполеон недовольно покачал головой, как будто он не верил, чтобы приказание его было исполнено. Слуга вошел с пуншем. Наполеон велел подать другой стакан Раппу и молча отпивал глотки из своего.

— У меня нет ни вкуса, ни обоняния, — сказал он, принюхиваясь к стакану. — Этот насморк надоел мне. Они толкуют про медицину. Какая медицина, когда они не могут вылечить насморка? Корвизар дал мне эти пастильки, но они ничего не помогают. Что они могут лечить? Лечить нельзя. Notre corps est une machine à vivre. Il est organisé pour cela, c'est sa, nature; laissez-y la vie à son aise, qu'elle s'y défende elle-même: elle fera plus que si vous la paralysiez en l'encombrant de remèdes. Notre corps est comme une montre parfaite qui doit aller un certain temps; l'horloger n'a pas la faculté de l'ouvrir, il ne peut la manier qu'à tâtons et les yeux bandés. Notre corps est une machine à vivre, voilà tout[6]. — И как будто вступив на путь определений, définitions, которые любил Наполеон, он неожиданно сделал новое определение. — Вы знаете ли, Рапп,

---

[2] Без всякого сомнения, государь

[3] Вы помните ли, государь, те слова, которые вы изволили сказать мне в Смоленске: вино откупорено, надо его пить

[4] — Бедная армия, — сказал он вдруг, — она сильно уменьшилась со Смоленска. Фортуна — откровенная куртизанка, Рапп; я всегда это говорил и начинаю испытывать на себе. Но гвардия, Рапп, гвардия цела? — вопросительно сказал он.

— Да, государь, — отвечал Рапп.

[5] — Сухари и рис раздали полкам гвардии? — строго спросил Наполеон.

— Да, государь.

— А рис?

[6] Наше тело — это машина для жизни. Оно создано для этого, такова его природа; оставьте жизнь в покое, пусть она сама защищается: она сделает больше, чем если вы будете её парализовать, нагружая лекарствами. Наше тело — как совершенные часы, которые должны идти определённое время; часовщик не имеет возможности открыть их, он может обращаться с ними только на ощупь и с завязанными глазами. Наше тело — машина для жизни, вот и всё.

что такое военное искусство? — спросил он. — Искусство быть сильнее неприятеля в известный момент. Voilà tout[1].

Рапп ничего не ответил.

— Demain nous allons avoir affaire à Koutouzoff![2] — сказал Наполеон. — Посмотрим! Помните, в Браунау он командовал армией и ни разу в три недели не сел на лошадь, чтобы осмотреть укрепления. Посмотрим!

Он поглядел на часы. Было еще только четыре часа. Спать не хотелось, пунш был допит, и делать все-таки было нечего. Он встал, прошелся взад и вперед, надел теплый сюртук и шляпу и вышел из палатки. Ночь была темная и сырая; чуть слышная сырость падала сверху. Костры не ярко горели вблизи, во французской гвардии, и далеко сквозь дым блестели по русской линии. Везде было тихо, и ясно слышались шорох и топот начинавшегося уже движения французских войск для занятия позиции.

Наполеон прошелся перед палаткой, посмотрел на огни, прислушался к топоту и, проходя мимо высокого гвардейца в мохнатой шапке, стоявшего часовым у его палатки и, как черный столб, вытянувшегося при появлении императора, остановился против него.

— С которого года в службе? — спросил он с той привычной аффектацией грубой и ласковой воинственности, с которой он всегда обращался с солдатами. Солдат отвечал ему.

— Ah! un des vieux![3] Получили рис в полк?

— Получили, ваше величество.

Наполеон кивнул головой и отошел от него.

В половине шестого Наполеон верхом ехал к деревне Шевардину.

Начинало светать, небо расчистило, только одна туча лежала на востоке. Покинутые костры догорали в слабом свете утра.

Вправо раздался густой одинокий пушечный выстрел, пронесся и замер среди общей тишины. Прошло несколько минут. Раздался второй, третий выстрел, заколебался воздух; четвертый, пятый раздались близко и торжественно где-то справа.

Еще не отзвучали первые выстрелы, как раздались еще другие, еще и еще, сливаясь и перебивая один другой.

Наполеон подъехал со свитой к Шевардинскому редуту и слез с лошади. Игра началась.

XXX

Вернувшись от князя Андрея в Горки, Пьер, приказал берейтору приготовить лошадей и рано утром разбудить его, тотчас же заснул за перегородкой, в уголке, который Борис уступил ему.

---

[1] Вот и все

[2] Завтра мы будем иметь дело с Кутузовым!

[3] А! из стариков!

Когда Пьер совсем очнулся на другое утро, в избе уже никого не было. Стекла дребезжали в маленьких окнах. Берейтор стоял, расталкивая его.

— Ваше сиятельство, ваше сиятельство, ваше сиятельство... — упорно, не глядя на Пьера и, видимо, потеряв надежду разбудить его, раскачивая его за плечо, приговаривал берейтор.

— Что? Началось? Пора? — заговорил Пьер, проснувшись.

— Изволите слышать пальбу, — сказал берейтор, отставной солдат, — уже все господа повышли, сами светлейшие давно проехали.

Пьер поспешно оделся и выбежал на крыльцо. На дворе было ясно, свежо, росисто и весело. Солнце, только что вырвавшись из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломленными тучей лучами через крыши противоположной улицы, на покрытую росой пыль дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы. Гул пушек яснее слышался на дворе. По улице прорысил адъютант с казаком.

— Пора, граф, пора! — прокричал адъютант.

Приказав вести за собой лошадь, Пьер пошел по улице к кургану, с которого он вчера смотрел на поле сражения. На кургане этом была толпа военных, и слышался французский говор штабных, и виднелась седая голова Кутузова с его белой с красным околышем фуражкой и седым затылком, утонувшим в плечи. Кутузов смотрел в трубу вперед по большой дороге.

Войдя по ступенькам входа на курган, Пьер взглянул впереди себя и замер от восхищенья перед красотою зрелища. Это была та же панорама, которою он любовался вчера с этого кургана; но теперь вся эта местность была покрыта войсками и дымами выстрелов, и косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера, кидали на нее в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные, длинные тени. Дальние леса, заканчивающие панораму, точно высеченные из какого-то драгоценного желто-зеленого камня, виднелись своей изогнутой чертой вершин на горизонте, и между ними за Валуевым прорезывалась большая Смоленская дорога, вся покрытая войсками. Ближе блестели золотые поля и перелески. Везде — спереди, справа и слева — виднелись войска. Все это было оживленно, величественно и неожиданно; но то, что более всего поразило Пьера, — это был вид самого поля сражения, Бородина и лощины над Колочею по обеим сторонам ее.

Над Колочею, в Бородине и по обеим сторонам его, особенно влево, там, где в болотистых берегах Война впадает в Колочу, стоял тот туман, который тает, расплывается и просвечивает при выходе яркого солнца и волшебно окрашивает и очерчивает все виднеющееся сквозь него. К этому туману присоединялся дым выстрелов, и по этому туману и дыму везде блестели молнии утреннего света — то по воде, то по росе, то по штыкам войск, толпившихся по берегам и в Бородине. Сквозь туман этот виднелась белая церковь, кое-где крыши изб Бородина, кое-где сплошные массы солдат, кое-где зеленые ящики, пушки. И все это двигалось или казалось движущимся, потому что туман и дым тянулись по всему этому пространству. Как в этой местности низов около Бородина, покрытых туманом, так и вне его, выше и

особенно левее по всей линии, по лесам, по полям, в низах, на вершинах возвышений, зарождались беспрестанно сами собой из ничего, пушечные, то одинокие, то гуртовые, то редкие, то частые клубы дымов, которые, распухая, разрастаясь, клубясь, сливаясь, виднелись по всему этому пространству.

Эти дымы выстрелов и, странно сказать, звуки их производили главную красоту зрелища.

Пуфф! — вдруг виднелся круглый, плотный, играющий лиловым, серым и молочно-белым цветами дым, и бумм! — раздавался через секунду звук этого дыма.

«Пуф-пуф» — поднимались два дыма, толкаясь и сливаясь; и «бум-бум» — подтверждали звуки то, что видел глаз.

Пьер оглядывался на первый дым, который он оставил округлым плотным мячиком, и уже на месте его были шары дыма, тянущегося в сторону, и пуф... (с остановкой) пуф-пуф — зарождались еще три, еще четыре, и на каждый, с теми же расстановками, бум... бум-бум-бум, — отвечали красивые, твердые, верные звуки. Казалось то, что дымы эти бежали, то, что они стояли, и мимо них бежали леса, поля и блестящие штыки. С левой стороны, по полям и кустам, беспрестанно зарождались эти большие дымы с своими торжественными отголосками, и ближе еще, по низам и лесам, вспыхивали маленькие, не успевавшие округляться дымки ружей и точно так же давали свои маленькие отголоски. Трах-та-та-тах — трещали ружья хотя и часто, но неправильно и бедно в сравнении с орудийными выстрелами.

Пьеру захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки. Он оглянулся на Кутузова и на его свиту, чтобы сверить свое впечатление с другими. Все точно так же, как и он, и, как ему казалось, с тем же чувством смотрели вперед, на поле сражения. На всех лицах светилась теперь та скрытая теплота (chaleur latente) чувства, которое Пьер замечал вчера и которое он понял совершенно после своего разговора с князем Андреем.

— Поезжай, голубчик, поезжай, Христос с тобой, — говорил Кутузов, не спуская глаз с поля сражения, генералу, стоявшему подле него.

Выслушав приказание, генерал этот прошел мимо Пьера, к сходу с кургана.

— К переправе! — холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос одного из штабных, куда он едет.

«И я, и я», — подумал Пьер и пошел по направлению за генералом.

Генерал садился на лошадь, которую подал ему казак. Пьер подошел к своему берейтору, державшему лошадей. Спросив, которая посмирнее, Пьер взлез на лошадь, схватился за гриву, прижал каблуки вывернутых ног к животу лошади и, чувствуя, что очки его спадают и что он не в силах отвести рук от гривы и поводьев, поскакал за генералом, возбуждая улыбки штабных, с кургана смотревших на него.

XXXI

Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вправо, то влево; но везде были солдаты, с одинаково

озабоченными лицами, занятыми каким-то невидным, но, очевидно, важным делом. Все с одинаково недовольно-вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека в белой шляпе, неизвестно для чего топчущего их своею лошадью.

— Чего ездит посерёд батальона! — крикнул на него один. Другой толканул прикладом его лошадь, и Пьер, прижавшись к луке и едва удерживая шарахнувшуюся лошадь, выскакал вперед солдат, где было просторнее.

Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал в ним. Сам того не зная, Пьер заехал к мосту через Колочу, который был между Горками и Бородиным и который в первом действии сражения (заняв Бородино) атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост и что с обеих сторон моста и на лугу, в тех рядах лежащего сена, которые он заметил вчера, в дыму что-то делали солдаты; но, несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут-то и было поле сражения. Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, не видал неприятели, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него. С улыбкой, не сходившей с его лица, он оглядывался вокруг себя.

— Что ездит этот перед линией? — опять крикнул на него кто-то.

— Влево, вправо возьми, — кричали ему.

Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. Адъютант этот сердито взглянул на Пьера, очевидно сбираясь тоже крикнуть на него, но, узнав его, кивнул ему головой.

— Вы как тут? — проговорил он и поскакал дальше.

Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать кому-нибудь, поскакал за адъютантом.

— Это здесь, что же? Можно мне с вами? — спрашивал он.

— Сейчас, сейчас, — отвечал адъютант и, подскакав к толстому полковнику, стоявшему на лугу, что-то передал ему и тогда уже обратился к Пьеру.

— Вы зачем сюда попали, граф? — сказал он ему с улыбкой. — Всё любопытствуете?

— Да, да, — сказал Пьер. Но адъютант, повернув лошадь, ехал дальше.

— Здесь-то слава Богу, — сказал адъютант, — но на левом фланге у Багратиона ужасная жарня идет.

— Неужели? — спросил Пьер. — Это где же?

— Да вот поедемте со мной на курган, от нас видно. А у нас на батарее еще сносно, — сказал адъютант. — Что ж, едете?

— Да, я с вами, — сказал Пьер, глядя вокруг себя и отыскивая глазами своего берейтора. Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом лужке, с пахучими рядами сена, по которым он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером. — А этого отчего не подняли? — начал было Пьер; но, увидав строгое лицо адъютанта, оглянувшегося в ту же сторону, он замолчал.

Пьер не нашел своего берейтора и вместе с адъютантом низом поехал по лощине к кургану Раевского. Лошадь Пьера отставала от адъютанта и равномерно встряхивала его.

— Вы, видно, не привыкли верхом ездить, граф? — спросил адъютант.

— Нет, ничего, но что-то она прыгает очень, — с недоумением сказал Пьер.

— Ээ!.. да она ранена, — сказал адъютант, — правая передняя, выше колена. Пуля, должно быть. Поздравляю, граф, — сказал он, — le baptême de feu[1].

Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. В лесу было прохладно, тихо и пахло осенью. Пьер и адъютант слезли с лошадей и пешком вошли на гору.

— Здесь генерал? — спросил адъютант, подходя к кургану.

— Сейчас были, поехали сюда, — указывая вправо, отвечали ему.

Адъютант оглянулся на Пьера, как бы не зная, что ему теперь с ним делать.

— Не беспокойтесь, — сказал Пьер. — Я пойду на курган, можно?

— Да пойдите, оттуда все видно и не так опасно. А я заеду за вами.

Пьер пошел на батарею, и адъютант поехал дальше. Больше они не видались, и уже гораздо после Пьер узнал, что этому адъютанту в этот день оторвало руку.

Курган, на который вошел Пьер, был то знаменитое (потом известное у русских под именем курганной батареи, или батареи Раевского, а у французов под именем la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre[2]) место, вокруг которого положены десятки тысяч людей и которое французы считали важнейшим пунктом позиции.

Редут этот состоял из кургана, на котором с трех сторон были выкопаны канавы. В окопанном канавами месте стояли десять стрелявших пушек, высунутых в отверстие валов.

В линию с курганом стояли с обеих сторон пушки, тоже беспрестанно стрелявшие. Немного позади пушек стояли пехотные войска. Входя на этот курган, Пьер никак не думал, что это окопанное небольшими канавами место, на котором стояло и стреляло несколько пушек, было самое важное место в сражении.

Пьеру, напротив, казалось, что это место (именно потому, что он находился на нем) было одно из самых незначительных мест сражения.

Войдя на курган, Пьер стал в конце канавы, окружающей батарею, и с бессознательно-радостной улыбкой смотрел на то, что делалось вокруг него. Изредка Пьер все с той же улыбкой вставал, и стараясь не помешать солдатам, заряжавшим и накатывавшим орудия, беспрестанно пробегавшим мимо него с сумками и зарядами, прохаживался по батарее. Пушки с этой батареи беспрестанно одна за другой стреляли, оглушая своими звуками и застилая всю окрестность пороховым дымом.

[1] крещение огнем

[2] великая редута, роковая редута, центральная редута

В противность той жуткости, которая чувствовалась между пехотными солдатами прикрытия, здесь, на батарее, где небольшое количество людей, занятых делом, было ограничено, отделено от других канавой, — здесь чувствовалось одинаковое и общее всем, как бы семейное оживление.

Появление невоенной фигуры Пьера в белой шляпе сначала неприятно поразило этих людей. Солдаты, проходя мимо его, удивленно и даже испуганно косились на его фигуру. Старший артиллерийский офицер, высокий, с длинными ногами, рябой человек, как будто для того, чтобы посмотреть на действие крайнего орудия, подошел к Пьеру и любопытно посмотрел на него.

Молоденький круглолицый офицерик, еще совершенный ребенок, очевидно, только что выпущенный из корпуса, распоряжаясь весьма старательно порученными ему двумя пушками, строго обратился к Пьеру.

— Господин, позвольте вас попросить с дороги, — сказал он ему, — здесь нельзя.

Солдаты неодобрительно покачивали головами, глядя на Пьера. Но когда все убедились, что этот человек в белой шляпе не только не делал ничего дурного, но или смирно сидел на откосе вала, или с робкой улыбкой, учтиво сторонясь перед солдатами, прохаживался по батарее под выстрелами так же спокойно, как по бульвару, тогда понемногу чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие, подобное тому, которое солдаты имеют к своим животным: собакам, петухам, козлам и вообще животным, живущим при воинских командах. Солдаты эти сейчас же мысленно приняли Пьера в свою семью, присвоили себе и дали ему прозвище. «Наш барин» прозвали его и про него ласково смеялись между собой.

Одно ядро взрыло землю в двух шагах от Пьера. Он, обчищая взбрызнутую ядром землю с платья, с улыбкой оглянулся вокруг себя.

— И как это вы не боитесь, барин, право! — обратился к Пьеру краснорожий широкий солдат, оскаливая крепкие белые зубы.

— А ты разве боишься? — спросил Пьер.

— А то как же? — отвечал солдат. — Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться, — сказал он, смеясь.

Несколько солдат с веселыми и ласковыми лицами остановились подле Пьера. Они как будто не ожидали того, чтобы он говорил, как все, и это открытие обрадовало их.

— Наше дело солдатское. А вот барин, так удивительно. Вот так барин!

— По местам! — крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.

Перекатная пальба пушек и ружей усиливалась по всему полю, в особенности влево, там, где были флеши Багратиона, но из-за дыма выстрелов с того места, где был Пьер, нельзя было почти ничего видеть. Притом, наблюдения за тем, как бы

семейным (отделенным ото всех других), кружком людей, находившихся на батарее, поглощали все внимание Пьера. Первое его бессознательно-радостное возбуждение, произведенное видом и звуками поля сражения, заменилось теперь, в особенности после вида этого одиноко лежащего солдата на лугу, другим чувством. Сидя теперь на откосе канавы, он наблюдал окружавшие его лица.

К десяти часам уже человек двадцать унесли с батареи; два орудия были разбиты, чаще и чаще на батарею попадали снаряды и залетали, жужжа и свистя, дальние пули. Но люди, бывшие на батарее, как будто не замечали этого; со всех сторон слышался веселый говор и шутки.

— Чиненка! — кричал солдат на приближающуюся, летевшую со свистом гранату. — Не сюда! К пехотным! — с хохотом прибавлял другой, заметив, что граната перелетела и попала в ряды прикрытия.

— Что, знакомая? — смеялся другой солдат на присевшего мужика под пролетевшим ядром.

Несколько солдат собрались у вала, разглядывая то, что делалось впереди.

— И цепь сняли, видишь, назад прошли, — говорили они, указывая через вал.

— Свое дело гляди, — крикнул на них старый унтер-офицер. — Назад прошли, значит, назади дело есть. — И унтер-офицер, взяв за плечо одного из солдат, толкнул его коленкой. Послышался хохот.

— К пятому орудию накатывай! — кричали с одной стороны.

— Разом, дружнее, по-бурлацки, — слышались веселые крики переменявших пушку.

— Ай, нашему барину чуть шляпку не сбила, — показывая зубы, смеялся на Пьера красноролжий шутник. — Эх, нескладная, — укоризненно прибавил он на ядро, попавшее в колесо и ногу человека.

— Ну вы, лисицы! — смеялся другой на изгибающихся ополченцев, входивших на батарею за раненым.

— Аль не вкусна каша? Ах, вороны, заколянились! — кричали на ополченцев, замявшихся перед солдатом с оторванной ногой.

— Тое мое, малый, — передразнивали мужиков. — Страсть не любят!

Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери все более и более разгоралось общее оживление.

Как из придвигающейся грозовой тучи, чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей (как бы в отпор совершающегося) молнии скрытого, разгорающегося огня.

Пьер не смотрел вперед на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось: он весь был поглощен в созерцание этого, все более и более разгорающегося огня, который точно так же (он чувствовал) разгорался и в его душе.

В десять часов пехотные солдаты, бывшие впереди батареи в кустах и по речке Каменке, отступили. С батареи видно было, как они пробегали назад мимо нее, неся на ружьях раненых. Какой-то генерал со свитой вошел на курган и, поговорив с полковником, сердито посмотрев на Пьера, сошел опять вниз, приказав прикрытию пехоты, стоявшему позади батареи, лечь, чтобы менее подвергаться выстрелам.

Вслед за этим в рядах пехоты, правее батареи, послышался барабан, командные крики, с батареи видно было, как ряды пехоты двинулись вперед.

Пьер смотрел через вал. Одно лицо особенно бросилось ему в глаза. Это был офицер, который с бледным молодым лицом шел задом, неся опущенную шпагу, и беспокойно оглядывался.

Ряды пехотных солдат скрылись в дыму, послышался их протяжный крик и частая стрельба ружей. Через несколько минут толпы раненых и носилок прошли оттуда. На батарею еще чаще стали попадать снаряды. Несколько человек лежали неубранные. Около пушек хлопотливее и оживленнее двигались солдаты. Никто уже не обращал внимания на Пьера. Раза два на него сердито крикнули за то, что он был на дороге. Старший офицер, с нахмуренным лицом, большими, быстрыми шагами переходил от одного орудия к другому. Молоденький офицерик, еще больше разрумянившись, еще старательнее командовал солдатами. Солдаты подавали заряды, поворачивались, заряжали и делали свое дело с напряженным щегольством. Они на ходу подпрыгивали, как на пружинах.

Грозовая туча надвинулась, и ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер. Он стоял подле старшего офицера. Молоденький офицерик подбежал, с рукой к киверу, к старшему.

— Имею честь доложить, господин полковник, зарядов имеется только восемь, прикажете ли продолжать огонь? — спросил он.

— Картечь! — не отвечая, крикнул старший офицер, смотревший через вал.

Вдруг что-то случилось; офицерик ахнул и, свернувшись, сел на землю, как на лету подстреленная птица. Все сделалось странно, неясно и пасмурно в глазах Пьера.

Одно за другим свистели ядра и бились в бруствер, в солдат, в пушки. Пьер, прежде не слыхавший этих звуков, теперь только слышал одни эти звуки. Сбоку батареи, справа, с криком «ура» бежали солдаты не вперед, а назад, как показалось Пьеру.

Ядро ударило в самый край вала, перед которым стоял Пьер, ссыпало землю, и в глазах его мелькнул черный мячик, и в то же мгновенье шлепнуло во что-то. Ополченцы, вошедшие было на батарею, побежали назад.

— Все картечью! — кричал офицер.

Унтер-офицер подбежал к старшему офицеру и испуганным шепотом (как за обедом докладывает дворецкий хозяину, что нет больше требуемого вина) сказал, что зарядов больше не было.

— Разбойники, что делают! — закричал офицер, оборачиваясь к Пьеру. Лицо старшего офицера было красно и потно, нахмуренные глаза блестели. — Беги к резервам, приводи ящики! — крикнул он, сердито обходя взглядом Пьера и обращаясь к своему солдату.

— Я пойду, — сказал Пьер. Офицер, не отвечая ему, большими шагами пошел в другую сторону.

— Не стрелять... Выжидай! — кричал он.

Солдат, которому приказано было идти за зарядами, столкнулся с Пьером.

— Эх, барин, не место тебе тут, — сказал он и побежал вниз. Пьер побежал за солдатом, обходя то место, на котором сидел молоденький офицерик.

Одно, другое, третье ядро пролетало над ним, ударялось впереди, с боков, сзади, Пьер сбежал вниз. «Куда я?» — вдруг вспомнил он, уже подбегая к зеленым ящикам. Он остановился в нерешительности, идти ему назад или вперед. Вдруг страшный толчок откинул его назад, на землю. В то же мгновенье блеск большого огня осветил его, и в то же мгновенье раздался оглушающий, зазвеневший в ушах гром, треск и свист.

Пьер, очнувшись, сидел на заду, опираясь руками о землю; ящика, около которого он был, не было; только валялись зеленые обожженные доски и тряпки на выжженной траве, и лошадь, трепля обломками оглобель, проскакала от него, а другая, так же как и сам Пьер, лежала на земле и пронзительно протяжно визжала.

XXXII

Пьер, не помня себя от страха, вскочил и побежал назад на батарею, как на единственное убежище от всех ужасов, окружавших его.

В то время как Пьер входил в окоп, он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие-то люди что-то делали там. Пьер не успел понять того, какие это были люди. Он увидел старшего полковника, задом к нему лежащего на валу, как будто рассматривающего что-то внизу, и видел одного, замеченною им, солдата, который, порываясь вперед от людей, державших его за руку, кричал: «Братцы!» — и видел еще что-то странное.

Но он не успел еще сообразить того, что полковник был убит, что кричавший «братцы!» был пленный, что в глазах его был заколон штыком в спину другой солдат. Едва он вбежал в окоп, как худощавый, желтый, с потным лицом человек, в синем мундире, со шпагой в руке, набежал на него, крича что-то. Пьер, инстинктивно обороняясь от толчка, так как они, не видав, разбежались друг против друга, выставил руки и схватил этого человека (это был французский офицер) одной рукой за плечо, другой за горло. Офицер, выпустив шпагу, схватил Пьера за шиворот.

Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен, или он взят в плен мною?» — думал каждый из них. Но, очевидно, французский офицер более склонялся к мысли, что в плен взят он, потому что сильная рука Пьера, движимая невольным страхом, все крепче и крепче сжимала его горло. Француз что-то хотел сказать, как вдруг над самой головой их низко и страшно просвистело ядро, и Пьеру показалось, что голова французского офицера оторвана: так быстро он согнул ее.

Пьер тоже нагнул голову и отпустил руки. Не думая более о том, кто кого взял в плен, француз побежал назад на батарею, а Пьер под гору, спотыкаясь на убитых и раненых, которые, казалось ему, ловят его за ноги. Но не успел он сойти вниз, как навстречу ему показались плотные толпы бегущих русских солдат, которые, падая, спотыкаясь и крича, весело и бурно бежали на батарею. (Это была та атака, которую себе приписывал Ермолов, говоря, что только его храбрости и счастью возможно

было сделать этот подвиг, и та атака, в которой он будто бы кидал на курган Георгиевские кресты, бывшие у него в кармане.)

Французы, занявшие батарею, побежали. Наши войска с криками «ура» так далеко за батарею прогнали французов, что трудно было остановить их.

С батареи свезли пленных, в том числе раненого французского генерала, которого окружили офицеры. Толпы раненых, знакомых и незнакомых Пьеру, русских и французов, с изуродованными страданием лицами, шли, ползли и на носилках неслись с батареи. Пьер вошел на курган, где он провел более часа времени, и из того семейного кружка, который принял его к себе, он не нашел никого. Много было тут мертвых, незнакомых ему. Но некоторых он узнал. Молоденький офицерик сидел, все так же свернувшись, у края вала, в луже крови. Красноорожий солдат еще дергался, но его не убирали.

Пьер побежал вниз.

«Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.

Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и впереди, и в особенности налево у Семеновского, кипело что-то в дыму, и гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил.

XXXIII

Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. (Вне этого пространства с одной стороны была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерией Уварова, с другой стороны, за Утицей, было столкновение Понятовского с Тучковым; но это были два отдельные и слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине поля сражения.) На поле между Бородиным и флешами у леса, на открытом и видном с обеих сторон протяжении, произошло главное действие сражения, самым простым, бесхитростным образом.

Сражение началось канонадой с обеих сторон из нескольких сотен орудий.

Потом, когда дым застлал все поле, в этом дыму двинулись (со стороны французов) справа две дивизии, Дессе и Компана, на флеши, и слева полки вице-короля на Бородино.

От Шевардинского редута, на котором стоял Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по прямой линии, и потому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь с туманом, скрывал всю местность. Солдаты дивизии Дессе, направленные на флеши, были видны только до тех пор, пока они не спустились под овраг, отделявший их от флеш. Как скоро они спустились в овраг, дым выстрелов орудийных и ружейных на флешах стал так густ, что застлал весь подъем той стороны оврага. Сквозь дым мелькало там что-то черное — вероятно, люди, и иногда блеск штыков. Но двигались ли они или стояли, были ли это французы или русские, нельзя было видеть с Шевардинского редута.

Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались. Слышны были иногда из-за выстрелов крики людей, но нельзя было знать, что они там делали.

Наполеон, стоя на кургане, смотрел в трубу, и в маленький круг трубы он видел дым и людей, иногда своих, иногда русских; но где было то, что он видел, он не знал, когда смотрел опять простым глазом.

Он сошел с кургана и стал взад и вперед ходить перед ним.

Изредка он останавливался, прислушивался к выстрелам и вглядывался в поле сражения.

Не только с того места внизу, где он стоял, не только с кургана, на котором стояли теперь некоторые его генералы, но и с самых флешей, на которых находились теперь вместе и попеременно то русские, то французские, мертвые, раненые и живые, испуганные или обезумевшие солдаты, нельзя было понять того, что делалось на этом месте. В продолжение нескольких часов на этом месте, среди неумолкаемой стрельбы, ружейной и пушечной, то появлялись одни русские, то одни французские, то пехотные, то кавалерийские солдаты; появлялись, падали, стреляли, сталкивались, не зная, что делать друг с другом, кричали и бежали назад.

С поля сражения беспрестанно прискакивали к Наполеону его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела; но все эти доклады были ложны: и потому, что в жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную минуту, и потому, что многие адъютанты не доезжали до настоящего места сражения, а передавали то, что они слышали от других; и еще потому, что пока проезжал адъютант те две-три версты, которые отделяли его от Наполеона, обстоятельства изменялись и известие, которое он вез, уже становилось неверно. Так, от вице-короля прискакал адъютант с известием, что Бородино занято и мост на Колоче в руках французов. Адъютант спрашивал у Наполеона, прикажет ли он переходить войскам? Наполеон приказал выстроиться на той стороне и ждать; но не только в то время как Наполеон отдавал это приказание, но даже когда адъютант только что отъехал от Бородина, мост уже был отбит и сожжен русскими, в той самой схватке, в которой участвовал Пьер в самом начале сражения.

Прискакавший с флеш с бледным испуганным лицом адъютант донес Наполеону, что атака отбита и что Компан ранен и Даву убит, а между тем флеши были заняты другой частью войск, в то время как адъютанту говорили, что французы были отбиты, и Даву был жив и только слегка контужен. Соображаясь с таковыми необходимо ложными донесениями, Наполеон делал свои распоряжения, которые или уже были исполнены прежде, чем он делал их, или же не могли быть и не были исполняемы.

Маршалы и генералы, находившиеся в более близком расстоянии от поля сражения, но так же, как и Наполеон, не участвовавшие в самом сражении и только изредка заезжавшие под огонь пуль, не спрашиваясь Наполеона, делали свои

распоряжения и отдавали свои приказания о том, куда и откуда стрелять, и куда скакать конным, и куда бежать пешим солдатам. Но даже и их распоряжения, точно так же как распоряжения Наполеона, точно так же в самой малой степени и редко приводились в исполнение. Большей частью выходило противное тому, что они приказывали. Солдаты, которым велено было идти вперед, подпав под картечный выстрел, бежали назад; солдаты, которым велено было стоять на месте, вдруг, видя против себя неожиданно показавшихся русских, иногда бежали назад, иногда бросались вперед, и конница скакала без приказания догонять бегущих русских. Так, два полка кавалерии поскакали через Семеновский овраг и только что въехали на гору, повернулись и во весь дух поскакали назад. Так же двигались и пехотные солдаты, иногда забегая совсем не туда, куда им велено было. Все распоряжения о том, куда и когда подвинуть пушки, когда послать пеших солдат — стрелять, когда конных — топтать русских пеших, — все эти распоряжения делали сами ближайшие начальники частей, бывшие в рядах, не спрашиваясь даже Нея, Даву и Мюрата, не только Наполеона. Они не боялись взыскания за неисполнение приказания или за самовольное распоряжение, потому что в сражении дело касается самого дорогого для человека — собственной жизни, и иногда кажется, что спасение заключается в бегстве назад, иногда в бегстве вперед, и сообразно с настроением минуты поступали эти люди, находившиеся в самом пылу сражения. В сущности же, все эти движения вперед и назад не облегчали и не изменяли положения войск. Все их набегания и наскакивания друг на друга почти не производили им вреда, а вред, смерть и увечья наносили ядра и пули, летавшие везде по тому пространству, по которому метались эти люди. Как только эти люди выходили из того пространства, по которому летали ядра и пули, так их тотчас же стоявшие сзади начальники формировали, подчиняли дисциплине и под влиянием этой дисциплины вводили опять в область огня, в которой они опять (под влиянием страха смерти) теряли дисциплину и метались по случайному настроению толпы.

XXXIV

Генералы Наполеона — Даву, Ней и Мюрат, находившиеся в близости этой области огня и даже иногда заезжавшие в нее, несколько раз вводили в эту область огня стройные и огромные массы войск. Но противно тому, что неизменно совершалось во всех прежних сражениях, вместо ожидаемого известия о бегстве неприятеля, стройные массы войск возвращались оттуда расстроенными, испуганными толпами. Они вновь устроивали их, но людей все становилось меньше. В половине дня Мюрат послал к Наполеону своего адъютанта с требованием подкрепления.

Наполеон сидел под курганом и пил пунш, когда к нему прискакал адъютант Мюрата с уверениями, что русские будут разбиты, ежели его величество даст еще дивизию.

— Подкрепления? — сказал Наполеон с строгим удивлением, как бы не понимая его слов и глядя на красивого мальчика-адъютанта с длинными завитыми

черными волосами (так же, как носил волоса Мюрат). «Подкрепления! — подумал Наполеон. — Какого они просят подкрепления, когда у них в руках половина армии, направленной на слабое, неукрепленное крыло русских!»

— Dites au roi de Naples, — строго сказал Наполеон, — qu'il n'est pas midi et que je ne vois pas encore clair sur mon échiquier. Allez...[1]

Красивый мальчик-адъютант с длинными волосами, не отпуская руки от шляпы, тяжело вздохнув, поскакал опять туда, где убивали людей. Наполеон встал и, подозвав Коленкура и Бертье, стал разговаривать с ними о делах, не касающихся сражения.

В середине разговора, который начинал занимать Наполеона, глаза Бертье обратились на генерала с свитой, который на потной лошади скакал к кургану. Это был Бельяр. Он, слезши с лошади, быстрыми шагами подошел к императору и смело, громким голосом стал доказывать необходимость подкреплений. Он клялся честью, что русские погибли, ежели император даст еще дивизию.

Наполеон вздернул плечами и, ничего не ответив, продолжал свою прогулку. Бельяр громко и оживленно стал говорить с генералами свиты, окружившими его.

— Вы очень пылки, Бельяр, — сказал Наполеон, опять подходя к подъехавшему генералу. — Легко ошибиться в пылу огня. Поезжайте и посмотрите, и тогда приезжайте ко мне.

Не успел еще Бельяр скрыться из вида, как с другой стороны прискакал новый посланный с поля сражения.

— Eh bien, qu'est ce qu'il y a?[2] — сказал Наполеон тоном человека, раздраженного беспрестанными помехами.

— Sire, le prince...[3] — начал адъютант.

— Просит подкрепления? — с гневным жестом проговорил Наполеон. Адъютант утвердительно наклонил голову и стал докладывать; но император отвернулся от него, сделав два шага, остановился, вернулся назад и подозвал Бертье. — Надо дать резервы, — сказал он, слегка разводя руками. — Кого послать туда, как вы думаете? — обратился он к Бертье, к этому oison que j'ai fait aigle[4], как он впоследствии называл его.

— Государь, послать дивизию Клапареда? — сказал Бертье, помнивший наизусть все дивизии, полки и батальоны.

Наполеон утвердительно кивнул головой.

Адъютант поскакал к дивизии Клапареда. И чрез несколько минут молодая гвардия, стоявшая позади кургана, тронулась с своего места. Наполеон молча смотрел по этому направлению.

— Нет, — обратился он вдруг к Бертье, — я не могу послать Клапареда. Пошлите дивизию Фриана, — сказал он.

---

[1] — Скажите Неаполитанскому королю, — строго сказал Наполеон, — что ещё не полдень и я ещё не вижу ясно своей шахматной доски. Идите…

[2] Ну, что еще?

[3] Государь, герцог...

[4] гусенку, которого я сделал орлом

Хотя не было никакого преимущества в том, чтобы вместо Клапареда посылать дивизию Фриана, и даже было очевидное неудобство и замедление в том, чтобы остановить теперь Клапареда и посылать Фриана, но приказание было с точностью исполнено. Наполеон не видел того, что он в отношении своих войск играл роль доктора, который мешает своими лекарствами, — роль, которую он так верно понимал и осуждал.

Дивизия Фриана, так же как и другие, скрылась в дыму поля сражения. С разных сторон продолжали прискакивать адъютанты, и все, как бы сговорившись, говорили одно и то же. Все просили подкреплений, все Говорили, что русские, держатся на своих местах и производят un feu d'enfer[1], от которого тает французское войско.

Наполеон сидел в задумчивости на складном стуле.

Проголодавшийся с утра m-r de Beausset, любивший путешествовать, подошел к императору и осмелился почтительно предложить его величеству позавтракать.

— Я надеюсь, что теперь уже я могу поздравить ваше величество с победой — сказал он.

Наполеон молча отрицательно покачал головой. Полагая, что отрицание относится к победе, а не к завтраку, m-r de Beausset позволил себе игриво-почтительно заметить, что нет в мире причин, которые могли бы помешать завтракать, когда можно это сделать.

— Allez vous...[2] — вдруг мрачно сказал Наполеон и отвернулся. Блаженная улыбка сожаления, раскаяния и восторга просияла на лице господина Боссе, и он плывущим шагом отошел к другим генералам.

Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает.

Войска были те же, генералы те же, те же были приготовления, та же диспозиция, та же proclamation courte et énergique[3], он сам был тот же, он это знал, он знал, что он был даже гораздо опытнее и искуснее теперь, чем он был прежде, даже враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом; но страшный размах руки падал волшебно-бессильно.

Все те прежние приемы, бывало неизменно увенчиваемые успехом: и сосредоточение батарей на один пункт, и атака резервов для прорвания линии, и атака кавалерии des hommes de fer[4] — все эти приемы уже были употреблены, и не только не было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необходимости подкреплений, о невозможности сбить русских и о расстройстве войск.

Прежде после двух-трех распоряжений, двух-трех фраз скакали с поздравлениями и веселыми лицами маршалы и адъютанты, объявляя трофеями

---

[1] адский огонь

[2] Убирайтесь к...

[3] короткая и энергичная прокламация (то есть краткий и бодрый приказ или обращение к войскам)

[4] железных людей

корпуса пленных, des faisceaux de drapeaux et d'aigles ennemis[1], и пушки, и обозы, и Мюрат просил только позволения пускать кавалерию для забрания обозов. Так было под Лоди, Маренго, Арколем, Иеной, Аустерлицем, Ваграмом и так далее, и так далее. Теперь же что-то странное происходило с его войсками.

Несмотря на известие о взятии флешей, Наполеон видел, что это было не то, совсем не то, что было во всех его прежних сражениях. Он видел, что то же чувство, которое испытывал он, испытывали и все его окружающие люди, опытные в деле сражений. Все лица были печальны, все глаза избегали друг друга. Только одни Боссе не мог понимать значения того, что совершалось. Наполеон же после своего долгого опыта войны знал хорошо, что значило в продолжение восьми часов, после всех употребленных усилий, невыигранное атакующим сражение. Он знал, что это было почти проигранное сражение и что малейшая случайность могла теперь — на той натянутой точке колебания, на которой стояло сражение, — погубить его и его войска.

Когда он перебирал в воображении всю эту странную русскую кампанию, в которой не было выиграно ни одного сраженья, в которой в два месяца не взято ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск, когда глядел на скрытно-печальные лица окружающих и слушал донесения о том, что русские всё стоят, — страшное чувство, подобное чувству, испытываемому в сновидениях, охватывало его, и ему приходили в голову все несчастные случайности, могущие погубить его. Русские могли попасть на его левое крыло, могли разорвать его середину, шальное ядро могло убить его самого. Все это было возможно. В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с тем страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека.

Известие о том, что русские атакуют левый фланг французской армии, возбудило в Наполеоне этот ужас. Он молча сидел под курганом на складном стуле, опустив голову и положив локти на колена. Бертье подошел к нему и предложил проехаться по линии, чтобы убедиться, в каком положении находилось дело.

— Что? Что вы говорите? — сказал Наполеон. — Да, велите подать мне лошадь.

Он сел верхом и поехал к Семеновскому.

В медленно расходившемся пороховом дыме по всему тому пространству, по которому ехал Наполеон, — в лужах крови лежали лошади и люди, поодиночке и кучами. Подобного ужаса, такого количества убитых на таком малом пространстве никогда не видали еще и Наполеон, и никто из его генералов. Гул орудий, не перестававший десять часов сряду и измучивший ухо, придавал особенную значительность зрелищу (как музыка при живых картинах). Наполеон выехал на высоту Семеновского и сквозь дым увидал ряды людей в мундирах цветов, непривычных для его глаз. Это были русские.

[1] пуки неприятельских орлов и знамен

Русские плотными рядами стояли позади Семеновского и кургана, и их орудия не переставая гудели и дымили по их линии. Сражения уже не было. Было продолжавшееся убийство, которое ни к чему не могло повести ни русских, ни французов. Наполеон остановил лошадь и впал опять в ту задумчивость, из которой вывел его Бертье; он не мог остановить того дела, которое делалось перед ним и вокруг него и которое считалось руководимым им и зависящим от него, и дело это ему в первый раз, вследствие неуспеха, представлялось ненужным и ужасным.

Один из генералов, подъехавших к Наполеону, позволил себе предложить ему ввести в дело старую гвардию. Ней и Бертье, стоявшие подле Наполеона, переглянулись между собой и презрительно улыбнулись на бессмысленное предложение этого генерала.

Наполеон опустил голову и долго молчал.

— A huit cent lieux de France je ne ferai pas démolir ma garde[1], — сказал он и, повернув лошадь, поехал назад к Шевардину.

XXXV

Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему.

«Да, да, сделайте это, — отвечал он на различные предложения. — Да, да, съезди, голубчик, посмотри, — обращался он то к тому, то к другому из приближенных; или: — Нет, не надо, лучше подождем», — говорил он. Он выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания, когда это требовалось подчиненным; но, выслушивая донесения, он, казалось, не интересовался смыслом слов того, что ему говорили, а что-то другое в выражении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его. Долголетним военным опытом он знал и старческим умом понимал, что руководить сотнями тысяч человек, борющихся с смертью, нельзя одному человеку, и знал, что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти.

Общее выражение лица Кутузова было сосредоточенное, спокойное внимание и напряжение, едва превозмогавшее усталость слабого и старого тела.

В одиннадцать часов утра ему привезли известие о том, что занятые французами флеши были опять отбиты, но что князь Багратион ранен. Кутузов ахнул и покачал головой.

— Поезжай к князю Петру Ивановичу и подробно узнай, что и как, — сказал он одному из адъютантов и вслед за тем обратился к принцу Виртембергскому, стоявшему позади его:

[1] За три тысячи двести верст от Франции я не могу дать разгромить свою гвардию

— Не угодно ли будет вашему высочеству принять командование первой армией.

Вскоре после отъезда принца, так скоро, что он еще не мог доехать до Семеновского, адъютант принца вернулся от него и доложил светлейшему, что принц просит войск.

Кутузов поморщился и послал Дохтурову приказание принять командование первой армией, а принца, без которого, как он сказал, он не может обойтись в эти важные минуты, просил вернуться к себе. Когда привезено было известие о взятии в плен Мюрата и штабные поздравляли Кутузова, он улыбнулся.

— Подождите, господа, — сказал он. — Сражение выиграно, и в пленении Мюрата нет ничего необыкновенного. Но лучше подождать радоваться. — Однако он послал адъютанта проехать по войскам с этим известием.

Когда с левого фланга прискакал Щербинин с донесением о занятии французами флешей и Семеновского, Кутузов, по звукам поля сражения и по лицу Щербинина угадав, что известия были нехорошие, встал, как бы разминая ноги, и, взяв под руку Щербинина, отвел его в сторону.

— Съезди, голубчик, — сказал он Ермолову, — посмотри, нельзя ли что сделать.

Кутузов был в Горках, в центре позиции русского войска. Направленная Наполеоном атака на наш левый фланг была несколько раз отбиваема. В центре французы не подвинулись далее Бородина. С левого фланга кавалерия Уварова заставила бежать французов.

В третьем часу атаки французов прекратились. На всех лицах приезжавших с поля сражения и на тех, которые стояли вокруг него, Кутузов читал выражение напряженности, дошедшей до высшей степени. Кутузов был доволен успехом дня сверх ожидания. Но физические силы оставляли старика. Несколько раз голова его низко опускалась, как бы падая, и он задремывал. Ему подали обедать.

Флигель-адъютант Вольцоген, тот самый, который, проезжая мимо князя Андрея, говорил, что войну надо im Raum verlegen[1], и которого так ненавидел Багратион, во время обеда подъехал к Кутузову. Вольцоген приехал от Барклая с донесением о ходе дел на левом фланге. Благоразумный Барклай де Толли, видя толпы отбегающих раненых и расстроенные зады армии, взвесив все обстоятельства дела, решил, что сражение было проиграно, и с этим известием прислал к главнокомандующему своего любимца.

Кутузов с трудом жевал жареную курицу и сузившимися, повеселевшими глазами взглянул на Вольцогена.

Вольцоген, небрежно разминая ноги, с полупрезрительной улыбкой на губах, подошел к Кутузову, слегка дотронувшись до козырька рукою.

Вольцоген обращался с светлейшим с некоторой аффектированной небрежностью, имеющей целью показать, что он, как высокообразованный военный,

[1] перенести в пространство (нем.).

предоставляет русским делать кумира из этого старого, бесполезного человека, а сам знает, с кем он имеет дело. «Der alte Herr (как называли Кутузова в своем кругу немцы) macht sieht ganz bequem»[1], — подумал Вольцоген и, строго взглянув на тарелки, стоявшие перед Кутузовым, начал докладывать старому господину положение дел на левом фланге так, как приказал ему Барклай и как он сам его видел и понял.

— Все пункты нашей позиции в руках неприятеля и отбить нечем, потому что войск нет; они бегут, и нет возможности остановить их, — докладывал он.

Кутузов, остановившись жевать, удивленно, как будто не понимая того, что ему говорили, уставился на Вольцогена. Вольцоген, заметив волнение des alten Herrn[2], с улыбкой сказал:

— Я не считал себя вправе скрыть от вашей светлости того, что я видел... Войска в полном расстройстве...

— Вы видели? Вы видели?.. — нахмурившись, закричал Кутузов, быстро вставая и наступая на Вольцогена. — Как вы... как вы смеете!.. — делая угрожающие жесты трясущимися руками и захлебываясь, закричал он. — Как смеете вы, милостивый государь, говорить это мне. Вы ничего не знаете. Передайте от меня генералу Барклаю, что его сведения неверны и что настоящий ход сражения известен мне, главнокомандующему, лучше, чем ему.

Вольцоген хотел возразить что-то, но Кутузов перебил его.

— Неприятель отбит на левом и поражен на правом фланге. Ежели вы плохо видели, милостивый государь, то не позволяйте себе говорить того, чего вы не знаете. Извольте ехать к генералу Барклаю и передать ему назавтра мое непременное намерение атаковать неприятеля, — строго сказал Кутузов. Все молчали, и слышно было одно тяжелое дыхание запыхавшегося старого генерала. — Отбиты везде, за что я благодарю Бога и наше храброе войско. Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской, — сказал Кутузов, крестясь; и вдруг всхлипнул от наступивших слез. Вольцоген, пожав плечами и скривив губы, молча отошел к стороне, удивляясь über diese Eingenommenheit des alten Herrn[3].

— Да, вот он, мой герой, — сказал Кутузов к полному красивому черноволосому генералу, который в это время входил на курган. Это был Раевский, проведший весь день на главном пункте Бородинского поля.

Раевский доносил, что войска твердо стоят на своих местах и что французы не смеют атаковать более.

Выслушав его, Кутузов по-французски сказал:

— Vous ne pensez donc pas comme les autres que nous sommes obligés de nous retirer?[4]

---

[1] «Старый господин (как называли Кутузова в своем кругу немцы) устраивается вполне удобно» (нем.).

[2] старого господина (нем.).

[3] на это самодурство старого господина (нем.).

[4] Значит, вы не думаете, как другие, что мы обязаны отступить?

— Au contraire, votre altesse, dans les affaires indécises c'est toujours le plus opiniâtre qui reste victorieux, — отвечал Раевский, — et mon opinion...[2]

— Кайсаров! — крикнул Кутузов своего адъютанта. — Садись пиши приказ на завтрашний день. А ты, — обратился он к другому, — поезжай по линии и объяви, что завтра мы атакуем.

Пока шел разговор с Раевским и диктовался приказ, Вольцоген вернулся от Барклая и доложил, что генерал Барклай де Толли желал бы иметь письменное подтверждение того приказа, который отдавал фельдмаршал.

Кутузов, не глядя на Вольцогена, приказал написать этот приказ, который, весьма основательно, для избежания личной ответственности, желал иметь бывший главнокомандующий.

И по неопределимой, таинственной связи, поддерживающей во всей армии одно и то же настроение, называемое духом армии и составляющее главный нерв войны, слова Кутузова, его приказ к сражению на завтрашний день, передались одновременно во все концы войска.

Далеко не самые слова, не самый приказ передавались в последней цепи этой связи. Даже ничего не было похожего в тех рассказах, которые передавали друг другу на разных концах армии, на то, что сказал Кутузов; но смысл его слов сообщился повсюду, потому что то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соображений, а из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего, так же как и в душе каждого русского человека.

И узнав то, что назавтра мы атакуем неприятеля, из высших сфер армии услыхав подтверждение того, чему они хотели верить, измученные, колеблющиеся люди утешались и ободрялись.

XXXVI

Полк князя Андрея был в резервах, которые до второго часа стояли позади Семеновского в бездействии, под сильным огнем артиллерии. Во втором часу полк, потерявший уже более двухсот человек, был двинут вперед на стоптанное овсяное поле, на тот промежуток между Семеновским и курганной батареей, на котором в этот день были побиты тысячи людей и на который во втором часу дня был направлен усиленно-сосредоточенный огонь из нескольких сот неприятельских орудий.

Не сходя с этого места и не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей. Спереди и в особенности с правой стороны, в нерасходившемся дыму, бубухали пушки, и из таинственной области дыма, застилавшей всю местность впереди, не переставая, с шипящим быстрым свистом, вылетали ядра и медлительно свистевшие гранаты. Иногда, как бы давая отдых, проходило четверть часа, во время которых все ядра и гранаты перелетали, но иногда в продолжение минуты несколько человек вырывало из полка, и беспрестанно оттаскивали убитых и уносили раненых.

[2] Напротив, ваша светлость, в делах нерешительных (исход которых неясен) победителем всегда остается самый упрямый, — отвечал Раевский, — и мое мнение...

С каждым новым ударом все меньше и меньше случайностей жизни оставалось для тех, которые еще не были убиты. Полк стоял в батальонных колоннах на расстоянии трехсот шагов, но, несмотря на то, все люди полка находились под влиянием одного и того же настроения. Все люди полка одинаково были молчаливы и мрачны. Редко слышался между рядами говор, но говор этот замолкал всякий раз, как слышался попавший удар и крик: «Носилки!» Большую часть времени люди полка по приказанию Начальства сидели на земле. Кто, сняв кивер, старательно распускал и опять собирал сборки; кто сухой глиной, распорошив ее в ладонях, начищал штык; кто разминал ремень и перетягивал пряжку перевязи; кто старательно расправлял и перегибал по-новому подвертки и переобувался. Некоторые строили домики из калмыжек пашни или плели плетеночки из соломы жнивья. Все казались вполне погружены в эти занятия. Когда ранило и убивало людей, когда тянулись носилки, когда наши возвращались назад, когда виднелись сквозь дым большие массы неприятелей, никто не обращал никакого внимания на эти обстоятельства. Когда же вперед проезжала артиллерия, кавалерия, виднелись движения нашей пехоты, одобрительные замечания слышались со всех сторон. Но самое большое внимание заслуживали события совершенно посторонние, не имевшие никакого отношения к сражению. Как будто внимание этих нравственно измученных людей отдыхало на этих обычных, житейских событиях. Батарея артиллерии прошла пред фронтом полка. В одном из артиллерийских ящиков пристяжная заступила постромку: «Эй, пристяжную-то!.. Выправь! Упадет... Эх, не видят!..» — по всему полку одинаково кричали из рядов. В другой раз общее внимание обратила небольшая коричневая собачонка с твердо поднятым хвостом, которая, Бог знает откуда взявшись, озабоченной рысцой выбежала перед ряды и вдруг от близко ударившего ядра взвизгнула и, поджав хвост, бросилась в сторону. По всему полку раздалось гоготанье и взвизги. Но развлечения такого рода продолжались минуты, а люди уже более восьми часов стояли без еды и без дела под непроходящим ужасом смерти, и бледные и нахмуренные лица все более бледнели и хмурились.

Князь Андрей, точно так же как и все люди полка, нахмуренный и бледный, ходил взад и вперед по лугу подле овсяного поля от одной межи к другой, заложив назад руки и опустив голову. Делать и приказывать ему нечего было. Все делалось само собою. Убитых оттаскивали за фронт, раненых относили, ряды смыкались. Ежели отбегали солдаты, то они тотчас же поспешно возвращались. Сначала князь Андрей, считая своею обязанностью возбуждать мужество солдат и показывать им пример, прохаживался по рядам; но потом он убедился, что ему нечему и нечем учить их. Все силы его души, точно так же как и каждого солдата, были бессознательно направлены на то, чтобы удержаться только от созерцания ужаса того положения, в котором они были. Он ходил по лугу, волоча ноги, шаршавя траву и наблюдая пыль, которая покрывала его сапоги; то он шагал большими шагами, стараясь попадать в следы, оставленные косцами по лугу, то он, считая свои шаги, делал расчеты, сколько раз он должен пройти от межи до межи, чтобы сделать версту, то ошмурыгивал цветки полыни, растущие на меже, и растирал эти цветки в ладонях и принюхивался к душисто-горькому, крепкому запаху. Изо всей вчерашней

работы мысли не оставалось ничего. Он ни о чем не думал. Он прислушивался усталым слухом все к тем же звукам, различая свистенье полетов от гула выстрелов, посматривал на приглядевшиеся лица людей 1-го батальона и ждал. «Вот она... эта опять к нам! — думал он, прислушиваясь к приближавшемуся свисту чего-то из закрытой области дыма. — Одна, другая! Еще! Попало...» Он остановился и поглядел на ряды. «Нет, перенесло. А вот это попало». И он опять принимался ходить, стараясь делать большие шаги, чтобы в шестнадцать шагов дойти до межи.

Свист и удар! В пяти шагах от него взрыло сухую землю и скрылось ядро. Невольный холод пробежал по его спине. Он опять поглядел на ряды. Вероятно, вырвало многих; большая толпа собралась у 2-го батальона.

— Господин адъютант, — прокричал он, — прикажите, чтобы не толпились. — Адъютант, исполнив приказание, подходил к князю Андрею. С другой стороны подъехал верхом командир батальона.

— Берегись! — послышался испуганный крик солдата, и, как свистящая на быстром полете, приседающая на землю птичка, в двух шагах от князя Андрея, подле лошади батальонного командира, негромко шлепнулась граната. Лошадь первая, не спрашивая того, хорошо или дурно было высказывать страх, фыркнула, взвилась, чуть не сронив майора, и отскакала в сторону. Ужас лошади сообщился людям.

— Ложись! — крикнул голос адъютанта, прилегшего к земле. Князь Андрей стоял в нерешительности. Граната, как волчок, дымясь вертелась между ним и лежащим адъютантом, на краю пашни и луга, подле куста полыни.

«Неужели это смерть? — думал князь Андрей, совершенно новым завистливым взглядом глядя на траву, на полынь и на струйку дыма, вьющуюся от вертящегося черного мячика. — Я не могу, я не хочу умереть, я люблю жизнь, люблю эту траву, землю, воздух...» — Он думал это и вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

— Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту. — Какой... — он не договорил. В одно и то же время послышался взрыв, свист осколков как бы разбитой рамы, душный запах пороха — и князь Андрей рванулся в сторону и, подняв кверху руку, упал на грудь.

Несколько офицеров подбежало к нему. С правой стороны живота расходилось по траве большое пятно крови.

Вызванные ополченцы с носилками остановились позади офицеров. Князь Андрей лежал на груди, опустившись лицом до травы и, тяжело, всхрапывая, дышал.

— Ну что стали, подходи!

Мужики подошли и взяли его за плечи и ноги, но он жалобно застонал, и мужики, переглянувшись, опять отпустили его.

— Берись, клади, все одно! — крикнул чей-то голос. Его другой раз взяли за плечи и положили на носилки.

— Ах Боже мой! Боже мой! Что ж это?.. Живот! Это конец! Ах Боже мой! — слышались голоса между офицерами. — На волосок мимо уха прожужжала, — говорил адъютант. Мужики, приладивши носилки на плечах, поспешно тронулись по протоптанной ими дорожке к перевязочному пункту.

— В ногу идите... Э!.. мужичье! — крикнул офицер, за плечи останавливая неровно шедших и трясущих носилки мужиков.

— Подлаживай, что ль, Хведор, а Хведор, — говорил передний мужик.

— Вот так, важно, — радостно сказал задний, попав в ногу.

— Ваше сиятельство? А? Князь? — дрожащим голосом сказал подбежавший Тимохин, заглядывая в носилки.

Князь Андрей открыл глаза и посмотрел из-за носилок, в которые глубоко ушла его голова, на того, кто говорил, и опять опустил веки.

Ополченцы принесли князя Андрея к лесу, где стояли фуры и где был перевязочный пункт. Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами, палаток на краю березника. В березнике стояли фуры и лошади. Лошади в хребтугах ели овес, и воробьи слетали к ним и подбирали просыпанные зерна. Воронья, чуя кровь, нетерпеливо каркая, перелетали на березах. Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Вокруг раненых, с унылыми и внимательными лицами, стояли толпы солдат-носильщиков, которых тщетно отгоняли от этого места распоряжавшиеся порядком офицеры. Не слушая офицеров, солдаты стояли, опираясь на носилки, и пристально, как будто пытаясь понять трудное значение зрелища, смотрели на то, что делалось перед ними. Из палаток слышались то громкие, злые вопли, то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, которых надо было вносить. Раненые, ожидая у палатки своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили водки. Некоторые бредили. Князя Андрея, как полкового командира, шагая через неперевязанных раненых, пронесли ближе к одной из палаток и остановились, ожидая приказания. Князь Андрей открыл глаза и долго не мог понять того, что делалось вокруг него. Луг, полынь, пашня, черный крутящийся мячик и его страстный порыв любви к жизни вспомнились ему. В двух шагах от него, громко говоря и обращая на себя общее внимание, стоял, опершись на сук и с обвязанной головой, высокий, красивый черноволосый унтер-офицер. Он был ранен в голову и ногу пулями. Вокруг него, жадно слушая его речь, собралась толпа раненых и носильщиков.

— Мы его оттеда как долбанули, так все побросал, самого короля забрали! — блестя черными разгоряченными глазами и оглядываясь вокруг себя, кричал солдат. — Подойди только в тот самый раз лезервы, его б, братец ты мой, звания не осталось, потому верно тебе говорю...

Князь Андрей, так же как и все окружавшие рассказчика, блестящим взором смотрел на него и испытывал утешительное чувство. «Но разве не все равно теперь, — подумал он. — А что будет там и что такое было здесь? Отчего мне так жалко было расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал, и не понимаю».

XXXVII

Один из докторов, в окровавленном фартуке и с окровавленными небольшими руками, в одной из которых он между мизинцем и большим пальцем (чтобы не запачкать ее) держал сигару, вышел из палатки. Доктор этот поднял голову и стал смотреть по сторонам, но выше раненых. Он, очевидно, хотел отдохнуть немного. Поводив несколько времени головой вправо и влево, он вздохнул и опустил глаза.

— Ну, сейчас, — сказал он на слова фельдшера, указывавшего ему на князя Андрея, и велел нести его в палатку.

В толпе ожидавших раненых поднялся ропот.

— Видно, и на том свете господам одним жить, — проговорил один.

Князя Андрея внесли и положили на только что очистившийся стол, с которого фельдшер споласкивал что-то. Князь Андрей не мог разобрать в отдельности того, что было в палатке. Жалобные стоны с разных сторон, мучительная боль бедра, живота и спины развлекали его. Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад в этот жаркий, августовский день это же тело наполняло грязный пруд по Смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair à canon[1], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас.

В палатке было три стола. Два были заняты, на третий положили князя Андрея. Несколько времени его оставили одного, и он невольно увидал то, что делалось на других двух столах. На ближнем столе сидел татарин, вероятно, казак — по мундиру, брошенному подле. Четверо солдат держали его. Доктор в очках что-то резал в его коричневой, мускулистой спице.

— Ух, ух, ух!.. — как будто хрюкал татарин, и вдруг, подняв кверху свое скуластое черное курносое лицо, оскалив белые зубы, начинал рваться, дергаться и визжать пронзительно-звенящим, протяжным визгом. На другом столе, около которого толпилось много народа, на спине лежал большой, полный человек с закинутой назад головой (вьющиеся волоса, их цвет и форма головы показались странно знакомы князю Андрею). Несколько человек фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча — один был бледен и дрожал — что-то делали над другой, красной ногой этого человека. Управившись с татарином, на которого накинули шинель, доктор в очках, обтирая руки, подошел к князю Андрею.

Он взглянул в лицо князя Андрея и поспешно отвернулся.

— Раздеть! Что стоите? — крикнул он сердито на фельдшеров.

Самое первое далекое детство вспомнилось князю Андрею, когда фельдшер торопившимися засученными руками расстегивал ему пуговицы и снимал с него платье. Доктор низко нагнулся над раной, ощупал ее и тяжело вздохнул. Потом он сделал знак кому-то. И мучительная боль внутри живота заставила князя Андрея потерять сознание. Когда он очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны, и рана перевязана. Ему прыскали в лицо водою. Как только князь Андрей открыл глаза, доктор нагнулся над ним, молча поцеловал его в губы и поспешно отошел.

[1] «пушечное мясо»

После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Все лучшие, счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее детство, когда его раздевали и клали в кроватку, когда няня, убаюкивая, пела на ним, когда, зарывшись головой в подушки, он чувствовал себя счастливым одним сознанием жизни, — представлялись его воображению даже не как прошедшее, а как действительность.

Около того раненого, очертания головы которого казались знакомыми князю Андрею, суетились доктора; его поднимали и успокоивали.

— Покажите мне... Ооооо! о! ооооо! — слышался его прерываемый рыданиями, испуганный и покорившийся страданию стон. Слушая эти стоны, князь Андрей хотел плакать. Оттого ли, что он без славы умирал, оттого ли, что жалко ему было расставаться с жизнью, от этих ли невозвратимых детских воспоминаний, оттого ли, что он страдал, что другие страдали и так жалостно перед ним стонал этот человек, но ему хотелось плакать детскими, добрыми, почти радостными слезами.

Раненому показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу.

— О! Ооооо! — зарыдал он, как женщина. Доктор, стоявший перед раненым, загораживая его лицо, отошел.

— Боже мой! Что это? Зачем он здесь? — сказал себе князь Андрей.

В несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина. Анатоля держали на руках и предлагали ему воду в стакане, края которого он не мог поймать дрожащими, распухшими губами. Анатоль тяжело всхлипывал. «Да, это он; да, этот человек чем-то близко и тяжело связан со мною, — думал князь Андрей, не понимая еще ясно того, что было перед ним. — В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью?» — спрашивал он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного, представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу такою, какою он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей и тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом, и любовь и нежность к ней, еще живее и сильнее, чем когда-либо, проснулись в его душе. Он вспомнил теперь эту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам — да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!»

XXXVIII

Страшный вид поля сражения, покрытого трупами и ранеными, в соединении с тяжестью головы и с известиями об убитых и раненых двадцати знакомых генералах и с сознанием бессильности своей прежде сильной руки произвели неожиданное впечатление на Наполеона, который обыкновенно любил рассматривать убитых и раненых, испытывая тем свою душевную силу (как он думал). В этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он поспешно уехал с поля сражения и возвратился к Шевардинскому кургану. Желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом, он сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы и не поднимая глаз. Он с болезненной тоской ожидал конца того дела, которого он считал себя причиной, но которого он не мог остановить. Личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго. Он на себя переносил те страдания и ту смерть, которые он видел на поле сражения. Тяжесть головы и груди напоминала ему о возможности и для себя страданий и смерти. Он в эту минуту не хотел для себя ни Москвы, ни победы, ни славы. (Какой нужно было ему еще славы?) Одно, чего он желал теперь, — отдыха, спокойствия и свободы. Но когда он был на Семеновской высоте, начальник артиллерии предложил ему выставить несколько батарей на эти высоты, для того чтобы усилить огонь по столпившимся перед Князьковым русским войскам. Наполеон согласился и приказал привезти ему известие о том, какое действие произведут эти батареи.

Адъютант приехал сказать, что по приказанию императора двести орудий направлены на русских, но что русские все так же стоят.

— Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят, — сказал адъютант.

— Ils en veulent encore!..[1] — сказал Наполеон охриплым голосом.

— Sire? [2] — повторил не расслушавший адъютант.

— Ils en veulent encore, — нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, — donnez leur-en[3].

И без его приказания делалось то, чего он хотел, и он распорядился только потому, что думал, что от него ждали приказания. И он опять перенесся в свой прежний искусственный мир призраков какого-то величия, и опять (как та лошадь, ходящая на покатом колесе привода, воображает себе, что она что-то делает для себя) он покорно стал исполнять ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая ему была предназначена.

И не на один только этот час и день были помрачены ум и совесть этого человека, тяжеле всех других участников этого дела носившего на себе всю тяжесть совершавшегося; но и никогда, до конца жизни, не мог понимать он ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком

[1] Им еще хочется!..

[2] Государь?

[3] Они еще хотят, — нахмурившись, прохрипел Наполеон осиплым голосом, — так дайте же им еще

противоположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого.

Не в один только этот день, объезжая поле сражения, уложенное мертвыми и изувеченными людьми (как он думал, по его воле), он, глядя на этих людей, считал, сколько приходится русских на одного француза, и, обманывая себя, находил причины радоваться, что на одного француза приходилось пять русских. Не в один только этот день он писал в письме в Париж, что le champ de bataille a été superbe[1], потому что на нем было пятьдесят тысяч трупов; но и на острове Св. Елены, в тиши уединения, где он говорил, что он намерен был посвятить свои досуги изложению великих дел, которые он сделал, он писал:

«La guerre de Russe eût dû être la plus populaire des temps modernes: c'était celle du bon sens et des vrais intérêts, celle du repos et de la sécurité de tous; elle était purement pacifique et conservatrice.

C'était pour la grande cause, la fin des hasards et le commencement de la sécurité. Un nouvel horizon, de nouveaux travaux allaient se dérouler, tout plein du bien-être et de la prospérité de tous. Le système européen se trouvait fondé; il n'était plus question que de l'organiser.

Satisfait sur ces grands points et tranquille partout, j'aurais eu aussi mon congrès et ma sainte-alliance. Ce sont des idées qu'on m'a volées. Dans cette réunion de grands souverains, nous eussions traités de nos intérêts en famille et compté de clerc à maître avec les peuples.

L'Europe n'eût bientôt fait de la sorte véritablement qu'un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fût trouvé toujours dans la patrie commune. Il eût demandé toutes les rivières navigables pour tous, la communauté des mers, et que les grandes armées permanentes fussent réduites désormais à la seule garde des souverains.

De retour en France, au sein de la patrie, grande, forte, magnifique, tranquille, glorieuse, j'eusse proclamé ses limites immuables; toute guerre future, purement défensive; tout agrandissement nouveau antinational. J'eusse associé mon fils à l'Empire; ma dictature eût fini, et son règne constitutionnel eût commencé...

Paris eût été la capitale du monde, et les Français l'envie des nations!..

Mes loisirs ensuite et mes vieux jours eussent été consacrés, en compagnie de l'impératrice et durant l'apprentissage royal de mon fils, à visiter lentement et en vrai couple campagnard, avec nos propres chevaux, tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, semant de toutes paris et partout les monuments et les bienfaits»[2].

---

[1] Поле сражения было великолепно

[2] Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная.

Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос

Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!

«Des 400 000 hommes qui passèrent la Vistule, — писал он дальше о русской войне, — la moitié était Autrichiens, Prussiens, Saxons, Polonais, Bavarois. Wurtembergeois, Mecklembourgeois, Espagnols, Italiens, Napolitains. L'armée impériale, proprement dite, était pour un tiers composée de Hollandais, Belges, habitants des bords du Rhin, Piémontais, Suisses, Genevois, Toscans, Romains, habitants de la 32-e division militaire, Brème, Hambourg, etc.; elle comptait à peine 140000 hommes parlant français. L'expédition de Russie coûta moins de 50000 hommes à la France actuelle; l'armée russe dans la retraite de Wilna à Moscou, dans les différentes batailles, a perdu quatre fois plus que l'armée française; l'incendie de Moscou a coûté la vie à 100 000 Russes, morts de froid et de misère dans les bois; enfin dans sa marche de Moscou à l'Oder, l'armée russe fut aussi atteinte par l'intempérie de la saison; elle ne comptait à son arrivée à Wilna que 50000 hommes, et à Kalisch moins de 18000»[2].

Он воображал себе, что по его воле произошла война с Россией, и ужас свершившегося не поражал его душу. Он смело принимал на себя всю ответственность события, и его помраченный ум видел оправдание в том, что в числе сотен тысяч погибших людей было меньше французов, чем гессенцев и баварцев.

XXXIX

Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали

заключался бы уже только в ее учреждении.

Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуживали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином.

Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине. Я бы выговорил, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные, большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т. д.

Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение — антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое диктаторство кончилось бы, и началось бы его конституционное правление...

Париж был бы столицей мира, и французы предметом зависти всех наций!..

Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитывания моего сына, на то, чтобы мало-помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния.

[2] Из 400 000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, жителей 32-й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т. д.; в ней едва ли было 140 000 человек, говорящих по-французски. Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50 000 человек; русская армия в отступлении из Вильны в Москву в раз-личных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100 000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50 000 людей, а в Калише менее 18 000.

урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны — назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять.

Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?»

Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало.

Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.

Тот, кто посмотрел бы на расстроенные зады русской армии, сказал бы, что французам сто́ит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы на зады французов, сказал бы, что русским сто́ит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало.

Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживая ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но ежели бы даже цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска.

Французам, с воспоминанием всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сраженья, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские, точно так же как и до

сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую старую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно, что говорить о том, что бы было, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого.

Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской, атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, — а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться, так же как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника.

Часть третья

I

Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого-то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.

Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно.

Принимая все более и более мелкие единицы движения, мы только приближаемся к решению вопроса, но никогда не достигаем его. Только допустив бесконечно-малую величину и восходящую от нее прогрессию до одной десятой и взяв сумму этой геометрической прогрессии, мы достигаем решения вопроса. Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно-малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми.

Эта новая, неизвестная древним, отрасль математики, при рассмотрении вопросов движения, допуская бесконечно-малые величины, то есть такие, при которых восстановляется главное условие движения (абсолютная непрерывность), тем самым исправляет ту неизбежную ошибку, которую ум человеческий не может не делать, рассматривая Вместо непрерывного движения отдельные единицы движения.

В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.

Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно.

Постижение законов этого движения есть цель истории. Но для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные, прерывные единицы. Первый прием истории состоит в том, чтобы, взяв произвольный ряд непрерывных событий, рассматривать его отдельно от других, тогда как нет и не может быть начала никакого события, а всегда одно событие непрерывно вытекает из другого. Второй прием состоит в том, чтобы рассматривать действие одного человека, царя, полководца, как сумму произволов людей, тогда как сумма произволов людских никогда не выражается в деятельности одного исторического лица.

Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение начала какого-нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе.

Всякий вывод истории, без малейшего усилия со стороны критики, распадается, как прах, ничего не оставляя за собой, только вследствие того, что критика избирает за предмет наблюдения большую или меньшую прерывную единицу; на что она всегда имеет право, так как взятая историческая единица всегда произвольна.

Только допустив бесконечно-малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно-малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.

Первые пятнадцать лет XIX столетия в Европе представляют необыкновенное движение миллионов людей. Люди оставляют свои обычные занятия, стремятся с одной стороны Европы в другую, грабят, убивают один другого, торжествуют и отчаиваются, и весь ход жизни на несколько лет изменяется и представляет усиленное движение, которое сначала идет возрастая, потом ослабевая. Какая причина этого движения или по каким законам происходило оно? — спрашивает ум человеческий.

Историки, отвечая на этот вопрос, излагают нам деяния и речи нескольких десятков людей в одном из зданий города Парижа, называя эти деяния и речи словом революция; потом дают подробную биографию Наполеона и некоторых сочувственных и враждебных ему лиц, рассказывают о влиянии одних из этих лиц на другие и говорят: вот отчего произошло это движение, и вот законы его.

Но ум человеческий не только отказывается верить в это объяснение, но прямо говорит, что прием объяснения не верен, потому что при этом объяснении слабейшее явление принимается за причину сильнейшего. Сумма людских произволов сделала и революцию и Наполеона, и только сумма этих произволов терпела их и уничтожила.

«Но всякий раз, когда были завоевания, были завоеватели; всякий раз, когда делались перевороты в государстве, были великие люди», — говорит история. Действительно, всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, отвечает ум человеческий, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека. Всякий раз, когда я, глядя на свои часы, вижу, что стрелка подошла к десяти, я слышу, что в соседней церкви начинается благовест, но из того, что всякий раз, что стрелка приходит на десять часов тогда, как начинается благовест, я не имею права заключить, что положение стрелки есть причина движения колоколов.

Всякий раз, как я вижу движение паровоза, я слышу звук свиста, вижу открытие клапана и движение колес; но из этого я не имею права заключить, что свист и движение колес суть причины движения паровоза.

Крестьяне говорят, что поздней весной дует холодный ветер, потому что почка дуба развертывается, и действительно, всякую весну дует холодный ветер, когда развертывается дуб. Но хотя причина дующего при развертыванье дуба холодного ветра мне неизвестна, я не могу согласиться с крестьянами в том, что причина холодного ветра есть развертыванье почки дуба, потому только, что сила ветра находится вне влияний почки. Я вижу только совпадение тех условий, которые бывают во всяком жизненном явлении, и вижу, что, сколько бы и как бы подробно я ни наблюдал стрелку часов, клапан и колеса паровоза и почку дуба, я не узнаю причину благовеста, движения паровоза и весеннего ветра. Для этого я должен изменить совершенно свою точку наблюдения и изучать законы движения пара, колокола и ветра. То же должна сделать история. И попытки этого уже были сделаны.

Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно-малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов, но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов и что на этом пути не положено еще умом человеческим одной миллионной доли тех усилий, которые положены историками на описание деяний различных царей, полководцев и министров и на изложение своих соображений по случаю этих деяний.

II

Силы двунадесяти языков Европы ворвались в Россию. Русское войско и население отступают, избегая столкновения, до Смоленска и от Смоленска до Бородина. Французское войско с постоянно увеличивающеюся силой стремительности несется к Москве, к цели своего движения. Сила стремительности его, приближаясь к цели, увеличивается подобно увеличению быстроты падающего тела по мере приближения его к земле. Назади тысячи верст голодной, враждебной страны; впереди десятки верст, отделяющие от цели. Это чувствует всякий солдат наполеоновской армии, и нашествие надвигается само собой, по одной силе стремительности.

В русском войске по мере отступления все более и более разгорается дух озлобления против врага: отступая назад, оно сосредоточивается и нарастает. Под Бородиным происходит столкновение. Ни то, ни другое войско не распадаются, но русское войско непосредственно после столкновения отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с бóльшей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство.

Русские отступают за сто двадцать верст — за Москву, французы доходят до Москвы и там останавливаются. В продолжение пяти недель после этого нет ни одного сражения. Французы не двигаются. Подобно смертельно раненному зверю, который, истекая кровью, зализывает свои раны, они пять недель остаются в Москве,

ничего не предпринимая, и вдруг, без всякой новой причины, бегут назад: бросаются на Калужскую дорогу (и после победы, так как опять поле сражения осталось за ними под Малоярославцем), не вступая ни в одно серьезное сражение, бегут еще быстрее назад в Смоленск, за Смоленск, за Вильну, за Березину и далее.

В вечер 26-го августа и Кутузов и вся русская армия были уверены, что Бородинское сражение выиграно. Кутузов так и писал государю. Кутузов приказал готовиться на новый бой, чтобы добить неприятеля, не потому, чтобы он хотел кого-нибудь обманывать, но потому, что он знал, что враг побежден, так же как знал это каждый из участников сражения.

Но в тот же вечер и на другой день стали, одно за другим, приходить известия о потерях неслыханных, о потере половины армии, и новое сражение оказалось физически невозможным.

Нельзя было давать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые, не пополнены снаряды, не сочтены убитые, не назначены новые начальники на места убитых, не наелись и не выспались люди.

А вместе с тем сейчас же после сражения, на другое утро, французское войско (по той стремительной силе движения, увеличенного теперь как бы в обратном отношении квадратов расстояний) уже надвигалось само собой на русское войско. Кутузов хотел атаковать на другой день, и вся армия хотела этого. Но для того чтобы атаковать, недостаточно желания сделать это; нужно, чтоб была возможность это сделать, а возможности этой не было. Нельзя было не отступить на один переход, потом точно так же нельзя было не отступить на другой и на третий переход, и наконец 1-го сентября, — когда армия подошла к Москве, — несмотря на всю силу поднявшегося чувства в рядах войск, сила вещей требовала того, чтобы войска эти шли за Москву. И войска отступили еще на один, на последний переход и отдали Москву неприятелю.

Для тех людей, которые привыкли думать, что планы войн и сражений составляются полководцами таким же образом, как каждый из нас, сидя в своем кабинете над картой, делает соображения о том, как и как бы он распорядился в таком-то и таком-то сражении, представляются вопросы, почему Кутузов при отступлении не поступил так-то и так-то, почему он не занял позиции прежде Филей, почему он не отступил сразу на Калужскую дорогу, оставил Москву, и т. д. Люди, привыкшие так думать, забывают или не знают тех неизбежных условий, в которых всегда происходит деятельность всякого главнокомандующего. Деятельность полководца не имеет ни малейшего подобия с тою деятельностью, которую мы воображаем себе, сидя свободно в кабинете, разбирая какую-нибудь кампанию на карте с известным количеством войска, с той и с другой стороны, и в известной местности, и начиная наши соображения с какого-нибудь известного момента. Главнокомандующий никогда не бывает в тех условиях начала какого-нибудь события, в которых мы всегда рассматриваем событие. Главнокомандующий всегда находится в средине движущегося ряда событий, и так, что никогда, ни в какую минуту, он не бывает в состоянии обдумать все значение совершающегося события.

Событие незаметно, мгновение за мгновением, вырезается в свое значение, и в каждый момент этого последовательного, непрерывного вырезывания события главнокомандующий находится в центре сложнейшей игры, интриг, забот, зависимости, власти, проектов, советов, угроз, обманов, находится постоянно в необходимости отвечать на бесчисленное количество предлагаемых ему, всегда противоречащих один другому, вопросов.

Нам пресерьезно говорят ученые военные, что Кутузов еще гораздо прежде Филей должен был двинуть войска на Калужскую дорогу, что даже кто-то предлагал таковой проект. Но перед главнокомандующим, особенно в трудную минуту, бывает не один проект, а всегда десятки одновременно. И каждый из этих проектов, основанных на стратегии и тактике, противоречит один другому. Дело главнокомандующего, казалось бы, состоит только в том, чтобы выбрать один из этих проектов. Но и этого он не может сделать. События и время не ждут. Ему предлагают, положим, 28-го числа перейти на Калужскую дорогу, но в это время прискакивает адъютант от Милорадовича и спрашивает, завязывать ли сейчас дело с французами или отступить. Ему надо сейчас, сию минуту, отдать приказанье. А приказанье отступить сбивает нас с поворота на Калужскую дорогу. И вслед за адъютантом интендант спрашивает, куда везти провиант, а начальник госпиталей — куда везти раненых; а курьер из Петербурга привозит письмо от государя, не допускающее возможности оставить Москву, а соперник главнокомандующего, тот, кто подкапывается под него (такие всегда есть, и не один, а несколько), предлагает новый проект, диаметрально противоположный плану выхода на Калужскую дорогу; а силы самого главнокомандующего требуют сна и подкрепления; а обойденный наградой почтенный генерал приходит жаловаться, а жители умоляют о защите; посланный офицер для осмотра местности приезжает и доносит совершенно противоположное тому, что говорил перед ним посланный офицер; а лазутчик, пленный и делавший рекогносцировку генерал — все описывают различно положение неприятельской армии. Люди, привыкшие не понимать или забывать эти необходимые условия деятельности всякого главнокомандующего, представляют нам, например, положение войск в Филях и при этом предполагают, что главнокомандующий мог 1-го сентября совершенно свободно разрешать вопрос об оставлении или защите Москвы, тогда как при положении русской армии в пяти верстах от Москвы вопроса этого не могло быть. Когда же решился этот вопрос? И под Дриссой, и под Смоленском, и ощутительнее всего 24-го под Шевардиным, и 26-го под Бородиным, и в каждый день, и час, и минуту отступления от Бородина до Филей.

III

Русские войска, отступив от Бородина, стояли у Филей. Ермолов, ездивший для осмотра позиции, подъехал к фельдмаршалу.

— Драться на этой позиции нет возможности, — сказал он. Кутузов удивленно посмотрел на него и заставил его повторить сказанные слова. Когда он проговорил, Кутузов протянул ему руку.

— Дай-ка руку, — сказал он, и, повернув ее так, чтобы ощупать его пульс, он сказал: — Ты нездоров, голубчик. Подумай, что ты говоришь.

«Кутузов на Поклонной горе перед военным советом в Филях»
(Акварель профессора А.Д. Кившенко)

Кутузов на Поклонной горе, в шести верстах от Дорогомиловской заставы, вышел из экипажа и сел на лавку на краю дороги. Огромная толпа генералов собралась вокруг него. Граф Растопчин, приехав из Москвы, присоединился к ним. Все это блестящее общество, разбившись на несколько кружков, говорило между собой о выгодах и невыгодах позиции, о положении войск, о предполагаемых планах, о состоянии Москвы, вообще о вопросах военных. Все чувствовали, что хотя и не были призваны на то, что хотя это не было так названо, но что это был военный совет. Разговоры все держались в области общих вопросов. Ежели кто и сообщал или узнавал личные новости, то про это говорилось шепотом; и тотчас переходили опять к общим вопросам: ни шуток, ни смеха, ни улыбок даже не было заметно между всеми этими людьми. Все, очевидно с усилием, старались держаться на высоте положения. И все группы, разговаривая между собой, старались держаться в близости главнокомандующего (лавка которого составляла центр в этих кружках) и говорили так, чтобы он мог их слышать. Главнокомандующий слушал и иногда переспрашивал то, что говорили вокруг него, но сам не вступал в разговор и не выражал никакого мнения.

Большей частью, послушав разговор какого-нибудь кружка, он с видом разочарования, — как будто совсем не о том они говорили, что он желал знать, — отворачивался Одни говорили о выбранной позиции, критикуя не столько самую позицию, сколько умственные способности тех, которые ее выбрали; другие доказывали, что ошибка была сделана прежде, что надо было принять сраженье еще третьего дня; третьи говорили о битве при Саламанке, про которую рассказывал только что приехавший француз Кросар в испанском мундире. (Француз этот вместе с одним из немецких принцев, служивших в русской армии, разбирал осаду Сарагоссы, предвидя возможность так же защищать Москву.) В четвертом кружке граф Растопчин говорил о том, что он с московской дружиной готов погибнуть под стенами

столицы, но что все-таки он не может не сожалеть о той неизвестности, в которой он был оставлен, и что, ежели бы он это знал прежде, было бы другое... Пятые, выказывая глубину своих стратегических соображений, говорили о том направлении, которое должны будут принять войска. Шестые говорили совершенную бессмыслицу. Лицо Кутузова становилось все озабоченнее и печальнее. Из всех разговоров этих Кутузов видел одно: защищать Москву не было никакой физической возможности в полном значении этих слов, то есть до такой степени не было возможности, что ежели бы какой-нибудь безумный главнокомандующий отдал приказ о даче сражения, то произошла бы путаница и сражения все-таки бы не было; не было бы потому, что все высшие начальники не только признавали эту позицию невозможной, но в разговорах своих обсуждали только то, что произойдет после несомненного оставления этой позиции. Как же могли начальники вести свои войска на поле сражения, которое они считали невозможным? Низшие начальники, даже солдаты (которые тоже рассуждают), также признавали позицию невозможной и потому не могли идти драться с уверенностью поражения. Ежели Бенигсен настаивал на защите этой позиции и другие еще обсуждали ее, то вопрос этот уже не имел значения сам по себе, а имел значение только как предлог для спора и интриги. Это понимал Кутузов.

Бенигсен, выбрав позицию, горячо выставляя свой русский патриотизм (которого не мог, не морщась, выслушивать Кутузов), настаивал на защите Москвы. Кутузов ясно как день видел цель Бенигсена: в случае неудачи защиты — свалить вину на Кутузова, доведшего войска без сражения до Воробьевых гор, а в случае успеха — себе приписать его; в случае же отказа — очистить себя в преступлении оставления Москвы. Но этот вопрос интриги не занимал теперь старого человека. Один страшный вопрос занимал его. И на вопрос этот он ни от кого не слышал ответа Вопрос состоял для него теперь только в том: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось? Неужели вчера, когда я послал к Платову приказ отступить, или третьего дня вечером, когда я задремал и приказал Бенигсену распорядиться? Или еще прежде?.. но когда, когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена. Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». Отдать это страшное приказание казалось ему одно и то же, что отказаться от командования армией. А мало того, что он любил власть, привык к ней (почет, отдаваемый князю Прозоровскому, при котором он состоял в Турции, дразнил его), он был убежден, что ему было предназначено спасение России, и что потому только, против воли государя и по воле народа, он был избран главнокомандующим. Он был убежден, что он один в этих трудных условиях мог держаться во главе армии, что он один во всем мире был в состоянии без ужаса знать своим противником непобедимого Наполеона; и он ужасался мысли о том приказании, которое он должен был отдать. Но надо было решить что-нибудь, надо было прекратить эти разговоры вокруг него, которые начинали принимать слишком свободный характер.

Он подозвал к себе старших генералов.

— Ma tête fut-elle bonne ou mauvaise, n'a qu'à s'aider d'elle-même[1], — сказал он, вставая с лавки, и поехал в Фили, где стояли его экипажи.

IV

В просторной, лучшей избе мужика Андрея Савостьянова в два часа собрался совет Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, шестилетняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу, на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал ею шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу; некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо.

Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши, бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие: Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами, на первом месте, сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голой головой, Барклай де Толли. Второй уже день он мучился лихорадкой, и в это самое время его знобило и ломало. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом (как и все говорили) что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Дохтуров, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивши на руку свою широкую с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман-Толстой и Казался погруженным в свои мысли. Раевский с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое, красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.

Все ждали Бенигсена, который доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции. Его ждали от четырех до шести часов, и во все это время не приступали к совещанию и тихими голосами вели посторонние разговоры.

Только когда в избу вошел Бенигсен, Кутузов выдвинулся из своего угла и подвинулся к столу, но настолько, что лицо его не было освещено поданными на стол свечами.

[1] Хороша ли, плоха ли была моя голова, а ей больше не на кого рассчитывать (пусть сама себе помогает)

Бенигсен открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России, или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливанье Кутузова. Все глаза смотрели на него. Малаша тоже смотрела на дедушку. Она ближе всех была к нему и видела, как лицо его сморщилось: он точно собрался плакать. Но это продолжалось недолго.

— Священную древнюю столицу России! — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена и этим указывая на фальшивую ноту этих слов. — Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека. (Он перевалился вперед своим тяжелым телом.) Такой вопрос нельзя ставить, и такой вопрос не имеет смысла. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения? Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение». (Он откачнулся назад на спинку кресла.)

Начались прения. Бенигсен не считал еще игру проигранною. Допуская мнение Барклая и других о невозможности принять оборонительное сражение под Филями, он, проникнувшись русским патриотизмом и любовью к Москве, предлагал перевести войска в ночи с правого на левый фланг и ударить на другой день на правое крыло французов. Мнения разделились, были споры в пользу и против этого мнения. Ермолов, Дохтуров и Раевский согласились с мнением Бенигсена. Руководимые ли чувством потребности жертвы пред оставлением столицы или другими личными соображениями, но эти генералы как бы не понимали того, что настоящий совет не мог изменить неизбежного хода дел и что Москва уже теперь оставлена. Остальные генералы понимали это и, оставляя в стороне вопрос о Москве, говорили о том направлении, которое в своем отступлении должно было принять войско. Малаша, которая, не спуская глаз, смотрела на то, что делалось перед ней, иначе понимала значение этого совета. Ей казалось, что дело было только в личной борьбе между «дедушкой» и «длиннополым», как она называла Бенигсена. Она видела, что они злились, когда говорили друг с другом, и в душе своей она держала сторону дедушки. В средине разговора она заметила быстрый лукавый взгляд, брошенный дедушкой на Бенигсена, и вслед за тем, к радости своей, заметила, что дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его: Бенигсен вдруг покраснел и сердито прошелся по избе. Слова, так подействовавшие на Бенигсена, были спокойным и тихим голосом выраженное Кутузовым мнение о выгоде и невыгоде предложения Бенигсена: о переводе в ночи войск с правого на левый фланг для атаки правого крыла французов.

— Я, господа, — сказал Кутузов, — не могу одобрить плана графа. Передвижения войск в близком расстоянии от неприятеля всегда бывают опасны, и военная история подтверждает это соображение. Так, например... (Кутузов как будто задумался, приискивая пример и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена.) Да вот хоть бы Фридландское сражение, которое, как я думаю, граф хорошо помнит, было... не вполне удачно только оттого, что войска наши перестроивались в слишком близком расстоянии от неприятеля... — Последовало, показавшееся всем очень продолжительным, минутное молчание.

Прения опять возобновились, но часто наступали перерывы и чувствовалось, что говорить больше не о чем.

Во время одного из таких перерывов Кутузов тяжело вздохнул, как бы сбираясь говорить. Все оглянулись на него.

— Eh bien, messieurs! Je vois que c'est moi qui payerai les pots cassés[1], — сказал он. И, медленно приподнявшись, он подошел к столу. — Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление.

Вслед за этим генералы стали расходиться с той же торжественной и молчаливой осторожностью, с которой расходятся после похорон.

Некоторые из генералов негромким голосом, совсем в другом диапазоне, чем когда они говорили на совете, передали кое-что главнокомандующему.

Малаша, которую уже давно ждали ужинать, осторожно спустилась задом с полатей, цепляясь босыми ножонками за уступы печки, и, замешавшись между ног генералов, шмыгнула в дверь.

Отпустив генералов, Кутузов долго сидел, облокотившись на стол, и думал все о том же страшном вопросе: «Когда же, когда же, наконец, решилось то, что оставлена Москва? Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

— Этого, этого я не ждал, — сказал он вошедшему к нему, уже поздно ночью, адъютанту Шнейдеру, — этого я не ждал! Этого я не думал!

— Вам надо отдохнуть, ваша светлость, — сказал Шнейдер.

— Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки, — не отвечая, прокричал Кутузов, ударяя пухлым кулаком по столу, — будут и они, только бы...

V

В противоположность Кутузову, в то же время, в событии еще более важнейшем, чем отступление армии без боя, в оставлении Москвы и сожжении ее, Растопчин, представляющийся нам руководителем этого события, действовал совершенно иначе.

Событие это — оставление Москвы и сожжение ее — было так же неизбежно, как и отступление войск без боя за Москву после Бородинского сражения. Каждый русский человек, не на основании умозаключений, а на основании того чувства, которое лежит в нас и лежало в наших отцах, мог бы предсказать то, что совершилось.

Начиная от Смоленска, во всех городах и деревнях русской земли, без участия графа Растопчина и его афиш, происходило то же самое, что произошло в Москве. Народ с беспечностью ждал неприятеля, не бунтовал, не волновался, никого не раздирал на куски, а спокойно ждал своей судьбы, чувствуя в себе силы в самую трудную минуту найти то, что должно было сделать. И как только неприятель подходил, богатейшие элементы населения уходили, оставляя свое имущество; беднейшие оставались и зажигали и истребляли то, что оставалось.

[1] Ну что ж, господа! Вижу, что это мне придется расплачиваться за всё (платить за разбитые горшки)

Сознание того, что это так будет, и всегда так будет, лежало и лежит в душе русского человека. И сознание это и, более того, предчувствие того, что Москва будет взята, лежало в русском московском обществе 12-го года. Те, которые стали выезжать из Москвы еще в июле и начале августа, показали, что они ждали этого. Те, которые выезжали с тем, что они могли захватить, оставляя дома и половину имущества, действовали так вследствие того скрытого (latent) патриотизма, который выражается не фразами, не убийством детей для спасения отечества и т. п. неестественными действиями, а который выражается незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты.

«Стыдно бежать от опасности; только трусы бегут из Москвы», — говорили им. Растопчин в своих афишках внушал им, что уезжать из Москвы было позорно. Им совестно было получать наименование трусов, совестно было ехать, но они все-таки ехали, зная, что так надо было. Зачем они ехали? Нельзя предположить, чтобы Растопчин напугал их ужасами, которые производил Наполеон в покоренных землях. Уезжали, и первые уехали богатые, образованные люди, знавшие очень хорошо, что Вена и Берлин остались целы и что там, во время занятия их Наполеоном, жители весело проводили время с обворожительными французами, которых так любили тогда русские мужчины и в особенности дамы.

Они ехали потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли, или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего. Они уезжали и до Бородинского сражения, и еще быстрее после Бородинского сражения, невзирая на воззвания к защите, несмотря на заявления главнокомандующего Москвы о намерении его поднять Иверскую и идти драться, и на воздушные шары, которые должны были погубить французов, и несмотря на весь тот вздор, о котором писал Растопчин в своих афишах. Они знали, что войско должно драться и что ежели оно не может, то с барышнями и дворовыми людьми нельзя идти на Три Горы воевать с Наполеоном, а что надо уезжать, как ни жалко оставлять на погибель свое имущество. Они уезжали и не думали о величественном значении этой громадной, богатой столицы, оставленной жителями и, очевидно, сожженной (большой покинутый деревянный город необходимо должен был сгореть); они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа. Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтобы ее не остановили по приказанию графа Растопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию. Граф же Растопчин, который то стыдил тех, которые уезжали, то вывозил присутственные места, то выдавал никуда не годное оружие пьяному сброду, то поднимал образа, то запрещал Августину вывозить мощи и иконы, то захватывал все частные подводы, бывшие в Москве, то на ста тридцати шести подводах увозил делаемый Леппихом воздушный шар, то намекал на то, что он сожжет Москву, то рассказывал, как он сжег свой дом и написал прокламацию

французам, где торжественно упрекал их, что они разорили его детский приют; то принимал славу сожжения Москвы, то отрекался от нее, то приказывал народу ловить всех шпионов и приводить к нему, то упрекал за это народ, то высылал всех французов из Москвы, то оставлял в городе г-жу Обер-Шальме, составлявшую центр всего французского московского населения, а без особой вины приказывал схватить и увезти в ссылку старого почтенного почт-директора Ключарева; то сбирал народ на Три Горы, чтобы драться с французами, то, чтобы отделаться от этого народа, отдавал ему на убийство человека и сам уезжал в задние ворота; то говорил, что он не переживет несчастия Москвы, то писал в альбомы по-французски стихи о своем участии в этом деле[1], — этот человек не понимал значения совершающегося события, а хотел только что-то сделать сам, удивить кого-то, что-то совершить патриотически-геройское и, как мальчик, резвился над величавым и неизбежным событием оставления и сожжения Москвы и старался своей маленькой рукой то поощрять, то задерживать течение громадного, уносившего его вместе с собой, народного потока.

VI

Элен, возвратившись вместе с двором из Вильны в Петербург, находилась в затруднительном положении.

В Петербурге Элен пользовалась особым покровительством вельможи, занимавшего одну из высших должностей в государстве. В Вильне же она сблизилась с молодым иностранным принцем. Когда она возвратилась в Петербург, принц и вельможа были оба в Петербурге, оба заявляли свои права, и для Элен представилась новая еще в ее карьере задача: сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного.

То, что показалось бы трудным и даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову, недаром, видно, пользовавшуюся репутацией умнейшей женщины. Ежели бы она стала скрывать свои поступки, выпутываться хитростью из неловкого положения, она бы этим самым испортила свое дело, сознав себя виноватою; но Элен, напротив, сразу, как истинно великий человек, который может все то, что хочет, поставила себя в положение правоты, в которую она искренно верила, а всех других в положение виноватости.

В первый раз, как молодое иностранное лицо позволило себе делать ей упреки, она, гордо подняв свою красивую голову и вполуоборот повернувшись к нему, твердо сказала:

— Voilà l'égoisme et la cruauté des hommes! Je ne m'attendais pas à autre chose. La femme se sacrifie pour vous, elle souffre, et voilà sa récompense. Quel droit avez vous, Monseigneur, de me demander compte de mes amitiés, de mes affections? C'est un homme qui a été plus qu'un père pour moi[2].

---

[1] Je suis né Tartare. Je voulus être Romain. Les Français m'appelèrent barbare. Les Russes — Georges Dandin. То есть: я родился татарином. Я хотел быть римлянином. Французы называли меня варваром. Русские — Жоржем Данденом.

[2] Вот эгоизм и жестокость мужчин! Я не ожидала ничего другого. Женщина жертвует собой ради вас, она страдает, и вот её награда. Какое право имеете вы, монсеньор, требовать у меня отчета в моих дружеских связях, в моих

Лицо хотело что-то сказать. Элен перебила его.

— Eh bien, oui, — сказала она, — peut-être qu'il a pour moi d'autres sentiments que ceux d'un père, mais ce n'est pas une raison pour que je lui ferme ma porte. Je ne suis pas un homme pour être ingrate. Sachez, Monseigneur, pour tout ce qui a rapport à mes sentiments intimes, je ne rends compte qu'à Dieu et à ma conscience[1], — кончила она, дотрогиваясь рукой до высоко поднявшейся красивой груди и взглядывая на небо.

— Mais écoutez-moi, au nom de Dieu.

— Epousez-moi, et je serai votre esclave.

— Mais c'est impossible.

— Vous ne daignez pas descendre jusqu'à moi, vous...[2] — заплакав, сказала Элен.

Лицо стало утешать ее; Элен же сквозь слезы говорила (как бы забывшись), что ничто не может мешать ей выйти замуж, что есть примеры (тогда еще мало было примеров, но она назвала Наполеона и других высоких особ), что она никогда не была женою своего мужа, что она была принесена в жертву.

— Но законы, религия... — уже сдаваясь, говорило лицо.

— Законы, религия... На что бы они были выдуманы, ежели бы они не могли сделать этого! — сказала Элен.

Важное лицо было удивлено тем, что такое простое рассуждение могло не приходить ему в голову, и обратилось за советом к святым братьям Общества Иисусова, с которыми оно находилось в близких отношениях. Через несколько дней после этого, на одном из обворожительных праздников, который давала Элен на своей даче на Каменном Острову, ей был представлен немолодой, с белыми как снег волосами и черными блестящими глазами, обворожительный m-r de Jobert, un jésuite à robe courte[3], который долго в саду, при свете иллюминации и при звуках музыки беседовал с Элен о любви к Богу, к Христу, к сердцу Божьей Матери и об утешениях, доставляемых в этой и в будущей жизни единою истинною католическою религией. Элен была тронута, и несколько раз у нее и у m-r Jobert в глазах стояли слезы и дрожал голос. Танец, на который кавалер пришел звать Элен, расстроил ее беседу с ее будущим directeur de conscience[4]; но на другой день m-r de Jobert пришел один вечером к Элен и с того времени часто стал бывать у нее.

В один день он сводил графиню в католический храм, где она стала на колени перед алтарем, к которому она была подведена. Немолодой обворожительный француз положил ей на голову руки, и, как она сама потом рассказывала, она почувствовала что-то вроде дуновения, свежего ветра, которое сошло ей в душу. Ей объяснили, что это была la grâce[5].

привязанностях? Это человек, который был мне больше чем отец.

[1] Ну что ж, да, — сказала она, — может быть, он и питает ко мне иные чувства, чем чувства отца, но это не причина для того, чтобы я закрывала перед ним дверь. Я не мужчина, чтобы быть неблагодарной. Знайте, монсеньор, что во всем, что касается моих сокровенных чувств, я отдаю отчет только Богу и своей совести

[2] — Но выслушайте меня, ради Бога.
— Женитесь на мне, и я буду вашею рабою.
— Но это невозможно.
— Вы не удостоиваете снизойти до брака со мною, вы...

[3] г-н Жобер, иезуит в коротком платье

[4] духовником (блюстителем совести)

[5] благодать

Потом ей привели аббата à robe longue[1], он исповедовал ее и отпустил ей грехи ее. На другой день ей принесли ящик, в котором было причастие, и оставили ей на дому для употребления. После нескольких дней Элен, к удовольствию своему, узнала, что она теперь вступила в истинную католическую церковь и что на днях сам папа узнает о ней и пришлет ей какую-то бумагу.

Все, что делалось за это время вокруг нее и с нею, все это внимание, обращенное на нее столькими умными людьми и выражающееся в таких приятных, утонченных формах, и голубиная чистота, в которой она теперь находилась (она носила все это время белые платья с белыми лентами), — все это доставляло ей удовольствие; но из-за этого удовольствия она ни на минуту не упускала своей цели. И как всегда бывает, что в деле хитрости глупый человек проводит более умных, она, поняв, что цель всех этих слов и хлопот состояла преимущественно в том, чтобы, обратив ее в католичество, взять с нее денег в пользу иезуитских учреждений (о чем ей делали намеки), Элен, прежде чем давать деньги, настаивала на том, чтобы над нею произвели те различные операции, которые бы освободили ее от мужа. В ее понятиях значение всякой религии состояло только в том, чтобы при удовлетворении человеческих желаний соблюдать известные приличия. И с этою целью она в одной из своих бесед с духовником настоятельно потребовала от него ответа на вопрос о том, в какой мере ее брак связывает ее.

Они сидели в гостиной у окна. Были сумерки. Из окна пахло цветами. Элен была в белом платье, просвечивающем на плечах и груди. Аббат, хорошо откормленный, с пухлой, гладко бритой бородой, приятным крепким ртом и белыми руками, сложенными кротко на коленях, сидел близко к Элен и с тонкой улыбкой на губах, мирно — восхищенным ее красотою взглядом смотрел изредка на ее лицо и излагал свой взгляд на занимавший их вопрос. Элен беспокойно улыбалась, глядела на его вьющиеся волоса, гладко выбритые чернеющие полные щеки и всякую минуту ждала нового оборота разговора. Но аббат, хотя, очевидно, и наслаждаясь красотой и близостью своей собеседницы, был увлечен мастерством своего дела.

Ход рассуждения руководителя совести был следующий. В неведении значения того, что вы предпринимали, вы дали обет брачной верности человеку, который с своей стороны, вступив в брак и не веря в религиозное значение брака, совершил кощунство. Брак этот не имел двоякого значения, которое должен он иметь. Но несмотря на то, обет ваш связывал вас. Вы отступили от него. Что вы совершили этим? Péché véniel или péché mortel?[2] Péché véniel, потому что вы без дурного умысла совершили поступок. Ежели вы теперь, с целью иметь детей, вступили бы в новый брак, то грех ваш мог бы быть прощен. Но вопрос опять распадается надвое: первое...

— Но я думаю, — сказала вдруг соскучившаяся Элен с своей обворожительной улыбкой, — что я, вступив в истинную религию, не могу быть связана тем, что наложила на меня ложная религия.

---

[1] и длинном платье

[2] Грех простительный или грех смертный?

Directeur de conscience[1] был изумлен этим постановленным перед ним с такою простотою Колумбовым яйцом. Он восхищен был неожиданной быстротой успехов своей ученицы, но не мог отказаться от своего трудами умственными построенного здания аргументов.

— Entendons nous, comtesse[2], — сказал он с улыбкой и стал опровергать рассуждения своей духовной дочери.

VII

Элен понимала, что дело было очень просто и легко с духовной точки зрения, но что ее руководители делали затруднения только потому, что они опасались, каким образом светская власть посмотрит на это дело.

И вследствие этого Элен решила, что надо было в обществе подготовить это дело. Она вызвала ревность старика вельможи и сказала ему то же, что первому искателю, то есть поставила вопрос так, что единственное средство получить права на нее состояло в том, чтобы жениться на ней. Старое важное лицо в первую минуту было так же поражено этим предложением выйти замуж от живого мужа, как и первое молодое лицо; но непоколебимая уверенность Элен в том, что это так же просто и естественно, как и выход девушки замуж, подействовало и на него. Ежели бы заметны были хоть малейшие признаки колебания, стыда или скрытности в самой Элен, то дело бы ее, несомненно, было проиграно; но не только не было этих признаков скрытности и стыда, но, напротив, она с простотой и добродушной наивностью рассказывала своим близким друзьям (а это был весь Петербург), что ей сделали предложение и принц и вельможа и что она любит обоих и боится огорчить того и другого.

По Петербургу мгновенно распространился слух не о том, что Элен хочет развестись с своим мужем (ежели бы распространился этот слух, очень многие восстали бы против такого незаконного намерения), но прямо распространился слух о том, что несчастная, интересная Элен находится в недоуменье о том, за кого из двух ей выйти замуж. Вопрос уже не состоял в том, в какой степени это возможно, а только в том, какая партия выгоднее и как двор посмотрит на это. Были действительно некоторые закоснелые люди, не умевшие подняться на высоту вопроса и видевшие в этом замысле поругание таинства брака; но таких было мало, и они молчали, большинство же интересовалось вопросами о счастии, которое постигло Элен, и какой выбор лучше. О том же, хорошо ли, или дурно выходить от живого мужа замуж, не говорили, потому что вопрос этот, очевидно, был уже решенный для людей поумнее нас с вами (как говорили) и усомниться в правильности решения вопроса значило рисковать выказать свою глупость и неумение жить на свете.

Одна только Марья Дмитриевна Ахросимова, приезжавшая в это лето в Петербург для свидания с одним из своих сыновей, позволила себе прямо выразить свое, противное общественному, мнение. Встретив Элен на бале, Марья Дмитриевна остановила ее посередине залы и при общем молчании своим грубым голосом сказала ей:

[1] духовник (блюститель совести)

[2] Давайте разберемся, графиня

— У вас тут от живого мужа замуж выходить стали. Ты, может, думаешь, что ты это новенькое выдумала? Упредили, матушка. Уж давно выдумано. Во всех... ...так-то делают. — И с этими словами Марья Дмитриевна с привычным грозным жестом, засучивая свои широкие рукава и строго оглядываясь, прошла через комнату.

На Марью Дмитриевну, хотя и боялись ее, смотрели в Петербурге как на шутиху и потому из слов, сказанных ею, заметили только грубое слово и шепотом повторяли его друг другу, предполагая, что в этом слове заключалась вся соль сказанного.

Князь Василий, последнее время особенно часто забывавший то, что он говорил, и повторявший по сотне раз одно и то же, говорил всякий раз, когда ему случалось видеть свою дочь:

— Hélène, j'ai un mol à vous dire, — говорил он ей, отводя ее в сторону и дергая вниз за руку. — J'ai eu vent de certains projets relatifs à... Vous savez. Eh bien, ma chère enfant, vous savez que mon cur de père se réjouit de vous savoir... Vous avez tant souffert... Mais, chère enfant... ne consultez que votre cur. C'est tout ce que je vous dis[1]. — И скрывая всегда одинаковое волнение, он прижимал свою щеку к щеке дочери и отходил.

Билибин, не утративший репутации умнейшего человека и бывший бескорыстным другом Элен, одним из тех друзей, которые бывают всегда у блестящих женщин, друзей-мужчин, никогда не могущих перейти в роль влюбленных, Билибин однажды в petit comité[2] высказал своему другу Элен взгляд свой на все это дело.

— Ecoutez, Bilibine (Элен таких друзей, как Билибин, всегда называла по фамилии), — и она дотронулась своей белой в кольцах рукой до рукава его фрака. — Dites-moi comme vous diriez à une soeur, que dois-je faire? Lequel des deux? [3]

Билибин собрал кожу над бровями и с улыбкой на губах задумался.

— Vous ne me prenez pas en расплох, vous savez, — сказал он. — Comme véritable ami j'ai pensé et repensé à votre affaire. Voyez vous. Si vous épousez le prince (это был молодой человек), — он загнул палец, — vous perdez pour toujours la chance d'épouser l'autre et puis vous mécontentez la Cour. (Comme vous savez, il y a une espèce de parenté). Mais si vous épousez le vieux comte, vous faites le bonheur de ses derniers jours, et puis comme veuve du grand... le prince ne fait plus de mésalliance en vous épousant[4], — и Билибин распустил кожу.

---

[1] Элен, мне нужно сказать тебе два слова, — говорил он ей, отводя ее в сторону и дергая вниз за руку. — До меня дошли слухи о некоторых проектах относительно... Ты сама знаешь. Так вот, моё дорогое дитя, ты знаешь, что моё отцовское сердце радуется, зная, что ты... Ты столько страдала... Но, дорогое дитя... советуйся только со своим сердцем. Это всё, что я тебе скажу

[2] узком кругу

[3] — Послушайте, Билибин, — и она дотронулась своей белой в кольцах рукой до рукава его фрака. — Скажите мне так, как вы сказали бы сестре: что мне делать? Который из двух?

[4] — Вы не застали меня врасплох, вы же знаете, — сказал он. — Как истинный друг, я обдумывал и передумывал ваше дело. Видите ли. Если вы выйдете за принца (это был молодой человек), — он загнул палец, — вы навсегда теряете шанс выйти за другого, и к тому же вы вызовете недовольство двора. (Как вы знаете, здесь есть своего рода родство). Но если вы выйдете за старого графа, вы составите счастье его последних дней, а затем, как вдова великого... принц уже не совершит мезальянса, женившись на вас, — и Билибин распустил кожу (на лбу).

— Voilà un véritable ami! — сказала просиявшая Элен, еще раз дотрогиваясь рукой до рукава Билибина. — Mais c'est que j'aime l'un et l'autre, je ne voudrais pas leur faire de chagrin. Je donnerais ma vie pour leur bonheur à tous deux[1], — сказала она.

Билибин пожал плечами, выражая, что такому горю даже и он пособить уже не может.

«Une maîtresse-femme! Voilà ce qui s'appelle poser carrément la question. Elle voudrait épouser tous les trois à la fois»[2], — подумал Билибин.

— Но скажите, как муж ваш посмотрит на это дело? — сказал он, вследствие твердости своей репутации не боясь уронить себя таким наивным вопросом. — Согласится ли он?

— Ah! Il m'aime tant! — сказала Элен, которой почему-то казалось, что Пьер тоже ее любил. — Il fera tout pour moi[3].

Билибин подобрал кожу, чтобы обозначить готовящийся mot[4].

— Même le divorce[5], — сказал он.

Элен засмеялась.

В числе людей, которые позволяли себе сомневаться в законности предпринимаемого брака, была мать Элен, княгиня Курагина. Она постоянно мучилась завистью к своей дочери, и теперь, когда предмет зависти был самый близкий сердцу княгини, она не могла примириться с этой мыслью. Она советовалась с русским священником о том, в какой мере возможен развод и вступление в брак при живом муже, и священник сказал ей, что это невозможно, и, к радости ее, указал ей на евангельский текст, в котором (священнику казалось) прямо отвергается возможность вступления в брак от живого мужа.

Вооруженная этими аргументами, казавшимися ей неопровержимыми, княгиня рано утром, чтобы застать ее одну, поехала к своей дочери.

Выслушав возражения своей матери, Элен кротко и насмешливо улыбнулась.

— Да ведь прямо сказано: кто женится на разводной жене... — сказала старая княгиня.

— Ah, maman, ne dites pas de bêtises. Vous ne comprenez rien. Dans ma position j'ai des devoirs[6], — заговорила Элен, переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая-то неясность в ее деле.

— Но мой друг...

---

[1] — Вот это истинный друг! — сказала просиявшая Элен, еще раз дотрагиваясь рукой до рукава Билибина. — Но дело в том, что я люблю и того, и другого, и я не хотела бы причинять им обоим огорчение. Я бы жизнь отдала за счастье их обоих, — сказала она.

[2] «Ну и деловая женщина! Вот что называется поставить вопрос ребром. Она бы хотела выйти замуж за всех троих сразу», — подумал Билибин.

[3] — Ах! Он так меня любит! — сказала Элен, которой почему-то казалось, что Пьер тоже её любил. — Он всё сделает для меня

[4] остроту (или меткое словцо)

[5] Даже на развод

[6] — Ах, мама, не говорите глупостей. Вы ничего не понимаете. В моем положении у меня есть обязанности, — заговорила Элен, переводя разговор на французский с русского языка, на котором ей всегда казалась какая-то неясность в ее деле

— Ah, maman, comment est-ce que vous ne comprenez pas que le Saint Père, qui a le droit de donner des dispenses...[2]

В это время дама-компаньонка, жившая у Элен, вошла к ней доложить, что его высочество в зале и желает ее видеть.

— Non, dites lui que je ne veux pas le voir, que je suis furieuse contre lui, parce qu'il m'a manqué parole.

— Comtesse, à tout péché miséricorde, — сказал, входя, молодой белокурый человек с длинным лицом и носом[3].

Старая княгиня почтительно встала и присела. Вошедший молодой человек не обратил на нее внимания. Княгиня кивнула головой дочери и поплыла к двери.

«Нет, она права, — думала старая княгиня, все убеждения которой разрушились пред появлением его высочества. — Она права; но как это мы в нашу невозвратную молодость не знали этого? А это так было просто», — думала, садясь в карету, старая княгиня.

В начале августа дело Элен совершенно определилось, и она написала своему мужу (который ее очень любил, как она думала) письмо, в котором извещала его о своем намерении выйти замуж за NN, и о том, что она вступила в единую истинную религию и что она просит его исполнить все те необходимые для развода формальности, о которых передаст ему податель сего письма.

«Sur ce je prie Dieu, mon ami, de vous avoir sous sa sainte et puissante garde. Votre amie Hélène»[4].

Это письмо было привезено в дом Пьера в то время, как он находился на Бородинском поле.

VIII

Во второй раз, уже в конце Бородинского сражения, сбежав с батареи Раевского, Пьер с толпами солдат направился по оврагу к Князькову, дошел до перевязочного пункта и, увидав кровь и услыхав крики и стоны, поспешно пошел дальше, замешавшись в толпы солдат.

Одно, чего желал теперь Пьер всеми силами своей души, было то, чтобы выйти поскорее из тех страшных впечатлений, в которых он жил этот день, вернуться к обычным условиям жизни и заснуть спокойно в комнате на своей постели. Только в обычных условиях жизни он чувствовал, что будет в состоянии понять самого себя и все то, что он видел и испытал. Но этих обычных условий жизни нигде не было.

---

[2] — Ах, мама, как же вы не понимаете, что Святой Отец, имеющий право давать разрешения (диспенсации)...

[3] — Нет, скажите ему, что я не хочу его видеть, что я в ярости на него, потому что он не сдержал данного мне слова.

— Графиня, всякому греху — милосердие (повинную голову меч не сечет), — сказал, входя, молодой белокурый человек с длинным лицом и носом

[4] «Затем молю Бога, да будете вы, мой друг, под святым и сильным его покровом. Друг ваш Елена».

Хотя ядра и пули не свистали здесь по дороге, по которой он шел, но со всех сторон было то же, что было там, на поле сражения. Те же были страдающие, измученные и иногда странно-равнодушные лица, та же кровь, те же солдатские шинели, те же звуки стрельбы, хотя и отдаленной, но все еще наводящей ужас; кроме того, была духота и пыль.

Пройдя версты три по большой Можайской дороге, Пьер сел на краю ее.

Сумерки спустились на землю, и гул орудий затих, Пьер, облокотившись на руку, лег и лежал так долго, глядя на продвигавшиеся мимо него в темноте тени. Беспрестанно ему казалось, что с страшным свистом налетало на него ядро; он вздрагивал и приподнимался. Он не помнил, сколько времени он пробыл тут. В середине ночи трое солдат, притащив сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь.

Солдаты, покосившись на Пьера, развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Солдаты (их было трое) ели, не обращая внимания на Пьера, и разговаривали между собой.

— Да ты из каких будешь? — вдруг обратился к Пьеру один из солдат, очевидно, под этим вопросом подразумевая то, что и думал Пьер, именно: ежели ты есть хочешь, мы дадим, только скажи, честный ли ты человек?

— Я? я?.. — сказал Пьер, чувствуя необходимость умалить как возможно свое общественное положение, чтобы быть ближе и понятнее для солдат. — Я по-настоящему ополченный офицер, только моей дружины тут нет; я приезжал на сраженье и потерял своих.

— Вишь ты! — сказал один из солдат.

Другой солдат покачал головой.

— Что ж, поешь, коли хочешь, кавардачку! — сказал первый и подал Пьеру, облизав ее, деревянную ложку.

Пьер подсел к огню и стал есть кавардачок, то кушанье, которое было в котелке и которое ему казалось самым вкусным из всех кушаний, которые он когда-либо ел. В то время как он жадно, нагнувшись над котелком, забирая большие ложки, пережевывал одну за другой и лицо его было видно в свете огня, солдаты молча смотрели на него.

— Тебе куды надо-то? Ты скажи! — спросил опять один из них.

— Мне в Можайск.

— Ты, стало, барин?

— Да.

— А как звать?

— Петр Кириллович.

— Ну, Петр Кириллович, пойдем, мы тебя отведем.

В совершенной темноте солдаты вместе с Пьером пошли к Можайску.

Уже петухи пели, когда они дошли до Можайска и стали подниматься на крутую городскую гору. Пьер Шел вместе с солдатами, совершенно забыв, что его постоялый двор был внизу под горою и что он уже прошел его. Он бы не вспомнил этого (в таком он находился состоянии потерянности), ежели бы с ним не столкнулся на половине горы его берейтор, ходивший его отыскивать по городу и возвращавшийся назад к своему постоялому двору. Берейтор узнал Пьера по его шляпе, белевшей в темноте.

— Ваше сиятельство, — проговорил он, — а уж мы отчаялись. Что ж вы пешком? Куда же вы, пожалуйте!

— Ах, да, — сказал Пьер.

Солдаты приостановились.

— Ну что, нашел своих? — сказал один из них.

— Ну, прощавай! Петр Кириллович, кажись? Прощавай, Петр Кириллович! — сказали другие голоса.

— Прощайте, — сказал Пьер и направился с своим берейтором к постоялому двору.

«Надо дать им!» — подумал Пьер, взявшись за карман. «Нет, не надо», — сказал ему какой-то голос.

В горницах постоялого двора не было места: все были заняты. Пьер прошел на двор и, укрывшись с головой, лег в свою коляску.

IX

Едва Пьер прилег головой на подушку, как он почувствовал, что засыпает; но вдруг с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло коровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его. Он испуганно открыл глаза и поднял голову из-под шинели. Все было тихо на дворе. Только в воротах, разговаривая с дворником и шлепая по грязи, шел какой-то денщик. Над головой Пьера, под темной изнанкой тесового навеса, встрепенулись голубки от движения, которое он сделал, приподнимаясь. По всему двору был разлит мирный, радостный для Пьера в эту минуту, крепкий запах постоялого двора, запах сена, навоза и дегтя. Между двумя черными навесами виднелось чистое звездное небо.

«Слава Богу, что этого нет больше, — подумал Пьер, опять закрываясь с головой. — О, как ужасен страх и как позорно я отдался ему! А они... они все время, до конца были тверды, спокойны...» — подумал он. Они в понятии Пьера были солдаты — те, которые были на батарее, и те, которые кормили его, и те, которые молились на икону. Они — эти странные, неведомые ему доселе они ясно и резко отделялись в его мысли от всех других мыслей.

«Солдатом быть, просто солдатом! — думал Пьер, засыпая. — Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека? Одно время я мог быть этим. Я мог бежать от отца, как я хотел. Я мог еще после дуэли с Долоховым быть послан солдатом». И в воображении Пьера мелькнул обед в клубе,

на котором он вызвал Долохова, и благодетель в Торжке. И вот Пьеру представляется торжественная столовая ложа. Ложа эта происходит в Английском клубе. И кто-то знакомый, близкий, дорогой, сидит в конце стола. Да это он! Это благодетель. «Да ведь он умер? — подумал Пьер. — Да, умер; но я не знал, что он жив. И как мне жаль, что он умер, и как я рад, что он жив опять!» С одной стороны стола сидели Анатоль, Долохов, Несвицкий, Денисов и другие такие же (категория этих людей так же ясно была во сне определена в душе Пьера, как и категория тех людей, которых он называл они), и эти люди, Анатоль, Долохов громко кричали, пели; но из-за их крика слышен был голос благодетеля, неумолкаемо говоривший, и звук его слов был так же значителен и непрерывен, как гул поля сраженья, но он был приятен и утешителен. Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал (категория мыслей так же ясна была во сне), что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они. И они со всех сторон, с своими простыми, добрыми, твердыми лицами, окружали благодетеля. Но они хотя и были добры, они не смотрели на Пьера, не знали его. Пьер захотел обратить на себя их внимание и сказать. Он привстал, но в то же мгновенье ноги его похолодели и обнажились.

Ему стало стыдно, и он рукой закрыл свои ноги, с которых действительно свалилась шинель. На мгновение Пьер, поправляя шинель, открыл глаза и увидал те же навесы, столбы, двор, но все это было теперь синевато, светло и подернуто блестками росы или мороза.

«Рассветает, — подумал Пьер. — Но это не то. Мне надо дослушать и понять слова благодетеля». Он опять укрылся шинелью, но ни столовой ложи, ни благодетеля уже не было. Были только мысли, ясно выражаемые словами, мысли, которые кто-то говорил или сам передумывал Пьер.

Пьер, вспоминая потом эти мысли, несмотря на то, что они были вызваны впечатлениями этого дня, был убежден, что кто-то вне его говорил их ему. Никогда, как ему казалось, он наяву не был в состоянии так думать и выражать свои мысли.

«Война есть наитруднейшее подчинение свободы человека законам Бога, — говорил голос. — Простота есть покорность Богу; от него не уйдешь. И они просты. Они не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное — золотое. Ничем не может владеть человек, пока он боится смерти. А кто не боится ее, тому принадлежит все. Ежели бы не было страдания, человек не знал бы границ себе, не знал бы себя самого. Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. — Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли — вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!» — с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.

— Да, сопрягать надо, пора сопрягать.

— Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство! Ваше сиятельство, — повторил какой-то голос, — запрягать надо, пора запрягать...

Это был голос берейтора, будившего Пьера. Солнце било прямо в лицо Пьера. Он взглянул на грязный постоялый двор, в середине которого у колодца солдаты поили худых лошадей, из которого в ворота выезжали подводы. Пьер с отвращением отвернулся и, закрыв глаза, поспешно повалился опять на сиденье коляски. «Нет, я не хочу этого, не хочу этого видеть и понимать, я хочу понять то, что открывалось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Да что же мне делать? Сопрягать, но как сопрягать все?» И Пьер с ужасом почувствовал, что все значение того, что он видел и думал во сне, было разрушено.

Берейтор, кучер и дворник рассказывали Пьеру, что приезжал офицер с известием, что французы подвинулись под Можайск и что наши уходят.

Пьер встал и, велев закладывать и догонять себя, пошел пешком через город.

Войска выходили и оставляли около десяти тысяч раненых. Раненые эти виднелись в дворах и в окнах домов и толпились на улицах. На улицах около телег, которые должны были увозить раненых, слышны были крики, ругательства и удары. Пьер отдал догнавшую его коляску знакомому раненому генералу и с ним вместе поехал до Москвы. Дорогой Пьер узнал про смерть своего шурина и про смерть князя Андрея.

X

30-го числа Пьер вернулся в Москву. Почти у заставы ему встретился адъютант графа Растопчина.

— А мы вас везде ищем, — сказал адъютант. — Графу вас непременно нужно видеть. Он просит вас сейчас же приехать к нему по очень важному делу.

Пьер, не заезжая домой, взял извозчика и поехал к главнокомандующему.

Граф Растопчин только в это утро приехал в город с своей загородной дачи в Сокольниках. Прихожая и приемная в доме графа были полны чиновников, явившихся по требованию его или за приказаниями. Васильчиков и Платов уже виделись с графом и объяснили ему, что защищать Москву невозможно и что она будет сдана. Известия эти хотя и скрывались от жителей, но чиновники, начальники различных управлений знали, что Москва будет в руках неприятеля, так же, как и знал это и граф Растопчин; и все они, чтобы сложить с себя ответственность, пришли к главнокомандующему с вопросами, как им поступать с вверенными им частями.

В то время как Пьер входил в приемную, курьер, приезжавший из армии, выходил от графа.

Курьер безнадежно махнул рукой на вопросы, с которыми обратились к нему, и прошел через залу.

Дожидаясь в приемной, Пьер усталыми глазами оглядывал различных, старых и молодых, военных и статских, важных и неважных чиновников, бывших в комнате. Все казались недовольными и беспокойными. Пьер подошел к одной группе чиновников, в которой один был его знакомый. Поздоровавшись с Пьером, они продолжали свой разговор.

— Как выслать да опять вернуть, беды не будет; а в таком положении ни за что нельзя отвечать.

— Да ведь вот, он пишет, — говорил другой, указывая на печатную бумагу, которую он держал в руке.

— Это другое дело, для народа это нужно, — сказал первый.

— А что? — спросил Пьер.

— А вот новая афиша.

Пьер взял ее в руки и стал читать:

«Светлейший князь, чтобы скорей соединиться с войсками, которые идут к нему, перешел Можайск и стал на крепком месте, где неприятель не вдруг на него пойдет. К нему отправлено отсюда сорок восемь пушек с снарядами, и светлейший говорит, что Москву до последней капли крови защищать будет и готов хоть в улицах драться. Вы, братцы, не смотрите на то, что присутственные места закрыли: дела прибрать надобно, а мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских. Я клич кликну дня за два, а теперь не надо, я и молчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы-тройчатки: француз не тяжеле снопа ржаного. Завтра, после обеда, я поднимаю Иверскую в Екатерининскую гошпиталь, к раненым. Там воду освятим: они скорее выздоровеют; и я теперь здоров: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба».

— А мне говорили военные люди, — сказал Пьер, — что в городе никак нельзя сражаться и что позиция...

— Ну да, про то-то мы и говорим, — сказал первый чиновник.

— А что это значит: у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба? — сказал Пьер.

— У графа был ячмень, — сказал адъютант, улыбаясь, — и он очень беспокоился, когда я ему сказал, что приходил народ спрашивать, что с ним. А что, граф, — сказал вдруг адъютант, с улыбкой обращаясь к Пьеру, — мы слышали, что у вас семейные тревоги? Что будто графиня, ваша супруга...

— Я ничего не слыхал, — равнодушно сказал Пьер. — А что вы слышали?

— Нет, знаете, ведь часто выдумывают. Я говорю, что слышал.

— Что же вы слышали?

— Да говорят, — опять с той же улыбкой сказал адъютант, — что графиня, ваша жена, собирается за границу. Вероятно, вздор...

— Может быть, — сказал Пьер, рассеянно оглядываясь вокруг себя. — А это кто? — спросил он, указывая на невысокого старого человека в чистой синей чуйке, с белою как снег большою бородой, такими же бровями и румяным лицом.

— Это? Это купец один, то есть он трактирщик, Верещагин. Вы слышали, может быть, эту историю о прокламации?

— Ах, так это Верещагин! — сказал Пьер, вглядываясь в твердое и спокойное лицо старого купца и отыскивая в нем выражение изменничества.

— Это не он самый. Это отец того, который написал прокламацию, — сказал адъютант. — Тот молодой, сидит в яме, и ему, кажется, плохо будет.

Один старичок, в звезде, и другой — чиновник-немец, с крестом на шее, подошли к разговаривающим.

— Видите ли, — рассказывал адъютант, — это запутанная история. Явилась тогда, месяца два тому назад, эта прокламация. Графу донесли. Он приказал

расследовать. Вот Гаврило Иваныч разыскивал, прокламация эта побывала ровно в шестидесяти трех руках. Приедет к одному: вы от кого имеете? — От того-то. Он едет к тому: вы от кого? и т. д. добрались до Верещагина... недоученный купчик, знаете, купчик-голубчик, — улыбаясь, сказал адъютант. — Спрашивают у него: ты от кого имеешь? И главное, что мы знаем, от кого он имеет. Ему больше не от кого иметь, как от почт-директора. Но уж, видно, там между ними стачка была. Говорит: ни от кого, я сам сочинил. И грозили и просили, стал на том: сам сочинил. Так и доложили графу. Граф велел призвать его. «От кого у тебя прокламация?» — «Сам сочинил». Ну, вы знаете графа! — с гордой и веселой улыбкой сказал адъютант. — Он ужасно вспылил, да и подумайте: этакая наглость, ложь и упорство!..

— А! Графу нужно было, чтобы он указал на Ключарева, понимаю! — сказал Пьер.

— Совсем не нужно, — испуганно сказал адъютант. — За Ключаревым и без этого были грешки, за что он и сослан. Но дело в том, что граф очень был возмущен. «Как же ты мог сочинить? — говорит граф. Взял со стола эту „Гамбургскую газету“. — Вот она. Ты не сочинил, а перевел, и перевел-то скверно, потому что ты и по-французски, дурак, не знаешь». Что же вы думаете? «Нет, говорит, я никаких газет не читал, я сочинил». — «А коли так, то ты изменник, и я тебя предам суду, и тебя повесят. Говори, от кого получил?» — «Я никаких газет не видал, а сочинил». Так и осталось. Граф и отца призывал: стоит на своем. И отдали под суд, и приговорили, кажется, к каторжной работе. Теперь отец пришел просить за него. Но дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купеческий сынишка, франтик, соблазнитель, слушал где-то лекции и уж думает, что ему черт не брат. Ведь это какой молодчик! У отца его трактир тут у Каменного моста, так в трактире, знаете, большой образ Бога Вседержителя и представлен в одной руке скипетр, в другой держава; так он взял этот образ домой на несколько дней и что же сделал! Нашел мерзавца живописца...

XI

В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему. Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и Глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что-то и, как только вошел Пьер, замолчал и вышел.

— А! здравствуйте, воин великий, — сказал Растопчин, как только вышел этот человек. — Слышали про ваши prouesses![1] Но не в том дело. Mon cher, entre nous[2], вы масон? — сказал граф Растопчин строгим тоном, как будто было что-то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. — Mon cher, je suis bien informé[3], но я знаю, что есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасенья рода человеческого хотят погубить Россию.

— Да, я масон, — отвечал Пьер.

[1] достославные подвиги

[2] Между нами, мой милый

[3] Мне, любезнейший, все хорошо известно

— Ну вот видите ли, мой милый. Вам, я думаю, не безызвестно, что господа Сперанский и Магницкий отправлены куда следует; то же сделано с господином Ключаревым, то же и с другими, которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причины и что я не мог бы сослать здешнего почт-директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой экипаж для подъема из города и даже что вы приняли от него бумаги для хранения. Я вас люблю и не желаю вам зла, и как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее.

— Но в чем же, граф, вина Ключарева? — спросил Пьер.

— Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, — вскрикнул Растопчин.

— Ежели его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, — сказал Пьер (не глядя на Растопчина), — и Верещагина...

— Nous y voilà[1] — вдруг нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин. — Верещагин изменник и предатель, который получит заслуженную казнь, — сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. — Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношения с такими господами, как Ключарев, и ехать отсюда. А я дурь выбью, в ком бы она ни была. — И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера: — Nous sommes à la veille d'un desastre publique, et je n'ai pas le temps de dire des gentillesses à tous ceux qui ont affaire à moi. Голова иногда кругом идет! Eh bien, mon cher, qu'est ce que vous faites, vous personnellement? [2]

— Meus rien[3], — отвечал Пьер, все не поднимая глаз и не изменяя выражения задумчивого лица.

Граф нахмурился.

— Un conseil d'ami, mon cher. Décampez et au plutôt, c'est tout ce que je vous dis. A bon entendeur salut! Прощайте, мой милый. Ах, да, — прокричал он ему из двери, — правда ли, что графиня попалась в лапки des saints pères de la Société de Jésus? [4]

Пьер ничего не ответил и, нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина.

---

[1] Так и есть

[2] Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Голова иногда кругом идет! Итак, любезнейший, что вы предпринимаете, вы лично?

[3] Да ничего

[4] — Дружеский совет, мой дорогой. Убирайтесь, и как можно скорее, — вот всё, что я вам скажу. Имеющий уши да услышит! Прощайте, мой милый. Ах, да, — прокричал он ему из двери, — правда ли, что графиня попалась в лапки святых отцов из Общества Иисусова?

Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены.

«Они — солдаты на батарее, князь Андрей убит... старик... Простота есть покорность Богу. Страдать надо... значение всего... сопрягать надо... жена идет замуж... Забыть и понять надо...» И он, подойдя к постели, не раздеваясь повалился на нее и тотчас же заснул.

Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник — узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов.

Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и вместо того чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота.

С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.

XII

Ростовы до 1-го сентября, то есть до кануна вступления неприятеля в Москву, оставались в городе.

После поступления Пети в полк казаков Оболенского и отъезда его в Белую Церковь, где формировался этот полк, на графиню нашел страх. Мысль о том, что оба ее сына находятся на войне, что оба они ушли из-под ее крыла, что нынче или завтра каждый из них, а может быть, и оба вместе, как три сына одной ее знакомой, могут быть убиты, в первый раз теперь, в это лето, с жестокой ясностью пришла ей в голову. Она пыталась вытребовать к себе Николая, хотела сама ехать к Пете, определить его куда-нибудь в Петербурге, но и то и другое оказывалось невозможным. Петя не мог быть возвращен иначе, как вместе с полком или посредством перевода в другой действующий полк. Николай находился где-то в армии и после своего последнего письма, в котором подробно описывал свою встречу с княжной Марьей, не давал о себе слуха. Графиня не спала ночей и, когда засыпала, видела во сне убитых сыновей. После многих советов и переговоров граф придумал, наконец, средство для успокоения графини. Он перевел Петю из полка Оболенского в полк Безухова, который формировался под Москвою. Хотя Петя и оставался в военной службе, но при этом переводе графиня имела утешенье видеть хотя одного сына у себя под крылышком и надеялась устроить своего Петю так, чтобы больше не выпускать его и записывать всегда в такие места службы, где бы он никак не мог попасть в сражение. Пока один Nicolas был в опасности, графине казалось (и она даже каялась в этом), что она любит старшего больше всех остальных детей; но когда меньшой, шалун, дурно учившийся, все ломавший в доме и всем надоевший Петя, этот курносый Петя, с

своими веселыми черными глазами, свежим румянцем и чуть пробивающимся пушком на щеках, попал туда, к этим большим, страшным, жестоким мужчинам, которые там что-то сражаются и что-то в этом находят радостного, — тогда матери показалось, что его-то она любила больше, гораздо больше всех своих детей. Чем ближе подходило то время, когда должен был вернуться в Москву ожидаемый Петя, тем более увеличивалось беспокойство графини. Она думала уже, что никогда не дождется этого счастия. Присутствие не только Сопи, но и любимой Наташи, даже мужа, раздражало графиню. «Что мне за дело до них, мне никого не нужно, кроме Пети!» — думала она.

В последних числах августа Ростовы получили второе письмо от Николая. Он писал из Воронежской губернии, куда он был послан за лошадьми. Письмо это не успокоило графиню. Зная одного сына вне опасности, она еще сильнее стала тревожиться за Петю.

Несмотря на то, что уже с 20-го числа августа почти все знакомые Ростовых повыехали из Москвы, несмотря на то, что все уговаривали графиню уезжать как можно скорее, она ничего не хотела слышать об отъезде до тех пор, пока не вернется ее сокровище, обожаемый Петя. 28 августа приехал Петя. Болезненно-страстная нежность, с которою мать встретила его, не понравилась шестнадцатилетнему офицеру. Несмотря на то, что мать скрыла от него свое намеренье не выпускать его теперь из-под своего крылышка, Петя понял ее замыслы и, инстинктивно боясь того, чтобы с матерью не разнежничаться, не обабиться (так он думал сам с собой), он холодно обошелся с ней, избегал ее и во время своего пребывания в Москве исключительно держался общества Наташи, к которой он всегда имел особенную, почти влюбленную братскую нежность.

XIII

31-го августа, в субботу, в доме Ростовых все казалось перевернутым вверх дном. Все двери были растворены, вся мебель вынесена или переставлена, зеркала, картины сняты. В комнатах стояли сундуки, валялось сено, оберточная бумага и веревки. Мужики и дворовые, выносившие вещи, тяжелыми шагами ходили по паркету. На дворе теснились мужицкие телеги, некоторые уже уложенные ве́рхом и увязанные, некоторые еще пустые.

Голоса и шаги огромной дворни и приехавших с подводами мужиков звучали, перекликиваясь, на дворе и в доме. Граф с утра выехал куда-то. Графиня, у которой разболелась голова от суеты и шума, лежала в новой диванной с уксусными повязками на голове. Пети не было дома (он пошел к товарищу, с которым намеревался из ополченцев перейти в действующую армию). Соня присутствовала в зале при укладке хрусталя и фарфора. Наташа сидела в своей разоренной комнате на полу, между разбросанными платьями, лентами, шарфами, и, неподвижно глядя на пол, держала в руках старое бальное платье, то самое (уже старое по моде) платье, в котором она в первый раз была на петербургском бале.

Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты, и она несколько раз с утра еще пробовала приняться за дело; но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Она постояла над Соней при укладке фарфора, хотела помочь, но тотчас же бросила и пошла к себе укладывать свои вещи. Сначала ее веселило то, что она раздавала свои платья и ленты горничным, но потом, когда остальные все-таки надо было укладывать, ей это показалось скучным.

— Дуняша, ты уложишь, голубушка? Да? Да?

И когда Дуняша охотно обещалась ей все сделать, Наташа села на пол, взяла в руки старое бальное платье и задумалась совсем не о том, что бы должно было занимать ее теперь. Из задумчивости, в которой находилась Наташа, вывел ее говор девушек в соседней девичьей и звуки их поспешных шагов из девичьей на заднее крыльцо. Наташа встала и посмотрела в окно. На улице остановился огромный поезд раненых.

Девушки, лакеи, ключница, няня, повар, кучера, форейторы, поваренки стояли у ворот, глядя на раненых.

Наташа, накинув белый носовой платок на волосы и придерживая его обеими руками за кончики, вышла на улицу.

Бывшая ключница, старушка Мавра Кузминишна, отделилась от толпы, стоявшей у ворот, и, подойдя к телеге, на которой была рогожная кибиточка, разговаривала с лежавшим в этой телеге молодым бледным офицером. Наташа подвинулась на несколько шагов и робко остановилась, продолжая придерживать свой платок и слушая то, что говорила ключница.

— Что ж, у вас, значит, никого и нет в Москве? — говорила Мавра Кузминишна. — Вам бы покойнее где на квартире... Вот бы хоть к нам. Господа уезжают.

— Не знаю, позволят ли, — слабым голосом сказал офицер. — Вон начальник... спросите. — И он указал на толстого майора, который возвращался назад по улице по ряду телег.

Наташа испуганными глазами заглянула в лицо раненого офицера и тотчас же пошла навстречу майору.

— Можно раненым у нас в доме остановиться? — спросила она.

Майор с улыбкой приложил руку к козырьку.

— Кого вам угодно, мамзель? — сказал он, суживая глаза и улыбаясь.

Наташа спокойно повторила свой вопрос, и лицо и вся манера ее, несмотря на то, что она продолжала держать свой платок за кончики, были так серьезны, что майор перестал улыбаться и, сначала задумавшись, как бы спрашивая себя, в какой степени это можно, ответил ей утвердительно.

— О, да, отчего ж, можно, — сказал он.

Наташа слегка наклонила голову и быстрыми шагами вернулась к Мавре Кузминишне, стоявшей над офицером и с жалобным участием разговаривавшей с ним.

— Можно, он сказал, можно! — шепотом сказала Наташа.

Офицер в кибиточке завернул во двор Ростовых, и десятки телег с ранеными стали, по приглашениям городских жителей, заворачивать в дворы и подъезжать к подъездам домов Поварской улицы. Наташе, видимо, понравились эти, вне обычных условий жизни, отношения с новыми людьми. Она вместе с Маврой Кузминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых.

— Надо все-таки папаше доложить, — сказала Мавра Кузминишна.

— Ничего, ничего, разве не все равно! На один день мы в гостиную перейдем. Можно всю нашу половину им отдать.

— Ну, уж вы, барышня, придумаете! Да хоть и в флигеля, в холостую, к нянюшке, и то спросить надо.

— Ну, я спрошу.

Наташа побежала в дом и на цыпочках вошла в полуотворенную дверь диванной, из которой пахло уксусом и гофманскими каплями.

— Вы спите, мама?

— Ах, какой сон! — сказала, пробуждаясь, только что задремавшая графиня.

— Мама, голубчик, — сказала Наташа, становясь на колени перед матерью и близко приставляя свое лицо к ее лицу. — Виновата, простите, никогда не буду, я вас разбудила. Меня Мавра Кузминишна послала, тут раненых привезли, офицеров, позволите? А им некуда деваться; я знаю, что вы позволите... — говорила она быстро, не переводя духа.

— Какие офицеры? Кого привезли? Ничего не понимаю, — сказала графиня.

Наташа засмеялась, графиня тоже слабо улыбалась.

— Я знала, что вы позволите... так я так и скажу. — И Наташа, поцеловав мать, встала и пошла к двери.

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.

— Досиделись мы! — с невольной досадой сказал граф. — И клуб закрыт, и полиция выходит.

— Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? — сказала ему Наташа.

— Разумеется, ничего, — рассеянно сказал граф. — Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра... — И граф передал дворецкому и людям то же приказание.

За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости. Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.

Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что-нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, — что-нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете,

а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.

По обычной беспечности графа, 28 августа ничто еще не было готово для отъезда и, ожидаемые из рязанской и московской деревень подводы для подъема из дома всего имущества пришли только 30-го.

С 28 по 31 августа вся Москва была в хлопотах и движении. Каждый день в Дорогомиловскую заставу ввозили и развозили по Москве тысячи раненных в Бородинском сражении, и тысячи подвод, с жителями и имуществом, выезжали в другие заставы. Несмотря на афишки Ростопчина, или независимо от них, или вследствие их, самые противоречащие и странные новости передавались по городу. Кто говорил о том, что не велено никому выезжать; кто, напротив, рассказывал, что подняли все иконы из церквей и что всех высылают насильно; кто говорил, что было еще сраженье после Бородинского, в котором разбиты французы; кто говорил, напротив, что все русское войско уничтожено; кто говорил о московском ополчении, которое пойдет с духовенством впереди на Три Горы; кто потихоньку рассказывал, что Августину не велено выезжать, что пойманы изменники, что мужики бунтуют и грабят тех, кто выезжает и т. п., и т. п. Но это только говорили, а в сущности, и те, которые ехали, и те, которые оставались (несмотря на то, что еще не было совета в Филях, на котором решено было оставить Москву), — все чувствовали, хотя и не выказывали этого, что Москва непременно сдана будет и что надо как можно скорее убираться самим и спасать свое имущество. Чувствовалось, что все вдруг должно разорваться и измениться, но до 1-го числа ничто еще не изменялось. Как преступник, которого ведут на казнь, знает, что вот-вот он должен погибнуть, но все еще приглядывается вокруг себя и поправляет дурно надетую шапку, так и Москва невольно продолжала свою обычную жизнь, хотя знала, что близко то время погибели, когда разорвутся все те условные отношения жизни, которым привыкли покоряться.

В продолжение этих трех дней, предшествовавших пленению Москвы, все семейство Ростовых находилось в различных житейских хлопотах. Глава семейства, граф Илья Андреич, беспрестанно ездил по городу, собирая со всех сторон ходившие слухи, и до́ма делал общие поверхностные и торопливые распоряжения о приготовлениях к отъезду.

Графиня следила за уборкой вещей, всем была недовольна и ходила за беспрестанно убегавшим от нее Петей, ревнуя его к Наташе, с которой он проводил все время. Соня одна распоряжалась практической стороной дела: укладываньем вещей. Но Соня была особенно грустна и молчалива все это последнее время. Письмо Nicolas, в котором он упоминал о княжне Марье, вызвало в ее присутствии радостные рассуждения графини о том, как во встрече княжны Марьи с Nicolas она видела промысл Божий.

— Я никогда не радовалась тогда, — сказала графиня, — когда Болконский был женихом Наташи, а я всегда желала, и у меня есть предчувствие, что Николинька женится на княжне. И как бы это хорошо было!

Соня чувствовала, что это была правда, что единственная возможность поправления дел Ростовых была женитьба на богатой и что княжна была хорошая партия. Но ей было это очень горько. Несмотря на свое горе или, может быть, именно вследствие своего горя, она на себя взяла все трудные заботы распоряжений об уборке и укладке вещей и целые дни была занята. Граф и графиня обращались к ней, когда им что-нибудь нужно было приказывать. Петя и Наташа, напротив, не только не помогали родителям, но большею частью всем в доме надоедали и мешали. И целый день почти слышны были в доме их беготня, крики и беспричинный хохот. Они смеялись и радовались вовсе не оттого, что была причина их смеху; но им на душе было радостно и весело, и потому все, что ни случалось, было для них причиной радости и смеха. Пете было весело оттого, что, уехав из дома мальчиком, он вернулся (как ему говорили все) молодцом-мужчиной; весело было оттого, что он дома, оттого, что он из Белой Церкви, где не скоро была надежда попасть в сраженье, попал в Москву, где на днях будут драться; и главное, весело оттого, что Наташа, настроению духа которой он всегда покорялся, была весела. Наташа же была весела потому, что она слишком долго была грустна, и теперь ничто не напоминало ей причину ее грусти, и она была здорова. Еще она была весела потому, что был человек, который ею восхищался (восхищение других была та мазь колес, которая была необходима для того, чтоб ее машина совершенно свободно двигалась), и Петя восхищался ею. Главное же, веселы они были потому, что война была под Москвой, что будут сражаться у заставы, что раздают оружие, что все бегут, уезжают куда-то, что вообще происходит что-то необычайное, что всегда радостно для человека, в особенности для молодого.

XIV

M-me Schoss, ходившая к своей дочери, еще более увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.

После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё

ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins (гобелены) и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.

— Соня, постой, да мы всё так уложим, — сказала Наташа.

— Нельзя, барышня, уж пробовали, — сказал буфетчик.

— Нет, постой, пожалуйста. — И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.

— Блюда надо сюда, в ковры, — сказала она.

— Да еще и ковры-то дай Бог на три ящика разложить, — сказал буфетчик.

— Да постой, пожалуйста. — И Наташа быстро, ловко начала разбирать. — Это не надо, — говорила она про киевские тарелки, — это да, это в ковры, — говорила она про саксонские блюда.

— Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, — с упреком говорила Соня.

— Эх, барышня! — говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры к лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.

— Да полно, Наташа, — говорила ей Соня. — Я вижу, ты права, да вынь один верхний.

— Не хочу, — кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. — Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! — кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.

Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.

Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной.

В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.

— Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, — сказала старушка, обращаясь к старому слуге.

— Да что, — отвечал камердинер, вздыхая, — и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.

— К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, — говорила Мавра Кузминишна. — А что, очень нездоровы? — прибавила она.

Камердинер махнул рукой.

— Не чаем довезти! У доктора спросить надо. — И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.

— Хорошо, — сказал доктор.

Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.

— Господи Иисусе Христе! — проговорила она.

Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.

— Господа ничего не скажут... — говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m-me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.

XV

Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.

Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей все шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи все шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.

В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен

вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1-го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все — отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.

Проснувшись утром 1-го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.

— Ну, что, все готово, Васильич? — сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)

— Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.

— Ну и славно, вот графиня проснется, и с Богом! Вы что, господа? — обратился он к офицеру. — У меня в доме? — Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.

— Граф, сделайте одолжение, позвольте мне... ради Бога... где-нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет... Мне на возу... все равно... — Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.

— А! да, да, да, — поспешно заговорил граф. — Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очисть одну или две телеги, ну там... что же... что нужно... — какими-то неопределенными выражениями, что-то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели На графа и подвигались к крыльцу.

— Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? — сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.

— Ну, что же, можно сложить что-нибудь, — прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто-нибудь его не услышал.

В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m-me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают — добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.

— Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?

— Знаешь, ma chère[1], я вот что хотел тебе сказать... ma chère графинюшка... ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть... Знаешь, думаю, право, ma chère, вот, ma chère... пускай их свезут... куда же торопиться?.. — Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая-нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, — и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.

Она приняла свой покорно-плачевный вид и сказала мужу:

— Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше — детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.

Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.

— Папа! об чем вы это? — сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.

— Ни о чем! Тебе что за дело! — сердито проговорил граф.

— Нет, я слышала, — сказала Наташа. — Отчего ж маменька не хочет?

— Тебе что за дело? — крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.

— Папенька, Берг к нам приехал, — сказала она, глядя в окно.

XVI

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса. Он 1 сентября приехал из армии в Москву.

Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что-то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.

[1] моя дорогая

Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.

Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.

— Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, — сказал граф, — что войска? Отступают или будет еще сраженье?

— Один предвечный Бог, папаша, — сказал Берг, — может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они — оно, — поправился он, — показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать... Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), — я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти... да, мужественные и древние подвиги, — сказал он скороговоркой. — Генерал Барклай де Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! — И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого-то вопроса, смотрела на него.

— Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! — сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд... — «Россия не в Москве, она в сердцах ее сынов!» Так, папаша? — сказал Берг.

В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиванием головы, остановился подле нее.

— Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать...

— Я не понимаю, что делают люди, — сказала графиня, обращаясь к мужу, — мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому-нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет!

Граф хотел что-то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.

Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачал головой.

— А у меня к вам, папаша, большая просьба, — сказал он.

— Гм?.. — сказал граф, останавливаясь.

— Еду я сейчас мимо Юсупова дома, — смеясь, сказал Берг. — Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что-нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и...

Граф сморщился и заперхал.

— У графини просите, а я не распоряжаюсь.

— Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, — сказал Берг. — Мне для Верушки только очень бы хотелось.

— Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту!.. — закричал старый граф. — Голова кругом идет. — И он вышел из комнаты.

Графиня заплакала.

— Да, да, маменька, очень тяжелые времена! — сказал Берг.

Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что-то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз.

На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком.

— Ты знаешь за что? — спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала.

— За то, что папенька хотел отдать все подводы под раненых, — сказал Петя. — Мне Васильич сказал. По-моему...

— По-моему, — вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, — по-моему, это такая гадость, такая мерзость, такая... я не знаю! Разве мы немцы какие-нибудь?.. — Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно-почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она. — Это не может быть, чтобы вы приказали.

Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь

— Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! — закричала она. — Они остаются!..

— Что с тобой? Кто они? Что тебе надо?

— Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже... Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка... Маменька, ну что нам-то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе... Маменька!.. Это не может быть!..

Граф стоял у окна и, не поворачивая лица, слушал слова Наташи. Вдруг он засопел носом и приблизил свое лицо к окну.

Графиня взглянула на дочь, увидала ее пристыженное за мать лицо, увидала ее волнение, поняла, отчего муж теперь не оглядывался на нее, и с растерянным видом оглянулась вокруг себя.

— Ах, да делайте, как хотите! Разве я мешаю кому-нибудь! — сказала она, еще не вдруг, сдаваясь.

— Маменька, голубушка, простите меня!

Но графиня оттолкнула дочь и подошла к графу.

— Mon cher, ты распорядись, как надо... Я ведь не знаю этого, — сказала она, виновато опуская глаза.

— Яйца... яйца курицу учат... — сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо.

— Папенька, маменька! Можно распорядиться? Можно?.. — спрашивала Наташа. — Мы все-таки возьмем все самое нужное... — говорила Наташа.

Граф утвердительно кивнул ей головой, и Наташа тем быстрым бегом, которым она бегивала в горелки, побежала по зале в переднюю и по лестнице на двор.

Люди собрались около Наташи и до тех пор не могли поверить тому странному приказанию, которое она передавала, пока сам граф именем своей жены не подтвердил приказания о том, чтобы отдавать все подводы под раненых, а сундуки сносить в кладовые. Поняв приказание, люди с радостью и хлопотливостью принялись за новое дело. Прислуге теперь это не только не казалось странным, но, напротив, казалось, что это не могло быть иначе; точно так же, как за четверть часа перед этим никому не только не казалось странным, что оставляют раненых, а берут вещи, но казалось, что не могло быть иначе.

Все домашние, как бы выплачивая за то, что они раньше не взялись за это, принялись с хлопотливостью за новое дело размещения раненых. Раненые повыползли из своих комнат и с радостными бледными лицами окружили подводы. В соседних домах тоже разнесся слух, что есть подводы, и на двор к Ростовым стали приходить раненые из других домов. Многие из раненых просили не снимать вещей и только посадить их сверху. Но раз начавшееся дело свалки вещей уже не могло остановиться. Было все равно, оставлять все или половину. На дворе лежали неубранные сундуки с посудой, с бронзой, с картинами, зеркалами, которые так старательно укладывали в прошлую ночь, и все искали и находили возможность сложить то и то и отдать еще и еще подводы.

— Четверых еще можно взять, — говорил управляющий, — я свою повозку отдаю, а то куда же их?

— Да отдайте мою гардеробную, — говорила графиня. — Дуняша со мной сядет в карету.

Отдали еще и гардеробную повозку и отправили ее за ранеными через два дома. Все домашние и прислуга были весело оживлены. Наташа находилась в восторженно-счастливом оживлении, которого она давно не испытывала.

— Куда же его привязать? — говорили люди, прилаживая сундук к узкой запятке кареты, — надо хоть одну подводу оставить.

— Да с чем он? — спрашивала Наташа.

— С книгами графскими.

— Оставьте. Васильич уберет. Это не нужно.

В бричке все было полно людей; сомневались о том, куда сядет Петр Ильич.

— Он на козлы. Ведь ты на козлы, Петя? — кричала Наташа.

Соня не переставая хлопотала тоже; но цель хлопот ее была противоположна цели Наташи. Она убирала те вещи, которые должны были остаться; записывала их, по желанию графини, и старалась захватить с собой как можно больше.

XVII

Во втором часу заложенные и уложенные четыре экипажа Ростовых стояли у подъезда. Подводы с ранеными одна за другой съезжали со двора.

Коляска, в которой везли князя Андрея, проезжая мимо крыльца, обратила на себя внимание Сони, устраивавшей вместе с девушкой сиденья для графини в ее огромной высокой карете, стоявшей у подъезда.

— Это чья же коляска? — спросила Соня, высунувшись в окно кареты.

— А вы разве не знали, барышня? — отвечала горничная. — Князь раненый: он у нас ночевал и тоже с нами едут.

— Да кто это? Как фамилия?

— Самый наш жених бывший, князь Болконский! — вздыхая, отвечала горничная. — Говорят, при смерти.

Соня выскочила из кареты и побежала к графине. Графиня, уже одетая по-дорожному, в шали и шляпе, усталая, ходила по гостиной, ожидая домашних, с тем чтобы посидеть с закрытыми дверями и помолиться перед отъездом. Наташи не было в комнате.

— Maman, — сказала Соня, — князь Андрей здесь, раненый, при смерти. Он едет с нами.

Графиня испуганно открыла глаза и, схватив за руку Соню, оглянулась.

— Наташа? — проговорила она.

И для Сони и для графини известие это имело в первую минуту только одно значение. Они знали свою Наташу, и ужас о том, что будет с нею при этом известии, заглушал для них всякое сочувствие к человеку, которого они обе любили.

— Наташа не знает еще; но он едет с нами, — сказала Соня.

— Ты говоришь, при смерти?

Соня Кивнула головой.

Графиня обняла Соню и заплакала.

«Пути Господни неисповедимы!» — думала она, чувствуя, что во всем, что делалось теперь, начинала выступать скрывавшаяся прежде от взгляда людей всемогущая рука.

— Ну, мама, все готово. О чем вы?.. — спросила с оживленным лицом Наташа, вбегая в комнату.

— Ни о чем, — сказала графиня. — Готово, так поедем. — И графиня нагнулась к своему ридикюлю, чтобы скрыть расстроенное лицо. Соня обняла Наташу и поцеловала ее.

Наташа вопросительно взглянула на нее.

— Что ты? Что такое случилось?

— Ничего... Нет...

— Очень дурное для меня?.. Что такое? — спрашивала чуткая Наташа.

Соня вздохнула и ничего не ответила. Граф, Петя, m-me Schoss, Мавра Кузминишна, Васильич вошли в гостиную, и, затворив двери, все сели и молча, не глядя друг на друга, посидели несколько секунд.

Граф первый встал и, громко вздохнув, стал креститься на образ. Все сделали то же. Потом граф стал обнимать Мавру Кузминишну и Васильича, которые оставались в Москве, и, в то время как они ловили его руку и целовали его в плечо, слегка трепал их по спине, приговаривая что-то неясное, ласково-успокоительное. Графиня ушла в образную, и Соня нашла ее там на коленях перед разрозненно по стене остававшимися образами. (Самые дорогие по семейным преданиям образа везлись с собою.)

На крыльце и на дворе уезжавшие люди с кинжалами и саблями, которыми их вооружил Петя, с заправленными панталонами в сапоги и туго перепоясанные ремнями и кушаками, прощались с теми, которые оставались.

Как и всегда при отъездах, многое было забыто и не так уложено, и довольно долго два гайдука стояли с обеих сторон отворенной дверцы и ступенек кареты, готовясь подгадить графиню, в то время как бегали девушки с подушками, узелками из дому в кареты, и коляску, и бричку, и обратно.

— Век свой все перезабудут! — говорила графиня. — Ведь ты знаешь, что я не могу так сидеть. — И Дуняша, стиснув зубы и не отвечая, с выражением упрека на лице, бросилась в карету переделывать сиденье.

— Ах, народ этот! — говорил граф, покачивая головой.

Старый кучер Ефим, с которым одним только решалась ездить графиня, сидя высоко на своих козлах, даже не огладывался на то, что делалось позади его. Он тридцатилетним опытом знал, что не скоро еще ему скажут «с Богом!» и что когда скажут, то еще два раза остановят его и пошлют за забытыми вещами, и уже после этого еще раз остановят, и графиня сама высунется к нему в окно и попросит его Христом Богом ехать осторожнее на спусках. Он знал это и потому терпеливее своих лошадей (в особенности левого рыжего — Сокола, который бил ногой и, пережевывая, перебирал удила) ожидал того, что будет. Наконец все уселись: ступеньки собрались и закинулись в карету, дверка захлопнулась, послали за шкатулкой, графиня высунулась и сказала, что должно. Тогда Ефим медленно снял шляпу с своей головы и стал креститься. Форейтор и все люди сделали то же.

— С Богом! — сказал Ефим, надев шляпу. — Вытягивай! — Форейтор тронул. Правый дышловой влег в хомут, хрустнули высокие рессоры, и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнуло карету при выезде со двора на тряскую

мостовую, так же встряхнуло другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. В каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив. Остававшиеся в Москве люди шли по обоим бокам экипажей, провожая их.

Наташа редко испытывала столь радостное чувство, как то, которое она испытывала теперь, сидя в карете подле графини и глядя на медленно подвигавшиеся мимо нее стены оставляемой, встревоженной Москвы. Она изредка высовывалась в окно кареты и глядела назад и вперед на длинный поезд раненых, предшествующий им. Почти впереди всех виднелся ей закрытый верх коляски князя Андрея. Она не знала, кто был в ней, и всякий раз, соображая область своего обоза, отыскивала глазами эту коляску. Она знала, что она была впереди всех.

В Кудрине, из Никитской, от Пресни, от Подновинского съехалось несколько таких же поездов, как был поезд Ростовых, и по Садовой уже в два ряда ехали экипажи и подводы.

Объезжая Сухареву башню, Наташа, любопытно и быстро осматривавшая народ, едущий и идущий, вдруг радостно и удивленно вскрикнула:

— Батюшки! Мама, Соня, посмотрите, это он!

— Кто? Кто?

— Смотрите, ей-богу, Безухов! — говорила Наташа, высовываясь в окно кареты и глядя на высокого толстого человека в кучерском кафтане, очевидно, наряженного барина по походке и осанке, который рядом с желтым безбородым старичком в фризовой шинели подошел под арку Сухаревой башни.

— Ей-богу, Безухов, в кафтане, с каким-то старым мальчиком! Ей-богу, — говорила Наташа, — смотрите, смотрите!

— Да нет, это не он. Можно ли, такие глупости.

— Мама, — кричала Наташа, — я вам голову дам на отсечение, что это он! Я вас уверяю. Постой, постой! — кричала она кучеру; но кучер не мог остановиться, потому что из Мещанской выехали еще подводы и экипажи, и на Ростовых кричали, чтоб они трогались и не задерживали других.

Действительно, хотя уже гораздо дальше, чем прежде, все Ростовы увидали Пьера или человека, необыкновенно похожего на Пьера, в кучерском кафтане, шедшего по улице с нагнутой головой и серьезным лицом, подле маленького безбородого старичка, имевшего вид лакея. Старичок этот заметил высунувшееся на него лицо из кареты и, почтительно дотронувшись до локтя Пьера, что-то сказал ему, указывая на карету. Пьер долго не мог понять того, что он говорил; так он, видимо, погружен был в свои мысли. Наконец, когда он понял его, посмотрел по указанию и, узнав Наташу, в ту же секунду, отдаваясь первому впечатлению, быстро направился к карете. Но, пройдя шагов десять, он, видимо, вспомнив что-то, остановился.

Высунувшееся из кареты лицо Наташи сияло насмешливою ласкою.

— Петр Кирилыч, идите же! Ведь мы узнали! Это удивительно! — кричала она, протягивая ему руку. — Как это вы? Зачем вы так?

Пьер взял протянутую руку и на ходу (так как карета продолжала двигаться) неловко поцеловал ее.

— Что с вами, граф? — спросила удивленным и соболезнующим голосом графиня.

— Что? Что? Зачем? Не спрашивайте у меня, — сказал Пьер и оглянулся на Наташу, сияющий, радостный взгляд которой (он чувствовал это, не глядя на нее) обдавал его своей прелестью.

— Что же вы, или в Москве остаетесь? — Пьер помолчал.

— В Москве? — сказал он вопросительно. — Да, в Москве. Прощайте.

— Ах, желала бы я быть мужчиной, я бы непременно осталась с вами. Ах, как это хорошо! — сказала Наташа. — Мама, позвольте, я останусь. — Пьер рассеянно посмотрел на Наташу и что-то хотел сказать, но графиня перебила его:

— Вы были на сражении, мы слышали?

— Да, я был, — отвечал Пьер. — Завтра будет опять сражение... — начал было он, но Наташа перебила его:

— Да что же с вами, граф? Вы на себя не похожи...

— Ах, не спрашивайте, не спрашивайте меня, я ничего сам не знаю. Завтра... Да нет! Прощайте, прощайте, — проговорил он — ужасное время! — И, отстав от кареты, он отошел на тротуар.

Наташа долго еще высовывалась из окна, сияя на него ласковой и немного насмешливой, радостной улыбкой.

XVIII

Пьер, со времени исчезновения своего из дома, уже второй день жил на пустой квартире покойного Баздеева. Вот как это случилось.

Проснувшись на другой день после своего возвращения в Москву и свидания с графом Растопчиным, Пьер долго не мог понять того, где он находился и чего от него хотели. Когда ему, между именами прочих лиц, дожидавшихся его в приемной, доложили, что его дожидается еще француз, привезший письмо от графини Елены Васильевны, на него нашло вдруг то чувство спутанности и безнадежности, которому он способен был поддаваться. Ему вдруг представилось, что все теперь кончено, все смешалось, все разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого, что впереди ничего не будет и что выхода из этого положения нет никакого. Он, неестественно улыбаясь и что-то бормоча, то садился на диван в беспомощной позе, то вставал, подходил к двери и заглядывал в щелку в приемную, то, махая руками, возвращался назад и брался за книгу. Дворецкий в другой раз пришел доложить Пьеру, что француз, привезший от графини письмо, очень желает видеть его хоть на минутку и что приходили от вдовы И. А. Баздеева просить принять книги, так как сама г-жа Баздеева уехала в деревню.

— Ах, да, сейчас, подожди... Или нет... да нет, поди скажи, что сейчас приду, — сказал Пьер дворецкому.

Но как только вышел дворецкий, Пьер взял шляпу, лежавшую на столе, и вышел в заднюю дверь из кабинета. В коридоре никого не было. Пьер прошел во всю длину коридора до лестницы и, морщась и растирая лоб обеими руками, спустился до

первой площадки. Швейцар стоял у парадной двери. С площадки, на которую спустился Пьер, другая лестница вела к заднему ходу. Пьер пошел по ней и вышел во двор. Никто не видал его. Но на улице, как только он вышел в ворота, кучера, стоявшие с экипажами, и дворник увидали барина и сняли перед ним шапки. Почувствовав на себе устремленные взгляды, Пьер поступил, как страус, который прячет голову в куст, с тем чтобы его не видали; он опустил голову и, прибавив шагу, пошел по улице.

Из всех дел, предстоявших Пьеру в это утро, дело разборки книг и бумаг Иосифа Алексеевича показалось ему самым нужным.

Он взял первого попавшегося ему извозчика и велел ему ехать на Патриаршие пруды, где был дом вдовы Баздеева.

Беспрестанно оглядываясь на со всех сторон двигавшиеся обозы выезжавших из Москвы и оправляясь своим тучным телом, чтобы не соскользнуть с дребезжащих старых дрожек, Пьер, испытывая радостное чувство, подобное тому, которое испытывает мальчик, убежавший из школы, разговорился с извозчиком.

Извозчик рассказал ему, что нынешний день разбирают в Кремле оружие, и что на завтрашний народ выгоняют весь на Трехгорную заставу, и что там будет большое сражение.

Приехав на Патриаршие пруды, Пьер отыскал дом Баздеева, в котором он давно не бывал. Он подошел к калитке. Герасим, тот самый желтый безбородый старичок, которого Пьер видел пять лет тому назад в Торжке с Иосифом Алексеевичем, вышел на его стук.

— Дома? — спросил Пьер.

— По обстоятельствам нынешним, Софья Даниловна с детьми уехали в торжковскую деревню, ваше сиятельство.

— Я все-таки войду, мне надо книги разобрать, — сказал Пьер.

— Пожалуйте, милости просим, братец покойника, — царство небесное! — Макар Алексеевич остались, да, как изволите знать, они в слабости, — сказал старый слуга.

Макар Алексеевич был, как знал Пьер, полусумасшедший, пивший запоем брат Иосифа Алексеевича.

— Да, да, знаю. Пойдем, пойдем... — сказал Пьер и вошел в дом. Высокий плешивый старый человек в халате, с красным носом, в калошах на босу ногу, стоял в передней; увидав Пьера, он сердито пробормотал что-то и ушел в коридор.

— Большого ума были, а теперь, как изволите видеть, ослабели, — сказал Герасим. — В кабинет угодно? — Пьер кивнул головой. — Кабинет как был запечатан, так и остался. Софья Даниловна приказывали, ежели от вас придут, то отпустить книги.

Пьер вошел в тот самый мрачный кабинет, в который он еще при жизни благодетеля входил с таким трепетом. Кабинет этот, теперь запыленный и нетронутый со времени кончины Иосифа Алексеевича, был еще мрачнее.

Герасим открыл один ставень и на цыпочках вышел из комнаты. Пьер обошел кабинет, подошел к шкафу, в котором лежали рукописи, и достал одну из важнейших когда-то святынь ордена. Это были подлинные шотландские акты с примечаниями и объяснениями благодетеля. Он сел за письменный запыленный стол и положил перед собой рукописи, раскрывал, закрывал их и, наконец, отодвинув их от себя, облокотившись головой на руки, задумался.

Несколько раз Герасим осторожно заглядывал в кабинет и видел, что Пьер сидел в том же положении. Прошло более двух часов. Герасим позволил себе пошуметь в дверях, чтоб обратить на себя внимание Пьера. Пьер не слышал его.

— Извозчика отпустить прикажете?

— Ах, да, — очнувшись, сказал Пьер, поспешно вставая. — Послушай, — сказал он, взяв Герасима за пуговицу сюртука и сверху вниз блестящими, влажными, восторженными глазами глядя на старичка. — Послушай, ты знаешь, что завтра будет сражение?..

— Сказывали, — отвечал Герасим.

— Я прошу тебя никому не говорить, кто я. И сделай, что я скажу...

— Слушаюсь, — сказал Герасим. — Кушать прикажете?

— Нет, но мне другое нужно. Мне нужно крестьянское платье и пистолет, — сказал Пьер, неожиданно покраснев.

— Слушаю-с, — подумав, сказал Герасим.

Весь остаток этого дня Пьер провел один в кабинете благодетеля, беспокойно шагая из одного угла в другой, как слышал Герасим, и что-то сам с собой разговаривая, и ночевал на приготовленной ему тут же постели.

Герасим с привычкой слуги, видавшего много странных вещей на своем веку, принял переселение Пьера без удивления и, казалось, был доволен тем, что ему было кому услуживать. Он в тот же вечер, не спрашивая даже и самого себя, для чего это было нужно, достал Пьеру кафтан и шапку и обещал на другой день приобрести требуемый пистолет. Макар Алексеевич в этот вечер два раза, шлепая своими калошами, подходил к двери и останавливался, заискивающе глядя на Пьера. Но как только Пьер оборачивался к нему, он стыдливо и сердито запахивал свой халат и поспешно удалялся. В то время как Пьер в кучерском кафтане, приобретенном и выпаренном для него Герасимом, ходил с ним покупать пистолет у Сухаревой башни, он встретил Ростовых.

XIX

1-го сентября в ночь отдан приказ Кутузова об отступлении русских войск через Москву на Рязанскую дорогу.

Первые войска двинулись в ночь. Войска, шедшие ночью, не торопились и двигались медленно и степенно, но на рассвете двигавшиеся войска, подходя к Дорогомиловскому мосту, увидали впереди себя, на другой стороне, теснящиеся, спешащие по мосту и на той стороне поднимающиеся и запружающие улицы и переулки, и позади себя — напирающие, бесконечные массы войск. И беспричинная поспешность и тревога овладели войсками. Все бросилось вперед к мосту, на мост, в броды и в лодки. Кутузов велел обвезти себя задними улицами на ту сторону Москвы.

К десяти часам утра 2-го сентября в Дорогомиловском предместье оставались на просторе одни войска ариергарда. Армия была уже на той стороне Москвы и за Москвою.

В это же время, в десять часов утра 2-го сентября, Наполеон стоял между своими войсками на Поклонной горе и смотрел на открывавшееся перед ним зрелище. Начиная с 26-го августа и по 2-е сентября, от Бородинского сражения и до вступления неприятеля в Москву, во все дни этой тревожной, этой памятной недели стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком, чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые и когда в темных теплых ночах этих с неба беспрестанно, пугая и радуя, сыплются золотые звезды.

2-го сентября в десять часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно с своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звезды, своими куполами в лучах солнца.

При виде странного города с невиданными формами необыкновенной архитектуры Наполеон испытывал то несколько завистливое и беспокойное любопытство, которое испытывают люди при виде форм не знающей о них, чуждой жизни. Очевидно, город этот жил всеми силами своей жизни. По тем неопределимым признакам, по которым на дальнем расстоянии безошибочно узнается живое тело от мертвого, Наполеон с Поклонной горы видел трепетание жизни в городе и чувствовал как бы дыхание этого большого и красивого тела.

— Cette ville asiatique aux innombrables églises, Moscou la sainte. La voilà donc enfin, cette fameuse ville! Il était temps, — сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Moscou и подозвал переводчика Lelorgne d'Ideville. «Une ville occupée par l'ennemi ressemble à une fille qui a perdu son honneur»[1], — думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске). И с этой точки зрения он смотрел на лежавшую перед ним, невиданную еще им восточную красавицу. Ему странно было самому, что, наконец, свершилось его давнишнее, казавшееся ему невозможным желание. В ясном утреннем свете он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его.

«Но разве могло быть иначе? — подумал он. — Вот она, эта столица, у моих ног, ожидая судьбы своей. Где теперь Александр и что думает он? Странный, красивый, величественный город! И странная и величественная эта минута! В каком свете представляюсь я им! — думал он о своих войсках. — Вот она, награда для всех этих маловерных, — думал он, оглядываясь на приближенных и на подходившие и строившиеся войска. — Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта

[1] — Этот азиатский город с бесчисленными церквами, Москва, святая их Москва! Вот он, наконец, этот знаменитый город! Пора! — сказал Наполеон и, слезши с лошади, велел разложить перед собою план этой Москвы и подозвал переводчика Лелорня д'Идевиля. «Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность», — думал он (как он и говорил это Тучкову в Смоленске)».

древняя столица des Czars. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus[1]. Я должен быть великодушен и истинно велик. Но нет, это неправда, что я в Москве, — вдруг приходило ему в голову. — Однако вот она лежит у моих ног, играя и дрожа золотыми куполами и крестами в лучах солнца. Но я пощажу ее. На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия... Александр более всего поймет именно это, я знаю его. (Наполеону казалось, что главное значение того, что совершалось, заключалось в личной борьбе его с Александром.) С высот Кремля, — да, это Кремль, да, — я дам им законы справедливости, я покажу им значение истинной цивилизации, я заставлю поколения бояр с любовью поминать имя своего завоевателя. Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. Бояре — скажу я им: я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных. Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико. Но неужели это правда, что я в Москве? Да, вот она!»

— Qu'on m'amène les boyards[2], — обратился он к свите. Генерал с блестящей свитой тотчас же поскакал за боярами.

Прошло два часа. Наполеон позавтракал и опять стоял на том же месте на Поклонной горе, ожидая депутацию. Речь его к боярам уже ясно сложилась в его воображении. Речь эта была исполнена достоинства и того величия, которое понимал Наполеон.

Тот тон великодушия, в котором намерен был действовать в Москве Наполеон, увлек его самого. Он в воображении своем назначал дни réunion dans le palais des Czars[3] , где должны были сходиться русские вельможи с вельможами французского императора. Он назначал мысленно губернатора, такого, который бы сумел привлечь к себе население. Узнав о том, что в Москве много богоугодных заведений, он в воображении своем решал, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал, что как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И, чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без упоминания о та chère, ma tendre, ma pauvre mère[4], он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: Etablissement dédié à ma chère Mère. Нет, просто: Maison de ma Mère[5] , — решил он сам с собою. «Но неужели я в Москве? Да, вот она передо мной. Но что же так долго не является депутация города?» — думал он.

---

[1] Одно мое слово, одно движение моей руки, и погибла эта древняя столица царей. Но мое милосердие всегда готово снизойти к побежденным.

[2] — Приведите бояр

[3] Он в воображении своем назначал дни собраний (приемов) в чертогах царей

[4] моей милой, нежной, бедной матери — Ред.

[5] Учреждение, посвященное моей милой матери. Дом моей матери

Между тем в залах свиты императора происходило шепотом взволнованное совещание между его генералами и маршалами. Посланные за депутацией вернулись с известием, что Москва пуста, что все уехали и ушли из нее. Лица совещавшихся были бледны и взволнованны. Не то, что Москва была оставлена жителями (как ни важно казалось это событие), пугало их, но их пугало то, каким образом объявить о том императору, каким образом, не ставя его величество в то страшное, называемое французами ridicule[1], положение, объявить ему, что он напрасно ждал бояр так долго, что есть толпы пьяных, но никого больше. Одни говорили, что надо было во что бы то ни стало собрать хоть какую-нибудь депутацию, другие оспаривали это мнение и утверждали, что надо, осторожно и умно приготовив императора, объявить ему правду.

— Il faudra le lui dire tout de même... — говорили господа свиты. — Mais, messieurs...[2] — положение было тем тяжеле, что император, обдумывая свои планы великодушия, терпеливо ходил взад и вперед перед планом, посматривая изредка из-под руки по дороге в Москву и весело и гордо улыбаясь.

— Mais c'est impossible...[3] — пожимая плечами, говорили господа свиты, не решаясь выговорить подразумеваемое страшное слово: le ridicule[4]...

Между тем император, уставший от тщетного ожидания и своим актерским чутьем чувствуя, что величественная минута, продолжаясь слишком долго, начинает терять свою величественность, подал рукою знак. Раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска, с разных сторон обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Быстрее и быстрее, перегоняя одни других, беглым шагом и рысью, двигались войска, скрываясь в поднимаемых ими облаках пыли и оглашая воздух сливающимися гулами криков.

Увлеченный движением войск, Наполеон доехал с войсками до Дорогомиловской заставы, но там опять остановился и, слезши с лошади, долго ходил у Камерколлежского вала, ожидая депутации.

XX

Москва между тем была пуста. В ней были еще люди, в ней оставалась еще пятидесятая часть всех бывших прежде жителей, но она была пуста. Она была пуста, как пуст бывает домирающий, обезматочивший улей.

В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие.

Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издалека пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни. Не так, как в живых ульях, летают пчелы,

---

[1] сметным — Ред.

[2] — Нужно будет всё-таки сказать ему это... — говорили господа свиты. — Но, господа...

[3] Но неловко... невозможно...

[4] «смешное положение»

не тот запах, не тот звук поражают пчеловода. На стук пчеловода в стенку больного улья вместо прежнего, мгновенного, дружного ответа, шипенья десятков тысяч пчел, грозно поджимающих зад и быстрым боем крыльев производящих этот воздушный жизненный звук, — ему отвечают разрозненные жужжания, гулко раздающиеся в разных местах пустого улья. Из летка не пахнет, как прежде, спиртовым, душистым запахом меда и яда, не несет оттуда теплом полноты, а с запахом меда сливается запах пустоты и гнили. У летка нет больше готовящихся на погибель для защиты, поднявших кверху зады, трубящих тревогу стражей. Нет больше того ровного и тихого звука, трепетанья труда, подобного звуку кипенья, а слышится нескладный разрозненный шум беспорядка. В улей и из улья робко и увертливо влетают и вылетают черные продолговатые, смазанные медом пчелы-грабительницы; они не жалят, а ускользают от опасности. Прежде только с ношами влетали, а вылетали пустые пчелы, теперь вылетают с ношами. Пчеловод открывает нижнюю колодезню и вглядывается в нижнюю часть улья. Вместо прежде висевших до уза (нижнего дна) черных, усмиренных трудом плетей сочных пчел, держащих за ноги друг друга и с непрерывным шепотом труда тянущих вощину, — сонные, ссохшиеся пчелы в разные стороны бредут рассеянно по дну и стенкам улья. Вместо чисто залепленного клеем и сметенного веерами крыльев пола на дне лежат крошки вощин, испражнения пчел, полумертвые, чуть шевелящие ножками и совершенно мертвые, неприбранные пчелы.

Пчеловод открывает верхнюю колодезню и осматривает голову улья. Вместо сплошных рядов пчел, облепивших все промежутки сотов и греющих детву, он видит искусную, сложную работу сотов, но уже не в том виде девственности, в котором она бывала прежде. Все запущено и загажено. Грабительницы — черные пчелы — шныряют быстро и украдисто по работам; свои пчелы, ссохшиеся, короткие, вялые, как будто старые, медленно бродят, никому не мешая, ничего не желая и потеряв сознание жизни. Трутни, шершни, шмели, бабочки бестолково стучатся на лету о стенки улья. Кое-где между вощинами с мертвыми детьми и медом изредка слышится с разных сторон сердитое брюзжание; где-нибудь две пчелы, по старой привычке и памяти очищая гнездо улья, старательно, сверх сил, тащат прочь мертвую пчелу или шмеля, сами не зная, для чего они это делают. В другом углу другие две старые пчелы лениво дерутся или чистятся, или кормят одна другую, сами не зная, враждебно или дружелюбно они это делают. В третьем месте толпа пчел, давя друг друга, нападает на какую-нибудь жертву и бьет и душит ее. И ослабевшая или убитая пчела медленно, легко, как пух, спадает сверху в кучу трупов. Пчеловод разворачивает две средние вощины, чтобы видеть гнездо. Вместо прежних сплошных черных кругов спинка с спинкой сидящих тысяч пчел и блюдущих высшие тайны родного дела, он видит сотни унылых, полуживых и заснувших остовов пчел. Они почти все умерли, сами не зная этого, сидя на святыне, которую они блюли и которой уже нет больше. От них пахнет гнилью и смертью. Только некоторые из них шевелятся, поднимаются, вяло летят и садятся на руку врагу, не в силах умереть, жаля его, — остальные, мертвые, как рыбья чешуя, легко сыплются вниз. Пчеловод закрывает колодезню, отмечает мелом колодку и, выбрав время, выламывает и выжигает ее.

Так пуста была Москва, когда Наполеон, усталый, беспокойный и нахмуренный, ходил взад и вперед у Камерколлежского вала, ожидая того хотя внешнего, но необходимого, по его понятиям, соблюдения приличий, — депутации.

В разных углах Москвы только бессмысленно еще шевелились люди, соблюдая старые привычки и не понимая того, что они делали.

Когда Наполеону с должной осторожностью было объявлено, что Москва пуста, он сердито взглянул на доносившего об этом и, отвернувшись, продолжал ходить молча.

— Подать экипаж, — сказал он. Он сел в карету рядом с дежурным адъютантом и поехал в предместье.

— «Moscou déserte. Quel événement invraisemblable!»[1] — говорил он сам с собой.

Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья.

Le coup de théâtre avait raté[2].

XXI

Русские войска проходили через Москву с двух часов ночи и до двух часов дня и увлекали за собой последних уезжавших жителей и раненых.

Самая большая давка во время движения войск происходила на мостах Каменном, Москворецком и Яузском.

В то время как, раздвоившись вокруг Кремля, войска сперлись на Москворецком и Каменном мостах, огромное число солдат, пользуясь остановкой и теснотой, возвращались назад от мостов и украдчиво и молчаливо прошныривали мимо Василия Блаженного и под Боровицкие ворота назад в гору, к Красной площади, на которой по какому-то чутью они чувствовали, что можно брать без труда чужое. Такая же толпа людей, как на дешевых товарах, наполняла Гостиный двор во всех его ходах и переходах. Но не было ласково-приторных, заманивающих голосов гостинодворцев, не было разносчиков и пестрой женской толпы покупателей — одни были мундиры и шинели солдат без ружей, молчаливо с ношами выходивших и без ноши входивших в ряды. Купцы и сидельцы (их было мало), как потерянные, ходили между солдатами, отпирали и запирали свои лавки и сами с молодцами куда-то выносили свои товары. На площади у Гостиного двора стояли барабанщики и били сбор. Но звук барабана заставлял солдат-грабителей не, как прежде, сбегаться на зов, а, напротив, заставлял их отбегать дальше от барабана. Между солдатами, по лавкам и проходам, виднелись люди в серых кафтанах и с бритыми головами. Два офицера, один в шарфе по мундиру, на худой темно-серой лошади, другой в шинели, пешком, стояли у угла Ильинки и о чем-то говорили. Третий офицер подскакал к ним.

— Генерал приказал во что бы то ни стало сейчас выгнать всех. Что ж, это ни на что не похоже! Половина людей разбежалась.

---

[1] «Москва пуста. Какое невероятное событие!»

[2] Эффектная сцена не удалась

— Ты куда?.. Вы куда?.. — крикнул он на трех пехотных солдат, которые, без ружей, подобрав полы шинелей, проскользнули мимо него в ряды. — Стой, канальи!

— Да, вот извольте их собрать! — отвечал другой офицер. — Их не соберешь; надо идти скорее, чтобы последние не ушли, вот и всё.

— Как же идти? там стали, сперлися на мосту и не двигаются. Или цепь поставить, чтобы последние не разбежались?

— Да подите же туда! Гони ж их вон! — крикнул старший офицер.

Офицер в шарфе слез с лошади, кликнул барабанщика и вошел с ним вместе под арки. Несколько солдат бросилось бежать толпой. Купец, с красными прыщами по щекам около носа, с покойно-непоколебимым выражением расчета на сытом лице, поспешно и щеголевато, размахивая руками, подошел к офицеру.

— Ваше благородие, — сказал он, — сделайте милость, защитите. Нам не расчет пустяк какой ни на есть, мы с нашим удовольствием! Пожалуйте, сукна сейчас вынесу, для благородного человека хоть два куска, с нашим удовольствием! Потому что мы чувствуем, а это что ж, один разбой! Пожалуйте! Караул, что ли, бы приставили, хоть запереть дали бы...

Несколько купцов столпилось около офицера.

— Э! попусту брехать-то! — сказал один из них, худощавый, с строгим лицом. — Снявши голову, по волосам не плачут. Бери что кому любо! — И он энергическим жестом махнул рукой и боком повернулся к офицеру.

— Тебе, Иван Сидорыч, хорошо говорить, — сердито заговорил первый купец. — Вы пожалуйте, ваше благородие.

— Что говорить! — крикнул худощавый. — У меня тут в трех лавках на сто тысяч товару. Разве убережешь, когда войско ушло. Эх, народ, Божью власть не руками скласть!

— Пожалуйте, ваше благородие! — говорил первый купец, кланяясь. Офицер стоял в недоумении, и на лице его видна была нерешительность.

— Да мне что за дело! — крикнул он вдруг и пошел быстрыми шагами вперед по ряду. В одной отпертой лавке слышались удары и ругательства, и в то время как офицер подходил к ней, из двери выскочил вытолкнутый человек в сером армяке и с бритой головой.

Человек этот, согнувшись, проскочил мимо купцов и офицера. Офицер напустился на солдат, бывших в лавке. Но в это время страшные крики огромной толпы послышались на Москворецком мосту, и офицер выбежал на площадь.

— Что такое? Что такое? — спрашивал он, но товарищ его уже скакал по направлению к крикам, мимо Василия Блаженного. Офицер сел верхом и поехал за ним. Когда он подъехал к мосту, он увидал снятые с передков две пушки, пехоту, идущую по мосту, несколько поваленных телег, несколько испуганных лиц и смеющиеся лица солдат. Подле пушек стояла одна повозка, запряженная парой. За повозкой сзади колес жались четыре борзые собаки в ошейниках. На повозке была гора вещей, и на самом верху, рядом с детским, кверху ножками перевернутым стульчиком сидела баба, пронзительно и отчаянно визжавшая. Товарищи

рассказывали офицеру, что крик толпы и визги бабы произошли оттого, что наехавший на эту толпу генерал Ермолов, узнав, что солдаты разбредаются по лавкам, а толпы жителей запружают мост, приказал снять орудия с передков и сделать пример, что он будет стрелять по мосту. Толпа, валя повозки, давя друг друга, отчаянно кричала, теснясь, расчистила мост, и войска двинулись вперед.

XXII

В самом городе между тем было пусто. По улицам никого почти не было. Ворота и лавки все были заперты; кое-где около кабаков слышались одинокие крики или пьяное пенье. Никто не ездил по улицам, и редко слышались шаги пешеходов. На Поварской было совершенно тихо и пустынно. На огромном дворе дома Ростовых валялись объедки сена, помет съехавшего обоза и не было видно ни одного человека. В оставшемся со всем своим добром доме Ростовых два человека были в большой гостиной. Это были дворник Игнат и казачок Мишка, внук Васильича, оставшийся в Москве с дедом. Мишка, открыв клавикорды, играл на них одним пальцем. Дворник, подбоченившись и радостно улыбаясь, стоял пред большим зеркалом.

— Вот ловко-то! А? Дядюшка Игнат! — говорил мальчик, вдруг начиная хлопать обеими руками по клавишам.

— Ишь ты! — отвечал Игнат, дивуясь на то, как все более и более улыбалось его лицо в зеркале.

— Бессовестные! Право, бессовестные! — заговорил сзади их голос тихо вошедшей Мавры Кузминишны. — Эка, толсторожий, зубы-то скалит. На это вас взять! Там все не прибрано, Васильич с ног сбился. Дай срок!

Игнат, поправляя поясок, перестав улыбаться и покорно опустив глаза, пошел вон из комнаты.

— Тетенька, я полегоньку, — сказал мальчик.

— Я те дам полегоньку. Постреленок! — крикнула Мавра Кузминишна, замахиваясь на него рукой. — Иди деду самовар ставь.

Мавра Кузминишна, смахнув пыль, закрыла клавикорды и, тяжело вздохнув, вышла из гостиной и заперла входную дверь.

Выйдя во двор, Мавра Кузминишна задумалась о том, куда ей идти теперь: пить ли чай к Васильичу во флигель или в кладовую прибрать то, что еще не было прибрано?

В тихой улице послышались быстрые шаги. Шаги остановились у калитки; щеколда стала стучать под рукой, старавшейся отпереть ее.

Мавра Кузминишна подошла к калитке.

— Кого надо?

— Графа, графа Илью Андреича Ростова.

— Да вы кто?

— Я офицер. Мне бы видеть нужно, — сказал русский приятный и барский голос.

Мавра Кузминишна отперла калитку. И на двор вошел лет восемнадцати круглолицый офицер, типом лица похожий на Ростовых.

— Уехали, батюшка. Вчерашнего числа в вечерни изволили уехать, — ласково сказала Мавра Кузминишна.

Молодой офицер, стоя в калитке, как бы в нерешительности войти или не войти ему, пощелкал языком.

— Ах, какая досада! — проговорил он. — Мне бы вчера... Ах, как жалко!..

Мавра Кузминишна между тем внимательно и сочувственно разглядывала знакомые ей черты ростовской породы в лице молодого человека, и изорванную шинель, и стоптанные сапоги, которые были на нем.

— Вам зачем же графа надо было? — спросила она.

— Да уж... что делать! — с досадой проговорил офицер и взялся за калитку, как бы намереваясь уйти. Он опять остановился в нерешительности.

— Видите ли? — вдруг сказал он. — Я родственник графу, и он всегда очень добр был ко мне. Так вот, видите ли (он с доброй и веселой улыбкой посмотрел на свой плащ и сапоги), и обносился, и денег ничего нет; так я хотел попросить графа...

Мавра Кузминишна не дала договорить ему.

— Вы минуточку бы повременили, батюшка. Одною минуточку, — сказала она. И как только офицер отпустил руку от калитки, Мавра Кузминишна повернулась и быстрым старушечьим шагом пошла на задний двор к своему флигелю.

В то время как Мавра Кузминишна бегала к себе, офицер, опустив голову и глядя на свои прорванные сапоги, слегка улыбаясь, прохаживался по двору. «Как жалко, что я не застал дядюшку. А славная старушка! Куда она побежала? И как бы мне узнать, какими улицами мне ближе догнать полк, который теперь должен подходить к Рогожской?» — думал в это время молодой офицер. Мавра Кузминишна с испуганным и вместе решительным лицом, неся в руках свернутый клетчатый платочек, вышла из-за угла. Не доходя несколько шагов, она, развернув платок, вынула из него белую двадцатипятирублевую ассигнацию и поспешно отдала ее офицеру.

— Были бы их сиятельство дома, известно, они бы, точно, по-родственному, а вот, может... теперича... — Мавра Кузьминишна заробела и смешалась. Но офицер, не отказываясь и не торопясь, взял бумажку и поблагодарил Мавру Кузминишну. — Как бы граф дома были, — извиняясь, все говорила Мавра Кузминишна. — Христос с вами, батюшка! Спаси вас Бог, — говорила Мавра Кузминишна, кланяясь и провожая его Офицер, как бы смеясь над собою, улыбаясь и покачивал головой, почти рысью побежал по пустым улицам догонять свой полк к Яузскому мосту.

А Мавра Кузминишна еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенной калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицерику.

XXIII

В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую-то песню. Они пели врозь, с трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие, поджатые, беспрестанно двигающиеся губы и мутные и нахмуренные, неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо, воображая себе что-то, торжественно и угловато размахивал над их головами засученной по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что-то было особенно важное в том, чтобы эта белая жилистая махавшая рука была непременно голая. В середине песни в сенях и на крыльце послышались крики драки и удары. Высокий малый махнул рукой.

— Шабаш! — крикнул он повелительно. — Драка, ребята! — И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо.

Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством высокого малого, принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка.

Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую.

Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника.

Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал:

— Ребята! наших бьют!

В это время первый кузнец поднялся с земли и, расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом:

— Караул! Убили!.. Человека убили! Братцы!..

— Ой, батюшки, убили до смерти, убили человека! — завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца.

— Мало ты народ-то грабил, рубахи снимал, — сказал чей-то голос, обращаясь к целовальнику, — что ж ты человека убил? Разбойник!

Высокий малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться.

— Душегуб! — вдруг крикнул он на целовальника. — Вяжи его, ребята!

— Как же, связал одного такого-то! — крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое-то таинственно угрожающее значение, фабричные, обступившие целовальника, остановились в нерешительности.

— Порядок-то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать-то нонче никому не велят! — прокричал целовальник, поднимая шапку.

— И пойдем, ишь ты! И пойдем... ишь ты! — повторяли друг за другом целовальник и высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричные и посторонний народ с говором и криком шли за ними.

У угла Маросейки, против большого, с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых, истомленных людей в халатах и оборванных чуйках.

— Он народ разочти как следует! — говорил худой мастеровой с жидкой бородкой и нахмуренными бровями. — А что ж, он нашу кровь сосал — да и квит. Он нас водил, водил — всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал.

Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе.

— Куда идет народ-то?

— Известно куда, к начальству идет.

— Что ж, али взаправду наша не взяла сила?

— А ты думал как! Гляди-ко, что народ говорит.

Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку.

Высокий малый, не замечая исчезновения своего врага-целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него-то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов.

— Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено! Так ли я говорю, православные? — говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь.

— Он думает, и начальства нет? Разве без начальства можно? А то грабить-то мало ли их.

— Что пустое говорить! — отзывалось в толпе. — Как же, так и бросят Москву-то! Тебе на смех сказали, а ты и поверил. Мало ли войсков наших идет. Так его и пустили! На то начальство. Вон послушай, что народ-то бает, — говорили, указывая на высокого малого.

У стены Китай-города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу.

— Указ, указ читают! Указ читают! — послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу.

Человек в фризовой шинели читал афишку от 31-го августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требование высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала.

«Я завтра рано еду к светлейшему князю, — читал он (светлеющему! — торжественно, улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый), — чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев; станем и мы из них дух... — продолжал чтец и остановился („Видал? — победоносно прокричал малый. — Он тебе всю дистанцию развяжет...“)... — искоренять и этих гостей к черту отправлять; я приеду назад к обеду, и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем».

Последние слова были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова: «я приеду завтра к обеду», видимо, даже огорчили и чтеца и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и ненужно понятно; это было то самое, что каждый из них мог бы сказать и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти.

Все стояли в унылом молчании. Высокий малый водил губами и пошатывался.

— У него спросить бы!.. Это сам и есть?.. Как же, успросил!.. А то что ж... Он укажет... — вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицеймейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами.

Полицеймейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться.

— Что за народ? — крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. — Что за народ? Я вас спрашиваю? — повторил полицеймейстер, не получавший ответа.

— Они, ваше благородие, — сказал приказный во фризовой шинели, — они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа...

— Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, — сказал полицеймейстер. — Пошел! — сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказало начальство, и глядя на отъезжающие дрожки.

Полицеймейстер в это время испуганно оглянулся, что-то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее.

— Обман, ребята! Веди к самому! — крикнул голос высокого малого. — Не пущай, ребята! Пущай отчет подаст! Держи! — закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками.

Толпа за полицеймейстером с шумным говором направилась на Лубянку.

— Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль! — слышалось чаще в толпе.

XXIV

Вечером 1-го сентября, после своего свидания с Кутузовым, граф Растопчин, огорченный и оскорбленный тем, что его не пригласили на военный совет, что Кутузов не обращал никакого внимания на его предложение принять участие в защите столицы, и удивленный новым открывшимся ему в лагере взглядом, при котором вопрос о спокойствии столицы и о патриотическом ее настроении оказывался не только второстепенным, но совершенно ненужным и ничтожным, — огорченный, оскорбленный и удивленный всем этим, граф Растопчин вернулся в Москву. Поужинав, граф, не раздеваясь, прилег на канапе и в первом часу был разбужен курьером, который привез ему письмо от Кутузова. В письме говорилось, что так как войска отступают на Рязанскую дорогу за Москву, то не угодно ли графу выслать полицейских чиновников для проведения войск через город. Известие это не было новостью для Растопчина. Не только со вчерашнего свиданья с Кутузовым на Поклонной горе, но и с самого Бородинского сражения, когда все приезжавшие в Москву генералы в один голос говорили, что нельзя дать еще сражения, и когда с разрешения графа каждую ночь уже вывозили казенное имущество и жители до половины повыехали, — граф Растопчин знал, что Москва будет оставлена; но тем не менее известие это, сообщенное в форме простой записки с приказанием от Кутузова и полученное ночью, во время первого сна, удивило и раздражило графа.

Впоследствии, объясняя свою деятельность за это время, граф Растопчин в своих записках несколько раз писал, что у него тогда было две важные цели: De maintenir la tranquillité à Moscou et d'en faire partir les habitants[1]. Если допустить эту двоякую цель, всякое действие Растопчина оказывается безукоризненным. Для чего не вывезена московская святыня, оружие, патроны, порох, запасы хлеба, для чего тысячи жителей обмануты тем, что Москву не сдадут, и разорены? — Для того, чтобы соблюсти спокойствие в столице, отвечает объяснение графа Растопчина. Для чего вывозились кипы ненужных бумаг из присутственных мест и шар Леппиха и другие предметы? — Для того, чтобы оставить город пустым, отвечает объяснение графа Растопчина. Стоит только допустить, что что-нибудь угрожало народному спокойствию, и всякое действие становится оправданным.

Все ужасы террора основывались только на заботе о народном спокойствии.

На чем же основывался страх графа Растопчина о народном спокойствии в Москве в 1812 году? Какая причина была предполагать в городе склонность к возмущению? Жители уезжали, войска, отступая, наполняли Москву. Почему должен был вследствие этого бунтовать народ?

Не только в Москве, но во всей России при вступлении неприятеля не произошло ничего похожего на возмущение. 1-го, 2-го сентября более десяти тысяч людей оставалось в Москве, и, кроме толпы, собравшейся на дворе главнокомандующего и привлеченной им самим, — ничего не было. Очевидно, что еще менее надо было ожидать волнения в народе, ежели бы после Бородинского

[1] Поддерживать спокойствие в Москве и заставить жителей покинуть её

сражения, когда оставление Москвы стало очевидно, или по крайней мере вероятно, — ежели бы тогда вместо того, чтобы волновать народ раздачей оружия и афишами, Растопчин принял меры к вывозу всей святыни, пороху, зарядов и денег и прямо объявил бы народу, что город оставляется.

Растопчин, пылкий сангивинический человек, всегда вращавшийся в высших кругах администрации, хотя и с патриотическим чувством, не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять. С самого начала вступления неприятеля в Смоленск Растопчин в воображении своем составил для себя роль руководителя народного чувства — сердца России. Ему не только казалось (как это кажется каждому администратору), что он управлял внешними действиями жителей Москвы, но ему казалось, что он руководил их настроением посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ёрническим языком, который в своей среде презирает народ и которого он не понимает, когда слышит его сверху. Красивая роль руководителя народного чувства так понравилась Растопчину, он так сжился к нею, что необходимость выйти из этой роли, необходимость оставления Москвы без всякого героическою эффекта застала его врасплох, и он вдруг потерял из-под ног почву, на которой стоял, и решительно не знал, что ему делать. Он хотя и знал, но не верил всею душою до последней минуты в оставление Москвы и ничего не делал с этой целью. Жители выезжали против его желания. Ежели вывозили присутственные места, то только по требованию чиновников, с которыми неохотно соглашался граф. Сам же он был занят только тою ролью, которую он для себя сделал. Как это часто бывает с людьми, одаренными пылким воображением, он знал уже давно, что Москву оставят, но знал только по рассуждению, но всей душой не верил в это, не перенесся воображением в это новое положение.

Вся деятельность его, старательная и энергическая (насколько она была полезна и отражалась на народ — это другой вопрос), вся деятельность его была направлена только на то, чтобы возбудить в жителях то чувство, которое он сам испытывал, — патриотическую ненависть к французам и уверенность в себе.

Но когда событие принимало свои настоящие, исторические размеры, когда оказалось недостаточным только словами выражать свою ненависть к французам, когда нельзя было даже сражением выразить эту ненависть, когда уверенность в себе оказалась бесполезною по отношению к одному вопросу Москвы, когда все население, как один человек, бросая свои имущества, потекло вон из Москвы, показывая этим отрицательным действием всю силу своего народного чувства, — тогда роль, выбранная Растопчиным, оказалась вдруг бессмысленной. Он почувствовал себя вдруг одиноким, слабым и смешным, без почвы под ногами.

Получив, пробужденный от сна, холодную и повелительную записку от Кутузова, Растопчин почувствовал себя тем более раздраженным, чем более он чувствовал себя виновным. В Москве оставалось все то, что именно было поручено ему, все то казенное, что ему должно было вывезти. Вывезти все не было возможности.

«Кто же виноват в этом, кто допустил до этого? — думал он. — Разумеется, не я. У меня все было готово, я держал Москву вот как! И вот до чего они довели дело! Мерзавцы, изменники!» — думал он, не определяя хорошенько того, кто были эти мерзавцы и изменники, но чувствуя необходимость ненавидеть этих кого-то изменников, которые были виноваты в том фальшивом и смешном положении, в котором он находился.

Всю эту ночь граф Растопчин отдавал приказания, за которыми со всех сторон Москвы приезжали к нему. Приближенные никогда не видали графа столь мрачным и раздраженным.

«Ваше сиятельство, из вотчинного департамента пришли, от директора за приказаниями... Из консистории, из сената, из университета, из воспитательного дома, викарный прислал... спрашивает... О пожарной команде как прикажете? Из острога смотритель... из желтого дома смотритель...» — всю ночь, не переставая, докладывали графу.

На все эти вопросы граф давал короткие и сердитые ответы, показывавшие, что приказания его теперь не нужны, что все старательно подготовленное им дело теперь испорчено кем-то и что этот кто-то будет нести всю ответственность за все то, что произойдет теперь.

— Ну, скажи ты этому болвану, — отвечал он на запрос вотчинного департамента, — чтоб он оставался караулить свои бумаги. Ну что ты спрашиваешь вздор о пожарной команде? Есть лошади — пускай едут во Владимир. Не французам оставлять.

— Ваше сиятельство, приехал надзиратель из сумасшедшего дома, как прикажете?

— Как прикажу? Пускай едут все, вот и все... А сумасшедших выпустить в городе. Когда у нас сумасшедшие армиями командуют, так этим и Бог велел.

На вопрос о колодниках, которые сидели в яме, граф сердито крикнул на смотрителя:

— Что ж, тебе два батальона конвоя дать, которого нет? Пустить их, и все!

— Ваше сиятельство, есть политические: Мешков, Верещагин.

— Верещагин! Он еще не повешен? — крикнул Растопчин. — Привести его ко мне.

XXV

К девяти часам утра, когда войска уже двинулись через Москву, никто больше не приходил спрашивать распоряжений графа. Все, кто мог ехать, ехали сами собой; те, кто оставались, решали сами с собой, что им надо было делать.

Граф велел подавать лошадей, чтобы ехать в Сокольники, и, нахмуренный, желтый и молчаливый, сложив руки, сидел в своем кабинете.

Каждому администратору в спокойное, не бурное время кажется, что только его усилиями движется все ему подведомственное народонаселение, и в этом сознании своей необходимости каждый администратор чувствует главную награду за

свои труды и усилия. Понятно, что до тех пор, пока историческое море спокойно, правителю-администратору, с своей утлой лодочкой упирающемуся шестом в корабль народа и самому двигающемуся, должно казаться, что его усилиями двигается корабль, в который он упирается. Но стоит подняться буре, взволноваться морю и двинуться самому кораблю, и тогда уж заблуждение невозможно. Корабль идет своим громадным, независимым ходом, шест не достает до двинувшегося корабля, и правитель вдруг из положения властителя, источника силы, переходит в ничтожного, бесполезного и слабого человека.

Растопчин чувствовал это, и это-то раздражало его.

Полицеймейстер, которого остановила толпа, вместе с адъютантом, который пришел доложить, что лошади готовы, вошли к графу. Оба были бледны, и полицеймейстер, передав об исполнении своего поручения, сообщил, что на дворе графа стояла огромная толпа народа, желавшая его видеть.

Растопчин, ни слова не отвечая, встал и быстрыми шагами направился в свою роскошную светлую гостиную, подошел к двери балкона, взялся за ручку, оставил ее и перешел к окну, из которого виднее была вся толпа. Высокий малый стоял в передних рядах и с строгим лицом, размахивая рукой, говорил что-то. Окровавленный кузнец с мрачным видом стоял подле него. Сквозь закрытые окна слышен был гул голосов.

— Готов экипаж? — сказал Растопчин, отходя от окна.

— Готов, ваше сиятельство, — сказал адъютант.

Растопчин опять подошел к двери балкона.

— Да чего они хотят? — спросил он у полицеймейстера.

— Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что-то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить...

— Извольте идти, я без вас знаю, что делать, — сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» — думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого-то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voilà la populace, la lie du peuple, — думал он, глядя на толпу, — la plèbe qu'ils ont soulevée par leur sottise. Il leur faut une victime»[1], — пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева.

— Готов экипаж? — в другой раз спросил он.

— Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, — отвечал адъютант.

— А! — вскрикнул Растопчин, как пораженный каким-то неожиданным воспоминанием.

[1] «Вот она, чернь, подонки народа, — думал он, глядя на толпу, — плебеи, которые они подняли на ноги своей глупостью. Им нужна жертва

И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу.

— Здравствуйте, ребята! — сказал граф быстро и громко. — Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! — И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью.

По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз... он тебе всю дистанцию развяжет!» — говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии.

Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что-то и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно-быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого-то.

— Где он? — сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидел из-за угла дома выходившего между двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда-то щегольской, крытый сипим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищенные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека.

— А! — сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. — Поставьте его сюда! — Молодой человек, бренча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки.

Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног.

Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо.

— Ребята! — сказал Растопчин металлически-звонким голосом, — этот человек, Верещагин — тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

Молодой человек в лисьем тулупчике стоял в покорной позе, сложив кисти рук вместе перед животом и немного согнувшись. Исхудалое, с безнадежным выражением, изуродованное бритою головой молодое лицо его было опущено вниз. При первых словах графа он медленно поднял голову и поглядел снизу на графа, как бы желая что-то сказать ему или хоть встретить его взгляд. Но Растопчин не смотрел на него. На длинной топкой шее молодого человека, как веревка, напружилась и посинела жила за ухом, и вдруг покраснело лицо.

«Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин на дворе губернаторского дома в Москве»
(Акварель профессора А.Д. Кившенко)

Все глаза были устремлены на него. Он посмотрел на толпу, и, как бы обнадеженный тем выражением, которое он прочел на лицах людей, он печально и робко улыбнулся и, опять опустив голову, поправился, ногами на ступеньке.

— Он изменил своему царю и отечеству, он передался Бонапарту, он один из всех русских осрамил имя русского, и от него погибает Москва, — говорил Растопчин ровным, резким голосом; но вдруг быстро взглянул вниз на Верещагина, продолжавшего стоять в той же покорной позе. Как будто взгляд этот взорвал его, он, подняв руку, закричал почти, обращаясь к народу; — Своим судом расправляйтесь с ним! отдаю его вам!

Народ молчал и только все теснее и теснее нажинал друг на друга. Держать друг друга, дышать в этой зараженной духоте, не иметь силы пошевелиться и ждать чего-то неизвестного и страшного становилось невыносимо. Люди, стоявшие в передних рядах, видевшие и слышавшие все то, что происходило перед ними, все с испуганно-широко раскрытыми глазами и разинутыми ртами, напрягая все свои силы, удерживали на своих спинах напор задних.

— Бей его! Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин. — Руби! Я приказываю! — Услыхав не слова, но гневные звуки голоса Растопчина, толпа застонала и надвинулась, но опять остановилась.

— Граф!.. — проговорил среди опять наступившей минутной тишины робкий и вместе театральный голос Верещагина. — Граф, один Бог над нами... — сказал Верещагин, подняв голову, и опять налилась кровью толстая жила на его тонкой шее, и краска быстро выступила и сбежала с его лица. Он не договорил того, что хотел сказать.

— Руби его! Я приказываю!.. — прокричал Растопчин, вдруг побледнев так же, как Верещагин.

— Сабли вон! — крикнул офицер драгунам, сам вынимая саблю.

Другая еще сильнейшая волна взмыла по народу, и, добежав до передних рядов, волна эта сдвинула передних и, шатая, поднесла к самым ступеням крыльца.

Высокий малый, с окаменелым выражением лица и с остановившейся поднятой рукой, стоял рядом с Верещагиным.

— Руби! — прошептал почти офицер драгунам, и один из солдат вдруг с исказившимся злобой лицом ударил Верещагина тупым палашом по голове.

«А!» — коротко и удивленно вскрикнул Верещагин, испуганно оглядываясь и как будто не понимая, зачем это было с ним сделано. Такой же стон удивления и ужаса пробежал по толпе.

«О Господи!» — послышалось чье-то печальное восклицание.

Но вслед за восклицанием удивления, вырвавшимся у Верещагина, он жалобно вскрикнул от боли, и этот крик погубил его. Та натянутая до высшей степени преграда человеческого чувства, которая держала еще толпу, прорвалась мгновенно. Преступление было начато, необходимо было довершить его. Жалобный стон упрека был заглушен грозным и гневным ревом толпы. Как последний седьмой вал, разбивающий корабли, взмыла из задних рядов эта последняя неудержимая волна, донеслась до передних, сбила их и проглотила все. Ударивший драгун хотел повторить свой удар. Верещагин с криком ужаса, заслонясь руками, бросился к народу. Высокий малый, на которого он наткнулся, вцепился руками в тонкую шею Верещагина и с диким криком, с ним вместе, упал под ноги навалившегося ревущего народа.

Одни били и рвали Верещагина, другие высокого малого. И крики задавленных людей и тех, которые старались спасти высокого малого, только возбуждали ярость толпы. Долго драгуны не могли освободить окровавленного, до полусмерти избитого фабричного. И долго, несмотря на всю горячечную поспешность, с которою толпа старалась довершить раз начатое дело, те люди, которые били, душили и рвали Верещагина, не могли убить его; но толпа давила их со всех сторон, с ними в середине, как одна масса, колыхалась из стороны в сторону и не давала им возможности ни добить, ни бросить его...

«Топором-то бей, что ли?.. задавили... Изменщик, Христа продал!.. жив... живущ... по делам вору мука. Запором-то!.. Али жив?»

Только когда уже перестала бороться жертва и вскрики ее заменились равномерным протяжным хрипеньем толпа стала торопливо перемещаться около лежащего, окровавленного трупа. Каждый подходил, взглядывал на то, что было сделано, и с ужасом, упреком и удивлением теснился назад.

«О Господи, народ-то что зверь, где же живому быть! — слышалось в толпе. — И малый-то молодой... должно, из купцов, то-то народ!.. сказывают, не тот... как же не тот... О Господи! Другого избили, говорят, чуть жив... Эх, народ... Кто греха не боится...» — говорили теперь те же люди, с болезненно-жалостным выражением глядя на мертвое тело с посиневшим, измазанным кровью и пылью лицом и с разрубленной длинной тонкой шеей.

Полицейский старательный чиновник, найдя неприличным присутствие трупа на дворе его сиятельства, приказал драгунам вытащить тело на улицу. Два драгуна взялись за изуродованные ноги и поволокли тело. Окровавленная, измазанная в пыли, мертвая бритая голова на длинной шее, подворачивалась, волочилась по земле. Народ жался прочь от трупа.

В то время как Верещагин упал и толпа с диким ревом стеснилась и заколыхалась над ним, Растопчин вдруг побледнел, и вместо того чтобы идти к заднему крыльцу, у которого ждали его лошади, он, сам не зная куда и зачем, опустив голову, быстрыми шагами пошел по коридору, ведущему в комнаты нижнего этажа. Лицо графа было бледно, и он не мог остановить трясущуюся, как в лихорадке, нижнюю челюсть.

— Ваше сиятельство, сюда... как изволите?.. сюда пожалуйте, — проговорил сзади его дрожащий, испуганный голос. Граф Растопчин не в силах был ничего отвечать и, послушно повернувшись, пошел туда, куда ему указывали. У заднего крыльца стояла коляска. Далекий гул ревущей толпы слышался и здесь. Граф Растопчин торопливо сел в коляску и велел ехать в свой загородный дом в Сокольниках. Выехав на Мясницкую и не слыша больше криков толпы, граф стал раскаиваться. Он с неудовольствием вспомнил теперь волнение и испуг, которые он выказал перед своими подчиненными. «La populace est terrible, elle est hideuse, — думал он по-французски. — Ils sont comme les loups qu'on ne peut apaiser qu'avec de la chair»[1]. «Граф! один Бог над нами!» — вдруг вспомнились ему слова Верещагина, и неприятное чувство холода пробежало по спине графа Растопчина. Но чувство это было мгновенно, и граф Растопчин презрительно улыбнулся сам над собою. «J'avais d'autres devoirs, — подумал он. — Il fallait apaiser le peuple. Bien d'autres victimes ont péri et périssent pour le bien publique»[2], — и он стал думать о тех общих обязанностях, которые он имел в отношении своего семейства, своей (порученной ему) столице и о самом себе — не как о Федоре Васильевиче Растопчине (он полагал, что Федор Васильевич Растопчин жертвует собою для bien publique[3]), но о себе как о главнокомандующем, о представителе власти и уполномоченном царя. «Ежели бы я был только Федор Васильевич, ma ligne de conduite aurait été tout autrement tracé[4], но должен был сохранить и жизнь и достоинство главнокомандующего».

Слегка покачиваясь на мягких рессорах экипажа и не слыша более страшных звуков толпы, Растопчин физически успокоился, и, как это всегда бывает, одновременно с физическим успокоением ум подделал для него и причины нравственного успокоения. Мысль, успокоившая Растопчина, была не новая. С тех пор как существует мир и люди убивают друг друга, никогда ни один человек не совершил преступления над себе подобным, не успокоивая себя этой самой мыслью. Мысль эта есть le bien publique[5], предполагаемое благо других людей.

Для человека, не одержимого страстью, благо это никогда не известно; но человек, совершающий преступление, всегда верно знает, в чем состоит это благо. И Растопчин теперь знал это.

---

[1] «Чернь ужасна, она отвратительна, — думал он по-французски. — Они как волки, которых можно умилостивить только плотью».

[2] «У меня были другие обязанности, — подумал он. — Нужно было успокоить народ. Много других жертв погибло и погибает для общественного блага»

[3] общественного блага

[4] путь мой был бы совсем иначе начертан

[5] общественное благо

Он не только в рассуждениях своих не упрекал себя в сделанном им поступке, но находил причины самодовольства в том, что он так удачно умел воспользоваться этим à propos[2] — наказать преступника и вместе с тем успокоить толпу.

«Верещагин был судим и приговорен к смертной казни, — думал Растопчин (хотя Верещагин сенатом был только приговорен к каторжной работе). — Он был предатель и изменник; я не мог оставить его безнаказанным, и потом je faisais d'une pierre deux coups[3]; я для успокоения отдавал жертву народу и казнил злодея».

Приехав в свой загородный дом и занявшись домашними распоряжениями, граф совершенно успокоился.

Через полчаса граф уехал на быстрых лошадях через Сокольничье поле, уже не вспоминая о том, что было, и думая и соображая только о том, что будет. Он ехал теперь к Яузскому мосту, где, ему сказали, был Кутузов. Граф Растопчин готовил в своем воображении те гневные и колкие упреки, которые он выскажет Кутузову за его обман. Он даст почувствовать этой старой придворной лисице, что ответственность за все несчастия, имеющие произойти от оставления столицы, от погибели России (как думал Растопчин), ляжет на одну его выжившую из ума старую голову. Обдумывая вперед то, что он скажет ему, Растопчин гневно поворачивался в коляске и сердито оглядывался по сторонам.

Сокольничье поле было пустынно. Только в конце его, у богадельни и желтого дома, виднелись кучки людей в белых одеждах и несколько одиноких, таких же людей, которые шли по полю, что-то крича и размахивая руками.

Один из них бежал наперерез коляске графа Растопчина. И сам граф Растопчин, и его кучер, и драгуны, все смотрели с смутным чувством ужаса и любопытства на этих выпущенных сумасшедших и в особенности на того, который подбегал к ним.

Шатаясь на своих длинных худых ногах, в развевающемся халате, сумасшедший этот стремительно бежал, не спуская глаз с Растопчина, крича ему что-то хриплым голосом и делая знаки, чтобы он остановился. Обросшее неровными клочками бороды, сумрачное и торжественное лицо сумасшедшего было худо и желто. Черные агатовые зрачки его бегали низко и тревожно по шафранно-желтым белкам.

— Стой! Остановись! Я говорю! — вскрикивал он пронзительно и опять что-то, задыхаясь, кричал с внушительными интонациями и жестами.

Он поравнялся с коляской и бежал с ней рядом.

— Трижды убили меня, трижды воскресал из мертвых. Они побили каменьями, распяли меня... Я воскресну... воскресну... воскресну. Растерзали мое тело. Царствие Божие разрушится... Трижды разрушу и трижды воздвигну его, — кричал он, все возвышая и возвышая голос. Граф Растопчин вдруг побледнел так, как он побледнел тогда, когда толпа бросилась на Верещагина. Он отвернулся.

— Пош... пошел скорее! — крикнул он на кучера дрожащим голосом.

Коляска помчалась во все ноги лошадей; но долго еще позади себя граф Растопчин слышал отдаляющийся безумный, отчаянный крик, а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника в меховом тулупчике.

---

[2] удобным случаем

[3] «Я убивал двух зайцев одним ударом»

Как ни свежо было это воспоминание, Растопчин чувствовал теперь, что оно глубоко, до крови, врезалось в его сердце. Он ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет, но что, напротив, чем дальше, тем злее, мучительнее будет жить до конца жизни это страшное воспоминание в его сердце. Он слышал, ему казалось теперь, звуки своих слов: «Руби его, вы головой ответите мне!» — «Зачем я сказал эти слова! Как-то нечаянно сказал... Я мог не сказать их (думал он): тогда ничего бы не было». Он видел испуганное и потом вдруг ожесточившееся лицо ударившего драгуна и взгляд молчаливого, робкого упрека, который бросил на него этот мальчик в лисьем тулупе... «Но я не для себя сделал это. Я должен был поступить так. La plèbe, le traître... le bien publique»[1], — думал он.

У Яузского моста все еще теснилось войско. Было жарко. Кутузов, нахмуренный, унылый, сидел на лавке около моста и плетью играл по песку, когда с шумом подскакала к нему коляска. Человек в генеральском мундире, в шляпе с плюмажем, с бегающими не то гневными, не то испуганными глазами подошел к Кутузову и стал по-французски говорить ему что-то. Это был граф Растопчин. Он говорил Кутузову, что явился сюда, потому что Москвы и столицы нет больше и есть одна армия.

— Было бы другое, ежели бы ваша светлость не сказали мне, что вы не сдадите Москвы, не давши еще сражения; всего этого не было бы! — сказал он.

Кутузов глядел на Растопчина и, как будто не понимая значения обращенных к нему слов, старательно усиливался прочесть что-то особенное, написанное в эту минуту на лице говорившего с ним человека. Растопчин, смутившись, замолчал. Кутузов слегка покачал головой и, не спуская испытующего взгляда с лица Растопчина, тихо проговорил:

— До, я не отдам Москвы, не дав сражения.

Думал ли Кутузов совершенно о другом, говоря эти слова, или нарочно, зная их бессмысленность, сказал их, но граф Растопчин ничего не ответил и поспешно отошел от Кутузова. И странное дело! Главнокомандующий Москвы, гордый граф Растопчин, взяв в руки нагайку, подошел к мосту и стал с криком разгонять столпившиеся повозки.

XXVI

В четвертом часу пополудни войска Мюрата вступали в Москву. Впереди ехал отряд виртембергских гусар, позади верхом, с большой свитой, ехал сам неаполитанский король.

Около середины Арбата, близ Николы Явленного, Мюрат остановился, ожидая известия от передового отряда о том, в каком положении находилась городская крепость «Le Kremlin».

Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, изукрашенного перьями и золотом длинноволосого начальника.

[1] Чернь, злодей… общественное благо

— Что ж, это сам, что ли, царь ихний? Ничево! — слышались тихие голоса.

Переводчик подъехал к кучке народа.

— Шапку-то сними... шапку-то, — заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля? Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других.

Мюрат подвинулся к переводчику и велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада.

— Хорошо, — сказал Мюрат и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота.

Артиллерия на рысях выехала из-за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца Вздвиженки, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу.

В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два оружейные выстрела раздались из-под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад.

Послышалось еще три выстрела из ворот.

Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из-за щитов. На лицах французского генерала, офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было Вздвиженка, Моховая. Кутафья и Троицкие ворота, а это была новая местность нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты. Артиллеристы сдули нагоревшие пальники. Офицер скомандовал «feu!»[1], и два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам; и два облака дыма заколебались на площади.

Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из-за дыма появилась фигура человека без шапки, в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. Feu! — повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела.

[1] пали!

Дым опять закрыл ворота.

За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.

— Enlevez-moi ça[1], — сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Enlevez-moi ça», — сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: «Ces misérables avaient envahi la citadelle sacrée, s'étaient emparés des fusils de l'arsenal, et tiraient (ces misérables) sur les Français. On en sabra quel-ques'uns et on purgea le Kremlin de leur présence»[2].

Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон сената на площадь и раскладывали огни.

Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Маросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе.

Хотя и оборванные, и голодные, измученные и уменьшенные до 1/3 части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско, образовались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое мародерами. Когда, через пять недель, те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшина и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы, при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленное, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам; в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией; на дворах такие же люди отпирали и отбивали ворота сараев и конюшен; в кухнях раскладывали огни, с засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили и ласкали женщин и детей. И этих людей везде и по лавкам и по домам, было много; но войска уже не было.

---

[1] Уберите это

[2] «Эти мерзавцы ворвались в священную цитадель, захватили ружья в арсенале и стреляли (эти мерзавцы) по французам. Некоторых из них изрубили саблями и очистили Кремль от их присутствия».

В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилия жителей и мародерство, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку; но, несмотря ни на какие меры, люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому, обильному удобствами и запасами, пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу. Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в который они вошли прежде всего. Солдаты-кавалеристы, входя в оставленный со всем добром купеческий дом и находя стойла не только для лошадей, но и лишние, все-таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили и даже дрались с другими командирами. Не успев поместиться еще, солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В Каретном ряду оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая коляски и карсты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было; везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств. И Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный, пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город; и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство.

Французы приписывали пожар Москвы au patriotisme féroce de Rastopchine[1]; русские — изуверству французов. В сущности же, причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц, таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе сто тридцать плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях — владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Сто́ит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество

[1] дикому патриотизму Растопчина — Ред.

пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Le patriotisme féroce de Rastopchine[1] и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей — не хозяев домов. Ежели и были поджоги (что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а, во всяком случае, хлопотливо и опасно), то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое.

Как ни лестно было французам обвинять зверство Растопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа, нельзя не видеть, что такой непосредственной причины пожара не могло быть, потому что Москва должна была сгореть, как должна сгореть каждая деревня, фабрика, всякий дом, из которого выйдут хозяева и в который пустят хозяйничать и варить себе кашу чужих людей. Москва сожжена жителями, это правда; но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба-соли и ключей французам, а выехали из нее.

XXVII

Расходившееся звездой по Москве всачивание французов в день 2-го сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер, только к вечеру. Пьер находился после двух последних, уединенно и необычайно проведенных дней в состоянии, близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего; и все, что он видел и слышал, происходило перед ним как во сне.

Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он, в тогдашнем состоянии, не в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, — а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он, в мертвой тишине кабинета, сел, облокотившись на руки, над запыленным письменным с голом покойника, в его воображении спокойно и значительно, одно за другим, стали представляться воспоминания последних дней, в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием они. Когда

[1] Свирепый патриотизм Растопчина

Герасим разбудил его от его задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой — как он знал — народной защите Москвы. И с этой целью он тотчас же попросил Герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение, скрывая свое имя, остаться в доме Иосифа Алексеевича. Потом, в продолжение первого уединенного и праздно проведенного дня (Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях), ему несколько раз смутно представлялась и прежде приходившая мысль о кабалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта; но мысль эта о том, что ему, l'Russe Besuhof[1], предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении.

Когда, купив кафтан (с целью только участвовать в народной защите Москвы), Пьер встретил Ростовых и Наташа сказала ему: «Вы остаетесь? Ах, как это хорошо!» — в голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже ежели бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено.

На другой день он, с одною мыслию не жалеть себя и не отставать ни в чем от них, ходил с народом за Трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут, он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и неизбежностью. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его, с тем чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона.

Пьер знал все подробности покушения немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809 году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его.

Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению. Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия, то чувство, вследствие которого он 25-го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения, теперь убежал из своего дома и, вместо привычной роскоши и удобств жизни, спал, не раздеваясь, на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом; другое — было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь, все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, — все это ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить.

Это было то чувство, вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет сто́ить ему его последних денег; то чувство,

[1] Русский Безухов

вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих усилий, суда над жизнью.

С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживало в его намерении и лишало возможности отречься от него то, что уже было им сделано на этом пути. И его бегство из дома, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, — все потеряло бы не только смысл, но все это было бы презренно и смешно (к чему Пьер был чувствителен), ежели бы он после всего этого, так же как и другие, уехал из Москвы.

Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели, — все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству.

Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это, но, вместо того чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грубым наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество.

«Да, один за всех, я должен совершить или погибнуть! — думал он. — Да, я подойду... и потом вдруг... Пистолетом или кинжалом? — думал Пьер. — Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я (думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона). Ну что ж, берите, казните меня», — говорил дальше сам себе Пьер, с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову.

В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и шатающимися тонкими ногами вышел на середину комнаты.

— Они оробели, — сказал он хриплым, доверчивым голосом. — Я говорю: не сдамся, я говорю... так ли, господин? — Он задумался и вдруг, увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор.

Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплым голосом, видимо, себе воображая что-то торжественное.

— К оружию! На абордаж! Врешь, не отнимешь! — кричал он.

— Будет, пожалуйста, будет. Сделайте милость, пожалуйста, оставьте. Ну, пожалуйста, барин... — говорил Герасим, осторожно за локти стараясь поворотить Макар Алексеича к двери.

— Ты кто? Бонапарт!.. — кричал Макар Алексеич.

— Это нехорошо, сударь. Вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните. Пожалуйте пистолетик.

— Прочь, раб презренный! Не прикасайся! Видел? — кричал Макар Алексеич, потрясая пистолетом. — На абордаж!

— Берись, — шепнул Герасим дворнику.

Макара Алексеича схватили за руки и потащили к двери.

Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными, хрипящими звуками запыхавшегося голоса.

Вдруг новый, пронзительный женский крик раздался от крыльца, и кухарка вбежала в сени.

— Они! Батюшки родимые!.. Ей-богу, они. Четверо, конные!.. — кричала она.

Герасим и дворник выпустили из рук Макар Алексеича, и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь.

XXVIII

Пьер, решивший сам с собою, что ему до исполнения своего намерения не надо было открывать ни своего звания, ни знания французского языка, стоял в полураскрытых дверях коридора, намереваясь тотчас же скрыться, как скоро войдут французы. Но французы вошли, и Пьер все не отходил от двери: непреодолимое любопытство удерживало его.

Их было двое. Один — офицер, высокий, бравый и красивый мужчина, другой — очевидно, солдат или денщик, приземистый, худой загорелый человек с ввалившимися щеками и тупым выражением лица. Офицер, опираясь на палку и прихрамывая, шел впереди. Сделав несколько шагов, офицер, как бы решив сам с собою, что квартира эта хороша, остановился, обернулся назад к стоявшим в дверях солдатам и громким начальническим голосом крикнул им, чтобы они вводили лошадей. Окончив это дело, офицер молодецким жестом, высоко подняв локоть руки, расправил усы и дотронулся рукой до шляпы.

— Bonjour la compagnie![1] — весело проговорил он, улыбаясь и оглядываясь вокруг себя.

Никто ничего не отвечал.

— Vous êtes le bourgeois?[2] — обратился офицер к Герасиму.

Герасим испуганно-вопросительно смотрел на офицера.

[1] Почтение всей компании!

[2] Вы хозяин?

— Quartire, quartire, logement, — сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. — Les Français sont de bons enfants. Que diable! Voyons! Ne nous fâchons pas, mon vieux[3], — прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима.

— A ça! Dites donc, on ne parle donc pas français dans cette boutique?[4] — прибавил он, оглядываясь кругом и встречаясь глазами с Пьером. Пьер отстранился от двери.

Офицер опять обратился к Герасиму. Он требовал, чтобы Герасим показал ему комнаты в доме.

— Барин нету — не понимай... моя ваш... — говорил Герасим, стараясь делать свои слова понятнее тем, что он их говорил навыворот.

Французский офицер, улыбаясь, развел руками перед носом Герасима, давая чувствовать, что и он не понимает его, и, прихрамывая, пошел к двери, у которой стоял Пьер, Пьер хотел отойти, чтобы скрыться от него, но в это самое время он увидал из отворившейся двери кухни высунувшегося Макара Алексеича с пистолетом в руках. С хитростью безумного Макар Алексеич оглядел француза и, приподняв пистолет, прицелился.

— На абордаж!!! — закричал пьяный, нажимая спуск пистолета. Французский офицер обернулся на крик, и в то же мгновенье Пьер бросился на пьяного. В то время как Пьер схватил и приподнял пистолет, Макар Алексеич попал, наконец, пальцем на спуск, и раздался оглушивший и обдавший всех пороховым дымом выстрел. Француз побледнел и бросился назад к двери.

Забывший свое намерение не открывать своего знания французского языка, Пьер, вырвав пистолет и бросив его, подбежал к офицеру и по-французски заговорил с ним.

— Vous n'êtes pas blessé?[5] — сказал он.

— Je crois que non, — отвечал офицер, ощупывая себя, — mais je l'ai manqué belle cette fois-ci, — прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. — Quel est cet homme? — строго взглянув на Пьера, сказал офицер.

— Ah, je suis vraiment au désespoir de ce qui vient d'arriver, — быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. — C'est un fou, un malheureux qui ne savait pas ce qu'il faisait.

Офицер подошел к Макару Алексеичу и схватил его за ворот.

Макар Алексеич, распустив губы, как бы засыпая, качался, прислонившись к стене.

---

[3] — Квартира, квартира, постой, — сказал офицер, сверху вниз, с снисходительной и добродушной улыбкой глядя на маленького человека. — Французы — добрые ребята. Черт возьми! Ну же! Не будем сердиться, старина, — прибавил он, трепля по плечу испуганного и молчаливого Герасима

[4] Что ж, неужели и тут никто не говорит по-французски?

[5] — Вы не ранены? — сказал он.

— Кажется, нет, — отвечал офицер, ощупывая себя, — но на этот раз мне здорово повезло (я был на волосок от смерти), — прибавил он, указывая на отбившуюся штукатурку в стене. — Кто этот человек? — строго взглянув на Пьера, сказал офицер.

— Ах, я в настоящем отчаянии от того, что только что произошло, — быстро говорил Пьер, совершенно забыв свою роль. — Это сумасшедший, несчастный, который не знал, что делает.

— Brigand, tu me la payeras[1], — сказал француз, отнимая руку.

— Nous autres nous sommes cléments après la victoire: mais nous ne pardonnons pas aux traîtres, — прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.

Пьер продолжал по-французски уговаривать офицера не взыскивать с этого пьяного, безумного человека. Француз молча слушал, не изменяя мрачного вида, и вдруг с улыбкой обратился к Пьеру. Он несколько секунд молча посмотрел на него. Красивое лицо его приняло трагически-нежное выражение, и он протянул руку.

— Vous m'avez sauve la vie! Vous êtes Français[2] , — сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, m-r Ramball'я, capitaine du 13-me léger, — было, без сомнения, самым великим делом.

Но как ни несомненен был этот вывод и основанное на нем убеждение офицера, Пьер счел нужным разочаровать его.

— Je suis Russe[3] , — быстро сказал Пьер.

— Ти-ти-ти, à d'autres, — сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. — Tout à l'heure vous allez me conter tout ça, — сказал он. — Charmé de rencontrer un compatriote. Eh bien! qu'allons nous faire de cet homme? — прибавил он, обращаясь к Пьеру, уже как к своему брату. Ежели бы даже Пьер не был француз, получив раз это высшее в свете наименование, не мог же он отречься от него, говорило выражение лица и тон французского офицера. На последний вопрос Пьер еще раз объяснил, кто был Макар Алексеич, объяснил, что пред самым их приходом этот пьяный, безумный человек утащил заряженный пистолет, который не успели отнять у него, и просил оставить его поступок без наказания.

Француз выставил грудь и сделал царский жест рукой.

— Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes Français. Vous me demandez sa grâce? Je vous l'accorde. Qu'on emmène cet homme[4], — быстро и энергично проговорил французский офицер, взяв под руку произведенного им за спасение его жизни во французы Пьера, и пошел с ним в дом.

Солдаты, бывшие на дворе, услыхав выстрел, вошли в сени, спрашивая, что случилось, и изъявляя готовность наказать виновных; но офицер строго остановил их.

— On vous demandera quand on aura besoin de vous[5], — сказал он. Солдаты вышли. Денщик, успевший между тем побывать в кухне, подошел к офицеру.

---

[1] — Разбойник, ты мне за это заплатишь, — сказал француз, отнимая руку.

— Мы бываем милостивы после победы, но мы не прощаем предателей, — прибавил он с мрачной торжественностью в лице и с красивым энергическим жестом.

[2] — Вы спасли мне жизнь! Вы — француз! — сказал он. Для француза вывод этот был несомненен. Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его, месье Рамбаля, капитана 13-го легкого полка, — было, без сомнения, самым великим делом

[3] — Я русский, — быстро сказал Пьер.

— Ти-ти-ти, рассказывайте это другим! — сказал француз, махая пальцем себе перед носом и улыбаясь. — Сейчас вы мне всё это расскажете, — сказал он. — Очень рад встретить соотечественника. Ну-с! что нам делать с этим человеком?

[4] — Вы спасли мне жизнь. Вы — француз. Вы просите меня о его помиловании? Я дарую его вам. Уведите этого человека

[5] Когда будет нужно, вас позовут

— Capitaine, ils ont de la soupe et du gigot de mouton dans la cuisine, — сказал он. — Faut-il vous l'apporter?

— Oui, et le vin[1], — сказал капитан.

XXIX

Французский офицер вместе с Пьером вошли в дом. Пьер счел своим долгом опять уверить капитана, что он был не француз, и хотел уйти, но французский офицер и слышать не хотел об этом. Он был до такой степени учтив, любезен, добродушен и истинно благодарен за спасение своей жизни, что Пьер не имел духа отказать ему и присел вместе с ним в зале, в первой комнате, в которую они вошли. На утверждение Пьера, что он не француз, капитан, очевидно не понимая, как можно было отказываться от такого лестного звания, пожал плечами и сказал, что ежели он непременно хочет слыть за русского, то пускай это так будет, но что он, несмотря на то, все так же навеки связан с ним чувством благодарности за спасение жизни.

Ежели бы этот человек был одарен хоть сколько-нибудь способностью понимать чувства других и догадывался бы об ощущениях Пьера, Пьер, вероятно, ушел бы от него; но оживленная непроницаемость этого человека ко всему тому, что не было он сам, победила Пьера.

— Français ou prince russe incognito[2], — сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. — Je vous dois la vie et je vous offre mon amitié. Un Français n'oublie jamais ni une insulte ni un service. Je vous offre mon amitié. Je ne vous dis que ça.

В звуках голоса, в выражении лица, в жестах этого офицера было столько добродушия и благородства (во французском смысле), что Пьер отвечая бессознательною улыбкой на улыбку француза, пожал протянутую руку.

— Capitaine Ramball du treizième léger, décoré pour l'affaire du Sept[3], — отрекомендовался он с самодовольной неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. — Voudrez-vous bien me dire à présent, à qui j'ai l'honneur de parler aussi agréablement au lieu de rester a l'ambulance avec la balle de ce fou dans le corps.

Пьер отвечал, что не может сказать своего имени, и, покраснев, начал было, пытаясь выдумывать имя, говорить о причинах, по которым он не может сказать этого, но француз поспешно перебил его.

— De grâce, — сказал он. — Je comprends vos raisons, vous êtes officier... officier supérieur, peut-être. Vous avez porté les armes contre nous. Ce n'est pas mon affaire. Je

---

[1] — Капитан, у них в кухне есть суп и жареная баранина. — сказал он. – Прикажете принести?
— Да, и вино, — сказал капитан.

[2] — Француз или русский князь инкогнито, — сказал француз, оглядев хотя и грязное, но тонкое белье Пьера и перстень на руке. — Я обязан вам жизнью и предлагаю вам свою дружбу. Француз никогда не забывает ни оскорбления, ни услуги. Я предлагаю вам свою дружбу. Больше я вам ничего не скажу.

[3] — Капитан Рамбаль, тринадцатого легкого полка, кавалер Почетного легиона за дело седьмого сентября, — отрекомендовался он с самодовольной неудержимой улыбкой, которая морщила его губы под усами. — Не угодно ли вам будет сказать мне теперь, с кем я имею честь так приятно беседовать вместо того, чтобы лежать в лазарете с пулей этого безумца в теле?

vous dois la vie. Cela me suffit. Je suis tout à vous. Vous êtes gentilhomme?[1] — прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову. — Votre nom de baptême, s'il vous plaît? Je ne demande pas davantage. Monsieur Pierre, dites-vous... Parfait. C'est tout ce que je désire savoir.

Когда принесены были жареная баранина, яичница, самовар, водка и вино из русского погреба, которое с собой привезли французы, Рамбаль попросил Пьера принять участие в этом обеде и тотчас же сам, жадно и быстро, как здоровый и голодный человек, принялся есть, быстро пережевывая своими сильными зубами, беспрестанно причмокивая и приговаривая excellent, exquis![2] Лицо его раскраснелось и покрылось потом. Пьер был голоден и с удовольствием принял участие в обеде. Морель, денщик, принес кастрюлю с теплой водой и доставил в нее бутылку красного вина. Кроме того, он принес бутылку с квасом, которую он для пробы взял в кухне. Напиток этот был уже известен французам и получил название. Они называли квас limonade de cochon[3], и Морель хвалил этот limonade de cochon, который он нашел в кухне. Но так как у капитана было вино, добытое при переходе через Москву, то он предоставил квас Морелю и взялся за бутылку бордо. Он завернул бутылку по горлышко в салфетку и налил себе и Пьеру вина. Утоленный голод и вино еще более оживили капитана, и он не переставая разговаривал во время обеда.

— Oui, mon cher monsieur Pierre, je vous dois une fièvre chandelle de m'avoir sauvé... de cet enragé... J'en ai assez, voyez-vous, de balles dans le corps. En voilà une (он показал на бок), à Wagram et de doux à Smolensk, — он показал шрам, который был на щеке. Et cette jambe, comme vous voyez, qui ne veut pas marcher. C'est à la grande bataille du 7 à la Moskova que j'ai reçu ça. Sacré Dieu, c'était beau. Il fallait voir ça, c'était un déluge de feu. Vous nous avez taillé une rude besogne; vous pouvez vous en vanter, nom d'un petit bonhomme. Et, ma parole, malgré l'atout que j'y ai gagné, je serais prêt à recommencer. Je plains ceux qui n'ont pas vu ça.

— J'y ai été[4] — сказал Пьер.

— Bah, vraiment! Eh bien, tant mieux, — сказал француз. — Vous êtes de fiers ennemis, tout de même. La grande redoute a été tenace, nom d'une pipe. Et vous nous l'avez fait crânement payer. J'y suis allé trois fois, tel que vous me voyez. Trois fois nous étions sur les canons et trois fois on nous, a culbuté et comme des capucins de cartes. Oh! c'était beau, monsieur Pierre. Vos grenadiers ont été superbes, tonnerre de Dieu. Je les ai

---

[1] — Помилуйте, — сказал он. — Я понимаю ваши причины, вы офицер... старший офицер, быть может. Вы сражались против нас. Это не мое дело. Я обязан вам жизнью. Этого мне достаточно. Я весь к вашим услугам. Вы дворянин? — прибавил он с оттенком вопроса. Пьер наклонил голову. — Ваше имя? я больше ничего не спрашиваю. Господин Пьер, вы сказали? Прекрасно. Это все, что мне нужно.

[2] чудесно, превосходно!

[3] свиной лимонад (плохое вино)

[4] — Да, мой дорогой господин Пьер, я вам по гроб жизни обязан за то, что вы спасли меня... от этого бешеного... С меня хватит, видите ли, пуль в теле. Вот одна (он показал на бок) при Ваграме, и две под Смоленском, — он показал шрам, который был на щеке. И эта нога, как видите, которая не хочет ходить. Это в великом сражении 7-го числа при Москве-реке я получил её. Черт побери, это было красиво! Это надо было видеть, это был огненный потоп. Вы задали нам задачку; можете этим хвастаться, черт меня подери. И, честное слово, несмотря на этот козырь (ранение), что я там получил, я готов был бы начать всё сначала. Мне жаль тех, кто этого не видел.

— Я там был, — сказал Пьер.

vu six fois de suite serrer les rangs, et marcher comme à une revue. Les beaux hommes! Notre roi de Naples, qui s'y connaît a crié: bravo! Ah, ah! soldats comme nous autres! — сказал он, улыбаясь, после минутного молчания. — Tant mieux, tant mieux, monsieur Pierre. Terribles en bataille... galants... — он подмигнул с улыбкой, — avec les belles, voilà les Français, monsieur Pierre n'est-ce pas?[1] .

До такой степени капитан был наивно и добродушно весел, и целен, и доволен собой, что Пьер чуть-чуть сам не подмигнул, весело глядя на него. Вероятно, слово «galant» навело капитана на мысль о положении Москвы.

— A propos, dites donc, est-ce vrai que toutes les femmes ont quitté Moscou? Une drôle d'idée! Qu'avaient-elles à craindre?

— Est-ce que les dames françaises ne quitteraient pas Paris si les Russes y entraient?[2] — сказал Пьер.

— Ah, ah, ah!.. — Француз весело, сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. — Ah! elle est forte celle-là, — проговорил он. — Paris?.. Mais... Paris... Paris...

— Paris la capitale du monde... — сказал Пьер, доканчивая его речь.

Капитан посмотрел на Пьера. Он имел привычку в середине разговора остановиться и поглядеть пристально смеющимися, ласковыми глазами.

— Eh bien, si vous ne m'aviez pas dit que vous êtes Russe, j'aurai parié que vous êtes Parisien. Vous avez ce je ne sais, quoi, ce...[3] — и, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.

— J'ai été à Paris, j'y ai passé des annés, — сказал Пьер.

— Oh, ça se voit bien. Paris!.. Un homme qui ne connaît pas Paris, est un sauvage. Un Parisien, ça se sent à deux lieux. Paris, c'est Talma, la Duschénois, Potier, la Sorbonne, les boulevards, — и, заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил: — Il n'y a qu'un Paris au monde. Vous avez été à Paris et vous êtes resté Russe. Eh bien, je ne vous en estime pas moins.

---

[1] — Ба, неужели! Ну что же, тем лучше, — сказал француз. — А вы всё-таки лихие враги, ничего не скажешь. Большой редут держался упорно, черт побери! И вы заставили нас дорого за него заплатить. Я ходил туда три раза, вот как вы меня видите. Три раза мы уже были на пушках, и три раза нас опрокидывали, как карточных паяцев. О! это было красиво, господин Пьер. Ваши гренадеры были великолепны, клянусь богом. Я видел шесть раз подряд, как они смыкали ряды и шли, точно на парад. Красавцы! Наш неаполитанский король, который в этом знает толк, кричал: браво! Ха-ха! такие же солдаты, как и мы! — сказал он, улыбаясь, после минутного молчания. — Тем лучше, тем лучше, господин Пьер. Грозные в бою... галантные... — он подмигнул с улыбкой, — с красавицами — вот они, французы, не так ли, господин Пьер?

[2] — Кстати, скажите-ка, неужели это правда, что все женщины покинули Москву? Какая странная мысль! Чего им было бояться?

— Разве французские дамы не покинули бы Париж, если бы в него вошли русские? — сказал Пьер.

— Ха-ха-ха!.. — Француз весело, сангвинически расхохотался, трепля по плечу Пьера. — О! А вот это сильно сказано, — проговорил он. — Париж?.. Но... Париж... Париж... — Париж — столица мира... — сказал Пьер, доканчивая его речь.

[3] — Ну, если бы вы не сказали мне сами, что вы русский, я бы побился об заклад, что вы парижанин. В вас есть это "не знаю что", это... — и, сказав этот комплимент, он опять молча посмотрел.

— Я был в Париже, я провел там годы, — сказал Пьер.

— О, это сразу видно. Париж!.. Человек, который не знает Парижа, — дикарь. Парижанина чувствуешь за две мили. Париж — это Тальма, Дюшенуа, Потье, Сорбонна, бульвары, — и, заметив, что заключение слабее предыдущего, он поспешно прибавил: — В мире есть только один Париж. Вы были в Париже и остались русским. Что ж, я не меньше за то вас уважаю.

Под влиянием выпитого вина и после дней, проведенных в уединении с своими мрачными мыслями, Пьер испытывал невольное удовольствие в разговоре с этим веселым добродушным человеком.

— Pour en revenir à vos dames, on les dit bien belles. Quelle fichue idée d'aller s'enterrer dans les steppes, quand l'armée française est à Moscou. Quelle chance elles ont manqué celles-là. Vos moujiks c'est autre chose, mais vous autres gens civilisés vous devriez nous connaître mieux que ça. Nous avons pris Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Rome, Varsovie, toutes les capitales du monde... On nous craint, mais on nous aime. Nous sommes bons à connaître. Et puis l'Empereur[1] , — начал он, но Пьер перебил его.

— L'Empereur, — повторил Пьер, и лицо его вдруг приняло грустное и сконфуженное выражение. — Est-ce que l'Empereur?..[2]

— L'Empereur? C'est la générosité, la clémence, la justice, l'ordre, le génie, voilà l'Empereur! C'est moi, Ramball, qui vous le dit. Tel que vous me voyez, j'étais son ennemi il y a encore huit ans. Mon père a été comte émigré... Mais il m'a vaincu, cet homme. Il m'a empoigné. Je n'ai pas pu résister au spectacle de grandeur et de gloire dont il couvrait la France. Quand j'ai compris ce qu'il voulait, quand j'ai vu qu'il nous faisait une litière de lauriers, voyez-vous, je me suis dit: voila un souverain, et je me suis donné à lui. Eh voilà! Oh, oui, mon cher, c'est le plus grand homme des siècles passés et à venir[3].

— Est-il à Moscou? — замявшись и с преступным лицом сказал Пьер.

Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.

— Non, il fera son entrée demain[4], — сказал он и продолжал свои рассказы.

Разговор их был прерван криком нескольких голосов у ворот и приходам Мореля, который пришел объявить капитану, что приехали виртембергские гусары и хотят ставить лошадей на тот же двор, на котором стояли лошади капитана. Затруднение происходило преимущественно оттого, что гусары не понимали того, что им говорили.

Капитан велел позвать к себе старшего унтер-офицера и строгим голосом спросил у него, к какому полку он принадлежит, кто их начальник и на каком основании он позволяет себе занимать квартиру, которая уже занята. На первые два

---

[1] — Возвращаясь к вашим дамам — говорят, они очень красивы. Какая скверная мысль — отправиться зарывать себя в степях, когда французская армия в Москве! Какую возможность они упустили! Ваши мужики — это другое дело, но вы, люди цивилизованные, должны бы знать нас лучше. Мы брали Вену, Берлин, Мадрид, Неаполь, Рим, Варшаву, все столицы мира... Нас боятся, но нас любят. С нами стоит познакомиться поближе. И потом, Император... — начал он, но Пьер перебил его.

[2] — Император, — повторил Пьер, и лицо его вдруг приняло грустное и сконфуженное выражение. — Разве Император?..

[3] — Император? Это само великодушие, милосердие, справедливость, порядок, гений — вот кто такой Император! Это я, Рамбаль, говорю вам это. Таким, каким вы меня видите, я был его врагом еще восемь лет назад. Мой отец был графом-эмигрантом... Но этот человек победил меня. Он овладел мною. Я не мог устоять перед зрелищем величия и славы, которыми он покрывал Францию. Когда я понял, чего он хочет, когда я увидел, что он готовит нам ложе из лавров, — понимаете ли, я сказал себе: вот государь, и я отдался ему. И вот! О, да, мой дорогой, это величайший человек прошлых и будущих веков.

[4] — Он в Москве? — замявшись и с преступным лицом сказал Пьер.

Француз посмотрел на преступное лицо Пьера и усмехнулся.

— Нет, он въедет завтра, — сказал он и продолжал свои рассказы.

вопроса немец, плохо понимавший по-французски, назвал свой полк и своего начальника; но на последний вопрос он, не поняв его, вставляя ломаные французские слова в немецкую речь, отвечал, что он квартиргер полка и что ему велено от начальника занимать все дома подряд. Пьер, знавший по-немецки, перевел капитану то, что говорил немец, и ответ капитана передал по-немецки виртембергскому гусару. Поняв то, что ему говорили, немец сдался и увел своих людей. Капитан вышел на крыльцо, громким голосом отдавая какие-то приказания.

Когда он вернулся назад в комнату, Пьер сидел на том же месте, где он сидел прежде, опустив руки на голову. Лицо его выражало страдание. Он действительно страдал в эту минуту. Когда капитан вышел и Пьер остался один, он вдруг опомнился и сознал то положение, в котором находился. Не то, что Москва была взята, и не то, что эти счастливые победители хозяйничали в ней и покровительствовали ему, — как ни тяжело чувствовал это Пьер, не это мучило его в настоящую минуту. Его мучило сознание своей слабости. Несколько стаканов выпитого вина, разговор с этим добродушным человеком уничтожили сосредоточенно-мрачное расположение духа, в котором жил Пьер эти последние дни и которое было необходимо для исполнения его намерения. Пистолет, и кинжал, и армяк были готовы, Наполеон въезжал завтра. Пьер точно так же считал полезным и достойным убить злодея; по он чувствовал, что теперь он не сделает этого. Почему? — он не знал, но предчувствовал как будто, что он не исполнит своего намерения. Он боролся против сознания своей слабости, но смутно чувствовал, что ему не одолеть ее, что прежний мрачный строй мыслей о мщенье, убийстве и самопожертвовании разлетелся, как прах, при прикосновении первого человека.

Капитан, слегка прихрамывая и насвистывая что-то, вошел в комнату.

Забавлявшая прежде Пьера болтовня француза теперь показалась ему противна. И насвистываемая песенка, и походка, и жест покручиванья усов — все казалось теперь оскорбительным Пьеру.

«Я сейчас уйду, я ни слова больше не скажу с ним», — думал Пьер. Он думал это, а между тем сидел все на том же месте. Какое-то странное чувство слабости приковало его к своему месту: он хотел и не мог встать и уйти.

Капитан, напротив, казался очень весел. Он прошелся два раза по комнате. Глаза его блестели, и усы слегка подергивались, как будто он улыбался сам с собой какой-то забавной выдумке.

— Charmant, — сказал он вдруг, — le colonel de ces Wurtembourgeois! C'est un Allemand; mais brave garçon s'il en fut. Mais Allemand[1].

Он сел против Пьера.

— A propos, vous savez donc l'allemand, vous?[2]

Пьер смотрел на него молча.

[1] — Очаровательно, — сказал он вдруг, — полковник этих вюртембергцев! Он немец; но славный малый, если такие вообще бывают. Но — немец

[2] — Кстати, так вы, значит, знаете немецкий?

— Comment dites-vous asile en allemand?[1]

— Asile? — повторил Пьер. — Asile en allemand — Unterkunft[2].

— Comment dites-vous?[3] — недоверчиво и быстро переспросил капитан.

— Unterkunft, — повторил Пьер.

— Onterkoff, — сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера. — Les Allemands sont de fières bêtes. N'est-ce pas, monsieur Pierre? — заключил он[4].

— Eh bien, encore une bouteille de ce Bordeau Moscovite, n'est-ce pas? Morel, va nous chauffer encore une petite bouteille. Morel![5] — весело крикнул капитан.

Морель подал свечи и бутылку вина. Капитан посмотрел на Пьера при освещении, и его, видимо, поразило расстроенное лицо его собеседника. Рамбаль с искренним огорчением и участием в лице подошел к Пьеру и нагнулся над ним.

— Eh bien, nous sommes tristes, — сказал он, трогая Пьера за руку. — Vous aurai-je fait de la peine? Non, vrai, avez-vous quelque chose contre moi, — переспрашивал он. — Peut-être rapport à la situation?[6]

Пьер ничего не отвечал, но ласково смотрел в глаза французу. Это выражение участия было приятно ему.

— Parole d'honneur, sans parler de ce que je vous dois, j'ai de l'amitié pour vous. Puis-je faire quelque chose pour vous? Disposez de moi. C'est à la vie et à la mort. C'est la main sur le cur que je vous le dis[7], — сказал он, ударяя себя в грудь.

— Merci, — сказал Пьер. Капитан посмотрел пристально на Пьера так же, как он смотрел, когда узнал, как убежище называлось по-немецки, и лицо его вдруг просияло.

— Ah! dans ce cas je bois à notre amitié![8] — весело крикнул он, наливая два стакана вина, Пьер взял налитой стакан и выпил его. Рамбаль выпил свой, пожал еще раз руку Пьера и в задумчиво-меланхолической позе облокотился на стол.

— Oui, mon cher ami, voilà les caprices de la fortune, — начал он. — Qui m'aurait dit que je serai soldat et capitaine de dragons au service de Bonaparte, comme nous l'appellions jadis. Et cependant me voilà à Moscou avec lui. Il faut vous dire, mon cher, — продолжал он грустным и мерным голосом человека, который сбирается рассказывать длинную историю, — que notre nom est l'un des plus anciens de la France[9].

---

[1] — Как вы скажете по-немецки "убежеще"?

[2] — Убежище? — повторил Пьер. — Убежище по-немецки — Unterkunft.

[3] – Как вы говорите?

[4] — Онтеркоф, — сказал капитан и несколько секунд смеющимися глазами смотрел на Пьера. — Немцы — порядочные скотины. Не правда ли, господин Пьер? — заключил он.

[5] — Ну что же, еще бутылочку этого московского бордо, не так ли? Морель, согрей-ка нам еще бутылочку. Морель! — весело крикнул капитан

[6] — Ну что же вы, мы загрустили, — сказал он, трогая Пьера за руку. — Неужели я вас расстроил? Нет, право, неужели вы имеете что-то против меня? — переспрашивал он. — Может быть, по поводу нынешнего положения дел.

[7] — Честное слово, не говоря уже о том, чем я вам обязан, я чувствую к вам истинную дружбу. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? Располагайте мною. Это на жизнь и на смерть. Я говорю вам это, положив руку на сердце, — сказал он, ударяя себя в грудь.

[8] А, в таком случае пью за нашу дружбу!

И с легкой и наивной откровенностью француза капитан рассказал Пьеру историю своих предков, свое детство, отрочество и возмужалость, все свои родственные, имущественные, семейные отношения. «Ma pauvre mère»[1] играла, разумеется, важную роль в этом рассказе.

— Mais tout ça ce n'est que la mise en scène de la vie, le fond c'est l'amour. L'amour! N'est-ce pas, monsieur Pierre? — сказал он, оживляясь. — Encore un verre[2].

Пьер опять выпил и налил себе третий.

— Oh! les femmes, les femmes![3] — и капитан, замаслившимися глазами глядя на Пьера, начал говорить о любви и о своих любовных похождениях. Их было очень много, чему легко было поверить, глядя на самодовольное, красивое лицо офицера и на восторженное оживление, с которым он говорил о женщинах. Несмотря на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви, и так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал его.

Очевидно было, что l'amour, которую так любил француз, была ни та низшего и простого рода любовь, которую Пьер испытывал когда-то к своей жене, ни та раздуваемая им самим романтическая любовь, которую он испытывал к Наташе (оба рода этой любви Рамбаль одинаково презирал — одна была l'amour des charretiers, другая l'amour des nigauds[4]); l'amour, которой поклонялся француз, заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинации уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству.

Так, капитан рассказал трогательную историю своей любви к одной обворожительной тридцатипятилетней маркизе и в одно в то же время к прелестному невинному, семнадцатилетнему ребенку, дочери обворожительной маркизы. Борьба великодушия между матерью и дочерью, окончившаяся тем, что мать, жертвуя собой, предложила свою дочь в жены своему любовнику, еще и теперь, хотя уж давно прошедшее воспоминание, волновала капитана. Потом он рассказал один эпизод, в котором муж играл роль любовника, а он (любовник) роль мужа, и несколько комических эпизодов из souvenirs d'Allemagne, где asile значит Unterkunft, где les maris mangent de la choux croûte и где jeunes filles sont trop blondes[5] .

---

[9] — Да, мой дорогой друг, вот они, капризы судьбы, — начал он. — Кто бы мне сказал, что я буду солдатом и капитаном драгунов на службе у Бонапарта, как мы называли его прежде. И однако же, вот я в Москве вместе с ним. Должен вам сказать, мой дорогой, — продолжал он грустным и мерным голосом человека, который собирается рассказывать длинную историю, — что наше имя — одно из самых древних во Франции.

[1] «Моя бедная мать».

[2] — Но всё это лишь декорации жизни, основа же её — любовь. Любовь! Не правда ли, господин Пьер? — сказал он, оживляясь. — Еще по стаканчику.

[3] О! женщины, женщины!

[4] ...одна была — любовь извозчиков (страсть), другая — любовь простаков (возвышенная любовь)

[5] ...а он (любовник) — роль мужа, и несколько комических эпизодов из воспоминаний о Германии, где "убежеще" значит *Unterkunft*, где мужья едят капустный суп и где молодые девушки слишком белокуры.

Наконец последний эпизод в Польше, еще свежий в памяти капитана, который он рассказывал с быстрыми жестами и разгоревшимся лицом, состоял в том, что он спас жизнь одному поляку (вообще в рассказах капитана эпизод спасения жизни встречался беспрестанно) и поляк этот вверил ему свою обворожительную жену (Parisienne de cur[1]), в то время как сам поступил во французскую службу. Капитан был счастлив, обворожительная полька хотела бежать с ним; но, движимый великодушием, капитан возвратил мужу жену, при этом сказав ему: «Je vous ai sauve la vie et je sauve votre honneur!»[2]. Повторив эти слова, капитан протер глаза и встряхнулся, как бы отгоняя от себя охватившую его слабость при этом трогательном воспоминании.

Слушая рассказы капитана, как это часто бывает в позднюю вечернюю пору и под влиянием вина, Пьер следил за всем тем, что говорил капитан, понимал все и вместе с тем следил за рядом личных воспоминаний, вдруг почему-то представших его воображению. Когда он слушал эти рассказы любви, его собственная любовь к Наташе неожиданно вдруг вспомнилась ему, и, перебирая в своем воображении картины этой любви, он мысленно сравнивал их с рассказами Рамбаля. Следя за рассказом о борьбе долга с любовью, Пьер видел пред собою все малейшие подробности своей последней встречи с предметом своей любви у Сухаревой башни. Тогда эта встреча не произвела на него влияния; он даже ни разу не вспомнил о ней. Но теперь ему казалось, что встреча эта имела что-то очень значительное и поэтическое.

«Петр Кирилыч, идите сюда, я узнала», — слышал он теперь сказанные ею слова, видел пред собой ее глаза, улыбку, дорожный чепчик, выбившуюся прядь волос... и что-то трогательное, умиляющее представлялось ему во всем этом.

Окончив свой рассказ об обворожительной польке, капитан обратился к Пьеру с вопросом, испытывал ли он подобное чувство самопожертвования для любви и зависти к законному мужу.

Вызванный этим вопросом, Пьер поднял голову и почувствовал необходимость высказать занимавшие его мысли; он стал объяснять, как он несколько иначе понимает любовь к женщине. Он сказал, что он во всю свою жизнь любил и любит только одну женщину и что эта женщина никогда не может принадлежать ему.

— Tiens![3] — сказал капитан.

Потом Пьер объяснил, что он любил эту женщину с самых юных лет; но не смел думать о ней, потому что она была слишком молода, а он был незаконный сын без имени. Потом же, когда он получил имя и богатство, он не смел думать о ней, потому что слишком любил ее, слишком высоко ставил ее над всем миром и потому, тем более, над самим собою. Дойдя до этого места своего рассказа, Пьер обратился к капитану с вопросом: понимает ли он это?

---

[1] парижанку сердцем

[2] Я спас вашу жизнь и спасаю вашу честь!

[3] Вишь ты!

Капитан сделал жест, выражающий то, что ежели бы он не понимал, то он все-таки просит продолжать.

— L'amour platonique, les nuages...[2] — пробормотал он. Выпитое ли вино, или потребность откровенности, или мысль, что этот человек не знает и не узнает никого из действующих лиц его истории, или все вместе развязало язык Пьеру. И он шамкающим ртом, и маслеными глазами глядя куда-то вдаль, рассказал всю свою историю: и свою женитьбу, и историю любви Наташи к его лучшему другу, и ее измену, и все свои несложные отношения к ней. Вызываемый вопросами Рамбаля, он рассказал и то, что скрывал сначала, — свое положение в свете и даже открыл ему свое имя.

Более всего из рассказа Пьера поразило капитана то, что Пьер был очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все и не уехал из Москвы, а остался в городе, скрывая свое имя и звание.

Уже поздно ночью они вместе вышли на улицу. Ночь была теплая и светлая. Налево от дома светлело зарево первого начавшегося в Москве, на Петровке, пожара. Направо стоял высоко молодой серп месяца, и в противоположной от месяца стороне висела та светлая комета, которая связывалась в душе Пьера с его любовью. У ворот стояли Герасим, кухарка и два француза. Слышны были их смех и разговор на непонятном друг для друга языке. Они смотрели на зарево, видневшееся в городе. Ничего страшного не было в небольшом отдаленном пожаре в огромном городе.

Глядя на высокое звездное небо, на месяц, на комету и на зарево, Пьер испытывал радостное умиление. «Ну, вот как хорошо! Ну, чего еще надо?!» — подумал он. И вдруг, когда он вспомнил свое намерение, голова его закружилась, с ним сделалось дурно, так что он прислонился к забору, чтобы не упасть. Не простившись с своим новым другом, Пьер нетвердыми шагами отошел от ворот и, вернувшись в свою комнату, лег на диван и тотчас же заснул.

XXX

На зарево первого занявшегося 2-го сентября пожара с разных дорог с разными чувствами смотрели убегавшие и уезжавшие жители и отступавшие войска.

Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы. 1-го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою. На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ. В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо.

[2] Платоническая любовь, облака...

В соседней избе лежал раненый адъютант Раевского, с разбитой кистью руки, и страшная боль, которую он чувствовал, заставляла его жалобно, не переставая, стонать, и стоны эти страшно звучали в осенней темноте ночи. В первую ночь адъютант этот ночевал на том же дворе, на котором стояли Ростовы. Графиня говорила, что она не могла сомкнуть глаз от этого стона, и в Мытищах перешла в худшую избу только для того, чтобы быть подальше от этого раненого.

Один из людей в темноте ночи, из-за высокого кузова стоявшей у подъезда кареты, заметил другое небольшое зарево пожара. Одно зарево давно уже видно было, и все знали, что это горели Малые Мытищи, зажженные мамоновскими казаками.

— А ведь это, братцы, другой пожар, — сказал денщик.

Все обратили внимание на зарево.

— Да ведь, сказывали, Малые Мытищи мамоновские казаки зажгли.

— Они! Нет, это не Мытищи, это дале.

— Глянь-ка, точно в Москве.

Двое из людей сошли с крыльца, зашли за карету и присели на подножку.

— Это левей! Как же, Мытищи вон где, а это вовсе в другой стороне.

Несколько людей присоединились к первым.

— Вишь, полыхает, — сказал один, — это, господа, в Москве пожар: либо в Сущевской, либо в Рогожской.

Никто не ответил на это замечание. И довольно долго все эти люди молча смотрели на далекое разгоравшееся пламя нового пожара.

Старик, графский камердинер (как его называли), Данило Терентьич подошел к толпе и крикнул Мишку.

— Ты чего не видал, шалава... Граф спросит, а никого нет; иди платье собери.

— Да я только за водой бежал, — сказал Мишка.

— А вы как думаете, Данило Терентьич, ведь это будто в Москве зарево? — сказал один из лакеев.

Данило Терентьич ничего не отвечал, и долго опять все молчали. Зарево расходилось и колыхалось дальше и дальше.

— Помилуй Бог!.. ветер да сушь... — опять сказал голос.

— Глянь-ко, как пошло. О Господи! аж галки видно. Господи, помилуй нас, грешных!

— Потушат небось.

— Кому тушить-то? — послышался голос Данилы Терентьича, молчавшего до сих пор. Голос его был спокоен и медлителен. — Москва и есть, братцы, — сказал он, — она, матушка белока... — Голос его оборвался, и он вдруг старчески всхлипнул. И как будто только этого ждали все, чтобы понять то значение, которое имело для них это видневшееся зарево. Послышались вздохи, слова молитвы и всхлипывание старого графского камердинера.

XXXI

Камердинер, вернувшись, доложил графу, что горит Москва. Граф надел халат и вышел посмотреть. С ним вместе вышла и не раздевавшаяся еще Соня, и madame Schoss. Наташа и графиня одни остались в комнате. (Пети не было больше с семейством: он пошел вперед с своим полком, шедшим к Троице.)

Графиня заплакала, услыхавши весть о пожаре Москвы. Наташа, бледная, с остановившимися глазами, сидевшая под образами на лавке (на том самом месте, на которое она села приехавши), не обратила никакого внимания на слова отца. Она прислушивалась к неумолкаемому стону адъютанта, слышному через три

— Ах, какой ужас! — сказала, со двора возвратившись, иззябшая и испуганная Соня. — Я думаю, вся Москва сгорит, ужасное зарево! Наташа, посмотри теперь, отсюда из окошка видно, — сказала она сестре, видимо, желая чем-нибудь развлечь ее. Но Наташа посмотрела на нее, как бы не понимая того, что у ней спрашивали, и опять уставилась глазами в угол печи. Наташа находилась в этом состоянии столбняка с нынешнего утра, с того самого времени, как Соня, к удивлению и досаде графини, непонятно для чего, нашла нужным объявить Наташе о ране князя Андрея и о его присутствии с ними с поезде. Графиня рассердилась на Соню, как она редко сердилась. Соня плакала и просила прощенья и теперь, как бы стараясь загладить свою вину, не переставая ухаживала за сестрой.

— Посмотри, Наташа, как ужасно горит, — сказала Соня.

— Что горит? — спросила Наташа. — Ах, да, Москва.

И как бы для того, чтобы не обидеть Сони отказом и отделаться от нее, она подвинула голову к окну, поглядела так, что, очевидно, не могла ничего видеть, и опять села в свое прежнее положение.

— Да ты не видела?

— Нет, право, я видела, — умоляющим о спокойствии голосом сказала она.

И графине и Соне понятно было, что Москва, пожар Москвы, что бы то ни было, конечно, не могло иметь значения для Наташи.

Граф опять пошел за перегородку и лег. Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее.

— Ты озябла. Ты вся дрожишь. Ты бы ложилась, — сказала она.

— Ложиться? Да, хорошо, я лягу. Я сейчас лягу, — сказала Наташа.

С тех пор как Наташе в нынешнее утро сказали о том, что князь Андрей тяжело ранен и едет с ними, она только в первую минуту много спрашивала о том, куда? как? опасно ли он ранен? и можно ли ей видеть его? Но после того как ей сказали, что видеть его ей нельзя, что он ранен тяжело, но что жизнь его не в опасности, она, очевидно, не поверив тому, что ей говорили, но убедившись, что, сколько бы она ни говорила, ей будут отвечать одно и то же, перестала спрашивать и говорить. Всю дорогу с большими глазами, которые так знала и которых выражения так боялась графиня, Наташа сидела неподвижно в углу кареты и так же сидела теперь на лавке, на которую села. Что-то она задумала, что-то она решала или уже решила в своем уме

теперь, — это знала графиня, но что это такое было, она не знала, и это-то страшило и мучило ее.

— Наташа, разденься, голубушка, ложись на мою постель. (Только графине одной была постелена постель на кровати; m-me Schoss и обе барышни должны были спать на полу на сене.)

— Нет, мама, я лягу тут, на полу, — сердито сказала Наташа, подошла к окну и отворила его. Стон адъютанта из открытого окна послышался явственнее. Она высунула голову в сырой воздух ночи, и графиня видела, как тонкие плечи ее тряслись от рыданий и бились о раму. Наташа знала, что стонал не князь Андрей. Она знала, что князь Андрей лежал в той же связи, где они были, в другой избе через сени; но этот страшный неумолкавший стон заставил зарыдать ее. Графиня переглянулась с Соней.

— Ложись, голубушка, ложись, мой дружок, — сказала графиня, слегка дотрогиваясь рукой до плеча Наташи. — Ну, ложись же.

— Ах, да... Я сейчас, сейчас лягу, — сказала Наташа, поспешно раздеваясь и обрывая завязки юбок. Скинув платье и надев кофту, она, подвернув ноги, села на приготовленную на полу постель и, перекинув через плечо наперед свою недлинную тонкую косу, стала переплетать ее. Тонкие длинные привычные пальцы быстро, ловко разбирали, плели, завязывали косу. Голова Наташи привычным жестом поворачивалась то в одну, то в другую сторону, но глаза, лихорадочно открытые, неподвижно смотрели прямо. Когда ночной костюм был окончен, Наташа тихо опустилась на простыню, постланную на сено с края от двери.

— Наташа, ты в середину ляг, — сказала Соня.

— Нет, я тут, — проговорила Наташа. — Да ложитесь же, — прибавила она с досадой. И она зарылась лицом в подушку.

Графиня, m-me Schoss и Соня поспешно разделись и легли. Одна лампадка осталась в комнате. Но на дворе светлело от пожара Малых Мытищ за две версты, и гудели пьяные крики народа в кабаке, который разбили мамоновские казаки, на перекоске, на улице, и все слышался неумолкаемый стон адъютанта.

Долго прислушивалась Наташа к внутренним и внешним звукам, доносившимся до нее, и не шевелилась. Она слышала сначала молитву и вздохи матери, трещание под ней ее кровати, знакомый с свистом храп m-me Schoss, тихое дыханье Сони. Потом графиня окликнула Наташу. Наташа не отвечала ей.

— Кажется, спит, мама, — тихо отвечала Соня. Графиня, помолчав немного, окликнула еще раз, но уже никто ей не откликнулся.

Скоро после этого Наташа услышала ровное дыхание матери. Наташа не шевелилась, несмотря на то, что ее маленькая босая нога, выбившись из-под одеяла, зябла на голом полу.

Как бы празднуя победу над всеми, в щели закричал сверчок. Пропел петух далеко, откликнулись близкие. В кабаке затихли крики, только слышался тот же стон адъютанта. Наташа приподнялась.

— Соня, ты спишь? Мама? — прошептала она Никто не ответил. Наташа медленно и осторожно встала, перекрестилась и ступила осторожно узкой и гибкой

босой ступней на грязный холодный пол. Скрипнула половица. Она, быстро перебирая ногами, пробежала, как котенок, несколько шагов и взялась за холодную скобку двери.

Ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя. Стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце.

Она отворила дверь, перешагнула порог и ступила на сырую, холодную землю сеней. Обхвативший холод освежил ее. Она ощупала босой ногой спящего человека, перешагнула через него и отворила дверь в избу, где лежал князь Андрей. В избе этой было темно. В заднем углу у кровати, на которой лежало что-то, на лавке стояла нагоревшая большим грибом сальная свечка.

Наташа с утра еще, когда ей сказали про рану и присутствие князя Андрея, решила, что она должна видеть его. Она не знала, для чего это должно было, но она знала, что свидание будет мучительно, и тем более она была убеждена, что оно было необходимо.

Весь день она жила только надеждой того, что ночью она увидит его. Но теперь, когда наступила эта минута, на нее нашел ужас того, что она увидит. Как он был изуродован? Что оставалось от него? Такой ли он был, какой был этот неумолкавший стон адъютанта? Да, он был такой. Он был в ее воображении олицетворение этого ужасного стона. Когда она увидала неясную массу в углу и приняла его поднятые под одеялом колени за его плечи, она представила себе какое-то ужасное тело и в ужасе остановилась. Но непреодолимая сила влекла ее вперед. Она осторожно ступила один шаг, другой и очутилась на середине небольшой загроможденной избы. В избе под образами лежал на лавках другой человек (это был Тимохин), и на полу лежали еще два какие-то человека (это были доктор и камердинер).

Камердинер приподнялся и прошептал что-то. Тимохин, страдая от боли в раненой ноге, не спал и во все глаза смотрел на странное явление девушки в белой рубашке, кофте и ночном чепчике. Сонные и испуганные слова камердинера: «Чего вам, зачем?» — только заставили скорее Наташу подойти к тому, что лежало в углу. Как ни страшно, ни непохоже на человеческое было это тело, она должна была его видеть. Она миновала камердинера: нагоревший гриб свечки свалился, и она ясно увидала лежащего с выпростанными руками на одеяле князя Андрея, такого, каким она его всегда видела.

Он был такой же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, давали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.

Он улыбнулся и протянул ей руку.

XXXII

Для князя Андрея прошло семь дней с того времени, как он очнулся на перевязочном пункте Бородинского поля. Все это время он находился почти в постоянном беспамятстве. Горячечное состояние и воспаление кишок, которые были

повреждены, по мнению доктора, ехавшего с раненым, должны были унести его. Но на седьмой день он с удовольствием съел ломоть хлеба с чаем, и доктор заметил, что общий жар уменьшился. Князь Андрей поутру пришел в сознание. Первую ночь после выезда из Москвы было довольно тепло, и князь Андрей был оставлен для ночлега в коляске; но в Мытищах раненый сам потребовал, чтобы его вынесли и чтобы ему дали чаю. Боль, причиненная ему переноской в избу, заставила князя Андрея громко стонать и потерять опять сознание. Когда его уложили на походной кровати, он долго лежал с закрытыми глазами без движения. Потом он открыл их и тихо прошептал: «Что же чаю?» Памятливость эта к мелким подробностям жизни поразила доктора. Он пощупал пульс и, к удивлению и неудовольствию своему, заметил, что пульс был лучше. К неудовольствию своему это заметил доктор потому, что он по опыту своему был убежден, что жить князь Андрей не может и что ежели он не умрет теперь, то он только с большими страданиями умрет несколько времени после. С князем Андреем везли присоединившегося к ним в Москве майора его полка Тимохина с красным носиком, раненного в ногу в том же Бородинском сражении. При них ехал доктор, камердинер князя, его кучер и два денщика.

Князю Андрею дали чаю. Он жадно пил, лихорадочными глазами глядя вперед себя на дверь, как бы стараясь что-то понять и припомнить.

— Не хочу больше. Тимохин тут? — спросил он. Тимохин подполз к нему по лавке.

— Я здесь, ваше сиятельство.

— Как рана?

— Моя-то-с? Ничего. Вот вы-то? — Князь Андрей опять задумался, как будто припоминая что-то.

— Нельзя ли достать книгу? — сказал он.

— Какую книгу?

— Евангелие! У меня нет.

Доктор обещался достать и стал расспрашивать князя о том, что он чувствует. Князь Андрей неохотно, но разумно отвечал на все вопросы доктора и потом сказал, что ему надо бы подложить валик, а то неловко и очень больно. Доктор и камердинер подняли шинель, которою он был накрыт, и, морщась от тяжкого запаха гнилого мяса, распространявшегося от раны, стали рассматривать это страшное место. Доктор чем-то очень остался недоволен, что-то иначе переделал, перевернул раненого так, что тот опять застонал и от боли во время поворачивания опять потерял сознание и стал бредить. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда.

— И что это вам стоит! — говорил он. — У меня ее нет, — достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку, — говорил он жалким голосом.

Доктор вышел в сени, чтобы умыть руки.

— Ах, бессовестные, право, — говорил доктор камердинеру, лившему ему воду на руки. — Только на минуту недосмотрел. Ведь вы его прямо на рану положили. Ведь это такая боль, что я удивляюсь, как он терпит.

— Мы, кажется, подложили, Господи Иисусе Христе, — говорил камердинер.

В первый раз князь Андрей понял, где он был и что с ним было, и вспомнил то, что он был ранен и как в ту минуту, когда коляска остановилась в Мытищах, он попросился в избу. Спутавшись опять от боли, он опомнился другой раз в избе, когда пил чай, и тут опять, повторив в своем воспоминании все, что с ним было, он живее всего представил себе ту минуту на перевязочном пункте, когда при виде страданий не любимого им человека, ему пришли эти новые, сулившие ему счастие мысли. И мысли эти, хотя и неясно и неопределенно, теперь опять овладели его душой. Он вспомнил, что у него было теперь новое счастье и что это счастье имело что-то такое общее с Евангелием. Потому-то он попросил Евангелие. Но дурное положение, которое дали его ране, новое переворачиванье опять смешали его мысли, и он в третий раз очнулся к жизни уже в совершенной тишине ночи. Все спали вокруг него. Сверчок кричал через сени, на улице кто-то кричал и пел, тараканы шелестели по столу и образам, и осенняя толстая муха билась у него по изголовью и около сальной свечи, нагоревшей большим грибом и стоявшей подле него.

Душа его была не в нормальном состоянии. Здоровый человек обыкновенно мыслит, ощущает и вспоминает одновременно о бесчисленном количестве предметов, но имеет власть и силу, избрав один ряд мыслей или явлений, на этом ряде явлении остановить все свое внимание. Здоровый человек в минуту глубочайшего размышления отрывается, чтобы сказать учтивое слово вошедшему человеку, и опять возвращается к своим мыслям. Душа же князя Андрея была не в нормальном состоянии в этом отношении. Все силы его души были деятельнее, яснее, чем когда-нибудь, но они действовали вне его воли. Самые разнообразные мысли и представления одновременно владели им. Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии; но вдруг, посредине своей работы, она обрывалась, заменялась каким-нибудь неожиданным представлением, и не было сил возвратиться к ней.

«Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, — думал он, лежа в полутемной тихой избе и глядя вперед лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами. — Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог. Но как же Бог предписал этот закон? Почему сын?..» И вдруг ход мыслей этих оборвался, и князь Андрей услыхал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услыхал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самой серединой воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок. Он чувствовал (хотя это и тяжело ему было), что ему надо было старательно держать равновесие, для того чтобы воздвигавшееся здание это не завалилось; но оно все-таки заваливалось и опять

медленно воздвигалось при звуках равномерно шепчущей музыки. «Тянется, тянется! растягивается и все тянется», — говорил себе князь Андрей. Вместе с прислушиваньем к шепоту и с ощущением этого тянущегося и воздвигающегося здания из иголок князь Андрей видел урывками и красный окруженный кругом свет свечки и слышал шуршанье тараканов и шуршанье мухи, бившейся о подушку и на лицо его. И всякий раз, как муха прикасалась к его лицу, она производила жгучее ощущение; но вместе с тем его удивляло то, что, ударяясь в самую область воздвигавшегося на лице его здания, муха не разрушала его. Но, кроме этого, было еще одно важное. Это было белое у двери, это была статуя сфинкса, которая тоже давили см о.

«Но, может быть, это моя рубашка на столе, — думал князь Андрей, — а это мои ноги, а это дверь; но отчего же все тянется и выдвигается и пити-пити-пити и ти-ти — и пити-пити-пити...» — Довольно, перестань, пожалуйста, оставь, — тяжело просил кого-то князь Андрей. И вдруг опять выплывала мысль и чувство с необыкновенной ясностью и силой.

«Да, любовь (думал он опять с совершенной ясностью), но не та любовь, которая любит за что-нибудь, для чего-нибудь или почему-нибудь, но та любовь, которую я испытал в первый раз, когда, умирая, я увидал своего врага и все-таки полюбил его. Я испытал то чувство любви, которая есть самая сущность души и для которой не нужно предмета. Я и теперь испытываю это блаженное чувство. Любить ближних, любить врагов своих. Все любить — любить Бога во всех проявлениях. Любить человека дорогого можно человеческой любовью; но только врага можно любить любовью Божеской. И от этого-то я испытал такую радость, когда я почувствовал, что люблю того человека. Что с ним? Жив ли он... Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но Божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как ее». И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одною ее прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе ее душу. И он понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. «Ежели бы мне было возможно только еще один раз увидеть ее. Один раз, глядя в эти глаза, сказать...»

И пити-пити-пити и ти-ти, и пити-пити — бум, ударилась муха... И внимание его вдруг перенеслось в другой мир действительности и бреда, в котором что-то происходило особенное. Все так же в этом мире воздвигалось, не разрушаясь, здание, все так же тянулось что-то, так же с красным кругом горела свечка, та же рубашка-сфинкс лежала у двери; но, кроме всего этого, что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром, и новый белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал.

«О, как тяжел этот неперестающий бред!» — подумал князь Андрей, стараясь изгнать это лицо из своего воображения. Но лицо это стояло перед ним с силою действительности, и лицо это приближалось.

«Наташа Ростова и князь Андрей Болконский в Мытищах» (Акварель Л.О. Пастернака)

Князь Андрей хотел вернуться к прежнему миру чистой мысли, но он не мог, и бред втягивал его в свою область. Тихий, шепчущий голос продолжал свой мерный лепет, что-то давило, тянулось, и странное лицо стояло перед ним. Князь Андрей собрал все свои силы, чтобы опомниться; он пошевелился, и вдруг в ушах его зазвенело, в глазах помутилось, и он, как человек, окунувшийся в воду, потерял сознание. Когда он очнулся, Наташа, та самая живая Наташа, которую изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой Божеской любовью, которая была теперь открыта ему, стояла перед ним на коленях. Он понял, что это была живая, настоящая Наташа, и не удивился, но тихо обрадовался. Наташа, стоя на коленях, испуганно, но прикованно (она не могла двинуться) глядела на него, удерживая рыдания. Лицо ее было бледно и неподвижно. Только в нижней части его трепетало что-то.

Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.

— Вы? — сказал он. — Как счастливо!

Наташа быстрым, но осторожным движением подвинулась к нему на коленях и, взяв осторожно его руку, нагнулась над ней лицом и стала целовать ее, чуть дотрогиваясь губами.

— Простите! — сказала она шепотом, подняв голову и взглядывая на него. — Простите меня!

— Я вас люблю, — сказал князь Андрей.

— Простите...

— Что простить? — спросил князь Андрей.

— Простите меня за то, что я сде...лала, — чуть слышным, прерывным шепотом проговорила Наташа и чаще стала, чуть дотрогиваясь губами, целовать руку.

— Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, — сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.

Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно-любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.

Петр-камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.

— Это что такое? — сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. — Извольте идти, сударыня.

В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.

Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.

С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.

Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.

XXXIII

Пьер проснулся 3-го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего-то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.

Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.

«Уж не опоздал ли я? — подумал Пьер. — Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.

Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой

пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», — сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.

Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.

Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор. Поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.

Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно-робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно-сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно и любопытно смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что-то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по-французски?

Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что-то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь — наученный опытом прошлой ночи — как-нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были быть приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь

поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное — не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.

Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.

По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языки из-за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что-то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному мосту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.

В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что-то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи-няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из-под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из-под них какие-то одеяния.

Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.

— Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто-нибудь помогите, — выговаривала она сквозь рыдания. — Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О-о-оо! для того я тебя леле... О-о-оо!

— Полно, Марья Николаевна, — тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. — Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть! — прибавил он.

— Истукан! Злодей! — злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. — Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, — скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. — Загорелось рядом, — бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили... Вот что захватили... Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать

детей, Катечки нет. О Господи! О-о-о! — и опять она зарыдала. — Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!

— Да где, где же она осталась? — сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.

— Батюшка! Отец! — закричала она, хватая его за ноги. — Благодетель, хоть сердце мое успокой... Аниска, иди, мерзкая, проводи, — крикнула она девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.

— Проводи, проводи, я... я... сделаю я, — запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.

Грязная девка вышла из-за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое-где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что-то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.

— On ne passe pas[1], — крикнул ему голос.

— Сюда, дяденька! — проговорила девка. — Мы переулком, через Никулиных пройдем.

Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула напротив в ворота.

— Вот тут сейчас, — сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из-под отверстий окон и из-под крыши.

Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.

— Который, который ваш дом? — спросил он.

— О-о-ох! — завыла девка, указывая на флигель. — Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о-ох! — завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.

Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольно описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что-то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.

[1] Не пропускать

Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато-золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное, возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера потому, что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего-то тяжелого, упавшего подле него.

Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими-то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.

— Eh bien, qu'est-ce qu'il veut celui-là[1], — крикнул один из французов на Пьера.

— Un enfant dans cette maison. N'avez-vous pas vu un enfant?[2] — сказал Пьер.

— Tiens, qu'est-ce qu'il chante celui-là? Va te promener[3], — послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.

— Un enfant? — закричал сверху француз. — J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut-être c'est son moutard au bonhomme. Faut être humain, voyez-vous...[4]

— Où est-il? Où est-il?[5] — спрашивал Пьер.

— Par ici! Par ici — кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. — Attendez, je vais descendre[6].

И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким-то пятном на щеке, в одной рубашке, выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.

— Dépêchez-vous, vous autres, — крикнул он своим товарищам, — commence à faire chaud[7].

Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.

---

[1] — Ну, а этому-то что нужно? — крикнул один из французов на Пьера.

[2] — Ребенок в этом доме. Не видели ли вы ребенка? — сказал Пьер.

[3] — Ишь ты, что это он там поет (что он там толкует)? Проваливай!

[4] — Ребенок? — закричал сверху француз. — Я слышал, как в саду что-то пищало. Может, это малыш этого почтенного человека. Надо быть людьми, понимаете ли...

[5] — Где он? Где он? — спрашивал Пьер

[6] — Сюда! Сюда! — кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. — Подождите, я сейчас сойду.

[7] — Живее вы, остальные! — крикнул он своим товарищам. — Становится жарко.

— Voilà votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, — сказал француз. — Au revoir, mon gros. Faut être humain. Nous sommes tous mortels, voyez-vous[8] , — и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.

Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно-болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно-злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому-нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.

XXXIV

Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого-то. Пьеру казалось, что ему что-то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что-то трогательно-невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.

На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она в своем богатом атласном салопе и ярко-лиловом платке,

[8] — Вот ваш малец. А, это девочка, тем лучше, — сказал француз. — Прощайте, здоровяк. Надо быть людьми. Все мы смертны, понимаете ли...

накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно-большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все-таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.

Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.

— Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок-то? — спрашивали у него.

Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине в черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.

— Ведь это Анферовы должны быть, — сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. — Господи помилуй, Господи помилуй, — прибавил он привычным багом.

— Где Анферовы! — сказала баба. — Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.

— Он говорит — женщина, а Марья Николавна — барыня, — сказал дворовый человек.

— Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, — говорил Пьер.

— И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки-то эти налетели, — сказала баба, указывая на французских солдат.

— О, Господи помилуй, — прибавил опять дьякон.

— Вы пройдите вот туда-то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, — сказала опять баба. — Она и есть. Вот сюда-то.

Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянские семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в Синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шинели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что-то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.

— Возьми, возьми ребенка, — проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. — Ты отдай им, отдай! — закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство.

Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что-то, но Пьер

только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.

Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.

Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.

— Laissez celte femme![1] — бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутуловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.

— Voyons, pas de bêtises![2] — крикнул он.

Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, и в то же время из-за угла показался конный разъезд французских уланов Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их, Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого-то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.

— Il a un poignard, lieutenant[3], — были первые слова, которые понял Пьер.

— Ah, une arme![4] — сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.

— C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre, — сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: — Parlez-vous français, vous?[5]

Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что-то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.

— Parlez-vous français? — повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. — Faites venir l'interprête[6]. — Из-за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.

— Il n'a pas l'air d'un homme du peuple[7], — сказал переводчик, оглядев Пьера.

---

[1] – Оставьте эту женщину!

[2] – Ну же, без глупостей!

[3] — У него кинжал, лейтенант!

[4] — А, оружие!

[5] — Хорошо, вы скажете всё это военному суду, — сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: — Вы говорите по-французски?

[6] — Вы говорите по-французски? — повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. — Позовите переводчика.

[7] — Он не похож на человека из простонародья (на простолюдина)

— Oh, oh! ça m'a bien l'air d'un des incendiaires, — сказал офицер. — Demandez-lui ce qu'il est?[6] — прибавил он.

— Ти кто? — спросил переводчик. — Ти должно отвечать начальство, — сказал он.

— Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez-moi[7], — вдруг по-французски сказал Пьер.

— Ah! Ah! — проговорил офицер, нахмурившись. — Marchons![8]

Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.

— Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? — сказала она. — Девочку-то, девочку-то куда я дену, коли она не ихняя! — говорила баба.

— Qu'est ce qu'elle veut cette femme?[9] — спросил офицер.

Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.

— Ce qu'elle dit? — проговорил он. — Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, — проговорил он. — Adieu![10] — и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.

Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.

---

[6] — О-хо! Он очень даже похож на одного из поджигателей, — сказал офицер. — Спросите-ка его, кто он такой?

[7] — Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Ведите меня

[8] — А! А! — проговорил офицер, нахмурившись. — Марш (Пошли)!

[9] — Чего хочет эта женщина? — спросил офицер

[10] — Что она говорит? — проговорил он. — Она несет мне мою дочь, которую я только что спас из пламени, — проговорил он. — Прощайте! — и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

Часть первая

I

В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому; и из-за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.

У Анны Павловны 26-го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического, духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие — ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.

Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому-то итальянскому доктору, лечившему ее каким-то новым и необыкновенным способом.

Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.

— On dit que la pauvre comtesse est très mal. Le médecin dit que c'est l'angine pectorale.

— L'angine? Oh, c'est une maladie terrible!

— On dit que les rivaux se sont réconciliés grâce à l'angine...[1]

Слово angine повторялось с большим удовольствием.

— Le vieux comte est touchant à ce qu'on dit. Il a pleuré comme un enfant quand le médecin lui a dit que le cas était dangereux.

— Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante.

— Vous parlez de la pauvre comtesse, — сказала, подходя, Анна Павловна. — J'ai envoyé savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, — сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. — Nous appartenons à des camps différents, mais cela ne m'empêche pas de l'estimer, comme elle le mérite. Elle est bien malheureuse[2], — прибавила Анна Павловна.

Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.

— Vos informations peuvent être meilleures que les miennes, — вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. — Mais je sais de bonne source que ce médecin est un homme très savant et très habile. C'est le médecin intime de la Reine d'Espagne[3]. — И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot[4], говорил об австрийцах.

— Je trouve que c'est charmant! — говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le héros de Pétropol[5] (как его называли в Петербурге).

---

[1] — Говорят, бедная графиня совсем плоха. Врач говорит, что это грудная жаба.

— Грудная жаба? Ах, это ужасная болезнь!

— Говорят, что соперники помирились благодаря этой болезни….

[2] — Говорят, старый граф трогателен до слёз. Он заплакал, как ребёнок, когда врач сказал ему, что случай опасный.

— Ах, это была бы ужасная потеря. Она — восхитительная женщина.

— Вы говорите о бедной графине, — сказала, подходя, Анна Павловна. — Я послала узнать о её здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, разумеется, это самая прелестная женщина на свете, — сказала Анна Павловна с улыбкой, смягчающей её восторг. — Мы принадлежим к разным лагерям, но это не мешает мне ценить её по достоинству. Она очень несчастна, — прибавила Анна Павловна.

[3] — Ваши сведения могут быть и лучше моих, — вдруг ядовито набросилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. — Но я знаю из достоверного источника, что этот врач — человек очень учёный и очень искусный. Это придворный врач испанской королевы.

[4] одно словечко

[5] — Я нахожу, что это очаровательно! — говорил он о дипломатической бумаге, с которой были отправлены в Вену австрийские знамёна, взятые Витгенштейном, героем Петрополя (как его называли в Петербурге).

— Как, как это? — обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.

И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:

— L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, — сказал Билибин, — drapeaux amis et égarés qu'il a trouvé hors de la route, — докончил Билибин, распуская кожу.

— Charmant, charmant, — сказал князь Василий.

— C'est la route de Varsovie peut-être[2], — громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, — думал он, — а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.

— Всемилостивейший государь император! — строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что-нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. — «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего, — вдруг ударил он на слове своего, — яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: „Осанна, благословен грядый!“» — Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.

Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф...» — прошептала она.

Князь Василий продолжал:

— «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да

[2] — Император возвращает австрийские знамёна, — сказал Билибин, — знамёна дружественные и заблудившиеся, которые он нашёл на дороге, — закончил Билибин, распуская кожу.

— Прелестно, прелестно, — сказал князь Василий.

— Это, может быть, дорога на Варшаву, — громко и неожиданно сказал князь Ипполит.

всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».

— Quelle force! Quel style![1] — послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.

— Vous verrez[2], — сказала Анна Павловна, — что завтра, в день рождения государя, мы получили известие. У меня есть хорошее предчувствие.

II

Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.

Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно-праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.

Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их Полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого-нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события — смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:

— Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!

— Что я вам говорил про Кутузова? — говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. — Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.

Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.

---

[1] Какая сила! Какой слог!

[2] Вы увидите

— Каково положение государя! — говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protégé Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale[1], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le médecin intime de la Reine d'Espagne[2] предписал Элен небольшие дозы какого-то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.

Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.

На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoléance[3] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.

— Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.

Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:

«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи, Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».

Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:

---

[1] «грудной жабы» (стенокордии)

[2] придворный врач испанской королевы

[3] визитов соболезнования

«Князь Михаил Иларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1-го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал-адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».

III

Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по-русски, но quoique étranger. Russe de cur et d'âme[1], как он сам говорил про себя.

Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по-русски, чувствовал себя все-таки растроганным, когда он явился перед notre très gracieux souverain (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes éclairaient sa route[2].

Хотя источник chagrin[3] г-на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:

— M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel?

— Bien tristes, sire, — отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, — l'abandon de Moscou.

— Aurait on livré mon ancienne capitale sans se battre?[4] — вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.

Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, — именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор — потерять армию и Москву, или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.

Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.

— L'ennemi est-il en ville?[5] — спросил он.

— Oui, sire, et elle est en cendres à l'heure qu'il est. Je l'ai laissée toute en flammes[6], — решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он

---

[1] …но, хотя и иностранец, — «русский сердцем и душой», как он сам про себя говорил

[2] …когда он явился перед «нашим всемилостивейшим государем» (как он писал) с известием о пожаре Москвы, пламя которой освещало его путь

[3] горя

[4] — Вы привозите мне печальные вести, полковник?
— Очень печальные, государь, — отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, — оставление Москвы.
— Неужели мою древнюю столицу отдали без боя! — вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.

[5] — Враг уже в городе?

[6] — Да, государь, и теперь она в пепле. Я оставил её всю в огне, — решительно сказал Мишо

сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажнились слезами.

Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.

— Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive, — сказал он, — que la providence exige de grands sacrifices de nous... Je suis prêt à me soumettre à toutes ses volontés; mais dites moi, Michaud, comment avez-vous laissé l'armée, en voyant ainsi, sans coup férir, abandonner mon ancienne capitale? N'avez-vous pas aperçu du découragement?..[1]

Увидав успокоение своего très gracieux souverain[2], Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.

— Sire, me permettez-vous de vous parler franchement en loyal militaire?[3] — сказал он, чтобы выиграть время.

— Colonel, je l'exige toujours, — сказал государь. — Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est[4].

— Sire! — сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots. — Sire! j'ai laissé toute l'armée depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte épouvantable, effrayante...[5].

— Comment ça? — строго нахмурившись, перебил государь. — Mes Russes se laisseront-ils abattre par le malheur... Jamais!..[6]

Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.

— Sire, — сказал он с почтительной игривостью выражения, — ils craignent seulement que Votre Majesté par bonté de cur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brûlent de combattre, — говорил уполномоченный русского народа, — et de prouver à Votre Majesté par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont dévoués... [7]

— Ah! — успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. — Vous me tranquillisez, colonel[8].

---

[1] — Я вижу, полковник, по всему тому, что с нами происходит, — сказал он, — что провидение требует от нас великих жертв… Я готов покориться всем его велениям; но скажите мне, Мишо, как вы оставили армию, увидев, что мою древнюю столицу оставили без единого удара? Не заметили ли вы упадка духа?..

[2] всемилостивейший государь

[3] — Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?

[4] — Полковник, я всегда этого требую, — сказал государь. — Не скрывайте от меня ничего, я хочу совершенно точно знать, как обстоит дело

[5] — Государь! — сказал Мишо с тонкой, едва заметной улыбкой на губах, успев заранее приготовить свой ответ в форме лёгкого и почтительного каламбура. — Государь! Я оставил всю армию — от начальников до последнего солдата, без исключения — в страхе ужасном, потрясающем…

[6] — Как так? — строго нахмурившись, перебил государь. — Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей... Никогда!

[7] — Государь, — сказал он с почтительной игривостью выражения, — они боятся только, что Ваше Величество, по доброте сердца, позволит уговорить себя заключить мир. Они жаждут сражаться, — говорил уполномоченный русского народа, — и доказать Вашему Величеству жертвой своей жизни, как они вам преданы…

[8] — Ах! — успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя Мишо по плечу. — Вы меня успокаиваете, полковник

Государь, опустив голову, молчал несколько времени.

— Eh bien, retournez à l'armée, — сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, — et dites à nos braves, dites à tous mes bons sujets partout où vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi-même à la tête de ma chère noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'à la dernière ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, — говорил государь, все более и более воодушевляясь. — Mais si jamais il fut écrit dans les décrets de la divine providence, — сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, — que ma dinastie dût cesser de régner sur le trône de mes ancêtres, alors, après avoir épuisé tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croître la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier.de mes paysans plutôt que de signer la honte de ma patrie et de ma chère nation, dont je sais apprécier les sacrifices!..[2] — Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.

— Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut-être qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir... Napoléon ou moi, — сказал государь, дотрогиваясь до груди. — Nous ne pouvons plus régner ensemble. J'ai appris à le connaître, il ne me trompera plus... [3] — И государь нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо — quoique étranger, mais Russe de cur et d'âme — почувствовал себя в эту торжественную минуту — enthousiasmé par tout ce qu'il venait d'entendre[4] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.

— Sire! — сказал он. — Votre Majesté signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe![5]

Государь наклонением головы отпустил Мишо.

IV

В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества,

---

[2] — Итак, возвращайтесь в армию, — сказал он, выпрямляясь во весь рост и обращаясь к Мишо ласковым и величественным жестом, — и скажите нашим храбрецам, скажите всем моим подданным, где бы вы ни проходили, что когда у меня не останется ни одного солдата, я сам стану во главе моей любезных дворян, моих добрых крестьян и и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги, — говорил государь, всё более и более воодушевляясь. — Но если когда-нибудь было предначертано в велениях божественного провидения, — сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, — чтобы моя династия перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, исчерпав все средства, какие в моей власти, я отпущу себе бороду до сих пор (государь показал рукой на половину груди), и пойду есть картофель с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моей родины и моего дорогого народа, чьи жертвы я умею ценить!..

[3] — Полковник Мишо, не забудьте того, что я говорю вам здесь; быть может, когда-нибудь мы вспомним об этом с удовольствием… Наполеон или я, — сказал государь, дотрогиваясь до груди. — Мы уже не можем царствовать вместе. Я научился его понимать, он больше меня не обманет…

[4] хотя иностранец, но русский в глубине души... восхищенным всем тем, что он услышал.

[5] — Государь! — сказал он. — Ваше Величество в эту минуту подписывает славу нации и спасение Европы!

невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из-за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дела, а руководились только личными интересами настоящего. И эти-то люди были самыми полезными деятелями того времени.

Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.

Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке-маркитантше и тому подобное...

Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.

По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим

удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.

За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.

Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, — это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.

В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто-начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.

Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.

От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.

— Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, — сказал губернатор, отпуская его.

Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.

Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист-холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.

Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже

сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.

Переодевшись, надушившись и облив голову холодной водой, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais[1], явился к губернатору.

Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по-бальному.

Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая-то особенная размашистость — море по колено, трын-трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.

Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.

Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец — офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его — русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержанностью.

Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux lard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца-повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и назвала его «Nicolas» и «ты».

Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах.

[1] лучше поздно, чем никогда

Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [1] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем-нибудь необыкновенным, чем-нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.

Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них. Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся — то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.

V

Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.

Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.

— Какую же?

— Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот — кораллы, белизна... — он глядел на плечи, — стан — Дианы...

Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.

— А! Никита Иваныч, — сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.

Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.

— Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, — сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. — Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?

---

[1] дурным тоном.

— О да, ma tante[1]. Кто же это?

— Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее... Угадаешь?..

— Мало ли я их там спасал! — сказал Николай.

— Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..

— И не думал, полноте, ma tante.

— Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!

Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.

— Очень рада, мой милый, — сказала она, протянув ему руку. — Милости прошу ко мне.

Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.

Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.

Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.

— Знаешь, mon cher, — сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, — вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю.

— Кого, ma tante? — спросил Николай.

— Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по-моему, нет, — княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.

— Совсем нет, — как бы обидевшись, сказал Николай. — Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, — сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.

— Так помни же: это не шутка.

— Какая шутка!

— Да, да, — как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. — А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous êtes trop assidu auprès de l'autre, la blonde[2]. Муж уж жалок, право...

---

[1] моя тетя

[2] — А вот что еще, дорогая, между прочим. Ты слишком ухаживаешь за той, за блондинкой…

— Ах нет, мы с ним друзья, — в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого-нибудь не весело.

«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! — вдруг за ужином вспомнилось Николаю. — Она точно сватать начнет, а Соня?...» И, прощаясь в губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», — он отвел ее в сторону:

— Но вот что, по правде вам сказать, ma tante...

— Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.

Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.

— Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из-за денег.

— О да, понимаю, — сказала губернаторша. — Но княжна Болконская, это другое дело; во-первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило, что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как-то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом все... Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.

Губернаторша пожала его благодарно за локоть.

— Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней... Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, — нескладно и краснея говорил Николай.

— Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены... Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.

Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.

— Все-таки, ma tante, этого не может быть, — со вздохом сказал он, помолчав немного. — Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?

— Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a manière et manière[1], — сказала губернаторша.

— Какая вы сваха, ma tante... — сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.

[1] «Есть манера и манера» (то есть делать одно и то же можно по-разному, и разница в способе имеет решающее значение)

VI

Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника — все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во Время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат — единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.

Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все-таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, — княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.

В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие-то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.

Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.

— Вы его видели, тетушка? — сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.

Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M-lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.

«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное — этот такт и грация!» — думала m-lle Bourienne.

Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m-lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая-то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование — все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.

Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.

Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.

Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.

Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд, и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.

Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все-таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.

Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.

Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда-то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что-то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.

После его свидания с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда-то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.

VII

Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).

Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как-то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.

Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.

— Ты видел княжну? — сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.

Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из-за шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.

Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной доброты; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.

— Я одно хотел вам сказать, княжна, — сказал Ростов, — это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.

Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.

— И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, — говорил Николай. — Надо надеяться на лучшее, и я уверен...

Княжна Марья перебила его.

— О, это было бы так ужа... — начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.

Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда-нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.

Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что, уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное — эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.

«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! — говорил он сам с собою. — Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; по с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.

Мечтания о Соне имели в себе что-то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.

«Как она молилась! — вспомнил он. — Видно было, вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? — вспомнил он. — Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, — вспомнил он слова губернаторши, — кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman... дела... путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! — начал он вдруг молиться. — Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», — сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминаниями о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими-то бумагами.

— Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! — сказал Николай, быстро переменяя положение.

— От губернатора, — заспанным голосом сказал Лаврушка, — кульер приехал, письмо вам.

— Ну, хорошо, спасибо, ступай!

Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть несколько строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.

— Нет, это не может быть! — проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его, стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что Бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что-то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро свершилось, доказывало то, что это происходило не от Бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.

Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время — все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.

«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, — писала она, — и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что, несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».

Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть большие надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.

С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.

На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.

VIII

Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.

Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроенная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.

— Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.

Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвования она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвования она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все-таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.

Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытывала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что Бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких

страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.

В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.

В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из-за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.

— Наташа, что ты? Поди сюда, — сказала графиня.

Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к Богу и его угоднику.

Тотчас после ухода настоятеля Наташа взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.

— Соня, да? он будет жив? — сказала она. — Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, — все по-старому. Только бы он был жив. Он не может... потому что, потому... что... — И Наташа расплакалась.

— Так! Я знала это! Слава Богу, — проговорила Соня. — Он будет жив!

Соня была взволнована не меньше своей подруги — и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» — думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги поделили к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.

Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.

— Ах, Наташа! — вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.

— Что? что? — спросила Наташа.

— Это то, то, вот... — сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.

Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.

— Помнишь ты, — с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, — помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела... В Отрадном, на святках... Помнишь, что я видела?..

— Да, да! — широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что-то о князе Андрее, которого она видела лежащим.

— Помнишь? — продолжала Соня. — Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, — говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, — и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, — говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем-то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.

— Да, да, именно розовым, — сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.

— Но что же это значит? — задумчиво сказала Наташа.

— Ах, я не знаю, как все это необычайно! — сказала Соня, хватаясь за голову.

Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.

В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.

— Соня, — сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. — Соня, ты не напишешь Николеньке? — сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.

Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.

— Я напишу, maman, — сказала она.

Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.

IX

На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношениях к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный) человек, и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.

Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула — для офицеров и солдат — он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем-то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что-нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно-задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.

Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по-французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.

На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой-то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.

Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что-нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il

avait sauvé des flammes[1]. — Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что... Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.

— Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, — строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.

На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.

Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческою дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.

В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.

Эти первые дни, до 8-го сентября, — дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.

X

8-го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom[2]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое-где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Новодевичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было

[1] которого он спас из пламени — Ред.

[2] тот, который не говорит своего имени

воскресенье и праздник Рождества Богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.

Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого-то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда-то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.

Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.

Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.

Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой-то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:

— Qui êtes-vous?[1]

Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что-нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.

[1] Кто вы такой?

— Я знаю этого человека, — мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.

— Mon général, vous ne pouvez pas me connaître, je ne vous ai jamais vu...

— C'est un espion russe[1], — перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.

— Non, monseigneur, — сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. — Non, monseigneur, vous n'avez pas pu me connaître. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitté Moscou.

— Votre nom? — повторил Даву.

— Besouhof.

— Qu'est-ce qui me prouvera que vous ne mentez pas?

— Monseigneur![2] — вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.

В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.

— Comment me prouverez vous la vérité de ce que vous me dites[3] — сказал Даву холодно.

Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию и улицу, на которой был дом.

— Vous n'êtes pas ce que vous dites[4], — опять сказал Даву.

Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.

Но в это время вошел адъютант и что-то доложил Даву.

Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.

---

[1] — Генерал, вы меня не знаете, я вас никогда не видел...
— Это русский шпион, — перебил его Даву, обращаясь к другому генералу…

[2] — Нет, ваша светлость, — сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцогом. — Нет, ваша светлость, вы не могли меня знать. Я военный офицер и не уезжал из Москвы.
— Ваше имя? — повторил Даву.
— Безухов.
— Что мне докажет, что ты не лжешь?
— Ваша светлость! — вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.

[3] — Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?

[4] — Вы не тот, за кого себя выдаёте, — снова сказал Даву.

Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести — Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.

Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что-то.

— Oui, sans doute![2] — сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.

Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его — Пьера, со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто

Это был порядок, склад обстоятельств.

Порядок какой-то убивал его — Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.

XI

От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной Землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.

Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударило с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него — желание, чтобы поскорее сделалось что-то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.

Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.

[2] Да, разумеется!

Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять — по одному или по два? «По два», — холодно-спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, — и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.

Чиновник-француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников и прочел по-русски и по-французски приговор.

Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.

Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из-за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что-то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.

Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух: и вместе с этими звуками он увидал дым, чью-то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что-то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.

На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто же это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» — на секунду блеснуло в душе Пьера.

— Tirailleurs du 86-me, en avan![1] — прокричал кто-то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, — одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что-то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что-то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.

[1] Стрелки 86-го, вперед!

Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.

Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.

«Расстреливание французами поджигателей в Москве» (Акварель Л.О. Пастернака)

Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему-то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что-то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.

Все, очевидно, несомненно знали, что они были Преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.

Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.

Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.

Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво-бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер-офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.

— Ça leur apprendra à incendier[1], — сказал кто-то из французов. Пьер оглянулся на говорившего и увидал, что это был солдат, который хотел утешиться чем-нибудь в том, что было сделано, но не мог. Не договорив начатого, он махнул рукою и пошел прочь.

XII

После казни Пьера отделили от других подсудимых и оставили одного в небольшой, разоренной и загаженной церкви.

Перед вечером караульный унтер-офицер с двумя солдатами вошел в церковь и объявил Пьеру, что он прощен и поступает теперь в бараки военнопленных. Не понимая того, что ему говорили, Пьер встал и пошел с солдатами. Его привели к построенным вверху поля из обгорелых досок, бревен и тесу балаганам и ввели в один из них. В темноте человек двадцать различных людей окружили Пьера. Пьер смотрел на них, не понимая, кто такие эти люди, зачем они и чего хотят от него. Он слышал слова, которые ему говорили, но не делал из них никакого вывода и приложения: не понимал их значения. Он сам отвечал на то, что у него спрашивали, но не соображал того, кто слушает его и как, поймут его ответы. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны.

С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. В нем, хотя он и не отдавал себе отчета, уничтожилась вера и в благоустройство мира, и в человеческую, и в свою душу, и в Бога. Это состояние было испытываемо Пьером прежде, но никогда с такою силой, как теперь. Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения, — сомнения эти имели источником собственную вину. И в самой глубине души Пьер тогда чувствовал, что от того отчаяния и тех сомнений было спасение в самом себе. Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти.

[1] Это их научит поджигать

Вокруг него в темноте стояли люди: верно, что-то их очень занимало в нем. Ему рассказывали что-то, расспрашивали о чем-то, потом повели куда-то, и он, наконец, очутился в углу балагана рядом с какими-то людьми, переговаривавшимися с разных сторон, смеявшимися.

— И вот, братцы мои... тот самый принц, который (с особенным ударением на слове который)... — говорил чей-то голос в противуположном углу балагана.

Молча и неподвижно сидя у стены на соломе, Пьер то открывал, то закрывал глаза. Но только что он закрывал глаза, он видел пред собой то же страшное, в особенности страшное своей простотой, лицо фабричного и еще более страшные своим беспокойством лица невольных убийц. И он опять открывал глаза и бессмысленно смотрел в темноте вокруг себя.

Рядом с ним сидел, согнувшись, какой-то маленький человек, присутствие которого Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, который отделялся от него при всяком его движении. Человек этот что-то делал в темноте с своими ногами, и, несмотря на то, что Пьер не видал его лица, он чувствовал, что человек этот беспрестанно взглядывал на него. Присмотревшись в темноте, Пьер понял, что человек этот разувался. И то, каким образом он это делал, заинтересовало Пьера.

Размотав бечевки, которыми была завязана одна нога, он аккуратно свернул бечевки и тотчас принялся за другую ногу, взглядывая на Пьера. Пока одна рука вешала бечевку, другая уже принималась разматывать другую ногу. Таким образом аккуратно, круглыми, спорыми, без замедления следовавшими одно за другим движеньями, разувшись, человек развесил свою обувь на колышки, вбитые у него над головами, достал ножик, обрезал что-то, сложил ножик, положил под изголовье и, получше усевшись, обнял свои поднятые колени обеими руками и прямо уставился на Пьера. Пьеру чувствовалось что-то приятное, успокоительное и круглое в этих спорых движениях, в этом благоустроенном в углу его хозяйстве, в запахе даже этого человека, и он, не спуская глаз, смотрел на него.

— А много вы нужды увидали, барин? А? — сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слезы. Маленький человек в ту же секунду, не давая Пьеру времени выказать свое смущение, заговорил тем же приятным голосом.

— Э, соколик, не тужи, — сказал он с той нежно-певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. — Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить! Вот так-то, милый мой. А живем тут, слава Богу, обиды нет. Тоже люди и худые и добрые есть, — сказал он и, еще говоря, гибким движением перегнулся на колени, встал и, прокашливаясь, пошел куда-то.

— Ишь, шельма, пришла! — услыхал Пьер в конце балагана тот же ласковый голос. — Пришла, шельма, помнит! Ну, ну, буде. — И солдат, отталкивая от себя собачонку, прыгавшую к нему, вернулся к своему месту и сел. В руках у него было что-то завернуто в тряпке.

— Вот, покушайте, барин, — сказал он, опять возвращаясь к прежнему почтительному тону и развертывая и подавая Пьеру несколько печеных картошек. — В обеде похлебка была. А картошки важнеющие!

Пьер не ел целый день, и запах картофеля показался ему необыкновенно приятным. Он поблагодарил солдата и стал есть.

— Что ж, так-то? — улыбаясь, сказал солдат и взял одну из картошек. — А ты вот как. — Он достал опять складной ножик, разрезал на своей ладони картошку на равные две половины, посыпал соли из тряпки и поднес Пьеру.

— Картошки важнеющие, — повторил он. Ты покушай вот так-то.

Пьеру казалось, что он никогда не ел кушанья вкуснее этого.

— Нет, мне все ничего, — сказал Пьер, — но за что они расстреляли этих несчастных!.. Последний лет двадцати.

— Тц, тц... — сказал маленький человек. — Греха-то, греха-то... — быстро прибавил он, и, как будто слова его всегда были готовы во рту его и нечаянно вылетали из него, он продолжал: — Что ж это, барин, вы так в Москве-то остались?

— Я не думал, что они так скоро придут. Я нечаянно остался, — сказал Пьер.

— Да как же они взяли тебя, соколик, из дома твоего?

— Нет, я пошел на пожар, и тут они схватили меня, судили за поджигателя.

— Где суд, там и неправда, — вставил маленький человек.

— А ты давно здесь? — спросил Пьер, дожевывая последнюю картошку.

— Я-то? В то воскресенье меня взяли из гошпиталя в Москве.

— Ты кто же, солдат?

— Солдаты Апшеронского полка. От лихорадки умирал. Нам и не сказали ничего. Наших человек двадцать лежало. И не думали, не гадали.

— Что ж, тебе скучно здесь? — спросил Пьер.

— Как не скучно, соколик. Меня Платоном звать; Каратаевы прозвище, — прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру обращение к нему. — Соколиком на службе прозвали. Как не скучать, соколик! Москва, она городам мать. Как не скучать на это смотреть. Да червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае: так-то старички говаривали, — прибавил он быстро.

— Как, как это ты сказал? — спросил Пьер.

— Я-то? — спросил Каратаев. — Я говорю: не нашим умом, а Божьим судом, — сказал он, думая, что повторяет сказанное. И тотчас же продолжал: — Как же у вас, барин, и вотчины есть? И дом есть? Стало быть, полная чаша! И хозяйка есть? А старики родители живы? — спрашивал он, и хотя Пьер не видел в темноте, но чувствовал, что у солдата морщились губы сдержанною улыбкой ласки в то время, как он спрашивал это. Он, видимо, был огорчен тем, что у Пьера не было родителей, в особенности матери.

— Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матушки! — сказал он. — Ну, а детки есть? — продолжал он спрашивать. Отрицательный ответ Пьера опять, видимо, огорчил его, и он поспешил прибавить: — Что ж, люди молодые, еще даст Бог, будут. Только бы в совете жить...

— Да теперь все равно, — невольно сказал Пьер.

— Эх, милый человек ты, — возразил Платон. — От сумы да от тюрьмы никогда не отказывайся. — Он уселся получше, прокашлялся, видимо приготовляясь к длинному рассказу. — Так-то, друг мой любезный, жил я еще дома, — начал он. — Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики, и наш дом, слава тебе Богу. Сам-сем батюшка косить выходил. Жили хорошо. Христьяне настоящие были. Случилось.... — и Платон Каратаев рассказал длинную историю о том, как он поехал в чужую рощу за лесом и попался сторожу, как его секли, судили и отдали в солдаты. — Что ж, соколик, — говорил он изменяющимся от улыбки голосом, — думали горе, ан радость! Брату бы идти, кабы не мой грех. А у брата меньшого сам-пят ребят, — а у меня, гляди, одна солдатка осталась. Была девочка, да еще до солдатства Бог прибрал. Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу — лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках. Один Михайло, меньшой, дома. Батюшка и говорит: «Мне, говорит, все детки равны: какой палец ни укуси, все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайле бы идти». Позвал нас всех — веришь — поставил перед образа. Михайло, говорит, поди сюда, кланяйся ему в ноги, и ты, баба, кланяйся, и внучата кланяйтесь. Поняли? говорит. Так-то, друг мой любезный. Рок головы ищет. А мы всё судим: то не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. Так-то. — И Платон пересел на своей соломе.

Помолчав несколько времени, Платон встал.

— Что ж, я чай, спать хочешь? — сказал он и быстро начал креститься, приговаривая:

— Господи Иисус Христос, Никола угодник, Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос, Никола угодник! Фрола и Лавра, Господи Иисус Христос — помилуй и спаси нас! — заключил он, поклонился в землю, встал и, вздохнув, сел на свою солому. — Вот так-то. Положи, Боже, камушком, подними калачиком, — проговорил он и лег, натягивая на себя шинель.

— Какую это ты молитву читал? — спросил Пьер.

— Ась? — проговорил Платон (он уже было заснул). — Читал что? Богу молился. А ты рази не молишься?

— Нет, и я молюсь, — сказал Пьер. — Но что ты говорил: Фрола и Лавра?

— А как же, — быстро отвечал Платон, — лошадиный праздник. И скота жалеть надо, — сказал Каратаев. — Вишь, шельма, свернулась. Угрелась, сукина дочь, — сказал он, ощупав собаку у своих ног, и, повернувшись опять, тотчас же заснул.

Наружи слышались где-то вдалеке плач и крики, и сквозь щели балагана виднелся огонь; но в балагане было тихо и темно. Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе.

XIII

В балагане, в который поступил Пьер и в котором он пробыл четыре недели, было двадцать три человека пленных солдат, три офицера и два чиновника.

Все они потом как в тумане представлялись Пьеру, но Платон Каратаев остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого. Когда на другой день, на рассвете, Пьер увидал своего соседа, первое впечатление чего-то круглого подтвердилось вполне: вся фигура Платона в его подпоясанной веревкою французской шинели, в фуражке и лаптях, была круглая, голова была совершенно круглая, спина, грудь, плечи, даже руки, которые он носил, как бы всегда собираясь обнять что-то, были круглые; приятная улыбка и большие карие нежные глаза были круглые.

Платону Каратаеву должно было быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет; но зубы его, ярко-белые и крепкие, которые все выкатывались своими двумя полукругами, когда он смеялся (что он часто делал), были все хороши и целы; ни одного седого волоса не было в его бороде и волосах, и все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости.

Лицо его, несмотря на мелкие круглые морщинки, имело выражение невинности и юности; голос у него был приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет; и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.

Физические силы его и поворотливость были таковы первое время плена, что, казалось, он не понимал, что такое усталость и болезнь. Каждый день утром и вечером он, ложась, говорил: «Положи, Господи, камушком, подними калачиком»; поутру, вставая, всегда одинаково пожимая плечами, говорил: «Лег — свернулся, встал — встряхнулся». И действительно, стоило ему лечь, чтобы тотчас же заснуть камнем, и стоило встряхнуться, чтобы тотчас же, без секунды промедления, взяться за какое-нибудь дело, как дети, вставши, берутся за игрушки. Он все умел делать, не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни. Он пел песни, не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться; и звуки эти всегда бывали тонкие, нежные, почти женские, заунывные, и лицо его при этом бывало очень серьезно.

Попав в плен и обросши бородою, он, видимо, отбросил от себя все напущенное на него, чуждое, солдатское, и невольно возвратился к прежнему, крестьянскому, народному складу.

— Солдат в отпуску — рубаха из порток, — говаривал он. Он неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался, и часто повторял, что он всю службу

ни разу бит не был. Когда он рассказывал, то преимущественно рассказывал из своих старых и, видимо, дорогих ему воспоминаний «христианского», как он выговаривал, крестьянского быта. Поговорки, которые наполняли его речь, не были те, большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты, но это были те народные изречения, которые кажутся столь незначительными, взятые отдельно, и которые получают вдруг значение глубокой мудрости, когда они сказаны кстати.

Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Он любил говорить и говорил хорошо, украшая свою речь ласкательными и пословицами, которые, Пьеру казалось, он сам выдумывал; но главная прелесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер, получали характер торжественного благообразия. Он любил слушать сказки, которые рассказывал по вечерам (все одни и те же) один солдат, но больше всего он любил слушать рассказы о настоящей жизни. Он радостно улыбался, слушай такие рассказы, вставляя слова и делая вопросы, клонившиеся к тому, чтобы уяснить себе благообразие того, что ему рассказывали. Привязанностей, дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком — не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву.

Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом; его звали соколик или Платоша, добродушно трунили над ним, посылали его за посылками. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда.

Платон Каратаев ничего не знал наизусть, кроме своей молитвы. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит.

Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, — так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: «родимая, березанька и тошненько мне», но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова.

XIV

Получив от Николая известие о том, что брат ее находится с Ростовыми, в Ярославле, княжна Марья, несмотря на отговариванья тетки, тотчас же собралась ехать, и не только одна, но с племянником. Трудно ли, нетрудно, возможно или невозможно это было, она не спрашивала и не хотела знать: ее обязанность была не только самой быть подле, может быть, умирающего брата, но и сделать все возможное для того, чтобы привезти ему сына, и она поднялась ехать. Если князь Андрей сам не уведомлял ее, то княжна Марья объясняла это или тем, что он был слишком слаб, чтобы писать, или тем, что он считал для нее и для своего сына этот длинный переезд слишком трудным и опасным. В несколько дней княжна Марья собралась в дорогу. Экипажи ее состояли из огромной княжеской кареты, в которой она приехала в Воронеж, брички и повозки. С ней ехали m-lle Bourienne, Николушка с гувернером, старая няня, три девушки, Тихон, молодой лакей и гайдук, которого тетка отпустила с нею

Ехать обыкновенным путем на Москву нельзя было и думать, и потому окольный путь, который должна была сделать княжна Марья: на Липецк, Рязань, Владимир, Шую, был очень длинен, по неимению везде почтовых лошадей, очень труден и около Рязани, где, как говорили, показывались французы, даже опасен.

Во время этого трудного путешествия m-lle Bourienne, Десаль и прислуга княжны Марьи были удивлены ее твердостью духа и деятельностью. Она позже всех ложилась, раньше всех вставала, и никакие затруднения не могли остановить ее. Благодаря ее деятельности и энергии, возбуждавшим ее спутников, к концу второй недели они подъезжали к Ярославлю.

В последнее время своего пребывания в Воронеже княжна Марья испытала лучшее счастье в своей жизни. Любовь ее к Ростову уже не мучила, не волновала ее. Любовь эта наполняла всю ее душу, сделалась нераздельною частью ее самой, и она не боролась более против нее. В последнее время княжна Марья убедилась, — хотя она никогда ясно словами определенно не говорила себе этого, — убедилась, что она была любима и любила. В этом она убедилась в последнее свое свидание с Николаем, когда он приехал ей объявить о том, что ее брат был с Ростовыми. Николай ни одним словом не намекнул на то, что теперь (в случае выздоровления князя Андрея) прежние отношения между ним и Наташей могли возобновиться, но княжна Марья видела по его лицу, что он знал и думал это. И, несмотря на то, его отношения к ней — осторожные, нежные и любовные — не только не изменились, но он, казалось, радовался тому, что теперь родство между ним и княжной Марьей позволяло ему свободнее выражать ей свою дружбу-любовь, как иногда думала княжна Марья. Княжна Марья знала, что она любила в первый и последний раз в жизни, и чувствовала, что она любима, и была счастлива, спокойна в этом отношении.

Но это счастье одной стороны душевной не только не мешало ей во всей силе чувствовать горе о брате, но, напротив, это душевное спокойствие в одном отношении давало ей бóльшую возможность отдаваться вполне своему чувству к брату. Чувство это было так сильно в первую минуту выезда из Воронежа, что

провожавшие ее были уверены, глядя на ее измученное, отчаянное лицо, что она непременно заболеет дорогой; но именно трудности и заботы путешествия, за которые с такою деятельностью взялась княжна Марья, спасли ее на время от ее горя и придали ей силы.

Как и всегда это бывает во время путешествия, княжна Марья думала только об одном путешествии, забывая о том, что было его целью. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних пределов.

Когда посланный вперед гайдук, чтобы узнать в Ярославле, где стоят Ростовы и в каком положении находится князь Андрей, встретил у заставы большую въезжавшую карету, он ужаснулся, увидав страшно бледное лицо княжны, которое высунулось ему из окна.

— Все узнал, ваше сиятельство: ростовские стоят на площади, в доме купца Бронникова. Недалече, над самой над Волгой, — сказал гайдук.

Княжна Марья испуганно-вопросительно смотрела на его лицо, не понимая того, что он говорил ей, не понимая, почему он не отвечал на главный вопрос: что брат? M-lle Bourienne сделала этот вопрос за княжну Марью.

— Что князь? — спросила она.

— Их сиятельство с ними в том же доме стоят.

«Стало быть, он жив», — подумала княжна и тихо спросила: что он?

— Люди сказывали, все в том же положении.

Что значило «все в том же положении», княжна не стала спрашивать и мельком только, незаметно взглянув на семилетнего Николушку, сидевшего перед нею и радовавшегося на город, опустила голову и не поднимала ее до тех пор, пока тяжелая карета, гремя, трясясь и колыхаясь, не остановилась где-то. Загремели откидываемые подножки.

Отворились дверцы. Слева была вода — река большая, справа было крыльцо; на крыльце были люди, прислуга и какая-то румяная, с большой черной косой, девушка, которая неприятно-притворно улыбалась, как показалось княжне Марье (это была Соня). Княжна взбежала по лестнице, притворно улыбавшаяся девушка сказала: — Сюда, сюда! — и княжна очутилась в передней перед старой женщиной с восточным типом лица, которая с растроганным выражением быстро шла ей навстречу. Это была графиня. Она обняла княжну Марью и стала целовать ее.

— Mon enfant! — проговорила она, — je vous aime et vous connais depuis longtemps[1].

Несмотря на все свое волнение, княжна Марья поняла, что это была графиня и что надо было ей сказать что-нибудь. Она, сама не зная как, проговорила какие-то учтивые французские слова, в том же тоне, в котором были те, которые ей говорили, и спросила: что он?

— Доктор говорит, что нет опасности, — сказала графиня, но в то время, как она говорила это, она со вздохом подняла глаза кверху, и в этом жесте было выражение, противоречащее ее словам.

[1] Дитя мое! я вас люблю и знаю давно

— Где он? Можно его видеть, можно? — спросила княжна.

— Сейчас, княжна, сейчас, мой дружок. Это его сын? — сказала она, обращаясь к Николушке, который входил с Десалем. — Мы все поместимся, дом большой. О, какой прелестный мальчик!

Графиня ввела княжну в гостиную. Соня разговаривала с m-lle Bourienne. Графиня ласкала мальчика. Старый граф вошел в комнату, приветствуя княжну. Старый граф чрезвычайно переменился с тех пор, как его последний раз видела княжна. Тогда он был бойкий, веселый, самоуверенный старичок, теперь он казался жалким, затерянным человеком. Он, говоря с княжной, беспрестанно оглядывался, как бы спрашивая у всех, то ли он делает, что надобно. После разорения Москвы и его имения, выбитый из привычной колеи, он, видимо, потерял сознание своего значения и чувствовал, что ему уже нет места в жизни.

Несмотря на то волнение, в котором она находилась, несмотря на одно желание поскорее увидать брата и на досаду за то, что в эту минуту, когда ей одного хочется — увидать его, — ее занимают и притворно хвалят ее племянника, княжна замечала все, что делалось вокруг нее, и чувствовала необходимость на время подчиниться этому новому порядку, в который она вступала. Она знала, что все это необходимо, и ей было это трудно, но она не досадовала на них.

— Это моя племянница, — сказал граф, представляя Соню, — вы не знаете ее, княжна?

Княжна повернулась к ней и, стараясь затушить поднявшееся в ее душе враждебное чувство к этой девушке, поцеловала ее. Но ей становилось тяжело оттого, что настроение всех окружающих было так далеко от того, что было в ее душе.

— Где он? — спросила она еще раз, обращаясь ко всем.

— Он внизу, Наташа с ним, — отвечала Соня, краснея. — Пошли узнать. Вы, я думаю, устали, княжна?

У княжны выступили на глаза слезы досады. Она отвернулась и хотела опять спросить у графини, где пройти к нему, как в дверях послышались легкие, стремительные, как будто веселые шаги. Княжна оглянулась и увидела почти вбегающую Наташу, ту Наташу, которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей.

Но не успела княжна взглянуть на лицо этой Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече.

Как только Наташа, сидевшая у изголовья князя Андрея, узнала о приезде княжны Марьи, она тихо вышла из его комнаты теми быстрыми, как показалось княжне Марье, как будто веселыми шагами и побежала к ней.

На взволнованном лице ее, когда она вбежала в комнату, было только одно выражение — выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желания отдать себя всю для того, чтобы помочь им. Видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе, о своих отношениях к нему не было в душе Наташи.

Чуткая княжна Марья с первого взгляда на лицо Наташи поняла все это и с горестным наслаждением плакала на ее плече.

— Пойдемте, пойдемте к нему. Мари, — проговорила Наташа, отводя ее в другую комнату.

Княжна Марья подняла лицо, отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

— Что... — начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже.

Наташа смотрела на нее, но, казалось, была в страхе и сомнении — сказать или не сказать все то, что она знала; она как будто почувствовала, что перед этими лучистыми глазами, проникавшими в самую глубь ее сердца, нельзя не сказать всю, всю истину, какою она ее видела. Губа Наташи вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта, и она, зарыдав, закрыла лицо руками.

Княжна Марья поняла все.

Но она все-таки надеялась и спросила словами, в которые она не верила:

— Но как его рана? Вообще в каком он положении?

— Вы, вы... увидите, — только могла сказать Наташа.

Они посидели несколько времени внизу подле его комнаты, с тем чтобы перестать плакать и войти к нему с спокойными лицами.

— Как шла вся болезнь? Давно ли ему стало хуже? Когда это случилось? — спрашивала княжна Марья.

Наташа рассказывала, что первое время была опасность от горячечного состояния и от страданий, но в Троице это прошло, и доктор боялся одного, — антонова огня. Но и эта опасность миновала. Когда приехали в Ярославль, рана стала гноиться (Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.), и доктор говорил, что нагноение может пойти правильно. Сделалась лихорадка. Доктор говорил, что лихорадка эта не так опасна.

— Но два дня тому назад, — начала Наташа, — вдруг это сделалось... — Она удержала рыданье. — Я не знаю отчего, но вы увидите, какой он стал.

— Ослабел? похудел?.. — спрашивала княжна.

— Нет, не то, но хуже. Вы увидите. Ах, Мари, Мари, он слишком хорош, он не может, не может жить... потому что...

XV

Когда Наташа привычным движением отворила его дверь, пропуская вперед себя княжну, княжна Марья чувствовала уже в горле своем готовые рыданья. Сколько она ни готовилась, ни старалась успокоиться, она знала, что не в силах будет без слез увидать его.

Княжна Марья понимала то, что разумела Наташа словами: с ним случалось это два дня тому назад. Она понимала, что это означало то, что он вдруг смягчился, и что смягчение, умиление эти были признаками смерти. Она, подходя к двери, уже

видела в воображении своем то лицо Андрюши, которое она знала с детства, нежное, кроткое, умиленное, которое так редко бывало у него и потому так сильно всегда на нее действовало. Она знала, что он скажет ей тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью, и что она не вынесет этого и разрыдается над ним. Но, рано ли, поздно ли, это должно было быть, и она вошла в комнату. Рыдания все ближе и ближе подступали ей к горлу, в то время как она своими близорукими глазами яснее и яснее различала его форму и отыскивала его черты, и вот она увидала его лицо и встретилась с ним взглядом.

Он лежал на диване, обложенный подушками, в меховом беличьем халате. Он был худ и бледен. Одна худая, прозрачно-белая рука его держала платок, другою он, тихими движениями пальцев, трогал тонкие отросшие усы. Глаза его смотрели на входивших.

Увидав его лицо и встретившись с ним взглядом, княжна Марья вдруг умерила быстроту своего шага и почувствовала, что слезы вдруг пересохли и рыдания остановились. Уловив выражение его лица и взгляда, она вдруг оробела и почувствовала себя виноватой.

«Да в чем же я виновата?» — спросила она себя. «В том, что живешь и думаешь о живом, а я!..» — отвечал его холодный строгий взгляд.

В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу.

Он поцеловался с сестрой рука в руку, по их привычке.

— Здравствуй, Мари, как это ты добралась? — сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд. Ежели бы он завизжал отчаянным криком, то этот крик менее бы ужаснул княжну Марью, чем звук этого голоса.

— И Николушку привезла? — сказал он также ровно и медленно и с очевидным усилием воспоминанья.

— Как твое здоровье теперь? — говорила княжна Марья, сама удивляясь тому, что она говорила.

— Это, мой друг, у доктора спрашивать надо, — сказал он, и, видимо сделав еще усилие, чтобы быть ласковым, он сказал одним ртом (видно было, что он вовсе не думал того, что говорил): — Merci, chère amie, d'être venue [1].

Княжна Марья пожала его руку. Он чуть заметно поморщился от пожатия ее руки. Он молчал, и она не знала, что говорить. Она поняла то, что случилось с ним за два дня. В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом — холодном, почти враждебном взгляде — чувствовалась страшная для живого человека отчужденность от всего мирского. Он, видимо, с трудом понимал теперь все живое; но вместе с тем чувствовалось, что он не понимал живого не потому, чтобы он был лишен силы понимания, но потому, что он понимал что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понять живые и что поглощало его всего.

— Да, вот как странно судьба свела нас! — сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу. — Она все ходит за мной.

[1] Спасибо, милый друг, что приехала

Княжна Марья слушала и не понимала того, что он говорил. Он, чуткий, нежный князь Андрей, как мог он говорить это при той, которую он любил и которая его любила! Ежели бы он думал жить, то не таким холодно-оскорбительным тоном он сказал бы это. Ежели бы он не знал, что умрет, то как же ему не жалко было ее, как он мог при ней говорить это! Одно объяснение только могло быть этому, это то, что ему было все равно, и все равно оттого, что что-то другое, важнейшее, было открыто ему.

Разговор был холодный, несвязный и прерывался беспрестанно.

— Мари проехала через Рязань, — сказала Наташа. Князь Андрей не заметил, что она называла его сестру Мари. А Наташа, при нем назвав ее так, в первый раз сама это заметила.

— Ну что же? — сказал он.

— Ей рассказывали, что Москва вся сгорела, совершенно, что будто бы...

Наташа остановилась: нельзя было говорить. Он, очевидно, делал усилия, чтобы слушать, и все-таки не мог.

— Да, сгорела, говорят, — сказал он. — Это очень жалко, — и он стал смотреть вперед, пальцами рассеянно расправляя усы.

— А ты встретилась с графом Николаем, Мари? — сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное. — Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась, — продолжал он просто, спокойно, видимо не в силах понимать всего того сложного значения, которое имели его слова для живых людей. — Ежели бы ты его полюбила тоже, то было бы очень хорошо... чтобы вы женились, — прибавил он несколько скорее, как бы обрадованный словами, которые он долго искал и нашел наконец. Княжна Марья слышала его слова, но они не имели для нее никакого другого значения, кроме того, что они доказывали то, как страшно далек он был теперь от всего живого.

— Что обо мне говорить! — сказала она спокойно и взглянула на Наташу. Наташа, чувствуя на себе ее взгляд, не смотрела на нее. Опять все молчали.

— André, ты хоч... — вдруг сказала княжна Марья содрогнувшимся голосом, — ты хочешь видеть Николушку? Он все время вспоминал о тебе.

Князь Андрей чуть заметно улыбнулся в первый раз, но княжна Марья, так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешки над тем, что княжна Марья употребляла, по ее мнению, последнее средство для приведения его в чувства.

— Да, я очень рад Николушке. Он здоров?

Когда привели к князю Андрею Николушку, испуганно смотревшего на отца, но не плакавшего, потому что никто не плакал, князь Андрей поцеловал его и, очевидно, не знал, что говорить с ним.

Когда Николушку уводили, княжна Марья подошла еще раз к брату, поцеловала его и, не в силах удерживаться более, заплакала.

Он пристально посмотрел на нее.

— Ты об Николушке? — сказал он.

Княжна Марья, плача, утвердительно нагнула голову.

— Мари, ты знаешь Еван... — но он вдруг замолчал.

— Что ты говоришь?

— Ничего. Не надо плакать здесь, — сказал он, тем же холодным взглядом глядя на нее.

Когда княжна Марья заплакала, он понял, что она плакала о том, что Николушка останется без отца. С большим усилием над собой он постарался вернуться назад в жизнь и перенесся на их точку зрения.

«Да, им это должно казаться жалко! — подумал он — А как это просто!»

«Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш питает их», — сказал он сам себе и хотел то же сказать княжне. «Но нет, они поймут это по-своему, они не поймут! Этого они не могут понимать, что все эти чувства, которыми они дорожат, все наши, все эти мысли, которые кажутся нам так важны, что они — не нужны. Мы не можем понимать друг друга». — И он замолчал.

Маленькому сыну князя Андрея было семь лет. Он едва умел читать, но ничего не знал. Он многое пережил после этого дня, приобретая знания, наблюдательность, опытность; но ежели бы он владел тогда всеми этими после приобретенными способностями, он не мог бы лучше, глубже понять все значение той сцены, которую он видел между отцом, княжной Марьей и Наташей, чем он ее понял теперь. Он все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал.

С этого дня он избегал Десаля, избегал ласкавшую его графиню и либо сидел один, либо робко подходил к княжне Марье и к Наташе, которую он, казалось, полюбил еще больше своей тетки, и тихо и застенчиво ласкался к ним.

Княжна Марья, выйдя от князя Андрея, поняла вполне все то, что сказало ей лицо Наташи. Она не говорила больше с Наташей о надежде на спасение его жизни. Она чередовалась с нею у его дивана и не плакала больше, но беспрестанно молилась, обращаясь душою к тому вечному, непостижимому, которого присутствие так ощутительно было теперь над умиравшим человеком.

XVI

Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытывал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытывал, — почти понятное и ощущаемое ……

……

Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он, это первое время, вспоминал о том, что ему надо было умереть, он говорил себе: ну что ж, тем лучше.

Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные и тревожные мысли стали приходить ему. Вспоминая ту минуту на перевязочном пункте, когда он увидал Курагина, он теперь не мог возвратиться к тому чувству: его мучил вопрос о том, жив ли он? И он не смел спросить этого.

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом княжны Марьи. Это была та последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшейся ему в любви к Наташе, и последний покоренный припадок ужаса перед неведомым.

Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

«А, это она вошла!» — подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.

С тех пор как она с тала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле, боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок (Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали изредка сталкивающиеся спицы, и задумчивый профиль ее

опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье — клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась, подняла клубок и села в прежнее положение.

Он смотрел на нее, не шевелясь, и видел, что ей нужно было после своего движения вздохнуть во всю грудь, но она не решалась этого сделать и осторожно переводила дыханье.

В Троицкой лавре они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что, ежели бы он был жив, он бы благодарил вечного Бога за свою рану, которая свела его опять с нею; но с тех пор они никогда не говорили о будущем.

«Могло или не могло это быть? — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. — Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть?.. Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он вдруг невольно застонал, по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

— Вы не спите?

— Нет, я давно смотрю на вас, я почувствовал, когда вы вошли. Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины... того света. Мне так и хочется плакать от радости.

Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженной радостью.

— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

— А я? — Она отвернулась на мгновенье. — Отчего же слишком? — сказала она.

— Отчего слишком?.. Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, по всей душе, буду я жив? Как вам кажется?

— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

— Как бы хорошо! — И, взяв ее руку, он поцеловал ее.

Наташа была счастлива и взволнована; и тотчас же она вспомнила, что этого нельзя, что ему нужно спокойствие.

— Однако вы не спали, — сказала она, подавляя свою радость. — Постарайтесь заснуть... пожалуйста.

Он выпустил, пожав ее, ее руку, она перешла к свече и опять села в прежнее положение Два раза она оглянулась на него, глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется, пока не кончит его.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.

Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.

«Любовь? Что такое любовь? — думал он. — Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Мысли эти показались ему утешительны. Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они сбираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то не человеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло и оно есть смерть. И князь Андрей умер.

Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.

«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!» — вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.

Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.

Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.

С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна — пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

Ничего не было страшного и резкого в этом, относительно-медленном, пробуждении.

Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом. Чувства обеих были так сильны, что на них не действовала внешняя, страшная сторона смерти, и они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали.

Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

Его исповедовали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он приложил к нему свои губы и отвернулся, не потому, чтобы ему было тяжело или жалко (княжна Марья и Наташа понимали это), но только потому, что он полагал, что это все, что от него требовали; но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать.

Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого духом, княжна Марья и Наташа были

— Кончилось?! — сказала княжна Марья, после того тело его уже несколько минут неподвижно, холодея, лежало перед ними. Наташа подошла, взглянула в мертвые глаза и поспешила закрыть их. Она закрыла их и не поцеловала их, а приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем.

«Куда он ушел? Где он теперь?..»

Когда одетое, обмытое тело лежало в гробу на столе, все подходили к нему прощаться, и все плакали.

Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня и Соня плакали от жалости к Наташе и о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг.

Наташа и княжна Марья плакали тоже теперь, но они плакали не от своего личного горя, они плакали от благоговейного умиления, охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.

Часть вторая

I

Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнувши в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждое отдельно может представляться причиною, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях (где предметом наблюдения суть действия людей) самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте, — исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, все равно, понимать значение исторического события так или иначе. Но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на Восток, потому что Наполеон захотел этого, и человеком, который говорит, что это совершилось, потому что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что земля стоит твердо и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают, на чем держится земля, но знают, что есть законы, управляющие движением и ее, и других планет. Причин исторического события — нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскиванья причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможным только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли.

После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю — так называемый фланговый марш за Красной Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого-нибудь одного лица, спасшего Россию и погубившее Наполеона, — весьма трудно понять. Во-первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения; ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии (когда ее не атакуют) находиться там, где больше продовольствия, — не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый тринадцатилетний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии, после отступления от Москвы, было на Калужской

дороге. Итак, нельзя понять, во-первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что-то глубокомысленное в этом маневре. Во-вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов; ибо фланговый марш этот, при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах, мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиной.

Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие-нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при том не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Наполеон не находился в бездействии? Если бы под Красной Пахрой русская армия, по совету Бенигсена и Барклая, дала бы сражение? Что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой? Что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с одной десятой долей той энергии, с которой он атаковал в Смоленске? Что бы было, если бы французы пошли на Петербург?.. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность.

В-третьих, и самое непонятное состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим.

На совете в Филях у русского начальства преобладающей мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле, и, главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим провиантскою частью. Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях и что в случае отступления на Нижний запасы провианта будут отделены от армии большою рекой Окой, через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее, по Рязанской дороге, и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию отклониться еще южнее, на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Пахрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции; но бесчисленное количество обстоятельств и

появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие Провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия, с Тульской на Калужскую дорогу, к Тарутину. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.

II

Знаменитый фланговый марш состоял только в том, что русское войско, отступая все прямо назад по обратному направлению наступления, после того как наступление французов прекратилось, отклонилось от принятого сначала прямого направления и, не видя за собой преследования, естественно подалось в ту сторону, куда его влекло обилие продовольствия.

Если бы представить себе не гениальных полководцев во главе русской армии, но просто одну армию без начальников, то и эта армия не могла бы сделать ничего другого, кроме обратного движения к Москве, описывая дугу с той стороны, с которой было больше продовольствия и край был обильнее.

Передвижение это с Нижегородской на Рязанскую, Тульскую и Калужскую дороги было до такой степени естественно, что в этом самом направлении отбегали мародеры русской армии и что в этом самом направлении требовалось из Петербурга, чтобы Кутузов перевел свою армию. В Тарутине Кутузов получил почти выговор от государя за то, что он отвел армию на Рязанскую дорогу, и ему указывалось то самое положение против Калуги, в котором он уже находился в то время, как получил письмо государя.

Откатывавшийся по направлению толчка, данного ему во время всей кампании и в Бородинском сражении, шар русского войска, при уничтожении силы толчка и не получая новых толчков, принял то положение, которое было ему естественно.

Заслуга Кутузова не состояла в каком-нибудь гениальном, как это называют, стратегическом маневре, а в том, что он один понимал значение совершавшегося события. Он один понимал уже тогда значение бездействия французской армии, он один продолжал утверждать, что Бородинское сражение была победа; он один — тот, который, казалось бы, по своему положению главнокомандующего, должен был быть вызываем к наступлению, — он один все силы свои употреблял на то, чтобы удержать русскую армию от бесполезных сражений.

Подбитый зверь под Бородиным лежал там где-то, где его оставил отбежавший охотник; но жив ли, силен ли, он был, или он только притаился, охотник не знал этого. Вдруг послышался стон этого зверя.

Стон этого раненого зверя, французской армии, обличавший ее погибель, была присылка Лористона в лагерь Кутузова с просьбой о мире.

Наполеон с своей уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то хорошо, что ему пришло в голову, написал Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла. Он писал:

«Monsieur le prince Koutouzov, — писал он, — j'envoie près de vous un de mes aides de camps généraux pour vous entretenir de plusieurs objets intéressants. Je désire que Votre Altesse ajoute foi à ce qu'il lui dira, surtout lorsqu'il exprimera les sentiments d'estime et de particulière considération que j'ai depuis longtemps pour sa personne... Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu, Monsieur le prince Koutouzov, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.

Moscou, le 3 octobre, 1812. Signé:
Napoléon»[1].

«Je serais maudit par la postérité si l'on me regardait comme le premier moteur d'un accommodement quelconque. Tel est l'esprit actuel de ma nation»[2], — отвечал Кутузов и продолжал употреблять все свои силы на то, чтобы удерживать войска от наступления.

В месяц грабежа французского войска в Москве и спокойной стоянки русского войска под Тарутиным совершилось изменение в отношении силы обоих войск (духа и численности), вследствие которого преимущество силы оказалось на стороне русских. Несмотря на то, что положение французского войска и его численность были неизвестны русским, как скоро изменилось отношение, необходимость наступления тотчас же выразилась в бесчисленном количестве признаков. Признаками этими были: и присылка Лористона, и изобилие провианта в Тарутине, и сведения, приходившие со всех сторон о бездействии и беспорядке французов, и комплектование наших полков рекрутами, и хорошая погода, и продолжительный отдых русских солдат, и обыкновенно возникающие в войсках вследствие отдыха нетерпение исполнять то дело, для которого все собраны, и любопытство о том, что делалось во французской армии, так давно потерянной из виду, и смелость, с которою теперь шныряли русские аванпосты около стоявших в Тарутине французов, и известия о легких победах над французами мужиков и партизанов, и зависть, возбуждаемая этим, и чувство мести, лежавшее в душе каждого человека до тех пор, пока французы были в Москве, и (главное) неясное, но возникшее в душе каждого солдата сознание того, что отношение силы изменилось теперь и преимущество находится на нашей стороне. Существенное отношение сил изменилось, и наступление стало необходимым. И тотчас же, так же верно, как начинают бить и играть в часах куранты, когда стрелка совершила полный круг, в высших сферах, соответственно существенному изменению сил, отразилось усиленное движение, шипение и игра курантов.

---

[1] «Князь Кутузов, — писал он, — посылаю к вам одного из моих генерал-адъютантов, чтобы он сообщил вам о нескольких важных предметах. Прошу Вашу Светлость верить всему, что он вам скажет, особенно когда он выразит чувства уважения и особого почтения, которые я давно питаю к вашей особе… Засим молю Бога о сохранении Вас под своим священным кровом. Москва, 3 октября, 1812. Наполеон».

[2] «Я был бы проклят, если бы на меня смотрели как на первого зачинщика какой бы то ни было сделки: такова воля нашего народа».

III

Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга. В Петербурге, еще до получения известия об оставлении Москвы, был составлен подробный план всей войны и прислан Кутузову для руководства. Несмотря на то, что план этот был составлен в предположении того, что Москва еще в наших руках, план этот был одобрен штабом и принят к исполнению. Кутузов писал только, что дальние диверсии всегда трудно исполнимы. И для разрешения встречавшихся трудностей присылались новые наставления и лица, долженствовавшие следить за его действиями и доносить о них.

Кроме того, теперь в русской армии преобразовался весь штаб. Замещались места убитого Багратиона и обиженного, удалившегося Барклая. Весьма серьезно обдумывали, что будет лучше: А. поместить на место Б., а Б. на место Д., или напротив, Д. на место А. и т. д., как будто что-нибудь, кроме удовольствия А. и Б., могло зависеть от этого.

В штабе армии, по случаю враждебности Кутузова с своим начальником штаба, Бенигсеном, и присутствия доверенных лиц государя и этих перемещений, шла более, чем обыкновенно, сложная игра партий: А. подкапывался под Б., Д. под С. и т. д., во всех возможных перемещениях и сочетаниях. При всех этих подкапываниях предметом интриг большей частью было то военное дело, которым думали руководить все эти люди; но это военное дело шло независимо от них, именно так, как оно должно было идти, то есть никогда не совпадая с тем, что придумывали люди, а вытекая из сущности отношения масс. Все эти придумыванья, скрещиваясь, перепутываясь, представляли в высших сферах только верное отражение того, что должно было совершиться.

«Князь Михаил Иларионович! — писал государь от 2-го октября в письме, полученном после Тарутинского сражения. — С 2-го сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20-го; и в течение всего сего времени не только что ничего не предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним рапортам вашим, вы еще отступили назад. Серпухов уже занят отрядом неприятельским, и Тула, с знаменитым и столь для армии необходимым своим заводом, в опасности. По рапортам от генерала Винцингероде вижу я, что неприятельский 10000-й корпус подвигается по Петербургской дороге. Другой, в нескольких тысячах, также подается к Дмитрову. Третий подвинулся вперед по Владимирской дороге. Четвертый, довольно значительный, стоит между Рузою и Можайском. Наполеон же сам по 25-е число находился в Москве. По всем сим сведениям, когда неприятель сильными отрядами раздробил свои силы, когда Наполеон еще в Москве сам, с своею гвардиею, возможно ли, чтобы силы неприятельские, находящиеся перед вами, были значительны и не позволяли вам действовать наступательно? С вероятностию, напротив того, должно полагать, что он вас преследует отрядами или, по крайней мере, корпусом, гораздо слабее армии, вам вверенной. Казалось, что, пользуясь сими обстоятельствами, могли бы вы с выгодою атаковать неприятеля слабее вас и

истребить оного или, по меньшей мере, заставя его отступить, сохранить в наших руках знатную часть губерний, ныне неприятелем занимаемых, и тем самым отвратить опасность от Тулы и прочих внутренних наших городов. На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрожания сей столице, в которой не могло остаться много войска, ибо с вверенною вам армиею, действуя с решительностию и деятельностию, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастие. Вспомните, что вы еще обязаны ответом оскорбленному отечеству в потере Москвы. Вы имели опыты моей готовности вас награждать. Сия готовность не ослабнет во мне, но я и Россия вправе ожидать с вашей стороны всего усердия, твердости и успехов, которые ум ваш, воинские таланты ваши и храбрость войск, вами предводительствуемых, нам предвещают».

Но в то время как письмо это, доказывающее то, что существенное отношение сил уже отражалось и в Петербурге, было в дороге, Кутузов не мог уже удержать командуемую им армию от наступления, и сражение уже было дано.

2-го октября казак Шаповалов, находясь в разъезде, убил из ружья одного и подстрелил другого зайца. Гоняясь за подстреленным зайцем, Шаповалов забрел далеко в лес и наткнулся на левый фланг армии Мюрата, стоящий без всяких предосторожностей. Казак, смеясь, рассказывал товарищам, как он чуть не попался французам. Хорунжий, услыхав этот рассказ, сообщил его командиру.

Казака призвали, расспросили; казачьи командиры хотели воспользоваться этим случаем, чтобы отбить лошадей, но один из начальников, знакомый с высшими чинами армии, сообщил этот факт штабному генералу. В последнее время в штабе армии положение было в высшей степени натянутое. Ермолов, за несколько дней перед этим придя к Бенигсену, умолял его употребить свое влияние на главнокомандующего, для того чтобы сделано было наступление.

— Ежели бы я не знал вас, я подумал бы, что вы не хотите того, о чем вы просите. Стоит мне посоветовать одно, чтобы светлейший наверное сделал противоположное, — отвечал Бенигсен.

Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна соскочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на всю свою мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, приняв во внимание записку Бенигсена, посылавшего лично донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то же желание, предполагаемое им желание государя и сведения казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и отдал приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, — благословил совершившийся факт.

IV

Записка, поданная Бенигсеном о необходимости наступления, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5-е октября.

4-го октября утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями.

— Хорошо, хорошо, мне теперь некогда, — сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустерлицкой диспозиции, было написано, хотя и не по-немецки:

«Die erste Colonne marschierttуда-то и туда-то, die zweite Colonne marschiert туда-то и туда-то» и т. д.[1] И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место.

Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергардский офицер, ординарец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова.

— Уехали, — отвечал денщик Ермолова. Кавалергардский офицер пошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов.

— Нет, и генерала нет.

Кавалергардский офицер, сев верхом, поехал к другому.

— Нет, уехали.

«Как бы мне не отвечать за промедление! Вот досада!» — думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда-то, кто говорил, что он, верно, опять дома. Офицер, не обедая, искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было, и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома, но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что, должно быть, и Ермолов там.

— Да где же это?

— А вон, в Ечкине, — сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом.

— Да как же там, за цепью?

— Выслали два полка наших в цепь, там нынче такой кутеж идет, беда! Две музыки, три хора песенников.

Офицер поехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни.

«Во-олузя-а-ах... во-олузях!..» — с присвистом и с торбаном слышалось ему, изредка заглушаемое криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго не передав важного, порученного ему приказания. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо и в переднюю большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфетной и в передней суетились

[1] «Первая колонна марширует туда-то и туда-то, вторая колонна марширует туда-то и туда-то» и т.д. (нем).

лакеи с вином и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицера ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую, заметную фигуру Ермолова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках, с красными оживленными лицами и громко смеялись, стоя полукругом. В середине залы красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака.

— Ха, ха, ха! Ай да Николай Иванович! ха, ха, ха!..

Офицер чувствовал, что, входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виноват, и он хотел подождать; но один из генералов увидал его и, узнав, зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему.

— Ты думаешь, это нечаянно он уехал? — сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергардскому офицеру про Ермолова. — Это штуки, это все нарочно. Коновницына подкатить. Посмотри, завтра каша какая будет!

V

На другой день, рано утром, дряхлый Кутузов встал, помолился Богу, оделся и с неприятным сознанием того, что он должен руководить сражением, которого он не одобрял, сел в коляску и выехал из Леташевки, в пяти верстах позади Тарутина, к тому месту, где должны были быть собраны наступающие колонны. Кутузов ехал, засыпая и просыпаясь и прислушиваясь, нет ли справа выстрелов, не начиналось ли дело? Но все еще было тихо. Только начинался рассвет сырого и пасмурного осеннего дня. Подъезжая к Тарутину, Кутузов заметил кавалеристов, ведших на водопой лошадей через дорогу, по которой ехала коляска. Кутузов присмотрелся к ним, остановил коляску и спросил, какого полка? Кавалеристы были из той колонны, которая должна была быть уже далеко впереди в засаде. «Ошибка, может быть», — подумал старый главнокомандующий. Но, проехав еще дальше, Кутузов увидал пехотные полки, ружья в козлах, солдат за кашей и с дровами, в подштанниках. Позвали офицера. Офицер доложил, что никакого приказания о выступлении не было.

— Как не бы... — начал Кутузов, но тотчас же замолчал и приказал позвать к себе старшего офицера. Вылезши из коляски, опустив голову и тяжело дыша, молча ожидая, ходил он взад и вперед. Когда явился потребованный офицер генерального штаба Эйхен, Кутузов побагровел не оттого, что этот офицер был виною ошибки, но оттого, что он был достойный предмет для выражения гнева. И, трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии был приходить, когда валялся по земле от гнева, он напустился на Эйхена, угрожая руками, крича и ругаясь площадными словами. Другой подвернувшийся, капитан Брозин, ни в чем не виноватый, потерпел ту же участь.

— Это что за каналья еще! Расстрелять мерзавцев! — хрипло кричал он, махая руками и шатаясь. Он испытывал физическое страдание. Он, главнокомандующий, светлейший, которого все уверяют, что никто никогда не имел в России такой власти, как он, он поставлен в это положение — поднят на смех перед всей армией. «Напрасно так хлопотал молиться об нынешнем дне, напрасно не спал ночь и все обдумывал! — думал он о самом себе. — Когда был мальчишкой-офицером, никто

бы не смел так надсмеяться надо мной... А теперь!» Он испытывал физическое страдание, как от телесного наказания, и не мог не выражать его гневными и страдальческими криками; но скоро силы его ослабели, и он, оглядываясь, чувствуя, что он много наговорил нехорошего, сел в коляску и молча уехал назад.

Излившийся гнев уже не возвращался более, и Кутузов, слабо мигая глазами, выслушивал оправдания и слова защиты (Ермолов сам не являлся к нему до другого дня) и настояния Бенигсена, Коновницына и Толя о том, чтобы то же неудавшееся движение сделать на другой день. И Кутузов должен был опять согласиться.

VI

На другой день войска с вечера собрались в назначенных местах и ночью выступили. Была осенняя ночь с черно-лиловатыми тучами, но без дождя. Земля была влажна, но грязи не было, и войска шли без шума, только слабо слышно было изредка бренчанье артиллерии. Запретили разговаривать громко, курить трубки, высекать огонь; лошадей удерживали от ржания. Таинственность предприятия увеличивала его привлекательность. Люди шли весело. Некоторые колонны остановились, поставили ружья в козлы и улеглись на холодной земле, полагая, что они пришли туда, куда надо было; некоторые (большинство) колонны шли целую ночь и, очевидно, зашли не туда, куда им надо было.

Граф Орлов-Денисов с казаками (самый незначительный отряд из всех других) один попал на свое место и в свое время. Отряд этот остановился у крайней опушки леса, на тропинке из деревни Стромиловой в Дмитровское.

Перед зарею задремавшего графа Орлова разбудили. Привели перебежчика из французского лагеря. Это был польский унтер-офицер корпуса Понятовского. Унтер-офицер этот по-польски объяснил, что он перебежал потому, что его обидели по службе, что ему давно бы пора быть офицером, что он храбрее всех и потому бросил их и хочет их наказать. Он говорил, что Мюрат ночует в версте от них и что, ежели ему дадут сто человек конвою, он живьем возьмет его. Граф Орлов-Денисов посоветовался с своими товарищами. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться. Все вызывались ехать, все советовали попытаться. После многих споров и соображений генерал-майор Греков с двумя казачьими полками решился ехать с унтер-офицером.

— Ну помни же, — сказал граф Орлов-Денисов унтер-офицеру, отпуская его, — в случае ты соврал, я тебя велю повесить, как собаку, а правда — сто червонцев.

Унтер-офицер с решительным видом не отвечал на эти слова, сел верхом и поехал с быстро собравшимся Грековым. Они скрылись в лесу. Граф Орлов, пожимаясь от свежести начинавшего брезжить утра, взволнованный тем, что им затеяно на свою ответственность, проводив Грекова, вышел из леса и стал оглядывать неприятельский лагерь, видневшийся теперь обманчиво в свете начинавшегося утра и догоравших костров. Справа от графа Орлова-Денисова, по открытому склону, должны были показаться наши колонны. Граф Орлов глядел туда; но несмотря на то, что издалека они были бы заметны, колонн этих не было видно. Во французском лагере, как показалось графу Орлову-Денисову, и в особенности по словам его очень зоркого адъютанта, начинали шевелиться.

— Ах, право, поздно, — сказал граф Орлов, поглядев на лагерь. Ему вдруг, как это часто бывает, после того как человека, которому мы поверим, нет больше перед глазами, ему вдруг совершенно ясно и очевидно стало, что унтер-офицер этот обманщик, что он наврал и только испортит все дело атаки отсутствием этих двух полков, которых он заведет Бог знает куда. Можно ли из такой массы войск выхватить главнокомандующего?

— Право, он врет, этот шельма, — сказал граф.

— Можно воротить, — сказал один из свиты, который почувствовал так же, как и граф Орлов-Денисов, недоверие к предприятию, когда посмотрел на лагерь.

— А? Право?.. как вы думаете, или оставить? Или нет?

— Прикажете воротить?

— Воротить, воротить! — вдруг решительно сказал граф Орлов, глядя на часы, — поздно будет, совсем светло.

И адъютант поскакал лесом за Грековым. Когда Греков вернулся, граф Орлов-Денисов, взволнованный и этой отмененной попыткой, и тщетным ожиданием пехотных колонн, которые все не показывали, и близостью неприятеля (все люди его отряда испытывали то же), решил наступать.

Шепотом прокомандовал он: «Садись!» Распределились, перекрестились...

— С Богом!

«Ураааааа!» — зашумело по лесу, и, одна сотня за другой, как из мешка высыпаясь, полетели весело казаки с своими дротиками наперевес, через ручей к лагерю.

Один отчаянный, испуганный крик первого увидавшего казаков француза — и все, что было в лагере, неодетое, спросонков бросило пушки, ружья, лошадей и побежало куда попало.

Ежели бы казаки преследовали французов, не обращая внимания на то, что было позади и вокруг них, они взяли бы и Мюрата, и все, что тут было. Начальники и хотели этого. Но нельзя было сдвинуть с места казаков, когда они добрались до добычи и пленных. Команды никто не слушал. Взято было тут же тысяча пятьсот человек пленных, тридцать восемь орудий, знамена и, что важнее всего для казаков, лошади, седла, одеяла и различные предметы. Со всем этим надо было обойтись, прибрать к рукам пленных, пушки, поделить добычу, покричать, даже подраться между собой: всем этим занялись казаки.

Французы, не преследуемые более, стали понемногу опоминаться, собрались командами и принялись стрелять. Орлов-Денисов ожидал все колонны и не наступал дальше.

Между тем по диспозиции: «die erste Colonne marschiert»[1] и т. д., пехотные войска опоздавших колонн, которыми командовал Бенигсен и управлял Толь, выступили как следует и, как всегда бывает, пришли куда-то, но только не туда, куда им было назначено. Как и всегда бывает, люди, вышедшие весело, стали

[1] «первая колонна идет» (нем.).

останавливаться; послышалось неудовольствие, сознание путаницы, двинулись куда-то назад. Проскакавшие адъютанты и генералы кричали, сердились, ссорились, говорили, что совсем не туда и опоздали, кого-то бранили и т. д., и наконец, все махнули рукой и пошли только с тем, чтобы идти куда-нибудь. «Куда-нибудь да придем!» И действительно, пришли, но не туда, а некоторые туда, но опоздали так, что пришли без всякой пользы, только для того, чтобы в них стреляли. Толь, который в этом сражении играл роль Вейротера в Аустерлицком, старательно скакал из места в место и везде находил все навыворот. Так он наскакал на корпус Багговута в лесу, когда уже было совсем светло, а корпус этот давно уже должен был быть там, с Орловым-Денисовым. Взволнованный, огорченный неудачей и полагая, что кто-нибудь виноват в этом, Толь подскакал к корпусному командиру и строго стал упрекать его, говоря, что за это расстрелять следует. Багговут, старый, боевой, спокойный генерал, тоже измученный всеми остановками, путаницами, противоречиями, к удивлению всех, совершенно противно своему характеру, пришел в бешенство и наговорил неприятных вещей Толю.

— Я уроков принимать ни от кого не хочу, а умирать с своими солдатами умею не хуже другого, — сказал он и с одной дивизией пошел вперед.

Выйдя на поле под французские выстрелы, взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело теперь, и с одной дивизией, пошел прямо и повел свои войска под выстрелы. Опасность, ядра, пули были то самое, что нужно ему было в его гневном настроении. Одна из первых пуль убила его, следующие пули убили многих солдат. И дивизия его постояла несколько времени без пользы под огнем.

VII

Между тем с фронта другая колонна должна была напасть на французов, но при этой колонне был Кутузов. Он знал хорошо, что ничего, кроме путаницы, не выйдет из этого против его воли начатого сражения, и, насколько то было в его власти, удерживал войска. Он не двигался.

Кутузов молча ехал на своей серенькой лошадке, лениво отвечая на предложения атаковать.

— У вас все на языке атаковать, а не видите, что мы не умеем делать сложных маневров, — сказал он Милорадовичу, просившемуся вперед.

— Не умели утром взять живьем Мюрата и прийти вовремя на место: теперь нечего делать! — отвечал он другому.

Когда Кутузову доложили, что в тылу французов, где, по донесениям казаков, прежде никого не было, теперь было два батальона поляков, он покосился назад на Ермолова (он с ним не говорил еще со вчерашнего дня).

— Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель берет свои меры.

Ермолов прищурил глаза и слегка улыбнулся, услыхав эти слова. Он понял, что для него гроза прошла и что Кутузов ограничится этим намеком.

— Это он на мой счет забавляется, — тихо сказал Ермолов, толкнув коленкой Раевского, стоявшего подле него.

Вскоре после этого Ермолов выдвинулся вперед к Кутузову и почтительно доложил:

— Время не упущено, ваша светлость, неприятель не ушел. Если прикажете наступать? А то гвардия и дыма не увидит.

Кутузов ничего не сказал, но когда ему донесли, что войска Мюрата отступают, он приказал наступленье; но через каждые сто шагов останавливался на три четверти часа.

Все сраженье состояло только в том, что сделали казаки Орлова-Денисова; остальные войска лишь напрасно потеряли несколько сот людей.

Вследствие этого сражения Кутузов получил алмазный знак, Бенигсен тоже алмазы и сто тысяч рублей, другие, по чинам соответственно, получили тоже много приятного, и после этого сражения сделаны еще новые перемещения в штабе.

«Вот как у нас всегда делается, все навыворот!» — говорили после Тарутинского сражения русские офицеры и генералы, — точно так же, как и говорят теперь, давая чувствовать, что кто-то там глупый делает так, навыворот, а мы бы не так сделали. Но люди, говорящие так, или не знают дела, про которое говорят, или умышленно обманывают себя. Всякое сражение — Тарутинское, Бородинское, Аустерлицкое — всякое совершается не так, как предполагали его распорядители. Это есть существенное условие.

Бесчисленное количество свободных сил (ибо нигде человек не бывает свободнее, как во время сражения, где дело идет о жизни и смерти) влияет на направление сражения, и это направление никогда не может быть известно вперед и никогда не совпадает с направлением какой-нибудь одной силы.

Ежели многие, одновременно и разнообразно направленные силы действуют на какое-нибудь тело, то направление движения этого тела не может совпадать ни с одной из сил; а будет всегда среднее, кратчайшее направление, то, что в механике выражается диагональю параллелограмма сил.

Ежели в описаниях историков, в особенности французских, мы находим, что у них войны и сражения исполняются по вперед определенному плану, то единственный вывод, который мы может сделать из этого, состоит в том, что описания эти не верны.

Тарутинское сражение, очевидно, не достигло той цели, которую имел в виду Толь: по порядку ввести по диспозиции в дело войска, и той, которую мог иметь граф Орлов: взять в плен Мюрата, или цели истребления мгновенно всего корпуса, которую могли иметь Бенигсен и другие лица, или цели офицера, желавшего попасть в дело и отличиться, или казака, который хотел приобрести больше добычи, чем он приобрел, и т. д. Но, если целью было то, что действительно совершилось, и то, что для всех русских людей тогда было общим желанием (изгнание французов из России и истребление их армии), то будет совершенно ясно, что Тарутинское сражение, именно вследствие его несообразностей, было то самое, что было нужно в тот

период кампании. Трудно и невозможно придумать какой-нибудь исход этого сражения, более целесообразный, чем тот, который оно имело. При самом малом напряжении, при величайшей путанице и при самой ничтожной потере были приобретены самые большие результаты во всю кампанию, был сделан переход от отступления к наступлению, была обличена слабость французов и был дан тот толчок, которого только и ожидало наполеоновское войско для начатия бегства.

VIII

Наполеон вступает в Москву после блестящей победы de la Moskowa[1]; сомнения в победе не может быть, так как поле сражения остается за французами. Русские отступают и отдают столицу. Москва, наполненная провиантом, оружием, снарядами и несметными богатствами, — в руках Наполеона. Русское войско, вдвое слабейшее французского, в продолжение месяца не делает ни одной попытки нападения. Положение Наполеона самое блестящее. Для того, чтобы двойными силами навалиться на остатки русской армии и истребить ее, для того, чтобы выговорить выгодный мир или, в случае отказа, сделать угрожающее движение на Петербург, для того, чтобы даже, в случае неудачи, вернуться в Смоленск или в Вильну, или остаться в Москве, — для того, одним словом, чтобы удержать то блестящее положение, в котором находилось в то время французское войско, казалось бы, не нужно особенной гениальности. Для этого нужно было сделать самое простое и легкое: не допустить войска до грабежа, заготовить зимние одежды, которых достало бы в Москве на всю армию, и правильно собрать находившийся в Москве более чем на полгода (по показанию французских историков) провиант всему войску. Наполеон, этот гениальнейший из гениев и имевший власть управлять армиею, как утверждают историки, ничего не сделал этого.

Он не только не сделал ничего этого, но, напротив, употребил свою власть на то, чтобы из всех представлявшихся ему путей деятельности выбрать то, что было глупее и пагубнее всего. Из всего, что мог сделать Наполеон: зимовать в Москве, идти на Петербург, идти на Нижний Новгород, идти назад, севернее или южнее, тем путем, которым пошел потом Кутузов, — ну что бы ни придумать, глупее и пагубнее того, что сделал Наполеон, то есть оставаться до октября в Москве, предоставляя войскам грабить город, потом, колеблясь, оставить или не оставить гарнизон, выйти из Москвы, подойти к Кутузову, не начать сражения, пойти вправо, дойти до Малого Ярославца, опять не испытав случайности пробиться, пойти не по той дороге, по которой пошел Кутузов, а пойти назад на Можайск и по разоренной Смоленской дороге, — глупее этого, пагубнее для войска ничего нельзя было придумать, как то и показали последствия. Пускай самые искусные стратегики придумают, представив себе, что цель Наполеона состояла в том, чтобы погубить свою армию, придумают другой ряд действий, который бы с такой же несомненностью и независимостью от всего того, что бы ни предприняли русские войска, погубил бы так совершенно всю французскую армию, как то, что сделал Наполеон.

[1] при Москве-реке (Во французской военной традиции XIX века Бородинскую битву называли la bataille de la Moskowa — «битва на Москве-реке». Отсюда и выражение «de la Moskowa» — «под Москвой-рекой», «относящийся к Бородинскому сражению»)

Гениальный Наполеон сделал это. Но сказать, что Наполеон погубил свою армию потому, что он хотел этого, или потому, что он был очень глуп, было бы точно так же несправедливо, как сказать, что Наполеон довел свои войска до Москвы потому, что он хотел этого, и потому, что он был очень умен и гениален.

В том и другом случае личная деятельность его, не имевшая больше силы, чем личная деятельность каждого солдата, только совпадала с теми законами, по которым совершалось явление.

Совершенно ложно (только потому, что последствия не оправдали деятельности Наполеона) представляют нам историки силы Наполеона ослабевшими в Москве. Он, точно так же, как и прежде, как и после, в 13-м году, употреблял все свое уменье и силы на то, чтобы сделать наилучшее для себя и своей армии. Деятельность Наполеона за это время не менее изумительна, чем в Египте, в Италии, в Австрии и в Пруссии. Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительна гениальность Наполеона в Египте, где сорок веков смотрели на его величие, потому что эти все великие подвиги описаны нам только французами. Мы не можем верно судить о его гениальности в Австрии и Пруссии, так как сведения о его деятельности там должны черпать из французских и немецких источников; а непостижимая сдача в плен корпусов без сражений и крепостей без осады должна склонять немцев к признанию гениальности как к единственному объяснению той войны, которая велась в Германии. Но нам признавать его гениальность, чтобы скрыть свой стыд, слава Богу, нет причины. Мы заплатили за то, чтоб иметь право просто и прямо смотреть на дело, и мы не уступим этого права.

Деятельность его в Москве так же изумительна и гениальна, как и везде. Приказания за приказаниями и планы за планами исходят из него со времени его вступления в Москву и до выхода из нее. Отсутствие жителей и депутации и самый пожар Москвы не смущают его. Он не упускает из виду ни блага своей армии, ни действий неприятеля, ни блага народов России, ни управления делами Парижа, ни дипломатических соображений о предстоящих условиях мира.

IX

В военном отношении, тотчас по вступлении в Москву, Наполеон строго приказывает генералу Себастиани следить за движениями русской армии, рассылает корпуса по разным дорогам и Мюрату приказывает найти Кутузова. Потом он старательно распоряжается об укреплении Кремля; потом делает гениальный план будущей кампании по всей карте России. В отношении дипломатическом, Наполеон призывает к себе ограбленного и оборванного капитана Яковлева, не знающего, как выбраться из Москвы, подробно излагает ему всю свою политику и свое великодушие и, написав письмо к императору Александру, в котором он считает своим долгом сообщить своему другу и брату, что Растопчин дурно распорядился в Москве, он отправляет Яковлева в Петербург. Изложив так же подробно свои виды и великодушие перед Тутолминым, он и этого старичка отправляет в Петербург для переговоров.

В отношении юридическом, тотчас же после пожаров, велено найти виновных и казнить их. И злодей Растопчин наказан тем, что велено сжечь его дома.

В отношении административном, Москве дарована конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее:

«*Жители Москвы!*

Несчастия ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оное будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить через плечо, а градской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки.

Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а через ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров, или полицмейстеров, и двадцать комиссаров, или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемое несчастию. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение; но, чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастия, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой судьбы, были уверены, что неизбежимая и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваши имущества, а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были! Восстановите публичное доверие, источник счастия государства, живите, как братья, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь, чтоб опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут».

В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву à la maraude[1] для заготовления себе провианта, так, чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время.

В отношении религиозном, Наполеон приказал ramener les popes[2] и возобновить служение в церквах.

В торговом отношении и для продовольствия армии было развешено везде следующее:

[1] мародерствовать

[2] привести назад попов

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ

«Вы, спокойные московские жители, мастеровые и рабочие люди, которых несчастия удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте! Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстанавливается. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его величество император и король их покровительствует и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелениям. Он хочет прекратить ваши несчастия и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте ж его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители! Возвращайтесь с доверием в ваши жилища: вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам! Ремесленники и трудолюбивые мастеровые! Приходите обратно к вашим рукодельям: домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату! И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы, в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтоб обеспечить им свободную продажу:

1) Считая от сего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду ни были, в двух назначенных лабазах, то есть на Моховую и в Охотный ряд.

2) Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою; но если продавец не получит требуемую им справедливую цену, то волен будет повезти их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может.

3) Каждое воскресенье и середа назначены еженедельно для больших торговых дней; почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах, в таком расстоянии от города, чтоб защищать те обозы.

4) Таковые ж меры будут взяты, чтоб на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия.

5) Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были! Вас взывают исполнять отеческие намерения его величества императора и короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами!»

В отношении поднятия духа войска и народа, беспрестанно делались смотры, раздавались награды. Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей; и, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры.

В отношении благотворительности, лучшей доблести венценосцев, Наполеон делал тоже все, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать Maison de ma mère[1], соединяя этим актом нежное сыновнее чувство с величием добродетели монарха. Он посетил Воспитательный дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с Тутолминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалованье своим войскам русскими, сделанными им, фальшивыми деньгами. Relevant l'emploi de ces moyens par un acte digne de lui et de l'armée Française, il fit distribuer des secours aux incendiés. Mais les vivres étant trop précieux pour être donnés à des étrangers la plupart ennemis, Napoléon aima mieux leur fournir de l'argent afin qu'ils se fournissent au dehors, et il leur fit distribuer des roubles papiers[2].

В отношении дисциплины армии, беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.

X

Но странное дело, все эти распоряжения, заботы и планы, бывшие вовсе не хуже других, издаваемых в подобных же случаях, не затрогивали сущности дела, а, как стрелки циферблата в часах, отделенного от механизма, вертелись произвольно и бесцельно, не захватывая колес.

В военном отношении, гениальный план кампании, про который Тьер говорит, que son génie n'avait jamais rien imaginé de plus profond, de plus habile et de plus admirable[3] и относительно которого Тьер, вступая в полемику с г-м Феном, доказывает, что составление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4-му, а к 15-му октября, план этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности. Укрепление Кремля, для которого надо было срыть la Mosquée[4] (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремлем только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, то есть чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которое так озабочивало Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли шестидесятитысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и, кажется, тоже гениальности Мюрата удалось найти, как булавку, эту шестидесятитысячную русскую армию.

В дипломатическом отношении, все доводы Наполеона о своем великодушии и справедливости, и перед Тутолминым, и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны: Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство.

---

[1] Дом моей матери

[2] И, подчёркивая применение этих мер поступком, достойным его самого и французской армии, он распорядился раздать помощь пострадавшим от пожара. Но, так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы отдавать его чужим, большей частью враждебным людям, Наполеон счел лучшим дать им денег, чтобы они добывали себе продовольствие на стороне; и он приказал оделять их бумажными рублями.

[3] В военном отношении — гениальный план кампании, о котором Тьер говорит, что его гений никогда не создавал ничего более глубокого, более искусного и более восхитительного...

[4] мечеть — Ред.

В отношении юридическом, после казни мнимых поджигателей сгорела другая половина Москвы.

В отношении административном, учреждение муниципалитета не остановило грабежа и принесло только пользу некоторым лицам, участвовавшим в этом муниципалитете и, под предлогом соблюдения порядка, грабившим Москву или сохранявшим свое от грабежа.

В отношении религиозном, так легко устроенное в Египте дело посредством посещения мечети, здесь не принесло никаких результатов. Два или три священника, найденные в Москве, попробовали исполнить волю Наполеона, но одного из них по щекам прибил французский солдат во время службы, а про другого доносил следующее французский чиновник: «Le prêtre, que j'avais découvert et invité à recommencer à dire la messe, a nettoyé et fermé l'église. Cette nuit on est venu de nouveau enfoncer les portes, casser les cadenas, déchirer les livres et commettre d'autres désordres»[1].

В торговом отношении, на провозглашение трудолюбивым ремесленникам и всем крестьянам не последовало никакого ответа. Трудолюбивых ремесленников не было, а крестьяне ловили тех комиссаров, которые слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и убивали их.

В отношении увеселений народа и войска театрами, дело точно так же не удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Познякова театры тотчас же закрылись, потому что ограбили актрис и актеров.

Благотворительность и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые ассигнации и нефальшивые наполняли Москву и не имели цены. Для французов, собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые ассигнации, которые Наполеон так милостиво раздавал несчастным, не имели цены, но серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото.

Но самое поразительное явление недействительности высших распоряжений в то время было старание Наполеона остановить грабежи и восстановить дисциплину.

Вот что доносили чины армии.

«Грабежи продолжаются в городе, несмотря на повеление прекратить их. Порядок еще не восстановлен, и нет ни одного купца, отправляющего торговлю законным образом. Только маркитанты позволяют себе продавать, да и то награбленные вещи».

«La partie de mon arrondissement continue à être en proie au pillage des soldats du 3 corps, qui, non contents d'arracher aux malheureux réfugiés dans des souterrains le peu qui leur reste, ont même la férocité de les blesser à coups de sabre, comme j'en ai vu plusieurs exemples».

«Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller. Le 9 octobre».

[1] «Священник, которого я разыскал и пригласил вновь начать служить обедню, вычистил и запер церковь. Этой ночью снова пришли, выломали двери, сломали замки, разорвали книги и учинили другие беспорядки»…

«Le vol et le pillage continuent. Il y a une bande de voleurs dans notre district qu'il faudra faire arrêter par de fortes gardes. Le 11 octobre»[1].

«Император чрезвычайно недоволен, что, несмотря на строгие повеления остановить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающихся в Кремль. В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, нежели когда-либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример подчиненности, до такой степени простирают ослушание, что разбивают погреба и магазины, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушали часовых и караульных офицеров, ругали их и били».

«Le grand maréchal du palais se plaint vivement, — писал губернатор, — que malgré les défenses réitérées, les soldats continuent à faire leurs besoins dans toutes les cours et même jusque sous les fenêtres de l'Empereur»[2].

Войско это, как распущенное стадо, топча под ногами тот корм, который мог бы спасти его от голодной смерти, распадалось и гибло с каждым днем лишнего пребывания в Москве.

Но оно не двигалось.

Оно побежало только тогда, когда его вдруг охватил панический страх, произведенный перехватами обозов по Смоленской дороге и Тарутинским сражением. Это же самое известие о Тарутинском сражении, неожиданно на смотру полученное Наполеоном, вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер, и он отдал приказание о выступлении, которого требовало все войско.

Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный trésor[3]. Увидав обоз, загромождавший армию, Наполеон ужаснулся (как говорит Тьер). Но он, с своей опытностью войны, не велел сжечь все лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала, подходя к Москве, но он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта, больных и раненых.

Положение всего войска было подобно положению раненого животного, чувствующего свою погибель и не знающего, что оно делает. Изучать искусные маневры Наполеона и его войска и его цели со времени вступления в Москву и до уничтожения этого войска — все равно, что изучать значение предсмертных прыжков и судорог смертельно раненного животного. Очень часто раненое животное,

---

[1] «Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу солдат 3-го корпуса, которые не довольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подвалы, но еще и с жестокостию наносят им раны саблями, как я сам много раз видел».

«Ничего нового, только что солдаты позволяют себе грабить и воровать. 9 октября».

«Воровство и грабеж продолжаются. Существует шайка воров в нашем участке, которую придётся арестовать сильными караулами. 11 октября».

[2] «Обер-церемониймейстер дворца жалуется на то, что, несмотря на все запрещения, солдаты продолжают ходить на час во всех дворах и даже под окнами императора».

[3] казну, личный запас ценностей

заслышав шорох, бросается на выстрел на охотника, бежит вперед, назад и само ускоряет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением всего его войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся назад, опять вперед, опять назад и, наконец, как всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому, старому следу.

Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля, силою, руководящею корабль), Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за Тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит.

XI

6-го октября, рано утром, Пьер вышел из балагана и, вернувшись назад, остановился у двери, играя с длинной, на коротких кривых ножках, лиловой собачонкой, вертевшейся около него. Собачонка эта жила у них в балагане, ночуя с Каратаевым, но иногда ходила куда-то в город и опять возвращалась. Она, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь она была ничья и не имела никакого названия. Французы звали ее Азор, солдат-сказочник звал ее Фемгалкой, Каратаев и другие звали ее Серый, иногда Вислый. Непринадлежание ее никому и отсутствие имени и даже породы, даже определенного цвета, казалось, нисколько не затрудняло лиловую собачонку. Пушной хвост панашем твердо и кругло стоял кверху, кривые ноги служили ей так хорошо, что часто она, как бы пренебрегая употреблением всех четырех ног, поднимала грациозно одну заднюю и очень ловко и скоро бежала на трех лапах. Все для нее было предметом удовольствия. То, взвизгивая от радости, она валялась на спине, то грелась на солнце с задумчивым и значительным видом, то резвилась, играя с щепкой или соломинкой.

Одеяние Пьера теперь состояло из грязной продранной рубашки, единственном остатке его прежнего платья, солдатских порток, завязанных для тепла веревочками на щиколотках по совету Каратаева, из кафтана и мужицкой шапки. Пьер очень изменился физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел все тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе. Борода и усы обросли нижнюю часть лица; отросшие, спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно-готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распущенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь энергической, готовой на деятельность и отпор — подобранностью. Ноги его были босые.

Пьер смотрел то вниз по полю, по которому в нынешнее утро разъездились повозки и верховые, то вдаль за реку, то на собачонку, притворявшуюся, что она не на шутку хочет укусить его, то на свои босые ноги, которые он с удовольствием переставлял в различные положения, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства. Вид этих босых ног напоминал ему все то, что он пережил и понял за это время, и воспоминание это было ему приятно.

Погода уже несколько дней стояла тихая, ясная, с легкими заморозками по утрам — так называемое бабье лето.

В воздухе, на солнце, было тепло, и тепло это с крепительной свежестью утреннего заморозка, еще чувствовавшегося в воздухе, было особенно приятно.

На всем, и на дальних и на ближних предметах, лежал тот волшебно-хрустальный блеск, который бывает только в эту пору осени. Вдалеке виднелись Воробьевы горы, с деревнею, церковью и большим белым домом. И оголенные деревья, и песок, и камни, и крыши домов, и зеленый шпиль церкви, и углы дальнего белого дома — все это неестественно-отчетливо, тончайшими линиями вырезалось в прозрачном воздухе. Вблизи виднелись знакомые развалины полуобгорелого барского дома, занимаемого французами, с темно-зелеными еще кустами сирени, росшими по ограде. И даже этот разваленный и загаженный дом, отталкивающий своим безобразием в пасмурную погоду, теперь, в ярком, неподвижном блеске, казался чем-то успокоительно-прекрасным.

Французский капрал, по-домашнему расстегнутый, в колпаке, с коротенькой трубкой в зубах, вышел из-за угла балагана и, дружески подмигнув, подошел к Пьеру.

— Quel soleil, hein, monsieur Kiril? (так звали Пьера все французы). On dirait le printemps. — И капрал прислонился к двери и предложил Пьеру трубку, несмотря на то, что всегда он ее предлагал и всегда Пьер отказывался.

— Si l'on marchait par un temps comme celui-là...[1] — начал он.

Пьер расспросил его, что слышно о выступлении, и капрал рассказал, что почти все войска выступают и что нынче должен быть приказ и о пленных. В балагане, в котором был Пьер, один из солдат, Соколов, был при смерти болен, и Пьер сказал капралу, что надо распорядиться этим солдатом. Капрал сказал, что Пьер может быть спокоен, что на это есть подвижной и постоянный госпитали, и что о больных будет распоряжение, и что вообще все, что только может случиться, все предвидено начальством.

— Et puis, monsieur Kiril, vous n'avez qu'à dire un mot au capitaine, vous savez. Oh, c'est un... qui n'oublie jamais rien. Dites au capitaine quand il fera sa tournée, il fera tout pour vous...[2]

Капитан, про которого говорил капрал, почасту и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения.

— Vois-tu, St. Thomas, qu'il me disait l'autre jour: Kiril c'est un homme qui a de l'instruction, qui parle français; c'est un seigneur russe, qui a eu des malheurs, mais c'est un homme. Et il s'y entend le... S'il demande quelque chose, qu'il me dise, il n'y a pas de refus. Quand on a fait ses études, voyez-vous, on aime l'instruction et les gens comme il faut.

---

[1] — Какое солнце, а, месье Кирил? (так все французы называли Пьера). Будто весна.

Капрал прислонился к двери и предложил Пьеру трубку, хотя всегда предлагал её и всегда получал отказ.

— В такую бы погоду в поход идти... — начал он.

[2] — А потом, месье Кириль, вам стоит только сказать одно слово капитану, вы знаете... Ах, это такой человек… он ничего никогда не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход — он для вас всё сделает…

C'est pour vous, que je dis cela, monsieur Kiril. Dans l'affaire de l'autre jour si ce n'était grâce à vous, ça aurait fini mal[1].

И, поболтав еще несколько времени, капрал ушел. (Дело, случившееся намедни, о котором упоминал капрал, была драка между пленными и французами, в которой Пьеру удалось усмирить своих товарищей.) Несколько человек пленных слушали разговор Пьера с капралом и тотчас же стали спрашивать, что он сказал. В то время как Пьер рассказывал своим товарищам то, что капрал сказал о выступлении, к двери балагана подошел худощавый, желтый и оборванный французский солдат. Быстрым и робким движением приподняв пальцы ко лбу в знак поклона, он обратился к Пьеру и спросил его, в этом ли балагане солдат Platoche, которому он отдал шить рубаху.

С неделю тому назад французы получили сапожный товар и полотно и роздали шить сапоги и рубахи пленным солдатам.

— Готово, готово, соколик! — сказал Каратаев, выходя с аккуратно сложенной рубахой.

Каратаев, по случаю тепла и для удобства работы, был в одних портках и в черной, как земля, продранной рубашке. Волоса его, как это делают мастеровые, были обвязаны мочалочкой, и круглое лицо его казалось еще круглее и миловиднее.

— Уговорец — делу родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал, — говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку.

Француз беспокойно оглянулся и, как будто преодолев сомнение, быстро скинул мундир и надел рубаху. Под мундиром на французе не было рубахи, а на голое, желтое, худое тело был надет длинный, засаленный, шелковый с цветочками жилет. Француз, видимо, боялся, чтобы пленные, смотревшие на него, не засмеялись, и поспешно сунул голову в рубашку. Никто из пленных не сказал ни слова.

— Вишь, в самый раз, — приговаривал Платон, обдергивая рубаху. Француз, просунув голову и руки, не поднимая глаз, оглядывал на себе рубашку и рассматривал шов.

— Что ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти и вша не убьешь, — говорил Платон, кругло улыбаясь и, видимо, сам радуясь на свою работу.

— C'est bien, c'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste?[2] — сказал француз.

— Она еще ладнее будет, как ты на тело-то наденешь, — говорил Каратаев, продолжая радоваться на свое произведение. — Вот и хорошо и приятно будет...

---

[1] — Вот, клянусь святым Фомою, — говорил он мне на днях, — Кирил — человек образованный, по-французски говорит; это русский сеньор, с которым случилось несчастье, но он — человек. А он в этом разбирается… Если он что-нибудь попросит, пусть скажет мне — отказа не будет. Когда учился кой-чему, то любишь образованность и порядочных людей. Это я вам говорю, месье Кирил. В той истории на днях, если бы не вы, всё бы плохо кончилось.

[2] — Ладно, ладно, спасибо, а у вас ведь должна остаться лишнее полпотно? — сказал француз

— Merci, merci, mon vieux, le reste?.. — повторил француз, улыбаясь, и, достав ассигнацию, дал Каратаеву, — mais le reste...[1]

Пьер видел, что Платон не хотел понимать того, что говорил француз, и, не вмешиваясь, смотрел на них. Каратаев Поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.

— На что же ему остатки-то? — сказал Каратаев. — Нам подверточки-то важные бы вышли. Ну, да Бог с ним. — И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи сверточек обрезков и, не глядя на него, подал французу. — Эхма! — проговорил Каратаев и пошел назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и как будто взгляд Пьера что-то сказал ему.

— Platoche, dites donc, Platoche, — вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голосом. — Gardez pour vous[2], — сказал он, подавая обрезки, повернулся и ушел.

— Вот поди ты, — сказал Каратаев, покачивая головой. — Говорят, нехристи, а тоже душа есть. То-то старички говаривали: потная рука торовата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот отдал же. — Каратаев, задумчиво улыбаясь и глядя на обрезки, помолчал несколько времени. — А подверточки, дружок, важнеющие выдут, — сказал он и вернулся в балаган.

XII

Прошло четыре недели с тех пор, как Пьер был в плену. Несмотря на то, что французы предлагали перевести его из солдатского балагана в офицерский, он остался в том балагане, в который поступил с первого дня.

В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек; но, благодаря своему сильному сложению и здоровью, которого он не сознавал до сих пор, и в особенности благодаря тому, что эти лишения подходили так незаметно, что нельзя было сказать, когда они начались, он переносил не только легко, но и радостно свое положение. И именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, — он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства,

[1] Спасибо, спасибо, любезный, а остаток-то где?.. Остаток-то давай.

[2] — Платоша, эй, Платоша, — вдруг покраснев, пискляво крикнул француз. — Оставьте себе, — сказал он, протягивая обрезки полотна, повернулся и ушёл.

прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всем этом. «России да лету — союзу нету», — повторял он слова Каратаева, и эти слова странно успокоивали его. Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисления о кабалистическом числе и звере Апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны. Что ему было за дело до того, что эта женщина вела там где-то ту жизнь, которая ей нравилась? Кому, в особенности ему, какое дело было до того, что узнают или не узнают, что имя их пленного было граф Безухов?

Теперь он часто вспоминал свой разговор с князем Андреем и вполне соглашался с ним, только несколько иначе понимая мысль князя Андрея. Князь Андрей думал и говорил, что счастье бывает только отрицательное, но он говорил это с оттенком горечи и иронии. Как будто, говоря это, он высказывал другую мысль — о том, что все вложенные в нас стремленья к счастью положительному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, мучить нас. Но Пьер без всякой задней мысли признавал справедливость этого. Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора занятий, то есть образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомненным и высшим счастьем человека. Здесь, теперь только, в первый раз Пьер вполне оценил наслажденье еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей — хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастием, а выбор занятия, то есть жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, казались ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств жизни уничтожает все счастие удовлетворения потребностей, а большая свобода выбора занятий, та свобода, которую ему в его жизни давали образование, богатство, положение в свете, что эта-то свобода и делает выбор занятий неразрешимо трудным и уничтожает самую потребность и возможность занятия.

Все мечтания Пьера теперь стремились к тому времени, когда он будет свободен. А между тем впоследствии и во всю свою жизнь Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытывал только в это время.

Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидал сначала темные купола, кресты Новодевичьего монастыря, увидал морозную росу на пыльной траве, увидал холмы Воробьевых гор и извивающийся над рекою и скрывающийся в лиловой дали лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услыхал звуки летевших из Москвы через поле галок и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из-за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река, все заиграло в радостном свете, — Пьер почувствовал новое, не испытанное им чувство радости и крепости жизни.

И чувство это не только не покидало его во все время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения.

Чувство этой готовности на все, нравственной подобранности еще более поддерживалось в Пьере тем высоким мнением, которое, вскоре по его вступлении в балаган, установилось о нем между его товарищами. Пьер с своим знанием языков, с тем уважением, которое ему оказывали французы, с своей простотой, отдававший все, что у него просили (он получал офицерские три рубля в неделю), с своей силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену балагана, с кротостью, которую он выказывал в обращении с товарищами, с своей непонятной для них способностью сидеть неподвижно и, ничего не делая, думать, представлялся солдатам несколько таинственным и высшим существом. Те самые свойства его, которые в том свете, в котором он жил прежде, были для него если не вредны, то стеснительны — его сила, пренебрежение к удобствам жизни, рассеянность, простота, — здесь, между этими людьми, давали ему положение почти героя. И Пьер чувствовал, что этот взгляд обязывал его.

XIII

В ночь с 6-го на 7-е октября началось движение выступавших французов: ломались кухни, балаганы, укладывались повозки и двигались войска и обозы.

В семь часов утра конвой французов, в походной форме, в киверах, с ружьями, ранцами и огромными мешками, стоял перед балаганами, и французский оживленный говор, пересыпаемый ругательствами, перекатывался по всей линии.

В балагане все были готовы, одеты, подпоясаны, обуты и ждали только приказания выходить. Больной солдат Соколов, бледный, худой, с синими кругами вокруг глаз, один, не обутый и не одетый, сидел на своем месте и выкатившимися от худобы глазами вопросительно смотрел на не обращавших на него внимания товарищей и негромко и равномерно стонал. Видимо, не столько страдания — он был болен кровавым поносом, — сколько страх и горе оставаться одному заставляли его стонать.

Пьер, обутый в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, который принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанный веревкою, подошел к больному и присел перед ним на корточки.

— Что ж, Соколов, они ведь не совсем уходят! У них тут гошпиталь. Может, тебе еще лучше нашего будет, — сказал Пьер.

— О Господи! О смерть моя! О Господи! — громче застонал солдат.

— Да я сейчас еще спрошу их, — сказал Пьер и, поднявшись, пошел к двери балагана. В то время как Пьер подходил к двери, снаружи подходил с двумя солдатами тот капрал, который вчера угощал Пьера трубкой. И капрал и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застегнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица.

Капрал шел к двери, с тем чтобы, по приказанию начальства, затворить ее. Перед выпуском надо было пересчитать пленных.

— Caporal, que fera-t-on du malade?..[1] — начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усумнился, тот ли это знакомый его капрал или другой, неизвестный человек: так непохож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов. Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно; с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стоны больного.

«Вот оно!.. Опять оно!» — сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча, нахмурившись, стоял у двери балагана.

Когда двери балагана отворились и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперед их и подошел к тому самому капитану, который, по уверению капрала, готов был все сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело тоже «оно», которое Пьер узнал в словах капрала и в треске барабанов.

— Filez, filez[2], — приговаривал капитан, строго хмурясь и глядя на толпившихся мимо него пленных. Пьер знал, что его попытка будет напрасна, но подошел к нему.

— Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? — холодно оглянувшись, как бы не узнав, сказал офицер. Пьер сказал про больного.

— Il pourra marcher, que diable! — сказал капитан. — Filez, filez, — продолжал он приговаривать, не глядя на Пьера.

— Mais non, il est à l'agonie... — начал было Пьер.

— Voulez-vous bien?! — злобно нахмурившись, крикнул капитан.

Драм да да дам, дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить еще что-нибудь было бесполезно.

Пленных офицеров отделили от солдат и велели им идти впереди. Офицеров, в числе которых был Пьер, было человек тридцать, солдатов человек триста.

---

[1] Капрал, что с больным делать?..

[2] — Живее, живее, — приговаривал капитан, строго хмурясь и глядя на проходивших мимо него пленных. Пьер знал, что его попытка будет напрасной, но подошёл к нему.

— Ну, что еще? — холодно оглянувшись, будто не узнав его, сказал офицер.

Пьер рассказал о больном.

— Он сможет идти, чёрт побери! — сказал капитан. — Живее, живее, — повторял он, не глядя на Пьера.

— Нет же, он при смерти… — начал Пьер.

— Да перестанете ли вы?! — злобно нахмурившись, крикнул капитан.

Пленные офицеры, выпущенные из других балаганов, были все чужие, были гораздо лучше одеты, чем Пьер, и смотрели на него, в его обуви, с недоверчивостью и отчужденностью. Недалеко от Пьера шел, видимо, пользующийся общим уважением своих товарищей пленных, толстый майор в казанском халате, подпоясанный полотенцем, с пухлым желтым, сердитым лицом. Он одну руку с кисетом держал за пазухой, другою опирался на чубук. Майор, пыхтя и отдуваясь, ворчал и сердился на всех за то, что ему казалось, что его толкают и что все торопятся, когда торопиться некуда, все чему-то удивляются, когда ни в чем ничего нет удивительного. Другой, маленький худой офицер, со всеми заговаривал, делая предположения о том, куда их ведут теперь и как далеко они успеют пройти нынешний день. Чиновник, в валеных сапогах и комиссариатской форме, забегал с разных сторон и высматривал сгоревшую Москву, громко сообщая свои наблюдения о том, что сгорело и какая была та или эта видневшаяся часть Москвы. Третий офицер, польского происхождения по акценту, спорил с комиссариатским чиновником, доказывая ему, что он ошибался в определении кварталов Москвы.

— О чем спорите? — сердито говорил майор. — Николы ли, Власа ли, все одно: видите, все сгорело, ну и конец... Что толкаетесь-то, разве дороги мало, — обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его.

— Ай, ай, ай, что наделали! — слышались, однако, то с той, то с другой стороны голоса пленных, оглядывающих пожарища. — И Замоскворечье-то, и Зубово, и в Кремле-то, смотрите, половины нет... Да я вам говорил, что все Замоскворечье, вон так и есть.

— Ну, знаете, что сгорело, ну о чем же толковать! — говорил майор.

Проходя через Хамовники (один из немногих несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и послышались восклицания ужаса и омерзения.

— Ишь мерзавцы! То-то нехристи! Да мертвый, мертвый и есть... вымазали чем-то.

Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, то вызывало восклицания, и смутно увидал что-то, прислоненное к ограде церкви. Из слов товарищей, видевших лучше его, он узнал, что это что-то был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей.

— Marchez, sacré nom... Filez... trente mille diables...[1] — послышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разогнали тесаками толпу пленных, смотревшую на мертвого человека.

XIV

По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.

[1] — Марш! Чёрт побери… Живее… тридцать тысяч дьяволов…

У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по набережной и через Каменный мост, тянулись войска и обозы Нея.

Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский Брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.

Пройдя Крымский Брод, пленные двигались по несколько шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана.

Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.

— Народу-то! Эка народу!.. И на пушках-то навалили! Смотри: меха... — говорили они. — Вишь, стервецы, награбили... Вон у того-то сзади, на телеге... Ведь это — с иконы, ей-богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей-богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился-то, насилу идет! Вот-те на, дрожки — и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках-то. Батюшки!.. Подрались!..

— Так его по морде-то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите... а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади-то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались... Женщина с ребеночком, и недурна. Да, как же, так тебя и пропустят... Смотри, и конца нет. Девки русские, ей-богу, девки! В колясках ведь как покойно уселись!

Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге, и Пьер благодаря своему росту через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные, в ярких цветах, нарумяненные, что-то кричащие пискливыми голосами женщины.

С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда-то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления — как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее.

Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины.

Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их.

Все эти люди, лошади как будто гнались какой-то невидимою силою. Все они, в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться; оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески-решительное и жестоко-холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице капрала.

Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу.

Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову.

Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стремительного куда-то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще, куда идут, и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.

С пленными на этом привале конвойные обращались еще хуже, чем при выступлении. На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана кониною.

От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения.

Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, — бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги, и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер-офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер-офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.

Пьер поужинал похлебкою из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами.

Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им: все были, как бы в отпор ухудшающемуся положению, особенно оживлены и веселы. Говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении.

Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое-где по небу; красное, подобное пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.

Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал свои толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.

— Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. — смеялся он с выступившими на глаза слезами.

Какой-то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.

Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.

XV

В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть не может.

Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии Брусье и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее, то, что должно было совершиться; послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье.

По странной случайности это назначение — самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, — получил Дохтуров; тот самый скромный, маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи, и т. п., которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами, с Аустерлица и до тринадцатого года, мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет и ни одного генерала нет в ариергарде. Он, больной, в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске, едва задремал он на Молоховских воротах, в пароксизме лихорадки, его будит канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда был убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции 9 к 1 и вся сила французской артиллерии направлена туда, — посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, и Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький, тихенький Дохтуров едет туда, и Бородино — лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Дохтурове почти ни слова.

Опять Дохтурова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это-то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства.

Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройства машины, не может понять того, что не эта портящая и мешающая делу щепка, а та маленькая, передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины.

10-го октября, в тот самый день, как Дохтуров прошел половину дороги до Фоминского и остановился в деревне Аристове, приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско, в своем судорожном

движении дойдя до позиции Мюрата, как казалось, для того, чтобы дать сражение, вдруг без причины повернуло влево на новую Калужскую дорогу и стало входить в Фоминское, в котором прежде стоял один Брусье. У Дохтурова под командою в это время были кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина.

Вечером 11-го октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге в Боровску. Из всех этих известий стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению — по старой Калужской дороге. Дохтуров ничего не хотел предпринимать, так как ему не ясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское. Но в Фоминском прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Дохтуров настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от светлейшего. Решено было послать донесение в штаб.

Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал, сопутствуемый казаком, с запасными лошадьми в главный штаб.

XVI

Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.

— Дежурного генерала скорее! Очень важное! — проговорил он кому-то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.

— С вечера нездоровы очень были, третью ночь не спят, — заступнически прошептал денщицкий голос. — Уж вы капитана разбудите сначала.

— Очень важное, от генерала Дохтурова, — сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого-то:

— Ваше благородие, ваше благородие — кульер.

— Что, что? от кого? — проговорил чей-то сонный голос.

— От Дохтурова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском, — сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын.

Разбуженный человек зевал и тянулся.

— Будить-то мне его не хочется, — сказал он, ощупывая что-то. — Больнёшенек! Может, так, слухи.

— Вот донесение, — сказал Болховитинов, — велено сейчас же передать дежурному генералу.

— Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? — обращаясь у денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. — Нашел, нашел, — прибавил он.

Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.

— Ах, мерзкие, — с отвращением сказал он.

При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.

Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника который побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.

— Да кто доносит? — сказал Щербинин, взяв конверт.

— Известие верное, — сказал Болховитинов. — И пленные, и казаки, и лазутчики — все единогласно показывают одно и то же.

— Нечего делать, надо будить, — сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. — Петр Петрович! — проговорил он. Коновницын не шевелился. — В главный штаб! — проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно-воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно-спокойное и твердое выражение.

— Ну, что такое? От кого? — неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.

— Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.

Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.

Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12-го года — Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и

Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.

Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.

Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.

XVII

Кутузов, как и все старые люди, мало сыпал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.

С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.

«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины-богатыри!» — думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблока, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.

«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! — думал он. — К чему? Все отличиться. Точно что-то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.

И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две-три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»

Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и не три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее — к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов; но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, — метания, которое сделало возможным то, о чем все-таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы — все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего-нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m-me Staël, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.

В ночь 11-го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.

В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.

— Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? — окликнул их фельдмаршал.

Пока лакей зажигал свечу, Толь рассказывал содержание известий.

— Кто привез? — спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.

— Не может быть сомнения, ваша светлость.

— Позови, позови его сюда.

Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую, согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.

— Скажи, скажи, дружок, — сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. — Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.

— Говори, говори скорее, не томи душу, — перебил его Кутузов.

Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что-то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.

— Господи, Создатель мой! Внял ты молитве нашей... — дрожащим голосом сказал он, сложив руки. — Спасена Россия. Благодарю тебя, Господи! — И он заплакал.

XVIII

Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.

Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.

Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.

Но не говоря о том, что ничего не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?

Армия не могла нигде поправиться. Она, с Бородинского сражения и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения.

Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями сами не зная куда, желая (Наполеон и каждый солдат) только одного: выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали.

Только поэтому, на совете в Малоярославце, когда, притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины.

Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд. И толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов le Hourra de l'Empereur[1].

На другой день после совета Наполеон, рано утром, притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, с свитой маршалов и конвоя ехал посередине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть-чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов: добыча, на которую и в Тарутине и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти.

Когда вот-вот les enfants du Don[2] могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон, с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек. И под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с Мутоном и отдал, как говорят исторически, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу.

То, что Наполеон согласился с Мутоном и что войска пошли назад, не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию, в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.

XIX

Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того, чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что-то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.

[1] императорское ура. — Ред.

[2] донские казаки

Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была родина. Но родина была слишком далеко, и для человека, идущего тысячу верст, непременно нужно сказать себе, забыв о конечной цели: «Нынче я приду за сорок верст на место отдыха и ночлега», и в первый переход это место отдыха заслоняет конечную цель и сосредоточивает на себе все желанья и надежды. Те стремления, которые выражаются в отдельном человеке, всегда увеличиваются в толпе.

Для французов, пошедших назад по старой Смоленской дороге, конечная цель родины была слишком отдалена, и ближайшая цель, та, к которой, в огромной пропорции усиливаясь в толпе, стремились все желанья и надежды, — была Смоленск. Не потому, чтобы люди знали, что в Смоленске было много провианту и свежих войск, не потому, чтобы им говорили это (напротив, высшие чины армии и сам Наполеон знали, что там мало провианта), но потому, что это одно могло им дать силу двигаться и переносить настоящие лишения. Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя, как к обетованной земле, стремились к Смоленску.

Выйдя на большую дорогу, французы с поразительной энергией, с быстротою неслыханной побежали к своей выдуманной цели. Кроме этой причины общего стремления, связывавшей в одно целое толпы французов и придававшей им некоторую энергию, была еще другая причина, связывавшая их. Причина эта состояла в их количестве. Сама огромная масса их, как в физическом законе притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей стотысячной массой как целым государством.

Каждый человек из них желал только одного — отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий. Но, с одной стороны, сила общего стремления к цели Смоленска увлекала каждого в одном и том же направлении; с другой стороны — нельзя было корпусу отдаться в плен роте, и, несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтобы отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся процесс разложения. Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег.

Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого. Когда определилось направление бегства французской армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновницын в ночь 11-го октября, начало сбываться. Все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления.

Кутузов один все силы свои (силы эти очень невелики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению.

Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное добиванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они могли бы понять, — он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его, и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.

Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения, лист белой бумаги.

И сколько ни старался Кутузов удержать войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки, как рассказывают, с музыкой и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.

Но отрезать — никого не отрезали и не опрокинули. И французское войско, стянувшись крепче от опасности, продолжало, равномерно тая, все тот же свой гибельный путь к Смоленску.

Часть третья

I

Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов, без новых сражений, — есть одно из самых поучительных явлений истории.

Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов, в их столкновениях между собой, выражается войнами; что непосредственно, вследствие бóльших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.

Как ни странны исторические описания того, как какой-нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, — все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что бóльшие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.

Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск — Австрия лишается своих прав, и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии.

Но вдруг в 1812-м году французами одержана победа под Москвой. Москва взята, и вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать шестисоттысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, — невозможно.

После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько-нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн...

Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже не в армиях и сражениях, а в чем-то другом.

Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что все в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам.

Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его.

Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства; фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненым — поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка.

Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, — историки, которые писали об этом событии.

Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войны. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление и пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война — все это были отступления от правил.

Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существовали какие-то правила для того, чтобы убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским высшим по положению людям казалось почему-то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию en quarte или en tierce[1], сделать искусное выпадение в prime[2] и т. д., — дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и,

[1] четвертую или третью — Ред.

[2] Первую — Ред.

не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие.

И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.

II

Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что, вместо того чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали гверильясы в Испании; это делали горцы на Кавказе; это делали русские в 1812-м году.

Войну такого рода назвали партизанскою и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противоположна известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника.

Партизанская война (всегда успешная, как показывает история) прямо противуположна этому правилу.

Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison[1].

Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы.

Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.

В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что-то такое, на какое-то неизвестное x.

Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то — самое обыкновенное — в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.

[1] Сила — на стороне больших батальонов (Это выражение означает, что в споре побеждает не тот, кто прав, а тот, у кого больше силы. Часто приписывается Вольтеру, хотя встречается и у других авторов XVIII века)

А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот известный х.

Х этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.

Дух войска — есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.

Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять вместо значения всего неизвестного Х те условия, при которых проявляется сила, как-то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, из сравнения относительного значения этого неизвестного можно надеяться на определение самого неизвестного.

Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, 4x=15y. Следовательно, x:y =15:4. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.

Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того, чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, — во всех народных войнах.

Французы, отступая в 1812-м году, хотя и должны бы защищаться отдельно, по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.

III

Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.

Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.

24-го августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем более увеличивалось число этих отрядов.

Партизаны уничтожали Великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева — французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.

Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами и, не расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, — уже прошел. Теперь уж война эта определилась, всем стало ясно, что можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по правилам, ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже все было возможно.

22-го октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он с своей партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову (тоже партизану с небольшой партией), ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов с штабами: все знали про этот

транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников — один поляк, другой немец — почти в одно и в то же время прислали Денисову приглашение присоединиться каждый к своему отряду, с тем чтобы напасть на транспорт.

— Нет, бг'ат, я сам с усам, — сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала-поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца.

Распорядившись таким образом, Денисов намеревался, без донесения о том высшим начальникам, вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим-то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра, недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две ставшие в грязи французские фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу (в версте от Шамшева), на рассвете пасть с двух сторон как снег на голову и побить и забрать всех разом.

Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено шесть казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов.

Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось тысяча пятьсот человек. У Денисова было двести человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска; и для этой цели Денисову нужно было взять языка (то есть человека из неприятельской колонны). В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такою поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчика-барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне.

Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатого — захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартиргеров.

IV

Был осенний, теплый дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь.

На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он, так же как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой, черной бородой лицо его казалось сердито.

Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом, крупном донце ехал казачий эсаул — сотрудник Денисова.

Эсаул Ловайский — третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими светлыми глазками и спокойно-самодовольным выражением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро и неловко, — что Денисов человек, который сел на лошадь; тогда как, глядя на эсаула, видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек вместе с лошадью одно, увеличенное двойною силою, существо.

Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок-проводник, в сером кафтане и белом колпаке.

Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и гривой и с продранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели.

Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги, и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик.

Сзади, по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной лесной дороге, тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинутой на голову. Лошади, и рыжие и гнедые, все казались вороными от струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив. От лошадей поднимался пар. И одежды, и седла, и поводья — все было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля, и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь не шевелиться, чтобы отогревать ту воду, которая пролилась до тела, и не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденья, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги.

Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толканула его коленкой о дерево.

— Э, чег'т! — злобно вскрикнул Денисов и, оскаливая зубы, плетью раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе: и от дождя и от голода (с утра никто ничего не ел), и главное оттого, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался.

«Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче, напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня — из-под носа захватит добычу кто-нибудь из больших партизанов», — думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного от Долохова.

Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.

— Едет кто-то, — сказал он.

Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым.

— Едут двое — офицер и казак. Только не предположительно, чтобы был сам подполковник, — сказал эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова.

Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоняя нагайкой, ехал офицер — растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала, — сказал офицер, — извините, что не совсем сухо...

Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.

— Вот говорили всё, что опасно, опасно, — сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. — Впрочем, мы с Комаровым, — он указал на казака, — приготовились. У нас по два писто... А это что ж? — спросил он, увидав французского барабанщика, — пленный? Вы уже в сраженье были? Можно с ним поговорить?

— Г'остов! Петя! — крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. — Да как же ты не сказал, кто ты? — И Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.

Офицер этот был Петя Ростов.

Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.

— Ну, я г'ад тебя видеть, — перебил его Денисов, и лицо его приняло опять озабоченное выражение.

— Михаил Феоклитыч, — обратился он к эсаулу, — ведь это опять от немца. Он пг'и нем состоит. — И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала-немца присоединиться для нападения на транспорт. — Ежели мы его завтг'а не возьмем, они у нас из-под носа выг'вут, — заключил он.

В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя, сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, так, чтобы никто этого не заметил, под шинелью поправлял взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.

Будет какое-нибудь приказание от вашего высокоблагородия? — сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, — или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?

— Пг'иказания?... — задумчиво сказал Денисов. — Да ты можешь ли остаться до завтг'ашнего дня?

— Ах, пожалуйста... Можно мне при вас остаться? — вскрикнул Петя.

— Да как тебе именно велено от генег'ала — сейчас вег'нуться? — спросил Денисов. Петя покраснел.

— Да он ничего не велел. Я думаю, можно? — сказал он вопросительно.

— Ну, ладно, — сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжения о том, чтоб партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха, и чтобы офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.

— Ну, бог'ода, — обратился он к мужику-проводнику, — веди к Шамшеву.

Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг, к опушке леса.

V

Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая своими вывернутыми в лаптях ногами по кореньям и мокрым листьям, вел их к опушке леса.

Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.

Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.

— Пленного дайте сюда, — негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов.

Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к эсаулу, сообщая ему свои соображения.

Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-нибудь важного.

— Пг'идет, не пг'идет Долохов, надо бг'ать!.. А? — сказал Денисов, весело блеснув глазами.

— Место удобное, — сказал эсаул.

— Пехоту низом пошлем — болотами, — продолжал Денисов, — они подлезут к саду; вы заедете с казаками оттуда, — Денисов указал на лес за деревней, — а я отсюда, с своими гусаг'ами. И по выстг'елу...

— Лощиной нельзя будет — трясина, — сказал эсаул. — Коней увязишь, надо объезжать полевее...

В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу в лощине от пруда, щелкнул один выстрел, забелелся дымок, другой и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов и эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы.

— Ведь это Тихон наш, — сказал эсаул.

— Он! он и есть!

— Эка шельма, — сказал Денисов.

— Уйдет! — щуря глаза, сказал эсаул.

Человек, которого они называли Тихоном, подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и скрывшись на мгновенье, весь черный от воды, выбрался на четвереньках и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.

— Ну ловок, — сказал эсаул.

— Экая бестия! — с тем же выражением досады проговорил Денисов. — И что он делал до сих пор?

— Это кто? — спросил Петя.

— Это наш пластун. Я его посылал языка взять.

— Ах, да, — сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.

Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда, при начале своих действий, Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель

бить французов, и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что мародеры бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.

— Мы французам худого не делаем, — сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. — Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. Мародеров точно десятка два побили, а то мы худого не делали... — На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтобы его при ней оставили. Денисов велел оставить его.

Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.

Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно, со всего размаха, раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что-нибудь особенно трудное и гадкое — выворотить плечом из грязи повозки, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день по пятьдесят верст, — все указывали, посмеиваясь, на Тихона.

— Что ему, черту, делается, меренина здоровенный, — говорили про него.

Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренно и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде и шуток, которым охотно поддавался Тихон.

— Что, брат, не будешь? Али скрючило? — смеялись ему казаки, и Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бранил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных.

Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь еще, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но, или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.

VI

Поговорив еще несколько времени с эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад.

— Ну, бг'ат, тепег'ь поедем обсушимся, — сказал он Пете.

Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу, между деревьев, большими легкими шагами шел на длинных ногах, с длинными мотающимися руками, человек в куртке, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он, высоко подняв голову и как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.

— Ну, где пг'опадал? — сказал Денисов.

— Где пропадал? За французами ходил, — смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.

— Зачем же ты днем полез? Скотина! Ну что ж, не взял?..

— Взять-то взял, — сказал Тихон.

— Где же он?

— Да я его взял сперва-наперво на зорьке еще, — продолжал Тихон, переставляя пошире плоские, вывернутые в лаптях ноги, — да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу, другого поаккуратнее какого возьму.

— Ишь, шельма, так и есть, — сказал Денисов эсаулу. — Зачем же ты этого не пг'ивел?

— Да что ж его водить-то, — сердито и поспешно перебил Тихон, — не гожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?

— Эка бестия!.. Ну?

— Пошел за другим, — продолжал Тихон, — подполз я таким манером в лес, да и лег. — Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. — Один и наверись, — продолжал он. — Я его таким манером и сграбь. — Тихон быстро, легко вскочил. — Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит. А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором: что вы, мол, Христос с вами, — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь.

— То-то мы с горы видели, как ты стречка задавал через лужи-то, — сказал эсаул, суживая свои блестящие глаза.

Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо эсаула и Денисова, не понимая того, что все это значило.

— Ты дуг'ака-то не пг'едставляй, — сказал Денисов, сердито покашливая. — Зачем пег'вого не пг'ивел?

Тихон стал чесать одной рукой спину, другой голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба (за что он и прозван Щербатый). Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.

— Да что, совсем неисправный, — сказал Тихон. — Одежонка плохенькая на нем, куда же его водить-то. Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын, не пойду, говорит.

— Экая скотина! — сказал Денисов. — Мне расспросить надо...

— Да я его спрашивал, — сказал Тихон. — Он говорит: плохо зна́ком. Наших, говорит, много, да всё плохие; только, говорит, одна названия. Ахнете, говорит, хорошенько, всех заберете, — заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова.

— Вот я те всыплю сотню гог'ячих, ты и будешь дуг'ака-то ког'чить, — сказал Денисов строго.

— Да что же серчать-то, — сказал Тихон, — что ж, я не видал французов ваших? Вот дай позатемняет, я табе каких хошь, хоть троих приведу.

— Ну, поедем, — сказал Денисов, и до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча.

Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст.

Когда прошел тот овладевший им смех при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновенье, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился.

Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны все благополучно.

Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю.

— Ну, г'асскажи ты мне пг'о себя, — сказал он.

VII

Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры, и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо-возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его не было.

Когда 21-го октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но, отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя, вместо того чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огнем французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, — отправляя его,

генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого-то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он, с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, — дрянь, немец, что Денисов герой, и эсаул герой, и что Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту.

Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и эсаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и (чтобы не видели дыма французы) разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устроивавшие стол из двери. Петя снял, отдав сушить, свое мокрое платье и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола.

Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью.

Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей.

— Так что же вы думаете, Василий Федорович, — обратился он к Денисову, — ничего, что я с вами останусь на денек? — И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе: — Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю... Только вы меня пустите в самую... в главную... Мне не нужно наград... А мне хочется... — Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой.

— В самую главную... — повторил Денисов, улыбаясь.

— Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал, — продолжал Петя, — ну что вам стоит? Ах, вам ножик? — обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик.

Офицер похвалил ножик.

— Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких... — покраснев, сказал Петя. — Батюшки! Я и забыл совсем, — вдруг вскричал он. — У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркитант новый — и такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите?.. — И Петя побежал в сени к своему казаку, принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. — Кушайте, господа, кушайте.

— А то не нужно ли вам кофейник? — обратился он к эсаулу. — Я у нашего маркитанта купил, чудесный! У него прекрасные вещи. И он честный очень. Это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть еще, у вас вышли, обились кремни, — ведь это бывает. Я взял с собою, у меня вот тут.... — он показал на торбы, — сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и все... — И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел.

Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей. И, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминание о французе-барабанщике представилось ему. «Нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили его? Не обидели ли?» — подумал он. Но заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся.

«Спросить бы можно, — думал он, — да скажут: сан мальчик и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик! Стыдно будет, если я спрошу? — думал Петя. — Ну, да все равно!» — и тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал:

— А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? дать ему чего-нибудь поесть... может...

— Да, жалкий мальчишка, — сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. — Позвать его сюда. Vincent Bosse его зовут. Позвать.

— Я позову, — сказал Петя.

— Позови, позови. Жалкий мальчишка, — повторил Денисов.

Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову.

— Позвольте вас поцеловать, голубчик, — сказал он. — Ах, как отлично! как хорошо! — И, поцеловав Денисова, он побежал на двор.

— Bosse! Vincent! — прокричал Петя, остановясь у двери.

— Вам кого, сударь, надо? — сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче.

— А! Весеннего? — сказал казак.

Имя его Vincent уже переделали: казаки — в Весеннего, а мужики и солдаты — в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике.

— Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний! — послышались в темноте передающиеся голоса и смех.

— А мальчонок шустрый, — сказал гусар, стоявший подле Пети. — Мы его покормили давеча. Страсть голодный был!

В темноте послышались шаги и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери.

— Ah c'est vous! — сказал Петя. — Voulez-vous manger? N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, — прибавил он, робко и ласково дотрогиваясь до его руки. — Entrez, entrez[1].

— Merci, monsieur[2] — отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее.

---

[1] — А, это вы! — сказал Петя. — Хотите есть? Не бойтесь, вам не сделают ничего плохого, — прибавил он, робко и ласково дотронувшись до его руки. — Входите, входите.

[2] Благодарю, господин

— Entrez, entrez[3], — повторил он только нежным шепотом.

— «Ах, что бы мне ему сделать!» — проговорил сам с собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика.

Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомненье, не стыдно ли будет дать их барабанщику.

VIII

От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, баранины и которого Денисов велел одеть в русский кафтан, с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайные храбрость и жестокость Долохова с французами, и потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятой головой, с тем чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов.

Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой.

Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая чудотворца и в манере говорить во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, напротив, прежде, в Москве, носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, не здороваясь ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал все, что он знал про положение французского отряда.

— Это так, но надо знать, какие и сколько войск, — сказал Долохов, — надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот, не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь. У меня мундиры с собою.

— Я, я... я поеду с вами! — вскрикнул Петя.

— Совсем и тебе не нужно ездить, — сказал Денисов, обращаясь к Долохову, — а уж его я ни за что не пущу.

— Вот прекрасно! — вскрикнул Петя, — отчего же мне не ехать?..

— Да оттого, что незачем.

— Ну, уж вы меня извините, потому что... потому что... я поеду, вот и все. Вы возьмете меня? — обратился он к Долохову.

— Отчего ж... — рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика.

— Давно у тебя молодчик этот? — спросил он у Денисова.

— Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его пг'и себе.

— Ну, а остальных ты куда деваешь? — сказал Долохов.

[3] Входите, входите

— Как куда? Отсылаю под г'аписки! — вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. — И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Г'азве тебе тг'удно отослать тг'идцать ли, тг'иста ли человек под конвоем в гог'од, чем маг'ать, я пг'ямо скажу, честь солдата.

— Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, — с холодной усмешкой сказал Долохов, — а тебе-то уж это оставить пора.

— Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, — робко сказал Петя.

— А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, — продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. — Ну этого ты зачем взял к себе? — сказал он, покачивая головой. — Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их и не брать?

Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.

— Это все г'авно, тут г'ассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говог'ишь — помг'ут. Ну, хог'ошо. Только бы не от меня.

Долохов засмеялся.

— Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают — меня и тебя, с твоим рыцарством, все равно на осинку. — Он помолчал. — Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком! У меня два французских мундира. Что ж, едем со мной? — спросил он у Пети.

— Я? Да, да, непременно, — покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова.

Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость; но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо, — думал он. — А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу».

На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает.

— Потому что, — согласитесь сами, — если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни, и потом мне очень этого хочется, и непременно, непременно поеду, вы уж меня не удержите, — говорил он, — только хуже будет...

IX

Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.

— Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет, — прошептал Петя.

— Не говори по-русски, — быстрым шепотом сказал Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик: «Qui vive?»[1] и звон ружья.

Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.

— Lanciers du sixième [2], — проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту.

— Mot d'ordre? — Долохов придержал лошадь и поехал шагом.

— Dites donc, le colonel Gérard est ici? — сказал он.

— Mot d'ordre! — не отвечая, сказал часовой, загораживая дорогу.

— Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre... — крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая лошадью на часового. — Je vous demande si le colonel est ici?

И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору.

Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры? Человек этот, с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Долохова, дотрогиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командир и офицеры были выше на горе, с правой стороны, на дворе фермы (так он называл господскую усадьбу).

Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом.

— Oh, c'est un dur à cuire[3] , — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра.

— Il les fera marcher les lapins[4]... — со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми.

— Bonjour, messieurs! [5] — громко, отчетливо выговорил Долохов.

Офицеры зашевелились в тени костра, и один, высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову.

---

[1] Кто идет?

[2] — Уланы шестого полка, — произнёс Долохов, не прибавляя и не убавляя хода лошади. На мосту стояла чёрная фигура часового.

— Пароль? — Долохов придержал лошадь и перешёл на шаг.

— Скажите-ка, полковник Жерар здесь? — спросил он.

— Пароль! — повторил часовой, не отвечая и загораживая дорогу.

— Когда офицер делает обход, часовые не требуют пароль!.. — крикнул Долохов, внезапно вспыхнув и наезжая лошадью на часового. — Я спрашиваю вас, здесь ли полковник?

[3] — Ах, он крепкий орешек, — говорил один из офицеров, сидевших в тени на противоположной стороне костра.

[4] Ну, он их заставит бегать, этих кроликов…

[5] Здравствуйте, господа!

— C'est vous, Clément? — сказал он. — D'où, diable...[1] — но он не докончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о шестом полку. Никто ничего не знал; и Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали.

— Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard[2], — сказал с сдержанным смехом голос из-за костра.

Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше.

Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз: какого он был полка? Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков впереди их.

— Les brigands sont partout[3], — отвечал офицер из-за костра.

Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать, прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил.

«Ну, теперь он уедет», — всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.

Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал:

— La vilaine affaire de traîner ces cadavres après soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille[4], — и громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.

«Подадут или нет лошадей?» — думал Петя, невольно приближаясь к Долохову.

Лошадей подали.

— Bonjour, messieurs[5], — сказал Долохов.

---

[1] — А, это вы, Клеман? — сказал он. — Откуда, чёрт…

[2] — Если вы рассчитываете на вечернюю похлёбку, то пришли слишком поздно, — сказал с сдержанным смехом голос из-за костра

[3] — Разбойники повсюду, — ответил офицер из-за костра

[4] — Скверное дело — таскать за собой эти трупы. Куда лучше было бы пристрелить эту сволочь, — и он громко рассмеялся каким-то странным смехом

[5] Прощайте, господа — Ред.

Петя хотел сказать bonsoir[1] и не мог договорить слова. Офицеры что-то шепотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтоб увидать, бегут или не бегут за ними французы.

Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь.

— Слышишь? — сказал он.

Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки.

— Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, — сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.

— Нет! — вскрикнул он, — вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю.

— Хорошо, хорошо, — сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.

X

Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.

— Слава Богу! — крикнул он. — Ну, слава Богу! — повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. — И чег'т тебя возьми, из-за тебя не спал! — проговорил Денисов. — Ну, слава Богу, тепег'ь ложись спать. Еще вздг'емнем до утг'а.

— Да... Нет, — сказал Петя. — Мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением.

Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор.

На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и в овраге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали: кое-где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей негромкие, как бы шепчущиеся голоса.

Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто-то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.

[1] покойной ночи — Ред.

— Ну, Карабах, завтра послужим, — сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.

— Что, барин, не спите? — сказал казак, сидевший под фурой.

— Нет; а... Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. — И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум Лазаря.

— Что же, соснули бы, — сказал казак.

— Нет, я привык, — отвечал Петя. — А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.

Казак высунулся из-под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.

— Оттого, что я привык все делать аккуратно, — сказал Петя. — Иные так, кое-как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.

— Это точно, — сказал казак.

— Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю; затупи... (но Петя боялся солгать) она никогда отточена не была. Можно это сделать?

— Отчего ж, можно.

Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали о брусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.

— А что же, спят молодцы? — сказал Петя.

— Кто спит, а кто так вот.

— Ну, а мальчик что?

— Весенний-то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад-то был.

Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.

— Что точишь? — спросил человек, подходя к фуре.

— А вот барину наточить саблю.

— Хорошее дело, — сказал человек, который показался Пете гусаром. — У вас, что ли, чашка осталась?

— А вон у колеса.

Гусар взял чашку.

— Небось скоро свет, — проговорил он, зевая, и прошел куда-то.

Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо — караулка, и красное пятно внизу налево — догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, — гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть — глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц — все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит

просто казак Лихачев, а очень может быть, что это — самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.

Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.

Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.

Петя стал закрывать глаза и покачиваться.

Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто-то.

— Ожиг, жиг, ожиг, жиг... — свистела натачиваемая сабля. И вдруг Перя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы — но лучше и чище, чем скрипки и трубы, — каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.

«Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись наперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!..»

Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.

«Ну, тише, тише, замирайте теперь. — И звуки слушались его. — Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. — И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. — Ну, голоса, приставайте!» — приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.

С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.

Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.

— Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете.

Петя очнулся.

— Уж светает, право, светает! — воскликнул он.

Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.

— Вот и командир, — сказал Лихачев.

Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.

XI

Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что-то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что-то быстро и равномерно дрожало.

— Ну, готово у вас все? — сказал Денисов. — Давай лошадей.

Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.

— Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста... ради Бога... — сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.

— Об одном тебя пг'ошу, — сказал он строго, — слушаться меня и никуда не соваться.

Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что-то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.

— Сигнал! — проговорил он.

Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.

В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие-то люди, — должно быть, это были французы, — бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.

У одной избы столпились казаки, что-то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.

— Ура!.. Ребята... наши... — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.

Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что-то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что-то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» — кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.

«Смерть Пети Ростова» (Акварель Н.Н. Каразина)

— Подождать?.. Урааа!.. — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшие пули. Казаки и

Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свете костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.

Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из-за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.

— Готов, — сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.

— Убит?! — вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.

— Готов, — повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. — Брать не будем! — крикнул он Денисову.

Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.

«Я привык что-нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», — вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.

В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.

XII

О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22-го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед; пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше; они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей.

От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени.

Дорога, по которой они шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми; оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны.

Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх.

— Эти три сборища, шедшие вместе, — кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, — все еще составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло.

В депо, в котором было сто двадцать повозок сначала, теперь оставалось не больше шестидесяти; остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат-немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу.

Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли для чего-нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать, — это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаваться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними.

В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны.

Прежний, введенный при выходе из Москвы, порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен; все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева.

С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.

В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину — он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был несчастлив и несвободен. Он

узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка; что тот человек, который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую; что, когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что когда он, как ему казалось, по собственной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запирали на ночь в конюшню. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно было тяжело в первое время — это ноги.

Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них; но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом.

Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.

Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления.

XIII

22-го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех бросаясь с лаем на вороньев, которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных — от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наедаться сколько угодно.

Дождик шел с утра, и казалось, что вот-вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.

Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренно приговаривал: ну-ка, ну-ка, еще, еще наддай.

Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где-то что-то важное и утешительное думала его душа. Это что-то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.

Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что-то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.

— Что, как твое здоровье? — спросил он.

— Что здоровье? На болезнь плакаться — Бог смерти не даст, — сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.

— ...И вот, братец ты мой, — продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, — вот, братец ты мой...

Пьер знал эту историю давно. Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему-то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.

Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, — как следует по порядку, говорил Каратаев, — сослали на каторгу.

— И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следовает, покоряется, худого не делает. Только у Бога смерти просит. — Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные-то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем Богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромя что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит. Бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так-то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все

расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку — хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова́ сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.

Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.

— Старичок и говорит: Бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, Богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючьими слезьми. Что же думаешь, соколик, — все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, — что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следовает. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. — Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. — А его уж Бог простил — помер. Так-то, соколик, — закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.

XIV

— A vos places![1] — вдруг закричал голос.

Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего-то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которая бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.

— L'Empereur! L'Empereur! Le maréchal! Le duc![2] — и только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом, на серых лошадях. Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его.

Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сошлось вместе, солдаты окружили их. У всех были взволнованно-напряженные лица.

---

[1] По местам!

[2] Император! Император! Маршал! Герцог!

— Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit?..[2] — слышал Пьер.

Во время проезда маршала пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева, которого он не видал еще в нынешнее утро. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видал его взгляда, и поспешно отошел.

Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы; и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору.

Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое, дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера. Они оба были бледны, и в выражении их лиц — один из них робко взглянул на Пьера — было что-то похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни. Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним.

Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев, «Экая дура, о чем она воет?» — подумал Пьер.

Солдаты-товарищи, шедшие рядом с Пьером, не оглядывались, так же как и он, на то место, с которого послышался выстрел и потом вой собаки; но строгое выражение лежало на всех лицах.

XV

Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.

Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.

«Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить Бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

«Каратаев!» — вспомнилось Пьеру.

[2] Что он сказал? Что? Что?..

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок учитель.

«Как это просто и ясно, — подумал Пьер. — Как я мог не знать этого прежде».

— В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. — Vous avez compris, mon enfant[1], — сказал учитель.

— Vous avez compris, sacré nom[2], — закричал голос, и Пьер проснулся.

Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточки, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.

— Ça lui est bien égal, — проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. — ...brigand. Va![3]

И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем-то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.

— А, пришла? — сказал Пьер. — А, Пла... — начал он и не договорил. В его воображении вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит, но в то же самое мгновенье в его душе, взявшись Бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой, летом, на балконе своего киевского дома. И все-таки не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда-то в воду, так что вода сошлась над его головой.

Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.

---

[1] — Вы поняли, дитя моё.

[2] — Вы поняли, чёрт побери.

[3] — Да ему всё нипочём, — проворчал он, быстро обращаясь к стоявшему за ним солдату. — …разбойник. Ступай!

— Les cosaques![1] — прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.

Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.

— Братцы! Родимые мои, голубчики! — плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.

Долохов стоял к ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.

— Сколько? — спросил Долохов у казака, считавшего пленных.

— На вторую сотню, — отвечал казак.

— Filez, filez[2], — приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.

Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.

XVI

С 28-го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.

От Москвы до Вязьмы из семидесятитрехтысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа), из семидесяти трех тысяч осталось тридцать шесть тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие.

Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, преследования, заграждения пути и всех других условий, взятых отдельно. После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему государю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии). Он писал:

[1] Казаки!

[2] Проходи, проходи

«Je crois devoir faire connaître à Votre Majesté l'état de ses troupes dans les différents corps d'armée que j'ai été à même d'observer depuis deux ou trois jours dans différents passages. Elles sont presque débandées. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est en proportion du quart au plus dans presque tous les régiments, les autres marchent isolément dans différentes directions et pour leur compte, dans l'espérance de trouver des subsistances et pour se débarrasser de la discipline. En général ils regardent Smolensk comme le point où ils doivent se refaire. Ces derniers jours on a remarqué que beaucoup de soldats jettent leurs cartouches et leurs armes. Dans cet état de choses, l'intérêt du service de Votre Majesté exige, quelles que soient ses vues ultérieures, qu'on rallie l'armée à Smolensk en commençant à la débarrasser des noncombattons, tels que hommes démontés et des bagages inutiles et du matériel de l'artillerie qui n'est plus en proportion avec les forces actuelles. En outre les jours de repos, des subsistances sont nécessaires aux soldats qui sont exténués par la faim et la fatigue; beaucoup sont morts ces derniers jours sur la route et dans les bivacs. Cet état de choses va toujours en augmentant et donne lieu de craindre que si l'on n'y prête un prompt remède, on ne soit plus maître des troupes dans un combat. Le 9 novembre, à 30 verstes de Smolensk»[1].

Ввалившись в Смоленск, представлявшийся им обетованной землей, французы убивали друг друга за провиант, ограбили свои же магазины и, когда все было разграблено, побежали дальше.

Все шли, сами не зная, куда и зачем они идут. Еще менее других знал это гений Наполеона, так как никто ему не приказывал. Но все-таки он и его окружающие соблюдали свои давнишние привычки: писались приказы, письма, рапорты, ordre du jour[2]; называли друг друга: «Sire, Mon Cousin, Prince d'Ekmuhl, roi dé Naples»[3] и т. д. Но приказы и рапорты были только на бумаге, ничто по ним не исполнялось, потому что не могло исполняться, и, несмотря на именование друг друга величествами, высочествами и двоюродными братьями, все они чувствовали, что они жалкие и гадкие люди, наделавшие много зла, за которое теперь приходилось расплачиваться. И, несмотря на то, что они притворялись, будто заботятся об армии, они думали только каждый о себе и о том, как бы поскорее уйти и спастись

[1] «Считаю своим долгом довести до сведения Вашего Величества состояние войск в различных корпусах армии, которые я имел возможность наблюдать в течение двух-трёх последних дней на разных переходах. Они почти рассыпались. Число солдат, следующих под знамёнами, составляет самое большее четверть почти во всех полках; остальные идут поодиночке в разных направлениях и сами по себе, надеясь найти продовольствие и избавиться от дисциплины. В общем, они рассматривают Смоленск как пункт, где должны восстановиться. В последние дни замечено, что многие солдаты бросают свои патроны и оружие.

Какие бы ни были ваши дальнейшие намерения, но польза службы вашего величества требует собрать корпуса в Смоленске и отделить от них спешенных кавалеристов, безоружных, лишние обозы и часть артиллерии, ибо она теперь не в соразмерности с числом войск.

Необходимо продовольствие и несколько дней покоя; солдаты изнурены голодом и усталостью; в последние дни многие умерли на дороге и на биваках. Это положение дел всё ухудшается и даёт основание опасаться, что если не принять скорой меры, то в бою войска могут выйти из-под контроля. 9 ноября, в 30 верстах от Смоленска».

[2] распорядок дня. — Ред.

[3] «Ваше величество, брат мой, принц Экмюльский, король Неаполитанский». — Ред.

XVII

Действия русского и французского войск во время обратной кампании от Москвы и до Немана подобны игре в жмурки, когда двум играющим завязывают глаза и один изредка звонит колокольчиком, чтобы уведомить о себе ловящего. Сначала тот, кого ловят, звонит, не боясь неприятеля, но когда ему приходится плохо, он, стараясь неслышно идти, убегает от своего врага и часто, думая убежать, идет прямо к нему в руки.

Сначала наполеоновские войска еще давали о себе знать — это было в первый период движения по Калужской дороге, но потом, выбравшись на Смоленскую дорогу, они побежали, прижимая рукой язычок колокольчика, и часто, думая, что они уходят, набегали прямо на русских.

При быстроте бега французов и за ними русских и вследствие того изнурения лошадей, главное средство приблизительного узнавания положения, в котором находится неприятель, — разъезды кавалерии, — не существовало. Кроме того, вследствие частых и быстрых перемен положений обеих армий, сведения, какие и были, не могли поспевать вовремя. Если второго числа приходило известие о том, что армия неприятеля была там-то первого числа, то третьего числа, когда можно было предпринять что-нибудь, уже армия эта сделала два перехода и находилась совсем в другом положении.

Одна армия бежала, другая догоняла. От Смоленска французам предстояло много различных дорог; и, казалось бы, тут, простояв четыре дня, французы могли бы узнать, где неприятель, сообразить что-нибудь выгодное и предпринять что-нибудь новое. Но после четырехдневной остановки толпы их опять побежали не вправо, не влево, но, без всяких маневров и соображений, по старой худшей дороге, на Красное и Оршу — по пробитому следу.

Ожидая врага сзади, а не спереди, французы бежали, растянувшись и разделившись друг от друга на двадцать четыре часа расстояния. Впереди всех бежал император, потом короли, потом герцоги. Русская армия, думая, что Наполеон возьмет вправо за Днепр, что было одно разумно, подалась тоже вправо и вышла на большую дорогу к Красному. И тут, как в игре в жмурки, французы наткнулись на наш авангард. Неожиданно увидав врага, французы смешались, приостановились от неожиданности испуга, но потом опять побежали, бросая своих сзади следовавших товарищей. Тут, как сквозь строй русских войск, проходили три дня, одна за одной, отдельные части французов, сначала вице-короля, потом Даву, потом Нея. Все они побросали друг друга, побросали все свои тяжести, артиллерию, половину народа и убегали, только по ночам справа полукругами обходя русских.

Ней, шедший последним (потому что, несмотря на несчастное их положение или именно вследствие его, им хотелось побить тот пол, который ушиб их, он занялся взрыванием никому не мешавших стен Смоленска), — шедший последним, Ней с своим десятитысячным корпусом прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр.

От Орши побежали дальше по дороге к Вильно, точно так же играя в жмурки с преследующей армией. На Березине опять замешались, многие потонули, многие сдались, но те, которые перебрались через реку, побежали дальше. Главный начальник их надел шубу и, сев в сани, поскакал один, оставив своих товарищей. Кто мог — уехал тоже, кто не мог — сдался или умер.

XVIII

Казалось бы, в этой-то кампании бегства французов, когда они делали все то, что только можно было, чтобы погубить себя; когда ни в одном движении этой толпы, начиная от поворота на Калужскую дорогу и до бегства начальника от армии, не было ни малейшего смысла, — казалось бы, в этот период кампании невозможно уже историкам, приписывающим действия масс воле одного человека, описывать это отступление в их смысле. Но нет. Горы книг написаны историками об этой кампании, и везде описаны распоряжения Наполеона и глубокомысленные его планы — маневры, руководившие войском, и гениальные распоряжения его маршалов.

Отступление от Малоярославца тогда, когда ему дают дорогу в обильный край и когда ему открыта та параллельная дорога, по которой потом преследовал его Кутузов, ненужное отступление по разоренной дороге объясняется нам по разным глубокомысленным соображениям. По таким же глубокомысленным соображениям описывается его отступление от Смоленска на Оршу. Потом описывается его геройство при Красном, где он будто бы готовится принять сражение и сам командовать, и ходит с березовой палкой и говорит:

— J'ai assez fait l'Empereur, il est temps de faire le général[1], — и, несмотря на то, тотчас же после этого бежит дальше, оставляя на произвол судьбы разрозненные части армии, находящиеся сзади.

Потом описывают нам величие души маршалов, в особенности Нея, величие души, состоящее в том, что он ночью пробрался лесом в обход через Днепр и без знамен и артиллерии и без девяти десятых войска прибежал в Оршу.

И, наконец, последний отъезд великого императора от геройской армии представляется нам историками как что-то великое и гениальное. Даже этот последний поступок бегства, на языке человеческом называемый последней степенью подлости, которой учится стыдиться каждый ребенок, и этот поступок на языке историков получает оправдание.

Тогда, когда уже невозможно дальше растянуть столь эластичные нити исторических рассуждений, когда действие уже явно противно тому, что все человечество называет добром и даже справедливостью, является у историков спасительное понятие о величии. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного. Для великого — нет дурного. Нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик.

---

[1] — Довольно я был императором, пора быть генералом

— «C'est grand!»[1] — говорят историки, и тогда уже нет ни хорошего, ни дурного, а есть «grand» и «не grand». Grand — хорошо, не grand — дурно. Grand есть свойство, по их понятиям, каких-то особенных животных, называемых ими героями. И Наполеон, убираясь в теплой шубе домой от гибнущих не только товарищей, но (по его мнению) людей, им приведенных сюда, чувствует que c'est grand, и душа его покойна.

«Du sublime (он что-то sublime видит в себе) au ridicule il n'y a qu'un pas», — говорит он. И весь мир пятьдесят лет повторяет: «Sublime! Grand! Napoléon le grand! Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas»[2].

И никому в голову не придет, что признание величия, неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости.

Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды.

XIX

Кто из русских людей, читая описания последнего периода кампании 1812 года, не испытывал тяжелого чувства досады, неудовлетворенности и неясности. Кто не задавал себе вопросов: как не забрали, не уничтожили всех французов, когда все три армии окружали их в превосходящем числе, когда расстроенные французы, голодая и замерзая, сдавались толпами и когда (как нам рассказывает история) цель русских состояла именно в том, чтобы остановить, отрезать и забрать в плен всех французов.

Каким образом то русское войско, которое, слабее числом французов, дало Бородинское сражение, каким образом это войско, с трех сторон окружавшее французов и имевшее целью их забрать, не достигло своей цели? Неужели такое громадное преимущество перед нами имеют французы, что мы, с превосходными силами окружив, не могли побить их? Каким образом это могло случиться?

История (та, которая называется этим словом), отвечая на эти вопросы, говорит, что это случилось оттого, что Кутузов, и Тормасов, и Чичагов, и тот-то, и тот-то не сделали таких-то и таких-то маневров.

Но отчего они не сделали всех этих маневров? Отчего, ежели они были виноваты в том, что не достигнута была предназначавшаяся цель, — отчего их не судили и не казнили? Но, даже ежели и допустить, что виною неудачи русских были Кутузов и Чичагов и т. п., нельзя понять все-таки, почему и в тех условиях, в которых находились русские войска под Красным и под Березиной (в обоих случаях русские были в превосходных силах), почему не взято в плен французское войско с маршалами, королями и императорами, когда в этом состояла цель русских?

---

[1] — Это величественно!

[2] — От возвышенного (он видит в себе что-то величественное) до смешного — один шаг», — говорит он. И весь мир уже пятьдесят лет повторяет: «Возвышенно! Велико! Наполеон Великий! От возвышенного до смешного — один шаг».

Объяснение этого странного явления тем (как то делают русские военные историки), что Кутузов помешал нападению, неосновательно потому, что мы знаем, что воля Кутузова не могла удержать войска от нападения под Вязьмой и под Тарутиным.

Почему то русское войско, которое с слабейшими силами одержало победу под Бородиным над неприятелем во всей его силе, под Красным и под Березиной в превосходных силах было побеждено растроенными толпами французов?

Если цель русских состояла в том, чтобы отрезать и взять в плен Наполеона и маршалов, и цель эта не только не была достигнута, и все попытки к достижению этой цели всякий раз были разрушены самым постыдным образом, то последний период кампании совершенно справедливо представляется французами рядом побед и совершенно несправедливо представляется русскими историками победоносным.

Русские военные историки, настолько, насколько для них обязательна логика, невольно приходят к этому заключению и, несмотря на лирические воззвания о мужестве и преданности и т. д., должны невольно признаться, что отступление французов из Москвы есть ряд побед Наполеона и поражений Кутузова.

Но, оставив совершенно в стороне народное самолюбие, чувствуется, что заключение это само в себе заключает противуречие, так как ряд побед французов привел их к совершенному уничтожению, а ряд поражений русских привел их к полному уничтожению врага и очищению своего отечества.

Источник этого противуречия лежит в том, что историками, изучающими события по письмам государей и генералов, по реляциям, рапортам, планам и т. п., предположена ложная, никогда не существовавшая цель последнего периода войны 1812 года, — цель, будто бы состоявшая в том, чтобы отрезать и поймать Наполеона с маршалами и армией.

Цели этой никогда не было и не могло быть, потому что она не имела смысла, и достижение ее было совершенно невозможно.

Цель эта не имела никакого смысла, во-первых, потому, что расстроенная армия Наполеона со всей возможной быстротой бежала из России, то есть исполняла то самое, что мог желать всякий русский. Для чего же было делать различные операции над французами, которые бежали так быстро, как только они могли?

Во-вторых, бессмысленно было становиться на дороге людей, всю свою энергию направивших на бегство.

В-третьих, бессмысленно было терять свои войска для уничтожения французских армий, уничтожавшихся без внешних причин в такой прогрессии, что без всякого загораживания пути они не могли перевести через границу больше того, что они перевели в декабре месяце, то есть одну сотую всего войска.

В-четвертых, бессмысленно было желание взять в плен императора, королей, герцогов — людей, плен которых в высшей степени затруднил бы действия русских, как то признавали самые искусные дипломаты того времени (J. Maistre и другие). Еще бессмысленнее было желание взять корпуса французов, когда свои войска растаяли наполовину до Красного, а к корпусам пленных надо было отделять дивизии конвоя, и когда свои солдаты не всегда получали полный провиант и забранные уже пленные мерли с голода.

Весь глубокомысленный план о том, чтобы отрезать и поймать Наполеона с армией, был подобен тому плану огородника, который, выгоняя из огорода потоптавшую его гряды скотину, забежал бы к воротам и стал бы по голове бить эту скотину. Одно, что можно бы было сказать в оправдание огородника, было бы то, что он очень рассердился. Но это нельзя было даже сказать про составителей проекта, потому что не они пострадали от потоптанных гряд.

Но, кроме того, что отрезывание Наполеона с армией было бессмысленно, оно было невозможно.

Невозможно это было, во-первых, потому, что так как из опыта видно, что движение колонн на пяти верстах в одном сражении никогда не совпадает с планами, то вероятность того, чтобы Чичагов, Кутузов и Витгенштейн сошлись вовремя в назначенное место, была столь ничтожна, что она равнялась невозможности, как то и думал Кутузов, еще при получении плана сказавший, что диверсии на большие расстояния не приносят желаемых результатов.

Во-вторых, невозможно было потому, что, для того чтобы парализовать ту силу инерции, с которой двигалось назад войско Наполеона, надо было без сравнения большие войска, чем те, которые имели русские.

В-третьих, невозможно это было потому, что военное слово отрезать не имеет никакого смысла. Отрезать можно кусок хлеба, но не армию. Отрезать армию — перегородить ей дорогу — никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой ничего не видно, в чем могли бы убедиться военные ученые хоть из примеров Красного и Березины. Взять же в плен никак нельзя без того, чтобы тот, кого берут в плен, на это не согласился, как нельзя поймать ласточку, хотя и можно взять ее, когда она сядет на руку. Взять в плен можно того, кто сдается, как немцы, по правилам стратегии и тактики. Но французские войска совершенно справедливо не находили этого удобным, так как одинаковая голодная и холодная смерть ожидала их на бегстве и в плену.

В-четвертых же, и главное, это было невозможно потому, что никогда, с тех пор как существует мир, не было войны при тех страшных условиях, при которых она происходила в 1812 году, и русские войска в преследовании французов напрягли все свои силы и не могли сделать большего, не уничтожившись сами.

В движении русской армии от Тарутина до Красного выбыло пятьдесят тысяч больными и отсталыми, то есть число, равное населению большого губернского города. Половина людей выбыла из армии без сражений.

И об этом-то периоде кампании, когда войска без сапог и шуб, с неполным провиантом, без водки по месяцам ночуют в снегу и при пятнадцати градусах мороза; когда дня только семь и восемь часов, а остальное ночь, во время которой не может быть влияния дисциплины; когда, не так как в сраженье, на несколько часов только люди вводятся в область смерти, где уже нет дисциплины, а когда люди по месяцам живут, всякую минуту борясь со смертью от голода и холода; когда в месяц погибает половина армии, — об этом-то периоде кампании нам рассказывают историки, как Милорадович должен был сделать фланговый марш туда-то, а Тормасов туда-то и как

Чичагов должен был передвинуться туда-то (передвинуться выше колена в снегу), и как тот опрокинул и отрезал, и т. д., и т. д.

Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидевшие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно.

Все это странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории происходит только оттого, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных чувств и слов разных генералов, а не историю событий.

Для них кажутся очень занимательны слова Милорадовича, награды, которые получил тот и этот генерал, и их предположения; а вопрос о тех пятидесяти тысячах, которые остались по госпиталям и могилам, даже не интересует их, потому что не подлежит их изучению.

А между тем стоит только отвернуться от изучения рапортов и генеральных планов, а вникнуть в движение тех сотен тысяч людей, принимавших прямое, непосредственное участие в событии, и все, казавшиеся прежде неразрешимыми, вопросы вдруг с необыкновенной легкостью и простотой получают несомненное разрешение.

Цель отрезывания Наполеона с армией никогда не существовала, кроме как в воображении десятка людей. Она не могла существовать, потому что она была бессмысленна, и достижение ее было невозможно.

Цель народа была одна: очистить свою землю от нашествия. Цель эта достигалась, во-первых, сама собою, так как французы бежали, и потому следовало только не останавливать это движение. Во-вторых, цель эта достигалась действиями народной войны, уничтожавшей французов, и, в-третьих, тем, что большая русская армия шла следом за французами, готовая употребить силу в случае остановки движения французов.

Русская армия должна была действовать, как кнут на бегущее животное. И опытный погонщик знал, что самое выгодное держать кнут поднятым, угрожая им, а не по голове стегать бегущее животное.

Часть четвертая

I

Когда человек видит умирающее животное, ужас охватывает его: то, что есть он сам, — сущность его, в его глазах очевидно уничтожается — перестает быть. Но когда умирающее есть человек, и человек любимый — ощущаемый, тогда, кроме ужаса перед уничтожением жизни, чувствуется разрыв и духовная рана, которая, так же как и рана физическая, иногда убивает, иногда залечивается, но всегда болит и боится внешнего раздражающего прикосновения.

После смерти князя Андрея Наташа и княжна Марья одинаково чувствовали это. Они, нравственно согнувшись и зажмурившись от грозного, нависшего над ними облака смерти, не смели взглянуть в лицо жизни. Они осторожно берегли свои открытые раны от оскорбительных, болезненных прикосновений. Все: быстро проехавший экипаж по улице, напоминание об обеде, вопрос девушки о платье, которое надо приготовить; еще хуже, слово неискреннего, слабого участия болезненно раздражало рану, казалось оскорблением и нарушало ту необходимую тишину, в которой они обе старались прислушиваться к незамолкшему еще в их воображении страшному, строгому хору, и мешало вглядываться в те таинственные бесконечные дали, которые на мгновенье открылись перед ними.

Только вдвоем им было не оскорбительно и не больно. Они мало говорили между собой. Ежели они говорили, то о самых незначительных предметах. И та и другая одинаково избегали упоминания о чем-нибудь, имеющем отношение к будущему.

Признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти. Еще осторожнее они обходили в своих разговорах все то, что могло иметь отношение к умершему. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о подробностях его жизни нарушало величие и святыню совершившегося в их глазах таинства.

Беспрестанные воздержания речи, постоянное старательное обхождение всего того, что могло навести на слово о нем: эти остановки с разных сторон на границе того, чего нельзя было говорить, еще чище и яснее выставляли перед их воображением то, что они чувствовали.

Но чистая, полная печаль так же невозможна, как чистая и полная радость. Княжна Марья, по своему положению одной независимой хозяйки своей судьбы, опекунши и воспитательницы племянника, первая была вызвана жизнью из того мира печали, в котором она жила первые две недели. Она получила письма от родных, на которые надо было отвечать; комната, в которую поместили Николеньку, была сыра, и он стал кашлять. Алпатыч приехал в Ярославль с отчетами о делах и с предложениями и советами переехать в Москву в Вздвиженский дом, который остался цел и требовал только небольших починок. Жизнь не останавливалась, и надо было жить. Как ни тяжело было княжне Марье выйти из того мира уединенного

созерцания, в котором она жила до сих пор, как ни жалко и как будто совестно было покинуть Наташу одну, — заботы жизни требовали ее участия, и она невольно отдалась им. Она поверяла счеты с Алпатычем, советовалась с Десалем о племяннике и делала распоряжения и приготовления для своего переезда в Москву.

Наташа оставалась одна и с тех пор, как княжна Марья стала заниматься приготовления к отъезду, избегала и ее.

Княжна Марья предложила графине отпустить с собой Наташу в Москву, и мать и отец радостно согласились на это предложение, с каждым днем замечая упадок физических сил дочери и полагая для нее полезным и перемену места, и помощь московских врачей.

— Я никуда не поеду, — отвечала Наташа, когда ей сделали это предложение, — только, пожалуйста, оставьте меня, — сказала она и выбежала из комнаты, с трудом удерживая слезы не столько горя, сколько досады и озлобления.

После того как она почувствовала себя покинутой княжной Марьей и одинокой в своем горе, Наташа большую часть времени, одна в своей комнате, сидела с ногами в углу дивана и, что-нибудь разрывая или переминая своими тонкими, напряженными пальцами, упорным, неподвижным взглядом смотрела на то, на чем останавливались глаза. Уединение это изнуряло, мучило ее; но оно было для нее необходимо. Как только кто-нибудь входил к ней, она быстро вставала, изменяла положение и выражение взгляда и бралась за книгу или шитье, очевидно с нетерпением ожидая ухода того, кто помешал ей.

Ей все казалось, что она вот-вот сейчас поймет, проникнет то, на что с страшным, непосильным ей вопросом устремлен был ее душевный взгляд.

В конце декабря, в черном шерстяном платье, с небрежно связанной пучком косой, худая и бледная, Наташа сидела с ногами в углу дивана, напряженно комкая и распуская концы пояса, и смотрела на угол двери.

Она смотрела туда, куда ушел он, на ту сторону жизни. И та сторона жизни, о которой она прежде никогда не думала, которая прежде ей казалась такою далекою, невероятною, теперь была ей ближе и роднее, понятнее, чем эта сторона жизни, в которой все было или пустота и разрушение, или страдание и оскорбление.

Она смотрела туда, где она знала, что был он; но она не могла его видеть иначе, как таким, каким он был здесь. Она видела его опять таким же, каким он был в Мытищах, у Троицы, в Ярославле.

Она видела его лицо, слышала его голос и повторяла его слова и свои слова, сказанные ему, и иногда придумывала за себя и за него новые слова, которые тогда могли бы быть сказаны.

Вот он лежит на кресле в своей бархатной шубке, облокотив голову на худую, бледную руку. Грудь его страшно низка и плечи подняты. Губы твердо сжаты, глаза блестят, и на бледном лбу вспрыгивает и исчезает морщина. Одна нога его чуть заметно быстро дрожит. Наташа знает, что он борется с мучительной болью. «Что такое эта боль? Зачем боль? Что он чувствует? Как у него болит!» — думает Наташа. Он заметил ее вниманье, поднял глаза и, не улыбаясь, стал говорить.

«Одно ужасно, — сказал он, — это связать себя навеки с страдающим человеком. Это вечное мученье». И он испытующим взглядом — Наташа видела теперь этот взгляд — посмотрел на нее. Наташа, как и всегда, ответила тогда прежде, чем успела подумать о том, что она отвечает; она сказала: «Это не может так продолжаться, этого не будет, вы будете здоровы — совсем».

Она теперь сначала видела его и переживала теперь все то, что она чувствовала тогда. Она вспомнила продолжительный, грустный, строгий взгляд его при этих словах и поняла значение упрека и отчаяния этого продолжительного взгляда.

«Я согласилась, — говорила себе теперь Наташа, — что было бы ужасно, если б он остался всегда страдающим. Я сказала это тогда так только потому, что для него это было бы ужасно, а он понял это иначе. Он подумал, что это для меня ужасно бы было. Он тогда еще хотел жить — боялся смерти. И я так грубо, глупо сказала ему. Я не думала этого. Я думала совсем другое. Если бы я сказала то, что думала, я бы сказала: пускай бы он умирал, все время умирал бы перед моими глазами, я была бы счастлива в сравнении с тем, что я теперь. Теперь... Ничего, никого нет. Знал ли он это? Нет. Не знал и никогда не узнает. И теперь никогда, никогда уже нельзя поправить этого». И опять он говорил ей те же слова, но теперь в воображении своем Наташа отвечала ему иначе. Она останавливала его и говорила: «Ужасно для вас, но не для меня. Вы знайте, что мне без вас нет ничего в жизни, и страдать с вами для меня лучшее счастие». И он брал ее руку и жал ее так, как он жал ее в тот страшный вечер, за четыре дня перед смертью. И в воображении своем она говорила ему еще другие нежные, любовные речи, которые она могла бы сказать тогда, которые она говорила теперь. «Я люблю тебя... тебя... люблю, люблю...» — говорила она, судорожно сжимая руки, стискивая зубы с ожесточенным усилием.

И сладкое горе охватывало ее, и слезы уже выступали в глаза, но вдруг она спрашивала себя: кому она говорит это? Где он и кто он теперь? И опять все застилалось сухим, жестоким недоумением, и опять, напряженно сдвинув брови, она вглядывалась туда, где он был. И вот, вот, ей казалось, она проникает тайну... Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух. Быстро и неосторожно, с испуганным, незанятым ею выражением лица, в комнату вошла горничная Дуняша.

— Пожалуйте к папаше, скорее, — сказала Дуняша с особенным и оживленным выражением. — Несчастье, о Петре Ильиче... письмо, — всхлипнув, проговорила она.

II

Кроме общего чувства отчуждения от всех людей, Наташа в это время испытывала особенное чувство отчуждения от лиц своей семьи. Все свои: отец, мать, Соня, были ей так близки, привычны, так будничны, что все их слова, чувства казались ей оскорблением того мира, в котором она жила последнее время, и она не только была равнодушна, но враждебно смотрела на них. Она слышала слова Дуняши о Петре Ильиче, о несчастии, но не поняла их.

«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие? У них все свое старое, привычное и покойное», — мысленно сказала себе Наташа.

Когда она вошла в залу, отец быстро выходил из комнаты графини. Лицо его было сморщено и мокро от слез. Он, видимо, выбежал из той комнаты, чтобы дать волю давившим его рыданиям. Увидав Наташу, он отчаянно взмахнул руками и разразился болезненно судорожными всхлипываниями, исказившими его круглое, мягкое лицо.

— Пе... Петя... Поди, поди, она... она... зовет... — И он, рыдая, как дитя, быстро семеня ослабевшими ногами, подошел к стулу и упал почти на него, закрыв лицо руками.

Вдруг как электрический ток пробежал по всему существу Наташи. Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней. Увидав отца и услыхав из-за двери страшный, грубый крик матери, она мгновенно забыла себя и свое горе. Она подбежала к отцу, но он, бессильно махая рукой, указывал на дверь матери. Княжна Марья, бледная, с дрожащей нижней челюстью, вышла из двери и взяла Наташу за руку, говоря ей что-то. Наташа не видела, не слышала ее. Она быстрыми шагами вошла в дверь, остановилась на мгновение, как бы в борьбе с самой собой, и подбежала к матери.

Графиня лежала на кресле, странно-неловко вытягиваясь, и билась головой об стену. Соня и девушки держали ее за руки.

— Наташу, Наташу!.. — кричала графиня. — Неправда, неправда... Он лжет... Наташу! — кричала она, отталкивая от себя окружающих. — Подите прочь все, неправда! Убили!.. ха-ха-ха-ха!.. неправда!

Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла, повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.

— Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, — шептала она ей, не замолкая ни на секунду.

Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала платье на матери.

— Друг мой, голубушка... маменька, душенька, — не переставая шептала она, целуя ее в голову, руки, лицо и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.

Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.

— Наташа, ты меня любишь, — сказала она тихим, доверчивым шепотом. — Наташа, ты не обманешь меня? Ты мне скажешь всю правду?

Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.

— Друг мой, маменька, — повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять с нее на себя излишек давившего ее горя.

И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить, когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.

Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню. На третью ночь графиня затихла на несколько минут, и Наташа закрыла глаза, облокотив голову на ручку кресла. Кровать скрипнула. Наташа открыла глаза. Графиня сидела на кровати и тихо говорила.

— Как я рада, что ты приехал. Ты устал, хочешь чаю? — Наташа подошла к ней. — Ты похорошел и возмужал, — продолжала графиня, взяв дочь за руку.

— Маменька, что вы говорите!..

— Наташа, его нет, нет больше! — И, обняв дочь, в первый раз графиня начала плакать.

III

Княжна Марья отложила свой отъезд, Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели, что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, — говорила, потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.

Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни — старухой. Но та же рана, которая наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.

Душевная рана, происходящая от разрыва духовного тела, точно так же, как и рана физическая, как ни странно это кажется, после того как глубокая рана зажила и кажется сошедшейся своими краями, рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.

Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что сущность ее жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.

Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их. Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.

Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти, Наташа подозвала ее к себе.

— Мне не хочется спать. Мари, посиди со мной.

— Ты устала, — постарайся заснуть.

— Нет, нет. Зачем ты увела меня? Она спросит.

— Ей гораздо лучше. Она нынче так хорошо говорила, — сказала княжна Марья.

Наташа лежала в постели и в полутьме комнаты рассматривала лицо княжны Марьи.

«Похожа она на него? — думала Наташа. — Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она на меня смотрит? Да, она прекрасная».

— Маша, — сказала она, робко притянув к себе ее руку. — Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша, голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.

И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась этому выражению чувств Наташи.

С этого дня между княжной Марьей и Наташей установилась та страстная и нежная дружба, которая бывает только между женщинами. Они беспрестанно целовались, говорили друг другу нежные слова и большую часть времени проводили вместе. Если одна выходила, то другая была беспокойна и спешила присоединиться к ней. Они вдвоем чувствовали большее согласие между собой, чем порознь, каждая сама с собою. Между ними установилось чувство сильнейшее, чем дружба: это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.

Иногда они молчали целые часы; иногда, уже лежа в постелях, они начинали говорить и говорили до утра. Они говорили большей частию о дальнем прошедшем. Княжна Марья рассказывала про свое детство, про свою мать, про своего отца, про свои мечтания; и Наташа, прежде с спокойным непониманием отворачивавшаяся от этой жизни преданности, покорности, от поэзии христианского самоотвержения, теперь, чувствуя себя связанной любовью с княжной Марьей, полюбила и прошедшее княжны Марьи и поняла непонятную ей прежде сторону жизни. Она не думала прилагать к своей жизни покорность и самоотвержение, потому что она привыкла искать других радостей, но она поняла и полюбила в другой эту прежде непонятную ей добродетель. Для княжны Марьи, слушавшей рассказы о детстве и первой молодости Наташи, тоже открывалась прежде непонятная сторона жизни, вера в жизнь, в наслаждение жизни.

Они всё точно так же никогда не говорили про него с тем, чтобы не нарушать словами, как им казалось, той высоты чувства, которая была в них, а это умолчание о нем делало то, что понемногу, не веря этому, они забывали его.

Наташа похудела, побледнела и физически так стала слаба, что все постоянно говорили о ее здоровье, и ей это приятно было. Но иногда на нее неожиданно находил не только страх смерти, но страх болезни, слабости, потери красоты, и невольно она иногда внимательно разглядывала свою голую руку, удивляясь на ее худобу, или заглядывалась по утрам в зеркало на свое вытянувшееся, жалкое, как ей казалось, лицо. Ей казалось, что это так должно быть, и вместе с тем становилось страшно и грустно.

Один раз она скоро взошла наверх и тяжело запыхалась. Тотчас же невольно она придумала себе дело внизу и оттуда вбежала опять наверх, пробуя силы и наблюдая за собой.

Другой раз она позвала Дуняшу, и голос ее задребезжал. Она еще раз кликнула ее, несмотря на то, что она слышала ее шаги, — кликнула тем грудным голосом, которым она певала, и прислушалась к нему.

Она не знала этого, не поверила бы, но под казавшимся ей непроницаемым слоем ила, застлавшим ее душу, уже пробивались тонкие, нежные молодые иглы травы, которые должны были укорениться и так застлать своими жизненными побегами задавившее ее горе, что его скоро будет не видно и не заметно. Рана заживала изнутри.

В конце января княжна Марья уехала в Москву, и граф настоял на том, чтобы Наташа ехала с нею, с тем чтобы посоветоваться с докторами.

IV

После столкновения при Вязьме, где Кутузов не мог удержать свои войска от желания опрокинуть, отрезать и т. д., дальнейшее движение бежавших французов и за ними бежавших русских, до Красного, происходило без сражений. Бегство было так быстро, что бежавшая за французами русская армия не могла поспевать за ними, что лошади в кавалерии и артиллерии становились и что сведения о движении французов были всегда неверны.

Люди русского войска были так измучены этим непрерывным движением по сорок верст в сутки, что не могли двигаться быстрее.

Чтобы понять степень истощения русской армии, надо только ясно понять значение того факта, что, потеряв ранеными и убитыми во все время движения от Тарутина не более пяти тысяч человек, не потеряв сотни людей пленными, армия русская, вышедшая из Тарутина в числе ста тысяч, пришла к Красному в числе пятидесяти тысяч.

Быстрое движение русских за французами действовало на русскую армию точно так же разрушительно, как и бегство французов. Разница была только в том, что русская армия двигалось произвольно, без угрозы погибели, которая висела над французской армией, и в том, что отсталые больные у французов оставались в руках врага, отсталые русские оставались у себя дома. Главная причина уменьшения армии Наполеона была быстрота движения, и несомненным доказательством тому служит соответственное уменьшение русских войск.

Вся деятельность Кутузова, как это было под Тарутиным и под Вязьмой, была направлена только к тому, чтобы, — насколько то было в его власти, — не останавливать этого гибельного для французов движения (как хотели в Петербурге и в армии русские генералы), а содействовать ему и облегчить движение своих войск.

Но, кроме того, со времени выказавшихся в войсках утомления и огромной убыли, происходивших от быстроты движения, еще другая причина представлялась Кутузову для замедления движения войск и для выжидания. Цель русских была —

следование за французами. Путь французов был неизвестен, и потому, чем ближе следовали наши войска по пятам французов, тем больше они проходили расстояния. Только следуя в некотором расстоянии, можно было по кратчайшему пути перерезывать зигзаги, которые делали французы. Все искусные маневры, которые предлагали генералы, выражались в передвижениях войск, в увеличении переходов, а единственно разумная цель состояла в том, чтобы уменьшить эти переходы. И к этой цели во всю кампанию, от Москвы до Вильны, была направлена деятельность Кутузова — не случайно, не временно, но так последовательно, что он ни разу не изменил ей.

Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут и надо выпроводить их; но вместе с тем он чувствовал, заодно с солдатами, всю тяжесть этого, неслыханного по быстроте и времени года, похода.

Но генералам, в особенности не русским, желавшим отличиться, удивить кого-то, забрать в плен для чего-то какого-нибудь герцога или короля, — генералам этим казалось теперь, когда всякое сражение было и гадко и бессмысленно, им казалось, что теперь-то самое время давать сражения и побеждать кого-то. Кутузов только пожимал плечами, когда ему один за другим представляли проекты маневров с теми дурно обутыми, без полушубков, полуголодными солдатами, которые в один месяц, без сражений, растаяли до половины и с которыми, при наилучших условиях продолжающегося бегства, надо было пройти до границы пространство больше того, которое было пройдено.

В особенности это стремление отличиться и маневрировать, опрокидывать и отрезывать проявлялось тогда, когда русские войска наталкивались на войска французов.

Так это случилось под Красным, где думали найти одну из трех колонн французов и наткнулись на самого Наполеона с шестнадцатью тысячами. Несмотря на все средства, употребленные Кутузовым, для того чтобы избавиться от этого пагубного столкновения и чтобы сберечь свои войска, три дня у Красного продолжалось добивание разбитых сборищ французов измученными людьми русской армии.

Толь написал диспозицию: die erste Colonne marschiert[1] и т. д. И, как всегда, сделалось все не по диспозиции. Принц Евгений Виртембергский расстреливал с горы мимо бегущие толпы французов и требовал подкрепления, которое не приходило. Французы, по ночам обегая русских, рассыпались, прятались в леса и пробирались, кто как мог, дальше.

Милорадович, который говорил, что он знать ничего не хочет о хозяйственных делах отряда, которого никогда нельзя было найти, когда его было нужно, «chevalier sans peur et sans reproche»[2], как он сам называл себя, и охотник до разговоров с французами, посылал парламентеров, требуя сдачи, и терял время и делал не то, что ему приказывали.

[1] Первая колонна выступает и т.д. (нем.).

[2] «рыцарь без страха и упрека»

— Дарю вам, ребята, эту колонну, — говорил он, подъезжая к войскам и указывая кавалеристам на французов. И кавалеристы на худых, ободранных, еле двигающихся лошадях, подгоняя их шпорами и саблями, рысцой, после сильных напряжений, подъезжали к подаренной колонне, то есть к толпе обмороженных, закоченевших и голодных французов; и подаренная колонна кидала оружие и сдавалась, чего ей уже давно хотелось.

Под Красным взяли двадцать шесть тысяч пленных, сотни пушек, какую-то палку, которую называли маршальским жезлом, и спорили о том, кто там отличился, и были этим довольны, но очень сожалели о том, что не взяли Наполеона или хоть какого-нибудь героя, маршала, и упрекали в этом друг друга и в особенности Кутузова.

Люди эти, увлекаемые своими страстями, были слепыми исполнителями только самого печального закона необходимости; но они считали себя героями и воображали, что то, что они делали, было самое достойное и благородное дело. Они обвиняли Кутузова и говорили, что он с самого начала кампании мешал им победить Наполеона, что он думает только об удовлетворении своих страстей и не хотел выходить из Полотняных Заводов, потому что ему там было покойно; что он под Красным остановил движенье только потому, что, узнав о присутствии Наполеона, он совершенно потерялся; что можно предполагать, что он находится в заговоре с Наполеоном, что он подкуплен им[1], и т. д., и т. д.

Мало того, что современники, увлекаемые страстями, говорили так, — потомство и история признали Наполеона grand[2], а Кутузова: иностранцы — хитрым, развратным, слабым придворным стариком; русские — чем-то неопределенным — какой-то куклой, полезной только по своему русскому имени...

V

В 12-м и 13-м годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной лишивший русские войска славы — полной победы над французами[3].

Такова судьба не великих людей, не grand-homme[4], которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.

Для русских историков — странно и страшно сказать — Наполеон — это ничтожнейшее орудие истории — никогда и нигде, даже в изгнании, не выказавший

[1] Записки Вильсона

[2] великим — Ред.

[3] История 1812 года Богдановича: характеристика Кутузова и рассуждение о неудовлетворительности результатов Красненских сражений

[4] великий человек

человеческого достоинства, — Наполеон есть предмет восхищения и восторга; он grand. Кутузов же, тот человек, который от начала до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу ни одним действием, ни словом не изменяя себе, являет необычайный в истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события, — Кутузов представляется им чем-то неопределенным и жалким, и, говоря о Кутузове и 12-м годе, им всегда как будто немножко стыдно.

А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель, более достойную и более совпадающую с волею всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году.

Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Он писал письма своим дочерям и m-me Staël, читал романы, любил общество красивых женщин, шутил с генералами, офицерами и солдатами и никогда не противоречил тем людям, которые хотели ему что-нибудь доказывать. Когда граф Растопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, и сказал: «Как же вы обещали не оставлять Москвы, не дав сраженья?» — Кутузов отвечал: «Я и не оставлю Москвы без сражения», несмотря на то, что Москва была уже оставлена. Когда приехавший к нему от государя Аракчеев сказал, что надо бы Ермолова назначить начальником артиллерии, Кутузов отвечал: «Да, я и сам только что говорил это», — хотя он за минуту говорил совсем другое. Какое дело было ему, одному понимавшему тогда весь громадный смысл события, среди бестолковой толпы, окружавшей его, какое ему дело было до того, к себе или к нему отнесет граф Растопчин бедствие столицы? Еще менее могло занимать его то, кого назначат начальником артиллерии.

Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек, дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные — первые, которые ему приходили в голову.

Но этот самый человек, так пренебрегавший своими словами, ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно, невольно, с тяжелой уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых разнообразных обстоятельствах высказывал свою мысль. Начиная от Бородинского сражения, с которого начался его разлад с окружающими, он один говорил, что Бородинское сражение есть победа, и повторял это и изустно, и в рапортах, и донесениях до самой своей смерти. Он один сказал, что потеря Москвы не есть

потеря России. Он в ответ Лористону на предложение о мире отвечал, что мира не может быть, потому что такова воля народа; он один во время отступления французов говорил, что все наши маневры не нужны, что все сделается само собой лучше, чем мы того желаем, что неприятелю надо дать золотой мост, что ни Тарутинское, ни Вяземское, ни Красненское сражения не нужны, что с чем-нибудь надо прийти на границу, что за десять французов он не отдаст одного русского.

И он один, этот придворный человек, как нам изображают его, человек, который лжет Аракчееву с целью угодить государю, — он один, этот придворный человек, в Вильне, тем заслуживая немилость государя, говорит, что дальнейшая война за границей вредна и бесполезна.

Но одни слова не доказали бы, что он тогда понимал значение события. Действия его — все без малейшего отступления, все были направлены к одной и той же цели, выражающейся в трех действиях: 1) напрячь все свои силы для столкновения с французами, 2) победить их и 3) изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствия народа и войска.

Он, тот медлитель Кутузов, которого девиз есть терпение и время, враг решительных действий, от дает Бородинское сражение, облекая приготовления к нему в беспримерную торжественность. Он, тот Кутузов, который в Аустерлицком сражении, прежде начала его, говорит, что оно будет проиграно, в Бородине, несмотря на уверения генералов о том, что сражение проиграно, несмотря на неслыханный в истории пример того, что после выигранного сражения войско должно отступать он один, в противность всем, до самой смерти утверждает, что Бородинское сражение — победа. Он один во все время отступления настаивает на том, чтобы не давать сражений, которые теперь бесполезны, не начинать новой войны и не переходить границ России.

Теперь понять значение события, если только не прилагать к деятельности масс целей, которые были в голове десятка людей, легко, так как все событие с его последствиями лежит перед нами.

Но каким образом тогда этот старый человек, один, в противность мнения всех, мог угадать, так верно угадал тогда значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему?

Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его.

Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями из в немилости находящегося старика выбрать его против воли царя в представители народной войны. И только это чувство поставило его на ту высшую человеческую высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все свои силы не на то, чтоб убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.

Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история.

Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии.

VI

5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не туда, куда надо, после рассылок адъютантов с противуприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира.

День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных (их взято было в этот день семь тысяч). Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные.

Кутузов, казалось, был чем-то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Бóльшая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза.

Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата — лицо одного из них было покрыто болячками — разрывали руками кусок сырого мяса. Что-то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжавших, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело.

Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат; еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что-то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой.

— Что ты говоришь? Что? — спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.

— А, знамена! — сказал Кутузов, видимо, с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слóва, смотрели на него.

Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.

— Благодарю всех! — сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. — Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки! — Он помолчал, оглядываясь.

— Нагни, нагни ему голову-то, — сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев. — Пониже, пониже, так-то вот. Ура! ребята, — быстрым движением подбородка обратясь к солдатам, проговорил он.

— Ура-ра-ра! — заревели тысячи голосов.

Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым блеском.

— Вот что, братцы, — сказал он, когда замолкли голоса...

И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно, что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам.

В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.

— А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома; а они — видите, до чего они дошли, — сказал он, указывая на пленных. — Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?

Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

— А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м... и... в г.... — вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат.

Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержания сначала торжественной и под конец простодушно-стариковской речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое, то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, — это самое чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо находясь в сильном волнении.

VII

8-го ноября последний день Красненских сражений; уже смерклось, когда войска пришли на место ночлега. Весь день был тихий, морозный, с падающим легким, редким снегом; к вечеру стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось черно-лиловое звездное небо, и мороз стал усиливаться.

Мушкатерский полк, вышедший из Тарутина в числе трех тысяч, теперь, в числе девятисот человек, пришел одним из первых на назначенное место ночлега, в деревне на большой дороге. Квартиргеры, встретившие полк, объявили, что все избы заняты больными и мертвыми французами, кавалеристами и штабами. Была только одна изба для полкового командира.

Полковой командир подъехал к своей избе. Полк прошел деревню и у крайних изб на дороге поставил ружья в козлы.

Как огромное, многочленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи. Одна часть солдат разбрелась, по колено в снегу, в березовый лес, бывший вправо от деревни, и тотчас же послышались в лесу стук топоров, тесаков, треск ломающихся сучьев и веселые голоса; другая часть возилась около центра полковых повозок и лошадей, поставленных в кучку, доставая котлы, сухари и задавая корм лошадям; третья часть рассыпалась в деревне, устраивая помещения штабным, выбирая мертвые тела французов, лежавшие по избам, и растаскивая доски, сухие дрова и солому с крыш для костров и плетни для защиты.

Человек пятнадцать солдат за избами, с края деревни, с веселым криком раскачивали высокий плетень сарая, с которого снята уже была крыша.

— Ну, ну, разом, налегни! — кричали голоса, и в темноте ночи раскачивалось с морозным треском огромное, запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и, наконец, плетень завалился вместе с солдатами, напиравшими на него. Послышался громкий грубо-радостный крик и хохот.

— Берись по дворе! рочаг подавай сюда! вот так-то. Куда лезешь-то?

— Ну, разом... Да стой, ребята!.. С накрика!

Все замолкли, и негромкий, бархатно-приятный голос запел песню. В конце третьей строфы, враз с окончанием последнего звука, двадцать голосов дружно вскрикнули: «Уууу! Идет! Разом! Навались, детки!..» Но, несмотря на дружные усилия, плетень мало тронулся, и в установившемся молчании слышалось тяжелое пыхтенье.

— Эй вы, шестой роты! Черти, дьяволы! Подсоби... тоже мы пригодимся.

Шестой роты человек двадцать, шедшие в деревню, присоединились к тащившим; и плетень, саженей в пять длины и в сажень ширины, изогнувшись, надавя и режа плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни.

— Иди, что ли... Падай, эка... Чего стал? То-то...

Веселые, безобразные ругательства не замолкали.

— Вы чего? — вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих.

— Господа тут; в избе сам анарал, а вы, черти, дьяволы, матершинники. Я вас! — крикнул фельдфебель и с размаху ударил в спину первого подвернувшегося солдата. — Разве тихо нельзя?

Солдаты замолкли. Солдат, которого ударил фельдфебель, стал, покряхтывая, обтирать лицо, которое он в кровь разодрал, наткнувшись на плетень.

— Вишь, черт, дерется как! Аж всю морду раскровянил, — сказал он робким шепотом, когда отошел фельдфебель.

— Али не любишь? — сказал смеющийся голос; и, умеряя звуки голосов, солдаты пошли дальше. Выбравшись за деревню, они опять заговорили так же громко, пересыпая разговор теми же бесцельными ругательствами.

В избе, мимо которой проходили солдаты, собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице-короля и захватить его.

Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу пространству.

Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниция.

Притащенный плетень осьмою ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров — кто чиня обувь, кто куря трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей.

VIII

Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, — без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, — казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.

Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска — по силе духа и тела.

К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.

— Эй, Макеев, что ж ты... запропал или тебя волки съели? Неси дров-то, — кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. — Поди хоть ты, ворона, неси дров, — обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер-офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.

— Давай сюда. Во важно-то!

Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.

— Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера... — припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.

— Эй, подметки отлетят! — крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. — Экой яд плясать!

Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.

— И то, брат, — сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. — С пару зашлись, — прибавил он, вытягивая ноги к огню.

— Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до конца, тогда всем по двойному товару.

— А вишь, сукин сын Петров, отстал-таки, — сказал фельдфебель.

— Я его давно замечал, — сказал другой.

— Да что, солдатенок...

— А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.

— Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?

— Э, пустое болтать! — сказал фельдфебель.

— Али и тебе хочется того же? — сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.

— А ты что же думаешь? — вдруг приподнявшись из-за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. — Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, — сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, — вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь...

— Ну, буде, буде, — спокойно сказал фельдфебель.

Солдатик замолчал, и разговор продолжался.

— Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, — начал один из солдат новый разговор.

— Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, — сказал плясун. — Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что-то по-своему.

— А чистый народ, ребята, — сказал первый. — Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.

— А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.

— А ничего не знают по-нашему, — с улыбкой недоумения сказал плясун. — Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!

— Ведь то мудрено, братцы мои, — продолжал тот, который удивлялся их белизне, — сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья-то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние-то.

Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний-то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.

— Что ж, от холода, что ль? — спросил один.

— Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим: мóчи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.

Все помолчали.

— Должнó от пищи, — сказал фельдфебель, — господскую пищу жрали.

Никто не возражал.

— Сказывал мужик-то этот, под Можайским, где страженья-то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых-то. Волкóв этих что, говорит...

— Та страженья была настоящая, — сказал старый солдат. — Только и было чем помянуть; а то всё после того... Так, только народу мученье.

— И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон — говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона-то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет-возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.

— Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.

— Какое врать, правда истинная.

— А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.

— Все одно конец сделаем, не будет ходить, — зевая, сказал старый солдат.

Разговор замолк, солдаты стали укладываться.

— Вишь, звезды-то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, — сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.

— Это, ребята, к урожайному году.

— Дровец-то еще надо будет.

— Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.

— О, Господи!

— Что толкаешься-то, — про тебя одного огонь, что ли? Вишь... развалился.

Из-за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.

— Вишь, грохочут в пятой роте, — сказал один солдат. — И народу что — страсть!

Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.

— То-то смеху, — сказал он, возвращаясь. — Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда. Песни играет.

— О-о? пойти посмотреть... — Несколько солдат направились к пятой роте.

IX

Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.

В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.

— Ребята, ведмедь, — сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.

Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что-то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что-то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.

Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.

Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что-то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.

— Что? Не будешь? — насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.

— Э, дурак! Что врешь нескладно! То-то мужик, право, мужик, — послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:

— Oh, mes braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voilà des hommes! oh, mes braves, mes bons amis![1] — и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.

Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.

Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по-бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.

[1] Ах, мои храбрецы, ах, мои добрые, мои верные друзья! Вот это люди! Ах, мои храбрецы, мои добрые друзья!

— Ну-ка, ну-ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. — говорил шутник-песенник, которого обнимал Морель.

Vive Henri Quatre,
Vive ce roi vaillant! [1]

пропел Морель, подмигивая глазом. Ce diable à quatre[2]...

— Виварикá! Виф серувару! сидябляка́... — повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.

— Вишь ловок! Го-го-го-го-го!.. — поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.

— Ну, валяй еще, еще!

Qui eut le triple talent,
De boire, de battre,
Et d'être un vert galant...[3]

— А ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..

— Кю... — с усилием выговорил Залетаев. — Кью-ю-ю... — вытянул он, старательно оттопырив губы, — летриптала, де бу де ба и детравагала, — пропел он.

— Ай, важно! Вот так хранцуз! ой... го-го-го-го! — Что ж, еще есть хочешь?

— Дай ему каши-то; ведь не скоро наестся с голоду-то.

Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.

— Тоже люди, — сказал один из них, уворачиваясь в шинель. — И полынь на своем кореню растет.

— Оо! Господи, Господи! Как звездно, страсть! К морозу... — И все затихло.

Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем-то радостном, но таинственном перешептывались между собой.

X

Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много

---

[1] Да здравствует Генрих Четвертый!
Да здравствует сей храбрый король! и т. д. (французская песня).

[2] Этот черт-те что…

[3] Кто обладал тройным талантом:
пить, драться
и быть ловким донжуаном...

говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.

Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, — только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, — все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.

Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, — гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.

Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.

Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.

Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.

В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:

«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».

Но вслед за отсылкой Бенигсена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь император сам на днях намеревался прибыть к армии.

Старый человек, столь же опытный в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью, в противность воле государя, предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И не по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, — кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха.

29 ноября Кутузов въехал в Вильно — в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось.

Чичагов, один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный свою смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому

что, когда он был послан в 11-м году для заключения мира с Турцией помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову; этот-то Чичагов первый встретил Кутузова в Вильне у за́мка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов в флотском вицмундире, с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно-почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, взводимые на Кутузова.

Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему.

— C'est pour me dire que je n'ai pas sur quoi manger... Je puis au contraire vous fournir de tout dans le cas même ou vous voudriez donner des dîners[1], — вспыхнув, проговорил Чичагов, каждым словом своим желавший доказать свою правоту и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой, проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал: — Ce n'est que pour vous dire ce que je vous dis[2].

В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил бо́льшую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни.

Выехав с своей свитой — графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7-го декабря из Петербурга, государь 11-го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к за́мку. У за́мка, несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.

Курьер, подскакавший к за́мку на потной тройке, впереди государя, прокричал: «Едет!» Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке.

Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт.

Беготня, шепот, еще отчаянно пролетавшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского.

Все это по пятидесятилетней привычке физически тревожно подействовало на старого генерала; он озабоченно торопливо ощупал себя, поправил шляпу и враз, в ту минуту как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом.

---

[1] Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть. Напротив, я могу снабдить вас всем, даже если бы вы пожелали давать обеды

[2] Я хочу сказать только то, что говорю

Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова: он всхлипнул.

Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз за руку старика, пошел с ним в за́мок.

Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице.

Когда Кутузов вышел из кабинета и своей тяжелой, ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей-то голос остановил его.

— Ваша светлость, — сказал кто-то.

Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который, с какой-то маленькою вещицей на серебряном блюде, стоял перед ним. Кутузов, казалось, не понимал, чего от него хотели.

Вдруг он как будто вспомнил: чуть заметная улыбка мелькнула на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял предмет, лежавший на блюде. Это был Георгий 1-й степени.

XI

На другой день были у фельдмаршала обед и бал, которые государь удостоил своим присутствием. Кутузову пожалован Георгий 1-й степени; государь оказывал ему высочайшие почести; но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого; но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов, по старой екатерининской привычке, при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: «старый комедиант».

Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании.

Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу», — все уже тогда поняли, что война не кончена.

Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом положении населения, о возможности неудач и т. п.

При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны.

Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из-под главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю.

С этой целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов — получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем.

Ему надо было быть слабым здоровьем, для того чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно, здоровье его было слабо.

Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель.

Война 1812-го года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое — европейское.

За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.

Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.

Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.

XII

Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все-таки выздоровел.

Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы

найти экипаж и лошадей, и главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое-нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать все то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы, — Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.

Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.

Радостное чувство свободы — той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.

— Ах, как хорошо! Как славно! — говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. — Ах, как хорошо, как славно! — И по старой привычке он делал себе вопрос: ну, а потом что? что я буду делать? И тотчас же он отвечал себе: ничего. Буду жить. Ах, как славно!

То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это-то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.

Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, — не веру в какие-нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание Бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но

непосредственным чувством то, что ему давно уже говорила нянюшка: что Бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда-то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.

Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где-то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в тумане дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос — зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть Бог, тот Бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.

XIII

Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем-то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего-то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что-то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям — вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.

Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.

Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.

Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, сухой и по-своему гордой княжне человеческие чувства.

— Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, — говорила себе княжна.

Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по-своему и его слугами — Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.

— Ну, так скажи мне... да как же вы доставали себе еду? — спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.

Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.

— Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, — говорил он.

В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.

Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.

Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.

— Ежели все русские хотя немного похожи на вас, — говорил он Пьеру, — c'est un sacrilège que de faire la guerre à un peuple comme le vôtre[1]. Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.

И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.

Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон — граф Вилларский, — тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.

Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.

Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.

— Vous vous encroûtez, mon cher[2], — говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.

Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.

В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.

В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не

[1] это кощунство — воевать с таким народом, как вы

[2] Вы зарастаете мхом, мой друг

дать?» — спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой — иначе.

Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким-то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.

Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыреста тысяч франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.

В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменившихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главноуправляющего, около двух миллионов.

Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.

— Да, да, это правда, — сказал Пьер, весело улыбаясь. — Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.

Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.

Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.

Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время

путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне — все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.

XIV

Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку — для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кучки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, — так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего-то невещественного, но могущественного и неразрушимого.

Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью — дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем — это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.

Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12-го года.

Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили в других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.

Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.

Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары — большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.

Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.

Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый — кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, — домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики — с разных сторон, как кровь к сердцу, — приливали к Москве.

Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.

XV

В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но

невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем-нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, — важные или самые ничтожные, — отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли он свезти ящичек? — он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.

О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.

На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.

Доро́гой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.

«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» — думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.

В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.

— Доложи; может быть, примут, — сказал Пьер.

— Слушаю-с, — отвечал официант, — пожалуйте в портретную.

Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.

В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто-то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», — подумал он, взглянув на даму в черном платье.

Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.

— Да, — сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, — вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, — сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.

— Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. — Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что-то сказать; но Пьер перебил ее.

— Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, — сказал он. — Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым... Какая судьба!

Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и как это часто бывает во время разговора, он почему-то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье — милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.

Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:

— Вы не узнаете разве?

Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что-то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.

«Но нет, это не может быть, — подумал он. — Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, — улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.

В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее — яснее, чем самыми определенными словами, — он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.

«Нет, это так, от неожиданности», — подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу.

Пьер не заметил Наташу, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально-вопросительные.

Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.

XVI

— Она приехала гостить ко мне, — сказала княжна Марья. — Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.

— Да, есть ли семья без своего горя? — сказал Пьер, обращаясь к Наташе. — Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик!

Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.

— Что можно сказать или подумать в утешенье? — сказал Пьер. — Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?

— Да, в наше время трудно жить бы было без веры... — сказала княжна Марья.

— Да, да. Вот это истинная правда, — поспешно перебил Пьер.

— Отчего? — спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.

— Как отчего? — сказала княжна Марья. — Одна мысль о том, что ждет там...

Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.

— И оттого, — продолжал Пьер, — что только тот человек, который верит в то, что есть Бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и... ваша, — сказал Пьер.

Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что-то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.

Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.

— Да, да, так, так... — говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. — Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного: быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, — если они были, — происходили не от него. Так он смягчился? — говорил Пьер. — Какое счастье, что он свиделся с вами, — сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.

Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?

— Да, это было счастье, — сказала она тихим грудным голосом, — для меня наверное это было счастье. — Она помолчала. — И он... он... он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему... — Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленях и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:

— Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, — говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала, все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославле.

Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.

Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.

Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.

Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.

За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.

— Да вот и все, все... — сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты.

Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире.

Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату.

Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.

— Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа; пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Подите вниз; мы сейчас придем.

Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему:

— Это в первый раз она так говорила о нем.

XVII

Пьера провели в освещенную большую столовую; через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строгое, без улыбки, выражение теперь опять установилось на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьер одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно; говорить о пустяках — совестно, а молчать неприятно, потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули и пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. Обе, очевидно, в то же время решились на то же: у обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что, кроме горя, есть и радости.

— Вы пьете водку, граф? — сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего.

— Расскажите же про себя, — сказала княжна Марья. — Про вас рассказывают такие невероятные чудеса.

— Да, — с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер. — Мне самому даже рассказывают пор такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось или должно было случиться. Степан Степаныч тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще я заметил, что быть интересным человеком очень покойно (я теперь интересный человек); меня зовут и мне рассказывают.

Наташа улыбнулась и хотела что-то сказать.

— Нам рассказывали, — перебила ее княжна Марья, — что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это?

— А я стал втрое богаче, — сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.

— Что я выиграл несомненно, — сказал он, — так это свободу... — начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора.

— А вы строитесь?

— Да, Савельич велит.

— Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве? — сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен, она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели.

— Нет, — отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Марья его упоминанию о своей свободе. — Я узнал это в Орле, и вы не можете себе представить, как меня это поразило. Мы не были примерные супруги, — сказал он быстро, взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он

отзовется о своей жене. — Но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть... без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль ее, — кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи.

— Да, вот вы опять холостяк и жених, — сказала княжна Марья.

Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось.

— Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали? — сказала княжна Марья.

Пьер засмеялся.

— Ни разу, никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену — значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе.

Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ.

— Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? — спросила его Наташа, слегка улыбаясь. — Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни: помните?

Пьер признался, что это была правда, и с этого вопроса, понемногу руководимый вопросами княжны Марьи и в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях.

Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя; но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он, сам того не замечая, увлекся и стал говорить с сдержанным волнением человека, в воспоминании переживающего сильные впечатления.

Княжна Марья с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной, за защиту которых он был взят, Пьер рассказывал таким образом:

— Это было ужасное зрелище, дети брошены, некоторые в огне... При мне вытащили ребенка... женщины, с которых стаскивали вещи, вырывали серьги...

Пьер покраснел и замялся.

— Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали. И меня.

— Вы, верно, не все рассказываете; вы, верно, сделали что-нибудь... — сказала Наташа и помолчала, — хорошее.

Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности; но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал.

Пьер начал было рассказывать про Каратаева (он уже встал из-за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами) и остановился.

— Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека — дурачка.

— Нет, нет, говорите, — сказала Наташа. — Он где же?

— Его убили почти при мне. — И Пьер стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева (голос его дрожал беспрестанно) и его смерть.

Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, — не умные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслажденье, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасывания в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание; она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагиванья мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера.

Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему, но она теперь видела другое, что поглощало все ее внимание; она видела возможность любви и счастия между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостию.

Было три часа ночи. Официанты с грустными и строгими лицами приходили переменять свечи, но никто не замечал их.

Пьер кончил свой рассказ. Наташа блестящими, оживленными глазами продолжала упорно и внимательно глядеть на Пьера, как будто желая понять еще то остальное, что он не высказал, может быть. Пьер в стыдливом и счастливом смущении изредка взглядывал на нее и придумывал, что бы сказать теперь, чтобы перевести разговор на другой предмет. Княжна Марья молчала. Никому в голову не приходило, что три часа ночи и что пора спать.

— Говорят: несчастия, страдания, — сказал Пьер. — Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали; хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради Бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю, — сказал он, обращаясь к Наташе.

— Да, да, — сказала она, отвечая на совсем другое, — и я ничего бы не желала, как только пережить все сначала.

Пьер внимательно посмотрел на нее.

— Да, и больше ничего, — подтвердила Наташа.

— Неправда, неправда, — закричал Пьер. — Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже.

Вдруг Наташа опустила голову на руки и заплакала.

— Что ты, Наташа? — сказала княжна Марья.

— Ничего, ничего. — Она улыбнулась сквозь слезы Пьеру. — Прощайте, пора спать.

Пьер встал и простился.

Княжна Марья и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они говорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Марья не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем.

— Ну, прощай, Мари, — сказала Наташа. — Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем.

Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней.

— Разве можно забыть? — сказала она.

— Мне так хорошо было нынче рассказать все; и тяжело, и больно, и хорошо. Очень хорошо, — сказала Наташа, — я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему... ничего, что я рассказала ему? — вдруг покраснев, спросила она.

— Пьеру? О нет! Какой он прекрасный, — сказала княжна Марья.

— Знаешь, Мари, — вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице. — Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? — морально из бани. Правда?

— Да, — сказала княжна Марья, — он много выиграл.

— И сюртучок коротенький, и стриженые волосы; точно, ну точно из бани... папа, бывало...

— Я понимаю, что он (князь Андрей) никого так не любил, как его, — сказала княжна Марья.

— Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем?

— Да, и чудесный.

— Ну, прощай, — отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.

XVIII

Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что-то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь.

Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже шесть часов утра, а он все ходил по комнате.

«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, так надо», — сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей.

«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, — надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», — сказал он себе.

Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся, в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу.

«Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? — невольно, хотя и про себя, спросил он. — Да, что-то такое давно, давно, еще прежде, чем это случилось, я зачем-то собирался ехать в Петербург, — вспомнил он. — Отчего же? я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит! — подумал он, глядя на старое лицо Савельича. — И какая улыбка приятная!» — подумал он.

— Что ж, все не хочешь на волю, Савельич? — спросил Пьер.

— Зачем мне, ваше сиятельство, воля? При покойном графе, царство небесное, жили и при вас обиды не видим.

— Ну, а дети?

— И дети проживут, ваше сиятельство: за такими господами жить можно.

— Ну, а наследники мои? — сказал Пьер. — Вдруг я женюсь... Ведь может случиться, — прибавил он с невольной улыбкой.

— И осмеливаюсь доложить: хорошее дело, ваше сиятельство.

«Как он думает это легко, — подумал Пьер. — Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно... Страшно!»

— Как же изволите приказать? Завтра изволите ехать? — спросил Савельич.

— Нет; я немножко отложу. Я тогда скажу. Ты меня извини за хлопоты, — сказал Пьер и, глядя на улыбку Савельича, подумал: «Как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга и что прежде всего надо, чтоб решилось то. Впрочем, он, верно, знает, но только притворяется. Поговорить с ним? Как он думает? — подумал Пьер. — Нет, после когда-нибудь».

За завтраком Пьер сообщил княжне, что он был вчера у княжны Марьи и застал там, — можете себе представить кого? — Натали Ростову.

Княжна сделала вид, что она в этом известии не видит ничего более необыкновенного, как в том, что Пьер видел Анну Семеновну.

— Вы ее знаете? — спросил Пьер.

— Я видела княжну, — отвечала она. — Я слышала, что ее сватали за молодого Ростова. Это было бы очень хорошо для Ростовых; говорят, они совсем разорились.

— Нет, Ростову вы знаете?

— Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.

«Нет, она не понимает или притворяется, — подумал Пьер. — Лучше тоже не говорить ей».

Княжна также приготавливала провизию на дорогу Пьеру.

«Как они добры все, — думал Пьер, — что они теперь, когда уж наверное им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня; вот что удивительно».

В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в Грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам.

«Вот и этот тоже, — подумал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера, — какой славный, красивый офицер и как добр! Теперь занимается такими пустяками. А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор! А впрочем, отчего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан. И все так делают. А такое приятное, доброе лицо, и улыбается, глядя на меня».

Пьер поехал обедать к княжне Марье.

Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера и говорили как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого».

При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера, виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал. Может быть, я войду и никого не увижу». Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если б она была такою вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее.

Она была такою же, какою он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый вопросительный блеск светился в ее глазах; на лице было ласковое и странно-шаловливое выражение.

Пьер обедал и просидел бы весь вечер; но княжна Марья ехала ко всенощной, и Пьер уехал с ними вместе.

На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были очевидно рады гостю; несмотря На то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они всё переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что не мог подняться и уйти.

Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться.

— Так вы завтра едете в Петербург? — сказала она.

— Нет, я не еду, — с удивлением и как будто обидясь, поспешно сказал Пьер. — Да нет, в Петербург? Завтра; только я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, — сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя.

Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.

Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.

— Да, я и хотел сказать вам, — сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. — Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу... я не могу...

Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.

— Ну, вот, — продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. — Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность... возможность... ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, — сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.

— Я думаю о том, что вы мне сказали, — отвечала княжна Марья. — Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви... — Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.

— Говорить ей теперь... нельзя, — все-таки сказала княжна Марья.

— Но что же мне делать?

— Поручите это мне, — сказала княжна Марья. — Я знаю...

Пьер смотрел в глаза княжне Марье.

— Ну, ну... — говорил он.

— Я знаю, что она любит... полюбит вас, — поправилась княжна Марья.

Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.

— Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!

— Да, думаю, — улыбаясь, сказала княжна Марья. — Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.

— Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть... Как я счастлив! Нет, не может быть! — говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.

— Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, — сказала она.

— В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?

На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», — говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.

Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.

«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»

— Прощайте, граф, — сказала она ему громко. — Я очень буду ждать вас, — прибавила она шепотом.

И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас... Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» — говорил себе Пьер.

XIX

В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.

Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда „je vous aime“?» 1 Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли, или дурно то, что он предпринял, — теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».

Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.

Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним — его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастье. Он часто удивлял людей,

встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как-нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.

Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие-нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого-то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, — все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.

Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.

Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Может быть, — думал он, — я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда-либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.

XX

С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно-насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что-то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.

Все: лицо, походка, взгляд, голос — все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой — сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.

Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», — думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.

Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.

Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.

— Он сказал? Да? Он сказал? — повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.

— Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.

Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.

«Но что же делать! она не может иначе», — подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.

— В Петербург? — повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. — Мари, — сказала она, — научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня...

— Ты любишь его?

— Да, — прошептала Наташа.

— О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, — сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.

— Это будет не скоро, когда-нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.

— Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.

Они помолчали.

— Только для чего же в Петербург! — вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: — Нет, нет, это так надо... Да, Мари? Так надо...

ЭПИЛОГ

Часть первая

I

Прошло семь лет после 12-го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.

Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.

Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами...

Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.

Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m-me Staël, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции.

В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I — тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России.

В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования.

«Он должен был поступить так-то и так-то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12-го года; но он поступил дурно, дав конституцию Польше, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии; он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк, и т. д.».

Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают.

Что значат эти упреки?

Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, — как-то: либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12-м году, и поход 13-го года, не вытекают ли из одних и тех же источников — условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, — из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как-то: Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20-х годов?

В чем же состоит сущность этих упреков?

В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей; лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влияниям интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью; лицо, чувствовавшее на себе, всякую минуту своей жизни, ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, — что это лицо, пятьдесят лет тому назад, не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.

Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.

Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому-нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12-м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение — прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, еще другие, более общие и недоступные мне цели.

Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.

Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, — с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.

Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, — то уничтожится возможность жизни.

III

Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.

И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.

Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.

Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным

образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.

По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.

Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, — этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от Товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его, свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.

Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.

Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, — он один может оправдать то, что имеет совершиться.

Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладение властью, и заговор увенчивается успехом.

Его вталкивают в заседание правителей. Испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим; притворяется, что падает в обморок; говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграна, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно бы было говорить, для того чтоб удержать власть и погубить его.

Случайность, миллионы случайностей дают ему власть и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. Случайности делают характеры тогдашних правителей Франции, подчиняющимися ему; случайности делают характер Павла I, признающего его власть; случайность делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу. Случайность делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила бы его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. Случайность и гениальность дают ему победу под Аустерлицем, и случайно все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая и не примет участия в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы, который кажется всем чем-то прекрасным и разумным.

Как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы запада несколько раз в 1805-м, 6-м, 7-м, 9-м году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811-м году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим, они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека; император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, — это празднование Иены и Ауерштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы.

Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели — Москвы. Столица взята; русское войско более уничтожено, чем когда-нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. Но вдруг вместо тех случайностей и гениальности, которые так последовательно вели его до сих пор

непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных случайностей, от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву; и вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров.

Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него.

Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805—1807—1809 годах предшествуют большому движению; то же сцепление в группу огромных размеров; то же приставание серединных народов к движению; то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели.

Париж — крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла; все действия его очевидно жалки и гадки; но опять совершается необъяснимая случайность; союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий; лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им десять лет тому назад и год после, — разбойником вне закона. Но по какой-то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого десять лет тому назад и год после считали разбойником вне закона, посылают в два дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение с гвардией и миллионами, которые платят ему за что-то.

II

Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.

Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель — величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель — распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель — прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие, более целесообразные пути для распространения цивилизации.

Почему же это случилось так, а не иначе?

Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», — говорит история.

Но что такое случай? Что такое гений?

Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое-то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.

Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.

Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, — и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.

Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.

Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.

Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.

IV

Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затишье движения.

Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они, их несогласия, причиной этого нового напора сил; они ждут войны между своими государями; положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна, с той же исходной точки движения — Парижа. Совершается последний отплеск движения с запада; отплеск, который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические затруднения и положить конец воинственному движению этого периода.

Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его; но, по странной случайности, никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц.

Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия.

Действие совершено. Последняя роль сыграна. Актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяны: он больше не понадобится.

И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиночестве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им.

Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам.

— Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а я двигал вас?

Но, ослепленные силой движения, люди долго не понимали этого.

Еще большую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра I, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад.

Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад?

Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами — государями того времени; нужна кроткая и привлекательная личность; нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I; все это подготовлено бесчисленными так называемыми случайностями всей его прошедшей жизни: и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и Аустерлицем, и Тильзитом, и Эрфуртом.

Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели.

Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее?

Александр I, умиротворитель Европы, человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские и лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр 1, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку Божию, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только:

— «Не нам, не нам, а имени твоему!» Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить, как человека, и думать о своей душе и о Боге.

Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку по огромности целого, — так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим.

Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль и приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливанья молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытиях этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели.

Человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями жизни. То же с целями исторических лиц и народов.

V

Свадьба Наташи, вышедшей в 13-м году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых. В тот же год граф Илья Андреевич умер, и, как это всегда бывает, со смертью его распалась старая семья.

События последнего года: пожар Москвы и бегство из нее, смерть князя Андрея и отчаяние Наташи, смерть Пети, горе графини — все это, как удар за ударом, падало на голову старого графа. Он, казалось, не понимал и чувствовал себя не в силах понять значение всех этих событий и, нравственно согнув свою старую голову, как будто ожидал и просил новых ударов, которые бы его покончили. Он казался то испуганным и растерянным, то неестественно оживленным и предприимчивым.

Свадьба Наташи на время заняла его своей внешней стороной. Он заказывал обеды, ужины и, видимо, хотел Казаться веселым; но веселье его не сообщалось, как прежде, а, напротив, возбуждало сострадание в людях, знавших и любивших его.

После отъезда Пьера с женой он затих и стал жаловаться на тоску. Через несколько дней он заболел и слег в постель. С первых дней его болезни, несмотря на утешения докторов, он понял, что ему не вставать. Графиня, не раздеваясь, две недели провела в кресле у его изголовья. Всякий раз, как она давала ему лекарство, он, всхлипывая, молча целовал ее руку. В последний день он, рыдая, просил прощения у жены и заочно у сына за разорение именья — главную вину, которую он за собой чувствовал. Причастившись и особоровавшись, он тихо умер, и на другой день толпа знакомых, приехавших отдать последний долг покойнику, наполняла наемную квартиру Ростовых. Все эти знакомые, столько раз обедавшие и танцевавшие у него, столько раз смеявшиеся над ним, теперь все с одинаковым чувством внутреннего упрека и умиления, как бы оправдываясь перед кем-то, говорили: «Да, там как бы то ни было, а прекраснейший был человек. Таких людей нынче уж не встретишь... А у кого ж нет своих слабостей?..»

Именно в то время, когда дела графа так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер.

Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностию суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения.

Родные и друзья советовали Николаю отказаться от наследства. Но Николай в отказе от наследства видел выражение укора священной для него памяти отца и потому не хотел слышать об отказе и принял наследство с обязательством уплаты долгов.

Кредиторы, так долго молчавшие, будучи связаны при жизни графа тем неопределенным, но могучим влиянием, которое имела на них его распущенная доброта, вдруг все подали ко взысканию. Явилось, как это всегда бывает, соревнование — кто прежде получит, — и те самые люди, которые, как Митенька и другие, имели безденежные векселя — подарки, явились теперь самыми требовательными кредиторами. Николаю не давали ни срока, ни отдыха, и те, которые, по-видимому, жалели старика, бывшего виновником их потери (если были потери), теперь безжалостно накинулись на очевидно невинного перед ними молодого наследника, добровольно взявшего на себя уплату.

Ни один из предполагаемых Николаем оборотов не удался; имение с молотка было продано за полцены, а половина долгов оставалась все-таки не уплаченною. Николай взял предложенные ему зятем Безуховым тридцать тысяч для уплаты той части долгов, которые он признавал за денежные, настоящие долги. А чтобы за оставшиеся долги не быть посаженным в яму, чем ему угрожали кредиторы, он снова поступил на Службу.

Ехать в армию, где он был на первой вакансии полкового командира, нельзя было потому, что мать теперь держалась за сына, как за последнюю приманку жизни; и потому, несмотря на нежелание оставаться в Москве в кругу людей, знавших его прежде, несмотря на свое отвращение к статской службе, он взял в Москве место по статской части и, сняв любимый им мундир, поселился с матерью и Соней на маленькой квартире, на Сивцевом Вражке.

Наташа и Пьер жили в это время в Петербурге, не имея ясного понятия о положении Николая. Николай, заняв у зятя деньги, старался скрыть от него свое бедственное положение. Положение Николая было особенно дурно потому, что своими тысячью двумястами рублями жалованья он не только должен был содержать себя, Соню и мать, но он должен был содержать мать так, чтобы она не замечала, что они бедны. Графиня не могла понять возможности жизни без привычных ей с детства условий роскоши и беспрестанно, не понимая того, как это трудно было для сына, требовала то экипажа, которого у них не было, чтобы послать за знакомой, то дорогого кушанья для себя и вина для сына, то денег, чтобы сделать подарок-сюрприз Наташе, Соне и тому же Николаю.

Соня вела домашнее хозяйство, ухаживала за теткой, читала ей вслух, переносила ее капризы и затаенное нерасположение и помогала Николаю скрывать от старой графини то положение нужды, в котором они находились. Николай чувствовал себя в неоплатном долгу благодарности перед Соней за все, что она делала для его матери, восхищался ее терпением и преданностью, но старался отдаляться от нее.

Он в душе своей как будто упрекал ее за то, что она была слишком совершенна, и за то, что не в чем было упрекать ее. В ней было все, за что ценят людей; но было мало того, что бы заставило его любить ее. И он чувствовал, что чем больше он ценит, тем меньше любит ее. Он поймал ее на слове, в ее письме, которым она давала ему свободу, и теперь держал себя с нею так, как будто все то, что было между ними, уже давным-давно забыто и ни в каком случае не может повториться.

Положение Николая становилось хуже и хуже. Мысль о том, чтобы откладывать из своего жалованья, оказалась мечтою. Он не только не откладывал, но, удовлетворяя требования матери, должал по мелочам. Выхода из его положения ему не представлялось никакого. Мысль о женитьбе на богатой наследнице, которую ему предлагали его родственницы, была ему противна. Другой выход из его положения — смерть матери — никогда не приходила ему в голову. Он ничего не желал, ни на что не надеялся; и в самой глубине души испытывал мрачное и строгое наслаждение в безропотном перенесении своего положения. Он старался избегать прежних

знакомых с их соболезнованием и предложениями оскорбительной помощи, избегал всякого рассеяния и развлечения, даже дома ничем не занимался, кроме раскладывания карт с своей матерью, молчаливыми прогулками по комнате и курением трубки за трубкой. Он как будто старательно соблюдал в себе то мрачное настроение духа, в котором одном он чувствовал себя в состоянии переносить свое положение.

VI

В начале зимы княжна Марья приехала в Москву. Из городских слухов она узнала о положении Ростовых и о том, как «сын жертвовал собой для матери», — так говорили в городе.

«Я и не ожидала от него другого», — говорила себе княжна Марья, чувствуя радостное подтверждение своей любви к нему. Вспоминая свои дружеские и почти родственные отношения ко всему семейству, она считала своей обязанностью ехать к ним. Но, вспоминая свои отношения к Николаю в Воронеже, она боялась этого. Сделав над собой большое усилие, она, однако, через несколько недель после своего приезда в город приехала к Ростовым.

Николай первый встретил ее, так как к графине можно было проходить только через его комнату. При первом взгляде на нее лицо Николая вместо выражения радости, которую ожидала увидать на нем княжна Марья, приняло невиданное прежде княжной выражение холодности, сухости и гордости. Николай спросил о ее здоровье, проводил к матери и, посидев минут пять, вышел из комнаты.

Когда княжна выходила от графини, Николай опять встретил ее и особенно торжественно и сухо проводил до передней. Он ни слова не ответил на ее замечание о здоровье графини. «Вам какое дело? Оставьте меня в покое», — говорил его взгляд.

— И что шляется? Чего ей нужно? Терпеть не могу этих барынь и все эти любезности! — сказал он вслух при Соне, видимо, не в силах удерживать свою досаду, после того как карета княжны отъехала от дома.

— Ах, как можно так говорить, Nicolas! — сказала Соня, едва скрывая свою радость. — Она такая добрая, и maman так любит ее.

Николай ничего не отвечал и хотел бы вовсе не говорить больше о княжне. Но со времени ее посещения старая графиня всякий день по нескольку раз заговаривала о ней.

Графиня хвалила ее, требовала, чтобы сын съездил к ней, выражала желание видеть ее почаще, но вместе с тем всегда становилась не в духе, когда она о ней говорила.

Николай старался молчать, когда мать говорила о княжне, но молчание его раздражало графиню.

— Она очень достойная и прекрасная девушка, — говорила она, — и тебе надо к ней съездить. Все-таки ты увидишь кого-нибудь; а то тебе скука, я думаю, с нами.

— Да я нисколько не желаю, маменька.

— То хотел видеть, а теперь не желаю. Я тебя, мой милый, право, не понимаю. То тебе скучно, то ты вдруг никого не хочешь видеть.

— Да я не говорил, что мне скучно.

— Как же, ты сам сказал, что ты и видеть ее не желаешь. Она очень достойная девушка и всегда тебе нравилась; а теперь вдруг какие-то резоны. Всё от меня скрывают.

— Да нисколько, маменька.

— Если б я тебя просила сделать что-нибудь неприятное, а то я тебя прошу съездить отдать визит. Кажется, и учтивость требует... Я тебя просила и теперь больше не вмешиваюсь, когда у тебя тайны от матери.

— Да я поеду, если вы хотите.

— Мне все равно; я для тебя желаю.

Николай вздыхал, кусая усы, и раскладывал карты, стараясь отвлечь внимание матери на другой предмет.

На другой, на третий и на четвертый день повторился тот же и тот же разговор.

После своего посещения Ростовых и того неожиданного, холодного приема, сделанного ей Николаем, княжна Марья призналась себе, что она была права, не желая ехать первая к Ростовым.

«Я ничего и не ожидала другого, — говорила она себе, призывая на помощь свою гордость. — Мне нет никакого дела до него, и я только хотела видеть старушку, которая была всегда добра ко мне и которой я многим обязана».

Но она не могла успокоиться этими рассуждениями; чувство, похожее на раскаяние, мучило ее, когда она вспоминала свое посещение. Несмотря на то, что она твердо решилась не ездить больше к Ростовым и забыть все это, она чувствовала себя беспрестанно в неопределенном положении. И когда она спрашивала себя, что же такое было то, что мучило ее, она должна была признаваться, что это были ее отношения к Ростову. Его холодный, учтивый тон не вытекал из его чувства к ней (она это знала), а тон этот прикрывал что-то. Это что-то ей надо было разъяснить; и до тех пор она чувствовала, что не могла быть покойна.

В середине зимы она сидела в классной, следя за уроками племянника, когда ей пришли доложить о приезде Ростова. С твердым решением не выдавать своей тайны и не выказать своего смущения она пригласила m-lle Bourienne и с ней вместе вышла в гостиную.

При первом взгляде на лицо Николая она увидала, что он приехал только для того, чтобы исполнить долг учтивости, и решилась твердо держаться в том самом тоне, в котором он обратится к ней.

Они заговорили о здоровье графини, об общих знакомых, о последних новостях войны, и когда прошли те требуемые приличием десять минут, после которых гость может встать, Николай поднялся, прощаясь.

Княжна с помощью m-lle Bourienne выдержала разговор очень хорошо; но в самую последнюю минуту, в то время как он поднялся, она так устала говорить о том, до чего ей не было дела, и мысль о том, за что ей одной так мало дано радостей в жизни, так заняла ее, что она в припадке рассеянности, устремив вперед себя свои лучистые глаза, сидела неподвижно, не замечая, что он поднялся.

Николай посмотрел на нее и, желая сделать вид, что он не замечает ее рассеянности, сказал несколько слов m-lle Bourienne и опять взглянул на княжну. Она

сидела так же неподвижно, и на нежном лице ее выражалось страдание. Ему вдруг стало жалко ее и смутно представилось, что, может быть, он был причиной той печали, которая выражалась на ее лице. Ему захотелось помочь ей, сказать ей что-нибудь приятное; но он не мог придумать, что бы сказать ей.

— Прощайте, княжна, — сказал он. Она опомнилась, вспыхнула и тяжело вздохнула.

— Ах, виновата, — сказала она, как бы проснувшись. — Вы уже едете, граф; ну, прощайте! А подушку графине?

— Постойте, я сейчас принесу ее, — сказала m-lle Bourienne и вышла из комнаты.

Оба молчали, изредка взглядывая друг на друга.

— Да, княжна, — сказал наконец Николай, грустно улыбаясь, — недавно кажется, а сколько воды утекло с тех пор, как мы с вами в первый раз виделись в Богучарове. Как мы все казались в несчастии, — а я бы дорого дал, чтобы воротить это время... да не воротишь.

Княжна пристально глядела ему в глаза своим лучистым взглядом, когда он говорил это. Она как будто старалась понять тот тайный смысл его слов, который бы объяснил ей его чувство к ней.

— Да, да, — сказала она, — но вам нечего жалеть прошедшего, граф. Как я понимаю вашу жизнь теперь, вы всегда с наслаждением будете вспоминать ее, потому что самоотвержение, которым вы живете теперь...

— Я не принимаю ваших похвал, — перебил он ее поспешно, — напротив, я беспрестанно себя упрекаю; но это совсем неинтересный и невеселый разговор.

И опять взгляд его принял прежнее сухое и холодное выражение. Но княжна уже увидала в нем опять того же человека, которого она знала и любила, и говорила теперь только с этим человеком.

— Я думала, что вы позволите мне сказать вам это, — сказала она. — Мы так сблизились с вами... и с вашим семейством, и я думала, что вы не почтете неуместным мое участие; но я ошиблась, — сказала она. Голос ее вдруг дрогнул. — Я не знаю почему, — продолжала она, оправившись, — вы прежде были другой и...

— Есть тысячи причин почему (он сделал особое ударение на слово почему). Благодарю вас, княжна, — сказал он тихо. — Иногда тяжело.

«Так вот отчего! Вот отчего! — говорил внутренний голос в душе княжны Марьи. — Нет, я не один этот веселый, добрый и открытый взгляд, не одну красивую внешность полюбила в нем; я угадала его благородную, твердую, самоотверженную душу, — говорила она себе. — Да, он теперь беден, а я богата... Да, только от этого... Да, если б этого не было...» И, вспоминая прежнюю его нежность и теперь глядя на его доброе и грустное лицо, она вдруг поняла причину его холодности.

— Почему же, граф, почему? — вдруг почти вскрикнула она невольно, подвигаясь к нему. — Почему, скажите мне? Вы должны сказать. — Он молчал. — Я не знаю, граф, вашего почему, — продолжала она. — Но мне тяжело, мне... Я признаюсь вам в этом. Вы за что-то хотите лишить меня прежней дружбы. И мне это больно. — У

нее слезы были в глазах и в голосе. — У меня так мало было счастия в жизни, что мне тяжела всякая потеря... Извините меня, прощайте. — Она вдруг заплакала и пошла из комнаты.

— Княжна! постойте, ради Бога, — вскрикнул он, стараясь остановить ее. — Княжна!

Она оглянулась. Несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу, и далекое, невозможное вдруг стало близким, возможным и неизбежным…

VII

Осенью 1814-го года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые Горы.

В три года он, не продавая именья жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру.

Еще через три года, к 1820-му году, Николай так устроил свои денежные дела, что прикупил небольшое именье подле Лысых Гор и вел переговоры о выкупе отцовского Отрадного, что составляло его любимую мечту.

Начав хозяйничать по необходимости, он скоро так пристрастился к хозяйству, что оно сделалось для него любимым и почти исключительным занятием. Николай был хозяин простой, не любил нововведений, в особенности английских, которые входили тогда в моду, смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве, не любил заводов, дорогих производств, посевов дорогих хлебов и вообще не занимался отдельно ни одной частью хозяйства. У него перед глазами всегда было только одно именье, а не какая-нибудь отдельная часть его. В именье же главным предметом был не азот и не кислород, находящиеся в почве и воздухе, не особенный плуг и назем, а то главное орудие, чрез посредство которого действует и азот, и кислород, и назем, и плуг — то есть работник-мужик. Когда Николай взялся за хозяйство и стал вникать в различные его части, мужик особенно привлек к себе его внимание; мужик представлялся ему не только орудием, но и целью и судьею. Он сначала всматривался в мужика, стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим, и только притворялся, что распоряжается и приказывает, в сущности же только учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно. И только тогда, когда понял вкусы и стремления мужика, научился говорить его речью и понимать тайный смысл его речи, когда почувствовал себя сроднившимся с ним, только тогда стал он смело управлять им, то есть исполнять по отношению к мужикам ту самую должность, исполнение которой от него требовалось. И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты.

Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения, назначал бурмистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками, если б они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись. Прежде чем исследовать химические свойства навоза, прежде чем вдаваться в дебет и кредит (как он любил насмешливо говорить), он узнавал количество скота у крестьян и увеличивал это количество всеми возможными средствами. Семьи крестьян он поддерживал в самых больших размерах, не

позволяя делиться. Ленивых, развратных и слабых он одинаково преследовал и старался изгонять из общества.

При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужицкими полями. И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля и так много дохода, как у Николая.

С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их дармоедами и, как все говорили, распустил и избаловал их; когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет дворового, в особенности когда надо было наказывать, он бывал в нерешительности и советовался со всеми в доме; только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворового, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков, он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его — он это знал — будет одобрено всеми против одного или нескольких.

Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека потому, что в этом состояло его личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не должно; но мерило это в душе его было твердо и непоколебимо.

Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: «С нашим русским народом», — и воображал себе, что он терпеть не может мужика.

Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие результаты.

Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным, чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счастлив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала, отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или уборку угрожающая туча уносилась ветром, он, красный, загорелый и в поту, с запахом полыни и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил: «Ну еще денек, и мое и крестьянское все будет в гумне».

Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнею готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему он, добрый Nicolas, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело. Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала.

Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько: никогда и в голову мне не приходит; и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, — все это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше состояние, пока я жив; вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость... Вот что!» — говорил он, сжимая свой сангвинический кулак. «И справедливость, разумеется, — прибавлял он, — потому что если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя, ни на меня не сработает».

И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-нибудь для других, для добродетели, — все, что он делал, было плодотворно: состояние его быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго после его смерти в народе хранилась набожная память об его управлении. «Хозяин был... Наперед мужицкое, а потом свое. Ну и потачки не давал. Одно слово — хозяин!»

VIII

Одно, что мучило Николая по отношению к его хозяйничанию, это была его вспыльчивость в соединении с старой гусарской привычкой давать волю рукам. В первое время он не видел в этом ничего предосудительного, но на второй год своей женитьбы его взгляд на такого рода расправы вдруг изменился.

Однажды летом из Богучарова был вызван староста, заменивший умершего Дрона, обвиняемый в разных мошенничествах и неисправностях, Николай вышел к нему на крыльцо, и с первых ответов старосты в сенях послышались крики и удары. Вернувшись к завтраку домой, Николай подошел к жене, сидевшей с низко опущенной над пяльцами головой, и стал рассказывать ей, по обыкновению, все то, что занимало его в это утро, и между прочим и про богучаровского старосту. Графиня Марья, краснея, бледнея и поджимая губы, сидела все так же, опустив голову, и ничего не отвечала на слова мужа.

— Эдакой наглый мерзавец, — говорил он, горячась при одном воспоминании. — Ну, сказал бы он мне, что был пьян, не видал... Да что с тобой, Мари? — вдруг спросил он.

Графиня Марья подняла голову, хотела что-то сказать, но опять поспешно потупилась и собрала губы.

— Что ты? что с тобой, дружок мой?..

Некрасивая графиня Марья всегда хорошела, когда плакала. Она никогда не плакала от боли или досады, но всегда от грусти и жалости. И когда она плакала, лучистые глаза ее приобретали неотразимую прелесть.

Как только Николай взял ее за руку, она не в силах была удержаться и заплакала.

— Nicolas, я видела... он виноват, но ты, зачем ты! Nicolas!... — И она закрыла лицо руками.

Николай замолчал, багрово покраснел и, отойдя от нее, молча стал ходить по комнате. Он понял, о чем она плакала; но вдруг он не мог в душе своей согласиться с ней, что то, с чем он сжился с детства, что он считал самым обыкновенным, — было дурно.

«Любезности это, бабьи сказки, или она права?» — спрашивал он сам себя. Не решив сам с собою этого вопроса, он еще раз взглянул на ее страдающее и любящее лицо и вдруг понял, что она была права, а он давно уже виноват сам перед собою.

— Мари, — сказал он тихо, подойдя к ней, — этого больше не будет никогда: даю тебе слово. Никогда, — повторил он дрогнувшим голосом, как мальчик, который просит прощения.

Слезы еще чаще полились из глаз графини. Она взяла руку мужа и поцеловала ее.

— Nicolas, когда ты разбил камэ? — чтобы переменить разговор, сказала она, разглядывая его руку, на которой был перстень с головой Лаокоона.

— Нынче; все то же. Ах, Мари, не напоминай мне об этом. — Он опять вспыхнул. — Даю тебе честное слово, что этого больше не будет. И пусть это будет мне память навсегда, — сказал он, указывая на разбитый перстень.

С тех пор, как только при объяснениях со старостами и приказчиками кровь бросалась ему в лицо и руки начинали сжиматься в кулаки Николай вертел разбитый перстень на пальце и опускал глаза перед человеком, рассердившим его. Однако же раза два в год он забывался и тогда, придя к жене, признавался и опять давал обещание, что уже теперь это было последний раз.

— Мари, ты, верно, меня презираешь? — говорил он ей. — Я сто́ю этого.

— Ты уйди, уйди поскорее, ежели чувствуешь себя не в силах удержаться, — с грустью говорила графиня Марья, стараясь утешить мужа.

В дворянском обществе губернии Николай был уважаем, но не любим. Дворянские интересы не занимали его. И за это-то одни считали его гордым, другие — глупым человеком. Все время его летом, с весеннего посева и до уборки, проходило в занятиях по хозяйству. Осенью он с тою же деловою серьезностию, с которою занимался хозяйством, предавался охоте, уходя на месяц и на два в отъезд с своей охотой. Зимой он ездил по другим деревням и занимался чтением. Чтение его составляли книги преимущественно исторические, выписывавшиеся им ежегодно на известную сумму. Он составлял себе, как говорил, серьезную библиотеку и за правило поставлял прочитывать все те книги, которые он покупал. Он с значительным видом сиживал в кабинете за этим чтением, сперва возложенным на себя как обязанность, а потом сделавшимся привычным занятием, доставлявшим ему особого рода удовольствие и сознание того, что он занят серьезным делом. За исключением поездок по делам, большую часть времени зимой он проводил дома, сживаясь с семьей и входя в мелкие отношения между матерью и детьми. С женой он сходился все ближе и ближе, с каждым днем открывая в ней новые душевные сокровища.

Соня со времени женитьбы Николая жила в его доме. Еще перед своей женитьбой Николай, обвиняя себя и хваля ее, рассказал своей невесте все, что было

между ним и Соней. Он просил княжну Марью быть ласковой и доброй с его кузиной. Графиня Марья чувствовала вполне вину своего мужа; чувствовала и свою вину перед Соней; думала, что ее состояние имело влияние на выбор Николая, не могла ни в чем упрекнуть Соню, желала любить ее; но не только не любила, а часто находила против нее в своей душе злые чувства и не могла преодолеть их.

Однажды она разговорилась с другом своим Наташей о Соне и о своей к ней несправедливости.

— Знаешь что, — сказала Наташа, — вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.

— Что? — с удивлением спросила графиня Марья.

— «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма, — я знаю, но у нее отнимется, и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет, знаешь, как на клубнике? Иногда мне ее жалко, а иногда я думаю, что она не чувствует этого, как чувствовали бы мы.

И несмотря на то, что графиня Марья толковала Наташе, что эти слова Евангелия надо понимать иначе, — глядя на Соню, она соглашалась с объяснением, данным Наташей. Действительно, казалось, что Соня не тяготится своим положением и совершенно примирилась с своим назначением пустоцвета. Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей. Она, как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна; но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностию...

Усадьба Лысых Гор была вновь отстроена, но уже не на ту ногу, на которой она была при покойном князе.

Постройки, начатые во времена нужды, были более чем просты. Огромный дом, на старом каменном фундаменте, был деревянный, оштукатуренный только снутри. Большой поместительный дом с некрашеным дощатым полом был меблирован самыми простыми жесткими диванами и креслами, столами и стульями из своих берез и работы своих столяров. Дом был поместителен, с комнатами для дворни и отделениями для приезжих. Родные Ростовых и Болконских иногда съезжались гостить в Лысые Горы семьями, на своих шестнадцати лошадях, с десятками слуг, и жили месяцами. Кроме того, четыре раза в год, в именины и рожденья хозяев, съезжалось до ста человек гостей на один-два дня. Остальное время года шла ненарушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами из домашней провизии.

IX

Был канун зимнего Николина дня, 5-е декабря 1820 года. В этот год Наташа с детьми и мужем с начала осени гостила у брата, Пьер был в Петербурге, куда он поехал по своим особенным делам, как он говорил, на три недели, и где он теперь проживал уже седьмую. Его ждали каждую минуту.

5-го декабря, кроме семейства Безуховых, у Ростовых гостил еще старый друг Николая, отставной генерал Василий Федорович Денисов.

6-го числа, в день торжества, в который съедутся гости, Николай знал, что ему придется снять бешмет, надеть сюртук и с узкими носками узкие сапоги и ехать в новую построенную им церковь, а потом принимать поздравления и предлагать закуски и говорить о дворянских выборах и урожае; но канун дня он еще считал себя вправе провести обычно. До обеда Николай проверил счеты бурмистра из рязанской деревни, по именью племянника жены, написал два письма по делам и прошелся на гумно, скотный и конный дворы. Приняв меры против ожидаемого на завтра общего пьянства по случаю престольного праздника, он пришел к обеду и, не успев с глазу на глаз переговорить с женою, сел за длинный стол в двадцать приборов, за который собрались все домашние. За столом были мать, жившая при ней старушка Белова, жена, трое детей, гувернантка, гувернер, племянник с своим гувернером, Соня, Денисов, Наташа, ее трое детей, их гувернантка и старичок Михаил Иваныч, архитектор князя, живший в Лысых Горах на покое.

Графиня Марья сидела на противоположном конце стола. Как только муж сел на свое место, по тому жесту, с которым он, сняв салфетку, быстро передвинул стоявшие перед ним стакан и рюмку, графиня Марья решила, что он не в духе, как это иногда с ним бывает, в особенности перед супом и когда он прямо с хозяйства придет к обеду. Графиня Марья знала очень хорошо это его настроение, и, когда она сама была в хорошем расположении, она спокойно ожидала, пока он поест супу, и тогда уже начинала говорить с ним и заставляла его признаваться, что он без причины был не в духе; но нынче она совершенно забыла это свое наблюдение; ей стало больно, что он без причины на нее сердится, и она почувствовала себя несчастной. Она спросила его, где он был. Он отвечал. Она еще спросила, все ли в порядке по хозяйству. Он неприятно поморщился от ее ненатурального тона и поспешно ответил.

«Так я не ошибалась, — подумала графиня Марья, — и за что он на меня сердится?» В тоне, которым он отвечал ей, графиня Марья слышала недоброжелательство к себе и желание прекратить разговор. Она чувствовала, что ее слова были неестественны; но она не могла удержаться, чтобы не сделать еще несколько вопросов.

Разговор за обедом благодаря Денисову скоро сделался общим и оживленным, и графиня Марья не говорила с мужем. Когда вышли из-за стола и пришли благодарить старую графиню, графиня Марья поцеловала, подставляя свою руку, мужа и спросила, за что он на нее сердится.

— У тебя всегда странные мысли; и не думал сердиться, — сказал он.

Но слово всегда отвечало графине Марье: да, сержусь и не хочу сказать.

Николай жил с своей женой так хорошо, что даже Соня и старая графиня, желавшие из ревности несогласия между ними, не могли найти предлога для упрека; но и между ними бывали минуты враждебности. Иногда, именно после самых счастливых периодов, на них находило вдруг чувство отчужденности и враждебности; это чувство являлось чаще всего во времена беременности графини Марьи. Теперь она находилась в этом периоде.

— Ну, messieurs et mesdames[1], — сказал Николай громко и как бы весело (графине Марье казалось, что это нарочно, чтобы ее оскорбить), — я с шести часов на ногах. Завтра уж надо страдать, а нынче пойти отдохнуть. — И, не сказав больше ничего графине Марье, он ушел в маленькую диванную и лег на диван.

«Вот это всегда так, — думала графиня Марья. — Со всеми говорит, только не со мною. Вижу, вижу, что я ему противна. Особенно в этом положении». Она посмотрела на свой высокий живот и в зеркало на свое желто-бледное, исхудавшее лицо с более, чем когда-нибудь, большими глазами. И все ей стало неприятно: и крик и хохот Денисова, и разговор Наташи, и в особенности тот взгляд, который на нее поспешно бросила Соня.

Соня всегда была первым предлогом, который избирала графиня Марья для своего раздражения.

Посидев с гостями и не понимая ничего из того, что они говорили, она потихоньку вышла и пошла в детскую.

Дети на стульях ехали в Москву и пригласили ее с собою. Она села, поиграла с ними, но мысль о муже и о беспричинной досаде его не переставая мучила ее. Она встала и пошла, с трудом ступая на цыпочки, в маленькую диванную.

«Может, он не спит; я объяснюсь с ним», — сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Марья не заметила его.

— Chère Marie, il dort, je crois; il est si fatigué[2], — сказала (как казалось графине Марье, везде ей встречавшаяся) Соня в большой диванной. — Андрюша не разбудил бы его.

Графиня Марья оглянулась, увидала за собой Андрюшу, почувствовала, что Соня права, и именно от этого вспыхнула и, видимо, с трудом удерживалась от жесткого слова. Она ничего не сказала и, чтобы не послушаться ее, сделала знак рукой, чтобы Андрюша не шумел, а все-таки шел за ней, и подошла к двери. Соня прошла в другую дверь. Из комнаты, в которой спал Николай, слышалось его ровное, знакомое жене до малейших оттенков дыхание. Она, слыша это дыхание, видела перед собой его гладкий красивый лоб, усы, все лицо, на которое она так часто подолгу глядела, когда он спал, в тишине ночи. Николай вдруг пошевелился и крякнул. И в то же мгновение Андрюша из-за двери закричал:

— Папенька, маменька тут стоит.

Графиня Марья побледнела от испуга и стала делать знаки сыну. Он замолк, и с минуту продолжалось страшное для графини Марьи молчание. Она знала, как не любил Николай, чтобы его будили. Вдруг за дверью послышалось новое кряхтение, движение, и недовольный голос Николая сказал:

— Ни минуты не дадут покоя. Мари, ты? Зачем ты привела его сюда?

— Я подошла только посмотреть, я не видала... извини...

Николай прокашлялся и замолк. Графиня Марья отошла от двери и проводила сына в детскую. Через пять минут маленькая черноглазая трехлетняя Наташа,

[1] Дамы и господа

[2] Мари, он спит, кажется; он устал

любимица отца, узнав от брата, что папенька спит в маленькой диванной, не замеченная матерью, побежала к отцу. Черноглазая девочка смело скрыпнула дверью, подошла энергическими шажками тупых ножек к дивану и, рассмотрев положение отца, спавшего к ней спиною, поднялась на цыпочки и поцеловала лежавшую под головой руку отца. Николай обернулся с умиленной улыбкой на лице.

— Наташа, Наташа! — слышался из двери испуганный шепот графини Марьи, — папенька спать хочет.

— Нет, мама, он не хочет спать, — с убедительностью отвечала маленькая Наташа, — он смеется.

Николай спустил ноги, поднялся и взял на руки дочь.

— Взойди, Маша, — сказал он жене. Графиня Марья вошла в комнату и села подле мужа.

— Я и не видала, как он за мной прибежал, — робко сказала она. — Я так...

Николай, держа одной рукой дочь, поглядел на жену и, заметив виноватое выражение ее лица, другой рукой обнял ее и поцеловал в волоса.

— Можно целовать мамá? — спросил он у Наташи.

Наташа застенчиво улыбнулась.

— Опять, — сказала она, с повелительным жестом указывая на то место, куда Николай поцеловал жену.

— Я не знаю, отчего ты думаешь, что я не в духе, — сказал Николай, отвечая на вопрос, который, он знал, был в душе его жены.

— Ты не можешь себе представить, как я бываю несчастна, одинока, когда ты такой. Мне все кажется...

— Мари, полно, глупости. Как тебе не совестно, — сказал он весело.

— Мне кажется, что ты не можешь любить меня, что я так дурна... и всегда... а теперь... в этом по...

— Ах, какая ты смешная! Не по хорошу мил, а по милу хорош. Это только Malvina и других любят за то, что они красивы; а жену разве я люблю? Я не люблю, а так, не знаю, как тебе сказать. Без тебя и когда вот так у нас какая-то кошка пробежит, я как будто пропал и ничего не могу. Ну что, я люблю палец свой? Я не люблю, а попробуй, отрежь его...

— Нет, я не так, но я понимаю. Так ты на меня не сердишься?

— Ужасно сержусь, — сказал он, улыбаясь, и, встав и оправив волосы, стал ходить по комнате.

— Ты знаешь, Мари, о чем я думал? — начал он, теперь, когда примирение было сделано, тотчас же начиная думать вслух при жене. Он не спрашивал о том, готова ли она слушать его; ему все равно было. Мысль пришла ему, стало быть, и ей. И он рассказал ей свое намерение уговорить Пьера остаться с ними до весны.

Графиня Марья выслушала его, сделала замечания и начала в свою очередь думать вслух свои мысли. Ее мысли были о детях.

— Как женщина видна уже теперь, — сказала она по-французски, указывая на Наташу. — Вы нас, женщин, упрекаете в нелогичности. Вот она — наша логика. Я говорю: папа хочет спать, а она говорит: нет, он смеется. И она права, — сказала графиня Марья, счастливо улыбаясь.

— Да, да! — И Николай, взяв на свою сильную руку дочь, высоко поднял ее, посадил на плечо, перехватив за ножки, и стал с ней ходить по комнате. У отца и у дочери были одинаково бессмысленно-счастливые лица.

— А знаешь, ты, может быть, несправедлив. Ты слишком любишь эту, — шепотом по-французски сказала графиня Марья.

— Да, но что ж делать?... Я стараюсь не показать...

В это время в сенях и передней послышались звуки блока и шагов, похожих на звуки приезда.

— Кто-то приехал.

— Я уверена, что Пьер. Я пойду узнаю, — сказала графиня Марья и вышла из комнаты.

В ее отсутствие Николай позволил себе галопом прокатить дочь вокруг комнаты. Запыхавшись, он быстро скинул смеющуюся девочку и прижал ее к груди. Его прыжки напомнили ему танцы, и он, глядя на детское круглое счастливое личико, думал о том, какою она будет, когда он начнет вывозить ее старичком и, как, бывало, покойник отец танцовывал с дочерью Данилу Купора, пройдется с нею мазурку.

— Он, он, Nicolas, — сказала через несколько минут графиня Марья, возвращаясь в комнату. — Теперь ожила наша Наташа. Надо было видеть ее восторг и как ему досталось сейчас же за то, что он просрочил. — Ну, пойдем скорее, пойдем! Расстаньтесь же наконец, — сказала она, улыбаясь, глядя на девочку, жавшуюся к отцу. Николай вышел, держа дочь за руку.

Графиня Марья осталась в диванной.

— Никогда, никогда не поверила бы, — прошептала она сама с собой, — что можно быть так счастливой. — Лицо ее просияло улыбкой; но в то же самое время она вздохнула, и тихая грусть выразилась в ее глубоком взгляде. Как будто, кроме того счастья, которое она испытывала, было другое, недостижимое в этой жизни счастье, о котором она невольно вспомнила в эту минуту.

X

Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней в 1820 году было уже три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую, подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка. Очень редко зажигался в ней теперь прежний огонь. Это бывало только тогда, когда, как теперь, возвращался муж, когда выздоравливал ребенок или когда она с графиней Марьей вспоминала о князе Андрее (с мужем она, предполагая, что он ревнует ее к памяти князя Андрея, никогда не говорила о нем), и очень редко, когда что-нибудь случайно вовлекало ее в пение, которое она совершенно оставила после замужества. И в те редкие минуты, когда прежний огонь зажигался в ее развившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде.

Со времени своего замужества Наташа жила с мужем в Москве, в Петербурге, и в подмосковной деревне, и у матери, то есть у Николая. В обществе молодую графиню Безухову видели мало, и те, которые видели, остались ею недовольны. Она не была ни мила, ни любезна. Наташа не то что любила уединение (она не знала, любила ли она или нет; ей даже казалось, что нет), но она, нося, рожая, кормя детей и принимая участие в каждой минуте жизни мужа, не могла удовлетворить этим потребностям иначе, как отказавшись от света. Все, знавшие Наташу до замужества, удивлялись происшедшей в ней перемене, как чему-то необыкновенному. Одна старая графиня, материнским чутьем понявшая, что все порывы Наташи имели началом только потребность иметь семью, иметь мужа, как она, не столько шутя, сколько взаправду, кричала в Отрадном. Мать удивлялась удивлению людей, не понимавших Наташи, и повторяла, что она всегда знала, что Наташа будет примерной женой и матерью.

— Она только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, — говорила графиня, — так что это даже глупо.

Наташа не следовала тому золотому правилу, проповедуемому умными людьми, в особенности французами, и состоящему в том, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться, не должна бросать свои таланты, должна еще более, чем в девушках, заниматься своей внешностью, должна прельщать мужа так же, как она прежде прельщала не мужа. Наташа, напротив, бросила сразу все свои очарованья, из которых у ней было одно необычайно сильное — пение. Она оттого и бросила его, что это было сильное очарованье. Она, то что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в самых выгодных позах, ни о своем туалете, ни о том, чтобы не стеснять мужа своей требовательностью. Она делала все противное этим правилам. Она чувствовала, что те очарования, которые инстинкт ее научал употреблять прежде, теперь только были бы смешны в глазах ее мужа, которому она с первой минуты отдалась вся — то есть всей душой, не оставив ни одного уголка не открытым для него. Она чувствовала, что связь ее с мужем держалась не теми поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с ее телом.

Взбивать локоны, надевать роброны и петь романсы, для того чтобы привлечь к себе своего мужа, показалось бы ей так же странным, как украшать себя для того, чтобы быть самой собою довольной. Украшать же себя для того, чтобы нравиться другим, — может быть, теперь это и было бы приятно ей, — она не знала, — но было совершенно некогда. Главная же причина, по которой она не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов, состояла в том, что ей было совершенно некогда заниматься этим.

Известно, что человек имеет способность погрузиться весь в один предмет, какой бы он ни казался ничтожный. И известно, что нет такого ничтожного предмета, который бы при сосредоточенном внимании, обращенном на него, не разросся до бесконечности.

Предмет, в который погрузилась вполне Наташа, — была семья, то есть муж, которого надо было держать так, чтобы он нераздельно принадлежал ей, дому, — и дети, которых надо было носить, рожать, кормить, воспитывать.

И чем больше она вникала, не умом, а всей душой, всем существом своим в занимавший ее предмет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, и тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их все сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала сделать всего того, что ей казалось нужно.

Толки и рассуждения о правах женщин, об отношениях супругов, о свободе и правах их, хотя и не назывались еще, как теперь, вопросами, были тогда точно такие же, как и теперь; но эти вопросы не только не интересовали Наташу, но она решительно не понимала их.

Вопросы эти и тогда, как и теперь, существовали только для тех людей, которые в браке видят одно удовольствие, получаемое супругами друг от друга, то есть одно начало брака, а не все его значение, состоящее в семье.

Рассуждения эти и теперешние вопросы, подобные вопросам о том, каким образом получить как можно более удовольствия от обеда, тогда, как и теперь, не существуют для людей, для которых цель обеда есть питание и цель супружества — семья.

Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест вдруг два обеда, достигнет, может быть, большего удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком.

Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь семьи.

Весь вопрос, ежели цель обеда есть питание, а цель брака — семья, разрешается только тем, чтобы не есть больше того, что может переварить желудок, и не иметь больше жен и мужей, чем столько, сколько нужно для семьи, то есть одной и одного. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она не только не видела надобности, но, так как все силы душевные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и семье, она и не могла себе представить и не видела никакого интереса в представлении о том, что бы было, если б было другое.

Наташа не любила общества вообще, но она тем более дорожила обществом родных — графини Марьи, брата, матери и Сони. Она дорожила обществом тех людей, к которым она, растрепанная, в халате, могла выйти большими шагами из детской с радостным лицом и показать пеленку с желтым вместо зеленого пятна, и выслушать утешения о том, что теперь ребенку гораздо лучше.

Наташа до такой степени опустилась, что ее костюмы, ее прическа, ее невпопад сказанные слова, ее ревность — она ревновала к Соне, к гувернантке, ко всякой красивой и некрасивой женщине — были обычным предметом шуток всех ее близких. Общее мнение было то, что Пьер был под башмаком своей жены, и действительно это было так. С самых первых дней их супружества Наташа заявила свои требования. Пьер удивился очень этому совершенно новому для него воззрению жены, состоящему в том, что каждая минута его жизни принадлежит ей и семье; Пьер удивился требованиям своей жены, но был польщен ими и подчинился им.

Подвластность Пьера заключалась в том, что он не смел не только ухаживать, но не смел с улыбкой говорить с другой женщиной, не смел ездить в клубы на обеды так, для того чтобы провести время, не смел расходовать деньги для прихоти, не смел уезжать на долгие сроки, исключая как по делам, в число которых жена включала и его занятия науками, в которых она ничего не понимала, но которым она приписывала большую важность. Взамен этого Пьер имел полное право у себя в доме располагать не только самим собой, как он хотел, но и всей семьею. Наташа у себя в доме ставила себя на ногу рабы мужа; и весь дом ходил на цыпочках, когда Пьер занимался — читал или писал в своем кабинете. Стоило Пьеру показать какое-нибудь пристрастие, чтобы то, что он любил, постоянно исполнялось. Стоило ему выразить желание, чтобы Наташа вскакивала и бежала исполнять его.

Весь дом руководился только мнимыми повелениями мужа, то есть пожеланиями Пьера, которые Наташа старалась угадывать. Образ, место жизни, знакомства, связи, занятия Наташи, воспитание детей — не только все делалось по выраженной воле Пьера, но Наташа стремилась угадать то, что могло вытекать из высказанных в разговорах мыслей Пьера. И она верно угадывала то, в чем состояла сущность желаний Пьера, и, раз угадав ее, она уже твердо держалась раз избранного. Когда Пьер сам уже хотел изменить своему желанию, она боролась против него его же оружием.

Так, в тяжелое время, навсегда памятное Пьеру, Наташа, после родов первого слабого ребенка, когда им пришлось переменить трех кормилиц и Наташа заболела от отчаяния, Пьер однажды сообщил ей мысли Руссо, с которыми он был совершенно согласен, о неестественности и вреде кормилиц. Следующим ребенком, несмотря на противудействие матери, докторов и самого мужа, восставших против ее кормления, как против вещи тогда неслыханной и вредной, она настояла на своем и с тех пор всех детей кормила сама.

Весьма часто, в минуты раздражения, случалось, что муж с женой спорили подолгу, потом после спора Пьер, к радости и удивлению своему, находил не только в словах, но и в действиях жены свою ту самую мысль, против которой она спорила. И не только он находил ту же мысль, но он находил ее очищенною от всего того, что было лишнего, вызванного увлечением и спором, в выражении мысли Пьера.

После семи лет супружества Пьер чувствовал радостное, твердое сознание того, что он не дурной человек, и чувствовал он это потому, что он видел себя отраженным в своей жене. В себе он чувствовал все хорошее и дурное смешанным и затемнявшим одно другое. Но на жене его отражалось только то, что было истинно хорошо: все не совсем хорошее было откинуто. И отражение это произошло не путем логической мысли, а другим — таинственным, непосредственным отражением.

XI

Два месяца тому назад Пьер, уже гостя у Ростовых, получил письмо от князя Федора, призывавшего его в Петербург для обсуждения важных вопросов, занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из главных основателей.

Прочтя это письмо, Наташа, как она читала все письма мужа, несмотря на всю тяжесть для нее отсутствия мужа, сама предложила ему ехать в Петербург. Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа. На робкий, вопросительный взгляд Пьера после прочтения письма она отвечала просьбой, чтобы он ехал, но только определил бы ей верно время возвращения. И отпуск был дан на четыре недели.

С того времени, как вышел срок отпуска Пьера, две недели тому назад, Наташа находилась в непереставшем состоянии страха, грусти и раздражения.

Денисов, отставной, недовольный настоящим положением дел генерал, приехавший в эти последние две недели, с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то любимого человека, смотрел на Наташу. Унылый, скучающий взгляд, невпопад ответы и разговоры о детской было все, что он видел и слышал от прежней волшебницы.

Наташа была все это время грустна и раздражена, в особенности тогда, когда, утешая ее, мать, брат или графиня Марья старались извинить Пьера и придумать причины его замедления.

— Все глупости, все пустяки, — говорила Наташа, — все его размышления, которые ни к чему не ведут, и все эти дурацкие общества, — говорила она о тех самых делах, в великую важность которых она твердо верила. И она уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю.

Никто ничего не мог ей сказать столько успокоивающего, разумного, сколько это маленькое трехмесячное существо, когда оно лежало у ее груди и она чувствовала его движение рта и сопенье носиком. Существо это говорило: «Ты сердишься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отмстить, ты боишься, а я вот он. А я вот он...» И отвечать нечего было. Это было больше, чем правда.

Наташа в эти две недели беспокойства так часто прибегала к ребенку за успокоением, так возилась над ним, что она перекормила его и он заболел. Она ужасалась его болезни, а вместе с тем этого-то ей и нужно было. Ухаживая за ним, она легче переносила беспокойство о муже.

Она кормила, когда зашумел у подъезда возок Пьера, и няня, знавшая, чем обрадовать барыню, неслышно, но быстро, с сияющим лицом, вошла в дверь.

— Приехал? — быстрым шепотом спросила Наташа, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить засыпавшего ребенка.

— Приехали, матушка, — прошептала няня.

Кровь бросилась в лицо Наташи, и ноги невольно сделали движение; но вскочить и бежать было нельзя. Ребенок опять открыл глазки, взглянул. «Ты тут», — как будто сказал он и опять лениво зачмокал губами.

Потихоньку отняв грудь, Наташа покачала его, передала няне и пошла быстрыми шагами в дверь. Но у двери она остановилась, как бы почувствовав упрек совести за то, что, обрадовавшись, слишком скоро оставила ребенка, и оглянулась. Няня, подняв локти, переносила ребенка за перильца кроватки.

— Да уж идите, идите, матушка, будьте покойны, идите, — улыбаясь, прошептала няня, с фамильярностью, устанавливающейся между няней и барыней.

И Наташа легкими шагами побежала в переднюю.

Денисов, с трубкой, вышедший в залу из кабинета, тут в первый раз узнал Наташу. Яркий, блестящий, радостный свет лился потоками из ее преобразившегося лица.

— Приехал! — проговорила она ему на бегу, и Денисов почувствовал, что он был в восторге от того, что приехал Пьер, которого он очень мало любил. Вбежав в переднюю, Наташа увидала высокую фигуру в шубе, разматывающую шарф.

«Он! он! Правда! Вот он, — проговорила она сама с собой, и налетев на него, обняла, прижала к себе, головой к груди, и потом, отстранив, взглянула на заиндевевшее, румяное и счастливое лицо Пьера. — Да, это он; счастливый, довольный...»

И вдруг она вспомнила все те муки ожидания, которые она перечувствовала в последние две недели: сияющая на ее лице радость скрылась; она нахмурилась, и поток упреков и злых слов излился на Пьера.

— Да, тебе хорошо! Ты очень рад, ты веселился... А каково мне? Хоть бы ты детей пожалел. Я кормлю, у меня молоко испортилось. Петя был при смерти. А тебе очень весело. Да, тебе весело.

Пьер знал, что он не виноват, потому что ему нельзя было приехать раньше; знал, что этот взрыв с ее стороны неприличен, и знал, что через две минуты это пройдет; он знал, главное, что ему самому было весело и радостно. Он бы хотел улыбнуться, но и не посмел подумать об этом. Он сделал жалкое, испуганное лицо и согнулся.

— Я не мог, ей-богу! Ну что Петя?

— Теперь ничего, пойдем. Как тебе не совестно! Кабы ты мог видеть, какая я без тебя, как я мучилась...

— Ты здорова?

— Пойдем, пойдем, — говорила она, не выпуская его руки. И они пошли в свои комнаты.

Когда Николай с женою пришли отыскивать Пьера, он был в детской и держал на своей огромной правой ладони проснувшегося грудного сына и тетёшкал его. На широком лице его с раскрытым беззубым ртом остановилась веселая улыбка. Буря уже давно вылилась, и яркое, радостное солнце сияло на лице Наташи, умиленно смотревшей на мужа и сына.

— И хорошо всё переговорили с князем Федором? — говорила Наташа.

— Да, отлично.

— Видишь, держит (голову, разумела Наташа). Ну, как он меня напугал!

— А княгиню видел? правда, что она влюблена в этого?..

— Да, можешь себе представить...

В это время вошли Николай с графиней Марьей, Пьер, не спуская с рук сына, нагнувшись, поцеловался с ними и отвечал на расспросы. Но, очевидно, несмотря на многое интересное, что нужно было переговорить, ребенок в колпачке, с качающейся головой, поглощал все внимание Пьера.

— Как мил! — сказала графиня Марья, глядя на ребенка и играя с ним. — Вот этого я не понимаю, Nicolas, — обратилась она к мужу, — как ты не понимаешь прелесть этих чудо прелестей.

— Не понимаю, не могу, — сказал Николай, холодным взглядом глядя на ребенка. — Кусок мяса. Пойдем, Пьер.

— Ведь главное, он такой нежный отец, — сказала графиня Марья, оправдывая своего мужа, — но только, когда уже год или этак...

— Нет, Пьер отлично их нянчит, — сказала Наташа, — он говорит, что у него рука как раз сделана по задку ребенка. Посмотрите.

— Ну, только не для этого, — вдруг, смеясь сказал Пьер, перехватывая ребенка и передавая его няне.

XII

Как в каждой настоящей семье, в лысогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые, каждый удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое. Каждое событие, случавшееся в доме, было одинаково — радостно или печально — важно для всех этих миров; но каждый мир имел совершенно свои, независимые от других, причины радоваться или печалиться какому-либо событию.

Так приезд Пьера было радостное, важное событие, и таким оно отразилось на всех.

Слуги, вернейшие судьи господ, потому что они судят не по разговорам и выраженным чувствам, а по действиям и образу жизни, — были рады приезду Пьера, потому что при нем, они знали, граф перестанет ходить ежедневно по хозяйству и будет веселее и добрее и еще потому, что всем будут богатые подарки к празднику.

Дети и гувернантки радовались приезду Безухова, потому что никто так не вовлекал их в общую жизнь, как Пьер. Он один умел на клавикордах играть тот экосез (единственная его пьеса), под который можно танцевать, как он говорил, всевозможные танцы, и он привез, наверное, всем подарки.

Николенька, который был теперь пятнадцатилетний худой, с вьющимися русыми волосами и прекрасными глазами, болезненный, умный мальчик, радовался потому, что дядя Пьер, как он называл его, был предметом его восхищения и страстной любви. Никто не внушал Николеньке особенной любви к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспитательница его, графиня Марья, все силы употребляла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа так же, как она его любила, и Николенька любил дядю; но любил с чуть заметным оттенком презрения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя Николай, он хотел быть ученым, умным и добрым, как Пьер. В присутствии Пьера на его лице было всегда радостное сияние, и он краснел и задыхался, когда Пьер обращался к нему. Он не проранивал ни одного слова из того, что говорил Пьер и потом с Десалем и сам с собою вспоминал и соображал значение каждого слова Пьера. Прошедшая жизнь Пьера, его несчастия до 12-го года (о которых он из

слышанных слов составил себе смутное поэтическое представление), его приключения в Москве, плен, Платон Каратаев (о котором он слыхал от Пьера), его любовь к Наташе (которую тоже особенною любовью любил мальчик) и, главное, его дружба к отцу, которого не помнил Николенька, — все это делало для него из Пьера героя и святыню.

Из прорывавшихся речей об его отце и Наташе, из того волнения, с которым говорил Пьер о покойном, из той осторожной, благоговейной нежности, с которой Наташа говорила о нем же, мальчик, только что начинавший догадываться о любви, составил себе понятие о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу. Отец же этот, которого не помнил мальчик, представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга. И мальчик был счастлив вследствие приезда Пьера.

Гости были рады Пьеру, как человеку, всегда оживлявшему и сплочавшему всякое общество.

Взрослые домашние, не говоря о жене, были рады другу, при котором жилось легче и спокойнее.

Старушки были рады и подаркам, которые он привезет, и, главное, тому, что опять оживет Наташа.

Пьер чувствовал эти различные на себя воззрения различных миров и спешил каждому дать ожидаемое.

Пьер, самый рассеянный, забывчивый человек, теперь, по списку, составленному женой, купил все, не забыв ни комиссий матери и брата, ни подарков на платье Беловой, ни игрушек племянникам. Ему странно показалось в первое время своей женитьбы это требование жены — исполнить и не забыть всего того, что он взялся купить, и поразило серьезное огорчение ее, когда он в первую свою поездку все перезабыл. Но впоследствии он привык к этому. Зная, что Наташа для себя ничего не поручала, а для других поручала только тогда, когда он сам вызывался, он теперь находил неожиданное для самого себя детское удовольствие в этих покупках подарков для всего дома и ничего никогда не забывал. Ежели он заслуживал упреки от Наташи, то только за то, что покупал лишнее и слишком дорого. Ко всем своим недостаткам, по мнению большинства: неряшливости, опущенности, или качествам, по мнению Пьера, Наташа присоединяла еще и скупость.

С того самого времени, как Пьер стал жить большим домом, семьей, требующей больших расходов, он, к удивлению своему, заметил, что он проживал вдвое меньше, чем прежде, и что его расстроенные последнее время, в особенности долгами первой жены, дела стали поправляться.

Жить было дешевле потому, что жизнь была связана: той самой дорогой роскоши, состоящей в таком роде жизни, что всякую минуту можно изменить его, Пьер не имел уже, да и не желал иметь более. Он чувствовал, что образ жизни его определен теперь раз навсегда, до смерти, что изменить его не в его власти, и потому этот образ жизни был дешев.

Пьер с веселым, улыбающимся лицом разбирал свои покупки.

— Каково! — говорил он, развертывая, как лавочник, кусок ситца. Наташа, держа на коленях старшую дочь и быстро переводя сияющие глаза с мужа на то, что он показывал, сидела против него.

— Это для Беловой? Отлично. — Она пощупала добро́ту.

— Это по рублю, верно?

Пьер сказал цену.

— Дорого, — сказала Наташа. — Ну, как дети рады будут и maman. Только напрасно ты мне это купил, — прибавила она, не в силах удержать улыбку, любуясь на золотой с жемчугами гребень, которые тогда только стали входить в моду.

— Меня Адель сбила: купить да купить, — сказал Пьер.

— Когда же я надену? — Наташа вложила его в косу. — Это Машеньку вывозить: может, тогда опять будут носить. Ну, пойдем.

И, забрав подарки, они пошли сначала в детскую, потом к графине.

Графиня, по обычаю, сидела с Беловой за гранпасьянсом, когда Пьер и Наташа с свертками под мышками вошли в гостиную.

Графине было уже за шестьдесят лет. Она была совсем седа и носила чепчик, обхватывавший все лицо рюшем. Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклы.

После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, то есть употреблять свое время, свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях и очень старых людях. В ее жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидна была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и т. д. только потому, что у ней был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала, не вызываемая чем-нибудь внешним, не так, как делают это люди во всей силе жизни, когда из-за цели, к которой они стремятся, не заметна другая цель — приложения своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать легкими и языком. Она плакала, как ребенок, потому что ей надо было просморкаться, и т. д. То, что для людей в полной силе представляется целью, для нее был, очевидно, предлог.

Так поутру, в особенности ежели накануне она покушала чего-нибудь жирного, у ней являлась потребность посердиться, и тогда она выбирала ближайший предлог — глухоту Беловой.

Она с другого конца комнаты начинала говорить ей что-нибудь тихо.

— Нынче, кажется, теплее, моя милая, — говорила она шепотом. И когда Белова отвечала: «Как же, приехали», она сердито ворчала: — Боже мой, как глуха и глупа!

Другой предлог был нюхательный табак, который ей казался то сух, то сыр, то дурно растерт. После этих раздражений желчь разливалась у нее в лице, и горничные ее знали по верным признакам, когда будет опять глуха Белова, и опять табак сделается сыр, и когда будет желтое лицо. Так, как ей нужно было поработать желчью, так ей нужно было иногда поработать остававшимися способностями мыслить, и для этого предлогом был пасьянс. Когда нужно было поплакать, тогда предметом был покойный граф. Когда нужно было тревожиться, предлогом был Николай и его здоровье; когда нужно было язвительно поговорить, тогда предлогом была графиня Марья. Когда нужно было дать упражнение органу голоса, — это бывало большей частью в седьмом часу, после пищеварительного отдыха в темной комнате, — тогда предлогом были рассказы все одних и тех же историй и все одним и тем же слушателям.

Это состояние старушки понималось всеми домашними, хотя никто никогда не говорил об этом и всеми употреблялись всевозможные усилия для удовлетворения этих ее потребностей. Только в редком взгляде и грустной полуулыбке, обращенной друг к другу между Николаем, Пьером, Наташей и Марьей, бывало выражаемо это взаимное понимание ее положения.

Но взгляды эти, кроме того, говорили еще другое; они говорили о том, что она сделала уже свое дело в жизни, о том, что она не вся в том, что теперь видно в ней, о том, что и все мы будем такие же и что радостно покоряться ей, сдерживать себя для этого когда-то дорогого, когда-то такого же полного, как и мы, жизни, теперь жалкого существа, Memento mori[1], — говорили эти взгляды.

Только совсем дурные и глупые люди да маленькие дети из всех домашних не понимали этого и чуждались ее.

XIII

Когда Пьер с женою пришли в гостиную, графиня находилась в привычном состоянии потребности занять себя умственной работой гранпасьянса и потому, несмотря на то, что она по привычке сказала слова, всегда говоримые ею при возвращении Пьера или сына: «Пора, пора, мой милый; заждались. Ну, слава Богу» — и при передаче ей подарков сказала другие привычные слова: «Не дорог подарок, дружок, — спасибо, что меня, старуху, даришь...» — видимо было, что приход Пьера был ей неприятен в эту минуту, потому что отвлекал ее от недоложенного гранпасьянса. Она окончила пасьянс и тогда только принялась за подарки. Подарки состояли из прекрасной работы футляра для карт, севрской ярко-синей чашки с крышкой и с изображением пастушек и из золотой табакерки с портретом покойного графа, который Пьер заказывал в Петербурге миниатюристу. (Графиня давно желала этого.) Ей не хотелось теперь плакать, и потому она равнодушно посмотрела на портрет и занялась больше футляром.

[1] Помни о смерти (лат.). — Ред.

— Благодарствуй, мой друг, ты утешил меня, — сказала она, как всегда говорила. — Но лучше всего, что сам себя привез. А то это ни на что не похоже; хоть бы ты побранил свою жену. Что это? Как сумасшедшая без тебя. Ничего не видит, не помнит, — говорила она привычные слова. — Посмотри, Анна Тимофеевна, — прибавила она, — какой сынок футляр нам привез.

Белова хвалила подарки и восхищалась своим ситцем.

Хотя Пьеру, Наташе, Николаю, Марье и Денисову многое нужно было поговорить такого, что не говорилось при графине, не потому, чтобы что-нибудь скрывалось от нее, но потому, что она отставала от многого, что, начав говорить про что-нибудь при ней, надо бы было отвечать на ее вопросы, некстати вставляемые, и повторять вновь уже несколько раз повторенное ей: рассказывать, что тот умер, тот женился, чего она не могла вновь запомнить; но они, по обычаю, сидели за чаем в гостиной у самовара, и Пьер отвечал на вопросы графини, ей самой ненужные и никого не интересующие, о том, что князь Василий постарел и что графиня Марья Алексеевна велела кланяться и помнит и т. д. ...

Такой разговор, никому не интересный, но необходимый, велся во все время чая. За чай вокруг круглого стола и самовара, у которого сидела Соня, собирались все взрослые члены семейства. Дети, гувернеры и гувернантки уже отпили чай, и голоса их слышались в соседней диванной. За чаем все сидели на обычных местах; Николай сидел у печки за маленьким столиком, к которому ему подавали чай. Старая, с совершенно седым лицом, из которого еще резче выкатывались большие черные глаза, борзая Милка, дочь первой Милки, лежала подле него на кресле. Денисов, с поседевшими наполовину курчавыми волосами, усами и бакенбардами, в расстегнутом генеральском сюртуке сидел подле графини Марьи, Пьер сидел между женою и старою графиней. Он рассказывал то, что — он знал — могло интересовать старушку и быть понято ею. Он говорил о внешних, общественных событиях и о тех людях, которые когда-то составляли кружок сверстников старой графини, которые когда-то были действительным, живым отдельным кружком, но которые теперь, большей частью разбросанные по миру, так же как она, доживали свой век, собирая остальные колосья того, что они посеяли в жизни. Но они-то, эти сверстники, казались старой графине исключительно серьезным и настоящим миром. По оживлению Пьера Наташа видела, что поездка его была интересна, что ему многое хотелось рассказать, но он не смел говорить при графине. Денисов, не будучи членом семьи, поэтому не понимая осторожности Пьера, кроме того, как недовольный, весьма интересовался тем, что делалось в Петербурге, и беспрестанно вызывал Пьера на рассказы то о только что случившейся истории в Семеновском полку, то об Аракчееве, то о Библейском обществе. Пьер иногда увлекался и начинал рассказывать, но Николай и Наташа всякий раз возвращали его к здоровью князя Ивана и графини Марьи Антоновны.

— Ну что же, все это безумие, и Госнер и Татаринова, — спросил Денисов, — неужели все продолжается?

— Как продолжается? — вскрикнул Пьер. — Сильнее, чем когда-нибудь. Библейское общество — это теперь все правительство.

— Это что же, mon cher ami? — спросила графиня, отпившая свой чай и, видимо, желая найти предлог для того, чтобы посердиться после пищи. — Как же это ты говоришь: правительство: я это не пойму.

— Да, знаете, maman, — вметался Николай, знавший, как надо было переводить на язык матери, — это князь Александр Николаевич Голицын устроил общество, так он в большой силе, говорят.

— Аракчеев и Голицын, — неосторожно сказал Пьер, — это теперь все правительство. И какое! Во всем видят заговоры, всего боятся.

— Что ж, князь Александр Николаевич-то чем же виноват? Он очень почтенный человек. Я встречала его тогда у Марьи Антоновны, — обиженно сказала графиня и, еще больше обиженная тем, что все замолчали, продолжала: — Нынче всех судить стали. Евангельское общество — ну что ж дурного? — И она встала (все встали тоже) и с строгим видом поплыла к своему столу в диванную.

Среди установившегося грустного молчания из соседней комнаты послышались детские смех и голоса. Очевидно, между детьми происходило какое-то радостное волнение.

— Готово, готово! — послышался из-за всех радостный вопль маленькой Наташи. Пьер переглянулся с графиней Марьей и Николаем (Наташу он всегда видел) и счастливо улыбнулся.

— Вот музыка-то чудная! — сказал он.

— Это Анна Макаровна чулок кончила, — сказала графиня Марья.

— О, пойду смотреть, — вскакивая, сказал Пьер. — Ты знаешь, — сказал он, останавливаясь у двери, — отчего я особенно люблю эту музыку? — они мне первые дают знать, что все хорошо. Нынче еду: чем ближе к дому, тем больше страх. Как вошел в переднюю, слышу, заливается Андрюша о чем-то, — ну, значит, все хорошо...

— Знаю, знаю я это чувство, — подтвердил Николай. — Мне идти нельзя, ведь чулки — сюрприз мне.

Пьер вошел к детям, и хохот и крики еще более усилились. — Ну, Анна Макаровна, — слышался голос Пьера, — вот сюда, на середину, и по команде — раз, два, и когда я скажу три, ты сюда становись. Тебя на руки. Ну, раз, два... — проговорил голос Пьера; сделалось молчание. — Три! — и восторженный стон детских голосов поднялся в комнате.

— Два, два! — кричали дети.

Это были два чулка, которые по одному ей известному секрету Анна Макаровна сразу вязала на спицах и которые она всегда торжественно при детях вынимала один из другого, когда чулок был довязан.

XIV

Вскоре после этого дети пришли прощаться. Дети перецеловались со всеми, гувернеры и гувернантки раскланялись и вышли. Оставался один Десаль с своим воспитанником. Гувернер шепотом приглашал своего воспитанника идти вниз.

— Non, monsieur Dessales, je demanderai à ma tante de rester[1], — отвечал также шепотом Николенька Болконский.

— Ma tante, позвольте мне остаться, — сказал Николенька, подходя к тетке. Лицо его выражало мольбу, волнение и восторг. Графиня Марья поглядела на него и обратилась к Пьеру.

— Когда вы тут, он оторваться не может... — сказала она ему.

— Je vous le ramènerai tout à l'heure, monsieur Dessales; bonsoir[2], — сказал Пьер, подавая швейцарцу руку, и, улыбаясь, обратился к Николеньке. — Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится, — прибавил он, обращаясь к графине Марье.

— На отца? — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными, блестящими глазами. Пьер кивнул ему головой и продолжал прерванный детьми рассказ. Графиня Марья работала на руках по канве; Наташа, не спуская глаз, смотрела на мужа, Николай и Денисов вставали, спрашивали трубки, курили, брали чай у Сони, сидевшей уныло и упорно за самоваром, и расспрашивали Пьера. Кудрявый болезненный мальчик, с своими блестящими глазами, сидел никем не замечаемый в уголку, и, только поворачивая кудрявую голову на тонкой шее, выходившей из отложных воротничков, в ту сторону, где был Пьер, он изредка вздрагивал и что-то шептал сам с собою, видимо испытывая какое-то новое и сильное чувство.

Разговор вертелся на той современной сплетне из высшего управления, в которой большинство людей видит обыкновенно самый важный интерес внутренней политики. Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге, и в сильных и резких выражениях делал свои замечания на слова Пьера.

— Пг'ежде немцем надо было быть, тепег'ь надо плясать с Татаг'иновой и madame Кг'юднег', читать... Экаг'стгаузена и бг'атию. Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапаг'та! Он бы всю дуг'ь повыбил. Ну на что похоже — солдату Шваг'цу дать Семеновский полк? — кричал он.

Николай, хотя без того желания находить все дурным, которое было у Денисова, считал также весьма достойным и важным делом посудить о правительстве и считал, что то, что А. назначен министром того-то, а что Б. генерал-губернатором туда-то и что государь сказал то-то, а министр то-то, что все это дела очень значительные. И он считал нужным интересоваться этим и расспрашивал Пьера. За расспросами этих двух собеседников разговор не выходил из этого обычного характера сплетни высших правительственных сфер.

Но Наташа, знавшая все приемы и мысли своего мужа, видела, что Пьер давно хотел и не мог вывести разговор на другую дорогу и высказать свою задушевную мысль, ту самую, для которой он и ездил в Петербург — советоваться с новым другом своим, князем Федором; и она помогла ему вопросом: что же его дело с князем Федором?

---

[1] Нет, мосье Десаль, я попрошусь у тетеньки остаться

[2] Я сейчас приведу вам его, мосье Десаль; покойной ночи

— О чем это? — спросил Николай.

— Все о том же и о том же, — сказал Пьер, оглядываясь вокруг себя. — Все видят, что дела идут так скверно, что это нельзя так оставить, и что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.

— Что ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай. — Что же именно сделать?

— А вот что...

— Пойдемте в кабинет, — сказал Николай.

Наташа, уже давно угадывавшая, что ее придут звать кормить, услыхала зов няни и пошла в детскую. Графиня Марья пошла с нею. Мужчины пошли в кабинет, и Николенька Болконский, не замеченный дядей, пришел туда же и сел в тени, к окну, у письменного стола.

— Ну, что ж ты сделаешь? — сказал Денисов.

— Вечно фантазии, — сказал Николай.

— Вот что, — начал Пьер, не садясь и то ходя по комнате, то останавливаясь, шепелявя и делая быстрые жесты руками в то время, как он говорил. — Вот что. Положение в Петербурге вот какое: государь ни во что не входит. Он весь предан этому мистицизму (мистицизма Пьер никому не прощал теперь). Он ищет только спокойствия, и спокойствие ему могут дать только те люди sans foi ni loi[1], которые рубят и душат всё сплеча: Магницкий, Аракчеев и tutti quanti...[2] Ты согласен, что ежели бы сам не занимался хозяйством, а хотел только спокойствия, то, чем жесточе бы был твой бурмистр, тем скорее ты бы достиг цели? — обратился он к Николаю.

— Ну, да к чему ты это говоришь? — сказал Николай.

— Ну, и все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, — мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Все слишком натянуто и непременно лопнет, — говорил Пьер (как, с тех пор как существует правительство, вглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди). — Я одно говорил им в Петербурге.

— Кому? — спросил Денисов.

— Ну, вы знаете кому, — сказал Пьер, значительно взглядывая исподлобья: — князю Федору и им всем. Соревновать просвещению и благотворительности, все это хорошо, разумеется. Цель прекрасная, и все; но в настоящих обстоятельствах надо другое.

В это время Николай заметил присутствие племянника. Лицо его сделалось мрачно; он подошел к нему.

— Зачем ты здесь?

— Отчего? Оставь его, — сказал Пьер, взяв за руку Николая, и продолжал: — Этого мало, и я им говорю: теперь нужно другое. Когда вы стоите и ждете, что вот-вот

[1] без совести и чести

[2] и тому подобные... (итал.). — Ред.

лопнет эта натянутая струна; когда все ждут неминуемого переворота, — надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой, чтобы противостоять общей катастрофе. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняют женщины, другого почести, третьего тщеславие, деньги — и они переходят в тот лагерь. Независимых, свободных людей, как вы и я, совсем не остается. Я говорю: расширьте круг общества; mot d'ordre[1] пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность.

Николай, оставив племянника, сердито передвинул кресло, сел в него и, слушая Пьера, недовольно покашливал и все больше и больше хмурился.

— Да с какою же целью деятельность? — вскрикнул он. — И в какие отношения станете вы к правительству?

— Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого боремся рука с рукой, с одной целью общего блага и общей безопасности.

— Да; но тайное общество — следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло, — возвышая голос, сказал Николай.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос.

Наташа, вошедшая в середине разговора в комнату, радостно смотрела на мужа. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто и что она все это давно знала (ей казалось это потому, что она знала то, из чего все это выходило, — всю душу Пьера). Но она радовалась, глядя на его оживленную, восторженную фигуру.

Еще более радостно-восторженно смотрел на Пьера забытый всеми мальчик с тонкой шеей, выходившей из отложных воротничков. Всякое слово Пьера жгло его сердце, и он нервным движением пальцев ломал — сам не замечая этого — попадавшиеся ему в руки сургучи и перья на столе дяди.

— Совсем не то, что ты думаешь, а вот что такое было немецкий тугендбунд и тот, который я предлагаю.

— Ну, бг'ат, это колбасникам хог'ошо тугендбунд. А я этого не понимаю, да и не выговог'ю, — послышался громкий, решительный голос Денисова. — Все сквег'но и мег'зко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нг'авится — так бунт, вот это так! Je suis vot'e homme![2]

Пьер улыбнулся, Наташа засмеялась, но Николай еще более сдвинул брови и стал доказывать Пьеру, что никакого переворота не предвидится и что вся опасность,

[1] лозунг

[2] Тогда я ваш!

о которой он говорит, находится только в его воображении. Пьер доказывал противное, и так как его умственные способности были сильнее и изворотливее, Николай почувствовал себя поставленным в тупик. Это еще больше рассердило его, так как он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения.

— Я вот что тебе скажу, — проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. — Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь.

После этих слов произошло неловкое молчание. Наташа первая заговорила, защищая мужа и нападая на брата. Защита ее была слаба и неловка, но цель ее была достигнута. Разговор снова возобновился и уже не в том неприятно враждебном тоне, в котором сказаны были последние слова Николая.

Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру, бледный, с блестящими, лучистыми глазами.

— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив... он бы согласен был с вами? — спросил он.

Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.

— Я думаю, что да, — сказал он неохотно и вышел из кабинета.

Мальчик нагнул голову и тут в первый раз как будто заметил то, что он наделал на столе. Он вспыхнул и подошел к Николаю.

— Дядя, извини меня, это я сделал нечаянно, — сказал он, показывая на поломанные сургучи и перья.

Николай сердито вздрогнул.

— Хорошо, хорошо, — сказал он, бросая под стол куски сургуча и перья. И, видимо с трудом удерживая поднятый в нем гнев, он отвернулся от него.

— Тебе вовсе тут и быть не следовало, — сказал он.

XV

За ужином разговор не шел более о политике и обществах, а, напротив, затеялся самый приятный для Николая, — о воспоминаниях 12-го года, на который вызвал Денисов и в котором Пьер был особенно мил и забавен. И родные разошлись в самых дружеских отношениях.

Когда после ужина Николай, раздевшись в кабинете и отдав приказания заждавшемуся управляющему, пришел в халате в спальню, он застал жену еще за письменным столом: она что-то писала.

— Что ты, пишешь, Мари? — спросил Николай. Графиня Марья покраснела. Она боялась, что то, что она писала, не будет понято и одобрено мужем.

Она бы желала скрыть от него то, что она писала, но вместе с тем и рада была тому, что он застал ее и что надо сказать ему.

— Это дневник, Nicolas, — сказала она, подавая ему синенькую тетрадку, исписанную ее твердым, крупным почерком.

— Дневник?.. — с оттенком насмешливости сказал Николай и взял в руки тетрадку. Было написано по-французски:

«4 декабря. Нынче Андрюша, старший сын, проснувшись, не хотел одеваться, и m-lle Louise прислала за мной. Он был в капризе и упрямстве. Я попробовала угрожать, но он только еще больше рассердился. Тогда я взяла на себя, оставила его и стала с няней поднимать других детей, а ему сказала, что я не люблю его. Он долго молчал, как бы удивившись; потом, в одной рубашонке, выскочил ко мне и разрыдался так, что я долго его не могла успокоить. Видно было, что он мучился больше всего тем, что огорчил меня; потом, когда я вечером дала ему билетец, он опять жалостно расплакался, целуя меня. С ним все можно сделать нежностью».

— Что такое билетец? — спросил Николай.

— Я начала давать старшим по вечерам записочки, как они вели себя.

Николай взглянул в лучистые глаза, смотревшие на него, и продолжал перелистывать и читать. В дневнике записывалось все то из детской жизни, что для матери казалось замечательным, выражая характеры детей или наводя на общие мысли о приемах воспитания. Это были большей частью самые ничтожные мелочи: но они не казались таковыми ни матери, ни отцу, когда он теперь в первый раз читал этот детский дневник.

5-го декабря было записано:

«Митя шалил за столом. Папа не велел давать ему пирожного. Ему не дали; но он так жалостно и жадно смотрел на других, пока они ели! Я думаю, что наказывать, не давая сластей, развивает жадность. Сказать Nicolas».

Николай оставил книжку и посмотрел на жену. Лучистые глаза вопросительно (одобрял или не одобрял он дневник) смотрели на него. Не могло быть сомнения не только в одобрении, но в восхищении Николая перед своей женой.

«Может быть, не нужно было делать это так педантически; может быть, и вовсе не нужно», — думал Николай; но это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей, — восхищало его. Ежели бы Николай мог сознавать свое чувство, то он нашел бы, что главное основание его твердой, нежной и гордой любви к жене имело основанием всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным для Николая, возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена.

Он гордился тем, что она так умна и хороша, сознавая свое ничтожество перед нею в мире духовном, и тем более радовался тому, что она с своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого.

— Очень и очень одобряю, мой друг, — сказал он с значительным видом. И, помолчав немного, он прибавил: — А я нынче скверно себя вел. Тебя не было в кабинете. Мы заспорили с Пьером, и я погорячился. Да невозможно. Это такой ребенок. Я не знаю, что бы с ним было, ежели бы Наташа не держала его за уздцы. Можешь себе представить, зачем ездил в Петербург... Они там устроили...

— Да, я знаю, — сказала графиня Марья. — Мне Наташа рассказала.

— Ну, так ты знаешь, — горячась при одном воспоминании о споре, продолжал Николай. — Он хочет меня уверить, что обязанность всякого честного человека состоит в том, чтобы идти против правительства, тогда Как присяга и долг... Я жалею, что тебя не было. А то на меня все напали, и Денисов, и Наташа... Наташа уморительна. Ведь как она его под башмаком держит, а чуть дело до рассуждений — у ней своих слов нет — она так его словами и говорит, — прибавил Николай, поддаваясь тому непреодолимому стремлению, которые вызывает на суждение о людях самых дорогих и близких. Николай забывал, что слово в слово то же, что он говорил о Наташе, можно было сказать о нем в отношении его жены.

— Да, я это замечала, — сказала графиня Марья.

— Когда я ему сказал, что долг и присяга выше всего, он стал доказывать Бог знает что. Жаль, что тебя не было; что бы ты сказала?

— По-моему, ты совершенно прав. Я так и сказала Наташе. Пьер говорит, что все страдают, мучатся, развращаются и что наш долг помочь своим ближним. Разумеется, он прав, — говорила графиня Марья, — но он забывает, что у нас есть другие обязанности ближе, которые сам Бог указал нам, и что мы можем рисковать собой, но не детьми.

— Ну вот, вот, это самое я и говорил ему, — подхватил Николай, которому действительно казалось, что он говорил это самое. — А он свое: что любовь к ближнему и христианство, и все это при Николеньке, который тут забрался в кабинет и переломал все.

— Ах, знаешь ли, Nicolas, Николенька так часто меня мучит, — сказала графиня Марья. — Это такой необыкновенный мальчик. И я боюсь, что я забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня; а у него никого нет. Он вечно один с своими мыслями.

— Ну уж, кажется, тебе себя упрекать за него нечего. Все, что может сделать самая нежная мать для своего сына, ты делала и делаешь для его. И я, разумеется, рад этому. Он славный, славный мальчик. Нынче он в каком-то беспамятстве слушал Пьера. И можешь себе представить: мы выходим к ужину; я смотрю, он изломал вдребезги у меня все на столе и сейчас же сказал. Я никогда не видал, чтоб он сказал неправду. Славный, славный мальчик! — повторил Николай, которому по душе не нравился Николенька, но которого ему всегда бы хотелось признавать славным.

— Всё не то, что мать, — сказала графиня Марья, — я чувствую, что не то, и меня это мучит. Чудный мальчик; но я ужасно боюсь за него. Ему полезно будет общество.

— Что ж, ненадолго; нынче летом я отвезу его в Петербург, — сказал Николай. — Да, Пьер всегда был и остается мечтателем, — продолжал он, возвращаясь к разговору в кабинете, который, видимо, взволновал его. — Ну какое мне дело до всего этого там — что Аракчеев нехорош и всё, — какое мне до этого дело было, когда я женился и у меня долгов столько, что меня в яму сажают, и мать, которая этого не может видеть и понимать. А потом ты, дети, дела. Разве я для своего удовольствия с утра до вечера и в конторе, и по делам? Нет, я знаю, что я должен работать, чтоб успокоить мать, отплатить тебе и детей не оставить такими нищими, как я был.

Графине Марье хотелось сказать ему, что не о едином хлебе сыт будет человек, что он слишком много приписывает важности этим делам; но она знала, что этого говорить не нужно и бесполезно. Она только взяла его руку и поцеловала. Он принял этот жест жены за одобрение и подтверждение своих мыслей и, подумав несколько времени молча, вслух продолжал свои мысли.

— Ты знаешь, Мари, — сказал он, — нынче приехал Илья Митрофаныч (это был управляющий делами) из тамбовской деревни и рассказывает, что за лес уже дают восемьдесят тысяч. — И Николай с оживленным лицом стал рассказывать о возможности в весьма скором времени выкупить Отрадное. — Еще десять годков жизни, и я оставлю детям десять тысяч в отличном положении.

Графиня Марья слушала мужа и понимала все, что он говорил ей. Она знала, что когда он так думал вслух, он иногда спрашивал ее, что он сказал, и сердился, когда замечал, что она думала о другом. Но она Делала для этого большие усилия, потому что ее нисколько не интересовало то, что он говорил. Она смотрела на него и не то что думала о другом, а чувствовала о другом. Она чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает, и как бы от этого она еще сильнее, с оттенком страстной нежности, любила его. Кроме этого чувства, поглощавшего ее всю и мешавшего ей вникать в подробности планов мужа, в голове ее мелькали мысли, не имеющие ничего общего с тем, о чем он говорил. Она думала о племяннике (рассказ мужа о его волнении при разговоре Пьера сильно поразил ее), различные черты его нежного, чувствительного характера представлялись ей; и она, думая о племяннике, думала и о своих детях. Она не сравнивала племянника и своих детей, но она сравнивала свое чувство к ним и с грустью находила, что в чувстве ее к Николеньке чего-то недоставало.

Иногда ей приходила мысль, что различие это происходит от возраста; но она чувствовала, что была виновата перед ним, и в душе своей обещала себе исправиться и сделать невозможное — то есть в этой жизни любить и своего мужа, и детей, и Николеньку, и всех ближних так, как Христос любил человечество. Душа графини Марьи всегда стремилась к бесконечному, вечному и совершенному и потому никогда не могла быть покойна. На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом. Николай посмотрел на нее.

«Боже мой! что с нами будет, если она умрет, как это мне кажется, когда у нее такое лицо», — подумал он, и, став перед образом, он стал читать вечерние молитвы.

XVI

Наташа, оставшись с мужем одна, тоже разговаривала так, как только разговаривает жена с мужем, то есть с необыкновенной ясностью и быстротой познавая и сообщая мысли друг друга, путем противным всем правилам логики, без посредства суждений, умозаключений и выводов, а совершенно особенным способом. Наташа до такой степени привыкла говорить с мужем этим способом, что верным признаком того, что что-нибудь было не ладно между ей и мужем, для нее служил логический ход мыслей Пьера. Когда он начинал доказывать, говорить рассудительно и спокойно и когда она, увлекаясь его примером, начинала делать то же, она знала, что это непременно поведет к ссоре.

С того самого времени, как они остались одни и Наташа с широко раскрытыми, счастливыми глазами подошла к нему тихо и вдруг, быстро схватив его за голову, прижала ее к своей груди и сказала: «Теперь весь, весь мой, мой! Не уйдешь!» — с этого времени начался этот разговор, противный всем законам логики, противный уже потому, что в одно и то же время говорилось о совершенно различных предметах. Это одновременное обсуждение многого не только не мешало ясности понимания, но, напротив, было вернейшим признаком того, что они вполне понимают друг друга.

Как в сновидении все бывает неверно, бессмысленно и противоречиво, кроме чувства, руководящего сновидением, так и в этом общении, противном всем законам рассудка, последовательны и ясны не речи, а только чувство, которое руководит ими.

Наташа рассказывала Пьеру о житье-бытье брата, о том, как она страдала, а не жила без мужа, и о том, как она еще больше полюбила Мари, и о том, как Мари во всех отношениях лучше ее. Говоря это, Наташа призналась искренно в том, что она видит превосходство Мари, но вместе с тем она, говоря это, требовала от Пьера, чтобы он все-таки предпочитал ее Мари и всем другим женщинам, и теперь вновь, особенно после того, как он видел много женщин в Петербурге, повторил бы ей это.

Пьер, отвечая на слова Наташи, рассказал ей, как невыносимо было для него в Петербурге бывать на вечерах и обедах с дамами.

— Я совсем разучился говорить с дамами, — сказал он, — просто скучно. Особенно, я так был занят.

Наташа пристально посмотрела на него и продолжала:

— Мари, это такая прелесть! — сказала она. — Как она умеет понимать детей. Она как будто только душу их видит. Вчера, например, Митенька стал капризничать...

— Ах, как он похож на отца, — перебил Пьер.

Наташа поняла, почему он сделал это замечание о сходстве Митеньки с Николаем: ему неприятно было воспоминание о его споре с шурином и хотелось знать об этом мнение Наташи.

— У Николеньки есть эта слабость, что если что не принято всеми, он ни за что не согласится. А я понимаю, ты именно дорожишь тем, чтобы ouvrir une carrière [1], — сказала она, повторяя слова, раз сказанные Пьером.

[1] открыть поприще

— Нет, главное для Николая, — сказал Пьер, — мысли и рассуждения — забава, почти препровождение времени. Вот он собирает библиотеку и за правило поставил не покупать новой книги, не прочтя купленной, — и Сисмонди, и Руссо, и Монтескье, — с улыбкой прибавил Пьер. — Ты ведь знаешь, как я его... — начал было он смягчать свои слова; но Наташа перебила его, давая чувствовать, что это не нужно.

— Так ты говоришь, для него мысли забава...

— Да, а для меня все остальное забава. Я все время в Петербурге как во сне всех видел. Когда меня занимает мысль, то все остальное забава.

— Ах, как жаль, что я не видала, как ты здоровался с детьми, — сказала Наташа. — Которая больше всех обрадовалась? Верно, Лиза?

— Да, — сказал Пьер и продолжал то, что занимало его, — Николай говорит, мы не должны думать. Да я не могу. Не говоря уже о том, что в Петербурге я чувствовал это (я тебе могу сказать), что без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить, и потом моя мысль так проста и ясна. Ведь я не говорю, что мы должны противодействовать тому-то и тому-то. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро, и пусть будет одно знамя — деятельная добродетель. Князь Сергий славный человек и умен.

Наташа не сомневалась бы в том, что мысль Пьера была великая мысль, но одно смущало ее. Это было то, что он был ее муж, «Неужели такой важный и нужный человек для общества — вместе с тем мой муж? Отчего это так случилось?» Ей хотелось выразить ему это сомнение. «Кто и кто те люди, которые могли бы решить, действительно ли он так умнее всех?» — спрашивала она себя и перебирала в своем воображении тех людей, которые были очень уважаемы Пьером. Никого из всех людей, судя по его рассказам, он так не уважал, как Платона Каратаева.

— Ты знаешь, о чем я думаю? — сказала она, — о Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?

Пьер нисколько не удивлялся этому вопросу. Он понял ход мыслей жены.

— Платон Каратаев? — сказал он и задумался, видимо, искренно стараясь представить себе суждение Каратаева об этом предмете. — Он не понял бы, а впрочем, я думаю, что да.

— Я ужасно люблю тебя! — сказала вдруг Наташа. — Ужасно. Ужасно!

— Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав. — Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь. Он так желал видеть во всем благообразие, счастье, спокойствие, и я с гордостью показал бы ему нас. Вот ты говоришь — разлука. А ты не поверишь, какое особенное чувство я к тебе имею после разлуки...

— Да, вот еще... — начала было Наташа.

— Нет, не то. Я никогда не перестаю тебя любить. И больше любить нельзя; а это особенно... Ну, да... — Он не договорил, потому что встретившийся взгляд их договорил остальное.

— Какие глупости, — сказала вдруг Наташа, — медовый месяц и что самое счастье в первое время. Напротив, теперь самое лучшее. Ежели бы ты только не уезжал. Помнишь, как мы ссорились? И всегда я была виновата. Всегда я. И о чем мы ссорились — я не помню даже.

— Все об одном, — сказал Пьер, улыбаясь, — ревно...

— Не говори, терпеть не могу, — вскрикнула Наташа. И холодный, злой блеск засветился в ее глазах. — Ты видел ее? — прибавила она, помолчав.

— Нет, да и видел бы, не узнал.

Они помолчали.

— Ах, знаешь? Когда ты в кабинете говорил, я смотрела на тебя, — заговорила Наташа, видимо стараясь отогнать набежавшее облако. — Ну, две капли воды ты на него похож, на мальчика. (Она так называла сына.) Ах, пора к нему идти... Пришло... А жалко уходить.

Они замолчали на несколько секунд. Потом вдруг в одно и то же время повернулись друг к другу и начали что-то говорить. Пьер начал с самодовольствием и увлечением; Наташа — с тихой, счастливой улыбкой. Столкнувшись, они оба остановились, давая друг другу дорогу.

— Нет, ты что? говори, говори.

— Нет, ты скажи, я так, глупости, — сказала Наташа.

Пьер сказал то, что он начал. Это было продолжение его самодовольных рассуждений об его успехе в Петербурге. Ему казалось в эту минуту, что он был призван дать новое направление всему русскому обществу и всему миру.

— Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, — всегда просты. Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь так просто.

— Да.

— А ты что хотела сказать?

— Я так, глупости.

— Нет, все-таки.

— Да ничего, пустяки, — сказала Наташа, еще светлее просияв улыбкой, — я только хотела сказать про Петю: нынче няня подходит взять его от меня, он засмеялся, зажмурился и прижался ко мне — верно, думал, что спрятался. Ужасно мил. Вот он кричит. Ну, прощай! — И она пошла из комнаты.

В это же время внизу, в отделении Николеньки Болконского, в его спальне, как всегда, горела лампадка (мальчик боялся темноты, и его не могли отучить от этого недостатка). Десаль спал высоко на своих четырех подушках, и его римский нос издавал равномерные звуки храпенья. Николенька, только что проснувшись, в холодном поту, с широко раскрытыми глазами, сидел на своей постели и смотрел перед собой. Страшный сон разбудил его. Он видел во сне себя и Пьера в касках — таких, которые были нарисованы в издании Плутарха. Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge[1]. Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. Они — он и Пьер — неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.

[1] нитями Богородицы

— Это вы сделали? — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я любил вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед. — Николенька оглянулся на Пьера; но Пьера уже не было. Пьер был отец — князь Андрей, и отец не имел образа и формы, но он был, и, видя его, Николенька почувствовал слабость любви; он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его. Но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся.

«Отец, — думал он. — Отец (несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе), отец был со мною и ласкал меня. Он одобрял меня, он одобрял дядю Пьера. Что бы он ни говорил — я сделаю это. Муций Сцевола сжег свою руку. Но отчего же и у меня в жизни не будет того же? Я знаю, они хотят, чтобы я учился. И я буду учиться. Но когда-нибудь я перестану; и тогда я сделаю. Я только об одном прошу Бога: чтобы было со мною то, что было с людьми Плутарха, и я сделаю то же. Я сделаю лучше. Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною». И вдруг Николенька почувствовал рыдания, захватившие его грудь, и заплакал.

— Etes-vous indisposé?[1] — послышался голос Десаля.

— Non[2] , — отвечал Николенька и лег на подушку. «Он добрый и хороший, я люблю его, — думал он о Десале. — А дядя Пьер! О, какой чудный человек! А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен...»

[1]Вы нездоровы?

[2] Нет

Часть вторая

I

Предмет истории есть жизнь народов и человечества. Непосредственно уловить и обнять словом — описать жизнь не только человечества, но одного народа, — представляется невозможным.

Все древние историки употребляли один и тот же прием для того, чтобы описать и уловить кажущуюся неуловимой — жизнь народа. Они описывали деятельность единичных людей, правящих народом; и эта деятельность выражала для них деятельность всего народа.

На вопросы о том, каким образом единичные люди заставляли действовать народы по своей воле и чем управлялась сама воля этих людей, древние отвечали: на первый вопрос — признанием воли божества, подчинявшей народы воле одного избранного человека; и на второй вопрос — признанием того же божества, направлявшего эту волю избранного к предназначенной цели.

Для древних вопросы эти разрешались верою в непосредственное участие божества в делах человечества.

Новая история в теории своей отвергла оба эти положения.

Казалось бы, что, отвергнув верования древних о подчинении людей божеству и об определенной цели, к которой ведутся народы, новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее. Но новая история не сделала этого. Отвергнув в теории воззрения древних, она следует им на практике.

Вместо людей, одаренных божественной властью и непосредственно руководимых волею божества, новая история поставила или героев, одаренных необыкновенными, нечеловеческими способностями, или просто людей самых разнообразных свойств, от монархов до журналистов, руководящих массами. Вместо прежних, угодных божеству, целей народов: иудейского, греческого, римского, которые древним представлялись целями движения человечества, новая история поставила свои цели — блага французского, германского, английского и, в самом своем высшем отвлечении, цели блага цивилизации всего человечества, под которым разумеются обыкновенно народы, занимающие маленький северо-западный уголок большого материка.

Новая история отвергла верования древних, не поставив на место их нового воззрения, и логика положения заставила историков, мнимо отвергших божественную власть царей и фатум древних, прийти другим путем к тому же самому: к признанию того, что: 1) народы руководятся единичными людьми и 2) что существует известная цель, к которой движутся народы и человечество.

Во всех сочинениях новейших историков от Гибона до Бокля, несмотря на их кажущееся разногласие и на кажущуюся новизну их воззрений, лежат в основе эти два старые неизбежные положения.

Во-первых, историк описывает деятельность отдельных лиц, по его мнению, руководивших человечеством (один считает таковыми одних монархов, полководцев, министров, другой — кроме монархов и ораторов — ученых,

реформаторов, философов и поэтов). Во-вторых, цель, к которой ведется человечество, известна историку (для одного цель эта есть величие римского, испанского, французского государства; для другого — это свобода, равенство, известного рода цивилизация маленького уголка мира, называемого Европою).

В 1789 году поднимается брожение в Париже; оно растет, разливается и выражается движением народов с запада на восток. Несколько раз движение это направляется на восток, приходит в столкновение с противодвижением с востока на запад; в 12-м году оно доходит до своего крайнего предела — Москвы, и, с замечательной симметрией совершается противодвижение с востока на запад точно так же, как и в первом движении увлекая за собой серединные народы. Обратное движение доходит до точки исхода движения на западе — до Парижа, и затихает.

В этот двадцатилетний период времени огромное количество полей не паханы; дома сожжены; торговля переменяет направление; миллионы людей беднеют, богатеют, переселяются, и миллионы людей — христиан, исповедующих закон любви ближнего, убивают друг друга.

Что такое все это значит? Отчего произошло это? Что заставило этих людей сжигать дома и убивать себе подобных? Какие были причины этих событий? Какая сила заставила людей поступать таким образом? Вот невольные, простодушные и самые законные вопросы, которые предлагает себе человечество, натыкаясь на памятники и предания прошедшего периода движения.

За разрешением этих вопросов здравый смысл человечества обращается к науке истории, имеющей целью самопознание народов и человечества.

Ежели бы история удержала воззрение древних, она бы сказала: божество, в награду или в наказание своему народу, дало Наполеону власть и руководило его волей для достижения своих божественных целей. И ответ был бы полный и ясный. Можно было веровать или не веровать в божественное значение Наполеона; но для верующего в него, во всей истории этого времени, все бы было понятно и не могло бы быть ни одного противоречия.

Но новая история не может отвечать таким образом. Наука не признает воззрения древних на непосредственное участие божества в делах человечества, и потому она должна дать другие ответы.

Новая история, отвечая на эти вопросы, говорит: вы хотите знать, что значит это движение, отчего оно произошло и какая сила произвела эти события? Слушайте:

«Людовик XIV был очень гордый и самонадеянный человек; у него были такие-то любовницы и такие-то министры, и он дурно управлял Францией. Наследники Людовика тоже были слабые люди и тоже дурно управляли Францией. И у них были такие-то любимцы и такие-то любовницы. Притом некоторые люди писали в это время книжки. В конце 18-го столетия в Париже собралось десятка два людей, которые стали говорить о том, что все люди равны и свободны. От этого во всей Франции люди стали резать и топить друг друга. Люди эти убили короля и еще многих. В это же время во Франции был гениальный человек — Наполеон. Он везде всех побеждал, то есть убивал много людей, потому что он был очень гениален. И он

поехал убивать для чего-то африканцев, и так хорошо их убивал и был такой хитрый и умный, что, приехав во Францию, велел всем себе повиноваться. И все повиновались ему. Сделавшись императором, он опять пошел убивать народ в Италии, Австрии и Пруссии. И там много убил. В России же был император Александр, который решился восстановить порядок в Европе и потому воевал с Наполеоном. Но в 7-м году он вдруг подружился с ним, а в 11-м опять поссорился, и опять они стали убивать много народа. И Наполеон привел шестьсот тысяч человек в Россию и завоевал Москву; а потом он вдруг убежал из Москвы, и тогда император Александр, с помощью советов Штейна и других, соединил Европу для ополчения против нарушителя ее спокойствия. Все союзники Наполеона сделались вдруг его врагами; и это ополчение пошло против собравшего новые силы Наполеона. Союзники победили Наполеона, вступили в Париж, заставили Наполеона отречься от престола и сослали его на остров Эльбу, не лишая его сана императора и оказывая ему всякое уважение, несмотря на то, что пять лет тому назад и год после этого все его считали разбойником вне закона. А царствовать стал Людовик XVIII, над которым до тех пор и французы и союзники только смеялись. Наполеон же, проливая слезы перед старой гвардией, отрекся от престола и поехал в изгнание. Потом искусные государственные люди и дипломаты (в особенности Талейран, успевший сесть прежде другого на известное кресло и тем увеличивший границы Франции) разговаривали в Вене и этим разговором делали народы счастливыми или несчастливыми. Вдруг дипломаты и монархи чуть было не поссорились; они уже готовы были опять велеть своим войскам убивать друг друга; но в это время Наполеон с батальоном приехал во Францию, и французы, ненавидевшие его, тотчас же все ему покорились. Но союзные монархи за это рассердились и пошли опять воевать с французами. И гениального Наполеона победили и повезли на остров Елены, вдруг признав его разбойником. И там изгнанник, разлученный с милыми сердцу и с любимой им Францией, умирал на скале медленной смертью и передал свои великие деяния потомству. А в Европе произошла реакция, и все государи стали опять обижать свои народы».

Напрасно подумали бы, что это есть насмешка, карикатура исторических описаний. Напротив, это есть самое мягкое выражение тех противоречивых и не отвечающих на вопросы ответов, которые дает вся история, от составителей мемуаров и историй отдельных государств до общих историй и нового рода историй культуры того времени.

Странность и комизм этих ответов вытекают из того, что новая история подобна глухому человеку, отвечающему на вопросы, которых никто ему не делает.

Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то первый вопрос, без ответа на который все остальное непонятно, — следующий: какая сила движет народами? На этот вопрос новая история озабоченно рассказывает или то, что Наполеон был очень гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд, или еще то, что такие-то писатели написали такие-то книжки.

Все это очень может быть, и человечество готово на это согласиться; но оно не об этом спрашивает. Все это могло бы быть интересно, если бы мы признавали

божественную власть, основанную на самой себе и всегда одинаковую, управляющею своими народами через Наполеонов, Людовиков и писателей; но власти этой мы не признаем, и потому, прежде чем говорить о Наполеонах, Людовиках и писателях, надо показать существующую связь между этими лицами и движением народов.

Если вместо божественной власти стала другая сила, то надо объяснить, в чем состоит эта новая сила, ибо именно в этой-то силе и заключается весь интерес истории.

История как будто предполагает, что сила эта сама собой разумеется и всем известна. Но, несмотря на все желание признать эту новую силу известною, тот, кто прочтет очень много исторических сочинений, невольно усомнится в том, чтобы новая сила эта, различно понимаемая самими историками, была всем совершенно известна.

II

Какая сила движет народами?

Частные историки биографические и историки отдельных народов понимают эту силу как власть, присущую героям и владыкам. По их описаниям, события производятся исключительно волей Наполеонов, Александров или вообще тех лиц, которые описывает частный историк. Ответы, даваемые этого рода историками на вопрос о той силе, которая движет событиями, удовлетворительны, но только до тех пор, пока существует один историк по каждому событию. Но как скоро историки различных национальностей и воззрений начинают описывать одно и то же событие, то ответы, ими даваемые, тотчас же теряют весь смысл, ибо сила эта понимается каждым из них не только различно, но часто совершенно противоположно. Один историк утверждает, что событие произведено властью Наполеона; другой утверждает, что оно произведено властью Александра; третий — что властью какого-нибудь третьего лица. Кроме того, историки этого рода противоречат один другому даже и в объяснениях той силы, на которой основана власть одного и того же лица. Тьер, бонапартист, говорит, что власть Наполеона была основана на его добродетели и гениальности, Lanfrey, республиканец, говорит, что она была основана на его мошенничестве и на обмане народа. Так что историки этого рода, взаимно уничтожая положения друг друга, тем самым уничтожают понятие о силе, производящей события, и не дают никакого ответа на существенный вопрос истории.

Общие историки, имеющие дело со всеми народами, как будто признают несправедливость воззрения частных историков на силу, производящую события. Они не признают этой силы как власть, присущую героям и владыкам, а признают ее результатом разнообразно направленных многих сил. Описывая войну или покорение народа, общий историк отыскивает причину события не во власти одного лица, но во взаимодействии друг на друга многих лиц, связанных с событием.

По этому воззрению власть исторических лиц, представляясь произведением многих сил, казалось бы, не может уже быть рассматриваема как сила, сама себе производящая события. Между тем общие историки в большей части случаев употребляют понятие о власти опять как силу, саму в себе производящую события и относящуюся к ним как причина. По их изложению, то историческое лицо есть произведение своего времени, и власть его есть только произведение различных сил; то власть его есть сила, производящая события. Гервинус, Шлоссер, например, и другие то доказывают, что Наполеон есть произведение революции, идей 1789 года и т. д., то прямо говорят, что поход 12-го года и другие не нравящиеся им события суть только произведения ложно направленной воли Наполеона и что самые идеи 1789-го года были остановлены в своем развитии вследствие произвола Наполеона. Идеи революции, общее настроение произвело власть Наполеона. Власть же Наполеона подавила идеи революции и общее настроение.

Странное противоречие это не случайно. Оно не только встречается на каждом шагу, но из последовательного ряда таких противоречий составлены все описания общих историков. Противоречие это происходит оттого, что, вступив на почву анализа, общие историки останавливаются на половине дороги.

Для того, чтобы найти составляющие силы, равные Составной или равнодействующей, необходимо, чтобы сумма составляющих равнялась составной. Это-то условие никогда не соблюдено общими историками, и потому, чтобы объяснить силу равнодействующую, они необходимо должны допускать, кроме недостаточных составляющих, еще необъяснимую силу, действующую по составной.

Частный историк, описывая поход ли 13-го года или восстановление Бурбонов, прямо говорит, что события эти произведены волей Александра. Но общий историк Гервинус, опровергая это воззрение частного историка, стремится показать, что поход 13-го года и восстановление Бурбонов, кроме воли Александра, имели причинами деятельность Штейна, Меттерниха, m-me Staël, Талейрана, Фихте, Шатобриана и других. Историк, очевидно, разложил власть Александра на составные: Талейрана, Шатобриана и т. д.; сумма этих составных, то есть воздействие друг на друга Шатобриана, Талейрана, m-me Staël и других, очевидно, не равняется всей равнодействующей, то есть тому явлению, что миллионы французов покорились Бурбонам. Из того, что Шатобриан, m-me Staël и другие сказали друг другу такие-то слова, вытекает только их отношение между собой, но не покорение миллионов. И потому, чтобы объяснить, каким образом из этого их отношения вытекло покорение миллионов, то есть из составных, равных одному А, вытекла равнодействующая, равная тысяче А, историк необходимо должен допустить опять ту же силу власти, которую он отрицает, признавая ее результатом сил, то есть он должен допустить необъяснимую силу, действующую по составной. Это самое и делают общие историки. И вследствие того не только противоречат частным историкам, но и сами себе.

Деревенские жители, которые, смотря по тому, хочется ли им дождя или ведра, не имея ясного понятия о причинах дождя, говорят: ветер разогнал тучи и ветер нагнал тучи. Так точно общие историки: иногда, когда им этого хочется, когда это подходит к их теории, говорят, что власть есть результат событий; а иногда, когда нужно доказать другое, — они говорят, что власть производит события.

Третьи историки, называющиеся историками культуры, следуя по пути, проложенному общими историками, признающими иногда писателей и дам силами, производящими события, еще совершенно иначе понимают эту силу. Они видят ее в так называемой культуре, в умственной деятельности.

Историки культуры совершенно последовательны по отношению к своим родоначальникам, — общим историкам, ибо если исторические события можно объяснять тем, что некоторые люди так-то и так-то относились друг к другу, то почему не объяснять их тем, что такие-то люди писали такие-то книжки? Эти историки из всего огромного числа признаков, сопровождающих всякое живое явление, выбирают признак умственной деятельности и говорят, что этот признак есть причина. Но, несмотря на все их старания показать, что причина события лежала в умственной деятельности, только с большой уступчивостью можно согласиться с тем, что между умственной деятельностью и движением народов есть что-то общее, но уже ни в каком случае нельзя допустить, чтобы умственная деятельность руководила деятельностью людей, ибо такие явления, как жесточайшие убийства французской революции, вытекающие из проповедей о равенстве человека, и злейшие войны и казни, вытекающие из проповеди о любви, не подтверждают этого предположения.

Но, допустив даже, что справедливы все хитросплетенные рассуждения, которыми наполнены эти истории; допустив, что народы управляются какой-то неопределимой силой, называемой идеей, — существенный вопрос истории все-таки или остается без ответа, или к прежней власти монархов и к вводимому общими историками влиянию советчиков и других лиц присоединяется еще новая сила идеи, связь которой с массами требует объяснения. Возможно понять, что Наполеон имел власть, и потому совершилось событие; с некоторой уступчивостью можно еще понять, что Наполеон, вместе с другими влияниями, был причиной события; но каким образом книга Contrat Social [1] сделала то, что французы стали топить друг друга, — не может быть понято без объяснения причинной связи этой новой силы с событием.

Несомненно, существует связь между всем одновременно живущим, и потому есть возможность найти некоторую связь между умственной деятельностью людей и их историческим движением, точно так же, как эту связь можно найти между движением человечества и торговлей, ремеслами, садоводством и чем хотите. Но почему умственная деятельность людей представляется историками культуры причиной или выражением всего исторического движения — это понять трудно. К такому заключению историков могли привести только следующие соображения: 1) что история пишется учеными, и потому им естественно и приятно думать, что деятельность их сословия есть основание движения всего человечества, точно так же,

[1] Общественный договор.

как это естественно и приятно думать купцам, земледельцам, солдатам (это не высказывается только потому, что купцы и солдаты не пишут истории), и 2) что духовная деятельность, просвещение, цивилизация, культура, идея — все это понятия неясные, неопределенные, под знаменем которых весьма удобно употреблять слова, имеющие еще менее ясного значения и потому легко подставляемые под всякие теории.

Но, не говоря о внутреннем достоинстве этого рода историй (может быть, они для кого-нибудь или для чего-нибудь и нужны), истории культуры, к которым начинают более и более сводиться все общие истории, знаменательны тем, что они, подробно и серьезно разбирая различные религиозные, философские, политические учения как причины событий, всякий раз, как им только приходится описать действительное историческое событие, как, например, поход 12-го года, описывают его невольно как произведение власти, прямо говоря, что поход это есть произведение воли Наполеона. Говоря таким образом, историки культуры невольно противоречат самим себе или доказывают, что та новая сила, которую они придумали, не выражает исторических событий, а что единственное средство понимать историю есть та власть, которой они будто бы не признают.

III

Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется?

Мужик говорит: это черт движет его. Другой говорит, что паровоз идет оттого, что в нем движутся колеса. Третий утверждает, что причина движения заключается в дыме, относимом ветром.

Мужик неопровержим. Для того чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а немец движет паровоз. Только тогда из противоречий они увидят, что они оба не правы. Но тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо, если он вступил на почву анализа, он должен идти дальше и дальше: он должен объяснить причину движения колес. И до тех пор, пока он не придет к последней причине движения паровоза, к сжатому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причины. Тот же, который объяснял движение паровоза относимым назад дымом, заметив, что объяснение о колесах не дает причины, взял первый попавшийся признак и, с своей стороны, выдал его за причину.

Единственное понятие, которое может объяснить движение паровоза, есть понятие силы, равной видимому движению.

Единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов.

Между тем под понятием этим разумеются различными историками совершенно различные и все не равные видимому движению силы. Одни видят в нем силу, непосредственно присущую героям, — как мужик черта в паровозе; другие — силу, производную из других некоторых сил, — как движение колес; третьи — умственное влияние, — как относимый дым.

До тех пор, пока пишутся истории отдельных лиц, — будь они Кесари, Александры или Лютеры и Вольтеры, а не история всех, без одного исключения всех людей, принимающих участие в событии, — нет никакой возможности описывать движение человечества без понятия о силе, заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели. И единственное известное историкам такое понятие есть власть.

Понятие это есть единственная ручка, посредством которой можно владеть материалом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как то сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с историческим материалом, только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним. Неизбежность понятия о власти для объяснения исторических явлений лучше всего доказывают сами общие историки и историки культуры, мнимо отрешающиеся от понятия о власти и неизбежно на каждым шагу употребляющие его.

Историческая наука до сих пор по отношению к вопросам человечества подобна обращающимся деньгам — ассигнациям и звонкой монете. Биографические и частные народные истории подобны ассигнациям. Они могут ходить и обращаться, удовлетворяя своему назначению, без вреда кому бы то ни было и даже с пользой, до тех пор пока не возникнет вопрос о том, каким образом воля героев производит события, и истории Тьеров будут интересны, поучительны и, кроме того, будут иметь оттенок поэзии. Но точно так же, как сомнение в действительной стоимости бумажек возникает или из того, что так как их делать легко, то начнут их делать много, или из того, что захотят взять за них золото, — точно так же возникает сомнение в действительном значении историй этого рода, — или из того, что их является слишком много, или из того, что кто-нибудь в простоте души спросит: какою же силой сделал это Наполеон? то есть захочет разменять ходячую бумажку на чистое золото действительного понятия.

Общие же историки и историки культуры подобны людям, которые, признав неудобство ассигнаций, решили бы вместо бумажки сделать звонкую монету из металла, не имеющего плотности золота. И монета действительно вышла бы звонкая, но только звонкая. Бумажка еще могла обманывать не знающих; а монета звонкая, но не ценная, не может обмануть никого. Так же как золото только тогда золото, когда оно может быть потреблено не для одной мены, а и для дела, так же и общие историки только тогда будут золотом, когда они будут в силах ответить на существенный вопрос истории: что такое власть? Общие историки отвечают на этот вопрос противоречиво, а историки культуры вовсе отстраняют его, отвечая на что-то совсем другое. И как жетоны, похожие на золото, могут быть только употребляемы между собранием людей, согласившихся признавать их за золото, и между теми, которые не знают свойства золота, так и общие историки и историки культуры, не отвечая на существенные вопросы человечества, для каких-то своих целей служат ходячей монетою университетам и толпе читателей — охотников до серьезных книжек, как они это называют.

IV

Отрешившись от воззрения древних на божественное подчинение воли народа одному избранному и на подчинение этой воли божеству, история не может сделать ни одного шага без противоречия, не выбрав одного из двух: или возвратиться к прежнему верованию в непосредственное участие божества в делах человечества, или определенно объяснить значение той силы, производящей исторические события, которая называется властью.

Возвратиться к первому невозможно: верованье разрушено, и потому необходимо объяснить значение власти.

Наполеон приказал собрать войска и идти на войну. Представление это до такой степени нам привычно, до такой степени мы сжились с этим взглядом, что вопрос о том, почему шестьсот тысяч человек идут на войну, когда Наполеон сказал такие-то слова, кажется нам бессмысленным. Он имел власть, и потому было исполнено то, что он велел.

Ответ этот совершенно удовлетворителен, если мы верим, что власть дана была ему от Бога. Но как скоро мы не признаем этого, необходимо определить, что такое эта власть одного человека над другими.

Власть эта не может быть той непосредственной властью физического преобладания сильного существа над слабым, преобладания, основанного на приложении или угрозе приложения физической силы, — как власть Геркулеса; она не может быть тоже основана на преобладании нравственной силы, как то, в простоте душевной, думают некоторые историки, говоря, что исторические деятели суть герои, что есть люди, одаренные особенной силой души и ума и называемой гениальностью. Власть эта не может быть основана на преобладании нравственной силы, ибо, не говоря о людях-героях, как Наполеоны, о нравственных достоинствах которых мнения весьма разноречивы, история показывает нам, что ни Людовики XI-е, ни Меттернихи, управлявшие миллионами людей, не имели никаких особенных свойств силы душевной, а, напротив, были по большей части нравственно слабее каждого из миллионов людей, которыми они управляли.

Если источник власти лежит не в физических и не в нравственных свойствах лица, ею обладающего, то очевидно, что источник этой власти должен находиться вне лица — в тех отношениях к массам, в которых находится лицо, обладающее властью.

Так точно и понимает власть наука о праве, та самая разменная касса истории, обещающая разменять историческое понимание власти на чистое золото.

Власть есть совокупность воль масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей.

В области науки права, составленной из рассуждений о том, как бы надо было устроить государство и власть, если бы можно было все это устроить, все это очень ясно, но в приложении к истории это определение власти требует разъяснений.

Наука права рассматривает государство и власть, как древние рассматривали огонь — как что-то абсолютно существующее. Для истории же государство и власть суть только явления, точно так же как для физики нашего времени огонь есть не стихия, а явление.

От этого-то основного различия воззрения истории и науки права происходит то, что наука права может рассказать подробно о том, как, по ее мнению, надо бы устроить власть и что такое есть власть, неподвижно существующая вне времени; но на вопросы исторические о значении видоизменяющейся во времени власти она не может ответить ничего.

Если власть есть перенесенная на правителя совокупность воль, то Пугачев есть ли представитель воль масс? Если не есть, то почему Наполеон I есть представитель? Почему Наполеон III, когда его поймали в Булони, был преступник, а потом были преступники те, которых он поймал?

При дворцовых революциях, в которых участвуют иногда два-три человека, переносится ли тоже воля масс на новое лицо? При международных отношениях переносится ли воля масс народа на своего завоевателя? В 1808-м году воля Рейнского Союза была ли перенесена на Наполеона? Воля массы русского народа была ли перенесена на Наполеона во время 1809 года, когда наши войска в союзе с французами шли воевать против Австрии?

На эти вопросы можно отвечать трояко:

Или 1) признать, что воля масс всегда безусловно передается тому или тем правителям, которых они избрали, и что поэтому всякое возникновение новой власти, всякая борьба против раз переданной власти должна быть рассматриваема только как нарушение настоящей власти.

Или 2) признать, что воля масс переносится на правителей условно под определенными и известными условиями, и показать, что все стеснения, столкновения и даже уничтожения власти происходят от несоблюдения правителями тех условий, под которыми им передана власть.

Или 3) признать, что воля масс переносится на правителей условно, но под условиями неизвестными, неопределенными, и что возникновение многих властей, борьба их и падение происходят только от большего или меньшего исполнения правителями тех неизвестных условий, на которых переносятся воли масс с одних лиц на другие.

Так трояко и объясняют историки отношения масс к правителям.

Одни историки, не понимая, в простоте душевной, вопроса о значении власти, те самые частные и биографические историки, о которых было говорено выше, признают как будто то, что совокупность воль масс переносится на исторические лица безусловно, и потому, описывая какую-нибудь одну власть, эти историки предполагают, что эта самая власть есть одна абсолютная и настоящая, а что всякая другая сила, противодействующая этой настоящей власти, есть не власть, а нарушение власти — насилие.

Теория их, годная для первобытных и мирных периодов истории, в приложении к сложным и бурным периодам жизни народов, во время которых возникают одновременно и борются между собой различные власти, имеет то неудобство, что историк-легитимист будет доказывать, что Конвент, Директория и Бонапарт были только нарушения власти, а республиканец и бонапартист будут

доказывать: один, что Конвент, а другой, что Империя была настоящей властью, а что все остальное было нарушение власти. Очевидно, что таким образом, взаимно опровергая друг друга, объяснения власти этих историков могут годиться только для детей в самом нежном возрасте.

Признавая ложность этого взгляда на историю, другой род историков говорит, что власть основана на условной передаче правителям совокупности воль масс и что исторические лица имеют власть только над условиями исполнения той программы, которую молчаливым согласием предписала им воля народа. Но в чем состоят эти условия, историки эти не говорят нам, или если и говорят, то постоянно противоречат один другому.

Каждому историку, смотря по его взгляду на то, что составляет цель движения народа, представляются эти условия в величии, богатстве, свободе, просвещении граждан Франции или другого государства. Но не говоря уже о противоречии историков о том, какие эти условия, допустив даже, что существует одна общая всем программа этих условий, мы найдем, что исторические факты почти всегда противоречат этой теории. Если условия, под которыми передается власть, состоят в богатстве, свободе, просвещении народа, то почему Людовики XIV-е и Иоанны IV-е спокойно доживают свои царствования, а Людовики XVI-е и Карлы I-е казнятся народами? На этот вопрос историки эти отвечают тем, что деятельность Людовика XIV-го, противная программе, отразилась на Людовике XVI-м. Но почему же она не отразилась на Людовике XIV и XV, почему именно она должна была отразиться на Людовике XVI? И какой срок этого отражения? На эти вопросы нет и не может быть ответов. Так же мало объясняется при этом воззрении причина того, что совокупность воль несколько веков не переносится с своих правителей и их наследников, а потом вдруг, в продолжение пятидесяти лет, переносится на Конвент, на Директорию, на Наполеона, на Александра, на Людовика XVIII, опять на Наполеона, на Карла X, на Людовика-Филиппа, на республиканское правительство, да Наполеона III. При объяснении этих быстро совершающихся перенесений воль с одного лица на другое и в особенности при международных отношениях, завоеваниях и союзах историки эти невольно должны признать, что часть этих явлений уже не суть правильные перенесения воль, а случайности, зависящие то от хитрости, то от ошибки, или коварства, или слабости дипломата, или монарха, или руководителя партии. Так что большая часть явлений истории — междоусобия, революции, завоевания — представляются этими историками уже не произведениями перенесения свободных воль, а произведением ложно направленной воли одного или нескольких людей, то есть опять нарушениями власти. И потому исторические события и этого рода историками представляются отступлениями от теории.

Историки эти подобны тому ботанику, который, приметив, что некоторые растения выходят из семени в двух долях-листиках, настаивал бы на том, что все, что растет, растет только раздвоясь на два листика; и что пальма, и гриб, и даже дуб, разветвляясь в своем полном росте и не имея более подобия двух листиков, отступают от теории.

Третьи историки признают, что воля масс переносится на исторические лица условно, но что условия эти нам неизвестны. Они говорят, что исторические лица имеют власть только потому, что они исполняют перенесенную на них волю масс.

Но в таком случае, если сила, двигающая народами, лежит не в исторических лицах, а в самих народах, то в чем же состоит значение этих исторических лиц?

Исторические лица, говорят эти историки, выражают собою волю масс; деятельность исторических лиц служит представительницею деятельности масс.

Но в таком случае является вопрос, вся ли деятельность исторических лиц служит выражением воли масс, или только известная сторона ее? Если вся деятельность исторических лиц служит выражением воли масс, как то и думают некоторые, то биографии Наполеонов, Екатерин, со всеми подробностями придворной сплетни, служат выражением жизни народов, что есть очевидная бессмыслица; если же только одна сторона деятельности исторического лица служит выражением жизни народов, как то и думают другие мнимо философы-историки, то для того, чтобы определить, какая сторона деятельности исторического лица выражает жизнь народа, нужно знать прежде, в чем состоит жизнь народа.

Встречаясь с этим затруднением, историки этого рода придумывают самое неясное, неосязаемое и общее отвлечение, под которое возможно подвести наибольшее число событий, и говорят, что в этом отвлечении состоит цель движения человечества. Самые обыкновенные, принимаемые почти всеми историками общие отвлечения суть: свобода, равенство, просвещение, прогресс, цивилизация, культура. Поставив за цель движения человечества какое-нибудь отвлечение, историки изучают людей, оставивших по себе наибольшее число памятников, — царей, министров, полководцев, сочинителей, реформаторов, пап, журналистов, — по мере того как все эти лица, по их мнению, содействовали или противодействовали известному отвлечению. Но так как ничем не доказано, чтобы цель человечества состояла в свободе, равенстве, просвещении или цивилизации, и так как связь масс с правителями и просветителями человечества основана только на произвольном предположении, что совокупность воль масс всегда переносится на те лица, которые нам заметны, то и деятельность миллионов людей, переселяющихся, сжигающих дома, бросающих земледелие, истребляющих друг друга, никогда не выражается в описании деятельности десятка лиц, не сжигающих домов, не занимающихся земледелием, не убивающих себе подобных.

История на каждом шагу доказывает это. Брожение народов запада в конце прошлого века и стремление их на восток объясняется ли деятельностью Людовика XIV-го, XV-го и XVI-го, их любовниц, министров, жизнью Наполеона, Руссо, Дидерота, Бомарше и других?

Движение русского народа на восток, в Казань и Сибирь, выражается ли в подробностях больного характера Иоанна IV-го и его переписки с Курбским?

Движение народово во время крестовых походов объясняется ли изучением Готфридов и Людовиков и их дам? Для нас осталось непонятным движение народов с запада на восток, без всякой цели, без предводительства, с толпой бродяг, с Петром

Пустынником. И еще более осталось непонятно прекращение этого движения тогда, когда ясно поставлена была историческими деятелями разумная, святая цель походов — освобождение Иерусалима. Папы, короли и рыцари побуждали народ к освобождению святой земли; но народ не шел, потому что та неизвестная причина, которая побуждала его прежде к движению, более не существовала. История Готфридов и миннезенгеров, очевидно, не может вместить в себя жизнь народов. И история Готфридов и миннезенгеров осталась историей Готфридов и миннезенгеров, а история жизни народов и их побуждений осталась неизвестной.

Еще менее объяснит нам жизнь народов история писателей и реформаторов.

История культуры объяснит нам побуждения, условия жизни и мысли писателя или реформатора. Мы узнаем, что Лютер имел вспыльчивый характер и говорил такие-то речи; узнаем, что Руссо был недоверчив и писал такие-то книжки; но не узнаем мы, отчего после реформации резались народы и отчего во время французской революции казнили друг друга.

Если соединить обе эти истории вместе, как то и делают новейшие историки, то это будут истории монархов и писателей, а не история жизни народов.

V

Жизнь народов не вмещается в жизнь нескольких людей, ибо связь между этими несколькими людьми и народами не найдена. Теория о том, что связь эта основана на перенесении совокупности воль на исторические лица, есть гипотеза, не подтверждаемая опытом истории.

Теория о перенесении совокупности воль масс на исторические лица, может быть, весьма много объясняет в области науки и права и, может быть, необходима для своих целей; но в приложении к истории, как только являются революции, завоевания, междоусобия, как только начинается история, — теория эта ничего не объясняет.

Теория эта кажется неопровержимой именно потому, что акт перенесения воль народа не может быть проверен, так как он никогда не существовал.

Какое бы ни совершилось событие, кто бы ни стал во главе события, теория всегда может сказать, что такое лицо стало во главе события, потому что совокупность воль была перенесена на него.

Ответы, даваемые этой теорией на исторические вопросы, подобны ответам человека, который, глядя на двигающееся стадо и не принимая во внимание ни различной доброты пастбища в разных местах поля, ни погони пастуха, судил бы о причинах того или другого направления стада по тому, какое животное идет впереди стада.

«Стадо идет по этому направлению потому, что впереди идущее животное ведет его, и совокупность воль всех остальных животных перенесена на этого правителя стада». Так отвечает первый разряд историков, признающих безусловную передачу власти.

«Ежели животные, идущие во главе стада, переменяются, то это происходит оттого, что совокупность воль всех животных переносится с одного правителя на другого, смотря по тому, ведет ли это животное по тому направлению, которое избрало все стадо». Так отвечают историки, признающие, что совокупность воль масс переносится на правителей под условиями, которые они считают известными. (При таком приеме наблюдения весьма часто бывает, что наблюдатель, соображаясь с избранным им направлением, считает вожаками тех, которые по случаю перемены направления масс не суть уже передовые, а боковые, а иногда задние.)

«Если беспрестанно переменяются стоящие во главе животные и беспрестанно переменяются направления всего стада, то это происходит оттого, что для достижения того направления, которое нам известно, животные передают свои воли тем животным, которые нам заметны, и для того, чтобы изучать движение стада, надо наблюдать всех заметных нам животных, идущих со всех сторон стада». Так говорят историки третьего разряда, признающие выражениями своего времени все исторические лица, от монархов до журналистов.

Теория перенесения воль масс на исторические лица есть только перифраза — только выражение другими словами слов вопроса.

Какая причина исторических событий? — Власть. Что есть власть? — Власть есть совокупность воль, перенесенных на одно лицо. При каких условиях переносятся воли масс на одно лицо? — При условиях выражения лицом воли всех людей. То есть власть есть власть. То есть власть есть слово, значение которого нам непонятно.

Если бы область человеческого знания ограничивалась одним отвлеченным мышлением, то, подвергнув критике то объяснение власти, которое дает наука, человечество пришло бы к заключению, что власть есть только слово и в действительности не существует. Но для познавания явлений, кроме отвлеченного мышления, человек имеет орудие опыта, на котором он поверяет результаты мышления. И опыт говорит, что власть не есть слово, но действительно существующее явление.

Не говоря о том, что без понятия власти не может обойтись ни одно описание совокупной деятельности людей, существование власти доказывается как историею, так и наблюдением современных событий.

Всегда, когда совершается событие, является человек, или люди, по воле которых событие представляется совершившимся. Наполеон III предписывает, и французы идут в Мексику. Прусский король и Бисмарк предписывают, и войска идут в Богемию. Наполеон I приказывает, и войска идут в Россию. Александр I приказывает, и французы покоряются Бурбонам. Опыт показывает нам, что какое бы ни совершилось событие, оно всегда связано с волею одного или нескольких людей, которые его приказали.

Историки, по старой привычке признания божественного участия в делах человечества, хотят видеть причину события в выражении воли лица, облеченного Властью; но заключение это не подтверждается ни рассуждением, ни опытом.

С одной стороны, рассуждение показывает, что выражение воли человека — его слова — суть только часть общей деятельности, выражающейся в событии, как, например, в войне или революции; и потому, без признания непонятной, сверхъестественной силы — чуда, нельзя допустить, чтобы слова могли быть непосредственной причиной движения миллионов; с другой стороны, если даже допустить, что слова могут быть причиной события, то история показывает, что выражения воли исторических лиц в большей части случаев не производят никакого действия, то есть что приказания их часто не только не исполняются, но что иногда происходит даже совершенно обратное тому, что ими приказано.

Не допуская божественного участия в делах человечества, мы не можем принимать власть за причину событий.

Власть, с точки зрения опыта, есть только зависимость, существующая между выражением воли лица и исполнением этой воли другими людьми.

Для того чтобы объяснить себе условия этой зависимости, мы должны восстановить прежде всего понятие выражения воли, относя его к человеку, а не к божеству.

Если божество отдает приказание, выражает свою волю, как то нам показывает история древних, то выражение этой воли не зависит от времени и ничем не вызвано, так как божество ничем не связано с событием. Но, говоря о приказаниях — выражении воли людей, действующих во времени и связанных между собой, мы, для того чтобы объяснить себе связь приказаний с событиями, должны восстановить: 1) условие всего совершающегося: непрерывность движения по времени как событий, так и приказывающего лица, и 2) условие необходимой связи, в которой находится приказывающее лицо к тем людям, которые исполняют его приказание.

VI

Только выражение воли божества, не зависящее от времени, может относиться к целому ряду событий, имеющему совершиться через несколько лет или столетий, и только божество, ничем не вызванное, по одной своей воле может определить направление движения человечества; человек же действует во времени и сам участвует в событии.

Восстановляя первое упущенное условие — условие времени, мы увидим, что ни одно приказание не может быть исполнено без того, чтобы не было предшествовавшего приказания, делающего возможным исполнение последнего.

Никогда ни одно приказание не появляется самопроизвольно и не включает в себя целого ряда событий; но каждое приказание вытекает из другого и никогда не относится к целому ряду событий, а всегда только к одному моменту события.

Когда мы говорим, например, что Наполеон приказал войскам идти на войну, мы соединяем в одно одновременно выраженное приказание ряд последовательных приказаний, зависевших друг от друга. Наполеон не мог приказать поход на Россию и никогда не приказывал его. Он приказал нынче написать такие-то бумаги в Вену, в Берлин и в Петербург; завтра — такие-то декреты и приказы по армии, флоту и интендантству и т. д., и т. д., — миллионы приказаний, из которых составился ряд приказаний, соответствующих ряду событий, приведших французские войска в Россию.

Если Наполеон во все свое царствование отдает приказания об экспедиции в Англию, ни на одно из своих предприятий не тратит столько усилий и времени и, несмотря на то, во все свое царствование даже ни разу не пытается исполнить своего намерения, а делает экспедицию в Россию, с которой он, по неоднократно высказываемому убеждению, считает выгодным быть в союзе, то это происходит оттого, что первые приказания не соответствовали, а вторые соответствовали ряду событий.

Для того, чтобы приказание было наверное исполнено, надо, чтобы человек выразил такое приказание, которое могло бы быть исполнено. Знать же то, что может и что не может быть исполнено, невозможно не только для наполеоновского похода на Россию, где принимают участие миллионы, но и для самого несложного события ибо для исполнения того и другого всегда могут встретиться миллионы препятствий. Всякое исполненное приказание есть всегда одно из огромного количества неисполненных. Все невозможные приказания не связываются с событием и не бывают исполнены. Только те, которые возможны, связываются в последовательные ряды приказаний, соответствующие рядам событий, и бывают исполнены.

Ложное представление наше о том, что предшествующее событию приказание есть причина события, происходит оттого, что когда событие совершилось и те одни из тысячи приказаний, которые связались с событиями, исполнились, то мы забываем о тех, которые не были, потому что не могли быть исполнены. Кроме того, главный источник заблуждения нашего в этом смысле происходит оттого, что в историческом изложении целый ряд бесчисленных, разнообразных, мельчайших событий, как, например, все то, что привело войска французские в Россию, обобщается в одно событие по тому результату, который произвел этот ряд, событий, и соответственно этому обобщению обобщается и весь ряд приказаний в одно выражение воли.

Мы говорим: Наполеон захотел и сделал поход на Россию. В действительности же мы никогда не найдем во всей деятельности Наполеона ничего подобного выражению этой воли, а увидим ряды приказаний или выражений его воли, самым разнообразным и неопределенным образом направленных. Из бесчисленного ряда неисполненных наполеоновских приказаний составился ряд исполненных приказаний для похода 12-го года не потому, что приказания эти чем-нибудь отличались от других, неисполненных приказаний, а потому, что ряд этих приказаний совпал с рядом событий, приведших французские войска в Россию; точно так же, как в трафарете нарисуется такая или другая фигура не потому, в какую сторону и как мазать по нем красками, а потому, что по фигуре, вырезанной в трафарете, во все стороны было мазано краской.

Так что, рассматривая во времени отношение приказаний к событиям, мы найдем, что приказание ни в каком случае не может быть причиной событий, а что между тем и другим существует известная определенная зависимость.

Для того чтобы понять, в чем состоит эта зависимость, необходимо восстановить другое упущенное условие всякого приказания, исходящего не от божества, а от человека, и состоящее в том, что сам приказывающий человек

участвует в событии. Это-то отношение приказывающего к тем, кому он приказывает и есть именно то, что называется властью. Отношение это состоит в следующем:

Для общей деятельности люди складываются всегда в известные соединения, в которых, несмотря на различие цели, поставленной для совокупного действия, отношение между людьми, участвующими в действии, всегда бывает одинаковое.

Складываясь в эти соединения, люди всегда становятся между собой в такое отношение, что наибольшее количество людей принимают наибольшее прямое участие и наименьшее количество людей — наименьшее прямое участие в том совокупном действии, для которого они складываются.

Из всех тех соединений, в которые складываются люди для совершения совокупных действий, одна из самых резких и определенных есть войско.

Всякое войско составляется из низших по военному званию членов: рядовых, которых всегда самое большое количество; из следующих по военному званию более высших чинов — капралов, унтер-офицеров, которых число меньше первого; еще высших, число которых еще меньше, и т. д. до высшей военной власти, которая сосредоточивается в одном лице.

Военное устройство может быть совершенно точно выражено фигурой конуса, в котором основание с самым большим диаметром будут составлять рядовые; высшее, меньшее основание, — высшие чины армии и т. д. до вершины конуса, точку которой будет составлять полководец.

Солдаты, которых наибольшее число, составляют низшие точки конуса и его основание. Солдат сам непосредственно колет, режет, жжет, грабит и всегда на эти действия получает приказание от вышестоящих лиц; сам же никогда не приказывает. Унтер-офицер (число унтер-офицеров уже меньше) реже совершает самое действие, чем солдат; но уже приказывает. Офицер еще реже совершает самое действие и еще чаще приказывает. Генерал уже только приказывает идти войскам, указывая цель, и почти никогда не употребляет оружия. Полководец уже никогда не может принимать прямого участия в самом действии и только делает общие распоряжения о движении масс. То же отношение лиц между собою обозначается во всяком соединении людей для общей деятельности, — в земледелии, торговле и во всяком управлении.

Итак, не разделяя искусственно всех сливающихся точек конуса и чинов армии, или званий и положений какого бы то ни было управления или общего дела, от низших до высших, обозначается закон, по которому люди для совершения совокупных действий слагаются всегда между собой в таком отношении, что, чем непосредственнее люди участвуют в совершении действия, тем менее они могут приказывать и тем их большее число; и что, чем меньше то прямое участие, которое люди принимают в самом действии, тем они больше приказывают и тем число их меньше; пока не дойдем таким образом, восходя от низших слоев, до одного последнего человека, принимающего наименьшее прямое участие в событии и более всех направляющего свою деятельность на приказывание.

Это-то отношение лиц приказывающих к тем, которым они приказывают, и составляет сущность понятия, называемого властью.

Восстановив условия времени, при которых совершаются все события, мы нашли, что приказание исполняется только тогда, когда оно относится к соответствующему ряду событий. Восстановляя же необходимое условие связи между приказывающим и исполняющим, мы нашли, что по самому свойству своему приказывающие принимают наименьшее участие в самом событии и что деятельность их исключительно направлена на приказывание.

VII

Когда совершается какое-нибудь событие, люди выражают свои мнения, желания о событии, и так как событие вытекает из совокупного действия многих людей, то одно из выраженных мнений или желаний непременно исполняется хотя приблизительно. Когда одно из выраженных мнений исполнено, мнение это связывается с событием, как предшествовавшее ему приказание.

Люди тащат бревно. Каждый высказывает свое мнение о том, как и куда тащить. Люди вытаскивают бревно, и оказывается, что это сделано так, как сказал один из них. Он приказал. Вот приказание и власть в своем первобытном виде.

Тот, кто больше работал руками, мог меньше обдумывать то, что он делал, и соображать то, что может выйти из общей деятельности, и приказывать. Тот, кто больше приказывал, вследствие своей деятельности словами, очевидно, мог меньше действовать руками. При большем сборище людей, направляющих деятельность на одну цель, еще резче отделяется разряд людей, которые тем менее принимают прямое участие в общей деятельности, чем более деятельность их направлена на приказывание.

Человек, когда он действует один, всегда носит сам в себе известный ряд соображений, руководивших, как ему кажется, его прошедшей деятельностью, служащих для него оправданием его настоящей деятельности и руководящих его в предположении о будущих его поступках.

Точно то же делают сборища людей, предоставляя тем, которые не участвуют в действии, придумывать соображения, оправдания и предположения об их совокупной деятельности.

По известным или неизвестным нам причинам французы начинают топить и резать друг друга. И соответственно событию ему сопутствует его оправдание в выраженных волях людей о том, что это необходимо для блага Франции, для свободы, для равенства. Люди перестают резать друг друга, и событию этому сопутствует оправдание необходимости единства власти, отпора Европе и т. д. Люди идут с запада на восток, убивая себе подобных, и событию этому сопутствуют слова о славе Франции, низости Англии и т. д. История показывает нам, что эти оправдания события не имеют никакого общего смысла, противоречат сами себе, как убийство человека, вследствие признания его прав, и убийство миллионов в России для унижения Англии. Но оправдания эти в современном смысле имеют необходимое значение.

Оправдания эти снимают нравственную ответственность с людей, производящих события. Временные цели эти подобны щеткам, идущим для очищения пути по рельсам впереди поезда: они очищают путь нравственной ответственности людей. Без этих оправданий не мог бы быть объяснен самый простой вопрос, представляющийся при рассмотрении каждого события: каким образом миллионы людей совершают совокупные преступления, войны, убийства и т. д.?

При настоящих, усложненных формах государственной и общественной жизни в Европе возможно ли придумать какое бы то ни было событие, которое бы не было предписано, указано, приказано государями, министрами, парламентами, газетами? Есть ли какое-нибудь совокупное действие, которое не нашло бы себе оправдания в государственном единстве, в национальности, в равновесии Европы, в цивилизации? Так что всякое совершившееся событие неизбежно совпадает с каким-нибудь выраженным желанием и, получая себе оправдание, представляется как произведение воли одного или нескольких людей.

Куда бы ни направился движущийся корабль, впереди его всегда будет видна струя рассекаемых им волн. Для людей, находящихся на корабле, движение этой струи будет единственно заметное движение.

Только следя вблизи, момент за моментом, за движением этой струи и сравнивая это движение с движением корабля, мы убедимся, что каждый момент движения струи определяется движением корабля и что нас ввело в заблуждение то, что мы сами незаметно движемся.

То же самое мы увидим, следя момент за моментом за движением исторических лиц (то есть восстановляя необходимое условие всего совершающегося — условие непрерывности движения во времени) и не упуская из виду необходимой связи исторических лиц с массами.

Когда корабль идет по одному направлению, то впереди его находится одна и та же струя; когда он часто переменяет направление, то часто переменяются и бегущие впереди его струи. Но куда бы он ни повернулся, везде будет струя, предшествующая его движению.

Что бы ни совершилось, всегда окажется, что это самое было предвидено и приказано. Куда бы ни направлялся корабль, струя, не руководя, не усиливая его движения, бурлит впереди его и будет издали представляться нам не только произвольно движущейся, но и руководящей движением корабля.

Рассматривая только те выражения воли исторических лиц, которые отнеслись к событиям как приказания, историки полагали, что события находятся в зависимости от приказаний. Рассматривая же самые события и ту связь с массами, в которой находятся исторические лица, мы нашли, что исторические лица и их приказания находятся в зависимости от события. Несомненным доказательством этого вывода служит то, что, сколько бы ни было приказаний, событие не совершится, если на это нет других причин; но как скоро совершится событие — какое бы то ни было, — то из

числа всех беспрерывно выражаемых воль различных лиц найдутся такие, которые по смыслу и по времени отнесутся к событию как приказания.

Прийдя к этому заключению, мы можем прямо и положительно ответить на те два существенные вопроса истории: 1) Что есть власть? 2) Какая сила производит движение народов?

1) Власть есть такое отношение известного лица к другим лицам, в котором лицо это тем менее принимает участие в действии, чем более оно выражает мнения, предположения и оправдания совершающегося совокупного действия.

2) Движение народов производят не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали историки, но деятельность всех людей, принимающих участие в событии и соединяющихся всегда так, что те, которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на себя наименьшую ответственность; и наоборот.

В нравственном отношении причиною события представляется власть в физическом отношении — те, которые подчиняются власти. Но так как нравственная деятельность немыслима без физической, то причина события находится ни в той, ни в другой, а в соединении обеих.

Или, другими словами, к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины неприложимо.

В последнем анализе мы приходим к кругу вечности, к той крайней грани, к которой во всякой области мышления приходит ум человеческий, если не играет своим предметом. Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются.

Говоря о взаимодействии тепла и электричества и об атомах, мы не можем сказать, почему это происходит, и говорим, что это так есть потому, что немыслимо иначе, потому что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений. Почему происходит война или революция? мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон.

VIII

Если бы история имела дело до внешних явлений, постановление этого простого и очевидного закона было бы достаточно, и мы бы кончили наше рассуждение. Но закон истории относится до человека. Частица материи не может сказать нам, что она вовсе не чувствует потребности притягиванья и отталкиванья и что это неправда; человек же, который есть предмет истории, прямо говорит: я свободен и потому не подлежу законам.

Присутствие хотя не высказанного вопроса о свободе воли человека чувствуется на каждом шагу истории.

Все серьезно мыслившие историки невольно приходили к этому вопросу. Все противоречия, неясности истории, тот ложный путь, по которому идет эта наука, основаны только на неразрешенности этого вопроса.

Если воля каждого человека была свободна, то есть что каждый мог поступить так, как ему захотелось, то вся история есть ряд бессвязных случайностей.

Если даже один человек из миллионов в тысячелетний период времени имел возможность поступить свободно, то есть так, как ему захотелось, то очевидно, что один свободный поступок этого человека, противный законам, уничтожает возможность существования каких бы то ни было законов для всего человечества.

Если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли, ибо воля людей должна подлежать этому закону.

В этом противоречии заключается вопрос о свободе воли, с древнейших времен занимавший лучшие умы человечества и с древнейших времен постановленный во всем его громадном значении.

Вопрос состоит в том, что, глядя на человека, как на предмет наблюдения с какой бы то ни было точки зрения, — богословской, исторической, этической, философской, — мы находим общий закон необходимости, которому он подлежит так же, как и все существующее. Глядя же на него из себя, как на то, что мы сознаем, мы чувствуем себя свободными.

Сознание это есть совершенно отдельный и независимый от разума источник самопознавания. Чрез разум человек наблюдает сам себя; но знает он сам себя только через сознание.

Без сознания себя немыслимо и никакое наблюдение и приложение разума.

Для того чтобы понимать, наблюдать, умозаключать, человек должен прежде сознавать себя живущим. Живущим человек знает себя не иначе, как хотящим, то есть сознает свою волю. Волю же свою, составляющую сущность его жизни, человек сознает и не может сознавать иначе, как свободною.

Если, подвергая себя наблюдению, человек видит, что воля его направляется всегда по одному и тому же закону (наблюдает ли он необходимость принимать пищу, или деятельность мозга, или что бы то ни было), он не может понимать это всегда одинаковое направление своей воли, иначе, как ограничением ее. То, что не было бы свободно, не могло бы быть и ограничено. Воля человека представляется ему ограниченною именно потому, что он сознает ее не иначе, как свободною.

Вы говорите: я не свободен. А я поднял и опустил руку. Всякий понимает, что это нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы.

Ответ этот есть выражение сознания, не подлежащего разуму.

Если бы сознание свободы не было отдельным и независимым от разума источником самопознания, оно бы подчинялось рассуждению и опыту; но в действительности такого подчинения никогда не бывает, и немыслимо.

Ряд опытов и рассуждений показывает каждому человеку, что он как предмет наблюдения подлежит известным законам, и человек подчиняется им и никогда не борется с раз узнанным им законом тяготения или непроницаемости. Но тот же ряд

опытов и рассуждений показывает ему, что полная свобода, которую он сознает в себе, — невозможна, что всякое действие его зависит от его организации, от его характера и действующих на него мотивов; но человек никогда не подчиняется выводам этих опытов и рассуждений.

Узнав из опыта и рассуждения, что камень падает вниз, человек несомненно верит этому и во всех случаях ожидает исполнения узнанного им закона.

Но узнав так же несомненно, что воля его подлежит законам, он не верит и не может верить этому.

Сколько бы раз опыт и рассуждение ни показывали человеку, что в тех же условиях, с тем же характером он сделает то же самое, что и прежде, он, в тысячный раз приступая в тех же условиях, с тем же характером к действию, всегда кончавшемуся одинаково, несомненно чувствует себя столь же уверенным в том, что он может поступать, как он захочет, как и до опыта. Всякий человек, дикий и мыслитель, как бы неотразимо ему ни доказывали рассуждение и опыт то, что невозможно представить себе два поступка в одних и тех же условиях, чувствует, что без этого бессмысленного представления (составляющего сущность свободы) он не может себе представить жизни. Он чувствует, что, как бы это ни было невозможно, это есть; ибо без этого представления свободы он не только не понимал бы жизни, но не мог бы жить ни одного мгновения.

Он не мог бы жить потому, что все стремления людей, все побуждения к жизни суть только стремления к увеличению свободы. Богатство — бедность, слава — неизвестность, власть — подвластность, сила — слабость, здоровье — болезнь, образование — невежество, труд — досуг, сытость — голод, добродетель — порок суть только бóльшие или меньшие степени свободы.

Представить себе человека, не имеющего свободы, нельзя иначе, как лишенным жизни.

Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием, как возможность совершить два поступка в один и тот же момент времени или действие без причины, то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму.

Это-то непоколебимое, неопровержимое, не подлежащее опыту и рассуждению сознание свободы, признаваемое всеми мыслителями и ощущаемое всеми людьми без исключения, сознание, без которого немыслимо никакое представление о человеке, и составляет другую сторону вопроса.

Человек есть творение всемогущего, всеблагого и всеведущего Бога. Что же такое есть грех, понятие о котором вытекает из сознания свободы человека? вот вопрос богословия.

Действия людей подлежат общим, неизменным законам, выражаемым статистикой. В чем же состоит ответственность человека перед обществом, понятие о которой вытекает из сознания свободы? вот вопрос права.

Поступки человека вытекают из его прирожденного характера и мотивов, действующих на него. Что такое есть совесть и сознание добра и зла поступков, вытекающих из сознания свободы? вот вопрос этики.

Человек, в связи с общей жизнью человечества, представляется подчиненным законам, определяющим эту жизнь. Но тот же человек, независимо от этой связи, представляется свободным. Как должна быть рассматриваема прошедшая жизнь народов и человечества — как произведение свободной или несвободной деятельности людей? вот вопрос истории.

Только в наше самоуверенное время популяризации знаний, благодаря сильнейшему орудию невежества — распространению книгопечатания, вопрос о свободе воли сведен на такую почву, на которой и не может быть самого вопроса. В наше время большинство так называемых передовых людей, то есть толпа невежд, приняла работы естествоиспытателей, занимающихся одной стороной вопроса, за разрешение всего вопроса.

Души и свободы нет, потому жизнь человека выражается мускульными движениями, а мускульные движения обусловливаются нервной деятельностью; души и свободы нет, потому что мы в неизвестный период времени произошли от обезьян, — говорят, пишут и печатают они, вовсе и не подозревая того, что тысячелетия тому назад всеми религиями, всеми мыслителями не только признан, но никогда и не был отрицаем тот самый закон необходимости, который с таким старанием они стремятся доказать теперь физиологией и сравнительной зоологией. Они не видят того, что роль естественных наук в этом вопросе состоит только в том, чтобы служить орудием для освещения одной стороны его. Ибо то, что, с точки зрения наблюдения, разум и воля суть только отделения (sécrétion) мозга, и то, что человек, следуя общему закону, мог развиться из низших животных в неизвестный период времени, уясняет только с новой стороны тысячелетия тому назад признанную всеми религиями и философскими теориями истину о том, что, с точки зрения разума, человек подлежит законам необходимости, но ни на волос не подвигает разрешение вопроса, имеющего другую, противоположную сторону, основанную на сознании свободы.

Если люди произошли от обезьян в неизвестный период времени, то это столь же понятно, как и то, что люди произошли от горсти земли в известный период времени (в первом случае X есть время, во втором — происхождение), и вопрос о том, каким образом соединяется сознание свободы человека с законом необходимости, которому подлежит человек, не может быть разрешен сравнительною физиологией и зоологией, ибо в лягушке, кролике и обезьяне мы может наблюдать только мускульно-нервную деятельность, а в человеке — и мускульно-нервную деятельность и сознание.

Естествоиспытатели и их поклонники, думающие разрешать вопрос этот, подобны штукатурам, которых бы приставили заштукатурить одну сторону стены церкви и которые, пользуясь отсутствием главного распорядителя работ, в порыве усердия замазывали бы своею штукатуркой и окна, и образа, и леса, и неутвержденные еще стены и радовались бы на то, как, с их штукатурной точки зрения, все выходит ровно и гладко.

IX

Разрешение вопроса о свободе и необходимости для истории — перед другими отраслями знания, в которых разрешался этот вопрос, — имеет то преимущество, что для истории вопрос этот относится не к самой сущности воли человека, а к представлению о проявлении этой воли в прошедшем и в известных условиях.

История по разрешению этого вопроса становится к другим наукам в положение науки опытной к наукам умозрительным.

История своим предметом имеет не самую волю человека, а наше представление о ней.

И потому для истории не существует, как для богословия, этики и философии, неразрешимой тайны о соединении двух противоречий свободы и необходимости. История рассматривает представление о жизни человека, в котором соединение этих двух противоречий уже совершилось.

В действительной жизни каждое историческое событие, каждое действие человека понимается весьма ясно и определенно, без ощущения малейшего противоречия, несмотря на то, что каждое событие представляется частию свободным, частию необходимым.

Для разрешения вопроса о том, как соединяются свобода и необходимость и что составляет сущность этих двух понятий, философия истории может и должна идти путем, противным тому, по которому шли другие науки. Вместо того чтобы, определив в самих себе понятия о свободе и о необходимости, под составленные определения подводить явления жизни, — история из огромного количества подлежащих ей явлений, всегда представляющихся в зависимости от свободы и необходимости, должна вывести определение самих понятий о свободе и о необходимости.

Какое бы мы ни рассматривали представление о деятельности многих людей или одного человека, мы понимаем ее не иначе, как произведением отчасти свободы человека, отчасти законов необходимости.

Говоря ли о переселении народов и набегах варваров, или о распоряжениях Наполеона III, или о поступке человека, совершенном час тому назад и состоящем в том, что из нескольких направлений прогулки он выбрал одно, — мы не видим ни малейшего противоречия. Мера свободы и необходимости, руководившей поступками этих людей, ясно определена для нас.

Весьма часто представление о большей или меньшей свободе различно, смотря по различной точке зрения, с которой мы рассматриваем явление; но — всегда одинаково — каждое действие человека представляется нам не иначе, как известным соединением свободы и необходимости. В каждом рассматриваемом действии мы видим известную долю свободы и известную долю необходимости. И всегда, чем более в каком бы то ни было действии мы видим свободы, тем менее необходимости; и чем более необходимости, тем менее свободы.

Отношение свободы к необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок; но отношение это всегда остается обратно пропорциональным.

Человек тонущий, хватаясь за другого и потопляя его, или изнуренная кормлением ребенка голодная мать, крадущая пищу, или человек, приученный к дисциплине, по команде в строю убивающий беззащитного человека, — представляются менее виновными, то есть менее свободными и более подлежащими закону необходимости, тому, кто знает те условия, в которых находились эти люди, и более свободными тому, кто не знает, что тот человек сам тонул, что мать была голодна, солдат был в строю и т. д. Точно так же человек, двадцать лет тому назад совершивший убийство и после того спокойно и безвредно живший в обществе, представляется менее виновным; поступок его — более подлежавшим закону необходимости для того, кто рассматривает его поступок по истечении двадцати лет, и более свободным тому, кто рассматривал тот же поступок через день после того, как он был совершен. И точно так же каждый поступок человека сумасшедшего, пьяного или сильно возбужденного представляется менее свободным и более необходимым тому, кто знает душевное состояние того, кто совершил поступок, и более свободным и необходимым тому, кто этого не знает. Во всех этих случаях увеличивается или уменьшается понятие о свободе и, соответственно тому, уменьшается или увеличивается понятие о необходимости, — смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок. Так что, чем большая представляется необходимость, тем меньше представляется свобода. И наоборот.

Религия, здравый смысл человечества, наука права и сама история одинаково понимают это отношение межу необходимостью и свободой.

Все без исключения случаи, в которых увеличивается и уменьшается наше представление о свободе и о необходимости, имеют только три основания:

1) Отношение человека, совершившего поступок, к внешнему миру,

2) ко времени и

3) к причинам, произведшим поступок.

Первое основание есть большее или меньшее видимое нами отношение человека к внешнему миру, более или менее ясное понятие о том определенном месте, которое занимает каждый человек по отношению ко всему, одновременно с ним существующему. Это есть то основание, вследствие которого очевидно, что тонущий человек менее свободен и более подлежит необходимости, чем человек, стоящий на суше; то основание, вследствие которого действия человека, живущего в тесной связи с другими людьми в густонаселенной местности, действия человека, связанного семьей, службой, предприятиями, представляются несомненно менее свободными и более подлежащими необходимости, чем действия человека одинокого и уединенного.

Если мы рассматриваем человека одного, без отношения его ко всему окружающему, то каждое действие его представляется нам свободным. Но если мы видим хоть какое-нибудь отношение его к тому, что окружает его, если мы видим связь его с чем бы то ни было — с человеком, который говорит с ним, с книгой, которую он читает, с трудом, которым он занят, даже с воздухом, который его окружает, с светом даже, который падает на окружающие его предметы, — мы

видим, что каждое из этих условий имеет на него влияние и руководит хотя одной стороной его деятельности. И настолько, насколько мы видим этих влияний, — настолько уменьшается наше представление о его свободе и увеличивается представление о необходимости, которой он подлежит.

2) Второе основание есть: большее или меньшее видимое временное отношение человека к миру; более или менее ясное понятие о том месте, которое действие человека занимает во времени. Это есть то основание, вследствие которого падение первого человека, имевшее своим последствием происхождение рода человеческого, представляется, очевидно, менее свободным, чем вступление в брак современного человека. Это есть то основание, вследствие которого жизнь и деятельность людей, живших века тому назад, и связанная со мною во времени, не может представляться мне столь свободною, как жизнь современная, последствия которой мне еще неизвестны.

Постепенность представления о большей или меньшей свободе и необходимости в этом отношении зависит от большего или меньшего промежутка времени от совершения поступка до суждения о нем.

Если я рассматриваю поступок, совершенный мной минуту тому назад, при приблизительно тех же самых условиях, при которых я нахожусь теперь, — мой поступок представляется мне несомненно свободным. Но если я обсуживаю поступок, совершенный месяц тому назад, то, находясь в других условиях, я невольно признаю, что, если бы поступок этот не был совершен, — многое полезное, приятное и даже необходимое, вытекшее из этого поступка, не имело бы места. Если я перенесусь воспоминанием к поступку еще более отдаленному, за десять лет и далее, то последствия моего поступка представятся мне еще очевиднее; и мне трудно будет представить себе, что бы было, если бы не было поступка. Чем дальше назад буду переноситься я воспоминаниями или, что то же самое, вперед суждением, тем рассуждение мое о свободе поступка будет становиться сомнительнее.

Точно ту же прогрессию убедительности об участии свободной воли в общих делах человечества мы находим и в истории. Совершившееся современное событие представляется нам несомненно произведением всех известных людей; но в событии более отдаленном мы видим уже его неизбежные последствия, помимо которых мы ничего другого не можем представить. И чем дальше переносимся мы назад в рассматривании событий, тем менее они нам представляются произвольными.

Австро-прусская война представляется нам несомненным последствием действий хитрого Бисмарка и т. п.

Наполеоновские войны, хотя уже сомнительно, но еще представляются нам произведениями воли героев; но в крестовых походах мы уже видим событие, определенно занимающее свое место и без которого немыслима новая история Европы, хотя точно так же для летописцев крестовых походов событие это представлялось только произведением воли некоторых лиц. В переселении народов, никому уже в наше время не приходит в голову, чтобы от произвола Аттилы зависело обновить европейский мир. Чем дальше назад мы переносим в истории предмет наблюдения, тем сомнительнее становится свобода людей, производивших события, и тем очевиднее закон необходимости.

3) Третье основание есть бóльшая или меньшая доступность для нас той бесконечной связи причин, составляющей неизбежное требование разума и в которой каждое понимаемое явление, и потому каждое действие человека, должно иметь свое определенное место, как следствие для предыдущих и как причина для последующих.

Это есть то основание, вследствие которого действия свои и других людей представляются нам, с одной стороны, тем более свободными и менее подлежащими необходимости, чем более известны нам те выведенные из наблюдения физиологические, психологические и исторические законы, которым подлежит человек, и чем вернее усмотрена нами физиологическая, психологическая или историческая причина действия; с другой стороны, чем проще самое наблюдаемое действие и чем несложнее характером и умом тот человек, действие которого мы рассматриваем.

Когда мы совершенно не понимаем причины поступка: в случае ли злодейства, добродетели или даже безразличного по добру и злу поступка, — мы в таком поступке признаем наибольшую долю свободы. В случае злодейства мы более всего требуем за такой поступок наказания; в случае добродетели — более всего ценим такой поступок. В безразличном случае признаем наибольшую индивидуальность, оригинальность, свободу. Но если хоть одна из бесчисленных причин известна нам, мы признаем уже известную долю необходимости и менее требуем возмездия за преступление, менее признаем заслуги в добродетельном поступке, менее свободы в казавшемся оригинальном поступке. То, что преступник был воспитан в среде злодеев, уже смягчает его вину. Самоотвержение отца, матери, самоотвержение и возможностью награды более понятно, чем беспричинное самоотвержение, и потому представляется менее заслуживающим сочувствия, менее свободным. Основатель секты, партии, изобретатель менее удивляют нас, когда мы знаем, как и чем была подготовлена его деятельность. Если мы имеем большой ряд опытов, если наблюдение наше постоянно направлено на отыскание соотношений в действиях людей между причинами и следствиями, то действия людей представляются нам тем более необходимыми и тем менее свободными, чем вернее мы связываем последствия с причинами. Если рассматриваемые действия просты и мы для наблюдения имели огромное количество таких действий, то представление наше об их необходимости будет еще полнее. Бесчестный поступок сына бесчестного отца, дурное поведение женщины, попавшей в известную среду, возвращение к пьянству пьяницы и т. п. суть поступки, которые тем менее представляются нам свободными, чем понятнее для нас причина. Если же и самый человек, действие которого мы рассматриваем, стоит на самой низкой степени развития ума, как ребенок, сумасшедший, дурачок, то мы, зная причины действия и несложность характера и ума, уже видим столь большую долю необходимости и столь малую свободы, что как скоро нам известна причина, долженствующая произвести действие, мы можем предсказать поступок.

Только на этих трех основаниях строятся существующая во всех законодательствах невменяемость преступлений и уменьшающие вину

обстоятельства. Вменяемость представляется большею или меньшею, смотря по большему или меньшему знанию условий, в которых находился человек, поступок которого обсуживается, по большему или меньшему промежутку времени от совершения поступка до суждения о нем и по большему или меньшему пониманию причин поступка.

X

Итак, представление наше о свободе и необходимости постепенно уменьшается и увеличивается, смотря по большей или меньшей связи с внешним миром, по большему или меньшему отдалению времени и большей или меньшей зависимости от причин, в которых мы рассматриваем явление жизни человека.

Так что, если мы рассматриваем такое положение человека, в котором связь его с внешним миром наиболее известна, период времени суждения от времени совершения поступка наибольший и причины поступка наидоступнейшие, то мы получаем представление о наибольшей необходимости и наименьшей свободе. Если же мы рассматриваем человека в наименьшей зависимости от внешних условий; если действие его совершено в ближайший момент к настоящему и причины его действия нам недоступны, то мы получим представление о наименьшей необходимости и наибольшей свободе.

Но ни в том, ни в другом случае, как бы мы ни изменяли нашу точку зрения, как бы ни уясняли себе ту связь, в которой находится человек с внешним миром, или как бы ни доступна она нам казалась, как бы ни удлиняли или укорачивали период времени, как бы понятны или непостижимы ни были для нас причины, — мы никогда не можем себе представить ни полной свободы, ни полной необходимости.

1) Как бы мы ни представляли себе человека исключенным от влияний внешнего мира, мы никогда не получим понятия о свободе в пространстве. Всякое действие человека неизбежно обусловлено и тем, что окружает его, самым телом человека. Я поднимаю руку и опускаю ее. Действие мое кажется мне свободным; но, спрашивая себя; мог ли по всем направлениям поднять руку, — я вижу, что я поднял руку по тому направлению, по которому для этого действия было менее препятствий, находящихся как в телах, меня окружающих, так и в устройстве моего тела. Если из всех возможных направлений я выбрал одно, то я выбрал его потому, что по этому направлению было меньше препятствий. Для того чтобы действие мое было свободным, необходимо, чтобы оно не встречало себе никаких препятствий. Для того чтобы представить себе человека свободным, мы должны представить его себе вне пространства, что очевидно невозможно.

2) Как бы мы ни приближали время суждения ко времени поступка, мы никогда не получим понятия свободы во времени. Ибо если я рассматриваю поступок, совершенный секунду тому назад, я все-таки должен признать несвободу поступка, так как поступок закован тем моментом времени, в котором он совершен. Могу ли я поднять руку? Я поднимаю ее; но спрашиваю себя: мог ли я не поднять руки в тот прошедший уже момент времени? Чтобы убедиться в этом, я в следующий момент не

поднимаю руки. Но я не поднял руки не в тот первый момент, когда я спросил себя о свободе. Прошло время, удержать которое было не в моей власти, и та рука, которую я тогда поднял, и тот воздух, в котором я тогда сделал то движение, уже не тот воздух, который теперь окружает меня, и не та рука, которой я теперь не делаю движения. Тот момент, в который совершилось первое движение, невозвратим, и в тот момент я мог сделать только одно движение, и какое бы я ни сделал движение, движение это могло быть только одно. То, что я в следующую минуту не поднял руки, не доказало того, что я мог не поднять ее. И так как движение мое могло быть только одно в один момент времени, то оно и не могло быть другое. Для того чтобы представить его себе свободным, надо представить его себе в настоящем, в грани прошедшего и будущего, то есть вне времени, что невозможно, и

3) Как бы ни увеличивалась трудность постижения причины, мы никогда не придем к представлению полной свободы, то есть к отсутствию причины. Как бы ни была непостижима для нас причина выражения воли в каком бы то ни было своем или чужом поступке, первое требование ума есть предположение и отыскание причины, без которой немыслимо никакое явление. Я поднимаю руку с тем, чтобы совершить поступок, независимый от всякой причины, но то, что я хочу совершить поступок, не имеющий причины, есть причина моего поступка.

Но даже если бы, представив себе человека совершенно исключенного от всех влияний, рассматривая только его мгновенный поступок настоящего и не вызванный никакой причиной, мы бы допустили бесконечно малый остаток необходимости равным нулю, мы бы и тогда не пришли к понятию о полной свободе человека; ибо существо, не принимающее на себя влияний внешнего мира, находящееся вне времени и не зависящее от причин, уже не есть человек.

Точно так же мы никогда не можем представить себе действия человека без участия свободы и подлежащего только закону необходимости.

1) Как бы ни увеличивалось наше знание тех пространственных условий, в которых находится человек, знание этого никогда не может быть полное, так как число этих условий бесконечно велико так же, как бесконечно пространство. И потому как скоро определены не все условия влияний на человека, то и нет полной необходимости, а есть известная доля свободы.

2) Как бы мы ни удлиняли период времени от того явления, которое мы рассматриваем, до времени суждения, период этот будет конечен, а время бесконечно, а потому и в этом отношении никогда не может быть полной необходимости.

3) Как бы ни была доступна цепь причин какого бы то ни было поступка, мы никогда не будем знать всей цепи, так как она бесконечна, и опять никогда не получим полной необходимости.

Но, кроме того, если бы даже, допустив остаток наименьшей свободы равным нулю, мы бы признали в каком-нибудь случае, как, например, в умирающем человеке, в зародыше, идиоте, полное отсутствие свободы, мы бы тем самым уничтожили самое понятие о человеке, которое мы рассматриваем; ибо как только нет свободы, нет и человека. И потому представление о действии человека, подлежащем одному закону необходимости, без малейшего остатка свободы, так же невозможно, как и представление о вполне свободном действии человека.

Итак, для того чтобы представить себе действие человека, подлежащее одному закону необходимости, без свободы, мы должны допустить знание бесконечного количества пространственных условий, бесконечного великого периода времени и бесконечного ряда причин.

Для того, чтобы представить себе человека совершенно свободного, не подлежащего закону необходимости, мы должны представить его себе одного вне пространства, вне времени и вне зависимости от причин.

В первом случае, если бы возможна была необходимость без свободы, мы бы пришли к определению закона необходимости тога же необходимостью, то есть к одной форме без содержания.

Во втором случае, если бы возможна была свобода без необходимости, мы бы пришли к безусловной свободе вне пространства, времени и причин, которая по тому самому, что была бы безусловна и ничем не ограничивалась, была бы ничто или одно содержание без формы.

Мы бы пришли вообще к тем двум основаниям, из которых складывается все миросозерцание человека, — к непостижимой сущности жизни и к законам, определяющим эту сущность.

Разум говорит: 1) Пространство со всеми формами, которые дает ему видимость его — материя, — бесконечно и не может быть мыслимо иначе. 2) Время есть бесконечное движение без одного момента покоя, и оно не может быть мыслимо иначе. 3) Связь причин и последствий не имеет начал и не может иметь конца.

Сознание говорит: 1) Я один, и все, что существует, есть только я; следовательно, я включаю пространство; 2) я меряю бегущее время неподвижным моментом настоящего, в котором одном я сознаю себя живущим; следовательно, я вне времени, и 3) я вне причины, ибо я чувствую себя причиной всякого проявления своей жизни.

Разум выражает законы необходимости. Сознание выражает сущность свободы.

Свобода, ничем не ограниченная, есть сущность жизни в сознании человека. Необходимость без содержания есть разум человека с его тремя формами.

Свобода есть то, что рассматривается. Необходимость есть то, что рассматривает. Свобода есть содержание. Необходимость есть форма.

Только при разъединении двух источников познавания, относящихся друг к другу, как форма к содержанию, получаются отдельно, взаимно исключающиеся и непостижимые понятия о свободе и необходимости.

Только при соединении их получается ясное представление о жизни человека.

Вне этих двух взаимно определяющихся в соединении своем, — как форма с содержанием, — понятий невозможно никакое представление жизни.

Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, то есть сознания к законам разума.

Все, что мы знаем о внешнем мире природы, есть только известное отношение сил природы к необходимости или сущности жизни к законам разума.

Силы жизни природы лежат вне нас и не сознаваемы нами, и мы называем эти силы тяготением, инерцией, электричеством, животной силой и т. д.; но сила жизни человека сознаваема нами, и мы называем ее свободой.

Но точно так же, как непостижимая сама в себе сила тяготения, ощущаемая всяким человеком, только настолько понятна нам, насколько мы знаем законы необходимости, которой она подлежит (от первого знания, что все тела тяжелы, до закона Ньютона), точно так же и непостижимая, сама в себе, сила свободы, сознаваемая каждым, только настолько понятна нам, насколько мы знаем законы необходимости, которым она подлежит (начиная от того, что всякий человек умирает, и до знания самых сложных экономических или исторических законов).

Всякое знание есть только подведение сущности жизни под законы разума.

Свобода человека отличается от всякой другой силы тем, что сила эта сознаваема человеком; но для разума она ничем не отличается от всякой другой силы. Сила тяготенья, электричества или химического средства только тем и отличаются друг от друга, что силы эти различно определены разумом. Точно так же сила свободы человека для разума отличается от других сил природы только тем определением, которое ей дает этот разум. Свобода же без необходимости, то есть без законов разума, определяющих ее, ничем не отличается от тяготенья, или тепла, или силы растительности, — она есть для разума только мгновенное, неопределимое ощущение жизни.

И как неопределимая сущность силы, двигающей небесные тела, неопределимая сущность силы тепла, электричества, или силы химического средства, или жизненной силы составляют содержание астрономии, физики, химии, ботаники, зоологии и т. д., точно так же сущность силы свободы составляет содержание истории. Но точно так же, как предмет всякой науки есть проявление этой неизвестной сущности жизни, сама же эта сущность может быть только предметом метафизики, — точно так же проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории; сама же свобода есть предмет метафизики.

В науках опытных то, что известно нам, мы называем законами необходимости; то, что неизвестно нам, мы называем жизненной силой. Жизненная сила есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о сущности жизни.

Точно так же в истории, то, что известно нам, мы называем законами необходимости; то, что неизвестно, — свободой. Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека.

XI

История рассматривает проявления свободы человека в связи с внешним миром во времени и в зависимости от причин, то есть определяет эту свободу законами разума, и потому история только настолько есть наука, насколько эта свобода определена этими законами.

Для истории признание свободы людей как силы, могущей влиять на исторические события, то есть не подчиненной законам, — есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных сил.

Признание это уничтожает возможность существования законов, то есть какого бы то ни было знания. Если существует хоть одно свободно двигающееся тело, то не существует более законов Кеплера и Ньютона и не существует более никакого представления о движении небесных тел. Если существует один свободный поступок человека, то не существует ни одного исторического закона и никакого представления об исторических событиях.

Для истории существуют линии движения человеческих воль, один конец которых скрывается в неведомом, а на другом конце которых движется в пространстве, во времени и в зависимости от причин сознание свободы людей в настоящем.

Чем более раздвигается перед нашими глазами это поприще движения, тем очевиднее законы этого движения. Уловить и определить эти законы составляет задачу истории.

С той точки зрения, с которой наука смотрит теперь на свой предмет, по тому пути, по которому она идет, отыскивая причины явлений в свободной воле людей, выражение законов для науки невозможно, ибо как бы мы ни ограничивали свободу людей, как только мы ее признали за силу, не подлежащую законам, существование закона невозможно.

Только ограничив эту свободу до бесконечности, то есть рассматривая ее как бесконечно малую величину, мы убедимся в совершенной недоступности причин, и тогда вместо отыскания причин история поставит своей задачей отыскание законов.

Отыскание этих законов уже давно начато, и те новые приемы мышления, которые должна усвоить себе история, вырабатываются одновременно с самоуничтожением, к которому, все дробя и дробя причины явлений, идет старая история.

По этому пути шли все науки человеческие. Придя к бесконечно малому, математика, точнейшая из наук, оставляет процесс дробления и приступает к новому процессу суммования неизвестных, бесконечно малых. Отступая от понятия о причине, математика отыскивает закон, то есть свойства, общие всем неизвестным бесконечно малым элементам.

Хотя и в другой форме, но по тому же пути мышления шли и другие науки. Когда Ньютон высказал закон тяготения, он не сказал, что солнце или земля имеет свойство притягивать; он сказал, что всякое тело, от крупнейшего до малейшего, имеет свойство как бы притягивать одно другое, то есть, оставив в стороне вопрос о причине движения тел, он выразил свойство, общее всем телам, от бесконечно великих до бесконечно малых. То же делают естественные науки: оставляя вопрос о причине, они отыскивают законы. На том же пути стоит и история. И если история имеет предметом изучения движения народов и человечества, а не описание эпизодов из жизни людей, то она должна, отстранив понятие причин, отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собою бесконечно малым элементам свободы.

XII

С тех пор как найден и доказан закон Коперника, одно признание того, что движется не солнце, а земля, уничтожило всю космографию древних. Можно было, опровергнув закон, удержать старое воззрение на движения тел, но, не опровергнув его, нельзя было, казалось, продолжать изучение птоломеевых миров. Но и после открытия закона Коперника птоломеевы миры еще долго продолжали изучаться.

С тех пор как первый человек сказал и доказал, что количество рождений или преступлений подчиняется математическим законам и что известные географические и политико-экономические условия определяют тот или другой образ правления, что известные отношения населения к земле производят движения народа, — с тех пор уничтожились в сущности своей те основания, на которых строилась история.

Можно было, опровергнув новые законы, удержать прежнее воззрение на историю, но, не опровергнув их, нельзя было, казалось, продолжать изучать исторические события как произведения свободной воли людей. Ибо если установился такой-то образ правления или совершилось такое-то движение народа вследствие таких-то географических, этнографических или экономических условий, то воля тех людей, которые представляются нам установившими образ правления или возбудившими движение народа, уже не может быть рассматриваема как причина.

А между тем прежняя история продолжает изучаться наравне с законами статистики, географии, политической экономии, сравнительной филологии и геологии, прямо противоречащими ее положениям.

Долго и упорно шла в физической философии борьба между старым и новым взглядом. Богословие стояло на страже за старый взгляд и обвиняло новый в разрушении откровения. Но когда истина победила, богословие построилось так же твердо на новой почве.

Так же долго и упорно идет борьба в настоящее время между старым и новым воззрением на историю, и точно так же богословие стоит на страже за старый взгляд и обвиняет новый в разрушении откровения.

Как в том, так и в другом случае с обеих сторон борьба вызывает страсти и заглушает истину. С одной стороны, является борьба страха и жалости за все, веками воздвигнутое, здание; с другой — борьба страсти к разрушению.

Людям, боровшимся с возникавшей истиной физической философии, казалось, что, признай они эту истину, — разрушается вера в Бога, в сотворение тверди, в чудо Иисуса Навина. Защитникам законов Коперника и Ньютона, Вольтеру, например, казалось, что законы астрономии разрушают религию, и он, как орудие против религии, употреблял законы тяготения.

Точно так же теперь кажется: стоит только признать закон необходимости, и разрушатся понятие о душе, о добре и зле и все воздвигнутые на этом понятии государственные и церковные учреждения.

Точно так же теперь, как Вольтер в свое время, непризванные защитники закона необходимости употребляют закон необходимости как орудие против религий; тогда как, — точно так же как и закон Коперника в астрономии, — закон необходимости в истории не только не уничтожает, но даже утверждает ту почву, на которой строятся государственные и церковные учреждения.

Как в вопросе астрономии тогда, как и теперь в вопросе истории, все различие воззрения основано на признании или непризнании абсолютной единицы, служащей мерилом видимых явлений. В астрономии это была неподвижность земли; в истории — это независимость личности — свобода.

Как для астрономии трудность признания движения земли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности земли и такого же чувства движения планет, так и для истории трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности. Но, как в астрономии новое воззрение говорило: «Правда, мы не чувствуем движения земли, но, допустив ее неподвижность, мы приходим к бессмыслице; допустив же движение, которого мы не чувствуем, мы приходим к законам», — так и в истории новое воззрение говорит: «И правда, мы не чувствуем нашей зависимости, но, допустив нашу свободу, мы приходим к бессмыслице; допустив же свою зависимость от внешнего мира, времени и причин, приходим к законам».

В первом случае надо было отказаться от сознания несуществующей неподвижности в пространстве и признать неощущаемое нами движение; в настоящем случае — точно так же необходимо отказаться от несуществующей свободы и признать неощущаемую нами зависимость.

Конец
1863 – 1869 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Альбом акварелей к произведению

https://boxapps.adu.by/public/game/8000

Батарея капитана Тушина при Шенграбене *(Акварель Н.Н. Каразина)*

Наполеон и император Александр I на свидании в Тильзите *(Акварель профессора А.Д. Кившенко)*

Наташа Ростова на первом балу *(Акварель Л.О. Пастернака)*

Ростовы на псовой охоте в "Отрадном" ***(Акварель профессора А.Д. Кившенко)***

Поездка Ростовых на святках к Мелюковым *(Акварель Н.Н. Каразина)*

Наполеон и Лаврушка на переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу *(Акварель Л.О. Пастернака)*

Кутузов на Поклонной горе перед военным советом в Филях *(Акварель профессора А.Д. Кившенко)*

Граф Ростопчин и купеческий сын Верещагин на дворе губернаторского дома в Москве *(Акварель профессора А.Д. Кившенко)*

Наташа Ростова и князь Андрей Болконский в Мытищах *(Акварель Л.О. Пастернака)*

Расстреливание французами поджигателей в Москве *(Акварель Л.О. Пастернака)*

Смерть Пети Ростова *(Акварель Н.Н. Каразина)*

Картины, иллюстрирующие события романа

Наполеон перед горящим Смоленском *(Альбрехт Адам, 1837 г.)*

Вид на Кремль во время Московского пожара *(Кристиан Иоганн Ольдендорп, 1812 г.)*

Прославленный переход через Неман в начале военной кампании Наполеона в 1812 году *(Мэттью Дюбур, 1816 г.)*

Отступление французской армии у реки Березины (Франц Хаберман, 1812 г.)

Наполеоновская война: сцена отступления из России *(Никола-Туссен Шарле, 1812 г.)*

Лейб-гвардии Конный полк во время восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади *(Василий Тимм, 1853 г.)*

Светлейший князь М. И. Кутузов *(Роман Волков, 1812–1813 г.)*

Портрет Наполеона Бонапарта *(Франсуа Жерар, 1803 г.)*

Татьяна Кузминская (1867 г.)

Считается, что некоторые черты Наташи Ростовой были списаны с Кузминской, сестры Софьи Толстой

Николай Толстой (1823 г.)

Отец писателя, один из возможных прототипов Николая Ростова

Софья Толстая (1885 г.)

В эпилоге Наташа Ростова растворяется в «жизни семейной» так же, как сделала это в реальной жизни жена Толстого

Лев Толстой *(1855 год)*